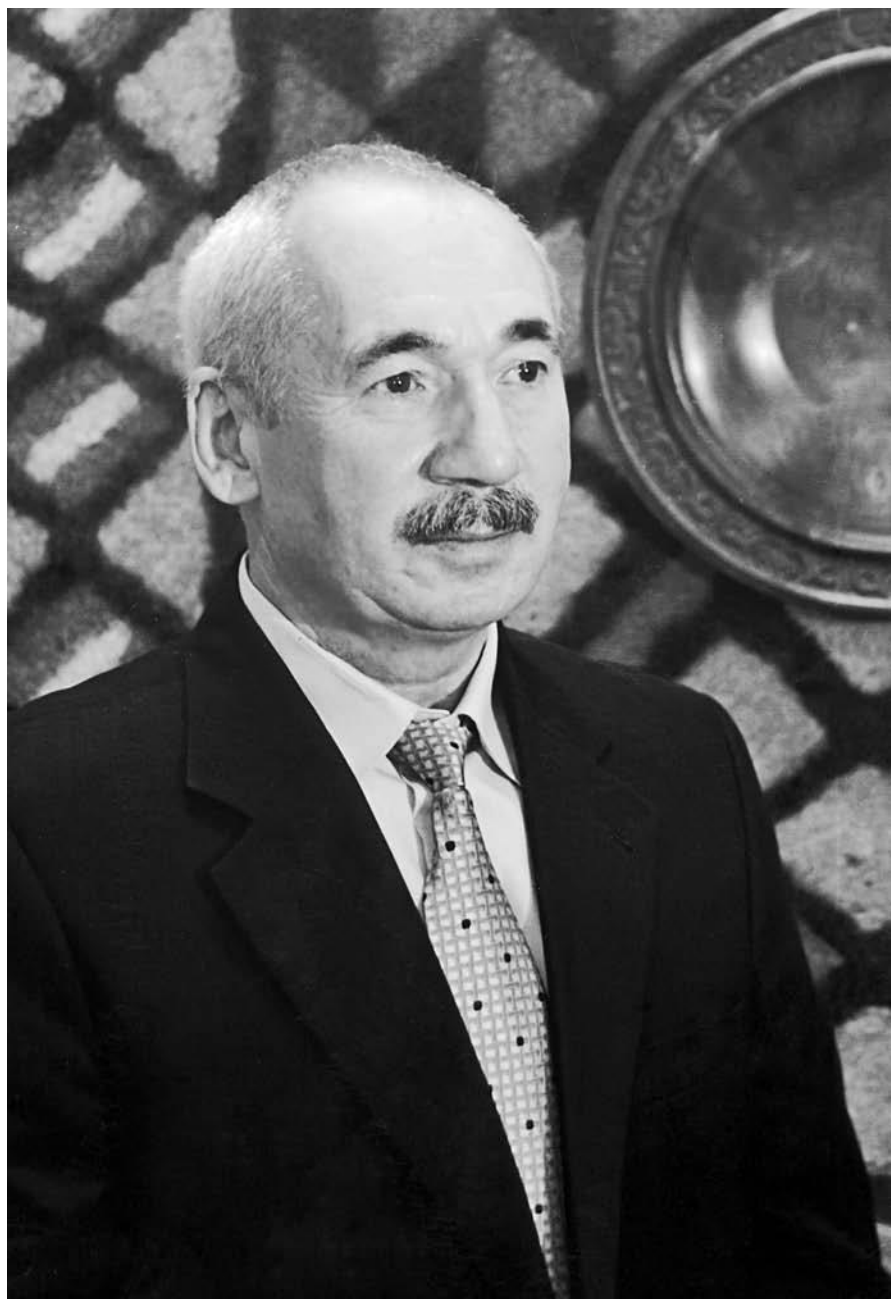
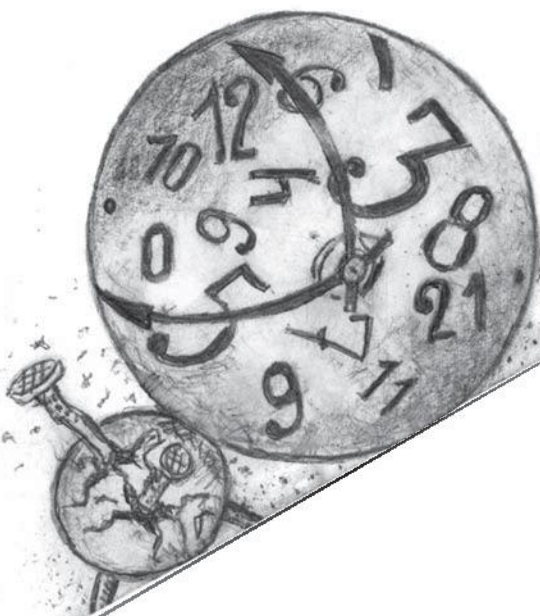


*Моей сестре
Дзгоевой Татьяне Аллахбердиевне
п о с в я щ а е т с я*



Владимир Мокаев

Мальчик без времени



Нальчик ООО • «Тетраграф» • 2019

Книга отпечатана при финансовой поддержке W.R.S. – ИЗРАИЛЬ

ISBN 978-5-00066-160-4

© В. А. Мокаев, 2019
© ООО «Тетраграф», 2019

О романе Владимира Мокаева «Мальчик без времени»

1. Немного об авторе

Большое видится издалека; не бывает пророка в родном отечестве, – так бы мне хотелось начать свою вступительную статью к новому роману Владимира Мокаева «Мальчик без времени», явленному всем, кто не утратил веры в добрую сказку, кто не отрёкся в глубине души своей от самого себя – совершеннейшего ребёнка, кто верит в чудеса мира этого, главенствующим из которых есть Любовь с большой буквы, ибо только ей под силу противостоять любому злу, творить всё новые и новые миры света по образу своему, по подобию своему. Представлять самого автора, как мне кажется, особой необходимости и нет; кто же в Кабардино-Балкарии, да и не только, хоть раз не слышал этого имени. Вкратце же, в виде справки и в связи с новой книгой, – вполне даже уместно. Многограннейшая творческая личность, сумевшая вместить в себе преогромное множество Божьих даров, но не для сохранения до поры, как это зачастую случается даже с теми людьми, которых можно признать энциклопедически образованнейшими, то есть переполненными разными премудростями, прок от которых – ну разве что внешний блеск, а для приумножения в виде добрых плодов всем, кто жаждет прикоснуться к этим дарам. Неординарный поэт, замечательный, не схожий ни с кем прозаик, самобытнейше-одарённый музыкант-гитарист, художник, имеющий звание «Народный мастер России», «Заслуженный деятель культуры КБР», философ-мудрец, поражающий своими аналитическими способностями всякого, кто имел хоть однажды к тому даже самые незначительные касательства, подлинный учитель с врождённым педагогическим даром, никак не расходящимся с основополагающими морально-нравственными законами, остающийся при всём этом человеком свободомыслящим и прогрессивным. Вот так самым сжатым образом я бы охарактеризовал личность этого, на самом деле скромнейшего в жизни человека, не выпячивающегося нигде и никогда, не требующего для себя особых привилегий и благ, в материальном отношении довольствующегося самым малым.

2. Из автобиографического

Честное слово, не знаясь я с Владимиром с самых молодых и юношеских наших лет, когда ещё начинал свою трудовую деятельность вместе с ним в одном из объединений треста столовых и ресторанов: он – в качестве заведующего производством, к тому же ещё и председателя

народного контроля целого общепитовского куста, я же – в должности освобождённого секретаря комсомольской организации объединения; не будь свидетелем, как он уже тогда здорово играл на гитаре, моментально становился центром и душой любой компании, где, что уж там скрывать, по тем буйным и юным временам, да и ещё обусловленным коммунистической идеологией, случалось разное и всякое: за нарушение общественного порядка спрашивалось строго, – да разве бы мог я даже предположить, что из него вырастет столь значимого масштаба творческая личность, одарённая во многом. То, что он, как говорится на сленге, «рубил»¹ в струнах, слыл знатным «лабухом»², слогал бардовские песни, баловался психоделическими и футуристическими стихами, я, конечно же, знал уже и тогда, но чтобы вот так...

Прошло огромное количество времени, считай, что целая жизнь; я так и не сделался писателем, хотя, и что там скрывать, в юности дерзал помыслами о славной карьере литератора, кропал разное в своих секретных тетрадочках, делясь сотворённым только с очень близкими по духу товарищами, в том числе и с Владимиром, – он же, как всегда кажется со стороны, без всяких к тому видимых усилий превзошёл многих и многих, особенно из тех, кто по праву считает себя и поэтом, и писателем, и художником, и музыкантом в силу только одного главенствующего для них аргумента: разве мы не учились... и разве наши знания не отмечены дипломами соответствующих профилю факультетов?.. Несмотря на то что в личной жизни многое радикально переменилось, наши пути-дороги разошлись, кажется бы, навсегда – я переехал в Соединённые Штаты, а затем и в Израиль, – чисто человеческие контакты не прервались. Мало того, я ещё с большим вниманием стал следить за творчеством Владимира Мокаева, всё более и более убеждаясь, что, действительно, всё самое значимое и высокое можно увидеть только издалека.

3. Встреча. Мальчик без времени

Встретились как бы случайно. Хотя никаких случайностей, по глубокому убеждению Владимира, никогда и нигде не случается, во всём есть своя строгая закономерность, пусть и чисто тавтологическая.

– А почему тавтологическая? – переспрашиваю его. – И при чём здесь вообще тавтология?

¹Рубил – хорошо понимал (сленг).

²Лабух – применительно, как правило, к музыкантам, работающим в ресторане.

– Да потому и она, – со значимостью подмигивает мне, – что только слишком умный может повторять одно и то же, доказывая всем остальным, что он не дурак.

Сказанное последним заставило меня несколько призадуматься, что есть эта самая тавтология, применимая к еkkлезиастовской мудрости и глупости, между которыми не найти явных различий.

– Фимка! – радостно всплеснул он своими огромными ладонями рук и, кажется, даже слегка подпрыгнул.

Судя по выражению лица, складывалось впечатление, что Владимир как бы уж и заранее знал, что именно в эту самую минуту я материализуюсь в данной точке заданного им пространства. В подтверждение моих мыслей пристально смотрит в мои глаза, почему-то многозначимо грозит пальчиком и лишь после этого, почти заговорщически шепчет:

– Интуиция, брат ты мой, штука весьма даже серьёзная.

Не дав чувственно проникнуться столь философично сказанным, крепко ухватив за руку, буквально поволок в свой малюсенький кабинетик главного хранителя, находящийся за боковую дверь самого последнего выставочного зала, – кабинетик, обставленный не без философических причуд, так присущих духу самого хозяина, больше схожего с каморой отшельника-схимника, возжелавшего убежать от всяких благ цивилизации, но тем не менее не утратившего интереса к множеству всевозможных знаний. Настенная книжная полка, самодельная, перегруженная донельзя, сплошь уставленная всевозможными, не по росту, книгами, странными скульптурными камнями, схожими, как это рисуют уфологи, с инопланетными пришельцами-гуманоидами, а по существу, булыжниками, стальной никелированной гирькою, опасно расположившейся у самого края доски, готовой при малейшем сотрясении свалиться, – всё это нависало над его головой, где рабочее кресло, которому, в силу крайней стеснённости, другого места и найти-то было бы невозможно. Уловив мой взгляд, жестом руки указывает на стоящий рядом венский стул, сам же всею своею располневшей натурою втискивается в узенькое деревянное креслице. Тькнув большим пальцем вверх, иронически улыбается, коротко произносит:

– Дамоклов меч... Чудеснейшее средство от ленной неги. А это, – кивает на три фотографических портретика, чёрно-белых, в тонюсеньких жестяных обкладочках, прилепленных друг к другу в ряд и лицом к нему, прямо над рабочим столом, – те самые близкие мне люди – мама, папа и Магомет Мокаев, в присутствии которых и закурить-то никак не возможно, не говоря о чём другом... А чего это я расселся?..

Порывисто вскакивает, протискивается между старинным бюро и банкеточкой в самый краешек своего кабинетика, включает в розетку

электрический самовар. На пластмассовом подносыке почти игрушечных размеров пытается расставить и чашечки с блюдечками, и сахар в пузатой стеклянной баночке, и довольно приличного размера тарелку, доверху наполненную баранками.

– Вот сейчас, – говорит сам себе, – мы этот калымский и заварганим. Чай – дело наипервейшее... Стимулятор мыслей.

Как мне уже известно, калымским чаем Владимир называл всякий чай, который заварен до невероятной крепости, почти чифиря. Скорее всего, само это выражение унаследовано им из книги Анатолия Жигулина – автора стихов известнейшей блатной песни «Ванинский порт»¹. Разлив по чашкам благоухающий напиток, не дав толком и проникнуться его терпким вкусом, так с наскоку и огорошил:

– Я ведь чуял, ей-богу чуял, что ты в самое ближайшее время материализуешься пред очи мои. А почему?.. Сам объяснить не умею. Наверное, потому, что нужду к тебе, Фимка, имею особенную. Чепуховина вот такая... Совсем, вот-вот, окончил написание своего нового романа – продолжение, так сказать, «Боборики», который тебе вроде как бы и понравился, так вот... Думал, думал и никак другого придумать не смог. На тебя одна надежда. Никто, Фимка, друг ты мой любезный, предисловия к этому роману лучше и не напишет. Душою чую. Даже и не думай отказываться.

– А при чём здесь я? – с изумлением таращусь на него, пытаюсь определить по выражению лица – не шутит ли. – Какое отношение к тому могу иметь я? – напрямую спрашиваю у Владимира. – Я что, литературный критик, писатель какой...

– Старик! – с горячностью юноши хватает меня за рукав. – Да как ты не можешь понять, что именно от всех этих великомудрствований и бегу как чёрт от ладана. Понапридумывают кучу общепринятых в подобных случаях словес, сладких и приторных до невозможности, составленных бездарно и как под одну копирку, подпускают всяких фимиамов да дымов кадильных, заумностей этаких, которых, уж поверь мне, и читать-то никто толком не будет в силу их так называемых интеллектуализмов и полнейшей скукотищи, на том и успокоятся. Ведь согласишься... Тебе ли, старик, не знать... Большая часть из когорты этаких писак-критиков вовсе не о твоём творчестве пекутся – как бы это всё представить, чтобы читателю было проще разобраться, обратить особое внимание на тонкости всякие, на самое наиглавнейшее: что же в конце концов автор хотел сказать своим произведением. О себе любимых пекутся...

¹Из прозаической книги «Черные камни».

Как бы всею рожею в грязь не угодить; предстать в таком наилучшем свете ума своего, чтобы их, любимых, наперво заметили, не без светлой зависти шепоточком проронили: «Где уж нам до того – убогоньким, эх как всё по-мудрёному представлено». Вот они чем в первую очередь руководствуются. Потому, брат ты мой, и все эти словесные раскудрявости. Раскроешь иную книжку, а там во вступительной этой статейке в связи с сочинением автора, боже мой!.. Кого только не присовокуплено. И Вергилий, и Овидий, и сам Данте Алигьери, и тут же, заметь, в том же ряду, некто из современных – Сева Архангельский, которого, кроме самого автора статьи, и духом никто не ведает. А тебя, – подливает из заварочного чайничка своего ядрёного чаю, – уж ты прости за прямоту, знаю по-всякому да по-разному. Терпеть не могу таких чистоплюев мармазетовых, прилизанных да приглаженных, нигде, никогда, ни в чём не замешанных, херувимчиков беспольных. Именно от их племени господ можно ожидать любой пакости. Уж научен. Сколько мы с тобой?.. Никак уж более сорока пяти лет знаемся... Вот и пиши о моём романе по-честному, как Бог на душу положил. Словом ты владеешь – дай вот так каждому писাকে, по натуре своей, пусть порою и нелицеприятен, но зато правдив, умом светел. Именно такой, как ты, а не дипломированный сноб мне нужен. Критикуй, если что, на все четыре стороны. Или... – несколько настороженно и не без опаски косится на каменного болванчика, – может, ты там, в своём Израиле, уже и литературоведом заделался, доктором каким? Если так, то, честное слово, и настаивать смысла не вижу. Буду искать того, кто и языком, и мозгами попроще.

Хитро подмигнув, сунул в нагрудный карманчик пиджака флешку, со значимостью тыкнул пальцем в потолок, то есть в небо, пристально посмотрел в самые глаза, почти шёпотом произнёс:

– Мальчик без времени.

4. Сомнения

Неожиданным образом получив такое серьёзнейшее поручение, да не от кого было попало, а от самого Мастера, признаюсь, крепко призадумался. Памятуя его сложнейшие метафизические стихи, его далеко не простые по философическому содержанию, прозаические книги «Сонные воды» и «Боборика», засомневался:

– А смогу ли?.. Может быть, пока ещё не поздно, отказаться ко всем чертям собачьим. Да и вообще... Что там говорить, к подобного рода трудам нужно иметь особого рода навык. Какой я литературный аналитик?.. Ведь, как есть, опозорюсь.

Словно прочитав мои мысли, Владимир, совсем как в наши юные годы, по-блатному шуруется, по-пацанячьи успокаивает:

– А ты, старик, не мóхай¹, я ведь, и ты это великолепно знаешь, никогда не соглашусь, если будет криво да косо. Понимаешь, о чём говорю... Вместе, не меня и на йоту² того, что ты там накрапаешь, и обработаем, так сказать, на предмет художественности, чтобы всё было по-литературному. Почитай письма Николая Гоголя, даже те, которые из деловых. Каждое из написанных – маленькое художественное произведение. Да и сам величайший из писателей не чурался, милостиво просил своего редактора кое-что из неловко написанного им по пренебрежительности и в силу поспешания поправить и даже замарать совсем, когда становится трудно к исправлению. Ты, старик, самое главное, сооруди мне смысл, то, как всё это тебе представляется, светлая твоя голова, со стороны-то гораздо виднее. Вот ведь что для меня и моего «Мальчика без времени» главное.

5. Размышления о романе

По моему глубочайшему убеждению, роман Владимира Мокаева «Мальчик без времени» не есть просто автобиографическая проза, этакий замес реальности и инореальности, слепленный аналогично булгаковскому «Мастеру и Маргарите» или подобному из этого же ряда. Скорее всего, мы имеем дело с совершенно иного рода явлением в современной художественной литературе, явлением, не имеющим пока и точного определения своего жанра в исследовательской практике. Думается, что каждый читающий, в силу своего личного опыта и художественных мировоззренческих восприятий, сложившихся в нём и только в нём, ответит на этот вопрос лично, без всяких извне навязываний, найдёт в этой книге то, что ему в большей мере любопытно и интересно, а значит, познавательно. Как мне видится, никакие теоретические обобщённости художественных образов, явленных на свет Божий из глубин подсознания самого автора – Боборики, никак не могут быть признанными логически достоверными, то есть правдивыми, ибо сам текст, в том-то и парадоксальность, в последовательности действий своих, да и в потоке времени, как раз и лишён рациональных принципов всяких логик. Вся его ткань, словно в насмешку, пронизана нескрываемым скепсисом относительно не чего-либо там, а самого разума, того разума, благодаря которому человек как бы и стал существом разумным – венцом самой

¹Не мóхай (сленг) – не бойся.

²Йота – буква.

природы, но с маленькой буквы. И ведь совсем не зря, не без иронии вопрошает он к самому себе – Боборике: «А что же есть на самом деле этот разум, когда всё человечество за свою многотысячелетнюю историю отличилось более безумием, чем противоположной ему разумностью. Разве нескончаемые войны не очевиднейшее из безумий?.. И разве еkkлезиастовское, не собрание, а разбрасывание камней не подобно оному же?» Обо всём этом в романе «Мальчик без времени» вскользь ли, иносказательно ли, но упоминается неоднократно. И вообще, проблема психической здравости общества, из которого автор намеренно как бы исключает маленьких детей, то есть проблемы психического здоровья взрослого населения планеты поднимаются им в романе с удивительным постоянством. За внешним, почти юмористическим повествованием, довольно анахронической текстурой прямой речи героев, когда складывается вполне устойчивое и определённое впечатление, что все действия придуманного им спектакля уж никак не вторая половина двадцатого столетия, а как минимум времена Антона Павловича Чехова, а в некоторых случаях так и вообще самого Николая Васильевича Гоголя, – сокрыт, как мне представляется, особый, им придуманный литературный приём, подводящий читателя к неизбежному пониманию основного: во все времена существования своего человек мало чем изменился в главном. Нравственные проблемы так и остались самыми наиболее болезненными проблемами общества. Лукав человек по своей падшей природе. За многие тысячелетия в делах человеколюбия, то есть в любви к Богу, нисколько не преуспел. Все эти глубинные размышления о бренности и несовершенстве мира, весь этот дуалистический психологизм двойственной природы человека, пребывающего одновременно и в мраке, и в свете, и в правде, и во лжи, автор выносит из глубин своего сознания, через личное впечатление души маленького «несмышлёного» человечка, явленного в этот мир (силами ли только Провидения?) в образе Боборики, за именем которого не есть только автор, как это может поверхностно показаться, а проявлены все мы, разные и всякие, потерянные во времени, утратившие высочайший смысл Его, ставшие позабывать самих себя. За повествовательной упрощённостью, замечу – нарочито детской упрощённостью, такими сказками, кроются высочайшие философские смыслы, заставляющие всякого читателя, тонко мыслящего и чувствующего, задуматься о самом себе, задаться относительно важнейшего из всех вопросов: «Так кто же я есть на самом деле? Зачем и почему и какую волею призван в этот мир? Ну не для того же, в конце концов, чтобы взять и опять же, помимо всякой своей воли, – умереть, перестать быть, существовать вообще где-либо, думать, мечтать, любить.

А для чего?» Не очевиднейшая ли из нелепиц... Лев Николаевич Толстой в автобиографическом произведении «Исповедь» – вершине религиозного прозрения своего, отталкиваясь именно от этого «нелепейшего» факта, логически никак не объяснимого, полностью перевернул своё сознание, пришёл к истинной вере, возвратился к Богу.

– Как так можно? – обязательно уж задастся кто-нибудь из нас. – Выходит, ни логика, ни интеллект не есть из того главенствующего, что в целом определяет наше сознание... Есть и нечто иное?.. Выходит, Вера не нуждается в презумпции ни логик, ни всяких знаний... Почему же мы тогда с такою пренебрежительною лёгкостью решаем немислимую по сложности задачу: несогласных с нами – большинством рядим в сумасшедших, а тиранам ставим памятники, не верим ни в Бога, ни в чёрта, хотя на погосте, особенно в ночное время, нам жутко страшно. Что же тогда боимся, когда ни Бога, ни дьявола нет – бабкины сказки?

Всё это и неоднократно автором романа «Мальчик без времени» выносятся в разных художественных вариациях и иносказательно. Он никому и ничего не пытается навязывать, а тем более кого-то учить. Он просто с присущей ему ироничностью констатирует, но как факт: «Это же надо вот так... И примерещится же... Никак, с нервами что-то приключилось».

6. Мистика

Особо хотелось бы остановиться на мистической стороне романа «Мальчик без времени», той сказочной его стороне, без чего это произведение и представить-то невозможно. Ну кому, скажите вы, нужна чья-то автобиографическая история, трагичная ли, весёлая ли или достоверно обыденная? Понятно бы, если какого гения или прославленного полководца, великого писателя-мыслителя... Кому, скажите вы, нужен обыкновенный и никому не известный Мальчик, пусть и потерявший себя во времени? И ведь действительно... Подобных «сказок» уж наверняка явлено на свет Божий великое множество... Возможно, и с этим в определённой мере нельзя не согласиться, когда бы речь шла о реалиях этого мира и только этого мира. Но в том-то и дело, благодаря неразрывной связи чувственной бытности и бытности инореальной, вынесенной из глубин не только собственного подсознания, а и Бог его знает ещё откуда, роман в своём общем повествовании и принял эту самую гротескную привлекательность. Та потусторонняя личность из миров грёз и сновидений, миров зазеркалья, домового над всеми домовыми Иоаким Премудрый выведен автором, уж конечно же, далеко неспроста. Он, как ни ряди, есть, по сути, не второстепенный, а один из главных героев романа – связующее звено «разбросанных по свету

осколочков времён», – личность, более чем все остальные реальная, рельефно осязаемая и уж для Боборики-то никакая не грёза и не случайное наваждение расстроенного сознания. Убери из повествования этого чудаковатого представителя нечистой силы – сказочного мудреца и философа с его кудрявисто-интеллектуальной и образной речью, выдающейся в нём качества весьма превосходные и незаурядные, – и весь роман тут же лишится соединительной ткани, потеряет всякую привлекательность, рассыплется на маленькие фрагменты. Кому же не известно ныне, в наш просвещённый век, что мы осознаём и видим только то, что вмещает наше сознание. Этого не может быть, потому что не может быть никогда, – сказанное чеховским героем как раз и адресовано всем нам – ослепшим и оглохшим под спудами догм, а по сути – спудом собственного невежества. Ведь и не секрет, что порою всякий, кто осмелился поставить под сомнение так называемые «истины» этого мира, рискует попасть не просто в скверное положение, а весьма даже в пренеприятнейшее положение. Быть причисленным к неправильно думающим гражданам, которых по-другому ещё называют сумасшедшими, то есть людьми, вышедшими за пределы своего ума, способными в силу своего свободомыслия, как представляется многим, запросто и покусать, чего же может быть печальнее этого...

А потому, не только для блага общества, то есть всех правильно думающих, но и других – мыслящих несколько по-другому, исходя из высочайших гуманистических соображений, последних, то есть криво соображающих, надо от этого самого гуманистического общества изолировать, прилежно лечить, пока не сделаются, как все, здоровыми. В этом и заключается высшая справедливость всякой психиатрической науки. Подобные мысли в романе «Мальчик без времени», высказанные автором не без иронии, а порою и с открытым сарказмом, как и следовало ожидать, далеко не единичны. Ведь по большому счету книга потому и писалась, чтобы подвести совестливого и вдумчивого читателя к этому самому – тревожному и страшному, пугающему непредсказуемостью: здрав ли я, но не столько с точки зрения своей рассудительности, своего ума, а с точки зрения морали, с точки зрения совести своей. Вот ведь что есть из наиглавнейшего в романе Владимира Мокаева с престран-ным названием «Мальчик без времени». И как тут не задуматься, ведь и действительно, с времён чеховской «Палаты номер шесть», с одной стороны, гоголевской «Шинели» – с другой, в современном обществе, смотря, конечно, под каким углом его рассматривать, мало что изменилось. Следует заметить, также заставляющее крепко призадуматься. Как и в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», среди множества

героев в разнообразии их характеров нечистая сила в лице Иоакима Премудрого представляется, скорее, силою более привлекательной, более симпатичной и позитивной, но никак уж не отрицательной относительно остальных. Выше того, вопреки сложившимся представлениям о человеческой морали с её нравственными устоями, антиподом которой он, то есть этот самый домовый Иоаким Премудрый, по логике вещей и должен представляться, то есть быть во всех своих действиях существом глубоко аморальным, ведь как ни суди, а всё же нечистая сила, не лишён положительных и даже возвышенных чувств и понятий, таких как справедливость, честь, совесть. По крайней мере из всей череды героев, представленных в книге, в этом отношении выделяется весьма даже положительно, плавно переключаясь из другого литературного произведения автора под названием «Боборика», где он соборно был представлен в Розовым дельфином, то мистическим философствующим котом под именем Василий Игнатыч, то просто безымянным домовёнком, с артистическим позёрством вещающим: «Вовка! Это же надо вот так опростоволоситься, очутиться в такой дыре. А я ведь ещё тогда, когда ты уж сделался совсем стареньким, почти что ребёнком, предупреждал... Да разве тебе – вольнолюбивому, можно что из положительного вразумить». Через этот, казалось бы, совсем маленький и не совсем значимый отрывочек литературного текста, которому многие могут не придать и вообще должного значения, автор на самом деле сказал более чем о многом. И о бессмертии души, и о дарованной каждому личной свободе, и об ответственности живущего на земле за всякий поступок, как свершившийся, так и предполагаемый, то есть поступок мысленный. Но как сказано!.. Не с назидательной занудностью: ведь предупреждал же... А почти что, пусть и с оттенком фатализма, но всё же – юмором. Приём, даже в сюрреалистической литературе довольно мало встречающийся, ибо – весьма даже рискованный. Ведь сам роман, при его внимательном прочтении, уж никак не лишён возвышенных основ человеческой морали, нисколько не противоречит религиозным убеждениям монотеизма. А тут... Домовые, всякая чертовщина. Но в том-то и заслуга автора, что именно благодаря этому герою – Иоакиму Премудрому и удалось ещё более ярче, более рельефней вырисовать морально-нравственные проблемы общества в целом, но через свободу личности, где все эти различного рода непререкаемые «правды» и деформируются, как тому хочется, исходя опять-таки из презумпции личной свободы и потаённого уверования, что не только чужая душа, но и собственная – крошечные потёмки. Дабы быть ещё более объективным, ведь роман, как ни суди, а авторский, самоиронично, а в некоторых местах

и хлѣтко, не жалея себя, не от третьего, а первого лица вырисовывает свой портрет; с неподдельным раскаяньем грешника, воздев руки к небу, вопрошает и к Богу, и самолично к самому себе: «Господи! И что это я был за маленький подлянщик, скрывающийся под личиною пай-мальчика, этакого интеллигентика паршивого, истинного дьяволѣнка-душегуба. Ведь это надо же... Исподтишка так ахнуть самодельною бомбою, что у многих и душа из пяток... А у тѣти Фатимы, соседки по подъезду, вставная челюсть – на асфальт... Смрадом... Натуральным химическим смрадом дымовух, начинѣнных ядовитейшими фотоплѣнками, удушать ни в чѣм не повинных законопослушных граждан своего же подъезда, включая, по логике, и собственных родителей, и брата, и сестру, и даже кошку Кудину, не видя в том ничего предосудительного, оправдывая свои злонамеренные действия научным экспериментом. Хорош эксперимент, но уже в области электрического тока, который, как всем известно, течѣт по проводам, когда не только девяностоквартирный дом, но и два подобных же, рядом стоящих, погружаются в крошечный ночной мрак». Именно вот такая открытость и подкупает, вызывает абсолютное доверие у каждого, кто читает этот роман, знакомится с этим литературным произведением, которое, что уж там скрывать, к своему пониманию требует определѣнной подготовленности со стороны читателя, является, несмотря на народную образность речи, весьма даже непростым, а в некоторых своих отступлениях так и вообще труднопонимаемым. Следует признать и другое... По всем признакам роман, «слеplенный» вот так, в виде кажущихся, как бы разрозненных историй, да и ещѣ вне хронологической канвы времени, где и абсолютный реализм, и гротеск, и мистицизм, и всё это в «одну кучу», как бы и не имел права быть вообще. Ведь непременно возникает вопрос, полный недоумения: «А что же автор подобной художественной эклектики всё же хотел сказать? К чему призывает, чему хочет научить? Он же не сумасшедший... Или...»

Тщательно проанализировав прочитанное, представленное мне в электронном виде автором, убедился в противоположном. Именно благодаря вот такому литературному приѣму, как ни парадоксально, смысловая составляющая целостности текста и представляется наиболее объѣмно. Более того... Смеею предположить, что подобного приѣма в художественной прозе, как у Мокаева Владимира, я пока ни у кого ещѣ не встречал. Кстати... В этом же ключе, то есть по конструктивной оригинальности, можно говорить и о его поэзии в целом.

Дуалистический подход к познанию мира нисколько не говорит, что автор в полной ли мере, но придерживается теории некоего религиозного

космополитизма. По его твёрдому убеждению, любая вера без плодов мертва. Дерево, не приносящее доброго плода, годится разве что в огонь... Закостенелый же церковный формализм, когда «второстепенное» выводится как наиглавнейшее, претит его убеждениям, воспринимается больше фарисейством. Над всем и вся, и даже над любой свободой мысли, должен главенствовать Нравственный Закон, тот непреходящий Закон, который так поразил Иммануила Канта, был назван им Моральным законом внутри нас, равным по масштабам своим с бездонным небом, полным звёзд.

7

Совершенно случайно узнал от Владимира, так как на эту тему мне и не приходило в голову с ним говорить, что иллюстрации к своему роману, избилующему всякими философскими отступлениями, в количестве почти шестидесяти рисунков выполнены им самолично. Не будучи, по сути, профессиональным рисовальщиком-графиком, он и в этом далеко не простом деле проявил себя с присущей ему неординарностью. При его беспощадной к самому себе критичности, бесконечном стремлении во всём к совершенству, к идеалу, а я-то уж знаю, о чём говорю, на это надо было ещё и решиться.

– Одно дело детские рисуночки к «Маленькому принцу» Антуана де Сент Экзюпери, художественные автографы Михаила Юрьевича Лермонтова и Александра Сергеевича Пушкина, оставленные на исписанных страничках рукописных черновиков, а другое дело, когда это сотворено мало кому известным Боборикую, – не без смущения оправдывается он, показывая мне свои уже подготовленные к печати рисунки.

Посмотрев с большим вниманием, а более того, любопытством все иллюстрации к его книге, был ещё сильнее ошеломлён. Именно так, а никак иначе, мне – человеку, пусть и не очень искущённому в графическом искусстве, они и представлялись. На мой взгляд, попадание просто стопроцентное, как по содержанию, так и по самому духу. Не нарочитый, а самый настоящий естественный примитивизм, точный акцент в отношении самой сути по содержательной части текста просто поразительны. Более чем уверен, не один правильно рисующий художник-график лучше бы и не справился.

– Понимаешь ли, Ефим, – задумчиво смотрит поверх своих очков, – мне думается, что в наскальном рисунке древнего художника, хотя

вряд ли он себя таковым и считал, кажущимся неумелым, не имеющим к искусству и малейшего касательства, кроется такая чудовищная мощь, что просто дух захватывает. А почему?.. – сам себе задаю вопрос, – да потому, что правдивее и не придумаешь. Поверь, старик, всем нутром чую: древний ваятель, произведя на свет эти фрески, уж ни капельки о себе не представлял: экий я талантище!.. Вот ведь в чём большая разница. Не было в нём и единой капельки гордыньки, как и у других, не имеющих подобного – зависти. Усёк разницу... Я ведь, – признаётся мне, – изначально и вообще не помышлял свои сказания как-то иллюстрировать. В издательстве, как это уж непременно случается, штатный художник, толком и не прочитав, на листике бумажки начертает нечто усреднённое, серенькое и непритязательное и с чувством исполненного долга на том и успокоится, – не без иронии говорит мне. – А тут... Ох уж эти проделки Иоакима Премудрого, вещающего из своих заповедий, то есть моего собственного подсознания, моим же внутренним голосом, – лукаво подмигивает мне, – взял да и выдал на-гора: «Боборика! Ты это чего... растерялся... Разве ты не есть самый настоящий художник?.. Вон как по деревьям разное и чудное ножичком можешь выстругивать, придумывать для самого себя, то есть для меня, музыку на собственные же стишки... А тут... Эк его одолели сомнения... На бумажках картинки нарисовать... Достань для этого дела разных карандашей, не забудь стирательную резиночку, мало ли где и что поправить, чтобы было не как у всех, а по-неправильному, и кулякай себе на здоровье свою сказку. И сколько раз можно говорить, что твоя самокритичность, этакий натуральный мазохизм и Достоевщина никогда до добра не доведут».

В этом месте, не сумев сдержать на лице деланой серьёзности, неожиданно подпрыгивает, хлопает в ладоши, да так заразительно, что и я совершенно нелепейшим образом принимаюсь всплёскивать руками и, как и он, весело смеяться, не замечая ни окружающих нас людей, ни своего весьма почтительного возраста.

Да, именно тогда подумалось мне, вот кто не по-показному, а по-настоящему свободный человек, творящий не волею научений, где уж непременно быть различного рода мудрым перепевам, а благодаря внутреннему зову любви. Вот кто достоин всякого подражательства в своём творчестве. Его новый автобиографический роман «Мальчик без времени», его удивительные по мысли стихи, потрясающие по красоте и исполнению художественные работы – от скульптур малой формы, холодного оружия до музыкальных инструментов, его, собственно говоря, авторская музыка разве не говорят сами за себя...

Хотелось бы верить, что каждый тонко мыслящий, ищущий свой след, Высшее Начало своё в бесконечном потоке времени, соприкоснувшись с этой книгой – новым романом Владимира Аллахбердиевича Мокаева, откроет для себя много и интересного, и познавательного, воскресит в своей памяти истинного ребёнка, посмотрит на окружающий мир совсем иным взглядом – чистым и ясным, скажет самому себе в сердце своём: «А ведь и действительно, роман-то придуман обо мне...»

С глубочайшим почтением
Ефим Новиков¹

¹*От составителя.*

Вступительная статья Е. А. Новикова к роману В. А. Мокаева «Мальчик без времени» по его согласию с несущественными поправками и дополнениями литературно-художественно отредактирована М. А. Кац.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1

Уважаемый читатель! Моя новая книга – роман «Мальчик без времени», по сути, есть продолжение ранее написанной автобиографической истории «Боборика», которая вышла в свет в 2012 г. в Нальчике и была напечатана издательством «Эльбрус». В связи с этим, не скрою... То ли из-за своей излишней самокритичности, а возможно, неуверенности – слабостях, так присущих мне, больше всего опасался, что роман, как я его замыслил, в определённых сложностях и хитросплетениях своего сюрреалистического жанра окажется труднопонимаемым, а хуже того – малоинтересным. К своему полному удовлетворению и даже неожиданной радости, опасения мои в большинстве своём не оправдались; первая серьёзная прозаическая книга в определённой, для меня, культурной среде читателей – людей, вдумчивых, философичных, наделённых чувством здорового юмора, а главное – тонко разбирающихся в особенностях художественного слова, оказалась востребованной; более того – обсуждаемой. Не скрою, именно этому кругу так близких мне по духу читателей книга и была адресована. И в этом, с удовольствием хочу отметить, я не обманулся. Именно они и восприняли роман так, как он мною задумывался; нашли время и позвонить, и даже встретиться со мною, чтобы выразить к тому свое искреннее и доброе отношение. Всё это не только утвердило меня в правильности литературного пути, его жанра, но и лишний раз доказало, что именно, как ни странно, серьёзным и вдумчивым людям присуще верить в то, что никак не может быть объяснимо с позиций самой рациональности, верить, подобно малым детям, в сказку. Тем же, кто потерял в себе ребёнка, а хуже того, ещё и отрёкшимся от него что же могу посоветовать?.. Оставаться от самой младости до скончания лет своих взрослыми, не признаваться и в глубокой старости: Господи!.. А ведь я, кажется, опять вернулся на круги своя, превратился в младенца малосмышлёного, увитого реденькими седыми волосиками; неужто, чтобы родиться заново, нужно подобно пшеничному зерну сначала умереть?..

Роман «Мальчик без времени», как и «Боборика», несмотря на автобиографическую сказочную содержательность, вынесенную мною из глубин несколько иного сознания, параллельно существующего с основным, а может, и наоборот, с какой стороны посмотреть, представленный, а скорее – явленный в виде чередующихся вне привычных нам хронологий времён небольших рассказиков-картинок, сложившихся неожиданно, так, как это случается с цветными мозаичными стёклышками

в калейдоскопе, увы, далеко не детский. Да... Он действительно пересказан от первого лица ребёнка – мною изложен со всею запредельной достоверностью, но... написан-то уже взрослым дядечкой... Тем дядечкой, что наделён опытом дней и лет прожитых, научен как всем порокам, так и добродетелям, отчасти утратившим в силу «мудрствующей» сомнительности самое тонкое, чистое и сокровенное, так присущее только и только маленьким, что ещё помнят нечто из предшествующих жизней своих, которое не нуждается в никаких доказательствах.

Открытому взору ребёнка чужд рассудительный опыт взрослых, он воспринимает мир таким, какой он и есть на самом деле, видит то, что за гранью разума великомудрых дядечек и тётечек, полагающих, что, уж кто-кто, а они-то и знают, и рассуждают по-правильному. В том и кроются многие противоречия в оценке, кажется, одного и того же мира между взрослыми и, хочу подчеркнуть – некоторыми «не совсем правильными» детьми, бесконечно удивляющими своими фантазиями, а по-другому – враками. Всякий умудренный временем и самую жизнь, вздумавший нарисовать воспоминания о детстве своём, ошибочно и думает, и предполагает, что всё это на самом деле так и было; пытается донести мировоззрение некогда бытующего в ином пространстве и времени самого себя, как это ему запечатлелось и запомнилось зримо и чувственно. Но... пишет-то он сейчас... А потому напрашивается вопрос: объективен ли он? Так ли всё это было на самом деле? Тогда как этот самый младенец, за исключением редких случаев, в связи с исключительной особенностью памяти давно как повзрослел, а возможно, и вовсе умер так никем и не понятый. Да, да!.. Умер... Надутый, важный и спесивый дядечка, наливаясь пунцовыми яблоками или бледнея белёною стеною, по всякому случаю, когда надо высказать свою зрелость, возмущённо гудит: «Не морочьте мне голову! Что я вам... ребёнок, что ли, какой?» Выходит, не без ехидства задаст вопрос занудный критик: роман о детстве, но не детский?.. Так, что ли?

– Да, – твёрдо отвечаю я, – написанную мною книгу никак нельзя признать книжкой для детишек – мальчиков и девочек описываемого мною возраста. Вот и всё. Более того, как ни покажется престранным, она далеко и не для каждого взрослого – такого умного, начитанного и мировоззренчески объёмного, аж до полной трёхмерности взглядов своих вселенских, возмнившего себя всезнающим, утвердившегося в своей значимости только потому, что вот так оброс годами, потучнел и чрезвычайно относительно малыша увеличился объёмом. Невольно приходит на ум екклезиастовское, перефразировав которое, можно сказать примерно то же, что и сказал величайший из мудрецов: количество

прожитых лет не есть основание считаться умным. Порою здравый отрок намного прозорливее седого, но глупого старца.

– Так к кому же обращена твоя писанина – твой роман, – весело всплеснёт руками скептик, вспыхнув осенними румянцами антоновки, – коли он недоступен разумению детишек, как и пониманию многих из взрослых?

Всем живущим не хлебом единым, не отрёкшимся от Высшего начала своего, имя которому – Ребёнок, не разуверившимся в реальных крыльях своих, дарованных каждому из явленных в этот мир самим Богом, тем, кто не научился мечтать светлою мечтою, не утратил веру в сказку как в одну из самых значимых реалий самой жизни, той жизни, которую при всём могуществе разума и неотделимой от него логики никто толком ещё не объяснил: Что она? Зачем она? Для каких целей она – эта жизнь, которая каждому, почему-то, даётся только один раз, пока не умрёшь. А там...

Каждому по его вере...

2

P.S.

– Заруби на носу и запомни – сказал мне некогда мудрейший из мудрейших из миров Иллюзий и Грёз домовый Иоаким Правдолюбец, – гляди в оба... Есть такая закономерность... Чем более некоторые из человек пытаются представить себя во всём свете своей серьёзности, а их большинство, тем более они смехотворны и комедийны. Наблюдал ли когда, как шарик, раскрашенный всеми оттенками радуги, ветер гонит по пыльной мостовой, прижимает к земле, не даёт взлететь в голубые бездонные небеса? Оказывается, и полёт полёту рознь... Человек, отказавший себе в искренности улыбки своей, бегущий от смеха товарищей, намеренно отрехнувшийся от весёлости духа своего и самокритичности, – не просто глуп, а безнадежно глуп. Назови хоть одного истинного мудреца-философа, которого не назвали бы шутком гороховым?... А почему? Найди сам ответ на этот вопрос – многое откроется в ином свете.

И задумался я крепко-крепко, и осенился изнутри светом несказанной радости, услышал голос – тихий и проникновенный, обращённый ко мне, ныне бытующему, голос своего детства, услышал: «Боборика! Живи и радуйся... Отбрось всякие сомнения, так присущие только взрослым, вспоминай и записывай карандашиком на клочочках бумажек свою историю, как есть, записывай. Гордись! Ведь тебе уже всё можно; ты самый настоящий, самый наизаправдашний Честный Сумасшедший Человек. Пиши, Боборика!»

Глава 1. ВИННАЯ ЯГОДА

1

Родился я на Южном Урале в селе Курьи, что расположено вдоль реки Пышмы не далее как в ста километрах от Свердловска, ныне переименованного на Екатеринбург. Явление моё этому свету, скорее, было для моих просвещённых родителей неожиданностью – хотели девочку (сестричку старшему на два годика братику Валерику), свершилось же всё несколько иначе. Нас появилось двое... Вряд ли подобные неожиданные обстоятельства особо обрадовали родителей, но, что поделаешь, факт остаётся фактом, человек предполагает – Господь располагает... Непостижимы дела твои, Господи... Итак, 27 марта 1950 года в мире на одного Владимира и на одну Татьяну стало больше при том же количестве хлеба.

Приметы последней Великой и страшной губительной войны представлялись столь очевидными, что буквально во всём чувствовался материальный недостаток. Современному молодому человеку трудно сейчас представить, что хлеб, соль, сахар, не говоря уже о керосине, обыкновенной хлопчатобумажной материи, простой одежде и обуви, могут быть строго лимитированы, иметь для жизни весьма весомую составляющую. И хотя самого Урала война как бы напрямую не затронула своими разрушительными бомбёжками, пожарами и голодом, по лицам, по разговорам, особым манерам общения, по одежде, когда чуть ли не большая половина взрослых мужчин, да и не только, за неимением другой одежды ходила в армейских гимнастёрках и брюках галифе, в кирзовых сапогах, в холодное же время – в шинелях, бушлатах и военных шапках-ушанках, увенчанных красноармейскими пятиконечными алыми эмалевыми звёздочками, по бледным и изнурённым лицам, особой жилистой худобе было видно, что многим из них пришлось с лихвою понюхать пороху, хватило этого лиха на полную катушку.

2

Конец марта выдался не по-весеннему морозным. На подтаявший уже было снег вновь навалило сугробов, с завыванием завьюжило колючей позёмкой. Роддом находился в районном центре небольшого тогда городка под безоблачным названием Сухой Лог, километров в шести, если по прямой, от нашего села с ещё более чудным названием – Курьи. И если географическое название первого как-то объяснялось – особыми климатическими условиями: дескать, ветру в этих местах дуть вздумалось не как в остальных окрестностях, а по-особенному, отчего кругом дожди, а в Сухом Логу сухо; то что обозначает это самое слово «курьи»,

которым названо наше село, и почему оно так названо, для меня остаётся неразъяснённым и доселе. Есть, правда, сомнительная доморощенная версия, что, дескать, когда-то, в давние времена, из смолы хвойных деревьев, которых здесь в большом изобилии – настоящая тайга, выкуривали дёготь и скипидар, а возможно... А почему бы и нет – в период строгой монополии государства на водку подпольно из браги выгоняли белое вино – то бишь самогон. Есть и ещё более сказочная версия, которая сама собою придумалась в моей голове, когда я был ещё совсем-совсем маленьким. Слушайте...

3

Некогда, давным-давно, не менее как лет триста с хвостиком назад, на этом самом месте, где сейчас располагаются нынешние Курьи, в глухих и тёмных дебрях непроходимого леса, прямо посередочке топкого болота, на малюсеньком сухом островочке в своей чудной избушке на курьих ножках проживала Баба Яга. Избушка была настолько самовольнолюбивой и баловливой, что частенько, как на то выдавался удобный случай, без всякого спросу взлетала в небо, там, на волюшке, начинала выделывать чёрт знает что, куролесить, вертеть немыслимые кульбиты, громко, на всю округу, сквернословить. А однажды, взгромоздившись на тучке, учудилась швыряться вниз, кому попади, горшками да глиняными плосками; чуть насмерть не зашибла чмо болотную – Кикимору, что, ничего не подозревая, на зелёной ромашковой лужайке мирно беседовала о делах насущных с Лешим. Скандалище получился жутким. С тех пор, прежде чем куда удалиться, Баба Яга придумала привязывать крепкой конопляной верёвочкой ножки избушки к кряжистому дубовому пню, тому самому пню, на месте которого ранее возвышалось громадное дерево, собственноручно спиленное сгоряча ввиду случившейся ссоры с Горынычем, что так любил в его густой кроне вольно разлечься и, глядя в ночное звёздное небо, пофилософствовать.

Но однажды, когда Баба Яга, крепко привязав избушку, улетела в своей ступе в гости к Кощею Бессмертному, неожиданно на болоте случился пожар. Среди ясного дня прилетела сухая молния и жажнула в торфяник. Он и зашаял... Дымище!.. От такого Божьего страха, дабы заживо не погореть, избушка предпочла остаться без своих курьих ног; рванула в небеса, только и поминай...

А далее...

– Чьи это ножищи? – спрашивает лесной мужик своего товарища, указывая на две преогромные птичьи лапы, валяющиеся на земле возле могоучего пня, привязанные к нему крепкою верёвкой.

– Да, почитай, если мыслить по-правильному да по-сурьезному, – чешет затылок другой мужик, глядя, не без страха, на гигантские и когтистые лапища со скрюченными пальцами, – никак, курьи...

– Быть на этом месте, – торжественно произнёс первый, – человеческому поселению под названием Курьи.

Вот такая сказка придумалась в моей глупой голове, когда я был совсем-совсем маленьким.

4

На школьной мохноногой лошадке, запряжённой в открытый крестьянский возок – узкий, но для большей вместимости растопыренный по обоим бокам подобием крыльев из жердей, меня с сестрёнкой и нашу маму, укутанных в толстое одеяло, для надёжности присыпанных сеном, отец, не доверяя никому, сам привёз из районной больницы. Мог бы попросить и привычного к тому конноха, так как возница, признаться, из него был никудышный; на крутых, засыпанных сугробами ухабах и рытвинах мог запросто и опрокинуть, что в дальнейшем не раз и случалось, пришлось испытать на своей личной теплолюбивой шкуре огнепоклонника, кой предсуществовал во мне, кажется, от самых допотопных начал. Как вспоминала мама, отцу почему-то в тот торжественный момент не очень желалось излишнего внимания селян, а потому при въезде в деревню он выбрал самый окольный и неудобный путь; свернув с главной дороги, подкатил со стороны задов, где простиралось заснеженное и скованное льдом опасное болото, которое в некоторых потаённых и самых неожиданных местах не замерзло и в самую лютую сорокоградусную стужу. Сей как бы малозначительный факт – сретение с отчим домом, но не с парадной стороны храма, а со стороны топи, где уж точно как-то должна водиться нечистая сила, послужил мистическим прологом грядущих в нашей жизни событий – странных и малообъяснимых с точки зрения торжествующего материалистического опыта, исходящего из основ аж самого Научного Коммунизма. В цепи причин и следствий, зиждящихся на неуклонных и железных логиках материализма, как бы вопреки им, пусть на самую тютельку, но был приоткрыт нам мир совершенно иной, которому, как и Богу, и вправе существовать-то было отказано, ибо это совершенно никак не согласовывалось с общепринятой доктриной, гласящей примитивно, но воинствующе: Бога нет! И это есть неопровержимый факт, не нуждающийся и в доказательствах для тех, кто наделён самою элементарной разумностью. – Где он, этот самый ваш Бог? Покажите его нам!.. Может, и мы уверуем... В общем, совсем как у чеховского героя в его письме к учёному соседу: этого не может быть потому, что не может быть никогда.

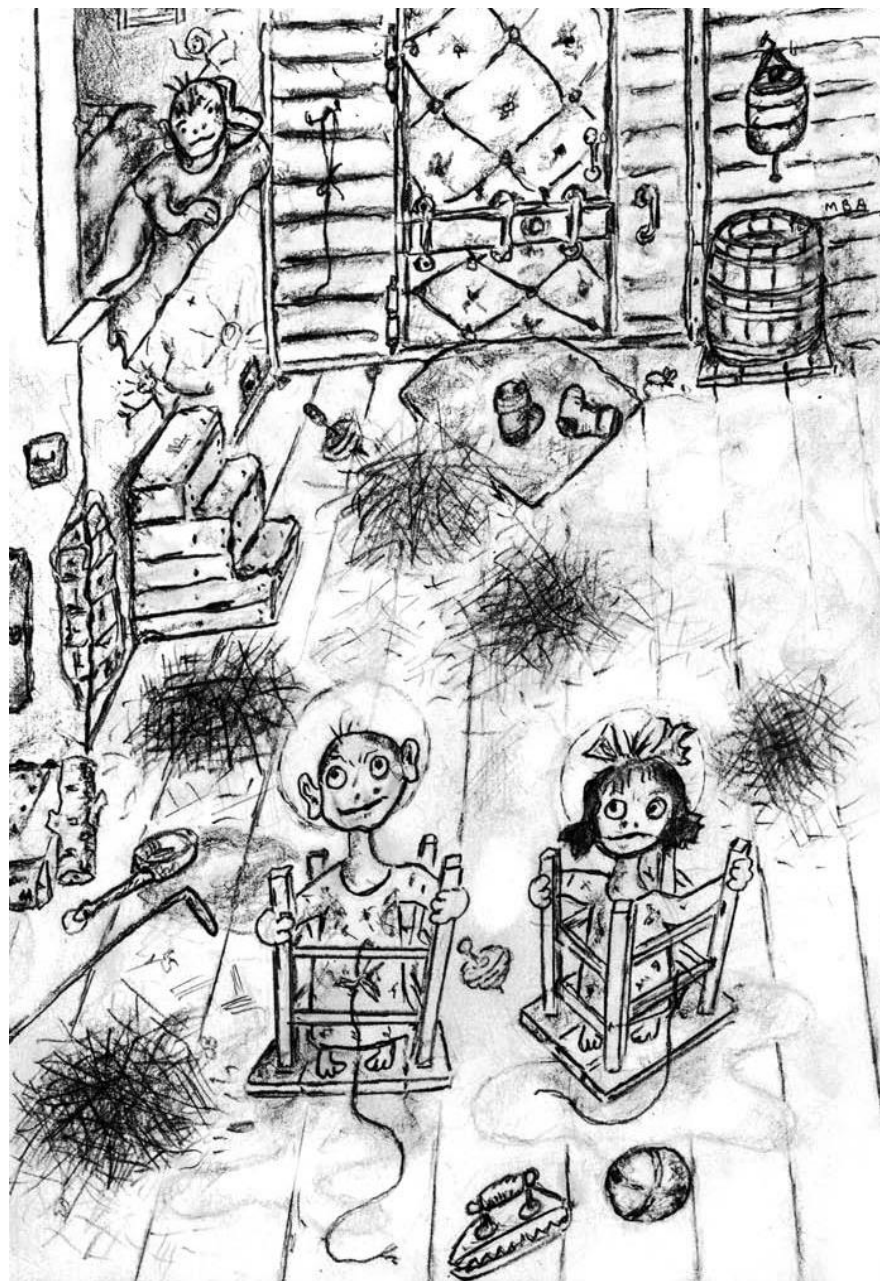
Первые же минуты пребывания нашего в стенах родительского храма – деревенской рубленой избе, жарко натопленной по случаю встречи с двумя единоутробными младенцами, для сестрички моей чуть не закончились самым фатальным образом. Туго запеленованных, нас, в рядочек, положили поперёк огромного кожаного дивана с двумя откидными валиками по бокам, положили, дабы перевести дух на самую тютельку минутки, и, как это по обыкновению случается в девяносто пяти из ста случаев с людьми, чрезвычайно взволнованными, а родители на тот момент были именно такими, тут же на эту самую тютельку минутки и позабыли. Старший братик Валерик, которому на то время было всего два годика, решил познакомиться с нами поближе, выразить свои личные признания, а может, пользуясь моментом, кое о чём и предупредить, схватил Танюшку за ножки и стал тащить на себя. Буквально в последнее мгновение, когда и лежать-то осталось одной голове, совершенно невероятным образом бабушка успела вовремя подхватить драгоценный свёрточек за уголок простынки, предотвратить самое ужасное. Ведь и представить даже страшно, каковы могли бы случиться последствия: новорождённая лялечка да со всего маху затылочком об пол с высокого дивана. . . Несмотря на обстоятельную беседу, которую только можно с педагогической точки зрения провести с хулиганом столь юного возраста, он и впоследствии не раз предпринимал акты физического насилия к совсем беззащитной сестричке, да и ко мне, как бы ревнуя, что нас двое и мы умеем разговаривать между собою на понятном нам одним языке, смысл которого, в силу своего двухлетнего возраста, он уже успел позабыть, и что он уже далеко не самый главный и любимый в этой семье, как это было совсем ещё недавно. Так, однажды, когда Танюшка заплакала, он решил успокоить её при помощи деревянной игрушечной шарманки, той шарманки, которая переливается дребезжащим голоском в четыре нотки, если её начать крутить за маленькую ручку. Магические звуки, исходящие из деревянного музыкального орудия, на сестричку не произвели желаемого впечатления, пришлось прибегнуть к методам физического воздействия. И в этот раз, не подоспей мама вовремя, если это «вовремя» уместно в данном случае, всё это, как и в первом случае, могло закончиться самым плачевным образом. И личико, и носик распухли; мама, бабашка и зашедшая на минуточку соседка баба Даря – Дарья Ивановна горько проливали слёзы, склонившись над бедненькой моей сестрёночкой – моей половиночкой, плакал я; старший братик также плакал, трагически приговаривая: «Танюся пласет, блатик пласет, мама плакает, баба пласет. . . И я пласю. . . Все пласють. . .» Надо признаться, пацаном он был удивительно смышлёным, наделённым

от природы великолепной памятью и самую необузданной фантазией. Откуда всё это у него?.. В свои неполные четыре годика он устроил мне с сестрёнкой нечто, что нормальным, его возраста разумом и объять-то невозможно; устроил настоящие суровые испытания студёною ключевою водою. И надо отдать должное нашей воле и мужеству, хотя мы и дрожали, да так, что зуб на зуб не попадал, невзгоды, лившиеся потоком на наши головы, стоически вынесли. Учитывая, что нам не было и полных двух годиков, случай из рода уникальных, полезный и замечательный для тех, кто серьёзно и научно занят проблемами изучения детской психики, кто способен искренне изумиться неограниченным возможностям, замечу, не взрослого, а малой лялечки к сдерживанию внутри себя всего того, что непременно, по определению седобровых проницательных психиатров, должно вызвать естественную реакцию организма, проявленную – страхом, криком, плачем. Хотел бы заметить, по праву своему заметить, ведь испытуемым был я, не просто к сдерживанию этой муки, а осознанной сдерживаемости, что, согласитесь, не одно и то же. И это... при жизненном опыте менее чем в два годика. Как вам это всё...

5

Бабушки, на то время, которое я описываю, у нас давным-давно как уже не было. Едва и три месяца не исполнилось, когда она, толком не попрощавшись, покинула этот грешный мир: спешила побыстрее встретиться с убиенными на войне сыновьями – Мишенькой, Андрюшей и Серафимушкой, умершим от великой кручинушки мужем Иваном, всеми теми – родными и близкими, коих Господь, по милости Своей, схоронил для будущих времён прежде. Сам видел... Махнула на прощание белым платочком, с радостной улыбкой лёгким призрачным столпом растаяла в дрожащем жарком мареве над колхозным полем с зацветшими кустами картофеля.

В тот же зимний вечер совсем ещё молодые родители, в связи с назначенным на это время педагогическим советом, вынуждены были на некоторое время оставить меня и мою сестрёнку на попечение старшего брата, которого как самого главного и самого ответственного над нами следовало неукоснительно слушаться, подчиняться ему во всём. Январь. Погода стояла самая зимняя, вьюжная и студёная. Внутри стёкла окон в избе покрылись причудливыми морозными рисунками. От входной двери, обитой коричневым обшарпанным дерматином, бугристой и кособрюхой от слежавшейся ваты, несло лютым холодом, да так, что и снизу, и с боков она сплошь покрывалась мохнатым инеем. Стоящая



рядом большая деревянная кадка с питьевой водой, которую каждый день папа пополнял, сверху покрылась тонюсенькою корочкою льда; от неё, как и от окна, веяло стужей и какой-то необъяснимой мокрой тоской,

которая почему-то всегда случается, когда заглядываешь в глубокую ледяную прорубь или разошедшуюся трещинами полынью. На русской же печи, засланной к тому же ещё и старой отцовской дохой из собачьего меха вверх шерстью, было и тепло, и уютно, и сладостно-дрёмно.

Что есть из себя море и какое оно – это самое море, да и ещё усеянное зелёными островами, на которых изобильно растут пальмы, скачут обезьяны и на все голоса вопят говорящие попугаи, мы с сестрёнкой в силу совсем молодого возраста, уж конечно, не только не знали, но даже наверняка и представить не могли. Старший же брат в этом отношении был гораздо нас просвещённый. Педагогические усилия родителей к

развитию в нём художественного образного мышления не пропали даром, дали свои буйные побеги, вселили оптимистические надежды, что уже в недалёком будущем на одного великого философа, поэта или художника, на худой конец, в этом мире прибавится. Прочитанные ему на сон грядущий книжки, по всей вероятности, так будоражили всё его замечательное естество, так воспламеняли в нём умственные фантазии, что он, в буквальном смысле, рвался в бой, не соизмеряя своего возраста,

силёнок своих, пытался обуздать то коня, то бодучего бородатого козла, залезть в оцинкованное ведро и сброситься в нём в холодную бездну колодца, вскарабкаться на угловую полку, на которой бабушка собирала пасхальные яйца, и оттуда произвести ими бомбардировку всей избы, не выпустив из внимания и бедную кошку. Не знаю, что там ему накануне прочитали родители, но, почувяв себя над нами командиром, а это, что ни говорите, власть, представив себя настоящим морским волком – капитаном боевой пиратской каравеллы, творчески воспламенился, самым натуральнейшим образом стал на нас – глупых и необразованных несмыслёнщиках, воплощать свои буйные фантазии. Не ведающим и

духом, что есть море, совсем несложно объяснить, что корабль – это та же деревянная табуретка, только перевёрнутая вверх ножками, на которой и нужно плавать по этому неведомому синему и сказочному морю. Ясное дело, представлялось нам, перевёрнутое вверх тормашками знакомое деревянное изделие – это уже не оно, а нечто другое. И коли старший брат авторитетно назвал такую табуретку кораблём, то что уж там рассуждать... Чем это не настоящий боевой корабль. Распотрошив большой мешок с соломой, непонятно зачем хранившийся на полатях, брат, терзаемый творческим зудом – чувством въедливым и горделивым,

так знакомым всякому придумщику, принялся из этой самой соломы

сооружать по всей избе острова, как большие, так и малые. Поставив меня с сестрёнкой в перевёрнутые кухонные табуреты, обильно выкрашенные масляной краской в небесно-голубой цвет, внушил нам, что мы матросы – храбрые моряки, плывущие по бурному штормовому морю, а он – наш капитан. Одетые в одинаковые фланелевые рубашонки – розовенькие в маленький зелёный цветочек и длиною до самых пят, так мало похожие на суровые матросские робы, босиком, крепко схватившись за гранёные деревянные ножки ручонками, мы что есть мочи гудели, пускали брызгами слюнки, всячески старались раскачивать под собою свои боевые корабли, дабы представлялось, что это от действия волн. Но, как известно, вдохновению нет конца. Не удовлетворившись только такой театральной картинкою, для полной натуралистической наглядности Валерик стал нас обливать студёною морскою водою. Зачерпнёт оловянным ковшиком из бочки ледяной водицы и... и на голову. Зачерпнёт с хрустальной ледяною корочкой, да попопнее и... и на макушечку. Как сейчас помню, что от каждой такой процедуры совершенно перехватывало дыхание, зубы, как от малярной лихоманки, начинали дробно выстукивать, а тело трястись в мелком ознобе. Мы стоически терпели, полагая, что за наше послушание и наше мужество перед родителями, уж непременно, он нас похвалит и нам дадут по кусочку колотого сахара. Нечаянно облившись и сам, залез на русскую печь, нарочито басовитым голосом стал командовать оттуда: «Лево руля!.. Право руля!.. Отдать шкоттики, поднять паруса, якоря поднять... Полный вперёд!» Как рассказывала потом мама, отец по дороге назад случайно встретился с товарищем и они разговорились. Сама же с соседкой-учительницей заспешила домой. То, что представилось их зрению, не поддаётся никакому описанию. Мы с сестричкой, босоногие, мокрые до последней ниточки, трясущиеся и синие, прыгаем с острова на остров, старший брат, подобно коту, дремлет на печи. На мокром полу полнейшее художественное безобразие: обрывки разноцветных ремков¹ – где он их только раздобыл, – старые валенки, пучки соломы, чугунный допотопный бабушкин утюг, работающий на дровяных углях, а на одном из островов древняя и позеленевшая скульптурка медного идола. Даже домовые, проживающие за печью, которые по обыкновению своему, когда родителей не было дома, принимались шкродить, и те враз исчезали, как бы опасаясь, что за подобный кавардак всё свалят на них.

¹*Ремки* – разноцветные полоски ткани, как правило, поношенной материи, из которой эти полоски и «надирали», используемые как материал для выделывания домотканых половиков, ковриков и т. д. (автор.)

Пока мама спешно натирала нас водкой, укутывала в шерстяную тёплую рухлядь, укладывала на печи в самое горячее место возле трубы, зашедшая на минутку, из вежливости, учительница носилась по избе как угорелая, скорее убирала с глаз вон мокрую солому, распахивала куда попало валяющиеся на полу разные вещи, старым ремковым ковриком вытирала насухо полы. И всё это ради того, чтобы, не дай Господь, папа – директор школы, не увидел. К приходу отца в доме уже был наведён относительный порядок, полы влажно блестели, медный божок, хитро прищулив азиатские глаза, восседал на подоконнике, рядом с ним, ощерившись зубастой пастью, покоился допотопный чугунный утюг с преогромной деревянной ручкою.

– А что это так вкусно водкою пахнет? – с удивлением и с самого порога спрашивает он, с подозрением всматриваясь в ещё влажный пол.

– Хотели сюрприз устроить, Александр Тимофеевич (так на Урале называли отца, так как выучить наизусть это самое, басурманское – Аллахберди Тенгизович ну никак ни у кого не получалось), – быстро находится Анастасия Гавриловна, – да вот... поллитровка возьми да нечаянно разбейся.

– Жа-а-а-ль, – не без огорчения тянет отец.

Валерик притворяется крепко спящим. Пронесло...

6

В год и девять месяцев от рождения нашего Господь попустил Искушающего испытать меня и сестрёночку мою единоутробную холодом, брата – созерцанием. Я стал ярым огнепоклонником, любителем всякого хмеля, в плодах которого восторженные иллюзии миров запредельных, крылатые очарования несбыточных снов, звенящие струны арф, томные и тягучие вздохи похоронных флейт и барабанов. Сестричка же моя обрела ясную земную мудрость, великое человеколюбие, стоическую правду избранного пути – стезю добровольного послушничества, кроткую твёрдость в делах милостивых. Братику через сё испытание выпал двойной крест, в коем и тайного и явного поровну: и сознательного, и отречённого, и звучащего, и молчаливого, и участного, и безучастного. Всего поровну. Большими знаниями о многом накопился. Тайны души его остались – его тайнами, смыслы избранных ему снов – его смыслами, и пути к Богу для нас – мраком. Из нас троих он призван первым. Уже тогда мне, впервые, открылась простая истина: счастье – это когда тепло и пахнет райской винной ягодой. Прости меня, Господи...

Глава 2. ЗАВЕДЁННЫЕ ЧАСИКИ И БЕЛЫЕ ПТИЧКИ

По всему дому расточается аппетитный дух свежеиспечённых картофельных шанежек. Мама только что закончила выпекать разные вкусные штукорины из теста, рядочками уложила ещё горячие калачи, шанежки и рыбный пирог на специальную широкую дощечку, сверху всё это прикрыла чистой тряпицей. Зев русской печи, полукруглый, без чёрной жестяной заслонки, такой улыбчивый и радостный, меня – огнепоклонника, притягивает словно магнит. Берёзовые полешки почти что прогорели, превратились в россыпь мерцающих рубинами углей; красиво до ужаса. Громадной, для своего малого росточка, железной кочергой – сплошь закоптелой и кривой, пытаюсь подтянуть к себе самую большую головёшку, которой захотелось спрятаться от огня, зарывшись по самую грудь в серой золе. Не без труда это мне удаётся. Оказавшись на поверхности, она тут же ярко вспыхивает, с писком и шипением начинает извергать из себя синеватые языки пламени, но уже через минуту неожиданно трескается, осыпаясь роем искр, разваливается на несколько кусков.

Домовёнок, взобравшись на полукруглую деревянную полочку, устроенную в самом углу комнаты, внимательно и не без любопытства наблюдает за моими неумелыми действиями, скребёт шерстистой лапкой затылок, что-то быстро лопочет на своём тарабарском языке. Невесть и откуда, словно из сумрачной пустоты, рядом с ним стучится ещё один потусторонний житель угла. Проявившись окончательно, с неподдельным удивлением озирается вокруг себя, вопросительно смотрит на приятеля, разводит ручками и пожимает плечиками, как бы вопрошая: «Куда это меня, братец, занесло?» Весь рыженький, с кругленькой мордашкой, в соломенной шляпке с продранной насквозь верхом, льняной невыбеленной рубахе-косоворотке, сплошь выпачканной сажей, словно он проник в этот мир через печную трубу, в подшитых на задниках кожей коротеньких светлой фетры валеночках, вовнутрь которых заправлены серые в тёмную полосочку штанишки с несоизмеримо большими цветастыми заплатками на коленках, он представлялся существом весьма примечательным и необыкновенным. Быстро перебросившись между собою коротенькими фразами, потеряв ко мне всякий интерес, с великим вниманием принимаются рассматривать внушительных размеров карманные часы – луковицу с крученой цепочкой, непонятно откуда и как вдруг взявшейся. Тускло отсвечивающий старинным серебром брегет – пузатенький и с откидывающейся резной крышечкой, вздрогнув, сухо щёлкает, принимается тоненько по-комариному дзынькать, подобно малюсенькой пустой хрустальной рюмочке, если по ней несильно больно ударить карандашиком. Разом подскочив, домовые пускаются прыгать

и кувыркаться, показывать мне язык, выкраивать по-разному рожицы, которые и без этого – нарочно не придумаешь; в общем, вести себя крайне неприлично и даже вызывающе.

Угловая деревянная полочка с низеньким по кругу бортиком ранее была предназначена для хранения пасхальных яиц, которые специально для того заранее накапливались к кануну Светлого Христова Воскресения. В самом углу, чуть выше, над ней висела на гвоздичке иконка Казанской Божьей Матушки. Но это было ещё тогда, когда нас с сестрёнкой и в помине не было. Мама рассказывала, как наш братик Валерик, которому тогда не исполнилось и двух годиков, каким-то невообразимым образом взобрался наверх лёгкой книжной этажерки, которую бабушка принесла на кухню специально, чтобы отмыть от случайно пролившихся чернил, пролитых им же, потом, несмотря на то что хлипкое, плетённое из ивового прута изделие мебелиной артели умельцев гнулось, качалось и скрипело, грозясь опрокинуться, умудрился с неё вскарабкаться на пасхальную полочку и на глазах оцепеневшей от ужаса старушки все ею накопленные яйца перекидать на пол. По всей вероятности, уже тогда им были приняты первые неосознанные действия – действия материалиста-хулигана в борьбе с так называемыми религиозными предрассудками, которые, по твёрдому убеждению марксистов, опиум для народов.

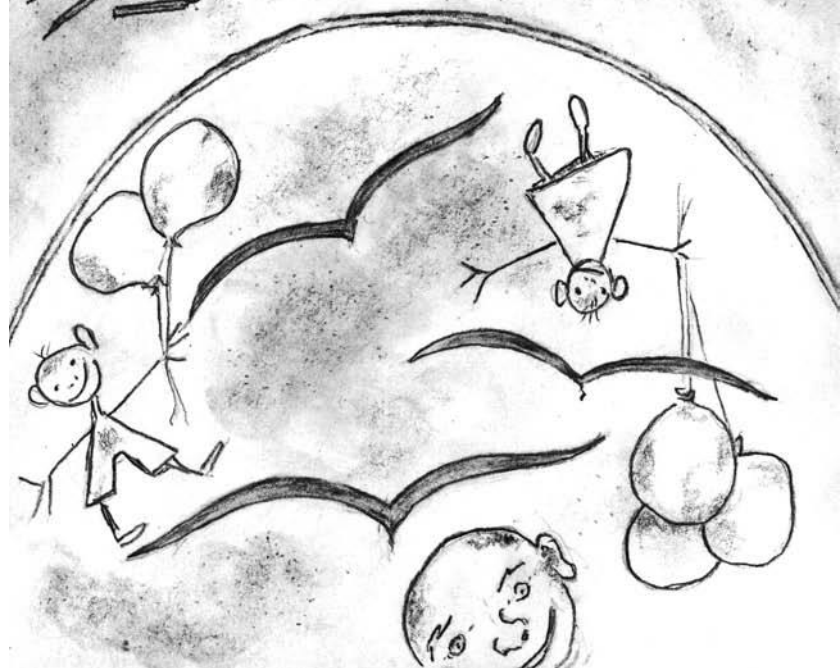
– Горим! – кричит дурным голосом домовой, что в продранной соломенной шляпке, семена быстро своими ножками, обутыми в жёлтые валеночки, указывая волосатую ручонкою куда-то вниз.

– Олух царя небесного! – следом вопит его товарищ, прижимая драгоценные часы, непомерно великие для его росточка, к груди. – Ведь, как есть, спалит избу изверг паршивый. Так и есть, горим! Спасайся!..

На полу возле стола, где уютно разлётся цветастый ремковый коврик, прямо по нему дымными змейками разбегаются огоньки, едко и удушливо пахнет хлопчатобумажною тряпичною гарью. Бросив раскалённую докрасна железную кочергу в зев печи, стремительно несусь в смежную комнату, ныряю под спасительную кровать, забиваюсь в самый угол. В соседней комнате что-то с грохотом и шипением падает на пол. С душераздирающим мяуканьем мимо пробегает кошка Машка. Слышу, как следом тут же глухо дукает стеклом оконная форточка. Тишина...

– Вова! Вова! Ты где? – доносится откуда-то сверху, как с неба, взволнованный голос папы.

Видны его ноги в грязных от навоза резиновых сапогах. Железная кровать сама по себе неожиданно отъезжает от стены, сквозь образовавшуюся широкую щель сильные папины руки буквально выхватывают



меня из моего спасительного закуточка, крепко прижимают к груди с гулко и тревожно бьющимся сердцем, куда-то стремительно несут. Сквозь глаза, плотно закрытые ужасом, вижу, словно наяву, как по водной глади носятся огненные всполохи пылающих парусов, дымными кровавыми ракетами с высоченных мачт, уносящихся, кажется, к самым звёздным небесам, падают вниз обрывки такелажа, деревянные катушки натяжных блоков, роящиеся снопы искр. Следом страшный грохот. Сорвавшейся от сильного крена палубы медной пушкой напрочь проламывает правый фальшборт. Бледная от ужаса луна с шипением раскалённой добела железяки скрывается в морской пучине. В чёрные небеса с ужасающим рёвом врываются струи пара. Всё... Конец...

– Вовка! – что есть силы и прямо на ухо кричит Валерка. – Ты зачем спрятал себя под кровать? Совершил геройский поступок, а сам спрятался...

– Как ты догадался? – восторженно трясёт меня за плечи папа. – Молодец, что не сробел... Взял и опрокинул самовар куда надо. В самое правильное место опрокинул. Берите пример хладнокровию и мужеству, – назидательно обращается к сестре и брату, по очереди ощупывающим меня, словно и не веря своим глазам, что это я, а никто другой.

– Уму непостижимо, – волнуется мама, – ведёрный самовар со стола на пол сдёрнуть. И не это даже... Не растеряться в нужный момент... Кто бы мог подумать, что ты у нас настоящий герой...

– Это оно само так запалилось, – оправдываюсь спешно я, – стрельнуло из печки искрами и зашаяло от угольков. Я только кочергою пошурудил чуть-чуть, я понарошке и не думал поджигать. И самовар не спихивал на пол и не сгибал. Он сам, наверное, со страху спрыгнул со стола и помялся, где бочок, – показываю я на валяющийся самовар пальчиком. – А скорее всего, его так наши маленькие волшебники опрокинули, которые на полочке, где яички, сидят и по-разному дразнятся. А в нашу кошку Машку бусинками и всякими мелкими штуковинками, вроде кривых гвоздичков и охотничьих пулек, бросаются, чтобы она их пуще боялась и нервничала.

– О чём это он? – с тревогой в голосе тихо спрашивает мама, вопросительно глядя на папу. – Какие такие маленькие волшебники на полочке, где яички?.. Бусинки-гвоздички...

– А это что? – с изумлением спрашивает папа, поднимая с мокрого пола старинные серебряные часы с цепочкой. – Они-то как тут оказались? – смотрит почему-то на меня.

– Что за чертовщина, – округляет глаза мама, – первый раз в жизни такие вижу, не с неба же они свалились...

– А это, папочка, – захлёбываюсь я, – часики настоящих, но игрушечных дядечек, чтобы они танцевали и кувыркалились под их дзыньканье и умели разговаривать, но не как кошки, которые только и знают, что мяукают да мурлычут, а по самому настоящему, по-человечьему, как мы, и на разные голоса, даже самыми толстыми-претолстыми. И Танечка видела, и наша кошка, и даже деда Сёма. Но он почему-то так испугался, что стал рукою по-разному махать вокруг головы и тыкать пальчиками по лбу. Они как увидели это, то сразу же в мамином горшочке и попрятались всею гурьбою; провалились по-секретному сквозь донышко. Нарочно с Танюшей проверяли – пусто... Правда ведь, Таня...

Неожиданно под крышечкой часов сухо щёлкает, да так, что папа чуть их не роняет из рук, бригет протяжно дзынькает несколько раз, но тут же и замолкает.

– Работают, – с удовлетворением замечает папа, прижимая часы к уху, прислушиваясь к их ходу, делая нам рукою, чтобы мы не шумели. Прижав сбоку круглого корпуса часов малюсенькую кнопочку, отчего верхняя резная крышечка бесшумно отскакивает, по расположению стрелочек сверяет их ход со своими ручными часами «Победа».

– Нда-а-а, – тянет он, – ходят-то ходят, но уж больно отстают... На целых два часа и почти с половиной. Вовка! – лукаво косится на меня, – я ведь знаю, какой ты у нас придумщик, где выкопал, признавайся...

– Папочка, – горячо оправдываюсь я и почему-то принимаюсь краснеть, – это они их нечаянно впопыхах забыли! А кто такой этот олух царя небесного? А ещё изверг...

Отец с матерью молча и вопросительно смотрят друг на друга.

– А часики совсем не мои и даже не наши. Иначе разве бы мы их не узнали в лицо?

Аргумент мой настолько убедителен, что родители опять переглядываются.

– Ты же сам говорил с мамой, – не успокаиваюсь я, – что чужое, даже если нашёл на дороге, присваивать стыдно и нехорошо.

Отец, ничего неговоря, смущённо вешает часики цепочкой на гвоздик, на тот гвоздичек, на котором покоилась бабушкина иконка Казанской Божьей Матушки, когда нас с сестричкою совсем ещё не было здесь, потому что там, откуда мы прилетели, все люди похожи на беленьких птичек, но только говорящих, умеющих быстро-быстро летать туда, куда захочется, даже без всяких крыльев. Наутро часов на гвоздике не оказалось. На полочке, в том самом месте, над которым они висели на своей серебряной витой цепочке, возвышалась приличная кучка сухого речного песка, на самой вершине которой покоилось маленькое белое яичко

величиной с воробьиное. Мама с папой недоумённо пожали плечами, песочек вместе с яичком маленьким веничком замели в совок, высыпали на улицу за окно и тут же всё позабыли. И про вчерашние часы, и про чуть не случившийся большой пожар, и про вмятину на боку тульского самовара, про меня – спасителя... Всё позабыли. И мама забыла, и брат Валера... А всё потому, что был старше нас и гораздо умнее. Я поныне помню, и, наверное, сестрёнка Татьяна, может быть.

Глава 3. КРЫЛАТЫЙ КОВЧЕГ

Год 1953. Зима на Урале в Свердловской области выдалась на редкость суровой. С высоких сугробов, возвышающихся вдоль обочины дороги, почти синих, в свете только что взошедшей вечерней луны ветер срывает колючую позёмку, несёт, вращая её, по улице, с тонким звоном швыряется в ставни окон, млечным вихрем уносит в унылые холодные поля. Пышма в некоторых местах своего разлива промёрзла до самого дна, снежным покровом слилась с противоположащими берегами в единое. Непосвященному человеку и не пришло бы в голову, что он едет на визжащих от морозного снега санях не по полю, а по замерзшей и заснеженной реке и что ранее в этом самом месте, по которому он так безопасно путешествует в своих розвальнях, летом рыбаки удили рыбу, а в самую жару пацаны ныряли с торчащей из воды коряги, на спор, кто быстрее, плыли к противоположному берегу.

Коровник, примыкающий к самому сеновалу с задней стороны дома и где проживала наша Сонька, пришлось срочно утеплять. Возле глухой стены, там, где обычно она спит, папа прямо на пол уложил дополнительно широкие сосновые доски, сверху толстый слой соломы. Все щели, чтобы не дуло и, не дай Бог, корова случаем не захворала, законопатили старым тряпьем, а потом ещё и паклей, про которую папа забыл, что она в достатке хранилась на чердаке дома. Ветхую входную дверь из неплотно подогнанных досточек с торчащими наружу ржавыми криво загнутыми гвоздями утеплили старым ватным одеялом, поверх которого натянули и прибили ещё и цветастую клеёнку, которую папа, не без сомнений, взял, не спросив разрешения у мамы.

– Саша! – взволнованно упрекала мама. – Как так можно... Ну, спросил бы, в конце концов... Взять и новой клеёнкой, которую берегла, купленную всеми правдами и неправдами аж в Свердловске, берегла на всякий торжественный случай, мало ли чего... А ты на коровьи двери прибил... Взят и прибил своими ужасными ржавыми гвоздями.

Папа начинает смеяться.

– Ну, разве я виноват, что наши новые гвозди, которые ты назвала ужасными, сами по себе взяли да заржавели? А клеёнку, – косится на меня и подмигивает, – мы с Боборикой купим тебе новую, красивее прежней, подарим на Восьмое марта. Правда ведь, Вовка...

Мне, в отличие от мамы, радостно; получилось очень красиво, просто замечательно. Такой двери уж наверняка ни у одной коровы в мире нет. Не дверь, а настоящая картина, на которой нарисованы большие красные розы с яркими зелёными листьями. Соньке, наверное, тоже радостно, что у неё такая необыкновенная тёплая дверь, в которой ни одной, даже самой малюсенькой щелочки, куда бы мог пробраться мороз. А курицам, уткам, гусям и индюкам – горделивым и надутым, которых у нас аж два, наверняка уж завидно. На ближайшие дни, как взволнованно сообщил нам папа, обещали ещё большего понижения температуры, аж за минус сорок. Нам с сестрёнкой не совсем понятно, где те и кто эти те, что обещают морозы и метели, дожди и снегопады. И вообще... Зачем они обещают людям то, чего им совсем не хочется? Разве им не понятно, что холодрыга совершенно никому не нужна? Другое дело, когда солнышко... Когда тепло, а кругом растёт зелёная травка, и можно бегать даже без всяких штанов. Чтобы куры, а с ними их петух и остальные прочие водоплавающие и неводоплавающие птицы, которых называют ещё пернатыми, от обещанного мороза не умерли от холода, мама с папой на время решают переселить их к нам, то есть в наш дом. Жить под одну крышею с гусями, утками, индюками, курицами и их мужем петухом, конечно же, весело и замечательно, но... Что-то, несмотря на такую вот идиллию, меня внутри настораживало. Уже тогда на собственном опыте, на испытываемой шкуре я познал, что гуси могут больно щипаться и драться крыльями, петух, горланя во всё горло, нападать и запрыгивать на голову, индюки – ни с того ни с сего клеваться, одни уточки вели себя более-менее благопристойно. Хотя... Попробуй-ка взять на руки их утёночка... Разгородив самую большую комнату, которая есть и прихожая, и кухня, и даже иногда наша столовая, для чего между ручкой окна и скобой, прибитой к косяку входной двери, натянули бельевую верёвку; пол в этом закуточке сплошь застелили всякими газетами, журнальными обложками, картонками. На туго натянутую в два ряда верёвку мама повесила простыни до самого пола, прикрепила их бельевыми прищепками. Красиво до ужаса... И началось великое переселение. Первыми занесли южан – теплолюбивых индюков – его и её, затем – курей вместе с петухом по прозвищу Хвыря. Это его кто-то назвал так за то, что он долго не мог научиться кричать по-настоящему, то есть по-петушину. Хвыря, как потом я узнал, скорее всего, как-то

связано с названием тонкостенной дудочки, выполненной из камышинки, которая издаёт пронзительные и резкие звуки. Индюк, изначально подумавший, что все эти удобства только для него, удивлённый, а возможно, и оскорблённый таким соседством, издал боевой клёкот, стал надуваться на глазах, наглým образом увеличиваться в объёме, что, поверьте, при подобных стеснённых жилищных обстоятельствах можно воспринять и как вызов. Петуху, разумеется, это не очень понравилось, встрепенувшись всеми своими перьями, он стал боком напрыгивать на нахала, корчащего из себя благородного заморского павлина, пытаюсь дать ему понять, кто в доме хозяин, вывести из терпения и самым справедливым образом задать трёпу. Явно не рассчитав силы, после первого же молниеносного удара крылом, а вдогонку и мощной когтистой индюшачьей лапой, скувыркнулся с ног, не испытывая судьбы, которая, уж конечно, бывает переменчивой, не стыдясь своих многочисленных жён, кинулся тикать в ближайшую щель между простынями; протиснувшись, как угорелый стал метаться по избе, громким голосом возмущаться относительно фактов вопиющей несправедливости. Попытка мамы водворить бегуна на его законное место также не увенчалась успехом. Подпрыгнув, он с места и вертикально взлетел на полати, где и спрятался, как последний трус. Гуси и утки вели себя более степенно, сбившись в соответствии со своим родством, принялись гадить куда попало, вытянув шеи, по-змеиному шипеть. По всему дому густо запахло птичьим помётом.

– Ничего, Мика, – так папа по-ласковому иногда называл нашу маму, – придётся малость потерпеть. Экая беда... А представь себе, каково было праведному Ною в его ковчеге. Слон или бегемот тебе не какая-нибудь там курица или уточка. Уж если нагадят, то о-го-го-о!.. Держись ты мне, брат.

Мама, видно всё это представив, начинает переливчато и звонко смеяться. Хоть нам – детям, суть столь мудрого и научного разговора непонятна и мы не знаем, кто такой был этот самый Ной и каков из себя его ковчег, видя, как весело смеются родители, также принимаемся дружно, но искусственно заливаться хохотом. Не плакать же, в конце концов, только из-за того, что невоспитанные птицы вместо того, чтобы рассматривать интересные картинки из «Крокодила» и «Огонька», стали их дружно обкакивать. Разве для того мама так старательно раскладывала их на полу?

К ночи погода действительно разыгралась. В печных трубах заунывными вздохами застонало, демонически захохотало и заухало. Поднялась метель. Порывами ветра гулко затукало в ставни. Глупые куры, не желая спокойно ютиться на полу, махая крыльями, подпрыгивали, пытались

умоститься на зыбкой верёвке, которая ходила ходуном; не умея сохранить равновесия, орала как резаные, будто кто им виноват, что это не привычный для них насест в виде толстой жерди, а обыкновенная тоненькая верёвочка. Через очень короткое время белые мамыны простыни были совершенно изгажены, перекосились набок, стали представлять из себя отвратительнейшее зрелище.

– Вот дура! – взвизгивает старший брат, сдирая с себя вцепившуюся когтистыми лапами курицу, не сумевшую удержаться на дрожащей, подобно струне, верёвке и рухнувшую с воплем ему на голову.

Меня, пытавшегося согнать распсиховавшихся птиц в одно место, исподтишка, по-предательски и что есть силы укусил за попку гусь. Мало того, это злобное существо, вытянув по-змеиному шею и зашипев, точно так как это умеют гады, погнался за Таней.

– Анна! – кричит взволнованно папа. – Не пускай их в комнаты, двери закрой... Закрой побыстрее дверь... И свет... Свет выключай... При свете они в жизни не уснут. Сгоняйте... сгоняйте же в один угол, за простыни, – носится с распростёртыми руками отец, по-смешному согнув ноги в коленях, с потухшей папиросой в зубах, от волнения весь потный и красный. – Куда ты... сволочь!.. – пытается схватить он громко гогочущего гуся, удирающего от него во все лопатки. – Двери... Держи...

Но было уже поздно. Вольнолюбивая гордая птица, вопя дурным голосом, ринулась напролом. Следом за ней, кто по воздуху, а кто на своих двоих, и остальные. Быстро рассредоточившись по всему жизненному пространству дома, принялись, естественно, гадить где попало, вести себя самым невоспитанным и даже хулиганским образом.

– Вот сволочь! – свирепеет папа, стаскивая громадного индюка с никелированной кровати, заправленной редкостным и дорогим по тем времена тюлем – их с мамой кровати, которая с такими чудесными, почти волшебными блестящими шариками по краям спинок и панцирной сеткой в виде бесчисленного множества стальных пружинок, соединённых друг с другом.

Сдрейфивший индюк, потеряв всякую гордость, густо испражняется прямо на подушку, машет крыльями, тоненьким голосочком, не соответствующим величавому обличию, просит пощады. Гуси предпочли спрятаться под большим и круглым столом, покрытым тяжёлой зелёной скатертью с бахромой, который мог раздвигаться и становиться длинным по случаю, когда приходило много гостей. То и дело, вытягивая свои длинные шеи, шипели, громко гоготали, пытались ущипнуть каждого, кто только близко подходил к их неприступной крепости. Всех бессовестней

вели себя курицы. Этим безмозглым тварям возжелалось взобраться выше всех остальных, что они и сделали. Заняв главенствующие высоты, взгромоздившись на этажерках, шкафах, дверях, оттуда беспокойно и нервно кивали на все стороны своими башками, дабы не застать себя врасплох, прямо сверху беспрестанно какали куда попало, в том числе и на нас, безуспешно пытающихся призвать их к порядку. Единственные, кто не поддался общей панике, этой массовой и пагубной истерии, так это наши уточки. Вместе со своим изумрудным селезнем, сбившись в плотную стайку, сидели там, где им изначально и определили, в своём уголке, нежно попискивали, а если и приспичивало по нужде, то не куда попало, а на газетку или обложечку «Крокодила». Но всё же, благодаря по-военному чётким командам папы, слаженным коллективным действиям всей семьи, порядок, пусть и не без труда, но навести удалось. Птиц, кроме петуха, поголовно выловили, перенесли на кухню, вдоволь насыпали зёрен и хлебных крошек. Чтобы не было грустно, оставили при них кошку Машку, двери закрыли, свет выключили. Нас, намаявшихся и возбуждённых, мама уложила спать, сама же с папой принялись за уборку. Представив себе, каково бедной нашей кошке в столь взбалмошной компании свирепых пернатых, потихонечку встаю, приоткрываю дверь на самую малость, на саму щелочку. Машка как угорелая молниеносно протискивается, тут же забивается под кровать.

– Спасена... – радостно вздыхаю я, быстро ложусь в тёплую постельку и тут же проваливаюсь в сон.

Под утро ни свет ни заря всех разбудил петух Хвиря. Проорав с полатей ровно семь раз, с ветреным шумом слетел на пол, стал громко разговаривать, шаркать и разгребать лапами обгаженные газеты, выискивать для себя зёрнышки.

– Анна, – зовёт папа маму, которая уже возится у русской печи, стучит заслонкою, большим ножом колет берёзовое полешко на лучины, от которых так весело и быстро разгораются дрова, – посмотри-ка... какая там на улице температура?

Наш градусник, похожий на длинненькую стеклянную трубочку с красными и синими поперечными чёрточками и узеньким блестящим серебряным клювиком, находится за кухонным окошком, с наружной стороны его, прибитый маленькими гвоздичками к раме. Стекло сплошь покрыто морозным инеем; мама начинает на него дышать, скрывать щепочкой, чтобы через образовавшуюся круглую проталину, похожую на прозрачную лужицу, как через сказочное оконце, определить, сколько на этом самом градуснике градусов.

Оказывается, как уяснил нам всезнающий старший брат, волею этой волшебной трубочки день может сделаться тёплым или холодным.

И люди здесь совсем не при чём, безбожно врал Валерка, сам градусник, как ему захочется, и решает, какой этой погоде сделаться сегодня или завтра, ночью или днём, зимою или летом.

«И ведь действительно, – думалось мне, – не он же, в конце концов, справляется у нас, какая там, на дворе, погода, а мы обращаемся к нему».

И хоть место сомнениям оставалось в моей маленькой беспокойной голове, брату я был склонен доверять. Вот и сейчас градусник прошептал маме на ушко что-то такое, что она так и всплеснула руками. Значит, будет ещё холоднее, а потому выпускать на волю уток, гусей, индюков и кур никак нельзя, никакой сеновал им не поможет, они, уж точно, все, как есть, от холода околеют.

– Мама, – спрашиваю я, – а что, курицам нельзя, что ли, купить тёпленькие валеночки и маленькие вязаные шапочки, чтобы они не обморозивали гребешки и пальчики на ногах? Корова Соньке, конечно, хорошо. У неё вон какая тёплая шкура, да и на ножках... Такие толстые копыта, уж наверное, и даже от самых лютых морозов не замёрзнут. На мои такие разумные аргументы мама не знает, как возразить, папа принимается весело смеяться, брат же, напротив, энергично возражать.

– Ты что, Вовка, – горячо жестикулирует он, крутя пальчиком у виска, – если курицам обуть на ноги валенки, как они тогда будут ночью сидеть на насесте? Враз ведь соскользнут... А разгребать навозные кучи, чтобы доставать всяких червячков?.. Где ты видел петуха, – ещё сильнее горячится Валерка, – бегающего в пимах¹ и в шапке с ушами?

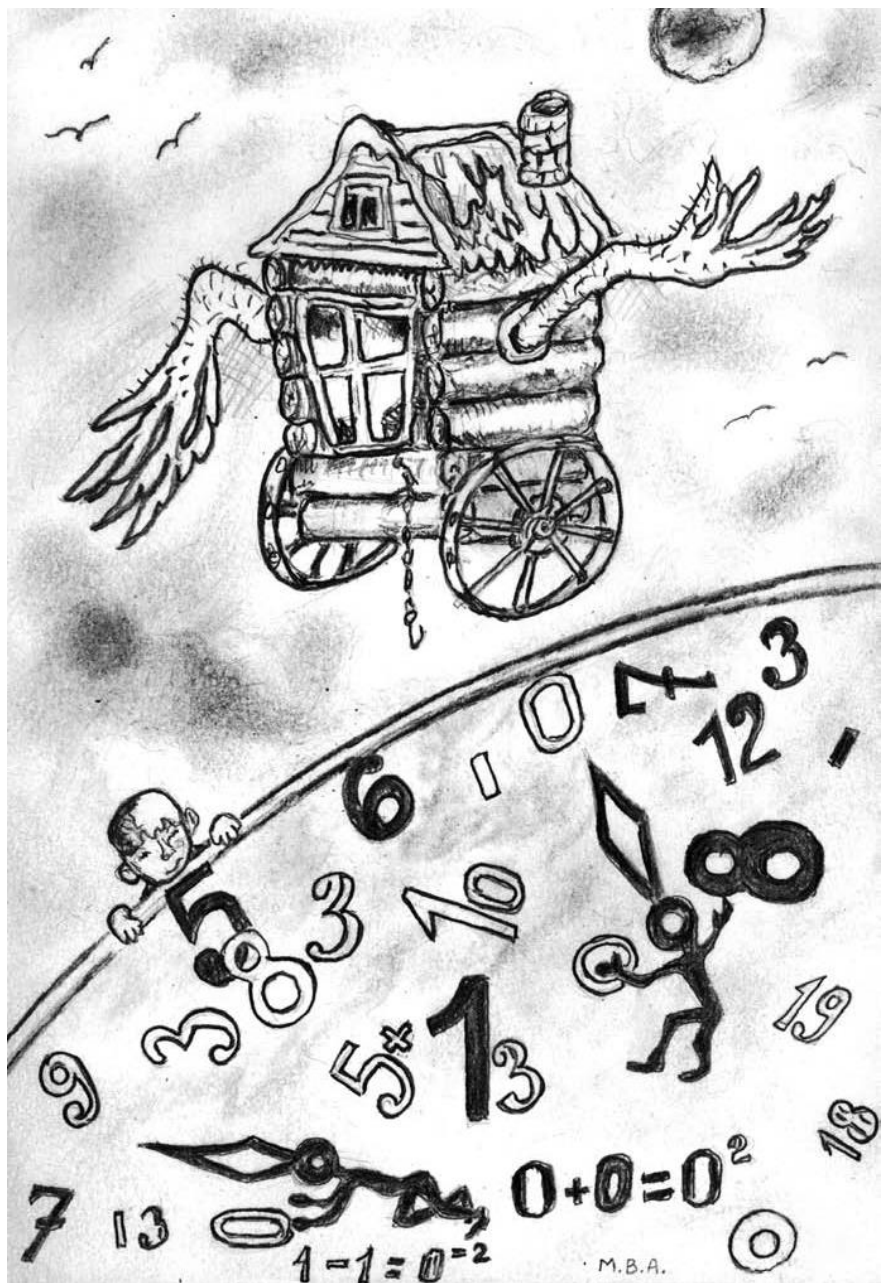
Видно представив себе этакий курьёз, папа начинает смеяться ещё веселее, вместе с ним и мама, и даже сестричка Танюша, которая, уж точно, не видит в моих рассуждениях такого, что бы могло вот так всех развеселить. Обидно...

– Ничего, Боборика, – успокаивает папа, по-взрослому хлопая по плечу, – вот как наступит лето, мы с тобой такой дом для них построим, что и в самый лютей мороз, как сейчас, им будет тепло и весело. По всем правилам науки и техники соорудим, с настоящим печным отоплением.

– Ну да, – совершенно серьёзно иронизирует мама, – русской печи с широченными полатами им ещё не хватало. Петух, знать, не дурак, что убежал от всех жить на полатах. И не холодно, и не жарко.

Затея папы мне не кажется такой уж невыполнимой, прижавшись спиной к горячей печи, начинаю мечтать.

¹*Пимы* – так на Урале по-простонародному называют валенки.



Признаюсь как на духу, мечты моих мечтаний, стремительно возникающих в голове Бог знает и откуда, настолько разноречивы, а порою лишены всякой элементарной реальности, что, имея возможность какой умник их подслушать, уж точно бы спятил, то есть пошёл бы пятками вперёд, а может, и назад, как на то ему удобно, разуверился бы не только во вменяемости миров, видимых и невидимых, но и в праведности самой логики, которая способна шарахаться в какую прикажут сторону; в белом признать чёрное, в неправде – правду, в любви – ненависть. Курятник, а вернее, волшебный дом для птиц, который предстояло нам с папой построить, представился мне подобием большого корабля с радужными крыльями цвета мыльных пузырей, но на больших колёсах со спицами, какие бывают на телегах. Он может не только плавать по воде, но и ехать куда ему нравятся и даже по горам. Крылья же ему нужны будут для того, чтобы по всему этому он мог бы и ещё запросто летать, как большой гусь. В этом же корабле, – стремительно несётся моя мысль, – пусть будет и наш дом. Мама растопит жарко печь, напечёт шанежек – много, много, и мы всею семьёй, вместе с коровой Сонькой, кошкой Машкой и всеми остальными птицами, над которыми поставим командиром петуха Хвырю, полетим в гости к тётке Клаве и дяде Савоте в Сухой Лог. Приземлимся прямо рядышком с их домом. Вот они удивятся и обрадуются! И маме не надо будет беспокоиться и нервы растрчивать, что всё хозяйство осталось без всякого присмотра, – корова недоеная, птица разбежалась гулять где попало, а дом... заходи кому не лень... Ведь как бы было хорошо, – мыслится мне, – когда бы не надо никуда спешить. А то... не успеешь и приехать толком в гости, как уже обратно. Да и вообще, – ещё более ветвятся мои мысли, – зачем нашему дому какие-то дурацкие колёса, как у брички, когда есть настоящие крылья. И паруса вовсе ни к чему. Дому без парусов не утонуть. Да и как ему потопиться, – горячусь уже я, – когда он весь такой деревянный и большой и из крепких брёвнышек. А если понадобится вдруг, срочно и скоро... Так ему и с воды сподручно взлетать, как тем уткам, что водятся в озере за Шайтан-болотом. Мечта о крылатом доме мне нравится всё больше и больше; подобно кому снега она начинает обрастать бесчисленными подробностями и дополнениями. Летать по небу в собственном доме со всем хозяйством и всякой живностью, что может быть веселее. А дрова... Так их и вообще никакой необходимости нет заготавливать аж на всю зиму – врывается новая мысль, и сено... Какая нужда в сене – сухом и колючем и совсем, наверное, невкусном. Полетел запросто туда, где сроду и зимы не бывает, где всегда одно лето и много-премного травки какой захочешь – целые луга, и всяких фруктов

на деревьях, которые можно рвать без спросу и кушать сколько вздумается. Да и птичник... Зачем нам этот курятник сдался, – ошеломлённо думаю я, – когда кругом вот так тепло?

– Папочка! – восторженно воплю я. – А если нам с тобой вместо всяких там коровников и птичников по всем правилам науки и техники построить дом с крыльями, как у гусей, ведь правда, что это будет гораздо придумчивее, чем когда курицы от холода на головы какают, а гуси кусаются за попку?!

Глава 4. ДВОЯКОРУКАЯ БОГИНЯ КАЛИ И КЛАД ЦАРЯ СОЛОМОНА

1

Почерневшая от времени и невзгод бронзовая богиня Кали проживала сама по себе в деревянном сарайчике. Откуда она взялась, какими судьбами попала в наш дом, никто толком не знал. Для меня же разумным ответом на этот, по-честному говоря, никого не интересующий вопрос было только одно: богини сами выбирают, где и с кем им жить, не надо путать человеческое и божье, и тут ничего не поделаешь. Уяснить, почему ей не пребывалось в одном месте, было выше всякого моего разума. Непонятно какими силами, но она вдруг, дематериализовавшись, оказывалась то на огороде среди цветущего картофеля, то на сеновале, а то и посредине нашего двора, в самом неподходящем месте, мешая нормальному проходу граждан, что со всего лёту, от невнимательности своей, налетали на неё, пребольно зашибая ноги, громко чертыхаясь: шоб тебе, зараза, железяка чёртова, провалиться сквозь землю... За-мучила... Словно бы напоминая, что человеку должно земли крепко держаться, а не порхать легковесно мечтами в небесах. Иногда богиня на коротенькое время, но вдруг оказывалась в нашем доме за печью, а то и на самой печи, откуда, немного отогревшись, по широкому деревянному брусу перекочёвывала на полати. В маленькой баньке, что крохотной рубленой избушечкой располагалась у нас в начале огорода, ей любилось бывать особенно часто. Иногда она и вовсе исчезала бесследно, а куда?.. Никто этого, уж точно, знать не мог; богиня была сама по себе и ничейной. В божественные чары в те суровые времена вряд ли кто и верил, а потому судьбою её никто и не интересовался. С двумя парами рук, сидящая в странной позе, да к тому же ещё и на человеческих черепах, держащая в одной руке распахнутый веер, в другой – копьё, две другие же парно соединив в ладошках над головою, она, как помнится, всегда вызывала во мне чувства странные



и двойственные, призывающие к особому серьёзному размышлению. С одной стороны, вызывало страстное любопытство: что это? И как у человека из одного туловища может произрастать столько рук, которые ну разве что будут доставлять только трудности, всячески мешая друг другу в делах, – думалось мне. С другой стороны – непонятную тревогу и даже мистическую робость, что это не просто железная статуэтка, а нечто более, за которой уж точно кроется непонятная волшебная сила, действия которой и объяснить чувственно невозможно. Несмотря на то что родители по тем временам были людьми весьма даже просвещёнными, валяющуюся то здесь то там скульптурку они, кажется, так и вообще не замечали. Словно это не отлитое изделие древнего мастера, а обыкновенный булжжик. Не престранно ли?.. Когда однажды я поинтересовался у папы: «А разве у тётек бывает столько ручек, а вместо волос на голове – столько тоненьких змеек, точно таких, какие водятся на нашем болоте в конце огорода?», то он, нисколько не удивившись, просто и обыденно сказал: «Ну, конечно же, не бывает. А всё потому, что её кто-то специально так придумал по-неправдышнему, чтобы головы людям заморочить. Интересно же иногда верить в то, чего на свете никогда не бывает; тебе же любопытно смотреть на нарисованного Змея Горыныча, у которого столько голов, да и ещё крылья за спиной, как у летучих мышей?» Из объяснений папы на поставленный мною

непростой вопрос я совершенно ничегошеньки не понял, но, сделав умный вид, показал, что согласен с ним на все сто: нечего простым людям головы морочить, отвлекать от серьёзных дел совершеннейшими курьёзами такими, как лишние члены, которых в Природе-Матушке уж точно никак не наблюдается. Вид богини был действительно мрачноватым и отталкивающим. В некоторых местах ажурного рельефа своего она так почернела от жизненных невзгод, казалась такую грязною и неопрятною, что после всякого соприкосновения с нею, когда она была приобщена к нашим играм, мама строго и неукоснительно приказывала сейчас же мыть хорошенько с мылом руки.

– Опять таскались по двору с этой железякою, – не без нервозности порицала нас она. – Мало тебе, Вова, пришибленной ноги? Её кто-то из кучи навозной вытащил, а может, и из уборной, а вы... А вы играть... Да и ещё за хлеб немывыми руками.

Действительно, Валерик однажды, за неимением под руками чего подходящего, решил этой богиней, как заместо молотка или какого камня, забить торчащий из дощатой стены сарая огромный ржавый гвоздь, да не удержал в руках. После первого же удара, отпружинив от доски, литая железяка величиною с большую молочную глиняную крынку со всего маху ахнула не его, а меня, стоящего рядом, по колену. Взвизгнув, корчась от боли, сильно прихрамывая, выскочил на улицу, где вдоль пыльной сельской дороги обильно произрастали чудные подорожники, в коих я, едва научившись ходить, видел панацею от всякого заболевания, как внутреннего, так и наружного, в том числе и от ушибов. Разжевав несколько листочков, полученной кашичей обложил колено, поверх того приклеил ещё и цельный – ядрёный и жилистый, всё как мог замотал грязной и грубой тряпкой, похоже, как от мешка. Думал, пронесёт. Не пронесло... К вечеру колено распухло, окрасилось в серо-буромалиновые цвета, пришлось признаваться. Двоякорукую богиню мама положила в старую клеёнчатую сумку с оторванной ручкой и разъехавшейся в разные стороны беззубой ржавой молнией, спрятала в чулан. Чулана я боялся. Там проживал Некто, которого никто и никогда не видел, его только слышали. Этот Некто моим пылким воображением рисовался наподобие большого, окованного грубым полосовым железом чёрного сундука, но почему-то поставленного на попа и с приоткрытой горбатой крышкой. Он был таким громоздким и тяжёлым, что, когда принимался ходить туда-сюда, половицы под ним так и начинали ходить ходуном. Иногда из чулана доносился звук, подобный протяжному и заунывному вздоху, такому, какой случается услышать иногда в печной трубе и в вертреную погоду, когда по пустынным улицам носится снежный

прах, а от лютого мороза с треском лопаются деревья. Несколько вздыхав, вскоре и замолкал.

«Интересно, – думалось мне, – многорукой Кали будет с ним боязно? Уж, наверное, будет. Ведь он такой большой и страшный и совсем невидимый. Сколько тайком не смотри в щелочку, притаившись и совсем не дыша, всё без толку. А всё потому, что чувствует...»

Этим же вечером подглубочайшим секретом поделился с сестричкой тайною, которая так распирала меня изнутри, что не поделиться не было уж никакой мочи.

– Если бы наша Каля не была спрятана в сумке, да ещё завёрнутая в тряпочку, – горячо убеждаю я Танюшу, – то уж точно как-то убежала бы. А то... Попробуй-ка освободись, когда мама вдобавок ко всему ещё и поломатым самоваром сверху придавила; сам видел. Чувствует моё сердце, – подпускаю в своём голосе слезливой горечи, – ни в жисть ей самой не вызволиться, ведь, как есть, загрызёт супостат.

Изъясняться запавшими в сердце словами сказочных героев мне нравилось, получалось солидно, красиво и по-правдашнему, так, как говорится об этом в книжках, которые нам читала мама.

– А как ты узнал, – округляет глаза сестрёнка, – что мамочка спрятала Калю в чулан?

– Сам вчера видел, – шёпотом отвечаю я, для большей таинственности озираясь по сторонам, чтобы никто не подслушал, – спасать надо, пока не поздно.

Как и я, сестричка чулана боялась не меньше, спасать непонятно ради чего железную чушку, честно говоря, как и мне, ей, конечно же, не хотелось, но... Разве спрятанная от нас тайно железяка не есть настоящая тайна? С нарочито строгими и таинственными лицами мы ходили по избе, переглядывались, со снисходительной значимостью заговорщиков посматривали на старшего брата, который, уж конечно, не в курсе нашей общей с сестрой тайны, листает себе потрёпанную книжечку и даже не догадывается о том, где сейчас находится богиня, которой он так неудачно решил забить торчащий из доски гвоздь.

Вовлекать Валерика в свои планы по спасению пленённой, которую мама убрала с глаз долой, прежде всего от него, чтобы он ею комуещё и голову не расшиб, нам не хотелось.

«Если тайну, – думалось мне, – разделить на множество кусочков, то она уж точно станет известной всем. А секрет, который знают все, уже и не секрет. Брат – большой придумщик, и ему никогда не вытерпеть бремени секрета, который знаем только мы, наверняка он поделится им со всеми своими приятелями, да ещё и приврёт от себя немало, чтобы этот секрет сделать ещё таинственнее».

Более же всего волновало другое: выкрасть тайно то, что положено родителями, – неслыханная дерзость, за которую уж точно пусть непонятно и как, но Бог накажет. Выражение – это его (или их) за всё так Бог наказал – нам было уже много известно. Куда ни пойдешь, всюду можно было услышать: «Э-эх, чёрт меня попутал... За то, видать, Господь и наказывает». Или... «Бог тебя накажет за пьянство твоё да враньё... Гореть тебе во веки вечные»... «Вот попомнишь тогда слова мои, – ругается на всю улицу женщина, гневно трясая своего едва держащегося на ногах мужа-пьянчугу за воротник, другою рукою хлопая по карманам пальтишка, вдруг да не всё пропил, – изверг, душегуб поганый». Кто есть этот Бог и почему он то и дело наказывает, мне было непонятно. По-честному признаться, ния, ни моя единоутробная сестрёнка Татьяна, ни старший брат Валерик, да и сами папа с мамой, ни в какого Бога не верили, чувств своих не скрывали, говорили об этом открыто.

«Как же так, – думалось мне, – Бог как-то есть, Его почти все побаиваются, а некоторые даже любят, о Нём то и дело вспоминают вслух, говорят: Ну, с Богом... Или – не дай Господь... Что ты мелешь? Побойся Бога... Бог с тобой, – отрешённо машет рукою мужик, которого продавщица Манька явно обсчитала на сдачу. И при этом, – безудержно ветвятся мои мысли, – Его почему-то нигде нет, потому как Он есть просто чьи-то выдумки, которые по-другому ещё называют бабкиными сказками. Если это всё бабкины сказки, враки, от которых никакого толку, кроме сплошной дикой глупости и несутражицы, то почему, особенно дедушки и бабушки, крестят лобик, кланяются могилкам, носят на шее привязанного верёвочкой Боженьку, прибитого гвоздиками к кресту?»

Подмечено мною и другое. В боженек, нарисованных некогда яркими красками на внутренних сводах церкви Троицы Животворящей, что находилась в нашем селе, большинство пусть особо и не веровали, но почитали, хотя к тому времени храм уже не одно десятилетие пребывал в полном запустении. Пересказывали даже, и с назиданием, историю про какого-то энтузиаста-комсомольца со странным пролетарским именем Локомотив, который, конечно же не без силы Божьей, свалился вниз башкой о каменные ступени с самой верхотуры, из-под купола, куда забрался с железным кайлом, чтобы порушить ненавистные ему фрески, доказав тем самым всем малосознательным, что относительно Божьей кары всё это брехня и что никакой Бог не сможет ему помешать сделать то, что он – Венец природы, надумал. Говорят люди – несознательные и суеверные, что от страшного телесного сотрясения zenки у Локомотива повыскакивали из глаз, без оглядки утикали в разные стороны.

Не сыскали. Так на веки вечные ослепшим и поховали в землю-матушку в кумачовом гробу под медные звоны «Марсельезы».

С другой стороны, как было мною замечено, к нашей Кали, которая, что ни говори, также считалась богиней, отношение было самое плёвое. Она-то в чём провинилась? Совершенно запутавшись в богах, их многочисленных помощниках, как дядечках и тётечках, маленьких деточках, по всей вероятности умеющих летать, иначе зачем бы им пририсовывать на спинках крылышки, спрашиваю папу, который уж точно всё на свете знает, потому как самый умный-преумный.

– Вот ты мне ответь, пожалуйста, папочка, почему эту тётю, – тыкаю в сторону Кали, валяющуюся на боку сбоку крыльца, пальчиком, – некоторые называют ещё идолицей окаянной? Они, наверное, её почему-то не любят, раз так ругаются?

– А кто эти самые некоторые, о которых ты говоришь, что обзывают её так? Божок как Божок... Древняя, наверное... Вон как вся проржавела от грязи. Ты бы её помыл, что ли; смотреть тошно, не то что в руки брать. А вы с нею носитесь...

Поставленная мною на берёзовый чурбачок многоорукая тётка уж не кажется мне такой чёрной и некрасивой, как представляется это папе, наоборот, есть в её облики что-то такое, от чего и сладко, и тревожно становится в груди, хочется рассматривать и рассматривать, находя для себя всё новые и новые детали, удивляясь их таинственному предназначению. «Неужели папе с мамой этого совсем и не кажется? – не без внутреннего огорчения думаю я: – Одни черепушки, на которых она восседает, чего стоят».

– Так кто, – прерывает мои размышления, переспрашивает папа, – называет её идолицей, да ещё и окаянной?

– Деда Кузьма, что живёт в домике возле самой речки, так обзывает... И баба Даря. Сам видел и слышал... Мы с Таней играли возле болота, а её оставили среди ромашек сидеть, охранять наш секрет под стёклышком, чтобы никто не похитил, а баба Даря и набреди случайно; споткнулась даже. Как отпрыгнет в сторону, как забурчит: «У, идолица чёртова...» Давай плевать на все стороны да лоб крестить. А когда провалилась ногою в секрет, то так и кинулась тикать прямо по крапиве что есть духу, галошу даже потеряла...

– Ну... как тебе сказать правильно, – морщит лоб отец, – ведь всё равно ничегошеньки не поймёшь, потому как ещё слишком маленький. Да и зачем тебе всё это? Тут и взрослому-то не каждому объяснишь. И нам с мамой порою чудно всё это наблюдать, в голове не укладывается. Наверное, – не совсем уверенно продолжает он, – каждый верит по привычке, в то, чему с измальства был обучен своими

близкими – дедушками и бабушками, родителями, которые, возможно, тёмные и малообразованные. Как они своему ребёнку могут объяснить по-правильному, если сами того не знают, потому как нигде не учились? Верят в то, во что верят, кушают ту пищу, которая душе мила, потому как так приучили.

«Странно, – думается мне, – сколько помню себя, и мама, и папа, кажется, только тем и заняты, как горячо пытаются убедить меня в том, что парное молоко и полезное, и душистое, а самое невероятное – ужасно вкусное, особенно со свежим калачом. Меня же только от одного вида его начинает мутить так, что аж в глазах зелено. Валерик же с Таней, да и родители, пьют его за милую душу, ещё и добавки просят. Как же они меня вот так приучали, что я никак не смог его полюбить? И наоборот... Колотый кусковой сахар, который, по твёрдому убеждению родителей, продукт исключительной вредоносный, ужасный продукт, особенно для детей, мне нравится; я готов его грызть, сосать, лизать языком и день и ночь, если бы мне такую возможность представили, так нет же... Уже одно, что завёрнутый в тряпочку кусок сахара, припрятанный мною, чтобы не искушал до времени, ещё целёхонек, уже одно это наполняло душу чувством радости. И хоть папа и объяснил всё по-умному, здесь явно что-то не то».

Видно почувствовав, что червь сомнений, присутствующий во мне от самых начал, никак не удовлетворён таким вот ответом, папа переводит разговор в другое русло, предлагает мне увлекательнейшее из занятий – пойти и вместе порубить дрова, с которыми ему одному без моей помощи никак не справиться. Столь солидное со стороны отца предложение напрочь отбивает во мне желания к дальнейшему философствованию на столь противоречивую тему, как религия, в которой не только я сам, но, кажется, и папа мало что смыслим.

– Чтобы не пугать бабу Дарю, ты бы лучше уж спрятал свою богиню куда подальше, в сухое место, пока совсем на ржавчину не изошла, – самым серьёзным голосом предлагает папа. – А кто, скажи ты мне, сказал вам, что она какая-то там богиня и зовут её Кали? Кто-то ведь научил так?

– Не знаю, – совсем неуверенно лепечу я, на всякий случай сваливая всё на Валерика.

2

Несмотря на полную нашу уверенность, что Кали наконец-то обрела покой в чулане, она неожиданно, ко всеобщему изумлению, нашлась вдруг в нашем чахломе палисаднике, в малине, что произрастала перед лицом

дома. Как узнали позже, забросил её туда через штакетник Серёжка Полунин – закадычный дружок нашего соседа Тольки Паклина. Её же он, случайно, нашёл в углу старого заброшенного амбара, среди трухлявых досок и глиняных черепков и всякой прочей ненужной дряни.

– Глядь, – говорит нам, – старая клеёнчатая сумка валяется, с виду совсем годная. Заглянул – а там, в тряпку завёрнутая, спит ваша Каля. Как же так, подумал... Вещица знатная, старинная вещь. Это точно Танька с Вовкой поигрались да и забыли. Вот и закинул к вам в палисадник. Ведь правильно я сделал?

– Конечно же, правильно, – с восторгом хвалю я Серёжку, – это её мама туда определила, чтобы Валерка кому башку не разбил, когда он ею чуть не поломал мне ногу. Так и сказала, когда ругала его, что я хорошо ещё отделался и что если бы эта железка шмякнула по голове, то я мог бы и убиться. А он и не собирался меня по голове бить. Она сама по себе так отпрыгнула, как и та, раскалённая докрасна в печке проволока, которая случайно, не понарошке, выскочила, когда Валерка потянул её на себя. Он ею медное колечко из огня вытаскивал, которое сам и забросил туда для расплавления. А оно и не думало расплавляться, покраснело аж до самого красна. А когда он его приспособился обратно вытащить из печки, то проволока возьми да зацепись за край полена. Вот он и дёрнул её на себя. Она как выскочит мигом... Хорошо, что не в глаз, а в бровь; папа так сказал.

– Какая проволока, какое колечко, – таращился на меня Серёжка, недоумённо пожимая своими худющими плечиками, – и при чём здесь Каля, которую я специально для вас отыскал в куче мусора и по-честному возвратил, хотя мог бы и присвоить, потому что она была ничейной? Да и зенки твои на месте. Ну и придумщик ты, Вовка.

Покрутив пальчиком у виска, дескать, что с тобой – мелюзгой, разговаривать, гордо развернулся и зашагал на противоположную сторону улицы.

Странно, подумалось мне, разве я ему говорил неправду? Даже тогда, как помнится, доктор хвалил, поглаживая по головке широкой и тёплой ладонью: «Повезло тебе, дружок, крепко повезло. Самую малость ниже угоди – и, как есть, окривел бы на всю оставшуюся жизнь. Ей-ей, окривел бы», – радостно повторял он, потирая от удовольствия руки, что я всё же не окривел, хотя глаз заплыл полностью. Самое удивительное в этой истории то, что случайно найденное на берегу речки братом медное колечко оказалось вовсе не медным, а настоящим золотым. Но таковым я его, много позже, откопал в специальном ящичке для золы и углей, который находился у нас на огороде. Прогоревшие

в печи угли и пепел мама собирала в этот специальный ящичек, где они и хранились как удобрение. Пошурудил палочкой для того, чтобы от пепла, как от боевого пороха, дым пошёл, а оно и покажись.

Надо признаться, что всё, что излучает свет, а значит, блестит, всегда меня привлекало, да и сейчас привлекает, особенно. Блеск не только благородных металлов, но и осколка бутылочного стекла, слюдяных вкрапинок на сколе булыжника, зеркальной глади водяных струй, мерцающих в ночном небе звёздочек и самого солнца – в общем всего, что способно отражать или излучать свет на меня – огнепоклонника, воздействует самым завораживающим образом. В бутылочном осколке с причудливо сколотыми гранями, если его внимательно рассматривать на свет, медленно вращая, вспыхивали такие сказочные картинки иных миров, что от любопытства и глаз оторвать было невозможно. В памяти тут же возникло нечто, что это я уже где-то видел, это мне как-то знакомо, но всё позабылось. И эти радужные лучики – хрустальные и чистые, полные волшебного очарования, и очертания сверкающих гранями скалистых вершин в дыме серебристо-зелёного тумана, излияющие провалы величественных бездн самой бесконечности – всё это каким-то образом сохранено на доньшке моей памяти, как несказанная тайна и великая тоска. В хрусталике битого зеркала с криво изогнутым сломом, острым, как бритва, мерцающим морозной проседью булата, отражается взгляд бесконечно мудрого старичка – взгляд ребёнка – мой взгляд, взирающий на самого себя, себя в нём не узнающего. Кто ты, Боборика?

Обручальное кольцо – дутое и аляповатое, скорее всего, с очень толстого женского пальца, так как ни один мужик в деревне в то время колец не носил, от печного жара потускнело, больше походило на обыкновенную медяшку. У сельского дурачка Фаддея, перед которым я робел и очень его остерегался, был на поясе армейский ремень с латунною бляхою. Он им так гордился, что, кажется, только тем с пользой и занимался, что беспрестанно натирал эту бляху суконкою. От этих бесконечных и нехитрых процедур она горела огнём и в ненастную погоду, сияла, как маленькое рукотворное солнышко, что сумасшедшего, кажется, безмерно радовало, переполняло великою гордостью. По примеру ли Фаддея, но найденное в золе колечко с усердием натираю о голенище старого валенка. Буквально на глазах оно преобразается, начинает блестеть, как новенькое, и даже, как мне кажется, ещё лучше. Но блеску золота нет конца и предела. Хочется его отполировать так, чтобы оно и ночью светилось. Видя, как папа правит свою трофейную немецкую бритву, шаркаю найденным колечком о специальный для того ремень,

пристёгнутый к спинке кровати, да так, что от трения, столь интенсивного, на большом и указательном пальчиках вздуваются водяные волдыри.

– Чем это ты тут таким занимаешься? – спрашивает заинтересованно папа, протягивая руку. – Кто тебе без спросу позволил портить мой ремень? – Рассматривает моё медное колечко, излучающее блеск не хуже самого настоящего золота, с удивлением замечает: – Где ты его нашёл? Ведь оно и действительно не какое-то там, а драгоценное; и проба стоит самая настоящая, обозначающая, что это не что иное, как золото.

Платой за шрамик на моей брови, полученный от раскалённой докрасна стальной проволоки год тому назад, стало обручальное колечко, найденное старшим братом как медное, отполированное великими моими трудами до золота.

– Боборика! – смеётся отец. – Зачем тебе девчачье кольцо, ты ведь у нас мужик... Давай лучше подарим его маме. Она его перекуёт и сделает из него кулончик в виде маленького солнышка, блестящего даже ночью, чтобы вам с Таней буки не бояться и всяких маленьких мышек, потому что вы трусишки.

– Хорошо, – тут же соглашаюсь я, хотя почему-то колечка немножечко жалко. Не мною ли оно призвано из забвения стать золотым... Круг замкнулся.

Ничего в мире не случается случайно. От куска сахара, который мне преподнесли родители как утешение, во рту было так сладко и томно, что просто ужас. Полученный же опыт полировщика всякой сути вещей, которые можно отполировать, мне пригодился на всю жизнь, применяем мною и поныне. Но тогда, много-много лет тому назад, когда полных и четырёх лет то не было, впервые открылось мне великое и замечательное: никогда ни о чём не суди поверхностно и поспешно. И за уродливо-невзрачным может скрываться прекрасное, как и за видимой красотой – уродливое. Приложи труд, в коем сама Любовь, посади дерево своей мечты, наберись терпения, но не унылого, а кроткого, и поймёшь, что славою рук подтверждается величие ума, по трудам нашим судить будут нас.

3

Вновь обрётённую чудным образом богиню от греха подальше прячем с сестрёнкою в дровяном сарайчике под старым и помятым цинковым корытом. Папа, кажется, как-то знает про наш секрет, но виду не подаёт.

– Может, она специально вот такая невзрачная, грязная до черноты, – молнией пронзает безумная мысль, – а на самом деле, как и то колечко,

из чистого золота. В сказках на чистое золото почему-то все зарятся, каждому желается его иметь как можно больше, от него все радости и горести, иначе... Разве Кощей Бессмертный над златом чах бы? Оказывается, и ему – не имеющему скончания лет своих – оно жизненно необходимо. К тому же, – роятся беспокойные мысли, – коли существует золото чистое, то, непременно, оно должно быть где-то и грязное, совсем не похожее видом на настоящее, которое, если хорошенько отмыть, заблестит пуще заправдашнего. Ну и хитрющая эта Каля, взяла и, чтобы никто на неё не зарился, измазалась в грязи до противности. Может, зря её мама называет то железякой, то чугункой, а баба Даря идолицей окаянной? А она... а она возьми да из самого настоящего золота, очень даже высокой пробы. Что означает из себя эта «проба», я не знаю, но раз папа так сказал, рассмотрев на внутренней стороне колечка малюсенькие букочки в выемочке, то это уж точно – чистая правда. Эта самая выемочка, – думается мне, – приключилась от зубов специальных адрессированных ручных микробов, которым было поручено попробовать на вкус золото, чтобы определить – сладкое оно или горькое. Настоящее, уж точно, никак не может быть противным и горьким. Из всяких железных штуковин оно, наверняка уж самое сладкое, пуще сахара. Не зря же Баба Яга говорила Кощею Бессмертному:

– Милисладок взорумоему блескзлата твоего, Кощеюшка; за услужение моё в деле твоём поделись малой толикой.

– Знаю я тебя, старая, – отвечает её Бессмертный, – хитришь... Не свершилось ещё наше дело, нечего на чужое добро зариться, слюнки распускать, али без моего злата не по зубам Иван Царевич, горек на вкус?...

С помощью бидончика по-секретному натаскиваем в жестяное корыто ключевой воды, чтобы устроить богине настоящую помывку. Установленную на чурбачок Калю поливаем водичкою из оловянного дедушкиного ковшика, умыкнутого вместе с мочалкой и хозяйственным мылом в баньке, яростно и по очереди принимаемся оттирать вьевшуюся грязь.

– Надо бы с песочком, – советует сестричка. – Мама, когда хочет помыть таганок, всегда несёт его туда, где ручеек у нашего болота, там сильно-сильно шоркает тряпочкой с песочком. Только нам в жисть не смочь. Сама слышала, как она жалобилась бабе Даре: «Запустила до сажной окалины, чуть все руки не поизломала, пока песком отдраила». А баба Даря ей отвечает: «Отнесла б в кузню Михею. В горне любая сажа от такого нагреву вмиг облупилась бы кожею; чего было понапрасну мучиться, руки ломать... Казанок, как новенький, предстал бы...»

– А что мама? – заинтересованно спрашиваю я у Тани, зрея мыслью, что таким простецким образом, с помощью одного огня, можно всё это решить, и запросто.

– А мама засмеялась и стала рассказывать, как дядя Михей уже однажды услужил. Расплавил тазик, в котором она варила варенье, а ещё и папину алюминиевую сковородку, приобретённую аж в самом Свердловске. Бросил в самый жар, пока спохватился, их так и скрючило. А от тазика так и вообще медная лужа получилась.

Дядю Михея – первого кузнеца на деревне, работающего в кузне на МТС, я знал и даже очень хорошо. Со мною отличительно других пацанов, рыскающих в поисках заветных зеркальных шариков от вышедших из строя подшипников, он нарочито и по-показному здоровался за руку, как со взрослыми, других гонял нещадно.

– Ах вы бисово отродье, – грозно рычал кузнец, вращая для общего страха своими огромными цыганскими глазами, – а ну... кыш отседо-ва... Не хватало мне ответ держать за вас; лезете, как саранча, в самое пекло.

Может быть, оттого, что во всей ватаге я был самым маленьким, или по каким иным, ведомым только ему причинам огромными мозолистыми лапищами поднимал меня сначала к самому потолку, усаживал на левую ладонь, как на какой табурет, близко подносил к отверстию горна, к самому его жерлу, тыкал пальцем на бушующий в нём огонь, на железяку странной формы, раскалённую от этакой адовой страсти аж добела, басил: «Ишь, как её – итит твою паль, разогрело, того и гляди взорвётся». Вручал прямо в кулачок блестящий шарик или ролик от подшипника, любовно хлопал по попке, не свойственным ему голосом, по-бабьи, сопровождал: «А ну, тикай по-быстрому, пока начальство не нагрянуло; ишь ведь... хоть и басурманёнок, а головастый. Итит твою паль...»

Представив себе, что наша Каля расплавилась в кузнечном горне в лужицу, пусть даже и золотую, от столь опасной затеи тут же отказываюсь.

– Видишь, – жарко доказывает Таня, – какая она вся заржавленная, ещё чумазее, чем любой мамин чугунок и даже ухват. Её и песком, наверное, никогда не отчистить.

– Отчистим, – уверенно говорю я, – нам бы наперво только с одного краюшка, чтобы только посмотреть, вдруг да золотая.

– Давай сначала отмочим как следует в корыте и с мылом, – мудро советует сестричка, – а потом отнесём на болото, где ручеёк, и ототрём хорошенько мочалкою. Я буду сверху песочком посыпать на голову, а ты что есть мочи шоркать, пока не заблестит по-золотому. Жаль, Вовка, что воды наносили мало. Чтобы хорошенько отмокла, Калю надо

с головой утопить, а это не меньше как два ведра нужно ещё принести; корыто вон какое плоское.

– Пошли скорее за водою, – тут же предлагаю я.

Накрыв богиню старым дырявым мешком, чтобы до срока никто не догадался, что она золотая, завалили, для большей сохранности, берёзовыми полешками, принялись за работу.

– Эй, мелюзга, – кричит из-за забора Генка Паклин, старший брат Тольки, который давно как ходит в школу и уже перешёл аж в четвёртый класс, – что это вы там делаете, купаться, что ли, надумали?

– Воду натаскиваем в корыто, – простодушно отвечает сестрёнка.

– А зачем вам понадобилась вода в корыте? – не отстаёт Генка, видно что-то заподозрив.

– Как зачем? – моментально нахожусь я. – Щепки, как кораблики, пускать по волнам. Я буду пиратом, а она – пираткой.

– А-а-а... Ну тогда понятно, – тянет он. – А хотите, помогу? – неожиданно предлагает Генка. – Для меня это запросто, как раз плюнуть.

– Хотим! – хором произносим мы, да так дружно, словно заранее репетировали.

Сходу перепрыгнув через низенькие прясла, межою разделяющие наши огороды, важно и степенно идёт к большой кадучке с дождевой водой, расположенной на углу дома, с задней его стороны, зачерпывает чуть ли не полное большое ведро и, делая вид, что ему ни капельки не тяжело, накренившись набок, быстро семеня ногами и обливаясь, тащит по тропинке в сторону нашего дровяного сарайчика.

– Вот так надо работать, мелюзга, – говорит после того, как корыто наполнилось аж до самых краёв.

Озабоченно посмотрев на солнце, уже почти коснувшееся своим алым бочком чернеющих зубцов далёкого соснового бора, совсем повзрослому басит:

– Некогда мне тут с вами в кораблики всякие играть, по дому дел целая куча.

Относит ведро на прежнее место и, насвистывая, даже не обернувшись в нашу сторону, гордо удаляется.

Накрошив в воду мыла, подсыпав золы, потому что так иногда делала мама, чтобы эта вода, как она объяснила Тане, стала мягкой, утопляем Калю с головой, поперёк корыта плотно укладываем полешки, на которые ко всему этому для красоты и скрытости наваливаем сорванные нами огромные лопухи. Секрет получился на загляденье.

– В жисть никто не догадается, – гордо говорю я сестрёнке, – это только мы с тобой могли вот так хитро придумать. Если даже кто и запрыгнет со всего маху, всё равно не поймёт, так всё крепко мы придумали.

– Помнишь, – смеётся Таня, – как баба Даря шла через наш огород и нечаянно провалилась в наш секрет, который мы устроили среди картошки. Наступила сверху на стёклышко, а оно – хрясь и лопнуло, Хорошо, что не босиком... А как увидела, что в вырытой нами ямке, в гнёздышке из зелёной травки, обложенном белыми ромашками, сидит идолица, то так взвизгнула, так кинулась куда-то бежать, что папа с мамою испугались за неё ещё больше. Помнишь?...

Солнышко к этому времени почти закатилось, повеяло прохладой, надоедливый комариный звон так стухнул, что казалось, это вот так горланят не мириады голодных особей, а одна жуткая и кровожадная сущность величиною с целое болото, высотой аж с телеграфный столб. Раздираемые изнутри великою тайной, наперегонки несёмся в дом, чтобы выведать у папы, чем можно по-быстрому отмыть золото, которое, чтобы засекретиться от алчных взоров, сверху покрылось специальной грязью, похожей на ржавчину.

– А кто же его так покрыл, – серьёзно спрашивает отец, – и что это за золото, о котором вы ведёте речь?

Переглянувшись, наперебой начинаем вымышлять всякую ерунду, что, к примеру:

– Все думали, будто чугунок, в котором всю жизнь варили картошку вместе с кожурой, железный, а потом случайно обнаружилось, что он никакой не железный, а из чистого золота, потому что царский. Как узнать было раньше, когда он завсегда такой чумазый, – веско аргументую я.

Папа от души и весело начинает смеяться.

– Где-то я уже об этом слышал... Где-то уже встречался с подобным... Ах да!.. Ну, конечно же... Пилите, Шура, пилите... Они золотые... Драгоценные гири, выкрашенные для скрытности в чёрный цвет подпольным миллионером Корейкой; пан Паниковский и Шура Балаганов с пилками по металлу. Ну, надо же... Нет предела глупости в этом мире... – Анна! – хитро подмигивает папа. – Ты, конечно же, читала «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова?..

– А что? – интересуется мама. – Читала, конечно, кто в институте этого не читал... И «Двенадцать стульев» читала... А зачем ты спрашиваешь?

Не замечая маминого вопроса, папа громко, как настоящий артист, которых каждый день можно услышать по репродуктору, что висит на столбе возле сельского Совета, принимается петь про каких-то людей, которые гибнут за металл. и что там, где они помирают за этот самый металл, некто по имени Сатана дирижирует тонюсенькой палочкой

оркестром, управляет балом, куда, по смыслу получается так, он этих людей сам и пригласил для веселья. За папиной песней, вот так торжественно пропетой не своим голосом, мне видится сказочный царский дворец с множеством разных дядек и тётек, где все они одеты по-настоящему: тётки в кружевные платья и шляпы с индюшиными перьями, такие как у павлина или жар-птицы, а дядьки в совсем узенькие, облегающие ножки белые кальсоны, башмачки с широкими пряжками и бархатные курточки с отложными воротничками. Все кружатся и скачут под музыку оркестра, которым дирижирует худющий дядечка в чёрно-белом костюме стрижа и в длинном цилиндре на голове. По всей вероятности, представляется мне, этот самый стриж и есть Сатана, который и самый главный. Одно только непонятно... За какое такое железо, которое ещё называют металлом, там гибнут люди? И зачем им надо гибнуть, когда этого железа вокруг – сколько хочешь; одних только рельсов на станции Кунара – аж до самого Свердловска. Кому бы нужно было колечко, найденное мною в печной золе – тусклое и некрасивое, если бы я его, крепко постаравшись, не сделал блестящим. Даже рельс – грубый и совсем некрасивый, если пошаркать напильником с совсем тоненькой насечкой (такой напильник папа называл бархатным), то он также заблестит, как золото, только по-серебряному. Выходит, всё дело в труде, в особом старании, в блеске, когда обыкновенное доводится до совершенства, становится красивым. Вот почему, оказывается, – думаю я, – некоторых умеющих красиво и правильно работать людей называют – мастер золотые руки. К чему ни приложат своё умение и руки – всё у них золото. А вот когда я свою Калю как следует отмою, а потом ещё и песочком сделаю блестящей и совсем новенькой, какой она была, может, целую тысячу лет тому назад, всем, небось, сразу станет завидно, потому как она по-настоящему станет золотой. А раз она станет таковой, многие от зависти начнут чахнуть, попытаются любым способом у меня её выдурить, украсть, а то и просто силой отнять, как то стёклышко от настоящего боевого бинокля, которое выхватил из рук и убежал Борька Агапитов из Выселок – самый настоящий разбойник. А я... в жисть не отдам... Возьмём с Таней и запрячем по секрету в такое место, где никто, хоть ты лопни, хоть ты тресни, даже со специальным фонариком не сыщёт. Самым секретным местом на земле мне представлялась сама земля. Не зря ведь разбойники всё своё награбленное зарывают в землю-матушку, отмечают на своих секретных картах место крестиком, называют его кладом. Надо бы спрашивать папу, почему землю называют ещё – матушкой. Заодно и о том большом белом камне на крутом берегу Пышмы величиною с курьинскую церковь, это когда едешь в Сухой Лог, который почему-то все величают Батюшкой.

Как кто из взрослых, а особенно дедушек, увидит, так ещё издали кланяется, ласково говорит: «Ну, здравствуй, мил человек Батюшка, седа твоя голова... Устал, поди, откос подпирать плечиком?.. Не переполнилась ли ещё чаша терпения?..» После этого некоторые, сильно старенькие, низко наклоняли головы, принимались крестить тремя сложенными пальчиками лбы.

4. Клад

Однажды, и это чистая правда, Валерка вместе с Толькой Паклиным нашли настоящий клад. Дядя Сёма – старший мамин брат, усатый и как две капли воды похожий на Чапая, после того как, побывав в немецком плену, помыкавшись по разным странам, вернулся на родину, тут-де, по законам того времени, был судим. Советский солдат – зарежься, застрелись, умри героем, пропади, в конце концов, пропадом, но пленить себя не дай... Отбив на принудительных работах положенный срок, поплавав на пароходе в качестве механика-моториста, возвратился в наше село, стал работать в колхозе трактористом.

За домом Таньки Стукольцевой и её родной сестры Верки, которая почему-то была не Стукольцева, а Рявкина, находился небольшой клин земли, сплошь поросший высоченными бурьянами, никак не возделанный. Скорее всего, всё дело в огромном плоском зелёном камне, выступающем в этом месте из земли, который запросто можно было бы и объехать, но который ленились объезжать, так как по прямой и легче, и для плуга безопасней. Стукольцевы жили на противоположной стороне нашей улицы, прямо напротив нас, были добрыми нашими соседями. Так вот...

Из года в год так и продолжалось; клин земли, примыкающий к колхозному полю, оставался диким и невозделанным, на зелёном камне мы – дети, играли в «замри» и в «вытолкашку», когда надо было кого-то с этого камня согнать, в зарослях лопухов – в прятки и разбойников. А тут, дело было осенью, Семён Иванович, вопреки своим предшественникам, решил довести это дело до ума. Работы-то... Для такого мощного трактора, как ДТ-24, перпахать три-четыре лишние сотки что раз плюнуть. Разделал клинышек, распахал вчистую, как будто так и было; громыхая гусеницами, укатил по каменистой дороге на машинную станцию, где и требовалось пребывать колхозной технике.

Валерка с Толькой, играючи, возьми да обнаружь среди свежей пашни вывороченную плугом глиняную корчажку с проломленным от железного лемеха боком. Глядь, а в корчажке этой полным-полно махоньких, что чешуйки, кривобокеньких монеток, совсем уж ликом почерневших



от времени. Выволокли совместно из пашни они этот самый проходившийся горшок на обочину улицы, насыпали себе по жменьке в карманы ради интереса и разбежались по домам. Родители с работы ещё не пришли, мы с сестрёнкой картинку рассматривали из толстенной и тяжёлой Советской энциклопедии, как он заявился. Прямо с порога так и огорошил:

– Вы вот тут сидите и ничегошеньки не знаете, а мы с Толькой Паклиным самый настоящий клад Соломона отыскали в земле, где огород Стукольцевых, возле нашего зелёного камня. Дядя Сёма его на тракторе плугом выкорчевал из земли, подумал, что это обыкновенная каменюга, а это глиняная корчага, тяжелющая-претяжелющая; еле-еле до дороги докатили.

Почему Валерка придумал, что это клад царя Соломона? Видно, когда-то мама или папа рассказывали, вот он для красного словца и назвал его так, не знаю...

– Не верите?.. А я вам вот сейчас покажу. – Запускает руку в карман, вытаскивает несколько странных штучек – кривеньких, плосеньких и совершенно почерневших, ничуть не похожих на драгоценные монетки, торжественно говорит: «Вот!...».

Увидя, что клад совершенно не произвёл на нас должного впечатления, стал горячиться: «Ничегошеньки вы не понимаете, потому что дураки и полные бестолочи. Старинные клады потому и ценные, что они древние».

– А что это такое? – спрашивает Танюшка, с недоумением разглядывая на своей ладошке малюсенькие и плоские овальные кружочки с едва различимым тиснением, похожие больше на чешуйки рыб, чем на эти, так называемые драгоценности.

Как сейчас помню, брат не моргнув глазом тут же соврал:

– Где уж вам – необразованным, знать... Это такая специальная дробь, которую в пушку заряжали, но только в древности; наподобие бекасины, – солидно добавляет он.

Слово – бекасин он произнёс с особой значимостью.

– А кто такой, – тонюсеньким голоском спрашивает Танюшка, – этот самый царь Соломон, чей клад вы с Толькой Паклиным своровали?

Валерка округляет глаза, начинает психовать:

– Кто его своровал?.. Он сам по себе выкопался из земли. И дырку в корчаге проломили не мы, а трактор. Проехал плугом не понарошку, горшок и лопнул с одного боку. А Соломон ещё в древности был самым богатым и умным царём на свете, умел разговаривать на всех языках, на которых разговаривают птицы и звери, даже по-рыбьему... Только он, как и цари египетские, жил там, где зимы со снегом отродясь никто не видел, потому что там одно только лето.

– Как же его сокровища, – изобличаю я Валерку, – оказались в огороде Стукольцевых?

Не умея ответить, ещё раз обозвав меня с сестрёнкою дураками, видно, потеряв всякий интерес к странному кладу, выбросил за окно оставшиеся чешуйки в палисадник, засел за интересную книжку с картинками, на одной из которых, сам видел, громадный крокодил вгрызается хищными клыками в борт лодки, почти уже опрокинул её, потому как все, и дядьки и тётки, в разных позах летят за борт, кроме одного, который уже замахнулся приличного размера дубиной и вот-вот ахнет ею со всего маху зверя по башке. На этом наверняка вся эта история с кладом Соломона и забылась бы, если бы не моя врожденная к тому заумность, помноженная на зудящее любопытство.

Подобрав, на всякий случай, несколько штучек, «дробинок», из клада Соломона, спрятал их в липового дерева пенале, где у меня хранились всякие мелкие ценности, и даже монетка с рожей настоящего Гитлера, которую папа немедленно приказал мне выбросить в уборную, но которую я, не знаю и почему, позабыл утопить, а спрятал в щелочке брёвнышка нижнего венца сруба, где потом заново и нашёл. Неистребимая страсть ко всему блестящему взяла верх. Но обо всём этом я поведаю несколько позже. Сначала же хотелось остановиться на вещах, вещичках, штучках, штуковинах и прочем хламе порою и непонятого разума жизненного предназначения, без которого, не попадись он мне на пути,

уж точно разве был бы я тем, кем есть сейчас, кем был когда-то, в пору моего любопытнейшего детства... Да, конечно же, не был. Вернее, как-то всё равно и был бы, только совсем другим; непохожим на себя, и уже совсем не Честным Сумасшедшим Человеком по имени Боборика. Наверное, дело в том, что отличительно от многих своих сверстников, что поиграли да выбросили, всякой новой вещице, обретенной всеми правдами и неправдами, всевозможными ухищрениями, представляющей моему пытливому уму интерес, я, не мешкая, тут же находил ему законное место проживания. Все эти стальные шарики, пружинки, часовые колёсики от раскуроченных мною будильников, давно отслуживших свой срок, увеличительные и разные другие цветные стёклышки, рыболовные крючки, свинцовые грузила, значки, брошки, монетки и прочее, прочее, прочее – не просто являли собою какую кучу, а индивидуально имели определённое место своего проживания, так сказать – прописку, свой личный адрес, что меня безмерно радовало, позволяло наносить им свои визиты, как это делается в приличном обществе, где никто ни о ком не забывает. Одним уровнем пространства нашего дома при таком объёме хранения, уж конечно, я обойтись не мог. А потому что-то сохранялось «под» – диван, кровати, шкафы, половички, что-то «на» – печь, полати, шкафы, полочки, дымоходные вьюшки и прочее, на что можно положить, подвесить, приколоть при помощи обыкновенной булавки, хоть на потолок. Что-то «за»... за картиной, за печью, сундуком, диваном, шкафами, умывальником и собственной пазухой. Были и такие ценнейшие экспонаты, что инкогнито пребывали «в», то есть в шкафу, в секретном его уголочке, в сундуке, под ворохом всякой мягкой рухляди, в папиной офицерской сумке, которая открыто висела на стене как реликвия в память о войне, в пустой треснутой крынке, чугунке, в старом валенке. Да мало ли где можно припрятать дорогую сердцу вещичку. К примеру... хрустальную бусину, умыкнутую в игре у Таньки Стукольцевой не понарошку, неплохо сначала спрятать в пустую гильзу от настоящего винтовочного патрона, его же, в свою очередь, наверху дедушкиного старинного шкафа со старинным названием – горка. Для открытого хранения лучше всего подходили стены, углы и закуточки и даже потолок, к электрическому ролику которого я однажды умудрился привязать на ниточке преогромный медный гвоздь, кривой и с клепаной головкой, который, по жаркому утверждению Саньки Непогодинова, от пиратского корабля, самый что ни на есть настоящий, его прадедушки, так как он в старинные времена служил в пиратской армии, ходил на деревянных ногах и имел один глаз, которым видел не хуже, чем через подозрную трубу. И хоть я был уверен, что пусть не всё, но в большей

части он наврал премного, выменял у него этот гвоздь за монету с харей Гитлера. Родители, увидя мою реликвию, привязанную под самым потолком к электрическому фаянсовому ролику, сначала поругали – как только шею себе не сломал, видя, что это действительно красиво, а главное, практично, многозначительно переглянулись и даже похвалили, что вот так трепетно отношусь к антикварным реликвиям.

Топография хранимых мною предметов была столь многообразной и обширной, что в голове уже не укладывалась; местонахождение многих из них вскоре забывалось, вещицы же продолжали храниться сами по себе по уголочкам, щёлочкам, безжалостно выметались маминим веником, бессовестно похищались старшим братом, приспособлялись папой в хозяйственных нуждах, когда ему это срочно требовалось. Так, два моих великолепных блестящих болта от настоящего боевого самолёта, да ещё и с фасонными гаечками, которые можно заворачивать и без ключа, просто так рукою, папа приспособил для книжной полки. Мне же их подарил двоюродный брат Яшка, который в свою очередь, стыбрил их с секретного завода «С», где хранится столько военных самолётов, убитых и покалеченных последней войною, что среди них запросто можно, как в лесу, заблудиться. Конечно же, у папы с моими болтами получилось и красиво, и прочно. Ещё бы... На таких штуковинах не то что велосипед, а и мотоцикл можно подвесить, такие они прочные и суровые. Не помню уж через сколько времени, но, пересматривая свои богатства, под старым кожаным диваном с прямою спинкою и двумя откидными валиками, величественным и нерушимым, в самом тёмном углу за массивной круглой ножкой натолкнулся на свой потерянный уж было липовый пенал, в котором хранилась всякая драгоценная для меня мелочь, в том числе и монетка с профилем Адольфа, которую я, благодаря невероятным ухищрениям меновой торговли, возвратил себе обратно, обменялся с закадычным другом Санькой аж за две кругленькие коробочки пистон и то, что осталось от клада Соломона, который Валерка с Толькой бросили в канаве у края дороги. Врождённым взглядом полировщика, душою огнепоклонника тут же для себя отметил: «Если на этот почерневший кружочек, похожий на малюсенькую криво расплюснутую монетку величиною меньше чем медная копеечка, как-то повоздействовать трением, то цвет её уж наверняка изменится». И вообще... Полировщики, они потому и полировщики, что всю жизнь только тем и занимаются, что что-нибудь да трут: глядя на невыразимые причуды мира, от изумления трут глаза, усердно протирают тряпочками запотевшие и мутные стёклышки очков, окуляры калейдоскопов, подзорных труб, до ясности протирают всё, что мутное и неясное. Благодаря воздействиям сил

трения, упорству, усердию и врождённому любопытству и металлы, и камни, и стёкла, и даже дерево они полируют до прозрачной лучезарности. А зачем?.. Что ими движет, для чего это им надо?.. Иллюзия!.. Плох тот мастер, что не стремится к величайшим тайнам под всеобъемлющим названием – Иллюзия. И разве сама наша жизнь не есть – иллюзия? Возьмите, к примеру, редкостный драгоценный камень, отполированный ювелиром, лучезарно блистающий своими многочисленными гранями... Им и любуются, и восхищаются, и даже боготворят. А что в нём такого? Что толкает иных ради завладения им на всё – мыслимые и немыслимые преступления и даже на убийство себе подобных? Ведь бесполезная блестящая чепуховина, если разобраться по-честному и не кривя душою. Насколько же человечество во мраке иллюзий...

Прижав монетку к своим вельветовым штанишкам, принимаю её с усердием натирать. Результат даёт о себе знать моментально. На плоскости металла ясно проявляется чёрный профиль всадника на вздыбленном коне, копьём пронзающего змея. От охватившего восторга, чувства, так знакомого всякому полировщику, тру монетку с такой яростью и воодушевлением, что, кажется, вот-вот и ткань задымит, а то и вообще вспыхнет ярким пламенем. Протерев в штанишках с дюжину малюсеньких дырочек, держу на раскрытой ладони кучку монеток, отполированных мною до изумительного блеска. Ни одной одинаковой. Все хоть чуть-чуть, но отличительны друг от друга. Мерцают ртутными бликами, точно такими, как у клювика нашего градусника, прибитого за окном, они представляются мне такою драгоценностью, что я тут же начинаю верить сказанному братом Валериком, что это настоящий клад царя Соломона, который, умея говорить на всех звериных языках, приказал медведю тайно принести в наши Куры и там закопать возле дома Таньки Стукольцевой. Целую корчагу...

– Эх, Валерик, Валерик, – горько сетовал папа, – кто же такие ценности вот так открыто бросает посреди села на обочине дороги. – Почему сразу же, как обнаружили, не сообщили мне, или маме, или кому из учителей нашей школы. И тащить эту корчагу по вспаханному полю никакой необходимости не было. Пусть бы и лежала там, где лежит. А теперь... Ищи свищи ветра в поле. Тоже мне, археологи. Дробь, бекасин... Никаких следов... И глиняного черенка на месте не оставили, все до единой денежки... Тю-тю.. Первые в России чеканные монетки из серебра. При Елене Глинской – матери Петра.. что я говорю, – поправляется папа, – какого там Петра, матери самого Ивана Грозного, начали хождение своё. А это – ты мне брат – не шути... Считай, с шестнадцатого по восемнадцатый века... Тогда мастера-чеканщики ещё не имели такого

опыта делать все денежки совершенно одинаковыми, и по весу, и по внешнему виду, потому и кривенькие. А вот – выбирает из кучки самую толстенькую, – как минимум, раза в полтора всех остальных тяжелее. Знаете, как называется такая денежка? Копейкою... От слова – копьё. Этого всадника, который копьём тыкает Змея Горыныча, называют ещё Георгием Победоносцем, вроде Ильи Муромца, который змею всеголовы мечом-кладенцом поотрубал. Ну ничего... Наперёд будет тебе наука, – уже миролюбиво говорит он Валерику, – мы эти старинные монетки, все до одной копеечки, передадим в областной краеведческий музей, а может, даже куда и повыше, аж в Свердловский... Представляете!.. Только остальные, которые надо ещё и отыскать в нашем палисадничке, – смотрит на меня, – так полировать, как постарался Боборика, и вовсе нет никакой надобности. Пусть остаются такими, какими их нашли, какие есть – чёрными и древними. Теперь вы с Толькой Паклиным станете знаменитыми, – смеётся папа, незаметно подмигивая мне. – В стеклянной витрине из особого непробиваемого стекла, чтобы никто не похитил, – знаешь, какая это ценность, – на бумажной этикеточке так и будет написано, что клад найден учениками первого класса курьинской средней школы №1 Валерой Мокаевым и Толей Паклиным.

– А почему Толик? – возмущается брат. – Он свои, целый карман, все до единой штучки из озорства, от делать нечего с моста в речку побулькал, сам видел. Их сейчас в жисть не сыскать.

– Ну, – хмурится по-настоящему папа, – тогда придётся написать про вас правду. И про то, как волокли корчагу по полю, как бросили историческое достояние народа на дороге, вместо того чтобы сообщить о кладе в милицию, как по-безответственному, по-хулигански пулялись выкраденными монетками куда попало, по существу, безвозвратно утопили в речке.

– Как же это мы их выкрали, – с изумлением таращит глаза Валерка, – когда в земле нашли. Это что же такое получается, – горячится он. – Они же совсем ничейные... Эту корчагу дядя Сёма на тракторе своим плугом случайно из земли выковырял и внимание даже не обратил, что настоящий клад, подумал, каменюга или ком глины. Мало ли что может прятаться в земле. У Витьки Киривякина дедушка вместе с картошкой выкопал настоящий боевой штык от винтовки, только совсем проржавелый и с отломленным носом. А само ружьё, сколько ни копал потом, так и не сыскалось. Что... Получается, что он этот штык украл? – с праведным возмущением спрашивает Валерка.

– А вот так и получается, – объясняет папа, – к штыку или какой ржавой армейской каске это, может, и не имеет значения, но относительно монет и прочих предметов старины из драгоценных металлов и камней,

и даже природных слитков из золота, есть специальный закон, по которому всякие древние клады, где бы они ни были найдены на территории государства, как историческое достояние принадлежат ему, то есть государству, а по-другому – народу. Но!.. Сейчас уж и не помню точно, то ли двадцать, а может, двадцать пять процентов от общей стоимости клада или найденного самородка золота выплачивается тому, кто всё это нашёл, а главное, заявил куда следует, где и как нашёл и при каких обстоятельствах. Всякое случается... Как ты думаешь, Валерик, ведро, а их в этой самой глиняной корчаге, как ты её обрисовал, уж никак не меньше было... Ведро серебряных монет, да ещё и таких древних, что-то стоит? Вот, – назидательно говорит папа, кивая указательным пальцем в воздухе, – опростоволосились вы, братцы, попятити несознательные элементы ваши денежки. Небось, уже перелили... Иначе обязательно бы объявились.

– Ладно, – быстро скумекивает Валерик, – согласен, пусть рядом с моим именем пишут и Толькино.

Мне становится до слёз обидно: не по-справедливому получается. Не благодаря ли моим усилиям всем стало ясно, что это не какие-то там грязные штучки, которые и в руки-то брать противно, а настоящие серебряные монетки с изображением всадника, да ещё и поражающего копьём змея? Если бы я вот так, красиво, не сделал их блестящими, кто бы об этом мог догадаться? Штанишки вельветовые протёр до дырочек, а теперь про Валерку с Толькой все узнают и будут их хвалить, а про меня ни в какой бумажке и не напишут. Сердце наполняется горечью. Жаль, думаю я, что остальные монетки, аж целое ведро, по их глупости кто-то спёр, или, как по-интересному выразился папа – попятил. Уж я бы точно все до одной копеечки сделал блестящими. Неужели взрослые не понимают, что, чем чёрные и грязные, такие они гораздо красивее и радостней. Мой пиратский гвоздь потому и веселит душу, что, болтаясь на ниточке под самым потолком, отражает лучики света от лампочки, так я его жарко натёр об валенок.

Вооружившись пустою картонной коробочкой от маминой пудры, иду собирать в палисаднике посеянные Валеркой денежки, малой толики клада легендарного Соломона, который уж точно кто-то перелил, то есть, как представляется мне, взял из корчаги через пролом, густой чёрной струйкой пересыпал эти самые копеечки в большое оцинкованное ведро, повесил на коромысло и, виляя задом, убежал. Присев на корточки, внимательнейшим образом исследую каждый клочочек земли, раздвигаю травинки и сухие листики, ищу вожделенные монетки, а они, возможно, уже сквозь землю провалились.

– Есть одна!.. Тут же старательно тру о штанину. Блестит!.. Малюсенький всадник с пикою, неожиданно прозревший от столетий могильного мрака, – чернёный, тоненький и изящный, мчится по искристому отражённому лучику туда, где вечный свет, без которого и самый чистый бриллиант – чёрная пустота.

Глава 5. ЗОЛОТАЯ КАЛИ

1

Так уж получилось, но про Кали мы с сестрой как-то совершенно запамятовали. Утопили в корыте с головой, чтобы откисала, накрыли пыльным мешком, завалили для большей секретности берёзовыми полешками и совершенно «запумятовали». Это странное «запумятовали», так характерное в разговорной речи деда Кузьмы, незаметно прокрадось и в наш лексикон, полюбилось, прежде всего, своею бескорневою нелепостью и какой-то простецкой бестолковостью, так как, ясное дело, есть слово – память, но никак не «пумять». И чем больше взрослые, по поводу этого делали свои справедливые замечания, причисляя бедное «запумятовали» к словам паразитам, тем больше и мне, и моей сестрёнке хотелось вставлять его по всякому случаю, где надо и не надо. К примеру...

– Вовка! – кричит из палисадника через отворённое настежь окно Татьяна, – а куда подевался наш Биська? Ему, по времени, пора уж таблетки пить и делать уколы; совсем, что ли, запумятовал?..

– Да как мне не запумятовать, – в тон ей отвечаю я, – когда столько забот на мою бедную головушку...

Биська – плюшевый медведь-мученик с разноцветными глазами страдальца, был существом для нас с сестрёнкой сокровеннейшим, безропотнейшим. Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах он полностью лишился обоих своих глаз, стал инвалидом, но... Но ненадолго. Благодаря совместной сложнейшей и высокотехнологичной хирургической операции, выполненной нами с блеском, утраченное зрение ему было возвращено и зримо, и наглядно. Две разноцветные и не одного размера пуговицы, пришитые кривенько – крест-накрест, придали этому существу такое скорбное выражение лица, что, честное слово, некоторые то ли от сентиментального умиления, то ли от сострадания слёз сдержат не могли, так их это трогало. Деда Кузьма – шутник и балагур, каких попробуй ещё сыщи, обитал возле самой речки в игрушечной избушке с таким же примыкающим к домику малюсеньким огородиком, где произрастало всего, но по самой малости. Проживал

он один – бобылём, что, кажется, его ничуть не печалило; по утрам ловил рыбку в Пышме, собирал грибы-ягоды в лесу, помаленьку ковырялся в огорожке, где, помимо всякой иной полезной травы, было насажено табаку, особо выведенного им, так как в отличие от других мужиков казённому зелью не доверял и на самую малую понюшку.

– Вот вы, – любил говаривать он мужикам, собравшимся как бы ненароком покалякать, – курите всякую хрень... А что внутрь души запускаете, и сами не ведаете. Раньше, в прежние-то времена, табак вручную собирали, по листику. Машина, ведь она что... Режет, знай себе, под корень всё подряд, без всякого соображения... С гусеницами, кузнечиками и прочей Божьей тварью, мелет в мелкую крошку. Хоть эта насекомая видом непривлекательная, но раз Господь её сотворил, то, как знать... Може, и у неё есть кака душа в наличии... А вы... С дымом запускаете... В прошлом разу угостился было у Тимохи – младшего из Заблаковых... Кисет-то со своим запумятовал... Ей-ей... Из нутра так всего и не вывернуло. Стал ладить самокрутку, глядь, а в махре два тараканьих вуса вместе с отсечённою башкою, да ещё крылышко божьей коровки. Разве это ладно...

Когда деда Кузьму просили рассказать какую интересную историю, которых он знал, кажется, несметное количество, потому как умудрялся сочинять их на ходу и во множестве вариаций, он, непременно, вопрошал: «Так про сё, понимаешь ли, я, поди, кой раз ужо калякал, а вы слухали. Неужто всё запумятовали?..»

«Интересно, – думается мне, – если дядям и тётям, таким умным, свойственна забывчивость, то что уж тогда говорить о детках, у которых от многогранности мира, с которым они столкнулись в этой жизни сравнительно ещё недавно, и мысли вразброс, и ветер в голове шуршит листьями».

Не менее как дней десять минуло с того памятного времени, как мы упрятали в купели богиню Кали. На полешках, видно, оттого что они соприкасались с водою, от чрезмерной мокроты густою стайкой выросли бледные поганки. Сгрудившись кучкой на тонюсеньких кривеньких ножках, они отклонились своими глянцевыми головками друг от друга, как бы неожиданно рассорившись, точно так, как и у людей, разошедшихся мнением по принципиальному вопросу, по которому у каждого своя правда. Часть воды из корыта, хоть оно и было плотно сверху заложено дровами, чудным образом испарилась. Богиня предстала в самом наипечальнейшем своём образе. Голова и две воздетые над нею руки были цвета белёсой неочищенной извести, всё же остальное, находящееся в воде, частью позеленело и побурело. На ощупь оказалась

скользкой, пахла не столько суровым хозяйственным мылом, сколько креазотом, веществом, которым пропитывают на железных дорогах шпалы и которым, уверяю вас, пахнут все железнодорожные станции и вокзалы всего мира. Крепко ухватив Кали с двух сторон, прыгая через грядки и картофельные рядки, потащили её через весь огород к ручейку, весело журчащему по самому краю нашего болота, сплошь покрытого изумрудной травой, жёлтыми восковыми соцветиями лютиков и куриной слепоты, лазуревыми колокольчиками и белыми, что снег, лилиями. Притязание, что это болото не чьё-то, а наше, сложилось в связи с тем, что эта часть, куда примыкал вплотную наш огород, по сути, являлась продолжением его, никак не была огороженной, использовалась в хозяйственных нуждах для полива огорода или, когда требовалось, чтоб срубить какую палку, нарезать тальника для изготовления метлы. Для нас, детей, ручеек также представлялся нашим, и вербы, и тополя, и даже мох, толстым ковром покрывающий зыбкие, трясущиеся под ногами хляби, были нашими, и всё остальное. Чьи же могут быть тополя и вербы, лютики и лилии, когда они проживают в нашем огороде и никак от него не огорожены?.. Кровожадные пиявки, горластые лягушки, ужи, гадюки и болотные кулики причислялись туда же. А когда ненашенская корова, от глупости и невоспитанности своей решившая полакомиться на нашем огороде капустой и огурцами, сократила путь да и угодила в трясину, стала тонуть, то папа с мамой так напугались, что стали её спасать, как нашу родную Соньку, и даже ещё лучше, потому как она была чужая, а утопиться решила сразу же за нашим огородом.

– Анна! – кричал громко папа, проталкивая под брюхом воровитой бурёнки толстенную жердь, поспешно вырванную из прясел, – не дай Бог, если я ей вымя поврежу или сверну ногу, что хозяева-то скажут... Неси скорее ещё одну... и верёвку...

А когда корова, решив по-быстрому выбраться, наступила на папу передними ногами, он так погрузился с головою в жижу, что чуть сам не потоп.

– Дура кривоглазая! Какого ты лешего ногами дрыгаешь?! Ведь чуть совсем не утопила, сволочь!

У коровы действительно один глаз был косой, а противоположный к нему рог вывернутый задом наперёд. Всё это придавало её морде выражение и лукавства, и глупости одновременно, что в жизни весьма редко сочетается, несерьёзнейший же раскрас – чёрно-бело-бурых тонов – эти противоречия ещё более усиливал. После того как подоспевшие на помощь мужики посредством досок и верёвок вызволили всё же обезумевшую от страха и радости животину, вместо того чтобы хоть

как-то выразить спасителям свою благодарность, вылупив глаза и задрав хвост, кинулась бежать через наш огород, прямо по маминым овощным грядкам, поломала калитку, взбрыкивая задними ногами, умчалась в колхозные поля. Чья это была корова?.. Так никто, кажется, и не узнал. Уже у самого ручейка, куда мы приволокли свою богиню, неожиданно обнаружилось, что никакого песочка на его бережках и в помине нет. Как же так... Ведь был – тоненький и беленький. Сам видел, как мама им закопченную посуду шоркала.

– Это всегда так бывает, – со знанием дела серьёзно говорит мне Таня, – его то намочет, когда сильный дождичек, то опять растворит в воде, как сахар. Айда на речку... Там этого песочка ну просто ужас как много.

– А во что мы его наберём? – спрашиваю я.

– В пустую картонную коробочку из-под папиных ботинок... Она ему теперь совсем не нужна, потому что валяется на сеновале, где гнездятся курицы, – отвечает находчивая Таня. – Мама в эту коробку иногда яички собирает. Принесём только песочек, а потом поставим на место.

Прикрыв богиню лопухами, несёмся на речку. От песка такая, кажется, небольшая коробочка становится тяжёлой-претяжёлой, кренится набок, в конце концов переламывается пополам. Никогда не думал, что такой мягонький и струящийся песочек в коробочке становится таким тяжёлым. Придётся бежать обратно домой за маленьким детским ведёрком, у которого почему-то отломалась и потерялась ручка. Повстречав по дороге Верку Рыбкину, о чём-то пошептавшись с ней, Таня, совершенно неожиданно для меня, утрачивает всякий интерес к предстоящей увлекательнейшей работе, вместе с нею скоро бегут в сторону чуванёвского моста, где, как я понял из громкого шёпота Верки, дикая крольчиха вывела из норки своих крольчат на прогулку, которых ужас как много, и что она, то есть эта крольчиха, вряд ли будет против, если одного или двух малышей у неё попросить взять себе домой на воспитание.

– Вот глупые девчонки, – психую я, – так вам она и отдала... Это они с виду такие мягонькие и ласковые и плохо умеют бегать. А на самом деле... Саньку Непогодинова так укусил этот кроль, когда он, изловчившись, схватил его за ухо, что из его организма чуть вся кровь не вытекла, полпальца отгрыз в момент, еле пришили. Да и Танька... Уж позабыла, знать, как один охотник, хорошо знавший нашего папу, в весёлом пьяненьком настроении, чтобы как-то сделать папе уважение, прямо на опушке леса подарил ей настоящего живого зайца. Как помню, залез в свою хозяйственную кирзовую сумку рукою и, как фокусник,

извлёк из неё этого самого русака за уши. А заяка висит весь ни жив ни мёртв, сердечком трепещет, бедненький, передние лапки свесил на грудке, как суслик какой, ну прямо сама кротость Божия.

– Ой! Какой мягонький и тёпленький заяка, – восхищённо запрыгала сестра, крепко и обеими ручками прижимая косоного к голенькому животу, – совсем как не настоящий, а игрушечный. Спасибо, добренький дядечка!..

Но как только «добренький дядечка» скрылся из виду, заяц и ожил. Да как ожил... Обхватив сестрёнку передники лапами за шею, задними так деранул по животу, что шкура дыбом поднялась. Меня, пытавшегося его утихомирить, лязгнул зубами, как и Таньку, стал драть задними ногами и куда попало, пока от страха я его не выпустил из рук. Самое замечательное, как мне запомнилось, при экзекуции над нами – несчастными малышами – не проронил, мерзавец, ни звука. Так молча и исцарапал до самой крови. А ещё говорят, что зайцы трусы...

– Как можно, – ещё сильнее психую я, – променять такое дело, к которому так готовились, на каких-то глупых кролей, которых, как и ондатр, под глинистым обрывом у самой реки можно наблюдать хоть каждый день. Сдалась тебе эта пискуля Рыбкина.

«Нет, – с грустью думаю я, – Танюшка, как и папа и как мама с Валериком, не иллюзионистка. Неужели ей всё так быстро забылось? Забылся мир – прозрачный и невесомый, сияющий всеми цветами радуги, исполненный чистого звучания самой жизни. Не там ли дано было впервые встретиться, пристально посмотреть друг другу в глаза, как в зеркалах, узнать себя такими, какие есть. Почему же я всё это помню, а она запамятовала? Ведь так тонко и чисто пела труба Мастера, прошедшего проводить нас через краткую смерть к жизни: «Ступайте прямо! След суеты – мелкая рябь на воде. Любовью и добром творите главное. В каждом деле ищите и добывайте его совершенство. И мельчайшую песчинку можно ограничить не хуже алмаза, если иметь в стремлении к тому великую любовь мастера. У каждого свой след и каждому своё. Одним – умелыми руками откалывать глыбу от каменного утёса, другим – вырубать из неё равноугольные блоки под основание пирамиды, есть и те, кому доверено шлифовать, покуда на камне не появятся тени. Вы же... Всеумзавершающие, доводящие до лучезарного блеска и точности. То, что принято обозначать сутью. Не на ясном ли и чистом от облаков ночном небе мириады звёзд?.. Не в прозрачности ли морских глубин явлены взору несметные стаи рыб? Бегите иллюзий лжи, сторонитесь всех тайных её проявлений. Сами будьте миру прозрачными, избегайте теней переменчивости».

Откуда во мне всё это?.. Не само же по себе придумалось?..»

Огрызочком изодранной мочалки, смоченным в воде и вываленным в тончайшем песочке, более похожем на дорожную бархатную пыль, оттираю скульптурку богини Кали от смутных патин веков.

Боже ты мой!.. Как здорово!.. Как, до изумления, всё просто и ясно.. После первых же лёгких движений по кругу на личине богини вспыхивает солнечный зайчик. Сначала величиною с малюсенькую золотую копеечку, затем, всё разрастаясь, – с пяточок и, наконец, с маленькое ярко сверкающее солнышко, переливающееся своими лучиками при малейшем движении змееносной головы юной богини смерти.

«Золотая!.. Как есть, из чистого золота, – лихорадочно скажут мысли. – Не может же так быть, чтобы только одна голова?.. Уж наверняка вся такая». Ещё с бóльшим рвением принимаюсь за работу, начальный результат которой так явен и зрим, что от восторга аж дух захватывает: «Ялучший в мире полировщик старинного золота, которое почему-то ещё называют бронзой, латунью, медью, железом и даже чугуном».

Но вся эта путаница произошла оттого, как мне кажется, что большинство людей напрочь лишены чувства любознательности. Не надо путать с любопытством, оно несколько иной природы. Так вот... От этой самой наблюдательности они ничегошеньки толком не знают и не умеют, хотя нет-нет да иногда, как бы ненароком, любят подчеркнуть: «И мы не льком шиты... По всякому предмету имеем своё правильное соображение; не хуже иных научены...». И это касательно почти всех взрослых, за исключением очень стареньких дедушек и бабушек, дошедших до таких глубин своего возраста, что их смело можно отнести к тем же ребятишкам; в головах их подобные вопросы уже не возникают, сидя на завалинках, они любят шуриться на солнышко, греться в его лучиках, воскрешать в себе детство. Не смущаясь своей беспамятности, что когда-то всё помнили, да вот запамятовали, радуются присутствию детей, в своих играх бывают с ними на равных, находя подобное времяпрепровождение очень спасительным для себя, веруя, что только так можно вновь обрести утраченную правду, чувство искренности, меру стыдливости. Неизбежность грядущего сретенья с так и непознанным Богом делает

их слезливо-сентиментальными, как им кажется – набожными, на самом же деле – суеверными. Детская непосредственность и несмышлёность дают шанс на спасение. Со съехавшими набекрень мозгами, так кажется их великовозрастным отпрыскам, совершенно беспричастные к деньгам, которые всю жизнь копили, не ведающие робости перед властью, не боящиеся уже и смерти, они дразнятся, показывают язык,

выкраивают по-разному физиономии, задираются, а главное, грозятся наследством, которого запросто могут и лишить к нескрываемому ужасу наследников. Ну не дети ли!.. Взрослые же, наоборот... Не в жисть не признаются в своём слабоумии, своей безнравственности, полнейшем безверии. Всё это у них каким-то непостижимым образом уживается с добродетельностью, с десятью заповедями, признанными ими, но... на всякий случай, принятыми на словах, декламируемых – ради красного словца. Это когда ещё ничего не болит, то есть не в том случае, когда уже совсем помер, а тогда, когда побаливает, но терпимо, не случилось войны, глада и мора, душа не отвергает такой гадости, как табак и водка, и даже, наоборот, с благостью принимает, глаза от различных искусов и вожделений разбегаются веером. Взрослые, с точки зрения невинного дитяти, как правило, в большинстве своём вруны. Не умея, как правильно ответить ребёнку на его законный и вполне резонный вопрос, на который он имеет полное своё право, так как это касается самой жизни, принимаются безбожно врать.

– Да в конце концов, – топает ножкой малыш, почувствовав, что его водят за нос, а по-простому – егорят, – вы можете мне толком объяснить, откуда я появился, каким образом уродился и где до этого был раньше? И не надо мне врать про ваших аистов и журавлей, про капусту, произрастающую на огороде, и при этом одновременно про мамин животик.

Можете представить, какой переполох сотворится в гоове любопытствующего малыша при подобном объяснении, где всё с ног на голову.

«Что-то здесь не так», – начинает кумекать он, зорко и самостоятельно взглядываясь в жизнь, проявляя любовь к знаниям.

Относительно же любопытства, сказанного мною выше, как о похвальном качестве, в котором я отчасти отказал многим взрослым, признаюсь, несколько поспешил. Любопытство любопытству рознь... Не ради ли этого жгучего чувства подсматривают в щёлочку за соседом, а паче того, за молодой соседкой, подслушивают чужой разговор, прочитывают письма, предназначенные, увы, для других?

Фу ты... Куда это меня опять занесло?.. Я слишком ещё мал... Мне ли, прирождённому полировщику зеркал, причисленному к цеху иллюзионистов – ордену Иллюминатов, задаваться столь глупыми вопросами: каким образом я уродился? Не достаточно ли того, что уже чувственно известно?.. Я тот самый ученик Мастера с голосом звонкоголосой серебряной трубы, искренне полюбивший свою нелёгкую и грязную работу полировщика, ту работу, от которой все сторонятся как чёрт от ладана, плоды которой любят, ибо что может быть приятственней, как наблюдать себя собственной горделивой персоной со стороны

отражённым в зеркале иллюзий, где и правда, и ложь слиты воедино. Чужая душа – потёмки... Так было и будет до скончания века... Но не ради ли правды явлены миру полировщики зеркал? За внешним – внутреннее, за внутренним – внешнее. Не поспешно ли судим? Благолепен золотой сосуд, внутри же полон смрада и мерзости. Бывает и наоборот. Как узнать то, коли чужая душа что мрак беспросветный? Эх, додумались до такой хитрости. Попробуйте убедить в этом младенца... Уверю вас, и тому свидетель я, он, хоть вы тресните, с вами не согласится.

– А почему? – с удивлением спросите вы, полагая внутри себя: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало».

– Да потому, что не успел ещё приобщиться к порокам взрослых, научиться беспробудному вранью относительно всего и вся, – отвечу я голосом своей младенческой памяти. – Чтение душ для ребетёнка – сущая забава, что раз плюнуть. Одно только беда... Словесно не приспособлен высказаться вам в лицо, какая вы бяка. Тут уж по его внешне проявленным признакам нужно ориентироваться. К примеру... Если заулыбался во весь свой беззубый ротик, скроил губки ижицей, загугукал, задрогал восторженно ножками и ручками, пустил слюнку, то уж точно знак верный: дяденька добренький, душа, пусть и не сияет по-божественному, но светленькая, радостная и любящая душа. А коли заорал не младенческим голосом, закатил глаза слёзные, вытянулся в судорожную струночку, обгадился – никак, чёрта узрил рогатого.

Очнувшись от столь разноречивых мыслей, восторженными глазами язычника созерцаю ожившую голову богини Кали – супругу верховного Кришны – Тени Его нахмурившего Образа. Большие миндалевидные глаза. Высоко вскинутые брови, резко очертанные припухшие губы, мягкий овал лица и, самое чарующее, вьющиеся, словно прядками волос, тоненькие змейки с бусинками глаз на приплюснутых головках – всё это вызывает в душе нечто смутное, связанное с памятью, и что это, уже мною виденное когда-то, непонятно и когда – в прошлом ли, в будущем ли, какая в том разница, когда это самое прошлое и настоящее, как и будущее, неразрывно слиты единым кругом. Неизменен и сам человек, в какие бы времена он ни бытовал: и тёмный, и страшный, и благолепен – всему своя мера: образ и подобие Бога, печать дьявола... Чужая душа – потёмки.

«Как странно, – подумалось мне, – неужели в мире ничто не меняется? Всё раз и навсегда свершилось, перетекает из круга на новые круги как нечто позабытое старое».

– Ничего, – торжествую я, – ты у меня станешь ещё блестящей, ещё новее. Вот ототру сначала всю, как есть, тоненьким песочком, потом

дам хорошенько просохнуть и, по примеру деда Кузьмы, наярю суко-
ночкой с мелом, чтобы светилась, как зеркало. Он так и говаривал,
когда вздумывал начищать свой медный самовар с круглыми медалями
по тулову: «Щас мы с тобой, Вовока, так энту тульскую механику, итит
её паль, суконочкой, да с мелком наярим, что и свет включать отпадёт
всяка надобность. Подобно солнечной хламиде сиять буде. Жаль, что
гой¹ закончилась. С энтой смазкой гораздо сподручнее; зараз что зеркало
делается, глядеться можно рожею».

– Вовка... Ты где? – доносится голос сестры. – Мама зовёт кушаться.
Беги по-быстрому, а то уж и папа шибко сердится. Вот он даст тебе,
что ты на болоте спрятался аж на целый день, а гусины дети удрали со
двора и спрятались под амбаром Наталии Спиридоновны, Танькиной
бабушки, а вылезать не хотят. Сегодня твой день... Ты над ними дежур-
ный, – Валерик так сказал.

Который уж раз хороню свою незаконченную работу в зарослях
лопухов, стремительно несусь через весь огород к баньке, чтобы там
хорошенько и с мылом отмыть непонятно почему позеленевшие руки.
Несмотря на все мои ухищрения, ладони рук не отмываются, малахитовые
разводы между пальчиками становятся ещё более выразительными.

– А чем это ты так извозил руки? – тут же спрашивает папа. – А колени?! Ты посмотри на свои колени... Специально, что ли, их так медным
купоросом вымазал?

– Анна! – уже смеётся папа. – Ты посмотри на этого охламона, на
что он похож...

– Это он, папочка, специально так об идолицу извозюкался на болоте,
чтобы отшоркать её до настоящего золота, – неожиданно ябедничает
Танька, тут же делая испуганные глаза и прикрывая ладошкой ротик.
Проговорилась...

– Это какая такая идолица? – неожиданно интересуется отец, строго
глядя на меня.

– Господи... – всплёскивает руками мама, – я эту чугунную бабу куда
только уже не прятала от них; спасу нет... Хоть как ухищрайся, всё
находят. Мало тебе было, – опять вспоминает она, – когда тебе Валерка
чуть ногу этой железякой не переломил пополам. А если бы по баш-
ке... Где ты её опять откопал? Горе ты моё луковое, наказание на мою
голову... – Смотрит вопросительно на папу. – Её давным-давно как
пора бы было на металллом сдать. Наталия Спиридоновна в прошлый

¹Гойя – полировочная паста зелёного цвета на основе воска с включением абразивного материала.

раз так запнулась о неё в малине – заметно разве, что от неловкости, при своей тучности, с ног и скувыркнулась набок. Хорошо только так... А сломай ногу... Или селезёнкой об эту железяку. Шутка ли... на чугунную болванку со всего ходу налететь...

«Эх! – горестно думается мне, – посмотрели бы вы сейчас на эту, как всем кажется, ненужную ржавую железяку, по-другому бы, небось, заговорили».

В папиной толстенной книге, которую называют энциклопедией, да ещё и большой, есть картинка тётеньки, очень похожей на нашу, только ручки выставлены по-другому. Так Кали в сто раз красивее, потому как из самого настоящего золота. Но об этом, кроме меня, никто и не догадывается. И пусть это останется только моей тайной, – со сладостным замиранием сердца думаю я, – иначе, как сказал папа, её придётся отдать государству как клад. Интересно получается... Когда вот такая, совсем неумытая, валялась на всём виду, то никому не нужна была... И государству, которое уж точно и всё знает, и всё видит – не нужна была, и даже нашему милиционеру Василию Бобикову, который чуть не налетел на неё на своей мотоциклетке, потому как она валялась на дороге. Спотыкались, бросали в заросли крапивы, прятали с глаз долой, на чердаке, сеновале, в дровяном сарае, в мусорной куче. А один раз даже утопили в речке, но не в глубоком месте. Пацаны купались и выудили... Бросили на чуванёвской поляне, где мужики деревянные избы рубят, в кучу щепок, запалить даже хотели. И точно бы запалили, если бы кто-то из работяг не погнал. Потом, непонятно и зачем, кому-то понадобилось привязать её верёвкою к осине, что у самого края болота за нашим домом. Как попала обратно к нам на огород, также никто не знает, потому как именно я, а никто другой, отвязал бедняжку от дерева и на верёвке приволок. В который уж раз устроили с сестрёнкой для неё секрет. Среди картошки в мягкой земле вырыли щепками приличной глубины ямку, стенки и дно сплошь обложили цветными глазурованными черенками битой посуды, сверху устроили стеклянную крышу. Перед скульптуркой в уголке прилепили церковную свечку – тонюсенькую-претонюсенькую, похожую на кривую макаронину, поставили пустой пузырёчек от маминих духов, чтобы пахло вкусно. Красиво и торжественно, аж ужас. Брать спички нам строго воспрещалось, но ради такого дела... Как помню, ей-ей, в свете свечи черты лица богини словно оживились, змейки на голове закивали головками и стали извиваться, а из ямки, словно из глубины самой земли, едва слышно, но всё же различимо послышались звоны серебряных бубенцов или хрустальных льдинок. Как ни странно, меня это несколько не удивило, более того, я даже знал, что так оно и должно

случиться, а потому отнёсся к доносящимся из земли звукам спокойно. На улице уже смеркалось, свет, льющийся из могильного склепа, отражаясь в многоцветии глазурированных черенков, навевал чувство необыкновенной торжественной грусти, хотелось плакать. Крышку секрета – куска битого оконного стекла, сверху обложили полевыми цветами, разными лютиками и ромашками да анютиными глазками, поверх ещё и лопухами и только после всего этого, чтобы совсем скрыть следы присутствия нашего секрета, присыпали мягкой землёй.

Раздираемые изнутри тайной, о существовании которой ну просто нету мочи как хочется с кем-нибудь, но поделиться, узенькой тропочкой молча идём в сторону дома, таинственно и многозначительно переглядываемся; проходя мимо старшего брата, сидящего на крылечке и с аппетитом жующего кусок свежего ржаного хлеба, да и ещё для большей вкусности пропитанного подсолнечным маслом, делаем лица нарочито непроницаемыми, почти презрительными. На всё это с нескрываемым торжеством ябеды он тут же мстит:

– Всё расскажу... Вы что думали, я не видел, как Вовка без спросу спёр спички и как ими потом баловались... Поджигали картошку на огороде... И даже не просите... Всё, как есть, папе с мамой расскажу. Вот тебе, Вовка, папа даст за спички; постоишь тогда в углу. Вы, дураки, даже не знаете, – ещё более усердствует Валерка, – что картошкина ботва, если её хорошенько поджечь спичками, может гореть, как порох.

Несколько подумав, врёт ещё более:

– Весь огород и наш дом взорваться мог бы.

Переглянувшись, тут же посвящаем старшего брата в страшную тайну, требуем от него клятвы, а для скрепления её, как в таких случаях полагается, предлагаем съесть комочек земли, по-настоящему, после чего человека, если он данную клятву нарушит, уж точно разорвёт на кусочки изнутри. Брат лукавит, землю проносит мимо рта, незаметно выбрасывает; как взрослые, когда выпивают водку, страшно кривится, выпучивает глаза, машет руками. Но нас устраивает и это. Получить от родителей нагоняй за спички, уж конечно, не хотелось; папа в этом отношении был особо строг, а потому, дабы быть ещё уверенней, что он случайно не выдаст, делимся с ним своими карамельками, теми, которые мама ещё утром поделила на троих и которые он давно как съел, а мы сохранили. Брат остался очень довольным.

Через три дня в наш секрет, неожиданно для себя, провалилась соседка Дарья Ивановна, которую мы по-простому называли бабой Дарей. Её глупые куры вместе с петухом Якимом через прясла перелетели на наш огород, вот она и пошла их выгонять. Бежит по рядку картофельному

да как со всего маху ахнется с треском. А как увидела, куда провалилась, да ещё и медную болваницу с церковною свечкою, заорала дурным голосом: «Господи! Упоси мя от соблазна бесовского – идола поганого...» Кинулась что есть мочи бежать, не замечая скривленности от ушиба ноги. Хорошо, что родителей наших дома не было. Быстро сообразив, что секрет рассекречен и что за бабу Дарю нам крепко влетит, потому как это уже не в первый раз, вместе с Таней богиню Кали прячем на сеновале, все до единого стёклышка извлекаем и прячем под забором, ямку вровень сравниваем с землёй, да так, что и бывшего места уже не сыскать. И хоть папа потом, по её настоянию, тыкал лопатою туда, куда она ему указала, естественно, ничегошеньки не нашли.

– Как же вы... – не без жизнерадостной весёлости спрашивал он смущённую Дарью Ивановну, – ни бугорочка, ни ямочки... Земля в дыме и с треском разверзлась, наглядно явив взору бесовское капище, – уже смеётся отец, тыкая лопатою в разных местах. – Где это самое капище? Уж непременно что-то да и осталось бы...

– Про дым, Лексеич, я ничегошеньки не говорила, – оправдывается баба Даря, – чего не видывала, того не видывала, что же мне брехать-то...

– Это всегда так случается, – назидательно говорит папа, – когда человек в плену религиозных суеверий и предрассудков.

– А нога? Лексеич! Нога-то моя куды провалилась и изувечилась? Не ухватись крепко за картофельную ботву, – горячится бабушка, – може, и вовсе в преисподнюю поглотило бы... Али я безумна кака и ничегошеньки не соображаю. Это что, выходит, нога сама до мяса расцарапалась и в суставе наизнанку вывернулась?.. Э-эх-х... Смешно ему...

– Да, совершенно не смешно мне, Дарья Ивановна, – отвечает папа каким-то странным тоненьким голосом, кривя по-разному губы, сдерживаясь от обуявшего смеха.

Не выдержав, облокотившись о черенок лопаты, откровенно и толстым голосом принимается хохотать.

– Ну, вот те, уважил, – поджимает губы баба Даря, но совсем ненадолго; вскоре и сама начинает смеяться. – То, Лексеич, видать, уже от старости моей мерещится. Хотя... ведь и ранее бывало. Спаси мя Боже рабу грешную, – принимается креститься она, с ужасом уставившись на торчащий из земли огарок церковной свечки, так с виду схожий с толстым дождевым червяком.

«Эх... – соображаю я, – не углядели... Нет ничего тайного, что бы не стало явным».

Глава 6. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОГРЕБЕНИЕ

*Кажущаяся множественность миров
есть всего лишь отражение Одного
и Главного в мирадах живых сущностей.
Чем яснее и чище отполировано зеркало
вашей души, тем более яснее осознаётся,
что Вселенная есть единый живой орга-
низм, имя которому – Бог. (Цитата из
Тайной Доктрины ордена Полировщиков
Щитов и Мечей – Фотонус Астра)*

1

Отшлифованную речным песочком до тусклого мерцания золота скульптурку прячу от посторонних глаз в баньке. Можно, конечно, удовлетвориться и этим, и наверняка так поступил бы каждый – результат-то на лицо... Но не я. Разве непонятно, что уже и любой малосведущий в этом деле человек, а таких из общего народонаселения граждан большинство, я имею в виду тех, кто живого золота – ни нюхом ни духом, посмотрев на этакое великолепие, сказал бы себе: «Ей-богу!.. Да энта статуя, никак, золотая?! Ишь, как весело и лучезарно блещет. Сколько же весу-то в ней?..» И хоть его – бескорыстного советского труженика, и на самую малую толику не сбить с понтолку в силу его убеждений, главнейшее из которых – презрение к золоту, всё равно, ох уж этот врождённый атавизм товарища Павлова... Всё равно вспыхнут в тонко прищуренных глазках искорки алчности, а кончик языка, произвольно, пробежит по верхней губе, враз пересохшей от волнения. И это, поверьте, так случается всегда и с каждым, и непременно... А главное, не только с людьми простыми и бесхитростными, так сказать – от сох, но... Страшно и помыслить... С более ответственными товарищами, наделёнными порою и высокими должностными полномочиями власти. Советскому человеку чужого не надо, так уж он воспитан, Он не то что медный пятак, по случаю найденный на дороге, но и даже серебряный гривенник по забывчивости не сунет поспешно в свой карман. Как есть, положит на каком видном месте, скажем, на возвышающемся у обочины булыжнике или пенёчке, чтобы потерпевшему убыток не пришлось лишнее время рыться в дорожной пыли. И это чистейшая правда, ибо тому примеров превеликое множество.

Один мужик нашёл на болоте самородок золота величиною с добрый кулак кузнеца, завернул в тряпицу и, как честный советский гражданин, добропорядочный колхозник, передал драгоценную находку власти

в лице председателя сельского Совета. И правильно поступил!.. Ничуть не обманулся. За высокоморальный гражданский поступок был представлен к грамоте. Обещали даже о том в газете прописать. Да разве в такую уральскую глушь заманишь кого из пишущей братии... С грамотой же... Всё по-честному и по-правильному: «За активное участие в деле сохранения государственного имущества – Почётная грамота сельского Совета колхоза имени Чапаева. Наградить...»

Помню, как брат Валерик, а было ему тогда уже лет шесть-семь, прямо на дороге нашёл бумажную денежку. И не какой-то там желторотый рубль, а аж сотенную, с портретом вождя, всю в радужных разводах и хрустящую. По тем временам, номинальная стоимость такой купюры была очень высокой, а потому ещё более удивительней, кто же в деревне мог вообще такую деньгу потерять?.. Наученный, теоретически конечно, высоконравственными родителями-педагогами, что чужое брать и скверно, и совестно (это когда от стыда начинают гореть и уши, и лицо, а на ясных глазах от угрызения этой самой совести проявляться слёзы), высоко подняв купюру над головой, звенящим предпионерским¹ голосом завопил на всю улицу: «Товарищи! Кто потерял сто рублей?..» Товарищами оказались благонаправленного вида набожные старушки в количестве не менее шести, сидящие на завалинках рубленых изб по обе стороны улицы, греющиеся на солнышке свои косточки, и два вполне ещё трезвых мужика, только что вышедших из сельмага, один из которых, на ходу пытался в брючный карман запихать бутылку белоголовки. Голос высоконравственного первоклассника Валеры – старшего сына аж самого директора школы Аллахберди Тенгизовича, переименованного по душевной простоте русского народа в Александра Тимофеевича, был столь по-пастырски проникновенен, что всех прямо-таки аж пробрало. Не сговариваясь, разом и в один голос все дружно гаркнули:

– Я!.. Я потеряла (потерял) сто рублей...

Повезло, казалось бы, самой старенькой, на самом же деле самой проворной и юркой бабулечке, находящейся ближе всех к крикуну. Хапнув иссохшейся дланью сторублёвку, тут же с необыкновенной прытью шмыгнула в ближайшую узенькую калиточку, где словно бы и растворилась бесследно.

– Клавдия Андреевна! Клавдия Андреевна! – тщётно пыталась достучаться до неё её менее удачливая соседка. – Совсем это даже не по-честному... У-у-у!.. Старая скволыжина... Бесстыжая...

– Эх, – сетовал папа, – поступил ты, конечно же, по-правильному и по-честному. Но... кто же это делает вот так, по-простецки? Ты же

¹На тот период такой детской организации, как «Октябрята», ещё не было.

не какой-то там – Филька-дурачок, не вахлак же какой... Сначала, как денежку нашёл, необходимо было спрятать её в карманчик или, на худой конец, сжать в кулачке, чтобы никто и не видел, сколько ты их поднял и какие они из себя. Понял?.. А потом только разузнавать. А ты... На всю околицу: «Кто потерял сто рублей?!». Какой же дурак от сотенной откажется, когда вот так?.. Да и ещё ребёнок... Представь себе, что я взял да нечаянно потерял часы... Уж тот, кто их нашёл, если я к нему обращаюсь по поводу своей потери, обязательно спросит: «А какие видом были ваши часы, какой марки, на каком ремешке?». И только после этого, когда убедится, что это действительно настоящий их хозяин, отдаст за вознаграждение. Понял?..

Не знаю, как это всё уяснилось в голове моего неудачливого брата, но лично у меня этот случай изрядно подмочил веру в человечество в лице его взрослого народонаселения, породил дух уныния и упадничества.

«Как же так, – думалось мне, – разве могут одновременно столько людей потерять одну денюжку? Значит, они все вруны?...»

2

В баньке пахло сырым дымом, берёзовыми вениками и особой прелестью липовых досок полка¹. Через единственное оконце – маленькое и замутнённое, солнечный свет, не имея сил осветить всё, ограничивался лишь пространством подоконника да кусочком пола, где и лежал бледным квадратиком, всё же остальное во мраке разве что угадывалось, углы же так и вообще от черноты скруглились до полной непроницаемости. Это одно из самых любимых и самых секретных мест моего уединения. Не знаю почему, но именно здесь так восторженно и сладко мечтается, так светло и таинственно грустится, что, кажется, обыщи весь свет, но лучшего уж и не сыскать. И к тому, как мне видится, существуют свои особые причины. Ведь что есть русская баня, как не средоточие различных по своей сути факторов – стихии воды и огня, души и тела. В клубах адового жара, когда кажется, что и дух уж вон, происходит мистическое очищение. Есть... есть в том что-то от стародавнего, почти древнего, мистического. Мудрецу сначала нужно дорасти до седых бровей и младенческих дёсен, чтобы наконец-то уяснить для себя: «Уж скоро сто лет, а, кроме детства, и вспомнить-то нечего». Не там ли истинно мечтал о крыльях и возвышенном полёте, не унывал, а грустил, ибо светлая

¹Полок – деревянный приступ в виде 2–3 ступенек, на которых мылись и парились (авт.).

грусть – такой же редкостный дар, как сама Любовь. А потому... Не верьте, когда говорят, что чувству грусти причастны более влюблённые, поэты да глубокие старики, а детям присущи резвость, глупая весёлость, безмятежность. Нет, нет и нет!. Это от спесивой взрослости некоторым, вернее, большинству взрослых так кажется. Ведь признайтесь... Вззирающий на самого себя, несмышлёного мальчугана, свысока не достоин ли презрения? Как он мог, вот так глупо, в себе разделиться и разочароваться? Был сорванцом-мечтателем, скакал верхом на палочке в изодранных штанишках, воровал в чужом саду яблоки, стрелял в небо из рогатки. И вдруг... Вырос, возмужал, обрёл несвойственные естеству повадки, непонятно и отчего – поумнел, а потому стал научать самого же себя, но ещё маленького: «Ты, Вовка, вот что... Ты, паразитец, учись, чтобы стать человеком, как я – умным, уважаемым и богатым. А то возьму да выпорю ремнём...» Никому ещё эта наука не помешала. Через энтот предмет многие головушкой просветлели и даже стали знаменитыми. И к тому есть веские жизненные доказательства. Не дери меня, к примеру, мой отец как сидорову козу, царствия ему небесного, да разве же самостоятельно сделаться мне таким умным и образованным? Да ни в жисть... Именно так врут себе же большинство взрослых, искренне полагая, что все их озарения не без благостных влияний розг, ремней, затрещин, мрачных углов и чуланов, коими их наказывали. Они совершенно забыли, что стали таковыми, увы, не благодаря усердиям над ними велеречиво-мудрых старцев, убелённых сединами, горделиво-раздражительных от чрезмерного груза знаний, не скрывающих своих презрений ко всем, кто, по их глубокомыслию, всего лишь прах земной, сколько по причинам совершенно иного характера, не имеющим к подобной педагогике и малейших касательств: мудрому – мудрость, глупому – глупость. И как бы это ни выглядело невозможным и идиотичным, могу смело предположить, имея к тому свои тайные свидетельства, что не человеческими научениями становятся гении, а изначально явлены в сей мир таковыми, дабы через разум ваш вас и посрамить.

3

– Вовка! – наисерьёзнейшим образом спрашивает меня стариннейший мой приятель из племени домовых Иоаким Премудрый. – Твоя денюжка? – указывает скрюченным пальчиком на спичечный коробок, покоящийся за кирпичиком дымовой трубы русской печки, куда я спрятал свой пяточок, надраенный о суконку до солнечного зайчика.

Не дожидаясь ответа – одна из основных черт его характера, – продолжает:

– Да-а-а... Дар Божий не пропьёшь, в кости не проиграешь... Узнаю, узнаю... Ты из потомков тех – древних и славных иллюминатов¹, которых от самых Начал называли ещё полировщиками зеркал. Странные и до невозможности удивительные господа... Кажется, тем только по жизни и заняты, что всё, что ни есть на своём пути, пытаются просветлить, оттереть от пыли и грязи тряпочками, дабы блестели и озарялись к прозрению остальных. А ты уже, – продолжает с назиданием он, – как вижу, о том и запамятовал.

– О чём это о том я позабыл? – не без вызова индуктирую ему в область мозжечка.

– Он ещё спрашивает, – презрительно кривится Иоаким, – уж кому-кому, а о блеске иллюзий запредельных миров тебе должно быть известно более, чем кому-либо. Не я ли старался, научая? Да что уж там... – глубокомысленно выводит он, – дурак ты, Вовка... Особой мудростью дурак. Не возгордись от похвалы-то... Знал я одного... От значимости своей, дабы всем доказать, что он не дурак, а умный, так возгордился, что сделался академиком, прославил отечественную аграрную науку такими лучезарными открытиями, что от плодов хлеба того вообще перестали сеять. Стебель пшеницы толщиной с навой и аж до самого неба... Колоса с зёрнами так и вовсе невооружённым глазом невозможно среди облаков узреть. У него... брешут, знать, – недоверчиво скребёт лапкою среди реденьких волосков макушки, – коровы были научены подобно курицам нести яйца; вот ведь до каких свершенств агрономических в своих экспериментах по скрещиванию додумался мужик. А ты... Хотя... Чего это я до тебя докапался, – извиняющимся тоном тянет Иоаким, быстрыми движениями лапок, как это делают фокусники, материализуя для меня карамельку. – На, держи, – протягивает на лапке и уже развёрнутую, – от неё ужас как сладко во рту!.. Ты хоть знаешь, – опять докапывается до меня, – чем отличается ребёнок от взрослого? Да конечно же не знаешь, – опять же за меня отвечает сам, – как тебе того знать, когда ты никогда не был взрослым. А потому слушай... Дитятки в силу своей полной негорделивости, сердечной простоты и доверчивой наивности вовсе и не осознают, к каким научным разгадкам могли бы быть очень даже полезными, имей в себе научений быть чуть-чуть посерьёзнее в деле сохранения памяти событий, произошедших с ними на самой заре их младенчества. Не отученные ещё и от сосок, кажется, совсем и не замечая своих озарений, полагая, что оно так и должно быть, не ведающие зуда, столь знакомого каждому

¹Иллюминаты – просветлённые. Тайный масонский орден, основан в Баварии в 1776 г. А. Вейсгаутом.

первооткрывателю, отчего и приключаются жуткие споры, скандалы и скандалища с подобными себе относительно исключительности первенств, благодаря которым удалось осчастливить всё человечество, они не бегают как оглашенные и не вопят дурными голосами: – Эврика!..

А почему... Увы, ответить на данный вопрос аргументированно не представляется возможным. Связующие нити между тем, кого признано называть младенцем, и им же, но уже взрослым – Человеком с большой буквы, утрачены безвозвратно у большинства. А тем, кому всё же удалось как-то и, уж конечно, немислимым образом, то есть не с помощью так называемых собственных мозговых шариков, а совсем нечто иного, противоположного им, сохранить в области гипоталамуса кое-что,

то тот, уж конечно, никак не хочет широко распространяться, каким образом ему это удалось, больше помалкивает в тряпочку. А почему? Вот ты меня спроси, Вовка, почему? Догоняешь, о чём это я, – тонко улыбается Иоаким Премудрый, подобно Цицерону тыкнув пальчиком в небо, – да потому... кому же охота прослыть в среде материалистически мыслящих граждан, добровольно отрекшихся от разумного начала, то есть от Бога, идиотом ненормальным, шизиком перевёрнутым, а хуже того – баптистом?.. И вообще, скажу я вам, – вдруг ни с того ни с сего переходит он на «вы», щурясь на меня одним глазом, так как второй, скорее всего, от лицемерия моей испачканной физиономии утомился и решил вздремнуть, – интересная эта штукавина – гипоталамус; совсем малоизученная штукавина. Никак не хочет самого себя познавать к пониманию всего остального. Не желает выделить в нужном количестве этого самого серотонина. А без него у глубокомыслящего исследователя-дарвиниста все пятнадцать миллиардов нейронов в его башке разве озарятся враз подобно лампочкам Ильича? И где гарантия истинности, если и озарятся, что не скуролесят и не пошлют в область мозжечка, что, как всем известно, по своему топографическому местонахождению в организме человека противоположно копчику, нечто непостижимое для самого разума: брось валять дурака, а тем паче дурочку!.. Голова твоя непутёвая есть всего лишь вместителище серого вещества под названием мозги, подобна дырявому амбару, в котором то ветер свистит, то дождями протекает. Мысли же твои буйные преходящи, подобно вольным птицам прилетают из Прекрасного Далёка. А потому, если её, то есть – голову, поменять местами с противоположной ей частью тела, в области мышления, да и всего остального в мире, совершенно ничего не изменится. И разве вы сами отрицаете это, бесконечно назидая по поводу и без повода: «Сразу видно, что думал не головой, а другим местом. Потому всё через ж...пу и получилось». Так что не стоит уж больно уповать на

этот самый гипоталамус; нужны вы ему... Представляете, каково станется «озарившемуся» исследователю, пожелавшему во что бы то ни стало познать суть, саму природу мышления, получи он изнутри своей собственной мозговой кубышки вот такой ответ.

Наверняка скиснет и позеленеет подобно перезрелой брынзе, оставленной нерадивой хозяйкой на свету. В пору моего беззубого младенчества, и это, ей-ей, чистая правда, один, некто из миров молчаний, которого невозможно зримо увидеть, но с которым можно великолепно беседовать по поводу чего угодно, то есть всего, что взбредёт в голову, по случаю нашей мудрой беседы, не имеющей и малейших претензий к науке, ибо это касалось приватов света и тьмы, как и всего остального дуалистичного, буквально огорошил меня своими силлогизмами. По особому шороху, как мне тогда представлялось, на слух проявил себя: поскрёб когтистой лапкой, словно по пустой глиняной кринке, гулко и протяжно изрёк: «Не ты ли есть тот самый, что алкает истин, над коим все потешаются, а потому бесконечно желают своих общений? Что же ты ищешь? Неужели в голове твоей так и не уяснились простейшие вещи: ослеплённый светом ищет прозрений во мраке; блуждающий беспросветными потёмками грезит светом. Познавший, что есть свет и что есть мрак, никому уж не откроет своей тайны, ибо... его уже нет ни там, где тьма подземелий, ни в противоположном ему Небе – Океане Света».

Речи этого самого невидимого говоруна из миров молчаний, который всё же в силу моей яркой воображительности как-то мне представился в виде конусообразного гончарного изделия с большой круглой шаро-образной крышкой и с прилепленными тоненькими ручками и ножками, его схоластические¹ рассуждения о двух противоположностях, как помнится, меня весьма заинтересовали. Выплюнув изо рта соску, по цвету и форме так схожую с крайней оконечностью вымени коровы – произведение артели гуттаперчевых изделий – Резинпроммедтрест лёгкой промышленности СССР в городе Ленинграде, на тогда ещё доступном мне языке фотонус спросил с прямою римлянина: «А где же он тогда, когда его нигде нет?» Гончарное изделие, не мешкая, тут же пророкотало: «Утонул в субстанции под названием – Первопричина. Хаос такой, где есть всё и одновременно нету ничего, то есть застрял в нулевой точке, нулевого пространства. А по-правильному – перестал быть».

¹*Схоластика* (лат. – школа). В Средние века философия, стремившаяся дать теоретические обоснования религиозному мировоззрению

– Фу ты чёрт! – психую я. – Да разве можно такому статься?

На моё справедливое недоумение он возьми да съерунди ещё более:

– Подрастёшь мал-малость, поглупеешь достаточно, очерствеешь от невзгод душою и телом, вот тогда и поймёшь. Всё как миленький поймёшь, – тоненькой и ехидненькой фистулой закончил он.

На прощание хрюкнул восторженно и жизнерадостно на ухо, аж ветром подуло, откусил у моей соски самый вкусный её край, почавкав, с отвращением выплюнул назад, куда выплюнулось, погудел глиняной утробой – и как не было. Нянька как узрела ополовиненную соску, а на полу внушительный огрызок, давай не совсем чистым указующим перстом во рту у меня шарить, зубы выискивать. Конечно же, ничего не нашла. Откудова им взяться – зубам-то этим, когда по времяисчислению Сириуса дням моим на этой, совсем невесёлой планете под названием Земля и малой толики не прошло.

– Вот дура!

К доказательству умышленной порчи дефицитного изделия мною и своей к тому непричастности поспешила предъявить искалеченную мою кормилицу маме, ибо уж явно зримы были на резине следы от острейших зубов. Мать, конечно же, всполошилась, сама поспешила посмотреть, може, нянюшка как и просмотрела ненароком зубки, ведь без них уж верно с такой суровой резиной не справиться, глядь... а у меня в ротике совсем новенькая, чудненькая такая, словно из далёкого ещё не наступившего будущего, что в стране, научившейся уже делать атомные и водородные бомбы, появится на прилавках лет через тридцать с хвостиком. С перламутровым ограничительным ободочком, дабы по случайности от резвости аппетита не засосаться и не удавиться вусмерть, сладко пахнущая мамкой, сама по себе так и чмокающаяся. Не без нечистой силы, конечно... Но... хочется признаться, элегантейшая и знатнейшая штуковинка. Никак сам Иоаким учудил ради хохмы. Для него проблемы будущего так и вообще не проблема... Папа с мамой в связи с этим долго пребывали в полном замешательстве. Как ни верти, что ни удумывай, а марксистко-ленинской теорией материализма, с его позиций, никак не объясняется. На семейном совете, куда пригласили и бабу Дарю – женщину, хоть и добрейшей души, но малосознательную по причине никак не изживающейся религиозной зависимости, порешили, что эта соска вовсе и не соска, а нечто лишь функционально схожее, попавшее неведанными для науки путями, скорее из Америки, специально подобрешенное империалистами Вовке, чтобы потом, когда вырастет, завербовать.

– Ясное дело, – говорит патриотически воспитанный Иван Андреевич – друг семьи, председатель сельского Совета, – кого легче всего охмурить? Да конечно же тех, кто уже с мокрых пелёнок вкусил их прелестей заграничных. Но наших отечественных не проведёшь! – с пылом констатировал бывший гвардии сержант. – Может, они – тудыт их мать – какую заразу туда вмонтировали, от них что хочешь можно ожидать. Ты её, Саня, на костре спали...

– А вдруг да бабахнет, – тут же начинает отговаривать баба Даря, – може, в энтой заморской штуковине атом?

Резиновое изделие капиталистической промышленности от греха подальше зарыли возле уборной в землю, соорудив секрет, мне заткнули рот отечественной – ядрёной, пахнущей велосипедной камерой, как и резиновым мячом, и всем остальным, изготавливаемым из гуттаперчевого материала в этой стране. Вследствие ли того, что край соски постоянно касался glands, вызывая тошноту и рвотные позывы, или по каким иным, ещё более значимым причинам, но я на всю жизнь приобрёл стойкую ненависть к молоку, стал невосприимчив к языку предков, так и не пересилил себя громко и выразительно петь во всё горло пахабные частушки, что и поныне государством не только никак не возбраняется, а наоборот, очень даже поощряется. Но не этими ли незначительными потерями обязан другому?.. Как знать, как знать...

4

Словно очнувшись, обнаружил себя в баньке, мирно восседающим на голубенькой расхлябанной табуреточке у дрёмного запылённого оконца с куском разлохмаченного фетра в руке, с ног до головы испачканным мелом.

– Вовка! Это ты, что ли, такой? – с удивлением задаю вопрос самому себе. – Ты только посмотри на себя, на кого ты похож?.. Вот мама тебе задаст сегодня...

От великих трудов и температуры, которая всегда повышается, если сухой тряпочкой быстро и усиленно тереть на одном месте по металлу, подушечки пальчиков, как и кожа ладошек, во многих местах покрылась красными водянистыми волдыриками. На широком деревянном подоконнике стояла отполированная до зеркального блеска моя двоерукая богиня Кали – Тень Разочарования на лице Бога Кришны, повелительница самой смерти.

– Когда же я вот так успел? И я ли?..

На горячей червонным золотом поверхности от шелестящих по ветру листьев тополей за окном пробежали солнечные зайчики, отражаясь,

словно от зеркал, дрожали золотистыми пятнышками на потолке и части левой стены, дивно трепетали в дальнем и самом тёмном углу баньки, в том самом углу, где раньше, по старинному обычаю, бабушка ставила на полок осиновое полено за место сгнувшего в никуда истуканчика – Дымовёрта, чтобы не угореть. Как вспоминала мама, она этого Дымовёрта видела по-настоящему, когда сама была ещё совсем маленькой, пока его, неизвестно и когда, не заменили на круглое и коротенькое полешко, выпиленное из стволика осины. Росточка не шибко великого, не более десяти вершков¹, с большой круглой головушкой, пузатенький и совсем почему-то безножек. Ушки у него были схожестью с коровьими, нос широкий и приплюснутый, глазки – маленькие, почти мышьиные. Зато рот!.. Растянутый от уха до уха, представлял собою зрелище замечательное. Изнутри истуканчик был каким-то образом пустотелым. Если в ротик, губы которого представлялись в виде вытянутой куриной гузки с дырочкой, дули с близкого расстояния, то он принимался протяжно и очень низко гудеть, а иногда словно и кашлять... Вместо рук распротёртые в растопырку и не на одинаковом уровне от плеч торчали два, разной величины, сучочка. Один – толстый и прямой, другой – совсем худенький и кривенький. Мама даже попыталась обыкновенным простым карандашом нарисовать Дымовёрта нам по памяти, но получилось почему-то очень смешно и совсем не так, как она его описывала. Скептически посмотрев на свой шедевр, безнадежно махнула рукой, призналась, что рисунок нехорош и что на самом деле истукан был гораздо серьезнее и красивее, а не как этот, что больше напоминает идиотического – так и выразилась – идиотического клоуна с огромным, растянутым в улыбке ртом. А всё потому, что в отличие от папы, Вовы и Тани к рисованию совершенно бесталантна. Не знаю почему, но за маму мне стало обидно. Выпросив бумажку, которую она собралась было уж порвать, свернув её в несколько раз, спрятал незаметно под половичком в детской спальне, в том месте, где стояла наша с сестрой кровать, чтобы Дымовёрт нас охранял. Когда бабушки не стало, почерневшего от времени и невзгод «божка», в силу которого все почему-то разуверились, наверное, вместе с другими дровами бросили в печь и спалили. Может быть, и папа так перепутал, в темноте приняв за обыкновенное полено, случайно заброшенное на парильный полоч, а может, бука или сами домовые куда припрятали, но ничего страшного не случилось, никто не угорел, не обварился. Единственное, непонятно и почему, под самой крышей на крохотном чердачке расплодились полевые мышки – полосатенькие-преполосатенькие, похожие на маленьких бурундучков.

¹*Вершок* – старая русская мера длины, равная 4,4 см (авт.).



Очень быстро поперегрызли все берёзовые веники, заготовленные на зиму и хранящиеся там, съели кусок маминого туалетного мыла вместе с очень красивой обёрткой, того мыла, которое папа подарил ей и которое купил специально для неё в Свердловске по случаю праздника Восьмого марта. Хитренькие... Оно так сладко пахло, что я и сам бы был не прочь попробовать на вкус такого мыла. Уж наверное, гораздо вкуснее хозяйственного, которое я уже однажды грызнул, представив, что это халва. Очень даже противное оказалось. А однажды, в тот самый момент, когда папа, поддав пару, взобрался на полку, чтобы как следует прогреть свои косточки, одна из мышей свалилась на него сверху прямо на голову, пробежала по всему телу и, отчаянно пискнув, юркнула в ближайшую щель между досок. И хоть папа, в сравнении с мамой, ни капельки мышей не боится, от неожиданности так дрыгнул ногой, что с грохотом опрокинул таз с водой вниз да прямо на табуреточку, на которой стояла керосиновая лампа, так как именно в тот вечер с электрической проводкой в бане что-то случилось. Я думаю, что это мыши специально так провода перегрызли. Стекло разлетелось вдребезги. Сразу же стало темно и страшно. Разлившийся из лампы керосин, смешавшись с разогретым докрасна паром (это папа всегда так серьёзно шутил, когда плескал из ковшика на раскалённые валуны каменки), подейство-

вал на здоровый организм нашего папы самым удушающим образом. Дело было зимой. Кому неизвестно про уральские морозы, по лютости не уступающие сибирским... Папа как угорелый стремглав выскочил в холодный предбанник, осколками стекла поранил пятку, а на другой ноге большой палец; отворив настежь дверь, в клубах морозного пара стал отчаянно кричать маму, которая, как на грех, именно в этот момент отлучилась на минутку к соседке – Таньки и Верки бабушке – Наталии Спиридоновне, проживающей прямо через дорогу. Не докричавшись, как есть, мокрый и окровавленный, накинув тулуп и без валенок, которые враз куда-то спрятались, по узенькой протоптанной тропинке с метровыми сугробами по бокам помчался домой. Выходит... зря всё же прогнали Дымовёрта... Будь он на страже, да разве позволил бы мышам вот так напугать папу. Чтобы от такой бани не простыть, выпил целый стакан водки с красным перцем, бинтом перевязал себе раны. Когда задержавшаяся на «минутку» у Стукольцевых мама вернулась домой, был уже очень весёлым и добрым, шутил, играл на своём знаменитом концертном аккордеоне «Сильвио Брантос» лезгинку и по нашему заказу песню, где есть такие суровые, но торжественные слова:

*На границе тучи ходят хмуры,
Край суровый тишиной объят,
У высоких берегов Амура
Часовые родины стоят.*

Когда папа стал рассказывать маме, как он, совершенно угоревший, взбивая босыми окровавленными пятками снег, мчался напрямик по сугробам совершенно голый, мама, вместо того чтобы как-то его пожалеть, выразить сочувствие, стала заливаться звонким смехом. Самое удивительное, вместо того чтобы обидеться, шутка ли, в метель, по сугробам босиком, но в тулупе, стал смеяться над самим же собой, и ещё громче. Хоть от нервов и волнения он и позабыл, что ввалился в избу в тулупе, всё равно... Наш папа герой!..

5

Вдоволь налюбовавшись скульптуркою, задыхаясь от нахлынувшего необыкновенного счастья, что это я сам, без всяких подсказок и без помощи взрослых, благодаря усердию и упорству сделал её такой ясной и по-настоящему золотой, стремглав бегу к пузатому медному умывальнику, прибитому большим ржавым гвоздём к столбу дровяного навеса, чтобы привести себя в надлежащий порядок. С мылом тщательно мою руки и лицо, мокрой тряпкой оттираю колени.

– Вовка! – выбегает из дому Таня. – Ты почему на целый день в бане спрятался? Не отпирайся... Я всё знаю, как ты там, чтобы никто не видел, сахар грыз... Во-о-т такой кусок, – разводит она руками, – который без спросу из буфета спёр. Вот тебе влетит за это... Пока ты там сахар грыз, папа с мамой на мотоцикле повезли Валерку в пионерский лагерь, который рядом с Богдаговичами, в самом глухом лесу, чтобы там оставить жить, а може, и навсегда, если будет шибко баловаться. Папа так ему сказал. Искали тебя, чтобы попрощаться, а ты весь спрятался и испачкался, аж ужас как. Не могла же я предать тебя, признаться, что ты в бане грызёшь сахар...

Сестрёнка по-взрослому смотрит на меня с укором, как это иногда делает мама, неодобрительно качает головой.

– Айда на ключ, я тебя буду хорошенько отстирывать. Возьму вот сейчас полотенце и мыло, и пойдём стираться. Посмотри только на себя...

Пока она ходит за полотенцем и мылом, успеваю, заворачиваю в старую папину рубашку свою драгоценность, прячу в углу за печкой, сверху, для большей скрытности, приваливаю поленом.

– Побежали по-быстрому, – спешит сестрёнка, – а то если мама с папою вернутся и увидят тебя таким, то очень сильно разнервируются.

От заходящего солнышка тучки над горизонтом порозовели, сделались совсем прозрачными и невесомыми. Другие, напротив, сгустились до тёмно-сизого, а в некоторых местах почти чёрного, растянулись по небу от края и до края подобно могучей горной гряде с причудливыми белоснежными пиками вершин, глубокими и извилистыми провалами ущелий, окутанными молочно-дымными туманами, медленно сползающими по крутым склонам. Кое-где свинцово-сизые пряди облаков от ветра ли, но как бы разрывались на части, и тогда в узеньких просветах, отороченных по краям багряными каймами, вдруг чудным образом проявлялись озёрца пронзительно-голубого цвета. Нет ничего более увлекательного из зрелищ, как наблюдать в небе за предгрозовыми тучами. Немного воображения – и чего только нельзя увидеть. Предугадать, какая картинка нарисуеться через минуту и во что переродится сказочный верблюд с прозрачными крылышками над горбами, было совершенно невозможно. Самым же замечательным представлялось то, что все эти образы, сменяющиеся, как в калейдоскопе, были абсолютно живыми, двигались и теснились, растворялись бесследно, как во сне, беззвучно сталкиваясь, являя всё новое и новое из чудно сотворяемого ранее.

Ключ, куда меня вела отстирываться сестрёнка, находился выше по нашей улице Карла Маркса, возле самой кузницы, или МТС, как её стали называть на современный лад.

Весь в бело-зелёных разводах от мела и полировальной пасты со странным названием – гойя, кусок которой величиной почти с кулак мне за просто так подарил старший брат Витьки Полунина – Тимоха, взятый под поручительство дядьки учеником на Стекланку – завод Якова Гольберга, который был построен ещё задолго до революции, во времена Демидовых и Приваловых. По-новому завод переименовали в честь Якова Свердлова, но как и первое, так и второе не прижилось. В народе стеклянное предприятие окрестили Стакариком, скорее всего, от уменьшительного слова стакан, так как действительно на нём отливалось несметное количество этих нехитрых изделий – и гранёных, и гладких, и совсем игрушечных стограммовых, так называемых женских, которые почему-то самым благородным образом обозвали шлюхами, а ещё, в зависимости от обстоятельств и культурности компании – стопками.

– Вовка, – не без удивления уставился на меня Тимоха – Тимофей Николаевич, как его стали величать по-взрослому после первой принесённой им домой зарплаты, – а зачем тебе сдалась эта самая зелёнка? На кой она тебе ляд? Ювелирную мастерскую, что ли, решил открыть?..

– Самовар начищать, – не моргнув глазом вру я, – чтобы блестел, как солнце.

Тимофей с ещё большим удивлением смотрит прямо в глаза, меряет взглядом, как бы решая внутри себя: «Э-э-э... Что-то здесь не так, мудрит, знать, хлопец».

– Сам, что ли, собираешься драить свой ржавый самовар или отец так попросил?..

– Никто меня не просил, – ещё более заливаю я, – хочу для мамы с папой придумать сюрприз, чтобы им сделалось удивительно и радостно и чтобы они меня похвалили.

– Ну-у-у, – тянет Тимоха, – это нам понятно... А сам-то ты хоть знаешь, как это делается? – ехидно скраивает губы, по-мастеровому шурясь, цвырякая сквозь зубы длинную торпедою.

– Конечно, знаю, – уверенно киваю головой, в подражание ему шурясь глазом, неумело сплёвывая себе на штаны.

– Во даёт... Росточком меньше самовара, а туда же... – смеётся Полуля. – Это тебе, брат, не пятак об кирпич... Под гойю изделие подготовки требует. Ладно уж... Что-нибудь придумаем.

Правильный человек, не обманул. Через братика Витьку передал целый шмоток величиной аж с кулак; показал даже, старшой научил, как правильно натирать об фетру, чтобы экономнее было и гойя за просто так не выплавлялась по-напрасному.

Несмотря на ядрёное хозяйственное мыло, ни руки, ни животик, ни коленочки отмываться не желали, казалось, что эта, будь она неладная, гоя проникла в глубь кожи и решила там остаться навеки.

– А ты попытайся с песочком пошоркать, – предлагает сестрёнка, сердечно переживающая за мой ужасный вид, зелёные колени, животик и даже кончик носа.

А самое главное, ведь мама с папой уж наверняка увидят и спросят, чем это я таким занимался. А говорить неправду, а тем более родителям, как научила баба Даря, – большой грех. Грех мне представлялся грязным и мокрым мешком, набитым под завязку капустными кочанами, очень дурно пахнущими. Однажды я на такой грех натолкнулся. Он лежал в канаве, почти у самой дороги, пролегающей вдоль колхозного поля, засеянного сахарной свёклой. Прикрытый уже пожухлыми лопухами и всякою сорной травой, издавал жуткое зловоние.

– Э-э-эх, – покрутила носом Наталия Спиридоновна, бабушка нашей подружки Таньки Стукольцевой, – никак, чей-то грех... Это же надо... До капустного поля отседаво, почитай, с две версты. Спужал, знать, кто... Айда, Вова, пока не зарюхали... Приклепают ещё до нас... Греха не оберёмся... Воровать-то колхозное... Пропаще дело; запросто можно загреметь кой-куда.

– Бабушка... а если всего одну морковку?... – озираюсь по сторонам я.

– Ну... за моркву, скажем, – задумывается она, – смотря кто... Таким малым, как ты или, скажем, Валерка, разве что под задницу... Ведь как ни крути – всё одно грех.

Из такого смутного, малопонятного разговора помаленьку в голове начинает кое-что уясняться. Грех бывает специально, то есть умышленно сделанный, это когда из маминого буфета, хоть и знаешь, что нельзя, всё равно, бледнея и дрожа всеми поджилками, крадёшь кусковой сахар, и такой, о котором и духом не догадываешься, а он сам по себе происходит.

К примеру... Кто виноват, что молочный кисель сам пролился в папины ботинки, потому что я споткнулся ножкою о порог, когда на вытянутых руках нёс полную тарелку этого самого киселя во двор, на улицу, чтобы тайком скормить соседской собачонке Маньке, которая аж ужас как любит его и просит добавки. Папа так ругался, так ругался, что назвал меня неисправимым завравшимся вруном, потерявшим всякую совесть, ставшим совсем бессовестным. И хоть я ему по-честному признался, что молочный кисель ненавижу и что от него у меня зеленет

в глазах и душу мутит, а Маньке он очень нравился, и что в его ботинки я кисель и не думал наливать и даже не видел, кто его туда налил, папа, судя по его раздражительности, ни одному слову моему не поверил. А когда я ему предложил свою версию, можно сказать, самую правдивую, что это специально так нахулиганил домовёнок Фантик, который и не на такое способен, папа отчаянно всплеснул руками, нервно закурил папиросу, заспешил на работу.

От песочка волдырики на ладошках и пальчиках тут же полопались, и я, хоть и крепился, что есть силы проявляя свою мужественность, всё же не выдержал и горько заплакал. Дядя Михай, что работает на МТС кузнецом, проходя мимо, остановился, строго посмотрел на Таню, толстым голосом спросил:

– Вовка... ты это чё так ревёшь, обидел, поди, кто?

Узнав суть дела, посоветовал:

– Эк удумали... Кто ж это кожу-то живую наждаком дерёт?.. Растительным маслицем треба... И пятнушки все как одна отойдут, и кожурка смягчится. Это где же ты так уробылся? – с удивлением разводит руками. – Отродясь не видывал, чтобы у столь махонького хлопчика, да ещё и директорского, на руках кровавы мозоли вылупились. Так мамке и скажи, чтобы подсолнушным да мягонькой тряпицею...

Пошарил в широченном кармане своей засаленной спецовки, достал два блестящих шарика от подшипника, подарил один мне, другой Танюше. Как и сказал Михай, подсолнечное масло оказалось средством универсальным. С тем, что не под силу оказалось суровому хозяйственному мылу и даже песку, оно справилось в одну минуту. Малюсенькие ранки смягчились и перестали щипаться, напрочь отёрлась и зелёнка от полировочной пасты со странным названием голя.

«Как же так, – с удивлением думается мне, – мылом не отмылись, а маслом, от которого самого на одежде остаются неотмываемые пятнушки, всё отёрлось. И коленочки, и носик, и животик. И даже ручки, которые, казалось, уж такими на всю жизнь и останутся, потому как были самыми грязными».

Родители приехали, когда уж почти и стемнело. Быстро поужинав, папа всех нас и даже маму повёл на речку, чтобы, как он выразился, искупаться на сон грядущий, что для здоровья очень полезно, припутав к тому каких-то греков, живших давным-давно, которые всё это очень даже хорошо знали, а потому их женщины, то есть бабы, запросто могли совершать заплывы от острова к острову, где любили скрытно по ночам пировать со своими подругами. Их мужики, застав, лупили по чём попало вёслами. От такого не совсем понятного разговора, непонятного для меня и сестры, мама приходила в веселье, спрашивала:

– А вёсла-то... вёсла-то откуда у них взялись? Они что, на лодках?.. Между этими островами?.. И кого они били этими вёслами, своих мужей или этих самых блудных баб?

Потом папа принимался нам рассказывать про разные смешные истории из жизни. И про то, как я, когда ещё был маленький-премаленький и совсем говорить не умел, одной уважаемой тётечке, заведующей горно, вред учинил. Вздумалось по случаю ей со мною поговорить по душам. Нагнувшись, ноздря к ноздре, как это принято при душевной беседе с младенцами, принялась чмокать губами, тютюкать, бляеть, гудеть, делать из двух пальцев козу рогатую, которая имеет желание забодать, в общем, вести себя самым натуральным и подобающим в таких случаях образом, как и все взрослые, искренне полагая, что Вовка глуп, потому как совсем ещё млад, ничегошеньки не смыслит, подобен осиновому или берёзовому полену.

– Наше же её, – продолжает папа, – висели какие-то необыкновенные бусы из очень даже натуральных и дорогих камней с художественной золотой застёжкой, выполненной по подобию малюсенькой ящерицы с рубиновыми глазками, которые подарили ей её сотрудники и директора школ по случаю двадцатипятилетнего юбилея – служения на ниве образования. Так вот... Вовка, недолго думая, хватя обеими ручонками за эти самые бусы и давай подтягиваться на них, как на турнике. Екатерина Андреевна – так звали эту тётю, конечно же, душою смутилась. И хотя внешне виду не подала, продолжая сюсюкать, предприняла осторожную попытку как-то и незаметно, без членовредительства отодрать от драгоценности цепкие ручонки того, с кем вот только что, менее минуты назад, так задушевно беседовала. Но не тут-то было. Кривя по-разному губы, это когда совсем улыбаться не хочется, а улыбаться надо, закатывая глаза, Екатерина Андреевна, не без насилия, высвободила было одну из цепких ручек сребролюбивого младенца, да только поздно. Бусы неожиданно, подобно сверкающим струйкам, брызнули в разные стороны, с дробным гороховым стуком разбежались кто куда. Взвизгнув (отчаянно взвизгнув), дамочка упала на колени и с великой поспешностью принялась ползать на них, собирать драгоценные камушки в потную ладошечку, сложенную корабликом. Неизвестно, все ли до единой собрала, но что точно – ящерица как сквозь землю провалилась. А может, – смеётся папа, – с перепугу ожила да и юркнула в какую крохотную щелочку.

Вторая версия мне кажется более интересной и правдоподобной.

Зачем, скажите, ящерице сквозь землю проваливаться и что ей там делать под этой самой землёю, когда можно удрать и жить в своё удовольствие на волюшке, кушать травку, а не болтаться на потной шее тётки, привязанной к золотой цепочке.

«Молодец, Вовка, – когда был ещё совсем лялечкой, – сам себя хвалю я, – шустро сообразил».

– Папочка, а папочка! – спрашиваю я у отца, – а ящерицы что обедают?

– Ты ещё спроси, чем они завтракают и ужинают, – в тон мне и иронически говорит он. – Комариков, жучков, червячков... А иногда и друг друга. У них это запросто заведено.

– Саша... – многозначительно смотрит на отца мама.

– Как друг дружку?! – в один голос переспрашиваем мы – я и сестрёнка, от изумления округляя глаза.

– А вот так! – смеётся папа. – Кто самый сильный, тот и прав. Хоть и жестко, но справедливо. Пищевая цепь... Кто кого первым слопал, тот и на коне.

Сказанное папой нам непонятно, особенно про этого коня. Представить ящерку, скачущую на коне, не хватало фантазии; согласиться по поводу бездушности Матушки Природы, которой совершенно безразличны понятия жалости, сочувствия, а значит, добра и зла, мы, ко всему авторитету папы, в душе никак не могли. Как же так... Разве каждый зверь не любит своих деток, не жалеет их, не вылизывает, не защищает от тех, кто их обижает? Вон, когда выпавшей из прясел оглоблей меня пришибло по голой спине, чуть дух не выбило, и я аж дышать перестал от боли, наша корова Сонька от переживания своим лечебным языком всю спину и даже голову вылизала, а потом стала громко мычать и звать на помощь нашу маму. Разве она это не от любви и жалости ко мне делала?

– Вечно эти взрослые всё думают по-неправильному, – шепчемся мы с Танюшей.

7

По-честному признаться, купаться в ночное время я побаивался, хоть никому и не признавался. А потому, как это всегда случается с людьми робкими и даже трусоватыми, дабы отвести от себя всякие подозрения касательно этой самой трусости, принимался искусственным манером бравировать, всем своим видом показывать бесстрашие и что ночью купаться гораздо полезнее, да и безопасней, так как шансов получить лодочным веслом по голове, ну разве что самая малость, да и то, если сам на то напрочишься. Какому ночному рыбаковому понравится, если возле его лодки, с которой он рыбу удит, кто-то резвится и балуется. На самом же деле страшило многое. И эта вода, мерцающая зловеще чернотой, и эти, совершенно невидимые длиннющие водоросли,

подобные холодным скользким змеям, колышущиеся и извивающиеся по течению медленно идущей реки, незыблемая вера в водяную нечисть, которая, уж конечно же, ночью распоясывается и смеется, только и ждёт удобного случая, чтобы кого схватить за ногу и утянуть в пучину. Страшился я и речных двустворчатых моллюсков, в изобилии обитающих на песчаном дне. Величиною с блюдце, они, кажется, только того и ждали, как кто бы на них наступил, молниеносно захлопнуться, отгрызть пальчики ног, а то и всю ступню. И в этом, что это так, а никак иначе, я ни капельки не сомневался, так как уже имел к тому жизненный опыт. Однажды эта каменная тварь так укусила меня за самый кончик мизинчика, который я сам для эксперимента вставил между её приоткрытыми створками, что, честное слово, он чуть совсем не расплющился. И если днём, когда весело играет солнышко, когда дно сквозь прозрачность воды просматривается до мельчайшего камушка, этого можно избежать, то ночью... Как в сплошной темноте-то их увидишь? Ковсем страстям, обещанным ночным купанием, можно было прибавить и водяных крыс. Как только начинало смеркаться, с противоположного крутого глинистого берега из потайных нор, скрытых водой, вылезали на разбой зубастые ондатры. Нашествия этих водяных исчадий пугало особенно. Видя, как некоторые особи ловко разделяются с зазевавшимися рыбками, буквально на ходу отгрызают им головы, громко чавкают в тростниковых зарослях подходящего к реке в этом месте болота, все мои члены начинали цепенеть. Не знаю почему, но во времена моего детства промыслом этого, в общем-то, ценного зверька никто в деревне не занимался. Их расплодилось столько, что в вечернее время они буквально бурунили в этом месте воды реки, которые в дневное время были сонные и еле движимые, подобные тихому омуту. Иногда папа, чтобы взбодрить нас, бросал в крыс маленькие галечки, громко хлопал в ладоши, по-балкарски грозно кричал: «У-й... Шайтаны... Уходите». Они враз как одна заныривали, чтобы уже через минуту объявиться совершенно в неожиданном для нас месте, порою под самым носом. Тогда Таня вместе с мамою начинала визжать, я же с быстротой обезьяны вскарабкивался на папу, Валерик драпал по мелководьюк спасительному берегу. Заканчивалось же всё общим смехом. И в этом случае смеялся я, уж конечно, не от весёлости, а за компанию, чтобы опять-таки не заподозрили в трусости. Вода, пахнувшая рыбой, навевала странные и смутные воспоминания о неких далёких событиях, которые как бы происходили со мной, запечатлелись в тайниках сознания, но, сколько я ни напрягался, воскрешаться никак не хотели. Казалось, что они – эти события, как-то связаны с рыбным запахом и запахом речного ила,

влажными сумерками, чувством особой томной тревоги, той тревоги, в коей и ужас, и восторг, и безысходность одновременно, и что всему этому обречено как-то, но случиться. Быть может, когда-то, в прошлой жизни, меня съела большая, наподобие сома, рыба? Не потому ли, помимо молока, и поныне я полностью избегаю в питании всего, что есть речное, озёрное, пресноводное. От одного только этого духа меня начинает мутить в буквальном смысле. Так что наваристая уха с перчиком, лавровым листиком, лучком и прочими прелестями уж точно – не про меня. Помимо всего, что особенно отвращало от ночных купаний на реке, так это комары. Господи!.. Эти отвратительные кровососущие твари, оказывается, и по ночам не спят; грызутся столь ядовито, пищат так отчаянно ехидно, что, кажется, и у последнего безбожника в помутневшей его голове так всё и смешивается.

– Упаси Матерь Божия, – покаянно вопит его душа, – ведь совсем супостаты заживо сожрут...

Была и ещё одна веская причина нелюбви моей к ночным купаниям на речных водах – генетическое мерзлячество. Преданный огнепоклонник, ревностный раб солнечного божества, лишённый его магического тепла под холодным мерцанием звёзд и лунного света, мокрый, покусанный кровожаднейшими на земле тварями, я трясся от озноба каждой клеточкой своего теплолюбивого организма, совершенно не приспособленного к сырости, холоду и мраку, отчаянно и дробно клацал зубами, уныло скорбел:

«Когда же это закончатся мои муки... Неужели папа не мог сообразить разжечь на бережку, хоть самый маленький, костерок. И кажется бы, – задаю себе глупейший из вопросов, – кто насильно-то побуждает тебя к тому? Не купайся и всё... Ан нет... Раз всем другим это как-то нравится, то и иди со всеми в ногу, не отставай, испытывай себя трудностями, закаляйся и мужай для своей же пользы; жизнь – штука нешуточная».

Любой нормальный и здравомыслящий человек, однажды претерпев такие мучения, уж точно в следующий раз любым способом попытается всего этого избежать, отказаться наотрез, сделаться, в конце концов, больным. Но это опять-таки не про меня. И ведь знаю, скажи завтра папа:

– Анна! Ты посмотри, какая тихая и тёплая лунная ночь!.. Кто пойдёт со мною на речку купаться?

Ведь первым же и заору:

– А меня, а меня, а меня...

Уже в постельке признаю Тане показать завтра такое, от чего у неё дух замрёт, а глаза от блестящего света видеть перестанут.

– Нет уж, – боязливо шепчет она, – ты знаешь, как наша мама будет плакать, если я навсегда зажмурюсь и ничего не буду видеть.

– Да нет же, – горячо принимаюсь убеждать её я, – глядеть ты не перестанешь, а просто сильно удивишься, отчего глаза на лоб полезут, но понарошку, это так почему-то говорят, а по-правдышнему продолжают видеть и соображать, только совсем по-другому.

– А как? – шепотком и совсем тихо спрашивает сестрёнка. – Задом наперёд, что ли... Или вверх тормашками продолжают видеть и глядеть?

– А вот этого я и сам пока не знаю, – по-честному признаюсь я ей. – Вот и дядя Семёна говорил, когда с папой они праздновали и пили брагу, что богатый золотом не бывает радостным и счастливым. Сам так слышал... Он после войны долго у американцев в плену жил. Как говорила мама, много-много горяшка хлебнул.

– Его, наверное, специально заставили пить это горяшко, – шепчет на самое ухо Таня, – чтобы он сделался горемыкою. Оно уж наверняка горькое-прегорькое, как те таблетки от животики, которые нас с тобой заставили выпить, после того как мы совсем позеленели от неспелого крыжовника. Помнишь?...

Мне же горькое горяшко, которым жизнь напоила маминого брата дядю Семёна, представилось в виде стакана парного молока, в котором ко всему этому плавала ещё и большая зелёная муха, и полной миски рыбьего жира.

– Бедный дядя Семёна, – мысленно содрогнулся я и тут же провалился в сон.

8

Маленьким детям, как и небесным птичкам, нравится просыпаться очень рано. Это взрослые, умаянные повседневными заботами и хлопотами, любят понежиться в своих тёпленьких постельках, когда на то представляется возможность – в праздничные дни или в воскресенье, – ведь на работу спешить не надо, а потому почему бы не соснуть лишний часок... В воскресенье наша корова Сонька, а вместе с нею и гуси, и утки, и даже важные индюки спят больше положенного. Пастух Афоня по случаю выходного дня собирает скотину в общественное стадо, когда на то взбредёт в голову, а иногда забывает и вовсе, в зависимости от состояния организма по случаю чрезмерно выпитой браги накануне с инвалидом войны, совсем безногим Егором Брынзой, человеком положительным и весьма трезвым, который если и пил, то почему-то только в субботу и к самому концу дня. Один петух не подчиняется никаким правилам: орёт, когда ему взбредёт в голову, порою и в самую ночь,

далеко-далеко до утреннего рассвета. Случалось и так, что назло всем он самолично накладывал на себя пост молчания, запросто пропускал все положенные для него сроки кукареканий, весь день не проранивал и единого звука, молчал как рыба. Ходит угрюмый такой, шаркнет лапкой в поисках чего вкусенького, а если и найдёт, то не закудахчет, не позовёт своих подружек к пиршеству, слопаёт молча сам, как наш кот Васька, который сам себе на уме.

– Мика! – это так наш папа иногда по ласковому называл маму. – Тебе не кажется, что наш петух Хвыря какой-то неправильный? Три дня тому назад всю ночь напролёт орал как резаный, спать всей округе не давал, слышала же... А со вчерашнего утра словно воды в рот набрал... Может, он заболел птичьим гриппом?

– Это, скорее всего, оттого, – смеётся мама, – что его наемни одноглазый непогодинский петух Пётр Ядрёныч при всех его курицах позорно побил. Удирал по огородам, как последний трус.

– Ну и правильно сделал, что не стал связываться с этим хулиганствующим пьяным обормотом, – неожиданно оправдывает действия Хвыри папа, – с таким свяжись... И душу вышибет; сущий дьявол. Не то что петухов лупит во всей округе, а и собак... Как сидоровых коз... А всё Афанасий... Вместо зёрен накрошит самосадной махры да хлебных крошек, замоченных в браге, вот он и дуреет.

9

Сегодня воскресенье. Из всех дней недели, которые имеют такие непонятные и странные имена, особенно суббота, воскресенье нравится более всего. Во-первых... Ни папе, ни маме не надо спешить на работу, брату Валерику в школу, а мне с Танюшей в детский сад. Всякое иное утро непременно переполнено шумом, криком, спешкою и, как говорит мама, оголёнными нервами. А всё потому, что каждый боялся куда-нибудь опоздать. Папа в свой директорский кабинет, мама в ученический класс школы, Валерик – на занятия, я и Татьяна в группу детского садика. Оголённые нервы, про которые нет-нет да и вспоминала наша мама, мне представлялись в виде двух медных и кривых проволочек, с которых плоскогубцами живьём стащили резиновую шкурку, отчего они стали очень опасными.

– Вовка! – строго предупреждает дядька, указывая на торчащие из нашего радиоприёмника «Урал» облупленные провода, – я за изолянтной... А ты... Не то что пальчиком, а и близко подходить не вздумай к току. Так долбанёт по нервам, что зайкой на всю жизнь останешься.

Оставаться зайкой, как Толька Паклин, мне, конечно же, не хотелось, а потому, дабы проверить, какие из себя эти нервы, про которые так часто

любят вспоминать взрослые и которые у них всех почему-то – ни к чёрту, на всякий случай подстраховываюсь, дотрагиваюсь до проводков не пальчиком, о чём строго предупреждал дядька, а алюминиевой ложкой, которой лопал гречневую кашу. Несмотря на такую надёжную, казалось бы, и железную защиту, нервы неожиданно издали ужасающий треск, выпустили снопы искр и так, что называется, долбанули, что я вместе с ложкою неожиданно оказался под столом. Но всё же... Эксперимент стоил тех свеч. На всю оставшуюся жизнь уяснил, что с током, который молниеносно распространяется по нервам, бьёт по мозгам, сокращая мускульную силу и тут же высвобождая энергию в непредсказуемом направлении, отчего и происходит полёт шмеля, – ты мне, брат, не шути.

В воскресное же утро всё иначе. Едва проснувшись, мчимся наперегонки в комнату папы с мамой, чтобы занять лучшее место в их постели, то есть ровно посередочке между ним. Беда же в том, что нас трое, а самое тёплое и ласковое место – одно. Случались и потасовки, и плач с настоящими слезами, всякое случалось. Тем не менее это несколько не омрачало радости светлого воскресенья, торжественной соборности членов единой семьи под сенью единого одеяла. Папа – великолепный рассказчик, мастерски владеющий экспромтом, умеющий на ходу сочинить увлекательнейшую историю про эмегенов, их дружков алмасты, про клыкастых кабанов, снежных барсов и горных туров, которых на Кавказе, в горах, ужас как много, придумывал для нас очередной и достоверный рассказ про то, как в детстве он с Шамилем-дружком, односельчанином, повстречали в лесу одноглазого эмегена ростом с избу, скачущего на таком же громадном кабане белого цвета и с кривым рогом во лбу. Увлёкшись, папа рычал, бляял, хрюкал, переходил на толстый голос в доказательство к голосу эмегена, махал руками, дрыгал под одеялом ногами, тискал нас в своих мощных железных объятиях, наглядно давая почувствовать, как это делает десятиметровый удав, с которым он вступил в схватку и благодаря сноровке и хитрости спасся, что есть сил лягнув змея в глаз пяткою.

– Саша! – с выражением ужаса на лице спрашивала мама. – Так это что же... в двадцати километрах от Нальчика водятся такие гады? Как же ты исхитрился?.. Ведь он мог тебя и совсем заглотить...

Как вспоминаю сейчас, действительно, сказителем он был непревзойдённым; находил такие образные слова и выражения, так мог увлечь своим повествованием, что однажды от страха с быстротою суслика я юркнул под одеяло, увидя, как воочию, косматого эмегена, который погнался за маленьким папой с огромным шашлычным шампуром, чтобы им пронзить и изжарить на костре. Иногда он нам начинал

рассказывать, но стихами из «Мцыри» Лермонтова; эту поэму папа, кажется, знал наизусть, и тогда мы все, и даже мама, как замороженные слушали, боясь и пошевелиться, чтобы он не сбился, настолько это было потрясающе волнительно и интересно. В том месте, где говорилось – «ко мне он бросился на грудь, но в горло я успел воткнуть и там два раза провернуть своё оружие – враг завыл, рванулся из последних сил...», я цепенел, представляя этого самого барса, который, как мне виделось, уж конечно же, был по размеру не менее быка Борьки – самого крупного в нашей деревне, которого я остерегался и боялся аж ужас, но ещё более свирепого, с длинными когтями и клыками. При всём этом барса было искренне жаль. А ну-ка... Острой сучковатой палкой – да в горло. Это не та заноза, которую я вогнал в попку, прокатившись с деревянной горки... Это, наверное, гораздо больнее. Было и такое, когда, наслушавшись папиных рассказов, прочувствовав на своей шкуре топографическое расположение всех «больных мест» на теле человека, которые он показывал и тут же на нас демонстрировал, не очень больно придавливая своим пальцем то за ухом, то в области виска, когда против шерсти, то на какой мускулке, если её легонько дёрнуть, мы, в том числе и мама, хоть и взвизгивали, но стойчески терпели; интересно же узнать, где находятся на человеке самые больные его места. Наэкспериментировавшись вволю, всю семью, дружно принимались спевать песни. Всех громче и вдохновенней вопил Валерик. Петь громко почему-то я всегда смущался, тянул тонюсенкиным голоском:

*Смело мы в бой пойдём за власть Советов
И как один умрём в борьбе за это...*

Или:

*Вихри враждебные веют над нами,
Тёмные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами...*

– Вова, – взволнованно спрашивает папа, – а почему ты совсем не поёшь? Всех слышно, особенно Валу (так он иногда называл Валерика), а тебя... Анна!.. Может, у него слуха нет? – уже тревожится папа, и его можно понять, так как для него, аккордеониста-самоучки, человека романтического, с неплохим певческим голосом, к тому же, пусть и несколько по-любительски, но владеющего гитарой, подобное божье наказание – медведь на ухо наступил, всё равно, что от рождения быть горбатым, кривым или хромым. – А ну-ка, – просит он, – пропой... Да помолчите же вы все, – уже сердится папа, пытаюсь уговорить Таню

с Валериком, неожиданно запевших песню про омулёвую бочку и непонятного мне Баргузина, шевелящего какие-то валы, который чётко ассоциировался в моём сознании с усатым грузином, продающим на базаре большие полосатые арбузы. – Спой, – просит папа, – только один: «Выхо-ди-и-ла на бе-ре-г Ка-тю-ша, на вы-со-кий на бе-ре-г кру-той».

Я начинаю густо краснеть, так, как будто меня вот только что поймали с поличным за кражей сахара, еле слышным голоском, тонюсенькой фистулой выводить с самого начала:

*Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой,
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой...*

– Слух есть! – с великим облегчением и почти торжественно говорит папа, словно это касается самого ценного и жизненно важного органа, без которого человеку – хана.

Это я потом, когда достаточно повзрослел, стал заниматься музыкой, понял озабоченность отца. Ведь и действительно, человека, которого матушка-природа обделила музыкальным слухом, можно только пожалеть. И хоть он сам, как ему кажется, никак от этого не страдает и не замечает столь малюсенького недостатка в стройной системе осознаний и чувствований мира, любой, а особо – музыкант, содрогнётся и схватится за сердце от ужаса, с благодарностью помянет Господа Бога, что это не с ним.

Случалось и так, что, вдоволь напевшись, наговорившись, даже не позавтракав, все враз засыпали блаженным сном. Представить советскую никелированную койку с прогибающейся, чуть ли не до самого пола, пружинчатой сеткой, довольно узкую, на которой уместилась и спит семья в пять человек, конечно же, замечательно. Баба Даря, наша ближайшая соседка, к тому же ещё и родственница по маминой линии, зная за нашими родителями этакую престранность в воскресный день, сама выгоняла корову во двор, освобождала от запорного бруса ворота для того, чтобы прогоняющему нашей улицей общественное стадо пастуху Афоне было ловчее выманить и нашу Соньку. Гусей, кур и других птиц она не только выпускала в отдельный, сеткой ограждённый вольтер, но и ещё кормила. И даже если мама, почуяв, выходила на крылечко, баба Даря принималась быстро махать руками, приговаривать: «Ступай, ступай, Аннушка, успеешь ещё наробиться, понежись хоть в воскресеньюшко...».

Сегодня воскресенье. Тёплое и ясное утро. Судя по тому, что мама на огороде, а папа во дворе возится с мотоциклом, они давно как встали.

– Ну что, проснулись? – почему-то смеётся папа, глядя на наши заспанные рожицы.

От нестерпимо яркого света солнца я тру ладошками глаза, без всяких напоминаний спешу к умывальнику, сестрёнка бежит следом.

– Я первая, – кричит она мне.

– Почему это ты первая? – возмущаюсь я, хотя, по-честному говоря, умываться холодной ключевой водой по пояс, как того требует отец, никакого желания нету.

– Пропусти девочку, – серьёзно басит папа, видя, как мы уже сцепились, – мальчикам всегда следует уступать... Ты же мужчина... А она твоя сестрёнка. К тому же – это мы с мамой так решили – сегодня до обеда ты остаёшься в доме за старшего.

Краем глаза увидя скисающую на лету физиономию Вытыки, это он иногда так ласково называл Таню, тут же прибавил:

– И Вытыка будет за старшую... Ты над домом, а она над тобой. Нам с мамой необходимо съездить в Сухой Лог. Прокатимся по-быстрому и вернёмся.

– А мы? – плаксиво тянет Танюша.

– А вам никак сегодня нельзя. Валентина Андреевна обещалась зайти до обеда для заполнения какой-то медицинской бумажки. Мама с ней уже договорилась.

– Она что, будет ставить нам уколы? – совершенно падаем духом мы.

– Да не будет она делать никаких уколов, – сердится папа, – послушает через трубочку сердечко и животик, проверит зубки и железы, постукает молоточком по коленочкам.

– Как молоточком по коленке? – с изумлением переспрашиваю я. – Она что, будет ножки нам ломать? Кто же детям молотком по коленкам лупит, тем более девочкам?

Папа принимается громко и заразительно смеяться. С огорода приходит мама. В руках у неё полная чашка со свежим луком, огурцами и укропом.

– Анна! Ты посмотри на этого защитничка. По его мнению, все врачи – вредители; только и знают, что делают детям болочные уколы да бьют молотками по коленкам.

– Ты что, Вова, это серьёзно, – ласково смотрит на меня мама, – а ну-ка... сядь ровненько, положи ножку на ножку, вот так, не напрягай, просто положи и всё.

Легонько ударяет ребром ладони под коленную чашечку, отчего, помимо воли, нога сама подпрыгивает.

– Ну, что, больно?

– А мне, – пищит Таня.

Приходится подобную процедуру делать и ей, чтобы и её ножка дрыгнула.

– Я ладошкой легонько ударила, – объясняет мама, – а Валентина Андреевна красивым и тоненьким резиновым молоточком, блестящим-преблестящим, как у папиного мотоцикла руль. Вот и всё, трусишки. А сейчас всем кушать. Бабу Дарю слушать, на речку ни-ни. И никаких спичек, – смотрит серьёзно на меня мама. – А что это у тебя такое с руками?

Я быстро сжимаю правый кулачок, пожимаю плечиками, шмыгаю носом, вопросительно озираюсь по сторонам, словно это адресовано не мне, а кому другому.

– А это у него от тяжёлой работы так случилось, – отвечает за меня сестрёнка. – Он чугунную железку натирал песком, чтобы сделать блестящей, как золото. Но у него ничегошеньки не получилось. Иначе, знаю я его, всем бы сейчас хвастался, какой он люминат.

– Кто, кто? – с удивлением переспрашивает папа, отрываясь от своей работы, глядя на меня с нескрываемым любопытством.

– Напильник, наверное, такой, – не совсем уверенно отвечает Вытыка, – которым если шаркнуть по чему железному, то сразу же начинает блестеть.

– Анна... ты знаешь, что обозначает люминат? Что-то знакомое, а вспомнить никак не могу, – вопросительно смотрит на маму.

– Насколько я помню, – морщит лоб мама, – люминат – это такие таблетки... Вроде бы снотворное... Хотя... Бог его знает...

– Может, ты, Боборика, нам разъяснишь, что это за странное такое слово – люминат, – совершенно серьёзно спрашивает папа, вытирая замасленные руки ветошью.

Густо покраснев до самых корней волос, пунцевея ушами:

– У, предательница, – еле слышно шепчу сестрёнке. – Люминаты – это такие волшебники, которые всё вокруг делают блестящим, даже обыкновенные камни, какие на речке, чтобы всем от этого было светло и радостно и совсем не страшно, потому что буки водятся только в темноте.

– Нда-а, понятно... Фантазёр, – с лёгкой грустью замечает папа. – Откуда это всё у тебя? – вопросительно смотрит на маму. Вполголоса говорит: – Может, всё же, врачам показаться?..

– А ведь он прав, – с удивлением смотрит на меня мама. – Откуда ты про это слов узнал? Совсем не детское слово. Ведь и действительно, Саша, всё правильно он нам объяснил; сейчас и сама вспомнила. В институте профессор Эльцман Рудольф Яковлевич читал нам лекцию на тему пушкинской поэзии, увлечённости дворянства того времени мистическими учениями, распространяемыми масонством. Замечательным и удивительно разносторонне развитым был человеком этот самый Рудольф Яковлевич, а с виду – проще не придумать. Так вот... Люми-наты, они же – Иллюминаты – тайная масонская ложа, основанная, по-моему, где-то в восемнадцатом веке в Европе. Переводится как блеск, то есть – иллюминация.

– Вовка! А ты-то... откуда об этом узнал? Небось, мама рассказывала про всякие фейерверки... Так ведь, – подмигивает мне папа. – А мы с мамой хотели уж было продать тебя вредителям на опыты, – смеётся папа. – Они, и это точно, быстренько бы всяких домовых и прочую нечистую силу из твоей башки выбили бы. Фантазёр...

Посмотрев на свои ручные часы, имя которым «Победа», ножной заводилкой запускает мотор мотоцикла, быстро и по-военному командует маме, и прямо через узенькую калитку, едва не касаясь столбов выгнутым рулём, в шлейфе дыма и поднятой дорожной пыли они уносятся в сторону Сухого Лога.

– У, предательница... Ябеда, – возмущённо наступаю я на сестрёнку. – Зачем рассказала про мою тайну?

– Так я же хотела как лучше... А вдруг они подумали бы, что это у тебя от спичек, которыми ты баловался, вот такие дырки на руках прожглись. Забыл, как однажды целый коробок вспыхнул и кожу на твоей руке накалил так, что она надулась белым пузырьём, – оправдывается Таня. – А вот если бы они тебя вчера увидели таким грязным и окровавленным, то уж точно в угол поставили под фикусом. Намаялся бы в углу-то... Разве не я отмывала тебя мылом? – уже наступает сестрёнка.

– Ага, хитренькая, – пуще прежнего возмущаюсь я, – сама, небось, не захотела помогать мне, хоть и обещалась. Посмотрел бы я на тебя и на твои ручки после гойи, которая никаким мылом не отмывается. Убежала со своей Рыбкиной секретничать, чтобы мне не помогать. Вот я один и утрудился. Ты хоть знаешь, что это за паста такая, которую называют гойя? – важничаю я. – Вот видишь... А я знаю... И даже умею ей по-настоящему работать. У Толькиного старшего брата выпросил; он мне с фабрики целый кусок подарил. Знаешь, какая она дорогая, раз всё делает таким блестящим-преблестящим, как зеркало? Генка сказал, что

ей можно обыкновенные бутылочные стекляшки в настоящие бриллианты превратить, если очень постараться. Точно такие, как у папиного аккордеона были, которые мы с тобой без спросу повыколувывали ножницами и потеряли. Помнишь?.. А ты съябедничала... А вдруг папа возьмёт да прикажет показать Калю, когда она уже стала настоящей и золотой, а не чумазой, какой была раньше, когда валялась где попало и никому была не нужна. Ею Валерка гвозди в досках забивал и даже однажды исхитрился положить в печку, чтобы она покраснела и от жара расплавилась, как тот оловянный солдатик, подаренный ему папой. Хорошо, что мама вовремя увидела, выхватила из огня кочергою, бросила в кадку с холодной водою. Знаешь, как все змеи на голове Кали враз зашипели, я от робости аж убежал... Папа, как есть, обязательно заставит отдать её государству, чтобы нас всех не арестовали и не посадили по клеткам. А почему? Да потому, что это теперь не просто железка, какую она раньше была, а золото. А всякое золото, которое ничейное, если его найдёшь на дороге или случайно выкопаешь вместо картошки на огороде – называется кладом. Поняла? Вот закроем сначала на крючок калитку, чтобы никто не подсмотрел, и сама увидишь, какие клады бывают настоящими. Я его в бане спрятал за каменкой¹. А знаешь, что мне наш домовёнок сказал, когда я Калю начистил до самого блеска?

– Это какой такой домовёнок, – пугливо озираясь и шёпоточком спрашивает сестрёнка, – не тот ли, что среди остальных самый рыженький и с полосатым носочком на головушке вместо шапочки?

– Нет, – отвечаю я, – совсем другой, неулыбчивый. Он иногда к нашему Иоакимушке является то ли по делам, а может, и просто в гости, но только очень редко. Да ты его видела. Помнишь, когда забрались на палаты, а они, где печка, из стены вылупились.

– А-а-а, – вспоминает сестрёнка, – у него ещё была такая смешная шапочка на голове из газетки, а на ногах... к одной ноге – чёрный вале-ночек, а на другой... а на другой вообще – лапоточек, по-моему.

– Нелапоточек, – поправляю я, – а папина галоша, которая неожиданно потерялась. Только он наколдовал, и она уменьшилась на его ножку.

– А откуда это ты так взял, – недоверчиво переспрашивает Таня, – что эта галошина именно та? Папину галошу Таньки Стукольцевой Чабак утащил. Утащил и сгрыз в своей конуре. Дядя Коля сам видел, как он её загрызал...

– Значит, – уверенно говорю я, – Чабак съел не папину галошу, чью-то другую, похожую. А эта, я точно заметил, у домовёнка. Там буква на задничке точно такая, только совсем махонькая, как муравей.

¹Каменка – название печи, применяемой в русских банях.

– Ну, хорошо... Что же он тебе такого сказал, говори же побыстрее, – нетерпеливо просит сестра.

– А то и сказал... Ты, говорит, Вовка, – мой тебе совет, – запряхь подальше да поглубже идолицу. Хоть она и не совсем чуждого нам роду-племени, но всё же... И мы, случается, одолеваемы хворью, а вы – тем паче. Зарой Калюшку от греха подальше. Коли достанет силы не возгордиться, а принизиться – стать тебе мастером. Твори сердцем... Пасись платы за красоту. Чёрная горбушка слаще пирога с мёдом лукавого. Всё...

– Как это ты всё запомнил, – с изумлением смотрит на меня сестра? – Когда они что-то лопочут между собой, я совсем ничего не могу понять.

– А я и не думал запоминать, – по-честному признаюсь я Танюше, – оно само так в голове запомнилось.

Закрыв изнутри калиточку на крючок, поозиравшись по сторонам, вдруг да кто за нами следит, осторожно и на цыпочках проникаем в нашу баньку, расположенную в конце огорода. По уже приобретённому жизненному опыту знаем, что домовый народец не очень-то любит, когда кого из их племени неожиданно застают врасплох. Взрослых, за редким исключением, это не касается; они и без того никак этих самых домовых не замечают, хоть ты и ходи на самом их виду на головах. Маленьких же деточек они не пугаются, да и сами особо не страшат, скорее, наоборот, любят. Мы с Танюшей их ни капельки не боимся, но всё же, на всякий случай, стережёмся и соблюдаем дистанцию. Хотя они и из молчунов, но иногда, и почему-то только ко мне, могут обратиться, когда сами того захотят о чём-то попросить, а то и предостеречь от какой напасти.

– Боборика! – кривится рожицей один. – Ты зря удумал батькиной бритвой стругать палочку... Как есть, поломается; у немецких бритв железо хрупкое. А тебе снова врать... Не надоело?..

Бритва, самый краешек её лезвия, ломалась, по поводу образовавшейся щербинки и чьих это рук дело я принимался густо краснеть, но при этом безбожно врать: «Не я...».

Буку, и это я заметил, они боятся не меньше, чем мы; при первых же признаках её появления – таинственного незримого присутствия, заполняющего, кажется, всё пространство, когда можно с полной уверенностью сказать, что она и тут и там, одновременно везде, – их ментально сдувает, что ветром.

В баньке тихо, прохладно и ни капельки не страшно. Это Татьяна и братик Валерик не очень любят бывать здесь и, кажется, чего-то даже побаиваются. Я же к этому уединённому месту питаю истинное пристрастие, а особенно, когда печь затоплена, пахнет берёзовым дымом,

полешки тоненько попискивают, с шипением выбрасывают красно-синие язычки пламени, с сухим треском лопаются, расшвыривая из пылающего жерла снопы искр и светящиеся рубиновым светом уголёчки. Здесь мне – огнепоклоннику-иллюминатору, так светло мечтается, так красиво поётся музыкой, которая, помимо всяких принуждений, сама по себе придумывается в голове в разных вариациях, что и словами нету сил передать.

– Да показывай же скорее своё золото, – нетерпеливо просит сестра, не без робости вглядываясь в тёмные углы бани.

– Подожди ещё чуть-чуть, – говорю я ей, – чтобы ещё было красивее, надо немножко прибраться.

Влажною тряпицею тщательно протираю единственное маленькое оконце, за одним и широкий деревянный подоконник. Старым, расплзающимся во все стороны венником пытаюсь подмести пол.

– Зачем ты затеял уборку, разве мы затем пришли, – с изумлением спрашивает сестрёнка.

– Для порядка, – солидно отвечаю я словами папы. – Когда нету порядка и чистоты, ты хоть золотом разукрась, всё некрасиво.

Проникнувшись значимостью моих слов, Танюша принимается помогать, расставлять все вещи по местам, у неё, как у девочки, получается это гораздо лучше и красивее. Тазики и мочалочки она аккуратненько вешает на специальные гвоздики, огрызок хозяйственного мыла, валяющийся на полу, укладывает на деревянную полочку, старые резиновые галоши, разбросанные в предбаннике как попало, выстраивает вдоль стенок под скамейкою в рядочек и по парам. Одной галоше пары не достаётся. Дабы не нарушать общей гармонии – с глаз долой, она её прячет в дровах. В баньке сразу же становится и светлее, и уютнее, и веселее. Вот теперь можно... Торжественно лезу за печь, не без усилий выкорчёвываю положенное сверху большое и длинное берёзовое полено, которое, почему-то, за ночь само по себе раскорячилось и перестало вытаскиваться. Наконец-то оно поддаётся, сдвигается в сторону. Лезу рукою в образовавшийся узкий лаз, за выступающий край тряпки вытягиваю узелок на себя. Поставив поклажу на подоконник, такой радостный, весь залитый солнечным светом, подобно волшебнику лёгким и эффектным движением срываю тряпицу. Боже ж ты мой! Сегодня она представилась мне ещё более краше, чем вчера, измученному непосильными трудами. От изумления сестричка, кажется, потеряла и дар речи.

– Что это? – единственное, что проронила она. – Как же ты так смог? Настоящее золото, только ещё красивее. Вот почему у тебя с ладошек вся кожа пузырьками полопалась. А я ругала... И мама с папой ругали

бы, когда б не знали, какой ты настоящий мастер-иллюминат. А всё потому, что сам ни на кого не стал надеяться; как говорит папа, всю силушку-волюшку собрал в кулак и не струсил, хоть в бане одному ужас как страшно, а выполнил, что придумал.

– А можно мне её пальчиком потрогать? – спрашивает меня, – я никогда столько золота не видела. Уж теперь, Вовка, точно её никому нельзя показывать, точно сопрут! Да и ещё обвинят, что столько времени прятали, а государству не сдали. Золото всегда в первую очередь воруют. Помнишь, как папа поругал Валерика за тот клад, который он вместе с Толькой Паклиным выкорчевали из земли в конце огорода Рявкиных и бросили на дороге. Оказывается, этот клад принадлежал всему народу, а вовсе не Валерке с Толькой и даже не маме с папой, не говоря уж о нас с тобою. Хитренькое это государство. Это оно специально так выжидало, чтобы ты все руки истёр и изломал за просто так. Что ж это оно – это государство, не нагнулось и не подняло то, что никому не нужное валялось столько времени на земле? – возмущается сестрёнка. – Не захотело, небось, руки пачкать этой самой... Как её?.. Ну, той, которую ты на стекольном у Толькиного брата выклянчил... Ею ещё самовары и бляхи солдатских ремней начищают... Вот, вот! Гойей... Хорошо, что дядя кузнец подсказал, чем отмыть. А так, ходил бы веки вечные с зелёными, как у лягушки, руками, и все смеялись бы. А ещё, мама говорила, от испортившейся грязью крови можно запросто и помереть. Нет, Вова, – совсем серьёзно говорит Таня, – и не вздумай даже кому показывать.

– Что же тогда мы с нею будем делать? – в полном отчаянии спрашиваю я. – Может, обратно кузькиным лаком¹, который у папы, обмазать для маскировки? Или грязюкою какой...

– Сказано же тебе, – мудро предлагает сестра, – запрятать подальше да поглубже. Или ты наврал... Специально так придумал про домовёнка, который вот так говорил?

– Эх, – почти плачу я, – столько старался, столько старался... А папе-то, что скажем? Ведь, чую, обязательно попросит показать. Сама же выдала... Неспроста же он так заинтересовался...

– Сколько раз тебе говорить, – назидает сестра, – не надо никого обманывать, так и скажем, что закопали Калю на века вечные в землю, чтобы баба Даря или кто другой случайно опять ногу не обломал или не похитил. Вон как она блестит, – восхищённо смотрит сестра, – и змейки на голове шевелятся, как живые. И в школьный музей не возьмут, – убедительно говорит Таня, – если даже и перекрасить, как ржавое железо.

¹Кузбас-лак – антикоррозийное покрытие чёрного цвета.

– Почему это её не возьмут? – возмущённо спрашиваю я у сестры. – Это же достояние народа...

– Какое же это достояние, – презрительно морщится сестрёнка, – когда она опять станет ржавой... И папа говорил... Что тётечек с четырьмя руками и змеями за место волос в жизни не бывает, потому что они боженки, а ещё религии, от которых у трудящихся масс – колхозников и рабочих, мозги запудриваются, и они делаются сумасшедшими, как наш Сана Ясный. Сама слышала, как один дядька, наверное, из Сухого Лога, а может, и из самого Свердловска, важный такой, ругался с нашим Чуванёвым...

– Каким таким Чуванёвым, – перебиваю я, – с тем, что всегда ходит в командирской форме, но без нагана и всегда в фуражке со звёздочкой?

– Ну да! – утвердительно кивает Таня. – Он самый. У самой церкви ругался, где наш клуб. Так вот... Этот дядька так и сказал нашему председателю, тыкая пальцем на боженек, что на всех стенах внутри нарисованы: «Последний раз предупреждаю, Егор Николаевич... Развели, понимаешь ли мне, богадельню. Следующий раз приеду, чтобы и духу здесь от этих религий не было». А наш Чуванёв ему в оправдание: «Так мы же, товарищ секретарь горкома, почитай, ей-ей, уж кой раз забеливаем извёсткою. Всё одно... что шелуха от семечек, слушивается... И с клеем приспособлялись, никак не держится». «Не извёсткою надо замулёвывать, товарищ председатель сельского Совета, – ещё громче возбудился важный дядечка, покраснев, как рак, выпучив до предела глаза, – а кайлом, кайлом железным, чтобы и духу их не было». И папа Вале рассказывал про эти самые религии, которые ещё опиум для народа. Я ещё тогда хотела спросить у него, кто есть этот самый опиум, да забыла. Вот поэтому хоть крась, хоть не крась, а богиню Калю в школьный музей в жизни не возьмут. В нашей самой лучшей в мире стране совсем не место всяким религиям, – словно из тарелки радиорепродуктора умничают Танька.

– А как же египетские мумии, про которые так интересно рассказывал папа? – быстро нахожусь я. – Они что, не религии разве?

– Мумии хоть и находятся в музее, но лежат в каменных раскрашенных гробах, похожих на матрёшку. А чтобы не заржавели и долго хранились, папа так говорил, их заспиртовали специальными духами, очень дорогими и редкими, наподобие маминых – Красная Москва. Какие же они религии, – возмущённо горячится Танька, – когда они раньше были хоть и царями, а всё равно обыкновенными дядьками и тётками, и без крылышек, и не с четырьмя руками, как у тех, кто нарисован под самым кумполем в нашей бывшей церкви. И перед ними никто не становится на коленочки, как наша баба Даря перед дощечкой с нарисованным

Боженькой. Ты что, Вовка! Совсем, что ли, не запоминаешь? Папа сколько раз рассказывал. И Каля... Если бы она не валялась где попало, то на улице, то на огороде, а то и на болоте, а лежала бы, как мумия, замасленная и заспиртованная в гробике, то уж точно золото на ней не почернело бы, а оставалось таким же блестящим, как сейчас.

Аргументы Татьяны выглядят весьма убедительно. План в наших головах созревает моментально и одновременно. Калю немедленно же необходимо забальзамировать. Самое лучшее средство, к тому проверенное тысячелетиями, – это папин солидол. Папа и сам не скрывал чудных свойств мотоциклетного бальзама, так внешним обликом схожим с обыкновенным вазелином, которым мажут обветренные губы и руки, чтобы они не трескались, а стали мягкими. Чудо-солидол папа достал с рук на знаменитом свердловском рынке, где можно было достать что угодно и даже настоящий боевой пистолет ТТ.

– Мика! Это самый лучший солидол в мире, американский, – торжественно говорил он маме, показывая блестящую и прямоугольную жестяную банку с яркой этикеткой, на которой изображён автомобиль Ролс Ройс с восседающей на его капоте голубоглазой блондинкой, и всё это, почему-то, на фоне египетских пирамид. – Если им смазать хорошенько наш мотоцикл, то, честное слово, и через тысячу лет не заржавеет. Америкашки знают своё дело, кому не известно, что пирамиды – символ самой вечности. Понюхай, как пахнет... Не солидол, а бальзам. Это тебе не наш чугуевский и в картонной коробке, из которой и не выковыряешь ничем, так затвердел.

Даёт понюхать всем, сначала маме, потом нам и даже кошке Машке, которая, увидя, что все что-то нюхают, тут же запрыгнула маме на колени, стала громко клянчить, чтобы и ей дали понюхать. Запах американского солидола ей явно не понравился, громко фыркнув, поспешно стала тереть лапкою нос, а когда папа, из озорства, вторично её сунул банку под нос, так брызнула в открытое окно, что только и видели.

– Наш аптечный вазелин, – замечаю я, – который продаётся в маленьких, плоских и кругленьких жестяных баночках зелёного цвета и совсем задёшево, пахнет гораздо вкуснее, чем этот самый американский. Потому Машка и дала дёру. Кошку в этом деле не обманешь.

– Ничего, Вова, – предлагает Таня, – мы в него одеколону и чуть-чуть маминых духов добавим, чтобы настоящимя сделался, каким фараонов спиртуют.

– Не спиртуют, а асфальтируют, – с важным видом поправляю я.

Увидев в окошечко бабу Дарю – Дарью Ивановну, пытавшуюся отворить калиточку какой-то тётечке, быстро заматываем Калю в тряпочку, отчего в баньке становится заметно мрачнее, прячем под скамейкой.

– Таню-ю-ш-а-а! Во-ва-а! – протяжно зовёт Дарья Ивановна, глухо постукивая своею палочкой по доске.

– Да здесь мы, здесь мы, бабушка, – бежит её навстречу Таня, – сейчас открою.

– А Вовка?

– И Вовка здесь... В бане чистоту наводит, чтобы был порядок. Перед папой хочет выхвалиться, – для секретности привирает она.

– А я всё глядю и глядю... Куды, думаю, запропастились? Не угораздило бы как на болота... Вовка большой придумщик по этой части; уж знамо, больно горазд до шкоды. А коли робите, то добро. Тикайте до хаты, тут до вас хвельдшерша пришла, исследовать по медицинской части будет, как кролей, – весело смеётся она, хитро подмигивая тёте.

– На что намекаете, Дарья Ивановна, – также смеётся врачаха.

– А вы, Валентина Андреевна, – лукаво шуруется баба Даря, – вроде как и не догадываетесь, про каких кролей я речь веду. В прошлом разе от экспериментов у ветеринара Ахфони кроли все как один шкуры свои поскидали. Шо он, бисов сын, дал им такого исти?... И глядеть-то страх, не токмо что в руки брать. Видом что диточки новорождённые. Председатель ему: «Афонасий! Дивное ты дило зробив... Вражина... Видано ли на билом свете, шобы кроля, поскидав шкуры, гольшом прыгали? Да знаешь ли ты, контра законсперированная, шо я с тобой – бисов сын – могу вытворить...».

Сельская докторша Валентина Андреевна, тётенька совсем уже немолодая, с глазами, исполненными забот, лицом деревенской труженицы, села за наш круглый стол, достала из пузатенького докторского саквояжа журнал в синей обложке и разлинованный в косую линейку, рядом поставила стеклянную чернильницу-непроливашку, ученическим пером стала что-то мелко записывать. При этом, что замечательно, высунутый кончик её языка, как бы следуя за пером, производил движение с одного краюшка верхней губы к другому, слева направо. В самом же конце строки замирал, чтобы затем всё повторить сначала. Не отрываясь от своего занятия, грудным и певучим голосом спрашивает:

– Значит... говорите, что скоро уже в школу?

Переглянувшись, мы дружно в один голос выразили своё несогласие, потому как совсем ещё не школьники, а детсадовцы, хотя пойти учиться ужас как хочется. Врачиха, со странным и непонятным именем – педиатр, слегка улыбнулась, отчего сделалась враз очень красивой, спросила сначала сестрёнку:

– Тебя ведь зовут Танечкой? Так ведь? А его, – кивает в мою сторону, – насколько помнится, Вовой.

– Ну да, – несколько неуверенно говорит Танюша, – он Вова, а я – Таня.

– А почему же тогда ваш папа иногда называет его Боборикой, Бобриком, а тебя Вытыкой? – пожимает она плечами. – Что может быть общего между этими именами? Это, наверно, он вас так по-балкарскому называет?..

Мы снова переглядываемся и, дабы тётя больше не приставала с подобными вопросами, на которые у нас и самих ответа нет, в знак согласия, как маленькие ишачки, дружно киваем головами. Оторвавшись от писанины, внимательно смотрит на Таню, потом на меня, обратно на Таню, так, словно вот только что нас и увидела:

– Ничего не беспокоит?.. В грудке не покалывает, в животике не болит?..

Поставив ровненько к дверному косяку, карандашиком над головою проводит чёрточку. Обыкновенным портняжным метром замеряет от пола до отметины. Потом таким же манером и меня. Моя чёрточка оказалась ниже Танькиной на толщину пальчика. Выходит, хоть мы и родились одновременно, она обогнала меня в росте аж на целый мизинчик. Только не в длину, а в толщину. Непонятно, какой радостью обрадованная, незаметно от докторши кривит мне рожицу, показывает кончик языка.

– А каков их вес? – спрашивает бабу Дарю.

Дарья Ивановна не без любопытства окидывает взглядом меня, потом сестрёнку, пожимает плечами, говорит:

– А бис его знает...

Неожиданно и совершенно не к месту вспоминает:

– Вовка... энто, когда сватали Ганю, аж пятнадцать пьальменей употребил. Тебе бы лучше у Анны али у Алексеича посправляться о том. Ужё он, поди, точно знает, сколько в их энтото весу.

Ничего не ответив, докторша что-то записывает в своём журнале, потом водит перед самым нашим носиком пальчиком, на краешек которого мы должны смотреть, не отрывая взгляда, показывает разноцветные картинки с кружочками, треугольниками, кубиками, нарисованные по-разному, чтобы и нельзя было догадаться из-за множества пересекающихся цветных чёрточек, но мы всё правильно отгадали. Напоследок внимательно смотрит в глаза, тихо, почти шепчет разные слова, которые надо услышать и повторить.

– А что это у тебя с руками? – серьёзно спрашивает у меня, – неужели от тяпки? Картошку, что ли, помогал маме окучивать?..

Не ожидая подобного вопроса, начинаю предательски краснеть. Спасает Таня.

– Это он так об железку, которую вздумал начищать песком, чтобы блестела, – весело трещит она, – а я ему говорила...

– Ну и как? – усмехается Валентина Андреевна. – Добился искомого результата, заблестела твоя железка? – Не дожидаясь ответа, уже строго учит: – Работать по-правильному тоже надо уметь. Кто же вот так дырки на собственной коже протирает...

Захлопнув журнал, укладывает ручку в деревянный пенал, чернильницу-непроливашку в испачканный чернилами холстяной мешочек со стягивающейся посредством шнура горловинкою.

– Може, чайку сообразить с шанежкой? У Аннушки ныне картофельные и со сметанкою...

– Спасибо, Дарья Ивановна... Как-нибудь в другой раз; дел совсем невпроворот. Ну что, – смотрит на нас, – совсем даже неплохо. Скажите папе, чтобы он вас как-нибудь взвесил; хоть безменом¹. А что... Посадит в мешок, только по отдельности, или в какую сетку да и взвесит, – уже на ходу говорит она бабе Даре, которая пытается всучить ей несколько шанежек, завёрнутых в промасленную бумажку.

Видя, что докторша уже прощается и вот-вот уйдёт, хором спрашиваем:

– А молоточек?..

– Какой такой молоточек, – с удивлением смотрит она на нас.

– Молоточек, – смелею я, – которым по коленочке ударяют, чтобы проверить, у кого нервы крепче. Мои нервы, – уже хвастаюсь я, – гораздо крепче, чем у Таньки... Ведь правда, Таня... Сколько ты мне не лупила – ноге хоть бы хны. А тебе... только один раз вдарил досточкой... так дрыгнулась, так дёрнулась, что кошка, думая, что это на неё, от страха так и утикала.

– К сожалению, – оправдывается Валентина Андреевна, – и молоточек, и свой стетоскоп, да и всё остальное, включая болучие-преболучие уколы и самые горькие таблетки, чтобы вас не расстраивать, я нарочно забыла в амбулатории. Хотя...

Смотрит озабоченно на свои ручные никелевые часики – время ещё позволяет.

– Неплохо бы и проверить... Вдруг, де, у нашего Боборики нервов и вовсе нет...

– Есть, есть у него нервы, ещё какие, – поспешно, пытаясь спасти положение, говорит Таня. – Иногда, такой психованный делается, так начинает выкомуривать² и дрыгаться, что маме в угол приходится ставить.

¹Безмен – рычажные или пружинные весы.

²Выкомуривать (диалект) То же, что и выкомаривать – делать странные вещи, обращать на себя внимание.

После того как и докторша, и баба Даря ушли, отломив по куску мамино калача, сломя голову несёмся по узенькой тропиночке в сторону баньки. До обеда, как нам обещали родители, надо всё успеть: приготовить благовонный бальзам, специальные тряпичные бинты, сделать гроб, который ещё называется саркофагом, вырыть в самом секретном месте подземный склеп. С саркофагом сложилось так удачно, что лучше и не придумать. В чулане... Ох уж этот страшный чулан, где хранился папин чудо-салидол, отыскалась и жестяная банка, да и ещё с плотно прилегающей крышкой, по размеру, тютелька в тютельку, как специально, в размер скульптурки Кали. Белые матерчатые ремки, похожие на тоненькие ленточки, надрали сами из куска ветхой тряпицы, выпрошенной для этой цели у бабы Дари.

– На что вам энта рухлядь? – поинтересовалась она. – Куклы, что ли, улуштовывать... Али как?

В круглую коробочку из-под зубного порошка набираем папиного солидола, добавляем туда ещё и одеколону, слегка сбрызгиваем мамиными духами, которые, как сказала она нам сама, очень редкие и дорогие, а потому, чтобы мы их и в руки не смели брать. Уговариваю Таню добавить ещё и малость зубной пасты, вкусно пахнущей малиновым вареньем, безбожно вру, ссылаясь на папу, что египетские жрецы всегда так поступали, когда для своего фараона-царя приготавливали священный бальзам, и что без этой самой малиновой пасты по-правильному ничего не получится. Не без сомнений, но она всё же соглашается, выдавливает из тюбика самую малость, да не очень удачно, так как придавила слишком сильно и её неожиданно выплюнулось аж длиннющим червяком.

– Вот видишь, – плаксиво упрекает она, пытаясь всосать червяка обратно.

Но он не только не пожелал вползть в свой расплющенный с одного края домик, но, наоборот, от неумелых движений сестры стал вытягиваться ещё больше.

– Прикручивай поскорее крышечку, – возбуждённо ору я, – она, кажется, вся хочет из тюбика выползти.

И солидол, и одеколон с духами, и зубную пасту тщательно перемешиваем щепочкой.

В сумерках баньки густо повеяло погребальным духом мумии.

– Получилось! – восторженно пищит сестра. – Пахнет как в самой настоящей пирамиде...

– Можно подумать, – говорю я, не упуская случая съехидничать, – что ты там сто раз уже была...

– Ну и пусть, что никогда не была, папа же рассказывал... Про какую же он пирамиду нам всем рассказывал? – морщит она свой лобик. – Кажется, про ту, в которой лежала мумия под названием Антон.

– Да нету такой мумии, – протестую я. – Ты папу слушала совсем невнимательно. Этого фараона звали по-другому, похоже, но по-другому; забываха...

– Сначала папа говорил – эх... а потом... а потом... Вспомнила! – радостно хлопает в ладошки сестрёнка. – Мумия царя Эхнатона!

Извлечённую на божий свет Кали располагаем на подоконнике, принимаемся густо умащать священным бальзамом, изготовленным собственноручно по особому древнейшему рецепту, в основу состава которого входит великолепный американский солидол фирмы «Петролеум Голд». Намазанную поверхность туго обматываем льняными погребальными пеленами, ослепительными, что снег, и так – трижды, пока священная мазь не заканчивается. Увеличенную в объёме богиню, тучную и оплывшую, с великими усилиями впихиваем в жестяной саркофаг, который как бы самый настоящий, золотой. Два блестящих стальных шарика от подшипника, подаренные нам кузнецом Михеем, помещаем туда же, так будет гораздо таинственней, всё остальное пространство с верхом щедро засыпаем лепестками болотных лютиков, мелкими листиками черёмухи, туго закрываем крышкой.

– А печать!.. – испуганно кричит сестрёнка.

– Какая ещё печать? – переспрашиваю я.

– Печать, которой обязательно запечатывают все царские гробы, на которой выпуклые лучики солнышка и пропечатанное на фараонском языке имя того, кто лежит в гробу. Иначе эту мумию нельзя считать настоящей. Эта печать кругленькая такая, делалась из мягкой глины.

– А что, разве из пластилина не красивее будет? – говорю я.

Если бы эти самые фараоны умели бы делать самый настоящий цветной пластилин, то уж точно не стали бы связываться с какой-то глиной. Слепливаю из красного пластилина шарик, сплющиваю в толстенькую лепёшечку, тоненькой палочкой оттискиваю лучики. В саму серёдочку добавляю немного жёлтого. Получилось изумительное солнышко.

– А имя? – спрашивает сестра.

– А это и есть его настоящее имя. Эхнатон – одно из названий бога солнца. Забыла, что ли, как нам папа про всё это подробно рассказывал чуть ли не целую ночь, когда мама с тётёй Томой Тёплых уехали в Свердловск сдавать в институте экзамены?

Подземный склеп решили копать в самом конце огорода, там, где начинается болото, возле высокой вербы, рядышком с которой протекает маленький звонкоголосый ручеёк, который на самом деле есть не что иное, как полноводный и священный Нил. Земляные работы – тяжкий и изнурительный труд. Могилу рыли по очереди маленькой детской лопаткою, железной, очень похожею на настоящую. Вырыв приличную,

как нам казалось, яму, гораздо бóльшую, чем на обыкновенный секрет со стеклянным небом, дно и стены плотно обложили битыми осколками тарелок, чайных чашечек, кусочками разноцветных глазурированных черепков, пяточками и даже серебряными полтинниками, цена которых в наших глазах представлялась совсем мизерной. Как это было принято у египтян, с песнопением гимнов, один из которых гласил: «... В борьбе за рабочее дело он голову честно сложил...», – опустили золотой гроб богини Кали в могильный склеп, вместо крыши устроили большую и совсем новенькую черепицу, которая сама выпрыгнула из грузовика, когда его с железным лязгом подбросило на ухабе. Я, конечно же, по-хозяйски подобрал и принёс домой. Такая вещь!.. Мало ли когда может пригодиться. И вот действительно, лучшей крыши для погребального склепа и не придумать. Это не какое-то оконное стекло, сквозь которое провалилась баба Даря, а один раз и папа... Такая черепица, хоть ты на ней прыгай, никогда не поломается. А значит... наш секрет никому не удастся обнаружить.

*Замучен тяжёлою долей,
Ты голову честно сложил
В борьбе за народную волю
Навеки в могиле почил, –*

выводили мы тонюсенькими и слаженными голосками погребальный революционный гимн – любимую песню дедушки Ленина, когда он находился в ссылке, где его мучили жестокосердные царские жандармы. Об этом нам часто любила рассказывать воспитательница старшей группы Валентина Харитоновна, дедушка у которой был настоящим большевиком, из-за чего его убили кулаки-кровопивцы. Она иногда даже вытирала слёзы, так ей было искренне жалко и вождя мирового пролетариата, и всех тех, кто навеки в могиле почил.

– Папа, – спрашиваю я у отца, после того как он нам рассказал длинную и увлекательнейшую историю про пирамиды и про фараонов, которые жили давным-давно, когда на свете даже мамы с папой не было, и про священный Нил, и про всякое разное, – а что, дедушка Ленин тоже был египетским фараоном, но только русским?

Как помнится, папа с таким нескрываемым изумлением посмотрел на меня, что я, не понимая, где дал маху, страшно смутился, стал густо краснеть.

– А с чего это ты так решил, – спрашивает он, – услышал, что ли, где?..

– Как где? – уже изумляюсь я. – Ты же сам только что рассказал, что только египтяне додумались себя заспиртовывать для сохранности,

чтобы не испортиться, а лежать в неприступной каменной пирамиде до тех пор, пока не откопают учёные.

– Анна! – с ещё большим изумлением смотрит на меня отец. – Глянь-ка ты на этого Павлика Морозова, на этого болтуна... Ведь где скажи такое... Как пить дать за разъяснениями нагрянут... И при чём тут Владимир Ильич Ленин? – спрашивает он, но почему-то маму. – Какое отношение он имеет к этим самым пирамидам, а тем более к фараонам?..

По растерянному виду папы чувствуется, что он отлично всё понимает, о чём это я, но только нарочно делает вид, что ничегошеньки не понимает, хотя... Разве не он сам, совсем недавно, рассказывал нам про мавзолей и про Ленина, который лежит в нём, в хрустальном гробу, заспиртованный для грядущих поколений, потому как помер. Значит, по логике вещей он такой же фараон, но только русский, – думается мне, – как такого не понять?..

– Не болтай глупости, – сердится вдруг отец. – Ведь чёрт знает что могут о нас представить. Подумают, что специально так научили... Запомни раз и навсегда... Ленин – вождь мирового пролетариата. И фамилия у него была Ульянов. И папа у него был никаким не египтянином, а русским. Нет в его роду египтян. А то, что его положили в мавзолей на Красной площади в Москве, то это только потому, что так захотел народ и партия. И не вздумай кому брякнуть подобную глупость, что Ленин... В общем, понимаешь о чём. Ты уже далеко не маленький, в школу скоро пойдёшь.

Вдрузив над нашим мавзолеем черепичную крышу – прочную и непромокаемую, сверху возводим ещё и курган. Голыми пятками плотно притаптываем землю, поливаем из ручейка водичкою, чтобы утрамбовалась пуще. Для полной маскировки и на самой могиле, и рядышком, и чуть подалее высаживаем с мясом выдранные из болотных хлябей травянистые кочки, жирные стебельки куриной слепоты, молоденькие кустики папоротника.

– Теперь, Вовка, – торжественно произносит Таня, – ни в жисть никому не сыскать нашу Калю, даже нам самим.

Мама с папой приехали не к обеду, как обещали, а почти к вечеру.

– Колесо проколосось, – оправдывается папа, – а к Валерику в пионерский лагерь можно съездить и завтра. Боборика, – смотрит он на меня, – а что это у тебя и трусы, и майка мокрые? На речку, что ли, бегали купаться?

– Землю поливал на огороде, – по-честному признаюсь я.

– А Таня хоть помогала? – улыбается довольный папа, думая, что речь идёт об огуречных грядках, которые мы действительно иногда по-настоящему поливали, когда маме было совсем некогда.

Ближе к ночи небо неожиданно затянуло чёрными тучами. На самом краю горизонта, там, где станция Кунара, яркими ломаными линиями засверкали молнии, послышались далёкие нарастающие гулы грома, подул сильный и порывистый ветер.

– Анна! Загоняй кур, – беспокоится папа, – как бы не град...

Где-то совсем близко так гулко и раскатно грохнуло, что, кажется, и сама земля дрогнула. Листья на берёзах и черёмухах так отчаянно зашумели, а верхушки деревьев так стало гнуть в разные стороны, что, казалось, ещё чуть-чуть – и они вырвутся своим корнями из земли и толпою помчатся вверх по улице, а затем по колхозному полю, туда, где на горизонте сплошной чёрною стеною высится дремучий лес. В прогретую за день дорожную пыль – мягкую и дремотную, упали первые крупные капли дождя. От сильного дуновения ветра среди раскидистых ветвей черёмухи, кажется, в самой гуще их, что-то ярко заискрило, как от электросварки, с треском посыпались огненные шарики.

– Господи! – всплёскивает руками Наталия Спиридоновна, выбежавшая скоро из дома для того, чтобы до дождя успеть стащить с ворот свой стираный половик, шарахнувшись в сторону от летящих сверху искр. Поистине, видать, сказано, что пока гром не грянет, мужик хрен перекрестится. – Сколько разов сказывать ему... Поотрубай, где провода, ветки. Хоть ты кол на голове теши... Гад... В прошлом разе всю улицу, почитай, без току оставили на цел день, – громко причитает она, тряся что есть сил половик, зацепившийся за гвоздь, с опаской поглядывая на злополучное дерево. – Анна! – предупреждающе кричит она нашей маме, пытающейся загнать в калитку удравшего петуха, – пасись... Как бы электрический провод не упал на голову, вон как искрами стреляется.

Петух, которого мама пытается загнать хворостинкой в наш двор, носится как угорелый кругами, громко ругается на своём курином языке, никак не может рассчитать своего бега, стремительно пронесится мимо калитки. Отчаявшись, неуклюже подпрыгивает, истерично и вразнобой машет крыльями, с воплем переваливается через высоченные ворота Стукольцевых прямо на голову Наталии Спиридоновны.

– Вот же идиот придурашный... Совсем, зная, чокнулся мозгами на старости, – машет на него руками она.

Неожиданно грохнуло с такой чудовищной силой, что, буквально, земля под ногами заходила ходуном. Соседствующий между нашим домом и домом Паклиных старый тополь, как в замедленном сне, весь в сиянии голубого света валился в сторону улицы, обрывая электрические провода, увлекая за собой ближайший из столбов, который так же в огненных брызгах замкнутых проводов, раскачиваясь на них, наконец-то

падает на дорогу как подрубленный. С треском раздираемого шёлка ослепительными брызгами сыплются во все стороны капли ртути, подобные раскалённому добела расплавленному металлу. Стремительно несусь домой, слышу нечеловечески-пронзительный крик:

– Вова...

Мама с лицом совершенно белым-белым как бумага хватается меня за руки, с невероятной поспешностью затаскивает в дом. Вижу, как папа, опрокидывая на ходу венский стул, а следом и маленькую книжную этажерку, как-то неуклюже семеня ногами, бежит навстречу, неестественно широко открывает рот, как бы желая громко крикнуть, а крика не получается, сильными руками отрывает от земли, почти к самому потолку, потом что есть сил прижимает к своей груди. Слышу, как гулко и скоро стучит его сердце, как в такт ему пульсирует жилка на руке. От папы пахнет одеколоном «Красная Москва» и одновременно почему-то американским солидолом Петролеум Голд.

– Господи! – почти причитает мама. – Ведь чуть громом не убило...

Меня, как есть, укладывают в постель, прямо поверх тюлевых покрывал, папа зачем-то приносит целый стакан холодной воды и заставляет выпить. Нагнувшись, смотрит в самые глаза, еле слышно спрашивает: – Ну, как ты?

Я пожимаю плечами, совсем не понимая, что ответить и как мне должно быть, когда вот так спрашивают.

– Анна! – уже громко требует он. – Может, ему в стакан валерьянки накапать?..

Танюша стремглав несётся в родительскую комнату, притаскивает картонную обувную коробку из-под новых папиных башмаков, приспособленную для хранения лекарств. От валерьянки, которой обильно накапали в стакан, густо повеяло погребальным ладаном. Словно из непроницаемой густоты самого мрака выплыло сияющее солнцем лицо Кали. Всё увеличиваясь и увеличиваясь, оно заполнило всю комнату, а затем и более – весь дом. Через окна, двери и мельчайшие трещины потоками света вырвалось за пределы, безбрежным океаном разлилось по всей округе. Погребальный чёлн фараона, выполненный из единого ствола кедра ливанского – подарка правителя Иудеи, беззвучно почти парит над голубою гладью Нила. Гребцы так слаженно и умело управляют вёслами, что не слышно ни единого всплеска. От носа корабля в сторону кормы выются по воде тоненькими струйками серебристые змейки, так схожие с теми, что на голове богини Кали. Выкрашенный в чёрно-зелёный и голубой цвета, с выпуклым золотым диском на носу, корабль с прямоугольным деревянным гробом на его палубе словно застыл на месте. И что это не он, а вода, подгоняемая мощью упругих

вёсел гребцов, стремительно несётся прочь вдоль его бортов, унося в своём потоке белые погребальные лилии. Тихий и проникновенный голос, как из подземелья, торжественно читает: «Нету ничего из движимого на все четыре стороны света, что бы не имело места своего преткновения». Покой... Сколько горе не поднимайся, но и её возвышению есть предел. И вот уже песчаная пустыня на том месте, где ранее уносились в синие выси величественные горы. Одно только на земле не имеет своих изменений – вода. То три в одном, то одно из трёх – всё истина. Троица. Хотя и кажется, что разные истоки питают Тигр и Евфрат, священный Нил и Ганг – одного состава их вода. Найти ли различий в главном между льдами Гренландии и Джомолунгмы?.. Одна их суть. Легкокрылые облачка знойной Аравии – бледные, прозрачные и невесомые, тяжёлые и свинцовые тучи Балтики, наполненные молниями и громами, застилающие и свет самого солнца, не есть ли пар одной земли-матери?

– Надо же... Кажется, уснул, – с тревогой говорит мама, – о каком это корабле, который куда-то уплыл, спрашивал он тебя? – слышится мне, как сквозь шум прибора, вопрос матери, обращённый к отцу.

– Это всегда так случается, – вполголоса отвечает папа, – с теми, кто лицом к лицу столкнулись с внезапной и смертельной опасностью. Во время войны на фронте чего не пришлось только увидеть. Один солдат, рядовой, по-моему из Ельни, Харитоном звали... Так вот... Во время танкового наступления немцев швырнул гранату из своего совсем низенького окопчика, да так удачно, что от взрыва сдетонировали снаряды внутри. Башню с корнями вырвало и отбросило чёрт знает на сколько, а сама машина – синим пламенем. Генерал – командир бригады по фамилии Олейников, сам был тому свидетелем. На другой день после боя приказал отыскать этого героя, чтобы лично представить к награде. Ищут, ищут – никак не могут найти. А он... И смех и грех... Сам себя выставил на пост у какого-то склада ГСМ и стоя, при полном вооружении спит. Потом-то, конечно, разбудили. Это после того, как из ведра на голову плеснули холодной водою. Спрашивают его: «Ты что это, Харитон... Кто же стоя укладывает себя спать, да ещё и при вооружении и полной амуниции». А он... хлопает глазами и не знает, как и ответить. Позвали его непосредственного начальника, ротного, лейтенанта Ковалёва разузнать, кто героя на пост выставил. А он – Василий, от удивления аж глаза округлил: «Да вы чего... Наши склады аж под Слаговищем, в десяти километрах, не менее, отсюда». Сам обращается к Харитону: «Тебя кто на пост-то назначил, а?» «Никак не знаю, товарищ лейтенант. Помню, как у танка башка отпрыгнула, а дальше...

А дальше, хоть ты тресни, ни хрена не помню». Вот так, видать, и наш Боборика. Видать, крепко перепугался. Шутка ли... Столетний тополь, что соломинку, расщепило молнией, а он – не более как в пяти метрах от него, и ни одной царапины или ожога. Пусть отоспится...

На цыпочках выходят из комнаты. Страшный ливень, дождь как из ведра продолжался часа полтора. Потом, несколько затихнув, перешёл на обыкновенный дождичек, затянувшийся чуть ли не до утра. На другой же день все до единого облачка растаяли, словно их и в помине не было, на всё небо ярко сверкало солнце, чирикали воробьи, наперебой орали сельские петухи. Проснувшаяся раньше меня сестрёнка, забежав в комнату, стала меня будить:

– Как можно столько спать! Вставай скорее... Пошли посмотреть наше дерево, которое вчера громом убило. Разломило, аж ужас, – округляет она свои глаза. – А у тебя, Вовка, когда ты вовремя убежал от молнии домой, от току все волосы на голове стояли дыбом и маленькие голубенькие шарики, меньше бусинок, сыпались из ушей. Честное слово, сама видела. А когда папа схватил тебя на руки, то вы оба так затрещали и засветились молниями, что просто ужас. Тётенька врачиха, та самая, которая над нами вчера разные опыты делала, с ней был ещё один дядечка с очками на глазах – сегодня чуть свет приходили. Сказали, что ничего страшного. А всё потому, как по секрету нашептал на ухо папе дядечка, что у тебя на ногах были мамины резиновые галоши, в которых ты без разрешения её бегал смотреть, как от ветра гнутся ветки рябины, а на Танькину бабушку сыплются сверху искры. Хоть он и говорил папе на ушко, я всё услышала, – с гордостью говорит сестрёнка. – А когда молния вдарила, ты молодец, не растерялся, выпрыгнул из расплавившихся галош и ну тикать во все лопатки. А так бы, как сказал дядька, запросто могло громом хлопнуть, как есть, превратился бы в электричество и улетел бы на небушко. А болото наше так затопило, – не умолкает Танька, – и ручеек так разлился, что превратился в настоящую египетскую речку Нил, ту самую, возле которой стоят, аж до самого неба, пирамиды, про которые нам придумывал сказки папа. И половина нашего огорода, где картошка, аж до самых маминых грядок тоже под водой. Теперь наш секрет сроду не сыскать. Ты знаешь, сколько туда ила и разных болотных кочек натаскало... Ужас! Бедная Каля... Теперь уж точно она навсегда утонула, захлебнулась и покрылась ржавчиной. Это в пустыне, где никогда не бывает дождичка, жарко и сухо, американский солидол действует. А у нас... Кто же сдюжит против болота...

– Нет, Танюша, – успокаиваю я её, а на самом деле себя, – богини и разные боженьки никогда не умирают, могут жить там, где им захочется,

даже на Урале. Она уже – далеко-далеко. И эта гроза, и этот дождь, и то, что молния воткнулась в дерево, а не в меня, вовсе не случайно, а придумано ею. А мамыны галоши здесь совсем ни при чём. Сам видел, как ещё вчера траурная ладья Амона Ра доставила её золотой саркофаг к одному из пустынных берегов Нила. Это мы с тобой приготовили её к погребению, умостили елеем и амброй, увили белоснежными пеленами.

– Где ты видел? – изумлённо таращится на меня сестрёнка. – Брось дурачиться... Маленьким детям совсем некрасиво разговаривать повзрослому, и мы с тобой не договорились так играть. Айда скорее на улицу посмотреть поломанный тополь.

10

И увидел я себя, как со стороны, совсем уже стареньким, а рядом сестрёнку увидел: махонькая, в цветастом застиранном платъице, голубеньких сандаликах на босую ножку, на пенёчке сидит, серьёзная вся такая, рассматривает картинки из новенького букваря.

– Она всё позабыла, – с грустью подумалось мне. – Скоро пойдёт в школу, сядет за одну парту со своим братиком, всю жизнь будет за него переживать, бестолкового, не пожелавшего расставаться с детством, так и не научившегося правильно распознавать по часам время и очевидности того факта, что минутная стрелка бежит в двенадцать раз быстрее часовой, хотя никак не быстрее отсчитываемого ею часа. Она запомнила и то, что не раз, как и я, была совсем-совсем старенькой, забыла сути того назидательного разговора, произошедшего в далёком прошлом, разговора, касающегося всех живущих и ныне к возвышению и славе своей. И увидел я себя, но уже глазами бабушки, голопузым мальчиком увидел, сидящим рядом с сестрёнкою на зернистом камушке, босоногим и с огромным квадратным напильником в руках, на поверхности которого насечено имя его. Тут же вспомнил сказанное самим же и некогда: «Всё быстротечно, всё проходящее». Что твои великие дела?.. Пыль и прах уносящейся в бесконечность дороги; суета сует и томление духа. Всех же быстротечней слава. Берегись силков шёлковых – пут радужных, ласкающих взор, алчущих славы». Не ею ли порождена лютая зависть – начало начал всякой вражды на земле. Закрой глаза, заткни воском плотно уши, стремительно беги от лести, лицемерия и лжи – сладких что мёд. Славопевцы греются в лучах золотого истукана, воспетого ими же. Там же и его хулители. Одно это племя, один народ горделивый. Хулящие имена великих – хулоу славу себе добывают. Высокомерие ума сродни высокомерию глупости.

Истая мудрость не ищет себе почитаний, не доказывает никому, как она мудра, ибо только ей дано осознать: «Из всего, что я познал, единственно верно и точно, что я ничего не знаю».

11

– Ой!.. Вовка! – испуганно таращится на меня сестрёнка. – Ты где так научился по-взрослому разговаривать?.. Разве дозволено такому маленькому быть таким взрослым?.. Вот расскажу папе, он даст тебе за это... Как в прошлый раз, когда ты у него из папиросницы украл целую папиросу, чтобы накуриться ею и сделаться дядькой.

– Не рассказывай... Не предавай меня, сестричка, – как можно жалобней тяну я, выползая из родительской кровати, – я больше никогда не буду говорить по-непонятному, как это делают все взрослые, когда играют в песочке и притворяются маленькими лялечками. Айда лучше смотреть тополь, который убила молния, потому что промахнулась в меня.

Глава 7. ПОПРЫГУНЧИКИ

1

Летом река обмелела, но не настолько, чтобы нам – коротышкам, можно было перейти её вброд, не опасаясь глубоких ям. По нашему твёрдому убеждению, они на то и вырывались водяной нечистью, дабы кого, оступившегося в эту западню, засосать и утащить в подводную берлогу на съедение. Подобные места среди деревенских назывались ещё воронками. Воронок мы с сестрой боялись жутким и мистическим страхом. И как тут не заробеть, когда даже от взрослых мужиков можно было порою услышать: «Потоп Гришка, сгинул... В самую воронку угодил... И ведь разве что тютельку токмо выпимши был... Засосала проклятая... Царствия ему небесного». С подвесного Чуванёвского моста в ясную и тёплую погоду особенно приятно наблюдать за еле зримым движением воды, прозрачной что стекло, когда всё дно до самого малюсенького камушка как на ладони, а самое главное, ни капельки не боязно. Сколькие речные водоросли – зелёные с краснобурыми прожилками, в силу малой глубины прижались к песчаному дну, густыми длинными прядями вытянулись вдоль по течению, походили на несметную стаю извивающихся змей. Именно в их колышущихся завесах нашли себе защиту и приют малюсенькие рыбёшки, гигантские речные мидии, больше похожие на плоские и удлинённые чёрные камни, голопузые пиявки. Серебристые чебачки и красноперые ёршики, объединившись в стайки, носятся, но не куда попало, а слаженно, словно

это не разрозненные рыбёшки, а единый организм, связанный между собою незримыми ниточками. То как один замрут, то вдруг, словно по команде вожатого, стремительно сорвутся с места, помчатся блестящею живою лентой, ловко маневрируя между густыми стеблями водорослей. И кажется с высоты моста, что это не стайка, а причудливая сказочная рыбина выделяет разные кренделя.

– Кто же ими вот так руководит? – вскипает в моей перегревшейся от солнца башке. – Не могут же они без всяких тренировок и репетиций вот так как одна производить столь дивные и слаженные движения... Ко всему этому, как говорил папа, они и разговаривать-то, как люди, не умеют. Открывают рты и только... А звуков и на капельку не издают. Сам проверял... К самому уху прижимал, когда Павел поймал сомика на накидку; даже не пискнул.

– Как ты думаешь, – спрашиваю у сестрёнки, которая всеми своими силами пытается раскачать мост, – у рыб есть уши?

– Чего-о-о? – тарачится она на меня...

– Уши есть у рыб? – громко ору я.

– У каких рыб? – опять не понимает она.

– У разных, – ещё громче кричу я, – даже у тех, что живут в море...

– Какие у них могут быть уши, если они все такие гладкие на голове, – с нескрываемым презрением смотрит она на меня. – Если бы у них – у рыб твоих – были бы уши, то они, уж наверное, как-то были бы заметны... И у кошек, и у собачек, и даже у маленьких мышек, не говоря уж об осликах, которых мы с тобой видели на картинке, вон какие видные... А у слона аж как лопухи, что растут за нашей баней вдоль забора; ещё больше... И у червяков с пиявками их тоже не бывает...

Слегка задумавшись, не без сомнения, продолжила:

– У червяков, кажется, и голов нету... Ни сзади, ни спереди... Сама рассматривала, нигде не видно... Ни голов, ни ушей, даже – ротиков.

– Как же они тогда кушают, если у них нет ни ртов, ни зубов, ни языков? – с изумлением спрашиваю я. – И куда они могут ползать, когда нету ни глазок, ни ушек и даже голов?

Дабы убедить сестру в её неправоте, начинаю прямо на ходу бессовестно врать, как Павел – старший двоюродный брат, сам рассказывал, что чуть не погиб от огромной пиявки на Шайтан-болоте, когда она ему вцепилась в солдатский кирзовый сапог и прогрызла дырку. Не схвати он её вовремя за хвост и со всего маху не ударь головою об берёзу, да так, что аж зубы повысыпались, она бы, уж точно, из жилочек всю кровушку успела бы высосать. А он бы и не заметил.

– Как бы это он не заметил? – испуганно озирается по сторонам Таня.

– А вот так, – ещё более завираю я, – у пиявок есть специальные слюнки, которыми они могут усыплять любую, даже самую сильную боль. Папа рассказывал... Как и у летучих вампиров, точно такие же... Если этими слюнками помазать где кожу, то запросто можно пилою пилить, ни чуточки не больно.

Для большей страсти округляю глаза, также озираюсь по сторонам, зловещим щёпоточком сообщаю сестрёнке, как однажды собственными глазами видел такого вампира на чердаке нашего дома, спрятавшегося за печною трубой, когда с папой лазал на крышу.

– Почему же ты немедленно не сказал об этом папе, – чуть ли не плачет сестра, – уж он бы наверняка изловил бы этого вампира?

Неожиданно, видно почувствовав, что я заливаю, идёт в наступление:

– Я вот всё папе расскажу, как ты врёшь... И даже про то, как рыбу в болоте утопил... Ту самую, которая поймалась на морду .

– Как она могла утопиться, – возмущаюсь я, – если запросто может плавать под водой, потому что настоящая? Ей на болоте, может быть, ещё лучше сделалось. Ты знаешь, сколько там комаров и разных червяков, которых они там любят кушать?

– Ага... Хитренький... – не сдаётся сестра, – а какová ей, бедняжке, без мамы и папы и без бабушки среди злобных пиявок и всяких противных жаб?.. Ты об этом хоть подумал...

– Ты чего! – нарочито возмущённо принимаюсь доказывать я. – Знаешь, сколько на нашем болоте водится разных рыб?.. Сам видел, – безбожно вру я. – У Валерика спроси, если не веришь. Он даже вчера хотел пойти туда на рыбалку; червяков накопал, уж и удочку с крючком приготовил, да мама с папою не пустили. Испугались, что ненароком хлябью засосёт. Там этих рыб... Так и плещутся, так и плещутся. Аж от густоты на бережок выскакивают, – ещё более завираю я.

– Ладно уж, – миролюбиво соглашается сестрёнка, – не будурассказывать про то, как ты рыбину для размножения утопил в нашем болоте. Айда купаться.

2

Кому неизвестно, что всякого, не наученного плавать, кроме как топориком, с непреодолимой силой влечёт побултыхаться и на глубине, где по горлышко, а то и с макушечкой, что уже само по себе – страх Божий, чреват самыми печальными последствиями. Что уж тут поделать... Безумен человек, испытывающий себя мужеством. Хоть и ведаёт себе явную угрозу, всё одно: была не была... Такова уж суть человек. Дети в этом отношении народ более мужественный, вернее

безрассудный, менее робкий, относительно старших своих товарищей, непонятно отчего повзрослевших, а следовательно, как принято сообщаться у вульгарноречивых – элемент крайне безбашенный. От своего безрассудства ли али от несмышлености ли своей, но и в огонь и в воду. А потому за ними глаз да глаз. Но!.. Это всё так взрослым кажется, позабывшим напрочь упоительные восторги детства своего, когда совершенно естественно желание летать, но никак не ползать. Умудрённые жизненным опытом (и что это за такой опыт боязни высоты?..), обжёгшись не раз и не два на банальном, дабы опять не попасть впросак, они, то есть эти так называемые взрослые, всё и вся подвергают тщательному сомнению, которое у них по-научному называется ещё анализом; внимательно смотрят под ноги, дабы не вступить куда не надо, реже в небо, где звёзды, ибо без контроля остаются ноги. Крепко памятуя о силах гравитации, а попросту – силах земного притяжения, открытых некогда господином Ньютоном, существующих от самых начал сотворений, взрослый мужик за просто так на берёзу в жисть не полезет; на тополь – тем паче. Уж слишком хлипкое и хрупкое это дерево – тополь, несмотря на видимую, казалось бы, крепость свою; чуть что... хряк... и напололам... Ему б... на яблоньку, грушу, абрикосину какую, к своей бы пользе, но... С лесеночки. И пальчиком в розетке электрической ковырять не станет. Но не из своего опыта не станет, что весьма понятно, а из чужого, то есть кем-то прочувствованного. Огромному количеству взрослых, представьте себе, и вовсе неведомо чувство, что значит, когда тебя долбануло током, когда синие искры из глаз и все до единой жилочки в теле – дыбом. А зря... Иногда от подобных случившихся неожиданных процедур, и таких случаев весьма достаточно, у индивидуумов (врачи называют их почему-то пострадавшими) открываются явно и зримо скрытые дотолле дары. Некоторое время оглушённый током или падением с берёзы обпенёк, наглотававшийся преддонных илистых вод, в общем – ушибленный разными способами ни о чём таком и не подозревает. С кем не бывает... Ходит задумчивый, коря себя: «Эк меня перекувыркнуло...» Одновременно радуясь: «Слава Богу!.. Не дождётесь...» Потом, спустя некоторое время, вдруг начинает примечать не за собой, а за другими, что некоторые граждане, а особенно гражданочки, идущие навстречу, стоящие ли в очереди за колбасой или чем другим, позволяют себе – чёрт знает что и даже боле этого... Ходить, а вернее, пребывать в общественном месте в столь откровенно прозрачном виде, когда – тьфу ты – срам один, который разве что допустим в бане или каком заграничном нудистском пляже; дозволительно ли вообще подобное в обществе, наделённом даже самой элементарной моралью?

– Что же это такое делается, дорогие товарищи? – холодеет душою ранее ушибленный гражданин. – Ни стыда тебе, ни совести... Как так можно!? И куда только смотрит милиция? А эта, – столбенеет он, – в одной шляпке и совсем без ничего... Какая возмутительность...

Далее ещё умопомрачительней. Неожиданно для себя обнаруживает, что и не всякие стены, сквозь которые, конечно же, ничегошеньки не только не видать, но и даже не слышать, если разве что не пробурировать в них какую дырочку, и они не помеха ясному зрению. Виданное ли это дело... В каждую ночь, помимо своей воли, наблюдать, как престарелая Неонила Адамовна Браввивут – соседка по квартире, вдовствующая девственница с сорокалетним стажем (в жизни можно столкнуться и не с таким) укладывает себя спать – зрелище, прямо надо сказать, не для слабонервных. Гражданину радоваться бы, прыгать от счастья, что именно на него выпал редкостный жребий – дар Божий быть ясновидящим... Однако... Смутившись духом, потеряв всякий покой, а самое главное, жизненный интерес к персонам противоположного пола, которые для всякого мужчины, пусть даже самого многоопытного, всё равно остаются не до конца разгаданными тайнами, гражданин, не без мятущихся сомнений, решается всё же поделиться кой с кем, инкогнито направляет свои стопы не куда-нибудь, скажем, в администрацию какого цирка, где уж наверняка можно найти и понимание, и сочувствие для подобного редкостного случая, так как артистов оригинального жанра в нашей стране чудес особенно любят, а, страшно подумать... к психиатру... Глупец! Как можно... Делиться самым сокровенным души своей с теми, кто в эту душу, существование её, бессмертие её и на самую малую толику не верит. Беги быстрее!.. Но уж поздно... Под душераздирающие вопли машины скорой помощи его определяют туда, где все такие же, – в специальную психоневрологическую больницу закрытого типа, с высоченным забором, решётками на окнах, грязными палатами, пропитанными насквозь хлорной известью, карболкой, мочою и неистребимым духом тухлой капусты – совершенно характерными запахами для подобных лечебных заведений. Вот ведь, к примеру, с какими последствиями может столкнуться законопослушный гражданин при неожиданной встрече с пеньком или булыжничком. Это когда с берёзы да вниз головой. Или... когда ненароком повстречался с шаровой молнией, а то и с неопознанным летающим объектом, с обыкновенной нашенской ведьмою, проживающей в деревне Дыдыкино Астраханской или какой иной губернии. И видеть зорко начинают, и слышать аж за версту, и сквозь стены – что раз плюнуть, и раздваиваться, и даже утраиваться, это когда Фигаро здесь – Фигаро там, а может, вообще ни здесь ни там. Уму непостижимо... Взять да дематериализоваться по собственному

хотению. Человеку, обретшему столь редкие дары, молчать бы да радоваться тихой сапою: дарёному коню кто в зубы-то смотрит? Нет же... Скачет по бездорожью что оглашенный, словно у него где скипидаром мазнули, усомнившись в своей среднестатистической психости. А почему? Да от неверия в себя прежде всего и, наоборот, полного доверия к тем, кто в этом сам мало чего смыслит, но не признаётся. Так и хочется спросить: «Куда ты несёшься, вылупив на лоб ясновидящие глаза свои?» Психиатр-то... Чем он тебе поможет, этот самый психиатр? Бери пример с детишек несмышлёных. Не носятся как угорелые, не округляют от изумлений на личиках глаз своих, ведут себя самым приличным и благоразумным образом. А ведь, почитай, поголовно и летать умеют, и с птичками разговаривать... И безошибочно отличать добро от зла, честное от лукавого, умное от глупого. Сам тому свидетель. Делиться же со взрослыми увиденным?.. Ну, знаете ли... Какому малышу с его врождённой и гениальной интуицией и в голову этакое придёт. Ведь мамы и папы, дедушки и бабушки, уж наверное, не оставят сего без внимания, обязательно обратятся к детскому психопатологу, а там... Считай, пропало... До тех пор будут ровнять под общий стандарт человеческой психости, пока нервы не сделают совсем крепкими, как железо, мозги же, наоборот, мягкими, податливыми и тестообразными, послушаемыми общепринятой педагогике. Предчувствуя всё это, малыш, набрав полный ротик слюнок, предпочитает оставаться самим собою, то есть – глупым идиотом, ни за какие посулы не соглашается идти со взрослыми на контакт, безмерно радуя последних своею несмышленостью – одним из важнейших показателей физического здоровья малыша.

3

Плавать ни я, ни моя сестрёнка Таня пока не умеем. Бултыхаемся на самой мели, строим из мокрого песка причудливые башенки, греемся на солнышке. На противоположном, довольно крутом берегу пасутся коровы, а вместе с ними, почему-то, бородатый пегий козёл и такого же раскраса конь стреноженный, а потому задумчивый и совсем невесёлый. Как казалось, наверное, ему очень желалось перебраться вброд к нам, но он никак не мог на то решиться, смотрел на бегущую перед собой его мордой воду, изредка раздувал свои бархатные ноздри, фыркал, свободной от пут ногою рыл землю. Со стороны колхозной фермы ветерок доносит запах свежего навоза и скошенной травы, звуки натужно работающего трактора, гулкие надтреснутые звоны, подобные тем, когда молотком ударяют по куску ржавого рельса. В колышущемся от жары воздухе видится, как четверо мужиков суетятся возле телеграфного столба,

который, почему-то, сильно скривился набок; при помощи проволоки, трактора и кувалды пытаются его выровнять, но что-то идёт не по-ихнему, при очередном рывке трактора деревянный столб совсем выкорчёвывается из земли, медленно валится, прямо на кабину тракториста, отчего последний выскакивает из машины как ошпаренный, отскакивает в сторону и, надо сказать, вовремя. Мужики хором и наперебой принимаются махать руками, пытаясь всю вину свалить на самого же тракториста – рыженького, щупленького и низкорослого, тот в свою очередь, несмотря на свой тщедушный вид, указывая на измятую кабину своего трактора, раздражается такой матерной бранью, что работяги начинают оробевать, недоумённо пожимать плечами, дескать: «А хрен его знает, отчего так неладно всё сделалось...».

Нам же с сестрою жутко интересно.

С обратного берега пацан – худющий и длинный, скомкав штаны и рубашку, в одних трусах, пытается перейти речку вброд. Медленно движется в нашу сторону, размахивает высоко поднятыми над головой руками, удерживая на весу одежду, пытается ещё и насвистывать. Несмотря на кажущееся слабое течение воды, чувствуется, что оно весьма достаточное, пацана то и дело начинает сносить правее, где гораздо глубже, разворачивать боком. Мы с интересом наблюдаем, как он резко накреняется то в одну, то в другую сторону, готовый вот-вот бултыхнуться вместе с одеждою, но этого не происходит; в последний момент невообразимыми усилиями хлопец выравнивается, отрывисто присвистнув, продолжает свой ход.

– Как ты думаешь, брякнется или не брякнется? – глубокомысленно задаётся сестра, прищуривая глаза от солнца, наблюдая, как уже на самой середине тот едва удержал равновесие и даже слегка задел по воде свисающей с руки штаниной.

– Думаю, – в тон ей тяну я, – что обязательно брякнется.

– А почему? – уже смеётся сестрёнка, представляя, как это может всё случиться наяву.

– Да потому... Надо было переходить чуть выше, где коровы переходят и где Саньки Непогодинова брат на своём грузовике с разгону одним духом перекатывается; там и мельче, и дно ровенькое, – солидно аргументирую я.

– А давай заспоримся... Давай заспоримся, – азартно предлагает Таня, – что не брякнется... Ему уже вон, чуть-чуть осталось... Видишь, как свистит от радости, что не замочил одежды.

– Нет, – упорствую я, – обязательно скувыркнётся, потому как чую. Вон... видишь тот камень, что боком торчит из воды, зелёный такой? Как есть, около самого этого места затонет.

– Как же он там может затонуть, когда возле этого камушка самый бережочек и воды по колено? – горячится сестра.

Тем временем совсем было выбравшийся на берег мальчишка, громко и фальшиво насвистывая, неожиданно, нелепо взмахнув руками, словно в прорубь окунается с головой, тут же поспешно и выныривает; ухватившись двумя руками за выступающий камень, вылупив от страха глаза, скоро выбирается на берег.

– Фу ты... леший... В самую воронку угодил.. От робости чуть не потоп совсем, – боязливо косится на то место, где вода изумрудно-зелёного цвета и почти без движения. – Никак, сомовая яма, – как бы оправдывается он за случившийся конфуз.

Кое-как отжав мокрые штаны и рубаху, натянув их на себя, боязливо озирнувшись на то место, где чуть было не потоп, размахивая руками, запыхавшись босыми ногами по изжаренной солнцем дороге в сторону Чуванёвской поляны.

– Вовка! – не без изумления тарашится на меня сестра. – Откудава ты вот так угадал? Неужели сам заколдовал? А вдруг... он взял бы да и совсем потоп... Знаешь, что бы тебе за это было?!

– Да ничего я не колдовал... Потому как совсем не умею. Если идти напрямько и никуда не сворачивать с нашего бережка, где мы с тобой греемся, вон к тому брёвнышку, что кривенько торчит из воды, возле мосточка, где тёточки половички выстирывают и лупят их вальками¹, то и мы с тобою запросто можем перейти на ту сторону.

– Ты чего, Вовка! Совсем, что ли, изнервничать меня вздумал, – повзрослому говорит Таня, упираясь руками в свои бока, как это иногда делает баба Даря, – там глубина даже не по горлышко, а с головкою. Как мы поплывём, когда совсем не умеем? Ведь потопнем...

– А зачем мне и думать, – говорю я, – если и без того знаю. А коли ты трусиха, то и не надо... Там глубже нашей головы совсем самую тютельную, да и то в середочке.

– А как же мы это самое твоё – немножечко – переплывём? – психует по-настоящему Танька. – Ведь затонем. Ты знаешь, что за это мама с папою нам сделают?.. В жизни потом купаться не отпустят. Забыл, как весной... Когда с Валеркой чуть не утонули... Дураки... Вздумали кататься на льдине... Потеряли всякую совесть и без спросу, как на плоту, поплыли вылупив глаза... А она... она вздыбилась и вас – дуралеев – сбросила со своей спины. Хорошо, что на не очень глубоком месте и папа вас успел быстренько вытянуть, потому что он очень смелый. Бедный

¹Валёк – плоский деревянный брусок с насечкой и с ручкой для выколачивания белья при полоскании.

папа... Он так из-за вас, идиотов, промок, что мама едва водкой отлечила. Ты думаешь, ему было легко тащить вас на себе в гору? Валерку на шее, а тебя – обормота – на руках... Вы пропитались насквозь водою и стали тяжёлыми аж ужас. А у папы валенки мокрые... А если бы наш папочка не оказался случайно рядом... Дядя Саввотя говорил, что ему сам Боженка шепнул на ухо – иначе бы тебя с Валеркой уж давно бы не было на белом светушке.

– Как это – нигде бы не было? – тарасу глаза я. – Куда бы это мы подевались-то?..

– А вот так... Утопили бы навсегда, – почти торжествует сестрёнка, всем своим видом показывая, что может случиться с такими неслухами, как я и Валерик. – А после этого, как сказала баба Гаша, у которой давным-давно сыночек в речке утонул, наверное, улетели бы на небушко, потому как ещё маленькие. Забыл, что ли, как папа нас учил?.. Достаточно глубины воды всего лишь на одну ладошечку выше носа – это для тех, кто совсем не умеет держаться на воде, – как, считай, можно захлебнуться насмерть.

– А что, – недоумённо протестую я, – разве нельзя подпрыгнуть?

– Куда подпрыгнуть? Зачем? – кривит рожицу сестрёнка. – Разве глубина оттого уменьшится?

– Не на месте прыгать, – психую я на непонятливость сестры, – а вперёд или куда в бок. Двигаться так... Оттолкнулся ножками от дна и вынырнул... Вдохнул воздуха побольше – и опять на дно. И так до тех пор, пока это глубокое место не перескачешь. Самое главное, – с видом знатока начинаю учить я, – вовремя успеть воздуха глотнуть; а там, где очень глубоко, пошибче отпрыгнуть от дна.

Мои логические доводы настолько оказались убедительными, а по-другому – заразными, не только для сестрёнки, но и для самого себя, совершенно не имеющего подобного опыта, что, не мешкая, мы решились испытать всё это на практике, перепрыгать речку вброд, показать боязливому коню, как это по-правильному надо делать.

– Вовка! – всё же опасается Таня. – А вдруг скакнём да прямо в яму?

– Ну и что... – нарочито беспечно ухмыляюсь я. – Ты знаешь, на сколько одного вдоха хватает, чтобы совсем не дышать?

К доказательству окунаю голову в воду, что есть мочи начинаю терпеть. Когда терпение кончается совсем, с шумом выныриваю, ору:

– Вот видишь! За это время можно, даже и не прыгая, перейти речку по дну аж до самого берега.

Конь с неподдельным вниманием смотрит на меня, рядом стоящий козёл перестаёт щипать травку.



– А воронка в этом месте никогда не бывает, – убедительно говорю я. – Водяные любят их устраивать, где всякие коряги и густые водоросли, как у нашей плотины. Попробуй-ка их углядеть из-за бурливости воды... Знаешь, сколько там разных людей уж потопло?

– Сколько утопилось, я не знаю, – серьёзно говорит Таня, – но мама сказала, что это всё по причине какого-то зелёного змия.

– Вот, вот... – подхватываю я, – он и есть самый закадычный дружок и Водяного, и Кикиморы Болотной. Хватает своим хвостом, свивает и запикивает в секретную воронку, чтобы загрызть.

Таня испуганно тарачит на воду глазки, принимается озираться по сторонам. Но безрассудный азарт берёт верх. Медленно, почти торжественно заходим в воду.

– Чтобы не сбиться с пути, – учу я сестрёнку, – надо всё время держаться вон того кривенького столбика. Я первый, а ты за мной.

– А почему это ты первый? – неожиданно протестует сестра. – Ишь, хитренький нашёлся...

– Как почему? Разве не я придумал первым?.. Всегда так бывает... Кто первым придумывает, тот и испытывает и рискует.

– Ага, хитренький, – не соглашается Танька, – ты быстренько упрыгаешь от меня и не увидишь... А вдруг я возьму да затону?..

Решено было перепрыгивать речку, стоя рядышком и одновременно. Медленно, взявшись за руки, движемся всё дальше и дальше. Чувствуется, как упругие струйки воды плавно обтекают тело, тонюсенькие ленточки водорослей, словно змейки, обвивают ноги, пытаются сдерживать ход, живыми изумрудными прядками выются по песчаному дну. Вода медленно пребывает. Вот её уже по самое горлышко, вот – до подбородка. Словно гуси, вытягиваем шеи, инстинктивно приподнимаемся на цыпочки. Посмотрев друг другу в глаза, набираем полную грудь воздуха и одновременно, оттолкнувшись ногами о дно, что есть сил прыгаем вперёд. Чувствую, как ухожу под воду с головой, тут же касаюсь пятками песка, с невероятной прытью, подобно пружине, выныриваю, чуть ли не на половину своего тела, как бы в остановившемся кадре вижу свою единоутробную сестричку, всю в хрустальных брызгах воды, с широко открытыми глазами, готовую вот-вот вообще оторваться от воды и взлететь в небо, как это делают дикие утки на Шайтан-озере.

– Ура-а-а! – орём мы как сумасшедшие, благополучно выбравшись на другой берег. – Получилось!

Как я и предполагал, глубоко было только на самой середине речки, дальше же можно было и совсем не прыгать: загребай себе ручками да держи голову повыше. Но это ли самое главное?.. Главное – то, что мы одержали над собою величайшую победу, доказав, кажется, совершенно недоказуемое, что выше своего роста всё же можно прыгнуть и что водная преграда для существа сухопутного, никак не умеющего плавать, не есть препятствие совершенно непреодолимое. Эврика!

Глава 8. НИЧЕЙНЫЙ ПЁС РЕКС, БРОНЬКА ГЛЕБОВИЧ. КРОВАВАЯ ИСТОРИЯ

У псины были грустные жёлтые глаза. Обитал он на территории детского садика, хозяев не имел, а значит – был ничейным. Ничейные собаки, кошки и даже лошади потому так называются, что никому не принадлежат. Они сами по себе; каждый, кому не лень, без всяких юридических доказательств может заявить на них свои имущественные права, привязав верёвку за шею, привести домой, по своему полному праву шепнуть на ушко: «Если будешь плохо служить... выгоню, как собаку... А то и вообще приблюю». А потому... бездомное четвероногое существо, которое бредёт по улице само по себе, как ни парадоксально, принадлежит всем. И это очевидный факт, с которым трудно не согласиться. Ничейных собак, как правило, считают беспородными, обзывают выродками, ублюдками, забулдыгами и ещё – «чёрт знает что». Да, да... Именно – чёрт знает что. Идёт, значит, по улице этакий эстет – специалист

собачий, на поводке благородных кровей борзую ведёт, глядь, а на их пути сущее недоразумение природы – лахудра этакая – вислозадая, с вывернутыми наружу лапами и непропорционально большою головой, но с найдобрейшим выражением морды. Что, вы думаете, скажет этот самый знаток в адрес коллективнопородного создания? Ну конечно же – чёрт знает что – скажет. А ещё с досады и на дорогу плюнет, словно она его без повода обгавкала или как по-другому оскорбила, наступила, скажем, грязной лапой на лакированный башмак. Рекс – так звали детсадовского пса, как раз и принадлежал к таким индивидуумам, то есть – чёрт знает что. Добрейшее создание, как и все крупные беспородные собаки, он позволял не только трепать себя за уши и холку, но и за обвисшие щеки, усы и даже... Какой ужас!.. За кончик носа, что, наверное, собакам не очень нравится, а по правде, так и совсем не нравится. Но именно такие, ради внимания к ним, готовы терпеть всевозможные издевательства от малышни: подставлять левую щёку, когда уже оттопырили правую, подавать правую лапу, хотя, вот только что, наступили на левую. Не верьте байкам собаководов – эстетам собачьим, которые, и это не секрет, по своему мифотворчеству ближе всех крыбакам и охотникам, что таклюбят по случаю и даже без случая прихвастнуть относительно исключительной разумности их чистокровных и благородных созданий, которые ну разве что не говорят на человеческом языке, а гавкают, хотя, ей-богу, понимают всё, до единого словечка. Врут! Ни одна благороднейшая псина, бытующая на одинаковых правах вместе с хозяином в его квартире, и в подмётки не сравнится по сообразительности с бездомным псом. И это вовсе никакие не преувеличения. Для большей достоверности признаюсь, но по секрету, что и сам некогда, пусть и в иных предсуществованиях, имел быть удостоенным чести называться собакою – вольным и бездомным псом по имени Барбос. А потому предмет моих суждений не может быть признан голословным – этакой фантазией пылкого ума... Знаю, о чём говорю. Дворовый бродяга, наученный самою жизнью, с бульдогом или всякими там спаниелями и терьерами не то что в шахматы... А и в домино-то не сядет играть. Из интеллектуальных соображений не сядет, из принципиального принципа; насколько сей благородный род малосообразителен и неинтересен. К примеру... Придёт ли какому человеку в голову резаться в карты с обезьяною? Да ни в жисть... А по приспособляемости... Выгони, скажем, этих благородных питомцев из их благоустроенных жилищ да на слякотную улицу с её помойками, злющими работниками особого коммунального отдела – живодёрами, стаями обезумевших авто, с воплями проносящихся вдоль тротуаров туда-сюда, ведь, как есть, пропадут. А потому... Самое разумное

существо на земле после человека, смотря ещё какого, уж конечно же, не людям подобные обезьяны, как это общепринято с времен господина Чарльза Дарвина, а самые что ни на есть дворовые жучки, барбосы да полканы. Ничейный Рекс, хоть и считался детсадовским, на самом же деле проживал Бог его знает где, то ли на Кунаре, а может, на Белой Глинке, встретить его можно было и на лесопильном заводике немца Раупфа, и на крылечке сельмага, и даже в просмотрном зале кино, куда он попадал без всякого билета, прошмыгнув незамеченным из-за широкой спины дядечки, замешкавшегося, роющегося в карманах в поисках куда-то запропастившегося билетика. В летнее же время, исключительно из любви к детям, большую часть своего времени проводил на территории нашего садика, куда мы с сестрою ходили уже в старшую группу, был снисходителен и даже любезен ко всем, кто проявлял к нему хоть какое-то внимание, не сердился даже на тех баловников, что пытались проехать на нём, как на коняшке. Рекса я любил искренне и по-честному делился с ним сахаром и хлебом, и даже печеньем, которое ему нравилось особенно. А однажды позволил откусить от котлетки, хотя и сам их очень люблю, но он не рассчитал и проглотил её целиком.

– Вовка! – истерично визжит повариха баба Вера. – Бисов сын... Кто ж это с кобелиною в очерёдку ист?..

– Галя! – обращается она к нашей молоденькой воспитательнице, указывая на меня концом деревянной скалки. – Подивись ты на этого хвокусника... Сначала сам грызёт от горбушки, а после собаке... Сам кусанёт – и снова псине. Да гди ж то видано... А потом дохтора ещё и дивятся, откуда у них глисты энти заводятся. Да вот же, – опять тыкает в мою сторону скалкою.

Отдав приличный кусок хлеба на съедение Рексу, делаю ноги, прячусь с задней стороны веранды в густых лопухах репейника. Из своего тайного убежища сквозь ажурный переплёт стены, выполненный из деревянных реек, густо окрашенных в разные цвета масляными красками, мне видится всё, меня же, где я, определить совершенно невозможно.

– Бронька! – нарочито толстым голосом кричу я Броньке Глебович, которая совсем непонятно почему мне нравится, отчего её хочется дёрнуть за косички или сделать нечто такое, что бы её удивило.

– Ну. Чего тебе надо, Вовка? – сразу откликается она, узнав по голосу. – Разве не видишь, что я учусь прыгать на скакалке задом наперёд. Думаешь, что это так запросто? Попробовал бы... Мальчишки – дураки, и по-простому-то скакать не умеют, через раз запинаются.

Пытаясь определить место моего местонахождения, озирается по сторонам, пучит и без того круглые свои глаза и тут же запинается.

– Подумаешь... – нарочито презрительно кривлюсь я, неожиданно представившись всем своим видом, словно фокусник, на открытой веранде, – если захочу, то не только задом, а и боком покажу, как надо по-правильному прыгать.

Бронька поправляет на голове свою панамку, смотрит на меня внимательно, пытается как-то удостовериться, вру я или действительно умею вот так. По её озадаченному выражению личика видно, что такой способ прыганья на скакалке ей неизвестен и что это её сильно заинтересовало; захотелось убедиться в том сейчас же и немедленно.

– А как это – боком? – спрашивает она, протягивая мне свою верёвочку.

Прыгать таким чудным способом я, конечно же, не умею, признаться, что наврал – не позволяет гордость.

– Запросто! – ещё более завираюсь я, с презрением профессионала рассматривая спортивный инвентарь – разлохмаченную по концам верёвку. – Могу и в одну сторону боком, и в другую, и даже под два маха на один прыжок.

Бронька ещё сильнее выпучивает глаза, косится на худенькую, что тросточка, Оксанку Зарифову – непревзойдённую затейницу, которая каких только выкрутасов на этой прыгалке выделывать не умеет, потом опять на меня. И тут, что называется, меня окончательно понесло. Поймав идиотский кураж, начинаю вымышлять – чёрт знает чего, уму непостижимое.

– А хочешь, – нагло заявляю я, глядя прямо в её глаза, – так и совсем улететь смогу. Вот возьму прямо сейчас и улечу с помощью скакалки, как настоящий самолёт... Жаль, что верёвка не очень... Самое главное – раскрутить пошибче против ветра, а дальше... лети себе куда пожелаешься. Хоть и девчонкам и в жизни так не смочь, могу по секрету научить и вас, – безбожно завираю я. А Оксанке – так и совсем это запросто. Она, – оценивающе гляжу я на неё, – вон какая легковесная; наш гусь Стёпка и то, наверное, больше весит.

Распоясовшись, ловко взбегаю на крутую деревянную горку, выполненную из грубых и шершавых еловых досок, предназначенную исключительно для зимнего времени, когда её делали ледяной – гладкой и скользкой, и когда с её вершины можно было совсем безопасно скатываться прямо на штанишках. Встав на её вершине, принимаюсь медленно, подобно самолётному пропеллеру, крутить перед собою верёвку, всё более и более убыстряя её ход. Раздаётся лёгкое жужжание, похожее на то, как летит шмель, верёвочка сливается в сплошной мерцающий круг; Бронька, не отрываясь, с тревогой, с восхищением смотрит на меня снизу, чувствуется, что она уже почти поверила в мою способность



летать и что я вот сейчас оторвусь и действительно, подобно человеку-самолёту, стремительно унесусь в облачную синь. Самое же потрясающее, её уверенность как-то передаётся мне, стремительным потоком растекается по жилам, делая тело всё более и более невесомым; и я, почти уже школьник, отчаянно машущий с вершины деревянной горки обыкновенной верёвочкой, без всяких сомнений чувствую, что вот ещё чуть-чуть, ещё самую малость – и ноги мои оторвутся от земли, я полечу просто и весело, подобно птице, лёгкой тенью пронесусь над серебряистой гладью Пышмы, а потом... а потом приземлюсь на вершине самого большого тополя в нашем селе, произрастающего на Красной Горке, что выше даже самого храма; вот все удивятся-то... Последним усилием, сжавшись в тугую пружину, словно из катапульты, выстреливаю своё тело вверх, туда, где вольный ветер и белые, как снег, облака. На доли секунды безумная радость охватывает всё естество, каждую, даже самую маленькую клеточку организма: «Лечу! Получилось!» Страшный удар о наклонную плоскость горки, глухой гул досок; со спутанной верёвочкой в зажатом кулачке качусь на попке по грубой, что наждак, поверхности навстречу к Броньке Глебович – девочке, первой своей любви.

– Вовка! – восхищённо кричит она, округлив до предела свои тёмные, что ночь, глаза. – У тебя из попки сбоку вон такая щепка торчит! Честное слово... И кровь по ноге вытекает... Это, наверное, оттого, что ты насквозь прохудился. Вот тебе теперь воспитательница даст... А врачиха ещё и укол поставит болючий. А Оксанка от страха аж убежала... Увидела, как ты с неба брякнулся, потому что перестал пропеллером крутить, так и кинулась тикать во все лопатки в группу.

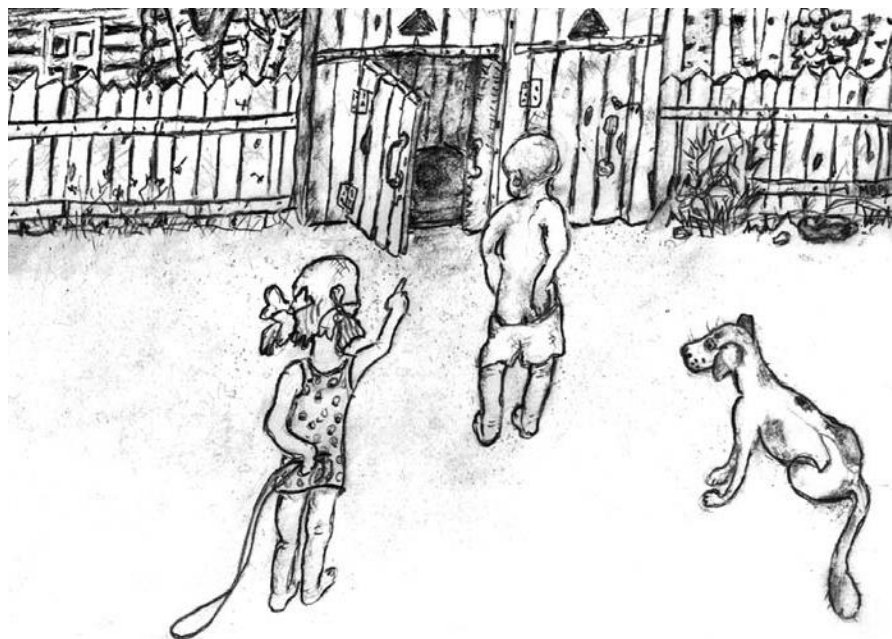
– Бронька! – чуть не плачу я, нащупывая пальчиком воткнувшуюся в попку щепку толщиной не менее как карандаш. – Не говори никому... Знаешь, как меня поставят в угол...

Подбежавший на выручку Рекс принимается тоненько поскуливать, озабоченно тыкаться мордой, пытается лизнуть в лицо. Броньку, которая уж было побежала в группу, чтобы позвать воспитательницу, хватает зубами за платице, не пускает, тащит в мою сторону.

– Что ты пристаёшь, Рекс, – психует на него она, – некогда сейчас мне с тобою играть... Разве ты не видишь, какая у Вовки щепка из попки торчит? И кровушка... И вовсе я не убегаю и не бросаю его одного в беде, как предательница, а хочу позвать на помощь...

– Бронька! Не надо мне никакой помощи, не бегай, – молю её я.

Крепко схватив щепку двумя пальчиками, пытаюсь выдернуть, но она, пропитанная кровью, выскользывает, а затем и вообще с хрустом отламывается чуть не под самый корешок.



Пропал... – обжигает страшная догадка, – вот теперь уж точно самому никак не вытянуть. Вспоминаю папу, когда он рассказывал, как врач вытаскивал из его ноги осколок от немецкой мины, который едва-едва выступал, а потому, чтобы его извлечь, пришлось резать по живой ране. Только от одного этого представления искры из моих глаз так и посыпались.

– Броня, – шепчу я, – она у меня под корешок обломилась, чуть-чуть выступает.

– Зачем же ты её, Вовка, обломал? Как она теперь вытащится, если её не за что и схватить? Надо было не расшатывать туда-сюда, а аккуратненько вытягивать в одну сторону или меня попросить. Дай посмотрю, – требует она властным голосом.

– А вдруг кто подсмострит, Броня?.. Ведь дразниться будут, смеяться, потому как я мальчик, а ты девчонка, стыдно же...

– Дурак! – по-настоящему нервирруется она. – Беги поскорее в уборную, пока никого рядышком не видеть.

– Рекс! – обращается она к нашему общему другу, – стой возле двери и сторожи... Никого не пускай, даже директоршу – Антонину Витальевну. Если что, рычи... Понял?..

По всей видимости, Рекс действительно понимал по-человечески, так как тут же затрусил в сторону детсадовской летней уборной – такого традиционного деревянного сельского нужника с косо пристроенной крышей, чуть ли не до самого верху кишашего детскими глистами, столбиком сел около единственного входа.

– Молодец, Рекс... А ты, Вовка, не хнычь. Её – твою занозу, просто так не выковырять, не зацепиться, скользкая от кровушки. Кто тебя просил её ломать... Подожди, я её сейчас; придумала... Попробую зубами... Задрал вверх труссы, крепко прижимается лицом, ухватывается зубками за самый краешек деревянного пенька, медленно тянет на себя. – Есть! – восторженно вопит она. – Всю до самой капельки вытащила.. Ого! Какая длиннющая и толстенная... Скажи спасибо, что эта заноза воткнулась тебе в попку... Если бы в сердце, то уж точно оно от страха из груди выскочило бы. Мама так говорила, когда наш Сталик наступил босой ножкой на серп, который она сама же и позабыла на огороде. Так папе и сказала, что чуть не померла от страха и сердце из груди чуть не выпрыгнуло, как увидела... Вот и меня сейчас. Ты думаешь, легко такие занозы добывать?..

За дверью зарычал Рекс.

– Молодец Рекс, – в полголоса комментирует Бронька, зыряя в щелочку, – это он Веньку Субботина так нагнал. Вон как кинулся тикать от страха-го. Трусишка.

– Вовка! – смотрит озабоченно на меня Бронька. – Ты потерпи ещё малость, а я сбегаю и поищу, чем тебе дырку от щепки заткнуть поплотнее, иначе из тебя вся кровушка может кончиться.

Выбегает, но почти тут же возвращается с несколькими крупными листиками подорожника.

– Вот... И искать не пришлось... Его за нашей уборной ужас как много; есть ещё и одуванчики – тоже полезные, только они страсть какие горькие-прегорькие.

Тщательно прожевав один, полученной зелёной кашицей замазывает рану, или, как выразилась она – дырку, поплевав на другой лист, приклеивает сверху.

– Подожди ещё... – приносит полную ладошку мягкой дорожной пыли – тонкой, что цемент, припудривает сверху, хлопая ладошечкой, всё это притрамбовывает.

– Эх, – сетует она, – если бы вместо пыли была бы толчённая в ступке сахарная пудра, то в сто раз быстрее бы зажило. Хотя и земля-магушка – бабушка сказала – очень хорошее средство.

– Всё! – горланит на всю уборную довольная Бронька. – Совсем перестала вытекать. Прижмётся трусиками, никто и в жизни не узнает, что ты деревянной пулею ранен в попку. Пойдём умываться... Я знаю, где протекает лужа с самой чистой на свете водой; из неё Рекс лакает. Очень вкусная вода, я сама пробовала. А у тебя вся нога испачкалась в крови.

– И у тебя, Броня, – благодарственно тяну я, – и щёчки, и носик, и подбородок в моей кровушке...

– Пойдём побыстрее, Вовка, – спешит Бронька, – а то, если воспитательница увидит нас такими, подумает, что это я тебя загрызла.

Вдоль забора, левее столовой, тянется довольно глубокая, никогда не пересыхающая лужа. Это потому, говорил конюх дядя Саша, что сверху, где начинается березняк, откуда-то пробиваются родниковые воды. Тщательно отмывшись, довольные и счастливые возвращаемся в группу.

– Вовка! – с любопытством спрашивает Бронька. – А кто тебя научил вот так летать? Честное слово, я думала... Мы с Оксанкой думали, что ты совсем улетишь... А ты возьми да и выключи свой пропеллер... Это ты специально хотел нас так удивить, показать своё геройство? Разве можно так рисковать...

Со стороны летней веранды слышно, как Анна Андреевна – старшая наша воспиталка, громко кому-то жалуется:

– Да никогда такого не было... И не припомню, чтобы наш да Рекс на кого из детей не то что злобно зарычал, а и голос-то подал. А тут... На тебе... Сел у дверей детской уборной, рычит и никого не подпускает. Может, заболел так?.. А Ванечку Субботина так и вообще чуть до смерти не напугал... Уж он-то, Фаддей Иванович, – с твёрдостью в голосе говорит она, – никогда врать не будет, не таков этот хлопец. Меня, – говорит Анна Андреевна, – Рекс хотел съесть. Едва-едва убежал. Пойдёмте, Фаддей Иванович, посмотрим... Одной-то боязно... Вдруг да как не сбесился...

– Да где ж это он взбесился, Анна Андреевна, – звучит тоненько голосок нашего баяниста, – скажете тоже... Вон... Как ни в чём не бывало возле кухни пасётся... Хоть часы сверяй по нему... Чует своё дело шельмец. Хоть и невесть какой породы, но всё равно добрая и умнейшая псина. Играю давеча на баяне польку-бабочку, а он сидит и слушает. И вот ведь что замечательно, Анна Андреевна, так по морде видно, ему это нравится, что и слов нету выразиться. Не то что некоторые... С месяц тому назад... Свадьбу играли у Пряхиных... Так вот... Чёрт поптал... Всего лишь на одну ночь оставил инструмент без футляра в

ихнем чулане; сами понимаете, когда выпимши... Мыша – зловредная животная, возьми да по самой оборке меха дырку и прогрызи... Музыка, можно сказать, попортила. А этот... «Эка беда, – ногою от нервозности даже шаркнул, – возьми картофельного клейстеру да приладь на дырку каку заплату – вот тебе и весь ремонт, и вся реставрация».

– А кто это этот? – живо интересуется воспитательница.

– Да кто ж, как не Степан Лидкин, главный сельсоветский бухгалтер. Я к нему с самыми серьёзными намерениями... Не с личным, а казённым делом, по поводу вопроса о реставрации, то есть приведения баяна в надлежащий художественный вид, так как музыкант и сию на окладе, а потому имею полное право... Ведь любой настоящий мастер... меньше четвертной бумаги – и не подходи... Да что там говорить... Жадобина... Разве такие способны что понимать в музыках? Пёс, и тот сообразительней...

– Но, но, – понижает тон до таинственного шепота Анна Андреевна, – вы бы, Фаддей Иванович, поостереглись бы вот так громко-то. Сами ведь понимаете, как могут всё перевернуть.

– Видишь, Вовка! Какой умный у нас Рекс, – с гордостью говорит Бронька. – И ты... – Как-то необычно смотрит на меня, но замолкает.

Чувствуется, что, несмотря на всё, внутри её что-то томит. Так и есть.

– Знаешь что, – с любопытством смотрит мне в глаза, – если бы верёвка, которой ты крутил, сейчас вспомнила, не зацепилась за край перильца, то ты точно бы улетел. Это сначала думала, что ты всё так наврал. Когда же увидела, как твои ноги от земли стали медленно отделяться, глазам своим не поверила. А Оксанка аж зажмурилась от страсти такой. Оказывается, всё не понарошку, а по-взаправдышному. Когда твоя попка заживёт, научишь меня вот так?.. И как верёвочку крутить боком... Научишь?..

– Бронька! – с изумлением спрашиваю я. – Тебе же всё хорошо было видно снизу? А на как много взлетел я к небушке? Небось, на самую маленькую тютелечку?..

– Да ты чего, Вовка! – смотрит с нескрываемым восторгом на меня Бронька Глебович, девочка моей первой любви, – скажи ещё спасибо, что попкой ударился, а не ногами или головой. С такой-то верхотуры, как есть, ноги бы поотламывались бы насовсем; в жизни о шершавую доску не затормозился бы, если бы не заноза.

– Бронька! – с восхищением смотрю я на неё. – Это благодаря только тебе я научился вот так летать.

Глава 9. ТРАКТОР

1

Как изготовить своими руками деревянный трактор, научил меня муж сестры моей мамы дядя Саввотя – Саввотей Павлович. И было мне, дай Бог памяти, никак не более годиков четырёх, а может, и того менее. Представьте себе: деревянный заводной трактор с зубчатыми колёсами, ползущий по пересечённой местности, преодолевающий различные препятствия, волокущий за собою на канате-ниточке пустую коробочку из-под спичек, натужно ревуший мотором, звуки которого издаются собственными же губами: «Трын-н-ты-ды-ды-ды... Трын-н-ты-ды-ды-ды...». Ну не чудо ли это?.. Несмотря на то что до единой детали он выполнен собственными руками и без единой подсказки со стороны взрослых, всё равно представляется моим воображением сказочным живым существом,двигающимся по своему усмотрению туда, куда ему и только ему пожелается. Эта великолепная самодвижущаяся игрушка поистине пробудила во мне то, что называется творчеством, подлинно явилась «визитной карточкой» моего предалёкого детства, способствовала сохранению в памяти многого из того, что наверняка бы уж позабылось бы, кануло в Лету в силу своей малой значимости. Хотя... Кто знает, что есть – «это» – самое главное в нашей жизни, а что есть из «этого» – второстепенным? Где мы поистине зрячие, а где – слепые? Не с этой ли незатейливой игрушки начало зарождения любви моей ко всему остальному – удивительному и разнообразному, неповторяющемуся до бесконечности – любви моей к искусству?.. А почему бы и нет? Всё может быть. Мне и сейчас нравится её мастерить, но уже внукам – Софии, Вовчику, Лилиане. И вообще... Возможно ли найти восхитительней по звучанию дудочки, которую придумал сам, выполнил собственными руками, пусть и из кривенького стволика бузинового дерева? Горделиво названное тобою флейтой, сие музыкальное орудие с тремя голосовыми дырочками кажется самим совершенством. Творец!.. И ныне... Не одна из современных игрушек, таких высокотехнологичных, напичканных электроникой, говорящих, прыгающих и даже летающих, и в пыль не сравнится с моим самодельным живым трактором. И кажется бы... Чего в нём этакого? Обыкновенная точеная берёзовая катушка из-под ниток, конструктивно неизменная уж точно лет как сто пятьдесят–двести, малюсенький кусочек хозяйственного мыльца, воска или стеариновой свечи, резиночка, пусть даже от трусов, и... И всё! Да, чуть не забыл – половинка серной спички и тонюсенький прутик от веника длиной не более пяти-шести сантиметров.



– Смотри, Вова... Самое первое в этом деле – не спешить, быть аккуратным и усидчивым, – учит дядя Саввотя, пододвигая меня вместе со стулом вплотную к кухонному столу, застеленному цветастой клеёнкой. – От начала по обеим кругляшкам катушечки необходимо сообразить маленькие зубчики, как у настоящего трактора, которые на гусеницах. Без них и машина-то не машина; буксовать будет и на малюсенькую горку не поднимется. Вот, видишь... – маленьким острым лезвием перочинного ножичка нарезает ровненькие зубчики в виде треугольничков. – Можно и трёхгранным напильничком, – говорит мне, – для тебя гораздо безопаснее. Мало ли чего... Ножичком-то без опытности, зараз, можно пальчик отчекрыжить. Напильничком же... Катушечка совсем нетвёрдая, податливая, из берёзы... Невелики труды... А у тебя... вон уж какие мускулы... Гораздо каменистее, чем у Валерика, хоть он и старше. Того и гляди, Вовка, – смеётся, – рукава на рубахе полопаются, что будем тогда делать?..

С ровненько нарезанными по обеим сторонам зубчиками катушка видоизменяется, перестаёт походить на саму себя, по гладкой поверхности клеёнки катится с лёгким зуканьем, похожа на часовое колёсико от будильника, который я, с разрешения папы, раскурочил при помощи щипчиков и большой отвёртки.

– А ну-ка, – говорит дядя Саввотя, – сбегай по-быстренькому, принеси, где умывальник, мыло, без него нам никак не обойтись.

Ножичком отрезает от него небольшой кусочек, обделяет его в виде таблетки, в центре пробуравливает кончиком лезвия дырочку.

– Всё, Вова, считай, что наш трактор почти готов.

Связанную колечком тоненькую резиночку протаскивает сквозь катушку, фиксирует кусочком спички, другой конец – с помощью нитки, через отверстие в мыльце. Слегка натянув, ловко вдвевает в петельку тоненький прутик от веника.

– Без этой палочки, – объясняет мне, – трактор никак и с места не стронется. Вот ведь как бывает... Кажется бы... Никчёмнейшая штуковинка – палочка размером в две спички, а вот поди ж ты... Никак без неё весь механизм работать не приспособлен. И так во всём. Возьми, к примеру, человека... Малюсенькая ерундовинка, сопли, скажем, в носу не удерживаются – текут самопроизвольно... И всё... Скис человек, и работать уж не может по причине бог знает отчего случившегося насморка и бесконечных чиханий своих. Давеча, никак с месяц уж назад, дядя Кузьма свалился со сруба, вдарился рёбрами о торчащее бревно, так, почитай, целную неделю дышать не мог. А на рентгене... На фотографии этой поломка самая что ни на есть несерьёзнейшая, трещинка на ребре

тоньше ниточки. Вот ведь как бывает. Самое главное, умей вникать в тонкости, – учит дядя Саввотя, – мыло, которое мы вырезали кружочком, никак не должно быть больше бокового колёсика катушки, чтобы не выпячивалось за его пределы, иначе точно будет мешать ходу, а палочка – ею мы трактор заводим, никак не должна быть ни длинной, ни короткой. В самый раз должна быть заводилка... И от мыла многое зависит. Пересушенное и слишком хрупкое совсем не годится в дело, как и больно мягкое. Мотай на ус. Более занятой игрушки, скажу я тебе, так и вообще не придумать. Хоть и простенько, да дороголюбю. Вот смотри, Вова, – накручивает прутиком резиночку, устанавливает трактор на домотканый половичок тёти Клары – весь полосатенький, похожий на разноцветную зебру – и отпускает.

Словно слегка задумавшись, он неподвижно стоит на месте, но вдруг оживает, подобно шлагбауму, медленно поднимает ввысь свою палочку, делает по оси ею полный оборот, и вот он уже, не спеша, как следует настоящему трактору, ползёт по цветастой ремковой дорожке, как по цветущему летнему лугу, подрагивает заводным прутиком, так похожим на мышинный хвостик, и даже, как мне кажется, по-настоящему гудит мотором.

– Едет! – не своим голосом ору я. – По-настоящему едет!

Дабы проверить ходовые качества двигателя машины, устраиваю на половичке поперечные и продольные волны, по пути движения возвожу кучку из спичек, смятых в комочек бумажек, подобно шпалам укладываю карандаши. Совершенно реально слышу, как он натужно гудит, вползает на бугор, стремительно несётся с него вниз, едва не переворачивается, столкнувшись с завалом из спичек, но, быстро справившись, неожиданно левым колесом наезжает на скомканную промокашку, поднимается на дыбы, удерживая весь свой вес на самом кончике деревянного хвоста. Последними усилиями ревущего мотора осиливает невероятную для его размеров преграду, кубарем скатывается на другой бок, начинает двигаться, но уже задним ходом. Саввотей Павлович светло улыбается, совсем по-взрослому и серьёзно спрашивает:

– Ну как... хороша машина? Мотор не барахлит?

– Машина – зверь! – отвечаю я ему словами Юры Непогодинова – старшего братана моего закадычного дружка Саньки, который по-настоящему был шофёром единственной в деревне полуторки.

– Вот и хорошо, – радуется не менее меня дядя Саввотя, – подаришь этот трактор своей сестричке Танечке, Валерику же и себе смастеришь сам. Им с такой работой разве справиться? А ты, если шибко постарайся, сделаешь ещё краше этого. И ещё одно запомни: без

хорошего инструмента не бывает доброго мастера. В старину, когда мастеровых людей набирали на работу, то всегда наперво обращали внимание на их инструмент. Коли у плотника топоры на разный фасон и у всех рукоятки как влитые, лезвия наострены – бриться можно, рубанки, стамески, пилы и прочее также в отменном порядке, каждому своё место в ящике установлено, порядочек, то уж точно – мастер. А чем, спроси и меня, – хитро шуруется Саввотей Павлович, – мастер ещё отличается от обыкновенно шабашника? Вот видишь... А я тебе отвечу. У настоящего мастера к любой работе интерес. Для него трудиться что радоваться; всё одно. Видеть ладно сробленный своими руками дом, в котором будут жить мамы и папы, дедушки и бабушки и их маленькие внуки, что может быть того лучше... Ищущие себе работы денежной да той, что почище да полегче, в конечном итоге всегда себе же в убытке. Не бывает дел грязных, если они к общей пользе. Запомни и заруби себе на носу.

Сказанное дядей Саввотей последним – заруби себе на носу – несколько удивляет. Вопросительно смотрю на него, щупаю пальчиком свой носик, на котором, зачем-то, нужно сделать ножичком зарубку, что, уж конечно же, наверное, очень больно, спрашиваю:

– А зачем делать зарубку-то на носу? Ведь он от этого может испортиться... Однажды, когда мы с Валериком делали на печке дыгу¹, а он так дрыгнул ногами, что я брякнулся с самой верхотуры и об табуретку расплющил себе нос, то папа, вместо того чтобы пожалеть, тоже вот так сказал: «Заруби, – говорит, – себе на носу... Раз и навсегда заруби и никогда так не хулигань. Скажи спасибо, что так... А если бы шею свернул...» А что я должен был зарубить себе на носу, да и зачем, – не без страха переспрашиваю я дядю, – когда у меня и без того от удара из носопырки чуть вся кровушка не вытекла?

Саввотей Павлович начинает беззвучно и мелко трястись, махать руками, достаёт из кармана платок, принимается вытирать слёзы. Смеяться и одновременно плакать я пока не умею, а потому, как вести себя в подобных случаях – не знаю.

– Как же тебе объяснить, – продолжает смеяться он, – это так говорят, на самом же деле никто ни топориком, ни кухонным ножом себе зазубрин на носу не делает. Иначе у всех людей носы бы походили на зубчатые колёса нашего трактора.

Потому, наверное, и забывчив человек, что полагается только на свою память.

¹Дыга – детская игра, подобие акробатического упражнения, при помощи ног и лёжа на спине.

Пустых деревянных катушечек от ниток в выдвижном ящичке нашего старинного комода преогромное множество. Это сейчас всякую пригодную вещь без сожаления могут выбросить на помойку или вместе с другим накопившимся бытовым хламом спалить на костре.

– А зачем, – рассуждает мудрый и практичный обыватель, – когда такого добра в магазине сколько душе угодно; да и какое применение можно найти для пустой деревянной вертушки, ерундовинке этакой, куда её можно приспособить в хозяйстве-то?

Раньше же, во времена моего детства, и баночки, и скляночки, и разные пустые пузырьёчки из-под лекарств, и даже перегоревшие электрические лампочки, на всякий случай, сохранялись. А вдруг да пригодится... Не могло и быть речи, чтобы за просто так выбросить на свалку прохудившееся ведро или кастрюлю, распаявшийся по недосмотру самовар, перекрученный патефон, которому от хмельной удали и пьяного восторга столь лихо заневолрили пружину, что его изнутри так и разодрало. Я знавал одного дядечку, горьким пьяницею был, который применял колбы перегоревших лампочек, те, что покрупнее, для изготовления декоративных штукювин наподобие аквариумов. Настоящий художественный промысел возродил. Отрежет у осветительного прибора его жестяной цоколь, наполнит пустую стеклянную кубышечку подкрашенной водичкою – розовой ли, жёлтенькой ли или голубенькой, это когда медного купоросу... А то и просто такой оставит, в зависимости от личного настроения; запустит вовнутрь рыбёшек, вылепленных из воска, – махоньких таких да разноцветных, чудных, что и в природе-то не сыскать, приспособит пучочками зелёненькие ниточки – это у него вроде как флора морская, водоросли, значит. А чтобы вода не вытекала, когда эта колба вверх башкою поставится, отверстие, где цоколь, залеплял специальным гипсом, придавая ему, пока не окаменел, форму четырёхугольной подставочки. Красотища неопиcуемая! Здорово, особенно сельским жителям нравилась такая диковина. Совсем задёшево продавал на базаре. Вот ведь до каких художеств может додуматься человек, когда выпить хочется каждый день, а основное сырьё производства совершенно бросовое и на халяву. Хоть и экономика страны была плановой, жизнь, и в этом надо признаться, была не всегда предсказуемой. Вещи ломались. Портились, неожиданно целыми номенклатурами исчезали с полок магазинов. Случались и конфузы. Кто бы мог заранее предугадать, что Ивану Кузьмичу, которого пригласили на свадьбу, как человека, угораздит напиться до изумления, наглядно показать всем присутствующим, какие он умеет выделывать кренделя



ногами подрусскую плясовую в исполнении ансамбля народных инструментов хора имени Пятницкого, запрыгнуть с сапожищами на патефон Нюрки Востриковой, расположенный аж на тумбочке. И таких случаев неумышленной порчи драгоценного имущества, угробленного, кажется бы, окончательно, сколько угодно. Но!.. Не надо спешить. Не надо вот так, прямо, сгоряча расставаться с любимой вещью, пусть и утратившей свою практическую утилитарность; вдруг да и пригодится... Экая беда... патефон перестал голосить во всё горло, внутри отшиблось... Чемоданчик-то... Великолепный чудный чемоданчик, в коем он обитал нераздельно, прикрученный железными винтами изнутри, он-то цел и невредим. Как же такую вещь да выбросить?.. Да и сам патефон вполне может пойти на какие запасные части. Мало ли чего... Не купишь...

Однажды папа с таким мученическим упорством пилил доску ржавую и тупую ножовкою, что не заметил, как вместе с нею ополовинил и совсем новенький венский стул, на котором, будь она неладная, эта доска покоилась. Попытался обе половинки соединить в единое целое при помощи обыкновенных гвоздей, испортил ещё более. В сердцах топором на колоде разломал окончательно, попрятал в разных концах поленицы. Мама долго не могла понять, куда подевался один из шести стульев, купленных и привезённых аж из Свердловска, всё переискала. Пришла к единственному выводу: оставили без присмотра на улице, спёрли проездные – наёмные мужички, работающие на фабрике «Белая глина». А вот если бы папа не горячился, отложил бы до времени распиленный на две половинки стул в укромное местечко, то его, вернее их, вполне возможно было бы куда и приспособить, скажем, заместо какой полочки. Или... Виновато ли совсем ещё новое цинковое корыто, которое он со всего маху рубанул топором, промахнувшись по полену?.. Нет бы убрать сначала корыто, а потом колоть дрова. Можно и по-другому. Корыто оставить, как лежит, отложить рубку дров. Не от спешки ли все наши недоразумения... Но вот же что самое интересное... Как показывает жизненная практика, человечество из подобных уроков мало что извлекает для себя полезного. Удел многих и многих – наступать на одни и те же грабли. По иронии судьбы автор этих воспоминаний, то есть я – Боборика, но ставший к своим сорока годам и начитанным, и грамотным, и даже слегка умным, на хрущёвской кухне своей однокомнатной квартиры так ахнул по деревянной заготовке несостоявшейся скульптуры топором, не рассчитав свои силы, что не только надвое расколот брёвнышко, зажатое в тисках, но и прорубил двери рядом стоящего новенького холодильника «Орск», приобретённого по большому благу в военторге. По сопоставимости же ущерба послевоенное

оцинкованное корыто, блистающее холодной изморозью, было потерей не менее значимой, чем мой попорченный холодильник в период развитого социализма. Возвращаясь памятью в годы далёкого детства, хочу отметить, что законопослушные граждане, знающие цену каждой трудовой копейке, исключительно редко когда расставались с вышедшими из употребления предметами своего быта. Слишком велик ещё был страх послевоенной нищеты и неустроенности. Чердаки, чуланы, подвалы, сарайчики, подсобки, балконы и балкончики, антресоли и кладовочки буквально ломались от всей этой рухляди «на всякий случай». Возможно ли сейчас даже представить, что обыкновенные наручные никелевые часы советского производства представлялись не просто утилитарной механической штуковиной, по которой можно точно определять время, но и предметом определённого общественного статуса владельца, вожаденнейшей мечтой каждого молодого человека. Касательно же книг, журналов и прочей полиграфической продукции – и речи не могло быть, чтобы их взял кто-то да и выбросил. Свято... Даже плохонькие и дешёвые книжонки, зачитанные до дыр, хранились буквально в каждом доме на видном месте. Хорошая книга для советского гражданина была тем сакральным предметом, отношение к которому было самым возвышенным. Содержательная сторона всего, что напечатано в книге, не подлежала и малейшему сомнению. И Вера, и Надежда, и Любовь, и сама правда, без всяких касательств к тому религий, присутствовала именно там.

3

Стандартная деревянная катушечка из-под ниток – штуковина весьма даже примечательная. Чего только посредством её можно не придумать. И хоть в мире ничто не ново, человечество не перестаёт изобретать свой велосипед, выдумывать всяческие необыкновенные штуковины, мечтать о крыльях, которые можно, по вдохновению, выпилить из куска старой покоробившейся фанеры, случайно обнаруженной на чердаке собственного же дома. А почему бы и нет?.. Свобода самовыражения, как и пути к обретению утерянной свободы, могут сподвигнуть творческую личность и не на такие штучки; и выпиливать ничего не надо. Рассказывают люди добрые – граждане первопрестольной, и это истинная правда, как один отчаянный зэк – строитель-монтажник среди многих, подобных ему, отряжённых на строительство сталинских высоток в Москве, привязал себя к фанерному листу, выбросился с верхней площадки небоскрёба в воздушное пространство города, такое знойное и парящее от неистового жара майского солнца. Резко вильнув, как и принято вилять



фанере, не помчался стремительно и непредсказуемо в объятия матушки-земли, а, следуя непостижимым законам аэродинамики, воспарил, аки Икар, гонимый раскалёнными потоками воздушных масс, умчался чёрт знает куда, аж за самый край столицы. Самое же удивительнейшее в этой истории даже не то, что воспарил, а умудрился произвести мягкую посадку на окраине деревеньки Бебякино в поле, засеянном рожью, откуда благополучно и дал дёру в неизвестном направлении. Фанерку, конечно же, чекисты отыскали и бельевые верёвочки, посредством которых он себя привязал к воздухоплавательному аппарату, тоже нашли. Беглеца же... Как сквозь землю провалился. После этого Сталин не раз ставил вопрос о целесообразности передачи Министерства авиационной промышленности в ведение Министерства внутренних дел, то есть НКВД. А может, это и брехня... Как сейчас-то дознаешься?.. Но полно об этом... Цель моего повествования несколько совсем об ином.

Бритвенное лезвие, которым мама иногда чинила нам карандаши, именно тот инструмент, который мне и нужен. Уж при помощи его-то нарезать ровненькие зубчики на колёсиках моего будущего деревянного трактора вряд ли представится затруднительным. Но!.. При первых же практических упражнениях с режущим инструментом оно повело себя совершенно непредсказуемо, помимо моей воли, поехало туда, куда ему захотелось, скололо бортик катушки чуть не до самого основания,

а заодно отстригло кусочек кожи на пальчике левой руки. Получив производственную травму, несмотря на сочащуюся кровь, занятий своих не бросаю. Постигшая неудача в таком, казалось бы, чепуховом деле заставляет действовать более аккуратно. Хотя и первые три зубчика на другой заготовке и не очень ровненькие, неодинаковые по глубине и ширине, всё равно они мне кажутся настолько элегантными и красивыми, что от удовольствия я начинаю сучить ножками.

– Э! Приятель... Зря радуешься, – остужает мой пыл домовёнок, не без интереса взирающий на все мои действия сквозь приоткрытую стеклянную дверцу нашего буфета, вольно развалившись на свободном пространстве между зелёных стопочек и стаканчиков, там, где ранее стояла фаянсовая сахарница вся в синеньких цветочках, которую нечаянно разбил кот Васька, а на самом деле Валерка, потому как полез без разрешения за сахаром, а она грохнулась. – Битый час наблюдаю за твоими несуразными действиями, никак в толк не могу взять, что ты такое надумал?.. Ведь всё равно ничего не получится...

– Как ты можешь знать, что ничего не получится, когда не знаешь, что я делаю? – не без ехидства спрашиваю его.

– Это мы-то не знаем? – выпучивает глазёнки домовёнок, кроя удивлённую рожицу, представляя свою персону во множественном лице. – Нашёлся мне мастер... Кто ж бритвочкою-то деревяшку выстругивает? Ополоумел, что ли?.. Пальцы хочешь отчеккрыжить? Это она безопасная, когда в отцовском бритвенном станочке заневолена, а так... Наипаснейшая из всех обоюдоострых штукювин, запросто можно зарезаться. Ты ещё мал, а потому глуп; совершенно не догадываешься, кто на свете есть эти самые цирюльники и как они умеют пудрить мозги, фимиамить одеколонию головы, отменно, подобно фехтовальщикам, махаться бритвами, когда к тому возникает необходимость, а по-другому: уже заплачено, осталось только аккуратно зарезать.

«О чём это он? – совершенно не понимаю я. – Какие цирюльники, которые пудрят мозги и дурманят одеколоном головы?» Не обращая более внимания на его болтовню, аккуратно вырезаю четвёртый зубчик, а затем и следующий, и ещё следующий. «Ну, что, съел? – мысленно произношу в адрес незадачливого прорицателя. – Видишь, как всё ладненько у меня получается».

Неожиданно лезвие изгибается, ломается по оси на две узенькие полосочки.

«Ещё лучше получилось, – думаю я, – сейчас не надо опасаться противоположного острого края, по которому того и гляди запросто можно проехать ладошкой».

Но, к моему огорчению, лучше не сделалось. При подсечке следующего зубчика непонятно каким образом срезались и три, стоящие рядышком.

– Ещё одну испортил, – наворачиваются горячие слёзы. – А так всё красиво и ловко получалось...

– Вовка! – крутит пальчиком у своего виска домовёнок, стуча носком деревянного башмачка о рюмку, отчего последняя начинает тонко и отрывисто дзынькать. – Бросай свою глупую затею. Вон ведь как все пальцы искровянил, идиотище, мать задаст тебе ныне... Саввотей Павлович чему тебя – дурака, учил? Как ты слушал его, а? Без доброго инструмента, учил он тебя, без любви и терпения... А ты... вместо того чтобы набраться терпения, сноровки, хвать первую попавшую бритвочку и давай ею махать. А зачем? Ты хоть подумал зачем... От горячности и нетерпеливости твоей природы всё это, Вовка. Огнепоклонники все такие... Живьём готовы сгореть, дай им тут же и сей момент результат. А по-трезвому да по-рассудительному... Это не по ним. Возьми вот, к примеру, меня, – тыкает себе пальчиком в грудь домового, – хоть и врут всякое про нас, что мы, дескать, народец и суетливый, и нестепенный, и до пакостей всяких... В общем, понимаешь... Я же, честное благородное, совсем не такой. Разве твой лучший друг похож на лиходея? Скажи мне по правде, разве подобен лукавому бесу он, что только тем и занят, как кого обмишурить или объегорить? Нет, нет... Ты не кривись, не отворачивай в сторону своего огорчённого лица, не тупи долу глаз своих, наполненных слезами отчаянья, туманной дымкой неверия. Замечу, – горделиво выпячивает он свою хилую грудку, обтянутую какой-то вязаной дрянью, похожую на шерстяной носок, да и ещё с протёртою дыркой на пятке, – не каждому вот так красиво могу говорить. А почему?.. Вот спроси меня, почему?.. Да всё потому, и это я точно знаю, что только ты по-настоящему можешь оценить красоту моей поистине литературной речи. И слёзы, и нервные психи твои к тому ещё более доказательство. Поэт!.. Последний стишок, который как-то выдуманался в твоей, наполненной беспокойными мыслями голове, я выучил даже на зубок. Блистающие перлами строки, стихотворная стройность и чёткость рифм настолько меня воодушевили, что я... Что я... – совсем запутавшись, встряхивает резко головкой, отчего красная вязаная шапочка его ниспадает на самые глаза, принимает нарочито театральную позу, праздничным голосом и с выражением начинает читать:

*На Кавказе всем жить приятно,
Открывай себе только ротик, Кушай
персики забесплатно Столько,
сколько вместит животик.*

*А у нас из всего – рябина
Да черёмуха... Разве сладость?..
Даже если проходишь мимо,
Зубы сводит, такая гадость.*

Молодец, Вовка! Сказано-то как... В самую точку, в самое яблочко сказано. Натуральнейший реализм, самый что ни на есть советский.

И ведь действительно, как подумаешь, почему на Кавказе – ешь фрукты – не хочу, пей вино – до самого кадыка, жуй шашлык – от пуза, а у нас... Да, кстати... но хочу, как младшего товарища, слегка поправить. Нет такой земли под названием Капказ, есть Кавказ. Но лучше, советую, пусть останется как было, как прежде. Избежишь многих неприятностей. Есть шанс в случае чего, отпереться, категорично заявить кой-где и кой-кому, что Капказ ничего общего не имеет с Кавказом – родиной грузина, и нечего в связи с этим вешать уголовщину одного, а по-другому – политику, что, поверь мне – стариннейшему твоему другу Хвыре Брутту, одно и то же. И вообще... плюнь ты на этот самый реализм, который завтра может перекувыркнуться через голову и сделаться фантазией, а через десяток лет ещё чем-нибудь...

– Честное благородное, но твоя бабка Дарья, как там её по батюшке, достала, – без всякой связи к предыдущему разговору перепрыгивает Хвыря, – что я ей сделал такого? Никакой жисти нету от этой святости. Но я из терпеливых... С меня бери пример, Вовка. Экое дело, трактор... И то только на шесть зубчиков хватило; расписовался, расхныкался. А я... У меня учись силе-волушке. Намедни Матрёне Степановне Поломайребро, той, которую природа сверх всякой меры наделила волосами и телесной тучностью, по горячей просьбе её соседки Кларки – настоящей ведьмачки, за ноченьку шестьсот шестьдесят шесть узелочков умудрился навязать на власах. Мог бы и того более, если бы не непогодиновский петух – чёрт одноглазый. Чего ему не спится?.. Звёзды ещё не сошли, а он уже орёт благим матом на всю околицу. Она их – Матрёна, значит, опосля, как проснулась, и льняным маслицем смазывала, и специальным гребнем, привезённым с Афон-горы, пыталась раскудривать, и что только не предпринимала, всё по-напрасному. Зубья у гребня и те не выдержали, как спички, стали выламываться. Шутка ли... Шестьсот шестьдесят шесть узелочков, да в разноразной и без всякого умственного смысла. Дед научил науке энтой. Розг не счесть... Потому и сделался специалистом; мастер... Матрёнушка от горюшка хлыбыстнула целый ковшик браги, окосела; как есть, выстриглась под самую лысинку, села в красном углу, где Боженька, и ну выплакивать песню про деву-бабу, коей ревнивый муж туги косы серпом под корешок отчекрыжил.

Скорбно обхватив свою головушку ладошками, Хвыря Брутт для наглядности принимается показывать, как всё это было, на самом деле препротивнейшим гнусавым голосом, да ещё и по-бабьи, причитать, покачиваясь всею своею тщедушною фигурою из стороны в сторону:

*И схватил за туги косы,
И давай её ругать,
А потом взял серпик вострый...
Некуды жоне бежать...*

А ты... – смотрит на меня с нескрываемым презрением, – пальчик порезал, заготовочку попортил. Так уж и быть... Как лучшему закадычному дружку не помочь в таком наисурьезнейшем предприятии. Слухай со вниманием. В чулане, там, где на стене висит лошадиный хомут – сдался он твоему папаше как пятое колесо телеге, – рядом с ним на деревянной полке в газетку завёрнутая железная коробочка покоится, какая у дохторов. В ней, когда отворишь её, ножичек себе найдёшь. Самый раз, какой и надо; скальпелем называется. Им эти дохтора человеков вдоль и поперёк пластают. Да что там человеков, – морщится Брутт, – всякую животину бессловесную ради опытов... Острый, что бритва, но крепкий и с ручкой. Про ту коробочку, почитай, уж давно никто не помнит. Дедова твоего... Понял? Им можно разны тонкие работы робить. Остального не трожь, возьми только ножичек.

– Я что я скажу своему папе? Ведь он обязательно увидит, – спрашиваю я Хвырю Брутта, домового, знакомого мне ещё из прошлой жизни.

Но его, и так он поступает со мною уже не первый раз, словно и след простыл.

– Хвыря! – кричу я ему, отражаясь в старом настенном зеркале, там, где вот только что разговаривал со мною собственной персоной он – старый плут и проказник, о существовании которого родители и не догадывались, потому как в домовых на верили. Лишь лёгкая тень, словно зеркальная рябь, метнулась и задрожала в воздухе, да дзынькнул коротко маленький серебряный колокольчик, привязанный за ниточку к гвоздику – странный подарок родителей учеников моей мамы к началу учебного года – первому сентября. И всё... Настоящим хирургическим ножичком, отливающим хромом, с удобной ручечкой, не режущей пальцы, нарезаю по краям катушечки ровненькие зубчики. Работа ладится – сердце радуется. А ведь и действительно, вспоминаю я слова дяди Саввоти. Не прошло и самого малого времени, как обе катушечки, предназначенные в подарок Валерику и Танечке, имели свой законченный вид, стрыкали зубчиками по поверхности стола, если их катнуть. Оставалось протянуть

сквозь дырочку нужный кусочек резиночки, аккуратненько вырезать мыльце, приспособить заводилку, всё это по-правильному собрать. И вот два моих первых трактора такие же, как и сделанный Саввотеем Павловичем, только гораздо ещё лучше и красивее, катаются по полу, по-настоящему борются, если их по движению направить лоб в лоб, бегут наперегонки, преодолевают всевозможные, кажется бы, непреодолимые препятствия. Если на мыльце слегка плюнуть, то они, наверное, от обиды делаются совершенно бешеными, как угорелые, поворачиваясь на месте колёсами, мчатся вперёд, и так до тех пор, пока завод не кончится полностью. Увидя мою работу, папа долго не мог поверить, что всё это я сделал сам собственными руками и что мне никто, даже самую маленькую тютельку, не помогал и даже не подсказывал.

– Неужели так вот всё сам и сделал? – недоверчиво крутит в руках мой трактор. – А зубчики? Ведь их просто так, – хитро смотрит на меня, – не то что Валерику, но и маме не вырезать. Не тупым же столовым ножом так ровненько?

Пришлось признаваться, что зубчики вырезал специальным острым, как бритва, ножичком, который отыскал в чулане, потому как подсказал домовой Хвыря Брутт, проживающий внутри нашего зеркала.

«Самому бы мне в жизни такого ножичка не сыскать», – горячусь я.

– Вовка!.. – разводит руками папа. – Ты редкостный на свете выдумщик и вун, каких ещё попробуй сыскать. Границы твоих фантазий необъятны. Как можно верить, да ещё и видеть то, чего нет, потому как никогда не было, да и не могло быть никогда? В конце-то концов... Пора бы уж перестать играть в сказки, не такой уж маленький. Гляди, и в школу скоро пойдёшь. Признавайся, где такой ножичек достал. Он, кстати, называется скальпелем. Опаснейшая штукавина. Знаешь, как им можно располосоваться... Бритва...

Веду папу в чулан, показываю завёрнутую в хрупкую пожелтевшую газету никелевую коробочку, в которой, помимо стеклянных уколов-шприцев, ещё и два пинцета, несколько каких-то кривеньких штук с красивыми рифлёными ручечками и даже подобие зубильца, но очень крохотного и блестящего.

– Странно, – признаётся папа, – газетный свёрточек как бы ещё припоминаю, а что в нём... Ей-богу, в первый раз вижу. Даже и не догадывался.

Вопросительно смотрит на меня, как бы желая что сказать ещё, но, видно, передумывает, возвращает скальпель обратно.

– У мамы есть кругленький деревянный пенал, – говорит он мне, – попроси и храни свой ножичек только в нём. Увижу, где валяется как попало, немедленно заберу. Скальпель – это тебе не игрушка.

Так чудным, невероятным образом я обрёл свой первый профессиональный инструмент. И то, что он предназначен был исключительно к делам хирургическим, то есть к медицине, которая, кому это неизвестно, ни в какую мистику, тем более в нечистую силу, не верит – весьма символично. Зарезая им не раз и не два свои пальчики, научился не бояться крови, мужественно переносить боль, в постигших неудачах винить в первую очередь только себя и только себя. Жертвенность... Уяснилось и несколько другое: заразиться можно не только ангиною, корью или свинкою, но... Но и мечтою. И если первые как-то излечимы медициной, то мечтою быть хворым до скончания лет, пока не исполнится. И последнее... Хоть и тверда пред древом хирургическая сталь, что она перед временем... Всё проходяще. Когда мой ножичек притупился, но это случится потом, я, как настоящий кузнец, решил закалить его огнём, а потом холодной водою. Нагрел докрасна в печке, бросил в наметённый сугроб снега. В общем, из полымя да в стужу. Издав короткий шипящий звук, скальпель тут же почернел, стал гнуться, как обыкновенная вилка, вообще перестал резать. А потому, не верьте рыцарям-романтикам, что на своих шпагах и рапирах в свободное от воинских утех время жарят на углях шашлыки. Врут... Что уж тогда говорить о человеках... Коли и закалённая твёрдая легированная сталь может упроститься до непростительной мягкотелости. Мораль: шашлычнику никогда не стать рыцарем... Рыцарю же скатиться до шашлычника – как дважды два... И хоть шампур отчасти напоминает шпагу, а шпага – шампур, у шашлычника ничего общего нет с рыцарем, как и наоборот. Каждому своё. Всем неправильно думающим того и объяснять не надо; правильно же думающим – бесполезно. Вот и сейчас, когда по непонятным причинам мне становится особенно грустно, я беру катушечку из-под ниток и принимаюсь мастерить себе деревянный трактор, точно такой, как и более чем полвека тому назад. Накрутив заводным прутиком резиночку, пускаюсь вместе с ним в путешествие, в далёкую страну моего детства с выдуманным мною названием Берестовая обитель. Там мои истоки, оттуда мои начала всех вдохновений, туда я и возвращаюсь, когда обратно перевоплощусь в маленького-премаленького мальчика Боборику.

Глава 10. ВОЙНА И МИР. ДЕРЕВЯННАЯ ПУШКА

1

Отчего случаются войны, кому они нужны и зачем они нужны, а главное, какая к тому всем польза, когда на них отрывает руки и ноги, разрывает на части, убивает насмерть – полностью и бесповоротно

убивает, я пока не знаю. Папа был на войне, и почти все его друзья тоже там были, и даже совсем ещё молодые тётки, как наша мама, также были призваны в армию, попали на фронт, воевали, хватили с избытком лиха, многие вернулись искалеченными, а некоторые, как мамы братья, так и вообще погибли Бог весть где. Как помнится, о прошедшей войне вспоминали в основном не как о нечто гадком, отвратительном и страшном, наполняющим всё человеческое естество жутким трепетом и ужасом, что, казалось бы, должно быть присущим не только человеку, но и любым формам проявленной жизни, а, наоборот, с неким чувством лихой и разухабистой бравады, где и наплевательское отношение к своей участи – убьют или не убьют, и сарказм, и даже юмор; лёгкое огорчение, что не случилось вернуться с войны настоящим героем с орденами и медалями в полную грудь, как некоторые, хотя, вполне возможно, могло бы и случиться. Когда папин танк подбили и он загорелся и его вот-вот должно было разорвать изнутри от собственного же боекомплекта, он со своим братом Тауканом успел всё же выбраться через нижний люк, кинулся что есть духу бежать по густым, выше человеческого роста зарослям ядовитейшей жгучей крапивы, так как всё остальное пространство было на виду и легко немцами просматривалось. Не замечая свирепых ожогов растений, так драпали подальше от пылающей машины и шальных пуль фрицев, обстреливающих подбитый танк, что и не заметили, как со всего разгону ахнулись в довольно глубокий овраг. В этом месте своего страшного рассказа, ведь дело касалось самой жизни, папа даже начинал смеяться:

– Честное слово, Анна, – весело подшучивал он, – часа два потом в речушке, что протекала по дну оврага, отмокали с Тауканом, сплошь волдырями покрылись. Наиядрённейшая, скажу тебе, оказалась эта крапива, – шептал что-то от нас маме на ушко, отчего она принималась весело смеяться, – даже там от зуда хоть на берёзу лезь...

А то, что от взрыва оторвало башню и зашвырнуло в тот же овраг, что все остальные из экипажа, включая и командира танка капитана Ковалёва, также погибли, как бы представлялось на втором плане. Что уж тут поделаешь... Война ведь... И вообще, из множеств повествований, что звучали в нашем доме и не только по случаю каких праздников и застолий, когда папины друзья, все бывшие фронтовики, захмелевшие от горького вина, принимались рассказывать интересные истории про то, как они воевали, смертным боем били фрицев, у меня – совсем ещё маленького мальчика, складывалось в голове, что эта самая война, про которую они с таким вдохновением, с шутками и прибаутками говорят, штука не такая уж страшная и даже иногда весьма весёлая. Ну как, скажите вы, тут не развеселиться.

– Под Курском, – увлекательно говорит папа, – чуть было наш танковый батальон не угодил в плен. Техника в большей части разбита, всё горит, все бегут кто куда; паника. Какие там приказы... И кому приказывать, когда и сами командиры ни черта не в состоянии понять, где они и что происходит на самом деле. А что всего удивительней, и сами немцы также дезориентированы не менее наших, думают, что окружены, улепётывают, как тараканы, кто куда горазд, в разные стороны. А пули так и жикают, так и жикают, не разбирая ни своих, ни чужих. Вижу, совсем рядышком как бы кирпичный сарай, совсем от взрывов полуразвалившийся. Окна повышибало, дверь висит на одной петле, от крыши рёбрами стропила обугленные. Я туда, какое-никакое, а укрытие. Следом кто-то из наших же... Кто – и понять толком никак не могу, темень... Забегает – и ну дверь на себя тянуть, закрыть, значит, хочет. А она кренится на один бок и никак. Подскакиваю живо, хватя её снизу и давай приподнимать, чтобы в проём задвинулась как следует. Тяжелющая, зараза, железная. А пули так и жикают, так и жикают... А тут осветительная ракета... Глядь, а передо мною натуральнейший Фриц, а может, и Ганс. С автоматом на груди, без пилотки, светленький такой и совсем молоденький, как есть, пацан. Как зыркнули мы друг на друга, да прямо в самые глаза, и ну, кто быстрее в уже почти закрытую дверь, столкнулись даже. Как рванули...

– Папа! – возмущённо кричу я. – Почему же ты его не подстрелил или не связал в плен, когда столкнулись в дверях друг об дружку? Разве у тебя с собою не было военного ружья?

– Как же не было, – весело смеётся папа, – ещё как было... Новенький семизарядный карабин... Он же – немец этот, не стал в меня из автомата своего стрелять и душить не стал, чтобы взять живым в плен. Мирно удрал и всё.

– Так тебе надо было погнаться вслед за ним, – не унимаюсь я, – разве он не настоящий враг?

– А зачем? – внимательно смотрит на меня папа.

– Как зачем?.. Чтобы стать настоящим героем.

Папа ладошкой треплет меня по голове, грустно отвечает:

– Тогда бы могло случиться так, что ни Валерика, ни Вытыки, ни тебя – Боборики, и даже для вас нашей мамы совсем не было бы.

– Почему это не было бы? – удивлённо спрашивает моя единокровная сестричка Танюша.

– А потому, – уже смеётся папа, – ещё неизвестно, кто кого первым укокошил бы.

– Как же так, – уже недоумеваю я, – разве может быть такое, чтобы

нас нигде не было, даже на самую-самую капельку, на самую крохотную тютюльку? А где бы мы были тогда?

Как помнится, вопросы «бытия» и «небытия» настолько меня уже тогда поразили своими алогизмами и полнейшей недоказуемостью, что я буквально впал в уныние. Как же так... Меня и не только меня, а нас всех никогда не было?.. Потом мы как-то стали... Стали ради того, чтобы, побыв самую малость, непременно и окончательно умереть... Какая же в том логика, когда сплошная свиньячья чушь. Ради чего же нам надо было сделаться так, стать так? Когда и рождение наше, и смерть, да и, выходит, всё остальное, вне нашей рассудочной воли. Не самим же нам, в конце концов, захотелось перестать слышать, видеть, чувствовать, дышать, любить, быть на этой земле, как и обратное всему этому? Кому это вот так захотелось? И кто он – этот самый, который всё это придумал совершенно непонятно для чего? Замечательно, но не более полтора десятка лет спустя, когда я предстану в том возрасте, к которому со стороны более почтенных старших граждан придумано весьма уважительное обращение – молодой человек, когда совершенно случайно ознакомлюсь с изложением Льва Николаевича Толстого под странным доверительным названием «Исповедь», с изумлением озадачусь логической схожестью моих мыслей с рассуждениями великого гуманиста по тем же самым вопросам, логическое разрешение которых сводится к единственному и, кажется, правильному: жизнь – великое зло и несправедливость, и самое разумное – как-то совсем прекратить жить, а ещё лучше не рождаться вообще. Это же «зачем» отослало и к другому замечательному прозаику, о котором я в силу своего совсем юного возраста и духом не ведал, и слухом не знал. Знаменитое чеховское выражение из «Письма к учёному соседу» вдруг каким-то непостижимым образом слово в слово уже тогда прозвучало в моей голове: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда». Папа пожалел фрица – он пожалел папу... Кто же вас тогда послал друг друга убивать? Можно и по-другому... Немец сдрейфил папу – он его. Кто же тогда, насильно, вас заставляет друг друга убивать? А можно и совсем иначе, и не так и не этак: папа очень хотел, чтобы был я, мой братик Валера, моя сестричка Таня, а у нас была наша любимая мама, был домик, в котором мы все вместе живём, огородик и банька на самом его краюшке, был кот Васька и кошка Машка, а ещё многое-многое другое, не требующее в своей бытности никаких доказательств, а просто радующее сердце. И этот самый Ганс или Шульц, а может быть, Фриц также мечтал этим же. Как же так... Неужели, чтобы защитить себя, своих родных, своё село или город, страну-государство, нужно непременно сесть в танк, в самолёт, в подводную лодку, взять ружьё, а ещё лучше пулемёт, а

пуще того – огромную пушку и поехать всех подряд убивать? И Гансов, и Шульцев, и Фрицев, их детей, их дедушек и бабушек, кошечек и собачек, попугаев и канареек, то есть вот так защищаться? Верьте или не верьте, но уже тогда именно такие противоречивые мысли набрякали в моей, совсем ещё неразумной головушке по поводу войны и мира, а следовательно, и самого бытия. Ибо без него нет ни войны, ни мира, ни жизни, ни смерти. Ничего нету... Пустота... Небытие... Почему-то и вроде как бы некасательно всех сложностей подобных умствований вспомнилось, как тракторист Бражкин Егор выследил ночью бухгалтера Митяева Харлама и крепко надавал тумаков.

– Зачем ты – хулиган этакий, побил уважаемого человека Харлама Евдокимовича? Что он тебе – рожа твоя протокольная, сделал такого, кроме как добра? Выписывал по трудовням, чтобы в дому твоём все от голодухи не померли. А ты... А ты побил, – дознаётся участковый инспектор Никита Автодорович, сын Автодора Степановича – старого революционера с самым наипролетарским именем. – Ну, понятно бы, – продолжает он, – ежели как от сильного перепития, когда моча в голову... От куража, значит, загульного, от чрезмерной весёлости во всей натуре. Так нет же...

Смотрит задумчиво на Харлама, сидящего перед ним на табурете, жующего собственные губы и без самых малюсеньких намёков теней вины на побуревшей от досады физиономии.

– Из-за бабы, что ли?

– Никак нет, товарищ милиционер, – по-военному отрезает Бражкин, привставая со своего табурета. – Свои законные права отстаивал. И не токмо свои, а и всего моего семейства.

– Это какие такие права? – заинтересованно переспрашивает участковый, снимая с головы потёртую милицейскую фуражку, бережно укладывая перед собой на столе, щелчком пальца стряхивая с неё налипшую пылинку.

– Этот Харламка – чистоплюй и сквольжина, каких свет не видывал, полишил меня – трудящегося элемента, потомственного безлошадного пролетария-тракториста, моей законной премии.

– Набедокурил, что ли, чего? – спрашивает со всею суровостью милиционер, – може, как прогулял али трактор изломал? Затраты по неподвижному ремонту...

– Никак нет, Василий Автодорович... От скрытой неприязни к моей персоне злобу затаил – гнида недораскулаченная. А почему... И сам понять в уме не умею. Без всяких на то оснований к моей личности так и брякнул вражина: «И не жди, Егорка, премии... Это нам всем за

зерносклад, что так недостроенный и погорел». А я при чём? – говорю ему. – Я, что ли, лабаз этот запалил? Вот кто поджжёт, того и лишай премий; нечего свою классовую злобу на мне отыгрывать, – вредитель.

– Ты чего, гражданин Бражкин... Совсем, что ли, головой набекрень свернулся? – неожиданно наступает на Харлама милиционер. – У нас же один колхоз, одно хозяйство... А значит, и одна бухгалтерия, ядрёна твою корень... Понимать ведь надо... Аж из района начальство приезжало по этому случаю. Сам секретарь райкома партии товарищ Долматюк Никанор Степанович... Шутка ли... Так и сказал: «Ущерб велик... Один за всех – все за одного...». Не тебя же одного – хулигана, полишили этой премии. Всех полишили... В том числе и Митяева Харлама, на которого ты, как разбойник, ночью вышел. Пойди и, пока не поздно, повинись перед ним. Скажи, что ты спьяна, с недоразумения, значит. А так... Коли узнает, что всё по-трезвому... Разве ж простит... Ведь как есть... По хулиганской статье можешь загреметь... Это тебе, брат, не шутки шутить, когда вот так да на должностное лицо... Сам лично обязан тебя определить кой-куда. Повинись, Харлам, пока не поздно; не воюй, аки супостат, против правдушки, которая у каждого своя; как есть, сгинешь.

Выходит, подумалось мне, и войну можно оправдать как угодно, как кому выгодно. Наврут, скажем, какому царю-государю, что его сосед тайно замыслил силою ли, хитростью ли, но прибрать к рукам его царство-государство, а его самого посадить в клетку под замок – да в зоопарк... Кому же охота томиться в клетке, да ещё и среди дикого зверя?.. Вот он и идёт войною на соседского царя-супостата, совершенно не ведающего причин такой лютости, ибо никакого повода к тому и не давал; воюет как может и чем попало за свою волюшку. А весь народ, за мизерным исключением неправильно думающих граждан, этаких ренегатов-вражин, свято верит, что всеми силушками-волюшками борется за матку-правду. И оговорённый государь, то бишь сосед, также свято верит, что отражает агрессию, кровью отстаивает свою свободу от поработителя. А если учесть, что и у того, и у другого правителя есть свои близкие, друзья, родственники, а у тех, в свою очередь, также есть свои близкие, друзья, родственники, то и догадываться не надо, какой на свете бардак начинает делаться. Но... ведь кому-то это надо... Хотите верьте, а хотите не верьте, но именно в этот возрастной период времени моя костяная шарообразная коробочка стала заполняться самыми невероятными, можно сказать, сумасбродными мыслями, мыслеформами и даже отдельными оригинальными идеями, касательными не только таких глобальных проблем человечества, как что есть война, а что есть

мир, но и вообще: здраво ли в умственно-психическом отношении человечество в целом? Вопрос, конечно же, не праздный, если учесть, что жить хочется каждому, слыть умным и здоровым, за редким исключением, почти всем, умирать же почему-то не хочется никому. Занимало же меня и не только это... Ох уж эти мысли... Разве я их изобретатель? К примеру, если в земле огромным буравом насквозь проделать дырку и туда прыгнуть, хоть солдатиком, хоть вниз головой, то что?.. Так ни обо что и не ударишься, то есть – никуда и не упадёшь? Ведь согласитесь: хоть падение и сродни полёту, но всё равно рано или поздно оно заканчивается. И совершенно неважно, как вас ушибёт о матушку-землю – задом ли, боком ли или тыковкой о камушек вы упали. Полёт, поверьте мне, есть нечто совершенно противоположное падению. Полёт – на то он и полёт, что как жизнь никогда не прекращается, так и мысль – никогда не уничтожается, нет ему начала, как и нет конца. А потому... Ни в коей мере не советую прыгать в бездонную дырку, пробуравленную в земле. По законам гравитации, пролетев некоторое время, подобно маятнику – туда-сюда, непременно зависните в самом центре между двумя небесами. Но всё же... Шанс есть... Если Господь по вашим молитвам смилостивится и хорошенько дунет с одного края, да так, что вы преодолеете силы земного притяжения, – быть вам вечным странником. Разве плохо быть вечным странником?.. Или... Взять да в эту же дырку запустить море... Пока эта дырка полностью до самого верха не заполнится. В какую сторону оно потом выльется? И вообще... Как может солнышко быть больше земли, когда оно такое маленькое?

2. Война

На 22 июня 1958 года наш старший брат Валера единолично, ни с кем не посоветовавшись, объявил войну улице Путилова; вернее, всем пацанам и девчонкам этой улицы, которые непонятно и почему из добрых наших сверстников переродились в одночасье в лютых врагов, жаждущих смертного боя, с которыми, дабы не потерять чести, надо непременно сразиться, задать такого трёпу, чтобы в следующий раз было и неповадно. Случилось же это так. Жаркий летний день, на небе, в бездонной его сини, ни единой, даже самой малюсенькой тучки, ни единого белокурого облачка. Солнышко так неистово пригревает, что густая и серая дорожная пыль, такая с виду дремотная и ласковая, превратилась в огненную лаву, горячими струйками взрывается под ступнями босых ног, принуждает скакать подобно коню, так нестерпим её адовый жар. С самого раннего утра мы всею ватагою только тем и заняты, что плещемся в Пышме, загораем на сказочной лужайке, которая как понарошку

и специально для нас зелёным ковриком скатилась с глинистого бугорка к самому берегу реки, даря ногам мягкую прохладу и покой. Изумрудная полянка в окружении глинистых бугорков и лысых пригорков представлялась поистине райским уголком, густо пахла аптечной ромашкою, полынью и мятой, жужжала шмелями и пчёлами, басовито гудела преогромными серыми слепнями. Глазастые зелёные стрекозы, стрекоча двойными перепончатыми крыльями, пронеслись подобно маленьким малахитовым вертолёткам, зависали на одном месте, но вскоре же подобно зигзагу молнии взвивались в выси, скрывались за густыми ветвями вербника, растущего вдоль самого края берега. Несмотря на столь жаркую погоду, вода в реке довольно холодная. Я – извечный худоба, так иногда меня называл папа, ярый огнепоклонник, моментально в ней остываю, делаюсь таким же холодным, как и сама водная среда. Быстро выскакиваю на бережок, трясясь, как в лихоманке, малярный ознобом, дробно постукивая зубами, семеню по направлению сельской дороги, пробегающей совсем рядышком, чтобы в её огненной пыли хоть как-то зарядиться, компенсировав потерю утраченного жизненного тепла, так необходимого каждому, кто считает себя сыном самого Солнца. Так как наша улица Карла Маркса (её имя в моей голове, как Сакко с Ванцетти, ассоциировалось не с одним человеком, а с двумя, то есть с Карлом и Марксом) перебегает на другой бережок реки именно в этом месте, то вполне резонно на законных основаниях и зелёный лужок, и речка, и даже деревянный чуванёвский подвесной мост на стальных тросах также считались только нашими, то есть принадлежали нам – пацанам и девчонкам правого берега Пышмы. Ватага наша, где мы все почти что сверстники, не так уж и велика, вряд ли со всей улицы наберётся более чем пятнадцать человек. Это братья Полунины – Севка и Лёвка, что проживали почти что у самой реки в переулке, чуть левее нашей улицы, тем не менее всё равно считались нашненскими, рядом с ними младшие из Агапитовых – Лёнька, Борька и Анастасийка, которой было на то время не более пяти лет и которая, ох уж эта агапитовская порода, была настолько забиякистой, что её и десятилетние пацаны побаивались. Таня Стукольцева и Толик Паклин были ближайшими нашими соседями, а потому считались самыми наивернейшими и преданными друзьями, такими же как и Санька Непогодинов, и Ваня Борькин, а ещё Измаденов Витька. Все они проживали по нашей же Карло-Марксовской улице, но не вверху, там, где ключ – общественный родниковый источник, и где машино-тракторная станция. Бронька Глебович и Наташа Рыбкина, хоть и обитали в Косом Переулке, всё равно считались нашненскими, готовыми, как мне казалось, пойти за общее дело в огонь и воду и даже на

баррикады, что, по моему мнению, было верхом отваги. Цветная картинка Давида из Большой Советской энциклопедии под названием «Свобода на баррикадах» мои предположения, что есть эти самые баррикады, только подтверждала. Мужественная тётенька со знаменем и рвущаяся в бой, а также храбрые дяденьки, стреляющие из ружей из-за груды всевозможного хлама, воздвигнутого в виде кучи, перегораживающей улицу: бочки, ящики. Уличные фонари и даже булыжники – всё в одном месте, но как попало, при тщательном рассмотрении ещё более утверждало меня, что в подобном, опасном месте можно и без пули сломать себе ноги и шею, следовательно, люди, находящиеся там, очень храбрые. Вот и вся наша ватага, не считая меня, сестры и старшего брата. Был, правда, ещё один мальчик, но с другой улицы – Вася Потапов. Длинный, худющий и рыженький, весь веснушчатый, он умел удивительно скоро бегать и прыгать в длину, да так, что среди всех нас ему равных не было. Именно в то время, когда мы все беззаботно предавались своим играм, купались в речке под синим и мирным небом, пристально высматривали на песчаном мелководье речные жемчужины – маленькие и кривенькие, но такие замечательно красивые в своём перламутровом блеске, прибежал Валерка. Запыхавшийся и чрезвычайно взволнованный, без панамки и босиком, распираемый изнутри потрясающей новостью, тут же выпалил:

– Вот!.. Пока вы здесь бултыхались, скакали как козлы и козлихи в чехарду, валялись на травке и ничегошеньки полезного не делали, я всем пацанам улицы Путилова объявил настоящую войну.

– Как войну?.. Где войну?.. Почему войну? – посыпалось с разных сторон.

Насладившись реакцией, выждав пару минут, как хитрый и опытный дипломат, лезет за пазуху, достаёт четвертинку листика бумаги в косую линеечку, с достоинством и медленно разворачивает, подняв над головой, словно какой трибун, демонстративно показывает на вытянутой руке, потрясая документом на все четыре стороны:

– Тут всё учтено, всё расписано по-настоящему, – громко и авторитетно произносит он, – и даже есть официальные заверительные подписи главнокомандующих обеих враждующих сторон. Вот!..

Читать я пока не научен, но по тому тону, как сказано это самое «вот», сразу же проникаюсь к документу уважением, что это действительно всё по-настоящему, по-правдышнему, а следовательно, ничегошеньки уже поделывать нельзя, хочешь не хочешь, а воевать придётся. И хоть даже самая маленькая и паршивенькая война – дело опасное, пуще того – отказаться воевать. Кому же хочется прослыть трусом?.. Старше

нас всех почти на два года, к тому же на правах главнокомандующего армией, брат тут же повелел прекратить всякие несерьёзные мирные занятия, объявил военное положение, приказал разойтись по домам, чтобы потом, но уже по-секретному, собраться у старой каланчи, где пожарная станция. Предупредил, что любое неподчинение командиру по законам военного времени может караться самым суровым образом, вплоть до расстрела. Быть расстрелянным, а того хуже – повешенным, даже в перспективе понравилось явно не всем. На первом же военном совете, назначенном в густых лопухах репейника под каланчою, по великому секрету, когда надо было шептать на ухо часовому – жаба, а он на это должен был произнести в ответ – комар, выяснилось, что братья Полунины и всё семейство Агапитовых не собираются подчиняться власти самозванца, назначившего самого себя главнокомандующим, а потому участвовать во всяких боевых действиях против дружественных им путиловцев, где есть и их двоюродные братаны и сёстры и две хрёстные – Зинка и Клавка, и пёс Полкан с псиною Манькой, которые по родословне – их агапитского Джульбарса, и где... В общем, в связи со всем этим категорически участвовать в войне отказываются. Тут же предупредили, что насилия не потерпят, всякого, кто попытается кого-нибудь из них повести на расстрел или вздумает повесить за шею, они уроют. После короткой словесной перепалки и даже небольшой стычки, когда Агапитова Анастасийка непонятно и за что укусила Броньку Глебович за голову, единогласно порешили Полуниных и Агапитовых из войны исключить, постановили считать предателями. Прозаседав в лопухах чуть ли не два битых часа, поиздержав голосовые связки, пришли, как казалось нам, к единственному и правильному решению: раз до войны, то есть полномасштабных боевых действий, осталось времени совсем мало, то архиважно, не откладывая дел и на минуту – вооружаться, вооружаться и ещё раз вооружаться. Когда слишком умная Бронька Глебович попыталась справиться у брата – главнокомандующего всеми войсками, как сухопутными, так и морскими, о причинах, повлекших собою к объявлению войны, Валерка смутно стал доказывать, что дело вовсе не в каких-то там дурацких причинах – кто кому нос разбил или стырил свинцовую битку, самую меткую на игру в бабки... Дело в том, что война – дело святое, только на войне можно точно узнать, кто есть кто, кто герой, а кто трус. К тому же... хоть путиловцы и говорят, что они согласны воевать только русскими богатырями, а мы фашистскими немцами, на самом же деле – всё наоборот. Пусть себе так считают. Это мы будем сражаться как героические советские солдаты и солдатки, а они – как фрицы.

– И по правилам нашей войны, которые все отмечены в бумажке, а по-настоящему – в документе, я вам его показывал, они должны без всяких объявлений войны, вероломно напасть на нас 22 июня. Значит, кто настоящие оккупанты? Вот видите!

– Но мы же знаем, что путиловцы на нас нападут, – истерично пищит Наташка Рыбкина, – и даже знаем в каком месте, у этой самой Рябиновой балки...

– Это ничего не значит, – твёрдо отстаивает свою позицию адмирал Валерик, – наши доблестные разведчики тоже знали, когда Гитлер поведёт свои войска воевать. Они даже Сталину о том докладывали... Но он... Он специально не рассекречивался, чтобы фашисты до поры-времени не догадывались, что Сталин всё уже пронюхал. Потому и получили по сопатке в Брестской крепости. Самое главное, – продолжает он, – держать в секрете наше оружие, которым мы нанесём сокрушительный удар врагу и заставим его позорно капитулироваться.

– Че-во-о-о? – тянет Санька Непогодинов.

– Заставить сдаться, – солидно расшифровывает брат, – капитулировать – от слова «капут».

– А-а-а... ну, тогда понятно, – чешет затылок Санька, – так бы сразу и говорил: «Гитлер капут...»

– А какое у нас оружие? Если никакого оружия у нас нет, – недоумённо разводит руками Толик Паклин, – как можно держать в секрете то, чего нет? – совсем уж ехидничает он.

– А для чего тогда я вас здесь собрал? – сверлит его гневным взором адмирал. – У нас ещё в запасе почти три дня и три ночи. Неужели за это время нельзя себе придумать и наделать грозного оружия?... Например... изобрести самодельную, но по-настоящему боевую пушку...

– Как же мы её сделаем – твою пушку, когда она такая вся тяжёлая и железная? – крутит пальчиком у своего виска Бронька. – Всякие там сабли, которые дубины или мечи мы ещё сможем как-нибудь придумать, выломать из заборов. У Севки, сама видела, в дедушкином сарае целая куча этих штакетин. Может, ты ещё и самолётов или танк заправдашний, – опять крутит пальчиком Бронька Глебович, – не из деревяшек же делать эту самую твою пушку. Её раздерёт от пороху на куски... А нас всех поубивает. Будет тогда вам Матка Бозка, – переходит на польский Бронька. – И пороху? – не перестаёт язвить она. – Где мы возьмём столько пороху?... Обыкновенными же дубинками разве ошеломить супостата?..

– Что ты, как психическая, вертишь своим пальцем у башки? – не выдерживает Валерка. – Как дам сейчас по сопатке...

– Совсем необязательно, чтобы пушка была всамоделашная; главное, походила бы... – защищает идею командира Потапов Васька. – Мне папа рассказывал... Когда была настоящая война, наши специально делали такие пушки и танки, и даже из фанерок самолёты, которые потом для похожести раскрашивали; рисовали красные звёзды на крыльях. А немцы – дураки, думали, что они настоящие. Налетят целою ватагою, израсходуют впустую все свои бомбы и пули и думают, что победили, что все наши танки, пушки и самолёты уже подбиты. А наши возьми да неожиданно как жажнут с другой стороны, откуда они и не ждали. Дело в том, – продолжает Васька, – что с высоты, где летают самолёты, все эти раскрашенные пушки, танки и наши «ястребки» действительно представляются как настоящими и боевыми, в жизни не отличишь от всамоделашных железных.

– Правильно Валерик говорит, – пылко вступает на защиту Валерки Таня, – самое главное, чтобы у пушек были колёса и дулы с дырками, откуда вылетают толстые пули.

– Стойте! – повелительным взмахом руки останавливает всех командир, вновь беря в свои руки пошатнувшуюся было инициативу и авторитет командора, как он велел себя величать. – Я знаю, как это делать!..

– Чего делать? – переспрашивает Бронька Глебович. – Мы уже как два часа разговариваем и разговариваем... А война на носу...

Не обращая на Броньку внимания, брат с важным видом знатока принимается объяснять всем, как надо делать эту самую пушку.

– Вы все дураки и ничего ещё не понимаете... Читать надо... Сами и читать-то не умеют, потому и тупые. А в книжках всё про то написано... Надо взять брёвнышко толщиною, как дуло, и прожечь в нём дырку. Насквозь прожечь. В древние времена, когда пушки делали из дубов, только так и просверливали.

– Чем же ты эту дулу продырявишь? – психует Санька Непогодинов, который в отличие от всех остальных пацанов и девчонок был более всех сведущ в механике, так как благодаря своему старшему брату Юре, работающему шофёром на старой довоенной полуторке АМО, частенько посещал машинно-тракторную станцию, где, как он любил прихвастнуть, «давал машине ремонт».

– Чего проще, – не сдаётся Валерка, – взять железный лом или какую другую похожую железяку, нагреть в костре докрасна и запросто просверлять. И не я это придумал... Читать надо... Айда на болото... Запалим костёр и ...

– На какое болото, – визжит как резаная Танька Стукольцева, – надо сначала дулу подходящую в дровах отыскать, чтобы была крепкая

и не кривая... И железу... Чем дырку в ней дыривить. И дров надо по-незаметному натырить, да чтобы полешки были сухие. Иначе... Как мы железяку до белого каления раскалим?.. Как вы собрались на сыром болоте, где камыши, кочки, пиявки да лягушки, сухих дров сыскать, – опять визжит она, – ведь пока добела не нагреем – ничегошеньки насквозь не проткнётся.

– Зачем до белого каления, – горячится уже Потапов Васька, – когда довольно и докрасна.

Спор по поводу того, можно ли раскалённым на костре железным прутом прожечь дырку в круглом полене, стал перерастать в жаркий диспут. К доказательству силы нагретого железа брат даже привёл пример, как однажды, но только совсем ещё давно и не понарошку, мне чуть глаз не выжег раскалённой проволокой, когда вытаскивал золотое колечко.

– Ведь правда, Вова... Покажи им рубец на своей брови... – столь красноречивый пример возымел должное впечатление. – Если и на сырой коже от лёгкого прикосновения получился такой шрам. Так что ж тогда сделается в деревяшке, когда её тыкнуть покрасневшим от жара, ломом...

Найдя в поленнице более-менее ровный обрубок сырого осинового стволика толщиной с молочную бутылку-поллитровку, в каких, но только в городе, продаётся кефир и молоко, пруток толстой, но кривой арматурины, захватив по берёзовому полену, не мешкая, огородами, дабы кто из взрослых не заподозрил чего, всю ватагою направились на болото.

3

К этому времени погода резко испортилась, враз и резко похолодало, опустился липкий туман, по-осеннему заморосило. Ещё совсем вот-вот так жарко светило солнышко, так радостно и беззаботно купалось нам в речке, что казалось бы, зачем хорошему и доброму меняться на плохое, когда всем и без этого тоскливого дождика хорошо, а на улице нету грязюки, в небушке весело и дружно поют птицы. Всякие разные смены погоды меня – огнепоклонника, волновали особенно. И осенью, особенно поздней, и зимой, и ранней весной я мечтал о лете. Долгими зимними вечерами, когда за окном тоскливо завывала холодная вьюга, а по выбеленному и бескрайнему, что степь, полю со свистом мело колючею позёмкою, когда на душе было так грустно, что хотелось плакать, я забирался на так любимую мною русскую печь – тёплую и покойную, к тому же обжитую проказниками-домовыми, начинал предаваться самым изысканным фантазиям и мечтательствам о некой стране,

вымышленной мною же самим, с очень таинственным и красивым названием – Берестовая Обитель. Это оттуда, сквозь свист ветра и колючий звон позёмки, тоненьким детским голоском доносились до меня обрывки стихов с непонятным мне и совсем не детским содержанием, волнующие необъяснимой тихой радостью, сопричастностью к чем-то добрым и светлым. Хотя иногда их настрой резко менялся. Из бездонных глубин, как бы из бездны собственного «Я» – существа неприкаянного, скитающегося в крошечном мраке, подобно подземному гулу органа слышалась музыка, сопровождающая многоголосый хорал – холодная и торжественная, настораживающая, кажется, присутствием самой смерти, заставляющая так громко биться сердце, что уже и чудилось, как наяву: не по мою ли душу где-то там свершается памятная тризна. Вопреки всему этому, труднообъяснимому с позиций разума, именно оттуда – бесконечно близкого, как и бесконечно далёкого, вбирающего собой все миры, неслись жалобные и грустные звуки берестяной дудочки, которую я пропасть лет тому назад с обретением знаний, принятых мною ошибочно за мудрость, от высокомерия своего выбросил за ненадобностью, отрёкшись от самой простоты. Не по мне ли она и поныне плачет? Стихи, которые сами по себе пелись в моём сердце – глупого для всех и маленького человечка, со временем вновь воскреснут, но уже когда я стану совсем взрослым, научусь курить и пить водку, делать всевозможные глупости, впрочем, как и большинство из добропорядочных граждан, не замечающих ничего за собою эдакого, думающих, что живут пусть не совсем «свято», но всё же правильно. Но как и тогда, так и сейчас в их подлинном смысле остаётся многое из загадочного и необъяснимого даже для самого себя, казалось бы, автора написанного. А я ли?.. Придуманная сокровенными мечтами сказка существует независимо от моей воли и поныне. Вобрав в себя и прошлое, и настоящее, и будущее – потеряла время, нашла в себе бессмертие, заселённая, как земля обетованная, удивительными прозорливыми птицами, говорящими и мудрыми зверями, растениями, осознающими себя и осмысляющими окружающий мир могучими ветвями, уносящимися в поднебесье. В этой стране всё живо. И даже камни, с виду молчаливые и беспричастные ко всему, наделены особым сознанием, особой кристаллической формой бытия. Одно лишь печально... Не нашлось в моей сказке места человеку, который бы стал мне милым другом, оставаясь при этом не тем идеалистическим слепком, придуманным мною, в лучших своих качествах, а самим собою, то есть... умеющим спорить, но по справедливости, любить, но только совсем не потому, что и его любят, отдавать всего самого себя, но не из похвалы. Не найдя в самом себе этих, казалось бы, простых и чистых

человеческих качеств в полной их мере, навсегда остался тем, кем и поныне есть – Мальчиком без времени, почившим в придуманной собою сказке под чудным названием Берестовая Обитель.

*Берестовая Обитель –
Тайна юных дней.
Светлый ангел – мой хранитель,
Там гнездо мне свей.
Знаю, хрупким листопадом
Откружат мечты,
Пролетит опавшим садом
Птица – Я и Ты.*

*Ни к чему мне Охранитель.
Мы с тобой – одно,
Под берёзкою – Обитель:
Холмик, крест, вино...*

*От вериг Судьбы свободный,
Смерти ль я боюсь?..
Беспричастный и холодный
В Свете растворяюсь...*

4

«Вот, – думаю я, – убежали как угорелые, как один убежали, обуреваемые глупой затеей – прожечь в сыром осиновом полене дырку, позабыв в спешке и про спички, и про берестяную растопку, без которой в такую погоду разве распалить настоящий костёр... Мне ли – огнепоклоннику, не знать, как надо делать это по-правильному. Ведь все три печки в нашем доме, включая и ту, что самая маленькая и самая чудная в бане, мои лучшие и сокровенные подружки. Незаметно прокрадываюсь в дом, там, где самая большая русская печь, с полочки ворую коробок спичек, быстро прячу в накладной карманчик своих штанишек. Во дворе, там, где белёною берёзовою стеночкой возвышается поленица дров, торопливо обдираю с полешек пахучую берестяную кору, собираю мелкие щепочки, всё это заворачиваю в старую пожелтевшую газету.

– Ты это куда собрался? – спрашивает меня мама, выросшая словно из-под земли.

От неожиданности вздрагиваю, теряю дар речи, роняю газетный свёрток на землю, отчего он рассыпается.

– Понятно... Опять за старое... Папа сколько раз тебе говорил, сколько раз объяснял, что разжигать костры детям без присмотра взрослых

крайне опасно. Чем ты слушал?.. Быстренько отдай мне спички, которые ты самым бессовестным образом, без всякого спросу украл из дому, как негодный воришка. Ты знаешь, что тебе будет, как тебе влетит, если я расскажу папе!..

Расстраивать папу по этому делу мне, конечно же, не хотелось, а потому как бы случайно лезу в кармашек, достаю спички, отдаю маме.

– А где Валя? – так она с папою иногда дома называли Валерика. – Где Таня? – спрашивает строго она меня.

Разоблачённый, с поличным, дабы гнусным враньём не усугублять своего положения ещё более, по-честному признаюсь, что и Таня, и Валерик, а вместе с ними Толик Паклин, Санька Непогодинов, Стукольцева Танька и другие пошли ватагою на болото, что за нашим огородом, мастерить деревянную пушку.

– Какую такую пушку? – с изумлением смотрит на меня мама.

– Как какую... – удивляюсь я её недогадливости, словно она в курсе всех наших военных дел, – у которой дула из полена, в которой надо ещё прожечь железякой дырку, чтобы стреляла, как по-настоящему, – объясняю я.

– Так вот зачем тебе понадобились спички, – укоризненно качает она головой. Твоя затея? Ведь знаю... Точно знаю, что, кроме тебя, никто бы не мог додуматься до этакой белиберды... Пушка из полена... И додуматься только...

– Да ничего я до этого не додумывался, – оправдываюсь я, – это Валерик так догадался. Хотя я сразу сообразил, что так, как они хотят эту дулу просверлякать, ничегошеньки не получится. Да разве они послушаются... Кричали, кричали, махали руками, спорили без толку, а потом, правильно не придумав, как угорелые побежали всею ватагою исполнять глупость. Как же они всё это сделают, когда без спичек у них ничегошечки не получится, – принимаюсь с жаром убеждать я маму. – Можно я только сбегаю и посмотрю...

– Ты что, Боборика... Ошалел?.. Ведь только вчера горло лечили. Летом и умудриться схватить такую ангину... А всё ваши купания. Ни в чём меры не знаете, – с огорчением смотрит на меня. – Думаешь, я не знаю, как вы с Таней, разгорячённые, ледяную воду из родника хлебаете... Предупреждали же... Вот от всего этого у тебя и случилась самая настоящая ангина. И не проси даже. Не хватало нам ко всему ещё и промокнуть на болоте. Да, кстати... Зачем вам понадобилась пушка, да ещё и деревянная из полена? Полегче ничего нельзя было придумать?

– Да вот... воевать с путиловскими надумали, – солидно отвечаю я.

– А чем же они вам вот так насолили, – серьёзно спрашивает мама, – раз вы надумали пойти на самые крайние меры? Миром никак нельзя?..

Не умея, как ей правильно ответить, пожимаю плечами, но, вспомнив, что по этому поводу говорил брат, восторженно ору: «Чтобы стать настоящими героями-победителями, защитниками нашей великой страны пролетариатов».

– Так, всё понятно, – улыбается уже мама, – марш домой... Без тебя как-нибудь обойдутся вояки. Тем более сам же сказал, что ничегошечки из их глупой затеи не получится. А если прибавить ко всему этому ещё и комаров... Ты знаешь, какие кусучие комары на болоте?... Каждый за один присест не менее чайной ложки может выпить. А их там... Сложив ладошки рупором, тоненьким голосом звонко кричит: «Та-ню-ю-ша-а... Ва-ле-е-ра-а... До-мо-ой...»

5

Действительно, как я и предполагал, никакой дырки в осиновом полене и на длину указательного пальца прожечь им не удалось. Пропахшие, словно партизаны, дымом, вымазанные сажей и красной железной ржавчиной от кривой арматурины, которую они сначала пытались выпрямить, вставив конец между стволиками в развилке берёзы, да неудачно, так как, отпружинив, та высвободилась и так шмякнула неловкую Рябчикову Оксанку поперёк спины, что она с рёвом, не разбирая дороги, прямо по болотным кочкам кинулась тикать домой; кое-как распалив костёр, на что ушёл целый коробок спичек Тольки Паклина, спёртый им из дома, установили железяку и стали нагревать. Костёр чадил, то и дело пытался потухнуть совсем, но всё же благодаря совместным коллективным действиям, когда на него одновременно дули и махали лопухами со всех сторон, не только не погас, но стал разгораться всё веселее и веселее, пока не вспыхнул ярким пламенем, как самый настоящий и пионерский. Несмотря на все ухищрения, железяка разве что из ржавой превратилась в чёрную, ни краснеть, ни тем паче – белеть не собиралась; и сколько её ни приспособливали, казалось бы, к самым горячим местам костра, нагреваться до нужной температуры отказывалась.

– Это совсем какое-то неправильное железо – чугундур, – оправдывался Валерка, – настоящее, когда его нагревают на огне, обязательно расплавляется докрасна. Я точно это знаю, а всё потому, что читал в умной книжке; жаль, что название позабыл. Индейцы – это такие люди, которые ходят без штанов, а на головах носят для красоты перья попугаев, когда мастерят себе лодки, которые ещё называются пирогами, в нужных местах дырки всегда прожигают раскалённым на костре железным прутом.

– Может быть, наша железячка уже и нагрелась как следует, а мы не видим... А всё потому, что сверху совсем закопчённая, – предполагает

Бронька. – Что... теперь мы будем её накалять целый день и до самой ночи, пока дождь с неба как из ведра не польёт, а мы совсем не промокнем? – нервируется она.

– Давайте попробуем, – настаивает Толька Паклин.

Попробовать изъявили желание все враз и одновременно. В связи со всем этим неожиданно обнаружилось, что арматурина стала горячей не только на самом её конце, где пламя, что естественно, но и почему-то вся. Наташка Рыбкина, успевшая самой первой схватиться за конец прута, завизжала как резаная, бросила железяку на землю прямо под босыноги Саньки Непогодинова. Кому-кому, а ему-то уж точно известно, что значит быть раскалённому железу. Не раз и не два наблюдал, как кузнец Михей по прозвищу Могучий кривыми щипцами вытаскивал из огнедышащего горна раскалённую штуку железа, укладывал на наковальню, бил по нему молотом с такой силой, что искры снопами так и рассыпались во все стороны. Красиво аж ужас. Подпрыгнул так резво, что любой козёл позавидовал бы, сам чуть не угодил в костёр.

– Ты что – психическая! – заорал благим матом, дрыгая ногой, к подошве которой прилип тлеющий уголёк. – Не видишь, что ли?.. Раскалённой докрасна железякой чуть ногу не переломила.

– Откуда я знала, – страдальчески дует на ладошки Наташка, – что она накалилась не в том конце. Это ты специально так подстроил, – винит она уже Саньку, – чтобы я до самых костей обожглась.

Толику Паклину, живущему ближе всех, пришлось бежать домой за толстыми брезентовыми варежками, сверху сплошь излохмаченными, так как в своё время, когда его дедушка был совсем молодой, он не без помощи их занимался промыслом живых лис и прочего ценного промыслового зверья для звероферм области, где они использовались, как он мудро объяснял, для воссоздания захиревающего племени. С первой же попытки всем стало ясно, что таким образом «дулу» в жизни не пробуравить и вся эта затея попросту – пустая трата времени; к тому же, как выяснилось, ещё и опасная. Действительно, от соприкосновения с раскалённой арматурой дерево задымил и зашипело, но... Результат оказался столь малозначительным – всего лишь маленькая обугленная выемочка, что ни о каком пустотелом орудии при таком методе и речи быть не могло... А когда Валерка, держащий в лисьих варежках нагретый кривой прут, слегка промахнулся, тыкая в полено, и легонько вскользь проехал Таньке Стукольцевой по коленке, на том всё и кончилось. И хоть ожог был самым пустяковым, еле заметным, закатив командору оплечуху, с воплем убежала к себе домой. Арматурина утопили в болоте, туда же закинули и злополучное осиновое полено. Унылые и расстроенные разбрелись по домам.

6. Квадратное дуло

После того как затея с пушкой провалилась, и кажется, окончательно, на другой же день решено было вооружаться кто чем может, то есть саблями, пиками, дубинками, а главное – луками. Васька Потапов – низкорослый, худенький, с птичьей головушкой, остриженной под горшок, настоящий заморыш – стал показывать всем особый приём, которому, как он важно говорил всем, его по секрету научил дедушка, воевавший ещё в Империалистическую. Суть приёма заключалась в том, что за неимением верёвки пленного можно и вовсе не связывать; так посадить на землю, таким образом переплести ногу за ногу, что он в жисть сам без чьей-либо помощи не встанет. Как мне показалось, Васька явно или что-то понаперепутал, или сам на ходу попридумывал, чтобы предстать умным.

– Давай спорим!.. – горячится он по поводу моих сомнений относительно его дедушкина способа пленения без завязывания верёвками рук и ног, – давай спорим, что я сейчас вот так тебя посажу с переплетёнными наизнанку ногами... Попробуй сам высвободиться... Что, трусишь? – задиристо наступает он.

– Ничегошеньки я не трушу... Показывай...

Оказывается... перед тем как пленённого вот так хитро посадить, чтобы он никуда не утёк, необходимо сначала вбить в землю прочный и длинный кол, бедолагу так устроить с перекрещенными ногами, почти как по-турецки, чтобы этот дырн проходил ровно посереёдке. В общем, чёрт знает что... В последний момент, дабы над Васькой не смеялись, а главное, ради уважительного отношения к его дедушке, не стал высвобождаться сразу же, а наоборот, ухватившись обеими руками за кол, от натуги стал всячески корчиться, всем своим видом выказывая, как мне невыносимо трудно и что без посторонней помощи, конечно же, ну никак не управиться самому. Потапов Васька так искренне торжествовал, что, кажется, и сам поверил в свою же брехню.

До начала войны оставалось всего два дня. Неудача с возможностью завести свою артиллерию – владычицу и грозу полей, породила дух упаднического уныния. Как можно воевать, когда нет даже самой захудалой и малюсенького калибра пушечки... Участвовать в войне, которая уже назначена на двадцать второе июня, по-честному, и в душе никому не хотелось. На миру же все кипятились и бравировали, бахвалились, что разобьют путиловскую армию со всеми её вооружёнными силами в пух и прах, погонят в хвост и гриву, закидают шапками. Когда Наташка Рыбкина, обуреваемая сомнениями, напрямую спросила у адмирала Валерика относительно численности солдат противной нам стороны,

а Бронька Глебович – по поводу их вооружения, то брат, хитро уйдя от прямого ответа, стал приводить примером генералиссимуса Александра Суворова и что пуля – дура, а штык – молодец, а главное, берут не числом, а умением. Так запудрил им мозги, что они, осознав его умственное превосходство, скромно потупив глаза, отошли в сторону. Оттого что он был ужас как начитанным и умным, ему хоть и поверили, но всё же во избежание каких неожиданностей, мало ли чего, решили заслать в стан врага своего лазутчика, который бы всё хорошенько и разведал. Непонятно и почему, но все посчитали, что на роль разведчика больше всего подхожу я.

– А что... кто, как не Вовка... Маленький, юркий и сильный, как муравей, в любую щелочку может протиснуться. К тому же из путиловских его мало кто знает, – горячо доказывал Санька Непогодинов, покровительственно положив свою руку мне на плечо.

Брат же, хоть и скрывал внешне, но явно не хотел рисковать ближним, ведь меня запросто могли взять и в плен, пытаться, чтобы выведать военные тайны, а самое главное – пароль, который был записан на особой секретной бумажке, впоследствии пропитанной воском, которую было доверено сохранять моей сестре Тане. Как я понимал, война может быть проигранной лишь тогда, когда враг разведал тайну пароля.

– Нет... Вовке никак нельзя, – горячо стал переубеждать он всех. – Во-первых... все наши враги, уж будьте уверены, точно знают, что он мне родной брат. А потому... как пить дать посадят в мешок и возьмут в заложники – в плен, будут пытаться... А он... вон какой он маленький и боится холода, всё потому, что мерзляк и никак не закалённый. К тому же ужас как пугается буки... А вдруг они его – да в холодный чулан, где уж точно водятся не только мышки, но и буки.

– Вовка, ведь правда, – нарочито строго спрашивает он меня, – что ты можешь не выдержать трудностей и выдать секрет?.. Скажи по правде, как есть, глядя в глаза своим боевым товарищам.

Быть предателем мне, конечно же, никак не хочется, а потому, чтобы им не стать, ведь пытаться будут, по-честному признаюсь, что Лёнька Сопрыкин, аж третьеклассник, которому по-нечаянному чуть голову камушком не разбил, хотя метил в плывущую по речке ондатру, как раз – путиловский. Он уж неразпривстрече грозился стукнуть меня кирпичом. Обещался простить, если я ему добуду значок ворошиловского стрелка или, на худой конец, настоящую красноармейскую звёздочку. Нашёл дурака... За такое богатство я и сам готов поставить свою макушку кому угодно. Подумаешь... Шишку набил... Если я там появлюсь, Лёнька, и это уж точно, начнёт меня пытаться, а может, и вообще... Стукнет по голове огрызком кирпича, секреты сами по себе и выпадут.

– Правильно Вовка говорит, – внушительно басит Вася Потапов, – мальчишкам никак в разведчики нельзя, враз разоблачат. Лучше всего подходят девчонки. Они гораздо пронырливей и хитрее. К тому же... и в плен их никто не захочет брать, зная, как они умеют пищать.

– И нисколько мы не пискуны, – категорически не соглашается с Ваською Рыбкина, – всем известно, кроме вас дураков, что лучшие разведчицы – это тётки, а никакие не дядьки. И гораздо секретнее, и пыток ничуть не боятся. Это дядьки... Как что, готовы себе из нагана в башку стрельнуть, лишь бы не терпеть боли. У моей мамы её родная сестра – тётка Ида на войне была настоящей разведчицей, переодетой в фашистскую форму. А всё потому, что знала несколько языков, а на немецком даже научилась думать. Так папа сказал. У неё был самый заправдашний шпионский фотоаппарат размером с пуговицу от пальто, фонарик величиною с тонюсенькую макаронинку, который мог светить аж до неба, и секретная губная помада величиною с патрон, из которой можно было стрельнуть и запросто укокошить насмерть.

– А где они сейчас? – не без внутреннего волнения спрашиваю я. – Покажешь...

– Ты что, Вовка! Разве у моей тётки Иды выведаешь, где она их хранит... Так она тебе с насоку и сказала... Знаешь, что её тогда будет за разглашение военной тайны...

– Так она же уже кончилась, – с удивлением замечаю ей я.

– Кто это она? – передразнивает Рыбкина, презрительно охлаждая меня своим взглядом.

– Война, – психую я, – на которой твоя тётка работала разведчицей. Мой папа тоже воевал танкистом. Если бы его танк фрицы не подбили и ему от взрыва не оторвало башню, то уж точно после войны он бы приехал домой на танке и с автоматом.

– Вовка! Не говори глупостей, – по-взрослому нервируется Ирка, – папа сказал, когда они праздновали в нашем доме Победу, а тётка Ида наравне с ним пила по стакану самогонной водки, что для настоящих разведчиков война никогда не кончается. И она мне сама так говорила. А ты хочешь, чтобы она тебе показала место, куда она затырила шпионские принадлежности. Как она тебе их рассекретит, когда для неё тайная война так ещё и не кончилась... А в разведку на путиловку лучше пойду я. Схожу и всё, как есть, тайно разведваю. А все пацаны – настоящие трусы.

Адмирал Валерик с собственновыдвиженческой кандидатурой тут же согласился, всю полнотой своей власти утвердил, обещал в случае добычи ценных сведений собственноручно наградить куском сахара. Слышу, как рядом стоящая Бронька Глебович шепчет на ухо Рыбкиной:

– Ирка... Ты хорошенечко разужнай, может им уже расхотелось воевать. А знаешь, какая длиннющая эта улица Путилова?.. Наша Карло-Марксовская не менее как в половину её короче. Если они всех своих бойцов соберут до кучи да попрут целой ватагою, то нам, считай, хана.

– Трусиха... – с презрением шипит на неё Рыбкина, – неужели тебе не хочется сложить голову за правое дело, которое мы отстаиваем против супостата? Посмотри, как я вчера, когда прожигали дулу у пушки этой железой, изувечилась, – показывает правую ладонь руки, страдальчески дует на неё, едва шевеля пальчиками. – Видишь, какой боевой шрам... Как от самой настоящей раскалённой пули. Если бы зараз не помазала ладонь сметанкою, уж точно вся кожа, как есть, вздыбилась бы и до самого мяса сползла. Эх ты... Предательница, – громко шипит она.

В разведку Ирку провожали всем отрядом. Каждому хотелось напоследок притронуться к ней хоть пальчиком, сказать что-то доброе, ласковое и очень важное, пожелать успехов. Шутка ли... В логово самого врага... Напялив свою панамку на самые глаза, как это делают настоящие чекисты, когда их родина посылает на важное задание, для пущей секретности её называют ещё конспирацией, прихватив берестяной туесочек, вроде как ягодница, Ирка с самым суровым и непроницаемым выражением лица медленно двинулась в сторону улицы Путилова.

– Не подкачай, боевая подруга, – патетическим голосом прокричал ей вслед командор Валерик, – родина тебя не забудет...

С разведки Ирка Рыбкина вернулась аж через час. Довольная и счастливая, но с лицом, исполненным нарочитой суровости, тут же, как и положено военному человеку, доложила, взяв ладонью израненной руки под козырёк:

– Товарищ адмирал! Ваше приказание по сбору секретных военных тайн в тылу врага выполнено. Капитан разведки Рыбкина.

– Это скаких таких пор ты сделалась капитанкой? – округляет от изумления глаза Санька Непогодинов. – Мы так не договаривались. Это как же так получается... Ишь ты какая хитренькая... Мы все обыкновенные солдаты и солдатки, а она... Она уже генералкой сделалась.

– Не генералкой, а капитаншей, – парирует Ирка, показывая Саньке кончик языка.

– А кто это тебе так сказал, что ты офицерша? – не унимается возмущённый Санька. – Этак и я себе могу так придумать. И даже ещё шибче...

– У разведчиков и имена, и звания, и даже где они родились, всё засекречено, – вступает за Рыбкину Толик Паклин, – а ты пристаёшь понапрасну.

– Отставить в строю разговоры! – сурово произносит Валерик. – Докладывайте, товарищ капитан.

Ирка ещё раз показывает язык Саньке, от чего тот психует ещё более, требует, чтобы и ему присудили хотя бы сержанта, начинает докладывать с самого главного:

– Войну они отменять и не думают, пригрозили, что, если понадобится, наберут и сто штыков, порубают всех нас в капусту, освободят родную землю-матушку от фашистской нечисти, а на самой высокой рябине в знак торжества доблестной Советской Армии и товарища Сталина водрузят свой красный флаг.

К достоверности сказанного они мне даже показали это знамя победы; оно у них уже приготовлено. Белого цвета, как простыня

– Как белое? – недоумевающе переспрашивают все. – Разве боевому знамени должно быть белым?

– А-а-а-а! – радостно орёт Санька. – Сами себя и выдали. А всё потому, что по-взаправдашнему не мы фашисты, которых они хотят в капусту порубать и на рябинах повесить, а они – беляки колчаковские, контры недобитые. Это они специально так маскируются... Но мы, рабочие и хрестьяне, быстро раскровяним им сопатки, – героически восклицает вольнолюбивый Шурка, возбуждённо шмыгая носом, утирая его тыльной стороной грязного кулака.

Непонятно и почему, но всю свою вековечную классовую ненависть он неожиданно вымещает на очень воспитанной и интеллигентной Броньке Глебович.

– А вот мы ещё поглядим, кака ты на самом деле рабоче-хрестьянская солдатка... За дело народное... Это тебе не на скрипке нудить. Тоже мне нашлась... Знаем мы вас, буржуев... Матка Бозка чистохвостка...

– Санька! Ты чего это ни с того ни с сего по-напрасному к Броньке пристаёшь, – вступает за свою подружку моя сестра, – ты знаешь, что у неё дедушка настоящий герой, он даже Ленина живого видел. Ведь правда, Броня?..

– А у этого психованного все кругом дураки и виноватые, – язвит Рыбкина, – недослушает до конца... Всё дело в том, – важно продолжает Ирка, презрительно окидывая взглядом Непогодинова, – что они нигде не смогли раздобыть такого размера кумачовой материи. А так всё по-правильному. Взяли и по белой тряпке вывели большими-пребольшими буквами, чтобы далеко было видно и издалека, что оно красное. Так и написали – Красное знамя.

Идея неприятеля с флагом подтолкнула и нас подумать о нечто подобном.

Признаться, в пылу милитаризации армии совершенно забыли о духовно-идеологической её составляющей. Не мешкая, тут же решили раздобыть и во что бы то ни стало настоящей красной материи для

водружения сшитого из неё знамени на самом высоком дереве, которое можно сыскать в Рябиной балке. Но не сейчас, а в тот день, когда быть войне. Как самому ловкому среди всех нас и самому бесстрашному, это архиответственное боевое задание поручили Саньке Непогодинову. Несмотря на свою исключительную худобу, когда казалось – в чём и душа-то теплится, был необыкновенно сильным, характера твёрдого и дерзкого, хоть и психованного, отличался непоколебимым чувством высокой справедливости и не только к себе, а и вообще ко всем окружающим его друзьям и товарищам. Десятка был далеко не робкого. Дрался как чёрт, невзирая ни на возраст противника, ни на его явно большие габариты. За правду-матку мог искровянить харю, как любил он выражаться, любому пацану, если он эту самую правду-матку вздумал нарушать. От великой гордости, что это только ему доверили столь важное и ответственное поручение, вечно бледноватый Санька вдруг покраснел как рак, на глазах его выступили слёзы. Не умея, как в этих случаях себя вести, смутился; от нервов по-показному стал быстро вскарабкиваться на вербу, да так опасно, что чуть не сорвался, как бы ещё раз доказывая всем, что выбор ненапрасен, посмотрите, какой я ловкий и бесстрашный. Из очень бедной семьи, пожалуй, самой малосостоятельной во всей деревне, старался никогда и никому не давать повода к тому, ни у кого и ничего не просил, держался со всеми остальными на равных, а то и более; всем своим видом высказывал свою независимость, за что и уважали. Видя его затруднения, – знаменосец – это вам, братцы, не халам-балам, – Валерик – хитрый и тонкий психолог, знаток человеческих душ, похлопал его по плечу, проникновенно и по-отечески, как это умеют делать отцы-командиры, сказал:

– Эх, Санька... Если бы у нас была пушка да ещё несколько таких бойцов, как ты, мы бы их всех враз на лопатки уложили. Да ладно уже... Может, и без пушки справимся... Айда со мною, я знаю, где в школе можно кумач добыть для нашего знамени.

7

Озарение, как правило, посещает человека внезапно, без всяких, казалось бы, к тому волевых побуждений, а порою и совсем вопреки им. Озарившись таким образом, я, в отличие от саракузского геометра Архимеда, не стал бегать по Курьям голым, не принялся взывать дурным голосом к какой Марусе, что, дескать, осенило и что открыл нечто удивительное, отчего человечество в целом станет ещё счастливее. Молчал в тряпочку, зябко поёживая плечиками, тоскливо и даже с опаской

причитал внутри себя: «И почто это мне, Господи?..» Озарение – штука сложная и весьма даже небезопасная. К примеру... иной полководец и вроде всё просчитал до мелочей – тютелька в тютельку, и победа, кажется, уже в руках, и добыча богатая, как вдруг... Внутренний голос возьми да обескуражь, то есть озари: быть тебе повешенному на осине... Заметь, и это весьма существенно по смыслу, не быть тебе, знать-то, повешенному, что даёт право слегка усомниться, а без всякого этого неопределённого «знать-то», то есть конкретно быть повешенному. Но всегда ли мы прислушиваемся к внутреннему голосу?.. Иное дело – волхвы... Эти ребята никогда не ошибаются, и, коль уж предрекли Вещему Олегу принять лютую смертушку от коня своего, всё так в точности и произошло. В мире не найти ни одного человека, которого пусть хоть один разок, да не озарило по какому поводу. А потому случаев внезапного просветления мозгами и не счесть. Всякие приключения... Иной после трёхсот граммов водки, принятой на грудь, так начинает озаряться, что аж, честное слово, в темноте по-правдышному принимается светиться. И я, будучи ещё совсем пацаном, сам очевидец тому. На свадьбе Евкея Кудряшкина с Радыгиной Нюрой, что отмечалась в Боровках в доме родителей жениха, бухгалтер-счетовод Яков Хорошкин – дружка молодожёна, приличнейший, надо отметить, человек, от избытка хмельных чувств и особого свадебного куража решил продемонстрировать всем, что есть тот уникальный человек, на которого электрический ток ну ни капельки не воздействует.

– А почему?.. – делает он своё лицо как можно таинственной.

Да всё благодаря специальным упражнениям, которым его обучил индийский брамин Прабопутра Синтх Тхати Аргуна, проживающий в Шамбале, в которую можно попасть, если добросовестно заниматься йогой, прямо из Боровков. Недолго томя, извлёк из кармана большую канцелярскую скрепку, согнул буквой пэ да и сунь в розетку, где этот самый ток проживает. Ей-ей!.. Так озарился, что, не окажись по случаю спасительной браги, которой спешно начали отпаивать, уж точно представился бы. Меня же озарило совсем по-иному: какая такая нужда делать ствол у пушки с круглою сквозною дыркой, когда его можно придумать квадратным и какой угодно как длины, так и ширины. Как угорелый, но молча несусь в наш дровяной сарайчик, что возле самой баньки, где каких только деревяшек не навалено в общей куче, нахожу четыре узенькие и одинаковые дощечки, такие, из которых мастерают красивые заборчики под странным и непонятым названием – штакетник. Есть!.. Как бывает в таких случаях, когда человека нечаянно озаряет, и молоток, и гвозди, и пила в умелых руках его начинают ликовать,

вытворять нечто невиданное доселе, похожее на произведение искусства, а может, и само произведение искусства, кто его знает... Не сами ли мы тому судьи?.. Гляжу в отверстие квадратного деревянного ствола, сбитого собственноручно, да так умело, что досточки как под линейку и ни одного гвоздичка, забитого криво, вылезшего своим остриём наружу. Длиною чуть ли не в собственный рост, он представляется мне сказочной подзорною трубою звездочёта, направленной в небо, в котором, как из глубины чёрного колодца, видится пронзительно-синий квадратик самой бесконечности под всеобъемлющим именем – Мир. Душу наполняет необыкновенной гордостью: сбилось так крепко и плотно, что ни единой и малюсенькой щелочки по бокам. Как сделать лафет, на котором бы покоился ствол, также придумалось скоро. Два стареньких железных колеса, обтянутых рубчатой и чёрной резиной, связанных воедино железною осью, всё, что осталось от Валеркиного трёхколёсного велосипеда, который, как выразилась мама, укатали до смерти, – самое то, что мне и надо. Как помню, их не выбросили, а на всякий случай спрятали в чулане, где и без того можно было не сыскать разве что чёрта рогатого.

– Совсем почти новенькие, – с радостью отмечаю я после того, как пришлось перевероршить чуть ли не весь чулан.

Хозяйственным взглядом осматриваю два красненьких колеса на никелированной блестящей оси, соображаю, как к ним половчее можно приладить своё квадратное дуло. Можно, конечно, без всяких мудрствований пришпандорить гвоздями, загнув их концы колечками поперёк оси, но... Больно уж некрасиво... А я... Я мастер!.. В досточке такой же ширины, как и мой четырёхугольный ствол, посерединке ножовкою делаю поперечный паз такой ширины, чтобы в нём могла утопиться ось, небольшими гвоздиками крепко прибиваю её к стволу. Великолепно!.. Но что всё это, эта красота на красненьких колёсиках – бутафория, пшик, очковтирательство, если пушка не приспособлена стрелять; кто ж её – такую игрушечную, испугается?.. Озарение – и план созревает моментально. Поршень!.. Великое дело поршень! Без него не быть паровозу, не быть машине, не быть прессу, такому, какой стоит на заводе «С», при помощи которого сминаются, как бумажные, крылья отслуживших самолётов, гнутся железные листы и даже, страшно и представить, железнодорожные рельсы. Все поршни, как правило, круглые, и цилиндры, где они бегают с сопением туда-сюда, тоже круглые, наподобие трубы. Ствол в моей пушке квадратный, а следовательно, и поршень также необходимо обтесать подобный ему, схожий с дрынком четырёхугольного сечения, свободно скользящий внутри. Он, как мне представляется,

должен быть почти как и длина ствола, приспособленный оттягиваться на тугой резине, такой, как и у рогатки, но гораздо более сильной. С этим материалом проблем не будет – размышляю я. Кому из пацанов неизвестно, что самая мощная, крепкая и тягучая резина – это резина от велосипедной камеры. А особенно та, что кирпичного цвета. Как сказал папа, в неё почти сажу не добавляют. Зачем добавляют в резину сажу, когда эту резину как-то делают на специальных фабриках, я не знаю, из мудрёных разъяснений отца по этому поводу ничегошеньки не понял. У меня её – сколько угодно. Санька Непогодинов приволок целых две камеры, мы с ним затырили их под досками.

– Смотри, Вовка! Никому не говори. Батька пообещал ухи все повыкорчёвывать, если ещё раз узнает, что я мастерю из неё рогатки. Это опосля того, – солидно и сиплым голосом говорит он, – как я Ваньке Корчагину с Кунары промазал по эмалированному бидону с нарисованными цветочками, попортил малость. Хотел проверить, проскочит ли камушек насквозь через крутящиеся спицы его лисопеда... А он возьми да и сигани в ямку. От неожиданности такой и мазанул по бидону; он у него к багажничку был пристроен. А ещё... стекло на ферме кокнул... Откудова мне было знать, что камень из рогатки пробуравит листья на ветках. В окошко я и вовсе не метил. А баба Ганька возьми да продай председателю Чуванёву. Отлупили, конечно... А коли у тебя случится кака нужда в ней, мало ли чё, для тебя, Вовка, ничутьючки не жалко, отрезай сколько душе угодно.

– Главное, – мыслится мне, – по-правильному выстрогать поршень, чтоб и ходил свободно, но и зазору было в самую малость, иначе, как рассказывал Санька Непогодинов, когда они с братом Юрием Афанасьевичем давали ремонт своей полуторке на ЭМ-ТЭ-ЭС, газы в цилиндре попрут во все стороны. Эх, – сетую я, – если бы мне научиться по-правильному орудовать рубанком, как это делают мастеровые дядьки, которых называют плотниками, а ещё столярами. Жик, жик, жик... А стружки так и крутятся, так и крутятся золотыми завитушками; дощечки получаются ровненькими и гладенькими, с красивым узором, пахнущие хвойной смолой, аж ужас как вкусно. Самое главное, как думается мне, когда замыслил делать какую работу, всё по-правильному представить: что в целом должно из этого выйти. А потом выделывать разные детали... Поршень, который мне необходим, чтобы пушка по-правдышнему стреляла, не просто квадратная палка, а настоящая деталь. Она должна чётко соответствовать другой детали, то есть стволу, который, в свою очередь, также состоит из четырёх одинаковых деталей – досточек, соединённых крепко-накрепко при помощи гвоздей. Интересно... Получается, что

и гвоздь, как его ни крути, также является деталью единого задуманного механизма... Ведь, не будь его, разве всё остальное составится в единое целое в нужном порядке?..

Хорошенько порывшись в сарае, нахожу обрезок толстой еловой доски. На первый же взгляд вижу, что по толщине – чуть более внутреннего размера моего ствола. Это хорошо... Когда есть в запасе запас, это гораздо лучше, чем его нету. Главное сейчас – по-правильному отметить и, поставив лезвие маленького топорика на чёрточку, резко тукнуть по обушку молоточком. Еловые дощечки, особенно если они очень сухие и без сучков, раскалываются ровненько и со звоном. Не раз наблюдал, как мама, перед тем как растопить русскую печь, большим ножом из берёзового или елового полешка накалывала лучинки, похожие на тоненькие палочки. Завернув их в бересту и подсунув под дрова, поджигала, да так умело, что уже совсем вскоре огонь в сводчатом кирпичном зеве так и бушевал. Иногда, и это бывает часто, дровяшка колется чуть по косой. Хорошо, если в бóльшую сторону, когда остаётся запас и есть возможность поправить как нужно, то есть сделать в размер. Если же скосит в обратную, то, считай, деталь разве что на дрова... Несильный удар – и в руках у меня почти готовая деталь нужного размера. Это же надо вот так удачно! Восхищённо смотрю на почти готовый поршень, примеряю то одним, то другим концом к отверстию ствола – почти тютелька в тютельку; самую малость... И впору. Зажимаю в тиски, большим и плоским папиным напильником с грубой насечкой выравниваю лёгкие извилистые неровности по всем четырём сторонам, систематически сверяюсь с квадратною дыркой своего деревянного дула. Заднюю часть поршня, самый обушок, обрезав по периметру ножовкой, оставляю в размер чуть более, чтобы он не проскакивал насквозь, а тормозился без заклинивания, являлся, в свою очередь, ограничителем. В нём для резины, как я придумал, нужно ещё пробуровать дырку. Папина ручная сверлилка по имени Дрель проживала в чулане в специальном фанерном лаковом ящичке. Выполненный по её размеру, он распахивался на петельках, подобно книге, имел внутри себя различные уютные отделения из деревянных перегородочек, где, помимо самой машинки, хранились разных размеров свёрла, диски для наждачных шкур и запасной патрон, в который и вставляют свёрла. Был у папы и другой ящичек красного цвета с комплектом инструментов для слесарных работ, очень маленького размера, но самых настоящих, куда входили и железные тисочки, и зубильца, и стальные пилочки, напильнички, керн, которым намечают на железе, когда необходимо точно просверлить, и совершенно непонятный мне маленький стальной угольник с такою же линейкой. Этот

замечательный комплект инструментов, как рассказывала нам потом мама, папа купил в Свердловске в специальном магазине по случаю дня рождения нашего старшего братика Валерика, когда ему исполнилось аж... аж два годика... Как и сам ящичек, так и все инструменты в нём также были выкрашены в ярко-красный цвет. Малюсенькие ювелирные слесарные тисочки и нержавеющий угольничек, покрытый словно холодной изморозью, – вот и всё, что осталось от этого чудесного набора моего детства; хранятся и ныне у меня. В самом наилучшем состоянии здоровья вместе со мной продолжают трудиться, восхищая своею изумительной прочностью, простотою и особой элегантностью, самым временем, в котором было всё подлинным, настоящим, не терпящим никакой фальши, так присущей вещам нынешним, пусть и красивым внешне, но насквозь лживым внутри. И разве я не прав?..

8

Ручную дрель папа купил гораздо позже и тоже в Свердловске.

– Смотри, Боборика, – это он меня так по-ласковому называл, когда радовался моей смекалке и моим «золотым рукам», которые почему-то были всегда исцарапанными и не всегда чистыми, потому как от разных железок, камней, глины, деревяшек и каменного угля, запасы которого я тайно обнаружил в конце огорода в яме, никак не хотели отмываться, – вон какую сверлильную машинку я приобрёл в специальном магазине. Это тебе, брат, не какой-нибудь там кривой коловорот, которым электрик дядя Сёма дырки в телеграфных столбах буравит под ролики. Двухскоростная... Если вот эту ручку перекинуть на другую сторону, – учит он меня, – то крутишь так же, а патрон со сверлом вертится в два раза быстрее. А почему?.. Да потому, что там под редуктор шестерёнка другая. Понял?.. Это когда надо сверлить самыми тонюсенькими свёрлышками, которые любят скорость. И сам патрон устроен так хитро, что в него хоть махонькое, хоть вот такое, – показывает на самое толстое, толщиной со свой указательный палец, – и даже ещё толще вставить, и всё будет держаться крепко.

Как помню, при испытании дрели мы с папой нечаянно пробуровили наш праздничный круглый стол, который мог расставляться и делаться уже не круглым, а очень длинным. И хоть всё вроде заранее предусмотрели, под одну досточку, на которой производили эксперимент по сверлению, подложили ещё и другую, – сверло так быстро зукнуло, что не успели и опомниться, как обе досточки и стол вместе с цветной редкостной клеёночкой так насквозь и просверлились. Я пообещал папе

клятвенно, что не выдам, маме ничего не скажу, а если что, то сопру на домового Кузю, с которого какой спрос... Папа посмеялся, в дырочку забил деревянный чопик, выступающий краешек аккуратненько срезал ножичком. Сделалось ещё красивее прежнего. Судя по папиному настроению, эксперимент с дрелью ему очень понравился.

– Представляешь!.. – радостно делится он с мамой, показывая ей две досточки, просверленные насквозь, – не успел Боборика и крутануть, как вмиг насквозь...

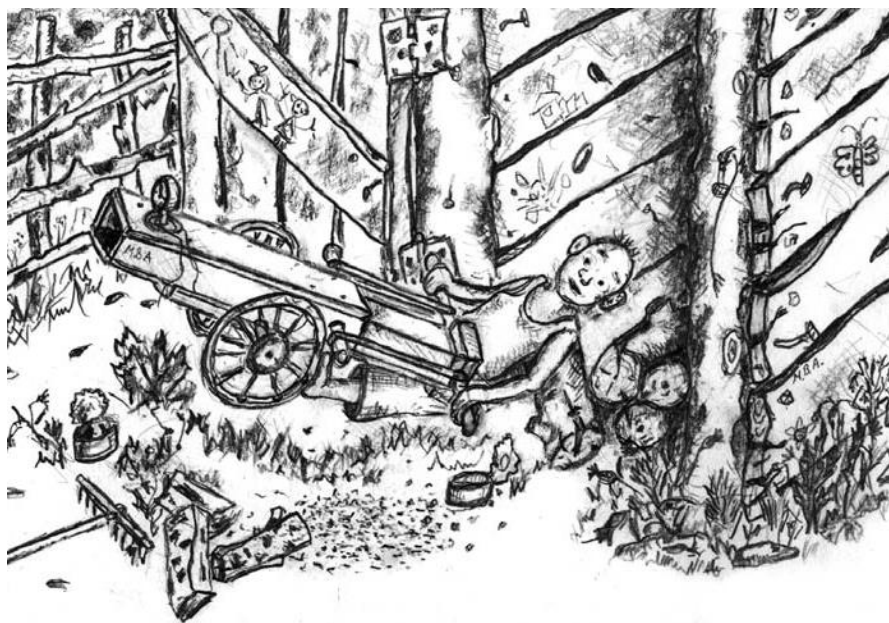
– Надеюсь, что эти доски вы сверлили не на нашем новом кухонном столе?

Переглянувшись с папой, по-честному признаю, что нам бы и в голову не пришло сверлить дощечки на кухонном столе, сплошь заставленном вымытыми тарелками, блюдечками и стаканами, где совсем неудобно. Дабы уйти от ненужных подробностей и прочих неудобных нам расспросов, папа перехватывает инициативу, самым серьёзным образом начинает убеждать маму, что такой машинкой можно, как из автомата, и на лету дырочки просверливать.

– А если к ней пристроить ещё и моторчик, ведь правда, Боборика, – подмаргивает мне глазом, – можно даже дрова пилить.

Последнее, сказанное папой, меня несколько обескураживает, ибо как пилить дрелью дрова, пусть она даже с моторчиком, я и в голову не могу взять.

Вот этой самой дрелью высверливаю на обушке поршня элегантнейшую круглую дырочку нужного размера, аккуратно вбиваю туда наметанной длины выструганный колышек, к которому с двух сторон и будет крепиться резина. Как учил папа, когда дерево не очень твёрдое, то сильно нажимать на сверло не надо, может расколоться, особенно если сверлить толстым сверлом. У мастеров, к которым я себя в душе относил, ничего и никогда не потрескается. Осталось свёрнутые напополам обе ленты резины от велосипедной камеры привязать с двух сторон ствола; обратные же концы натянуть и вдеть на колышки поршня. С умилением гляжу на придуманную и изготовленную собственными руками пушку, душа переполняется неопишуемой радостью. Такую пушку и не каждый взрослый дядя сообразит... С гордо приподнятым стволом, установленным на подвижном лафете оригинальнейшей неповторимой конструкции, какой и в целом мире не сыскать, на элегантнейших красных колёсиках со спицами она мне казалась совершенством красоты и технической мысли. Ни пороха тебе, ни каких-то там патронов. Простота – удел гениев... Сел на попку прямо на землю, упёрся ножками в колёса, оттянул на себя поршень с резиной и... Как ахнул по супостату... Чтобы поршень в боевом



натянутом положении как-то фиксировался до времени, на одной из его сторон пришлось сделать специальный заруб, которым он и цеплялся за внутренний торец края ствола. Задумка неожиданно получилась настолько удачной, что во взведённом положении, стоило только легонько стукнуть по обушке поршня кулачком вниз, как он соскакивал со своего заруба, с силою бил по заряду. Приспособление, конечно же, всё же нуждалось в дальнейшем усовершенствовании, так как было довольно опасным и не всегда предсказуемым, могло от малейшего сотрясения и стрельнуть, но... Что все эти мелочи по сравнению с главным?.. Дабы не рассекречивать своего оружия до времени, испытание пушки решил произвести тут же, в деревянном сарайчике, где она и была произведена на свет. Набрав в консервную банку тончайшей дорожной пыли, которая по моему замыслу должна была имитировать произведения порохового дыма при выстреле, в другую – мелких круглых камушков, замещающих боевую свинцовую картечь или шрапнель, со всем этим стремглав несусь к боевому месту экспозиции своего орудия, скрытого, секретно, от вражеских глаз неприметным и мирным дровяным сарайчиком, так мало похожим на настоящий военный завод. Привожу свою пушку в положение боевое, фиксирую на зарубе, шомполом проталкиваю в ствол комочек газеты, следом засыпаю из баночки пыли, за ней же – горсточку

каменной шрапнели. Всё, готово... Выставляю пушку в открытый проём двери, голосом лихого боевого командира команду: «Ба-т-т-а-ррея, целик двадцать один дробь два, шрапне-е-ельным пли-и-и...».

Резким движением кулака ударяю по краю поршня, слышится сухой щелчок, клубы дыма вырываются наружу, доносится, как по шиферной крыше нашего дома, стоящего напротив, гулко и дробью защёлкали камушки.

– Ура-а-а! Получилось, – ору я во всё горло, – по-настоящему получилось!

– Вовка! Это ты, что ли, так напылил? – со страхом спрашивает меня домовёнок, неожиданно материализовавшийся, кажется, из кучки самих берёзовых полешек, усаживается на махонький кругленький чурбачок с недопиленным сломом, схожим со спинкою готического кресла, закидывает ножку на ножку, обутые в берестяные лапотки, уставившись на меня лукавыми глазками, по-смешному шмыгает носиком. – Как тебе не совестно, – сморкается в махонькую затрапезную тряпочку, – ты же знаешь, что у меня на пыль проявляется жуткий насморк... Чего же тогда пылить?.. – строит он обиженную рожицу, готовый вот-вот расплакаться. – Экое уму непостижимое надумал... Камнями швыряться да пороховой дым изображать. Смотрю я на тебя, Вовка, и диву даюсь, откуда это у тебя этакие воинственно-милитаристические склонности? Из какого колена бытности, рода твоего они проявились? Ну понятно бы, когда самокатик... Вещь полезная и занятная, особенно когда с горки какой... Нет бы на что созидательное... Взял да мои любимые колёсики на пушку нелепейшей конструкции потратил. Где ты такое видел, Вовка, чтобы артиллерийское орудие подобно хулиганской рогатке через квадратную дырку пылью да камнями пулялось... Даже римляне – эти вечные вояки, со своими катапультами, подобными арбалетам, стреляющими стрелами величиной с бревно, и то до такого не додумались.

– Нашёл чем упрекнуть, – возмущённо отвечаю ему я, – они и резины-то от велосипедных камер не знали... И многое чего ещё другое... А всё потому, что были древними.

– Как это не знали? – морщит лобик домовёнок. – Почитай, каучуковые деревья от самого Сотворения Мира... И вообще, запомни... В Природе, кроме прямолинейно сделанных кристаллов, ничего квадратного не сыскать... Хоть ты лопни, хоть ты тресни. А почему? Вот спроси у меня – Иоакима Мудрого – почему... А я и скажу. И не просто скажу, когда абы как, лишь бы побыстрее отделаться, а по-правильному.

Не дожидаясь моего вопроса, закатив глазки и скривив брезгливо рожицу, принимается жутко философствовать. Да-да! Вы не ослышались,

именно так... Не жутко материться, когда на свет выносятся странные и непонятные слова, содержательный смысл которых противоречив до самой противоречивости, а подобным же образом философствовать. Заметили разницу...

Итак... На чём же это мы остановились? – морщит он свой лобик, шерстистой лапкою скребёт затылок. – Ах да... Природа не терпит углов. Те же, которые вопреки естеству всё же как-то появляются, со временем не просто сглаживает, но и округляет до полной округлости шара. А потому, друг мой любезнейший, куда ни обрати свой мудрый взор – всё летит, всё вертится и даже кувыркается. Кувыряться, и это известно каждому философу, может только то, что ещё не обрело качеств своей совершенности. Свершенное тело обязано возвращаться на круги своя. Но дело в том, что и эти самые круги летят чёрт знает куда, кружат вокруг других, ещё бóльших кругов до самой бесконечности, которая, в свою очередь, перетекает в следующую бесконечность в форме гипергигантского мыльного пузыря под названием Пшик. Дунь слегка, нарушь равновесие и... брызги во все стороны. Как видишь... движение и квадрат несовместимы. Просверленный тобой с отцом стол не доказательство ли последнему... Дырочка-то получилась кругленькой... Дивлюся я тобой, Вовка... С твоею-то головой, переполненной всякой всячиной, где совместимое с несовместимым может как-то соседствовать и даже сотрудничать, при таком-то немыслимом переполохе в башке уж мог бы как раз плюнуть, додуматься и до трёхугольного ствола. Какая в том разница?.. К тому же затраты по материалу самые минимальные. А пестик, который ты так важно по-научному называешь поршнем, можно было выстругать и трёхгранным. Поверь мне, светла твоя головушка, результат совершенно одинаковый. И колёса к твоей пушке, которые ты выкрал у меня, переворотив весь чулан, совсем ни к чему. Взял дуло под мышку вместе с поршнем и резиной, в коей и есть вся мускульная сила орудия, да и носи себе куда надо. Экая проблема. Без всякого спросу спёр мои любимые крутилки, – плаксиво шмыгает носиком Иоаким, – ты хоть знаешь, сколько в каждом колёсике спиц? – неожиданно спрашивает он меня, сосредоточенно перебирая пальчики на своих руках. – Вот видишь... И не знаешь. А всё потому, что очень мало любопытствующий. По двенадцать спицачек на каждом колёсике. В двух... Двенадцать помножаем на два... Получится... получается... – морщит лобик, пальчиком правой ручки принимается загибать пальчики на левой. – Вот видишь, – торжественно произносит он, – ты и не в зуб ногой, а я догадался. Будет двадцать четыре. Тебе эти числа что-нибудь говорят? – машет безнадежно лапкой, тут же отвечает: – И чего это я у него спрашиваю, когда он в числах ещё более сумасшедший, чем я сам. Гуманитарий...

– А с чего это ты взял, – уже нервнуюсь я, – с чего это ты так решил, что колёса принадлежат тебе?

– А кому же?... – округляет свои глаза домовой до состояния полнейшего изумления.

– Эти колёсики, – не унимаюсь я, – которые ты по-неправильному называешь крутилками, от поломавшегося велосипедика моего старшего братика Валерика. Его вот так изломал пьяный ветеринар Афоня. Этакой несуразной глупостью он хотел кралю свою рассмешить, чтобы ей понравиться. А получилось всё наоборот: велосипедик треснул, Афоня свалился в пыль, краля обозвала его дураком и ушла... А мы с Танюшкой, хоть всё это и видели, от стыда за ветеринара не признались маме с папой, что это он, дурак, наш велосипедик до смерти укатал...

– Ну ты, Вовка, и даёшь, – качает головою Иоаким Премудрый, – я, конечно же, как-нибудь и стерплю, и смолчу, но... Отбирать назад подаренные подарки... Ну... знаете ли... Это крайне, скажу я тебе, верх всякого неприличия... Как ты не войдёшь в моё положение, Вовка... Я по ним, по этим самым крутилкам, точное время научился определять, находить и вычислять соотношения сакральных чисел, таких, скажем, как тройка и шестёрка в периоды их полных лун. А ты... взял и похитил.

– Хорошо, – успокаиваю его я, – как закончится война, я тебе не то что твои крутилки, а настоящую пушку подарю. Играй себе на здоровье, сколько душе вздумается.

– Нет, Вовка... Пушку ты мне не подаришь, – говорит Иоаким грустным голосом, – её у тебя сопрут. Память о ней – пыль в твоих глазах и искры огненные. Колёсики приспособят на доброе дело, две тачки смастерят для перевозки гончарной глины из Фроловой Ямы, что в Мокром Логу. Война же, которую вы обязательно проиграете хотя бы потому, что войну никому ещё не удалось выиграть, на всю жизнь оставит в твоём беспокойном сердце и в сердце твоей единоутробной сестрёнки Татьяны след великой тревоги. Прощай, юный ты мой Кулибин, пойду добывать себе другие крутилки.

9

– Вовка! Просыпайся, – в самое ухо кричит сестра. – Мама уже три раза как кушать звала манную кашу, а ещё есть молочный кисель. А ты... Кто же это на поленьях спит сладким сном? Ты же не принц какой-нибудь, который ещё сидит на горохе... А знаешь, какие здесь кусучие крысы водятся... Нашёл где высыпаться; они нашу кошку Машку съели... Помнишь?... Ой... – вдруг замолкает она, – а это... Что это такое?

Смотрит с неподдельным ужасом на мною сделанную пушку, поставленную на элегантнейших красных колёсиках, с гордо приподнятым дулом.

– Да так, – с деланным равнодушием отвечаю я и даже пытаюсь зевнуть, – пока вы все бегали в поисках кумача для нашего боевого красного знамени, мне и пришло в голову вот так взять и смастерить. А примерещилось ещё раньше, когда вы дулу на болоте пытались выжечь, да уж больно сомнения обуревали. Ты думаешь, так запросто поршень на резине к дулу приладить и всё это пристроить на колёсики от Валерикина велосипеда. Знаешь, сколько страху в чулане натерпелся, пока отыскал... Они аж под лошадиные хомуты укатились, чтобы там от буки спрятаться. Иначе она-то уж точно их спёрла бы и утащила в свою берлогу.

С любовью гляжу на пушку, ласково глажу по стволу.

– Испытывал уже... Чуть всю нашу крышу камешками не попортил; хорошо, что пороху не очень много насыпал, а то... Уж папа бы мне дал за такую проказу. Шутка ли... Крышу продырявить.

– Как самая настоящая, – восхищенно говорит Таня, – самая взаправдашняя... И на колёсиках... А это что? – тыкает пальчиком на манометр от какого-то прибора или машины, а может, даже и самолёта, спёртого с секретного завода «С», который мне подарил брат Яшка и который я пристроил на конце своего деревянного дула вместо мушки.

– А это, – объясняю ей я, – такие специальные часы со стрелочками, которые даже ночью светятся, чтобы можно было целко стрелять. Вот пообедаем, тогда я тебя поучу, как моей пушкой правильно управляться и как по-настоящему закладывать в дуло снаряды, засыпать из консервной банки боевую пылюгу для дыма. Только пообещай, что выпьешь весь мой молочный кисель, который уж точно полную тарелку нальёт мне мама для роста. Обещаешь... Ты ведь знаешь, как от него меня тошнякает... Прошлый раз... скармливал, скармливал кошке, всё равно пришлось за ней доедать. Разве столько молочного киселя, который мне налили для моего подрастания, в кошку влезет... А ещё, чтобы не забылось... Когда я скомандую: «Огонь... По батареям... Пли!», сразу же бей вот этим поленом по дну корыта... Что есть силы лупи, чтобы звуком так громыхнуло, как громом, когда пушки по-настоящему стреляют. Ведь правда, как я по-хитрому придумал?.. Надо спешить... На завтра назначена война, а у нас... А у нас ничегошеньки не готово. Ни боеприпасов, ни дыму, который надо ещё рассыпать по отдельным кулёчкам, чтобы не растрчивать боевого времени потом. А вдруг да завтра – дождик... Где мы тогда достанем сухой пылюги, когда она

враз вся на дороге в грязюку превратится. Об этом кто-нибудь подумал – назидательно и командирским голосом говорю я своей сестрёнке, которая так ошеломилась, что никак не может и глаз оторвать от моей пушки.

Кому неизвестно вспоминаю чьи-то расхожие слова: «Ищи мира, но держи наготове порох сухим...».

– И пушку нам с тобой надо знать, где поставить, и до времени замаскировать. Иначе... Разве супостата ошеломишь, если он до срока всё по-шпионски разнюхает?.. Как-никак, а мы с тобой на этой войне самые главные. Одними деревянными сабельками можно ли добыть победу?.. А тут... Я как стрелну, ты как ахнешь громом, да ещё и клубами дым... Кто ж пред таким страхом сдюжит?.. Айда побыстрее обедничать...

10

Испытывали пушку за нашим огородом на небольшой уютной полянке, по окоёму которой произрастали молодые берёзки вперемежку с трепещущимися по ветру листвою осинами и вербами, вплотную прилегающей к таинственному болоту, такому внешне красивому, с сочной изумрудною травой и белыми лилиями, янтарными россыпями вдоль ручейка куриной слепоты, но такому опасному. Уж кому-кому, но мне не надо было доказывать, что именно там в тенётах этой обманчивой и призрачной красоты, в непроницаемых чёрных зеркалах проступающих среди мхов на поверхность лужиц воды, водятся лешие и водяные, с рыбьими хвостами русалки, а самое главное – сама Дырдадыла Мохноногая, которую в силу её коварной свирепости по внешнему облику и представить-то невозможно, хотя... Мне она всё же как-то чурилась, казалась похожестью своею с липким и грязным волосяным мешком, к тому же мокрым, источающим запах болотной прели и рыбьего духа, размерами с приличного борова, которого я видел один только раз у Сютягиных. Как помнится, он поразил меня даже не своими поистине страшными размерами, а прежде всего тем, что прямо на моих глазах своими кривыми клыками ловко сграбастал о чём-то задумавшуюся курицу и тут же живьём сожрал. Зрелище настолько было страшным и отвратительным, что в глазах моих всё позеленело, мир перевернулся вверх ногами и меня стошнило. Обезумевший от горя петух пытался было наскакивать на хряка и один раз даже запрыгнул на спину, да только что толку в том... Он и его едва на лету не схапал.

Полянку, с её идеалистическими красотами, адмирал Валерик тут же велел называть особым и секретным военным полигоном «С», события на нём – максимально приближёнными к реальным боевым. Хотя следов бомб, да и других разрушительств, подобных тем, когда зелёная трава

от действий гусеничных траков танков и бронемашин выворачивается наизнанку, оголяя чёрную землю, когда кругом пахнет гарью и порохом, на выбранной полянке и не наблюдалось, всё равно, раз адмирал Валерик сказал, что всякие испытания военной техники производятся на полигонах, которые только кажутся с виду мирными, потому как засекречены от шпионов, значит, и быть тому. По этим показателям наш испытательный полигон был самым подходящим. Кому и в голову придёт, что здесь, среди этих милых берёзок с клейкими листиками, полевых лютиков-цветочков, производятся сверхсекретные испытания уникальной деревянной пушки, да и ещё с квадратным дулом, аналогов которой уж точно пока не придумано. Выставив дозоры, как это и положено, приступили к пробным боевым стрельбам.

– А зачем нам это допотопное и ржавое корыто? – интересуется любопытная Бронька, бросив задумчивый взгляд и на полено, валяющееся рядом.

Переглянувшись с сестрёнкой, делаем лица непроницаемые, так, словно нас это ничуть не касается. Это пока был наш общий секрет, которым до поры-времени мы не хотели делиться и с командиром, потому как хотелось самим удостовериться в неожиданной силе звука, его воздействия на психику противника.

– Танька! – не отстаёт глазастая Бронька. – Ты чего это над перевёрнутым корытом дубиною туда-сюда водишь, словно примеряешься?.. Специально так нервируешь?.. – Мы же не в лапту пришли играть, а испытывать пушку – оружие нашей победы, которую так красиво и замечательно сочинил Вовка – мастер золотые руки. Это про него так папа мой сказал, когда увидел заводной трактор, ползающий по-настоящему, который он мне насовсем подарил.

Действительно, от своей ответственности и дисциплинированности Танька до поры так вошла в роль громовержцы, что, стоя перед перевёрнутым корытом, дабы в ответственный момент не промахнуться или как не ударить по другому месту, а не ровно посередине, отчего звук и громче, и басовитей, невольно репетировала. Подобное от нервов выделяют и все без исключений артисты, чувствующие, что вот-вот надо выходить на сцену, где ждут их зрители, которых они не столько любят, сколько боятся, иначе к чему бледнеть, дрожащими устами повторять сто раз как уже заученную роль: «Быть или не быть... Вот в чём вопрос...»

Устанавливаю своё орудие, сажусь рядышком на травку, упираюсь ногами в колёса, не без усилий взвожу поршень, устроенный на тугой велосипедной резине, длину которой к тому же ещё и довольно

сократил, дабы удар был ещё хлеще, зафиксировав на зарубе, запикиваю в ствол пакетик с мельчайшей дорожной пылью, проталкиваю до самого поршня шомполом – ручкой от старого и поломанного зонта, следом из консервной банки засыпаю боевую картечь. Неожиданно в голове звучат стихи Михаила Юрьевича Лермонтова, знакомые мне ещё по прошлой жизни, иначе откуда им было бы взяться, как не оттуда: «Забил заряд я в пушку туго, дай, думал, угощу я друга...» Развернув пушку стволом в сторону болота, звонким командирским голосом команду:

– Аго-о-нь, па-ба-та-ре-ям, пли-и!

Одновременно я – кулаком по взведённому поршню, Татьяна – дубиной по дну корыта... О Господи! Гром! Клубы белого дыма! Свист картечи! От такой неожиданности все как один вздрагивают, Наташка Рыбкина с визгом аж подпрыгивает на месте. После секундного замешательства, осознав, что этого не может быть, потому что не может быть никогда, бойцы, пригибаясь, валятся на землю; Бронька со всей дури сигает в молодые кусты черёмухи.

– Вовка! – горланит она оттуда. – Ты что... Совсем головою опупел. А если бы твою дурацкую дубовую пушку разорвало, а нас поубивало досками... Ты зачем туда целую пачку пороха насыпал? Мы же не договаривались так играть...

Эффект, произведённый от первого показательного выстрела, был настолько ошеломительным, что даже закалённый жизненными невзгодами Санька Непогодинов не сразу поверил в бутафорную дорожную пыль, настолько всё походило на настоящий боевой пороховой дым. Дозорные же – Сорокина Лидка и её двоюродный брат Колька Кудряшкин, видя, как пушка ахнула, а все попадали на землю насмерть, скоропоспешно дали дёру домой, спрятались под кроватью.

– Ну... теперь уж победа точно за нами! – гордо и громогласно произносит Валерик, вскидывая руку со сжатым кулаком вверх так, как это делают в кино боевые командиры, когда наши солдаты, получив подкрепление, начинают побеждать, а враг в панике бежит.

Испытывали пушку до тех пор, пока Толька Паклин от боевого энтузиазма так Танькиным поленом ахнул по корыту, что отшиб дно напрочь. Без грома психическая эффективность пушки снизилась, как минимум, раза в два.

– Что будем делать? – озабоченно спрашивает Валерик, гневно сверля Паклина командирским взором.

– А что я... – оправдывается Толик, – хотел как лучше... Тяжело в учении – легко в бою...

– Кто же это так дрыном-то лупит? – не выдерживает командор. – Завтра война, а у нас гром победы... А у нас пушечный гром вышел из

стройка... Поломался... А без него никак нельзя. Вовкина пушка, которую я ему приказал придумать, хоть и пуляется пыльною и камнями, что аж ужас... Лягушки и всякие болотные гадюки от страха удрали... Сам видел... Всё равно без грохота может и не очень-то напугать супостатов. Как вы думаете? – не без сомнений спрашивает он.

Озадаченные тем же боевые друзья-товарищи наперебой принимают предлагать, чем и как можно заменить испортившееся корыто, которое потеряло свой громовой голос в силу неправильной своей эксплуатации.

– Ни пустой бидон, ни таз и даже бочка нам не помогут, – горячится громче всех Санька, – нету у них такого голоса... Уж кто-кто, а я в железках понимаю. Какая рельса?.. – Крутит пальчиком он у виска. – Где это видано, чтобы пушка гудела, как колокол, как железяка на колхозном стане, когда повариха Матрёна сзывает всех исти щи да кашу... Рельса... Ты хоть знаешь, сколь в этой железе пудов чисту весу? Хоть всю улицу собери... С места не сдвинем.

– Придумала! – машет руками Рыбкина, от нетерпения подпрыгивая на одном месте. – Да дайте же мне сказать... Зачем нам какие-то ржавые тазы и корыты... Вы никогда не слышали, а я вот слышала, как громыхает листовое кровельное железо, когда его с непогодиновской полуторки плашмя бросают на булыжники.

– Где ж мы сыщем такого железа? – скалится ядовито Санька. – На эмтеесе?.. Там и не такого можно сыскать... Да вот-то за него, коли сопрём, и нас, и все наши семейства в тюрьму посадят. Как пить дать посадят. К тому же... Как мы его будем ронять на булыжники, чтобы оно громыхнуло?..

Но Рыбкина не сдаётся, нервируется пуще прежнего, войдя в азарт, тонусяньким голоском выкрикивает:

– А вот не хочешь... У моей бабушки Тоси в сарае на стене висит настоящая жестяная ванна... Выкусил... – непонятно зачем она показывает кукиш Саньке, – в ней, когда была совсем ещё маленькой, купали и меня, и Андрейку, и Стёпку. Она больше этого развалившегося ржавого корыта в сто раз. Уж коли ночью ахнуть дрыном... Точно вся деревня проснётся. Эту ванну из непортящейся цинковой жести сделал нам дядя Коля. Он настоящий мастер; лучше его никто в мире не умеет делать железные крыши. Только он уж давно как помер... Так сказала баба Тося. Пришёл, говорит, с войны – и помер.

– А если твоя бабушка её нам не отдаст даже на время? – осторожно спрашивает Рыбкину Танька Стукольцева.

– Как не отдаст? – неуверенно переспрашивает Ирка. – Мы ж не навсегда...

– Кто ж годную-то ванну отдаст... – скептически кривится Толик Паклин, пиная ногою наше разбитое корыто, – ванная, да ещё и самодельная, всегда в хозяйстве вещь нужная. Это тебе не какое-то там корыто, которое пару раз стукнул и оно развалилось.

– Ага! – ревностно вступаюсь я за наше корыто. – Тебя бы вот так поленом, да раз сто по голове... Ты думаешь, что нам с Таней не попадёт от мамы за него?.. Ухайдакали сообща, а нам за всех расхлёбывайся.

– Вовка! Ты чего это... – оправдывается Толик. – Ваше корыто очень даже хорошо нам послужило, от стольких ударов и Иркиной бабушки ванна уж точно бы не сдружила.

– Вот, вот, – вступает в разговор сестра Таня, – если эта ванна, которую мы выклянчаем под честное слово у бабушки Тоси, пусть и не прохудится совсем от Толькиной силы, то как мы оправдаемся за вмятины на её боках? Ведь они точно как-то останутся?

Тем не менее идея с ванной настолько уже овладела умами масс, что с согласия Ирки, невзирая ни на что, её решили на время похитить, а после войны как ни в чём не бывало повесить обратно на гвоздичке. Сомнительная операция с самыми наилучшими намерениями, как ни крути, уж больно смахивала на кражу с корыстными целями. Кто может со всей ответственностью доказать, что в славе победы нет и зёрнышка корысти?.. То-то... Мало ещё того... Ирка как законная совладелица семейного имущества, а значит, и ручной работы оцинкованной жести ванны, сама и добровольно взялась проверить эту неблагоприятную с точки зрения морали операцию, больше похожую на кражу.

– Пока я буду отвлекать бабушку Тосю разными рассказами, читать ей наизусть про попрыгунью стрекозу, вы эту ванну очень тихонько снимите с гвоздичка, что в сарае под самым потолком, и через огород Люськи Боталовой вытяните на зады, где заросли крапивы.

Вытягивать чужую вещь через чужой огород, да и ещё через заросли ядрёной крапивы, никому не хотелось, Валерик бросил жребий, а, чтобы было всё по справедливости, на одной из бумажек написал и своё имя. О горе! О боги! Именно эту, скрученную в трубочку бумажку Бронька Глебович с первой же попытки и вытянула из фуражки. Зажмурила глаза, отвернула лицо в сторону и самым честным образом эту самую бумажку, отмеченную красным крестиком, и вытащила. С самых мокрых пелёнок родители, и не только родители, всем нам – детям, только и внушали, что брать не своё, а по-другому воровать, очень скверно. На конфетки, сахар и шанежки это строгое запретительное предписание

как бы и не распространялось. Разве всё это не для нас куплено мамой с папою?.. А тут... Такую вещь из чужого дома, да и ещё огородами... Видя плачевное положение своего брата, страшные его борения, как-никак, а сын директора школы, пытаюсь оправдать задуманное благим – поиском металлолома, что очень даже одобряется и приветствуется всеми органами власти, в том числе и педагогическими.

– А что... раз эта ванна столько уж лет валяется в сарае никому не нужная, ржавеет понапрасну, то уж точно её можно считать металлоломом, – с жаром убеждаю его я.

– Она не валяется где попало, а ровненько висит на гвоздичке в чужом сарае, – мрачно парирует Валерик, низвергая все мои лукавые доводы в прах, – да и ещё дверь, небось, на щепочке.

В те далёкие уже времена – времена нашего детства – в Курьях и замков-то толком не знали. Уходят, скажем, хозяева из дома, дабы дать знать, что их никого нету, вставят между косяком и дверью щепочку или подопрут каким поленом, вот и всё. Никому и в голову не придёт стучаться или входить без разрешения, ведь хозяев-то нету... Но Валерик... Командор Валерик и из этой ситуации нашёл выход. Открыто пришёл к бабе Тосе и так ей мозги запудрил, приплетя к её жестяной ванне художественную самодеятельность, где он активнейший участник оркестра духовых инструментов и играет аж на тромбоне и что без большого барабана под названием там-там разыгрываемая ими вещь ну никак не звучит.

– Как же можно в музыкальном произведении выразить победу над фашистами, когда нету такого громогласного барабана? – убедительно доказывал он бабе Тосе. – Хоть заведующий клубом Синицин Яков Михайлович и обещал добыть этот самый там-там, да обещания не выполнил. А ваша ванна, которая без дела висит на гвоздичке в сарае, как раз то что надо.

– А ты-то... почём знаешь про эту самую купель? – с лёгкой настороженностью спрашивает бабушка. – Чай, кто наврал?.. Унучка, шо ли?

– Да кто ж того не знает, – безбожно врёт Валерка, – вы же, Таисия Фёдоровна, сами сколько раз рассказывали, как купали в ней и Ирку, и Андрейку, и Стёпку, и многих, кого уж и позабыл.

– А ведь и верно, – смягчается баба Тося, – коли на такое сурьёзное дело, то как уж тут этому не поспособствовать. Без барабана какая уж тут музыка... Один-то утянешь?..

Каково было наше истинное удивление, когда мы увидели Валерика, открыто вышагивающего по улице с оцинкованной жестяной ванной на голове. Самого его было почти не видно: по дорожной пыли важно топала ванна в Валеркиных порванных сандалиях, оторвавшийся ремешок

которых я ему починил при помощи медной проволоочки, Валеркиным голосом гулко басящая:

– Смело мы в бой пойдём за власть Советов и как один умрём в борьбе за это...

11

Рябиновая Балка кривою лесистой загогулиной уходила в сторону чёрного и страшного соснового бора, стоящего, кажется, непроницаемой густою стеной, туда, где Сухой Лог. У самого начала его, сбоку села, были огороды засаженные в основном картофелем, да бурьяками, изредка подсолнухами и репою. Там же находился и наш кусочек земли – узенький и совсем невеликий размером, к тому же сплошь усеянный мелкими белыми известняковыми камушками, да так густо, что мне казалось: что это за такая земля, когда в ней одни каменюги с рваными и острыми краями, о которые запросто можно и ногу пропороть... И зачем только родителям понадобилось засеять здесь картофель, когда взошло, как говорят, где густо, а где пусто и совсем не по-правильному? В педагогических ли целях или в каких иных, но и мы – дети, непременно должны были принимать посильное участие в возделывании этого чахлого клочка земли, отдавать себя в борении с сорняками, которые в отличие от картофельной ботвы – хилой и тонюсенькой, так и пёрли как на дрожжах. Заниматься, да ещё и принудительно, сельскохозяйственными работами, по-честному говоря, мне ну никак не нравилось. Другое дело, когда бы предложенное мне дело хоть как-то было сопряжено с творчеством, умением рук делать всё красиво и умело, с возвышенным пением души. А тут... Господи!.. Только от одного вида белобрысой земли, звонко возмущающейся под тупым лезвием преогромной тяпки с её мозолистым черенком, уже на душе становилось тошно. А если к тому прибавить колющее июньское солнце, пылюгу, исходящую при каждом ударе железного орудия о пересохшую каменистую землю, зуканье комаров, басовитые возгласы шершней и слепней, то можно только догадываться, какие возвышенные чувства и мысли витали в моей беспокойной головушке, переполненной и без того бесчисленным ворохом найдичайших идей. Но я скрывал свою нелюбовь к земле-матушке, такой несчастной от одолевающих её известняков и грубых бурьянов репейника, упорно дёргал травку на выделенных мне рядочках, яростно отмахивался от прилипчивых и кусучих оводов, откровенно радовался попадающимся бесплодным проплешинкам, где не то что какой картофель, а и сорная трава-то отказывалась гнездиться. Но, несмотря на весь этот унылый

и чахлый ландшафт, эти неухоженные огороды, криво стекающие с косогора на косогор, буквально в ста метрах, подобно сказочному островку, возвышалась крутым бугром зелёная рощица. Таких высоких и раскидистых рябин более я не видел нигде. Скорее всего, именно за эту величественную необыкновенность деревьев всю многокилометровую балку и окрестили как Рябиновая, ибо дальше редко произрастали сосны, берёзы да осины. Среди причудливо изрезанного рельефа этого крохотного островка, почти гористого, тучные рябины произрастали на разных уровнях, представляли собою замечательно-игривую картину, когда вершина даже очень высокой рябины всего лишь по плечу другой, стоящей на возвышенности, а то и вровень с основанием! Внизу же густые заросли, почти непроходимые, ещё более добавляли таинственной сказочности этому необыкновенному местечку. Громадные замшелые валуны, обвитые мощными корнями, почерневшие и скользкие от влаги коряги с произрастающими на них странными грибами на тоненьких и кривеньких ножках, чёрные глубокие расщелины между камнями – всё это не могло не навевать чувства таинственности и даже мистического страха всякому, кто неожиданно оказывался на этом странном клочочке земли, окаймлённом такими невзрачными и пыльными огородами.

Беспричинная война, которую самодержавно развязал наш старший брат Валерик, должна была случиться именно здесь, произойти двадцать второго июня тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года. Родная земля, которую необходимо было защищать всеми силами до последней капельки крови, за свободу которой и саму жизнь отдать, и принять смертную муку уже есть всеобщий долг и честь и обязанность каждого, не знаю почему, но как-то ассоциировалась в моей многозадумчивой кудрявой голове с нашим чахлым и плохо возделанным каменистым полем, тремя ржавыми тяпками, расхлябанными и тупыми, бесконечно слетающими со своих черенков, вызывала, и что уж там скрывать, чувства двойственные и весьма противоречивые: «А столь ли велика её цена в сравнении с человеческой жизнью?..»

Воевать, и это очевидно, не хотелось никому, но Рубикон перейдён, мосты сожжены, а гордые узлы решимости разрублены.

– Всякий, сомневающийся в победе нашего оружия, в недостатке всеобщего мужества, – речил громогласно политически подкованный брат, – паникёр и потенциальный дезертир. А паникёров на войне первых ставят к стенке.

Но тем не менее в душе каждый надеялся, что как-то пронесёт, как-то обойдётся само собой и что путиловские уже, небось, и позабыли про свои обещания изрубить нас в капусту и на винегрет, как ни в чём не

бывало купаются на речке или всею ватагою пошли в лес за земляничкой. Боевой алый флаг, закреплённый мужественным Санькой Непогодиновым на самой высокой и раскидистой рябине, совсем не реял гордо, как трепещущее пламенное сердце Данко, так, как это всегда показывали в фильмах про войну, а запутался в ветвях, обвис, снизу казался лоскутом красной тряпицы. Пушку установили на невысоком бугорке, на самой опушке и на виду – пусть знают и трепещут, жестяной же барабан – вместилище орудийного гула, расположили чуть ниже в зарослях громаднейших лопухов, каждый из которых не менее как с ухо африканского слона. Перед самим орудием, в виде бруствера, красиво уложили веточки папоротника, поверх которых, непонятно и для чего, установили ржавую и пробитую немецкую каску времён Империалистической, позаимствованную у Тольки Паклина, чей дедушка когда-то воевал на германском фронте. Идеологический подтекст пусть был и не совсем ясен, зато выглядело солидно и весьма внушительно. Чужая в душе неладное – пленение, пытки, позор, большинство призванных на войну доблестных красноармейцев-будёновцев, казалось бы, идеологически и политически грамотных и сознательных, к месту боевых военных действий под названием Рябиновая Балка так и не явились. Побеждать не количеством, а умением, идти в штыковую атаку, потому как пуля – дура, сказанное некогда великим полководцем Суворовым, в нашей ситуации казалось малоубедительным.

– Трусцы!.. Паникёры!.. Дезертиры! – гневно взывал, кажется, к самим небесам возмущённый адмирал Валерик. – Всех повешаю на реях, брамс, штрахс, румб, чёрт вас возьми, – орал он благим матом нечто совершенно непонятное нам – неучам.

Всем, как ясный день, стало ясно, что единственной надеждой остаётся деревянная пушка, которую супостат должен принять за настоящую.

– Ничего, – бодро говорит Валерик, – пусть нас всего семь бойцов... Но каких бойцов!.. К тому же следует учесть, что наша диспозиция относительно противной стороны отличается гораздо выгодным положением. За нашей спиной неприступные дебри, скалистый труднопроходимый рельеф местности, что заставляло биться, вести бой за каждую пядь родной земли, а в случае чего и вести всеобъемлющую партизанскую войну.

– Господи! – не выдерживает реалистично мыслящий практичный Санька Непогодинов, не столь идейно подкованный, к тому же не без религиозных предрассудков. – Где ты выучился так складно брехать?

– А вот эти деморализующие разговоры вы мне бросьте, – гневно обрывает его главнокомандующий всеми войсками Валерик. – Эх вы...

Вам доверили водрузить боевое знамя... Товарищи доверили. А вы... Ещё врага не увидели в лицо, а уже дрогнули. Нехорошо, товарищ Непогодинов, – уничтожающе смотрит на него Валерик.

Униженный Санька – драчун и первый хулиган среди сверстников, нервно моргает покрасневшими глазами, мнётся на месте, заглаживая непростительную слабость, клянётся биться до последней капельки кровушки и без всяких вспомогательств пушки раскровянить харю любому, кто сунется, а того, кто вздумает полезть на дерево за знаменем, на лету сшибить камнем.

Предбоевое напряжение достигло своего апогея. Где-то далеко-далеко трижды продребезжало. Это дед Кузьма, которому поручено отбивать обеденное время на колхозном стане, трижды ударил молотком по куску подвешенного на столбе треснутого рельса, оповещая всех, что пора исти.

– Нету... – почти торжественно произносит Толька Паклин, наиглупейшим образом улыбаясь всею своею физиономией, – сдрейфили супостаты...

– Подожди ты ещё радоваться, – нервно шепчет ему Таня, как бы остерегаясь, что сглазит, – может, они по-секретному с другой стороны подкрадываются, чтобы по-неожиданному напасть, а ты лыбишься всею рожею.

– Ничего я не лыблюсь... Не мы, а они нас испугались и не пришли на войну. А вы, как я вижу, все до единого перемохали¹, – уже хорохорится он.

Прошло ещё томительных минут пятнадцать, а затем и час, но супостат и не думал хоть как-то обнаружиться или дать о себе знать посредством парламентёров; мирно стрекотали кузнечики, стремительными чёрными зигзагами носились над землёю стрижи и белогрудые ласточки, где-то вдали на ферме протяжно мычали коровы, изредка голосили петухи, миролюбиво сияло солнышко.

– Я же говорил вам, – торжествует Толик, лихо заламывая свою, выдавшую виды выцветшую фуражку, больше похожую на картуз, на самую макушку. – Говорил же вам, что они вруны, каких свет не видал, брехуны... И воевать с нами совсем не думали; а согласились же – ради одного фасону и только. Эх... – сетует он, – если бы знал, что вот так, то уж лучше на запруду пошёл с братом рыбу удить. Может, и повезло бы... Там, Сенька Леший рассказывал, а что ему брехать... огромный сом под корягами; чистый зверюга, толщиной аж с бревно, которое

¹Перемохали (жаргон) – испугались.

на первый венец годится, когда рублены избы робят. Говорят, это он Тимохиных Жучку слопал, а у Брыкиных гуся утянул в пучину. Мужики уже пробовали неводом... Куда там... В клочья разорвал... Бражкина Леонида, что с эмтэеса, так напужал, что он это место щас за версту обходит. Присосался к ноге, аки аспид, еле отодрали вместе с кожей. А тут... Настоящими дураками за зря прождали этих путиловских. Тоже мне вояки...

Как помню, на душе моей сделалось так легко и радостно, что захотелось петь во всё горло. И кто только придумал эти войны?.. Живи себе, радуйся солнышку, голубому небушку, зелёному лесу, струйной речке, а ночью звёздам и такой обворожительной луне, на которой, как сказал папа, вполне возможно, тоже существует какая-то, да жизнь. Валерик, хоть всего и на два года нас с Танечкой старше, а от умных книжек, которых он прочитал ужас как много, совсем, видать, повзрослел и головой тронулся, раз возжелался воевать с ближайшими по улицам соседями. В честь сокрушительной победы, в ознаменование её было приказано стрелнуть из уже заряженной и приготовленной к бою пушки в небо, как салют, но без громов, так как такая необходимость уже пропала, а чужое имущество, взятое под честное пионерское слово, всё равно надо будет возвращать. Объясняй потом бабе Тосе по поводу происхождения вмятины величиною в кулак. С шутками и прибаутками напустили порохового дыму, потом ещё раз и ещё раз, и в четвёртый, как вдруг...

– Матка Бозка! – заорала как резаная Бронька Глебович, у которой, по всей вероятности, в генетической памяти её, из глубин самого подсознания враз, как наяву, воскресилось всё трагическое прошлое многострадальной Польши, её еврейского народа.

Несостороны села, как нам ожидалось, а совсем рядом, изближайших к нам густых зарослей можжевельника, с гиканьем и боевыми воплями выскочила, как показалось, бесчисленная орда одичавших пацанов и девчонок. С длинными пиками и саблями наголо, а главное, под зловещим белым знаменем с чёрными кривляющимися буквами, издали напоминающими пиратскую черепушку с костями, лавиной понеслись на нас. Толька Паклин первым, нелепо подпрыгивая на своих длинных ногах, быстрее ветра помчался в противоположную сторону, огородами, по буеракам, через грядки с картошкой, напрямик к своему родному дому, где, уж конечно, хоть как-то, но можно спрятаться под кровать. От бега его замечательный картуз съехал на самые глаза, он то и дело пытался его поправить рукою, пока в конце концов у самых задов своего огорода не налетел на одинокую худенькую берёзку. Шмякнувшись по-лягушачьи на землю, тут же вскочил, стремглав юркнул в сторону спасительной калитки... Поддавшись панике, за ним следом кинулись

улепётывать во все лопатки ещё кто-то и ещё. От обуявшего меня ужаса, совершенно животного, подобно тому, уже испытанному мною в одну из лунных ночей пятьдесят третьего года, в канун смерти великого вождя мирового пролетариата Иосифа Виссарионовича Сталина, как на коня, с разгону прыгаю на пушку, краем глаза замечаю совершенно бледное, с расширенными от страха глазами лицо своей сестрички, её фигурку, мечущуюся с преогромной дубиной вокруг оцинкованной ванны, установленной в густых лопухах вверх дном, пытающуюся вроде как бы что-то мне крикнуть, но звука не получается. Разворачиваю свою пушку, быстрым движением руки запикиваю в ствол кулёчек с дорожной пылью, досылаю его вовнутрь шомполом, соскребаю с земли рассыпавшуюся из баночки каменную картель, вместе с выдранною травой пытаюсь её засыпать следом, как вдруг!.. Пушка неожиданно и самопроизвольно крякает, пакет с бутафорским пороховым дымом под сухой треск высвободившегося поршня влепляется в лоб. В голове колокольный звон, в глазах сплошная серая пелена с быстро мигающими звёздочками и концентрически расходящимися огненными кругами в чёрном окоёме. Быстрее молнии: ослеп... Следом – немного оптимистичней: слава те, Господи, что не успел всыпать в дуло каменной шрапнели, уж тогда бы... Не то что глаза, но и всю харю набок бы своротило.

И всё это в доли секунды, в мизерные мгновения времени, которое, непонятно отчего, вдруг остановилось. Откуда-то, словно из самой земли, вырывается раскатистый гром. Подобный грохоту кровельного железа, упавшего на булыжники с самих поднебесий, он, этот самый гром, как ни странно, воздействует на смятенную душу успокаивающе, более того – выстраивает мысли в действенный порядок: это моя сестрёнка – боевая соратница, хоть и с малым опозданием, но успела всё же ударить дубиной по днищу бабы-Тосиной ванны, произведя этот ошеломляющий звук. Лишённый зрения, почти оглохший, скатываюсь кубарем с бугорка, пытаюсь куда-то бежать, падаю, карабкаюсь, словно бы и вверх, но куда?.. Сквозь слёзы, ручьями текущие из глаз, всё же вижу подобия мечущихся теней, слышу какие-то вопли, быстро приближающийся шум голосов, отдельные фразы: «Впоймался, фашистская рожа... Вяжи его, Сеня, в плен, не дай утекнуть гаду... А-а-а!» Сомкнутыми кулачками что есть силы тру глаза, трясую пыльной головой. Мир, хоть ещё и не совсем чётко, но начинает постепенно проявляться. Вижу, как почти что рядом, метрах в пятнадцати от боевого бруствера с опрокинутой пушкой, Танька, лягаясь, царапаясь и кусаясь, одна дерётся сразу с тремя девчонками-путиловками, вооружёнными к тому же лёгкими деревянными сабельками, которые в силу их неумелости владения энтим оружием больше



разве что мешают им. Одна из них – белобрысенькая, курносенькая, в красненькой косыночке, повязанной на голове пиратской банданой, особо лютая, промахнувшись, в раже боя так вдарила свою подругу этой самой сабелькой по спине, что та, зивизжав, потеряв всякий интерес к Таньке, перенесла весь свой боевой пыл на обидчицу, сграбастала её за волосы – сцепились в рукопашную. Пытаюсь помочь сестре, но путь преграждает неожиданно откуда взявшийся здоровенный, рыжий и лупоглазый пацан более старшего возраста, который наперерез прыгает прямо на меня, орёт другому, скачущему с саблей рядом:

– Митька! Хватай этого чернявенького пушкаря... За него, небось, можно дюжий выкуп заполучить... Директорский. Дай я ему щас... Лёжа на спине, при виде наваливающего Митьки, такого же рыжего и сплошь веснушчатого, неожиданно и что есть силы брыкаюсь обеими ногами ему в лицо, пробкой выпрыгиваю из рытвины, стремглав несусь к самой высокой рябине, с ловкостью обезьяны вскарабкиваюсь на достаточную высоту, но не останавливаюсь, а ползу всё выше и выше, туда, где на самой макушке на головокружительной высоте трепещется на ветру освободившийся из плена ветвей боевой красный флаг.

– Попробуйте-ка теперь меня достать, – мстительно торжествую я, крепко ухватившись обеими руками за тонкий, но упругий стволник вершины дерева, – так дрыгну ногою, что кубарем полетите.

– Эй, пацан, – вразной и на все голоса доносится снизу, – война закончилась, мы победили. Скидай на землю свой флаг, всё равно вы разгромлены, а все ваши поутекали. Ничего мы с тобой не сделаем, даже в плен брать не будем, беги куда хошь...

– Вова! – узнаю голос Тани. – Спускайся вниз, они пообещали нас в плен не брать... Ни тебя, ни меня, ни Броньку, ни Наташку, потому как мы настоящие герои. А пацаны все как один удрали в дезертиры и предатели; и даже твой закадычный дружок, который бахвалился всем супостатам хари раскровянить, Санька Непогодинов, и тот... Притворился понарошку, сама видела, что погнался за путиловским пацаном, а на самом деле оба утекали, как трусы. Мне с пригорка всё хорошо представилось наяву... В обнимочку вышагивали по улице.

– Ага... – кричу я с самой макушки дерева, – нашли дурака... Если они по-справедливому победили и выиграли свою войну, то пусть сначала завоюют наше боевое красное знамя, а на его место повесят своё белогвардейское, раз обещали.

– Слезай, пацан! – доносится до меня чей-то сиплый и простуженный голос, – по добру предлагаю тебе, слезай. Не то зараз, как воробья, каменной сшибу.

– Ха-ха-ха... – выкручиваю я вниз кукиш, кроя рожу и высовывая язык, – ты сначала попробуй докинь свою каменюгу, а потом посмотрим....

– А из рогатки не хочешь... – опять доносится снизу.

– А ты попытайся, – задорно лукавлю я, вытаскивая из-за пазухи свою на красной резине, сделанную аж самим Санькой Непогодиновым, – у меня в запасе ещё и камней полные штаны, – хлопаю по пустому карману, – так пульну сверху, что аж башка на сто осколочков разлетится вдребезги.

По всей вероятности, мои угрозы действуют отрезвляюще, получить в лоб из рогатки, конечно же, никому не хочется, пацаны и их путиловские подружки созывают военный совет.

– Ага... – доносится до меня чей-то писклявый и психованный голос, – нашли простофилю... Я полезу, а он возьмёт да и лягнёт меня сверху своим копытом, как бедного Митьку. До сих пор не может унять кровушки из обоих носопырок. С него уж станется... Или... возьмёт да из рогатки... Непогодиновские рогатки самые целкие и сильные. Нет уж... Дураков нэма, лезайте сами... С такой верхотуры и костей не соберёшь.

Посоветовавшись ещё некоторое время, захватив с собою в виде трофея мою пушку, совсем нерадостные победой, путиловская армия, не достигнув главного, под моё залихватское улюлюканье с позором отступила.

– Всё, Вова! – кричит весело снизу Таня, а за ней и Бронька, и Наташка, – спускайся осторожненько, они нас всё равно не одолели. Победа за нами.

На вершине рябины пред порывами ветра гордо реяло красное знамя нашей победы. Выше, от горизонта до горизонта, голубым шатром раскинулось бескрайнее мирное небо. Победа!

Глава 11. МОИ РЕЛИГИИ И ИСКУССТВА

1

Осмысление бытийности мира моего, а следовательно, осмысление самого себя от самого дня рождения своего происходило в настолько религиозно-безграмотной среде, можно сказать – атеистически воинствующей, что малейшее даже иносказательное упоминание о Боге в связи с чем-либо ставило человека, вот так неловко вызвавшегося, в крайне невыгодное положение. К примеру...

– Господи! Господи! Радость-то какая... Барин приехали! – читает по слогам своим ученикам мама то место из «Дубровского» А.С. Пушкина, где именно так и говорится.

Образец прямой речи, представленный ею из классического художественного произведения, вызывает явное неудовольствие инспектора района Гавриловой Раисы Николаевны, решившей лично поприсутствовать на её уроке русского языка.

– Мокаева-то, Мокаева!.. – не без чувств возмущения иронизирует она на педагогическом собрании учителей средней школы. – «Господи, Господи... Барин приехал»... Можно подумать, что он без этого самого «Господи» и вовсе не приехал бы... Неужели, Анна Ивановна, – назидательно-менторским тоном научает она, – нельзя было бы выбрать пример использования в литературе приёмов прямой художественной речи более попривличнее?..

И таких курьёзных случаев можно привести великое множество. Всеобщая неосведомлённость интеллигенции, а в особенности рабочего класса – гегемона – в элементарнейших вопросах теологии, хотя бы даже в рамках собственной истории, чудовищная религиозная безграмотность, кажется, никого и не волновала особенно.

– Какой там, к чёрту, бог... Где он, этот самый ваш бог, когда его нигде нема? – вот основной аргумент воинствующих атеистов.

Это сейчас, по прошествии нескольких десятилетий, так представляется некоторым, все вдруг и враз прозрели, уверовали в Господа на небесах, наличии собственной души в груди, осознали, что ранее были дураками-безбожниками и богохульниками, а вот ныне. А ныне уже не дураки и не воинствующие атеисты, а, как есть, истинно верующие.

– Не верь им, Боборика, опять всё врут, опять всё поперепутали, – возбуждённо ораторствует Иоаким, представший вдруг из ниоткуда, да и ещё разодетым в шелковисто-чёрную сутану патера, с красной ермолочкой на собственной тыковке. – Это всем так кажется, как и казалось ранее, только задом наперёд. Ты ведь понимаешь, – со значимостью подмигивает, одновременно выстраивая губы в форме куриной гузки, – понимаешь, о чём это я?

Облокотившись важно об осиновый чурбачок, словно это вовсе и не полено, а настоящая соборная кафедра или возвышенный амвон пред деисусным¹ рядом иконостаса, скроив наиумнейшую физиономию, выжидающе поглядывает на меня. Не выдержав, с какой-то значимостью спрашивает:

– А чего это ты, Боборика, в неурочный час вздумал баньку затопить, да ещё, как я вижу, – кивает на небрежно разбросанные дрова, – без всякого на то спросу от родителей? На живой огонь, говоришь, хочется

¹Деисус – иконы первого ряда иконостаса, связанные единым сюжетом, т. е. с Христом.



полнобоваться? – отвечает сам же, пристально вглядываясь в бушующие языки пламени, словно и забыв о моём присутствии. – Сдурел, что ли? – наконец-то отрывается он, пристально буравя меня своими бездонно-чёрными глазками, слегка нахмуривая бровки, поглаживая ладонь на своей груди подобие медальончика на серебряной цепочке, с рельефно выбитыми на нём непонятными каракулями. – А... Понимаю, понимаю... Вот оно что... Эк тебя угораздило, – хмыкает домовой, покачивая своею алою ермолочкой, шелестя складками шёлковой сутаны, – не боишься тыковкою ушибиться? Чего это тебя в религии-то попёрло? Сдались они тебе... эти религии. Ну и делал бы себе на здоровье деревянные трактора да пушки с квадратными дулами, чем не доброе увлечение?..

– Какие такие религии? – тарашусь я на Иоакима.

– А вот такие, – передразнивает он меня, кивая на широкое берёзовое полено, предлагая присесть, – имею же я право, в конце концов, подготовить тебя к тому, что неизбежно произойдёт в будущем, когда ты нос к носу столкнёшься с этими религиями – противоречивыми и разноречивыми, каждая из которых в отдельности твёрдо стоит на своём и только на своём, провозглашая: «Всякая истина есть «Я» и только «Я», и нет других истин, ибо всё остальное от лукавого». Хотя, как я знаю, – скребёт лапкой под ермолочкой, страдальчески морщится личиком, – для тебя, Боборика, время не существует, а если как-то и есть, то представлено в виде абстрактной загогулины – замкнуто-вывернутой одномерной плоскости Нибиуса, иначе разве бы ты сигал – туда-сюда во всех трёх его ипостасях?.. Тем не менее всё равно, и это моя обязанность, в конце концов гражданский долг, долг научного деятеля паранормальных наук, объяснить, как по-правильному, дабы не блуждал где не надо, прочитать лекцию научную...

При последнем сказанном вот так, выражение его физиономии становится настолько значительным, почти до горделивости, что, честное слово, он начинает походить на надутого чёрного индюка.

– Так вот, – несколько помолчав, наконец-то продолжил Иоаким, совсем по-профессорски закатывая глаза, по-показному выставляя в сторону мизинчик с дешёвеньким оловянным колечком, другою рукою как бы поправляя на переносице несуществующие очки, – хочу вас спросить: что есть эти самые критерии – неопровержимые и железные основы истин, посредством которых, никак не сомневаясь, можно точно определиться: моральное то или иное общество или аморальное, нравственное или безнравственное, духовное или бездуховное, добродетельное ли или обратное тому – жестокое? Как мне кажется,

именно такие мысли будут обуревать тебя в будущем, а следовательно, волнуют уже и сейчас. Или я не отгадал? А сейчас, – хитро подмигивает мне, – я буду говорить исключительно умными и непонятными словами, да-да, теми самыми словами, которыми мы с тобой изъяснялись ещё в прошлой жизни. А ты... Как тебе, Вовка, не стыдно... Ведь напрочь всё позабыл. Знаю, знаю, – по-быстрому машет лапкой, – что вспомнишь лет этак через сорок, – пытается жарко доказывать мне, хотя я и никак не спорю. – Всё возвращается на круги своя... Наступит время, а оно обязательно наступит, и не у меня, а у тебя, Боборика, в твоей мятежной башке сначала зашагает, а потом и вспыхнет: «Ну хорошо... Все прозрели, все уверовали во что хочешь, без всяких ограничений и поражений совести, кто в Христа, кто в Гаутаму Будду, кто в Писание пророка Самого Аллаха-Мухаммеда и даже в Заратустру... Да, что там в Заратустру... В неземной Разум, некий Абсолют, коим и подменили Бога. Что с того-то? Каков сего, так сказать, прозрения зримый результат? Стало ли общество бывших махровых безбожников более нравственным, моральным, а ещё пуще – гуманным?» Именно вот так и задумаешься, Вовка – господин Владимир Аллахбердиевич. Задумавшись, завопишь внутри себя: «Что же это, братцы вы мои, на свете-то делается?! Ведь вроде бы все поголовно и креститься, и молиться начали, а не успел повесить на просушку собственных штанов, как тут же и спёрли...» И другого рода в голове смятения сотворятся, непременно сотворятся, как им не возникнуть, когда всё вот так... Окунувшись с маковкой в глубины всяческих тонких материй, помянув детсадовскую воспитательницу, а следом и всех своих школьных учителей, других преподавателей, знакомых тебе поэтов, музыкантов, художников и философов, поднаторев сам кое в чём из этого самого религиозного, задашься опять-таки сам в себе вопросом: «Как, скажите мне, преподаватель русской словесности, не говоря уж об искусствоведе, музыканте, художнике, всех тех, кого принято называть носителями духовности, мог не знать, пусть даже чисто информативно, содержание четырёх крохотных книжечек с идентично пересекающимися текстами под названием Евангелие, не говоря уж об Ветхозаветной части Библии, чьи сюжеты сплошь и рядом присутствуют и в литературе, и в поэзии, и в живописи, и в музыке, и даже в научно-материалистической философии?».

Подмена веры так называемой мифологией никак не избавляет эту мифологию от веры, ибо вопросы – кто мы, откуда мы и зачем мы – так и остаются вопросами. Спрашивается, а можно ли как-то без осознания Высшего кого-либо в чём-либо убедить? Оказывается, можно, и запросто. Искренняя убеждённость в том, что Бога нет, не было и никогда

не будет, потому как этого не может быть никогда, – тоже вера. Мало того... Убеждённый богоборец, как никто, верит в силу человеческого разума, его особенности к бесконечному развитию, за которым наука, техника – инструментарию, могущие привести к всеобщему благу, к самому бессмертию. Ну чем, скажете вы, не обещанное религиями Царствие небесное?.. Только не где-то в бесплотных обителях, в тонком материальном духе, а что ни на есть на земле-матушке и во плоти. Самое же поразительное даже не это. Оказывается, и сама мораль, привнесённая, кажется бы, религиозным сознанием тысячелетий, и при полном отрицании Бога Творца без всяких затруднительств к тому продолжает выполнять свои основные функции: честь, долг, совесть, справедливость, преданность партии, их лидерам, уважение к членам сообщества и даже любовь, но к ближнему, то есть к человеку, разделяющему с тобой оное же, не несут ли в себе те же морально-нравственные аспекты десяти заповедей, кроме одной, отрицание которой делают все остальные совершенно никчемными: Я Бог... Возлюби Господа Бога своего всею душою, всеми помыслами своими, всеми чреслами своими возлюби... Круг замкнулся.

Кстати... Ту чиновницу из района, что возмущённо сетовала по поводу бытийности Бога в художественном произведении самого Пушкина, однажды и совершенно неожиданно так шмякнуло, так осенило в голове своей относительно столь ясного и понятного для неё, как – Бога нет!.. И это медицинский факт, что упаси мя, Господи... Совершенно с колеи съехала баба...

– Пошла я как-то на курьинское кладбище проведать покойных родителей, прибраться маленько, – рассказывает мама, – вижу: совсем уж старушка бродит от оградки к оградке, набожная такая, вся в чёрном, белой косыночкой повязана, ни одной могилки на своём пути не пропустит, то травинку какую сорную с холмика выдернет, тряпочкой крестик протрёт... Пригляделась... Кто же это у нас такая? Батюшки!.. Да это же Гаврилова Раиса Николаевна, та самая, что некогда распинала: «А Мокаева-то, а Мокаева...» Господи, Господи! Слава Богу, исправник приехал! Радость-то какая».

2

Удивительные вещи открылись мне ныне. Как сказал двоюродный брат Павел, который старше меня аж на десять лет, никаких, к чертям собачьим, домовых, бук, русалок, леших и прочей чепухи и в помине на свете нет. Бабкины сказки. Так и сказал: «Никаких, к чертям собачьим...»

– А куда же они тогда подевались? – с удивлением спрашиваю я своего брата. – Были, были... А теперь что, уже нету?

– Брехня! Сказки для недоразвитых, – категорически рубит рукою он, – наука давным-давно уже всё это объяснила и доказала. Ясное дело, что попам, муллам и всяким там ламам это не нравится. Вот, к примеру... Возьми молнию, которая во время грозы случается... Обыкновенный ток... Такой же, как и в наших электрических проводах; ничем не отличается. А раньше... Когда люди были ещё дикими и тупыми... Какую только чепуху не вымышляли, чтобы объяснить это простое явление природы, о котором теперь понятно и простому школьнику.

– Павел! – не унимаюсь я. – А мы... Мы что, все тоже придумались и живём в бабкиных сказках?

– Не понял, – тарачится на меня брат, – уточни... С какого это лешего ты взял такое?

– Как с какого лешего? – ещё более не унимаюсь я. – Ведь ты сам... Сам только что сказал, что домовые, буки, русалки и лешие живут только в сказках, потому как специально так придуманы всякими попами, недоразвито думающими и дикими тупыми людьми. Ведь правда, что ты так сказал? Раз некоторые из них проживают в нашем доме, то выходит, что наш дом настоящий и сказочный.

– Вовка! – излишне горячится Павел. – Правильно говорит твой отец, что ты редкостный фантазёр и придумщик, а по-другому, как добавлю к тому ещё и я, – врун. Никаких домовых и бук, хоть ты тресни и вылупись наизнанку зенками, не бывает; оптический обман или от приключившейся со страху психической нервности. Это когда мерещится... Причуривается то, чего и в помине нету. Я сам однажды, когда ночью шёл через кладбище, видел настоящее привидение – бледное такое, высотой аж до крыши этого сарая, – показывает рукою на соседний коровник, выступающий углом из-за дома, – только худющее-прехудющее, словно простыня поднятая на шесте, но с круглой, как дыня, головою. И с глазами... Страсть, аж до ужаса. Поначалу испугался, конечно, что уж там скрывать. А потом продрал хорошенько глаза кулаками, гля, а оно словно и растаяло. Заржало кобылою нежерёбою, тоненько так фыркнуло и фьют в разверзшуюся у самого креста могилу. А почему всё вот это так причудилось? Да от нервов – скажу я тебе. В тот день, и совестно признаться, аж три двойки схлопотал, да ещё и единицу по поведению. На спор с Измоденом одним ударом крышку у парты напрочь отшиб. Вот от этой самой психости и помутилось всё в башке, когда со школы решил пойти через кладбище; нужно так было...

¹Зенки (простонародн.) – глаза.

Рассуждения брата по поводу небытийности нечистой силы меня нисколько не убеждают. Буквально несколько дней тому назад Иоаким Мудрый, с которым я знаком, кажется, аж с незапамятных времён, предложил мне на обмен свою глазурованную глиняную свистульку с тремя дырочками и в виде нахохлившегося воробушка на мой серебряный полтинник с головою царя Александра, а может, и Михаила, хотя, скорее всего, Николая.

– Пойми ты, Вовка, дурья твоя голова, – солидно убеждал он, от нетерпения суча коротенькими ножками, обутыми в крашенные медным купоросом липовые лапки (это он, чтобы отличиться, специально так вывозил их в папином ядохимикате), – монета, да и ещё с царём в голове, тебе – будущему пионеру, совсем ни к чему. Зачем она тебе такая старозаветная? К тому же, – тыкает пальчиком, – видишь, какая на ней на самом важном месте, где имя августейшего, выбоинка. А это, поверь мне – стариннейшему нумизмату как-никак, есть очевиднейший её недостаток, влекущий за собою и всё остальное. На мой законный вопрос как владельца объяснить, что он имел в виду этим сказать, Иоаким, презрительно сморщившись, предпочёл совсем никак ответить по существу, многозначительно стал выдумывать про какой-то золотничок, который мал, да дорог, и про дурную траву, что только и делает, что тянется ввысь.

– А при чём здесь эта дурная трава и мой благородного металла полтинник, – уже напрямую спрашиваю я его, – какая в том связь?

Смерив меня с ног до головы, домовый тут же и ответил, но, кажется, ещё загадочней:

– Быть тебе, Боборика, на всю жизнь головастым коротышкой, сосудом, исполненным противоречий, путником, бредущим поперёк течения, пишущим сказки задом наперёд, строителем, воздвигающим свой дом с крыши. Быть!.. Зачем она тебе? – ещё более принимается лукавить он. – Всё одно... Или в печь забросить для эксперимента, или... или утопить в уборной. Ведь было уже... И не отпирайся даже, варвар... Цельную шкатулку серебряных монет дореволюционной и послереволюционной чеканки... Одна монетка к другой, пальчики оближешь... Взять и все, как есть, в нужнике утопить... Я их, что ли утопил? – хмурится Иоаким. – В память упокоенного деда Ивана и бабы Марфы мог бы и сохранить... Для меня... Такие рублики, – цокает по-восточному он языком, – один целковый к другому, и все без царапинок. И с ликом императрицы Анны Иоановны, и с самодержицей Елизаветы, Александра, и Михаила, и самого Миколы-душегуба – последнего из царствующих Романовых. А с серпом и молотом и кузнецом, перековывающим мечи на орала, и даже с пятиконечной звездой, на обратной стороне которой мужик

с бабою рожь засевают... Вандал... Ты думаешь, мне приятно было их по одной из нужника выуживать?.. А отмывать... Тот одеколон – шипром называется, который я бесследно спёр у твоего отца, аж две склянки, дематериализовал, так сказать, прямо из-под самого носа во время его бритья, как раз и пошли на эти нужды. Но на что только не пойдёшь ради полноты коллекции... Слаб, признаюсь... Как увижу у кого, так и... А у тебя, Вовка, мне красть совестно. Ведь как-никак, а мы всё же таки настоящие друзья. Разве не правда?.. Свистулька же – штука редкостная... Занятнейшая, скажу тебе, вещица. Ты не смотри, что вся такая почерневшая и неказистая от земляного нагару, от времени, которое что хошь сгорбатит, – звучания необыкновеннейшего, соловей... Ей, почитай, не менее как тыща лет по земному исчислению... А от Сотворения – и того паче более. Глина...

Полтинничек мой, как и следовало ожидать, Иоаким всё же выдурил, сунул певчего новгородского воробушка в руку, непременно пообещал выучить игре на нём.

– Ты не смущайся, что всего три дырочки... Звуков в этой птахе – полная утроба; так и заливается трелями. Вот, смотри...

Свистнул протяжно и исчез с моим советским полтинником тысяча девятьсот двадцать второго года чеканки, пятилетнего года Великой Октябрьской революции.

– Что же это тогда получается, – соображаю я, после того как Павел огорошил, – выходит, и Иоакима, и его дружков – Хвыри, Брута и Евлашки, и многих других так и вообще в помине нет?.. Свистулька лежит в кармане, упавшая с потолка узорочная серебряная ложечка, обложенная драгоценными эмальями, – в маминой шкатулочке, берестяное письмо, посланное мне лично дружинным княжичем Балякой с приглашением посетить вольный город Новгород – в папиной большой книге между страничками шестьсот шестьдесят шестой и шестьсот шестьдесят седьмой, а тех, кто всё это мне подарил, даже и духом нет?.. Виданное ли дело?.. И можно ли в то поверить?.. А ведь, и действительно, правильно научал Иоаким ещё тогда, в баньке, когда я, вооружившись огромными папиными щипцами – коваными и ребристыми, стал выкорчёвывать с корнями из вполне доброго будильника шестерёнки, пружинки и втулочки, чтобы посмотреть, как всё это устроено, а потом, удовлетворив своё любопытство, поняв саму суть, собрать обратно в соответствующей последовательности. Не получилось. Не мудрствуя лукаво, побросал все искорёженные деталюшки вовнутрь, как в шкатулочку, прихлопнул задней крышечкой, звончок, от которого убежал куда-то винтик, приклеил на пластилин, аккуратненько всё это поставил в изголовье папиной тумбочки, как и было. Так вот...

– Молодец, Вовка! – орал от восторга и во всю глотку проказник Иоаким, который на всё это и подбил. – Никогда никому нипочём на слово не верь. Сбредут... Опыт всех поколений в тебе; только им и только им сверяй себя – и не ошибёшься. А если и дать маху, то экое дело... Приобретёшь ещё более ценный опыт. Можно ли что построить, не разрушая? Помысли хорошенько над этим. Зри в сам ядрёна корень, но не чужими, а своими глазами; прислушивайся более не к шелесту трав, что клонит к земле ветер, а к натужному звону их корней, пролегающих во мраке земли. Жизнь в цветении роз немыслима без запаха тлена, любви не бывает без боли и ненависти, света без тьмы, горя без радости. Будь чуток и запомни: не только шершавый камень осязаем, но и, кажется бы, невесомый эфир. Мёд потому и сладок, что есть трава – полынь. Возможно ли несолёную соль сделать солёной, а несладкий сахар сладким. Как у всякой вещи есть свой предел, так и у человекoв. Себя исследуй, держись своего естества.

– Павел, а Павел, – с притворным смирением, но моими устами спрашивает Иоаким Премудрый, неожиданно проявившись из самой пустоты возле печной трубы, там, где всегда особенно жарко, – а эти самые учёные твои, которые всё на свете знают, придумали разгадку, для чего мы вообще живём, тогда как непременно умираем? Или... Зачем нам нужны на небе звёзды, которых, в силу их отдалённости, никогда руками не достать? Не вашим ли научным постулатом доказано, что нету ничего на свете из движущего, чтобы превысило скорости этого самого света... Усекли подвох... А выше головы, как известно, может, и возможно умудриться сигануть вперёд ногами, но... Себя-то самого не перепрыгнешь...

– Вовка... – не без тревоги озирается по сторонам брат, – где ты так наблатьякался складно брехать? Какие постулаты, какая скорость света?.. Ты сам-то хоть понимаешь малейшего смысла о чём спрашиваешь?..

– А чего я такого сказал, – с ноткой плаксивости кривляет меня проказник домово́й.

Краешком глаза наблюдаю, как Иоаким, свесив ножки с чугунной печной вьюшки, из мудреца перевоплощается в уличного паяца, да и ещё, кажется, и в подпитии, корчит рожицы, надувает из собственных слюнок подобие цветных пузырей, которые тут же с лёгким бульканьем лопаются. Угольком на выбеленной печной трубе рисует одноглазую Бяху – троюродную сестру Буки.

– Зачем попортил всю мамину работу? – мысленно корю его я. – Мама старалась, старалась, белила к празднику извёсткою, белила, а ты взял и нахулиганил.

– Это я-то нахулиганил? – с показным удивлением растопыривается он своими коротенькими ручками.

Нарисованная Бяха оживает, тревожно скосив свой единственный глаз в сторону кота Васьки, скребёт птичьей лапкой макушку, не без удивления наблюдает за всем этим театрализованным балаганом, медленно, подобно маленькой лужице разлившейся чёрной туши, стекает по трубе вниз, просачивается в еле заметную трещинку.

– Вот... – обиженно моргает глазками домовой, – дослужился... называть своего лучшего из потусторонних друзей хулиганом... Никакой творческой инициативы, сплошная обструкция...

Шмыгает носом, принимается притворно, подобно горделивому индюку, надуваться:

– Ну, знаете ли, – переходит он на высокопарное «вы», – это уже ни в какие ворота... Каких поносных обвинений не приходится только сносить нам, то есть мне. Где вы видели, что я что-то и где-то там попортил?

Дует на неподвижно зависший пузырёк голубого цвета, производит ручками магические пасы, быстро нашёптывает, сплёвывая то направо, то налево. Воздушный шарик, величиною с маленькое яблочко, повинувшись неведомой силе, медленно вращаясь, плывёт в сторону Павла, зависает над самым кончиком его носа, быстро раздувается до размера спелого арбуза, с треском лопается. Неожиданно для себя, без малейшей подготовки брат так истерично и громко чихает, что задумавшийся о чём-то своём кот буквально валится в обморок.

– Фу ты чёрт! – трёт глаза и нос он. – Откуда это вдруг так само-садным табачищем понесло? Так каким ты там вопросом задавался по поводу жизни и звёзд на небе?.. Для чего, говоришь, жизнь, когда всё одно – помрём? Так, что ли?.. Потому, скажу я тебе, и это Природа-Матушка так хитро придумала, нам, вопреки всему, и хочется жить, что на этот вопрос, хоть пройди ты ещё десять тысяч лет, никто и никогда вразумительного ответа не даст. Учись, работай, свершай добрые поступки во имя социализма к приближению коммунизма, вот тебе и всё твоё бессмертие. А звёзды... Потому они и зажигаются ночью на небе, чтобы мы в кромешных потёмках не блуждали. Да и вообще, – кривится губами Павел, – что это за небо, на котором ни одной звёздочки...

Довольный своей находчивостью и что так умно сказал, вернее, перепел под общую копирку, лезет в боковой карман пиджака, достаёт морковную парёнку¹, внимательно её рассматривает.

¹Парёнка – лакомство; резаная морковь, выпаренная в чугушке в русской печи.

– Хоть в наших суровых краях и не водится разная фрукта, как на твоём заморском Кавказе, и мы, брат, не лыком шиты. Уральская парёнка ничем не уступит засушенной черносливе или абрикосине. А витамину «А» в ней ещё больше.

Сдувает и стряхивает пальцем налипшие крупинки махорки, торжественно вручает мне. Вместо того, чтобы его как-то поблагодарить, заложив лакомство за щёку, нудящим голосом ябеды тяну:

– Ага... Павел... Всё расскажу твоим папе с мамою, да и ещё своим родителям, как ты от них втихаря куришь, пускаешь дым из носа. Вот тебе будет тогда.

Понимая, что вся эта подлая неблагодарность исходит не от меня, а проделки внушений Иоакима, которого ошарашенный мой брат, конечно же, никак не чует и не видит, мысленно и возмущённо обращаюсь к домовому прекратить его козни и что это с его стороны крайне некрасиво и даже подло, но его, в буквальном смысле, и след простыл. Нагадил на дорожку и улетучился в своё запределье, откуда-то, и это точно, ничем его уж не выковырять.

– Вот так всегда, – краснею от обиды, – нашкодит как последний прощельга-пасквилянт, а мне за него расхлёбывай.

– Вовка! – гневно сверлит глазами Павел. – Оказывается, ты не только фантазёр и врун... Ты к тому же ещё и неблагодарный ябеда... Где ты взял... Где ты взял, что я курил и дым из ноздрей, как Змей Горыныч пускал? А то, что махорка в кармане... Так то от комаров и прочего гнуса... Им шибко табачный дух не нравится. Комар, – оправдывается брат, – хоть и насекомое как бы неразумное, без всяких жизненных понятий, которыми только наделила Природа, но всё же, как и человек, имеет ко всему как пристрастия, так и отвращения.

Не без мстительного удовольствия отпускает мне по лбу тугой шлобан, указывает пальцем на трубу, спрашивает:

– Твои художества? Ты углём намулелвал харю одноглазую с вытянутыми до потолка куриными лапами? По глазам вижу, что твоих дело рук. Художник мне нашёлся... Мало тебе досталось, когда настоящую живописную картину малярными красками стал поправлять. Пока всё до единой чёрточки не отскоблишь ножичком, никаких тебе гуляний. Быстро на печку!..

– Предатель, – шепчу в адрес улизнувшего домового, – отдавай назад мой серебряный полтинник, который ты у меня выдурил не почестному, так и не научив играть на глиняном воробье-свистульке в три дырочки. Где там у него полная утробушка звуков...

Тонкая известковая пыль под лезвием кухонного ножичка осыпается голубою пудрою, мельтешит в косом столбике яркого солнечного

света мириадами живых частичек, осыпается на крашенный дощатый пол серебристым инеем. Оттого что мама перестаралась, добавила больше прежнего в известь синьки, нижний слой относительно мною отскабливаемого кажется гораздо белее. На месте чёрной и неряшливой одноглазой Бяхи появляется светлое неправильной формы пятно с вскинутыми под самый потолок кривыми загогулинами. И непонятно, и некрасиво. Моими стараниями и усилиями всё это перевоплощается в изумительное кругленькое солнышко с растопыренными во все стороны ослепительными лучиками света, под ним – подобие моря, переливающегося голубовато-пенными волнами, по которому силой ветра плывёт одинокий кораблик под белым косым парусом.

– Молодец, Иоакимушка, – восторженно шепчу я, – это ты так надумил меня нарисовать такую добрую и мечтательную картинку.

Не то, что ту, которая висела... Нет, не висела, а была прибита к стенке гвоздями в самой большой и главной комнате нашего дома, где злой охотник из ружья целится в рыженького с беленькими пятнышками оленёнка, ничего не подозревающего об опасности, мирно щиплющего зелёную травку. Холст провинциального и, скорее всего, доморощенного немецкого художника, свёрнутый в тугую трубочку, папа купил на послевоенной свердловской барахолке за очень дёшево, привёз маме в подарок. Не умея, как сделать к нему подрамник и как этот холст на него натянуть, не мудрствуя лукаво, прибил его к стене гвоздями, словно ковёр. Как помню, дабы предотвратить страшную несправедливость, спасти кроткое животное от неминуемой смерти, остатками разных малярных красок, найденных мною в измятых и проржавелых банках в конце нашего огорода, кисточкою для клея сначала замазал ружьё, а потом, но уже другим цветом, охотника. Для большей выразительности жуткому, расплзающемуся зелёно-бурому пятну при помощи обыкновенной щепочки попытался придать вид старого ветвистого дерева с чёрным дуплом, из которого выглядывает белка. Поскольку белочка никак не удавалась, а мрачное дупло всё разрасталось и разрасталось, пришлось пририсовать домик с флажком на трубе, выписанны красною пологою краскою. Убедившись, что бедному животному ничто и ниоткуда уже не угрожает, измазанные в краске руки тщательно вытер о собственные штаны, в счастливейшем расположении духа побежал купаться на речку. Можно только догадываться, насколько папа был очарован при лицезрении исправленного мною живописного полотна, пусть и «неизвестного», но всё же довольно талантливого немецкого художника под фамилией Трупп и под именем Шульц. Тут же, пока окончательно не присохло, попытался привнести от своего, то есть как-то исправить,

привести к первоначальному виду. Обильно смоченною в скипидаре цветастою тряпкою с таким тщанием стал оттирать моё серо-буромалиновое раскидистое древо с таким уютным домиком под гуманистическим красным флагом, что растворил и всё остальное, то есть и охотника, и его ружьё, и даже ни в чём не повинную длинноухую собачку. Мало того, цветная тряпка полиняла, отчего кусочек голубого неба с кудрявыми облачками обрели предгрозовую хмурый оттенок, потеряли своё идеалистическое очарование. Посовещавшись с мамой, вырезали оленёнка, мирно жующего травку, оформили в маленькую деревянную рамочку, по случаю дня рождения учителя по математике Измаденова Сан Саныча подарили как эскиз. Картинку же, которую я изобразил на белёной печной трубе изобретённым мною способом скобления, который, кстати, существовал уж много как столетий до меня и широко применяется в графическом искусстве поныне, решили не забеливать, так она всем понравилась. Про одноглазую Бяху я предпочёл умолчать.

– Боборика, – заинтересованно спрашивает папа, – как это тебе пришло в голову? На незначительных контрастах света нового и старого слоёв извести создать такую оригинальную фреску... Кто тебе так показал? Таким образом, я официально ступил на тернистую и скользкую стену искусств, успел даже получить своё первоезрительское признание, путём сложных и противоречивых умозаключений уяснить, что всё в этом мире можно подвергнуть сомнению, а следовательно, всё в этом мире носит характер условности, и что графический портрет троюродной сестры Буки, метко намалёванный углем, также имеет право быть. Разве виновата она, что Природа придумала её одноглазой, с тоненькими и непомерно длинными куриными ручками, кругленьким брюшком и гусиными перепончатыми лапками. Не по этой ли причине Бяха такая несчастная?.. А потому каждый видит этот мир таким, каким видит. Не зря ведь сказано: на вкус и цвет товарища нет. И ещё... Что там из подобного же сказано? Ага!.. Вспомнил... Любовь зла – полюбишь и козла. А с милым и в шалаше рай... Это, правда, пока медовый месяц и деньги, подаренные на свадьбу родственниками и гостями застолья, не закончились. А потом... а потом начинаются суровые будни, которые всё и расстанавливают по своим местам: истинны ли были намерения влюблённых? А ещё короче: мужчина ли он?.. Женщина ли она?.. Разве любить не искусство? И разве сама жизнь не тот же туго натянутый холст, на котором каждому желается оставить свой след? Пыльный след тщеславия, крути не крути, а тоже след. Пробарабанил дробно пятками, поднял шлейф дорожной пыли, а святые чихают и протирают глаза: что это было? Во, сила искусства!

Перенесясь в своём повествовании чуть наперёд, хотел бы коснуться одного случая, совершенно как бы и мало значимого случая, который тем не менее в корне изменил моё детское, и не только, отношение к величайшей в новейшей истории личности Владимира Ильича Ленина. А всё из-за грошовой репродукции на картину известного советского художника-реалиста – «Ленин на охоте». Казалось бы... При чём здесь эта репродукция?.. И как эта дешёвая полиграфическая картонка с изображением вождя мирового пролетариата, величайшего гуманиста, лучшего друга детей и всех обездоленных на земле, могла так негативно повлиять не только на моё сознание, но, кажется, на саму душу? Какая в том связь?.. А вот... Случилось же... На тот период времени мы уже переехали в Нальчик, учились с сестрёнкой аж в третьем классе «Б» школы номер пять, которая здравствует и поныне, является одной из старейших школ города. Учительница Анна Даниловна – бывшая блокадница, на себе пережившая ужасы голода, холода, смерти близких в блокадном Ленинграде, как-то в виде наглядного пособия принесла с собою на урок чтения прямоугольную картонку с полиграфическим воспроизведением картины «Ленин на охоте». Не помню уж точно, так ли в действительности называлась эта работа или несколько иначе, как, например, «Ленин на охоте в местечке Горки», суть от этого не меняется. И имя, и фамилию автора этого холста я, конечно же, забыл, да и в нём ли это дело? На фоне заснеженного зимнего поля с чахлыми кустиками и реденькими ёлочками по краю опушки, на самом переднем плане, в коротком рыжем полушубке мехом вовнутрь, в валенках и шапке-ушанке Ленин из ружья целится в стремительно несущегося зайца. При более детальном рассмотрении видно, что он не только прицелился, а уже и выстрелил, так как от края ствола виден дымок и искорки порохового пламени, а заяц, так гордо, но неестественно подпрыгнувший, уже не жилец, хотя и не осознаёт, что совсем и окончательно убит ради азартной потехи, но никак не ради ценного меха и мяса и что ему уже никогда более не резвиться на воле, не скакать весело по лугам и лесам, не кушать сочную молодую травку, не хрумкать капусту и морковку на огороде кровопивцы-кулака. Разве такому совершенному человеку – вождю, должно как-то промахнуться?

– Вот, как мне кажется, истинный замысел художника-соцреалиста, изобразившего Ленина вот так неожиданно.

А неожиданно ли?..

– Анна Даниловна, – дрожащим голосом бесхребетного существа, жизнелюбивого идеалиста-слюнтяя, вопрошаю я к суровой и прямодушной учительнице, повидавшей на своём веку... О-го-го... – А что... Это так по-настоящему?

– Что по-настоящему, Володенька? – не без удивления смотрит она на меня выше своих роговых очков, которые сползли у неё на самый кончик носа.

– Разве Ленин может быть охотником?

Анна Даниловна, тогда уже весьма немолодая, скорее, для таких, как мы, совсем бабушка, внимательно смотрит мне в глаза, слегка, как мне кажется, хмурится, отчего её бледные губы начинают вытягиваться в струнку, холодным голосом замечает:

– Что же в том плохого, что охотник?.. Ведь он, несмотря на свою величину, был таким же, как и все – простым человеком, как и любой из нас, нуждался в отдыхе и развлечениях, имел различного рода пристрастия: играл в шахматы, любил попеть, коллекционировал даже марки... А может, и что другое... Не помню уж.

– Но ведь зайчик-то, – не унимаюсь я, – был самым настоящим и живым; травку щипал, никого не обижал... У него, наверное, были маленькие детки, дедушки и бабушки... А дедушка Ленин взял и убил его из своего ружья навсегда; не пожалел, не сжалился над его деточками-сиротиночками.

– Садись, Володенька, – сухо и не без нервности указывает на парту Анна Даниловна, скашивая глаза в сторону галёрки, завсегдашнего места двоечников и второгодников, вольнолюбивые представители которой, непонятно и отчего, вдруг оживились.

– Мало ли как художник мог замыслить, – как бы оправдывается она, – взял да и придумал для ещё большего очеловечивания вождя мирового пролетариата. А ты чуть уже и не в слёзы... Зайца подстрелили... На то они и зайцы, чтобы на них охотиться, – совсем неуверенно говорит она, убеждая, скорее всего, саму себя, но никак не меня – маленького негодника, никак не желающего разделять дикие повадки взрослых и их оправдательные умозаключения относительно не только одного этого, но и многого-многого другого.

Но, оказывается, в дополнение ко всему этому, есть и ещё более потрясающая картина, выписанная на упругом холсте маслом, где Ильич не просто с охотничьей двустволкой, а с настоящим боевым наганом наизготове. Да, да... И здесь я нисколько ничего не придумываю, так как хоть и в полиграфическом исполнении, но видел её самолично. В одежде то ли кочегара, то ли железнодорожного рабочего, в фуражке и... по-моему, хотя и могу сейчас ошибиться, – в сапогах, он крадёт в сторону стоящего под парами огромного чёрного паровоза, туда, где в кровавом отблеске заката, на его фоне, в напряжённой позе охранно застыл рабочий с предостерегающе приподнятою ладонью правой руки, всматривающийся в кромешный мрак каких-то железнодорожных

ангаров, за которыми, по всей вероятности, притаились царские жандармы. Если я опять-таки не запамятовал, полиграфическая иллюстрация этой поистине замечательной картины есть в собрании Большой Советской Энциклопедии за 1948 год. Чудны дела твои, Господи...

3

После столь категоричного заявления Павла Саввотеивича, а в поддержку ему и папы, и мамы, а затем и всех остальных взрослых, кроме воздержавшейся старозаветной бабы Дари, которая всё же продолжала от своей малосознательности и тугости неразвитого ума верить в невидимого ни для кого Бога, совершенно не осознавая очевиднейшего: как может существовать то, чего никто и никогда не видел, – в голове моей всё перевернулось с ног на голову, перебутырилось, потеряло ясность очертаний. Оказывается, сказка не одно и то же, что и быль, а где есть быль, там не место быть сказке.

– Выходит, – рассуждаю я, – живая радость ромашковой лужайки с журчащим вдоль её низины хрустальным ручейком, светлая и таинственная грусть берёзовой рощицы, угрюмые вздохи могучего соснового бора, молчаливая задумчивость каменного утёса, нависшего над Пышмою, жуткое очарование болота – всё это и за всем этим не живые, мыслящие сущности, как мне представлялось ранее, а некая неразумная закостенелость под названием природа, которую непременно надо покорить, подчинить служению человеку, взять от неё всё, что только возможно, а не ждать милости, как ясно и глубокомысленно выразился один очень умный дядечка по фамилии Мичурин, искренне полагавший, что на халяву и укус сладкий, а эта самая природа, с маленькой буковки, что бездонная бочка. Мне всегда казалось, что представленный мир, ясный и понятный мне, точно так же ясен и понятен остальным. И маме, и папе, и братику, и сестричке, и дедушкам, и бабушкам, и даже нашей кошке Машке и коту Ваське. Оказывается, что совсем и не так. Когда косматый огненный шар, с ужасающим демоническим гулом промчался по небу, кажется, чуть ли не над самыми верхушками деревьев и в сторону станции Кунара, никто, кроме меня и моей сестрёнки Тани, того и вовсе не заметил. Не странно ли?.. Как помнится, была белая июньская ночь, которая, как и в Ленинграде, случается в это время на Южном Урале, когда и в двенадцать, и в час, и даже более ночи можно на улице читать газету. Родители ушли в кино на самый вечерний сеанс, мы же вместе с соседскими пацанами и девчонками носились по улице как угорелые, гоняли самодельный литой резины каучуковый мяч, прыгали козлами в чехарду, азартно резались в лапту. И вдруг!.. Не просто беззвучно,

а с нарастающим рёвом, в снопах магниевых искр и нестерпимом для глаз сиянии света, с дымным реверсным следом в полнеба, какой иногда случается видеть при стремительном движении реактивного самолёта, проносится над Курьями огненный шар... Полное безучастие... Даже голову кверху никто не поднял, не говоря уже о другом, когда в подобных неожиданных и зрелищных обстоятельствах люди, как правило, обязательно принимаются жарко обсуждать увиденное, делиться по этому исключительному поводу своими мнениями и рассуждениями.

– Толик, – с испугом спрашиваю я своего соседа, – что это такое пролетело по небу? Чуть уши не оглохли...

С выражением посмотрев на меня, он принялся крутить пальчиком у своего виска, предположил, что от неудавшейся мне игры в лапту, от психости нервов я перегрелся. Играть нам с сестричкой сразу же расхотелось; на меня нашла странная неземная тоска, пугало, что эта «бьяка» улетела не навсегда, а возьмёт да и как-то вернётся, лопнет над самую голову, напрочь всех поубивает, а деревню спалит до тла. Раз Тунгусский метеорит, про который так интересно рассказывал нам папа, ахнул с неба, повалив на землю чуть ли не полтайги, то почему бы и не на нас?.. Ведь случалось же... Тогда, как помню, мне искренне казалось, что этот шар летел не просто так, как сам по себе – куда упадёт, а был управляем неведомой силой, могущей его обрушить туда, куда ей вздумается. Событие это, произошедшее над Курьями в июне тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, когда нам с сестрёнкою было по шесть лет, настолько ясно врезалось в мою память, что и сейчас помнится в мельчайших подробностях, заставляет задуматься: не оттого ли в этом мире среди людей столь большее количество расхождений – радикальных и категорических относительно некоторых явлений и религиозных понятий, которые для каждого в отдельности ясны и неукоснительны, как белый день, истинны, как сама правда, но... только для него, столь чудно прозревшего в том. Кому же захочется, вопреки здравой логике, согласиться с тем опытом, внушаемым ему, который никак не согласуется с его личным опытом? И видим, и слышим, и чувствуем в меру своего, казалось бы, личного осознания мира этого, которое на самом деле есть бессознательное и коллективное, бесконечно внушаемое как единственное и правильное. Возможно ли как-то и видеть, и мыслить, и чувствовать вне всего этого? Возможно, да... Не потому ли взгляды личности на общественно-политическое и религиозно-нравственное устройства мира часто, а порой и радикально не совпадают с общепринятыми коллективными? Религиозно-философические догмы, устоявшиеся законы морали через призму личности, личного «Я» столь ли однозначно воспринимаемы? И вообще, само коллективное сознание,

если оно вообще имеет быть место на земле, сформировавшее в различных средах человеческих сообществ свои идеалы, само столь ли идеально? Не от того ли массового безумия войны и революции, что на каждом из этих полюсов своя непреложная истина, своя правда-матка? Мне же – Мальчику без времени, совершенно наплевать, кто как видит и думает. Пусть каждый играет так в свою жизнь, как хочет, как может сам себе позволить, как ему дозволяется. А кем дозволяется? Ага... Так я вам «щас» и признался... Ждите... Тут уж, извините меня, каждому по его вере. А презумпции веры столь обширны и разноречивы, что о-го-го... Крышей съехать как дважды два... К примеру... Как вам теория о бесконечно познающей самую себя и совершенствующей всё вокруг Природе, что, будучи сама по себе неразумной, умудрилась наделить разумом не только обезьяну, впоследствии названную человеком – Homo sapiens, но и братьев меньших – четвероногих шариков, барбосов, жучек и тузиков, которые, пусть пока и не научились по-человечьи разговаривать, только рычат да гавкают, но, честное слово, всё понимают... По справедливости, надо признать, и таково моё личное мнение, теория действительно и остроумна, и кое-где даже логична... заслуживает самого пристального внимания, как, впрочем, и другие подобные одной теории, но... одно смущает... И очень даже сильно смущает... Вы уж простите меня – путника, заблудившегося во времени, запямятавшего, где он младенец-ребёнок, взрослый-старичок, где последний раз почил и заново родился, что я вот так, не по-научному, выражусь, не в бровь, а в глаз:

– А на хрена, спрашивается, этой самой неразумной Природе путём всевозможных эволюционных ухищрений, на которые, уж поверьте, ушло не просто прорва времени, а прорва времён, вообще понадобилось выводить этого самого человека – душегуба и губителя самую себя? Теперь уж, когда и ничего поделывать-то нельзя, понятно, что будь у Природы хоть капелька мозгов, разве бы она поступила столь опрометчиво и неразумно?

Но... Полно об этом... Может, всё и совсем по-другому?... Может, эта самая Природа так исхитрилась не ведомым никому сознанием, которое не подчиняется никаким логикам, так извернулась наизнанку, что решила познавать себя и усовершенствоваться не как в голову взбредёт, а посредством малюсеньких-премалюсеньких человечков, которых она для того и придумала как нескончаемый питательный гумус, чтобы самой – паразитке, существовать вечно, а всем другим – шиш! А пошто так?... Вот тебе и пошто... Деревня... Природа относительно всего себя окружающего, как мыслящего, так и немыслящего, не предусмотрела их личностного бессмертия, и это факт, с которым трудно не согласиться.

Человек, полагающий, что он венец природы, глубочайшим образом ошибается. Гумус... Оставляя из своих практических, духовных, интеллектуальных накоплений всё самое лучшее, с лёгким сердцем и наивселейшим состоянием духа покидает сей несправедливый мир, полный горестей, отправляется, а вернее, отходит в Бозу, где ни воздыханий, ни печалей и ни скорбей, а вечный покой. Там и не жарко, и не холодно – ибо нет чувств, ни светло, ни темно – нет зрения... Вообще ничего нету. Даже этого самого небытия, которое, замечу, так же, как случившийся факт, нуждается хоть в каком-то философическом определении. Есть тление, то бишь медленное горение – химический процесс, посредством чего всё физическое возвращается на круги своя, переходит из одного состояния в другое, то есть опять-таки в бессмертную материю, которая и представляется во всей своей красе Матушкой Природой.

– А что же с моим сознанием, с моим «Я»? Протестую.

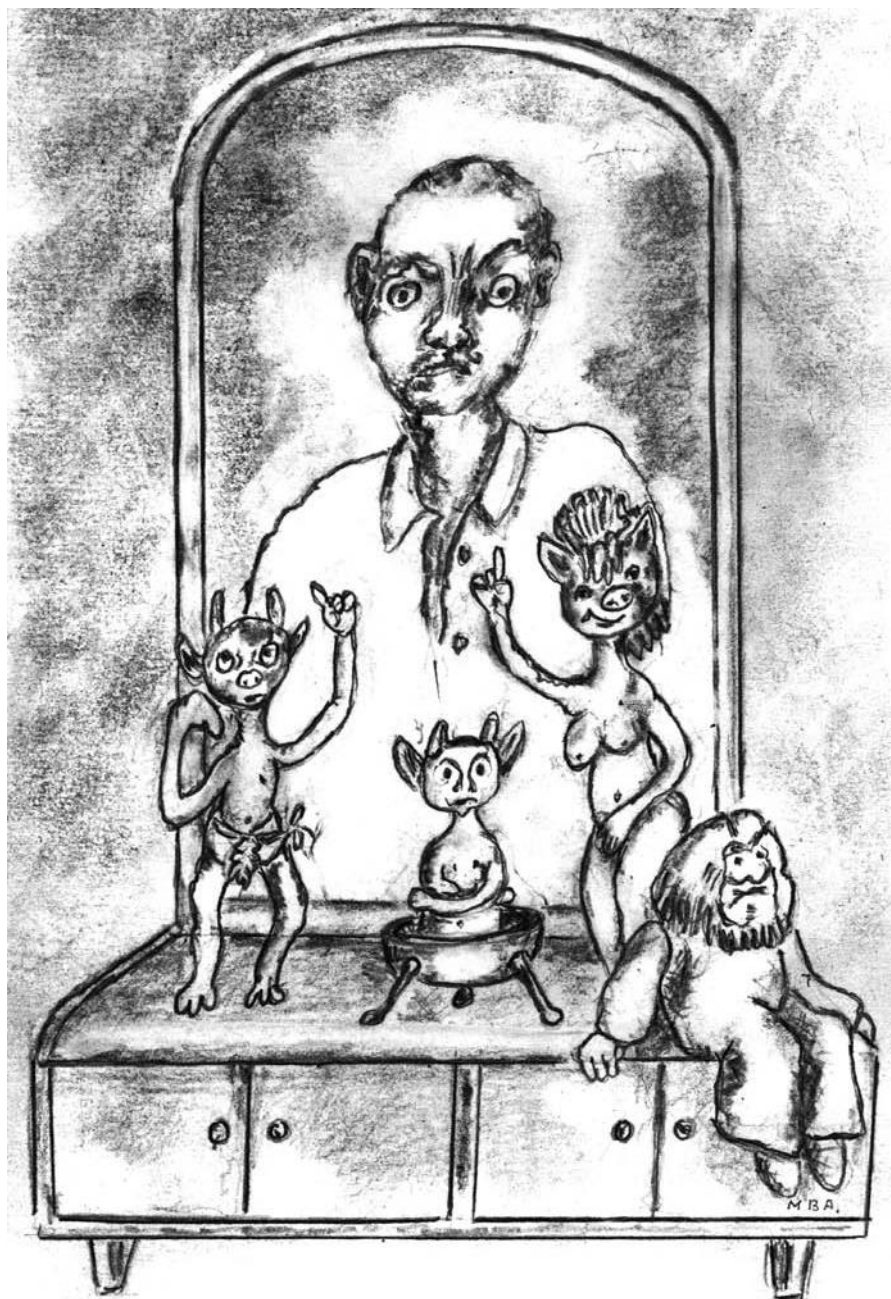
Глупец! Чтобы протестовать, нужно хоть какое-то сознание... А вот оно-то именно и кануло чёрт знает куда, хотя... Вроде как бы сам Бог и прибрал; не проверить же... А коли не нравится вам безмозглая и костная Природа, творящая вечное и разумное, не нервнируйте и не психуйте, преклоните колени свои пред Непознаваемым, имя которому Иегова Бог. Оный есть Творец всего сущего, в том числе и Матушки Природы. Кто ж вам мешает?.. Не по вере ли нашей всё нам даётся? Бессмертий без рабства, как и преступлений без закона не бывает, и это факт. Я же – заблудший во времени мальчик, даже и не думаю заниматься поучительством, передаю взбрендившиеся весть знает и откудова в мою голову мысли как есть, то есть такими, какими они – пришлые, втемяшились. Сразу же хочу предупредить, мало ли как бывает, что никаких ответственностей за их содержательную часть брать на себя не собираюсь, ибо есть смутное подозрение, что оные – все до единой думки, принадлежали некогда Канту, придумались в его сумасшедшей голове, да вот как-то выветрились, разбежались по белу светушку.

Глава 12. НЕУДАВШЕЕСЯ ЗНАКОМСТВО. ПРОРОЧЕСТВО ИОАКИМА МУДРЕЙШЕГО

1

– Ну, что?.. Хвантазёр, – ржёт сивым конём Иоаким Всеумудрейший, – съел дырку от бублика... Если от твоих семи пядей во лбу, – загадочно подмигивает мне, – отнять арифметическое число семь, сакральное, замечу, число семь, то и в уме не придётся ничего откладывать, так как результатом сей магически произведённой операции будет – ничто,

то есть – та же дырка от бублика. Скажу тебе по секрету, – опасно озирается на все четыре стороны, делая выражение лица таким, какое случается у продавца, под шумок сбагрившего штуку протухшего балыка оптом, а у покупателя, который должен был давно как укатить восвояси, вот же незадача, прямо у дверей базы у телеги колесо на оси лопнуло. – Разве ты мне не настоящий запредельный друг, а хочешь – товарищ? Вчера, не скрою, после долгих и мучительных сомнений хотел лично представиться твоему родителю – милому папочке, чтобы зримым присутствием своим доказать о беспочвенности его суждений относительно нашего роду-племени, коему он отказал быть в силу своего неверия в нас. Думал, поймёт, осознает, поблагодарит, пусть и не извинится, но уж по крайней мере перестанет обзывать тебя придумщиком, фантазёром и... Как он там ещё говорил?.. Ах да, патологическим вруном-любителем. Заметь, Вовка, не профессионалом, который за своё враньё прибыль какую имеет, а любителем, то есть врущим для своего удовольствия и за бесплатно. Разница, как видишь, великая. Ну и что, ты думаешь, из того вышло? – хмурится Иоаким и принимается обиженно сопеть. Ёжась, как от озноба, нервно потирает свои крохотные ручки, где на указательном пальчике правой откровенно фальшиво блестит медный перстенёк, надраенный об суконку до золота. – И признаться-то стыдно... Сплошной конфуз... Придётся для солидности в чёрный фрак, как полагается в таких случаях, в петличку цветочек бессмертника приспособил; цилиндр, белые перчатки, лаковые башмаки и прочее... И всё, заметь, заграничное, наипервейшего качества. Одна бабочка во что только обошлась – истинное разорение, не говоря уж об одеколоне с исключительно мужественным запахом, напоминающим по духу запах первача, что умеет выкуривать из браги только баба Ганя, что из Боровков. Для пущей материальной весомости друзей своих – Хвырю, Шпундика да Мармышку, как-никак, а дама, к своей персоне присовокупил во всё своём естестве. Сам ведь понимаешь... Контрастность натур в этот деле не помешает. Натурально, как есть, представил: Хвырю в красной рубаше в белый горошек и в чёрных плисовых штанах с позументом, Шпундика же в холщовой косоворотке, но в красный горошек, и в клетчатой юбке, какие носят шотландские мумитроли. Один в лаптях, другой в тряпичных чунях. Мармышка же явилась в своём неизменном ромашковом сарафане и беленьком платочке на головушке. Выбрали время, соответствующее моменту, когда ему, то есть твоему родителю, было совсем не грустно, а, наоборот, очень даже превесело, потому как только с гостей вернулся, из весёлой и интеллигентной компании жизнелюбцев-любителей, что, ей-ей, трезвенников



и на дух не переносят. А когда он – твой родитель, значит, снял с наверхшия шифоньерки свой любимый итальянский аккордеон «Сильвио Брантес», вольно растянул меха и многоречиво пробежал по клавишам, поняли, что самое на то время; прямо, как есть, всею кумпаньей и материализовались пред ясные очи его. Как сейчас понимаю, лучше бы мы этого не делали. Не успел я и рта открыть, чтобы по-научному тщательно заготовленную речь произнести, как вдруг на половинке четвёртого такта лезгинки он как взволнуется, скок прямо со своею музыкою к шкапчику под названием горка – памятной мебели об упокоенной теще, хватъ с полочки пузатенький графинчик с водочкой, бульк чуть не полный гранёный и без всякой закуски – хрясь единым духом. Веришь ли, Вовка... От такой страсти нас так и сдуло за печку. Можно ли вести интеллигентнейшую беседу, когда вот так, да и ещё неожиданно... От столь великой дозы сорокаградусной не то что директору школы, а и самому чёрту бог весть что могло бы на ум прийти, не дематериализуйся мы вовремя. Шутка ли... Двести пятьдесят, да и ещё единым духом, с аккордеоном на груди... Хвыря от психованности своей натуры, что вот так опросто-волосились, дабы твоему папаше поднасолить, наябедничал кой-кому на ушко всякого, приврал от себя и про какую-то Тамарку Тёплых, что на именинах у Карабейцыных, в их дому, стреляла в сторону чернобрового её муженька – лихого джигита, да прямо в упор синими брызгами, и про то, как на учительском вечере в честь годовщины Великой Октябрьской революции, танцуя с худосочной Варварой Евклидовной – школьной библиотекаршей, так от горской горячности своей умудрился её прижать за талию, что ребро погнулось и треснуло. И хоть она никому и не призналась, что это он её так, донине при встрече с ним глаза поособому закатывает. Хвыря, скотина, напоскудничал в удовольствие, а в мирном семействе скандал. Я же, – осуждающе качает головою Иоаким, – признаюсь тебе по чести, вовсе не сторонник подобных низменных методов. Экая невидаль... Мужик от страсти чужой и незамужней бабе ребро повредил... А как она хотела, когда сама вот так напросилась... Библиотекарша всё же... Грамотная... Не могла не знать, что на Кавказе, если джигиты и танцуют с женщинами кафу, то на расстоянии, никак не ближе вытянутой руки. Нет, нет... – ещё более укоризненно качает он головой. – Азартно и благородно внушить произвести обмен часами – не глядя, одни из которых, уж конечно же, безнадёжно больны, а если и тикают, то на последнем издыхании; незаметно спереть пешку, а то и полновесную фигуру с шахматной доски; под вдохновительную канонаду рифм напеть в оба уха поэту с десятков строк неизвестного ему, но известного многим стихотворения, желательно классического,

принятого им за своё; не залезая в чужой карман, произвести в нём полнейший переполох: австрийскую зажигалку поменять на старинное кресало с цветастым хлопчатобумажным фитилём, письменце, принадлежащее любовнице, на подобное же, но только любовнику, аккуратно выведенное почерком своей любимой жены, одобренное к тому же густо духами, самолично купленными по большому благу и из-под прилавка в сельмаге. Многие что могу... Но всё же... Внушение мыслей великих как своих в головы графоманов и прочей пишущей братии – уж это, поверь мне, мой конёк. Ей-ей... Не подумай, что от тщеславия, скорее от профессиональной гордости, настолько преуспел в том, что поди сейчас пойми, кто и у кого что спёр, по-научному – сплагиагничал. Вперёд чёрт рога и копыта свернёт, баран по-собачьи залает, чем истинно дознаешься, кто в действительности произвёл на свет Луку – Пушкин или Барков... И вообще... Мотай себе на ус, Вовка, – неожиданно понесло по другой колее Иоакима, севшего на свой любимый конёк. – Вся их поэзия, так называют ещё стихишки, в том числе и разного рода частушки, литература – художественный свист, всякие там живописания во всех их немислимых жанрах и вариациях – сплошные перепевы одного и того же, но... Под собственным, себя любимого, именем. Бестолочи... Искусство по определению не может быть массовым. Продукт общей доступности, потребляемый поголовно всеми, более схож с пойлом. Одно только то, что он стал всем понятным и ясным, как обыденный день, не может не насторожить: а где тайна? Где высочайшие чувства сопричастности к непостижимому по глубине своей Слово. Где то, что заставляет задуматься, вызвать неподдельное удивление, взволновать, унести в будущее или прошлое? Хотя между ними, этим будущим и прошлым, скажу тебе по секрету, лично я принципиальной разницы не наблюдаю. А если это искусство ещё и под спудами идеологий не имеет значения каких государственных формаций, то быть, в перспективе, диктатуре в лице гегемона и его представителей, возомнивших себя творцами, но вовсе не являющихся оными, ибо тот, кто глуп, сер, неряшлив, необразован и бескультурен, а руки из одного места, думает, прежде всего, не о великом, не о красоте, не о возвышенном и таинственном, всё это ему недоступно, а как бы и что бы где урвать от общественных благ за свою идеологическую халтуру, порою подлинную дрянь, за которой ни ума, ни сердца, ни таланта. А знаешь, почему я это всё тебе говорю? – снисходительно смотрит на меня так, как пацан, научившийся уже курить, смотрит на карапуза. – Конечно же не знаешь. Где уж тебе, шкету... По глазам вижу, что из того, так много и умно сказанного мною, ни бельмеса не понял. А я так старался, – фальшиво сокрушается Иоаким, кивая всем

телом вперёд-назад, подобно равнине, вычитывающему нараспев стихи из священной Торы. – Но!.. Не пропадёт наш скорбный труд, из искры возгорится пламя... – совершенно преображается домовою, патетически выбрасывая стиснутый кулачок вверх, стремительно и всем своим тщедушным тельцем вытягиваясь в струнку в том же направлении, корча из себя трибуна. – Лет этак так через пятнадцать-двадцать, – морщит свой лобик, большим клетчатый платком вытирает лысину, при этом поочерёдно подмигивая мне то левым, то правым глазом, – как есть, всё вспомнишь. Только по-другому. Конечно же, и это всегда так случается, а по-иному и не может быть, про этот наш с тобой разговор забудешь, потому как ты только слушаешь, ни черта не понимаешь, а я говорю; и про меня – бедного и несчастного друга запредельного твоего, запомнишь, искренне думая, что сам вот так допёр мозгами, которые, запомни и заруби у себя на носу, предназначены вовсе не думать, а запоминать. Так вот... О чём это я? – ещё сильнее морщится он всею рожой, потеряв нить своего странного повествования. – Сколько раз можно тебя просить не перебивать меня своим молчанием, – обиженно упрекает меня он, семеня своими ножками, как это делают совсем маленькие дети при обнаружении признаков очередной бестолковости своих родителей, которые не способны и элементарного понимать из того, что они от них желают. Наконец-то... поймав ускользнувшую было мысль, звонко хлопнув себя ладошкой по лбу, откровенно пукает, с лёгким осуждением смотрит на меня, кивая головою, дескать, ай-яй-яй... как нехорошо, как некрасиво, как не стыдно... Словно это не он, а я вот так опростоволосился, подпустив в штанишки от злого духа. – Ничего, Вовка, – миролюбиво успокаивает меня он, – бывает...

– Что бывает! – гневно взрываюсь я. – Сам воздух испортил... Вот, только что испортил... Будто бы я не слышал ничего... А на меня спи-раешь.

– Ну, ладно, – ещё более миролюбивей улыбается он, – зачем нам все эти выяснения? Да и не солидно как-то... Будем считать, что это мы сделали оба и одновременно... А ещё лучше... Что это вовсе не мы, а кошка...

Приходится с Иоакимом соглашаться, потому как заранее знаю, что всё равно объегорит, а в дураках останусь я.

– Так вот, Боборика... – продолжает начатый разговор Иоаким, – годиков этак через пятнадцать, а то и двадцать, скренишься в другую сторону. Ко многому старания будешь иметь, кое в чём и преуспеешь, – назидательно тыкая указательным пальчиком в сторону подвешенного на гвозде квадратного зеркала, в то место угла, где раньше, когда

ещё были живы дедушка с бабушкой, висела икона Казанской Божьей Матери и Образ Спаса Нерукотворного. – Запомни... Возненавидя беспечную и глупую праздность – отторгнёшь от себя многих, потянешься к тишине – озлобишь горлопанов, заиграешь свою музыку на дудочке, исполненную собственными руками, – взревнуешь горделивых, придумаешь девять сказок – задумаются и те, что считают себя прозорливыми. Задумаются, но наберут в ротик воды и онемеют. Хоть молчание и золото, но и звонкоголосая полированная медь блестит не хуже... Это уже для понятливых, – опять тыкает пальчиком в зеркальце, в котором, словно в голубом пламени, кривляется его отражение, но много увеличенное и с двумя маленькими рожками на лбу. – И ещё одно запомни, – вперивает в меня свои маленькие, но бездонные пронизательные глазки, – и за молчанием, как за неприступной стеной, многое можно что сокрыть: утаить правду, оправдать зло, утвердить бездарность, снизвести до земного праха дар. Порою за ним, которое ещё называют золотом, – холодная беспричастность, худшая из разновидностей неосуществлённого зла, несотворённого добра, лютая зависть во всех её проявлениях, низменная и подлая трусость. Но!.. Опасись даже не этих, что заткнули себе рот тряпочкой, дабы не рассекретиться, остерегайся льстецов, чьи уста источают мёд, сердца же наполнены ядом. Двуличию и лицемерию их нет конца, похвалам их нет пределов. Закатит глаза иной из этих самых сладкопечцев, поднапустит туману и давай самым наивысочайшим штилем да громогласно, когда к тому случается такая необходимость, ибо льстят в основном шепоточком, восторгаться тем, к чему имеет самые посредственные касательства, в чём зачастую ни черта и не смыслит. Такого Лазаря... таких афоризмов понаплетёт, что слушает иной – доверчивый и простодушный обыватель... Да что там обыватель!.. Учёный муж!.. Профессор какой известный... Слушает, а в своём уме слагает: ведь надо же! Этак тонко устроен человек... Всё, как есть, по полочкам да сусечкам разложил. Наиобразованнейшая личность, преобразованнейшее существо. Кто этот-тот в сравнении с ним, которого он вот так воздушно и тонко обрисовал в его же успехах в области словесных искусств – выпущенного сборника стихов?.. Честное слово – букашечка бессловесная, червячок яблоневого. Заруби на носу... А хочешь – и вбей куда гвоздичек, Боборика, словоблудцы льстят до той поры покуда видят к тому свою личную пользу. Тех же, кто никак не прельщается их лестью, не наделяет восхищённым улыбчивым вниманием прилюдно, не закатывает благодарственно повлажневших глаз: спасибо... спасибо, любимый мой... Ей-богу... ей-богу, не достоин... Даже неловко... Только такой знающий и утончённый человек способен на подобные,

так сказать, сантименты... Так тонко, так сакраментально... Тех они начинают люто ненавидеть. Беги, Вовка, от мёдолживоустых лукавцев... Что ты кривишься? Тебе что, не нравится это слово, которое я вот только что придумал, ещё более обогатив русскую словесную лексику? Если не нравится, сочини какое другое, достойное по смыслу этому, не мне же, а тебе уготовлено в будущем стать стихоплётom-натуралистом.

– А почему же натуралистом? – интересуюсь я, смутно чувствуя за этим самым «натуралист» подвох.

– Да потому, – буркает домовой, – не знаю ни одного поэта, который где-нибудь и во что-нибудь не вляпался бы. Будь по мне, ни в одну приличную компанию в жисть бы не допустил рифмоплёта. Уж знаю... Обязательно насвинячит, напаскудничает, к замужним женщинам начнёт приставать, а то и с кем подерётся в пьяном облиии. А если даже и не это... Так запудрит всей честной компании мозги своими виршами, которые его, кроме разве одной-единственной меланхоличной дуры в очках, никто и не просил читать, что гости, вместо того чтобы ему дать пинка куда надо, сами под разными надуманными предлогами начинают сматывать удочки. Мой совет: никогда сам себя не величай поэтом, пусть другие так назовут, а особенно недруги. А коли уж ударило как... Угодило сделаться оным, это когда стихи без принуждений сами по себе и даже вопреки воли снисходят и прут из всех щелей, то не рви от творческих иступлений на круглой голове кудрявых влас своих, не заламывай трагически рук, как это умели делать высокопрофессиональные актёры шекспировского театра «Глобус», не закатывай предобморочно глаз. Кропай себе в тиши и по ночам в секретный ящичек секретерчика, где тайно хранятся письма любовницы, пиши как Бог на душу положил. Если действительно не вымученно-вымышленные, чего же тогда носиться с ними как оглашенный, как чёрт с торбой? Разве не понятно, что кто ниспослал, тот и об остальном побеспокоится... И хоть я по секрету и признался тебе, Вовка, что любимым моим коньком есть внушение мыслей великих в головы посредственных, как и наоборот, не такой уж я аморалист, как некоторым представляется. Привыкли на нас, чернорабочих, не чурающихся никакой людской грязи, всех собак вешать, чистоплюи. Они, видите ли, – ангелы небесные и беспорочные, мы же – нечистая сила, ассенизаторы чёртовы. Нормально?.. Один признанный своим народом писатель, имя которому не сохранилось, писал-писал и закончился. Бывает так... Исписался, значит... А так как другого ничегошеньки и не умел, а свободного времени – прорва, то решил из писателя превратиться в читателя, переквалифицироваться, значит. Со своего родного и начал. Перечитал всё, что по жизни накопал, как

опубликованное, так и неопубликованное, то есть – рукописное, и впервые засомневался. Всё, как есть, проштудировал, плюнул аж с досады и запил: плохо... Очень плохо... Маловыразительно и мелко; самое же главное – скучно до зелёной противности. Но... ведь хвалили... Ещё как хвалили... Гонорары выплачивали... Солидные гонорары... Писателем своего народа называли, почти что классиком. А теперь... Что же делать?.. Ведь по такому случившемуся бесплодию ну год, ну два... А затем и вовсе забывать начнут. «Бедный, бедный мой народ... – в сердцах кручинится патриарх литературы, – как ему без меня... Ведь другого-то и нету. Осереет, обычаи и традиции перестанет чтить, язык забывать станет, хуже того – к иному прилепится». Вот, – хитро подмигивает глазом и поводит седенькой бровью Иоаким, – в эту самую ответственную минуту я и тут как тут. Глядь, а там уж и статейка в газетёнке или каком журнальчике, общественный семинарчик, передача на радио и телевидении – и всё на одну и ту же архизначимую тему: «Как оградить тысячелетнюю уникальную культуру нашего народа (читай моего народа) от чуждых тлетворных влияний и веяний юга, севера, запада, востока, заповивших, подобно дикому чертополоху и зарослям бузины, всё духовное пространство, не дающих вольно дышать грудью, возвышению сгорбившихся плеч к стройности и прямоте былого величия». Было бы начало. А потом пошло и поехало: понаехали тут всякие... Переименовать все города, сёла и улицы только именами национальных героев.

– Так где ж их столько взять? – хватаются за головы некоторые, которым мы тоже кое-что внушили вынесенного из сугубо практического опыта былых поколений, гласящего просто и мудро: не городись от соседей, не чурайся знаний и опыта их.

– Снести все памятники, которые не наших, иначе есть вероятность, что наши в их славе совсем потускнеют. Законодательно запретить говорить на любых чуждых нам языках, кроме нашего родного, который и сделать государственным. Не желающих общаться на нём – выпнать вон!

Потом, когда начнётся кавардак, умноженный на бардак, а он, как есть, непременно начнётся, захиреют гарбузы да тыквы на родном огороде, недра, за которыми надо ещё с кайлом лезть в шахту, поиссякнут, вольнолюбивые путешественники с перепугу перестанут посещать сей благодные края, все и враз вдруг прозреют: кúсать очень хочется... Попутал же чёрт... Запомни, Боборика! Мотай на оба уса, которые у тебя появятся совсем ещё не скоро, будь моим негласным свидетелем. В случае чего, смело ссылайся на нечистую силу. Психиатрия, наука тонкая, душевная, малодоказуемая, – белое пятно. Иначе... кто бы,

сплошь и рядом, чёрта да бесов памятовал?.. Старое как мир «разделяй и властвуй» придумано, увы, не слабоумными, а теми, кто в своей неиссякаемой корысти достиг многого, захотел ещё большего. От малого до великого – один шаг. С высоты же, по законам гравитации, которые никому не подчиняются, кроме как себе, не только можно больно ушибиться, но и вообще в лепёшку разбиться, если вовремя не успеть распушить крылья. Уничтожь в себе всякое величие, будь чист и прост, как неисписанный лист папируса. Мотай на ус, Вовка. Это тебя не кто-нибудь научает, а я – Иоаким Мудрейший.

– А почему именно папируса, а не чего-то другого? – переспрашиваю я.

– Да потому, – своеобразно аргументирует он, – его придумали египтяне, а их я, при всём уважении к тебе, люблю больше, чем китайцев, дурья твоя голова.

– С чего это ты взял, что я китаец?

– Пельмени любишь... Отстань...

2

Поумничав битый час, домовый вдруг призадумался, поскрёб мохнатенькой лапкой в затылке, туманно и вопросительно посмотрел на меня.

– Это ты форточку открыл на весь рот? – не без раздражения спрашивает меня.

– А что?... Вон как душно. К тому же пора и кошке Машке с прогулки возвращаться. Ей нравится в форточку... – оправдываюсь я.

– Ему, видите ли, душно, а у меня все умные мысли зараз сквозняком выдуло. О чём это мы с тобой, – озабоченно озирается по сторонам, – не о запретном ли? Эк меня... Совсем уж запамятовал, – делает гармошкой лобик, принимается что-то глухо и невнятно бормотать так, как это делают шаманы при своих камланиях, при этом поочередно загигать пальчики на левой руке, а потом, когда они все загнулись, и на правой. – Вот, – торжественно сообщает мне, – и возвратились на прежние круги своя. Меня на сырой хлебной мякине не возьмёшь, – кому-то грозит пальчиком он, хлопая себя ладошкой по глаженному от морщинок лбу, – все до единой мыслишки возвратились. Внушать приличные по содержанию мысли в весьма посредственные серенькие головы методом телепатии достойно, конечно, уважения, но... Как это тебе сказать... Многие и без всяких телепатий, при помощи одной лести, такого могут навнушать, на такие высоты воздвигнуть, что куда уж там нам – рядовым труженикам Запределий, охранителям домов

высокосознательных и атеистически воспитанных граждан, которые в силу своих убеждений в транскоммунистический миф не только никак не признают, но и вообще отказывают нам быть на этом свете. И вообще... Как честный и порядочный представитель нечистой силы, хочу сразу же заметить, предупредить, значит, что применяемый нами метод телепатических внушений пригоден далеко не для всех. Наиболее эффективен не столько к разного рода сочинителям, мастерски владеющим различного рода техниками сложения стиха, умеющим посредством различной длины слов сплести нечто умопомрачительное по смыслу, сколько к подобным же им, также не чурающимся рифм, но несколько иной ориентации. Есть такое психиатрическое отклонение, а по сути, заболевание среди граждан, излишне деятельных, общественных, не чурающихся Мельпомены, которое, на первый взгляд, как бы и не явно различимо – ну мало ли как захотелось почудить человеку, – на самом же деле очень даже злобное, ибо гражданин, в коем поселилась эта зараза, настолько начинает обуреваться различного рода творческими зудениями, что упаси Господи. Говорят добросовестные историки, что сам Нейрон – римский император, и он не избежал гнёта этого заболевания, возглавил тайный орден иллюзионистов-архитекторов, так зачудил на всю империю, что, несмотря на золотые божественные лавры, венчающие голову величайшего из театральных деятелей, во избежание ещё большего безумия сенату, пусть и тайно, но пришлось-таки признать бедолагу сумасшедшим. Вот это – скажу я тебе, Вовка, – внушение так внушение... Всем внушениям внушение... Чистейшая работа! Бедные воинственные римляне... До сего дня не могут без содроганий вспоминать о безумных государственных проектах своего шизофреничного императора, изведшего под корень всю свою родню. Но полно об этом... Нам-то что до их эры, тогда как мы живём в своей, не менее чудной, а по правде говоря, ещё более сумасшедшей.

Совсем недавно внушил одному из ведущих пролетарских поэтов Днепрогэсу Светозарскому нечто из Данте Алигьери, небольшой отрывочек его «Божественной комедии», почитай, от самого начала её, где он – горемыка, стоит с Вергилием перед глубокой подземной расщелиной, совсем уж согласный спуститься и в ад, лишь бы увидеть свою возлюбленную Беатриче. Не успел Днепрогэс Поликарпович как следует и настроиться на сотворение очередного стихотворного опуса, как я в оба уха да с разных направлений одновременно так и грянул божественно:

*Я увожу к отверженным селяням,
Я увожу сквозь вековечный стон,*

*Я увожу к погибшим поколениям,
Был правдою мой Зодчий вдохновлён,
Я Высшей Силой, Полнотою Всезнанья
И Первою Любовью сотворён...*

Но бывшего сурового сталевара, не понаслышке, а на своей шкуре познавшего дыхание адового пламени, как поэта, стоящего в авангарде лучших традиций социалистического реализма, заложенных аж самим Максимом Пешковым в его романе «Мать», разве таким идеалистическим проймёшь, как

*Древней меня лишь Вечные Создания,
И с вечностью пребуду наравне...*

Выслушал со вниманием, переписал, как есть, на бумажку в косую линейку и, хоть Данте и в жисть не читал и даже ни разу знакомым с ним не был – призадумался. Уж слишком по-старозаветному сочинилось... А самое непостижимое – и самому непонятное. Не прямою рубящий стих – Трепещи, вражина! Твой зубовный скрежет... Нас не напугаешь... А сплошной буржуазный акмеизм, к тому же явно папахивающий поповщиной. И хоть самого определения, что он есть из себя, этот самый акмеизм, Днепрогэсушка и не знал, благодаря своему пролетарскому чутью почти не обманулся.

– Не захворал ли ненароком? – подумалось ему, но почему-то в голос.

Напряжённо уставившись в собственную исписанную бумажку, вырванную из ученической тетрадки, с только что придумавшимся им стихотворением, не влезавшим по смыслу ни в какие рамки пролетарского сознания, опасливо озирнувшись по сторонам – не подсмотрел бы ненароком кто, – крепко призадумался. Вчера с Дунаевым на их даче в Замоскворечье по случаю успешного поступления на работу в театр племянницы его Зосеньки здорово посидели. Как помнится, подвыпивший Ной Давыдович так несоответственно своему возрасту и высокому положению от коньяка раскрепостился, что под балалайку Лёхи Пряшкина – директора клуба «Пролеткульт», стал так камаринскую выплясывать, да вприсядку, что по нечаянности обронил собственную вставную челюсть, которую сам же каблуком и раздавил. Но... То же было вчера... А сегодня понедельник. В понедельник каждому советскому гражданину, хоть какой ты служебной должности, следует идти на работу и там работать; засучить рукава и работать, а не бездельничать. Не мною ли так тонко, но в то же время с суровой прямою сказано в стихотворении «Ни дня без строчки»:

*Трудись перо – сестра сохи...
Стаханов – уголь... Я – стихи!..*

И что ты думаешь, друг мой несмышлёный, – топорщится каждой своей косточкой Иоаким, разводя потешно руками, как в том спектакле Гоголя, где Городничий трагическим голосом произносит: «Над кем смеётесь?.. Над собой смеётесь!..», – переделал он-таки этого Данте на свой пролетарский манер, перепел, что называется, вчистую. Ритмика – Данте, количество ударных в каждой строке – его, в целом же стихотворение, названное «Напрасно, враг, скрежещешь ты зубами» от первой буквы до последней – Светозарского Днепрогэса Поликарповича. Чудны дела твои, Господи. Нет, нет, нет... – позёрски плещет домовою лапками, видя, как я на ходу начинаю засыпать, – дай ещё пару минуток поразглагольствовать, уважь старика. В конце концов, с твоей стороны это натуральное свинство. Не надо мне с юных лет своих показывать своей невоспитанности. Не для тебя ли стараюсь?.. Разучивал наизусть, назубок репетировал, а он... Кто же всё это вот так досконально и в лицах опишет, пусть и через пятьдесят с хвостиком лет, но всё же опишет, как ты?.. Назови мне такого другого, может, ты знаком с ним, кто бы мог взвалить на хрупкие плечи свои сей бытоописательский труд натуралиста, научно никак не доказуемый, не побоявшись в прогрессивных кругах своего отечества прослыть хвантазёром и вруном несусветным... Вот видишь, – самодовольно хмыкает он, – заменить-то некем...

Небрежно обернувшись в кусок алого кумача, который прямо на моих глазах материализовался из тонюсенького обрывочка красненькой ниточки, вытянутого им из своего носового платочка, подобно римскому патрицию застыл в эффектнейшей позе сенатора, размышляющего о судьбах всего мира. Небрежно одёрнув складки, бегущие волнами алого муара от приподнятого своего остренького плечика, поддавшись всем своим хрупким тельцем вперёд, гнусаво, но с чувством, как это делают старые провинциальные актёры, словно выронил:

– Стихотворение... Днепрогэс Поликарпович Светозарский! Поприветствуем, товарищи...

Одёрнув ещё раз свою кровавую тогу, шаловливо зыркнув глазками, дополнил, подняв сжатый кулачок вверх:

– Напрасно, враг, скрежещешь ты зубами.

Отступив пару шажков назад, выпрямив грудку, словно запел, как это делают большие поэты, а особо их цеха дамы, когда принимаются читать стихи собственного сочинения.

*Как реют славно красные знамёна!
Ликуй, отчизна! Праздник Октября!
Да светят ярко звёзды с небосклона,
Мы умирали в тюрьмах не за зря.
Наши ратный труд, нет, не пропал напрасно,
Из искры веры вспыхнула заря,
И, хоть лежит туман, мы видим ясно,
С проторенной дороги нас не сбить,
Врагов стремленье злобное напрасно,
Научены их в хвост и гриву бить.
В бессилье скрежещите же зубами,
Зори взошедшей уж не потушить.*

*По городам, станицам и селеньям
Да не умолкнет наковален звон,
Нас партия зовёт, её веленьем
Народ страны рабочих вдохновлён:
Марксизм – Свет! Все как один за знания...
Где мрак – там вековечный рабский стон.
Дерзай, освобождённое сознание.
В свободной созидающей стране.
Оставь вражина тайный упованье...
Гореть октябрьским звёздам в вышине.
И нет прекрасней в мире этом света,
Как радостно всё это видеть мне!*

Закончив читать, Иоаким эффектным движением скоро сбрасывает со своих узеньких плечиков плащ – огненную хламиду, медленно и величественно застывает в поклоне.

Словно очнувшись, всплёскивает отчаянно руками, щёлкает пружинкою старинного серебряного брегета, под дребезжащее дзыньканье боя, вспыхнув прозрачным серебристым облачком, на глазах растворяется в воздухе. Из очень далёкого-далёкого, подобно угасающему эху, едва слышно доносится

– Полвека тебе на раздумья... Дерзай свою сказку, Вовка!

Только ныне, по истечении этого срока, понял, о чём это он... Но... никому не признаюсь...

Глава 13. СЛУХИ. БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ. ОТЕЦ. ИДИОТ

1

– Папа, – спрашиваю я, – а кто такие слухи?

– Что?.. – с удивлением смотрит он на меня, меряет с ног до головы, слегка хмыкает. – Какие такие слухи? Что за слухи? Говори понятливее...

– Ну, – пытаюсь попонятливее объяснить, – те, что крадутся, ползают, а ещё и носятся, как угорелые, которыми земля полнится.

– Ах... Вот ты о чём, – начинает смеяться отец, – а зачем тебе это?

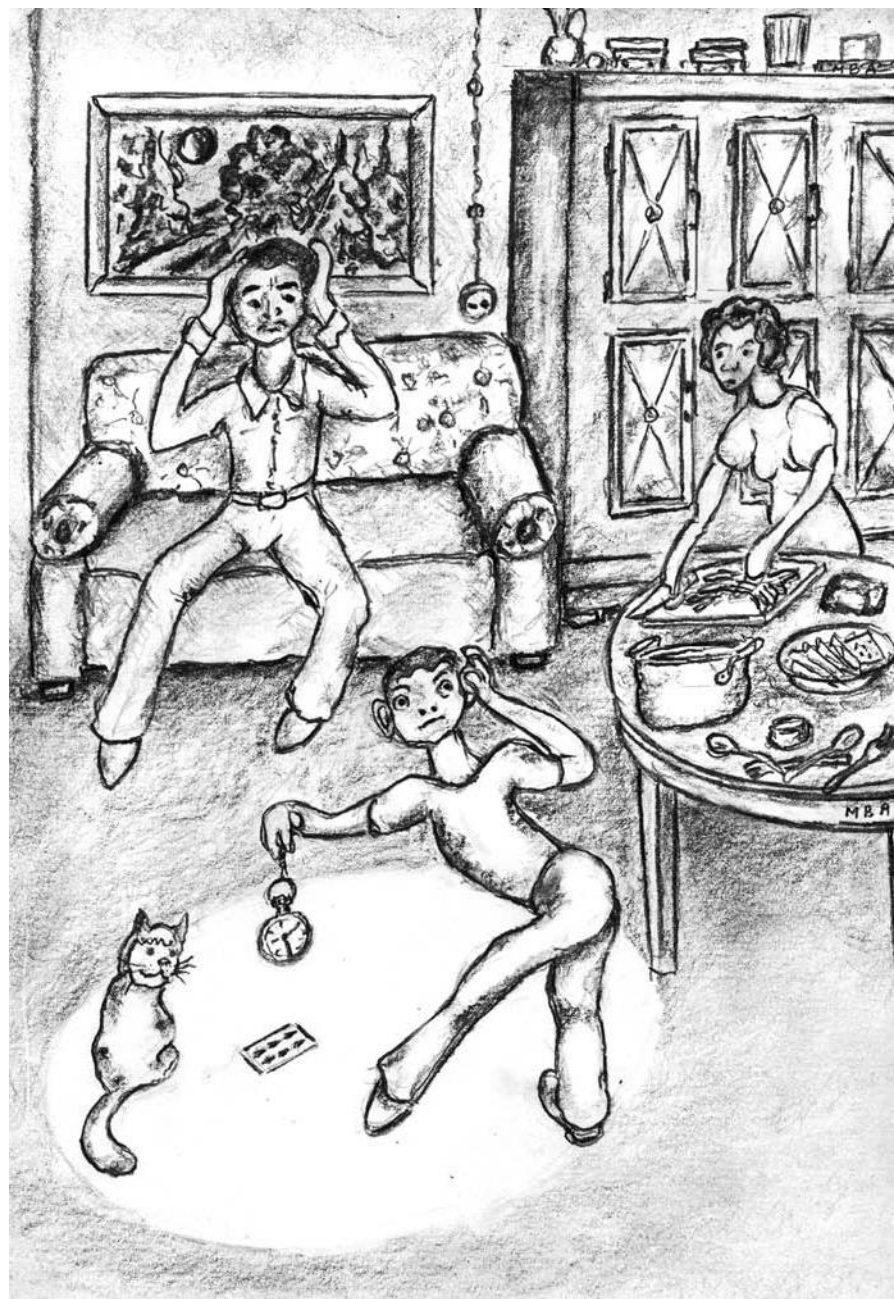
– Как зачем?.. Один дядька, он из Боровков, пьяный весь такой, пел и дрынькал на треснутой балалайке. Совсем некрасиво. А тётенькам и дяденькам, которые собрались послушать, наоборот, почему-то сильно нравилось. Одна, худая такая, она работает на ферме, даже стала подпрыгивать и махать своим платочком. Прямо у дверей нашего сельмага танцевать, да и ещё противно подвизгивать про эти самые слухи.

– Что же она такого пела, да и ещё выплясывала, что тебя столь это заинтересовало? – спрашивает настороженно папа, вопросительно бросив взгляд в сторону мамы, собирающей ужин на стол, которая перестала нарезать хлеб и даже обернулась, чтобы не пропустить нашего разговора.

Сев на наш кожаный диван, он закидывает ногу на ногу, закуривает папиросу, всем своим видом выказывает из себя зрителя. Взвизгнув, как это делала тётя перед тем, как пуститься в пляс, взмахнув обеими ручками, по-бабьи запел:

*Хоть и есть два уха,
Да нема б... слуха.
Накручу-ка гайку
Я на балалайку.
Струнки что мухи,
Поползуть слухи.
Сама главна муха –
Глашка-потаскуха.*

– Э-э, э-э, э-э-э! – протестует неожиданно папа, вскакивая как ужаленный с дивана, быстро закрывая распахнутую створку окна, – ты что, совсем ошалел, что ли? Что подумают люди, если, не дай Бог, кто услышит?.. Ты хоть понимаешь, что поёшь?.. Нельзя такие песни петь, – категорично машет он рукою, – нашёлся мне певун... Похабные



частушки... Да скажи ты ему, Анна, – нервно обращается он к маме, онемевшей, замершей с булкой хлеба в руке, – ведь эдак и опозоримся на всю жизнь. Сын директора... Педагогов... Распеваает матерные частушки по деревне, да и ещё приплясывает. Слухи, видите ли, его заинтересовали... – как от зубной боли морщится папа. – В слухачи, что ли, хочешь податься? – по-непонятному спрашивает меня. – Слухи – это те же разговоры, а хочешь – сплетни, которые люди шепчут друг другу на ухо, а иногда и по секрету, как в той игре под названием «Испорченный телефон», где сказанное правильно вначале в конце исковеркивается до неузнаваемости. И тогда уже всем ничего не понятно.

– Значит, – выпаливаю я, – мы на Кавказ не поедём?!

– Откуда ты взял такое? – с изумлением смотрит на меня папа.

– Как откуда... Один дяденька, он ещё на лесопилке работает и всегда пыльный с ног до головы от опилок, кричал нашей почтальонше, которая ходит всегда в резиновых сапогах и с большой сумкой: «Натаха! А што, правду люди гутарять, што наш директор – Лександр Тимохвевич со всею семействою своей на Капказ хочет податься?» А она ему: «Откудова ты, Лёнька, взял тако?» «Как откудова, – прямо с противоположной стороны улицы снова кричит он, – много и богато сударят о том; земля, знать, не спроста слухами полнится». «Да што ж ему, нехай, туды ехать, Лёнька, – отвечает ему Натаха, – когда вот только что в новую каменную домину переехали, что рядом со школою; што ему на твоём Капказе делать, когда колхоз, за бесплатно, предоставил такую хоромину белого кирпича?..»

В Курьях, где мы жили и где папа работал директором школы, его все уважительно называли по имени-отчеству, но не по тому, которое настоящее – Аллахберди Тенгизович, а совсем по другому, которое сами выдумали, перекрестив в Александра Тимофеевича. Выучить это тюркско-балкарское имя, переводимое на русский язык как – Бог дал, большинству не только простых селян, но и педагогам оказалось столь затруднительным, что некоторые даже носили при себе специальную бумажечку, где оно и было по-правильноу прописано, с которой в случае чего и можно было в нужный момент подсмотреть, зажав в ладошке, во избежание какого конфуза. Но конфузы тем не менее иногда случались. Зазубренное имя-отчество перед самой директорской дверью с её открытием вдруг напрочь забывалось, взволнованная молоденькая учительница при виде чернобрового кареокого кавказца начинала одновременно то бледнеть, то краснеть, вместо «Аллахберди Тенгизович» бормотать нечто совершенно несуразное, более схожее на тарабарщину: «Алдыберды-Тенды...». Совершенно смутившись, закрыв лицо руками,

как ошпаренная выскакивала вон. Вот так нашего отца из Аллахберди Тенгизовича и переделали на привычный русский лад в Александра Тимофеевича. Имя укоренилось настолько, что, будучи совсем маленьким, я и предположить не мог, что у него есть какое-то другое. Несмотря на то что он был иного роду-племени: черноволосый, с густыми бровями, имел лёгкий кавказский акцент в речи и вообще своими манерами, всем видом значительно отличался от коренных русских людей-уральцев и тех же татар, с незапамятных времён бытующих там, пользовался огромнейшим уважением селян. Дабы выделить от остальных всех, чтобы было понятнее, о ком идёт речь, к Александру Тимофеевичу прибавлялось ещё и – грузинец. Так в те далёкие сталинские времена в глубинках русской России поголовно называли всех кавказцев вне зависимости от их национальной принадлежности, будь ты осетином, кабардинцем, балкарцем или чеченцем. Весёлый, жизнерадостный, в высшей степени коммуникабельный, с глубоким чувством интернационалистического воспитания, исключительно уважительного отношения к представителям любой нации, фронтовик, к тому же с врождёнными духовно-интеллектуальными способностями аналитика, он не мог не пользоваться особым к нему уважением фактически всех, кто хоть раз близко соприкоснулся с ним. Председателю сельского Совета Чуванёву, да и всем остальным, знающим отца, никак не хотелось, чтобы он после известного указа о реабилитации балкарского народа уехал на свою историческую родину в Кабардино-Балкарию. Дабы как-то удержать одного из лучших школьных директоров области, из казённых средств решено было построить рядом со школой первый на тот период в селе белого кирпича дом – высокий и просторный, с особым печным отоплением, с приусадебным участком, на котором были устроены и птичник, и коровник, и даже баня. И это в те трудные, фактически послевоенные времена, когда каждая копейка была на строгом учёте, когда чуть ли не половина населения величайшей Страны Советов – страны-победительницы, ютилась в бараках и коммунальных квартирах, не имела элементарных удобств. Вскоре же дом был выстроен. Резко отличительный от так привычных всем на Урале деревянных рубленых изб, оштукатуренный, как снаружи, так и внутри, побеленный, как помнится мне, в розовый цвет, он казался каким-то городским пришельцем, временно пришедшим погостить, да так и оставшимся. Стройный, с высокими двойными окнами без ставен, с крутою красною крышею под кровельным железом, двумя не кирпичными, а круглыми асбестовыми дымоотводными трубами, окружённый по периметру лёгким штакетником, он возвышался над всеми домами на небольшом пригорке, радужно

блестел окнами, весело скалился белокаменным крыльцом. Во дворе белёным рядом возвышалась поленница берёзовых дров, заготовленных специально для нас, за домом в центре будущего огорода – два стога душистого сена для нашей коровы Соньки. Обуреваемый сомнениями: быть или не быть... папа, как мне кажется, дрогнул. И началось великое переселение.

2

Папа слыл человеком радикальным, и если уж что задумал, то хоть ты камни с неба, земля развернись, а ему исполнись – и немедленно. Нет бы с чувством, расстановкой, со степенностью, как это делается у большинства сельских жителей, воспитанных деревенской нескороспешностью, а скорее, ленностью: сначала всё обдумать самому, обсудить с ближайшим окружением родственников и друзей – шутка ли... Со всем скарбом да с живностью в новый необжитый дом... Тут необходимо крепко подумать... Не случилась бы какая промашка, а ещё того хуже поносный курьёз, как у Пичужкиных Антонины и Николая из Боровков, у которых при переезде в суматохе из садка хряк Борька удрал. Заживо сожрал, мерзавец, соседскую курицу-несушку, задремавшую на кладке, перерыл пол-огорода. Все буряки повыкорчёвывал, свинья. Самое же ущербное... У Витькиного велосипеда, совсем новенького, купленного только что в прошлом году, кожаную сиделку изгрыз, всю резину с колёс посдирали вместе со спицами. Или... как у Бесоногих, что ранее проживали в своей хибаре на белой Глинке... Это же надо так случиться... И смех и грех... При переезде в старом доме деда забыть, что пьяным спал на печи. А всё потому, что зятёк перед самым выездом удумал устроить простины с выпивкой, обряд такой. Положено, говорит, так... Не нами придумано, а аж с древности... По три стопочки... После четверти самогонного вина и запамятовали, что дед первым отключился, на печь полез проветриться сном. И окна, и двери хаты крест-накрест дружно заколотили досками, на посошок ещё выпили и укатали в Курьи. После того, конечно же, хватились деда, Ганька, что дочка, примчалась на телеге галопом, вызволила родного тятёчку из полона, а чтобы сильно не серчал, в сельмаге чекушку красноголовки лично для него купила. Весёлые приехали в новый дом. Но подобные случаи, припомненные мною, по тому времени были крайне редкими, скорее исключениями из правил, в основном переезжали медленно, постепенно и основательно. Да и к чему спешка, когда порою новый дом стоял на соседней стороне улицы, а то и того ближе, почти впритык и рядышком со старым.

– Экое то дело, – скажут некоторые, – перенёс на руках какой скарб да всякую рухлядь, вот, считай, и переехал, чего тянуть-то... Скорее всего,

как ныне думается мне, и нашему отцу так казалось. Эмоциональный и взрывной ко всякой работе, он жаждал не только быстрых, но и иногда – моментальных результатов от своей бурной деятельности, не терпел всякой медлительности, когда что-то оставалось на «потом», хотел всё доделать враз и сейчас, не щадил себя, до полубоморока изнурял всех, кто хоть маломальски причастен к этим трудам. Как истинный кавказец, воспламенялся праведным гневом при виде явно отлынивающих от трудностей работы или пытающихся её делать с холодком. Громко кричал, бурно нервничал, пламенно хвалил, пел песни, кипел, сторал. Недоужинной физической силы, коли задумал вскопать вручную огород, то не более как за день, напилить и наколоть дров на всю зиму – также за день, сколотить сарайчик для хозяйственных нужд – опять-таки за тот же день, не оставляя и самой малой толики на завтра. И вообще... Во многих отношениях был максималистом. Если гулять, так гулять, веселиться, так веселиться. По пятьдесят граммuleк водочки или коньячка... Это не про него. Обязательно должно быть продолжение – бурливое, как само шампанское, с песнями, плясками, женщинами и безудержной вольницей, так характерной для всякого человека, истинно творческого, жаждущего, уж казалось бы, от лучшего и свершенного ещё более лучшего и свершенного, от радости – ещё большей радости, от сердечных буйств – ещё больших буйств. Обладая каким-то невероятным, почти гипнотическим даром, где бы ни находясь, в компании расплёскивал вокруг себя такое веселье, такой умопомрачительный жизненный восторг, что мог без всяких принуждений напоить до полного изумления как язвенника, так и абсолютно убеждённого трезвенника, и стариков, и женщин, и всякого занудного моралиста или моралистку, видящих в вине не мудрость, а очевиднейшее зло, и даже священнослужителя, но тайно, под видом сока, который им и поглощался со стоической твёрдостью, без единой дрогнувшей морщинки на лице, какие обязательно уж как-то, но случаются и вопреки воле при выпивании водочки. Как в компании больших начальников, так и с простыми и бесхитростными людьми ему было одинаково комфортно. Но самое удивительное даже не это. Не было случая, чтобы кто-то, кто вот так на дружеском пиру «наелся» или, как по-другому, опростоволосился, потом, в связи со случившимся, сожалел, сторал от стыда, прятался с глаз вон, мучительно переживал за своё недостойное поведение.

– Эк меня угораздило... – вспоминал не без удовольствия некий начальник, будь то заведующий районо, директор ли школы или председатель колхоза, а то и участковый инспектор милиции, – среди честной компании лобызаться, да по-настоящему, с вдовствующей

Груней – техничкой школы, делать ей комплименты, стоя на одном колене, а с историком Фёдором пить на брудершафт, да из гранёного, бес знает откудова взявшуюся брагу.

– И чего это меня вот так ушибло, – весело смеётся председатель сельского Совета, вспоминая своему товарищу, также несколько опростоволосившемуся на торжественной школьной вечеринке в честь Октябрьской революции, – занять, да во весь голос партию юродивого из «Бориса Годунова»... – Бори-и-с, Бори-и-с, Николку дети обижа-а-ю-ют, – нарочито противно гнусавит Чуванёв, потешаясь над своим же несерьёзным поступком. – И ведь знаю, что имею слабину к этому, а ничего с собою поделать не могу. Александр Тимофеевич до дна, и я не отстаю, он полный стопарик беленькой, и я следом. Ему хоть бы хны, вальсы на аккордеоне выводит, а я... как последний дурак – арию юродивого...

Как я отметит выше, и в работе отец был таким же неутомимым и беспощадным, почти что деспотичным. Не щадил в первую очередь себя. Возжелавшие не уступить ему пальму первенства в этом потом жутко раскаивались, всячески кляли себя за опрометчивость, что вообще связались с грузинцем, который вот так, чуть трудами до смерти не ухайдакал, а сам потом пошёл ещё и с женщинами танцевать фокстрот под патефон, установленный на пенёчке. На общественном сенокосе – это когда независимо от того, где чей надел, луг скашивается подряд, он так всех уморял своей стахановщиной, так яростно, словно в лихом бою, махал косою от зари и до зари, вырываясь от всех остальных косарей всё дальше и дальше, что эти самые остальные, не дожидаясь весёлого ужина, не имея и сил добрести до своих шалашей, как подкошенные сваливались в ими же скошенные травы, и где тут же засыпали мёртвым сном.

3

В канун 1958 года папа всё же решил переехать в уже окончательно достроенный новый дом. Каких борений ему это стоило, можно только догадываться, но нашу маму это явно обрадовало, она повеселела, стала казаться ещё красивее и даже как бы помолодела. Уезжать с родины своих отцов на прельстительный, но всё же такой далёкий и «бусурманский» Кавказ, где, что там говорить, всё так зыбко – ни кола ни двора, ни гарантированной по профессии работы, ни друзей, ни добрых соседей, ни сложившихся уважительных отношений всех окружающих, как это в родных Курьях, конечно же страшило. Тревожили, и как ещё тревожили, отношения близких родственников её мужа, как они отнесутся к ней лично, представительнице иной национальности,

да и что там говорить – несколько иной культуры, что, как ни суди, но в сознании горцев – балкарцев, всё равно связывалось не столько даже со Сталиным, сколько с исполнителями воли его – простыми русскими солдатами. К тому же... Что уж там лукавить, на Кавказе, да и, наверное, не только, жена иного роду-племени – выбор не из лучших, а если ещё радикальнее, так и вообще как бы женою не считается. С ней без особых угрызений совести можно и расстаться. Для такого джигита разве мы не найдём лучшую из наших красавиц?.. А дети? Что дети... Дети – дело наживное... Переселение наше в новый дом было столь стремительным, что скорее напоминало военную операцию древних спартанцев, специально подготовленных и наученных к тому всю свою жизнь. Ясный морозный вечер. Почти что канун нового 1958 года. Как помню, ничто не предвещало этакое, чтобы как-то было связано с переездом. Кому не известно, что подобное мероприятие, как и несколько схожее по ошеломляемости с ним – капитальный ремонт, – дело очень даже серьёзное; к нему не без тревожного замиранья сердца готовятся задолго, порою пытаются всячески оттянуть, а то и вообще плюнуть, оправдав своё малодушие известною фразою: «Чай, и без того люди как-то живут, и не один ещё не помер; а на хрена мне всё это сдалось?.. Да гори оно всё синим пламенем!..»

Итак... Декабрьский морозный вечер, почти ночь. Мы – дети, поужив нав, сложив ученические принадлежности в портфели, собрались уж было ко сну, как вдруг... Входная дверь, обитая дермантином, распахнулась настежь, и в клубах морозного пара, словно с самой преисподней, нашему предсонному взору предстал отец.

– Анна! – громко крикнул он своим уверенным молодецким голосом, преисполненным жизненного оптимизма, – быстро и сейчас же собираемся... Переезжаем!

– Как переезжаем?.. – округляет глаза мама. – Куда переезжаем?..

– В новый дом переезжаем, Мика! – весело гремит папа. – Печи натоплены докрасна, самое необходимое можно перенести и на руках, остальное – завтра; с завхозом уже договорился, поможет, обещался даже добыть машину, хотя... По такой скользкой дороге ей на Красную Горку никак уж не подняться, тут требуется трактор... А одну ночь можно переспать и на полу, так даже веселее и романтичнее, – незаметно подмигивает он маме. – Боборике как неисправимому мерзляку, если на то получим соизволение от кота Васьки, можно отвести место и на печке.

– Вовка! – гремит он пуще прежнего. – Тебе хочется испытать на собственной теплолюбивой шкуре свойства нашей новой русской печи?..

– Саша!.. – ещё более изумляется мама. – Так зачем же сегодня, да ещё и в ночь, когда можно завтра и враз?

– Как зачем? – по-показному разводит руками папа, делая нарочито удивлённые глаза. – А зачем же я тогда приказал Егору Егоровичу печи докрасна истопить?.. А?.. А вдруг да случится так... Ведь всякое может за ночь случиться... Что возьму да и передумаю...

Можно только догадываться, какой бы кондратий хватил чеховского Беликова, столкнись он с такой аргументацией. Ведь ясно как день любому здравомыслящему, что ночью этого делать никак нельзя и что во исполнение задуманного необходимо крепко поразмыслить, а не спешить, ибо при подобной поспешности, уж конечно же, что-нибудь, да нехорошее случится. Уже одно, что папа возьмёт да передумает вообще переезжать в новый дом, а это явный признак, что все его помыслы о Кавказе настолько подействовали на маму отрезвляюще, что, не задавая более никаких вопросов, поспешно стала вязать в узлы постельные принадлежности, первенеобходимые вещи, продукты, чтобы было чем позавтракать. Помню, страшно хотелось спать, одновременно и плакать. Уезжать из такого родного и обжитого дома с его уютной маленькой банькой и крохотной её печуркой, где я любил уединяться и мечтать о разном, совсем не хотелось. Покидать его столь скоропоспешно, да ещё и в ночь, будто война началась – не желалось вдвойне. От тугого солёного комка в горле на глазах наворачивались горячие слёзы. Бедная моя сестричка, моя неразделимая половиночка, мой ангелочек, сохраняющий меня, разделяя со мною полную бессмысленную нелепицу родителей, молчала, грустно помаргивала покрасневшими глазками, вяло суежилась возле мамы, пыталась поглубже засунуть в уже готовый узелок нашего любимого плюшевого мишку Биську – штопанного-перештопанного разноцветными нитками мулине в силу множества, перенесённых им хирургических операций, с потускневшими пуговками-глазками, исполненных скорби, пришитых крестиком и слегка кривенько.

– Вот так всегда, – горько сетую я, – все люди как люди, спят и видят свои разноцветные сны, а у нас... Всё как не у всех... Непогодиновы, когда перебирались в новый дом из своей землянки, потратили на то аж целую неделю. И ничего... Потихонечку, не спеша, то одну пожиточку перенесут, то другую в рядом стоящий дом; зеркальце на гвоздичке повесят, ещё что-нибудь... Куда спешить-то... Словно новый дом возьмёт да и убежит куда, – страдаю я, – и зачем именно сегодня, непременно сейчас, когда на улице крошечная ночь и мороз аж под тридцать?.. Что бы изменилось в мире, если это же, но сделать, скажем, завтра или послезавтра, а ещё лучше, когда настанет совсем тепло, во дворе будут чирикать воробушки, а дорога будет сухой и от яркого солнышка жаркой?! Кто нас гонит-то?.. Нет же, – ещё более страдаю я, – подавай им сейчас, сию минуту подавай, в пору, когда все нормальные спят.

От самых своих пелёнок уже тогда подозревал, что у таких умных взрослых, как они сами себя считают, вернее, представляют о себе, не всё в порядке с тем, чем они думают. Перспектива стать таким же, как и они, откровенно говоря, пугала. Когда я, снедаемый унынием, мысленно обратился к Иоакиму Премудрому, спросил его, что он по этому поводу думает, он, немало развеселившись, покрутил пальчиком у виска, стал читать наизусть нечто из Овидия и Горация, убеждая меня, что всё это сочинил он и что я круглый идиот, коли до сих пор ещё не понял, что жизнь охраняется ложью.

– Всё зависит, Вовка, от личного твоего желания, – глубокомысленно изрёк он, подышав на своё фальшивое золотое колечко, любуясь его блеском, – не хочешь делаться взрослым, кто ж тебе мешает, чудак?.. Оставайся на всю жизнь маленьким, но не росточком (природу, брат, не обманешь), а таким, каким есть сейчас, истинно и по-настоящему. Дуй в дудочку, копайся в песочнице, катай бабочку на колёсике. Плачь, когда обижают, смейся, коли весело, не утаивай правды, не приемли лжи. Вот и всё... Но только знай, и уж это точно, и не сомневайся даже, – эти самые взрослые, почуввав в тебе для себя угрозу, обязательно обратятся за помощью к психиатрам-авангардистам, как пить дать обратятся, и тогда... быть тебе и де-факто, и де-юре настоящим идиотом, а хочешь – идиотусом... Как тебе это нравится?.. И хоть, ей-богу, честное пионерское, я тебя очень даже хорошо понимаю, но... интернат для умственно отсталых... А они, то есть эти самые светочи потаённых закутков человеческой психики, конечно же исходя из самых высоких гуманистических озабоченностей по поводу состояния твоей души, приложат все усилия, чтобы тебя туда пристроить за казённый счёт государства, дабы правильно мыслящие не смогли заразиться от тебя неправомыслию, отчего и случаются на земле всякие смуты. Одно то, что ты, Боборика, поставил целесообразность действий своего родного папаши под сомнение, изнутри налился ядом психости по поводу столь экстренной эвакуации, – не есть ли с твоей стороны самый настоящий бунт? На досуге покумекай хорошенько об этом.

Сказав так, специально наполнил эфир коротковолновыми помехами: засвистел, заблеял, забулькал – бесследно пропал. Как-никак, но со словами домового трудно было не согласиться. Ведь папа – вон какой большой... А я... вон какой махонький... С высоты-то, понятное дело, всегда дальше и яснее видится. Одно утешало и меня, и мою сестрёнку, что страшная бука, нераздельно бытующая и властвующая в этом доме, дающая о себе знать чуть ли не каждую ночь, а то и днём, то постукиванием, то тяжёлым скрипом половиц, то жутким прерывистым дыханием



MBA.

у самой постельки, а то и лёгким ощупыванием одеяла, отчего казалось, что от громкого стука сердце вот-вот выскочит из груди наружу, лопнет, как воздушный шарик, бука возьмёт да и откажется переезжать в новый дом, потому как он не из дерева и не у болота.

– Вова, – шепчет на ушко мне Таня, опасливо озираясь по сторонам, будто кто нас может подслушать, расширяя до предела свои глаза, – может, это и ладно, что папа вот так придумал... Уедем неожиданно и всё... Откуда буке знать, куда мы исчезли? – ещё тише жарко шепчет она мне в самое ушко.

Полной уверенности, что наконец-то омерзительное исчадие ада оставит нас в покое, у нас конечно же нет. Но всё же... Вера... Ох уж эта святая вера, дарующая надежды; вопреки здравому смыслу она всё же теплится в нашей душе комочками потаённой радости, заставляет, не по принуждению, помогать маме с папою укладывать в узелок перво-необходимые предметы, которые нам уже сегодня понадобятся в нашем новом натопленном докрасна доме.

– Хоть бы бука не догадалась, – также шёпотом говорю я, – она ведь тоже иногда уходит по своим делам... Что-то и не чуется её сегодня дома, – тихо делюсь своими соображениями, на всякий случай прикладывая пальчик к своим губам, более успокаивая тем себя.

– А может, специально так притаилась, – неуверенно качает головою сестрёнка, – чтобы всё разноухать и выведать?

Дабы усыпить бдительность буки, перемигиваясь, начинаем друг другу привирать, как завтра встанем и пойдём в школу, прямёхонько через заснеженный огород бабы Дари, так гораздо ближе.

– А Таньку Стукольцеву с собою возьмём? – громко говорю я. – Она никогда с нами не ходила в школу через огороды.

– Конечно же, возьмём, – ещё громче кричит сестрёнка, – и Тольку Паклина, и нашего Валерика, и даже Машку и кота Ваську, пусть прогуляются на свежем воздухе. А в новый дом, – ещё пуще вру я, уставившись в самый тёмный угол, где, по моему убеждению, и должна прятаться бука, – мы и совсем переезжать не будем. Что нам в нём делать, когда и здесь жить гораздо веселее, ведь правда, Таня...

4

Ясная лунная ночь. На улице ни души. А как иначе... Где это видано, чтобы в деревне, а и ещё в час ночи, в лютой мороз по улицам люди шастали... Какое там... Даже не слышно лая собак, ни один петух спроне не заорал; тишина. От яркой полной луны, света электрической лампочки под круглую жестяную шляпою, которая всегда истошно

и прерывисто визжит, когда дует сильный ветер и звонко дзынькает от крупного дождя, снег кажется не белым и даже не голубоватым, а какого-то странного лимонного цвета. И Красная Горка, блестящая в своём подъёме от наката, тоже кажется золотисто-желтоватой, как при багряном закате солнышка. Сам столб, сверху которого висит лампа, скривившийся до невозможности на бок, из грубо отёсанной сосны, кажется, вот-вот и совсем упадёт. Подпорка, прилаженная некогда с противоположной стороны его наклона вместо того, чтобы как-то удерживать скренившийся столб, под весом его сама выдралась из земли, зависла в воздухе подобно ножке гигантского циркуля. Это ещё года три, а то и более тому назад весной пьяный тракторист Родычинов Стёпка, съезжая на своём ДТ-24 – гусеничном тракторе с Красной Горки, не рассчитал и зацепил краем десятилемехова плуга, сильно накренил, да, слава Богу, не повалил навзничь; провода, на удивление, крепкими оказались. С той самой поры так и держится на честном слове, благодаря крестным осенениям малосознательных допотопных бабуличек, творимым ими на день не единожды: «Господи! Спаси, пронеси мя душу от места гиблого; лишь бы не об меня шмякнуло...» Вот он и стоит подобно Пизанскому столпу, заставляя крепко задуматься всех, кто свято верит в незыблемость законов физики.

Папа с мамой тянут на себе огромные матерчатые узлы, а особенно папа; Таня с Валериком, ухватившись за верёвку, волокут по снегу нашу жестяную ванну, в которой и чего только нету. Повизгивая на морозном снегу, она никак не желает ехать прямо, на каждой неровности дороги её заносит то влево, то вправо, разворачивает задом наперёд, но благодаря, пусть даже и не совсем слаженным, действиям брата и сестры, помаленьку всё же движется вверх по склону горки, к месту своего назначения. На самом крутом месте Валерик, поскользнувшись, падает на бок, следом и Таня. Необузданная ванна, подчиняясь законам гравитации, с дробным повизгиванием, убыстряя свой ход, несётся прямо на меня. В последний момент, подпрыгнув на бугорочке, сваливается в сугроб и, кажется, весьма удачно. Всё цело, все целы. Приходится всё начинать сначала. Мне, как сказал папа, выпало самое ответственное дело – тащить в большом рогожевом мешке трёх самых настоящих живых кур. Вернее, двух молодых курочек рябенького цвета и одного красного забякистого петуха по имени Кызыл. Ноша, которую мне папа сам водрузил на плечи, сначала не показалась уж такой сильно тяжёлой и даже наоборот – совсем лёгонькой.

– Ведь надо же... – подумалось мне, – с виду мешок такой преогромный, почти ростом с меня, а на самом деле как пустой чемодан.



Ох... и ошибался же я, как ошибался... Оттого что груз мой был не каким-то там овсом или отрубями, а самым, что называется, живёхоньким, в довольно просторном мешке он стал сам по себе перемещаться, двигаться в разных направлениях, постоянно смещая центр тяжести то налево, то направо. От всего этого на скользкой и крутой дороге поведение мешка меня стало беспокоить всё более и более, грозило падением, позорным скатыванием с горки на заднице. К тому же задравшийся рукав ватного пальтеца оголил запястье, отчего рука на морозе тут же стала околевать. Закончилось же тем, что, как и брат, поскользнувшись, со всего маху, да плашмя рухнул спиной назад на свой трепыхающийся мешок, вместе с ним покатился юзом под горку. От навалившейся тяжести, скорее всего, петух дико заорал не своим петушиным голосом, курицы же так же, не скрывая своего возмущения, громко и истерично закудахтали, но тут же разом и смолкли.

– Задавил?! – быстрее молнии пронесится в голове.

– Боборика! – слышу возглас отца, который, не останавливаясь, продолжает своё мерное движение под спудом преогромного узла. – Что там у тебя за шум? Мешок, что ли, упустил из рук... А?!

– Да нет! – как можно бодрее кричу ему я. – Это, видно, Кызыл проснулся и от страха закричал.

– Не отставать! – бодро кричит папа с самого верха горы. – Ещё чуть-чуть, и мы, считай, почти дома.

Вижу, как Валерик с Танею приналегли, ванна по снегу заскулила ещё протяжнее, мама, также не оборачиваясь, стала громко кричать, чтобы они так не надрывались и что она сейчас, как только доберётся до ровного места, спустится и поможет. Я же, ухватившись за рогожевый край мешка, что есть мочи скоро бегу вверх, семена по смороженному месту своими рыженькими валеночками, волоку по земле свою поклажу.

«Уж больно как-то попритихли, – замираю от страха я, – неужто-таки угробил?»

Мысленному взору представляется душепотрясающая картина: петух, с вывернутыми назад крыльями и почему-то с высунутым, как у собаки, языком, с совершенно отломленной ногою, валяющейся рядом, пускает предсмертные слюни. А рядом, по обе его стороны, две курочки, с закаченными под синие веки глазами, с вытянутыми в струнку жёлтыми чешуйчатыми лапками.

«Эх, – ещё более холодею душою я, – папа дал такое ответственное задание... это не какое-то там корыто по скользкому снегу катить...»

Стащив с рук варежки, отчего пальцы рук начинают тут же окоченеть, развязываю на горловине мешка верёвочку, расширяю, пытаюсь заглянуть вовнутрь. Издав боевой кудахтающий клич, петух, словно

тугозаневоленная пружина, вертикально подпрыгивает вверх, крыльями ударяет меня в лицо и, почуввав свободу, бросается бежать во все лопатки под горку, но не по прямой, а то и дело петляя так, словно за ним прямо по пятам гонится голодная лиса. Вижу, как он, подпрыгнув боком и снова заорав, пытается даже взлететь, поскользнувшись, падает на растопыренное крыло, но, быстро справившись, юркает под пряслами в огород Дарьи Ивановны, туда, где унавоженные родные пенаты, наш душистый сеновал, тёплый курятник. Курицу, которая рванулась было следом за ним, в последний момент успеваю схватить за ногу, успешно водворяю на прежнее место. Не умея как закинуть мешок на плечи, спешно волоку его по бугристому смёрзшему снегу, отчего курицы начинают волноваться, своими кудахтающими криками выказывать недовольство, вести себя самым предательским образом.

– Ну, что, – смеётся папа, – доволоч всё же свою поклажу... Шуму на всю деревню... Вот завтра-то разговоров будет... Уж видели мы с мамой, как петух от тебя дёру дал... Никогда и не думал, что наш Кызыл так быстро голыми пятками по снегу бегать умеет, – весело смеётся надо мною папа. – Верёвочку-то на мешке зачем надо было развязывать?

– Хотел посмотреть, – вру я, – уж больно разом притихли. Вдруг да померли от страха...

– Чего же им бояться-то? – язвительно хмыкает Валерка. – Упустил петушка... А вдруг он возьмёт да и заблудится насовсем... А лиса или волк тут как тут...

– Ага! – защищает меня сестрёнка. – Тебя бы да заместо петушка посадить вот так... Откудова ему... Откудова ему с курочками знать, куда их волокут, да ещё и ночью? Может, на зарезывание... Любой бы на их месте от страха помер и укакался. Правильно Вова поступил, что посмотрел... Может, им какая медицинская помощь уже требовалась?.. А петух и без тебя дорогу до нашего дому найдёт. После того как непогодиновскому петуху – одноглазому забияке, пьяный Афанасий отрубил голову топором, наш Кызыл, считай, стал самым первым и главным петухом на всей нашей улице. Ведь правда? – обращается она к папе. – Сидит, уж небось, на сеновале и радуется, что Вова его отпустил на свободу.

Зачем надо было тянуть в новый дом двух куриц и одного петуха, для меня и поныне остаётся загадкой. Что этим папа хотел сказать? Понятно бы, когда всех и враз и скопом... А тут... Возможно, это как-то связано с национальной балкарской традицией?.. Выпускают же в новый дом первой кошку...

Наши с сестрёнкой тайные надежды и чаяния, что страшная бука не найдёт дороги к новому дому, а то и просто не пожелает бежать за нами



по такому морозу, останется жить в привычном ей старом, с треском провалились. В ту же самую ночь – ночь нашего переезда, она дала о себе знать: «Я здесь! Меня вам никогда не провести. Покуда передо мной есть страх – жуткий страх, есть полная убежденность в моей бытности, свирепости моей не иссякнуть веками».

Бормоча, прихлопывая и чавкая, она бродила по ещё совсем пустым комнатам, тяжело вздыхала, а то и наоборот, принималась злобно хихикать, подкрадывалась иногда так близко, что чувствовалось веяние её могильного холода, ни с чем не сравнимого отвратительнейшего духа тлена и грибной подвальной плесени, замешанных к тому же на запахе какого-то горького цветочного аромата, бесконечно знакомого, но никак не определяемого точно, парализующего страхом, кажется, всё естество. Эх... Если бы и на малую толику знали родители о том ужасе, который мы с сестрёнкой испытывали при встрече с этой поистине демонической сущностью самой преисподней. Так не знали же... Могло ли им – просвещённым атеистам, и в голову прийти, что «беспричинный страх», явленный дурным сном, как они в том пытались нас убедить, также имеет свою причину, природа которой, увы, не есть презумпция психиатрии, а нечто более тонкое и сложное, недоступное их пониманию, складу их ума, отвергающего всё, что выходит за рамки чисто материального. Наученные горьким опытом, когда очевиднейшее для нас представлялось с их стороны и нам же как Нечто несуществующее, познав их суровое и твёрдое неверие атеистов, мы помалкивали, горестно переносили ужасы страшных ночных, и не только, реалий, слабо уповали, что буке в конце концов надоест и она покинет нас навсегда. Было ли знать нам, иску-шаемым демоницею, никак не наученным к своей защите оберет-ным словом, что только одно мысленное «Спаси и сохрани, Господи», произнесённое даже с самой малюсенькой искоркой, способно разрушить любые чары зла, защитит не хуже любой неприступной крепости.

– Почему же, – спрашивает грозно папа, – Валерику всякая чепуха по ночам не мерещится? Ведь правда, Валерик?.. Почему же ни мне, ни маме и даже, наверное, кошке Машке и коту Ваське никакая чертовщина не является? Как его?.. Этот самый – Иоаким Мудрейший – сказочный домовый, вещающий всякую чепуху человеческим голосом; да и ещё не один, а со своими сотоварищами... И вами выдуманную буку, которая зачем-то бегаёт по ночам, кривляется и хлопает в ладоши, также, кроме вас, никто не видит и не слышит.

– Анна! – волнуется папа. – Может, их следует показать врачам-специалистам?.. Особенно Вовку... Это он заразил Вытку своими нелепыми фантазиями. Внушил ей всякие страхи от своих мыслей, а она и поверила.

– Ничегошеньки он мне не причуривал, – уже ревет Танька, – и ни капельки нам это не показалось. А буку первой увидела я, а не Вовка, когда была ещё совсем маленькой. Он в это время крепко спал и ничегошеньки, простофиля, и не видел, как она хотела меня съесть.

– Вот, вот... – укоризненно качает головой папа, – выходит, совсем не он, а ты ему внушила? Неужели тебе хочется, чтобы твой брат вырос не защитником, а настоящим трусом и предателем? Как можно бояться того, чего в мире не существует, не существовало и никогда вперёд существовать не будет? – в который уж раз возмущённо говорит папа, энергично потрясая руками, крутя указательным пальцем у виска. – Через год в октябрята... А они... Верят в разные сказки, в чёрт знает что... Ведь не дай Бог кто узнает, – с раздражительностью смотрит на маму, – у директора школы – коммуниста, дети сектанты, настоящие баптисты... Ведь запросто и партийного билета можно лишиться, – всплещивает руками он.

Переглянувшись украдкой с сестрёнкой, не сказав друг другу и единого слова, мы навсегда теряем веру в праведность взрослых, более никогда не делимся впечатлениями о мирах, проявленных только для нас, познаём истинную цену Молчанию, имя которой Тайна.

– Танечка, – однажды спрашиваю её я, – а может, это и действительно нам с тобою только причуривается? Тогда что же... Мы самые настоящие психи ненормальные?.. Вот здорово!

Быть психами ненормальными нам нравится гораздо лучше, чем психами нормальными. Весело рассмеявшись, принимаемся прыгать, кувыркаться и гримасничать, подобно обезьянам. Кот Васька, признав в нас своих, тут же включается в эту замечательную психопатическую игру, ходит то вниз головой на одних передних лапках, то вверх головой, но на задних, тоненько блеет по-козлиному. Кошка Машка в подражание ему с разбегу вскарабкивается на книжную этажерочку, с неё прыгает на китайский шёлковый абажур, начинает раскачиваться на нём, как на какой качели. Распушив хвост, уподобившись белке-летяге, плавно приземляется на родительскую кровать, застеленную белой тюлью, свернувшись тугим калачиком, крепко засыпает.

Через тонюсенькое отверстие хрустального пузырька, мужественно благоухающего одеколоном «Шипр», украдкой заглядываю в будущее. Вижу маленького дядечку, почти уже дедушку, согбенного над ключочком мленько исписанной бумажечки, продолжающего что-то писать старинным стальным пёрышком – первоклашка, да так усердно, что, кажется, и нет более важнее дела на свете, как это, чем он занимается. Муравьиные

буковки старинного письма, не придерживаясь канвы, не подчиняясь, кажется, никаким нормам и правилам изложения, шатаются и кривятся в разные стороны, бегут весть знает куда. В некоторых местах, если пристально приглядеться, и того чуднее: цепко прилепившись друг к другу, они ползут тонюсенькой змейкой без всяких запятых и точек, прочих знаков препинания, сами по себе, заныривают в продренную на бумажке дырочку, бесследно куда-то исчезают. Заметь мой любопытствующий взгляд, увеличенный до размера изумления, благодаря толстому стеклу донышка пузырька, сразу же узнаёт во мне себя, радостно и порывисто вскакивает со своей самодельной деревянной тубареточки, по-ребячески размахивает руками, ненароком смахивает со стола чернильницу прямо на исписанное и на белёске застиранные свои штаны.

– Вот же незадача!.. Опять всё измарал, – радостно извещает о случившемся. – Ничего, – успокаивает сам себя, – суть не в написании... И даже не в рождённом в тайной пещерке – есть такое местечко между четырьмя перпендикулярно состыкованными пространствами без времени. Суть в другом... Как бы оттудова всё это извлечь, да по-правдивому, без всяких искажений, которые непременно случаются, когда начинают курить фимиамом, и не где-нибудь, а в собственной голове мыслишки тщеславия. Э-эх, – со скрипом потягивается он, – старость – великая радость... Забывать уж самого себя стал, оттого, видать, и штаны вымарались чернилами. Знаешь что, Боборика, – обращается он ко мне, вглядывающемуся в голосистую стеклянную трубочку пузырька из-под одеколона «Шипр», словно это вовсе и не пустая склянка, а волшебный калейдоскоп времени, – назови рассказик, который вот только что придумался в твоей мятущейся голове именем, которое было бы схожее по смыслу со словом идиот. Что?.. Брось валять дурака!.. Фёдор здесь так и совсем ни при чём. Какое отношение имеет к тому Достоевский? Мало ли как ему взбредило в голову назвать свой роман, один, что ли, он такой. Тебе же, поверь мне, явный профицит. Одно это уже выкажет в тебе человека просвещённого, нечто знающего выше остальных из областей человеческой психики. Вот никто не знает и даже не догадывается, а ты всё через стёклышко своё наяву увидишь... Ладно уж, – озабоченно смотрит на свои вымаранные штаны, переводит взгляд на бутылочку-шкалик, в которой мирно застыли школьные чернила. Придётся потратиться, выкрасить штаны до конца; как новенькие станут. Сам ведь знаешь... Что написано пером – не вырубишь и топором. Не будь вранья на белом свете, все бы с тоски зачахли. Твори свои миры, Вовка.

Глава 14. ДОСТОЕВСКИЙ

1

Отмечали день рождения Пелагейкина Вениамина Карповича – окулиста городской больницы номер один, человека во всех отношениях положительного, приятного в общении, скромного и застенчивого до чрезвычайности, к тому же неженатого. И слава те, Господи... Все пришли, как и положено, без всяких там особых опозданий, ни раньше, ни позже намеченного времени, один Буткин Карл Карлович задерживался. И прилично, должно признаться, задерживался.

– Вот же – индивидуум... Эхнадонт чёртовый!.. – психует внутри себя кардиолог Аркадьев Лев Моисеевич – человек крайне педантичный, не терпящий малейшего беспорядка в этом, – какого лешего...

Однако!... Гости, и почему-то враз, одновременно смотрят на настенные часы в деревянном лаковом корпусе, повешенные не совсем ровно, то есть не совсем перпендикулярно, потом на свои наручные.

– Нда-а... Пора и начинать.

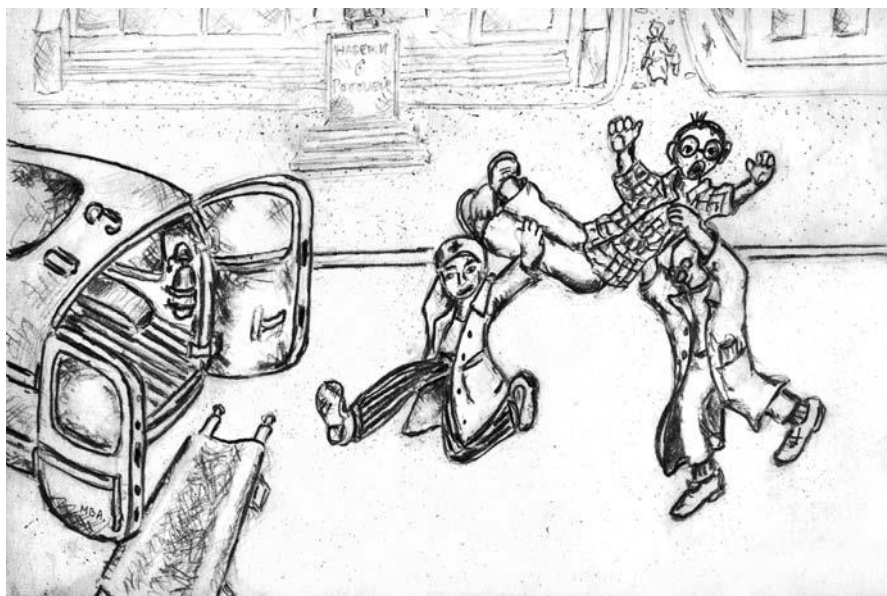
После первого тоста, который вышел несколько натянутым и даже слегка скомканным, а потом и второго с пожеланием здоровья, успехов и всего самого наилучшего пошло как по накатанной.

2

– Мир обыщи, но не сыскать вам и одного практикующего врача-психиатра не без странностей, – кривится губами терапевт Якушкин, разливая из узенькой бутылочки по пузатеньким стопочкам зелёного стекла настойку неженской рябины.

– Полно вам, Андрей Николаевич, – шуруется благодушно именинник, подставляя свою стопочку, – мало ли какие обстоятельства... Жена, скажем, захворала, самому не здоровится, да и просто мог запомнить, а то и неожиданно родственничек какой... Бывает ведь... При непредсказуемости нашей жизни, когда всё на нервах – зарплату, и ту регулярно задерживают, – можно ли винить кого в необязательности?

– Ан не-е-т... Вы уж извините меня, Вениамин Карпович, но тут я с тобой не соглашусь и могу даже запятую поставить, – почти по-чеховски горячится слегка уже захмелевший Клусов Лев Давыдович – главный невропатолог второй городской больницы, той самой, что одним своим облупившимся фасадом выходит на улицу Кладбищенскую, где железнодорожный переезд, а другим, приставленным буквой Гэ – на Вторую Упокоенную, ведущую в сторону Затишья. Где же находится Первая



Упокоенная или просто Упокоенная, которые по логике должны быть, коли реально существует Вторая, никто в городе, даже среди старожил, уже и не помнит. – И нервы здесь совсем ни при чём... Элементарная человеческая непорядочность. Прав Андриюшенька... Я давно заметил, особенно после того как по содействию самого Васина, а кому это неизвестно, Карла Карловича утвердили в должности главного психиатра больницы, да и ещё с кафедрой... Давно заметил, что с той поры его стало заносить. Нотки какие-то странные в голосе появились. И что это за такое неопределённое – н-н-да-а... Ну, честное слово, не знаю, как вам, а мне оскорбительно. Идёт мимо, приостановится, поправит на переносице свои оригинальные очки на железной цепочке времён Бехтерева, глянет на тебя, ну право, как на пустое место и произнесёт: «Н-н-да-а...». Вот и вчера... Я заходил в ваши пенаты по поводу одного своего близкого приятеля, да вы его знаете... Верёвочкин... Стёпка Верёвочкин... Так вот... Прицепился к Пёрышкину, сам свидетель. Он гвоздичек, выпавший из стенки, молотком на место пытался забивать, чтобы обвалившийся стендик с наглядной агитацией о вреде курения поправить. По неопытности своей – не рабочий же какой, а всё же врач – молоточком палец прибил. А этот... Громко так, во всеуслышание и ядовитым голосом: «А что это у вас, молодой человек, руки так трясутся?» Вместо того чтобы выразить хоть какое-то самое маломальское

участие – шутка ли... Железным молотком да со всего маху по пальцу... Он ему: «А что это у вас, молодой человек, руки так трясутся?» Ведь надо же... Пёрышкин от невозможности пересилить боли места себе найти не может, сами понимаете, какая это боль, а этот... На что намекал? Психиатр мне нашёлся...

Разлив по стопочкам, по самому их краю, Андрей Николаевич на правах старшего предложил дать слово гинекологу Авросину – человеку исключительной худобы, задумчивому и уже совсем немолодому, годов этак шестидесяти пяти, а может, и того более, приютившемуся в самом уголочке большого кожаного дивана – старинного и потёртого до слоновой кости желтизны, с откидными круглыми валиками по двум бокам, устроенными на железных петлях, точно таких же, как на оконных проёмах, и большими медными пуговками по выпяченной подушкой спинке.

– Алексей Яковлевич! Что это, вы, голубчик, всё молчите да молчите? – укоризненно спрашивает он его. – Человек вы многоуважаемый и умный, уж скажите, хоть что-нибудь в честь нашего именинника Венечки. Сорок девять годков – это, конечно, не пятьдесят, но всё же... Стыдливо улыбаясь, гинеколог привстаёт с дивана, согнувшись всею своею худою и длинною натурой, чуть ли не в половину, глядя на стопочку, едва подрагивающую с тонкой руке, тихо произносит:

– Венечка... Ты и без того знаешь, как мы все – твои коллеги, тебя любим и уважаем... И за скромность твою, и за добросердечность, и... в общем, за всё... Спасибо, что пригласил в свой холостяцкий приют... Без женщин, уж мне-то поверьте, друзья, ну, честное слово... Уж кого-кого, а их-то я повидал по-всякому и по-разному... Честное слово, всегда и чище, и мудрее, и душе спокойнее. Представь себе, сколько бы сейчас было лишнего крику и визгу и всяких манежностей, напусти ты сюда женщин. И не слушай даже этих всяких умников и добротеев, любителей порассуждать о благах семейной жизни, о долге каждого и прочей дребедени. Не верь... Это они более из зависти. Всему своё время... жениться же в пятьдесят, да и ещё впервые... Ну, знаешь ли... Это надо ещё крепко подумать... Дай я тебя по-отечески расцелую, – тянется к Пелагейкину прямо через стол, не выпуская из костлявой руки своей стопочки с неженской, слегка расплёскивая её на скатерть. – А то, – говорит он после того, как Вениамина Карповича удалось всё же расцеловать прямо в губы, – что Карл Карлович не соизволил поприсутствовать, – экая беда... Может, оно и к лучшему... Полностью разделяю мнение нашего многоуважаемого Андрея Николаевича относительно странности этих господ. Прелюбопытнейший народец эти психиатры, чёрт бы их побрал.

Пойди пойми, что у них там внутри их с их собственной психикой. Ведь, как вы понимаете, для детального медицинского обследования психики съехавшего с катушек психиатра также нужен свой узкоспецифический специалист-психиатр. А где гарантия, что и он адекватен? Может ли кто из нас дать такую гарантию?.. Вот видите... Возьмите того же Зигмунда Фрейда, Фрома – его ученика. Мне ведь, гинекологу, хирургу, также приходилось сталкиваться с их учениями, и скажу вам не без интереса. Эк куда меня... В какие дебри понесло, – смущённо оправдывается он после того, как, нечаянно качнув рукой, чуть не полностью выплёскивает содержимое стаканчика на собственный же галстук. – Здоровья тебе, Венечка! – оканчивает своё поздравление Алексей Яковлевич, обхватив ладонью стопку так, чтобы никто и не заметил, что она пуста, тут же опрокидывая её в широко открытый рот.

Дружно выпив, все стали закусывать покупным винегретом, приобретённым в домовых кухне жилтоварищества «Фаворит», колбасой и сыром, неумело нарезанными неравными кружочками и ломтиками, как это всегда случается в доме, где хозяин закоренелый холостяк. Хорошенько закусив также общепитовским гуляшом с картофельным пюре, а потом выпив и ещё по маленькой, и в следующий черёд, дружно стали упрашивать именинника что-нибудь поиграть им на гитаре, этакого из цыганского романтического, когда душа начинает разворачиваться, а из глаз самопроизвольно течь слёзы.

– Всё знаем, всё знаем! Шила в мешке не утаишь, – гремит своим басом терапевт Якушкин, от удовольствия потирая ладони, – Анна Андреевна сама мне всё порассказала, какой фурор произвёл ты среди дам по случаю проводов её племянницы Нюры на учёбу в Москву, устроенных отцом, куда и тебя пригласили с нашей ординаторшей. Всё, как есть, знаем... А ты как думал... И не отпирайся, брат, от нас не отвертись. Такой талантище, а мы – твои лучшие друзья, признаться, и духом не ведали.

Смущённо улыбаясь:

– Да какой я, к чёрту, вам гитарист... Так, баловство и только... Сто лет, как в руки не брал; ну, разве что для вас... – Достает из шкафа семиструнную гитару, вытирает ладонью от пыли. – Говорил же, что век в руки не брал, – начинает подстраивать струны.

Выстроив на грифе замысловатый аккорд из пальцев в виде невозможной каракули – приём, присущий всем любителям-гитаристам, желающим как-то ошеломить, удивить, показать, что и мы, пусть «консерваториев» не кончали, но тоже кой-чего умеем, лихо бежит перебором по струнам, но тут же спотыкается.

– Ведь говорил же... Забыл, и когда инструмент-то последний раз брал в руки... Совсем пальцы одеревенели...

– Да ты не смущайся, Венечка, – бархатным голосом успокаивает Лев Давыдович, – ну, право... Свои же все...

– Давай, давай, мил душа, не робей, – подбадривает Пелагейкина раскрасневшийся терапевт Якушкин, позёрски поводя плечами, прихлопывая в ладони, – вжарь цыганочку!

Низко склонившись над инструментом, сделав лицо вдохновенно-романтично-задумчивым, тоненьким и проникновенно-любовительским тенорком под легонько перебираемые струны в тональности минор Вениамин Карпович начинает петь:

*... Твоих лучей небесною силою
Вся жизнь моя озарена,
Умру ли я – ты над могилою
Гори, гори, моя звезда!*

Сделав замысловатый переход, как это умеют профессионалы, виртуозно владеющие инструментом, тут же, не меняя тональности, продолжил про утро туманное, утро седое – из романса на слова Ивана Тургенева.

– Ну ты, брат, даёшь!... Ей-ей, прямо-таки на слезу прошибло, – потирает от удовольствия руки Андрей Николаевич. – А ведь и действительно говорила Анна Андреевна... Уж теперь-то откроюсь... По правде говоря, изначально не очень-то поверил, так на прямоту и сказал Брусничкиной: «Воля ваша, Анна Андреевна, но коли это было бы вот так, как вы говорите, то разве я – его друг, того бы не знал? Ведь с Вениамином... мы, почитай, уж лет как пятнадцать дружимся». Она конечно же обиделась, вспыхнула вся. Знаю, говорит, все ваши знакомства, известно уж... И по бесплатному билету, купленному профсоюзом, в театр не заманишь. Сворачивайте Пелагейкина, пользуясь его природной порядочностью и застенчивостью. Глядя на ваш образ жизни – беспорядочный, надо признаться, образ жизни, – ваши бесконечные амурсы с лёгкими особами, у молодого человека и сложилось негативное отношение ко всем женщинам и даже девицам... А вы потворствуете...

Последнее Якушкин произнёс такими уморительно схожими интонациями с голосом Брусничкиной, что вся компания так и грохнула со смеху.

– Что вы такого на меня наговариваете, – смущённо оправдывается Вениамин, – разве то, что я вам сейчас исполнил, так сказать, это серьёзно... Вот раньше, когда в институте в художественной самодеятельности... А сейчас... Одно баловство... Да и голос от нескончаемых сквозняков

в нашей так называемой больнице, богоугодном заведении... Если бы только одних сквозняков... А и склок... Совсем негодим сделался.

– Ну... будет тебе... будет тебе манерничать, – тонко улыбается Лев Давыдович, – меня в детстве не столько родители, сколько тётка из Житомира... Настырная, скажу я вам, тётка была... На скрипке жучила. Прости Господи, по-другому и не скажешь. Откудава ей втемяшилось в голову, что у меня задатки музыканта? От этих полонезиков, как вспомню, до сих пор в глазах и во всех внутренностях нехорошо делается. Как видишь, – широко разводит он руками, – коли не дано, так уж и не дано... А ты, брат, молодец, порадовал... Вон какие колена на струнах научился выделявать. Непременно, и завтра же, похвастаюсь нашему разлюбезному Карлу Карловичу, подразню его, значит, как нам было весело в нашей настоящей мужской компании, без всяких там женщин, которые только того и требуют, как к собственным персонам внимания. Представляю, как он презрительно зафыркает. Не применёт напомнить про своё, это самое, либидо. И что следование противу естества есть корень всяких психопатических заболеваний. И хоть все мы здесь врачи, люди образованные и весьма даже грамотные, а я к тому же ещё и невропатолог, как никто, лучше всех знаю о различного рода болезнях, связанных с расстройством нервной системы, хочу спросить всех вас, а в первую очередь и самого себя: что есть из себя эта самая психиатрия? Что за наука такая? Какими такими критериями оправдывает свои столь категоричные вердикты относительно – здоров или нездоров, нормален или ненормален, дееспособен или недееспособен человек? А ведь если вдуматься, хорошенько вдуматься, не делая себе – такому нормальному – никаких поблажек, по-честному спросить себя: «Человек! Кто ты есть такой на самом деле?» Полагаю, что за уйму тысячелетий бытности нашей на Земле в гигантски умножаемых знаниях обо всём нас окружающем – о земле, небе, звёздах, разных там науках, включая и социально-общественные и даже политике о самом главном – высшем из дыхательных существ на земле, не ведаем и сотой доли одного процента. Да, да! Вы вовсе не ослышались. И сотой, а возможно, и тысячной доли процента... Ибо... Человек и есть, и является той бескрайней и, как нам придумывается, беспричинной Вселенной, не вмещающейся, к своему пониманию, ни в какие рамки разума. А вы ему... У носа поводили резиновым молоточком, ударом под коленную чашечку проверили рефлекс, потыкали чем остреньким на чувствительность и, пожалуйста вам... упрятали, от греха подальше в «дурку». Смешно, господа...

– Ну, знаете ли, уважаемый Лев Давыдович, так можно и любую науку, и любую сумму знаний низвергнуть, свести к абсолютному нулю.

Никто и не спорит, что относительно бесконечности, то есть числа, не сравнимого ни с чем, всё настолько микроскопично, настолько бесконечно удалено в миры отрицательных чисел, что в пору нам всем, скопом, и в Господа Бога уверовать; принять всё на веру, как предложено некогда святыми отцами церкви, и вообще не задаваться никакими вопросами, – хитро чешет затылок гинеколог Авросин Алексей Яковлевич, еле заметно подмигивая Якушкину, – и, – продолжает он, – хоть порой, не без цинизма, подшучивают над нашей врачебной профессией, что мы есть те, кто всю жизнь, не без удовольствия, подсматривает в щелочку, не могу с этим не согласиться. Действительно... Наблюдать, как с одной-единственной клеточки сформировывается совершеннейший организм... Ну, знаете ли...

– Вот, вот, вот... Алексей Яковлевич, – разгорячённо восклицает Клузов, – того, что утверждаете вы, никто и не отрицает. Речь же идёт о совершенно ином... Не о физической клетке, умножающей самую себя путём делений до миллиардноклеточного организма, такого левиафана¹, суть не в этом... Каким образом и на каком этапе своего развития это существо ещё в утробе матери обрело психику? И кому это стало быть нужным? Бессознательной клетке, организму, построенному из мириад подобной ей, родителям, обществу, государству? Продолжать можно бесконечно. Кому нужно, спрашиваю я, когда всё это происходит как бы и вообще помимо воли тех, кого я перечислил? Ведь согласитесь, и вы, конечно же со мною согласитесь, что воля, как и сознание, как совокупности всего – психики, – не есть суть материального, не есть суть того первичного – кирпичика-клетки, из которой и сформировался весь организм. Откуда же всё это взялось? Спрашиваю я вас, господа. Каковы критерии, простите, что повторяюсь, нормальности человека, а следовательно, всего общества? Хочу спросить я у самого себя. Кто даст гарантию, что это самое общество в целом не больно? А мы... Психиатрия, психиатрия. Не желаемое ли выдаём за действительное? Как можно, не зная сути основ, не ведая и на малую толику, что есть человек – существо тонко психическое, на одних предположениях, методом тыка, приниматься исправлять его сознание, исправлять непонятно почему произошедшие в нём отклонения от нормы, кои ни к каким чертям собачьим и не являются нормой, то есть лечить? Держать в клетке, взперти, насильно пичкать пилюлями, усыплять наркотиками, физически наказывать за «неправильное» поведение... А тот как бы положительный сдвиг, случившийся в результате вот такого, так называемого излечительства, выдавать за

¹Левиафан (Библ.) – огромное морское чудовище.

победу здравого рассудка больного над неведомо отчего случившимся его же безумием. Вдумайтесь... Не страшно ли?... А кто заглянул глубже?... Не убит ли за этим, так сказать, положительным результатом гений? И чем докажете вы мне, что эта самая наука – психиатрия – отличительна от той же астрологии, метафизики, хиромантии, алхимии и прочего, чёрт знает ещё чего, включая гаданий на бобах, бараньих лопатках и кофейной гуще. Возьмите, к примеру, нашего Буткина Карла Карловича, отказавшего всем нам, ныне здесь присутствующим, отмечающим день рождения своего товарища, быть вместе со всеми. И дело даже не в том, что он не с нами, вполне возможно, что есть к тому масса достойных причин, мало ли что... Приболел, скажем, пациент из психушки, дал дёру или повесился. Я о другом... Можно ли, положив руку на сердце, его самого признать безукоризненно психически здоровым человеком? И нам ли докторам не знать, что от его личной воли, его решений, ох как много зависит. Главный психиатр, да и ещё с соответствующей кафедрой при университете, это вы мне, братцы, не шутите; почитай, последнее слово, высшая инстанция в психиатрии. Уж поверьте мне, для таких и петь под гитару, и плясать от избытка хмельных чувств в присядку, читать во весь голос стихи Гумилёва, Набокова или Пастернака – всё одно, что с катушек съехать, то есть сделаться психическим. Вот ведь о чём я говорю... И таких Карлов Карловичей ох как много.

– Ну и что же теперь нам-то делать? – разводит руками Якушкин. – Позволять психам ненормальным, замечу, буйным психам ненормальным бродить по городам и весям, кусаться, приводить души смиренных обывателей в неопикуемый ужас, гадить где попало, так, что ли, Лев Давыдович? Как можем, так и лечим, по-другому не умеем.

– Лукавишь, брат ты мой, лукавишь... Не о них речь веду. Хотя и там с точки зрения элементарного гуманизма мало что изменилось с времён чеховской «Палаты номер шесть». А по правде говоря, и конь не валялся. Страшит не это... Другое страшит... С какой лёгкостью в нашем так называемом прогрессивно-гуманистическом обществе, демократическом, замечу, обществе всё можно поставить с ног на голову. Согласитесь, и это факт, индивидуум, отказавшийся идти со всеми в ногу, как и все, орать заготовленные впрок речёвки и... о ужас!.. мыслить не как это принято всеми... Не есть ли уже явная угроза для этого самого большинства? Попробуйте-ка, будучи врачом, скажем, как вы – терапевтом, выступить против мнения большинства... И не просто голословно, а доказательно выступить против этих всех, заявив о слабости ныне существующих терапевтических методов диагностики заболеваний, которые ни к чертям собачьим не годятся, и что всё надо менять срочно и радикально. Да вас

ваши же ближайшие коллеги, не наученные по-другому мыслить, да и, откровенно, не желающие что-либо менять, завтра же и скопом оговорят, поставят на вид – не отрывайся, сволочь, от коллектива, – а коли не замолкните, прилюдно не отречётесь от своих поносных идей, так и вообще представят ненормальным и упрячут. Куда?! А это, Андрей Николаевич, – смотрит пронизательно на терапевта Якушкина, – нам, ныне здесь собравшимся, очень даже хорошо известно. А потом, когда излечат, то есть выбьют из головы всякую дурь, приведут к так называемому общему знаменателю, и вы, и ваши родственники, и прочие их ещё и благодарить приметесь. Каждому своё... Как там у Володьки Высоцкого?.. Ага... Шизофреники – вяжут веники, параноики – рисуют нолики... Венечка! Плесни-ка нам на правах хозяина, а ещё и именинника, своей неженской рябины. Отменный, надо признаться, напиток... И не коньяк, и не вино, а нечто среднее... Пьётся как за милу душу. А сколько, интересно, в нём градусов? Никак, поди, не менее под тридцать; забористая, скажу я вам, штукавина, – рассматривает этикетку Клусов, щуря глаза и по-смешному оттопыривая губы. – Ладно, – отставляет в сторону бутылочку, так и не найдя, по своей близорукости, места, где прописано, сколько в ней крепости. Сейчас мы тебя – голуба душа – ещё раз поздравим, выпьем, закусим, попросим спеть или что сыграть, но не по заказу, а из того, что прежде всего самому нравится, а потом, если, конечно, общество позволит мне, я вам перескажу пре-забавнейшую историю, более похожую на сказку, которую мне поведал престраннейший человек по имени Боборика, проживающий в городе Кичналь, где с ним чудным образом и познакомился, будучи на излечении в санатории «Голубые Долы». Сразу же хочу предупредить, что всё, поведенное им мне, ну конечно же чистойшей воды сказка. Да и о самом, о нём, не просите, воздержусь. Хотя... как бы вам сказать, – хитро щурится Клусов, рассматривая на просвет стопочку с золотистым коньячным напитком, – сама жизнь, которую мы все по-разному живём, не имеющая своего начала и края – не есть ли та же сказка... Люди мы все образованные, ни в какую чертовщину, всякую там мистику нас трудно заставить поверить, в Бога – тем паче. Имя главного героя, о котором пойдёт речь в этой истории, мне хорошо известно, полагаю, что и некоторым из вас, а потому оно нарочно мною произнесено не будет, как есть, заменено на вымышленное. О Боборике же из своих личных сложившихся представлений могу сказать совсем немного... Чудак... Доморощенный философ с бузиновой свирелью за пазухой, древоточец с перочинным ножичком в кармане, нефритовым оселком – в другом, стихотворец с беззвучною песнею на устах, тайною в сердце; не знающий меры горькому вину, в котором сладкие иллюзии. Горемыка...

Сказка № 1

1

Кому же неизвестно в нашем, пусть и не особо большом, но зато образованном и культурном городе имя Достоевского? Нет, нет... Не того Достоевского, что Фёдор Михайлович, который ещё писатель, автор романов «Идиот» и «Бесы», а совсем другого, не менее знаменитого, даже чуточку схожего с ним обличем – Михаила Фёдоровича Достоевского, чей родительский дом пустой и заколоченный, проживал сам по себе по Малой Брынцаловской улице в Косом переулке, прямёхонько напротив заготовительной конторы Райпотребсоюза, возглавляемой Зайчиковым Владимиром – успешным руководителем, закупающим у населения не только плоды огородничества, садоводства и всякие там грибы да ягоды, что и предусмотрено деятельностью и планами заготконторы, но и по своей собственнoличной инициативе, так сказать – инкогнито, специальной породы лягушек и ящериц для французского и китайского ресторанов, чабрец, зверобой и аптечную ромашку, а также металлический лом, ветошь и стекло на бой. Естественно, побочная заготовительная деятельность никак, нигде и никакими финансово-отчётными документами не отражалась, прибыль чистоганом шла Володьке по кличке Француз. Пацаны, добывающие этих самых рептилий и пресмыкающихся – лягушек да ящериц, – имели явные материальные преимущества перед теми же сорванцами, кто этим не занимался, а вернее, не догонял, что тридцать копеек за большую, а двадцать копеек за маленькую, но взрослую лягушку, – это не чепуха и овчинка весьма даже выделки стоит. А зря... Окрошкины Митька с Васькой за один сезон на этих самых жабах заработали себе на велосипеды, а Брошкин Сенька приобрёл самолично аж настоящие часы «Полёт» в золочёном корпусе. Вот тебе и лягушки...

Но полно об этом... Вернёмся назад, ведь сказ наш вовсе не о какой-то заготконторе, их по стране тысячи, а о Михаиле Фёдоровиче Достоевском, который не писатель, но которого, почитай, в целом мире знали, а может, и до сих пор знают. Да что там в этом мире... Может, чем чёрт не шутит, и в сопредельных с нами мирах, густо заселённых как чистой, так и нечистой силою. А почему бы и нет... Разве это как-то расходится с апологетами теории Платона, Аристотеля, Сократа о единстве миров? Если к тому прибавить ещё и от прозорливости офтальмолога Мулдашева, то весьма даже вероятно. Как, скажите вы, такого учёного, академика, светоча отечественной психиатрии не знать? Ведь в образованном обществе, честное пионерское слово, и засмеять могут, выразить

недоумение, и вообще в это общество не пустить дальше порога. Вот ведь до какой степени обидно могут с вами поступить, допусти вы такую оплошность. Как и полагает быть настоящему психиатру, Михаил Фёдорович видом был неказист, манерами чудаковатый, шепелявил, присвистывал, подмигивал, хотя и не носил галстуков, ежеминутно ёжился и потягивал набок шеею при ходьбе, а ходил он очень скоро, заносил правую ногою, да так, что, не останови его вовремя, обернувшись кругом, мог вернуться в то же самое место, откуда некоторое время назад двинулся в путь. Невысокого росточка, но с крупною головою с чахлою белёсою растительностью серебристых волосиков, произрастающих, словно у католического патера, вокруг отполированной до блеска лысой макушки жнивом святости. Одежду Михаил Фёдорович носил самую что ни на есть простецкую, словно и не замечая веяний моды и что, в конце концов, положение обяывает. Разные рубашонки в клеточку, свитерочки да пуловеры, потёртые и ненаглаженные брючки в дудочку, старомодные кожаные сандалеты с никелевыми пряжками на босую ногу – если летом, суровые, на толстой подошве ботинки – если зимой.

– Как то можно? – воскликнет каждый. – Человек с мировым именем, академик... Уж конечно же не бедствует...

– А вот и можно, – возражу я вам, – такому всё можно. Заслужите с него... И вам позволится... И не то что в штанишках измятых, а и вообще без всяких штанов и даже без трусов. Обходились же как-то древние греки без этих самых трусов... И ничего...

– Не судите по костюму, – сказал бы господин Коровьев, хитро подмигнув коту Бегемоту, – никогда не делайте этого, дражайший...

Вы можете очень даже ошибиться, и притом весьма крупно. Перечтите ещё разок историю халифа аль-Гаруна аль-Рашида Бируни-Фирдауси, что имел престранную привычку обличаться в простолюдина, бродить в одиночестве по базарам и кривеньким улочкам Бухары с посохом дервиша и сумою для подаяний нищего. Вот так и здесь. Эх! Если бы вы только знали, что за высокие люди имели свое отношение к Михаилу Фёдоровичу Достоевскому... И не какие-то там директора или заведующие баз, управляющие трестами столовых и ресторанов... Берите выше!.. Выше берите... Любого бы оторопь взяла, увидь он, как Михаил Фёдорович в каком скверике, сидя на голубенькой лавочке, запросто беседует с... Боже ж ты мой!.. И помыслить-то страшно... С самим товарищем... Нет, нет, нет... Не смею и произнести... Но то для сведущих и кое-что понимающих. Для несведущих же: экий мужичок неухоженный... Никак, бобыль и наверняка уж крепко зашибающий... Как есть, психический. Уж точно у приличного товарища на косушку выклянчивает... При всех своих пристрастиях Михаил Фёдорович

обладал острейшим аналитическим умом, необыкновенно-объёмную памятью и многим ещё чем иным, о чём в стране научного коммунизма в силу смутности и недоказуемости оных явлений не очень-то любили распространяться гласно. Как шептались некоторые, в совершенстве владел гипнозом, инкогнито ассистировал самому Вольфу Мессингу, телепатически, находясь совсем в другом городе. А однажды так заколдовал кошку Дуську, что она при виде собак стала кидаться на них и побеждать. Одним из любимейших его времяпровождений, которые он мог изредка себе позволить в силу крайней своей загруженности, было наблюдение за жизнью душевнобольных, но не где-нибудь в психоневрологическом отделении больницы для душевнобольных, а в их естественной среде, то есть на воле. Глаз его был настолько отточен и намётан к этому, что без особых усилий он тут же и безошибочно даже в крохотной забегаловке обнаруживал объект своего исследования – такового индивидуума с лихорадочно бегающими глазами и иссохшими с бодуна устами, жаждущими любого, пусть и суррогатного хмельного пойла, дабы не окочуриться и не схватить белочку¹, или где-нибудь на вокзале, где, как правило, психов хоть пруд пруди. Церковные же паперти интересовали Михаила Фёдоровича особо.

– По-да-а-йте Христа ради, такмо же матери Божей, во спасени колено-преклонна раба твои, алкающего хлеба-а-а. По-да-а-йте на калачик копеечку, грошичек махоньки, – тянет заученно детина, годковэтак сорока, в изодранной и грязной матросской тельняшке, в синих с лампасами спортивных штанах и преогромных резиновых сапогах с обрезанными криво голенищами, одетыми задом наперёд, опухший и небритый.

Присев перед юродствующим на корточках, Михаил Фёдорович, впившись остренькими глазками, несколько помолчав, мягко вопрошает:

– Ну, что, болезный... Поди, несладок хлеб нищенский?..

Под гипнотическим взглядом доктора нищий нервно озирается по сторонам, как бы и вовсе не замечая заданного вопроса, принимается юродствовать ещё более, резко запрокидывать голову вверх, выказывать зубы, на удивление целые и крепкие.

– Сапоги-то зачем местами поменял? – добродушно спрашивает Достоевский. – Ведь этак можно и запросто на ровном месте ногами перепутаться.

– Уродился я таковым, – наконец-то обретает дар речи пьяница, – мамку корова рогами ушибла, когда ходила мною... Оттого, знать, и поменялись ноженьки местами в растопырку.

¹Белочка (сленг) – заболевание. В народе – белая горячка.

– Так что же это ты их, мил душа, в такую жарницу, не натурально, а в сапожищах выказываешь? – с озабоченным выражением лица спрашивается психиатр. – Этак и без всякого профицита можно весь день просидеть.

Почувствовав, что в его сказку с поменявшимися местами ногами странный гражданин и на грош ломаный не верит, как и во всё остальное, и что выказанная напоказ «хворь» читается им как дурь, неожиданно озлобляется. Презрительно скривив губы, глядя прямо в глаза, почти шипит:

– Чего пристал-то, жадобина... Не тебя, а меня Господь наземь раскорячил, уразумел?.. Сквольжина, скряга несусветная...

Светло улыбнувшись чему-то своему, Михаил Фёдорович тут же отходит в сторону, роется в карманчике своих несерьёзных брючек, достаёт зелёную трёхрублёвку, возвращается и с низким поклоном подаёт нищему. Последний, радостно ослабившись, денежку молниеносным движением руки буквально выхватывает, прячет за пазухой, неудержимо начинает блять: «Сохрани ты Господи, мил человек, на много лета от хвори».

Что выносил из таких практик знаменитый психиатр, одному Богу ведомо. Но, как говорили те, кто знал его близко, в непростом его характере наблюдались некоторые изменения. Так, кофе, который он всегда пил по утрам, заменялся вдруг на чай, а маковые булочки, столь любимые им, на обыкновенные ломтики ржаного хлеба. При этом, как замечали ещё более наблюдательные, на его безымянном пальце левой руки появлялся никчёмнейший грошовый медный перстенёк с изображением непонятого знака в виде гравированного кружочка со звёздочкой в центре. На вопросительные замечания коллег относительно этого перстенёчка, совершенно несерьёзной чепуховины, отвечал непонятно и уклончиво: «Абулия». Тут же сверились со словарями. Оказалось, что эта самая – абулия, если это действительно именно она самая, с греческого переводится как нерешительность. В медицине имеет более расширенную транскрипцию, расшифровывается как патологическая слабость, безволие, инертность ко всему.

– Однако, – пожимали плечиками некоторые, – старик, никак, начинает чудить.

– И ведь, честное слово, – шепотком и озираясь на все стороны, сипит ординаторша Галкина, обращаясь к секретарше Алечке Блюм, старательно наклеивающей на бандероль специальные марочки в самом углу приёмной, в том, где широкий и светлый подоконник, – ну, прямо совестно...

Он, значит, немец этот, в элегантнейшем фильдеперсовом костюме, бежевом в тончайшую кремовую полосочку, с алмазной заколкой

в галстук, белой шёлковой рубашке, туфлях крокодиловой кожи, настоящий заграничный иностранец, наш же... Господи... Глаза б мои не глядели. Ну, чистое позорище... В поношенном завсегдашнем пуловере, где он его откопал, – клетчатой рубашке, как у американских пастухов, в измятых штанах неопределённого цвета. Ширинка не на все пуговицы... Стыдобище невыразимое...

Я, веришь ли, Алька, так и увяла, так от срама такого чуть сквозь землю не провалилась, аже покраснела до самых корней волос, – снова опасно косится по сторонам, – а этому – вахлаку, хоть бы хны. Немецкий профессор к нему со всею галантностью, этакой дипломатичностью, и кивнёт с достоинством, и прядочкой на голове тряхнёт, и даже ножкой слегка шаркнет, наш же... Хвать его за рукав фильдеперсового пиджака и без всяких церемоний, как простого санитаря, ну тащить к себе в кабинет. Не миновал толком и приёмной, на всём скаку давай по-всякому выражаться: «Теория Ламарка, убеждённым сторонником которой вы являетесь, крайне несостоятельна. Все эти ваши неоламаркизмы, психоламаркизмы – чушь собачья. И я вам сейчас докажу...». Тот, бедняга, так испугался, потому как ни бельмеса по-русски, так сконфузился от подобного неожиданного приёма, что ей-ей даже побледнел. Дгаварян выручил. Шепнул что-то немцу по-французски, нашему же перевёл на идише. Все так дружно засмеялись, а особо сам Достоевский, потому как заржал прямо конём, что на этом весь конфуз и разрешился. А что он ему такого сказал?..

Несмотря на свой проницательный ум и богатейшую память, как человек сугубо гуманитарного склада, Достоевский Михаил Фёдорович был абсолютнейшим профаном в области точных наук, а особо в математике. Все эти числа, формулы, арифметические и геометрические прогрессии, ужасные выражения в виде нагромаждённых друг над другом цифр под дробями, в скобочках и без скобочек представлялись ему жуткими монстрами, совершенно непонятные для его логики. Мало того, при его феноменальной памяти, глубину и объём которой простому обывателю и представить-то невозможно, он путал в элементарном и простейшем, доступном, кажется, и школьнику младших классов.

– Как так может быть? – изумитесь вы. – И может ли вообще такое быть, когда это касается не абы какого человека среднего ума, а академика с большим именем.

Нетолько номера телефонов, но и номера домов в их последовательности, чётности и нечётности, и даже квартир, непонятно и почему из его памяти моментально выветрились, исчезли раз и навсегда в область иного ментального пространства, иного измерения, стирались до абсолютно белого пятна. Все титанические усилия, прилагаемые им к воскрешению

того, что сказано было буквально минуту назад, а именно номера телефона, составленного из шести цифр, не давали никаких результатов.

– Как же так, – нервировался Михаил Фёдорович, потея и наливаясь нездоровыми пунцами, – ведь вот только что сейчас ясно помнил, не спешил даже на бумажке записать... Как там... Ясно помнил, что Бортман Мишка произнёс по телефону и даже повторил: 47-27-77... Нет, нет... Он чётко и ясно произнёс 77-47-27... Ну, да... Только по правильному первым были – 27, а потом, кажется, 77... Тьфу ты!.. Зараза... Как же это он мне... – громко, ещё и по слогам, и с расстановкою – мученически закатывал бельма великий психиатр.

Перед его глазами начинали вспыхивать лиловые круги с огненно-ядовитыми зелёными ободочками, они принимались медленно плыть куда-то в сторону, туда, где сплошная чернота; почти погрузившись в неё, снова вспыхивали, но на прежнем месте, чтобы опять двинуться к этой черноте, где окончательно и потухнуть. На фоне этих кругов стеклянным силуэтом и мутно проявлялось лицо Мишки Бортмана, друга детства, академика, некогда возглавлявшего институт прикладной математики в Новосибирске, ныне проживающего в Израиле. Мишка старательно подмигивал глазом, беззвучно шептал своими толстыми губами, но, кажется, ничем помочь уже не мог; номер телефона, очень важный и нужный номер, который вот так ясно, да и ещё дважды произнёс не более как минуту тому назад, совершенно поглотил мрак. Но и это ещё не всё. Стоило Михаилу Фёдоровичу, казалось бы, даже в очень знакомом районе города случайно свернуть в какой-нибудь мало, приметный переулочек от своей задумчивости, как он тут же попадал в неведомый ему мир. Обыкновенная практичная логика: какого же чёрта тебя несёт ещё дальше в самые дебри закуточков, проулков, дворишков?.. Сверни на все сто восемьдесят градусов, двигайся, но не туда, где раньше был перед, а наоборот, то есть зад; вот и всё. Но именно это и не сработало. Совершенно заблудившись среди диких, неведомых ему дворов и дворишков с облупленными домами и домишками, с их кривыми благоухающими деревянными нужниками, хилыми палисадничками, вросшими в землю скамеечками и красными от ржавчины мусорными баками с вездесущими котами, облезшими собаками, воронами и голубями, приходил в полнейшее и паническое отчаянье. Потный и бледный, с гулко стучащим сердцем, съехавшими на самый кончик носа тяжёлыми роговыми очками, несмотря на свой степенный возраст, он носился как угорелый с тревогой, переходящей в мистический страх, так известный настоящему психиатру, вопрошал в глубины самого себя: «Господи... Это куда же меня так занесло? Ведь это же явно не Москва... Да какая же

это Москва, когда, кажется, и водопровода... А канализацией не только и не пахнет, а аж воняет». Косится на совершенно загаженный сортир с двумя расхристанными дверями, одна из которых с таким же знаком, как у станции метрополитена, едва висит на одной петле, а другая настолько расписана срамными картинками и словами, большинство из которых начинались с тридцать второй буквы кириллицы под названием хер, что и смотреть совестно. И таких случаев с Достоевским Михаилом Фёдоровичем случалось предостаточно. Как учёный-аналитик, не щадя себя, подобному психическому своему состоянию дал соответствующее научное определение, окрестил пространственным идиотизмом. Не вдаваясь в Божье, подсознательно верил в реинкарнацию, то есть в переселение душ. Относительно себя, не без оснований, предположил: «Бедный я, бедный». Видно, в одной из своих прошлых жизней так где-то заблудился, может, даже в самом лабиринте Дедала, что, не найдя выхода, так и помер под трухлявым стволом баобаба, а может, и осины, или в полнейшем мраке иезуитского сооружения острова Крит, придуманного специально для Астерия Звёздного¹, где в круговороте всего и вся и стал пищей для термитов и муравьёв или нерукотворно превратился в египетскую мумию. И даже ночи, наполненные странными повторяющимися сновидениями, не давали ему успокоений. Он и там, в этих самых снах, постоянно продолжал теряться, блуждать по улицам таких знакомых, но на самом деле совсем незнакомых ему городов, почему-то всегда сумрачных и совершенно безлюдных, выискивая дом, из которого вот только что на самое короткое время вышел, чтобы сделать что-то важное и значимое, в котором остались родные и близкие, и друзья, и знакомые, и даже те, которых уж давно как нет в живых, вышел и тут же заблудился.

– Как же так, – всегда думалось ему одно и то же, – ни названия города, ни улицы, ни номера дома и квартиры... А ведь так всё просто. Что стоило, к примеру, перед тем как куда-нибудь направиться из дому, взять да и записать всё это на бумажке... И номера телефонов записать, а за одним и как самого зовут – имя, фамилия, отчество и даже где работаю, а если кто не поверит, то и номер телефона ответственного товарища, работающего аж в правительстве. И всё... Ведь это так просто. А так... Если кого и встретишь в этом сумрачном и пустынном городе, то и как обратиться-то?.. Что ему сказать?.. Как объяснить, кто ты и чего тебе надо... Ведь любой, и это уж обязательно, примет за больного сумасшедшего. А там... А там и страшно даже подумать... Ведь и на всю

¹*Астерий Звёздный* – минотавр. Мифологическое животное с телом быка и головой человека.

оставшуюся жизнь могут задвинуть в ящик как некую утерянную вещь до востребования её тем, кто эту вещь потерял, то есть востребования себя самим собою.

Только от одного этого его бросало в холодный пот, лишало всякого покоя. Как врач-психиатр он понимал, что из данной ситуации, попади он в неё, выход только один. Только с полным обретением памяти, да и то как сказать, мог выпасть шанс выйти из психушки тем, кем ты и есть, а не своим двойником, внешне схожим с тобою, внутренне же похожим на всех. Понимал и другое... Доказательство своей вменяемости, своей психической нормальности тем, кто к тому имеет некоторые сомнения, не совсем разделяет с вами эту принципиальную точку зрения – дело абсолютно дохлое. Мало ли, что ты сам о себе возомнил... Попробуй-ка ещё оное доказать, когда санитарка тётя Глаша, да и ещё уборщица, имени которой никто и не знает, кроме как швабра, а помимо того, и хронический алкоголик Стопкин Хруня и видели, и слышали, и могут даже под присягой показать, как вы возвышали голос, почти бунтовали по поводу совершеннейшей чепухи, требуя лично для себя, экий же эгоизм, туалетной бумаги и зубной пасты с щёткой. Попробуйте-ка вы уравновешенно, с достоинством и аргументированно, а самое главное, без всякой нервозности доказать докторам, что кусок старой грязной газеты к тому мало пригоден... На каком мировом симпозиуме по проблемам гигиены, скажем, в Стокгольме, возможно – да... В сумасшедшем же доме... Иногда, проснувшись весь в холодном и липком поту, как это случается у несчастных, страдающих запойным алкоголизмом, шептал про себя: «Господи!.. Что же это такое делается... Когда же закончатся мои муки?..». Незаметно засыпал, перемещался в новый сон, в котором, как и в предыдущем, опять терялся.

2

Заплутать в южном курортном городе Кичналь, пожалуй, и можно, потеряться... Ну, знаете ли вы, это надо ещё умудриться. Проспект имени вождя мирового пролетариата Ленина, широкий и прямой, как указующая стрела, упирающийся, кажется, прямо в белоснежные горные пики, разделяющий город как бы на две половинки, ну никак не позволит вам заплутать окончательно, выведет обратно туда, откуда вы вышли и странным образом потерялись. Горная речка, холодная и быстрая, несущая свои струйные воды вдоль юго-восточной стороны города, всегда укажет вам два других направления – левое и правое, а желаете – и наоборот, в зависимости от того, вверх вы идёте или вниз. И даже ночью в любую погоду, когда белоснежных вершин и вовсе не

видно, весёлые огоньки телевизионной башни, подобно маяку, укажут каждому приезжему нужное и точное направление, выведут в так называемый Долинск, ибо именно там и располагается основная масса всех отдыхающих граждан, прибывших со всей страны в этот славный курортный город поправить целебными водами и грязями изрядно расшатавшиеся нервишки, подпорченные табаком, водкой и колбасой желудки, зашлакованные избытками солей косточки. Не стоит забывать и о другом... Коренные жители, так называемые аборигены, это вам не москвичи, которых о чём ни спроси, или вообще промолчат и пронесутся мимо, аки оглашенные, а то на авось тыкнут пальцем, куда этому пальчику в данный момент сподручней, и... ищи потом эту тётю Шуру, которая хоть и проживает в Москве, но почему-то в Перловке или Теряево, а то и аж в Волоколамске. Кичнальцы – народ поистине гостеприимный, приветливый и отзывчивый. Они не только не тыкнут пальцем, в какую сторону, но и выкажут желание сопроводить туда, куда вы пожелаете, куда вам надо. А как иначе. Гостеприимство – наипервейший долг каждого из горцев, и это, уж поверьте, для них наипервейшее правило. А так как город, подобно подкове, со всех сторон окружён горами, то все жители вне зависимости от национальности, почитают себя горцами и только горцами. В связи с этим, от излишнего радушия, порою нет-нет да случаются курьёзы. Представьте себе изумление простодушного пилигрима, решившего с дороги где перекусить... Разве помышлял он, бедолага, о том, что ему не только укажут путь до ближайшей чебуречной, где и шашлыки, и шаурма, и пиво, и «Акдам», и даже коньячок, но и начнут там угощать? Да так усердно потчевать, что и память из головы вон.

– Эх... Лёва, Лёва, – туго вспоминает он, дико озираясь, находя себя в совершенно непонятном ему месте, да и ещё лежащим ничком на чужом диване, – разве затем послала тебя супружница Галька в санаторий, где излечиваются от гастритов и каменной болезни почек, чтобы ты вот так, прямо с вокзала и не оглядевшись, с первым же попавшимся гражданином кавказского обличия нагрузился в чебуречной до самого кадыка вреднейшим для твоего здоровья жареным шашлыком, пивом и крепчайшим портвейном «Акдам»?..».

Хоть и совестно признаться, но шила в мешке не утаишь, случилось и по-другому. Всякое случалось... Когда доверчивый гражданин, прибывший аж из Сыктывкара, а то и из Сургута, определял себя поутру не в уютной комфортабельной палате, в панцирной никелевой кровати и в белоснежных объятиях наисвежайших простыней, а в парке на развалистой курортной скамейке, с чьими-то растоптанными башмаками за место подушки под голову, без дорожного курортного чемоданчика,

в коем всё жизненно необходимое, включая и путевой листок, аккуратно вложенный вместе с денежками в паспорт, не считая половинки жареной курицы, завернутой в промасленную газету, которая изначально была столь внушительных размеров, что за всю дорогу так до конца и не съелась. Но... подобные случаи столь идентичны или так тщательно замаскированы кем надо, что это почти никак не сказывается на положительном имидже Кичнальцев, делает этот город одним из благороднейших в череде других городов, поистине всесоюзной здравницей.

3

При каких обстоятельствах, служебных ли, личностных ли, а может, сугубо семейных, Достоевский Михаил Фёдорович оказался в Кичнале, никому не известно. Да и какое значение имеет всё это сейчас? С подобным же успехом он мог, скажем, очутиться и в Ленинграде, и в Баку, и даже в Самарканде или Бухаре... А почему бы и не в Бухаре?.. Или, к примеру, не в Усолье Сибирском?.. Такие люди, как Михаил Фёдорович, всюду востребованы, могут появляться где угодно. Мне же лично кажется, что в его деле никак не без воздействия потусторонних тёмных сил, которые только тем и дерзают, что следствие подменяют причиной, а причину – следствием, дабы и на пустом месте явить переполох, свести обстоятельства таким немислимым образом, что хоть кричи ты караул, ничегошеньки уж и поделаться нельзя. И хоть советская психиатрическая наука, основанная конечно же на материалистических идеях марксизма-ленинизма, никак не придерживается всяких там фаталистических теорий предрещённости, не верит в действительность явленных снов, в корне отрицает мистицизм, а если всё это и утверждает, то как психиатрический диагноз, что имеет быть при явных расстройствах психики человека, когда всё это ему лишь кажется, а на самом деле ничего подобного и нету, всё случилось так, как и должно было случиться. Именно Кичналь стал последним местом его пристанища, где он был признан тем, кем есть на самом деле, то есть – человеком сумасшедшим. Как такое возможно?! И возможно ли вообще?.. Если сам светоч психиатрии не смог доказать своей нормальности, своей адекватной вменяемости... И кому доказать... Провинциальным бездарям, таким тупицам... То что уж тогда говорить о простом гражданине, вздумавшем спьяну покурлесить, вслух, да и ещё прилюдно, назвать товарища генерального секретаря, а вместе с ним и всех остальных, так сказать скопом, говнюками вонючими, вздумавшими искоренить русского человека запретом курить в собственной хате самогон. Почему он оказался у памятника знаменитой горской княгине, каким образом туда попал, да и зачем, так

для истории и осталось загадкой. Но то ведь История... Возможно, что это был не тот самый Достоевский Михаил Фёдорович, а какой другой – его натуральный двойник, также Михаил Фёдорович, и тоже Достоевский, только из параллельных миров, о существовании которых даже ученые мужи не отрицают, Бог его знает. Мало ли на свете Достоевских, Чернышевских, Дунаевских и прочих Пушкиных?.. Я же, слово в слово, передаю вам то, что поведал мне некогда Боборика, которому, уж поверьте, и на самую тютельку нет причин мне не доверять, потому как он есть сам – Честный Сумасшедший Человек.

– Плесни-ка нам, Вениаминушка, ещё по чарочке винца, я же вам дорассказываю, как всё было на самом деле; честное вам слово... Слушайте...

Оставив свой малюсенький жёлтенькой кожи чемоданчик в камере хранения, аккуратно записав в блокнотик номер кода, легко вздохнув, Михаил Фёдорович через просторный вестибюль вышел из пределов железнодорожного вокзала. Стояло чудное тихое утро. Упоительная струя свежего воздуха, наполненного ароматом цветущих роз и ещё чем-то, еле уловимым, но очень знакомым, связанным, кажется, с первым морозом и со снегом, легко ударила в грудь, затрепыхала в складках тонкой клетчатой рубашки – старомодной, но выполненной из натурального китайского шёлка, подаренной некогда ему товарищем, тоже врачом, прибывшим к нему в Москву из Харбина.

– Однако... давненько я такого воздуха не вкушал, – заметил про себя он, широко раздувая ноздри, выпячивая вперёд грудь, – натуральнейший и провинциальнейший воздух деревни, но пахнувший не привычным навозом, а розами, – ещё раз заметил он, чрезвычайно довольный собою за вот такое сравнение.

Где-то за спиной, через насквозь распахнутые двери вестибюля, гулким эхом стали доноситься порывистые гудки локомотивов, свистящее шипение пара, лязгающие звуки железа. Монотонные рокоты железнодорожных репродукторов металлическим голосом женщины и наперебой принялись оповещать нечто совершенно неразборчивое, но тревожное.

– Если чем и схожи между собою все железнодорожные вокзалы в мире, то уж конечно не внешним обликом и не размерами, а особым, исходящим от них духом рельс и шпал, который ни с чем не спутать, и совершенно характерными звуками репродукторов, вещающих металлическими голосами женщин, похожими друг на друга, как две капли воды, что в Москве, что в Париже или в Берлине и даже на станции Волобуево где-то в N-ской губернии, – неожиданно отметил для себя

Достоевский. – Нда-а... – удовлетворённо хмыкнул он, – такой понятный город, – вертикаль проспекта, уносящегося, кажется, к самым белоснежным безоблачным вершинам гор, поразила особенно. – Ну надо же... Тут цветут розы, а там – льды... И всё совсем рядышком, рукой подать.

Лягнув ногою и поведа шеею, не спеша двинулся вверх по правой стороне улицы, то и дело оглядываясь по сторонам, удивляясь буйству зелени и широким газонам, что устроены по обеим сторонам тротуаров. Сплошь засаженные благоухающими розами разных цветов и оттенков, от кроваво-красных до нежнейших розово-белых, они представляли из себя игривое зрелище, наводило на философические размышления.

– Нда-а, – ещё раз хмыкнул он, – в этом городе, и это уж точно, никто женщинам цветов не покупает, потому как их никто и не продаёт. Кому же взбрэндит в голову торговать на углу розами, когда их кругом и задаром хоть трава не расти...

Поравнявшись с крохотным передвижным прилавочком, под беленьким брезентовым зонтиком которого сидела на стульчике тощая тётенька в белом кружевном передничке и такой же шапочке – продавщица газированной воды, полез в карман за мелочью. Мелочи в кармане не оказалось, как, впрочем, и рублей. Вот те на... Вышел называется... И деньги, и документы, и всё такое в чемоданчике... В камере хранения оставил. И что за голова... Порылся и в других карманах, даже в нагрудном, что на рубашечке, – ни копейки. Придётся возвращаться.

Возвращаться почему-то не хотелось. Пройдя в раздумьях ещё с десяток метров, хотел уж было повернуть назад, как краем глаза увидел под водосточной трубой на вылуценном отводе зернистом асфальте маленький кожаный кошелёчек – худенький и потёртый, так распространённый среди домохозяек, закрывающийся посредством двух перекрещенных загогулинок со стальными шариками на концах.

– Наверняка кто-то выбросил за ненадобностью, – промелькнуло в его голове, – уж больно невзрачненький и старенький.

Поддев носком штиблета, почувствовал, что он не пустой и уж по крайней мере с мелочью. Озирнувшись по сторонам, смущаясь от нахлынувшей неловкости – неудобно как-то, – нарочито медленно нагнулся и поднял. Проходящая мимо женщина почему-то, как ему показалось, отвернулась и ускорила шаг.

– Чего это я? – занервничал Михаил Фёдорович. – Не украл же в конце концов... Ну валялся... Ну поднял... Что в том дурного?

С каким-то странным чувством стыдливости, чувством неожиданным и совершенно новым для него, поворотившись к стене, открыл кошелёчек, вытряхнул содержимое на ладонь. Всех денег насчиталось тринадцать рублей семьдесят две копейки. Окажись бы кто рядом с ним,

уж он бы наверняка сказал: «Вот... Обронил, видать, кто... А я поднял. Не знаю, как и поступить. Ну не бросать же обратно на дорогу... Вы не подскажете, где здесь у вас отдел находок?».

Но главная улица города в это чудесное раннее утро была на удивление пустынной. Редкие прохожие, торопящиеся на работу, наблюдались разве что на противоположной от него стороне тротуара. Мотнув головой и взбрыкнув ножкой, Михаил Фёдорович торопливо закинул и деньги, и пустой кошелёк в брючный карман, хотя первым желанием было отдать его продавщице воды, не свернул, как наметил ранее, обратно в сторону вокзала, а наоборот, даже ускорил шаг. Миновав здание школы, быстрым шагом перейдя перекрёсток улицы, названной в честь и память великого писателя Льва Толстого, вскоре оказался на весьма широкой площади, с правой стороны которой в окружении огромной цветочной клумбы на возвышенном пьедестале красного полированного гранита возвышалась монументальная бронзовая скульптура женщины в национальном платье и со свитком в высоко поднятой правой руке. Ниже, прямо по камню, накладными бронзовыми буквами было выведено: «Навеки с Россией».

– Интересно, – быстро зашептал он к памятнику, – в честь какой это такой особы этакий монумент вымахали?..

Поднявшись по каменным ступеням, по верхнему периметру которых находились четыре массивных прямоугольных плиты с монтированными в них бронзовыми барельефами, очутился на площадке возле самого пьедестала. С внутренней стороны эти самые архитектурные портики с многофигурными сценами из жизни кабардинских и русских посольств были обрамлены массивными гранитными скамьями, также отполированными и, по всей вероятности, придуманными не просто ради архитектурного форсу, а именно по прямому их назначению, чтобы на них сидеть. Под одной из них заметил початую бутылку портвейна номер тринадцать с навершием в виде опрокинутого гранёного стакана, а на самой скамейке – почти полную пачку «Примы» с коробком спичек.

– Кто же это такой забывчивый? – неприятно кольнуло где-то под ложечкой.

В связи с этим даже представилось, что это вино не случайно, а кем-то специально оставлено для него. Возможно, по его душу уже и выпили и даже закусили дымящейся сигаретой, как это водится у душевнобольных запойных алкоголиков. И что найденный кошелёк с тринадцатью рублями – красненьким червонцем и зелёным тройком, также валялся на дороге не за просто так, а был заранее и с тайным намерением подложен кем-то, чтобы на него как наколдовать и навести порчу, а то и вообще сгубить.

– Фу ты, – уже вслух чертыхается Достоевский и даже слегка сплёвывает на землю, – экая дрянь в голову втемяшилась... И нарочно-то не придумаешь...

Порывисто спустившись по ступеням обратно, стал внимательно и подробно рассматривать барельефы.

– Чугунное литьё, что ли? – задумчиво спрашивает сам себя. – Наверное, и так... Хотя... Возможно, и бронза, и даже тонированный алюминий. Сейчас из него что угодно могут отлить – дешёво и сердито. Хотя... Может, и действительно настоящая бронза. Ну не цементная же отливка, покрашенная под благородный металл? Как бы узнать...

Узнать было не у кого, опьяняюще веяло розовым маслом и ещё чем-то неопределённым, но знакомым, запах которого почему-то навевал нечто смутное и тревожное, подобное тому, что это уже с ним некогда было, в несколько других обстоятельствах, но было, и что этот барельеф он видит не в первый раз, а когда-то уже видел. И данный вопрос по поводу материала, из которого отлита эта штукавина, он также задавал и тогда.

– Да Господи, – почти страдает великий психиатр, с почти болезненным любопытством впиваясь глазами в голову коня, – как бы узнать из чего тебя выделали?

– Зачем тебе это сдалось? – уже протестует внутри его другой голос, также Михаила Фёдоровича, его двойника. – Какой тебе с того прок? Плюнь ты на эту нежерёбую кобылу. Ну не из золота же она в конце концов...

Но увы... Всё по-напрасному, да уже и поздно. Михаил Фёдорович лезет в карман, достаёт пяточок из найденного им кошелёчка, по-воровски озернувшись по сторонам, принимается им по-незаметному скрести там, где у коня глаз, трёт пальчиком.

– Гражданин! – слышится у него за спиной.

От неожиданности вздрогнув всем телом и даже издав подобие звука, схожестью с куриным, который та производит в момент неожиданной опасности, Михаил Фёдорович оборачивается и видит перед собою милиционера. Черноволосый и широкоскулый, с густыми сросшимися на переносице бровями, огромными усами, без кителя, в одной голубой милицейской рубашке и с погонями капитана, с офицерским кожаным планшетом через плечо, он предстал так внезапно, что Достоевский не только вздрогнул и издал звук, но и от страха плотно закрыл глаза, словно ещё и не веря им, что это по его душу. Тут же, словно из-под земли, вырастает и ещё один совсем молоденький и без погон, длинненький и худенький, в брючках навывуск, с кадычком на тонюсенькой шейке

и щёгольскими усиками в ниточку. Оба многозначительно переглянувшись, не говоря ни слова, вопросительно смотрят на него. Страшно смутившись, Михаил Фёдорович мнёт ладонью лицо, полагая, что это всего лишь некое наваждение и что подобные случаи бывают, а в психиатрической практике широко известны и описаны, дрожащим, совсем не похожим на свой голосом принимается оправдываться:

– Вот... Понимаете ли... Любопытство имеем насчёт данного предмета, – дрожащим пальчиком тыкая в морду лошади, – хотел определить из чего сделана... А спросить не у кого... А так хотелось узнать...

Держа перед собой, словно орден, двумя стиснутыми пальчиками пятак, неестественно улыбаясь, отчего губы начинают прыгать и коситься в подобии жалкой ухмылки, спрашивает:

– А вы... вы случайно не знаете?

Словно не замечая вопроса, старший как-то странно смотрит на худенького, костяшкой указательного пальца задумчиво трёт кончик носа, мягко и доверительно говорит:

– Из чего сделана эта статуя, вам объяснят в другом месте, а пока, гражданин любопытствующий, предъявите-ка свои документки, если они у вас с собою имеются, – окинув быстрым взглядом с ног до головы, тянется рукою к своему кожаному планшету.

– Какие документы? – холодеет изнутри Михаил Фёдорович. – У меня их с собой нету... Вернее, они у меня есть, но только в чемодане. Если не верите, вот бумажка... На бумажке всё по-правильному записано. Не сердитесь, пожалуйста; отдохните немножко, а я быстренько сбегаю, тут совсем недалеко, и принесу... И всё разъяснится.

– Какая бумажка?.. Куда сбегаете? – почти что ласково спрашивает капитан, вытаскивая из нагрудного карманчика своей рубашки авто-ручку.

– Ах да... – участливо всплёскивает руками Достоевский, – конечно же, конечно же... Откуда же вам знать того, рассеянная моя голова... Вы уж простите, извините, пожалуйста, я всё вам сейчас объясню... Сбегаю и объясню по порядку. Дело в том, по невнимательности оставил свой чемоданчик, он у меня жёлтенький ещё такой, Николай Семёнович Пфад подарил, из Парижа... Так вот... По невнимательности оставил чемоданчик свой в автоматической камере хранения на вокзале. Закрыл, значит... Вернее, не чемоданчик, здесь всё правильно, а паспорт и деньги, и командировочное удостоверение Академии наук СССР, которые в чемоданчике. А циферки, значит, на бумажку переписал, чтобы как не запамятовались. Сами ведь понимаете, какая сейчас жизнь, – совершенно неожиданно для себя подмигивает он милиционеру, – на

память надейся, а сам не плошай... Что написано пером, не вырубишь топором... Фиксируй, значит, а то возьмёт вдруг да и забудется. Вот и я... Честное благородное, хотел уж было вернуться, чтобы из камеры документы и деньги забрать, когда газированной воды захотелось выпить, а в карманах ни копейки... Можете даже справиться у худенькой тётеньки, она подтвердит, как я в карманах шарил и не нашёл. А тут, ну честное слово, и не поверите, прямо рядышком, подводосточной трубою, этот кошелёчек с тринадцатью рубликами, видать, кто-то обронил, а может, и специально выбросил. И ещё семьдесят две копеечки... Торопливо лезет в карман, протягивает милиционеру пустой кошелёк, следом же и деньги. Вот... Честное слово, я его нашёл возле трубы и не знал куда девать. Ведь деньги совсем не мои. А чужих мне и не надо. Хотел даже худенькой тётеньке отдать, которая около школы лимонадом торгует, да почему-то забыл. А спросить кого, где у вас находится бюро по находкам, совсем было не у кого... А сейчас, – заискивающе улыбается Михаил Фёдорович, вытирая ладошкой выступивший на лбу пот, – признаюсь, даже и на душе стало легче, что вот так всё быстро разъяснилось. И хозяин найдётся... Такое вот удачное совпадение, – ещё шире улыбается он, стараясь вести себя самым непринуждённым образом и даже щелчком пальчика смахивая с рубашки капитана прилипшую соринку. – Как говорится, на ловца и зверь бежит, – опять, помимо своего хотения, подмигивает он милиционеру.

– Кто бежит? – непроницательно серьёзно, но всё же с лёгкой озабоченностью, еле промелькнувшей на лице, смотрит на него капитан, делая своему товарищу ладонью какие-то замысловатые знаки.

– Как кто? – переспрашивает Михаил Фёдорович, выказывая удивление на своём лице, – разве я не сказал... Зверь, значит... Поговорка такая.

– Понятненько... – многозначительно тянет милиционер, расстегивая ремешок планшета, – а бумажка? Бумажка, про которую вы всё говорите... Где эта бумажка? Можно взглянуть? – мягко и вполголоса интересуется милиционер.

Михаил Фёдорович с озабоченностью лезет в карман своих брючек, затем в другой, выворачивает оба пустыми лузами, с непоказным испугом спрашивает у капитана:

– А где она?

Тот, не отрывая настороженных глаз, пожимает плечами, делает молодому ещё более энергично знаки, мягко отвечает:

– Наверное, обронили где... Что же так волноваться-то?..

– Не мог я её нигде обронить, – почти выкрикивает психиатр, – из блокнотика такая... Ведь вот только что хрустела, как помню. На ней

ещё код фиолетовыми чернилами несколько кривенько написан, так получилось. Авторучку одолжил у женщины, а она спешила. Вот и вышло наискосяк. Как же я чемоданчик-то свой теперь заберу? – растерянно смотрит он на милиционера. – Ведь шифр-то на бумажке. А там и паспорт мой, и деньги, и удостоверение моё академика, и блокнотик, в котором вся моя память...

Отступив несколько шажков в сторону, принимается озабоченно рыскать глазами под ногами, прихлопывая руками по карманам, как бы ещё не веря, что этой бумажки в них уже нет, поднимает скомканный билетик от автобуса, тут же с отчаяньем отшвыривает на клумбу.

– Да не волнуйтесь вы вот так, гражданин, – встревает вдруг молодой, вопросительно поглядывая на старшего, – саму-то ячейку, куда положили этот самый свой портфель, запомнили ведь?

– Не было у меня никакого портфеля, – нервируется Михаил Фёдорович, обиженно и с укором вперившись в молоденького, – Николай Семёнович Пфад никаких портфелей мне из Франции не привозил, и это уж я, не сомневайтесь, точно знаю. Его жена – Аркадия Марковна ещё говорила тогда, чтобы я не забывал изредка смазывать этот чемоданчик касторовым маслом, а на худой конец – рыбьим жиром, чтобы кожа блестела и не трескалась кракелюрами, потому как он из натуральной выделанной кожи марсельской свиньи. А вы, молодой человек, придумываете про какой-то портфель. Нечестно это с вашей стороны.

– Какая разница, – неожиданно вспыхивает курсант, сглатывая кадыком, – покажите ячейку нам, в присутствии понятых администрация и откроет.

– Как же они откроют, – с изумлением смотрит на него Михаил Фёдорович, – когда, кроме меня, никто в жизни этого кода и не знает, потому как я сам его придумал, а чтобы не забыть, выписал на листик от блокнотика, который остался в чемодане?

– Не волнуйтесь, гражданин, никуда не денется ваша бумажка, отыщется, – смотрит сурово на курсанта капитан, – не надо так по-напрасному беспокоиться... Лёнька! – обращается он к длинному, – посмотри-ка по-внимательному, вон там, – показывает рукою на основание поста-мента, – может, и действительно обронил, под скамейками посмотри... Номерка камеры хранения не запомнили? – спрашивает он Достоевского.

– Как же не запомнил... Очень даже запомнил... На бумажке в самом уголке отдельно выписал, – моргает покрасневшими глазами великий психиатр, потягивая набок шеей, дёргая ногою.

– Всё понятно, – ещё более озабоченно вздыхает милиционер, – показать-то хоть сможете.

– Так... Сначала прямо... Потом чуток правее, первый и второй ряд проходишь, а потом там, где окно... Хотя... Там, кажется, ещё есть одно окно по коридорчику выше...

– Хорошо, хорошо, – мягко прерывает его капитан, поправляя кобуру пистолета, – обязательно отыщется, никуда не денется.

– А это, случаем, не ваше? – не скрывая иронической ухмылки, спрашивает длинный курсант, держа на вытянутой руке бутылочку тринадцатого портвейна с гранёным стаканом на горлышке, в другой – пачку «Примы» со спичками. – Под каменной скамьёй обнаружил; грамм триста, никак не меньше, товарищ капитан. А «Примы» – полная пачка без одной, и спички на скамейке в самом уголке лежали.

Увидя всё это, Михаил Фёдорович вместо того, чтобы сделать лицо непонимающим и беспричастным, неожиданно даже для самого себя стал резко и нервно протестовать:

– Да что вы себе такое позволяете... Как вы смеете. Я и сам наперёд вашего видел эту посудину, и сигареты тоже... И никто бы мне не смог помешать, если захотел всё это выпить и выкурить. Хотя, если вы знаете, я вовсе не курю и не пью портвейн номер тринадцать, и «Приму» не курю, потому как терпеть не могу глотать табачный дым. А вы мне суёте под нос, даже не догадываясь, что я врач, и не просто там какой-нибудь врач, а врач-психиатр, замечу – академик, у меня... По моим научным трудам... Эх... – безнадёжно машет он рукой, – разве такие, как вы, способны понять, что табак и водка, замечу также и вино, вредят психическому здоровью, могут подвести под белую горячку. А это, скажу я вам как специалист по психическим заболеваниям, всё одно, что и буйное помешательство, а то и более того – тихое, когда сумрачное состояние души. А вы мне вином, – грозно меряет взглядом курсанта.

– Хорошо, хорошо, хорошо, – успокаивающе машет обеими руками капитан, – никто и не настаивает. Невооружённым глазом видно, что вы человек непьющий и некурящий. Кто же настаивает-то? Не надо волноваться так. Если нечаянно и случилось какое недоразумение, так уж покорно просим извинений, товарищ академик, – незаметно подмигивает глазом курсанту, ничего не понимающему, стоящему на вытяжку с бутылкою вина, – сами понимаете, служба обязывает... Формальность, чистая формальность; и с нас требуют... Напомните нам, уж простите, вашу фамилию, имя и отчество, мы только запишем, как положено, и всё...

Достаёт из лакированной кожи офицерского планшета разлинованный бланк, внимательно смотрит на кончик пера своей поршневой авторучки, имеющей привычку иногда самопроизвольно течь, пачкая и руки, и штаны, и всё, что ни попадись рядом, приготавливается писать.

– Ваша фамилия, имя, отчество? – уже официальным голосом спрашивает он.

– Записывайте, если это вами угодно, если так нужно, – обиженно кривит губы и даже шмыгает носом психиатр, – Достоевский Михаил Фёдорович...

И хоть Бзадышев Аскарби Кацукович – капитан милиции, и не изучал «Братьев Карамазовых», не знаком был с романом «Преступление и наказание» и духом не ведал, что есть сочинение под названием «Идиот», и вообще ничего не читал из Достоевского, среднюю школу всё же окончивал. На мгновение споткнувшись пером, многозначительно переводит взгляд на курсанта, после чего тот, чья память была ещё свежа школьными воспоминаниями, быстро сообразив, сразу же куда-то исчезает. Не прошло, кажется, и двадцати минут, которые как одна протекли в исключительно вежливой и доброй беседе, когда Михаилу Фёдоровичу уж подумалось: «Экий милый и доброжелательный милиционер... А мне уж было плохо о нём представилось... Да и о молодом человеке, который куда-то так скоро убежал прямо с бутылкою...». Как вдруг... совершенно неожиданно на него навалились. Двое детей, в белых и не совсем чистых халатах, пропахших карболкою и хлором, и, кажется, нетрезвых, совершенно оторвали его от земли и, удерживая горизонтально, как бревно, почти бегом понесли в сторону ожидающей кареты скорой помощи. Быстро осознав, что вот так простецки обманут, почувствовав шестым чувством, что принят за кого-то другого, а скорее всего, за душевнобольного, вместо того чтобы не давать утвердительно повода к тому, то есть не лягаться, не кусаться, а тем паче – не сквернословить, не орать во всё горло, что он профессор и академик, а ещё более того – Достоевский Михаил Фёдорович, врач-психиатр, а не тот, что из бывших писателей, имя которому не Михаил, а Фёдор, хотя он тоже Достоевский, но Михайлович, поступил в полное противоположное этому. Быстро утрамбованный, запеленованный накрест смирительною рубахою, тут же оказался в первой психиатрической больнице города Кичналя, где после лошадиной дозы успокоительного впервые уснул накрепчайшим мертвецким сном праведника, сном, в котором уж не осталось места другим сновидениям, где он бесконечно терялся.

4

– А что же было дальше? Какова последующая история этого несчастного Михаила Фёдоровича Достоевского, – задумчиво спрашивает Пелагейкин, приставляя свою гитару плотно к углу шкафа, после чего закуривает папиросу.

– Ну как тебе сказать, Веня, – щурится Клусов, рассеивая ладонью клубы дыма, шутя над собою же, – вот пожалуйста тебе вам... Не успел по-настоящему и бросить курить, как – получай фашист гранату... Соблазняют со всех сторон, аж дух занимает, – жадно и со звуком втягивает ноздрями воздух, – история, – продолжил он, – конечно же имела своё продолжение, но... Это, как бы вам попроще сказать, была уже совсем другая история, совсем другого человека, другой личности по имени Иов.

– Как же так может быть, Лев Давыдович?.. Он, то есть этот самый Михаил Фёдорович, что, того... помер, что ли? – несколько волнуется Якушкин. – Ведь наверняка его должны были бы хватиться, начать искать... Хотя бы те же его коллеги-сослуживцы, да и родные, друзья; не может же быть такого, чтобы академика, главного, так сказать, психиатра страны, да и вообще человека, упрятали в психушку и там забыли. Ведь наверняка разобрались как-то, не могли не разобраться.

– Наивный вы человек, Андрей Николаевич... Ещё как может быть. Представьте себе человека, явно невменяемого, без всяких документов, никому не известного в городе, объявляющего себя академиком, да и ещё с такой фамилией... Понимаю бы, если одет был соответственно, статен манерами... Ногою шаркает, голова от тика трусится, мотня расстёгнута. Господи... Так что всё в этом мире может иметь место. Как там?.. Нету бумажки – нету человека. И не таких Достоевских на века вечные история задвигала в ящик. Не будь он сам, я имею в виду Михаила Фёдоровича, психиатром, всё бы для него, наверное, могло бы закончиться более-менее благополучно. А так... Какой, скажите вы мне, врач, да и ещё такой своеобразно-недоказуемой области медицины, как психиатрия, замечу, не какой-то там столичный, а самый что ни на есть провинциальный врач потерпит, как его поносит его же коллега, пусть и самозванный – псих ненормальный... Как вынести ему – серости заурядной, пылких обличительных речей душевнобольного – постояльца палаты для шизофреников, когда тот, да и ещё прилюдно, обличает его в полной несостоятельности, называет неучем, Таквемадой и Малютой Скуратовым; как из рога изобилия сыплет цитатами из учений Бакулева, Павлова, Фрейда и Фрома, о которых он и духом не ведал, хотя некогда университет и оканчивал, чему есть свидетельство – диплом, купленный то ли папой, а может, дядей Омаром, всю жизнь проработавшим рядовым буфетчиком в гостинице «Кичналь». Вот видите, – многозначительно потрясает пальцем Клусов. – Разве врачу-психиатру отказано, как и всем остальным, сойти с ума? Кто мог порешить его такого права?.. Значит, каждый, пусть и в перспективе, такой привилегией может воспользоваться, взять и по собственному желанию съехать с катушек, прохудиться

крышей, а вот психиатру... Ни, ни... Как же тогда мы сами-то определим, кто из нас нормальный, а кто ненормальный, то бишь – сумасшедший?.. Ведь согласитесь... И я уверен, что вы, коллеги, согласитесь со мною, что сумасшедший, которого признали оным, не может повторно сойти с ума. Но вся-то и беда – загвоздочка этакая, что сам истинно сумасшедший, себя никак не считает душевнобольным. Мало того... Ему кажется, что всё наоборот. И уж поверьте мне, на этот счёт у него найдётся множество аргументов, каждый из которых любого, полагающего о себе, что он здравомыслящий, тут же поставит в тупик.

– Понятненько, куда вы клоните, Лев Давыдович, – чешет переносицу Якушкин, – при вот таких-то ваших рассуждениях можно и вообще дойти до полного нигилизма. Уж больно мудрите. Вам бы лучше с вашей философией из стана схоластиков податься к эпикурейцам. Уж там-то гораздо веселее. Естественно, и кто это отрицает, что нельзя одновременно быть и умным, и дураком, как нищим и богатым. Нищему никак не дано обнищать – он уже и так нищий, а богатому сделаться богатым – он и без того уже богатый. А вот если коснуться относительности... То есть насколько ты нищий или насколько богатый, то уж и действительно всё можно поставить с ног на голову: относительно чего или кого ты нищ, сир и убог, или наоборот – сказочно богат? Глупый или умный, нормальный или сумасшедший, то есть ненормальный. И этот ряд можно продолжать бесконечно. Относительность величин, каких угодно, пусть даже тех же арифметических, алгебраических, геометрических – штука настолько хитрая и непостижимая, что, как ты ни крути, всё в последнем итоге окажется приравнено к нулю, то есть даже не к пустоте, которую хоть как-то можно представить, а к абсолютному нулю, в коем абсолютно всё и одновременно вообще ничего. А уж относительно наших психических вмняемостей... Судьи-то кто?.. А... Тут-то мы, братец, и сели в галошу... Вот видите, Лев Давыдович... В той или иной степени все мы посидельцы чеховской палаты номер шесть. Да и гоголевская шинель Акакия Акакиевича по сей день и для многих из нас как пример истового благополучия. Ведь, положи руку на сердце, глядя на все неурядицы и несурязицы нашего общежития, которые и расшифровываются, как житие обществом, в общем доме, то есть по-семейному и по-доброму, глядя на ужасы всего мира, можно ли признать всех нас и тех, кто нами правит, управляет царствами-государствами, управляет всем миром, людьми здоровыми? Король ли, царь ли, президент ли, развязавший смертоубийственную войну, всячески ратующий за эту войну, доказывающий, что при существующих обстоятельствах это благо для всех, кроме супостата, здрав ли, в своём уме?.. Возьмите как пример к нашему случаю и другое: врач-психиатр, следующий врачебной логике

и научным рекомендациям своих предшественников, а они-то, благодаря практическим усердиям и поистине научным изысканиям, и легли в основание психиатрической науки – таким медицинским талмудом, в силу своей специализации видящий в каждом встречном своего пациента, а как иначе – непознаваем и чуден по своей природе человек, – может ли сам быть принятым психически здоровым?.. Вот ведь в чём вопрос...

– Понятно, почему с Достоевским сделали всё, чтобы он позабыл самого себя, стал походить на всех, то есть сделался нормальным. Так закрепили его расшатавшуюся психику, так зацементировали, что переусердствовали, – непонятно и отчего веселее Лев Давыдович. – Естественно, Боборика, который всё это мне рассказал, а может, на ходу придумал, не мог эту историю оставить без всякого продолжения. Ведь, согласитесь, какая в том надобность, да и зачем своего героя за просто так упрячивать в «дурку» и там позабывать, как тот самый жёлтенький чемоданчик, выделанный из кожи французской свиньи, умащённый для эластичности рыбьим жиром, оставленный в камере хранения железнодорожного вокзала Кичналь? Достоевский после того, как его окончательно излечили и выписали, категорично и наотрез отказался признавать в себе психиатра. Удостоверение академика, как поведал мне Боборика, зарыл глубоко в землю на Сарай-горе, потому как, признался сам, ни огненных, ни водных, ни прочих погребений, в том числе и мумифицированных, исходя из своих глубоких убеждений, не приемлет, подался в Волгинскую Пустошь, монастырь Иоанна Предтече, где и сделался тишайшим послушником монахом Йовом-пасечником. Академиком, скопом приехавших его спасать от религиозного опиума, славно угостил медком, липовым чаем, слёзно пожалел, благовествовал: «Ратуйте более о человеке – образе Божьем. Горы рушатся, огонь всепожирающий землёю изрыгается, реки выходят из берегов, моря из пределов своих, моры, глады, знойное томление, звёзды, и те скатываются с небесных сводов, но... Дано ли кому признать в Боге безумца? Не Его ли это велением? И не Он ли речит устами вашими истины, вышедшие за пределы пониманий вашего ума?..»

Глава 15. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. МОСКВА

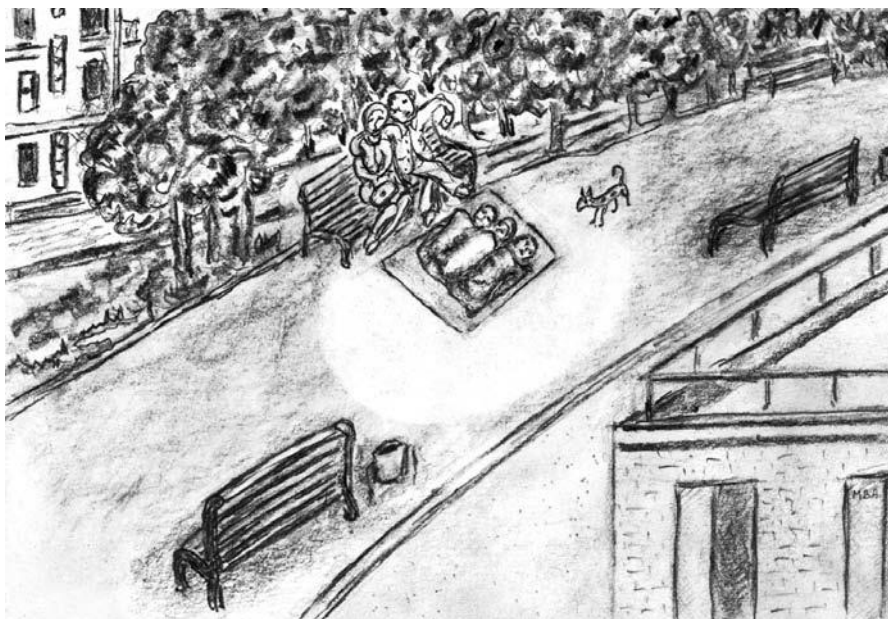
1

И всё же... Зов Родины пересилил всякие соображения практичности, целесообразности и много чего другого, без чего ох как трудно всё начинать сначала, фактически с белого листа. После долгих и мучительных

раздумий – быть или не быть, вот в чём вопрос – отец решил на переселение; решил всю семью возвратиться на землю своих отцов, где он родился, бегал босоногим мальчишкой по лесистым склонам Кашхатау, учился в горской школе, окончил рабфак, был призван в армию, ушёл воевать на фронт. И кажется бы... чего тебе не хватает? И солидное положение директора школы, уважение, сложившийся круг друзей, комфортный каменный дом, построенный специально для тебя, прекрасная жена, детки... Нет!.. Надо бросить всё и сломя голову помчаться туда, где этого перечисленного и в помине нет, добиться чего если и можно, то разве что в смутной перспективе. Спрашивается... На кой ляд, какая надобность была переселяться в новый дом?.. Мучиться, перетаскивать на плечах, да и ещё в зимнюю стужу, скарб, волочить по снежному насту на гору в мешке голосящих от возмущения петухов и кур, потом праздновать, как положено, новоселье. Неужели лишь для того, чтобы в этом новом доме только перезимовать, терзаясь сомнениями, перепсиховать и... И решиться наконец на поступок, который вряд ли можно признать разумным. Постижимо ли? Сорваться всю семью в «тридевятое царство», где тебе нет гарантированной крыши над головой, ни работы, ни крепкой поддержки «официальных товарищей», ничего этого, кроме горстки близких родственников, вернувшихся годом ранее из Средней Азии, куда они были высланы вместе со всем своим народом, ещё более обездоленных, постигших все ужасы и невзгоды на чужбине, поистине познавших цену каждого куска хлеба. Тем не менее решение отца оказалось твёрдым и непоколебимым. Всё нажитое имущество родителей составило аж!.. Два железнодорожных контейнера. Подобному количеству «богатств» в то время могли позавидовать многие. Это же надо... Аж два контейнера имущества! А по существу, могло быть и ещё более. Не без некоторых мучительных борений и, полагаю, к тихой радости родственников по маминой линии, родители решили отказаться от всех чугунков и глиняных крынок, начиная с самых огромных, ёмкостью аж в два ведра, кончая совсем малюсенькими, в которых получались такие вкусные пшеничные, овсяные и гречневые каши.

– Зачем теперь нам всё это, Анна? – авторитетно говорил папа маме. – Куда они могут сгодиться без русской печи?

Естественно, отпала необходимость и в ухватах – таких чёрных и рогатых, с какими обычно рисуют чертей, и кочергах, и прочей хозяйственной утвари, без чего в сельском доме ну никак не обойтись. Огромные окованные сундуки, старинные замки которых гудели подобно курантам, тулупы, валенки, банки-склянки, весь огородный сельскохозяйственный инвентарь с великой благодарностью приняли родственники, соседи, друзья.



– Экое богатство... – посмеялись бы сейчас некоторые, – барахло и только...

И зря бы посмеялись. После самой разрушительной и кровопролитной войны в истории государства, и не только нашего, а и всего человечества, в селе и коса, и топор, и обыкновенный лом, и те же железные ухваты, при помощи которых вытаскивают чугунные и глиняные горшки из печи, и многое прочее этому представляли реальную цену. Один контейнер изначально был предназначен для папиного мотоцикла «Иж». Железное существо с пламенной душой – стремительный подобно ветру, с хрустальной фарою-светильником, позволяющей ему и в крошечной тьме видеть всё ясно, как днём, среди остального имущества конечно же занимал самое привилегированное положение. Дабы ему одному небыло грустно, к нему подсадили полную библиотеку «Большая Советская энциклопедия», подписные издания Николая Васильевича Гоголя, Толстого, Чехова и Достоевского, Мамина-Сибиряка и Баженова. А чтобы было совсем весело, сплошь обложили увесистыми стопками юмористического журнала «Крокодил», сшитыми вместе по годам, туго перетянутыми шпагатом, тяжелыми томами произведений Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина, среди которых оказался и толстенный Абай, откуда я даже помнил наизусть малюсенькие четыре строчки:

*Чтобы ты, малыш, уснул,
На домбре звенит Джамбул...
Струны он перебирает
Старческой своей рукой...*

Незнаю почему, но Джамбул представлялся мне китайским волшебником, иначе разве бы он смог при помощи звуков струн усыплять детей? Сама эта книга с одной-единственной чёрно-белой иллюстрацией старика с раскосыми глазами, задумчиво перебирающего струны домбры, по всей вероятности портретом этого самого Абая, была напечатана на казахском языке. Отрывочек же, который выучился сам по себе, скорее всего, был переводом папы в силу сходства балкарского языка с казахским. Отец эту книгу очень любил, многое из неё читал наизусть, немало перевёл на русский. Места оставалось ещё чуть-чуть, куда и втиснули трофейный папин аккордеон «Сильвио Брантос», лучшую по тем временам отечественную радиолу «Урал», пневматическую винтовку также завода «Иж», стальной шомпол с лаковой деревянной ручкой от неизвестного огнестрельного ружья, которое и в глаза-то никто не видел. Получилось плотно, практично и со вкусом. Можно только догадываться о душевном состоянии вольнолюбивого дитя полей, снискавшего себе славу свою потрясающей проходимостью и выносливостью, после месячного пребывания в столь тесной компании таких разноречивых товарищей. Один «Капитал» Карла Маркса и Фридриха Энгельса чего стоит... А «Му-му» Тургенева?.. Во втором контейнере разместили всё остальное. То есть книги, но в шифоньере и с посудой, небольшие сундучки, но набитые книгами, лёгкая плетёная этажерочка под тугим и увесистым спудом мудрости всех времён и эпох, занавески, скатерти, постельное бельё, половики, стулья, переложенные журналами, книгами и... И ещё раз книгами. Вот и всё великое наше богатство. Да!.. Был ещё шикарный матерчатый абажур светло-оранжевого цвета со свисающей по всей окружности бахромой, в форме цилиндра. В силу своего умения придавать домашней обстановке её законченный уют абажур ужасно всем нравился; в деревне казался вещью редкостной, с точки зрения эстетики – удивительной. Его, дабы как не повредить – не помять и не испачкать, тщательно обернули в хрустящую пергаментную бумагу, привязали тоненькой провололочкой к какому-то, торчащему из «потолка» контейнера болту. Получилось очень даже оригинально, к тому же практично. Всем процессом загрузки руководил лично папа. Глядя на его грустное и задумчивое лицо, чувствовалось, что расставаться с некоторыми вещами ему совсем не хотелось. Но как же возьмёшь с собою в дальнюю дорогу великолепный фикус и лимонное деревце в больших

деревянных садинках? Так на Урале называют цветочные ящики или горшки. Или... большой деревянный ларь, сплошь обтянутый серебристой жёстью, удобный, вместительный, а самое главное, герметичный, куда даже самой малюсенькой мышке никак не пробраться – не по зубам; необходимейшая вещь для хранения сухих продуктов. С ним-то что делать? Куда его такой огромный? Несколько старинных глиняных крынок – на удивление прочных и совершенно неубиваемых, ему всё же удалось спасти, запихать по разным закоулочкам. Демидовских железодельных заводов чугунная ступка с пестиком, как и гладильный утюг, работающий на углях, того же производства, так похожий на маленький, но настоящий паровозик, выпускающий настоящий дым, также были спасены, с Урала перекочевали жить на Кавказ, живы и поныне. В присутствии ответственного железнодорожного товарища оба контейнера были плотно закрыты, опломбированы, погружены в специальную грузовую машину и увезены на узловую станцию Кунара. В самый канун нашего переезда папа с мамой для самых близких друзей и родственников дали прощальный ужин. За полным отсутствием мебели каждый приютился где как смог. Соседи принесли тарелки и стаканы, вилки и ложки. На берёзовые чурбаки, поставленные торцом, уложили доски, получились две прекрасные длинные скамейки; вместо стола принесли разнокалиберные ящики, которые самым аккуратным образом застелили газетами. Многоуровневый стол с закусками и прочими разносолами представлялся зрелищем весьма живописующим, в обращении к себе требующим определённой сноровки. Крепко выпив и закусив чем Бог послал, весело попрощались, горько прослезились, а дабы хозяев более не утруждать перед дальней дорогой – быстро разошлись.

– Ты вот что, Александр Тимофеич, – говорит напоследок председатель сельского Совета Чуванёв, помаргивая покрасневшими глазами, – дорога сурьёзная... Почитай, не менее как недели две, а то и более, покудова доедете до своего Капказу; ранее уж точно никак не управитесь. Шутка ли... По таким-то степям и горам на паровозе... Берегись всякого... И Аннушку с детишками береги... А мы уж пойдём помаленьку. Вам-то перед дорогой перво отдохнуть хорошенько надобно б. Прощай, Шурка... Может, когда ещё и свидимся на этом свете...

Порывисто целует отца прямо в губы. Прикрыв глаза ладонью, машет другой рукою, поспешно удаляется в сторону открытой настёж калитки. На предложение соседей переночевать последнюю ночь у них родители вежливо, но твёрдо отказались. На полу в самой большой комнате уложили сена, сверху набросали всякой мягкой рухляди, вот и вся наша постель. В окна без занавесок, сделавшиеся необыкновенно и высокими, и широкими, лился лунный свет. Противоположная стена, выбеленная

этим светом до ослепительной белизны, без привычного пёстрого коврика, ранее висевшего на ней, стала походить на просмотрный экран в нашем клубе. Казалось, что вот-вот где-то сверху голосом кузнечика застрекочет машинка – волшебный световой фонарь, по заснеженному пустынному полю, кривляясь в разные стороны, пронесутся чёрные чёрточки и загогулилки, потом – буквы, пустые кадрики с квадратными окошечками по краям, торжественным гимном грянет музыка и прямо из циферблата курантов на Спасской башне, из самого его центра, выдуются пятиконечная звезда, игриво заискрится лучиками, провозгласит своим чудным явлением начало нового киножурнала с внеочередным пленумом ЦК КПССС, приуроченным к очередному, грядущему съезду Коммунистической Партии Советского Союза, с докладом на котором выступил сам!.. Генеральный секретарь це-ка-кэ-пэ-эс-эс, Председатель Президиума Верховного Совета товарищ... По пустому и гулкому дому бродила тишина. Никто не спал, все притворялись. По моим не умытым от забот щекам медленно и беззвучно катились слёзы. Я навсегда прощался со своею Родиной, прощался с самим собою – маленьким мальчиком с берестяным тесочком надежд, прикрытых холстинкою, уснувшим блаженным сном под узорчатым кустиком рябины.

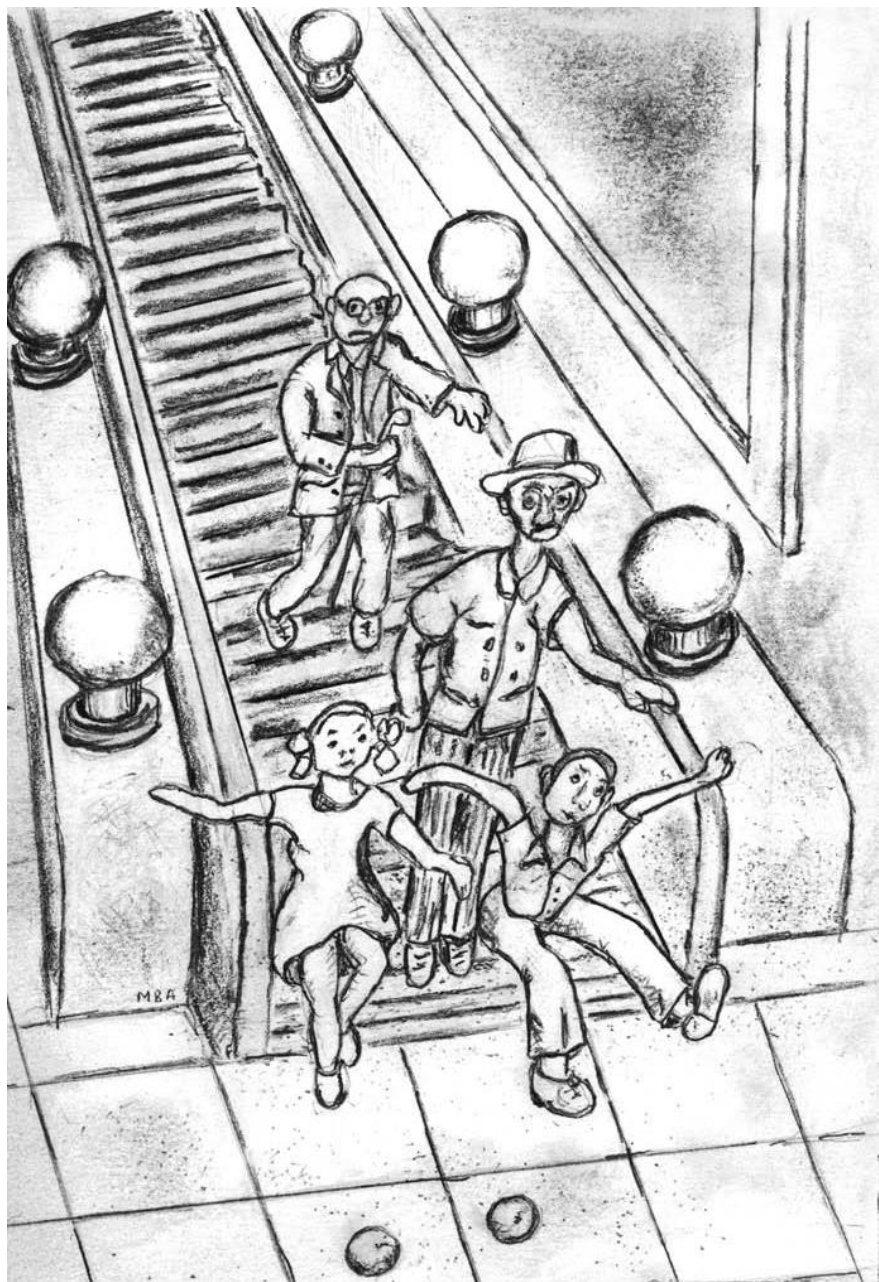
– Подожди до поры меня здесь, – с придыханием шепчу я ему на ушко, – я обязательно вернусь, когда сделаюсь стареньким-престареньким, прозревшим до полной слепоты дней своей жизни. Обязательно вернусь...

2

Первопрестольная мне категорически не понравилась. Понять, зачем паровозу понадобилось ехать в Москву, тогда как нам необходимо совершенно в другую сторону, было выше всякого моего разумения. Метро, которое, казалось бы, должно было меня, деревенщину, изумить, пугало своею орущею подземною утробою, бездушно ползущим эскалатором, напряжённой хаотической людской толчеёю.

– Будьте предельно осторожными, – учил нас ещё дома папа относительно этих самых самодвижущихся ступенек. – В том месте, где они выпрямляются в ленту и убегают под самый пол, есть железные щёлочки с зубчиками, наподобие гребёнки. Не дай Аллах, если пальчик на ноге туда ненароком провалится или пяточка защемятся, как – вмиг отгрызёт. А то, может, и всю ногу затянет... Если у тёток шпильки у туфель срезает, что бритвой, и пикнуть не успевают, то представьте...

– Что же тогда делать? – с неподдельным испугом вопрошает Валерик. – Может быть, лучше пешком, чем вот так рисковать?



– В том-то и дело, – авторитетно научает папа, – в самом конце, где эти самые зубья сходятся, легонько их перепрыгнуть. Экая беда, – уже смеётся он.

Вот мы и подпрыгнули!.. Спускаясь на эскалаторе вниз, у самой роковой черты, не дожидаясь, пока ступеньки полностью выпрямятся, так дружно сиганули сверху вниз на пятки и икры ничего не подзревающих граждан, преодолевающих этот самый опасный рубеж традиционным способом, что они от страха аж завизжали.

– Шо це, окаянный, аки бисноватый козел сигаешь?! Выпучил свои бисовы бельмы и скачешь... Ты ещё на голову запрыгнул бы... – ярится на Валерика дородная полногрудая хохлушка, с нескрываемым гневом рассматривая разлезшийся на всю икру капроновый чулок.

– Безобразие... – негромко возмущается интеллигентнейшего вида старичок в светло-кремовом чесучовом костюме, в соломенной шляпе и с бамбуковой тросточкой в правой руке, глядя на разбежавшиеся в разные стороны мандарины. – И чему только родители воспитывают?.. Чьи эти дикие отроки? – уже воспламенятся он, потрясая в сухоньком кулачке своею палочкой.

Дабы обстановки не усугублять, наши родители сделали лица как можно задумчиво-отрешёнными, почти непроницаемыми, словно их это совершенно никак и не касается, легонько подталкивая нас в спину, круто свернули в сторону, где мы все и благополучно растворились в толпе. Самое же интересное в этой истории, но это уже со слов папы, который был большим придумщиком в области всевозможных комических розыгрышей, оказывается, и наша молодая мама, не выдержав этой страсти, грозящей усекновением нечаянно вылезшей из сандалетки любопытствующей фаланги пальчика, также слегка подпрыгнула выше положенного. Так, во всяком случае, рассказывал он сам. Конечно же шутил. Хотя... Ни Царь-колокол, ни Царь-пушка, ни само Лобное место, где, как выразился папа, только тем и занимались, как отрубали головы у разбойников, ни даже Кремль, почему-то, на меня – сельского мальчугана, не произвели должного впечатления. Колокол какой-то весь поломанный, из пушки, оказывается, так за всю жизнь ни разу и не стрельнули – не боевая. Что это за пушка, которая пороху ни разу не понюхала?.. Лобное же место... Так это и вообще не укладывалось в голове. Что это за такое Лобное место, где ещё стояла раньше каменная колода со специально пробуравленную дыркою, куда по-секретному стекала кровь в речку Неглинку? Колода, и кому это непонятно из сельских, должна быть деревянной, как чурбак за нашей банькой, иначе даже самая крепкая секира зазубрится. Проверял уж... Так папиным любимым топориком

по камню промазал, когда хотел палку перерубить, что у лезвия, заточенного, как бритва, аж кусочек отскочил. И что, скажите вы мне, за безумная охота смотреть, приходиться толпами на эти самые казни, где пусть и разбойникам не понарошку, а по-правдашнему отрубают руки, ноги и сами головы? Смотреть, как по специально сделанному жёлобу льётся ручьём кровь, а воды этой самой Неглинки окрашиваются в красный цвет... Они что, все сумасшедшие? Разве человеку нормальному, не имеет значения, в какие времена он жил, подобное зрелище не омерзительно? Кремлёвские стены с их башнями показались не такими уж грозными и высокими, как я раньше представлял, а рубиновые звёзды уж совсем не сказочными. Звёзды как звёзды... Ничего особенного, ничего волшебного. Бесконечное множество людей, поголовно спешащих, снующих туда-сюда, их, кажется, полная безучастность друг к другу, неутихающий и на минуту шелест шагов, обрывки речи, гудки клаксонов автомобилей, бряцанье трамваев, порывистые трели свистков постовых милиционеров, размахивающих полосатыми палочками в самой гуще машин на перекрёстках, отвратительнейший дух перегретого асфальта, перегар выхлопных газов, неуничтожимый привкус канализационного сернистого водорода, так присущий всем большим городам, к запаху которого люди привыкают и уже совсем никак не замечают, – всё это породило во мне самые негативные впечатления относительно Москвы, которая, как пелось в песне, есть самая любимая и самая красивая в мире и с которой мне пришлось впервые познакомиться в 1958 году, когда я был совсем ещё маленьким, совсем ещё деревенским, совсем ещё чист душою. По своему простодушию, особому деревенскому воспитанию сначала я попытался было со всеми встречными здороваться и даже слегка раскланиваться, как это было принято в нашем селе Курьи, что являлось совершенно естественным и обыденным. Ну как, извините, не поздороваться, пусть и совсем с незнакомым человеком, идущим тебе навстречу, не справиться о его здоровье, не раскланяться на прощанье? Здесь же... Большинство просто моих приветствий никак и не замечали. Были, правда, но очень редко, кто при моём – «здрасьте вам» – приостанавливался на самую крохотулечку, недоумённо пожимал плечами, мельком взглянув в лицо и никак не ответив, моментально растворялся в толпе себе подобных, вечно куда-то спешащих, вечно чем-то обеспокоенных.

«Как могло случиться так, – думалось мне, – что такое огромное количество невоспитанных людей собрались в одном месте? И зачем они все здесь, если даже друг с другом не то что не разговаривают, а и не здороваются?»

Понять всего этого, исходя из своей деревенской рассудительности, было выше моего разумения. И как такое понять, когда мама с папой спрашивают одного мужчину весьма интеллигентной внешности, при галстукe и даже в очках:

– Скажите, пожалуйста, товарищ, вы москвич? Тогда подскажите, как нам добраться до зоопарка? Вот детишек хотели...

Не дожидаясь, товарищ энергично рубит направо, дополняет скороговоркой:

– За перекрёстком налево и по улице до самого конца. Там...

Как оказалось, показал совершенно в другую сторону, противоположную этому самому объекту. И этот случай далеко не единичный. Таксисты, с лёту определив, что мы за клиенты, везли такими околичными путями, что расстояние от пункта «А» в пункт «Б», вопреки всякой арифметической логике, каким-то образом увеличивалось в разы. А как же... Москва – это вам не какие-то там уральские Курьи, Боровки или даже Сухой Лог с Нижним Тагилом. Москва – это о-го-го! Не зевай, брат, столица!

Московский зоопарк, куда мы всё же благополучно добрались, также произвёл на меня впечатление не из самых лучших. А если признаться, так и вообще тягостное. Запомнилось на всю жизнь, как чёрная пантера, совсем ещё дикая, не свыкшаяся с неволей, отчаянно бросалась головой на толстые железные прутья клетки, за которыми толпились люди, шипела и металась из угла в угол, пытаясь найти выход из своего заточения. Из рассечённых ран, полученных при ударах головою и мордою о прутья, сочилась кровь. Но самое ужасное даже было не это. Многим из уважаемых посетителей это зрелище доставляло явное удовольствие. Некоторые из взрослых, дабы разозлить затравленное животное ещё более, начинали её дразнить, выкраивать всевозможные рожи, рычать и скалить зубы, подобно невоспитанным обезьянам, швыряться разной мелкой дрянью, как огрызками яблок, конфетными обёртками, туго скатанными в шарик. На вежливые, но не очень настойчивые замечания зрителей, что этого делать никак нельзя и что зверь вот только что из дикой природы, совершенно не реагировали, а если иные и отходили в сторону, то лишь для того, чтобы дать насладиться другим. Пижонистый хлыщ – длинный и прыщавый, в чесучовых абрикосового цвета клешах – мятых и нечистых, в клетчатой ковбойке и кепке с эмблемой Всемирного фестиваля молодёжи 1957 года в Москве, затянувшись папироской, зыркнув по сторонам, резким щелчком пальца пуляет окурочку прямо в медведя, метко попадает ему в спину. От такой удачи по-боевому выкраивает рожу, ржёт конём, тыкает пальцем в сторону косолапого своему дружку, такому же прыщавому, который от вида дымящегося

окурка, прилипшего к шерсти бедного животного, хватается за живот, начинает умирать от смеха.

«Будь моя воля, – уже тогда думалось мне, – я бы все эти зоопарки категорично и навсегда запретил, животных же выпустил бы на волю, туда, где они раньше жили, радовались солнышку, гуляли по свежей травке. Желających посмотреть зверей посадил бы в толстые железные клетки и за их же деньги возил бы по этой самой «воле», имя которой Природа, столько, сколько им угодно. На вырученные от таких экскурсий денежки покупал бы для зверей пирожные, мороженое, конфеты и печенье». Образно представив себе, как бабуины, макаки и всякие гамадрилы, неистово прыгая, визжа и скаля зубы, забрасывают любителей посмотреть на них перезрелыми бананами и ананасами, протухшими от жары яйцами казуаров, про которых так интересно рассказывал нам папа, а тигры, пантеры, львы пытаются когтястыми лапами некоторых граждан выковырять из клеток, не удержался и весело рассмеялся в голос.

– Ты это чего? – озадаченно смотрит на меня папа. – Медведь, что ли, так развеселил?

Эх... Знал бы мой родитель, о чём мои мысли – мысли первоклассника курьинской средней школы, навязанные одним из лучших зоопарков страны. И что я думаю в связи с этим о многих из взрослых – таких многоуважаемых и значимых, многоречивых в своих учительствах, бесконечно мудрых в своих познаниях относительно всего и вся. Посещение московского зоопарка в июле 1958 года ещё более утвердило меня в том, что у огромного числа взрослых не только с головой, но и с душой в области её совестливости далеко не всё в порядке. И хоть ныне на дворе 2014 год, а с той далёкой поры прошло аж 56 лет, суждений своих в связи с этим, увы, не изменил. Н-нда... И с сожалением, и с лёгкой светлой грустью констатирую сам о себе: так и не повзрослел... Так и не стал в полной мере взрослым... Мальчик без времени... И ведь действительно был прав один из самых наинтеллектуальнейших представителей нечистой силы – домовый Иоаким Мудрейший, скоторым в период своего младенчества, да и не только, мне посчастливилось, пусть и вскользь, знаваться. Не он ли, совершенно мистическим образом проявившись из пустоты, под потрескивание берёзовых полешек, яркие всполохи пламени их, в ароматическом дыму курений благовонной смолы непринуждённо и как бы про между прочим научал меня в липовой баньке:

– Слушай, Боборика, и запоминай. Человек от рождения приходит в сей мир таким, какой он есть. Дурные склонности его, различного рода низменные побуждения в нём – неистребимы. Никакая добрая педагогика не научит, не вразумит насильника в душе его не совершать

насилий, лентяя, лодыря – трудиться с радостью и от чистого сердца, лжеца – говорить правду и только правду, лицемера – простодушию. Одному только страху, по имени Закон, под силу это. Убери этот самый страх – и, казалось бы, в самом благообразном царстве-государстве тут же наступит такое... Только не надо всё сваливать на врождённые звериные инстинкты... Хоть Павлов и был оным, но считал себя дарвинистом. Усёк?.. Звери – народец простодушный и совсем не злобный. А потому нечего примешивать их к своей лютости и хамству, к жадности непомерной. Методами принуждений бесовестному человеку можно стать совестливым? А... Как ты думаешь? Что ты скажешь мне на это, друг ты мой любезный? – вопрошает ко мне Иоаким, морщится лобиком, по-смешному скребёт лапкой за ухом. Простуженно шмыгнув носом, пристально выставляется на красновато-жёлтые языки пламени, лижущие берёзовые полешки, не замечая меня, продолжает свои нравоучения уже с ними: – Вот вы мне скажите... Можно ли истинно полюбить Бога из одного только страха к Нему?.. Возьмите их веру, о которой они так любят распространяться и вширь и вглубь, находя в исполнении её законодательств себе спасение. Творящий доброе, в душе своей бесконечно уповающий, что и ему также воздастся добрым, не из тех ли, что от добра ищут добра?.. Не понуждаемы ли они тем же страхом. Не в постоянной ли тревоге о личном спасении?.. Истинно творящий благое совсем не замечает за собой своей благодати; он просто по-другому не может, не умеет по-другому.

– Ведаю, ведаю, что абсолютное большинство, – снова обращается он ко мне, подмигивая глазом, – те, кто в будущем прочтет твои, замечу – от меня, пересказы, которые ты к тому же премного перевернёшь и перемудрствуешь, как это у тебя завсегда случается от твоего высокомерия, уж наверняка занегодуют и возмутятся, подобно огненной лаве, покрутят пальчиком у виска. Заметь, и это очень важно, покрутят не у меня – нечистого домового, в бытность которого они и не верят, и даже не у тебя – придумщика-фантазёра, а лично у себя; уразумел разницу... Скажут примерно так: «Эк, куда его распоясало. Слыханное ли дело, чтобы малец – от горшка два вершка, мог понимать сеи мудрёные речи, которые и нам-то, многознающим, кажутся до невероятности чудными и философичными. Мало ему... Выдумал какого-то Иоакима – из племени домовых, которых отродясь из нас никто и не видел, и духом не чуял... Разве не понятно, что сбрежал... Нету таких на свете... Пытается ещё и поиздеваться над нами, представляя этого самого нечистого и умнее, и порядочнее всех нас. А заодно... А заодно и себя оригинально выкачать: вот, дескать, какой умный-разумный, аж самых молочных зубов



и зелёных соплей». Так и скажут, Боборика, – ржёт жеребцом Иоаким, – тебе же не найти слов объяснить им, что мы разговариваем на языке молчания в мирах Великих Сверхений и Грёз, где нет ни настоящего, ни прошлого, ни будущего, ибо это Одно. Как ты им это объяснишь? Друг ты мой любезный... А потому – мой совет тебе, – и не пытайся уразумевать даже. Пиши, как в башку влезло. А тем, кто начнёт совестить тебя по-всякому, а тем паче ещё и стращать, я самолично тёмной ноченькой предстану в виде двух ослабившихся флюорестирующих харь – не отпетого, а потому – неуспокоенного матроса Железняка, вернее, его начальника... Как имя-то ему? – задумчиво морщится Иоаким. – Вот же пропасть... Имя-то и запомятовал... Дебальцев, что ли? – чешет задумчиво затылок. – Да чтоб ты лопнул, зараза, – уже сердится он на себя.

Какбы в подтверждение его слов берёзовая чурочка в печурке, объятая языками жаркого пламени, вспыхивает ещё ярче, с сухим треском разваливается на несколько головёшек.

– Во! – с удовлетворением замечает домовой. – Подействовало-таки. Так вот, – продолжает он, – предстану в виде фосфорицирующей хари этого Дебальцева и одновременно его названной жинки – любвеобильной мадам Колонтай – потаскухи, каких ещё не сыскать...

3

Из детских воспоминаний того периода, а это был июль 1958 года, конечно, многое из памяти и выветрилось. Село Курьи, станция Кунара, обыкновенный не спальный вагон с жёсткими деревянными лаковыми скамьями, высокими спинками, схожими с диванами, паровоз с громадной чёрною трубой, сопящий, выпускающий клубы пара, чумазый машинист в рубашке-косоворотке, просаленных негнущихся штанах, кожаной фуражке, горящие закатной медью рельсы, креолином пропахшие шпалы. В душе тревога. Расстояние в сто километров – столько до Свердловска, поезд преодолевает всего лишь за ночь. Тогда это мне казалось, что очень даже быстро. Шутка ли... Ведь сто километров... В Свердловске, пересев на другой поезд, поехали в Москву. Прибыв в столицу, поняли, что наш поезд по южному направлению Москва – Орджоникидзе – Тбилиси отправляется только на другой день, и даже не утром, а где-то в 12.30 дня с Курского вокзала. Куда девать такую уйму времени, а главное, целую ночь?.. Мест в гостинице – и не думай... Съезд колхозников-оленоводо, делегация из братской Монголии, приезд Красноярского и Иркутского сводных хоров, свиноводы Рязани... Вокзал, как помнится, до единого закуточка переполнен гражданами и гражданками с их

чадами, жаждущими наконец-то хоть куда, но уехать. Солдаты и матросы, разгуливающие по перронам маленькими стайками и поодиночке, и все с папиросами в зубах, какие-то brave люди в гражданском, но строем, пионеры с трубами и барабанами, оружие во всё горло от нервов их пионервожатые, цыгане, колхозники и колхозницы с мешками, заблудившийся пудель с глазами, полными отчаянья, рокошущие на своём языке вокзальные репродукторы – Вавилонское столпотворение. Для нашей дружной семьи в пять человек не то что в ближайших гостиницах, но и в залах вокзала места не нашлось. Оставался кусочек привокзальной улицы с её узенькими, выкрашенными в изумруд скамеечками, чугунными столбиками с гранеными фонарями, старинными раскидистыми липами, такими тенистыми и покойными в знойный день, что под их сенями так и хочется уединиться, лечь на лавочке и забыться сладким сном. Проблема с ночлегом – нас, детей, родителями была решена радикально и по-спартански. Дождей не намечается, чем, скажите вы, прогретый асфальт хуже деревянного вокзального дивана – узенького, неудобного и жёсткого? К тому же... Свежий воздух, покой, относительно тихо. В здании вокзала от одних воплей репродукторов можно с ума сойти. А людская толчея, болезнетворные вирусы-микробы, всякие жулики... Смеркалось. Вдоль всей узенькой аллейки, заметно обезлюдевшей, зажглись жёлтым светом фонарики, на противоположной стороне бульвара послышались звоны трамвайчика. Выскочив на прямую, он прибавил в скорости и тут же растаял в сумерках. Из разобранных картонных коробок возле самой скамеечки, прямо на асфальте, родители устроили для нас подобие ложа. Где они добыли дряхлое, на чём бог держится, байковое одеяло, я не знаю; скорее всего, Христа ради, выпросили у кого-то из жильцов близлежащего дома. Уложив нас троих в рядочек, прикрыли ветхою тряпицею, на том и успокоились. Сами сели на скамеечке, приготовились к коротанию долгой ночи. Со стороны вокзала доносились гудки паровозов, железные лязги сцепляемых вагонов, неразборчивые бормотания диспетчеров, вещающих через громкую связь репродукторов нечто, чего совершенно понять невозможно. Уложенные на тротуар горизонтально, мы не спим, наблюдаем за движением ног прохожих, снующих туда-сюда, за действиями бездомных кошек и особенно – собак, которых почему-то при обнаружении нас на асфальте раздирало любопытство рассмотреть нас поближе, понюхать, а то и вообще пометить как ценнейшую находку.

– Мама! – волнуется Валерик. – Меня, кажется, собака обсикала...

Не знаю и почему, но меня начинает раздражать жуткий смех, уткнувшись в рифлёную картонку, принимаюсь беззвучно трястись, но долго не выдерживаю, раздражаюсь неестественно визгливым смехом. Эта

же собака, и это я уж знаю точно, обписала и меня; подняла ножку и брызнула на самую голову. Молодые же наши родители, замечтавшиеся видом полной луны, выглянувшей в просвете ветвей могучей липы, этого и не заметили.

– Какие собаки?! – делает нам папа замечание. – Спите, и чтобы я вас не слышал.

Наблюдение за пешеходами с такого неожиданного ракурса, как лёжа на асфальте, оказалось делом весьма даже забавным. Некоторые ноги, по мере приближения к нам, замедляли свой ход, иногда и вовсе останавливались. И тогда откуда-то свысока, как с небес, слышалось: «Бедные деточки, видать, цыгане...». Или: «И куда только милиция смотрит?! Как можно совсем ещё маленьких уложить на грязный тротуар?».

«Странно, – думается мне, – а вот если бы мы были не маленькими, а совсем большими и вот так спали прямо на асфальте, то это не вызвало бы никакого удивления, а тем паче – порицания?»

Были и такие ноги, как женские – на тонюсеньких каблучках, так и мужские – в дорогих кожаных штиблетах – лакированных с блестящими никелевыми пряжками, что, наоборот, по мере приближения к нам начинали ускоряться и даже слегка спотыкаться на ровном месте. Некоторые так резво пронеслись мимо – каблучки так бойко выбивали нечто подобное чечётке, а модные мужские клешши – а-ля матрос, так отчётливо трещали по ветру, что, казалось, будто за ними кто гонится.

«Неужели это мы их так напугали? – думается мне. – Шли, шли размеренно, а как увидели, так и разогнались...»

При всей доверительности к родителям чувствовалось, что в нашем, не совсем естественном положении было нечто двойственное, унижающее достоинство человека, оскорбительное, грязное и липкое. А когда возле самого моего носа упала кем-то случайно обронённая рублик, а затем и целый трояк, я, плотно зажмурив глаза, проглатывая комок горечи, застрявший в горле, горько и беззвучно заплакал. А потом... А потом подошёл какой-то шатающийся дядька – запущенный пьянчуга, который принялся клясться нашим родителям, что всё устроит наиболее благороднейшим образом, потому как понимает и самому так приходилось не раз и не два, и что сразу же вот за этим углом, где бакалея, у него шикарная многокомнатная квартира, где места всем хватит, где он проживает совершенно один-одинёшенек, и что это его совершенно никак не обременит, так как редко ошибается в людях, а особенно порядочных. Проблема заключалась лишь в самой малости.

– Понимаешь, – хрипит он испытанным голосом, обращаясь к отцу, – така петрушка приключилась. Братан долён был приехать. Он у меня полковник... Почитай, большой начальник. А мне срочно... Совпало

так... А ключ от хаты – один. Вот я и оставил его в спешке Зинке, что с третьего этажу, у которой до этого вынужденно тридцатник стрельнул до понедельника – дружбана встретил. Вместе в армии... Как без того можно... А сам по чистой случайности... Ну ни копейки... Понимаешь?.. А сёдня, почитай, уже четверг. Или уже пятница? Если не веришь, пошли до Зинки вместе. А хошь, так я и сам быстро сбегая, верну тридцатник, заберу свой ключик – и, считай, вы у меня всем семейством дома, на бархатных диванах.

– Ну а я-то при чём? – простодушно отвечает отец.

– Как при чём? – по-показному изумляется пьянчуга. – Я же тебе по-благородному признался, что без тридцатника Зинка ключ от хаты ни в жисть не отдаст. А вся моя наличность осталась дома; в шифоньерке, на полочке под простыночкой. Аж цела тыща... Для тебя же стараюсь, а ты меня никак не хочешь понять по-благородному.

Выклянчив у отца на чекушку, угостившись его папиросой, покачиваясь и шаркая ногами, мужичок интеллигентного вида, но с совершенно испитым лицом удаляется в сторону вокзала.

– Вот же проходимец, – кивает ему вслед отец, косясь на мамину дамскую сумочку, в которой все наши деньги, – уж знаю я этот народ. Все как на одно лицо... Что в Свердловске, что в Челябинске, что в Москве.

А потом... А потом было утро, и был день, наполненный суетной тревогой.

– А вдруг, – с ужасом думалось мне, – паровоз, не дожидаясь нас, прицепит все вагоны и уедет на Кавказ раньше времени. Ведь тот – бакинский, на котором мы должны были укатить ещё вчера, не стал нас дожидаться, взял да и уехал. Потому что опоздали. Хотя, как потом выяснилось, совсем не опоздали, оставалось ещё целых два часа. Папа позабыл свои часы перевести со свердловского времени на московское. А ещё потому, что репродуктор своим противным неразборчивым голосом наврал. Перспектива остаться в Москве, даже на самое короткое время, пугала. Здесь раздражало меня всё. И эта бесконечная беготня несметных толпищ народа, и сами люди – совсем недоброжелательные, этот нескрываемый столичный снобизм, и сам город – чужой и казённый. И даже мороженое, которым нас побаловали родители, не казалось таким вкусным, как в Свердловске или Сухом Логу.

Глядя на мой понурый вид, кислую физиономию, папа подмигивал маме, как бы про между прочим спрашивал:

– Мика! – так он иногда ласково называл её. – А не остаться ли нам жить в этом прекрасном гостеприимном городе?.. Боборика, а ты что скажешь нам по этому поводу; согласен?

Я категорично, подобно молодому коню, мотаю головой, предлагаю немедленно же и побыстрее вернуться на железнодорожный вокзал, заранее занять места в вагоне, пока это не сделали другие, и ждать, пока поезд не тронется на Кавказ. Папа почему-то начинал смеяться. Последним из моих несчастий, переполнившим всякую чашу терпения, стало то, что я, поскользнувшись на мраморном парапете, на который запрыгнул из любопытства, плашмя и с головой упал в какой-то протухший фонтан с зеленоватой жижей, пахнувший сероводородными эссенциями, чем вызвал просто сумасшедший гомерический хохот московской дворовой шпаны, гоняющей вокруг этого дохлого фонтана резиновый мяч. Хотя, по правде говоря, именно они-то и стали истинной причиной моего позорного купания в этом дерьме. Я же... просто промахнулся по мячу, летящему, кажется, прямо на мою голову. Вот и подпрыгнул. И самое последнее из моих детских воспоминаний о Москве 1958 года, так это то, как я чуть не помер от страха, когда нечаянно заблудился на ВДНХ. Зашёл за какой-то, произрастающий прямо из земли рекламный щит, восхваляющий самое лучшее в мире Советское шампанское, на котором была изображена преогромная бутылка, а рядом – до пенистых краёв наполненная этим шампанским хрустальная рюмка, а может, и бокал, какая в том для меня разница... Обошёл его вокруг, и не трижды даже, как в сказке, а просто обошёл, глядь... Всё как бы переметнулось, с боку да наискосок – ни мамы, ни папы, ни сестрички Танюши, ни братика Валерика, как сквозь землю провалились. От эдакой страсти, как помнится, моментально покрылся холодным потом. Блея по-козлиному, рванул по какому-то коротенькому бульварчику, уютно пролегающему между двух параллельных аллеек, присыпанных обильно песочком, с тонюсенькими берёзками в рядочек и зелёными, стриженными под ёжик газончиками, затем обратно. Заметив в толпе, как показалось, папину летнюю шляпу светло-кремового цвета, метнулся в сторону газетных киосков, но, увы... Потом ещё куда-то и ещё... Пока не заплутал вовсе.

– Господи! Это что же теперь со мной будет-то? – словно молнией пронзило с макушки до самых пят. – Пропал... Совсем пропал.

Внутренний голос заорал благим матом:

– Идиот! Какого лешего ты носишься как угорелый по двум аллеям, да ещё параллельным друг к другу? Наикратчайший путь по диагонали! Забыл, что ли?

Прямо по газонам, по цветочным клумбам помчался напрямик. И папа, и мама, и братик с сестрёнкой как ни в чём не бывало стояли у жёлтой квасной бочки в совсем коротенькой очереди. Моё столь неожиданное

появление их нисколючко не удивило; казалось, что они и вообще не заметили моего отсутствия. А ведь буквально минуту назад я был совершенно заблудившимся человеком, мог быть украденным цыганами и стать настоящим цыганом.

– Пей, Боборика, – с радостью говорит папа, – московский квас. Он хоть и проигрывает по ядрёности нашему уральскому, зато сладкий.

«Как же они на таком сладком, как лимонад, квасе окрошку делают?» – подумалось мне.

– Мама! А окрошки бывают сладкими?

Глава 16. БЛАГОРОДНОЕ ЖИВОТНОЕ ИШАК, ОН ЖЕ ОСЁЛ

1

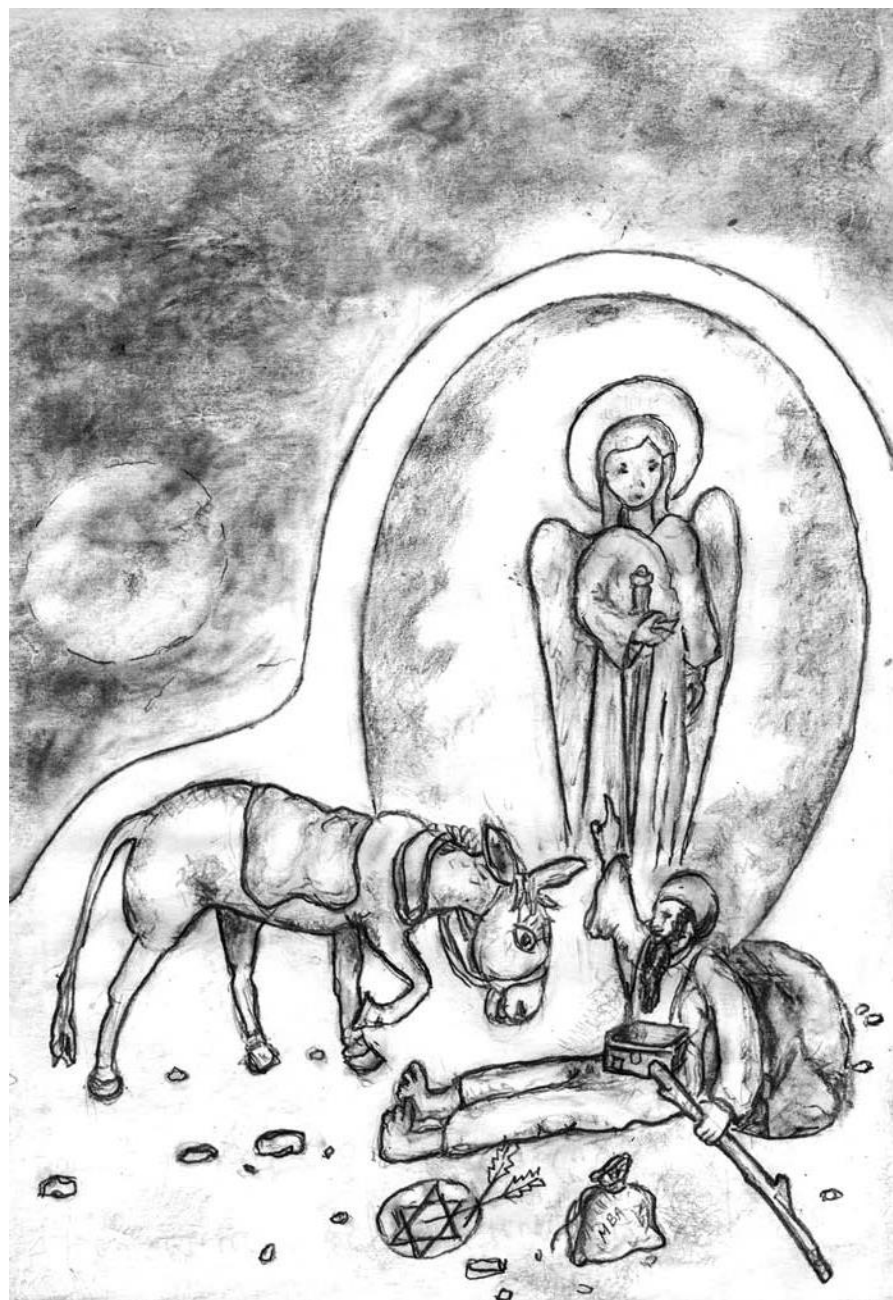
Первого живого ишака, а хотите – осла, я увидел из окна плацкартного вагона поезда, мчащегося что есть духу по широким просторам украинской степи. Восторженно тыкая пальчиком в стекло, заорал как оглашенный:

– Осёл! Осёл! Осёл! – чем нимало переполошил весь вагон.

Мой восторженный вопль подхватили брат с сестрёнкою, которые, как и я, также впервые и воочию увидели это прекраснейшее и благороднейшее животное.

– Ишак...и благородное животное? – наверняка усмехнутся многие из вас. – Где это видано...

Да! Да! Да! И ещё раз – да! Вы нисколько не ослышались, а я, и на самую малость, ничего не понаперепутал, назвав осла, а хотите – ишака, столь возвышенно. Осёл, на мой взгляд, много лучше коня, а ослица – кобылы, и на то, поверьте мне, у меня есть веские основания. Чуждый всякого пафоса, смиреннейшее из парнокопытных, трудяга, каких в целом свете не сыщешь, разве он не достоин всяких похвал, не явлен ли нам самим Господом к положительному подражательству во всём? Отбросим же всякие логизмы и противоположные им – силлогизмы, посмотрим правде в глаза, послушаем сказку, воскресшую чудным образом в голове моей, вынесенную, скорее всего, из прошлых предсуществований благодаря незабвенной встрече с этим добрейшим существом, имя которому – осёл.



2. Сказка № 2

Во времена, ох и давненько это было, еще когда сыны Израиля во всех своих двенадцати коленах странствовали из египетского плена в земли обетованные, ведомые самим Господом Богом: ночью – столпом света, днём – пыльным вихрем, кружащимся по степи в виде волчка. Жил-был в пустошах Моавитских, что на востоке от Мёртвого моря по обе стороны реки Арнонь, некий пророк по имени Валаам. Уже само имя его, обозначающее как – не принадлежащий к народу моему, то есть, читай, как не принадлежащий к сынам Израиля, говорило само за себя. Отпетый язычник, всем волхвам волхв, пропащий человек. Коли кого проклянет, так уж проклянет, предскажет, так предскажет – всё, как есть, с точностью до последней тютельки сбудется. Как и положено пророку, ездил Валаам исключительно на ослицах, то есть на тех же ослах, но только женского естества. Они – эти ослицы, и ногами резвее, и голосом своим более благозвучнее относительно своих противоположностей – Бог так создал. Казалось бы... Почему не на коне каком – длинноногом и ретивом... С высоты его и видно подальше, да и сам он – конь этот, гораздо предпочтительней к быстрой езде и видом... Уж точно гораздо солиднее длинноухого. Нет... Подайвай пророчествующим ишака, за редким исключением верблюдицу. Не доверяют себя – Богом отмеченные ни одному из животных. Не то что страусу, зебре, антилопе Гну или ламе какой, самому слону не доверяют. Прибегает как-то к Валааму царь Маавицкий Валак, растрёпанный весь, какой-то потерянный, пылью покрытый с ног до головы, корона наперекосяк, милостиво просит:

– Прокляни, Валаамушка, полчища Израилевы, что вероломно вторглись в мои заповедные земли. Не все ли мы есть сыны Лота от его старшей дочери?.. Не случилось бы быть голоду... Попробуй-ка прокормить этакую пропасть народа пришлого, опоясанных мечами. Хоть и говорят про себя, что питаются исключительно манной небесной, перепелами да акридами – Господь даёт, – как бы чего не вышло худого. Сам ведь знаешь... За наградой не постою, как-никак, а царь...

Хоть и слыл Валаам величайшим из провидцев и предсказателем, предложение царя показалось ему весьма заманчивым, да и что там говорить – солидным; не каждый день цари за помощью обращаются. Тут же, нимало не мятуясь, предложение и принял. А мог бы на секундочку и заглянуть в будущее перед тем, как согласиться, как-никак, а профессионал. Вот до чего алчность доводит даже пророков. Была у него ослица по имени Махалава, что переводится с забытого уже языка как – певунья. Кто её так назвал – история умалчивает. Ведь сейчас, поди, каждому известно, что крики осла, а тем паче ослицы, вряд ли можно

признать звуками музыкальными, певческими. Возможно, это и так, когда речь идёт о простых и смертных ослах и ослицах, которых и сейчас-то пруд пруди по просторам Палестины и Аравии. Те же, на чьи хребты возложен столь ответственный груз – возить пророков – речителей богов, наверняка, как и их хозяева, также отмечены возвышенными дарами – необыкновенными и чудными, но... Скрытыми до поры до времени от дурного глаза. Недолго мешкая, сел Валаам на свою Махалаву, приспособил пророческий посох между её ушей и двинулся в путь-орогу от реки Евфрат, что берёт начало в землях египетских, к равнинам Моавы при Иордане, где неприступный град Иерихон, горделиво благоухающий, весьма многолюдный, поклоняющийся могущественному Ваалу и Молоху. Едет, не замечая ни жары ни холода, вспоминает в уме страшные заклęcia, дабы все разом обрушить их на голову Израиля, вознамерившегося вторгнуться на земли дружественных ему царств. Вдруг... Ослица возьми да остановись. Стоит как вкопанная, вылупила свои прекрасные глаза, устала их в пустоту и... Ни шагу...

– Ты это чего – скотина?.. – недовольно буркнул Валаам, очнувшись от блаженных дремот, ведомых ну разве что только одним пророкам.

Слегка прищипав под пузо крепкими, что панцирь, пятками, попытался облагородить замечтавшееся животное, вежливо дал ей понять, кого она везёт и что не время посреди дороги предаваться девичьим мечтаньям. Но не тут-то было. Махалава и ухом не повела, и прекраснейшими своими ресницами не дрогнула.

– Ах ты, глупая и упрямая тварь! – взревел разъярённый пророк, нанося удары своим посохом направо и налево так, что от её шкуры пыль столбом пошла.

Откуда было ему знать – популярному провидцу, что она остановилась не сама по себе, не по задумчивости своей, так присущей ослиному роду в силу их возвышенного ума, а увидела воочию Ангела Господня, стоящего посреди дороги с обнажённым обоюдоострым мечом. Заметьте... И это очень важно... Не Валааму явился посланник самого Господа, а кроткой ослице. Разве подобный замечательный факт ни о чём нам не говорит?.. Видно, поняв, что пророка в гневе не остановить, ведь этаким сучковатой палкой может и душу выбить, Ангел сжалился, почесал невидимой для Валаама дланью ослицу за ухом и...

– А чего это я стою? – с недоумением подумала Махалава после очередного крепкого удара посохом, словно Ангела и вовсе не было, – чего это я вздумала размечтаться посреди дороги?

Не найдя в своей ослиной голове ответа, шустро затрусилась по каменистой тропинке в сторону тучно произрастающего виноградника,

разгороженного на две равные части каменной стеною с встроенным в ней жимом из прочнейшего кедрового дерева. Достигнув заветной тени, ослица не то что остановилась, а и вообще, как корова, разлеглась на дороге. Валаам, обойдя вокруг животного трижды, не найдя никаких видимых препятствий, усмотрел в её действиях вопиющие признаки симуляции, принялся лупить своим посохом ослицу по чему попало и пуше прежнего приговаривая:

– Я тебя научу, скотина, уважать пророков, ты у меня – тварь бессловесная, не только по-ишачьи орать, а и человеческим голосом заговоришь.

И отверг Бог уста ослицы, и молвила она Валааму человеческим голосом:

– Что я тебе сделала худого, что ты нещадно бьёшь меня своею палкою, хулишь самыми последними словами, недостойными и золотаря.

Неожиданное и чудное обретение разумного дара речи, да не кем-нибудь, скажем, попугаем или вороном, что весьма дозволительно, а ослицею, несколько пророка не удивило. Кажется, что сего потрясающего факта он и вообще не заметил.

– И ты ещё смеешь спрашивать меня – зачем? – грозно стал наступать он, размахивая своим посохом, со свистом рассекая им воздух над самою её головою. – Поругалась надо мною самым поганейшим образом; честное слово пророка, будь у меня при себе меч, то и вообще бы зарезал.

– Э!.. Э!.. – услышал он у себя за спиной грубоватый голос.

Обернувшись назад, Валаам увидел Ангела с пламенеющим мечом, который, не скрывая на своём сияющем челе досады, дырявил кончиком своего орудия увесистый дорожный булыжник.

– Зачем обижаешь бессловесную животинушку? – с укором спрашивает его незнакомец.

– Как же бессловесную?.. Когда она такая говорливая и у себя на уме, – с неподдельным удивлением отвечает ему Валаам, слегка сдрейфив, заметив краем глаза, что булыжник от действия жара растёкся лужицей. – Не только словесному говору обучена, а и весьма замечательно петь умеет на разные голоса, – уже лебезит он. – Спой, Махалавушка, нам что-нибудь из своего, – ласково просит её.

Польщённая высоким вниманием таких значимых духовных лиц, ослица громко и навзрыд принимается петь то, чему научена с времён сотворения, – кричать, как умеют это делать ишаки и их подруги ишачки.

– Вот видишь... – назидательно говорит Ангел, – что невозможно человекам – Богу возможно. Прекрати напускать порчу на народ избранный, народ Израилев. А если и скривишь уста, всё одно, вместо проклятий – благословлять будешь – пророчествовать возвышенно и правдиво. Не всемогущий ли Создатель всякой твари, сотворивший

человека и скот, властен отнять дар слова у первого и дать оный последнему, как и в начале творения, когда дал слово человеку, но лишив животных? Не всё ли во власти Его? И видим, и слышим, и чувствуем то, что Им дозволено, и в меру каждому. Но... горделив человек... Не потому ли презретен в глазах его осёл, что избран самим Всевышним? Не через речение ли древнего пророка донесено: «Скажи дочери Сионовой: Се Царь твой грядёт к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом ослёнке, сыне подъярёмной. А Ты?... На кого ты руку, богохулец этакий, поднял? А ещё прорицателем себя возомнил. Ну, ладно бы на коня, что только зубы и скалит, скачет да ржёт, забыв всякие приличия, на вола, денно и ночью жующего, да лопоухого слона и даже на верблюда – психопата, харкающего в лицо зелёными соплями, способного пнуть и передним копытом... Ты саму ослицу душой стоигоговой обозвал, своим посохом – палкою самшитовой, чуть душу вон не вышиб. Стыдно мне за тебя, Валаамушка... Не обессудь, служба у меня такая, всё, как есть, Господу Богу донесу. Вынужден, потому как Он и без меня всё знает.

Высказав всё это, Ангел тут же и потух.

Почесал Валаам затылок, спрашивает свою Махалаву, что как ни в чём не бывало принялась обглаживать молодые побегивинограда:

– А что это было?

Посмотрела на него ослица затуманенным взглядом, ни слова не проронила, только ушами запряла.

– Э-э-э-э-эх, – зевнул пророк, – и причудится же.

И хоть беседовал с самим посланником Небес минуту как назад, всё, как есть, из башки выветрилось. Взгромоздился тучно на кроткую, бессловесную ослицу Махалаву, поехал исполнять своё, полное противоположное к ранее назидаемому ему Ангелом, к прославлению силы истинного Бога. А потому... Ищите мудрость в том, в чём все видят глупость, свет там, где для большинства – мрак, истину – где обитает её недоказуемость. Да здравствует ослиное племя! Как без них всех понять – умны мы или неумны, благородны или неблагородны, счастливы или несчастливы. Аминь.

Глава 17. УЛИЦА НА ЧУГУННЫХ КОЛЁСАХ

1

*Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек, –*

бодро несётся из вагонного репродуктора поезда, мчащегося во все свои лопатки шатунов по бесконечным чугунным рельсам, блестящим от накатов многопудовых колёс, кованных серебром. Паровоз – весь чёрный и огнедышащий, с высоко поднятой фасонной трубой, из которой, как из вулкана, извергаются клубы густого дыма, а ночью, как я заметил, ещё и россыпи красных искр, с колёсными рычагами, выкрашенными в густо-красный цвет, и выпуклою алою звездой на своей груди, представлялся мне неким фантастическим демоническим существом, вышедшим, кажется, из самой адовой преисподней. Бесконечно сопящий и утробно булькающий, извергающий клубы пара, свистящий соловьём-разбойником, да так, что и душа уходит в пятки, во всём своём обличи был для меня существом просто непостижимым.

– Папа! – спрашиваю я отца, указывая пальчиком на громадный паровоз, медленно остановившийся прямо против нашего вагона на рядом расположенных путях, – а что будет, если два вот таких паровоза разогнать быстро-быстро друг против друга и что есть силы стукнуть лбами, поломаются?

Отец отрывается от газеты, рассеянным взглядом окидывает железное чудище, из трубы которого валит густой чёрный дым, скребёт пальцами выше виска.

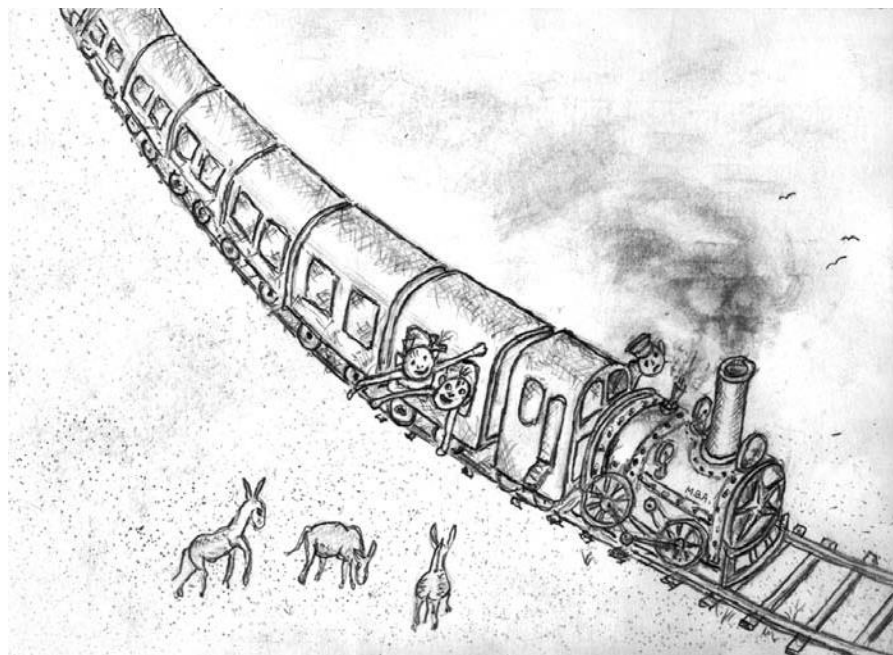
– Думаю, – отвечает обыденным голосом, – разлетятся вдребезги или сплющатся в лепёшку. Ты знаешь, – замечает мне, – сколько каждая такая машина весит?

Сколько весит паровоз, я пока не знаю, но всё равно в душу прокрадывается робость.

– Папа! – не успокаиваюсь я, – а что, если паровоз, который едет нам навстречу, как-нибудь промажет рельсами – их ведь вон сколько – и запрыгнет на наши?.. Мы что, тоже все превратимся в лепёшку или разлетимся вдребезги, как те хрустальные рюмочки, которые нечаянно уронились?

– Типун тебе на язык, – врезается в разговор мама, озабоченно озирая сопящее и угрюмое железное чудище, стоящее под парами, чумазого машиниста в засаленной фуражке железнодорожника и таком же полувоенном кителе с бронзовыми пуговками. – От этих американских шпионов чего хочешь можно ожидать...

Интерес мой по данному вопросу не такой уж риторический. Проезжая по какой-то весьма холмистой местности, изрезанной, подобно ущельям, глубокими оврагами, когда казалось, что поезд вот-вот не сдюжит крутого подъёма, остановится, а затем и вовсе покатится вниз с высоты чуть



не птичьего полёта, увидел валяющийся на боку паровоз, несколько перевёрнутых вверх колёсами вагонов, поваленные сосны, громадной чёрной бороздою изрезанную землю. Ни одного живого существа возле этого страшного места не наблюдалось. Со стороны лесистой лощины сизым покрывалом надвигался густой туман, а прямо на месте катастрофы витали кругами какие-то большие чёрные птицы.

«Бедняга, – подумалось мне, – не рассчитал, видать, силы, поскользнулся на самом подъёме, вот и скувыркнулся вниз. А если бы подсыпал на рельсы песочку, как делают опытные машинисты, когда в скарабкиваются на подъём, про которых рассказывал Вениамин Андреевич – Лёньки Путыкина дядька, когда он ещё служил в железнодорожных войсках, то уж точно этой беды не приключилось бы».

Судя по тому, что паровоз лежал, как целёхонький, но никак не сплющенный в железную лепёшку, похожую, как в моей пылкой голове складывалось, на громадную кучу, сделанную коровой, но очень твёрдую и крепкую, он не сталкивался – лоб в лоб, а спрыгнул с рельсов сам.

– Самоубийца, – промелькнула крамольная мысль. – Потаскай-ка по горам такие тяжести в жару и стужу.

Трудно представить необъятность просторов своей страны, безвыездно проживая не то что в деревне, но пусть даже и в столице. Говорят некоторые из былых очевидцев, что, когда пленённого Шамиля эстафетой и на перекладных везли с Кавказа в Первопрестольную, он так был поражён бескрайними просторами империи русского царя, что отказывался и верить собственным глазам. Говорил своим верным мюридам, сопровождающим его из высочайшего повеления и милости императора при оружии:

– Если это правда, что они говорят, и все эти земли, по коим мы едем уж два месяца, действительно земли белого царя, то получается... два десятка лет мы сражались с ветром?..

За окном вагона широкими наделами разворачивались засеянные поля, кружились зелёные ромашковые поляны, белёсой рябью пронеслись берёзовые рощи, нескончаемой дремучей стеною проплывали столетние сосновые боры, крутую грудь вздымались к самым небесам скалистые горы.

«Как хорошо, – с гордостью думалось мне, – что я родился в такой великой стране, самой справедливой и самой красивой стране в мире, где нет буржуев, кулаков и всяких империалистов-кровососов, где все равны и никто никого не поработает, а детей не ставят на колени в угол, бесплатно учат и лечат, когда они заболевают ангиной или свинкой, которая, когда мне было пять лет, чуть меня не задушила до смерти». Кто есть эти самые империалисты, мною понималось смутно, но то, что они есть враги мирового пролетариата, т.е. трудового элемента, уяснялось чётко и однозначно. Не зря же мама сказала, что от них – реваншистов проклятых, любой гадости можно ждать. Это они в пятьдесят пятом году подло и потихоря утопили, вместе с краснофлотцами, наш боевой крейсер – самый главный из всех кораблей Черноморского флота, мирно стоящий на рейде вблизи Севастополя. Подкрались ночью, подложили магнитные мины под днищем, где расположены торпеды, и взорвали.

«Да, – продолжаю философствовать я, уставившись в вагонное окно, – хорошо, что я родился в Советском Союзе, а не в какой-то там Америке, которую ещё называют Соединёнными Штатами, где все обижают бедных негров и издеваются над их детьми».

Живого негра вблизи мне видеть ещё не представилось, а хорошо бы... И я стал мечтать, как непременно подружусь с маленьким негрятёнком, буду ходить с ним по улицам, научу мастерить из деревянной катушки из-под ниток самодвижущийся трактор и настоящий боевой

лук, наконечники к стрелам у которого из консервной жести и запросто втыкаются в дерево или забор.

Паровоз, бешено двигая многопудовыми шатунами, грохотал железными колёсами на стыках рельс, торопливо и вперебой, словно захлёбываясь, выговаривал на переездах, взрывался демоническим хохотом на эстакадах, нёсся и нёсся вперёд, волоча за собой несметное количество груза в виде вагонов, вес которого и представить-то невозможно. Уютно уютившись у самого окошечка, широко раскрытыми глазами наблюдаю за стремительно проносящимся миром, таким бесконечно изменчивым и неповторимым, как в том калейдоскопе, который вращай хоть сто лет назад ли, вперёд ли, всё одно увидится по-разному. Украинские мазаные хатки – беленькие и почти игрушечные, в окружении вишнёвых садилов, тополей и верб с такими же прилепленными на задах крохотными огородиками, издали кажутся совсем неправдашными, словно сошедшими со сказочной картинки. Сплошь соломенные и камышовые крыши придают их облику ещё большей выразительности, ещё большего колорита. Судя по отсутствию каких-либо столбов с проводами, пролетающие хуторки, деревеньки и даже маленькие посёлочки ещё не познали одного из самых замечательнейших благ цивилизации – электричества, не ведали, что есть радио. Наверняка, что и обыкновенная крестьянская соха, с вручную откованным железным лемехом, вряд ли в такой глуши вышли из употребления.

– Посмотри, Анна, – говорит папа маме, указывая рукою в окно, за которым расстилается выжженная степь с чахлыми зелёными островочками ракил, кучками разбросанными по ней, грибочками-мазанками с выбеленными стволиками яблоневых и грушевых деревьев возле них, с травяными побурелыми крышами, – полнейшее средневековье. А рядом... А рядом железная дорога; мчатся экспрессы, грузовые поезда перевозят машины, уголь, лес, бензин, стальной прокат и всё – мимо. Укажи мне, – грустно констатирует он, – хоть на один из существующих признаков цивилизации нашего времени – середины двадцатого столетия. Единственное, наверное, разве что лучину не жгут, пользуются керосиновыми лампами, И таким местечек ещё немало множество по матушке России.

Начав своё путешествие со станции «Кунара», мы, кажется, едем уже целую вечность. В плацкартном вагоне все породнились настолько, что некоторые из мужчин, не стесняясь, ходят по вагону голыми по пояс, а то и в одних семейных трусах, дети питаются там, где их угостят, носятся из вагона в вагон через ужасающе грохочущие тамбуры, где не то что в метро на эскалаторе, а по-настоящему могло голую пятку отгрызть, попади она между двумя подвижными железьяками, соединяющими

пол, если такое сравнение уместно, одного вагона с другим в месте их стыковки. Настоящие ножницы, а паче того страшнее – гильотины. Но что может быть более мужественного, переполняющего всё естество адреналином, как подобное самостоятельное путешествие из хвоста поезда до самой его головы, до того самого места, называемого паровозом, где бдят, как на военном посту, машинист и его помощник – кочегар. Иногда, занырнув в туннель, поезд продолжал своё путешествие под землёю, внутри горы. Тогда за окном, словно в ночное время, начинали мелькать электрические фонари, в открытые верхние окна нести чёрной гарью сгораемого кокса и духом сернистых газов. Как помнится, возле единственного в вагоне туалета в любое время суток было не протолкнуться, всегда, пусть даже небольшая, но была очередь.

– Да что он там застрял?.. – волнуются люди, не находя себе места в узеньком тамбуре, страдальчески впиваясь взглядами в ненавистную дверь гальона с массивной никелевой рукоятью, находящейся в положении «закрыто», словно и впрямь сквозь эту дверь можно что-то увидеть.

– Мужчина! – взрывается толстым грудным голосом преогромная тётенька с баннным полотенцем на плече и цветастом ситцевом халате, с коробочкой зубного порошка в одной руке и зубной щёткой – в другой, – да в конце-то концов... Вы туда не один такой умный, по нужде... Цельный час...

Не выдержав, с железным лязгом принимается трясти рукоять, стучать в дверь коленом.

Я хитрил. Бежал сквозняком по всему составу, выискивая именно тот туалет, где в данный момент страждущих менее всего; из туго подпружиненного крана полоскал себя с ног до головы, что категорически запрещалось, быстро натягивал сухие трусики, выходил с серьёзным выражением на лице, словно всей этой воды на полу налил не я. В силу таких вот прогулок знал многих пассажиров состава в лицо, находил в том большие для себя преимущества относительно тех маленьких путешественников, чьи родители были более бдительными, которые дрейфили этого самого оглушаемого тамбура с хищно лязгающими железками, на которые ступать босыми ногами – страх Божий. Гармонист – худенький и тщедушный мужичок возраста наших родителей, по имени Харитон, прилично играл на тульской гармошке, к тому же неплохо пел. Иногда выделял такие музыкальные кренделя русских народных, что некоторые не удерживались и бросались в пляс. Порою, легонько растягивая меха своей двухрядки с пожелтевшими костяными пуговками голосов, тихим и слегка надтреснутым голосом принимался петь песни из своего репертуара, да так сердечно, что у бывалых фронтовиков наворачивались слёзы. Во втором вагоне одной бабушке, не знаю

и почему, но я чем-то приглянулся. Увидя меня, она всегда вздрагивала, потом подзывала пальчиком, порывшись в клеёнчатой авоське, доставала мятный пряник, вкладывала мне в ладошку. Возможно, что я ей кого-то очень сильно напоминал... Полная и рыхлая, во всём чёрном, она походила больше на цыганку, хотя была грузинкой. По-русски говорить совсем не умела, обращалась ко мне – генацвали; гладила тёплой и мягкой ладошкой по голове, иногда почему-то беззвучно начинала плакать.

В этом же плацкарте вместе со своими родителями ехала девочка примерно моего возраста – грустная и застенчивая, и всегда с какой-нибудь книжкой в руках. Не знаю почему, но при виде её я принимался шалеть, вести себя неестественно, стесняться своей худобы и, как казалось, девчачьей расцветки трусиков, которые, по существу, и были девчачьи, как и у моей сестрёнки, но только без резиночек, так как я их сам же злоумышленно и вытянул, дабы больше походили на пацанячьи. От такой процедуры они внизу расклешились, стали походить на чёрт знает что. В те далёкие времена на подобные мелочи никто не обращал внимания. Ну... не без трусов же, в конце концов... Проходя мимо, пытался по-показному не замечать этой девочки, но почему-то, не выдержав, оборачивался, чтобы проверить: заметила ли она, что я совершенно не обратил на неё никакого внимания. Мой худенький вид, тоненькие и кривенькие ножки, куриная грудка, торчащие гармошкой рёбрышки, а главное – голубые расклешённые трусики, по всей вероятности, производили сильное впечатление, а особенно, как я заметил, на её маму. Быстро шепнув что-то своему мужу, принималась мне улыбаться, а однажды даже спросила:

– Мальчик, как тебя зовут?

На что я и не моргнув глазом соврал, назвав себя Робертом, так как это имя после просмотра фильма «Дети капитана Гранта» мне очень нравилось.

– Ну, надо же... Роберт... – восхищённо повторила она, и почему-то опять многозначительно посмотрела на мужа. – А как зовут твоего папу? – опять спрашивает она...

– Папу зовут Александром Тимофеевичем, хотя по-настоящему он – Аллахберди Тенгизович...

От предложенного ею яблока я гордо отказываюсь, мельком зыркнув на удивительную девочку с книжкой, похожую на весенний одуванчик, порывисто убегаю.

Сейчас и не припомню, в каком из вагонов нашего поезда вместе с нами ехал самый настоящий клоун. Его случайно узнала мама, когда на какой-то из станций он скоро выскочил на перрон, побежал, по смешному размахивая большим медным чайником, добывать кипяток. Во время

войны весь московский артистический свет и даже некоторые из артистов Большого и Малого театров были эвакуированы, кто в Свердловск, кто в Ташкент, кто в Алма-Ату, кто в Казахстане. Коснулось это и некоторых из известнейших литераторов, художников, педагогов, учёных. Многие из жителей города, а особенно молодёжь – студенты, выздоравливающие бойцы госпиталей, а порою и просто – домохозяйки, частенько посещали знаменитый Свердловский оперный, да и другие театры, как драматический, воочию видели тех артистов, имена которых были на слуху у всей страны, так как многие из них снимались ещё и в кино.

– Саша, Саша! Посмотри, – кивает мама в сторону открытого окна, в те времена окна в вагонах можно было ещё поднимать или опускать, – видишь вон того, что в атласной пижаме и с чайником... Ведь это же известнейший московский сатирик-артист – клоун Паша Буфф¹, работающий в знаменитом московском цирке. Мы с Панькой во время войны ходили на его представление. Удивительно яркая личность этот Паша Буфф; имя наверняка сценическое, хотя... с самим Олегом Поповым, с Карандашом гастролировал по всему миру.

Настоящих живых клоунов я никогда ещё не видел, истинно считал, что кто-кто, а они-то и есть настоящие волшебники, умеют делать разные фокусы, которые вовсе и не фокусы, а чистая правда, и даже умеют летать. Во что бы то ни стало решил разузнать в каком из вагонов он едет, чтобы посмотреть, а если удастся, то по-незаметному и пощупать пальчиком настоящего живого клоуна с престранным именем – Паша Буфф. После совсем недолгих поисков – на удачу совершенно неожиданно обнаружил его сидящим у окна обыкновенного плацкартного вагона, за откидным столиком, босого и пьяненького, в той же нечистой и поношенной выцветшей пижаме, потерявшей переливчатый свет атласа, с папироской в руке, зажатой между средним и указательным пальцами. Видно, почувствовав, что я на него смотрю, мотнув головой, как это делают люди сильно пьющие, не глядя, щёлкнул папиросиной прямо в окно, где на перроне толпились люди, отрывисто и хрипло бросил:

– Чего уставился?.. Беги, куда бежишь, пока не дал пенделя.

От неожиданности я так растерялся, что дрожащим голосом стал нести полнейшую околесицу.

– Я... я... я просто хотел посмотреть, как вы умеете делать...

Слово «фокусы» напрочь выветрилось из головы, но тут же нашлось похожее на него, заменилось словом «опыты».

¹*Паша Буфф* – фамилия и имя этого клоуна по определённым этическим соображениям заменены на вымышленные (*авт.*).

– Какие тебе ещё опыты?.. – совершенно пьяным и расстроенным голосом прохрипел клоун и скрипнул зубами.

От страха я стал пятиться назад, налетел спиной на какого-то дядечку с бритвенным прибором в стаканчике и с полотенцем на шее.

– Павел Давыдович! – неожиданно и громко, и даже грозно, произнёс дядечка, поднимая с пола оброненный помазок и бритвенный стаканчик с безопасной бритвой. – Полно куражиться, на сцене надо было куражи ловить. Ведь всякий человеческий облик потеряли уж... Какой день не просыхаете. На ребятишек уж кидается. Стыдно... В конце-то концов... Вызовем милицию, и, как миленького, ссадят. Нашёлся нам здесь – артист. Спасу уж нет от него...

– Ты хоть знаешь, кто я? – пытается встать на ноги Буфф, опрокидывая стоящую на полу под сиденьем, бутылку с водкой. – Да ты хоть понимаешь, с кем имеешь дело, ничтожнейший, с кем вообще разговариваешь. Одну только телеграфическую молнию товарищу... Товарищу... В этот самый Кремль, и не меня, а вас здесь всех ссадят к... матери... А я... а я буду ехать, как и ехал – кум королём и пить в своё удовольствие водку, а захочу – и коньяк с шампанским. Может, мне специально так хочется не в купе, а по-обыкновенному, с народом, с простым и сердечным русским народом прокатиться на Кавказ...

Такой мне запомнилась встреча с самым настоящим, а не придуманным клоуном Пашей Буфф – добрейшим дядей Пашей, обаятельнейшим во всём мире человеком, умеющим рассмешить кого угодно и даже совсем неулыбчивого верблюда, любимцем из любимцев всех детей. Артист...

«Это как же надо вот так притворяться, – с горечью подумалось мне, – чтобы на арене цирка быть одним, а в жизни полной противоположностью».

Видно, не зря сказано: чтобы узнать человека, кто он есть на самом деле, раздели с ним свой груз и пройди по дороге три меры дневного пути... Или... Склонив голову, прильнув губами к воде, испей со своим попутчиком из одной реки. Старающийся пить выше по течению – брезглив, скрытен, горделив. Ниже – доверчив, любящий, брат.

3

Те образы и действия, что запечатлелись во мне – ребёнке, во время путешествия по железной дороге от Урала до Северного Кавказа, сохранённые в виде мозаичных картинок, ныне, через столько-то лет, как-то расшифровались, но, надо признаться, уже по-взрослому приобрели иную повествовательность, уже трудно воспринимаемую детьми, не совсем

внятную некоторым взрослым. Как ни покажется странным, но чувство исповедальности присуще почти каждому человеку, даже закоренелым преступникам. И какая такая сила гонит нас?.. Заставляет в откровениях своих вывернуться перед первым встречным наизнанку. Замечу, не перед родными и близкими, а именно перед совершенно незнакомыми людьми, случайно, кажется бы, повстречавшимися в дороге, на нашем жизненном пути, будь то в одном номере гостиницы или в поезде, а то и запросто на зелёной скамеечке тенистого скверика в жаркий июльский вечер. Ну, понятно бы, когда с закадычным дружком-приятелем, по причине прилично выпитого хлебного вина, после чего так и хочется словесно вывернуться наизнанку, такого наврать от чувственной радости, что ей-ей и не поверить никак невозможно, а по случайному стечению обстоятельств, возникших между людьми, которые ещё вчера в лучшем случае были просто прохожими. Так что же всё-таки заставляет нас оголиться до последней ниточки перед первым встречным? Не потому ли, что он, единственный, есть тот, кому можно довериться, так как уже завтра поезд его умчит в Караганду, а вы, передумав ехать к теще в Краснодар, останетесь лежать на диване своей махонькой квартирке в Нальчике, тихо радуясь, что всё вот так само собою прекрасно устроилось. И ещё есть во всём этом одна закономерность, подмеченная мною: среди двух, случайно встретившихся, как правило, душу изливает один – другой более слушает. Первый распаляется тем более, чем – второй участливо ему сочувствует, доходит до таких откровенностей, что перед внемлющим ему готов и последнее исподнее снять, поведать о своей, растудыть её, неудавшейся жисти и что зять – муженёк его дочки от второй жены, упокоенной Верки, царствие ей небесного, и человек душевный, и с разными тонкими понятиями, мастер – золотые руки, но... уж больно крепко запивает, после чего уму невозможное куролесит. Ведь это надо же... Дошёл до такого предела, что забыть... в какой кумпании и где мой ему подаренный баян посеял. А дочь Ленка – она у меня от первого брака, что за этим торгашом Васькой с Бакалавки, пусть ему лопнуть, заразе, в которой всю жисть души не чаял, баловал, купил подростковый велосипед за тридцать восемь рублей с мелочью, считай, сорок рублей, под воздействием своей мамы и этого проходимца – разве с Бакалавки может быть какой путёвый человек, настолько переродилась в мегеру-гарпию, настоящую гадюку семибатушкину, что в отношении ко мне – её отцу родному, вышла за всякие мыслимые и немыслимые пределы. Ведь это надо же... Принудительно, через суд – срам-то какой, – требует разделу дому и своей с Варькой доли. Варька – это которая моя первая жинка, чтоб её разворотило, заразу. Сосед – интеллигент хреновый, по ночам тайком сивуху гонит. Аппарат у него, скажу тебе, по последнему слову

техники сделан; чиста нержавейка, котёл и двадцать атмосфер сдюжит, с манометром, как на каком компрессоре. От бражного духа, особенно когда роза ветров с его тыну, а она – эта роза, уж поди, как десять лет будет, всё не меняется, как он начал гнать этот самый свой самогон, спасу нет. Хотя бы раз догадался чарочкой угостить, алхимик хреновый. А участковый милиционер – Стёпка Мышкин, сын Данилы и Настасьи Мышкиных, тех, что на своём горбатом запорожце умудрились въехать в зад лимузина самого первого секретаря, которому ещё в пацанячестве уши собственноручно драл за его шкоды... Это ведь надо же удумать такое... Насыпать в мой нужник дрожжей, когда самая жара случилась, чтобы вспучило... А ещё... Насрать в резиновый сапог Варькин. Это сейчас-то понимаю, что правильно сделал. Нечего оставлять где попало свою обувь. Так вот... Настоящим лихоимцем и взяточником сделался этот Стёпка... Чтоб ему провалиться. Мало я его драл... Попятили у меня велосипед... Хорошая такая была машина, почти что новёхонькая. И что? Пока этому самому участковому, чтоб ему скувыркнуться, не намекнул, что так де и так, готов, значит, отблагодарить. Лишь бы узнать, чьих это дело рук, кто ноги приделал, он и в ус не дул. Хотя... заявление моё, по всем правилам составленное, я ему лично в руки да с поклоном вручил.

– Нечего, – говорит, – бросать лисопед где попало и без присмотру.

– Как же где попало? – отвечаю ему я. – Ты, Степан Данилыч, сначала с заявльищем моим ознакомьтесь. С сарая попятители... А это, как ни крути, кража со взломом... Я и замочек свёрнутый могу предъявить как вещественное доказательство.

После же красненькой сам и прикатил – лихоимец. В кустах, говорит, где просека, отыскался. Пить, дескать, меньше надо, тогда лисопеды и не будут теряться где попало. Ну не скотина ли?!

4

Иной так разоткровенничается, такое подпустит на себя, забытое, кажется, уже и самим, что, честное слово, до слёз.

– А почему так? – задаю сам себе вопрос.

Да потому, как мне верно кажется, что случайному человеку, повторюсь опять, которого, может быть, в первый и последний раз видишь на свете, именно ему, а не близкому, можно досконально душою вывернуться и очиститься. Есть... есть такая потребность у нашенького чело-века – расхристаться всеми своими потёмками с первостречным. Иной... последний трояк за душой, и не предвидится более, ан глянь... Уже угощает совсем незнакомого, страждущего, во что бы то ни стало

желающего опохмелиться после вчерашнего. Ну, какой смысл – скажите вы мне – выдумывать всякую чепуху, небылицы всякие первопопавшему на пути гражданину из посёлка Жварки или Холун, что на Полтавщине, где вы никогда не были, да и вряд ли будете, если уже ночью, когда в вагоне все сладко спят под монотонную музыку стальных колёс, он, и не попрощавшись, навсегда покинет ваш плацкарт, сойдёт на неизвестной вам станции и укатит на пригородном автобусе, а может, и на попутной телеге к дедушке на деревню с престранным названием Срамово или Житищи, что где-то под Козельском в Калужской губернии? Укатил, так укатил... Навсегда увёз с собою вашу исповедь. Как говорится, с глаз долой – с души вон. А попробуйте-ка, скажем, кому из общих знакомых, сослуживцев или родственников этакое порассказать... Что, дескать, один зять запойный, а другой, под чьё дурное влияние попала кровиночка-доченька, переродившись в змеюку семибатюшкину, – кровопивца и куркуль, каких земля не видывала... И что все только того и желают, из его близких, как его погубили, хоть он им и родной отец. А всё ради дому-хаты, который вот этими мозолистыми руками до последней досточки и кирпичика выстрадал сам, не доедая и не досыпая, заработав грыжу пупковую и язвенную болезнь живота. Попробуйте-ка кому из соседей своих, проживающих на одной улице, а то и в одном проулке, поведать, что их участковый инспектор – вор, взяточник и проходимец, глава управы – то же самое, плюс – приспособленец, замаскированная контра, а преподаватель химии – Яков Иванович Тюлькин чахнет по ночам над собственноручно придуманным паровым аппаратом, подпольно гонит сивуху чуть ли не в промышленных масштабах. Молодая соседка через забор – разведённая и уж сколько времени неопределившаяся Глашка Воробьёва – гулёна, каких ещё свет не видывал. И что сам наблюдал такое за ней, что, ей-ей, дух заняло, а ум, верите ли, чуть не зашёл за разум... Попробуйте-ка вот так душою излиться среди близких тебе и знакомых. Ведь непременно всё, как есть, бумерангом и возвратится назад. И это уж без всяких сомнений... Как пить дать возвратится прямо по темечку. А потому... Самые достоверные, самые душещипательные истории можно услышать только от случайных попутчиков и в поездках, где всё так располагает к этому, а само главное – и девать-то себя некуда. Ну не затыкать же по-показному уши, не выпрыгивать же в окно... Всё, что помимо всяких понуждений, льётся из души – не правдали?... Подобно родникам чистой воды она не затуманена никакой ложью, ибо... Для того и нет никаких побудительных мотивов: ни корысти нет, ни страха, что и побить могут, ни стыда. А чего правды-то стыдиться. Нет следствия без причины, как и причины без следствия. Вода, падающая с высоты на крылатое колесо мельницы, производит движение этого колеса. То,

в свою очередь, вертит каменные жернова, которые перетирают в муку пшеничные зёрна; белую струйкою течёт в деревянный ларь мука, из которой потом замесят тесто, выпекут хлебá. Их съедят, запьют холодной родниковую водою, водою того же свойства, что и той, которая, падая на колесо, приводила в действие мельницу. И всё это только следствие. Сама же первопричина всех этих действий настолько непознаваема по своей сути, что и целой жизни не хватит узнать, какая из шестерён в этой замкнутой круговоротом цепи является предсуществующей, кто её побудил к движению? И так во всём...

Как рассказывал мой прадедушка Тото Антонио, который в прошлой жизни был дедушкой, не смейтесь, пожалуйста, в тогдашнем католическом Риме, жил-был один алхимик. Да, да! Настоящий алхимик. Но не тот, что средневековый, из среды ищущих рецептов эликсира бессмертия, а тем паче доступных способов добывания золота совсем из нечто другого, скажем, из простой глины, замешанной на моче белой аравийской ослицы с добавлением полевого шпата, растёртого в порошок, высушенного корня солодки, вываренного в желудочном соке галапагосского варана до полной неузнаваемости, а ещё более продвинутый в своём неутомимом упорстве, более упорный в своих дерзновенных целях. Не зря, видать, святая инквизиция папской курии, и, надо признаться, не без успехов, гонялась за такими, сжигала их алхимические книги на кострах, а вместе с книгами и самих соискателей на ещё не учреждённую Нобелевскую премию в области химии, физики и математики. Прадед мой, который на тот период был просто добрым дедушкой, признался по секрету, что тот алхимик, о котором он хочет поведать, был упёртее в сто раз своих предшественников. Налил он как-то в медную ступку обыкновенной воды – вещества без запаха, вкуса и цвета, составленного из двух атомов водорода и одного атома кислорода под формулой – H_2O , имея целью сбить из оной масло, и ну колотить её пестом с превеликим усердием, верою и надеждою. Два дня и две ночи, плюс ещё тринадцать минут, не переставая толоч в ступе воду. И что вы думаете... Хотите верьте, хотите нет – добился своего, еретик. Получил искомый продукт. И хоть масло и было не самого лучшего пищевого качества, слегка настораживало своим зелёным цветом и тончайшим привкусом медного купороса, суть произведённого чуда никак не умаляется. Результат налицо: из обыкновенной воды при особом старании и усердии, помноженными на гранитную веру, весьма даже можно сбить масло. А коли доступно масло, то почему бы и ещё нечто более существенное и значимое?.. Как знать, как знать...

Послушайте же ещё одну сказку, которая в связи с этим случаем, но как-то сама по себе сложилась в моей махонькой голове.

Сказка

Перед тем, как Бог надумал сотворить землю, Он, как вспоминают очевидцы-сторожилы – Ангелы, Архангелы, Архистратиги и Стратиги, Власти и Силы, решил сначала произвести на Свой свет, то есть на Божий свет Нечто, которому не придумалось в Его голове ещё названия, без которого, как смутно представлялось Ему, всё остальное и начинать-то не имеет смысла. Заглянул Бог, как в кладовку, в Свой Первозданный Хаос, который, как и всё остальное, также есть дело рук Его, пошарил щедрой дланью Своей во всей этой неразберихе, вытащил наугад, так уж получилось, один атом кислорода и два атома водорода, пребывающих сами со себе и сами в себе, шмякнул их друг об дружку – они и слились воедино. Посмотрел с восхищением на живую прозрачную капельку без цвета, вкуса и запаха, воскликнул:

– Во! Понимаешь ли... Красота-то какая... Благолепие!

– Да-а-а-а... – задумчиво и вослед Ему дополнил, но не слишком громко, один из любимейших и талантливейших ангелов Его, но в прошлом, Сияющий Денница, Утерянная Звезда – Аваддон Люциферович Сатаненко, а короче – Дьявол – Сатана, исподтишка наблюдавший за всеми этими действиями Бога из собственномыслимо созданной инфравывернутой квазигалактики – детища своего, объекта нескрываемой гордости своей: Творец!!!

Из этого – восхитительно-восторженного – Во! И несколько противоположному ему – скептически-задумчивому – да-а-а... И произошло в дальнейшем названием чудному веществу – вода. Обладая удивительными, поистине волшебными свойствами, она не горела, но тушила, превращая себя в легкокрылый пар; не имея в себе зримых движущих сил, без всяких усилий-напряжений могла преодолевать гигантские пространства, бежать туда, куда надумала, заполняя собою всё, что ниже её уровня-достоинства; быть твёрдой, подобно прозрачному кристаллу, блистающему на солнце всеми цветами радуги, одновременно в непрозрачной ночи – чёрною глыбою самого Мрака. Отличительна от всего, что в перспективе потом будет сотворено из Первозданного Хаоса, она и при нагревании, и при охлаждении вела себя одинаково, только увеличивалась в объёме. И сказал Господь:

– Это хорошо, что она вот так... Что и при сумасшедшем холоде не ёжится, уплотняясь, как некоторые, а по-другому – все, а наоборот – расширяется на все четыре стороны, приобретая гранитную крепость. Подобно ледяному айсбергу, может плавать сама по себе, истаявая, переходить в саму себя, испаряясь, претворяться в белокрылые облачка и грозовые тучки.

Несколько задумавшись, помолчал, запел свою первую детскую песенку:

– На небе тучки, под ним море,
По морю льдины плывут гурьбой...

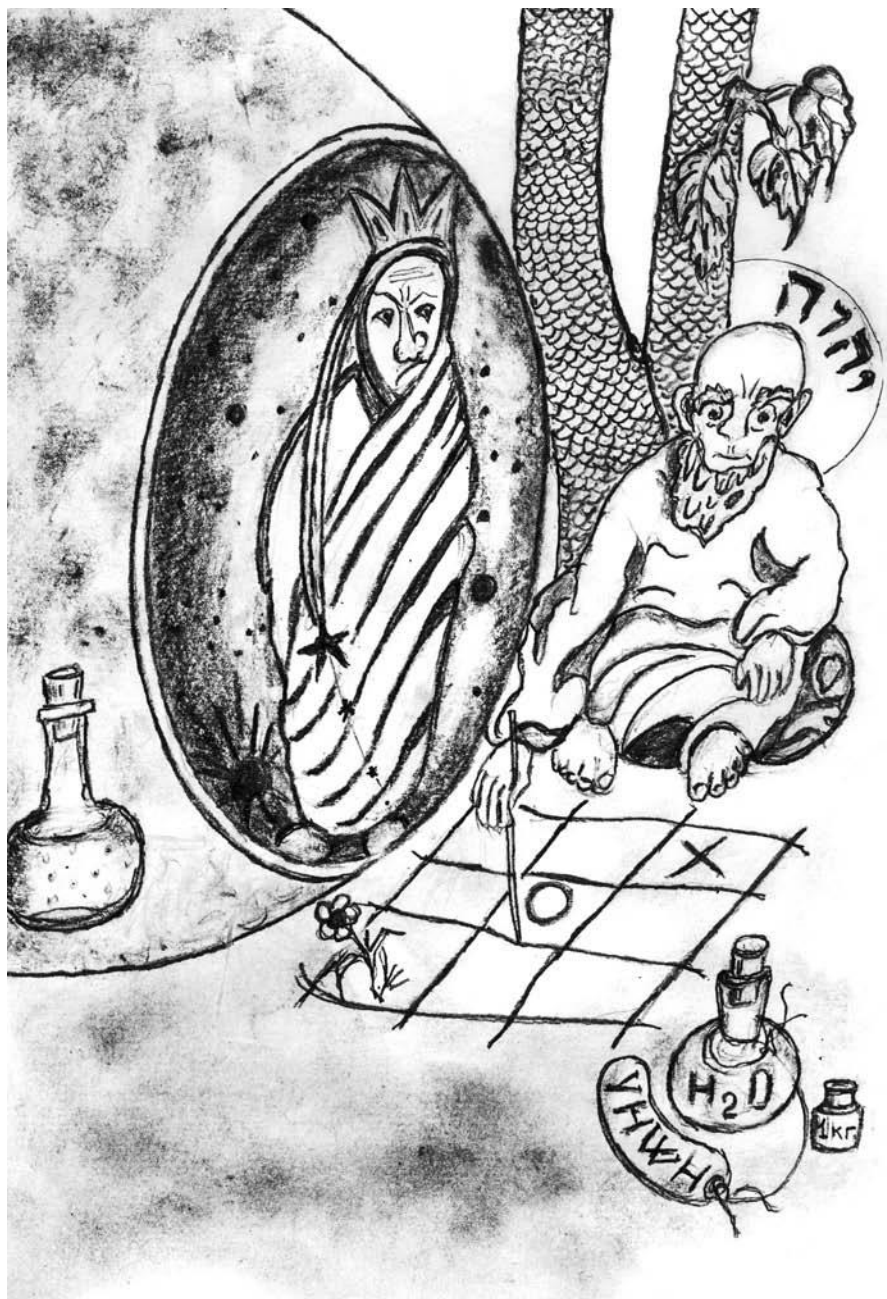
Не Единосушная ли Троица – суть Единого в Трёх... Ею будет миру
Моё крещение.

Подумав так, Творец по-мальчишески подпрыгнул, звонко шлёпнул себя ладошкой по лбу. Колокольным звоном задрожала Вселенная; в неприступных цитаделях Аваддона, в их алмазных кладях образовались тонюсенькие, незаметные глазу трещинки, толщиной не более десятой меры волосинки, из которых живою сущностью стали пробиваться, нет, не кристаллы твёрдые и колючие, а мягчайшие травиночки зелёного цвета. Дьявол их тут же замуровал, но впервые призадумался. Тени сомнения, подобно бликам света, иллюзорною рябью пробежали по его холодному и неприступному челу, скользнули по граням трезубчатой короны, колючею иглою кольнули не имеющее мер самолюбия сердце. Изгнав с лица вон своих ангелов, уединился в блистающем мраке своего дворца, напряг свой необъятный и могучий ум, необузданную волю свою, стал изобретать мёртвую воду, которая была бы гораздо тяжелее живой, но при этом внешне неотличима от первой. Всем известно, что дьявол – обезьяна Бога. Не мудрствуя лукав, он решил:

– А не подменить ли мне этот водородик, которого во Вселенной хоть пруд пруди, на другой, но гораздо тяжелее, а значит, более весомее. Суди не суди, а между двумя этими понятиями – тяжесть и весомость – преогромнейшая разница... И сам Господь не догадался, – горделиво усмехнулся он, поправляя алмазную корону, съехавшую от лукавых раздумий набекрень.

Поэкспериментировав в своей тайной алхимической лаборатории, схимичил: атомыводорода поменял местами на атомы дейтерия, которые по своей сути есть тот же водород, но гораздо тяжелее. Относительно же атома кислорода всё оставил, как и прежде. Получилась жидкость, ничем внешне не отличимая от божьей воды, то есть обыкновенной. Но!.. При внешней схожести не только угнетающе и даже губельно воздействовала на всё живое, а и замедляла бег вездесущих нейтронов, соревнующихся в скорости с самими фотонами Света; в перспективе сулила утяжеление и атома кислорода для создания не просто тяжёлой, а уже сверхтяжёлой воды.

– А там... Чем чёрт не шутит... Глядишь, и ещё что-нибудь этакое придумается, – ухмыльнулся Люцифер, крепко потирая ладони, с леденящим хрустом сжимая их в кулаки.



Просчитав все перспективы и все последствия гениального изобретения, в самом весёлом расположении демонического духа стал дожидаться, пока Господь Бог не сотворит нечто, подобное самому себе, то есть Человека – малюсенького бога, в котором всему будет своя мера от Первозданного Хаоса, воды же... Из меньшей половины – бóльшая, из всего главного – самое главное. Не в ней ли, растворяясь всё остальное – творит бесконечно-многое. Имеющий глаза – да видит, уши – да слышит, голову – да думает. Вкус плодов же вкушает язык, обоняют ноздри, по ветру широко раскрытые.

– Соврашу человека – посрамлю Господа, – радостно ёкнуло в сердце Аваддона, – стану не менее великим, что и Он.

– Дай время, – горделиво поклонился он Творцу, когда тот, сидя в тени фигового древа, развлекал себя легкокрылыми мыслями, воздушными, как тончайшие пенные пузыри прибоя, о путях развития мегавселенной, об устройстве очередной, неведомой доселе, даже Ему, галактики с совершенно иной, не физической природой материи, которая уже и не материя, ибо подчинена иным законам движения, где всё и вся перевёрнуто с ног на голову, а затем и набок, ибо уже и самого времени не существует – заменено на нечто совсем противоположное ему. И что, почему бы всё это не разместить в пустотелом пространстве одного атома... Не я ли Бог?!

Незамечая склонённого перед ним Аваддона, сидя на белом камушке, как на тучке, под деревом тоненькой палочкой на увлажнённой райской земле стал вычерчивать геометрические фигуры – дуги и прямые линии, пересекать их в невысказанных направлениях, слева направо и справа налево, но везде в перекрестиях их малюсенькой красненькой точечкой проявлялся крохотный человечек, который есть подобие и образ Его Самого – живой бог во плоти.

Простояв так некоторое время, Аваддон не выдержал и кашлянул.

– А, это ты... – рассеянно пробормотал Бог, не отрывая взгляда от своего чертежа, – говори поскорее. Хоть я и знаю, о чём ты будешь молвить, всё равно с удовольствием выслушаю и в этот раз.

Мельком глянув на Божий план, неспешно начертанный на земле, слегка кашлянув, дьявол продолжил:

– Дай только времени, и я так утяжело лучшее из твоих творений – человека, что никакие крылья ему больше и не понадобятся. А если когда и взбредёт кому в голову такая блажь, как полетать, то что толку? Какая прибыль ему от этого без веры в Тебя? Мой создатель, пускай летает подобно слепому мотыльку.

– Валяй, – по-свойски отрезал Господь, вычерчивая на влажной земле, разлинованной в квадратики, крестики и нолики длиннющей иголкой

дикобраза, которую одолжил у него не навсегда, – у Времени, как и у Вечности, нет конца их времён.

Несколько призадумавшись, дополнил:

– Вечности плевать на время – она вечность, а Времени на вечность. Делай, что надумал. А пока... Убирайся ко всем своим дьяволам-чертям и лешим, ко всей своей нечистой силе, к Астаркиной матери со своими глупостями. Ты мне надоел – революционер хреновый. Не мешай Господу твоему наслаждаться логикой одной из самых замечательнейших игр, суть которой в том и заключается, чтобы всё придуманное, которое как-то придумалось, зачеркнуть и начать заново.

– Что это он имеет в виду? – заволновался дьявол, зная по своему опыту, что у Бога просто так ничего не бывает. – Как бы и меня не вычеркнул, – уже сдрейфил он, – хоть и наградил свободой воли, а всё же... С Бога всё может статься... Выше-то кому пожалуешься?..

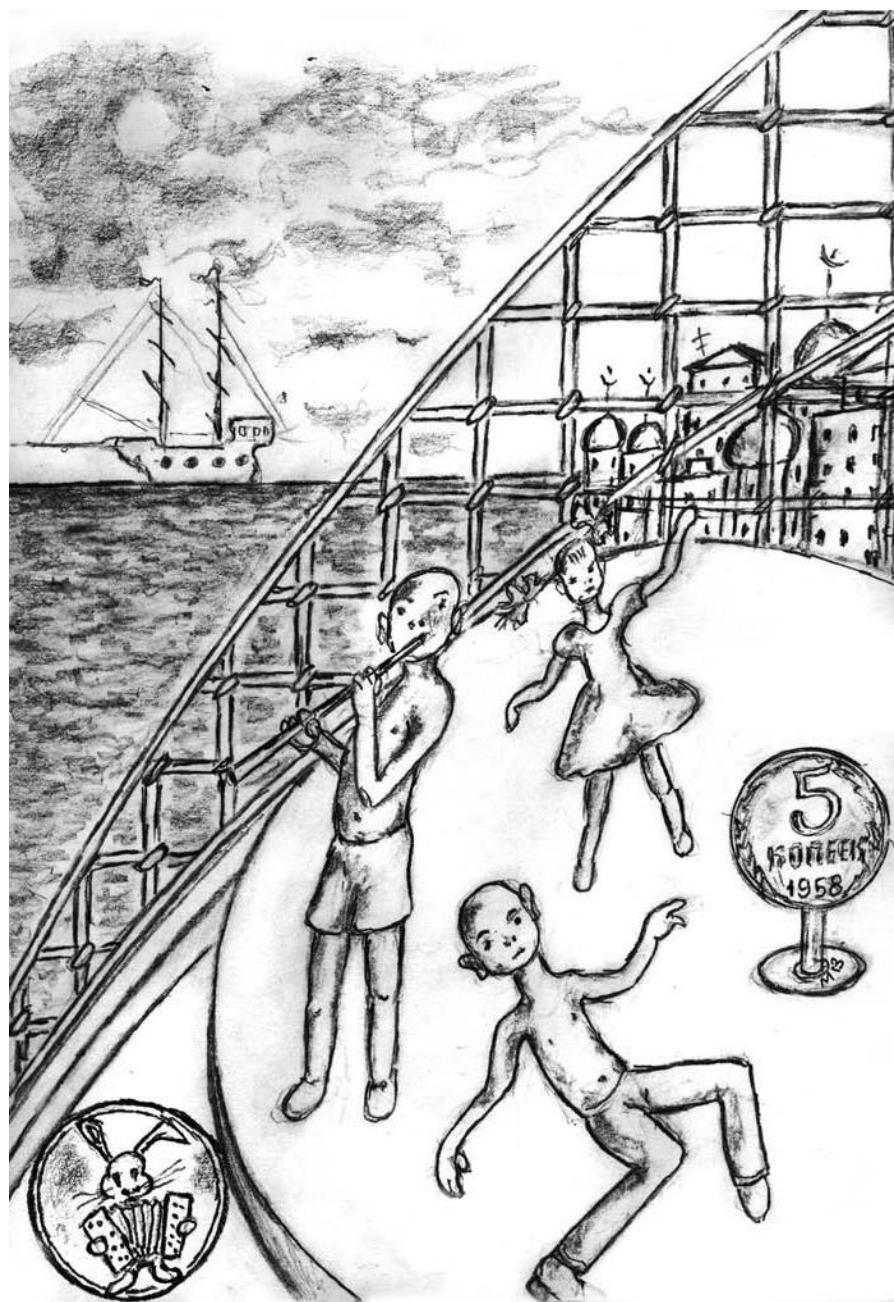
Дабы не искушать более Господа своего, хрюкнул, пукнул серно и исчез с глаз долой.

– Поставит ещё крест или, того хуже – переведёт в круглые нули... Надо бы, пока не грянул, как-то, да предостеречься...

Помыслив так, врубил особый медный рубильник, отключил свою инфраквазигалактику от Божьего света, сделал, как думалось и казалось ему, невидимой для самого Бога. Сам же, пока не поздно, полегоньку стал перевоплощаться в доброго пастыря и сеятеля, проповедующего любовь, согласие и смирение, крестителя водой, но не той, что Божья, а своею, ничем не отличимой от настоящей, самую чуточку разве утяжелённой. А кто воду-то на весах весит?..

И время наступило. Был день, и была ночь, и было утро. От первородной пары, что со скандалом была изгнана из рая самим Господом Богом, нарастилось такое несметное стадо людей, что хоть море пруди, как Аральское рукотворное – ярчайший пример грядущей человеческой глупости. Страшные и необъяснимые вещи стали происходить на земле. Все, искренне желая мира, принялись отстаивать этот мир друг у друга не на жизнь, а на смерть, то есть – воевать. Ради правды – лгать, но по-святому, ради любви – ненавидеть всех, кто не любит их, а если и любит, то совсем не так, как любят они. Ради смирения – смирять, но не любовью и своей смиренностью, а железом и огнём. Те же, кто не желает подчиняться такому смирению и таким смиренным, недостойни любви, ни сожаления, ни пощады. И воззрел Господь на это свинство, и увидел, что это нехорошо, а по-другому, так и вообще скверно, назидательно провозгласил и кротко, и со властью:

– Возлюби и врагов своих... Нет вам других путей к спасению вашему...



– Ага... Шас!.. – изумились до последней степени изумления все, ища в словах Истинного Пастыря – Доброго и Милосердного, Властного и Справедливого – благословляющего во все рода, поражающего горделивых мором и язвой во все их грядущие поколения – двойные смыслы, тройные стандарты, сакральные таинства.

В связи ли с этим, но великие смуты и разделения получились. Только самое малюсенькое стадо приняло Божье наставление так, как и следует, то есть – возлюби и врага своего... И если он ударит по одной щеке – подставь и другую, снимет армяк – отдай и рубаху исподнюю. Враги так обрадовались сему непротивлению, что стали истреблять уверовавших скопом и поголовно. Лишь мизерному остатку удалось утискать морем, как по сушу, на невидимый для всех остальных остров – град Китяж от страсти этакой. Аваддон послал было за отщепенцами – овцами паршивыми, преданных себе из высшего духовенства – патриархов, пап, епископов, далай лам, верховных муфтиев и раввинов, а также некоторых из неформальных полурелигиозных пацифистских организаций, да куда там... Всех как одного пучина стала поглощать и выплёвывать на песчаный берег. Хоть и назидали с верою, закатывая глаза в небесные выси, что подлинные чада христовые, как один, живут Божьими заповедями и уставами, слишком тяжелы оказались для воды. И шагу не смогли ступить по хлябям. Попытался сам как-то проникнуть на этот остров, чтобы совратить и остаток, бутылочку воды под сутаной незаметному пристроил, «Отче наш» выучил назубок, да как туда попадёшь без Божьего света, который собственноручно медным рубильником и выключил. Хоть и был гордецом из гордецов, сумасбродом из сумасбродов, себялюбом, каких свет божий не видывал, быстро скумекал, не дурак же: и из одного зерна взрастится полновесный колос. Что его бутылочка отравы в сравнении с океаном Вечности, который не ведаёт времён. Проиграл...

Глава 18. В ПУТИ

Тем временем могучий паровоз с пятиконечной алеющей звездой на груди и чёрною трубою, из которой извергался адовый дым и сыпались снопами искры, всё нёсся и нёсся по просторам великой страны под названием Советский Союз, километр за километром пожирал пространство за пространством, приближая нас, едущих в его вагонах, к намеченной цели. Не знаю, как и объяснить, да и объяснить ли, с самого своего младенческого возраста, волей ли Предстоящего, но чувствовал, как надо мною словно дамокловым мечом висел некий груз ответственности за всех и вся, и за глупо сложившиеся обстоятельства погоды,

вследствие чего неожиданно потекла крыша, и, что не дай Бог, не упал бы с неба пламенеющий камень и не зашиб бы всех нас скопом, и за папу и маму, которые каждое утро, боясь опоздать на работу, страшно суетятся и нервничают, в результате чего весь дом ходит ходуном, и за братика с сестрёнкой, а особенно за братика Валеру, который бесконечно хулиганил и чудил, охотился за спичками, чтобы, как выразился папа, спалить дом, и даже за кошку Машку, бесконечно убегающую из дома на такое опасное болото, где в изобилии, мне-то не знать, водятся свирепые дружки страшной буки. То ли от чрезмерной, не по летам, особого свойства рассудительности, никак не связанной с интеллектом, а может, от нервной хлипкости своего бесхребетного характера – чувства врождённого, или по каким иным неведомым причинам, стоящим выше всяких разумений, но я постоянно был в состоянии тягостных волнений, если это можно так выразиться, в состоянии душевной смуты, нет не за себя, а за всех меня окружающих, не осознающих порою элементарных вещей, которые мне были понятны и ясны как белый день, таких, к примеру, что растопленную печь ну никак нельзя оставлять без присмотра в силу присущей ей привычки пуляться горящими углями, окна – настежь открытыми по причине свирепости комаров, входные двери, а особенно в ночное время, – не запёртыми на щеколду, дабы не забралась в дом разбойники или цыгане. Почему так? Не могу ответить и поныне. Ведь казалось бы... Совсем маленький мальчик, окончил первый класс... Какие могут быть хлопоты, да ещё и жизненные?.. Гуляй, хлопец, веселись, прыгай резиновым попрыгунчиком вволю. Для большинства, возможно, это и так. Но беззаботное и светлое детство – это явно не про меня. Ну как, скажите вы мне, сердечно не волноваться, когда поезд уж тронулся, а родителей, выскочивших на станции за питанием, всё нет и нет.

– Что же теперь с нами-то будет? – холодел душою я. – Ведь без папы с мамой мы – дети, как пить дать сгинем.

В силу ли психической эмоциональной возбудимости, но в голове тут же рисовались картинки одна чернее другой, самого наипокалипсического содержания: мир рухнул, провалился в тартарары; оборванные, нищие и голодные, мы уныло бродим в поисках пропитания и ночлега. На каком-то грязном и заплёванном перроне, сплошь в окурках, варёных картофельных очистках и почему-то со следами разноцветной пасхальной яичной скорлупы, в окружении разношерстной толпы, с мешками, баулами и чемоданами, я играю на самодельной дудочке что-то грустное-прегрустное, потому как другого и не умею, а Валерик с Танюшей, дабы пуще развеселить толпу, взявшись за руки, весело скачут. Откуда-то сверху прямо на замусоренный перрон падают со звоном медные денежки, в основном пяточки, смешиваются с окурками,

яичной скорлупой и прочей гадостью; а братик с сестрёнкой вынуждены голыми руками всё это выкапывать и прятать во рту за щекой, так как кругом шныряют такие, как и мы, маленькие, но карманники-воришки, которые запросто заработанные нами копеечки могут незаметно украсть. Оттого что по жизни мы такие неприспособленные, ни назад, ни вперёд дороги найти не можем, скитаемся по замусоренной полосе асфальта между стремительно проносющимися поездами взад-вперёд совершенно никому не нужные. Представлялось и другое: поезд без папы не знает, где остановиться, всё едет и едет, проезжаем мимо нашего Кавказа, увозит всех нас в Турцию или ещё куда, которая, как и Америка, очень не любит Советский Союз, где нас всех продают в рабство... А в это время родители как угорелые пробираются сквозняком через все вагоны, так как всё же успевают заскочить в набирающий скорость предпоследний вагон, появляются перед наши очи, и, надо сказать, вовремя, ибо мы уже открыли широко рты, чтобы дружно дать рёву. А поезд всё мчится и мчится, покрывая километр за километром, унося нас всё дальше и дальше от родного села Курьи – колыбели нашего рождения. И хотя в те времена в среднем поезда более пятидесяти пяти километров в час и не развивали, мне казалось, что наш паровоз мчится с ужасающей скоростью и что в окошко далеко лучше и не высовываться, упругой струёй воздуха запросто может из вагона выхватить и унести. Папа по этому поводу даже специально предупредил:

– Вовка! Смотри... голову далеко не высовывай. На такой-то скорости ветром как пить дать может выдернуть. Вон ты какой худенький... Подхватит и шмякнет плашмя о какую берёзу. Будет всем нам тогда дел...

Быть вырванным с корнем из вагона, да и ещё плашмя шмякнутым об берёзу, которых за окном проносящегося поезда целое море, мне, конечно же, никак не хотелось, я просил Валерика или Таню покрепче держать меня за ноги, высовывался сколько можно навстречу упругому ветру, дурным голосом орал:

– И не сдуешь, и не сдуешь. – И даже показывал язык.

Питаться в вагоне-ресторане было выше наших материальных возможностей, а потому частенько, особенно на узловых станциях, где поезда останавливались иногда и более чем на час, родители скоро выбегали на перрон, бежали к ближайшему продуктовому магазинчику или какому базарчику, чтобы отовариться съестным – колбаской и хлебом, газированной водичкой, а то и дешёвыми сладостями. И опять, как всегда, уму непостижимо, гнались во все лопатки за уже тронувшимся в путь поездом, на ходу запрыгивали в первый попавший вагон, что есть духу неслись сквозняком через грохочущие железом тамбуры, чтобы побыстрее успокоить нас – троих своих детишек, от ужаса потерявших дар

речи, прильнувших к окну набирающего скорость вагона, выискивающих переполненными страхом глазёнками, полными слёз, в толпе пассажиров родных папочку с мамочкой.

«Экое безумное легкомыслие, полнейшее безрассудство», – сейчас подумал бы я.

И наверняка на все сто процентов был бы прав – другое время, другая эпоха. Тогда же всё представлялось несколько в ином свете: ну и что?.. Экое дело... Ну не в диком же лесу, не в пустыне детишки оставлены... Кругом сердобольные люди – простые советские граждане, которые, уж и не сомневайтесь, в беде не оставят, в обиду не дадут. Какая наивная самонадеянность. Ну а нам-то каково? Молодые родители о том хоть немного задумывались. Ведь отложилось же в моей памяти на всю жизнь как невероятный кошмар, как катастрофа. Хотя... Не суди превратно о прошлом с позиции современности. В те времена – времена моего детства, над маленькими детьми никто из взрослых особо и не чах, за редким исключением. По порезанному пальчику, сбитым в кровь коленкам слёз не проливал. Да и с питанием... Что-то не припомню, когда кто-то отказывался от мясной котлетки, пельменей, картофельной шанежки. А колине желаешь манной каши, горохового супа зараженного, ещё и с пшеном – твоё личное дело, другим больше достанется. В те времена в деревнях все родители поголовно с утра до вечера работали в колхозе. Да и наши... Поработай-ка в школе, да в две смены учителем. Предоставленные сами себе, мы целый день как угорелые носились по деревне, купались без всякого присмотра в речке, самостоятельно ходили в дремучий лес за грибами и ягодами, поедали что ни попадись – и зрелое и незрелое – морковь, огурцы, бурелые помидоры, совершенно и не помыв, а едва вытерев о собственные штаны, лазали по деревьям аж под самое небо. Вы можете себе сейчас представить ватагу мальчишек и девчонок, старшим из которых и семи-то лет нет от роду, промышляющих в нескольких километрах от деревни, да по дремучему уральскому лесу, полному всякого зверья, в том числе волков и медведей, землянику, грибы или болотную голубику?.. Или... можете себе представить ребёнка, жадно лакающего в лесу воду из глубоко продавленного в глине следа копыта заблудшей коровы? Признаюсь как на духу – и я, и мой братик, и моя сестричка, да и другие пацаны и девчонки, не раз пили воду и из копыт, и из зеленеющих луж, и из болота. Не помню, как все, лично я, и это сущая правда, пил из ржавой бочки на буровой не просто воду, а, как понимаю сейчас, настоящую эмульсию, которую закачивают в скважину для уменьшения сопротивления сил трения между породой и алмазной коронкой бура, так меня одолевала жажда.

– Дяденька! – обращаюсь я к грязному, обросшему шерстью, мужику, единственному, кто был на этой буровой, – у вас нету немножко водички?

Мужик равнодушно смотрит на меня, грубо обрезает:

– Вали отседова... Нашёл, где промышлять воды. Тикай, пока не схлопотал сапогом по заднице, нету у меня никакой воды.

– А это что? – указываю я на бочку с белёсой жидкостью.

– А не жирно будет? – со смешком отвечает бомжеобразный дядька, – ладно уж, лакай, коли так истомился.

Откуда я ещё не лакал?.. Ах да... Из дупла дуба, подозрительно прозрачного ручья, берущего истоки своих начал с территории какой-то бумагоделательной фабрики, с великим удовольствием из нашей любимой Пышмы, впадающей в реку Урал, ту самую реку, в которой потонул Чапай. Пил дождевую водичку из серёдки прогнившего пня, где меня чуть не укусила прямо в лицо болотная гадюка, выползшая, видимо, также испить водицы. Лакал из шляпки неведомого мне гриба, изогнутой в виде перевёрнутого зонтика. Господи! Какой водицы по жизни я только не испробовал... Как гончий олень, на ходу жрал снег... Это, правда, когда служил в армии, когда ротный, дабы знали, что есть настоящая служба, приказал произвести маршбросок по зимнему брянскому лесу. Грыз сосульки. Спросите современного ребёнка... Какого там современного... Спросите уже умудрённых жизнью дядек и тётек восьмидесятого года рождения, пили ли они, хоть разочек, по утренней заре с трав прохладную росу? Да и вообще... Просыпались ли так рано, видели ли саму эту зарю? В этом отношении мы были совсем другими. Жаловаться мамам и папам, дедушкам и бабушкам по поводу каких-то чинимых сверстниками обид, разрезанной стеклом пятки, в кровь расцарапанного живота, случившегося по причине спуска, а вернее, съезда на брюхе по шершавому стволу дерева, разбитого носа, губы, фингала под глазом было вообще не принято. А если где и встречались такие маменькины сыночки и дочечки, то их, как правило, лупили ещё больше, открыто презирали. Уж и не помню, но, по-моему, где-то выше, как мне кажется, я уже упоминал об этом случае, произошедшем со мной, когда был ещё совсем маленьким. Безусловно, он никак не может быть примером к подражательству или положительному одобрению. Скорее всего, есть исключение из правила, исключение, заставляющее ещё более задуматься: что есть на самом деле маленький ребёнок? Годика в три с половиной, максимум четыре, но никак не более того, прыгая с сестрёнкой с какого-то высокого пенька в нанесённый пушистый сугроб, напоролся на невидимый, занесённый снегом заборчик, типа

штaketника. Как помнится, от страшной боли в груди прекратилось всякое дыхание, в глазах поплыли фиолетово-зелёные круги. Потом помаленьку начало отпускать. Дабы не расстраивать папу с мамой, а ещё более того, чтобы не поругали за такое баловство, несмотря на тупую ноющую тяжесть в левом боку, о произошедшем стоически умолчал.

– Вовочка, – спрашивает с тревогой мама, – отчего ты так тяжело дышишь, тебе что, воздуха не хватает?

Не умея, как ей сказать, а вернее, как поправдивее соврать (ох уж эта святая ложь...), начинаю молотить полную чепуху:

– Это, наверное, оттого, – глубокомысленно придумываю я, – что кот Васька воздух испортил. И пукает, и пукает, бесовестный, совсем дышать нечем.

Валерик начинает весело смеяться, Танечка – свидетельница неудавшегося полёта, дабы не прослыть с моих глазах предательницей, по-показному начинает ругать кота.

Мама внимательно смотрит мне в глаза, говорит нянечке Маше:

– Надо бы показаться Неаниле Андреевне... Она сейчас, кажется, принимает в Сухом Логе. Неужели что с лёгкими?.. Спаси Господи...

Как всегда у людей случается, человек предполагает – Господь располагает. Никакой Неаниле Андреевне меня не показали, боль помаленьку улеглась, стала всё тише и тише. Я же научился так мастерски маскироваться, что уже совсем скоро никто и не интересовался, почему я так туго дышу. Уже в Нальчике, когда учился в пятой школе в третьем «Б» классе, при общем профилактическом просвечивании рентгеном на снимке обнаружилось, что три ребра были сломаны и даже слегка запали вовнутрь.

– Где это тебя так? – строго спрашивает незнакомая мне очкастая врачиха, присланная из поликлиники, рассматривающая лист плёнки на оконный просвет, – корова, что ли, лягнула?

Чувствуя её недружественное отношение ко мне, признаваться не захотел. Пожал плечами, нарочито и по-показному запустил палец в нос, пробубнил:

– Не помню.

Мельком глянув на меня, врачиха презрительно скривилась, переспрашивать не стала, решив, что перед ней недоумок. Могу только догадываться, какой бы стоял вселенский ор, сломай вдруг мой внук или внучка мизинчик, порежь серпом ладонь до кости, воткни в пятку ржавый гвоздь толщиной с карандаш, упади с дерева, ломая по ходу буйного и не совсем управляемого полёта своего сучья и ветки, с высоты трёхэтажного дома носом о пенёк. Это только сейчас точно знаю, кто и зачем меня упасал. Но никому не признаюсь. Всё равно ведь не поверите.

Глава 19. ВКУС ХЛЕБА ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ

Станция Прохладный...

– Почему станция, которая «она», то есть женского рода, называется, как «он»? – рассуждаю я. – Ну, понятно бы, когда город...

За время нашего многодневного путешествия, истомлённые жарою, санитарно-бытовым кошмаром, питанием всухомятку, все так отвыкли от нормального домашнего уюта, невозможности уединений, что, оказывается, так необходимо каждому человеку, других вещей, которых в обыденной жизни просто и не замечаешь, что, выйдя из вагона, ступив на качающуюся землю, а она и действительно покачивалась, словно палуба корабля, совсем было растерялись. Господи! Неужели всё позади? А главное – эта стадность... И это бесконечное чувство вагонной грязи, когда к чему ни притронешься – всё липнет; и это постельное бельё с характерным тюремно-барачным запахом, серо-бурого цвета, с ужащающе неряшливыми полосатыми ватными матрацами – бугристыми, сплошь покрытыми жёлтыми пятнами и разводами, на которые не то что ложиться, а и смотреть-то тошно. И сами мы... Липкие, чумазные и помятые, с торчащими щетиной, давно немывтыми волосами, в которых, так мне казалось, уж точно, наверное, шевелятся вошки. Но всё это – и шатающийся, как пьяный, перрон, и деревья, и дома, пытающиеся тронуться и медленно поплыть, всё это случится буквально через считанные минуты, когда наконец-то вагон – наш ковчег, окончательно пристанет к пристани – земле нового нашего обетования. А пока, отсчитывая секунды, колёса мерно продолжали стучать на стыках рельс, взахлёб тараторить на стрелочных переездах, медленно вкатывали состав на последнюю из станций нашего назначения. Прохладный встретил нас тропической жарою юга, резко пахнущим гудроном, расплавленным асфальтом, сельским покоем глубоко провинциального местечка, выбеленными низенькими домиками станционных строений, почти безлюдным перроном.

– Как же так, – недоумённо переглядываемся мы, объятые раскалёнными потоками солнца, – какой же это Прохладный, в котором, конечно же, должно быть прохладно, когда вот такая жарница?

Отвыкшие от твёрдой земли, идём на ватных ногах качающейся морской походкой; кажется, что это не мы движемся, а сами дома и деревья плывут мимо нас вместе с тротуаром, который к тому же под ногами ещё и мерно подрагивает и раскачивается, подобно полу плацкартного вагона. Отчётливо, словно внутри самой головы, слышатся переборчатые стуки колёс.

– Вова! – с испугом и на ушко шепчет мне Таня, – тебе не кажется, что этот самый Прохладный не стоит на одном месте, а куда-то плывёт?

Это, что же... Весь Кавказ, как большой остров, сам по себе по морю плавает?..

– Наверное, это потому, – на ходу выдумываю я, вспомнив папин рассказ про гигантские ледники, которые имеют иногда привычку сползать с гор, неся на своих спинах целые утёсы и холмы вместе с деревьями, – что ледники от такой жары опять тронулись. Если асфальт вот так размягчился, то что остаётся льду, которого в Кавказских горах аж до самого неба, – солидно аргументирую я.

– Не отставать! – бодро кричит папа, вышагивая впереди нас с двумя огромными фибровыми чемоданами коричневого цвета, на углах которых в никелированном железе ослепительно сияет солнце.

У каждого из нас в руках своя ноша. Мне доверено нести сетку с буханкой серого хлеба и огурцами, теми, что не успели съестся в поезде, а ещё и папину шляпу, которую он почему-то не стал надевать на свою голову, а нахлобучил на мою. Валерик тащит хозяйственную сумку ядовито-зелёного окраса в чёрную клеточку, клеёчатую и совершенно неистребимую, несоизмеримо большого размера с егоросточком, отчего эта самая сумка нет-нет да и начинает за ним волочиться, издавать от соприкосновения с асфальтом шипящие звуки. Танечка – несколько папиных журналов, связанных шпагатом в тугую трубочку, и свёрнутый цветастый зонт. Мама также не идёт налегке. В одной руке у неё не очень большой чемоданчик, купленный по случаю в сельмаге специально для Валерика, когда его собирали в Обуховский пионерский лагерь, в другой – дамская кожаная сумочка с документами и деньгами, которую она берегла как зеницу ока, не расставалась ни днём ни ночью.

– Анна! – предупреждал папа. – Не дай Бог в дороге оказаться без документов и без денег. Считай, самое пропащее дело, и разговаривать никто не станет, посадят до особого разбирательства в клетку, вдруг ты какая из интервентов, а Вовка – диверсант.

– Папа! – тут же задаю я ему вопрос. – А чем диверсант отличается от разведчика? И кто такие эти самые интервенты?

Не знаю и почему, но серьёзность моего тона вызывает у отца смех, Танечка моргает глазками, протяжно тянет:

– А я-а-а?.. Кем буду я, когда нас всех посадят в клетку?

До Нальчика добирались на маленьком рейсовом автобусике, переполненном, кажется, до самого своего последнего закуточка. Откуда-то сзади кудахтали куры, пытался даже закукарекать молоденький петушок, но, видно застеснявшись своего ломающего подросткового голоса, тут же и смолк. Густо пахло сырмятными кожами, варёною кукурузою и ещё каким-то запахом, похожим на хлебный, но и не хлебным, очень вкусным. Старенька бабушка, вся в чёрном, совершенно не умеющая

говорить по-русски, достаёт из холстяной сумки три пухлых золотистых шанежки, как мне кажется, но более по форме похожие на маленькие игрушечные подушечки с острыми уголочками, протягивает нам – детям. Мы вопросительно глядим на папу. Он еле заметно кивает головой. Так по дороге из Прохладного в Нальчик мы впервые познали вкус настоящих лакумов, которых до этого никогда не пробовали. Мягкие, тёплые, воздушные и ароматные, солнечного цвета, они настолько мне понравились, что в глубине души, исходя из своего непосредственного детского прагматизма, даже посетовал: «Могла угостить и более... Шанежек аж целый мешочек...».

Старенький фордовский автобусик, совершенно убитый непосильными трудами, бряцая, звеня и скрипя, кажется, всеми своими железными косточками, медленно катил по пылящей грунтовой дороге с густо засаженными по обеим обочинам молодыми тополями. Шофёр – совсем ещё молоденький парнишка, кудрявый и с тоненькими чёрными усиками, всю дорогу, не стесняясь, во весь голос проникновенно пел песни из популярных тогда кинофильмов:

– Он её целовал, уходя на рабо-о-оту, а меня целовать, как всегда забывал, как всегда-а-а за-бы-вал, – старательно выводил он, подбадривая себя же плавными движениями правой руки так, как это делают дирижёры.

Закончив одну песню, тут же без всякой передышки принимался петь другую, не менее популярную в связи с Всемирным фестивалем молодёжи в Москве:

– Не слышны в саду-у да-же-э шо-ро-хи, всё здесь замерло-о-о до утра-а-а...

Подскрежет и повизгивание раскалённого на солнце железа, натуженный вой мотора песни приобретали неожиданно новое прочтение. В том месте, когда требовалось включить пониженную передачу скоростей, так как начинался крутой подъём, а редуктор, ноя и стрекоча, никак не желал включиться в зацеп с соответствующей шестернёю, он почти кричал:

– ... Так, любимая, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера...

Машина, трясаясь как в лихоманке, наконец-то переходила на нужную скорость, все с облегчением вздохнули. Пятиться назад с заглушим мотором, конечно же, никому не желалось, шофёр с ещё большим энтузиазмом принимался петь про трёх весёлых танкистов – весёлых друзей, которые в целом есть экипаж машины боевой. Иногда кто-нибудь из пассажиров, особенно из женщин, проявлял инициативу, под одобрительный гул остальных громко кричал:

– Азамат! Спой что-нибудь про любовь.

Под суровое бряцанье железа на ухабах, утробные стенания старенького мотора, что, и как с тем не согласиться, мало согласовывалось с духом самой любовной лирики, он принимался было за «Землянку» и «Тёмную ночь», но совсем ненадолго, вскоре же, и совсем неожиданно, переключался на боевую, так соответствующую данному моменту:

– Броня крепка, и танки наши быстры...

И про то, как под Сталинградом горло ломали врагу, а потом... Проникновенно и патетично:

– Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальём.

Вот так под нескончаемые песни истинно народного певца Азамата мы наконец-то добрались до города Нальчика – окончательной цели нашего изнурительного, но очень интересного путешествия.

Глава 20. СУРОВЫЕ БУДНИ ОБРЕТЁННОГО РАЯ. ВРЕМЯНКА. ЗАБОЛЕВШИЙ АККОРДЕОН. РАНЕНый В ПОПКУ

1

По всем признакам, отличающим городскую улицу от сельской, Клиническая ну никак не попадала под категорию улиц городских или хотя бы провинциально-городских. Те же небольшие приземистые домики со ставнями на окнах, которые обывателям так нравится выкрашивать в густо-голубой цвет с белой оторочкой по контуру, проёмно-резные наличники, хлипкие деревянные заборчики, реже – дувалы из дикого камня, оштукатуренные и оплывшие, выбеленные известью, с наружной стороны которых впритык лепятся сливовые или вишнёвые деревья. Во всей этой архитектуре, если оной всё это можно так назвать, не чувствовалось и малейшего намёка на какую-либо национальную особенность. Обыкновенная улица, каких на юге России тысячи; никак не мощённая, пыльная, но в то же время с никогда не просыхающими зелёными лужами вдоль обочин, с зеленеющими островками чахлах подорожников да аптечных ромашек, сточными канавами, которые и подпитывали эти самые заболоченные лужи, особым духом деревенщины – местечек, не познавших благ закрытой канализации. Хотя... Водопровод на то время по улице Клинической был уже проложен, да и во дворах, хоть и не во всех, были устроены краны. Всё же остальное... В общем, как мне казалось – абсолютно сельская улица, к тому же почти стопроцентно русскоязычная, мало чем отличительная в своих национальных особенностях, разве что простонародным малоросским казачьим говором. Времянку, которую родители сняли у известного уже тогда скульптора Фёдора Калмыкова, трудно было признать жилищем комфортабельным.

Отдельно стоящее от дома низенькое строение с узенькою дверцею и двумя махонькими квадратными оконцами больше походило на сарай. Кажется, без фундамента, так как дощатые полы были одним уровнем с землёй, с кривенькими глухими сенцами, в которых эти самые полы были и вообще глиняными, и двумя игрушечными комнатухами. По мере заполнения их домашним скарбом и прочими вещами, привезёнными с собой с Урала, львиную долю которых составляли книги, внутреннее пространство настолько сузилось, что стало более походить на корабельные коморы, набитые заморскими товарами. Полной Большой Советской Энциклопедии в пятьдесят с лишним томов и прекраснейшему концертному итальянскому аккордеону «Сильвио Брантес» так и вообще места не нашлось. Потолки в этих двух коморках были настолько низенькими, что книжный шкаф и шифоньер, на крыше которого так вольно ранее проживалось итальянцу, в свой полный рост едва сами поместились. Суровая действительность диктовала свои законы. Библиотеку втиснули в совсем неотопливаемые сырые сенцы в самый угол и под косой потолок вместе с хлипкой этажеркой – произведением кустарных мастеров, туда же, куда и кухонный стол с пламенеющим керогазом. Аккордеон в его оригинальном фирменном футляре пристроили между двумя сходящимися кровельными стропилами, а дабы ненароком не свалился, привязали куском шпагата к торчащему из доски кривому ржавому гвоздю. На том и успокоились. Теплолюбивый иностранец с пылкостью сицилийского южанина оскорбился до глубины души, от огорчения стал терять голос. А когда мы с сестрёнкой варварским образом, то есть краем ножниц, выколупали из его широкой перламутровой груди ещё и более полторы дюжины бриллиантов чистой голубой воды, то и совсем охрип. Шикарнейшие тома лучшей в то время библиотеки, обтянутые чёрным с тиснением коленкором, от сырости стали покрываться плесенью. При виде такого бедствия, совпавшего к тому же и с общими материальными трудностями, и с аккордеоном, и с Большой Советской энциклопедией решено было навсегда расстаться. Относительно же аккордеона, приобретённого папой сразу же после войны на знаменитой свердловской барахолке, наш безумный вандализм обошёлся весьма даже дорого. Откуда же было знать мне с сестрою того, чего не знали и родители?.. Что камушки, украшающие в два ряда голосистую грудь знаменитого итальянца «Сильвио Брантес», не какие-то там финтифлюшки-стекляшки, а настоящие чистопородные бриллианты... Библиотека, дай Бог памяти, переселилась в старейшее учебное заведение города Нальчика – педагогическое училище, где находится и поныне. Камушки, варварским образом выкорчеванные нами из глухих платиновых розеточек – кастов, так отыскать и не удалось.

Все шестнадцать штук, по восемь на каждую сторону, были выметены вместе с иным мусором, который всегда случается на земляном полу, выброшены на помойку. Судьба... Первые же дни на вновь обретенной земле обетования были исполнены истинного аскетизма и суровости, в дальнейшем никак не обещали райских беззаботных утех и наслаждений в тенистых виноградниках и яблоневых садах. Страшило всё... И эта новая, такая огромная школа, аж в четыре этажа, и то, что, несмотря на итоговую четвёрку по арифметике, выставленную моей первой учительницей скорее для спокойствия родителей, как-никак отец директор школы, с этой самой арифметикой совсем скверно, а по-честному – так и совсем плохо – ничегошеньки не смыслю.

– Господи!.. – страдал я. – Ведь на первом же уроке выявлюсь. Как пить дать опозорюсь... От осознания только этого одного, отравляющего всякую безмятежность, у меня – человека совестливого, уши произвольно начинали краснеть, как у рака, а глаза слезиться. Загрываемый совестью, отравляемый неизбежным своим разоблачением, тоскливо отсчитывал дни улетающего августа, с животным ужасом представлял себе, что будет со мной – пропащим, если меня разлучат и не посадят за одну парту с моей сестрёнкой-кровиночкой – ангелом-спасителем, у которой можно по-незаметному списать и которая всегда подскажет шепоточком по-правильному. Ведь совершенно ничегошеньки не смыслю в этой, будь она неладна, арифметике. Да и по письму... За время вот таких бурных и беспризорных каникул с переездами, житейскими неустроенностями, как выявилось впоследствии, и на первом же уроке позабыл и некоторые буквы. Они словно выпали из моей памяти напрочь, перестали существовать вообще, обрели некое состояние небытийности.

– Вова, – изумлённо тыкает учительница начальных классов школы номер пять, – какая это буква?

Я что есть силы таращу глаза, блею нечто невразумительно, вызываю всем своим физиономическим обликом состояние удивления по поводу вроде бы знакомой, но уже позабытой иероглифы в виде странной загогулины, никак не вспоминающейся в своей фонетической звучности.

– Ну, хорошо, – успокаивающе, но всё же с железной ноткой в голосе говорит учительница, пронизательно вглядываясь в мои глаза, налитые слезами отчаянья, мольбы и стыда, касаясь тыльной стороной ладони моего пылающего огнём уха, – ответь мне... Как ты сам считаешь... Вот этот текст, – тыкает пальцем в цветную картинку, – ты действительно прочитал? Ты действительно прочитал, а главное, понял, что тут написано?

Сняв свои очки, откинув голову набок, с нескрываемым любопытством смотрит на Таню, страдальчески ёрзающую от нервов на первой парте левого ряда за своего братика, вот так опростоволосившегося на первом же уроке в новой школе. Нисколько не мнятуясь, я утвердительно киваю головой, давая понять учительнице, что хоть некоторые буквы и как-то запамятовались, с текстом в целом я справился.

– Прекрасно! – почти торжественно и не без сарказма улыбается Анна Даниловна. – Может, ты и содержание своими словами нам перескажешь? Не стесняйся, Володенька, перескажи, как ты всё это понял, а мы послушаем. С удовольствием слушаем... Ведь правда, дети, – окидывает она взглядом класс, смиренно успокаивая рукой отличников, принимающихся угоднически хихикать.

Глядя на лежащую перед собою цветную картинку, под которой и расположен текст, бегло, а самое главное – литературно пересказывая суть нарисованного, дополняя от себя в нужных местах всякие красоты, такие как – и дивно струящаяся речка, «белокрылые облачка», «природа-матушка», «воспитанный мальчик Петя». Господи... И чего проще-то... Гляди в оба да рассказывай себе на здоровье... Учительница с нескрываемым изумлением смотрит на меня, переводит взгляд на сестрёнку, потом опять на меня, рассеянно на класс:

– Это как же так? – задаётся она вслух и даже протирает свои очки платочком.

«А вот так!..» – мысленно радуюсь я, что провалился всё же не до конца под землю, а всего лишь по пояс и что не совсем законченный дундук.

Во времена моего ученического детства это оригинальное слово, ныне как бы позабытое, среди учителей имело весьма широкое хождение.

– Господи! – обращается к Богу воинствующая атеистка Анна Архиповна, заламывая от отчаянья свои руки, с нескрываемым презрением окатывая взглядом тщедушную фигурку Яшки Моисеенко, стоящего перед нею понуро и с опущенною головою за ученической партой. – Как же ты это учил?! Где ты это выучил? – почти визжит она. – Когда ничегошеньки не мыслишь ни по одному предмету... Стоишь как кол стоеросовый, дундук дундуком... Мало того, – ещё более закипает она, – что ни бельмеса, о чём ни спроси... Посмотри на свой вид... На кого ты похож – олух царя небесного...

Под суровым взглядом учительницы Яшка ёжится, как от озноба, лицо его покрывается синюшными пятнами, начинает поправлять края вылезшей из-под ремня ученической гимнастёрки, суетно бегающими пальчиками застёгивать бронзовые пуговицы на груди, пытается даже оттереть ладошкой огромное чернильное пятно на рукаве.

– Садись уж, – безнадёжно машет на него рукой Анна Архиповна, выводя на страничке дневника, пестрящей от красного, очередную жирную двойку.

Осмыслить, что есть этот самый или кто есть этот самый колстоеросовый, который к тому же ещё и возвышается дундуком дундуковичем или олухом царя небесного, было выше всяких моих разумений.

– Ашбоков! Хасан Ашбоков! – почти мужским голосом рокочет Анна, но уже Даниловна, учительница начальных классов, – в конце-то концов... моему терпению будет конец?.. Что ты всё вертишься и вертишься, как шамия на колу!? А спроси вот сейчас что... Ведь загодя знаю, что ни бельмеса, ни в зуб ногой... Будешь стоять дундук дундуком, колода колодой, пнём неотёсанным. Другой бы на его месте ниже и тише травы сидел, истукан ты этакий.

Да!.. Поистине образности русского языка, изысканности его речи – ни конца, ни предела. Думаю, ни в одном из других языков не присутствует столь множеств выражений, не совсем понятных по смыслу, столь точно воздействующих на саму душу. Истукан, колода, пень, чурка, болван, тупица, дуб берёзовый.

– Что ты бельма свои выпучил, – ярится Яков Андреевич, преподаватель по столярному делу, трудовик, наступая всею своею грудью на совершенно сдрейфившего третьеклассника, окаменевшего от ужаса, – стоишь тут, понимаешь ли, как пень-колода, словно какая чурка неотёсанная, делаешь вид ангельский. По-твоему, это я, что ли, разбил из рогатки стекло?..

– Яков Андреевич! Это не он, – пищит рыженькая девчонка со спущенными гармошкой чулками на ножках, больше похожих на кривенькие макаронины, – это вон тот, – указывает чернильным пальчиком на удирающего во все лопатки хулигана, двоечника и второгодника Жамбетова Ахматку. – Я сама видела, как он из рогатки пульнул по воробью, а не специально попал в окошко. А Димка... он только рядом стоял и смотрел.

На всякий случай крутанув Димкино ухо, Яков Андреевич спешно, почти бежит к стайке пацанов, в которой, казалось бы, бесследно растворился Ахматка, ловко выхватывает его из толпы, крепко ухватив за шкирку форменной куртки, почти волочет к директору школы.

– Предательница... – презрительно шипит на рыжую активистку Димка, которого она вот только что спасла от неминуемой расправы.

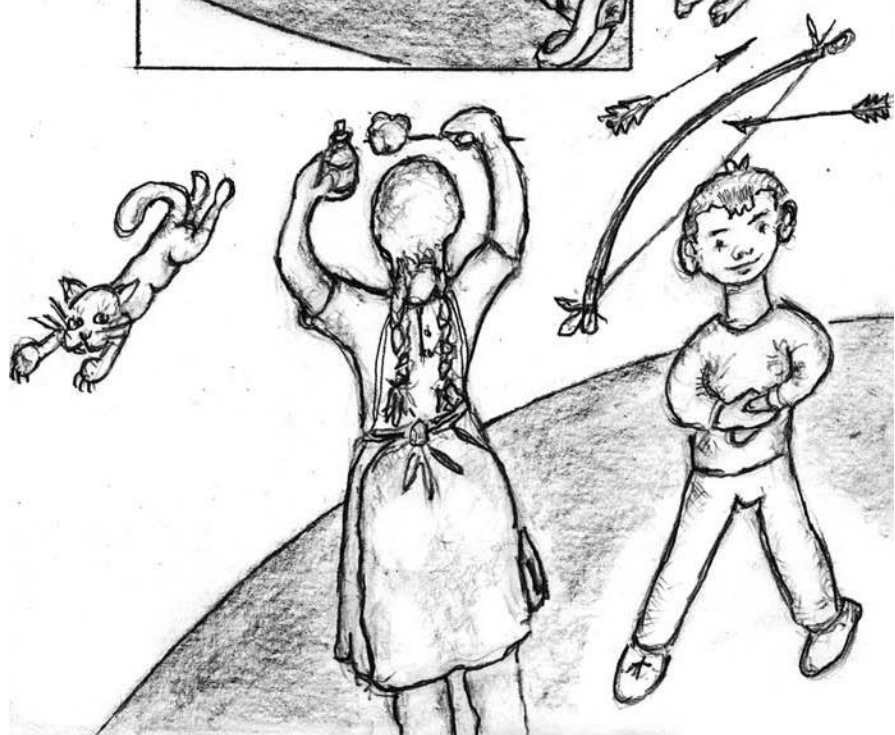
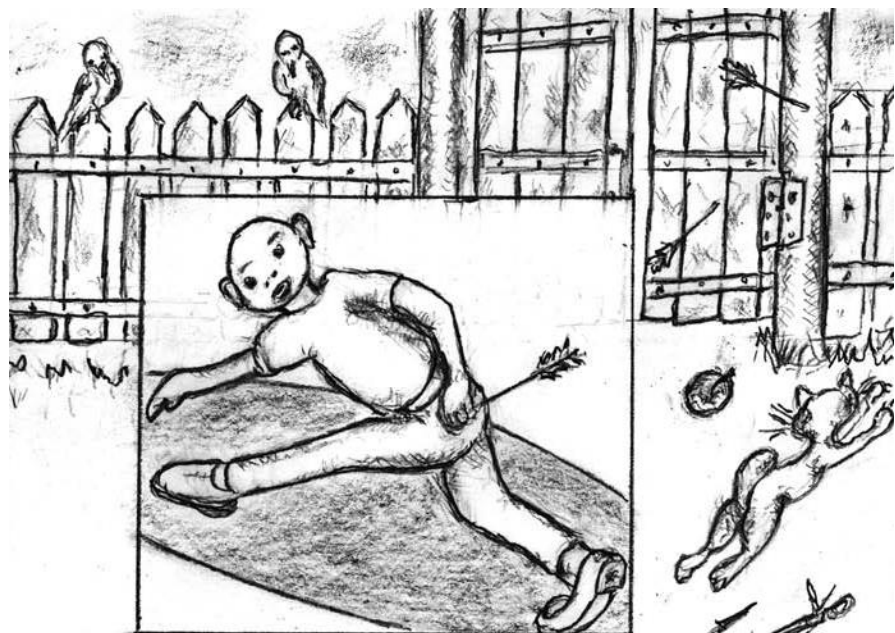
– Ты чё!.. – вылупляет по-козьи свои жёлтые глаза его же одноклассница Ирка Ходулькина. – Для тебя же старалась...

– Старалась, старалась она, – передразнивает её Димка, – где ты так старалась, когда Ахмата уж точно из школы исключат, а может, и в

детскую трудовую колонию определяют. За ним, знаешь, сколько всякого?.. А за мною... Уж лучше бы мне было признаться, что кокнул из рогатки стекло я.

2

Но всё это случится несколько позже, потом, когда меня с сестрёнкой окончательно определяют учиться в школе номер пять – лучшей из школ города Нальчика, во второй класс «Б». А пока, пребывая в самом весёлом расположении вольнолюбивого духа, босиком и в одних трусах носился по улице, азартнейшим образом бился в чёкалки, игру для меня новую, суть которой есть выбивание плоским камушком из кона – мелового квадратика, сплюсненных жестяных крышечек от пива и газированных вод. Оттачивал точность стрельбы из собственноручно изготовленного мною боевого лука, наконечники стрел у которого были самыми что ни на есть всамоделашными. Выполненные мною из жести от консервных банок, выгнутые конусом и заточенные на конце напильником, они, как настоящие, вонзались в деревянные ворота. Сама стрела на своём противоположном конце имела гусиное оперение, выкрашенное для красоты маминими красными чернилами. Красиво до невозможности. Установив на горизонтальном брусе ворот яблоко, метров с пятнадцати что есть сил пытаюсь в него попасть. Как мне помнится, яблоко именно и есть тот плод, в который по обычаю стреляли рыцари, доказывая свою меткость перед своими принцессами. Стрела, словно испытывая моё терпение, вонзалась то выше, то ниже, а то и вообще перелетала через деревянные ворота на улицу, прямо в расположенную в этом месте непросыхающую зловонную лужу, зелёную, сплошь покрытую сероводородными пузырями. Племянник скульптора Вовчик, также Калмыков, младше меня годика на два – проказник каких ещё поискать, бегаёт вокруг, пристаёт дать и ему хоть один разочек стрельнуть из лука краснопёрою стрелою, из которого, как он тут же мне красноречиво врёт, умеет стрелять, как настоящий чемпион мира. В подлинной боевитости стрелы с жестяным наконечником мне пришлось убедиться на собственной худосочной попке. В то время, когда я шёл к воротам, чтобы установить на место упавшее само по себе яблоко, Вовчик понарошку ли или случайно натянул тугую тетиву с установленной на ней стрелою, не сдержав пальчиками, как он потом оправдывался, стрельнул по-настоящему. Отчаянно взвизгнув, стремглав, подобно лермонтовскому Гаруну, что удрал с поля брани, где кровь черкесская лилась, я быстрее лани помчался домой зализывать рану. Вовчик от страха, что вот так получилось, сначала бешено расхохотался от нервов, бросил лук, юркнул к себе во времянку, спрятался под



кроватью. Его мать Аза Амерхановна чисто случайно увидела мой бег с алоу стрелою в заднице, схватив пузырёк с йодом и клочок ваты, помчалась следом за мною. Выдрав из попки наконечник стрелы, который не раз и не два побывал в зловонной сточной луже, обильно стала удобрять рану йодом. Всё, как ни странно, обошлось. Быть человеком, которого по-настоящему подстрелили боевой стрелой, мне понравилось. Было в этом что-то от романтического. Это тебе не из рогатки камнем в лоб... И даже не от пули, которая в сравнении с настоящей краснопёрой стрелой и в пыль не сравнится. Одно несколько смущало, что стрела вонзилась не в грудь, не в спину, что очень даже красиво и эффектно, не где-нибудь ещё в каком месте, скажем, в плечо, а... тыкнулась в попку.

– Вова! Вова! – пристаёт Фатимка Назарова, девчонка моего возраста, родная племянница Азы Амерхановны, – а правда, что наш Вовчик подстрелил тебя из лука в попку? И что ты не сразу упал, как падают с коней настоящие рыцари, а ещё долго, долго бегал с этой стрелой по улице, пока тебя наша тётя Аза не впоймала и не спасла? А больно было от такого укола? А если из твоего лука стрельнуть в небо, стрела долетит до вон той тучки? – тыкает пальчиком вверх, по-смешному жмурясь от яркого солнечного света.

– Отстань, Фатимка, – психую я, – следующий раз, и это точно, я вашему Вовке стрелу в попку воткну, чтобы знал, как соблюдать технику безопасности. Уж знаю, как у него сорвалось по нечаянности...

Глава 21. СКУЛЬПТОР. ПОЭТ. ТРИ ГРОШИКА

1

Кто такие есть эти скульпторы, в чём заключается их род деятельности, я, если и имел представление, то, по-честному говоря, самое смутное. Однажды мы с Вовчиком и, конечно же, без всякого разрешения залезли на чердак их дома, туда, где располагалась одна из личных мастерских его дяди Феди – Фёдора Калмыкова, где он хранил различный деревянный материал, гипсовые формы и многое чего другое, предназначение которого мне ещё предстояло уяснить. Больше всего, что меня поразило, так это овальный барельеф Владимира Ильича, выполненный на толстенной чинаровой доске величиною со столешницу небольшого журнального столика и в профиль. Почти по центру доска сильно треснула и даже разошлась к одному краю чуть ли не на толщину пальца. Ленина с глубокой трещиной на всю голову я увидел впервые, что меня – человека бесконечно мыслящего, конечно же, крайне заинтересовало. Как же так... Владимир Ильич Ульянов, голова которого, пусть и деревянная, но вот-вот разъедется на две половинки.

– Вовка, – спрашиваю я, – а что... Трещина сама так случайно сделалась или... Или твой дядя так специально придумал, когда ножичком выстругивал и выделывал дедушку Ленина?

– От сырости материала лопнула, – солидно и со знанием дела отвечает он, протискивая пальчик в трещину, – знаешь, сколько времени он над ним старался не покладая рук... Резал, резал... А она, эта дровеняка, значит, возьми да ночью и тресни на всю длину, прямо по носу. Ещё вечером была совсем целёхонькой, как новенькая, а за одну ночь вот так и раскололась, словно кто топором понарошку вдарил.

– А чем же он вот эту деревяку так резал? – не унимаюсь я, профессиональным взглядом окидывая толстенную чинарового дерева доску овальной формы, – ведь она твёрдая?.. Пробовал уж один раз из маленького кусочка кораблик по-настоящему выстругать, чуть ножичек не поломал, – говорю ему я.

Поозиравшись по сторонам, Вовчик по-заговорчески шепчет:

– Пойдём, я тебе покажу такое... Только никому не выдавай. Дядя Федя очень не любит, когда его инструменты кто-то трогает, побить даже может, если без разрешения.

На чердаке просторном и светлом, а всё благодаря двум большим окнам, врезанным под углом прямо в крышу, на неокрашенном деревянном полу лежало предостаточное количество обрезных досок, бумажных мешков с чипсом, каких-то коряжистых пеньков с высверленными дырками по центру, большой фанерный ящик с крышкой, накрест перевязанный волосатой верёвкой. Прямо у окна, того, что выходило лицом на улицу, стоял обыкновенный школьный столярный верстак, прикрученный болтами прямо к полу. Из-под самой крыши на витом электрическом проводе под широченной жестяною шляпою свисала лампа, прямо над верстаком, которую при помощи верёвочки, перекинутой блоком через стропило, по всей вероятности, можно было регулировать, поднимая или опуская по своему усмотрению. На верстаке, в груди неубранных стружек, лежала доска светлого дерева с прорисованной на ней углем танцующей тётеньки в национальном платье и с кувшином на плече. Рядом, в полной неразберихе, как показалось мне, валялись разные стальные шутовины с деревянными ручками, по-всякому изогнутые, с острыми, как бритва, кромками на концах и совсем не похожие на ножички, а более напоминающие трубчатые желобки, распиленные по оси вдоль. Были и такие, что походили на причудливо изогнутые совочки с тонко-заострёнными краями и совсем тонюсенькие, что штырьки, но также с желобочком.

– Так вот, оказывается, какие инструменты у самых настоящих художников, которых называют ещё скульпторами, – не без зависти подумал я. –

Такими, конечно же, если хорошенько приноровиться, что угодно можно в дереве прорезать. А пилочки разные, что на гвоздичках по стене, а сверлилки... Не то что у меня... Попробуй-ка перочинным ножичком, да в такой толстой доске что вырезать. Да в жисть не получится по-правильному. Как ты глазик, или нос, или губы им выделаешь?.. А так... Стук, стук специальным деревянным молоточком по обушку стамесочки, хоть на любую глубину можно углубиться, даже насквозь.

Взяв в руку одну из стамесочек, в другую – молоточек, прошу Вовчика позволить испытать всё это на какой-нибудь из ненужных дощечек. Ещё раз поозиравшись по сторонам и даже заглянув в открытое окно, он почти шепчет:

– Давай испытаем вон на той беленькой дощечке, что кривенько отпилена, – показывает пальцем, – раз она вот так просто валяется в пыли, то уж точно не очень важная.

Закрепив сухую еловую дощечку в деревянном зажиме верстака, принимаюсь к испытаниям. От совсем лёгонького удара молоточком по обушку стамески, которую я уткнул под небольшим углом к заготовке, на поверхности доски появляется ровненький желобок – блестящий и гладкий. По нарисованной линии, если бить молоточком несильно, но часто и часто, запросто можно вырезать и волнистую ленточку, и даже кружочек наподобие солнышка. Вовчика позвала мама. Он пообещал вскоре же вернуться, мне же наказал не высовываться в окно, незаметному затыриться, не бежать и не стучать, иначе его зато, что он пустил меня на чердак, уж точно выдерут. Я остался один. Оставаться одному, да и ещё без разрешения взрослых, в помещении, набитом драгоценными штукавинами, было, по-честному говоря, страшно. А вдруг да кто подумает, что я воришка и прокрался сюда, чтобы что-нибудь украсть, похитить дорогие инструменты, которые ни в одном магазине, обыщись, не купишь и за деньги, настолько они редкостные. Шутка ли... Режут дерево как по маслу.

– Вот бы мне, – мечтательно закатываю глаза я, – по рисунку вырезать настоящий портрет дедушки Ленина, но с матросской трубкою в зубах. Так он будет ещё мужественней, ещё красивее, ещё больше похожим на настоящего доброго старичка. Вот все удивятся и не поверят, что это я сам вот так, по-выпуклому вырезал портрет Владимира Ильича. А почему?.. Да потому что у меня такие волшебные инструменты, которыми что угодно можно сделать и запросто.

Поозиравшись, в дальнем от меня углу обнаружил подобие деревянного стеллажа, грубо сколоченного из досок, в три полки, с нависающим над ним куском зелёного брезента, пыльного, сильно вымаранного известью.

Гипсовые фигуры и отдельно вылепленные головки дядек, тётек и даже детишек разных размеров хаотично нависали друг над другом, теснились, прижимались то лбами, то носами, а то и затылками, готовые вот-вот свалиться со своих узеньких полок, разбежаться в разных направлениях, чтобы друг друга и не видеть. В их же общество, непонятно и зачем, затесались и глиняный кувшин с расписными глазурованными цветочками, стеклянная ваза с отбитой ручкой и какой-то непонятный конь с отбитыми ногами, вместо которых из мускулистого и пышущего здоровьем гипсового тела торчали худенькие, ржавые и кривенькие железячки, на которых он и стоял как вкопанный.

– Бедная лошадка, – участливо пожалел его я, кто же ему ноги так поотламывал?..

В связи с этим ли, но почему-то вспомнился мой конь-качалка, подаренный ко дню рождения, когда мне с сестрёнкой Таней исполнилось пять лет, и которого я обильно напоил настоящей брагой, предварительно разомкнув ротик – пропилив папиной пилюкой, которая пилит даже железо, сквозную щель, куда и втиснул, не без усилий, край горлышка четвертной бутылки. Животное, выполненное из прессованного папье-маше, красиво разукрашенное серыми яблоками, отлакированное, от подобных хмельных возлияний вспучилось утробушкой, к утру опьянело вдрызг, раскисло, на ногах стоять уже не могло, почила от пьянства. На самой нижней полке стояла большая поплечная скульптура усатого дядечки в папахе. Из высоко поднятого плеча, облачённого в бурку, словно обрубленного и похожего на часть крыла птицы, торчал почему-то толстый ржавый гвоздь с куском привязанной к нему верёвки, а сверху по центру папахи высверлена прямо вовнутрь головы глубокая дырка величиною с кулак. Начиная с брови, по косой, пересекая нос и краешек губы, тянулась уродливая глубокая трещина от папахи по затылочную часть и до плеча – другая ещё глубже.

– Зачем же, – задаюсь я, – вот так стараться, вырезывать из толстого куска дерева эти головы. Если они всё равно растрескиваются и становятся никуда не годными? Не может быть так, здесь уж обязательно кроется какая-то тайна. Ведь художник не может не знать, вырубая из этакого-то бревна задуманную им статую, что она, и это факт, со временем растрескается, исказится до полной неузнаваемости, станет совсем непригодной.

Но на этот вопрос я отвечу сам себе много-много позже, тогда, когда пройдёт достаточное количество лет, когда уже сам увлекусь скульптурою, достигну некоторых результатов, буду выставляться в различных музеях и выставочных залах. Оказывается... для большинства «творящих»

дерево – это всего лишь обыкновенный материал и не более; такой, как камень, но только ещё более доступный и дешёвый, то есть обыкновенный неодушевлённый материал. Отсюда всё... И это, уж поверьте мне, вне презумпций таланта, образованности и прочих знаний.

– Что же тогда остаётся? – не без удивления спросите вы и наверняка скептически улыбнётесь.

Теперь-то уж точно отвечу: остаётся – Любовь, которая и есть эта самая тайна, не нуждающаяся в объяснении. Ею скреплено всё; она не даёт мирам распасться на составные частички. С любовью и из самого сырого куска дерева у мастера, верующего в эту любовь, никогда ничто не треснет. Не пример ли тому Ноев ковчег, охраняемый льдами гор Араратских для грядущих поколений к прозрению неверующих? Как знать... Как знать... Очнувшись от мыслей, явленным мне из ненаступившего ещё будущего, с великим удивлением обнаружил себя в обществе скульптора Фёдора Калмыкова – хозяина и дома, и мастерской.

«Как же он так незаметно? – похолодел в душе я. – Вот сейчас мне будет, что без разрешения... И что инструменты трогал, ценную дощечку попортил. Уж наверняка подумает, что залез, чтобы что-нибудь слямзить».

Словно и не замечая моей крайней степени смущения, моих горящих огнём щёк и ушей, даже и не поинтересовавшись – каким лешим меня сюда занесло и каким образом мною открыт навесной замочек фанерной двери, ведущей на чердак, который дрожащей рукою маленьким ключиком открыл Вовчик, дядя Федя берёт с верстака мою экспериментальную досточку, на которой я узенькой стамесочкой умудрился вырезать подобие кругленького солнышка с лучиками и плохо на себя похожей тучкой, края у которой съехались в одну тонюсенькую линию, словно эта тучка привязана к ниточке, как воздушный шарик.

– Ты, что ли, вот так резал по кругу? – не без удивления, как мне показалось, спрашивает меня.

Покраснев ещё сильнее до самых корней волос, признаюсь, что всё это сделал не понарошку, а нечаянно и что так больше без разрешения никогда делать не буду...

– Пожалуйста, – с выступившими слезами на глазах прошу его, – не говорите про мой проступок маме с папой.

Ещё раз внимательно посмотрев на меня, спрашивает:

– Как же ты вот так умудрился?.. Резать еловую досточку, да ещё и по кривой... Или кто учил?.. А если бы свернуло да стамеской в живот?.. Столярный инструмент – дело нешуточное, – совсем миролюбиво объясняет он мне, – чтобы им по-правильному владеть, нужно много

и долго практиковаться, руку набивать. Да и материал материалу рознь. Иное, как вот это, – звонко щёлкает пальцем по моей дощечке, – вдоль режется легко и гладенько, стамесочка сама так и бежит ручейком, как та ниточка, к которой привязана твоя тучка. Или это вовсе не тучка?.. – уже смеётся он. – Поперёк же скалывается, требует большого внимания и мастерства. Вот меня и удивило, как это ты с первого раза умудрился вот такой кружочек – солнышко с лучиками. Это же, как я понимаю, заранее придуманное тобою солнышко? Замысел, значит. Хвалю, молодец!

– Вот так-то, – могу похвастаться сейчас я, первым, кто меня похвалил, а по сути, благословил на дальнейшие мои художественные выкрутасы, был не кто-нибудь, а один из ведущих в то время скульпторов в нашей республике Фёдор Калмыков, которого, без преувеличения, можно поставить в один ряд с такими, как Хамзат Крымшамхалов, Всеволод Славиков, Дурнев, Михаил Тхакумашев, Заурбек Озов, и тогда совсем ещё молодым Гидом Бжеумыховым – автором известнейшего скульптурного комплекса в Нальчике в районе «Горный», посвященного Ленинскому комсомолу, с центральной фигурой, выполненной в стиле советского авангардизма, что по тем временам было решением достаточно смелым. Случилось это в 1969 году, прекрасным солнечным весенним днём, в Ореховой роще, которая на то время фактически являлась окраиной города. Я со своим другом Игорем Урусовым лично присутствовали на открытии этого замечательного монументального памятника. Помню, как сейчас, народу собралось преогромное множество: просто граждан, юной пионерии в красных галстуках и белых нарядных рубашках, комсомольцев, партийных деятелей, членов правительства во главе с Тимборой Кубатиевичем Мальбаховым, приглашённых из других республик гостей. Под торжественный звон меди духового оркестра, боевой гул барабанов, клич труб, сияющих в лучах весеннего солнца пуще золота, шёлковые девственно-белые сутаны, скрывающие скульптуру до времени, словно белокрылые облака пред порывом ветра, разошлись, эффектно соскользнули на грешную землю, явив взору нечто, отчего у всех, пусть и на совсем коротенькое мгновение, но в зобу дыхание спёрло. А спереть было отчего. Пред взорами тысяч глаз, жаждущих нечто необыкновенного, это необыкновенное предстало воочию. Монументальная обнажённая скульптура гигантского человека в полный рост со скорбно склонённой головой, дланью, сжатой в тугой кулак, впечатанный, кажется, в само сердце, угловатая и многогранная в своих плоскостях, сваренных в единое целое, со стиснутыми в единую линию ногами, слегка согнутыми в коленях, и!.. С гипертрофированным, прямоугольно-трапецивидным... до самых колен. В общем, сами понимаете, советский авангардистский, но...

Но реализм. Статуя-то – обнажённая. Гробовое молчание длилось совсем недолго; раздался многотысячный вдох, потом... Потом сдержанный гул и... И даже залихватский свист обкурившейся братвы, затесавшейся по случаю в толпу поглазеть. В дальнейшем, дабы не смущать такой прелестью беспорочную пионеррию, не искушать комсомолок и комсомольцев, да и всех остальных морально-высокоидейных граждан, скульптуру вскоре же огородили плотным заборчиком, одели в леса. Сам автор, а может, и не автор, история умалчивает, при помощи газового резака хладнокровно, категорично и радикально, призывно выступающую деталь тела, ответственную, надо признаться, деталь, вырезал. Образовавшееся отверстие аккуратно, словно так и было, закамуфлировал соответствующей по размеру заплатой, то есть приварил нечто, которое и при самом развёрнутом воображении трудно признать уже тем, что было на его месте. За сходство ли или по каким иным причинам психологического толка скорбящего комсомольца (а как тут не заскорбеть пуще прежнего, когда вот так...) с подачи безызвестного остряка, а может, какой несознательной набожной бабушки, перекрестили, нарекли по-новому – Фантомасом, что укоренилось и поныне.

2

Забегая вперёд, хочу признаться, а хотите – похвастаться, горделиво закатив глаза в небеса, вытянув телеса в струночку, благословил меня и великий балкарский поэт Кайсын Кулиев. Нет, нет... Не подумайте ничего такого... Ни на стихи, ни на иную писанину благословил, которую ещё снисходительно, обыденно и прозаично называют прозой или выдумляндией, что в его случае весьма даже естественно, благословил на трёхмерно-выемчатые художества, названия которым – лесная скульптура, напороочил быть Мастером. Случилось это много позже, когда я учился, кажется, в шестом-седьмом классе, увлекался всем, что взбрёт в голову: теми же стихами, музыкой, вырезыванием из причудливо изогнутых корешков и коряжек фантастических зверюшек, потешных рожиц человечков и даже чертей с кривыми рожками и свинячьим рылом. Признаюсь по-честному, мнить себя художником, а тем более скульптором, при таком потешном увлечении, такой резьбой, не дерзал даже и в душе. Нравилось, любилось, вот и всё.

3

Старая часть нальчикского парка, которая так и называлась – Старый парк, располагалась там, где ныне площадь Абхазии, недалеко от западной стороны стадиона «Спартак», представляла из себя на то время «закуток» трудно проходимых девственных зарослей орешника,

шиповника, дикой алычи, колючей дерезы и лоз винограда. Среди всего этого великолепия, как казалось мне, из самой непролазной гущи её про-израстали ещё и величественные, высотой до неба, груши и яблони, белолистные тополя и даже чинары. Таинственный полумрак настоящих джунглей, да и ещё в черте города, волнующие запахи прели, полная нелюдимость этого заповедного уголка навевали удивительнейшие чувства тихой радости, те чувства, которые ныне посещают разве что в редкие минуты творческого восторга и озарения, когда кажется: вот оно, истинное, а не надуманное счастье, вот оно то, ради чего и явился на этот белый свет, ради чего и живу поныне на земле, вопреки всякой логике. Это только сейчас уяснилось, да и то не совсем чётко, что поиски смыслов жизни, всякие философствования по этому поводу как наедине, так и в кругу таких же, как и сам оглашенных единомышленником, дело совершенно бессмысленное. Как это ни выглядит парадоксально, но всё-таки жизнь вынуждает признаться: поиск всяких смыслов жизни – бессмыслен; сумма накопленных знаний о Бесконечности приближается к абсолютному нулю. А если это так: в свершенных знаниях ли радость? Стремление к знаниям ради знаний не приводит ли к унынию, не лишает ли весёлости духа, не порождает ли в глубинах души горделивую презрительность избранного буквально ко всем, кто движим несколько иным. Вопрос... Парк меня манил непреодолимым образом. Здесь в тиши и уединении так светло мечталось; стихи и мелодии к ним, которые независимо от меня, самопроизвольно рождались – «наказание мне с самого раннего детства», в подобном заповедном для меня месте – уголке несказанного счастья, принимались бурлить пуще прежнего, изливаться на волю потоками. Порою очень даже сложные по конструкции, малопонятные и самому по смыслу, они приводили меня в такое неистовое возбуждение, что я принимался метаться на пяточке малюсенькой полянки взад-вперёд, выкрикивать эти сложнейшие поэтические штуковины, подобно Вергилию, да и ещё чёрт знает откуда взявшуюся музыку, такую же ни на что не похожую. Запомнить всё это, весь этот бурный и мутный поток, зафиксировать как-то в памяти представлялось делом совершенно невозможным. Припасённый на всякий случай блокнотик, как правило, оставался пустым, карандашик ломался, наливная авторучка начинала течь и пачкаться, мысли же, подобно потревоженным птицам, разлетаться в разные стороны. А то немногое, которое удавалось как-то зафиксировать, на поверку оказывалось «выпендрёжным», уж простите за это неблагозвучное слово, малопонятным, а самое ужасное – мало-поэтичным.

– Как же так, – недоумевал я, – ведь вот только что помнил две длин-ные рифмованные строчки, этакий гекзаметр, о котором, конечно же,

и не подозревал, что оный шестистопный стих и вообще существует в природе, ведь только что... Таинственные, красивые и умные по содержанию слова... Решил чуть-чуть подправить, чтобы было ещё ладнее, а скорее – понятливее, всё возьми да и рассыпся... Вернуть же, как было изначально... Словно ветер в голове прошёлся. И стихи, и музыка к ним разобиделись, дали дёру. Но не только в этом я себе находил вдохновение в дебрях старого парка. Причудливые сухие коряжки и корешки с растопыренными в разные стороны отростками навевали странные и сложные чувства, подобные ностальгии. Где-то в глубинах души воскрешались смутные воспоминания о некоей земле, где я реально обетовал, но очень-очень давно, где были густые леса, деревья наипричудливейшей формы с перевитыми ветвями, как и эти корешки, и с которыми я как бы даже общался, но не помню и как. Не имея за спиною крыльев, мог летать, совершенно и не задумываясь – почему это так я лечу. Лечу и лечу... Не прилагая к тому и самых малюсеньких усилий, парю над утопающим в зелени горным ущельем, по дну которого серебристой лентой мчитя в своём потоке бурная река, но совершенно беззвучно, так, словно это во сне.

Изогнутая и шершавая коряжка, которую я отодрал с корневища вывернутой из земли груши, что давно как превратилась в пустотелую трухлявую колоду, своими бугорочками и отросточками, в зависимости с какой стороны на неё смотришь, представляется то сгорбленным старичком-лесовичком, сидящим на пенёчке, то, если перевернуть, – бегущей собачкой, но трёхногой, а если представить с задней стороны – вылитая ворона, но... Как жаль... Похожая своим тельцем... Совершенно на непонятное. Зато голова с широко открытым клювом, шейка с пёрышками и даже один глазик, слегка прищуренный, как это умеют делать они – вылитая ворона! Осталось отсечь всё лишнее, кое-где подправить маленько для выразительности – и всё, скульптурка готова. Порою, засомневавшись, переворачиваю корешок на обратную сторону и вновь открываю для себя, но несколько иное, что собачка в окружении своего хвоста с вытянутой шкодливой мордашкой и остренькими ушками гораздо привлекательней, чем лесовичок. И что, если эти два отросточка срезать ровненько, а шейку утончить, уж слишком толстая, то будет в самый раз. Хотя... Опять начинают одолевать сомнения – у старичка уж больно физиономия колоритная... Да и шляпка... Материалу вполне хватает, чтобы из этого бугра, прилепившегося к голове, вырезать ему ножичком и шляпу, похожую на гриб. В ней он будет ещё замечательней. Обуреваемый художественными сомнениями, неожиданно для себя нахожу ещё один вариант. Так это же, если вот тут отчеккрыжить, вообще – вылитый Старик Хоттабыч! Мой великолепный ножичек

с двумя лезвиями златоустовской стали, которая уж точно не хуже чем какая-то там дамасская, почти не тупится. Лишь изредка я их правлю об узенький серенький камушек, найденный мною на речке. Поверхность оселка настолько гладкая, что кажется почти полированной. Тем не менее именно благодаря нему лезвия можно наострить до остроты бритвы. Камешком я очень дорожу, он, как и ножичек, неразлучно хранится во внутреннем кармане моего пиджака, для меня является предметом почти сакральным. Ещё бы... Не тупит, как иные, о которые я также практиковался точить, а острит до состояния бритвы. Даже папа – умнейший человек в мире, признался:

– Никогда и не думал, что узеньким перочинным лезвием можно бриться что опасной бритвой. Как ты так умудрился?

А всё мой волшебный камушек... Усевшись на пенёчке, а то и просто прислонившись к какому дереву, увлечённо вырезаю из растопыренного корешка свою деревянную скульптурку. Как настоящий художник, шурю глазки, по-разному выкраиваю физиономии; пытаюсь соблюсти некоторые пропорции частей тела, где-то добавляю от себя, а там отрезаю и вовсе. Подчиняясь моему замыслу, коряжка на глазах, как живая, начинает преобразовываться, в буквальном смысле двигаться. И вот... Нет уж необходимости что-то домысливать, сомневаться, прибавлять или убавлять: на пенёчке, с выступающим из него замысловатым сучочком, сидит домовёнок Иоаким Премудрый, мне ли его не узнать, лукаво тарачит кругленькие глазки, которые, как мне кажется, особенно удались, одною лапкою придерживает шляпку в форме бледной поганочки, другой, похожей на кривенькую загогулилку, которую я не стал никак поправлять, как бы призывно манит меня к себе. От восторга, что всё вот так замечательно получилось и что домовёнок, как живой, чуть ли не подмигивает мне, и не замечаю порезанного пальца и что кровью испачканы уже и штаны, вымаран домовёнок и даже собственный нос. Найти ли более возвышенного чувства?.. Ни весна, ни лето, ни зима, а именно осень побуждала меня на различного рода творчество. Странная истома в груди, беспричинные волнения, охватывающие душу, гнали в Старый парк, на волю, в места полного уединения, где так тихо и покойно, грустно и одновременно радостно до слёз.

Однажды, а это было, как помнится, в начале октября, когда осенний парк особенно восхитителен, а воздух, наполненный прелью опавших листьев и духом грибов, непонятно и почему заставляет биться сердце с каким-то тревожным восторгом, так увлёкся очередною своею поделкою из небольшого наплыва яблоневого капа, похожего на картофелину, который за неимением пилки отбил у основания ствола высохшего дерева большим замшелым камнем, что и не заметил, как за спиною



уж не знаю и сколько времени, но кто-то стоит. Обернувшись назад, вздрогнул. Буквально метрах в трёх от меня, на малюсенькой поляночке, сплошь усыпанной разноцветной осенней листвой – ярко-огненного и золотисто-зелёного цветов, задумчиво сложив руки на груди, стоял Кайсын Кулиев, которого я очень хорошо знал в лицо, а рядом с ним и ещё какой-то дядечка, с виду русский, почтеннейшего вида, в дорогом сером макинтоше и такого же цвета шляпе. Оба молча и пристально смотрели на меня. Задуманная мною скульптурная головка мужчины – гордого и мужественного, с орлиным носом и по-индейски слегка раскосыми глазами, была в последней стадии завершения. Оставалось аккуратнейшим образом всю поверхность зачистить мелкой наждачной шкуркой, что очень ответственно, определиться с направлением зрачков глаз, а это всегда выполняется в самую последнюю очередь, придумать к головке соответствующую ей подставочку. Кап, розовато-перламутровый, более похожий с виду не на дерево, а на дорогой поделочный камень, казался мне настолько восхитительным, настолько редкостным по красоте, что я, дабы уберечь его от излишней влаги рук, что для дерева всегда губительно, ибо по нему могут пойти трещинки, или как ненароком сильно не испачкать, ведь скульптурка-то почти готова, бесконечно вытирал тряпочкой, в которую потом и заворачивал, как малу лялечку, когда следовало возвращаться домой. Но и по дороге не утерпевал, чтобы ещё разок не глянуть; отворачивал уголочек тряпицы, с восхищением заглядывал: это же надо... Вот так удачно исполнилась... Страшно смутившись, стал запихивать головку в карман, но она не запихивалась; непонятно и зачем – ну не бандитская же финка – ножичек отбросил в листву.

«Это же надо вот так... – начинаю краснеть я. – Ведь, наверняка, они давно как наблюдают за всеми моими ужимками и гримасами, которые происходят помимо моей воли, когда я занимаюсь таким в полной уверенности, что один и никто меня не видит. Это я, и наверняка, и песни восторженно блял, и тонюсеньким голоском соло электрогитары избражал, и разговаривал сам с собою на заумные темы. Господи! Как это всё скверно... Легче со стыда провалиться».

Кайсын, широко и светло улыбаясь, подошёл вплотную и обнял двумя руками за плечи. Не знаю и почему, но обратился по-балкарски:

– Сен кимни жашыса?¹ Таулумуса?² Тауча билемесе?³

Тут же, не дожидаясь ответа, продолжал на русском:

¹Сен кимни жашыса? (балкарский) – Чей ты сын?

²Таулумуса? – Ты балкарец?

³Тауча билемесе? – По-балкарски знаешь (говоришь)?

– Дай посмотреть на твою работу, честное слово, что не украду и не убегу.

Его попутчик – светловолосый и, как мне показалось, слегка выпивший, на последнее – «честное слово не украду» – принимается весело смеяться, стягивает со своей головы дорогую шляпу, двумя руками приспособливает на моей голове.

– Это от меня тебе залог, – выразительно подмигивает мне, – Бог знает, что у этих поэтов в голове, – хлопает Кайсына по плечу.

– Оллаи, – не остаётся в долгу Кулиев, нарочито делая лицо серьёзным, – не знаю, как у поэтов... А у критиков, уж точно, каких в головах их тёмных мыслишек не водится.

«Как же они, вот так, неслышно подкрались, когда листва такая сухая? Видать, прилично времени уже стоят, – краснею я пуше прежнего, – а я, как дурак, ещё и песню коверкал на придуманном мною языке, похожем на английский, и даже ногами приплясывал».

Выкрасившись от стыда до последней густоты красного цвета, выковыриваю из кармана штанов скульптурный портрет сотворённого мною вождя индейцев по имени Ясокума – Прищуренный Глаз, протягиваю Кайсыну Кулиеву, при этом, как нашкодивший школяр, принимаюсь ещё и оправдываться, подобно сумасшедшему идиоту лепеча:

– Да это так... От делать нечего... И получилось совсем скверно, и не по-настоящему, не по-похожему.

Что меня толкало или кто меня толкал вот так паясничать. Взяв мою работу в обе руки, слегка отклонившись назад, Кайсын задумчиво и внимательно рассматривает, вертит слева направо, справа налево, перекладывает с ладони на ладонь, с прищуром рассматривает на расстоянии вытянутой руки.

– А что это за материал такой, – с неподдельным удивлением спрашивает меня, покачивая мою работу в ладони, как бы оценивая на вес, – специально для своей скульптурки такой подбирал?

Пожимает плечами и даже нюхает. Я не совсем уверенно признаюсь, что этот капик от яблони или дикой груши.

– А что это такое за капик, почему его так называют? – спрашивает в свою очередь товарищ Кайсына Шуваевича, также не без любопытства вертя в руках мою поделку.

Что есть такое кап по-научному, я и сам не знаю, а потому, глупо улыбаясь, принимаюсь объяснять, а скорее выдумывать, что это такой сучочек, которому не захотелось, как всем, выбираться из ствола дерева наружу. Свернулся под корою в тугой калачик и спит.

– Ну надо же!.. – почти с восхищением смотрит на меня дядя в сером макинтоше, закуривая папиросу. – Надо бы обязательно запомнить.

Хитро прищурившись, жуёт папиросу губами, тут же начинает читать:

*Сучочек свернулся в калачик и спит,
Откуда бедняжке и знать.
Что гладит его по макушке пиит,
Который не силах понять,
Что, кроме стихов, есть ещё и сучки,
Коряги, колоды, дрова,
В которых живут короеды-жучки...
Печально, но жизнь такова...*

Оба тут же принимаются весело смеяться. Я, не зная, как в таких случаях мне вести себя, на всякий случай улыбаюсь во всю физиономию. Но вскоре же, приняв серьёзное выражение лица, Кайсын говорит своему товарищу:

– Обрати внимание, Алёша, – гладит пальцем по поверхности дерева, – и всё это без всяких специальных инструментов... Одним перочинным ножиком, который почему-то в листья выбросил... Ты зачем ножичек-то свой выбросил? Думал, что заберём? Или как? – обращается весело ко мне. – Это же не какой-то там бандитский нож...

Поднимает с земли мой единственный пока двухлезвенный инструмент, пробует остроту на палец, цокает языком, протягивает мне.

– Удивительно... Ведь дай, скажи, нам стобой, Алёша... Развесможем вот так? Честное слово, молодец! – хлопает меня по плечу. – Великое дело, когда с таких лет появляется любовь к избранному делу. Скажу по правде, и не сомневайся – настоящий художник. А как отца-то звать, где он работает? – опять переспрашивает меня.

Несмотря на то что Кайсын Кулиев не раз и не два бывал в нашем доме и, конечно же, великолепно знал и папу, и маму, меня, видно, никак, не мог запомнить в лицо, а может, и не хотел. Вообще, у взрослых есть такая манера, не запоминать лиц маленьких детей, кроме своих родных и близких. Мне же тогда уж точно было лет тринадцать, а может, и того чуть более, и я давно как считал себя вполне самостоятельным и думающим человеком, в какой-то мере даже и личностью, хотя внешне никогда и не давал повода к этому, не доказывал, бия себя в грудь: «Разве вы не видите, что я уже давно как не глупее вас... А следовательно... Вполне даже взрослый».

Увидя мою ученическую тетрадку с вдетой в неё авторучкой, валяющуюся на осенней листве возле пенёчка, на котором я и вырезал скульптурку (мой поэтический блокнот раскис, когда я попал под проливной

дождь), ту тетрадку, куда я спешно записывал иногда набежавшие, весть знает откуда поэтические грёзы – восхитительные бреды, и которую, скрученную в трубочку, имел всегда при себе, Кайсын поднимает её с земли, не спрашивая моего разрешения, разворачивает и начинает просматривать.

«Господи!» – я тут же покрываюсь холодной испариной.

В голове быстрее молнии мелькает:

«Ведать не ведаю, знать не знаю, чья это писанина... Откажусь, как есть, мало ли кто мог обронить. Не получится, – ещё более холодею я. На внутренней стороне голубой обложки фиолетовыми чернилами густо выведено – Мокаев Владимир, да и ещё Аллахбердиевич. А ниже... Чего только не напридумано... «Поэт без грусти – шут, без любви – циник, без сердца – убийца»... «Иду, вернее – бреду из сновидения в сновидение, как монах из пустоши в пустошь». А главное и самое убийственное: «Я Бог, хотя бы потому, что открыл в себе Бога»... – Господи!.. Вот же идеалист хреновый, – внутренне страдаю я, – понапридумал всякого, да и ещё на общий суд, от мнимой своей взрослости; на кой ляд на бумаге задокументировал? Родилось в закутках души, ну и храни там на здоровьице. Чужая-то душа – потёмки... Гордынька... А самое главное, отчего ещё сильнее нервнируюсь я, так это, и наверняка, ужасающие грамматические ошибки, допущенные мною. До соблюдения ли правил правописания, когдарифмы так и прут, а душа аж от восторга на седьмом небе... Последнее стихотворение, хотя и переписано ровненькими буквами набело, в черновике же... Божешь ты мой... Провалиться со стыда... Не то что сам, а и чёрт ногу сломает. Попробуй-ка разберись с этими причастными и деепричастными оборотами, выделениями скобочками или чёрточками прямой речи, написаниями слов слитно или неслитно, в зависимости от всяких понапридуманных обстоятельств, прилагательное оно или какое другое. Мама – русовед, преподаватель русского языка, а я... Возьмет да и спросит... Ведь он вон какой известный: «Скажи-ка мне, Вова... Разве поэту должно быть таким безграмотным?» Со стыда провалиться мне под землю. Ведь и папа с мамой могут как-то узнать. Или, что и хуже прежнего, попросит объяснить смысл некоторых мудрёных слов и что я хотел этим сказать... Так и скажу ему, что свалилось на голову, вернее, втемяшилось в голову Бог знает откуда. Чувствую, что сказано по-правильному, как надо сказано, а объяснить и не умею».

Всё это промелькнуло в моей голове единою скомканною мыслеформой за долю секунды. Как провинившийся школьник, переминаюсь с ноги на ногу, туплю глаза в матушку-землю, такую красивую в своём золотисто-багряном одеянии осени, перевожу взгляд на блестящие

и шикарные коричневой кожи туфли этого самого Алёши, из-за плеча Кулиева заглядывающего в мою синенькую измятую тетрадь. На мгновение, оторвавшись от чтения, Кайсын смотрит на меня, потом опять на раскрытую страничку, сталкивается взглядом со своим товарищем, протирающим платочком роговые очки, обращается ко мне:

– Я могу прочитать вслух?

Ободряюще прижав меня к себе, держа тетрадку перед собою на вытянутой руке, с выражением, как это умеют делать настоящие поэты, стал читать:

*На поляне лунной, средь берёз
Домик мой печали и надежды,
На служенье Бог меня вознёс,
Облачив в пурпурные одежды.*

*Всё имеет срок, окончу путь,
Осушу молитвенные слёзы,
Испрошу не в саван обернуть,
А в смолистый луб моей берёзы.*

*Оттрубят прощально журавли,
Всё, как прежде, на круги вернётся,
К берегам неведомой земли
Лубяная лодочка приткнётся.*

*Набежавшей пенною волной
Выбросит челнок на брег песчаный:
Ангел ворожит ли надо мной
Иль ведун колдует окаянный?*

*Я очнусь, невнемлющий обид,
И разлук, и страха, и печалей:
В лунном свете домик мой стоит,
В нём давно уж ждать меня устали.*

– Неужели сам? Откуда такое у тебя религиозное? – смотрит пристально прямо в глаза, как бы ещё сомневаясь, я это или не я. – Судя по достаточно многим исправлениям оригинального текста, по характерному почерку, видится, что это придумано тобою. Это же ты писал? – опять переспрашивает он, ещё глубже заглядывая в мои глаза. – А по смыслу?... Ведь совсем не детские. Да и, наверное, и не совсем взрослые. Совершеннейший религиозно-мистический символизм.

Как же мне объяснить ему – великому поэту, чьи стихи известны даже далеко за границами Советского Союза, что всё прочитанное им сейчас из этой маленькой и тоненькой тетрадки действительно написано мною, но много-много лет тому назад, когда я был ещё молодым дяденькой, а может, дедушкой. Сейчас же, некоторое из сочинённого тогда, каким-то образом стало воскресать в моей буйной головушке, к доказательству: ничто и никуда бесследно не исчезает. Вот и всё.

– Ну ладно... – успокаивает Кайсын, видя моё крайнее смущение, – можешь и не отвечать, настаивать не станем. Мне ли тебя, брат, не понять. А теперь слушай, самое главное – ты уже поэт! Иди своим путём и ни на кого не оборачивайся. Пиши как Бог на душу положил.

И ещё сказал на прощание несколько слов, на самое ушко, по-секретному сказал. Пусть это навсегда останется моей тайной. В могиле Кайсына, что в Чегеме, покоятся три медных моих грошика, оброненных туда понарошку. Пусть же это останется его тайной. Не достаточно ль свидетельства Неба?

Глава 22. КВАРТИРА НА ЧЕТВЁРТОМ ЭТАЖЕ. ДУБОВЫЙ СТОЛ. КОНЬКИ-СНЕГУРКИ

1

Зима на начало 1960 года выдалась суровой. Навалило снега, ударили морозы. Демисезонное пальтишко, купленное на вырост, – широкое и с рукавами по самые ноготки вытянутых по швам пальчиков, грело слабо; по линии запаха пол съезжало то в одну, то в другую сторону. Матерчатый же поясок к нему, который я приспособил к саночкам вместо верёвочки, оказался почему-то не настоящим, как у солдат, а фальшивым, вскоре же растрепался по шву, а затем вообще порвался на две части. Пришлось родителям признаваться, что он от хлипкости пряжки потерялся сам по себе. Ботиночки, в тугих объятиях калош, то ли от действия сырости и холода, уменьшения ли размера ноги, а может, по каким иным причинам физического толка при быстрой ходьбе соскакивали как те хулиганы, что на ходу выпрыгивают с движущегося трамвая, пытались навсегда отделаться от своего наездника, то есть от меня. Почувствовав необыкновенную лёгкость в одной из своих нижних конечностей, уже знал, что блестящее антрацитовыми искрами резиновое изделие с фланелевой огненной внутренностью соскочило и что опять его придётся мучительно втапывать на ботиночек, озябшими пальчиками оттопыривать край задника, дабы он не сминался вовнутрь. Процедура, признаюсь я вам, самая из наипакостных. Как существо

теплолюбивое – огнепоклонник – искренне недоумевал: «Какого лешего... Откуда взялся такой холод? Ведь всего-то... Минус девять градусов – сам смотрел, а зуб на зуб не попадает, и руки, и ноги околели до невозможности. На Урале и при минус тридцати хоть бы хны. А тут... Ну прямо до костей пронимает». По правде говоря, пушкинское – мороз десятиградусный трещит в аллеях парка – всегда вызывало во мне непонимание. Какой же это мороз, всего-то в десять градусов, да и ещё трескучий?.. В десять градусов, да особо, когда ещё и солнышко, как помнится, папа выходил во двор в военных галифе в одной лишь майке и без шапки на голове. Выходил, чтобы для спортивного интереса подышать свежим воздухом, а заодно и нарубить дров. Как тукнет топором по здоровенному берёзовому чурбану, так аж щепки брызгали во все стороны... Понимаю, когда минус сорок и более, когда действительно в лесу от мороза аж стволы деревьев лопаются. Как стрельнёт, словно из пистолета, снежный прах с елей да берёз, так и посыплется серебристым инеем. Сам видел. Даже птички, неопытные снегири, порою на лету замерзают от такой холодрыги, когда за минус сорок. Оказывается, как глубокомысленно объяснил Вовка Тактаев – мой новый друг, всё дело в сырости, то есть во влажности воздуха.

– Бывает, – назидательно говорит он мне, – что и даже при плюсовой температуре, когда всего градуса два-три, но при сильной сырости люди околели до самых костей.

Поджав пальчиком рукава пальтишка, втянув их края вовнутрь, немислимым образом ухватив портфель, трусцой спешу после школы в наш новый дом, в уют теплой квартиры, которую получили в канун нового года. Помыкавшись всею семьёю по сменным времянкам, единственным удобством которых был бесконечно морозящий во дворе кран да кривой деревянный нужник в огороде, неожиданно обрели настоящую городскую квартиру в новом четырёхэтажном доме по проспекту Ленина. О Господи!.. Вот это роскошь! Паровое отопление, ванная с дровяным титаном, туалет с удивительнейшим водяным полуавтоматическим прибором под названием унитаэ – настоящим прирученным водопадом, низвергающимся с высоты потолка по трубе, когда того захочется каждому из нас. Два балкона на четвёртом этаже, кухня с кирпичной печью на всю стену, с духовкой, где можно печь пироги, которая так же работала на дровах, настоящий паркетный пол, матово сияющий восковым светом и... аж две комнаты! И это, не считая кухни, коридорчика, кладовочки и сарая в подвале, которые, на мой взгляд, при определённых обстоятельствах тоже могут претендовать быть жильём. А почему бы и нет?.. В моём понимании любое помещение в рамках квартиры уже есть комната. Ведь

не зря же говорят: ванная комната, туалетная комната, кухня... Да и балкон... А почему бы и не балкон? На котором можно с удобствами пить чай, читать книжки и даже спать, если не лунатик, которые, как говорил папа, помимо своей воли, могут встать с постели и во сне с закрытыми глазами ходить туда-сюда по улицам и по крышам, по самому краюшку их, по натянутой над рекой верёвочке, как канатоходцы, то только тогда, когда на небе полная луна. Потому их и называют ещё лунатиками. Как только луна зашла неожиданно за тучку, запросто могут брякнуться с крыши. Или... в речке потопнуть.

– Анна! – с полной серьёзностью говорил он маме. – Валерику ни в коем случае нельзя ночью спать на балконе. Он... у него все предпосылки лунатика. Помнишь, как он ночью пошёл на Пышму удить рыбу?..

Когда кто-то из знакомых наших родителей, узнав меня с сестрёнкой на улице, спрашивал про нашу квартиру, интересуясь в первую очередь количеством комнат, мы, не сумаятуясь, одновременно и бодро отвечали, что в нашей квартире аж пять комнат, не считая, конечно, двух широких балконов на четвёртом этаже. Тот факт, что мы живём аж на самом высоком этаже, придавал мне чувство необычайной гордости. И кухня, и ванная, и коридорчик без всякого лукавства, по справедливости, конечно же, причислялись к жилым помещениям. Один из балконов наших, выходящий в сторону двора, был замечателен ещё и тем, что из комнаты имел дверь, которая была гораздо шире входной двери подъезда. Действительно, есть чему удивиться. Кому пришло такое в голову?.. Но воистину ничего не бывает случайным. Именно благодаря этому строительному курьёзу из области соразмерности вещей через балкон удалось втащить на четвёртый этаж наш большой круглый стол, купленный ещё в Свердловске. Сам он никак не захотел втискиваться в двери подъезда ни вдоль, ни поперёк, предпочёл по воздуху. Не каждому подобному изделию выпадала такая честь – скажу я вам. Массивному дубовому столу, по справедливости, никак не должно летать по воздуху, болтаясь на верёвочках. Дубовый стол – изделие степенное и основательное, его предпочтение – покоиться на своих ногах, твёрдо и устойчиво, а не витать в облаках. А дело было так... После того как выставленная входная дверь подъезда не спасла положения – изделие на первом же повороте застряло, кажется, наглухо, да так, что его едва и обратно выдрали, – папа и помогавшие ему товарищи крепко призадумались. Стол, хотя и был раздвижным, хоть и мог делаться сам по себе празднично-длинным, на самом же деле был неразборным, – представлял из себя единое и цельное изделие мебельных дел мастеров, склеенное раз и навсегда. Да, да! Это тот самый стол, упомянутый мною в романе

«Боборика» в связи с памятным событием далёкого детства, страшными, надо сказать, событиями, когда мне пришлось лицом к лицу летней ночью встретиться со страшным демоническим существом по имени Бука. Это вокруг него она как бы левитировала, почти не касаясь пола своими ногами, прихлопывала в ладоши, щёлкала перстами, мерзко хихикала и чавкала. Не благодаря ли всему этому, пережитому в глубоком детстве, запечатлённому в памяти на всю жизнь, я утвердился в абсолютнейшей для себя истине, в которой никто и никогда меня не переубедит: помимо видимого и чувственного мира, а хотите – миров, с преогромным множеством населяющих их существ, включая и высшего из дыхательных – человека, есть и миры невидимые – миры духов и полудухов и прочих, умеющих сгущаться до плотной живой матери, кажется бы, из пустоты. И разве степеннейшего вида домовая Иоаким Мудрейший и эта самая наизлобнейшая Бука – исчадие ада, и совершенно противоположная им Грёза – женщина Света, не доказательство ли для меня тому?.. Именно под этим столом в «юбилей» моего с сестричкой пятилетия я вусмерть упоил хлебной брагой подаренного мне коня-качалку, отчего к утру он раскис и вытянул ножки. Дубовый и массивный, на столбовидных ногах, он вполне бы мог претендовать на проживание в усадьбе гоголевского Михаила Семёновича Собакевича или там, где более ценят не художественное изящество со всякими резными завиточками и финтифлюшками, а суровую прочность и практичность.

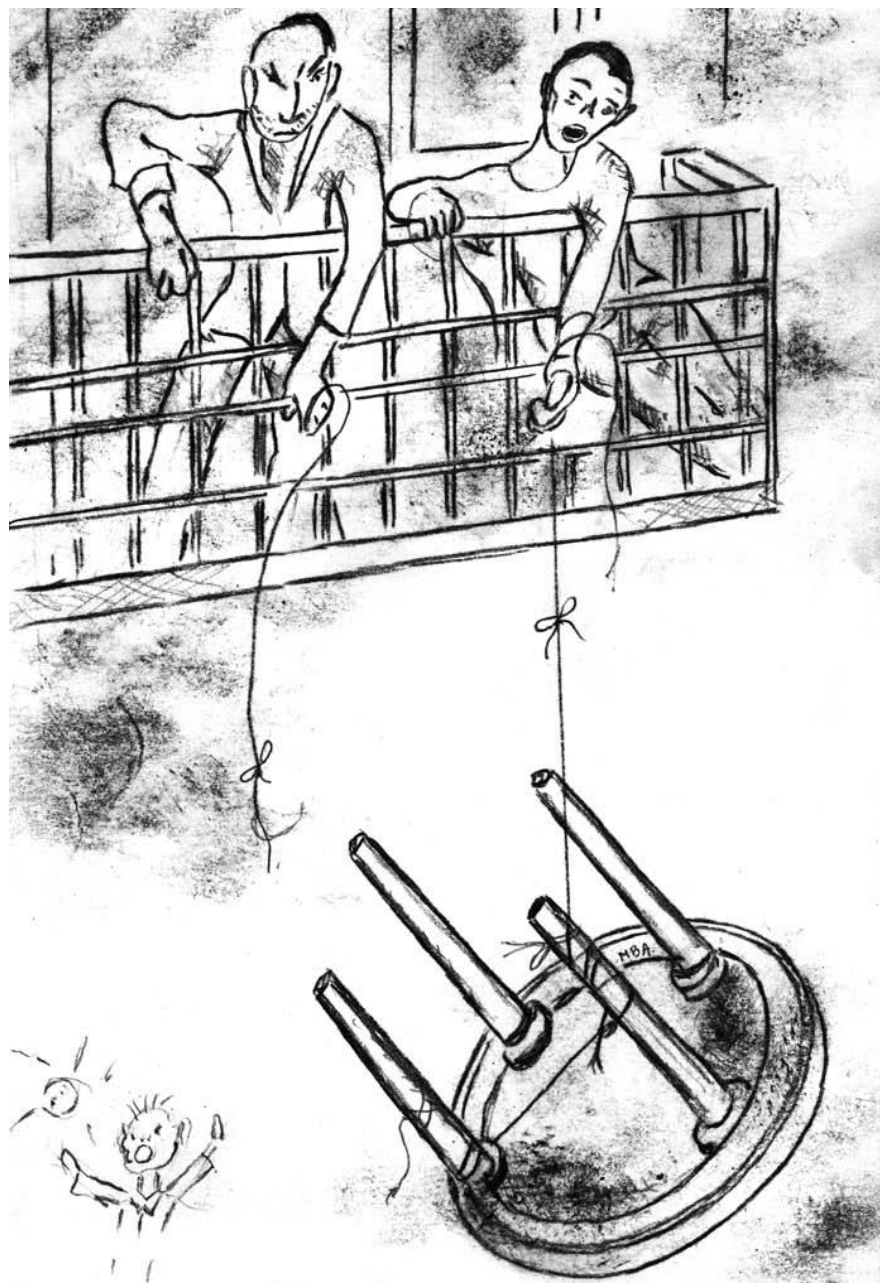
– Валерик! – обращается папа к нашему старшему брату. – А ну-ка сбегай по-быстрому замерь вот этим штапиком проём открытых балконных дверей, только точно замеряй – тютелька в тютельку, – протягивает ему длинную и тонюсенькую реечку. – Где надо отломишь, чтобы проходила, не цепляясь, в притирочку.

Размер оказался в самую пору, именно – тютелька в тютельку. Его не стали распиливать на две части, как убедительно предлагал какой-то незнакомый и не совсем трезвый мужик, обещавший всю эту процедуру самолично выполнить «вмиг и самым наилучшим манёвром», – так он витиевато выразился и что у него есть настоящая трофейная немецкая ножовка, которую он конфисковал аж из имения Геринга, которая настолько острозубая, что только держись за ручку – сама пилит. Стол решили поднимать на верёвках. Папа вместе с совсем ещё тогда молодым и начинающим талантливым поэтом Магометом Мокаевым, который, как и Ибрагим Бабаев, помогал с переездом, раздобыли где-то разных бельевых верёвок, которые за недостаточностью искомой длины пришлось связывать узлами, как умели, обвязали стол, концы верёвок посредством суровой нитки, скинутой Валериком, были затянуты на

четвёртый этаж нашего балкона. Подъёмом занимались исключительно папа с Магометом. Валерику было поручено извещать ничего не подозревающих граждан, вышагивающих по своим делам, о нависшей над их головами угрозе, мне – затаскивать освободившиеся концы верёвок в комнату, дабы не мешались и не путались под ногами дяди Магомета и папы. И подъём начался. Дружно выдохнув из груди воздух, как это делают профессиональные грузчики или штангисты, перед тем как оторвать груз от земли, разом и взяли. При первом же рывке тяжеловесное мебельное изделие, подчиняясь незыблемым законам равновесия масс и сил гравитации, с придыханием крякнулось боком об асфальт, вздёрнулось ногами вверх, судорожно оторвалось от земли, принялось медленно разворачиваться по оси, грозя окончательно спутать верёвки, связанные впопыхах и без всякой науки.

– Магомет! – яростно кричит папа. – Расширь свой конец, сдвинь по перилу в сторону от моего, видишь, как крутится.

Вместо того чтобы плавно опустить стол, самим спуститься на грешную землю и исправить допущенные ошибки, то есть связать его как надо, а не по-интеллигентному, этого не сделали, решили, что поднимется и так. После того как равновесие более-менее установилось, по папиной команде, оперевшись ногами в металлические прутья балкона, принялись осторожненько затаскивать. Самодельные помочи, связанные из разнокалиберных верёвок, да и ещё различных временных возрастов, перекинутые блоком через деревянные перила балкона, от трения разве что не дымили. Подняв до очередного узла, упёршегося, не желающего переползть через это самое перило – будь оно неладное, принимались громко спорить, как быть и что делать, чтобы он, то есть этот узел, как-то высвободился. Магомет, дабы край верёвки ненароком не выскользнул, намотал его вокруг ладони, другой, правой, перехватив чуть ниже, тянул вверх что есть сил, пока очередной узел – да чтоб он сдох! – не высвободился и не переполз через ненавистное перило, вымучившее все нервы. Вот это наматывание на руку, ошибка, которую бы не допустил ни один строповщик, будь он даже вдребезги пьян, чуть всё дело и не сгубило. Издав звук, который происходит, когда палкой хлестко ударяют по пыльному половику, верёвка с папиной стороны, не выдержав напряжения, лопается, папа, не ожидавший от неё такой подлости, по инерции валится назад, прямо на меня, оба растягиваемся на паркете. Стол, совершив в воздухе подобие кульбита, всю свою массу пытается стащить бедного Магомета с балкона четвёртого этажа. Край верёвки, намотанный вокруг кисти его левой руки, так стянулся под тяжестью дубового изделия, что освободиться без посторонней помощи уже не представлялось возможным.



– Держись, Магомет! – крутится юлою папа, пытаюсь как-то ухватиться за край бельевой верёвки, дрожащей от напряжения, как струна, готовой вот-вот также лопнуть.

– Аллахберди! – не своим голосом кричит Магомет, побагровевший от напряжения как рак. – Она мне сейчас оторвёт руку.

– Крепись, Магомет! – мечется по балкону папа, пытаюсь как-то перехватить край его верёвки. – Анна нам в жизни не простит этого стола... Упрись ногами, – кричит он ещё громче.

Помог, и вовремя, надо признаться, помог, сосед с третьего этажа. Цораев Борис. Выбежав на свой балкон, быстро сообразил, подтянул болтающееся изделие на себя, край столешницы облокотил на перила, а затем и вообще весь стол втянул к себе. После небольшой передышки, перевязав помочи как надо, уже втроём дружно подняли. По случаю блестяще проведённой операции и что всё вот так благополучно завершилось: стол не грохнулся на землю, никого за собою не увлёк и не оторвал кисти одному из талантливейших поэтов балкарского народа – и в целом – за переезд дружно выпили. А потом и ещё, и ещё, как это обыденно бывает, и за шикарную квартиру, и за наступающий Новый год.

– Магомет, – уже язвит папа, – ну а если бы... если бы случилось всё по-другому и твоя рука не запуталась в верёвке... Что... вот так и прекратил бы всякую борьбу?.. Неужели выпустил бы из рук верёвку, скинул бы любимый стол Анны аж с четвёртого этажа?

– Не с четвёртого, а с третьего этажа, – поправляет Борис и начинает смеяться.

Как бы не замечая его реплики, папа, как это он умеет делать, начинает красочно рассказывать об истории этого, как он выразился, уникальнейшего изделия – подлинного свидетеля многочисленных дружеских встреч, и что вёз его через всю огромную страну вовсе не для того, чтобы молодой и кудрявый поэт в порыве отчаянного творческого безумия, подобно новоявленному Герострату уничтожил его, самолично сбросив с высоты четырёхэтажного дома на землю.

– А для чего? – подмигивает по-незаметному Борису. – А для того, отвечу я вам, чтобы сим вандализмом на все времена увековечить имя своё. А об Анне... об Анне ты подумал, – опять подмигивает он Борису. – Что бы с ней случилось, увидь она свой любимый стол убитым, распротёртый всеми своими дубовыми косточками на все четыре стороны, подобно размётанной кучке дров?..

После пережитых всей нашей семьёй невзгод новая наша квартира настолько понравилась, что как бы совсем и не замечалось: две комнатки

на семью в пять человек, да и к тому же – разнополых детей, явно мало-вато. Хотя... Ведь не зря гласит пословица: в тесноте, да не в обиде... А с милым, как и милыми, и в шалаше рай.

2

В эту зиму, как помнится, холода навалились с такою мощью, что, честное слово, мне уже вполне серьёзно думалось: «Ей-ей... а на Урале, пусть случаются морозы и за сорок градусов, но всё равно не такие лютые, пронимающие до последней косточки». На Детском стадионе, что примыкал к нашей пятой школе, беговые дорожки вокруг футбольного поля залили подкаток. Старинные снегурки – коньки с фигурно загнутыми носами в форме буквы «С», привезённые с Урала, как сказала мама, скорее всего, находятся в одном из кованых сундуков, а в каком?..

– Зачем нам сдались эти допотопные сундуки, – психую я, представляя, какой объём поисковых работ мне предстоит.

Набитые чёрт знает каким барахлом, ненужной рухлядью, всякою чепухой, всем тем, что уж точно ни на что и не сгодится, тем не менее они стоически ждали своего последнего часа, пока сами естественным образом не источатся от ржавчины, не изгрызутся молью, изгниют в труху. Их бы без всякого сожаления взять да и выставить скопом на помойку, на общую пользу, как старьёвщикам, промышляющим тряпьем, так и государству. Ан нет... Мало ли что... Всякое может случиться. К тому же, что ни говори, а память... Коньки, которым по логике следует неразлучно пребывать вместе, а никак не в отдельности, видать, разъехались, не пожелали более пребывать вместе, ищи их теперь.

– Как же так, – ещё более нервную я, тупо уставившись в гору хлама, – ведь были же... Куда же позадевались-то?

Перерыв до основания всю кладовку, наконец-то одного беглеца обнаруживаю под кучею дров – отходами деревообрабатывающей фабрики «Чинар». Эти обрезки, целую кучу, папа приобрёл по случаю специально для нашего водогреющего устройства под благозвучным именем «Титан», расположенного в правом углу ванной комнаты. Другой конёк, будь он неладен, провалился как сквозь землю. Не могло же так случиться, что один привезли, а другой так и остался в Курьях висеть на гвоздике в чулане?.. И почему бы было не связать их вместе?.. Когда, казалось, что всё и искать-то больше негде, они, вернее, он – конёк, отыскался сам. Можно сказать, с неба свалился. Выдирая из кучи хлама удилище, запутавшееся леской за что-то, обратным краем его в тесноте тыкнул куда-то под потолок. Конёк и упали чуть ли не на самую голову. На гвоздичке висел. Снегурки – это, конечно же, не дутьши и не ласточки,

что с отрубленными и слегка загнутыми носиками, и, уж конечно, не беговые – ровные, как струночки, больше похожие на прямоугольные полосочки блестящей никелем стали, на которых можно кататься, но по абсолютно ровному льду. Нет, нет и нет... Снегурки – это снегурки!.. Скажи кому сейчас, что перед тем, как покататься на коньках, их необходимо было по-правильному и крепко привязать к обуви, будь то ботинки, туфли, сапоги ли, ведь могут и не поверить. Так и скажут: «Кто же коньки к ногам верёвками приматывает, да и как то возможно, когда они должны быть одним целым с ботинками? Логика, конечно же, совершенно понятная. Но... Попробуйте-ка убедить родителей к покупке подобных стальных скороходов, туго и навсегда прикрученных винтами к специальным кожаным ботинкам, когда цена им рубчиков пятнадцать, а то и двадцать... Дутыши – так назывались подобные коньки пацанами, конечно же, тогда уже продавались в магазине «Спортивные товары» и их покупали, но... Стоило ли это такое баловство таких вот деньжищ? Любой родитель крепко подумает, перед тем как приобрести для любимого чада подобную роскошь. Спортивные изделия не те предметы, которые можно брать на вырост. Когда и как появились в нашем доме снегурки, я не помню. Уже тогда аналогичных им, кажется, не было и во всём городе. Старинные, едва ли не дореволюционные, такие же, как и на гравюрах, изображающих кавалеров и дам, катающихся на занявшейся льдом реке в удивительных для нашего времени нарядах, становились объектом особого раздражительности для пацанов, ехидных их реплик. Ещё бы... Как тут не сдохнуть от зависти, когда на наших коньках можно кататься не только по гладкому льду, но и по разухабистому, подобному булыжной мостовой, и даже по крепко слежавшемуся снежному насту. Высокие и круглые носы в виде орнаментального завитка, стальные лезвия гораздо шире, чем у обычных коньков, не очень высокая, а потому устойчивая посадка – всё это давало ряд преимуществ. Одна беда... Ох!.. Если бы кто знал, скольких мук стоило мне, чтобы закрепить эти железные вериги к обычным ботинкам, на которых к тому же натянуты ещё и резиновые галоши для непромокаемости, наверняка бы сказал: «Бедный, бедный пацан... Это же надо вот так... Истинные примеры мученической стойкости. А зачем?.. Не вернее ль, от дьявольских соблазнов, взять да поскидать эти железá вместе с вервью... Утопить в ледяной проруби к чёртовой бабушке и с концами...». И правильно бы посоветовали. Буквально уже через десять-пятнадцать минут сравнительно комфортной езды крепёжные вязи начинали расслабляться, съезжать в разные стороны. Кончалось всё тем, что совершенно разболтанные коньки на всём ходу моей прыти подворачивались, спалили с ног, я же летел рожею в лёд.

Но и это ещё не всё. Обледеневшие узлы веревок совершенно отказывались развязываться. В ход шло всё. И озябшие пальцы, и ногти, и зубы, и специальный кривой гвоздик, который именно на этот случай я хранил в ватной шапке под лобовым клапаном. Порою, и случалось это не раз, верёвки так по-иезуитски хитро спутывались, так стягивались между собою, что, выбившись из сил, не умея, как их развязать, я отправлялся домой как есть. Коря судьбу, психуя, что только у меня одного вот такие допотопные спортивные изделия, понуро брёл по городским улицам, с железным лязгом волочил за собою вериги, сглатывал солёный ком горечи, особенно тогда, когда кто-либо из прохожих, а особенно из девчонок, обращал внимание, указывая пальчиком на мои кандалы, принимался весело ржать. Вскарабкавшись по лестничным маршам к себе домой на четвёртый этаж, по привычке клятвенно давал слово, что это, будь они неладные, в последний раз и что больше ни в жисть – пропади оно пропадом, но уже на другой день забывал и, если погода благоприятствовала, мёртвыми узлами привязывал к своим башмакам коньки, с дробным грохотом скатывался по каменным ступеням на волю с почти тем же заведомым мне результатом. Попросить родителей приобрести мне настоящие коньки, те, что туго прикручены специальными винтами к элегантнейшим ботиночкам – твёрдым и негнушимся, не позволяло воспитание. Ещё будучи школьниками начальных классов, да что там школьниками... С самого раннего возраста, с детского сада и я, и сестричка Танечка, и братик Валера – все мы хорошо понимали, так как были приучены понимать, что есть наиглавное, а что второстепенное. И в этом, нисколько не преувеличиваю, были весьма совестливыми. В нашем доме, в нашей дружной семье, такое слово, как «хочу», вообще никогда не произносилось ни взрослыми, ни нами детьми. Помню, а это было уже в классе четвёртом, как бы и не более, когда я уже и на девчонок-то поглядывал по-особенному, мама купила мне новые ботинки. И всё бы ничего, но... не просто какие вишнёвые... а призывно ярчайшего цвета алого пионерского галстука. Глядя на долгожданные башмаки, так внутри и похолодел: «Как же я такое надену, когда они даже не девчачьи, а гораздо хуже?.. Ну разве что для детсадовской малышни?.. Как вот в таких ботинках я пойду по городу, да в школу, ведь пацаны ухохочутся; как пить дать дразниться примутся, прозвище ещё какое придумают ядовитое, уж с них станется. Представив этакий срам, аж покраснел до корней волос. Впервые в жизни робко возроптал:

– Спасибо, мамочка... Ботиночки действительно очень тёпленькие и совсем непромокаемые, и рантик красивый, но... ведь в таких красных... надо мной уж точно все смеяться будут.

Помню, папа так сдвинул брови, что я тут же себе уяснил: цвет далеко не главный аргумент, а с утилитарной точки зрения, так и вообще не аргумент. Самой первой идеей было как бы невзначай, понарошку пролить на них бутылку фиолетовых чернил.

«Эх! – корю себя я. – Не надо было до времени высказывать своего недовольствия по поводу расцветки. Поспешил... Тогда бы уж точно всё могло получиться естественным и натуральным образом – несчастный случай. К подлинной достоверности можно было бы и подыграть, горестно возопить к небесам, пустить мутную слезу: ”О! Бедные, бедные мои кумачовые ботиночки...”»

И как в таких психических случаях бывает, когда хочется наврать, Иблис, тут как тут, нашептал на ухо нечто скабрёзное, раздражительное к стихотворению «Пионерский галстук».

*Огненный ботинок! Береги его,
Он ведь цвета знамени флага твоего.
Затяни потуже красненький шнурок
И повесь на шею, чтобы не убёг.*

«Фу ты, – морщусь я, – и ведь взбрeдёт же в голову... экая пошлятина. Нет, – лихорадочно соображаю я, – выкрашивать башмаки в ученические чернила, пусть и не понарошку, никак уж нельзя. Вызов... Бунт... Самоуправство... Папа в бир¹ секунд вычислит. Ботиночки сами по себе действительно даже очень приличненькие... И носик, как у папиных взрослых туфлей, и элегантнейший рубчатый рант по бокам, и даже наборный кожаный каблук. Но... Кому же пришлось в голову их вот так выкрасить?..»

Танечка, сочувствуя моему горю, не зная, чем мне и помочь предложила «нечаянно» оставить их у порожка входной двери, вдруг да украдут... Представив родного братца Валерика в серой школьной форме, как и у меня, в ученической фуражке с медной кокардой и почти солдатским ремнём с латунной бляхой и... и в кумачово-алых ботиночках с ядовито-красными шнурками вышагивающего по школьным коридорам, а на самом деле представив себя, готов был пойти на любую крайность.

– Танечка, – шепчу ей на ушко, – а что, если их густо покрасить папиным чёрным гуталином? Они ведь от этого точно никак не испортятся... И даже, наоборот, ещё пуще не будут пропускать воду. Ведь на то и гуталин, чтобы делать обувь непромокаемой и блестящей.

Эврика! Е-е-сть!

¹Бир (балкарский) – число один.

– Мамочка! – обращаюсь я к маме, преисполненный сердечного лукавства, – ты не сердись на меня, что ботиночки мне сначала не очень полюбились. А сейчас, наоборот, очень даже нравятся.

– Вот и хорошо, – рассеянно улыбается она, едва оторвавшись от проверки ученических тетрадок, лежащих перед нею на столе в виде двух больших стопок.

Переглянувшись с сестрёнкой, самым наисерьёзнейшим голосом продолжаю:

– Эх-х... К моим ботиночкам бы, да ещё под их цвет, красного обувного гуталина... Вдруг да где поцарапаются?.. Кожа на самых носках собьётся или потрескается...

– Как красного?.. – взволнованно переспрашивает мама. – Разве такого цвета вакса бывает?

– Конечно же, бывает, – восторженно и самым бессовестным образом вру я, – не может же быть такого, чтобы к красным ботиночкам не придумали такого же гуталина?

– Не знаю, – совсем неуверенно отвечает мама, – никогда такого не видела, да и не задумывалась даже. Может, их коричневым слегка протирять?..

Уединившись в ванной возле водонагревательного титана, в чугуновой топке которого потрескивают чинаровые чурбачки, с замиранием сердца тайком папиной обувной щёткой вымазываю чёрной ваксой – густо-густо, пахнувшие свежей краской свои совсем новенькие и ещё ни разу не надёванные ботиночки цвета октября. Потом ещё раз, и ещё раз, до тех пор пока они не приобретают раскраса суровых кирзовых солдатских сапог.

– Пускай впитываются, – показываю свою работу сестрёнке.

– Ой! – округляет глаза Таня. – Какие они стали чёрными и бугристыми. Они что, вот такими навсегда и останутся? – не без тревоги в голосе спрашивает она.

– Пусть уж лучше такие, – также не скрываю волнений я, чувствуя, что явно уж переборщил, – чем как сапожки в сказке про петушка.

Аккуратно укладываю в картонную коробочку, на всякий случай, вдруг да нечаянно раскроется, накрест перетягиваю шпагатом, завязываю на узел. Наутро, когда родители ушли уже на работу – мы же с сестрёнкой учились во вторую смену, – как заправский чистильщик, едва касаясь щёткой, чтобы, не дай Бог, вакса как не отщёллась совсем, располировываю кирзу до совершенно зеркального блеска. На самых кончиках ботиночных носков и по бокам, где пяточки, из глубины крошечного дегтевого мрака начинают проявляться элегантнейшие блики цвета переспевшей вишни.

– Лишь бы не перестараться... Лишь бы не переусердствовать, – радостно бьётся сердце. – Уж таких-то модных и зарубежных ботинок, и это точно, не только в классе, но и во всей школе ни у кого наверняка нету.

И действительно... Пацаны только и спрашивали: «Вова! А в каком это магазине мама купила тебе такие модные ботинки? Они что, по-настоящему американские?». Кто пустил слух, что Вовка щеголяет в настоящих американских башмаках с вишнёвым отливом, я не знаю, отрицать же... А зачем?.. Не славно ли почувствовать себя заграничным человеком?.. Но полно об этом. Вернёмся к моим снегуркам.

3

Намучившись с верёвками, которые, если их туго не подтянешь – ослабевали, переусердствуешь – от прекращения нормального кровообращения мурашки по ногам, пальчики и пятки мёрзнут, прибег к радикальным мерам.

– Да сколько же это мне терпеть, в конце-то концов? – проникновенно возопил я к небесам.

Небеса тут же и ответили:

– Кто же, садовая твоя голова, подковы коням да кобылам верёвочками хлипкими к копытам их привязывает?.. Пришпандорь гвоздями али прикрути насмерть на железные болты, дурень!..

В кладовке, среди невероятнейшего собрания хлама – соседства вещей и предметов неопределённого назначения, не имеющих, в общем, друг к другу и приблизительных жизненных касательств, из общей кучи дров, старых валенок, журналов и ветхих книг, куда затесались и керогаз, и примус, и даже старинная керосиновая лампа, но без своего хрустального стекла, которое, как помнится, разбил я, а свалил на кота Ваську – Василия Игнатыча, и чёрт знает ещё чего, выудил два стоптанных Валерикиных башмака, связанных шнурками, вполне ещё даже пригодных, которые ещё носить и носить.

– Ведь надо же... Совсем ещё новенькие, – не без удовлетворения замечаю я, – самое то, что надо...

Притащив домой, протерев влажной тряпкою от пыли, на кухонном столе при помощи папиного ножа, самого острого в доме, и драчёвого напильника выравниваю по-одинаковому скосившиеся кожаные каблуки, примериваю их к своим снегуркам. Дело с том, что в коньках, не предназначенных для крепежа винтами, не было соответствующих им отверстий. Без этих самых дырочек по-другому прикрепить коньки к ботинкам никак не получится. Высверлить же с помощью ручной дрели в нужных местах маленькие отверстия – дело нештучное. За неимением

соответствующего опыта слесарных работ, как помню, крутил эту сверлилку часа три кряду Результат самый мизерный – и одной дырочки до конца не просверлилось. Пытался крутить и задом наперёд, и сверху давил на дрель что есть силы – тщетно. Полено, в узкую трещину которого было мною вбито лезвие конька, вместо тисков от усилий вздыбливалось боком, а то и совсем падало с табуретки на пол, всячески грозило отбить мне ноги. Помог дружок – Вовка Тактаев со второго этажа, по прозвищу Гаврош, а по другому – Тяпкин-Ляпкин.

– Кто же таким сверлом-то сверлит? – с нескрываемым презрением смотрит на меня. – Им, видно, вместо пробойника в кирпичках дырки пробивали. Весь нос скруглился. А ты вздумал сверлить, да ещё и железяку. Сверлильщик мне нашёлся, – шмыгает простуженным носом, отчего мне становится ещё обиднее, и что в сравнении с ним я такой неумеха.

Отец Гаврика слыл человеком мастеровым. Если в доме у кого что случилось – замок ли заклинило, водопроводный кран неожиданно сорвало, электрическое замыкание случилось, да мало ли что, все в первую очередь бежали к нему. Такого количество всевозможных инструментов, аж глаза разбегаются, я более ни у кого не видел сроду. Они хранились у дяди Коли в нескольких ящиках под кроватью, а ещё и в кладовке, и даже на балконе в специальной для того тумбочке, дверцу которой он мог открывать только сам. Запирать он её стал после того, как Гаврик и его младший брат, по прозвищу Мурзилка, взяли без разрешения его трофейный алмазный стеклорез, который был привезён им аж из оккупированного Берлина, до которого он дошёл с боями, когда воевал с немцами. Вернее, когда у них его отнял какой-то злой дядька, когда они пытались этим стеклорезом в стеклянной двери подъезда, для эксперимента, вырезать круглую дырку. Быстро сбегав домой, Вовка возвратился с плоскою жестяною коробкою и блестящим инструментом, схожим с толстою стальною линейкою наподобие буквы «Т» и раздвигающимися на конце губками.

– Штангельциркулем называется, – важно сообщил он мне, уничижительно глянув в сторону валяющегося на полу маминого портняжного метра, которым я пытался замерить длину подошвы башмака от кончика каблука до самого носика. – Без такого инструмента ни одному настоящему мастеру не обойтись, – важно сообщает мне. – Перед тем как высверливать какую дырку под шуруп, или винт, или гвоздик, прежде необходимо знать, какова толщина этого шурупа. По-правильному, – выпендривается передо мною – неучем, Гаврик, – эта толщина называется диаметром. Иначе как мы можем узнать, каким сверлом надо сверлякать. Где твои шурупы?

С недоумением впивается взором на мои разнокалиберные саморезы – кривые, ржавые и разной толщины, которая, оказывается, называется диаметром, криво усмехается, молча бежит домой. Приносит баночку из-под чая, в которой шурупчики, все до единого, – один к одному, блестящие и новенькие, пропитанные маслом. Открывает свою плоскую жестяную коробку, а в ней... Божешь ты мой!.. Каких только свёрлышек нет... От самых малюсеньких, тоньше спичечки, до совсем жирненьких, толще, чем самый толстый палец. Ловко замеряет своим штангелем шуруп, порывшись, достаёт чёрненькое, с блестящим носиком сверло, прищурив один глаз, рассматривает его маркировку.

– Кажись, оно?.. Точно оно! Это же надо вот так с первого раза угадать... А всё – опыт, – выпендривается Гаврош. – А вот этим, – достаёт другое сверло, раза в два толще первого, – после того как отверстие просверлишь, сверху пройдёшь, но не до конца, чтобы вот эта шляпочка, – показывает на головку шурупа, – утопилась, спряталась, значит, как в гнездышке. Свёрлышки, не забудь, занеси вечером. И штангель... По-секретному занеси, а то... Знаешь, как папка ругается, когда мы с Валеркой без разрешения в его инструментах роемся. А после того как дядька отнял у нас алмазный стеклорез с настоящим алмазным бриллиантом – знаешь, как он на солнце блестел, – так и вообще запретил даже пальцем касаться. Это я тебе ради закадычной дружбы нашей, – гудит Вовка своим простуженным носом, – не подведи товарища, – солидно добавляет к тому. – А железку перед тем, как сверлякать, надо прежде в том месте, где надумал делать дырочку, закернить. Возьми вот этот стерженёк с острым носиком, поставь на отметинку и тукни по нему молоточком. И сверло никуда не убежит, и дырочка легче просверлится. Да и вообще... Кто же, скажи ты мне, на пузе-то или на коленях своих дырки буравит. Конёк, прежде чем сверлить, надо хорошенько закрепить.

Смотрит на моё полено, быстро скумекивает, криво усмехнувшись, уходит полный своего достоинства. Надо бы к нему наведаться, когда его родителей не будет дома. Хоть одним глазком бы глянуть, какие на самом деле бывают настоящие инструменты, которыми можно вытворять, что душе угодно. Привязав полено верёвкою к табуретке, чтобы не ёрзало, загоняю лезвие конька в глубокую трещину, как в тиски, в намеченных керном местах сверлю папиной дрелью дырочки. И ведь действительно... От настоящего мастерового сверла стружечки так и выются тонюсенькими змейками.

– А если ещё и помазать машинным маслицем или керосинчиком, – вспоминаю наставления своего закадычного друга Вовки Тактаева, которого во дворе все пацаны знают как Гавроша, а в школе – неисповедимы

дела твои, Господи, – как Тяпкина-Ляпкина, то и в два раза пуще дырочки просверливаются, и сверло не затупляется.

И ведь действительно, правду сказал Гаврош. После того как капнул керосином, дырочка на глазах стала углубляться, пока не просверлилась насквозь.

«Молодец, Боборика! – хвалю я сам себя, хоть сверло на выходе неожиданно провалилось, дыкнуло и едва не поломалось напололам, мастерски просверлилась дырочка, совсем как по-фабричному. – Эх! – думаю я. – Хорошо бы, если на ременчатых хомутах, которые по моей задумке должны были плотно облегать и удерживать в своих объятиях нос ботинка, приспособить ещё и пряжки, чтобы можно было и подтягивать, регулировать как-то. С такими пряжками, да если они к тому же блестящие, уж точно ещё красивее получилось бы».

Всё! Со слесарными работами покончено, все до единой дырочки, которые я наметил под шурупики, просверлены. Как бы по-правильному всё это соединить. Выдираю лезвие конька из трещины своего тяжеленного букового полена, найденного мною в подвале, через готовые высверленные дырочки химическим карандашом на плотно приставленном каблуке ботинка делаю отметины. Опыт в делах сапожных по починке каблуков у меня мал-малость был, и я уже знал, что пока шилом глубоко не наметишь, в жизни в наборный кожаный каблук шуруп не вкрутится. Как помню, после вот такого моего ремонта каблуков, которые вдруг ни с того ни с сего стали отваливаться и отвалились бы, не примени я усердия по их спасению, туфли всё же пришлось нести в починку настоящему сапожнику. Дядя Абдулло – таджик, афганец, чья будочка располагалась по Лермонтова, почти на углу с улицей Пушкина, внимательно и не без изумления рассмотрел мою работу, пощупал тёмным мозолистым пальцем выступающую шляпку шурупа с круглой головкой, покачал головой, поцокал языком:

– Вай, вай, вай... Отэц так исковэркал?.. Щюрюпь молоток можно бить? Каблука не любить щюрюпь, когда кожа ломает, когда молоток бить... Вертить надо крепко. Бить не можно...

Крутя шилом, с нажимом пробуравливаю в местах пометочек дырочки. Вставив носок ботинка в туго облегающий ременчатый хомут, прикручиваю отвёртку шурупы.

«Замечательно!.. Ей-ей, даже лучше, чем думалось, зубами не оторвать. Ботиночек, правда, немного закосило относительно линии конька, чуток кривенько, разве что мастерскому глазу заметно, но... На то она и ручная работа, в том-то и её индивидуальная прелесть, что не как у всех», – успокаиваю я себя.

Таким же манером прикручиваю и второй конёк. Мысли, опережая события, красочным образом рисуют чудеснейшие картинки, одну прелестнее другой. Вот я, как настоящий конькобежец, быстрее ветра мчусь по ледяной дорожке стадиона, забитого до отказа восторженными зрителями. Заложив руку за спину, как это умеют делать чемпионы, плавно и красиво вписываюсь в крутую спираль поворота. Из-под стальных лезвий удивительнейших моих коньков с шипением, студеным вихрем выбивается снежная пыль. Но вдруг! Прямо на ходу, на гладкой ледяной поверхности глубокая, зияющая чернотой трещина. Нет... Много-много трещин, каждая из которых способна остановить любые в мире коньки. Все другие спортсмены, мчащиеся за мною, резко тормозят, некоторые, не успев, спотыкаются, катятся кувырком. Но!.. Я-то знаю, что подобная чепуха моим снегуркам нипочём. Ещё стремительней набираю скорость, с дробным перестуком запросто преодолеваю все эти трещины. Зрители вопят от восторга, кидают в небо свои шапки.

– Мо-ло-де-ец! Мо-ло-де-ец!

Закончив работу, для пущей красоты начищаю ботиночки чёрным кремом, чтобы блестели, как только что купленные в заграничном магазине, потому как в наших таких коньков сроду не купить. Заменяю старые и потёртые шнурки на другие – белого цвета с чёрными носиками, элегантнейшие, какие бывают только у настоящих конькобежцев. Для контраста лучше не придумать. Вон как сразу же преобразились в лучшую сторону... Вдевая шнурок во второй ботинок, обнаруживаю, что один шуруп, что сбоку пятки, проткнулся насквозь и чуть-чуть выступает. Нет бы да выкрутить, подыскать покороче или подпилить как, дел-то... Начинаю забивать его изнутри молотком. Но он, как ни ударяю, и не думает забиваться, только пружинит. Толку же никакого.

– Как же он, паразит, вот так вылез? – соображаю я. – Все шурупы одной длины, а этот выступает...

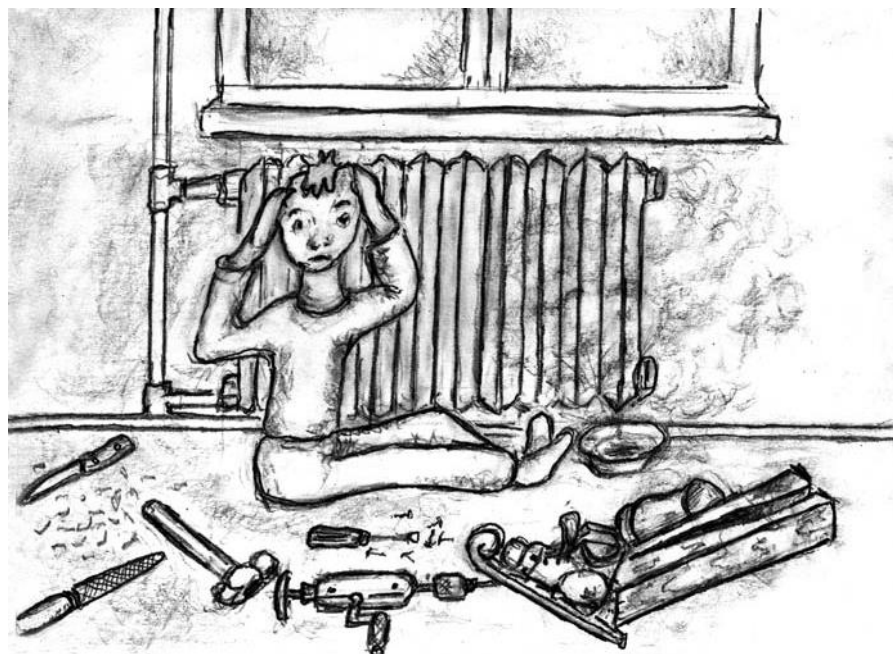
Ещё обрадовался:

– Надо же. Вот так точно совпало...

А как прикрутился до самого конца, то и пробуравился наружу.

Щупаю пальчиком – остренький... Этак, если его не укоротить, и всю пятку в кровь истыкает. Подложить бы что, приспособиться и вдарить. Лучшего, чем выступающий уголок секции чугунного радиатора батареи отопления, приспособления и не найти. Устанавливаю внутреннюю часть ботинка, где остриё шурупа, на самое чугунное рёбрышко, резко с обратной стороны бью по шляпке молотком.

Есть! Острый кончик совершенно сгибается набок, уже не колет. Это, наверно, оттого, догадываюсь я, что каблучки не очень одинаково



выровнял. Один сделался чуток короче в этом месте, вот шурупик и проткнулся.

Постукав малость ещё для успокоения души, с ужасом обнаруживаю, что по стыку между двумя чугунными секциями батареи с лёгким попискиванием, переходящим в шипение, закапало, на полу прямо на глазах стала образовываться малюсенькая лужица. Как же так?.. Внешне такая крепкая и монументальная, из литого сурового чугуна... Казалось бы... Что может такой сделаться?.. А вот... Молоточком пару раз тюкнул не от полной силы, экое-то дело... Не кувалдой же, не пудовым же ломом завернул... А она возьми да и расклейся.

«Вот теперь мне будет, – холодею я. – Может, совсем не признаваться? Разломать батарею, да ещё когда зима... Господи! Что же теперь станется?.. Ведь и не остановишь никак, как есть, всё затопится».

От дробно капающих капель из лужицы тонюсенькой змейкой заискрился ручеёк, извилистой ленточкой потянулся в сторону деревянного плинтуса, как бы желая спрятаться за ним. Как угорелый выхватываю из кухонного шкафа глубокую тарелку, на ходу стаскиваю с крючка чистое обеденное полотенце. По ржавому следу в месте стыка двух секций видно, что крайняя сместилась, опустилась вниз совсем на малость, буквально на три-четыре миллиметра, никак не более.

«А что, – мелькает дерзкая мысль, – если тукнуть молоточком, но с обратной стороны?.. Вдруг да и станет на место, как было...»

Эх! Дурья моя голова... Авсё от спешки и от невнимательности своей. Ведь ещё тогда, когда вздумал на батарее гвозди ровнять... Ведь ещё тогда папа строго предупредил, что делать этого категорически нельзя и что батарея, хоть и чугунная, но если её резко ударить молотком, запросто может расколоться, как глиняный горшок.

– Это же надо так, – ещё тогда удивился я, – железяка, а ломается, как черепица.

«Что же мне делать? – никак не могу решиться я, с тревогой наблюдая за быстро наполняющейся водой тарелкой. Стукну, а она возьми да и расколись пополам... Это же как польёт...» Быстрее молнии мысль рисует апокалипсическую картину всемирного, но для меня, бедствия: со свистом и шипением из образовавшейся пробоины, величиною с папин кулак, извергаются клубы горячего пара. Вырвавшийся наружу кипяток стремительными потоками несётся по комнатам, по начищенному до блеска воском паркету, по нашей драгоценной красной ковровой дорожке, которую с таким трудом папа привёз аж из самой Москвы. Бедная кошка Кудина в последнем отчаянном прыжке, дабы не свариться, по занавескам вскарабкивается на шифоньер, туда, где и я, успевший туда взобраться чуть раньше и почему-то с огромным гаечным разводным ключом в руках. Цементные крепи перекрытия четвёртого этажа, не выдержав всепроникающего действия кипятка, неожиданно рушатся, и я, и наша кошка Кудина, и папин с мамой шифоньер с грохотом проваливаемся, словно в тартарары, прямо в квартиру нижнего нашего соседа Бориса Цораева. Все горько плачут, указуя пальцем на меня: «Это он! Это он! Это он молотком разбил батарею. Специально разбил, чтобы всех нас погубить». А папа предупреждал... Очнувшись от нахлынувшего наваждения, переливаю наполнившуюся тарелку в кастрюлю, лихорадочно ищу выхода из свалившегося на мою голову несчастья. Если бы дядя Коля – Вовки Тактаева отец, мастер на все руки, был бы дома, то, конечно уж, умалил как-нибудь, уж он точно всё поправил, как надо, запросто устранил бы эту течь, будь она неладная. Весь праздник испортила. Такие коньки! Такие коньки смастерил! Живи и радуйся... Наслаждайся делами мозолистых рук своих. Эх!... Дал маху... Ничего не оставалось, как рискнуть. Чтобы не стукать тяжёлым молотком прямо по чугуну, подставляю под осевшую секцию твёрдую чинаровую паркетину, которых у нас в подвальной кладовке аж несколько мешков. Брак фабрики «Чинар», купленный папой как дрова. От стекающих капель сухая паркетина на глазах становится буро-красной, пахнет мокрым деревом. С бьющимся от тревожного волнения сердцем сначала легонько,

а потом всё сильнее и сильнее бью молотком по деревяшке снизу вверх. Горячая вода не только не перестаёт капать, а уже струится.

– Эх! Будь что будет...

От отчаянья луплю что есть мочи. В батарее что-то сухо щелкает, и секция встаёт на место. Дрожащими руками ощупываю место стыка, насухо протираю полотенцем.

– Ура! Ни единой капельки. Вот это мастер! – потеряв всякую скромность, хвастаюсь сам себе. – Наши победили! – ору диким голосом, ещё не совсем веря, что своими руками с помощью, как её там?..

С помощью одной интуиции совершил немыслимое дело, – прекратил всемирный потоп. Ведь скажи кому?.. В жизни не поверят. Без всяких разводных ключей, других инструментов, без отключения горячей воды, при помощи одного молотка и мокрого куска деревяшки прекратить, вернее, исправить такую серьёзнейшую поломку, как течь в батарее отопления. С ума можно сойти!..

– А вдруг, – закрадывается сомнение, – она возьми да закапай?..

В который раз прошупываю пальчиком. Сухо!.. С восторгом смотрю на свои коньки, которые кажутся ещё красивее, ещё элегантнее.

– Как всё в этом мире взаимосвязано, – уже философствую я. – Кажется бы... Какая может быть взаимосвязь между коньками, батареей и всемирным потопом? А вот надо же...

Глава 23. РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

1

День этот был назван мною – днём великих открытий и свершений. В голове закипело, забурлило, придумалось, зрительно причудилось:

*День седьмого ноября – красный день календаря.
Посмотри в своё окно – всё на улице красно...*

Я, юный пионер, перед лицом своих товарищей, таких же пионеров нашего класса, строевым шагом марширую в первой шеренге колонны, демонстрирую свою солидарность, не знаю и с кем, наверное – вглядываюсь в крылатое сооружение правительственной трибуны, – с этими неулыбчивыми дядечками и тетечками, выставленными напоказ, на всеобщее обозрение, взволнованно и жарко призывающими через рокочущие громкоговорители проявить эту самую солидарность и с ними лично, и с рабочим классом, и даже с мировым пролетариатом всего земного шара, который только того и желает, что труда да мира.

«Выходит, – переполняюсь гордостью я, – без меня и без моего согласия, моего участия, без участия всего нашего класса, всей нашей пятой школы они никак обойтись не могут?»



– В солидарности наша сила! – грозно рокочет репродуктор.

Согнув в локте левую руку, через рукав курточки по-незаметному проверяю упругость своей мускулы. На шее моей поверх пионерского галстука висят на белоснежных шнурках коньки-снегурки, выкованные мастером Бог знает и когда на одном из заводов Демидова. Собственно-ручно приклёпанные мною к истоптанным башмакам старшего брата Валерика, ради вот такого торжественного случая, как демонстрация, надраенные гуталином так, что никому и в голову не придёт подумать, будто они не новые. Я горд, возвышенно-торжественен, необъятно счастлив. Как вышколенный уставной солдат тяну перед трибуной шею, чеканю шаг, пожираю глазами начальников, с кем и солидаризируюсь, кого люблю, до последней капли крови готов защищать. Голосисто поёт медь. Среди всего этого поистине вселенского гомона, рокота барабанов, пронзительного визга труб слышу, как кто-то чистым и детским пионерским голоском, почти не отличимым от девчачьего, через репродуктор торжественно провозглашает:

– Спасибо дорогой нашей Коммунистической партии, генеральному секретарю Центрального комитета товарищу Хрущёву Никите Сергеевичу, членам политбюро за наше светлое и безоблачное детство. Ура, товарищи!.

– Божешь ты мой, – принимаюсь суетливо озираться я, краснея по обыкновению своему как рак, сливаясь рожей в единое с алым пионерским галстуком. – Так это же мой голос – голос ученика четвёртого класса «Б» средней школы номер пять города Нальчика Вовки Мокаева, по прозвищу Боборика.

Вглядываюсь в достойнейших из достойнейших, возвышающихся на трибунах, в их лица, с самого краешка левого крыла вижу себя в сереньком демисезонном пальтишке на вырост, с подобранными рукавами, перетянутом матерчатым поясочком, с воротничком, торчащим стойкой, с вьющимся на ветру, подобно алой птице, пионерским галстуком. Официальный дядечка с истёртыми чертами лица, в синем макинтоше, тёмной шляпе, с красным бантом на груди подбадривающе улыбается мне, бодро вышагивающему по площади мимо трибуны, похвально-утвердительно тыкает холёным пальчиком в мою сторону, на мои коньки-снегурки, самопально прикрученные к раздолбанным ботинкам старшего брата, хранимые на всякий случай непредвиденных обстоятельств во мраке подвала, ибо кому не известно: от сумы и от тюрьмы – не зарекайся. И хоть между нами, как мне кажется, расстояние весьма даже приличное, отчётливо ощущаю ноздрями запах его дорогих духов, смешанных с коньяком и привкусом сигарет «Кент», отчётливо слышу его голос – бархатный и раскатистый:

– Молодец! Одобряю... Ты настоящий пионер... А самоделашный деревянный самосвал на стальных подшипниках с распределом от ЗИС-120 сможешь смастерить при помощи одного молотка, ржавой пилы и отрихтованных старых гвоздей? Готов ли справиться и с этой важнейшей для страны задачей? – проникновенно смотрит на меня.

Резко взмахнув правой рукою в пионерском приветствии, салютую:
– Всегда готов!

Удовлетворительно крякнув, дядечка предоставляет слово моему двойнику, то есть мне же, но стоящему рядом с ним на правительственной трибуне. Приподняв под мышки, ставит для увеличения роста на табуреточку, где микрофон, высоко поднимает руки, по театральному хлопает в ладоши. И вся трибуна, а затем и вся площадь с манифестантами оглашается бурными аплодисментами.

– Давай, Вовка!.. Вжарь им по-пионерски, – подбадривает он меня, но нетого, что с коньками на шее, а совсем другого, что каким-то непостижимым образом оказался на одной трибуне с первым, и вторым, и третьим секретарями Коммунистической партии Кабардино-Балкарии, в кругу министров и их ближайших заместителей, почти рядышком со стахановцами – героями производства и доблестными ударниками коммунистического труда.

– Говори, пионер Вовка, не стесняйся, говори, что торжествует в юной груди, – пуше прежнего рокочет дядька с гладким лицом, истёртым, что старинный пятак.

– Товарищи! Дорогие товарищи! – звонко кричит с трибуны мой двойник. – Я вам вот что хотел сказать.

Набрав полную грудь воздуха, почти вопит:

– Да здравствует молот! Младший брат кувалды, старший брат молотка. Не силой ли твоего сокрушительного удара можно не только забивать гвозди, выравнивать путевые рельсы, но и исправлять глупые дела неправильно думающих мыслей. Правильно я говорю, товарищи?.. Твой древний предок, грозно ударяя по наковальне, претворял раскалённое в горне железо в острые боевые мечи, наконечники стрел, булатные ножи, пики, сабли, в общем, в то, чем можно зарезать, проткнуть, размозжить голову, распилить пополам. Одумавшись и сокрушившись лбом из всего, что уже было им выковано, перековал на нечто противоположное, то есть на орала. Переделав мечи на орала, молот, хоть и слыл тугодумом, всё же сообразил: хлеба много – нечем охранять. Где же выход? От тугих мыслей так долбанулся головой о наковальню, что от гула Вселенная содрогнулась, волны пошли.

– О чём он таком говорит? – заволновался дядька в синем макинтоше с незапоминающимся лицом начальника.

– Дайте договорить, – вскинул кулак Вовка, пробежав глазами по стройным шеренгам манифестантов, – я ещё не сказал добрых слов в адрес сверла.

– Какого такого сверла? – хватается за микрофон самый важный из солидаризирующихся, растерянно улыбаясь самому главному.

Не дав дядечке одуматься, закричал ещё звонче:

– Да здравствует закаленное стальное сверло, изобретение самого Архимеда из Сиракуз! Не благодаря ли своей твёрдости, силе и воле, личному мужеству, изворотливости ты научилось преодолевать течение толпы, идти наперекор ей, свою прямую дорожку, стремиться к свету, который уж обязательно в конце каждого высверленного тобой туннеля. Не дырки ли, пробуравленные тобою, способствуют тесным узам дружбы?.. Не посредством ли их можно соединить несоединимое – кожу со сталью, золото с чугуном, дерево с камнем, глупость с мудростью, мужчину с женщиной. Паровой котёл, склёпанный благодаря пробуравленным тобою дырочкам, не есть ли прообраз той же пустой головы?.. Наполненный перегретым паром, благодаря избыточному давлению он стал созидать. С гулом и скрежетом помчался по железным рельсам паровоз.

В этом месте оратор Вовка запнулся, не зная, как продолжить, с классовой ненавистью посмотрел на дядьку, заорал:

– Да здравствует свобода, равенство, братство! Ура, товарищи!

Площадь единым порывом выдохнула:

– Ур-р-а-а! Слава Вове Мокаеву! Ур-р-а-а!

После столь странно сказанного Боборикин двойник словно растаял в воздухе. Официальный дядечка, оказавшись с микрофоном один на один, от изумления захлопал глазами, развёл коротенькими ручками, с нескрываемой тревогой посмотрел на своего начальника, как две капли воды схожего с ним обличия, скривив голову набок, проникновенно заподличал:

– Это не я, Хабала Касымович... Это вон тот, – указывает пальчиком на меня, восторженно пожирающего руководителей глазами, – вон тот, что поверх пионерского галстука повязал ещё и башмаки с коньками. Обратите внимание, – громко шепчет ему на ухо, – шнурочки-то белые... Это не я... Это он секретно пробрался на трибуну и от моего имени наговорил всякого.

– Молодец! – неожиданно хвалит меня начальник, как две капли воды похожий на своего подчинённого. – Отметить... Немедленно же послать в пионерский лагерь «Артек». Можно и в «Орлёнок».

2

На этом самом интересном месте пелена странных наваждений словно спала. Увидел перед собой Анжелку Пшеунову, многозначительно крутящую пальчиком у своего виска:

– Ты чего, Вовка, молотком по батареям стучаешь? – не без опаски смотрит на мой молоток, переводит взгляд на коньки... – Совсем одурел, что ли? Мамка послала проверить, так как от звона нету никакого покоя. Вовка! – не без удивления спрашивает меня. – А это что?.. Это коньки твоего дедушки, что ли, который жил ещё до революции или... Что это?..

– Отстань, Анжелка, – совсем не обижаюсь я, – ничего ты не понимаешь, это самые лучшие коньки в мире. А всё потому, что такими я их придумал сам.

Глава 24. ПОЛЁТ ШМЕЛЯ

1. Шинкарщики

Случалось ли вам когда-либо в жизни шинкарить?

– А что это такое? – наверняка спросят многие, недоумённо пожав плечами.

Некоторые, особо из вьедливых товарищей, потянутся к словарю Ожегова, пороются в нём, отыщут слово «шинкарство», с изумлением прочитают: шинкарство – незаконная торговля спиртными напитками. Ага... Понятненько... Отсюда и шинок, то бишь – питейное заведение. В общем, заниматься самогонварением, – не так ли?

– Нет, нет и ещё раз нет, – предостерегающе замашу я руками, – ещё опаснее. Разве что безумцу придёт в голову мчаться на каблуках собственных ботинок или туфель в гололедицу, ухватившись за задний бампер автобуса, водитель которого, уж точно, и духом не ведает, кого за собою волочит. Современный экстрим и в пыль не сравнится по своему психологизму с подобною забавою, какую промышляли мы, находя в этом нечто достойное считаться настоящими пацанами, такими нигилистами. Шинкарить, да ещё и на коньках, – дело вдвойне опаснее. А почему? Объясняю... Дело в том, что у полозьев коньков степень скольжения относительно каблуков, не говоря уж о собственной заднице, гораздо выше. А потому... Не дай Господь, если автобус резко тормознёт. Как понимаете, и объяснять дальше незачем. Физика: рожей в бампер и... и под машину со всей дури.

Всех лучше шинкарилось по улице Сталина – ныне Шогенцукова, а до этого Республиканской. В то время, особенно зимою, когда крепкий мороз, от стадиона до туристической базы «Нальчик», что на углу Лермонтова, она была довольно пустынной и безлюдной. Личного транспорта на дорогах тогда было крайне мало, рейсовые же автобусы ходили не так часто, как сейчас, да и нерегулярно. Попасть в Хасанью или на Белую Речку после девяти часов вечера было весьма проблематично; в лучшем случае до Пятачка, а далее... Кому как повезёт. Собравшись небольшой ватагою, хоронились за обледенелыми и заснеженными кустами, высаженными вдоль обеих сторон дороги; затаившись, ждали, когда подъедет очередной автобус, чтобы после того, как он начнёт трогаться, сзади выскочить гурьбой, ухватиться за всё, за что можно ухватиться, иногда и друг за друга, нестись с невероятною скоростью по бугристому ледяному насту, болтаясь в разные стороны подобно сарделькам. Порою от этакой страсти, дробной чечётки каблуками по наледи, нервы не выдерживали, ибо уж слишком резво автобус понесло, пальцы разжимались, и очередной претендент прокатиться на халяву совершал полёт по непредсказуемой траектории – полёт шмеля, летел кубарем, скакал на заднице, нёсся на спине, на животе, пока, дай Бог, если всё благополучно, от собственных сил трения не останавливался. Иногда водитель замечал, едва тронувшись, тут же тормозил, шустро выскакивал из кабины, что есть духу мчался за зазевавшимся хлопцем, не успевшим вовремя дать

дёру, с одной лишь целью: порвать уши, такого дать пинка под задницу, чтоб от сотрясения и шапку с головы вон. Бдительная милиция также не дремала. Отчаянных хулиганов отлавливала, волокла в детскую комнату милиции, проводила душеспасительные беседы, после чего на прощание давала сапогом точно такого же пинка, чтобы помнил. У каждого уважаемого себя профессионала-шинкарщика имелись специальные для того кирзовые сапоги. Ошибаются те, кто думает, что подобные сапоги – один к одному, но большего размера, были только у солдат. Такие изделия единого материала и кроя были в продаже и для самых маленьких детей. Для пацанов считалось шиком выйти с гололедицу во двор в этаких вот скороходах, с широко подогнутыми голенищами – сапогах суровых и неприхотливых, не боящихся, кажется, никаких дорожных трудностей – ни грязи, ни воды, ни острых камней, которыми с разгону так можно было долбануть по консервной банке, что в лепёшку. А если они ещё и подбиты особыми железными подковами, то – туши свет... Были и особые, в каблуки которых в специально высверленные для того отверстия вбивались стальные шарики от подшипников, чтобы, как говорили профессиональные шинкарщики на своём жаргоне, – копыта на крень не снесло. Такие ядрёна-кони имелись и у меня. Не знаю, кому и когда они были куплены, и куплены ли вообще, но совершенно случайно я их обнаружил в нашей кладовке, где чего только можно было не найти, если сильно к тому постараться, не сломав шеи. Сплющенные, что блины, под тяжестью высокомерного сундука с крутою горбатою крышкою, густо отделанной полосовым железом, покоробившиеся, белёдые от слежавшейся подвальной пыли, они представляли из себя жалкое зрелище. Попытался как-то выровнять и натянуть на ноги. Но не тут-то было. Кто-то из пацанов посоветовал сначала хорошенько замочить в горячей воде. Мама почему-то подобной затее не одобрила, сказала, что раскиснут от кипятка, а подошва так и вовсе отклеится, густо помазала их не чем-нибудь, а рыбьим жиром, а чтобы пуще пропитались, положила на клеёнку, задвинула под кровать.

– Анна! Что за чудовищный запах в нашем доме? – возмущённо принюхивается папа, широко поводя раздутыми ноздрями.

Своеобразный запах кирзы, смешанный с духом подвально-сундучной плесени, плюс неотразимый аромат рыбьего жира породил нечто, отчего и кошка Кудина, нюхнув, чуть не сколдобилась.

– Вынести вон... Закрыть на балконе, – грозно командует отец. – Я не желаю вынюхивать подобное... Ну, честное слово, воняет, как от сдохшего моржа. Вот-вот Шамиль обещался в гости зайти вместе с Маратом... Ведь что подумают... Как я им объясню, что это так Вовкины сапоги протухли.

Хоть кирзу и выносят вон на свежий морозный воздух, их запах не спешит покидать полюбившегося им жилища. Папа, раздувая резиновую грушу из пульверизатора, орошает воздух ядрёным духом тройного одеколона. Кошка, не выдержав, убегает из дому вообще. Валерик смеётся. Мы с мамой переглядываемся и, не выдержав, также прыскаем от смеха.

– Саша, – спрашивает мама папу, – а что... дохлые моржи действительно пахнут рыбьим жиром?

От процедуры, которой мама подвергла мои сапоги, их кожа действительно приобрела эластичность, стала чёрной и блестящей, словно её надраили гуталином, но... неистребимость духа рыбьего жира так и осталась, что в дальнейшем, и не раз, доставляло мне всяческих душевных неудобств.

– Фу-у-у! – как очумелый визжит Толик Буклин по кличке Глист, когда все пацаны и девчонки собрались в детском клубе зырить¹ по телеку гоголевского «Вия», – откудова это так воняет?

Поджав ножки под скамеечку, я, конечно же, помалкиваю, стараюсь не шевелиться и даже не дышать во избежание излишних воздушных смущений, посредством которых дух и распространяется. И действительно... В переполненной комнате понять, от кого это так прёт рыбьим жиром, совершенно невозможно, запах настолько мощный, что кажется – он везде.

Повествование же моё, хоть и в связи с этим – как мы в детстве шинкарили за автобусами, но всё же несколько о лично своём. Слушайте.

2. Снегурки-скороходы

Все мои сомнения, куда же от них деться человеку думающему, человеку творящему, – сомнения относительно снегурок, которые я собственноручно пришпандорил² посредством винтов и хомутов к гражданским ботинкам, тут же улетучились, когда, выйдя из подъезда, слегка оттолкнувшись, я лихо помчался вниз по дворам. Вот это да! Подпрыгивая на небольших заснеженных ухабах, маневрируя между чугунными канализационными люками, тут же оценил все преимущества профессиональных коньков, которые подчинялись любому движению ног, мчались не туда, куда им вздумалось, а волею пославшего их своего хозяина.

– Замечательно! – ещё больше восторгаюсь я. – Какого лешего не додумался раньше, такие муки принимал.

¹Зырить (сленг) – смотреть, наблюдать, подглядывать.

²Пришпандорить (сленг) – соединить каким угодно образом.

На потеху пацанов, чтобы вериги не спадали, с такой бешеной мощью привязывал их верёвками, что от непоступления крови, полного нарушения кровообращения, ноги всякого чувственного сознания лишались, покрывались мурашками. Делая крутой вираж, по привычке мысленно приготавливался, что вот-вот верёвки съедут набок и я со всего маху шмякнусь¹ на асфальт. Но ничего такого не происходило и при десятом, и при двадцатом резком развороте, коньки вели себя наилучшим образом, как настоящие фабричные (слово «фирменные» в словарном обиходе тех лет фактически отсутствовало, а если где и встречалось, то скорее как нарицательное, связанное с капитализмом, буржуазным обществом. – *Авт.*), и даже лучше, так как то, что можно было вытворить на снегурках с их круто загнутыми носами, ни на ласточках, ни на дутьшах, ни тем более на беговых сроду не выполнить. Пацаны скисли. Всё чаще и чаще стали поглядывать с нескрываемою завистью. Ещё бы!.. Попробуй-ка на своих фабричных дутьшах по обледенелым булыжникам. Не хило... Кусочек улицы Инессы Арманд от бывшей Сталина до Проспекта Ленина упирался прямо в наш четырёхэтажный дом со стороны двора. Незамощённая, ухабистая, она никак не представлялась препятствием для моих снегурок с их великолепно загнутыми в кралечку носами и даже, наоборот, служила неким полигоном, по плотно утрамбованному снегу которого можно было выделять разные выкрутасы. На ременных хомутах спереди для красоты и боевитости прикрепил в рядочек по три золотые офицерские звёздочки, как на погонах, самолично присвоил себе звание старшего лейтенанта.

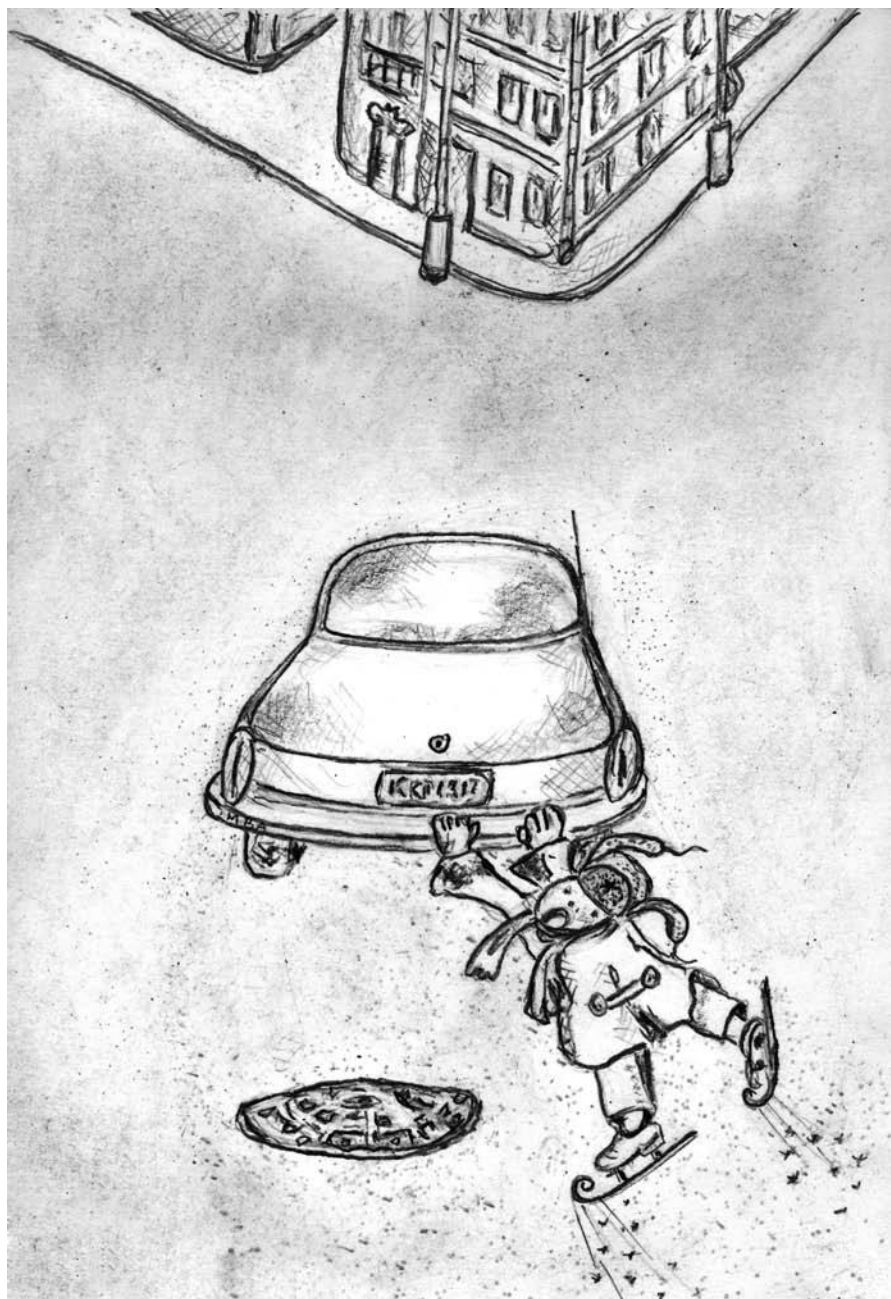
Красотища неопишная!.. Сами же погоны, с которых и скрутил эти звёздочки, достались мне за просто так. Молодой офицер купил в военторге новые, старые – помятые и потертые не стал выбрасывать куда попало, увидев меня, крикнул:

– Пацан! Хочешь настоящие погоны, боевые? К школьной форме прикрепил, можно и на пальто. Завидовать будут все...

Видно, представив меня в погонах старлея², весело засмеялся. Зима к тому времени стала мал-помалу ослабевать, на дорогах появились проталины; на Детском стадионе, что возле нашей пятой школы, лёд так разбился, что каток для общественного посещения и вовсе закрыли. Вверху же, по Республиканской, в сторону Пятачка, всё оставалось как прежде, дорога была заснеженной, плотно укатанной, в некоторых местах до зеркального блеска, что для нас – пацанов – было весьма вожажденным. Хоть порою милиция и гоняла с проезжей части, но что ты

¹Шмякнуться – упасть плашмя со звуком, шлёпнуться.

²Старлей – старший лейтенант.



сделаешь с пацанами, жаждущими настоящих боевых рисков... Глупое моё бахвальство – всяческое утверждение себя перед самим же собою, когда неведомая внутренняя сила, как туго заневоленная пружина, всё время заставляет то прыгнуть выше всех, то сигануть особым аллюром в бок, то нырнуть, где всего глубже, то вскарабкаться туда, откуда, коли брякнешься, то уж точно и костей не соберёшь, всё это однажды чуть не сыграло свою роковую роль. Разогнавшись, что есть духу мчусь от самого стадиона по правой стороне улицы. От морозного ветра в глазах слёзы, коньки дробно отстукивают неровности дороги. Багряная полосочка заката вот-вот скроется за горною грядою; на высоких чугунных столбах загораются круглые матовые шары, отчего снег из голубого окрашивается в жёлто-золотистый, на накатах дороги блестят подобно расплещеным лужицам, некоторые же места, где лёд, кажутся, чёрными. Вовка, сосед по подъезду, по прозвищу Гаврош и ещё какой-то пацан, но не из нашего двора, напросившийся кататься с нами, прилично отстали от меня, активно машут руками, пытаются догнать, так как уже довольно поздно и это наш последний заезд. Боковым зрением замечаю белую «Волгу» с никелевым оленем на капоте, медленно проплывающую мимо меня, да так, что почти впритирочку. Тогда таких машин было совсем мало, в Нальчике же, как помнится, всего несколько штук. Вместо того чтобы взять правее от опасно обгоняющей «Волги», совершенно спонтанно делаю рывок, и вот я уже за задним бампером, крепко держусь за его ребристый край, присев на корточки, каждой клеточкой своего мятежного организма ощущаю вибрацию своих снегурков от неровностей дороги, продольные её извилины, на которых заносит то вправо, то влево, пытается вышвырнуть, и дай Бог на обочину, а не на встречную. И вдруг... Непонятно и почему, машина резко начинает прибавлять в скорости, несётся, кажется, как угорелая, поднимая вихри снежного праха, стремительно летит, как стрела, выпущенная из арбалета. Подсознательно понимаю, что от столь стремительного ускорения любое движение ног вправо ли, влево – и меня вынесет за пределы габаритов машины, понесёт боком. И тогда... Никаких сил не хватит удерживать себя за бампер, а по существу, за торцовую полосу трёхмиллиметрового хромированного железа: как пить дать, пальцы оторвёт. Страх так обуял все члены, что вместо того, чтобы как-то разжать пальцы и отцепиться, а там – будь как будет, стискиваю их ещё сильнее. Чудовищный рывок, снопы искр бенгальскими огнями рассыпаются во все стороны, наждачный скрежет полюзьев по участку сухого асфальта, полный переполох в голове. Кубарем лечу в придорожные кусты. Коньки вместе с вырванными корнями каблуками и ремёнными помочами, на которых так горделиво вот только

что блистали золотые офицерские звёздочки, скачут по дороге следом. «Волга», не снижая скорости, уносится. Скажи водителю, что буквально вот-вот на хвосте его машины юный обормот-камикадзе чуть не отдал Богу душу, разве поверил бы? Отделался очень даже удачно. Можно сказать – дико повезло. На такой-то скорости... Несколько лёгких ссадин и царапин, оторванное ухо у кроличьей шапки, лопнувшие по швам на заднице штаны, разбитый в кровь нос. Экая беда... Крепко, надо сказать, повезло. Не защитною ли помочью ангела-хранителя?.. Подкативший следом Гаврош подаёт мне мои искорёженные коньки, которые он успел подобрать на дороге. Вместе с торчащими из них каблуками и обрывками ремней с офицерскими боевыми звёздочками они мне кажутся совсем и не моими. У одного конька нос свернуло набок, от трения о полосу сухого асфальта он даже посинел. Ботинки с белыми шнурочками, без каблуков стали более походить на боксёрские тапочки, у правого же наполовину отодралась и подошва.

– Вовка! – суется возле меня Гаврош. – Бежим скорее в парк, пока не впоймали в милицию. Вон... С того перекрёстка, где автобусная остановка, точно видели, как ты по асфальту без коньков на заднице скакал. Наверняка уж милицию, а может, и скорую помощь вызвали. Видишь, – кивает головой в сторону, где турбаза «Нальчик», – видишь, как все зырят в нашу сторону. А Хаджиби, как усёк, так сразу же и дал дёру через территорию детского садика, предатель. Бежим скорее...

Спешно перелезаем через решётчатую ограду, углубляемся в дебри парка. Почуяв пятками снег, несусь по сугробам в сторону главной аллеи что есть мочи. Вовка-Гаврош на своих коньках-дутьшах скачет следом, прямо по снежной целине, падает, но друга своего в беде не бросает, не то что Хажбишка с Фестивального дома, удравший первым.

– Вовка, ты ещё радуйся, – задыхаясь от скорого бега, кричит Гаврош, – что совсем не разломался на куски и не убился. Знаешь, какое пламя из-под твоих коньков сыпалось... Я думал, что ты вместе со своими снегурками, как есть, источишься. А напоследок... Как долбанёшься о чугунную крышку люка, каблуки вместе с коньками таки и отпрыгнули в сторону. Страсть... А если бы... А если бы люк оказался открытым? Ведь бывает же, – глубокомысленно изрекает Вовка.

От представления такого мне делается нехорошо. Одно, когда передним колесом велосипеда в открытый люк угодить или, скажем, пешим манером, от невнимательности своей, другое дело, когда вот так, на скорости под сто километров. Получив исчерпывающий практический жизненный опыт, коньки вместе с вырванными с мясом каблуками, завернул в

лохмот, навсегда затырил¹ в кладовке, сапоги-скороходы с вмурованными в каблук шариками от подшипников за просто так подарил однокласснику Зуберу. Он же в знак благодарности, от бескорыстной чистосердечности за мои кони² отдал мне свою увеличительную лупу аж с шестикратным разрешением, которая была, как новенькая, только с отломанной ручкой. Сами же башмаки с белыми шнурками и совсем без каблуков завернул в газету «Правда» и спрятал в кусты. В те кусты, которые смягчили удар и наверняка спасли мою жизнь. Иоаким Премудрый подсказал. Мистика... Хотите верьте, а хотите нет, но ровно на том месте лет через пятнадцать вырос клён. И поныне он там. Стройный и высокий, с зелёными резными листьями весной, красно-огненно-жёлтыми – осенью: память о моём полёте на чудо-снегурках, пусть и не совсем удавшемся полёте, но всё же свершившемся во имя мечты на собственноручно сделанных крыльях. Это слишком ровненьким и правильным, умненьким и беспорочным подобные поступки кажутся безумием, дурью несусветною.

– Какая в том практичность, какой толк, кроме как свернуть себе шею, а то и вообще полишиться головы? – всегда рассуждают они, опасливо озираясь по сторонам, тяжело вздыхая: – Не случилось бы ненароком дурного чего, вон ведь как ветер разыгрался, солнце запалило, дождик занялся, гром загрохотал. Шибанёт ещё чего молнией... Надует уши... Промокну до костей. Вдарит солнце по темечку. О Господи... Куда же запропастился мой зонтик? Как же можно было его забыть дома?.. Ну и что, что солнце... Бережёного Бог бережёт.

Разве им понять, что имей я такие же, как у всех, фабричные коньки, стал бы разве доказывать, и прежде всего самому себе, что мои, выполненные собственными руками и совсем не похожие на все ихние, сделанные как под копирку, не только не хуже, а гораздо лучше, в сто раз красивее и, уж конечно – крылатее. Во всём правильные человечики, как правило, правильно и ползают. Безумные, дерзающие высот, хоть и разбиваются порою в кровь, ломают самодельные крылья, летят не совсем ровно, а зачастую и криво, но всё же летят, а не ползают ровненько. Усекли разницу. Да здравствуют фанерные крылья мечты! Ура, товарищи!..

¹*Затырить* (жаргон) – запрягать.

²*Кони* (жаргон) – туфли, ботинки – обувь.

Глава 25. ВНЕЗЕМНАЯ ЖЕНЩИНА. СКАЗКА

1

Фильдеперсиков Миха – бригадир слесарей-сантехников жилищно-коммунального хозяйства «Акведук», слыл человеком совестливым, характера мягкого и почти трезвого, а если когда и выпивал по случаю, то относительно своих товарищей-слесарей и даже инженера Киривякина – самого главного над ними, на другой день – ни-ни... Никаких опохмелий. В минуты особой запарки, что так часто случаются у людей данной профессии, когда специалистов не хватает, хоть зарежься, а экстренные вызовы один за другим, нимало не смущаясь, самолично ехал на вызов, первым лез в засорившийся колодец, переполненный, истекающий нечистотами. Наугад ловил концом направляющей трубы боковое отверстие в коллекторе, которое в таком дерьме попробуй ещё сыскать; установив, вправлял упругую рояльную проволоку, кричал напарнику:

– А ну-ка, Степан... Поддай малость, пошуруди, крутани маленько... Кажись, есть!..

Вытягивал на божий свет намотавшиеся на согнутый край проволоки тряпку или ещё какую дрянь, кроил самую наибрезгливейшую физиономию, разложив всё это на асфальте, не стесняясь дворового люду в выражениях принимался нравоучительно скандалить:

– Вот же баба – дура, тудыть её таранть... Это каку совесть погану надо иметь внутри самой себя, чтобы своё исподнее запихивать в сортир, словно то не унитаза, а деревенский нужник. Дерьмом уж не то что в первом этажу, а и на втором изо всех сифонов попёрло. С двадцать первой-то квартиры мужик уже научен. Сколько можно-то чужое черпать... Быстро сообразил... Как почуял неладное, не растерялся, враз лохмотами и тряпьем разным закупорь унитаз вместе с раковиной. Вот оно и поднялось на второй, а затем и ещё выше. Ходу-то нет... Ведь это с какого краю ни гляди, не иначе как с умыслом наподлянено. Кому, скажите, за просто так взбрёт в голову запихать в канализационный стояк собственные трусы? – не стеснялся Миха, пиная носком грязного сапога нечто, совершенно ни на что не похожее. – Вот же, тудыть тебя в печёнку, скверная баба... Ни стыда тебе, ни совести.

Смотав упругую проволоку в тугое кольцо, ядрёно выматерившись, смачно сплёвывал в сторону неожиданных находок, подсыхающих на горячем солнечном асфальте, садился на сантехнический грузовичок, с шумом хлопал дверью, укатывал на следующий объект, где всё повторялось почти с тою же последовательностью.

– Все эти безобразия, засоры всякие да протечки то там то здесь – дело рук женщин, – любил назидать он своих мужиков. – Исключительно зловредные существа эти бабы. Вот ты мне ответь, Иван, – обращается он к самому из старших по возрасту сантехнику Ивану Сквородкину, – тебе али кому из других мужиков придёт в голову этакая хрень взять да три метра сарделек, непонятно и по какой причине, запихать в унитаз и сдёрнуть? Вот видишь, то-то, – грозит непонятно и кому пальцем Миха, – видя, как Иван брезгливо кривится губами. – Ни одному, даже самому наипоганенькому из мужичков энто и в голову не влезет. Вот, совсем недавно – Витька свидетель, коли брешу, – спрашиваю я, значит, Ньюку: «Ты пошто, девка-дура, борщ, да ещё вместе с колотыми маслами в ср...ник свой вывалила? У тебя на плечах што? Голова, али... Кто только надоумил тебя энтому?..». А она выпучила свои бельмы бестыжие, руки в боки да как затараторит: «Знать не знаю, ведать не ведаю, нету у меня такой моды... С верхнего этажа приплыло, от зависти». «От какой это такой зависти, – спрашиваю её, – когда начало закупорки с твоей стороны?». А она словно не слышит: «Ясное дело, с какой зависти... Она и мужику моему хотела мозги закупорить, охмурить возжелала, вертихвостка. Да не на ту напоролся... Вот и злобствует от досады, спускает всякую дрянь по канализации ко мне. Я бы на твоём месте, – советует мне, – как есть, её бы трубу и совсем замуровала бетоном, чтобы не паскудничала. Ишь, баба бесстыжая». Ну што ты будешь делать с ними, – безнадёжно машет рукою Миха, – как есть, все до единой настоящие мегеры.

Будучи в приличном возрасте, почти пятидесяти лет от роду, так и не женился, да и по всем признакам – куда уж теперича – и не собирался. В присутствии жён своих приятелей, что иногда случалось вднигосударственных празднеств или именин, вёл себя весьма прилично и тихо, и хоть тостов за женщин не поднимал, уж точно не представлялся женоненавистником. Мало того, некоторые, те, что по каким-то причинам незамужние, находили его очень даже интересным. Мужики, зная за ним его неприязнь к женскому полу, специально, дабы повеселить душу, заводили при нём дурацкие ненужные разговоры про разные случаи, которым были свидетели сами, про неверных женок, что самым иезуитским образом вправляют роги своим целомудренным мужьям, которые о том даже и не догадываются, шлындают и направо и налево. И что одна умудрилась даже до того, до такого бесстыдства, что стала вызывать любовника на дом под видом доктора.

– Вот же стерва, – с нарочитой психостью возмущаются приятели. – Я бы этому доктору, впоймайся он мне, – подмигивает лукаво компрессорщик, – все рёбра бы гаечным ключом пересчитал. Это же надо вот так исхитриться.

Если скверная байка никак не впечатляла, Миха не заводился, принимались с другой стороны. Обещались познакомить с такой кралей, что пальчики оближешь, – скромнейшей и порядочнейшей из женщин, каких и во всём белом свете не сыскать, умеющей не только разное по хозяйству, вкусно готовить, но и по женской части – такое, что ты мне, брат, держись только.

– Миха, а Миха, – не унимались острословы, – тебе кака баба больше по душе? Худощавенькая или пухленькая?.. Ну, что молчишь? А может, у тебя того... По мужественной линии какие проблемы? Так ты уж скажи нам – своим товарищам... Как-никак – мужики. Вон у Игорька – скажи ему, Игорёк, – раньше, это когда жигулёнок угнали, от нервов вся система расстроилась, совсем никак с жинкою не получалось, хоть ты плачь... Уж и Катька стала задумываться. Задумаешься тут, когда бабе тридцать лет, и вся в соках... А сейчас... Скажи ему, Игорёк, – нервишки подлечил бромом, принял всякие процедуры в санатории, и всё возвраталось, как и прежде, в полной своей уверенности. Думаешь ты один такой из нашего брата, кого вот так с ног до головы?..

Зная эту историю чуть ли не наизусть, обросшую к тому же, как это по обыкновению всегда случается, разными придумками, вымыслами и прочими нелепицами, все как один принимают глупо улыбаться. На самом же деле всё произошло гораздо прозаичнее. Поскользнувшись, Миха с головой булькнулся в колодец, полный фекалий. О край выступающего чугунного люка выбил себе оба передних зуба сверху, вывихнул в плечах обе руки. Хорошо, что компрессорщик Витька Варламов успел, подскочил, за воротник фуфайки ухватил. А так бы... Да что там и говорить, как пить дать потоп бы при исполнении служебных обязанностей. А это... Как повернуть... Можно не то что медаль, а и орден пожизненно. Глотнул, конечно, мал-малость от неожиданности-то, не успел затаить дыхания. Но жив же!.. Самым же неприятным в этой истории было даже не это. Мало ли до него сантехников обдeldывалось с ног до головы... Дело в том, что всё это приключилось в воскресный день и в его родном микрорайоне, рядом с пятиэтажкой, где и проживал, и на виду целой свадьбы, вернее, приличной толпы подружек невесты – расфуфыренных и напомаженных в пух и прах, ожидающих у подъезда жениха с друзьями. Узрев, что Миха всё же не потоп и всё окончилось для него весьма благополучно, даже самостоятельно стоит на своих ногах, хоть и с вывернутыми вверх руками, словно благодарит Небо, – так всею кодлою грохнули от смеха, да с повизгиванием, что подъехавший к тому сроку жених никак и в толк не мог взять: какого хрена... Чего это они ржут, словно ненормальные? Чествуют, что ли, так? Профессии

своей Михаил Фильдеперсиков сменять не стал, женщин, всех до одной, невзлюбил. Оказывается, как он сам потом признался Лёвке Кудщикову, когда пили пиво в «Бочке», единственная девушка – его соседка по подъезду Оля Журавлёва, к которой он тогда имел серьёзные чувства и намерения, также находилась в прескверной компании и также, но ещё громче всех ржала, подобно кобылице нежерёбой, – так он выразился, – когда чуть насмерть не потоп. Упади Миха, скажем, в прорубь ледяную, завязни в топком болоте, свались ненароком с крыши дома, расшибись на велосипеде, уж наверняка бы все проявили сочувствие, дружественное своё участие, поспешили бы в ближайший гастроном за портвейном, обмыли, как положено у добрых людей, что жив, хоть и не совсем здоров, утешили бы как-нибудь добрым словом. Здесь же... Когда Миху повели до родного дому, дабы отмыть от мерзости, просушить, дать чего успокоительного, весь свадебный народ в весьма большом достатке так и брызнул в рассыпную, а особенно жених. Сказывали, правда, что где-то на Затишьё у него есть женщина, прилично старше его, к которой он изредка наведывается. Кто эта тётка, какая из себя, работает ли или, как некоторые острили, уже пенсионерка, то есть бабушка, – никто толком не знал, а потому уж точно – брехня.

– Слесарь-сантехник, да и ещё бригадир, то бишь – руководитель, – это тебе, брат, не золотарь какой на бочке с дерьмом и лужёным черпаком в обнимку, – говаривал ему дед, когда был ещё жив, – тут, Михаил, голова нужна, знания разные нужны, как это всё по-правильному да по науке употребить к пользе. И сварку тебе знать, и в запорной арматуре разбираться, и все коллектора на вверенном тебе участке знать назубок, какой куда располагается да где с каким имеет соединение. Это чисто-плюям да хреновой интеллигенции всё кажется, что оно вот так само по себе делается, а унитазы обязаны работать только в одну сторону, но никак не в обратную. Хороший специалист, сантехник, если к тому же работающий да чрезмерно не злоупотребляющий хмельным зельем, на одних шабашках, не говоря о зарплате, в полном себе удовольствии может просуществовать всю жизнь, да и ещё припеваючи. А вот жениться, так это уж я скажу тебе, надо обязательно. Без жинки даже самому правильному мужику беда. Да и детишки... Как без их-то?.. Оно, конечно, и в этом деле не без осторожки. Как кому повезёт. Это в старинные времена, когда живы были ещё мои родители, ещё дед с бабкою существовали, царствие им небесное, строго было. Попробуй-ка какой бабёнке хвостом поверти, характер свой особый выкажи, не говоря уж о другом... Мужик так вожжами отходит, что уж через минуту как шёлковая. А сейчас... Это надо же... Такое и в ум не влезет... Петрашкина жинка,

что с Александровки, – по-моему, Варькой зовут, – так двинула своему благоверному по пьяной его роже сковородкой, что, честное слово, не вру, нос так набок и своротила. В гипс потом пришлось вставлять. Он и дверей-то толком не успел ещё отворить, ключами шебуршал, никак попасть в скважину не мог, а она – гадока семибатьюшкина, притаилась с обратной стороны с чугунной блинницей, не дышит; он только в проём, а она как долбанёт по сопатке плашмя. Петрашкин от страсти такой так с ног и скovyрнулся. Шутка ли... Железьякой-то... Хорошо, хоть не с огня... С неё, с Варьки-то этой, и на то хватило бы... Да разве можно вот так?... Ты же поначалу поинтересуйся, что да как... Может, относительно своей нетрезвости у него свой правильный аргумент имеется. А попробуй-ка мужику вот так жинку свою, без явных и видимых к тому обвинительных доказательств?.. Ведь она – гангрена, и до суда дело доведёт, как есть, под следствие запустит, в темницу упрячет.

Давно уж, как нет деда, да и родителей. Да и самому Михе под полтинник, шутка ли... А жинкою так и не обзавёлся, всё некогда. Накопил на «жигулёнок», давно мечтал о машине-то, уж и очередь подошла, да возьми в последний момент и передумай. Словно кто по голове огорошил.

– Ну, хорошо... Приобрету себе «фиатца»... А на кой ляд она мне? В брезентовых штанах на работу, что ли, на ней?.. Таких же работяг прицепом возить?.. А на море, так-то и дураку ясно, в сто раз спокойнее без всяких машин. Да и сдалось мне это море... Век бы его и не видать... Не пожрать толком, не выкупаться по-человечески. Народу – тьма...

Так Миха машину и не купил. А оттого, что всё вот так получилось и что не надо теперь нервничать, хлопотать с гаражом, с водительскими правами, будь они неладные, да мало ли ещё с чем, когда появляется личный транспорт, аж повеселел, лицом изменился в лучшую сторону. По новым-то законам, чтобы права эти получить, как пить дать необходимо пройти обязательные курсы. И даже это ещё не факт, что водительское удостоверение у тебя в кармане. Пока не дашь кое-кому на лапу, хрен тебе сдать с первого раза. В общем, как ни посмотри, всё к лучшему. И всё бы, наверное, так и продолжалось бы в мирном течении реки жизни, спокойно и гладко, без всяких лишних рябей и волнений на воде – кому нужны эти бурления, – если бы ни случись нечто, во что и поверить, ну честное слово, совершенно невозможно, ибо подобное происходит из многих миллионов случаев ну разве что один раз в несколько лет: Фильдеперсикова Михаила Васильевича – слесаря-сантехника шестого разряда жилищно-коммунального хозяйства кооператива «Акведук», прямо на рабочем месте трудовой его деятельности ранило осколочком небесного метеорита в голову. Случилось это на пересечении улицы

Советской и Горького, там же, где и медицинское училище с примыкающими к нему сгоревшими руинами бывшего его спортивного зала, стены которого уж поросли буйными травами да тонюсенькими берёзками, и где, но чуток выше, находится гастроном, а напротив – парикмахерская, а если по улице, но в обратную сторону и до самого конца, то – кладбище. Слушайте.

2

Лето. Ясное солнечное утро. В голубых, необыкновенно бездонных и прозрачных небесах ни единой тучки. Белоснежные пики горных вершин, подковой окаймляющие зелёные долины, как никогда, притягательно-живописующи. Лёгкое дуновение горного ветерка, особый дух мятной свежести, всё это плюс к тому же – воскресный день, когда чувственная душа, млея от покоя, так и шепчет: куда спешить?.. К чему все эти суеты? А не вздремнуть ли ещё часок-полтора?.. А почему бы и нет?.. Хотя... Примечено, и это уж точно, всякие гадости и бедствия, неожиданно приключившиеся поломки, засоры кухонных раковин и унитазов, чудное исчезновение воды из водопроводных труб, несанкционированные и прямо-таки хулиганские выходы газовых колонок, возжелавших во что бы то ни стало пламенно возгореться и без видимых причин к тому сгореть дотла, вернее расплавиться, все эти безобразия происходят в самое на то неподходящее время, именно тогда, когда хочется заорать от восторга во всё горло: хорошо же всё-таки жить на этом белом светушке! И обязательно при этом ввернуть чёрта. И тут же почему-то прилетает в голову лихая мыслишка: а не выпить ли чего покрепче для ещё пушей радости?.. Вон ведь какая кругом красотища! И мочи нету глаз отнять, так дух и занимает. Только вот так подумали, приготовились и дальше радоваться жизни, как вдруг... на тебе... Сдалось этой поганой трубе прорваться в раннее воскресное утро... До понедельника что, не хватило мочи дотерпеть? Только собрался было на рыбалку, братьев Кудрявцевых – Лёньку и Ваську подбил, как на тебе... Считай в самом центре города прорвало эту канализационную трубу, тудыть её ядрёна пень заразу... А всё этот Васька Кудря накаркал. Вчера ещё язвил, заноза:

– Разве можно с таким, как ты, планировать чего серьёзного?.. Рыбалка – это тебе не тросом в канализационных трубах шурудить. Набрал себе полную бригаду алкашей... Вот и паши теперь за них на свою трезвую голову. Знаю я вас – слесарей... Если что и умеете, то разве головы у болтов сворачивать, подвалы нечистотами затапливать.

Как в воду глядел – козёл. И глаза не успел продрать. А уж звонят во все звоны, приказывают на работу и уж машину выслали. За внеурочную обещаются вдвойне заплатить.

– Знаю я ихние – в двойном размере, – психует Миха, натягивая выдавшие виды брезентовые штаны цвета ржавчины, выискивая глазами свои резиновые рабочие сапоги, которые сам же и поставил на балконе от невозможности их духа.

По обилию истекающих из-под чугунной крышки люка вод было совершенно ясно и очевидно: затромбовалось основательно, одним колодцем не обойтись, по коллектору как бы ни пришлось орудовать до самой Ногмова. Видать, и без компрессора не обойтись.

– Вот же зараза! – нервируется Миха.

Но, слава Богу! Глаза бояться, а руки делают... Всё решилось на удивление ловко и быстро. Из первого же бокового коллектора вытянули громадный клок шерсти.

– Фу ты, – матерится напарник Михи Ромка, по кличке Гамыра, не без удивления рассматривая клок шерсти, да и ещё с приличным лоскутом кожи, – кажись, баранья. Как же она туда попала? Через унитаз никак не получится... В жисть не пролезет. Знамо, прямо в колодец эту шкуру и запихали. Вот же вредители, – пуще прежнего матерится Ромка, смачно сплёвывая на землю, заглядывая в колодец, из которого воды с клокотанием и бульканьем на глазах стали убывать, образуя даже подобие воронки, которая почему-то, как заметил наблюдательный слесарь, вращалась не по часовой стрелке, а наоборот – как есть, вредители, – ещё раз смачно сплюнул Гамыра и стал сматывать трос.

Именно на этом слове «вредители» Фильдеперсииков почувствовал, что как бы внутри его собственной головы что-то жикнуло и даже, как почудилось, по-воробьиному прочирикало, а из железной канистры с водою, приготовленной для умывания, находящейся в метре от него, неожиданно зафантанировало.

– Это что за фигня такая? – недоумённого пожимает плечами Ромка Кудияркин, указывая пальцем в сторону канистры, сбоку которой выбивается тоненькая струйка воды.

– Миха! – уже озирается он, опасливо бегая глазами по окнам пятиэтажки. – Нас, кажись, обстреливают...

– Как обстреливают? – не верит своим глазам Миха, вперившись в истекающую посудину. – Зачем обстреливают?

– Да ты чё... совсем, что ли!.. – психует Гамыра, вращает головою, бегая глазами по окнам двух пятиэтажек, стоящих на улице друг против друга. – Железную канистру из рогатки, что ли, по-твоему?.. А если бы по башке?..

И только тут Миха почувствовал, что вроде как бы на затылке, чуть ниже темечка, словно мурашки по коже бегают, так, как бывает, когда руку или ногу отлежишь. Почесав затылок ладонью, с удивлением

почувствовал, что кожа в этом месте, где вот так зудело, как бы и вовсе без волос, гладенькая и даже слегка скользкая, такая, когда пальчиком касаешься лягушки. Не придав этому особого значения – мало ли какие ощущения могут посещать человека, когда солнце так и жарит, – быстро подхватив свою прохудившуюся канистру, почти бегом спешит к аварийке. И только уже дома, поглядев в свой трельяж, обнаружил на теменной части головы словно выбритую гладенькую дорожку шириной с десятикопеечную монетку, а длиной в полмизинца, совершеннейшую пролысинку, без малейшего намёка на какую-либо растительность. Повертевшись перед зеркалом и так и сяк, похолодел душою:

– Так это же... это же след от самой настоящей боевой пули, что жикнула вскользь, когда как бы в голове прочиркало, – вспоминает он. – Выходит, – ещё сильнее холодеет он, – кто-то пытался меня убить. И это же надо, вот так повезло, в самую притирочку. Чуть ниже – и как знать... Представив свою голову, из которой, как из канистры, тоненькой струйкой льётся кровь, Миха произвольно, но почти замычал. А где же эта самая пробитая посудина? – быстро стал вспоминать он. – Судя по тому, что вода из канистры изливалась только с одного края, пуля прошла не на вылет. Значит... значит, она застряла внутри. Немедленно и сейчас же, – лихорадочно засуетился Миха, – надо сыскать... Пока остались следы, писать куда следует заявление, предъявлять как вещественное доказательство пробитую посудину, и пулю, и собственную голову со следами насилия; брать в свидетели Кудияркина. Он собственными глазами видел, как кто-то пытался меня убить, первым закричал: «Ты чё! Это не из рогатки!...». Ведь этак, если не дать делу ход, рано или поздно ухлопают, раз взялись, – покрывается холодным потом Миха. – кому это я сдался?

В голове быстрее вихря совершился полнейший мыслимый кавардак; вспомнился пьяный мужик в синей нечистой майке и чёрных семейных трусах, бегающий босиком по лестничной площадке, кажется, с проспекта Ленина, дом сорок один, когда он по инструкции вынужден был перекрыть воду всему подъезду из-за аварии. Мужик орал испитым и хриплым голосом:

– Ты кто такой? Включи воду, гад... Ты знаешь, что я могу с тобой сотворить – вредитель? Нюрка! – орёт ещё громче, – принеси-ка мне мой наградной маузер от Будённого... Сейчас он у меня, курва, запляшет...

Вспомнилась и какая-то разбитная молодуха, которую он – Миха, не выдержал и совсем ненароком лапнул за одно место в подвале, когда починял вентиль, которая собственнлично и заявила туда, как бы с проверкою – по-правильному ли всё сделано?..



– Вот пожалуюсь мужу, – задыхалась она, отлепляя его обнаглевшую ладонь, наступая полною грудью, лукаво одёргивая флисовый халатик, – он от ревности и кишки кинжалом может выпустить; совершеннейший азиатец.

– Кому я сдался? – лихорадочно соображает Миха, – да и нету за мною ничего такого, за что жизни можно полишить. А может, это вовсе и не в меня, а в Ромку метили, – мелькает спасительная мысль. – За этим уж точно будь здоров – вагон и тележка... Бабник – что он нашёл в них, козёл, каких свет не видывал. Специально засаду устроили... Постой, – обрывает сам себя Мишка, – кто же мог заранее-то знать, что именно в этом месте авария приключится? Да и Кудияркин совершенно случайно оказался... В последний момент сняли с соседнего участка; матюгался как резаный: «Почему вспоминают меня тогда, когда дерьма по самое нехочу, а не когда путёвку?.. Может, мне, как и Музафиру Хуадовичу, да и ещё вместе со всею моею роднёй, так же желается в Якорную Щель, где море и чебуреки или на худой конец в какой-нибудь из наших санаториев...». Нет... Что-то здесь не так... Никак не сходится...

Канистра отыскалась быстро. Валялась в груди ржавого железа в самом конце жэковского двора среди вентилях, огрызков труб, гнутой арматуры и прочей ненужной дряни, которую выбрасывать не велено, а сдать в утиль-сырьё – непозволительная роскошь. С глаз долой – с души вон. Встряхнув канистру, Миха по звуку сразу же определил, что пуля внутри. Откинув крышку горловинки, выкатил на ладонь нечто почти чёрного цвета, но с вороным отливом, какой случается, когда металл заоксидирован.

– Тяжёленькая... И совсем не похожа на пулю, пусть даже и сплюсненную, – тут же отметил Миха, внимательно рассматривая странную штуковину, больше похожую на застывшую капельку чугуна или стали. Ну не из дробовика же ею в меня пульнули? Если бы даже и так, то уж звук выстрела наверняка был бы слышен. А тут... Взвесив находку на ладони, аккуратно завернул в бумажку, спрятал в накладной нагрудный карман своей клетчатой рубашки, на всякий случай пристегнул пуговичку. Внутренний голос словно говорил: «Не потеряй, Миша... Хоть штука и непонятная, чудная штука, а вдруг да какая редкостная. Ведь прилетела же весть знает откуда... Шибко, знать, летела, коли канистру продырявила... А если бы по темечку, да в самый центр?..».

Придя домой, хорошенько помыв руки, сел возле подоконника, положил горошинку на чайное блюдечко, сквозь увеличительное стёклышко стал тщательно исследовать.

– Нет... Тут и по-другому никак не может быть... Никакая это вовсе не пуля, – твёрдо решил он.

Явно видны следы оплавившегося металла и как бы стекловидной оскалины, какая случается на капельках, брызнувших при электро-сварке. Пошоркав о поверхность плоского напильника, по одному звуку определил, что пулька, как бы закалённая, очень твёрдая. Положив на массивный разводной ключ, легонько пристукнул молотком – хоть бы хны, никаких изменений.

– Да что же это за штукавина? – кривится губами Миха, что есть первым признаком проявления его любознательности. Может, попробовать на газе нагреть?..

Приноровившись, стукнул по горошине ещё раз, но гораздо сильнее. От удара, дзынькнув об оконное стекло, а следом и ещё об что-то, она отскочила и даже как бы покатила по полу туда, где диван, или прямо под него.

– Вот же зараза! – в сердцах ругнулся Миха. – Ищи теперь...

Свернув газету в трубочку, встав на четвереньки, стал шоркать ею под диваном, стараясь выкатить на себя, затем и вообще лёг на пол, попытался, водя рукою, найти на ощупь, но ничего не находилось, кроме оброненных когда-то двадцати копеек и колпачка от авторучки.

– Куда же она запропастилась, – морщится от досады Миха, – вроде даже слышно было, как закатилась под диван.

Психанул, стал двигать диван на себя, сначала с одного боку, а затем с другого. Нашлась новогодняя открытка и жестяная крышечка от портвейна. Всё...

– Что за чертовщина... Куда же она заподевалась? Ведь явно слышал, как тархтела по паркету?

И вдруг!.. Словно изнутри своей головы, ближе к правому уху, явно и совершенно отчётливо услышал женский голос – грудной, густой и тягучий, такой, каким по обыкновению обладают тётеньки очень крупной и солидной внешности, поющие в опере, обладающие низким певческим контральто:

– Гильдио! Ты посмотри на этого ассенизатора... Ведь он и вправду удумал нас расплющить молотком. Посмотри на его глаза, сверкающие идиотским блеском исследователя. Ведь, ей-ей, такому и в огонь, и в соляную кислоту, и в собственный желудок, как пить дать, ничего не стоит... Козёл!

От неожиданности Миха так испугался, что, дёрнув головой, опрокинул журнальный столик. Вскочив на ноги, стиснув голову обеими ладонями, мигом оказался в ванной комнате, включив холодную воду, склонился над упругою струёю, интенсивно ладонями стал массировать виски, расплёскивая и на рубашку, и на пол.

«Что же это такое делается со мной, братцы вы мои? – быстрее молнии промелькнуло в его воспалённом мозгу. – Уже бабьи голоса стали чудиться... Неужто головой как повредился? – холодеет в душе у Мишка. – А может, это с улицы, – врывается спасительная мысль, – может, со стороны соседей, что справа за стеной? Похоже на голос Прасковьи Никаноровны...»

– Никакие это не соседи, – послышалось опять и снова изнутри головы, но уже мужским голосом и очень неприятным, таким, который происходит всегда из недр испорченного временем радиоприёмника, который пробытовал на чердаке не один десяток лет, а его вытянули на свет божий и для любопытства включили. – Прасковья Никаноровна со всем своим семейством уж три часа как укатили на дачу. «Запорожец» – это тебе не «жигуль», по любому бездорожью прёт...

Хлебнув воды, закашлявшись, Мишка увидел себя отражённым в зеркале, что висело над раковиной, изумился было:

– Кто это, чёрт возьми? Как он попал в мою ванную?

А изумиться и вправду было чему: с выпученными глазами и отвисшей нижней губой, с необыкновенно вытянутой физиономией, в мокрой клетчатой рубаше с круглого зеркала на него глядел мужик, которого он сразу не узнал.

– Кто это? – ещё раз прохрипел незнакомец, уставившись прямо ему в глаза.

Прошло не менее десяти секунд, прежде чем он понял, что этот мокрый, вылупившийся на него мужик, в такой же клетчатой синей рубаше, как и у него есть, никак, он сам – Мишка Фильдепериков, но отражённый. Как ни странно, его это несколько успокоило, жалко улыбнувшись, он даже показал сам себе язык, выскочил из ванной и, как есть, мокрый лёг на диван.

– Коли меня всё это так тревожит, – не без волнения задумался он, – и эти голоса, и чёрт знает что, значит, я ещё не совсем сошёл с ума, не совсем съехал с катушек. Ведь, как известно, сумасшедший подобными вопросами вряд ли задаётся – он сумасшедший. Ему более, чем кому, кажется, что он нормальный. Более того... Это все остальные, не разделяющие с ним его мироощущений, его светлых мыслей, идей, поступков, как раз и есть повреждённые крышей. Спросите любого гения, разве для него это не очевидно?..

Тем временем, как бы потеряв к нему интерес, переместившись из области головы в область желудка, два голоса – мужской и женский, стали совещаться:

– Признайся, Гада, – пророкотал со скрипом репродуктор, – разве не по твоей прихоти мы оказались в паршивейшей из ситуаций. Кто тебя

просил отклоняться от намеченного курса аж на целую сотню светового парсека, это – скажу тебе, расстояние весьма нешуточное, приличное расстояннице. Попасть в такую дыру... Мало того, и тебе это известно не хуже меня, по межгалактическому закону, при контакте с существами мыслящими, подобному вот этому – ассенизатору, доминант уровня нашего интеллекта автоматически снижен до высшего уровня высокоорганизованной среды, если оную можно таковой признать, куда и попали, а вернее, пространственно провалились. Как тебе всё это нравится... Теперь я дурак, а ты – круглая дура, чёрт бы нас побрал...

– Но, но! – гневно запел женский голос, – не забываетесь, что всё же я, в первую очередь, женщина, а хотите, так и вообще женщина. И не такая уж это дыра, как вы это представили. В созвездии Казакроник на планете Бурта с интеллектом куда было посложнее. Попробуйте-ка с поющими травами войти в контакт, не говоря уж о бормочущих бульжниках – новой кристаллической форме сознания. Справились же... Мы с вами только что имели возможность убедиться в психоаналитических способностях данного индивидуума со странным именем Миха Фельдепериков. Его критические рассуждения относительно собственной персоны – псих я или не псих и почему – выказывают в нём качества существа, незаурядного, вполне здорового, весьма смышленного. Если на этой планете и слесари-сантехники так мыслят, то что можно говорить о других, ещё более утончённых гражданах, которых непременно должно быть в не меньшем достатке, высоко мыслящих не только о фекалиях и водах, благодаря которым они, то есть эти фекалии, могут, как по Енисею, куда-то плыть, но и несколько о другом: как можно сделать эти воды пригодными для питья... Заметили разницу?.. А знаешь, что я тебе скажу, Гильдио, – почти интимно заворковал женский голос, – есть в этом запахе нечто сексуальное, что ли... Что-то мощное и древнее, неподдающееся рассудку, а объяснить не умею.

– Какой такой запах? – рокотнул Репродуктор.

– Ну, как бы тебе поточнее выразиться... Запах, которого они смущаются и даже боятся, находя его дурным. Он у них как лакмусовая бумажка. По нему обитатели этой планеты сверяют свои дела. И надо сказать, весьма преуспели в этом. Попробуйте-ка кому втюрить рыбу и колбасу с душиком... Вмиг разоблачат... Отворотят нос и пошлют куда подальше. Нет большего оскорбления для землян, обитающих в городе Нальчик, как получить по голове протухшим яйцом или поскользнуться... Нет, не на корке арбузной, не на коже банана, а на сдохшем кочане капусты.

– Как то возможно? – с удивлением просипел Репродуктор.

– На овощной базе всё возможно, когда туда посылают на работу

в помощь и как повинность всех, кто к этой самой базе не имеет и малейших касательств.

– Не понял? – ещё громче рокотнул Репродуктор.

– Да где уж нам понять, – не без язвительности пропела грудным сопрано Гада, – от некоторых из нас давно как осталось одно только их «Я», всё же остальное – чистейшей воды биомеханика. Какие уж там запахи...

– На что намекаешь? – нервно среагировал Гильдио, гневно рокотнув кровельной жестью. – Уж лучше быть таким беспричастным к всякого рода глупостям, чем, как иные, что кажется, только и наполнены одною низменной страстью, мало отличимой от похоти гамадрил.

– Как знать, как знать, – не осталась в долгу Гада, – не познавший вкуса соли или сахара способен ли судить, что есть пресно, а что есть горько? А впрочем... Не место нам спорить... Не всё ещё потеряно. Пять из десяти вышедших из строя энергоблоков преобразования энергии гравитационных полей, анигилятор материи вполне в рабочем состоянии, лично проверяла. Осталось замалым. Хотябы денька на три пристроиться для подзарядочки к электромагнитному полю какого радиоприёмника, желательно внутри его. А самое главное, определиться с причиной закупорки главного канализационного коллектора звездолёта, устроенного специально для отвода мёртвой материи с дальнейшей переработкой её на сернисто-водородно-аммиачные удобрения – СВА, в связи с чем нижнюю палубу затопило поганой жидкостью с ужасающим запахом сероводорода, который и вывел из строя энергоблоки самого последнего поколения Ю-Би – высокоскоростные живые машины. Кто же мог предвидеть, что они, осознающие окружающий мир и самоих себя, потеряют от этого дерьма сознание.

– Эй, Фильдеперсиков, Мишка!.. Ты слышишь нас? – донёсся, словно из живота, грудной женский голос. – С тобой вошли в телепатический контакт представители высокоразвитой иноземной цивилизации Амео – планеты из созвездия Ариона. Дай как-нибудь знать, что нас тебе слышно хорошо; хлопни, скажем, по животу ладошкой или плюнь смачно, как это ты умеешь, на пол.

Миха, хоть и слыл человеком консервативных взглядов, мало чем отличимым от его коллег из Рима, живших ещё чёрт знает как давно до нашей эры, познавших прелести водопровода и канализации, которую они, непонятно и почему, назвали клоакой, всё же кое-что стал скумекивать. Шлёпнув ладошкой по мокрому животу, на телепатическом языке морзе, враз воскресшем в генетической памяти его, с достоинством дипломата, гордо тряхнув головою, ответил:

– Представитель землян приветствует вас – братья по разуму.

– Вот и прекрасно, брат ты наш по разуму, – не без сарказма жестяным голосом произнёс Гильдио. – Хотя, хотелось бы заметить, братья, если действительно в их головах есть хоть чуть-чуть разума, не поступают так.

– Чаво? – потеряв всякий дипломатический лоск, не без внутреннего смущения переспросил Миха.

– Чаво, Чаво... Деревня... А ещё слесарем шестого разряда... Кто тебя надоумил на такую зловредную глупость? Кто сподвигнул твой дерзкий ум на разрушение межгалактического звездолёта посредством ржавого молотка и железного гаечного ключа, используемого вместо наковальни. Разве для этих целей старик Архимед – чужак из города Сиракузы, его изобретал? Не винт ли и рычаг – основа домкрата, которым он хотел поднять земной шар при условии, что дадут точку опоры? А ты его вместо наковальни... Стыдно мне за тебя, Фильдеперсиков, а ещё коммунист, руководитель бригады сантехников.

– Чаво-о-о? – ещё более смутился Миха, в мозгах которого опять всё началось спутываться. – Какой Пифагор?

– Не Пифагор, а Архимед, – поправил его тут же голос. – Пифагор здесь совсем не причём, Пифагор жил на острове Самос и не бегал по улицам своего города без штанов, когда искал свою жену.

– Михаил Васильевич! – донёсся до него низкий бархатный голос женщины, тот голос, который чуть раньше едва не напугал до смерти. – Да не волнуйтесь вы так. Пифагор в вашем случае действительно ни при чём, как и его таблица умножения. Ваша не очень твёрдая троечка по арифметике в бытность ученичества говорит сама за себя. Очень даже понимаю... Невозможно полюбить то, что совсем непонятно, как и тех, кто мыслит иначе. Но мы-то, братья по разуму, надеюсь, говорим на одном понятном нам языке?.. Вы даже не можете представить, чего нам стоило в последний миг увернуться от прямого столкновения с вашей черепной коробкой – вместилищем мудрости. Мог ли кто помыслить из нас – высокоорганизованнейших существ созвездия Арион, что из-за банального замыкания мыслящих клеток Ю-Би, потери их сознания, космолёт едва не погибнет. А причиной всему тому – прорвавшиеся наружу санитарно-технические воды центральной канализации корабля. Михаил Васильевич!.. Мишенька... Обращаемся к вам как в высококлассному специалисту, помогите, пожалуйста. Не поймите превратно, уж извините... Все эти фекальные воды никак не есть продукты... Как бы вам выразиться потактичнее... Лично моё участие в том ну просто мизерное, а Гильдио – командир корабля, так тот и вообще не имеет

к тому и малейших касательств. Существо, настолько свершенное, что у него ни желудка, ни прямой кишки, ни прочих органов и вовсе не предусмотрено. А зачем они? Вы вот спросите его, зачем ему нужен этот отросток, который вне зависимости всяких логик и наличий интеллекта побуждает счастливого обладателя, если оного можно назвать счастливым, дурковать на всю голову, совершать невероятные глупости: пить шампанское, дарить дурам цветы? Абсолютно замкнутого цикла гражданин, напрямую чистейшими энергиями питается посредством кундалини. Ну, в общем, понимаете...

– Гада! – слышится Фильдеперсикову возмущённым голосом радиоприёмника, от которого пытается улизнуть волна. – У тебя всё одно на уме... Не пора ли по существу...

– Ну, хорошо... Уж и на одном языке нельзя поговорить с настоящим мужчиной. Замечу, на понятном только нам языке. Ведь правда, Мишенька, – почти интимно шепчет инопланетянка, да так, что у Фильдеперсикова в области низа живота начинают бегать мурашки, словно он прижался этим местом к мощному трансформатору, находящемуся под напряжением.

Непонятно и почему, Миха начинает густо краснеть.

– А почему вы никак не женитесь? – вдруг напрямую спрашивает женский голос. – Такой мужественный и статный мужчина... Разве ваша работа, работа избранных, эти интимнейшие запахи не побуждают к сближению, не воскрешают в душе сновидений эротических грёз, полных страстных желаний любви, только любви и ещё раз – любви?

– Гада! – раздражённо, голосом телефонной трубки протестует командор Гильдио. – Когда ты прекратишь свои женские штучки?.. Ты хоть подумала, что человечеству землян представится о нас?.. Это же.. чёрт знает что... Как можно докатиться до такой распушенности, такой словесной пошлости?!

– Михаил Васильевич, – обращается он к Фильдеперсикову Михе, – не обращай внимания... Мне известно, ты человек твёрдых убеждений... И в этом я с тобой на все сто... Не мне тебе объяснять относительно хрестоматийных истин, вырубленных на гранитных скрижалях истории: пасись силков женщин блудных... Все пакости от них... Слава те Высшему Разуму! Наше поколение биогуманоидов научилось обходиться без женщин, совсем не нуждается в их услугах по воспроизводству себе подобных, и при этом, хочу заметить, мы несколько не стали менее мужественней, а даже наоборот, приобрели ещё большую твёрдость в себе, обрели полную независимость от противоположного себе полу, научились без всяких там атавизмов – наследственных рудиментов, коими есть

половые признаки, рожать. Да, да! Именно – рожать... Не механически воспроизводиться путём биогенной инженерии, что весьма успешно можно претворить в химического стекла колбе, не каким иным путём, коих множество, а именно, повторюсь, – полноценно рожать. Не хочу останавливаться на подробностях, как это можно, замечу о другом. Почувствовав свою никчемность, часть наиболее консервативного крайне правого крыла натуралок, естественно же, озлобились. Единосущность не по утробе, а по историческому духу – духу научного прогресса, когда можно самого себя явить, приумножать в той или иной материальной оболочке их – женщин, явно не устраивала. Низменная физическая природа, в части похотливости, настолько глубоко укоренилась в них, что они готовы лучше в муках и корчах своих умножаться, лишь бы не лишили их этой дикости, прелюдия которой, как они бесконечно любят повторять по всякому на то поводу и без повода, есть любовь. Формула их любви до изумления проста... Понятна и малому, и старому. И мужчине, и женщине, как умному, так глупому, и даже гению, то есть – идиоту, не говоря уж о тех единопольных, которые, по логике вещей, должны не притягиваться, а отталкиваться. Впрочем, это уже совсем другая история. Так вот... И прилепятся друг к другу, и станут – единое... То есть, как мне понимается, – проскрипел шершавым голосом напильника Гильдио, – он и она сольются в корчах и объятиях в едино, потом разлепятся, и всё это ради того, чтобы явить на белый свет, как минимум, одного или одну, как повезёт, подобных себе. И это любовь? Не понимаю... Но, впрочем... К чему я тебе всё это... Хотя... Именно благодаря женщине особую миссию, которую возложил на меня Вселенский Совет Мудрейших по расселению опытных живых организмов и самих животных, коих пять тысяч пар, на подготовленной к тому планете в соседствующей к вам галактике, можно считать проваленной. Наш звёздный ковчег потерпел банальную аварию. Короткое замыкание фекальными водами. После некоторых консультаций с Советом Мудрейших нам было дозволено благодаря пространственно-временному коридору оказаться здесь, на вашей планете Земля. Не хочу и скрывать, что твоя кандидатура, вернее, относительно твоей кандидатуры не обошлось без рекомендации кое-кого. Уточнять не буду. Таких специалистов, как ты – Фильдеперсиков, сейчас раз, два и обчёлся. Не тебе, Миха, говорить, сколько навозу нужно переработать в день, когда на борту более десяти тысяч единиц низменных тварей из жвачных, парно- и непарнокопытных, разных, которые только одно и знают, как жрать да испражняться утробами. Предлагал я этим умникам-очкарикам кабинетным, намекал относительно анабиоза. Куда там... Правозащитнички живых тварей

такой визг подняли: «Вези, говорят, как есть, натуральным образом, да не забудь кормить, чтобы иммунитету не полишились». Вот, видать, по той самой причине канализационный коллектор и крякнулся. Новейшего поколения гравитационно-вакуумные насосы – к чертям собачьим... Титановые трубы с бромникелевым покрытием, как есть, закупорились, а некоторые – так и вовсе по швам... А у нас на всём звездолёте – таком аннигиляторе материи, и признаться стыдно, обыкновенного стального троса, чем засоры можно прочистить, по инструкции, так и вообще не предусмотрено. Пустили было робота-манипулятора – утонул... Второго... Взбунтовался, вышел из повиновения. Уж лучше, говорит, в водородно-ядерном реакторе расщепиться на нейтроны, чем закончить дни свои в свиньячем дерьме. Одна надежда на тебя, Михаил Васильевич, уж выручи по-свойски, как-никак, а всё же братья по разуму.

– Нда-а-а... – промычал Миха, не совсем понимая, что же всё-таки от него требуется. Может лучше, – тревожно ёкнуло сердце, – взять да и отказаться.

Но... честь профессионала, профессиональная гордость были уже затронуты. Ведь порекомендовал же кто-то из высокого начальства... Не кого-нибудь, а его порекомендовали. Доверие, значит... Как после этого не откликнуться, дело привычное.

– А где звездолёт-то ваш с этим самым зверьём? – озабоченно спрашивает Миха. – Мне бы как ознакомиться наперво... Может, дополнительное оборудование или какой инвентарь потребуется. Да и напарничка бы, а то и двух, смотря от обстоятельств. И о вознаграждении бы заранее... Оно понятно, как бы шабашка... В то же время воскресный день... Я-то что... А вот пацанов забижать никак нельзя, всё должно быть по справедливости. Показывайте свой объект, адресочек...

– Михаил Васильевич, – бодро врывается женский голос, – ну вы прямо-таки шутник... Чуть не угробили, а ещё и спрашиваете... Где же ему быть, как не в вашей квартире. Вдарили молотком... Поищите повнимательней у самой ножки этажерочки, у задней ножки, что у стенок. Но, умоляю вас, и командир просит, ради Бога, не экспериментируйте больше, не бейте по нему железом. Поверьте нам, это вредно, но не для оболочки нашего звездолёта, для которого ваш молоток, даже самый сильный удар его что укусик маленького комарика, если можно вот так сравнить, вредно и даже опасно для вашего здоровья. Ведь ненароком может отскочить и в глаз... Вам что, хочется навсегда окриветь?... А затею с нагреванием на кухонной газовой плите так и вообще отбросьте... Вы хоть знаете, какова температура плазмы?... Михаил Васильевич... А ещё бригадир называется, – с оттенком лёгкой грусти воркует голос.

– Как же так? – ошарашено вертит башкою Миха, буйно индуктируя в пространство мысли: – Вы что?.. Совсем издеваться надо мною вздумали? Какой звездолёт?! Какой зоопарк?! Кусочек окалины величиною с кривую горошинку... Виданное ли дело, чтобы вот так шутки шутить над уважаемым специалистом, нервировать всю его систему, которая и без того уже на волосинке держится, чтобы совсем не лопнуть от психости.

– Что вы так волнуетесь? Зачем вот так волноваться? – телепартирует в область мозжечка Гада. – Восстановить ваши расстроенные нервышки вполне в наших силах и даже – запросто. А вот относительно канализации... Мишенька, – совсем томно воркует она, – вы же обещались... Такой мужчина... Ну, честное слово, хотите, я вас поцелую, не в щёчку, а в самые губы...

– Не надо целовать меня в губы, – психует пуще прежнего Михаил.

– А куда? – ещё таинственной шепчет Гада.

– Никуда меня не надо целовать... Ни в щёчку, ни в маковку, а тем паче – в лобик. В лобик покойников целуют... Прóbсите... Сами не знаете, о чём прóbсите. Что я вам... Микроба какая, чтобы залезть вовнутрь горошины, которую вы представляете как межгалактический звездолёт... За кого вы меня считаете?.. Пролезли как-то в мозги, морочите голову специалисту.

– Товарищ Фильдепериков! – официальным тоном, полным громыхающей жести, врывается голос командира. – Никогда и никому не выказывайте вслух, а тем более телепатически, своей необразованности. Ни на секунду не забывайте, что так называемая тайна мыслей ваших, во всех их мыслимых и немислимых вариациях – есть достояние множеств. Зачем вопить на всю Вселенную: «Что я вам... Микроба какая?..». А кто ты есть, – спрошу я тебя, – как не микроба в сравнении с этой Вселенной. Ага... Молчишь... Думаешь, значит?.. Соизмеримость любых величин относительно бесконечности бесконечно приближена к нулю. А отсюда – разница между малым и великим относительна, нет никакой разницы. Уверяю тебя, и это сущая правда, и в пространстве объёмом с величину атома можно разместить целую вселенную, с бесконечным счётом галактик, со всеми их звёздными системами, отличительную от всего, что ныне нам известно, в том числе и самой её материи, если оную и можно так назвать. И, как ни странно, фундаментальные науки не только не отрицают данного факта, но и допускают, а порою и доказывают, что сие весьма даже может быть вероятным.

– Извините, но вы меня совсем спутали, – обиженно сопит Фильдепериков, – у меня по арифметике в четвёртом классе, как сейчас помню,

был Марьей Егоровной выставлен тройка, а в седьмом классе из-за алгебры, геометрии и физики чуть на второй год не оставили. Но... – гордо встряхивает головою Миха, как видите, не дурак, а в своём деле так и вообще – специалист.

– Вот, вот! – радостно задрезжал Гильдио. – А другого от тебя ничего и не требуется. Что толку от всех наших знаний, когда в полном неведении, с какой стороны дырку заткнуть, чтобы дерьмом не залило, – лебезит уже он, подпуская в голосе нечто, подобное самоуничижительному бляню.

– Гадочка, – слышится его дребезжащий голос, – дай-ка нам пространственно-временную голограмму в натуральную величину.

– Михаил Васильевич, вы уж не забудьте инструментик-то свой прихватить, сами знаете... – любезно проворковала Гада. До скорой встречи, Михаил Васильевич.

3

– Эй! – заволновался Миха. – Что вы там ещё удумали, какого лешего?..

Но никто ему не ответил. Он, как и прежде, лежал на своём стареньком диване, который в поисках горошинки отодвинул от стенки, да так и не успел задвинуть обратно, как есть, в мокрой рубашке и почему-то в одном шлёпанце, правом, надетом на левую ногу.

– «Поищите внимательно возле самой ножки этажерочки, – вспоминает Фильдепериков, – где же ему быть, как не в вашей квартире»... Что же это такое со мной делается, – опять похолодел бригадир, – ну не сон же такой? С ума сойти...

Быстро вскочив с дивана, со скрежетом задвинул его на место к стенке, словно боясь кого спугнуть, медленно, осторожными шажками стал подкрадываться к книжной этажерочке, лёгонькой с гнутыми вращающимися ножками, в три полочки, одна над другою, где хранились для культурности разные книжки и даже весьма серьёзного содержания, в которые он иногда из любопытства на сон грядущий заглядывал. Сразу же за ножкой, что к стене, и обнаружил. Видно, оттого, что он вот так сильно пристукнул молотком, вороного цвета окалина осыпалась, в самом углу лежала серебристого цвета горошина с как бы прилепленным к ней малюсеньким шариком, отчего вместе с ним она стала походить на неваляшку – Ваньку-Встаньку. Аккуратненько положив горошину на ладонь, вспомнил, что увеличительное стёклышко оставил на подоконнике. Но его там не оказалось, как и в ванной, и на кухне, и на журнальном столике, где по обыкновению и было его место.

– Под диван, что ли, нечаянно задвинул, – подумал он.

Отложив горошинку в чайное блюдечко, стоящее на столе, стал шоркать рукою под диваном и не нашёл. Потом зачем-то, и непонятно зачем, вышел на балкон, где хранились все его инструменты и рабочая одежда, стал переодеваться в робу; ловко навернув портянки, обулся в резиновые сапоги, снял со стены с толстого гвоздя самый длинный стальной тросик, свёрнутый кольцами в тугую пружину, скрученный в нескольких местах, дабы не разневолился, алюминиевой проволокой, прихватил самый большой газовый ключ, зубило, молоток и зачем-то ножовку по металлу. Если бы в это время кто подсмотрел со стороны за действиями Михаила Фильдеперсикова, то, честное слово, подумал бы не без удивления: «Господи!.. Что же это такое делается с мужиком?.. Ходит, словно в сомнабулаическом сне, что слепой, шарит по полкам обеими руками, бормочет на непонятном языке. Неужто вот так напился? Но никакого вина Мишка не пил, как и лунатизмом никогда не страдал, да и какая может быть луна, когда ещё только полдень; под воздействием неведомых сил и не осознавая того, он с невероятной быстротою стал уменьшаться в объёме, как бы съёживаться, пока совершенно не исчез из виду, словно растаял или испарился. В глазах его всё зарябило, в ушах пронзительно засвистело, как случается при сильном буране, когда штормовой ветер со страшной быстротою гонит по твёрдому, замёрзшему, что камень, насту колючую ледяную позёмку. От этого невероятно жуткого ощущения, схожего с полётом, а скорее, падением в чёрную бездонную пропасть, как ему показалось, он отчаянно и громко закричал, постарался во что бы то ни стало открыть глаза, чтобы проснуться, очнуться от этого ужасного сна, которым спит, но неведомая сила, сковав все его члены, понесла, закружила одному чёрту ведомо куда. Последнее, что быстрее молнии промелькнуло в голове, вспомнилось со всею ясностью, как ещё в детстве, не будучи от роду и двух годков, свалился в колодец; ухватившись за железную цепочку, вместе с огромным и гулким оцинкованным ведром полетел вниз головой, в чёрную дыру; услышал, как голосом, схожим с голосом его матери, какая-то тётенька навстречу, словно с самого дна, громко крикнула:

– Не бойся! Я здесь, держись...

Некая невидимая сила остановила его полёт, ведро, мчащееся впереди, гулко шмякнулось плашмя о воду, а он, не ощущая видимых усилий, завис в метре от поверхности воды – чёрной и, как показалось, тягучей. Не ведая и страха, с любопытством посмотрел вверх, увидел в окоёме квадрата, сплетённого из самого, казалось бы, мрака, на абсолютно синем небе маленькие блестящие звёздочки. Скрипучий деревянный

барабан судорожно дёрнулся, медленно завертелся в обратную сторону, стал виток за витком наматывать на себя цепь. В самый последний момент, когда показалось, что до неба можно уж дотянуться рукой, чьи-то сильные руки буквально выхватили его из объятий чёрной дырки вместе с цепочкой, за которую он держался обеими ручками мёртвой хваткой. Полное ведро с водою под рокот быстро вращающегося барабана стремительно понеслось обратно вниз.

4

Михаил Васильевич!.. А Михаил Васильевич!.. Просыпайтесь... Да проснётесь же вы, наконец-то...

Слегка приоткрыв глаза на величину узенькой щёлочки, ничего не увидел, кроме неестественно белого света, подобного молоку, скорее почувствовал, что лежит на чём-то гладком и прохладном, похоже, на толстом листе стекла. Попытался быстро вскочить на ноги, но каблук резиновых сапог, от неловкости ли его, скользили, и он, поднявшись уже было совсем, со всего маху шлёпнулся на задницу.

– Экий вы неловкий, – тягуче, словно нараспев, прозвучал низкий женский голос, похожий на голос деревенской бабы из уральской глубинки, – этак ненароком и голову можно ушибить, и ногу вывихнуть из сустава.

Прямо перед ним, слегка наклонившись вперёд, стояла совсем незнакомая ему женщина, как ему представилось, не более годов тридцати, в простом с цветочками ситцевом сарафане, какие ныне носят ну разве что в глубоких провинциальных городках, в кремовых туфельках на низеньком каблучке, с совершенно кругленькими носиками, с ремешками и медными бляшечками в виде сердечек. На ладно слепленной головке её с пышными каштановыми волосами, стриженными под польку, покоилась, кокетливо набок, соломенная шляпка с зелёной атласной лентой по тулье в тон сарафана, на которой поблёскивала крохотная брошечка в виде золотистого жучка. Невысокая, но на удивление стройная, с маленькой грудью и тоненькой шейкой гимназистки, она, казалось бы, никак не имела права обладать таким низким и тягучим голосом, должна быть пискуней или какой другой... Тут же... Мило улыбаясь, протягивала ему ладошку с почти детскими тонюсенькими пальчиками и с розовыми ноготками, как бы предлагая: «И чего расселись?.. Ухватитесь же покрепче, раз самому не хватает сил подняться».

– Это куда же меня?.. Где это я? – мелькнуло в его головке и почему-то красным зигзагом.

Чтобы не грохнуться, как в первый раз, осторожно подтянул под себя ноги, встал во весь свой рост, с удивлением обнаружил, что и сапоги, и стальной трос, и разводной ключ, всё остальное как бы покрыты белой изморозью. Странно...

Перехватив его озабоченный взгляд, женщина мягко успокоила:

– Не обращайтесь особого внимания, Михаил Васильевич, – через две-три минуты от этого вашего состояния и следа не останется. При резком... Как бы вам по-простому объяснить... Это касается времени и пространства... Соотношений координат последовательных чисел от плюсовых до минусовых их значений... В общем... Ага... Ну, думаю, что вам и так всё понятно...

– Что мне понятно? – прошептал одними губами Миха, которого бес знает куда забросило, не без тревоги взирая на такую уютную женщину. – Где это я очутился? – захолодело в его груди.

– Где же вам ещё быть, как не на нашем межгалактическом звездолёте, – с мягкой иронией проворковала симпатичная тётка и даже дотронулась до него легонько пальчиком, дабы удостовериться и себя, и дядечку, что они настоящие, а никак не голографические световые изображения. – А вы, оказывается, – опять дотронулась до него женщина, – настоящий симпатяга, сразу же видно, что человек слова.

Совершенно растерявшись, Фильдеперсиков принялся дико озираться по сторонам, недоумённо пожимать плечами и даже принюхиваться.

– Где это я? – ещё раз переспросил он, недобро косясь на молоденькую провинциалку с таким неестественным для её хрупкой натуры низким голосом.

– Почему же вы мне не верите? – обиженно поджимает свои пухленькие губки женщина. – Вы действительно на том самом космическом корабле, который при вынужденной посадке, по касательной и, замечу, совсем не больно, выбрил с вашей головы тысяча семьсот сорок восемь волосков. Да, да... Именно тысяча семьсот сорок восемь волосков и не на один больше. Всё это мы вам сторицей возместим. Знаете, – улыбается она ему, – какая у вас будет шевелюра... Хотя, – уже озабоченно хмурится, делая лицо почти скорбным, – могло приключиться и гораздо хуже. О Господи! – спохватывается женщина, по-смешному шевеля краешком носика. – Кажется, что уже и из второго коллектора попёрло.

Как ни странно, почувствовав специфический запах канализации, запах сернистого водорода, Фильдеперсиков на глазах начинает преобразоваться, из унылого и растерянного человека превращается в уверенного в себе мужика; схватив сумку с инструментами, закинув трос через плечо, ни о чём более не спрашивая, срывается с места и, как гончий

пёс, руководствуясь одним лишь распространяющимся духом, несётся по серебристым коридорам, именно туда, откуда этот чудовищный запах исходит. По какому-то внутреннему наитию, отсчитав шесть люков, седьмой, почти на ходу, поддевает стальным крючком, отваливает крышку, мельком заглянув вовнутрь, спешит далее к следующему, а потом и ещё к следующему, пока не командует сам себе: «Здесь, зараза!».

Отворив в сторону тяжеленный белого металла, рифленый кругляк, зычно и властно кричит:

– Эй, женщина! Тут одним тросом не обойтись... И без помощника, кто бы напёр да хорошенько пошурудил, никак не справиться одному. Попробуй-ка... когда расстояние от люков никак не менее, чем саженей двадцать-двадцать пять.

– Какой инструмент тебе ещё необходим? – слышится в его голове голос командора.

– Стальная рояльная проволока, восьмёрка... с ершом на конце, – тут же телепортирует ему Фильдеперсиков. – На заднем дворе жилконторы, у боковой стены деревянного сарая, на железном крюке висит, если Гришка Баркин, есть у него такая манера, не бросил троса где попало, потому как пьянь несусветная. Там же и стальной направляющий лоток должен валяться – труба такая, загнутая на конце. Без него мало того, что весь в дерьме извозишься... Два часа промучаешься, пока боковую дырку не впоймаешь.

Не прошло, казалось бы, и минуты, как вдруг, словно бы с самого потолка, светящегося ровным голубоватым матовым светом, прямо под ноги Михи плашмя рухнула смотанная в тугое кольцо, сантехническая струна восьмёрка вместе с накрученным на один конец её проволочным ершом, а следом со звоном и тонкостенная труба, телескопически раздвигающаяся до нужной длины, под названием – направляющий лоток. Но и это ещё не всё. Каково же было изумление Фильдеперсикова, когда, словно из самой пустоты, в метре от него на фоне серебристого цвета стены проявился, а затем и вообще сгустился до своей натуральности Ромка Кудияркин. Выпучив до самого предела свои белёдые глаза, он уставился на него, совершенно не моргая, да так, словно увидел впервые, но не его – Миху, а какого снежного человека – Алмасты. Весь мокрый, в чёрных и широченных семейных трусах ниже колен, с гранёным стаканом, наполненным портвейном до самого ободочка, – в одной руке и коротенькой шашлычной алюминиевой шпажкой – в другой, он представлял из себя наилюбопытнейшее зрелище человека, неожиданно заболевшего белою горячкою и, что самое невероятное, осознающего внутри себя, что он именно таков.

«Не иначе как прямо с речки дематериализовали», – хмыкнул про себя Миха, представив, каково сейчас бедному Ромке.

Тем временем Кудияркин, дико озирнувшись, с каким-то фаталистическим отчаяньем – будь что будет, махнув шпажкой, что кинжалом, и с шумом выдохнув, одним духом опрокинул в себя полный стакан портвейна, с железным лязгом сорвал с шампура единственный оставшийся кусочек жареного мяса, стал жадно его пожирать. Не зная, куда деть пустую шпажку, вставил её за резиночку своих трусов, подобно стилету, пустой же стакан поставил на крышечку канализационного люка. Судя по его онемевшей физиономии и по тому, как он, преодолевая себя, отчаянно пережевывает кусочек шашлыка, портвейн ему явно не пошёл, всеми силами стремится наружу. Наконец-то справившись, Кудияркин принимается кулаками тереть свои глаза, да так отчаянно, словно бы ещё не веря им: «Неужели всё это происки белочки»¹.

– Ромка! Полно тебе валять дурака, посовестись женщину, – как мог, стал успокаивать его Миха, – срочная работёнка, обещались не обидеть, заплатить вдвойне, а то и более... Как-никак, а особый военный объект... А ты на речке, с бабами... Эх, Ромка... Не до чего хорошего не доведут тебя эти блудницы. Разматывая по-быстрому струну, духом чую, что именно с этого колодца надо начинать. Слышишь, как булькает.

Кажется, окончательно очумев, прыгая в своих широченных семейных трусах, да и ещё с шашлычным шампуром, торчащим из-под резиночки, Кудияркин ринулся разневоливать струну, при этом с таким остервенением стал трясти замотанную бухту рояльной проволоки, что подошедшая было к нему женщина, дабы предостеречься от какой травмы, едва отвернула в сторону. Весело засмеявшись, на полном серьёзе спросила Фильдеперсикова:

– Скажите, пожалуйста... А что, ваш помощник действительно собрался туда заныривать, – показала пальчиком в сторону колодца, из которого клокотало и булькало и уже, кажется, начало выплёскиваться, – прямо в трусах будет нырять или... Или сначала снимет?

– Не мешайте, дамочка, не путайтесь под ногами, – с раздражительностью буркнул Миха, – вам только бы это... Одно только на уме... Отойдите же в сторону, если не хотите, чтобы плеснуло или мазануло проволокой.

Опустив край приёмной трубы, которую называют слесаря ещё прицелом или ревизией, в колодец, стал рыскать ею в разные стороны, ища место слива бокового отверстия.

– Есть! – радостно сообщает он. – Впоймалась, сучьи твои потроха, – не стесняясь женщины, кричит он Ромке, – тащи свой край, запихивай его в дырку, покуда удерживаю, тудыть её заразу. Ёрш хорошенько

¹ *Белочка* (жаргон) – белая горячка, психическое заболевание при алкогольном отравлении.



прикрутил? Не свинтится, как тогда в заводской столовой, когда траншею пришлось вручную рыть? Поддай малость на меня, ещё поддай... Крути бухту, тудыть её корешок, разворачивай по часовой...

Ухватившись обеими руками за проволоку, издав стонущий звук, сам, что есть мочи стал налегать, двигать ею то вперёд, то назад, так, как это делают сталевары, когда длиннющим стальным прутом пробивают в глиняных пробках плавильных печей литники для высвобождения на волю сварившейся стали. Под стремительным натиском двух слесарей – профессионалов своего дела проволока тронулась, стала уходить вглубь, в самое чрево клоаки.

– Крути, ядрёна вошь! – ещё сильнее орёт Миха, налегая на проволоку, словно в штыковой атаке. – Пошла, кормилица, в самое куда надо. Достать бы до следующего...

Бешено вертясь на месте, Кудияркин кольцо за кольцом разворачивает упругую арматуру одними голыми руками, а не как положено, когда в грубых брезентовых рукавицах, тут же проворачивает бухту по часовой стрелке, так же, как Миха, налегает на неё всем своим телом. Алюминиевая шпакка давно как выпала; от всех этих движений и кручений Ромкины трусы неловко задрало вверх, перекосило набок. Увидя это, Фильдеперсиков мельком бросил взгляд на женщину, с интересом наблюдающую за их работой со стороны, от досады аж сплюнул и даже не просто смутился, а покраснел.

«Чёрт знает что... Экий конфуз... Срам, хуже и не выдумать. Ведь узнай кто из мужиков, на всю оставшуюся жизнь в анекдот пропишут. А эта!.. Ни стыда тебе, ни совести... Так и вперилась своими бесстыжими зенками, – досадует Миха, ещё раз смачно сплёвывая в вонючий колодец. – Баба, она и на краю другой галактики – баба», – констатирует для себя.

Кудияркин же, словно и не замечая за собою этакой неловкости, подпрыгивая и шлёпая голыми ступнями ног по люменистирующему металлу пола, мчится уже к следующему колодцу с валяющимся рядом отвороченным люком, дабы проверить, дошла ли струна до цели. Наклонившись над круглым отверстием, заглядывает в него, хрипло кричит:

– Миха! Подь-ка сюда. Что это за волосатая хреновина торчит из боковой дырки? Может, изловчись как-нибудь, подцепишь её своим шкворнем, чтобы не упало... Ты её крючком подцепи сначала, а я с обратной стороны мал подпихну тросом.

Встав на колени, Миха склоняется над отверстием колодца, краем своего стального крючка с силой вонзает во что-то мокрое и мягкое, слегка прокручивает, чтобы схватилось покрепче.

– Давай! – кричит Кудияркину.

Тот из последней мочи налегает на почти размотанную бухту, надравно рычит, пробуксовывая голыми пятками. И вот край проволоки вместе с ершом проваливается в шахту. Фильдеперсиков рывком успеваает подхватить нечто, похожее на тряпку, вытягивает на поверхность. Булькая и ворча, освобождённые от пробки фекальные воды бурным потоком несутся куда-то вниз; слышно, как где-то в глубине что-то включилось и заработало. По полу словно мурашками прошла мелкая дрожь, по коридору лёгкой струёю пробежал свежий ветерок, явно запахло лимонами.

– Слава советским сантехникам! – бодро рапортирует Репродуктор. – Да здравствует Фильдеперсиков Михаил Васильевич – лучший во всей Солнечной системе слесарь-сантехник! Слава его помощнику – Кудияркину Роме, который без отчества, так как отца у него никогда не было! Благодаря их гениальной прозорливости и мужицкой смекалке, их поистинетитаническому трудолюбию, мы – представители высшей внеземной цивилизации – спасены! Кстати... Гадочка, ей-богу, интересно, что они там такое извлекли? Можно мне хоть краем глаза взглянуть?

– Командор... Совершенно ничего интересного, обыкновенное махровое полотенце... А может, и банный халатик... – несколько смущённо отвечает женщина, глядя на тяжело насупившегося Фильдеперсикова, который по своей манере приготовился уж было начать скандалить, используя все красоты ненормированной русской речи.

– Как?... Как всё это могло попасть в сложную и отлаженную систему безотходной круговой циркуляции жизнеобеспечения звёздного корабля, с современнейшими двигателями, работающими на энергии аннигилируемой материи? Кто всё это мог туда запихать? – железным голосом громыхает Репродуктор. – Ну не овцебык же, который и понятия не имеет об этом банном полотенце, растудить его мать, – неожиданно срывается он.

– Во, во! – довольно хмыкает Фильдеперсиков Михаил, с презрительностью окидывая с ног до головы Гаду. – Вот и в моей голове подобные вопросы возникают частенько. Я думал, что только наши бабы дуры... Дуры битые. А оно... Вот ведь как... И у меня никак в голове не укладывается.

Охладив Миху самым что ни на есть уничижительным взглядом, мило улыбнувшись Кудияркину, Гада, гордо тряхнув головою, слегка притопнув ножкой в кремовой туфельке, пошла в наступление:

– Успокойтесь, командор... Да, это сделала я, именно я! Возможно, это есть мой последний шанс найти то, что искала, без чего женщина ну никак не может быть женщиной. Ведь правда, Мишенька?

С обворожительной улыбкой смотрит она на Фильдеперсикова, а потом, переведя взгляд, и на Кудияркина Рому – мокрого и в перекошенных набор семейных трусах, дробно лязгающего зубами, совершенно не понимающего, что это такое с ним делается.

– Хоть он, как я вижу, слегка заражён женоненавистничеством, – смотрит с вызовом на вдруг страшно смутившегося Миху-сантехника шестого разряда, – я-то знаю, что ему очень нравлюсь. Быть женою сантехника... Что может быть прекрасней этого; вы даже представить не можете, насколько это сексуально...

– Но... но это безумие, – громыхает, подобно небесному грому, Репродуктор.

– Вот, вот, – прерывает его Гада, – не от излишков ли ума мужчины научились рожать, но не как женщины, а женщины, не имея, что должно иметь, превратились в мужчин? И не обречены ли что те, что эти?.. Отпустите Кудияркина Рому на его речку к друзьям и подружкам. Кстати... У них давно как закончилось вино; да и денег не осталось, чтобы купить его в ближайшем гастрономе. Зато желание... Командор! – уже смеётся она. – Разве желания могут как-то кончаться? Представляете, как они обрадуются, увидя своего товарища, бодро вышагивающего к ним босиком и в одних трусах, но с целою сеткою тринадцатого портвейна Прохладненского винзавода и с булкой серого хлеба под мышкой. Прощай, Гидо...

5

Прошло много-много лет. Но и поныне никто толком не знает, каким образом у Михаила Фильдеперсикова – записного и идейного холостяка, появилась женщина. Да и ещё какая женщина... Жена... Большой начальник, и не просто абы из обыкновенных, а сам Фортункин из Министерства коммунального хозяйства – бабник и выпивоха на халяву, каких свет не видывал, глаз было положил. Да только куда там ему супротив Михи... Так, прыщ на ровном месте. Относительно же странных Михиных придумок, что, дескать, шёл-шёл и нечаянно нашёл, – никто, конечно же, и не поверил, как и в то, что проснулся поутру, а она, словно падающая звезда, с неба свалившаяся, лежит рядышком, калачиком свернувшись, ему улыбается. Трое мальчиков и две девочки говорят сами за себя – семья Я. Елена Николаевна Фильдеперсикова – жена его, нисколько не жалеет, что при таком уме и природной красивости своей природы вышла замуж за простого слесаря-сантехника, который и не музыкант, и не художник, и даже не поэт. Простой и обыкновенный человек, настоящий мужчина, без труда которого и музыкант, и художник, и поэт, и даже замудрёный

философ, все потеряют опору жизни, перестанут творить. Уж больно им не нравятся естественные запахи жизни, производимые ими же. А коли когда и случаются, по их же вине, засоры в канализационных трубах, когда унитазы и раковины выдают на-гора, то в первую очередь вспоминают не Берлиозов и Бахов, не Репиных и Айвазовских, не гениального Пушкина Александра Сергеевича с Гоголем, и даже не Канта с Гегелем, а Фильдеперсикова Михаила; к нему бегут с поклоном:

– Помоги, брат!.. Спаси!.. Упаси от мерзости наших же утроб. Ей-ей... Никогда больше не будем запихивать из всякого в унитазы. Уж лучше собственными рученьками постираем.

Глава 26. ДЕРЕВЯННЫЙ САМОКАТ

1

Соседу по подъезду Вовке по прозвищу Гаврош и его брату Валерке, которого в классе, да и во дворе, называли Мурзилкой, купили настоящий самокат. Заграничный, немецкий, с надувными шинами зелёного цвета, никелированными крыльями с рубиновыми фонариками, элегантнейшим рулём с фасонными резиновыми ручками, да и ещё с хромированным звоночком удивительнейшего переливчатого голоса, а самое великолепное – с мягким сидением, на котором так удобно сидеть, когда машина совершенно бесшумно мчится под гору и... И с настоящим, с ума сойти, тормозом на заднее колесо в виде подпружиненной на оси педальки, напоминающей букву «П». Такие самокаты тогда редко у кого можно было увидеть. Редкостная штукавина. Едет мягонько, без всяких там звуков, одно удовольствие. Ясное дело... Кому из пацанов, да и девчонок не хочется на таком иностранном диве хоть разочек да прокатиться?.. Но!.. Завидя, как кто-то из нас во всю прыть несётся на ихнем самокате по двору, мать Вовки с Валеркой мигом выскакивала на балкон, голосом разъярённой чайки что есть мочи вопила:

– Валера!.. Вова!.. Мы для чего вам купили этот самокат?.. Чтобы на нём на дурнашку весь двор катался... Так, что ли? Ишь, чего удумали... Пусть ихние родители покупают им самокаты... Раз не хотите сами по очереди кататься, быстро тащите его до дому. Дуралеи...

Помню, как Гаврошу было страшно неудобно за мелкособственническое поведение матушки, и, дабы её успокоить, на виду, со стороны двора катался он с братом, свернув же на проспект, куда окна их квартиры не выходили, носился прямо по тротуару я. Но скоро и это обнаружилось. А когда я ещё и колесо проколол, наехав на фанерку от почтового ящичка, то самокат и вообще куда-то исчез. Как потом признался Вовка – дабы

совсем не изуродовали, – родители продали его кому-то из своих знакомых. И тогда... Я решил смастерить себе самокат сам. Принципиальная схема такого ундервуда более или менее мне была понятна, так как многие из пацанов в то время подобные средства передвижения имели, оглашали окрестности жутким скрежетом и грохотом, особенно тогда, когда приходилось ехать по мостовой, умощённой булыжниками, но... Сделать самому!.. И как это всегда со мною бывает, идея так втемяшилась в мою кудрявую башку, так стала свербеть, подобно гвоздику, обнаружившему себя с внутренней стороны растоптанного старого ботинка, что я не только потерял всякий покой, но, кажется, и аппетит.

– Эх, – сетовал я, – мне бы настоящих два подшипника с блестящими стальными шариками внутри... Всё остальное... Экое дело... На любой стройке этих досок валяется, сколько душе угодно, и каких хочешь.

Не знаю, почему и кем это когда-то было вот так придумано, но, коли самокат деревянный, то быть его колёсам уж непременно железными, то есть в виде шариковых подшипников, да и ещё разного диаметра. Почему колёса на самокате – переднее и заднее – должны быть не одинаковыми, до меня, откровенно говоря, совершенно не доходило, да и зачем им быть непременно железными, когда гораздо легче из куса буковой доски выпилить такие, которые уж наверняка будут более проходимыми, более практичными. А если их к тому же для большей износостойкости оббить ещё и обручным железом, таким, как у бочек, то куда там подшипникам с такими тягаться. Узнав каким-то образом – ох уж этот язык – враг мой, что я собираюсь собственноручно мастерить себе деревянный самокат, не такой, как игрушечный, а самый что ни на есть настоящий, Перепёла – Толик Перепелицин, дружок из второго подъезда, многозначительно повертел пальцем у виска, замечу – у своего виска, горячо выпалил:

– Ты что, Вовка... Совсем, что ли... Всамоделишний самокат и не каждый взрослый дядька смастерит. Это тебе не какая-нибудь рогатка или даже поджиг, сроду и в жисть не получится. Вон, у Ашабока Хасана отец на заводе работает, на все руки мастер, и то не стал заморачиваться, когда он вздумал приставать с этим самым самокатом. А ты... Придумщик мне нашёлся. Там, помимо подшипников, попробуй их ещё и найти, ещё и железный рулевой шкворень на петлях нужно придумать, чтобы можно было поворачивать, и всякое разное... Как ты всё это?.. Своим перочинным ножичком вырежешь? Мой папка хотел попробовать, да плюнул после того, как молотком угодил по пальцу. Стал вбивать подшипник на круглую деревяшку, да как промажет со всего маху по мизинцу, ноготь так и почернел, как уголь. Папка от боли аж на одной ноге прыгать принялся. А ты... Самокат...

Но, как это всегда со мною бывает, когда я, обуреваемый идеей, начинаю аж светиться, доводы Перепёлы меня не только не переубеждают, а наоборот, ещё больше раззадоривают.

– Неужели, – думается мне, – я не смогу две узенькие и крепкие дощечки соединить прочно-прочно концами, почти под прямым углом, чуть кривенько на себя, чтобы получился корпус самоката? Да конечно же смогу... Экое дело... Самое главное рулевую досточку с подшипником на торце, которая должна быть подвижной, к этому самому корпусу по-правильному на петельках приладить, чтобы по-настоящему могла поворачиваться под нужным углом и налево, и направо. Тут действительно не абы как... Точный расчёт нужен, смекалка. Эх, – сетую я, – кабы найти где две настоящие петли, такие, как на окнах, с помощью которых их открывают и закрывают, то не пришлось бы особо и напрягаться. Пришпандорил гвоздями, а ещё лучше шурупами, и крути себе во все стороны. Хотя, – свербит другая мысль, – придумать самому и своими руками гораздо лучше, настоящая ручная работа получается. Да и где такие петли, которые ещё называют навесами, сыщешь? В магазине они уж наверняка стоят очень дорого. А вот с подшипниками... С подшипниками беда... Без них никак не обойтись.

Громыхающий по бульжникам самокат – это вам не тот, что заграничный и бесшумный, на элегантнейших, поблескивающих никелем резиновых колёсах. Самодельный ундервуд – так уважительно называли его пацаны. О-го-го! Есть в нём что-то от настоящего огнедышащего паровоза на железных колёсах, солидное и прочное, волнующее саму душу. Мною замечено, и не единожды: желания, если они горячие и искренние, каким-то непостижимым образом сбываются, сбываются в буквальном смысле, когда от радости остаётся разве что всплеснуть руками внутри себя, хотя можно и не внутри, заорать благим голосом: «Так это же именно то, что мне нужно, которое специально как бы и не искал, но которое само нашло меня. Ведь это надо же!». Два совершенно новенькие подшипника, густо смазанные солидолом, завёрнутые в грязную вощёную бумагу, да и ещё перевязанные шпагатом, обнаружил в грудестроительного мусора среди битого кирпича, кусков ржавых труб, железяк, проводов и прочей ненужной дряни. Всё это двое рабочих на деревянных носилках вынесли из котельной возле самого нашего дома. Полез за приглянувшимся куском медного провода, а обнаружил целое богатство. Не будь они перевязаны шпагатом, и трогать-то побрезговал бы. От такой удачи, как помню, аж искры из глаз посыпались. Блестящие стальным блеском, именно такого размера, какие и представлялись, за ненужностью ли, или по неосмотрительности, но они были выброшены

вместе с остальным хламом на улицу, а значит... Я их не спёр, где плохо лежит, не украд, а по самому честному пионерскому нашёл, и даже, можно сказать, спас от неминуемой гибели. Из этой же кучи выудил приличный кусок оцинкованной толстой жести – совсем новенький, блестящий морозным снежным узором, какие-то в ржавой железной коробке болтики с навинченными на них гаечками, с головками, похожими на грибки.

– Всё пригодится, – радостно бьётся сердце, – это ведь надо же так!..

Повертев в руках кривой и ржавый штырь, также отложил в сторону, внутренне решив, что и он как-то сойдётся в дело. Самокат решил делать один, без чьей-либо помощи, по-секретному и в подвале, где у нас была своя кладовка. И хоть Вовка Гаврош умничал, что перед тем, как что-либо мастерить, надо всё это придумать и нарисовать на бумаге и в каких-то там размерах, а иначе всё получится криво и ничего не совпадёт, посчитал подобные рекомендации излишними, лишёнными всякой для меня практической разумности.

– Зачем что-то там рисовать, рассчитывая по миллиметрикам, которые к тому же надо будет потом переводить в сантиметры, а то и в метры, когда уже в голове и без того всё ладно сложилось и придумалось без всякой линейки и этих самых миллиметров, которые, как ни крути, всё равно как-то сопряжены с этой, будь она неладна, арифметикой? – думалось мне. – Никто и вжисть меня не убедит, что древние корабли, да и всё остальное, к примеру, дома, делались именно так. Наблюдая, как в деревне, в Курьях, мужики посредством одного топора рубили избы на глазок, да какие избы, ещё более утвердился, что и без всяких там чертежей, благодаря одному отточенному глазу, который иногда сравнивают с алмазом, можно обойтись, и запросто.

Через два дня мученических, но вдохновенных трудов, реализации на практике, неожиданно возникших технических трудностей и художественных задумок – пиления, сверлений и дроблений самым примитивным и допотопным способом, отшибленных молотком пальчиков, травмированной ноги, по которой умудрился проехать тупою до изумления пилою, благодаря титаническому упорству, задуманный мною самокат из иллюзорной и бесплотной идеи воплотился в прочнейшую грубую материю. Благоухающий свежим сосновым духом, он казался мне самым совершенством. И, честное слово, предложи за него мне тогда кто новенький, заводского производства, самокат, пусть даже немецкий, на надувных колёсах, ей-Богу, как есть отказался бы. Чинаровая доска, приготовленная ранее, оказалась не только ужас какой тяжёлой, но и до невозможности твёрдой. Все попытки к распиливанию её ржавой

и тупую ножовкою, у которой к тому же от старости не хватало изрядно зубьев, закончились полнейшей неудачей. Зашедшая в подвал тётенька, к которой я обратился, чтобы она помогла перевязать мне грязной тряпкой ногу, расцарапанную бездарной пилой, самым серьёзным образом связвила:

– Ну, ты, пацан, даёшь!.. Кто же ржавую ножовкою, да и ещё в таких антисанитарных условиях без должного освещения ногу-тосебе ампутирует? Да и зачем всё это делать самому? Что... Друга не нашлось?

Окинув взглядом изгрызенную доску, открыла навесной замок на двери своей кладовки, через пару минут вытянула из неё почти такую же по размеру, но только сосновую, – гладенькую и совсем светлую.

– Выкинь свою пилу, пока кой-чего другого не повредил, – уже смеётся она, – пойдём, я тебе свою дам поработать, под двери потом засунешь.

Итак... Благоухающий свежим сосновым духом, с золотой звездой на груди, вырезанной из латунной жести собственноручно кровельными ножницами и с надписью под нею «СССР», которую вывел красным масляным суриком, с маленьким сиденьцем в виде деревянной коробочки, с откидной крышечкой на ремешках, где можно хранить разные, но такие нужные в дороге мелочи, с почти мотоциклетным рулём, на изготовление которого так ловко подошёл ополовиненный мною черенок папиной лопаты, блестящими подшипниковыми колёсами, самокат, прислонённый к стеночке, казался мне маленьким чудом.

– Неужели всё это сам и своими руками? – феерически вспыхивало в воспалённой моей голове. – Мастер!

Кусок цинковой жести, подобранный на куче мусора, также пошёл в дело. Вырезав из него полоску по ширине доски и согнув в форме уголка, красиво прикрутил при помощи винтов с круглыми шляпками в месте стыка вертикальной и горизонтальной части самоката, да так, что после этого они стали представляться единым целым. Красотища невообразимая! Не зная, что бы ещё придумать, с правой стороны руля прицепил ещё и никелированный велосипедный звонок, но поломанный, а с задней стороны своего оригинального сидения-ящичка – зеркальный отражатель от фонарика. Усевшись на перевёрнутом вверх дном ржавом ведре, уложив утруженные мозолистые руки мастера на коленочки изодранных и окровавленных штанишек, с восхищением взираю на плоды своих дел – чудесную самоходную машинку, деревянный самокат. Прислонённый к стеночке, да так, в такой эффектной позе, чтобы все детали наблюдались наилучшим образом, со слегка развёрнутой рулевой дощечкой, на которой так элегантно приделана золотая звёздочка и так красиво выведено красными буквами «СССР», он казался мне верхом технического совершенства, почти фантастическим перпетуумомobile; куда

там до него всяким заграничным штамповкам... Произведение искусств!.. По подвальному окошечку, расположенному почти на уровне асфальта, уже было заметно, что на дворе вот-вот станет совсем темно.

– Утрудился, – с какой-то тайной гордостью представляю о себе, – работяга...

Складываю инструменты в старую клеёнчатую сумку, тёткину пилку, которую она мне одолжила, протискиваю в щель под дверь её кладовки, проталкиваю на всякий случай палочкою подальше в глубину – вдруг, да кто позарится, самокат своим ходом закатываю в сарай, сверху прикрываю старыми мешками: а ну... Вон в двери какие щёлочки... Запросто можно разглядеть и слямзить. Если засоленные огурцы и варенье воруют, то уж самокат, как пить дать, сопрут. За милую душу сопрут.

– Господи!.. – всплёскивает руками мама, – где ты пропадал целый день? А штаны... Что с твоими штанами? Ведь они до самых колен сплошь словно изгрызены...

– Это всё потому, – с гордостью отвечаю я, – что несколько раз пилю промазал с доски. Она – деревяка эта, оттого, что никак не хотела пилиться, свалилась от вредности с ящика, вот я впопыхах и проехал зубьями пилы по ноге, совсем не больно.

– Как же не больно, – испуганно хватается за сердце мама от одного только своего представления, – ржавой ножовкой, да по коленке...

– А ещё, – показываю большой палец на левой руке, опухший и с почерневшим ногтем, – железным молотком промазал, когда подшипник, вдетый на круглую деревяшку, прибивал гвоздями к доске. Я же не виноват, что этот молоток только того и желает, как бы поскорее спрыгнуть с ручки. Вот он и спрыгнул по пальцу. Мама, – с поспешностью спрашиваю я, вспомнив странное замечание тётки, проживающей в третьем подъезде, имени которой я не знал, – а как переводится слово «ампутировать»?

– О, Господи!.. – округляет глаза мама, – тебе-то это зачем?

– Как зачем? – с удивлением переспрашиваю я, – тётенька, да ты её знаешь, она ещё всё время на велосипеде на работу катается, в третьем подъезде живёт... Она так сказала.

– И что же она тебе такого сказала? – настороженно смотрит на меня мама.

– Так и сказала: кто же, говорит, ржавую ножовкою ногу себе ампутирует, да и ещё в таких антисанитарных условиях?.. Так и спросила меня. А что это за такие условия, которые называют антисанитарными? – ещё более запутываю я маму.

– Ну, а ты... Ты-то что ей ответил? – ещё внимательней смотрит на меня мама.

– Как же я мог этой тётке что-то ответить, если совсем не понял, о чём это она меня спрашивает, – с удивлением пожимаю я плечами. – Ампутировать – это что, царапать значит так?.. Расцарапывать пилою? Только причём здесь тогда друзья? – ещё более недоумеваю я.

– Ампутировать – значит, совсем отчекрыжить, – весело смеётся Валерка, оторвавшись от своей книжки. – Темнота... Тётка увидела, как ты в грязном и мрачном подвале пытаешься ржавою ножовкою отпилить не какую-то там доску или, скажем, ножку у табуретки, а оттяпать собственную ногу, вот и поинтересовалась... То есть дала понять тебе – дурню, что с этой работой лучше всего может справиться санитар.

2

Самокат, хоть и называется так, на самом же деле сам катится разве что только под горку. По прямой, а особенно в гору везёт не он вас, а наоборот – вы его толкаете, уперевшись в руль, что есть мочи, шаркая ногою по асфальту, натужно крихтя и потея. Но... Разве дело только в этом? Колесо!.. Именно ему обязано человечество в становлении своего технического прогресса; только оно и только оно сподвигнуло первого чудака катиться не только под горку, по течению, а наоборот, против течения, в выси, сквозь тернии и буераки, туда, где завершаются горные пики, начинаются небеса с их белокрылыми тучками и кажущейся пустотою, которая вовсе и не пустота. Силы гравитации неустанно влекут вас к самому центру, к самому ядрышку матушки земли, так и шепчут на ушко: «Отдохни, товарищ, все будем там, какой прок куда-то стремиться?..». Но, благодаря колесу и упругой мышечной силе ноги, вращающей землю, вы не прозябаете бурьяном на месте, а уже мчитесь в нужном вам направлении, да ещё и против часовой стрелки, навстречу самому солнцу, мчитесь, желая всё успеть, всё увидеть и услышать, попробовать на вкус, пока действительно гравитация притяжения не успокоит и не увлечёт под землю в миры грядущих магм, коие предтечи землетрясений, тайфунов, цунами и прочих катастроф, и где, как ни странно, ни воздыханий, ни печалей, ни болей, а вечный покой. От движения колеса по ухабам и буеракам до настоящего полёта расстояние в самую маленькую тютельку. Уверяю вас, если к самокату как-то, но не тляп-ляп, а по-умному приторочить крылья из фанерок, да броситься вместе с ним подкрутую горку без боязни сломать себе шею, то ей-ей, и это доказывает не только теория, но и практика, можно не только взлететь, а воспарить чёрт знает куда, где на эту самую гравитацию уж давно как никто не обращает должного внимания, ибо чем далее вы от центра притяжения, тем свободнее и вольнее вам дышится.

Приходилось ли вам когда-нибудь кататься на самодельном деревянном самокате, колёса которого представлены стальными шарикоподшипниками, но не по гладкому асфальту и даже не по утрамбованной сухой земле, не по наклонному железобетонному жёлобу, так широко применяемому в целях сугубо мелиоративных, для транспортировки воды, а по круто спускающейся бульжной мостовой, чьи гранитные каменюги порою не уступят в величине своей и среднему арбузу; не приходилось? Да, да! Именно по бульжной мостовой, той мостовой, следы которой уж, кажется, и совсем не сохранились по нашей улице Лермонтова, хотя совсем ещё недавно, по меркам истории, подобное покрытие в городах было чуть ли не единственным признаком развитой цивилизации. Не секрет, что одними из первых, кто стал применять в строительстве дорог речные бульжники, были римляне. Не благодаря ли этому новшеству завоевали чуть ли не пол-мира?.. И хоть, проверено на практике, большее всего падать именно на такое покрытие, особенно когда зубами о камушек, собственной тыковкой о выступающий холмиком бульжничек, всё же... Твёрдый и гулкий камень под ногами гораздо лучше, чем болотная хлябь, нежданная ухаба, покрытая нежнейшей ряской, потайная рытвина, по причине которой неожиданно можно и половину собственного языка откусить, и от неловкости шею набок свернуть. Бульжная мостовая хороша для колёс таких, как у тарантасов и бричек, на худой конец шарабанов или обыкновенных крестьянских телег, в этих случаях она в самый раз. Маленьким же колёсам и колёсикам на ней явно неуютно, об открытых подшипниках же, выполняющих их роль, и речи не может быть. И тем не менее. Нет ничего более увлекательнейшего, хоть и опасного, чем разогнавшись на самокате по крутому асфальтовому спуску, со всего маху заскочить на участок, замощённый речным бульжником, промчатся по нему и... И не убится. Скрежет металла, дробный пулемётный грохот Максима¹, бенгальские снопы искр, истеричный вопль испуганной до смерти старушки, вздумавшей в это самое время переходить дорогу. Машина скачет козлом, её несёт юзом, но совсем недолго; боднув передним подшипником гранитную каменюгу – этакий окатыш, возвышающийся на целую голову над своими же собратьями, взбрыкнув задней частью своего деревянного седалища, как это делают совсем невоспитанные дикие мустанги, выбрасывает лихача прямо на

¹Максим – пулемёт немецкого изобретателя Макса с водяным охлаждением, применяемый в 1-ю и 2-ю мировые войны.

дорогу, на булыжники, куда он и шмякается плашмя и с придыханием. Улица Лермонтова, круто спускающаяся в сторону реки Нальчик, где Вольный Аул, была именно тем местом, о котором мои воспоминания ныне, в живости и здравии моём, хотя, чего уж там скрытничать, оно могло и вообще не случиться. Фатален человек... С левой стороны, где сейчас высотная гостиница – интурист "Нарт", раньше стояло здание Дома пионеров, вернее, то, что от него осталось, ибо во время войны немцы разбомбили дом так, что на мною описываемом месте возвышались лишь бесформенные руины с повисшими на цепях обвалившимися балконами, да высоченные кирпичные стены с проросшими на них от времени бурьянами, тонюсенькими берёзками и тополями. Часть наиболее крутого и пологого склона возле этих самых руин была некогда замощена булыжником, от улицы же Сталина, ныне Республиканская, где памятник Беталу Эдыковичу Калмыкову, до центрального входа в парк в виде арки с суровыми львами была заасфальтирована. В этом месте и сейчас в зимнее время, когда неожиданно наваливает снега и наступают краткосрочные морозы, детвора катается на санках. Разогнавшись, что есть мочи, мчусь на своём золотозвёздном самокате к той роковой черте, за которой нечто, подобное которому невозможно и передать словами: восторг, ужас, жизнь и смерть. Но что всё это в сравнении с той девочкой из соседнего Фестивального дома, которая, от страха прикрыв тонюсенькими пальчиками глаза, сквозь них смотрит на тебя, такого вот бесстрашного и благородного рыцаря, ещё не совсем осознавая, но всё же догадываясь, что всё это безумие ради неё и только ради неё одной. И вновь железный и дробный хохот колёс, скрежет закалённой стали о камень, дымчатая пыль, искры, восторженные возгласы пацанов:

– Секи!!! Сэ-сэ-сээрковский самокат, который Вовка смастерил сам по тайным чертежам, аж булыжники режет.

Огонь так и сыплется во все стороны. Несмотря на такую вот популярность, повторять этокое безумие на своих самокатах пацанам явно не спешилось, а после того, как Генка-Хапыта, осмелев, на подобном манёвре сломал себе нос и подвернул ногу, так и вообще многие стали смотреть на мою чудо-машину с мистической опаской – заговорённая... На обыкновенном же гладком асфальте самокатик вёл вполне мирно. Урча и постукивая колёсиками, как маленький паровозик, неспешно катился по проспекту Ленина от начала Селекционной станции вниз, в сторону города; сидя на облучке своего деревянного инструментального ящичка, ощущаю на себе мельчайшие неровности дороги, бляющим от сотрясений голоском пою бодрую пионерскую песню:



*Взвейтесь кострами синие ночи,
Мы – пионеры, дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионера – всегда будь готов!*

Самодельный самокатик моего детства у меня украли среди белого дня и прямо с нашего же двора. Похитили вместе с серебряным царским рублём, столбиком красного сургуча, моточком настоящей венгерской резинки и мятным надгрызенным пряником, завёрнутым в газетку, сохраняемым также в секретном ящичке-сиделке. Девочка из Фестивального дома, которую звали Кларой, дабы хоть как-то сгладить моё несчастье, масштабы которого невозможно и представить, дарит мне немецкую трофейную зажигалку, работающую на бензине, но давно поломанную и даже без чудесного рубчатого колёсика, из-под которого, если хорошенько крутануть, сыплются искры почти такие же, как и из-под подшипников моего боевого самоката с латунной золотой звёздочкой на груди и с именем лучшей в мире страны СССР, которое я старательно вывел красным суриком.

– Вовка, – зажмуривает она свои глаза, – а ты бы смог, если бы я крепко-крепко попросила, за просто так по пожарной лестнице вскарабкаться на крышу нашей пятиэтажки? И я – полез...

Глава 27. СКАЗКА

1

Давно уж, как всем известно, что никакими огородными пугалами птиц не устрашить. Касательно же хомяков, сусликов, мышей и прочих мелких грызунов – тем паче. Им на этикие страшилки глубоко наплевать. Тем не менее, снедаемые мелкочастнической жадностью, желчные огородники с непостижимым упорством продолжают городить подобия самих себя, разодетых во всякое рваньё, выставлять их на бугорочках и холмиках, на тех возвышенных местах, откуда они наиболее ясно видны, чтобы глупые птицы ещё издали, на подлёте, поняли, что созревающий горох под пристальным наблюдением и лакомиться им на халяву – дело не только бесперспективное, но и чреватое опасностью для самой жизни. Откуда пошла этакая мода, с каких таких старинных времён стала иметь употребление своё, никто толком уж и не знает. Одно можно с уверенностью сказать: уж больно на идолопоклонство языческое смахивает. А коли так, то пугало, где б его не городили, во что бы ни одевали, – одно, что и божок огородный, наделённый кое-чем и более существенным,

чем одними опилками в голове да гулкою горшечной пустотою. Судите сами... Если бы было так, что от этих страшилок пользы, что от собаки клок шерсти или как от козла молока, то есть толку никакого, то извините, кто бы их стал в течение уймы времён по полям, садам и огородам натывать? Слушайте сказку, которую мне, но в той жизни насвистел на ухо старый и мудрый суслик, когда я ещё сам был маленьким сусликом, глупым и наивным, не умеющим так складно свистеть, но страстно желающий научиться этому тонкому ремеслу, дабы в дальнейшем, как и он – мой старший товарищ, стать таким же знаменитым свистуном.

2. Сказка-притча

На одном поле в лубяной землянке жил-был красавец-мужик, на соседнем, через межу – девка-баба обитала в избушке на курьих ножках; Ягой Степановной величали, но это когда официально, по-простому же просто – Яга. Он сеял горох, и она, глядя на него, делала то же, он выращивал репу, и она тем же промышляла. Так вот и жили, совершенно никак между собою не общаясь. Но однажды наскучило мужику быть одному, и решил он себе сыскать девку в соседней деревне из тех, что от незамужества своего песни по ночам голосят не своим голосом. Надумал-то надумал, да как поле без присмотра оставишь...

– Степная птица, хоть насекомая и глупая, – чешет затылок мужик, – но и она, поди, сообразит, что горох без всякого охранения, – жри сколько душе угодно на дармовщину, наполняйся от пуза. Да и баба Яга... Что с этакой взять... Чужим-то завсегда слаще лакомиться, попробуй-ка потом докажи...

Думал, думал и придумал:

– Оставлю заместо себя самого себя, как бы по-правдышнему, но понарошку.

Тёмной ноченькой воткнул посередь своего поля на возвышающемся бугорочке шесток, приторочил к нему перекладинку подобно крестику, и давай на человеческий манер обряжать по образу и подобию своему. Заместо головы худой треснутый горшок на навершие шеста надел, замаскировал его старою соломенной шляпою своею, совсем уж никудашною; холщёвую рубаху на перекладинке рукавами в растопырку повесил, у самой земли – набитые соломою портки – латаные-перелатаные, с подвязанными к ним растоптанными лаптями, к шесту конопляною верёвкою примотал. Для пущей натуральности и для голосу берестяную свистульку к дырявому горшку приспособил по-хитрому. Как дунет ветер, так голова и начинает свиристеть дурным голосом, словно кто манком пытается уток завлечь. Для пущей страсти ещё и лоскут красной тряпицы

колючкой к краю рукава рубахи приторочил, – хай, значит, трепещется, словно живая. Довольный своею придумкою, положил в котомку краюху ржаного хлеба, баклажку с ядрёным квасом, луку да чеснока, шепнул что-то как бы на ухо самому себе, но не настоящему. Пред рассветом, затемно пошёл в деревню, где разных девок пруд пруди.

Проснулась баба Яга поутру, глядь с оконца своей избушки на курьих ножках в сторону соседского поля, видит, а мужик, как есть, весь в своих делах. Стоит, руки растопырив, гудит противным голосом, тряпкою красною машет.

– Ясное дело, – подумала, – птиц спозаранку пугает, чтобы неповадно было горохом лакомиться, бобы созревающие лущить.

Покормила курочек, корову вместе с козлом выгнала со двора в степь пастись, квашню в тёплую печь поставила для созревания. Вот уж и калачей наделала да и испекла, и водицы из колодца начерпала для поливу грядочек, а мужик всё стоит и стоит на месте, руки вширку, орёт по ветру свиристёлкою.

– Э-э-э... Тут дело что-то не так... Не заболел ли сроком, – подумала.

Не выдержала, от любопытства сердечного подкралась к самой меже, где бугорком разделительный белый камешек возвышается, сложила руки рупором, прокричала звонко бабьим голосом:

– Гришка! Ты, чё это – чёрт, подобно истукану выставился? Али хворь какá приключилась? Не заболел часом?

А Гришка и в ус не дует. Вернее, дует, но как остолбенелый, словно и не живой.

– Неладно дело, – подумала девка-баба, – не может мужик вот так цел день выставляться напоказ, словно околелый.

Поплевала на межевой камушек:

– Чур, чур меня, упаси, – крутанулась задом наперёд для верности, переступила межу, пошла посмотреть на растопыренного Гришку. – Неужто леший околдовал?

Подкралась совсем уж близко, глядь... А то вовсе и не он, а наподобие его истукан ряженный. Стоит, дурень дурнем, глупее и не придумать, точь-в-точь, как то пугало огородное. Заглянула в землянку – пусто, в шалашике, что рядышком, также никого нема.

– Вот же хитрец, – смекнула девка-баба, – никак в соседнюю деревню подался кобелиться, чёрт рыжий. А что?.. Приглядеть по-соседски никак нельзя было попросить?.. Недоверие, значит.

Нарвала гороху полный подол, да ещё и сверху, прыг через межу, и у себя. Отведала плодов уворованных:

– А ведь и впрямь говорят... Гораздо слаще, чем мой. Надо бы, пока не воротился, ещё и бобов надёргать.

Помыслила было так, да усовестилась:

– А на кой мне его бобы да горох, когда и без того своего хватает? Дура я душой, – пригорюнилась Яга, разглядывая небогатое угодьё соседа, – уж лучше в сырой землянке с мужем каким, чем не девкой, не бабой в самоходной избушке со всеми удобствами. Пойду в соседнюю деревню, пока пока вертихвостка не успела охмурить Гришку, сама наперво обворожу блудника.

Призвала ворона, велела за животиною приглядывать, курочек да цыплят от злых коршунов стеречь, а коли что, то немедля докладывать. На всякий же случай воткнула на бугорочке шесток, обрядила в свои одежды латаные-перелатаные, заместо головы крынку молочную приспособила, глаза угольком по живому вывела, брови дугами нарисовала, белым платочком повязала. Для живости же к сарафану атласных лент приторочила. Поколдовала на самую себя, но не настоящую, запрыгнула на свою метлу, плюнула, чихнула, свистнула на дорожку и была такова, только облачный след по небу снежною полосой взрыхлился.

3

Пришёл Гришка в деревню, глядь, а там сплошное веселье. Мужики сами по себе пьют брагу молодую, на балалайках тренькают, разное выплясывают, бабы – отдельным кружком, песни горланят. Никак не общаются. А зачем? У баб среди их женского племени есть свои мужики, как бы взаправдашние, с нарисованными углем усами, у мужиков также – свои бабы, но с бритыми усами и бородами. Всё остальное по-настоящему, кроме самого малого: ни те, ни эти рожать не научились. Поля да огороды бурьянами позаросли, избы расшарахались в разные стороны, скотина да кака птица от страсти этакой по лесам да болотам дальним разбежалась; ни единого петуха на целую деревню, живут, не замечая времени. Увидели Гришку и те, и эти, хором закричали:

– Принёс, мужик, гороху да бобов с огорода своего? Разве не видишь, как мы от счастья своего и весёлости своей исхудали?

– А где ваши детки? – с удивлением стал озираться мужик, – где старшие ваши? – не находя среди веселящихся ни малого, ни старого, ни даже пожилого.

– Деток не завели... Зачем нам этакая обуза... Старики, как есть, все до единого померли; те же, кто постарше нас, плюнули от досады и угрюмости своей допотопной, не захотели веселиться и радоваться жизни беззаботно, разбрелись, кто куда.



– Вот так деревня, – скумекал Гришка, вслух же сказал:
– А я было уж собрался невесту себе присмотреть каку...
– Так иди же скорее к нам, – дружно замахали руками мужики, – за горох да бобы мы тебе такого бабца сосватаем, что пальчики оближешь.

В стане же дев заржали дружно кобылицами:

– Не нужён нам никакой мужик, их, кобелей, ещё не хватало... Нашёл дур... Сам стирай свои портки да рубаху, в дому по-всякому прибирайся, да вари щи; мы тебе не служанки каки... Ишь, чего удумал. Не токмо без гороха да бобов твоих, но и без редьки с хреном обойтись сможем, мужлан неотёсанный.

Вот так все хором и окрысились, кроме одной.

– Пойдём, Гришенька, – шепнула ему на ушко Ягвина Степановна, – соседка его, которую он никак и не признал из-за её красоты, – свалим межевой камушек, будем жить одним огородом, как настоящие муж и жена. Не оборачивая лиц своих на достаток хлеба, деток нарожаем себе, сколько Бог даст. Вот будет душам нашим радости и веселья. А те ряженые, что отражения нас самих, на огороде поставленные, пусть остаются грядущим вслед как память: плоды трудов своих надо защищать не столько от птиц да хомяков каких, сколько от бесплодных, не обременённых никакими трудностями, глеющих, подобно дымным фитилям без света, оставляющих после себя холодный и мёртвый пепел. Подул степной ветер – развеял прах на все четыре стороны. Не возлагай забот твоих на Господа, сам береги от хищных птиц свой виноградник, от греха – сыновей и дочерей. Не подменяй сути Божьего человеческими измышлениями. Что блуждать, что блудить – слова одного источника по имени Ложь.

Возвратились они к себе на огород, глядь, а ненастоящий Григорий и неправдышная Ягвинушка под кудрявой берёзкой самым натуральным образом милуются, птички же без всякого страха горохом да бобами лакомятся себе в удовольствии.

– Не сеявший в поте лица своего разве будет радеть о плодах, – глубокомысленно изрёк Григорий и почесал затылок.

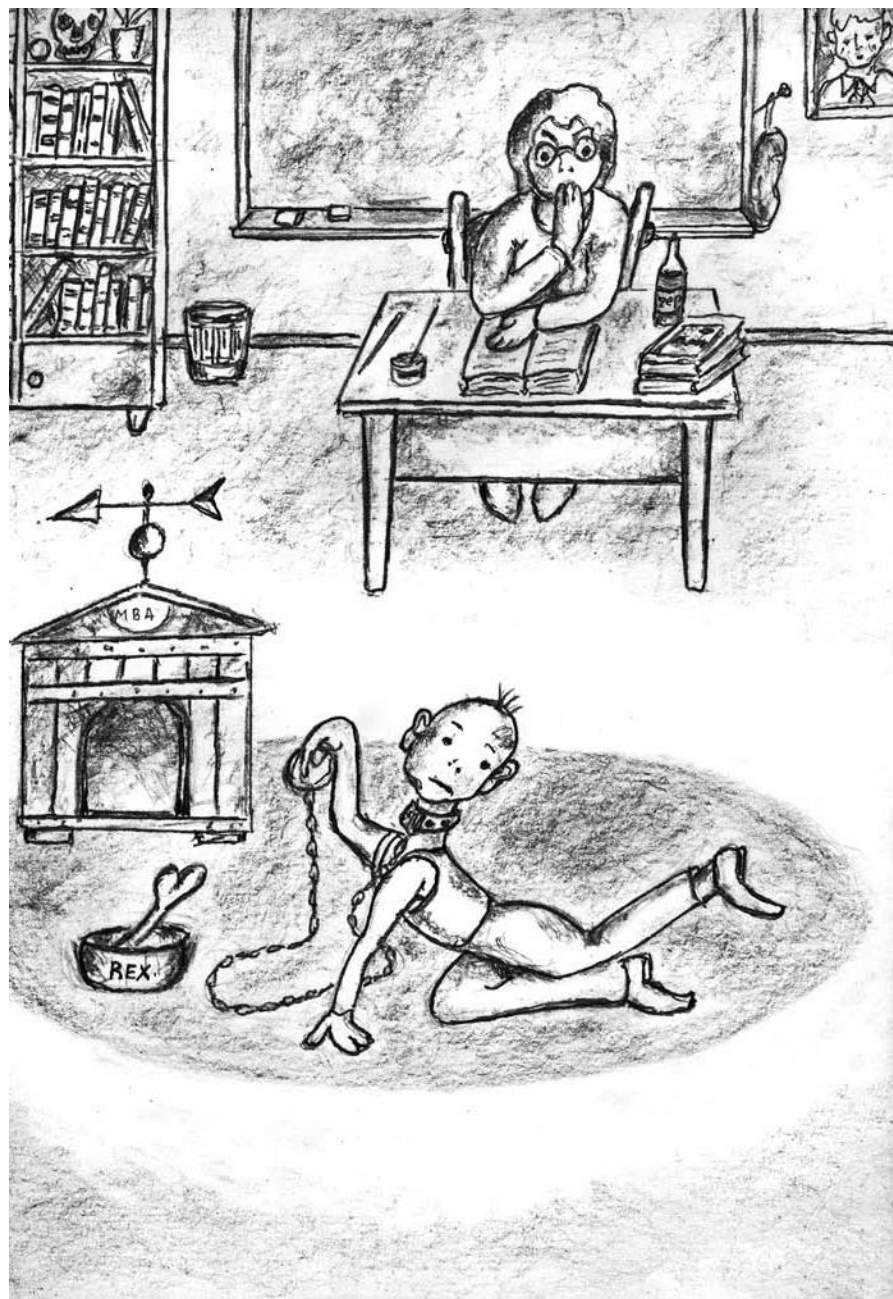
– Воскрешающие свои сны – воскрешающие себя в этих снах, – таинственно и совершенно непонятно ответила ему женщина.

Пристально посмотрев друг другу в глаза, сказали: – Да!

Стали свыше наречёнными мужем и женою, понесли в себе два бесконечных начала единого русла – Человек.

Первым прилетел поздравить их ворон. Скосил набок голову, прищурил глаз, мудро заметил:

– В простоте зачинается вечное. Мир вам! Гороховое поле-огород именно то место. Плодитесь и размножайтесь.



И пошли плоды их любви – дети. Самое же невероятное в этой сказке – правдоподобнейшей истории, так это то, что и от их наречённых двойников-охранителей полей гороховых немислимым образом по всем огородам приумножались повторения их.

– Как такое вообще возможно!?! – возмутятся те, у кого с головою всё в порядке, как вполне искренне кажется им, – сказка сказкой, но и в ней существуют допустимые меры сказочности...

Возможно, возможно... Но... Это уже, пардон, не ко мне, а к тому суслику, что ещё в той жизни так правдоподобно насвистал мне эту историю.

Глава 28. ПИОНЕРИЯ

1

В пионерскую организацию меня приняли со скрипом. Всему виною неисправленная двойка по арифметике, которую я схлопотал в самый канун этого наиторжественнейшего события в моей жизни.

– Божешь ты мой!.. – терзался я, пожираемый стыдом и совестью, – что же теперь будет?..

– Пионеры – это вам не какая-нибудь малышня, – вспомнились слова звеньевой из четвёртого «Б» класса Фатимы Ашабоковой, имеющей нагрузку к нашему просветительству, – пионеры – младшие помощники комсомольцев. А это, ребята, очень даже серьёзно, – потрясла она указательным пальчиком.

Много до этого, когда весь наш второй класс «Б» скопом приняли во всесоюзную детскую организацию октябрят, я долго не мог сообразить: зачем это и к чему это?.. То, что октябрёнок обязан прилежно учиться, быть примером в хорошем поведении, активно участвовать в общественной жизни класса никак не убеждало меня, что он это делает лишь потому, что его приняли в октябрюта. Единственное, что прельщало, так это пятиконечная звёздочка. Официально принятого образца такого значка на время вступления нас в эту организацию в республике почему-то не оказалось. Старшие товарищи, которым, в свою очередь, комсомольцы вменили ответственность за это важнейшее политическое событие, предложили сделать их своими руками. На плотной и твёрдой картонке необходимо было циркулем выписать трёхсантиметровый кружочек, каким-то хитрым образом нарисовать в нём пятиконечную звёздочку, аккуратнейшим образом вырезать её ножницами, после чего обтянуть кусочком красного кумача. Решение подобной технической задачи, да и ещё во всём её эстетстве, уверяю, озадачит и иного взрослого, но... Претендент на «быть» октябрёнком своими умелыми и ловкими

ручками обязан был это сделать сам и только сам. Наши родители, хоть и были педагогами к тому, проявили явную несознательность, сославшись на крайнюю занятость, от участия в изготовлении картонных звёзд категорически отказались.

– Вовка! – патетически развёл руками отец, – ты же... Ты же такой мастер!.. Экое-то дело... Деревянный самоходный трактор на резиночке в сто раз труднее сделать... А тут... Какая-то бумажная звёздочка...

Не долго мятуюсь, мы, то есть я и моя сестричка Таня нашли первую попавшуюся картонку, без всяких циркулей и линейчек от руки нарисовали карандашом на ней две звезды, как смогли, вырезали ножницами. Обтягивать заготовки красной материей, да и ещё ровненько, без морщинок оказалось делом непростым. При стягивании материи с обратной стороны концы звезды начинали коробиться, святой символ выгибался подобно некой морской анемонии, становился на пять своих ножек.

– Да что же это такое, – уже психует Танька, – какая же это звезда, когда похожа на краба... Вовка! А может, её горячим утюгом придавить, чтобы расплющилась?

Побрызгав на звезду водичкой, как это делает мама, когда гладит бельё, укладываем на полотенце, с шипением ставим на неё утюг. После подобной процедуры звёзды обретают вид плоских, с несколько кривенькими лучиками – настоящая ручная работа. Единственное, что несколько смущало, так это её размеры. У сестрёнки ещё так, – более или менее, моя же то ли от жадности, а может, и от гордыньки, но, как минимум, оказалась раза в два более предложенной.

– Ничего, – успокаиваю сам себя, – большая ещё красивше и заметнее будет, не зря же на кремлёвских башнях такие громадные...

Пришив звезду к школьной курточке, встаю перед зеркалом, не без внутренней гордости созерцаю свою боевую грудь, внутренне радуясь так, как радуется солдат, получивший свою первую боевую награду. На классном собрании в связи с этим замечательным событием, то есть принятием нас в организацию октябрят, не без жарких волнительных диспутов с нашей стороны, но с подачи мудрых старших товарищей, коллективно порешили назвать свой отряд «Спутником». Первые, но такие триумфальные шаги в освоении космоса нашей страной переполняли души необыкновенной гордостью за великую коммунистическую партию Ленина, которая совсем ещё недавно была и партией Сталина, без руководящей роли которого, уж конечно, никакого коммунизма на земле не построить.

Помню, мы все, как один, свято веровали в это, и правильно делали, что верили, ибо, как видится мне, ныне все человеческие беды от

уныния, которое и есть порождение это самого неверия. Вознаменование задуманного и что наш октябрьский отряд отныне будет называться «Спутником» на первом своём слёте, который почему-то назначено было провести в Долинске, на стадионе Лесной школы номер восемь, решено было запустить в космос спутник. Логика сего политического мероприятия, по задумке устроителей, была проста и бесхитростна: пусть не только земляне, но и представители ближнего космоса знают, что на один октябрьский отряд в мире стало больше, и что победа коммунизма дело почти свершившееся. Корпус картонной ракеты с настоящими стабилизаторами и обтекаемым острым носом, обтянутый серебряной станиолью и с красными печатными буквами по нему под гордым названием «Спутник» привязали к кособокому воздушному шару цвета бычьего пузыря, надутому водородом, дружно и громко крикнув: «Ур-р-а-а!», отпустили. Взбрыкнув всем корпусом, ракета несколько кривенько, вилля хвостовым оперением, помчалась ввысь навстречу звёздам.

– А что, – не без сомнения спрашиваю я у старшей пионервожатой школы Ляндыши Каримовны, ответственной за данное мероприятие, – с чьего, собственно говоря, соизволения ракета с именем нашего отряда на борту и была запущена в неба синеву, – что, наш картонный корабль действительно долетит до космоса?

– А как же, – без тени смущения самым серьёзным образом ответила она. – Мы здесь вовсе не затем, чтобы заниматься чепуховинами.

Как сейчас помню, так и сказала – чепуховинами. Понаблюдать за полётом нашей ракеты до самого конца, то есть пока она не скроется из виду вовсе, из-за набранной высоты возможности не представлялось. Лёгкая облачность, высокие кроны деревьев диких груш и яблонь вокруг поляны никак не способствовали этому. Постояв ещё некоторое время с запрокинутыми в небеса головами, тькая пальчиками и вопя не своим голосом: «Вот она! Вот она!...», вскоре же и успокоились. Великолепная осенняя погода, золото листвы, запахи грибной прели, а главное, освобождённый от уроков день, всё это не могло не способствовать проявлениям буйной радости будущих покорителей космоса, то есть нас, и все принялись веселиться – бегать, скакать, махать руками, громко орать. Дабы выказать своё особое мужество перед девчонками, Рехвешвили Валерка с разгону решил запрыгнуть на облепленный красножёлтыми листьями молоденький кленок, да неудачно, разодрал о сучок новенькие штаны, расцарапал до крови щёку. Сделав вид, что ему ни капельки не больно, и что это так придумано нарочно, ко всему этому не поднимаясь с земли, принялся кувыркатся через голову и даже



попытался пройти на руках вниз головой по опавшим листьям, да снова неудачно. Посрамлённый и красный от стыда, весело гикая, поспешно скрылся в ближайших кустах боярышника, чтобы незаметному выплакаться. Переглянувшись, Галька Гнездова и Любка Лихова помчались следом, дабы, как это делают настоящие принцессы, успокоить, а заодно и выказать признательность за мужественный подвиг. Не каждый, слетев с дерева, примется ходить ещё и на голове. Лишь я с Андрюшей Мальбаховым – закадычным другом моим – не поддались общей атмосфере безумствований. Прилично отошли в сторону от поляны, принялись обсуждать столь для нас важное: неужели уже сегодня ракета с именем нашего октябрятского отряда – «Спутник» – выйдет по-заправдышнему на околоземную космическую орбиту, облетит земной шар и унесётся в бездонные глубины космоса? Воздушный шар цвета бледной спирохеты, да к тому же и ещё кособрохий, ну просто никак не способствовал доверию к благополучному осуществлению столь грандиозного проекта. Но... Ведь старшая пионервожатая – совсем взрослая тётенька, она же не будет обманывать... Раз, как выразилась она, всё это не чепуховина, а самым что ни на есть правдашным образом, то наша ракета уж как-нибудь обязательно долетит до этого самого космического пространства, где вообще ничего нет, кроме пустоты – обнадёживает меня мой закадычный друг Андрюша, такой же философ, как и я, но только в отличие от меня, с арифметической шишкой на голове.

Как сейчас помню, именно при этих обнадёживающих словах как бы сверху, с самих небес, раздались странные звуки, схожие несколько с посвистом млажаваго суслика, которому впервые было доверено стать на стражу, и который, увидя в небе не ястреба, а обыкновенную ворону, от неуверенности, на всякий случай стал издавать тончайшие фистулы. Звуки несколько усилились, и буквально в нескольких шагах от нас, почти на голову, на усталую жёлтыми листьями землю, плашмя и с придыханием, шмякнулась наша ракета. Как!? По лаконичной и исчерпывающей надписи на помятом станиолевом боку, аккуратно выведенной огненно-красным суриком, не узнать её было невозможно. Поверженный «Спутник» с вульгарным ошмётком жёлто-белой резины на носу – всего того, что осталось от его разгонного блока, расплюснутый и поверженный, подобно Икару, валялся возле наших ног. Солёный комок горечи подкатил к самому горлу. Обманули...

– Андрюша, – почти плачу я, – давай никому не признаемся, что наша ракета не долетела до космоса и упала. А мы... А мы клялись...

Скорбно став на колени перед убитой, приступили к похоронам, стали обкладывать её осенней листвою – прелой, густо пахнущей мокрой

землёю, грибами и плесенью; сверху соорудили красивый холмик из ярко-красных, только что опавших кленовых, заместо крестика воткнули колючую сухую веточку алычи. Обманули... Падение «Икара» дало трещину в фундаменте идеалистической сказки о светлой и весёлой стране Октябритии, где даже малышня принимает весомое участие в делах такого могущественного государства под гордым названием Советский Союз, и где их воля и мнение как-то, но учитывается.

– Зачем, – недоумеваю я, – Ляндыше Каримовне надо было говорить неправду? Она что, не знала?.. Неужели нельзя было по-честному признаться, что всё это как бы по-настоящему, на самом же деле – понарошку. Игра, значит, такая. Как ни странно, и сам не знаю почему, но подобный опыт не породил в дальнейшем во мне духа упадничества относительно другой, близкой к ней юношеской организации под названием пионерия, куда мне предстояло ещё вступить.

И время настало. Внеся свой индивидуальный вклад по сбору берёзовых почек, одуванчиков, аптечных ромашек и ржаных колосков – сиротиночек, бесхозно оставленных нерадивыми колхозниками прозябать на сжатых полях, со всею ответственностью осознал, что вполне готов стать юным пионером, который за всё в ответе.

2

*Как повяжут галстук – береги его,
Он ведь с нашим знаменем цвета одного...*

Пионерская организация, да и вообще всё, что с нею было связано, неразрывно и крепко ассоциировалось с несколькими для меня знаковыми моментами. Первое... Это Павлик Морозов, его храбрый поступок и даже – подвиг по разоблачению кулачества, которых ещё называли мироедами – этакими куркулями-вредителями, гноящими хлеб, лишь бы не дать его людям, которые с голодухи пухнут и помирают. Во имя торжества народной правды он и родителя родного не пожалел, сдал со всеми потрохами. А почему?.. Да потому, что бедный народ возлюбил всем сердцем, всей душою своею, всеми помыслами более, чем папашу, мамашу, братьев и сестёр своих, не говоря уж о деде и бабе. Отец справедливого Павлика представлялся мне гнусною личностью, обжористой и зловредной и, конечно же, взахлёб пьющей, даже не водку или какое вино, а натуральный самогон-первач, гоняющейся за правдолюбивым сыном с огромным кожаным ремнём, на котором медная бляха, лупящей кровиночку нещадно.

– Молодец Павлик Морозов, – на все сто соглашаюсь с ним я, – так и надо твоему папаше. Конечно же, я тогда ещё совсем не понимал, да об

этом никто и не говорил, что хлеб, который прятал, а по другому – гноил отец Павлика от этого самого народа, которому от начала веков всегда очень хочется кушать, не краденый у оголодавших рабочих и крестьян, возжелавших более не работать, а спевать под балалайку и гармошку скабрзные частушки, бродить стаями, а по-другому митинговать под знамёнами, а взрощенный в поте лица своего и мозолей своих на собственном поле. В книжках об этом и на самую малюсенькую капельку не говорилось. А потому поступок Павлика Морозова в контексте предложенных голых фактов, когда народ голодает, казался мне достойным подражания.

Экий я был неотёсанный дуралей... Но ведь патриот же... Второй аргумент, особо прельщающий меня быть в этой организации, – сам пионерский галстук. Гордо развевающийся по ветру, такой огненно-красный, он представлялся мне подлинною частицею боевого знамени, предметом вожделеннейшим и сокровенным, почти мистическим. Помню, я никак не мог понять старшего брата, его постоянной забывчивости, когда он уходил в школу без своего алого галстука, запоматовав повязать его себе на шею, за что его всячески ругали, а учительница иногда гнала и обратно домой и даже грозила исключить из пионеров, ибо так могут поступать только настоящие хулиганы и двоечники, которым не дорогá никакая честь.

Пионерский галстук – признаюсь, как на духу, был для меня предметом почти культовым, чуть ли не символом святости. А как же иначе. Ведь фактически он одно и то же, что и боевое красное знамя – символ мужества и борьбы за свободу и независимость всех советских людей, живущих в самой лучшей стране мира, самой справедливой и доброй, самой большой. Ведь не для красного же словца сказано в песне, что

*Широка страна моя родная,
Много в ней полей, лесов и рек
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек...*

– Как же, будучи принятым в пионеры, можно забыть про свой галстук и пойти в школу без него? – с огорчением думаю я, нисколько не оправдывая забывчивости брата.

В своих суждениях по этому поводу, ей-ей, я был настолько чистосердечен, что и на йоту не допускал иного. То, анекдотическое сейчас, как – Пионер! Ты за всё в ответе – воспринималось мною тогда совершенно иначе, почти буквально, то есть Пионер, хоть ты ещё не взрослый, но уже гражданин, причастный к самым великим свершениям своей страны. И разве бескорыстный труд, как сбор металлического лома, бумажной

макулатуры, посильная помощь пожилым людям – дедушкам и бабушкам, не говорит в пользу этого?..

Помню, как я с сестрёнкой прыгал от радости, хлопал в ладоши, когда мама в канун принятия нас в пионеры вручила каждому по красному галстуку, которые вот только что купила в культтоварах. Не знаю, чем она руководствовалась, скорее всего, значительной разницей в цене, но мне достался сатиновый – тёмно-красного цвета, а Татьяне совершенно алый и шёлковый. К тому же мой был ещё и обмётан по краям не красною нитью, что следовало бы логике, а почему-то тёмно-коричневою, почти чёрною. На мой вопросительный и несколько кисловатый взгляд папа моментально отреагировал, стал самым солидным образом объяснять, что, как и в одежде и во многом другом, мальчики и девочки должны отличаться, и что у меня галстук и по цвету, и по материалу, и по отделке более мужественный, чем у Тани, хотя и у неё тоже мужественный, но по-девчачьи. Несколько запутавшись, апеллирует к маме:

– Ведь правильно я говорю, что ты так специально купила?..

Его доводы меня несколько успокоили, хотя в глубине души я несколько завидую сестрёнке, так как её галстук казался, конечно же, и красивее, и наряднее моего, обмётанного коричневыми нитками, скроенного не из лёгкого и блестящего шёлка, а из обыкновенной тёмно-красной тряпочки.

– Ты, что, Боборика... – словно угадав ход моих мыслей, вмешивается папа, – настоящее боевое красное знамя потому и боевое, что пропитано кровью и потом, пропахшее боевым порохом и дымом пожарищ. И по цвету... Именно такое же, как твой.

Я по-незаметному нюхаю краешек своего только что купленного галстука. Действительно, пахнет машинным маслом и слегка – нафталином.

– Боевой, – успокаиваюсь я.

Танечка по-секретному шепчет на ушко:

– А хочешь... Я с тобой поменяюсь, но не насовсем?..

3

Как по-правильному надо завязывать галстук, мы с сестрёнкой ещё не умели, Валерик делал это совсем некрасиво, а значит, неправильно. У него почему-то один краешек всегда получался ниже другого, а узелок выходил скривленным на бок. Мама, хоть и была когда-то тоже пионеркою, к нашему всеобщему удивлению, совершенно забыла, как это делается. Валерик принялся по-всяческому умничать, доказывать, что владеет аж тремя способами завязывания пионерских галстуков и даже как это делают наши сверстники из демократической Германии

и Польши, так как имеет переписку с Утой Зингер – девочкой из Берлина и Войшкой Сбигне из Варшавы. Тут же один из способов показал на мне. Хлопчатобумажное изделие так туго затянул на моей куриной шейке, что Танечке пришлось развязывать зубами. Но всё равно... Вбелой рубашечке, вкрасногалстук, повязанном туго нашее, я казался себе просто самым великолепием, настоящим пионером, который уже торжественно поклялся перед лицом своих товарищей быть честным и смелым, и трудолюбивым, а главное, прилежно успевающим по всем предметам, чутким и внимательным, готовым до последней капельки крови отдать и жизнь, если то понадобится в борьбе за правое дело, дело пионерской организации, возглавляемой комсомолом и самой коммунистической партией. Под гулко бьющиеся удары собственного сердца словно наяву услышал:

– Будь готов!..

Вскинув в торжественном и мужественном приветствии правую руку, гордо произнёс:

– Всегда готов!..

Вот тут-то и поджидало меня одно из самых сильных потрясений в жизни, которое я испытал. В самый канун девятнадцатого мая – Дня пионерии, Анна Даниловна – учительница нашего класса, после очередной выставленной мне двойки по, будь она трижды неладна, арифметике, внимательно посмотрев мне в глаза, на полном серьёзе сказала следующее:

– Таким двоечникам, как ты, Володенька, не место в рядах пионеров. Послезавтра, через день, девятнадцатого мая весь класс будут торжественно принимать в пионерскую организацию перед самим Домом Советов, на площади имени вождя мирового пролетариата Ленина, но только не тебя. Убедительно советую туда даже и не показываться. Где же это видано, чтобы разгильдяям и лодырям, имеющим по арифметике неисправленные двойки, с такими почестями повязывали на грудь красные галстуки... Как ты можешь считаться пионером, когда таблицы умножения наизусть не выучил?.. А по русскому, по письму... Кортошка, копуста, помидоры... Тебе не стыдно... Отец – директор школы, мать – учительница по русскому языку, литератор... Так вот и скажи своим родителям...

Помню, словно чёрная бездна разверзлась под моими ногами, и я верх тормашками полетел в этот бездонный провал, орущий громовым голосом, кажется, на всю вселенную:

– Не достоин!.. Не достоин!.. Не достоин!..

К нему тут же присоединились хоры других блеющих противными козлиными голосами ябед:

– А ещё... А ещё он украл аж целые пять копеек из чистойшей звонкой меди, которые по-незаметному укатились в щелочку, а Фаризка Макеева обронила, но не нашла. А он... Он! Он! Он!.. Специально нашёл, но никому не признался; купил на него в буфете пирожок с повидлом, съел со своим дружкой Андриюшкой.

– И ещё!.. И ещё, – забубнил какой-то одинокий голос, схожий с телячьим, – он в продуктовом магазине прямо с прилавка стащил и спрятал за щекой преогромный кусок халвы, не разжевывая, проглотил... Аж на целых три копейки проглотил... А денежку не заплатил, хитренький...

– Не достоин!.. Не достоин!.. Не достоин!..

Жуткий стыд и страх, и горечь обиды, словно громом и молниями пронзили всё моё естество. Увидя ужасы и массу смятений на моём побледневшем лице, Анна Даниловна, эта, в общем-то, добрая и душевная женщина, наяву познавшая страшные невзгоды блокадного Ленинграда, увы, не стала как-то успокаивать меня, вселять хотя бы малую искорку надежды, как это бывает в таких случаях, когда дело имеют с совсем ещё маленькими гражданами. Холодно, почти брезгливо поджав губы, сощурия стальные глаза, произнесла:

– Ну... Что ты остолбенел, как вкопанный? Иди же... Всё, что я хотела, я тебе уже сказала. Ступай, Володенька...

И мог ли я тогда, совсем ещё ребёнок, ученик четвёртого класса «Б» школы номер пять даже допустить, что некоторым из так называемых учительствующих подобная их настойчивость в достижении своих целей, а по сути мучительство по Фрейдю, доставляет подлинное, не только душевное, но и физическое удовольствие маленьких тиранов. С какой истинно демонической радостью и одновременно презрением впериваются они взором в свою жертву – тщедушного и несчастного двоечника, истекающего холодным потом, бледно-зелёного цвета лица от животного страха, лишь только потому, что ни бельмеса не понимает и не знает из заданного ему предмета, когда его вызывают к доске, те, кто заранее знает, что, как и вчера, как и ранее он ни в зуб ногой, потому как тупица. Зачем? Что движет подобными педагогами? Неужели так называемый учитель настолько сер, бездарен и глуп, что не может и понять: чего не дано – тому не быть? Если сегодня ученик в самых основополагающих азах путается, то зачем вытягивать его к доске завтра? Не выглядит ли сие, по крайней мере, как очевидная глупость. Ведь, согласитесь, за день-то ему уж никак более не поумнеть... Долг... Чепуха!.. Можно ли, скажем, математика, пусть даже и гениального математика, который в гуманитарных предметах ни бельмеса, научить писать стихи, музыку, рисовать картины, живо и художественно

отразить нечто в прозе? Вы что... Скажет подобный из педагогов, совсем мозгами съехали!? Арифметику, алгебраические примеры, физику и химию должен знать каждый. А кто не способен к усвоению оных предметов, то у тех, уж извините, не всё в порядке с их головами. И это... Об Александре Сергеевиче Пушкине!? Эх! Знали бы подобные горе-учителя, которых по-блоковски — тьмы и тьмы, тьмы, что результаты их так называемых усердий по вдалбливанию в головы святых их сердцу знаний в головы, не предназначенные к принятию подобной чепухи, в конечном практическом итоге будут равны нулю, ей Богу, не заморачивали бы себе голову, ставили хромую троечку, памятуя математика Магницкого, некогда преподавателя Царскосельского лицея: «Идите, Сашенька, занимайтесь своей словесностью, в математике у вас всё равно абсолютному нулю».

Я знал одну математичку, преподавательницу пятой школы, и кто её только не знал, а особо из двоечников, памятующих добрым словом и по сей день, которая на алтарь знаний своего дорогого предмета хотела положить без остатка не только всю свою жизнь, но и, кажется, жизни всех остальных, не совсем желающих разделить с нею оное. Вся её вот такая пламенная деятельность, кажется, была направлена на одно: как бы сделать так, чтобы ни одному из учащихся и в голову не могло прийти попользоваться чужими мозгами, как-то списать, подглядеть, подслушать. В оном и преуспела премного. Её зачётная система, иезуитски продуманная до мельчайших подробностей, с индивидуальными билетиками, предназначенными отдельно для каждого в силу его так называемых умственных способностей, была, кажется, верхом математической изобретательности, гением педагогической мысли; никак не позволяла как-то извернуться или исхитриться любому неправильно мыслящему, вздумавшему объегорить эту самую логику, за которой по глубокомысленному мнению математички, уж конечно же, стройные ряды чисел, которые по меткому определению, но уже Пифагора, и правят на самом деле грешным миром. А для чего? Для чего столь титанические усилия и ума, и физических сил? Ведь каждый индивидуальный билетик необходимо было вымыслить и начертать на бумажке вручную, собственными мозолистыми руками изобразить на этой самой прямоугольной бумажке размером в ладонь. А ну-ка!.. Когда в параллели, к примеру, пять классов по тридцать человек... А всё для того, как ей искренне казалось, чтобы каждый даже и не помышлял не усвоить её предмета. Вселяя своими инновациями всем и вся, плохо соображающим по математике, животный страх, тем, по всей вероятности, и питалась. Типичный примерчик энерговампиризма. Её бы к психиатру во избежание ещё большей прогрессии развития оногo недуга, в столичную

исследовательскую клинику какую для произведения над нею научных опытов... Аннет... Лучший, сильнейший, талантливейший педагог школы, пример подражательств для многих, самоотверженная труженица, для которой работа – всё, остальное же – так, малосущественно. Но... Не по плодам ли мы судим о дереве?.. Результат же её столь ревностной деятельности: кому не дано было знать точных наук, вскоре же, по окончании школы, не то что алгебраически-тригонометрические уравнения разучился вычислять с их корнями, дробями и функциями, но и, кажется, саму святую пифагорову таблицу умножения запомнил за её ему ненужностью, стал тем, к чему от начал своих тяготел, имея искренние наклонности свои, дабы не выхолостилось главное и Божье. Могла ли помыслить яростная изобретательница всяческих лабиринтов, что так глубоко презираемые ею двоечники по её многоуважаемому предмету станут высокими музыкантами, поэтами, писателями, философами, скульпторами и живописцами, людьми глубокоуважаемыми и даже почитаемыми в обществе. А самое главное, без всяких тригонометрических функций, алгебраических уравнений откроют в себе Личность, а значит, – Бога. Могла ли представить она и иже с ней, что миром движет далеко не то, о чём они думают, и что вовсе не науки делают человека человеком духовным, высоконравственным, искренне любящим, сопричастным к чужой беде, к чужой боли, как к своей личной, а нечто совершенно иное, имя которому Любовь, которой посредством одной математики уж точно никак не научить.

Анна Даниловна, царствия ей небесного, конечно же, и не помышляла, что вся её арифметика, вместе взятая, и гроша ломаного не стоит относительно причинённой ею боли маленькому беззащитному человечку-фантазёру, искренне мечтавшему стать настоящим пионером, носить на груди красный галстук, шагать по жизни под радостную дробь барабана, клич золотого горна.

– Как же так, – горько плакал я, спрятавшись в кустах смородины на мичуринском приусадебном участке школы, – всех примут в пионеры, и только мне будет запрещено носить на груди алую частичку знамени своей страны. А позор... Что я скажу маме и папе, как я им смогу объяснить, что арифметика, всякие примеры её на прибавление и вычитание, деление и умножение, разные задачки ну никак не запоминаются в голове. Стихи наизусть и с выражением... Совсем другое дело: два раза прочитал, и всё... Запомнить любую мелодию и тут же повторить – одно удовольствие. Вылепить из глины козлика или лошадку – с великой радостью. А недавно из бузиновой веточки настоящую дудочку самстерил, самостоятельно вырезал ножичком. Посмотрел только один

раз в культоварах и сделал точно такую же, только в сто раз красивее. На ней по-настоящему можно разные звуки придумывать и даже составлять музыку. Даже взрослых, которые притворяются, что всё умеют, а на самом деле ничего не умеют, могу научить, как делать такие дудочки с кругленькими дырочками сбоку, от нажатия пальчиками которых происходят разные звуки и даже такие, которые похожи на завывание ветра в печной трубе или свист иволги. Разве мне пришло бы в голову обозвать свою учительницу дубиной или пнём неотёсанным или ещё как по-другому только оттого, что она не умеет делать, хоть объясняй ей, хоть не объясняй, даже сто раз, как по-правильному смастерить самодвижущийся трактор из деревянной катушечки от ниток с накручивающейся резиночкой или настоящий арбалет со стрелами, которые по-правдашнему могут втыкаться в деревянный забор, а в высоту долетать аж до самого неба?.. Или... Назвать её глухой, а одновременно и слепой за то, что она не слышит, как на зелёном лугу шепчутся и поют разноцветные песни цветочки, над которыми, подобно стрекозам, беззаботно порхают настоящие, но только совсем малюсенькие феи. Как же она не видит того, что совершенно, и не только для меня, но и многих маленьких, очевидно? Мало того... Она в это ещё и не верит. Какой ужас!.. Она не только слепо-глухая, но ещё и неверующая. Почему же взрослые, уверенные в своём всезнании, на самом же деле так мало смыслящие даже в простом, бесконечно говорящие неправду, которая у них почему-то называется правдой, позволяют себе обзывать глупыми словами маленьких, то есть поносить самих себя? Не дети ли есть их продолжение? Горделивые, бесконечно назидающие, они в своих безумных поступках порою бывают настолько смешны и непредсказуемы, что их дети ну просто ухохатываются от смеха, но в кулачок, дабы ненароком не обидеть. Обернитесь в ребёнка, подойдите к Ванечке и Катечке, катающимся от смеха в коммунальной прихожей на полу, поспрашивайте на вами уже забытом детском языке, чего это их вот так развеселило... Такого порасскажут о вас – родных, что передумается обратно взрослым становиться. Так что кажущийся беспричинным смех грудных лялечек, малышей, отроков и чистых юношей далеко не такой уж беспричинный. Сие есть от простоты сердец их, наречённой мудростью. Взрослый смех, как правило, только от глупости и по поводу глупости. От мудрости они разве что плачут.

4

Перемыслив всё это, вылез из кустов смородины несколько успокоившимся, почти фаталистом: будь, что будет, что несомненно должно

случиться и случится если ему будет дано быть. Время уроков закончилось. Вспомнил, что от нервности своей забыл портфель в классе. Как жаль... Ничего не поделаешь, придётся возвращаться, а так не хочется... Медленно открываю дверь, с трафаретиком под стёклышком – 4-й класс «Б», вижу за учительским столом Анну Даниловну, перед которой две стопочки ученических тетрадей, чернильница-непроливайка с красными чернилами. Мельком подняв на меня глаза, едва усмехнувшись, сделала вид, словно и совсем не заметила.

– Наверняка, – неприятно вспыхивает в голове, – подумала, что пришёл просить прощения, плакать, вымаливая не рассказывать, вот так.

Не знаю, что со мной и случилось, подобное психическому обмороку, словно не сам я, а кто совсем другой несколько изменившимся голосом громко и отчётливо спрашиваю:

– Анна Даниловна! Хотел спросить вас, да всё почему-то робел и стеснялся, вы ведь всё на свете знаете... Как называется язык, на котором собачки всего мира разговаривают?

– Чего?.. – с изумлением поднимает она на меня свои глаза поверх своих толстых очков, – какой такой язык?..

– Ну, как вам объяснить, – с ещё большей наглостью куражится мой двойник, – у людей же есть придуманный ими самими эсперанто, а у дворняжек? Бобиков всяких и Тузиков, которые есть и у нас, и в Германии, и даже в Америке, у собачек...

– У каких собачек? – снимает она очки, ещё пристальней всматривается в меня своими серо-зелёными глазами, в которых начинают проследиваться тени тревог.

– Как у каких?.. – выкраиваю я нарочито удивлённое лицо, – у обыкновенных, тех, которых в целом мире, на всём земном шаре аж не перечить. Вот мне и хочется знать, как называется их язык, на котором они лают, рычат, визжат и воют на луну.

– А зачем тебе это надо, Вовочка?.. – с ещё большей, уже не скрываемой тревогой спрашивает она, не отрывая взгляда, поднимаясь со стула.

– Как зачем? – с выражением округляются мои глаза, – хочу заколдовать себя в собачку, точно такую, как у нашей Гали Гнездиловой, в кудрявенькую болоночку, только не в беленькую, а в совсем черненькую, чтобы меньше грязи было видно на шерсти, а потом убежать. Вот только куда, я ещё не придумал. Эх, – тяжело вздыхаю я, – жаль, что вы не знаете, как называется их межсобачий язык... Ведь американские собачки уж точно нашенских собак язык не понимают. Вы уж извините меня, Анна Даниловна, что со всякими глупостями пристаю, без учебника собачьего

эсперанто или как он там называется мне заколдоваться в болонку ну никак невозможно. До свидания, Анна Даниловна.

Вывхватив из парты портфель, быстро выбегаю из класса. Кто меня так надоумил? Какие бесы внушили языку моему болтать совершеннейшую чепуховину про каких-то собачек и про это самое эсперанто, о котором я имел самое смутное представление, и то вынесенное по случаю разговора старшего брата с его одноклассником Сулейманом Алиевым, мечтающим научиться этому языку, чтобы, когда совсем станет взрослым, поехать на Северный полюс в составе международной экспедиции.

– Представляешь, Валера, – мечтательно говорил он, – научиться языку, на котором без всяких переводчиков можно общаться со всеми учёными земного шара... Да, только можно догадываться, как Анна Даниловна перепугалась. Ведь она, и это уж точно, наверняка подумала, что всё это у меня от психического расстройства. Так ей и надо. Не знаю и почему, увидев смятение в её глазах, я тут же преисполнился живительным духом бодрости и своего человеческого достоинства. Тот краткий переполох, неожиданно случившийся в его голове, не позволил ей ответить на простейший из вопросов, что у собак не может быть никакого искусственного языка, придуманного ими самими, подобного эсперанто, и, что все собаки общаются между собою на обыкновенном собачьем языке без всяких переводчиков. И кошки, и верблюды, и, наверное, суслики и хомяки. Только люди разучились понимать друг друга, общаясь даже на одном языке. Вот и весь ответ.

5

Девятнадцатого мая 1961 года в торжественной обстановке, при огромном стечении народа, под величественные звуки фанфар, боевой рокот барабанов на главной площади города, площади имени Ленина – Владимира Ильича Ульянова – мне повязали пионерский галстук. В силу ли того, что был такой чудесный майский день, а может, потому, что среди всех своих сверстников я был росточком самым невеликим, или по особому блеску глаз и восторженно-патриотическому выражению лица, но галстук на моей тонюсенькой шейке был повязан ответственным обкомовским дядечкой с пухлыми ручками, кругленьким, лысеньким, как и я, но уже среди дядь, самого маленького роста, от которого густо пахло дорогим одеколоном. В добротном синего цвета костюме, белоснежной рубашке, в галстук в крупный горошек и блестящих лаком чёрных туфлях он, ей-ей, чем-то даже походил на настоящего Ленина.

– Ну, что, – неожиданно пророкотал густым басом, да так, что я аж вздрогнул, – готов стать настоящим пионером, не подкачаешь со сбором

металлолома? Молодец, сразу же видно, по глазам видно, что не подкачаешь, – ответил сам за меня.

Как и мой брат Валерик, не мудрствуя, уверенными и суровыми движениями затянул галстук тугим узлом, точно таким, который не понарошку иногда завязывается на шнурках ботинок, которые невозможно без посторонней помощи потом развязать, бодро потряс за плечи, по-пионерски вскинув правую руку, отдал честь. Грянул оркестр, все дружно зааплодировали.

– Теперь-то, – гордо и радостно подумал я, – никто не посмеет отнять у меня имя пионера, никто не запретит носить на груди красный галстук.

Стечение ли обстоятельств?.. Возвращаясь домой, такой счастливейший и радостный, на углу Лермонтова и Ленина с правой стороны улицы нос к носу столкнулся со своей учительницей Анной Даниловной.

– Здравствуйте! – восторженно поприветствовал я её, хотя ещё утром при сборе у школы мы уже виделись и здоровались.

– Здравствуй, Володенька, – ласково улыбнулась она, – поздравляю тебя с вступлением в пионерскую организацию. Теперь ты самый настоящий пионер Советского Союза.

Погладив меня по головке, шепнула на самое ушко:

– Двойка твоя по арифметике никак не означает, что ты плохой и никудышный мальчик. Не сердись на меня.

Не знаю почему, но я заплакал. А на другой день... Что было на другой день! Как угорелый, без стука ворвался в дом Гаврош – Вовка Тактаев, прямо с порога заорал благим голосом:

– Вовка! Тебя вот только что в телевизоре по-настоящему показывали, как ты стал пионером. Дядька, похожий на Ленина, что галстук тебе на шею привязал, отдал даже честь. Вот тебе повезло!

Глава 29. ДИВЕРСАНТ – ПОДРЫВНИК – СОЗИДАТЕЛЬ. АЛЫЕ ПАРУСА

1

Как помнится, в годы юности своей я был неутомимым изобретателем всего, что можно взорвать, что может быстро гореть, обильно дымить, издавать жуткое химическое зловоние, такое чудовищное по своему воздействию, что его вполне можно бы было приравнять к оружию массового поражения, давно уж как запрещённому Организацией Объединённых Наций. И что я был за паразит такой, гад такой неумёмный?.. Испортить воздух на территории двора девятиэтажного дома, оглушить неожиданным взрывом самодельного снаряда, это, извините,

не в собственные штаны пукнуть, это, как минимум, детской комнатой милиции попахивает. Со своим неразлучным дружком Вовкой по прозвищу Гаврош и одноклассником Андрюшей, также проживающем в нашем доме номер четырнадцать, но во втором подъезде, родители которого, как и мои, были педагогами, кажется, только тем и были озабочены, где бы достать пороху, селитры, серы, карбиду, марганцу, всё это куда-нибудь заневолить, утрамбовать и ахнуть, да так, чтобы и стёкла в квартирах задрожали.

– Фу, как это некультурно, невоспитанно, по-хулигански, – скажете вы, – сын директора одной из лучших школ города, а чем, подлянщик, занимается. Экая забава... Да за такое... Настоящий хулиган...

– Да! Да! Да! Хоть немножко и стыдно признаться, отпираться не буду, я был не просто настоящим хулиганом-малолеткой, но отъявленным хулиганом, почти бандитом, из тех, кому хоть кол на голове теши, всё одно, лишь бы где спаразитничать.

Основные ингредиенты адских смесей, которые мы изобретали, но не по-научному, а методом практических тыков, как те средневековые алхимики, можно было достать за просто так и где угодно. Например... Огнеопасные быстровоспламеняющиеся фотоплёнки на территории никак не охраняемой типографии – нынешнего полиграфкомбината, в мусорных контейнерах, куда мы и залазили с головой. И чего там только не представлялось найти помимо этих самых катушечек с плёнками в тридцать два кадрика. Настоящие богатства. Одни свинцовые литеры чего только стоят... А красивые обрезные картонки, рулончики великолепной бумаги – блестящей и гладкой, химические реактивы в виде кристаллов соли, которые также можно было куда-то применить для большей ядрёности в своих пиротехнических штуковинах. Кстати... Множество детских игрушек из так называемого плексиглаза – пупсики, неваляшки, погремушки для совсем маленьких граждан – тогда, какой ужас, изготавливались лёгкой промышленностью нашей страны из жутко воспламеняющихся материалов. И о чём только думали, вернее, чем только думали эти взрослые дяди и тётки, закладывая для игрушек самых малюсеньких такие вот бомбы замедленного действия, способные воспламениться и от самой малюсенькой искорки, продуктами горения удушить и саму лошадь. Если несколько фотокадров свернуть в тугую трубочку, а затем заневолить в станиолевый футлярчик – золотую бумажку из-под шоколадки, с одной же стороны сделать подобие сопла не более толщины спички и с обратного глухого конца хорошенько нагреть, то всё это начнёт как-то и куда-то летать. Полёт подобного реактивного снаряда совершенно непредсказуем, опасен, что особо и веселит душу. Так, однажды, запуская бесовское изделие с гаврошевского

балкона на втором этаже, и предположить не могли, что ракетка, круто развернувшись, залетит обратно в комнату, по-предательски юркнет под заднюю панель телевизора – штуки в то время весьма даже редкостной, в результате чего последний прикажет долго жить, сгорит синим пламенем. Вовку его отец примерно отлупил ремнём, я в их доме старался больше не показываться. Хотя... За то, что квартира вообще не сгорела, благодарить должны были бы меня. Именно я, не растерявшись, сообразил, схватил трёхлитровую банку вишнёвого компота, со всего маху вылил её содержимое на пылающий химическим огнём агрегат. Испутив электрические молнии, телевизор бабахнул, затем несколько раз крикнул и потух. Нестерпимый зловонный дым чёрными хлопьями осел куда только можно, изгадил всю квартиру. Но что эти самые фотоплёнки и иже им по быстрогораемости малышнёвские пупсики?.. Так, детская забава, в сравнении с другим веществом под названием карбид. Применяемый в газосварочных аппаратах и сугубо по прямому назначению, он был тем веществом, с помощью которого производили резку и сварку металлов, широко применялся в строительстве и различных ремонтных работах. Для нас же, – юных пионеров, был вожделенным продуктом краж, при малейшей возможности мы его тырили самым бессовестным образом. Газосварщики, в возвышенных чувствах оскорблённые, скверно ругаясь, порою даже предпринимали попытки вернуть награбленное, кидались в погоню, да куда там... Разве им, любителям вредного образа жизни, поголовно курящим и пьющим водку, угнаться за здоровячками-пионерами, дружно улепётывающими во все лопатки в рассыпную?..

Что же представляет из себя этот карбид, если кто не знает, но интересуется; и чем он может быть для таких пацанов, как мы, замечательным? Вещество, внешне схожее с дроблёным камнем, тёмно-серого цвета, противнейшим образом воняющее тухлыми яйцами имело, а скорее, обладало удивительнейшим свойством. При малейшем контакте с водой тут же и моментально вступало в реакцию, бурно выделяло горючий и взрывоопасный сероводород, который и производил этот самый протухший запах. Именно эти свойства карбида и побуждали нас к его похищению для произведения экспериментов и опытов, к ещё большему познанию сути веществ, то есть – естествознанию. Спросите сейчас любого пацана, я нарочито не употребляю слово – сорванец, ибо оных ныне уже и нет, спросите любого мальчика десяти-двенадцати лет, что значит – запустить банку? Ведь наверняка не поймёт и о чём идёт речь... В наше же время не то что дворовые мальчишки, но и девчонки знали, что запустить банку – это так шарахнуть консервной жестяной в небо, так чувственно и громко пукнуть сероводородом, что ни слов не найти, ни выразить восторга... В утрамбованной земле вырывалась небольшая



лунка, в неё наливалось немного воды, бросался кусочек карбида, сверху же аккуратнейшим образом устанавливалась пустая консервная банка с пробитой в дне гвоздём дырочкой, так устанавливалась, чтобы доньшко было кверху. Пиротехник, как правило, особо отъявленный хлопец, этакий пофигист, – поджигал в трубочку свёрнутую газетку, вытянув руку, подносил к отверстию банки, под которой от реакции карбида с водой уже скопился газ, раздавался гулкой хлопок, жестяной снаряд, обдав окружающих грязью и вонью, стремительно выстреливался туда, куда Бог пошлёт, порою кому-нибудь и в лоб. Случалось, что вода, без которой реакции никак не быть, неожиданно заканчивалась, смекалисты сорванцами она тут же заменялась сходным с ней, но несколько иным веществом, также великолепно вступающим в реакцию с карбидом, веществом чисто физиологического происхождения жизнедеятельности организма. В лунку по очереди писали... Восторгам не было пределов, когда от взрыва при запуске очередной банки запальщика, и не только, окатывало с ног до головы брызгами грязи. А однажды, как помнится, банку так удачно высоко запульнуло, аж под самую крышу четырёхэтажки, которая находилась весьма на приличном расстоянии от детской площадки, с которой и была она запущена, что, ударившись о стенку, она, изменив траекторию, нежданно шмякнулась прямо на голову, да не кому попало, а проезжающему в это время по двору на мотоцикле с люлькой участковому инспектору милиции капитану Дыкову. Крикнув – ага, полундра, все дружно брызнули в рассыпную. Во всех наших действиях бдительный и политически подкованный милиционер-идеалист усмотрел намерения нарочитой зловредности, папахивающей терроризмом, покушением на государственное должностное лицо в момент исполнения им профессиональных обязанностей; активисты из числа законопослушных и добропорядочных граждан тыкнули указующим перстом на того, на кого надо из главнейших диверсантов, коим, не трудно и догадаться, оказался, конечно же, я. Помятая вонючая банка вместе с изъятым у меня куском карбида, который я, как вещественное доказательство преступной деятельности, не успел выбросить, всё это, изъятое с поличным, было представлено родителям.

– А что это? – с удивлением, но в то же время с прямою римлянина спросил папа, не без интереса разглядывая помятое и продырявленное консервное вместилище из-под кильки, издающее жуткое зловоние, переводя взгляд на огрызок странного окислившегося белёсого камня, не менее способствующего общему отравлению воздуха.

Капитан Дыков, явно не ожидавший подобного прямого вопроса, кажется, и сам растерялся, пожав плечами, принялся путано объяснять, что, дескать, при помощи этого камня, который я сначала обоссал,

именно так он и выразился моим культурным родителям, направленным взрывом банку метнуло ему прямо в голову в тот момент, да-да, именно в тот момент, когда он проезжал по двору на мотоцикле. По всей вероятности, не мудрствуя лукаво, простодушный участковый передал то, что ему и нашептали из бдительных доброхотов, сдавших меня с потрохами. Отец не выдержал, отвернувшись в сторону, стал смеяться. Нелепость предъявленных доказательств, да и всего остального, касающегося преднамеренности террористического акта, видно, озадачила и самого милиционера. Ещё раз пожав плечами, с отвращением поглядел на разложенные на газетке улики, признался, что и сам не совсем понимает, каким образом это может вот так... И причём ко всему этому обоссанный камень? – с омерзением бросает на него свой взгляд. А людям привык верить... Ведь не сама же по себе эта вонючая банка свалилась с неба. Папа, по-незаметному моргнув маме глазом, принялся красочно рассказывать из курьёзных случаев истории, что однажды над Калугой в 1682 году выпал настоящий дождь из свежемаринованной сельди, а в Архангельске из золотых и серебряных монет. И такие случаи, увы, далеко не единичны.

– Скажите вы, пожалуйста... – изумлённо округлил глаза капитан Дыков.

На том всё и закончилось. Папе же я по-честному признался, что хоть карбид был и мой, потому как я его не украл, а выпросил у рабочего, который чинил огнём прохуdivшуюся железную трубу, банку же запускал не я, а по своей очереди Воробей – Воробьянинов Венька. А как это у него так ловко получилось, не знаю.

– А что... – не без любопытства спрашивает отец, – вы действительно, как он говорит, перед тем, как там что-то взорвать, на этот камень писали?

– Не на карбид, – объясняю я непонятливому папе, – а в специальную ямку, куда устанавливается банка. А Гринька бутылку с водой возьми да опрокинь. В самый ответственный момент воду разлил, когда всё к пуску было уже подготовлено. Бежать же к колонке, аж где угол Лермонтова, кому же в такую жару охота...

Непонятно почему, папа начинает опять громко смеяться, хотя, как мне виделось, повода к тому никакого и не было.

– Вовка!.. А скажи по-честному, – весело спрашивает он, – ведь точно и наверняка от сик банка летит и выше, и дальше, или нет?..

Не зная, как ему ответить, признаюсь, что лучше всего запускается, когда банка большая и высокая, как от болгарского «лечо», и когда запальная дырочка пробита по-правильному, нужного размера, тогда и свечи не случается, и бахнуть может аж до самого неба. Килькина

же... Так и вообще нормально не летает; подпрыгнет, как лягушка, обрызгает всех, и всё.

– Не надо больше так хулиганить, – уже серьёзно говорит отец, – а вдруг, да по глазам...

Хоть он и смотрит на меня строго, чувствуется, что на меня совсем не сердится. Несмотря на очевиднейшие опасности, которыми я подвергал себя, всячески экспериментируя со всевозможнейшими взрывчатыми веществами, Господь миловал. Случалось и так, что от самодельного поджига¹ в кулаке оставалась всего лишь деревянная рукоять, всё же остальное от взрыва дула бесследно улетучивалось. И руку отшибало ударной волной, да так, что она на глазах принималась раздуваться, как подушка, всякое случалось... Господь миловал. Дальнейшие эксперименты или так называемые опыты, которые, конечно же, ближе по словосочетанию с фокусами, показали, что, оказывается, можно и вообще обходиться без всяких химических веществ, опаснейших и вредных, таких, как порох, сера, бертолетова соль, красный и белый фосфор, марганец, глюкоза, селитра и прочего – бензинов и керосинов, используя обыкновенную воду, а вернее, силу её пара. Найденная на дороге ржавая железяка цилиндрической формы с глубоким, но толстенным болтом навела на мысль: «А что, если туда налить воды, следом туго вбить деревянную пробку, а поверх всего ещё и закрутить до отказа стальной болт и... И на огонь, в жаркий костёр?». Вспомнился эксперимент, который в четвёртом классе нам демонстрировала Анна Даниловна, наглядно показывая силу разогретого пара, когда пробирка с водою, установленная на горящей спиртовке, при закипании гулко выстреливала пробкой. Фокус для моего беспокойного и пытливого ума был настолько замечательным и заманчивым, а главное, простым в исполнении, что придя домой, не откладывая в долгий ящик, я тут же налил в пустой пузырёк из-под одеколona «Шипр» воды, закрутил винтовой пробкой, поставил на газовую плиту нагреваться. Пузырёк разорвало вдребезги, кошка от такой страсти обгадилась, быстрее молнии по занавеске взлетела под потолок, зависла на карнизе, мне же убедительно и наглядно было продемонстрировано: с паром шутки опасны, ему не то что стеклянный

¹*Поджиг* – подобие самодельного пистолета, основу которого представляет металлическая трубка, заклёпанная с одного конца, где высверливается тоненькое отверстие, так называемый запальник, благодаря которому трубку, туго забитую порохом или серой – боевой ствол, и приводят в действие посредством поджигания спичкой. Иной поджиг с заневоленной туго свинцовой пулей может насквозь пробить и толстую доску.

пузырёк, а и толстеного чугуна котёл паровоза что раз плюнуть, и что сила взрыва настоящего вулкана по природе аналогична этому же.

Добыв с десятков больших таблеток туристического сухого спирта, ради чего с Вовкой Беляевым пришлось пойти на натуральный обмен, пожертвовав ради него секретной рогатулкой на венгерской резинке, смастерённой собственноручно из стальной проволоочки, стреляющей специальными придуманными гнутыми алюминиевыми пулями, рогатулкой столь малого размера, что её в случае чего запросто можно было спрятать и в кулачке. По-тайному спустился в наш общедомовой подвал, установив экспериментирующее орудие на кирпиче так, чтобы конец свисал, распалил под ним свои таблетки, моментально юркнул в кладовку, плотно подтянул дверь, внимательно стал наблюдать за процессом в малюсенькую щелочку. Моя паровая пушка, в дуло которой забита деревяшка, да и ещё ввинченный до упора болт, раскалившись в пламени сухого горючего, так истошно и истерично рывкнула, именно не громыхнула, а рывкнула, что от неожиданности резко отпрянув назад, я зацепил висевшее на стене цинковое корыто, которое с жестяным грохотом рухнуло на голову и полностью накрыло. Едва освободившись, услышал, как на шум прибежали какие-то дядьки, стали рыскать по подвальным закуткам. Не найдя ничего подозрительного, а самое главное, того, кто вот так ахнул из чего-то боевого, быстро заспешили обратно, на улицу.

– Утёк, гад, – слышится мне удаляющийся голос одного из них, очень похожий на голос Филькиного отца. – Ну, ты у меня впоймаешься, контра ряженная, интеллигенция паршивая. Я тебе, бестолочь, все уши пообрываю, шоб не шкодил, гадёныш...

Оказывается, моё паровое орудие так долбануло по маленькому подвальному оконцу своим шестигранным болтом толщиной с мужской палец, что не то что стекло, а и всю деревянную крестовину переплёт с корнем вынесло. По счастливому стечению обстоятельств Филькин папаша, а с ним ещё двое его знакомых дядек стояли не прямо напротив, а чуть подальше. Иначе... Ведь надо же мне быть вот таким психом ненормальным, точно бы быть беде. Хотя орудие и было нацелено на выставленную у стены сосновую доску, по всей вероятности, в процессе нагревания кирпич накренило, вот оно и пульнуло болтом на целый метр выше. Но всё это ни в коей мере не оправдывает моих вот таких варварских действий, моего вандализма, коим я, ну честное слово, тогда не придавал должного значения во имя так называемых научно-практических исследований придуманных мною взрывных устройств, к утверждению в конкретном данном случае единственного: да!.. Сила перегретого и закупоренного пара – страшная сила. Это сейчас,

именно сейчас, по прошествии стольких лет, краснея до корней волос, я раскаиваюсь за совершённые мною чудовищные поступки, казнюсь и нравственно маюсь: «Ну как же тебе не совестно, Боборика... Экий ты паскудник-разрушитель, контра замаскированная под интеллигентнейшего мальчика с красным пионерским галстуком на груди. А ещё, называется, директорский сынок... Э-э-эх... Не стыдно?..». Тогда же, как мне искренне думалось, все эти опыты производились мною исключительно в позитивно-созидающих для меня целях. Моя ли вина в том, что врождённая жажда к познаниям, неутомимый голод, а скорее, зуд к практическому осуществлению того, что познал, с такою чудовищной силой властвовали надо мною, что, ей-ей, никакие увещевания внутреннего голоса, голоса совести – побойся Бога, – никак на пытливый разум не воздействовали. Вот, оказывается, почему многие учёные, не ограниченные внутри самих себя никакими морально-нравственными барьерами совести, первейший из которых – не убий, то есть вообще никак не навреди, готовы во имя удовлетворений своих научных амбиций, так называемых практических результатов, и земной шар с оси свернуть. Не сам ли дьявол движет ими – квазибог вселенной?.. Вот и я...

Найдя на речке странный булыжник, весь во вкраплениях золотистых искорок, не раздумывая, укладывал от посторонних глаз за пазуху, – а вдруг да настоящее золото?.. С камнем за пазухой шёл домой. Дальнейшие мои действия предугадать несложно. Огонь, как одна из могущественных стихий, именно он может помочь моему пытливому уму узнать, и даже дать исчерпывающий ответ – что это такое? Булыжник немедленно размещается над одной из конфорок газовой плиты с целью выплавливания того, что вот так прелестно блестит, то есть золота. Результат вот таких несложных практических действий весом и нагляден: лопнувший от негодования булыжник, опрокинутая на пол, стоящая рядом, кастрюля с приготовленным мамой борщом, забрызганные стены, обгадившаяся от страха кошка. Как жаль, что это опять не золото...

Опыты, а по-другому – фокусы с различными радиодетальями – диодами, конденсаторами, сопротивлениями, транзисторами и резисторами, а также батарейками, так и вообще, кажется, не имеют аналогов в мировой практике. Выкорчеванные с корнем из старого, выброшенного на свалку радиоприёмника или из какого другого прибора, они тут же подвергались мною обширным исследованиям. И ведь как только током не убило... Засунуть конденсатор или плоскую батарейку от фонарика двумя концами в электрическую розетку... Ну, знаете ли... Снопы искр, гороховый треск рукотворных шаровых молний, грохот разорвавшейся батарейки, смрадный химический дух моментально испарившейся

кислоты, измаранные стены, мои трясущиеся от нервов поджилки. И!..

И ни одной серьёзной царапины, как и электричества во всём доме...

Или... Это же надо такое удумать... Накрутить на большой магнит в форме половины бублика алюминиевый изолированный провод, виточек к виточку накрутить, а всё для того, чтобы сделать его ещё сильнее, и всю эту замкнутую обмотку двумя её противоположными контурами в ту же розетку... Вольтова дуга, треск сыплющихся искр, химический запах обгорелой изоляции, погасший свет во всей квартире, трясущиеся от нервов мои поджилки. Магнит без видимых изменений.

К счастью, в своих практических изысканиях я был далеко не одинок. Сосед по подъезду, закадычный дружок Вовка по прозвищу Гаврош, а по-другому, но уже в школе – Тяпкин-Ляпкин, да-да, тот самый, что запущенной с балкона ракеткой на реактивной тяге сжёг семейный телевизор, который по тем временам чуть ли не причислялся к предметам роскоши, так и вообще превзошёл меня по всем показателям. А почему превзошёл?.. А всё потому, что мой склад мышления – склад гуманитария, склад этакого философа, никак не вмещающего в своей разухабистой голове законов математики и физики, у него же... Как есть технократический, до последней извилины мозгов технократический. Это сколько же ему тогда годков-то было? Никак не менее двенадцати, а то и тринадцати, уж точно... Начитавшись в своих научно-технических книжках о физике шаровых молний, о разных там так называемых плазмах, устойчивости их состояния и поведения в силовых электрических полях, почти что некой разумности их материи задался, во что бы то ни стало, собственноручно произвести на божий свет рукотворную шаровую молнию с целью дальнейшего её приручения, наподобие собаки. Сто-раемый огнём первооткрывателя, не откладывая в долгий ящик, тут же и приступил. По своим собственным доморощенным чертежам – многочисленным разрозненным бумажкам, которые он мне не без гордости представлял как техническую документацию, из пучка тонких медных трубочек сварганил нечто, схожее по своему виду с рассерженным ежом, а скорее, со старинною, времён Цусимы противокорабельною миною. В корпус, состоящий из чугунного котелка с прикручивающейся на винтах-барашках к нему крышкой напихал какой-то гадости, сверху всё это залил электролитом от отцовского аккумулятора, несколько подумав, накапал ещё и из пузырьрёчка глицерину. В свою домашнюю розетку, естественно, тыкать не стал, мало ли что, подсоединился длиннющими проводами к центральному распределительному щитку нашего подъезда с большим медным рубильником и предохранителями в виде стеклянных колбочек с песком, который располагался при входе с левой стороны

от входной двери, щёлкнул на своей адской машинке выключателем. Господи! Что тут началось... В результате подобных безумных действий молнии с душераздирающим треском с такой интенсивностью посыпались из моментально расплавившихся трубочек, внутри котелка так бахнуло, что не то что один наш подъезд, а и весь девятиэтажный дом тут же погрузился в полнейший мрак. Несмотря на этакий адский ужас, настоящее светопреставление, не растерялся, умудрился свою шаровую машинку, вернее, всё, что осталось от неё, втянуть вместе с обгоревшими проводами к себе в квартиру на второй этаж, спрятать в барахле на балконе. Прибывшие вскоре электрики, не понимая причины аварии, маюгались почём свет знает, ремонтируя всё, что сгорело, чуть ли не всю ночь. Оказывается, что не только в доме, но и в распределительной станции – трансформаторной будке что-то так же крякнулось и перегорело. Злоумышленников, конечно же, выявить не удалось. Да и какие мы злоумышленники? Так... Не совсем удачный научный эксперимент, не имеющий ничего общего с диверсией или злостным вредительством. А что... Настоящие учёные разве никогда не ошибаются?.. Почему же тогда ракеты на старте взрываются, спутники раньше срока с неба падают, а реки не в ту сторону, куда надо, принимаются бежать. Экое дело... Предохранители в трансформаторной будке перегорели. А для чего вы тогда нужны – учёные, коли у вас от всякой ерунды предохранители плавятся?.. Придумайте такие, чтобы нагрелись добела, терпели, но не перегорали, – рассуждаем мы, пытаюсь разобраться в причинах неудавшегося эксперимента машинки по производству живой электрической плазмы, а по-другому – шаровых молний.

2

У Вовки была престранная привычка. Когда он размышлял, подобно Спинозе, то сидя на стуле, всегда старался придать телу такое зыбкое равновесие, какое только возможно, откидывался на спинку, принимался балансировать на двух задних ножках. Со стороны казалось: вот равнобедренный треугольник, но стоит не на основании, а на одной из своих граней, покачивается туда-сюда, порою и совсем замирает на месте, но не падает.

– Вовка! – кричит истерично мать, – прекрати ломать стулья, сколько раз можно тебе, идиоту, говорить одно и то же?.. Стулья совсем не для того, чтобы их раскачивали и расшатывали. Вот брякнешься своею дурною башкою, будешь тогда знать, как уродовать стулья.

Прогнозу матери мудрено было не сбыться. В волшебный миг очередного озарения Гаврош потерял бдительность, а вместе с ней

и равновесие, полетел задом со всего разгона, да затылком приземлился, если так уместно выразиться, на угол чугунной батареи парового отопления. Тыковку зашили, сломанный указующий перст туго загипсовали. После всего этого в голове маленько что-то сдвинулось относительно приоритетов; обратил свой мысленный взор к иным областям, где также можно выразиться, но не покачиваясь уже на стуле, не философствуя вроде того: а что, ежели в керосин насыпать dustу, вперемешку с медным купоросом, прибавить малость ацетону, бросить пару таблеток нафталина и сухого спирта, всё это посолить и поджечь? Ведь наверняка может бабахнуть... С усердием принялся выпиливать лобзиком по фанеркам полочки да коробочки с проёмною резьбою, выжигать электрокарандашом по тем же фанеркам придуманные самим собою картинки. В общем, стал на иную стезю познаний, где всему есть своя мера и где не только одна материя, но и сам животрепещущий дух созидания над нею, нашёптывающий сладчайшим голоском ангела: не хлебом единым жив человек... Творчество!.. Что выше может быть этого, когда это самое творчество из разрушительного плавно перетекает в позитивно-созидательное, а тем паче, в высший свой аспект – творчество художественное. После же того, как Вовкин отец добыл ему непонятно где полный набор настоящих гравировальных штихелей по дереву и линолеуму, красиво уложенных в лакированном плоском ящичке, которыми можно было вырезать тончайшие линии придуманных самим собою рисунков, как это умеют делать самые настоящие художники, окончательно и, кажется, бесповоротно заболел художествами и я. Что там и говорить, но по-честному, Гаврошу и его брату Валерке я завидовал. Признаться родителям и попросить, чтобы и они мне достали как-то вот такой же чудесный набор инструментов, не хватало духу. Ведь, наверняка, как мне представлялось, это стоит очень больших денег, которых у мамы с папой в связи с бесчисленным количеством у нас гостей почему-то всегда мало хватало. Имей я такие великолепные шутовинки разных форм с блестящими лаковыми деревянными ручечками, да разве бы не научился работать и пользоваться ими по-правильному, по-настоящему; берёг бы, маслицем смазывал, чтобы не заржавели. Мне бы и в голову бы не пришло вот такой острой, как бритва, блестящей до зеркального блеска плоской стамесочкой шурупы откручивать, как отвёрткой. Или долбить в эбонитовой коробке дырку под провода. Уже совсем скоро от великолепнейшего набора немецких штихелей остались обломки да огрызки. Потому Вовку Гавроша и прозвали в классе Тяпкиным-Ляпкиным, что какую бы он работу не начинал, за что бы ни брался, никогда до конца не доводил. Любое его

увлечение, радостно вспыхнув, тут же начинало угасать, уже совсем скоро он начинал к нему терять интерес, пока не отворачивался совсем, воспламеняясь уже иным, которое впоследствии ждала та же участь, что и до этого. Знающий о многом и как бы умеющий делать многое, он так и не стал творцом в хорошем понимании этого, не выработал в себе силовых качеств воли и упорства в достижении поставленной перед собой цели. Всевозможным увлечениям его, кажется, не было ни начала, ни конца. К большому сожалению, отсутствовало самое главное: плоды, венчающие любой труд, любую деятельность человека умелого, человека, наделённого творчеством. Но и при этом, не скрою, никто так положительно не повлиял на меня, на моё творческое начало, как Вовка Гаврош – человек удивительный и неординарный во всём. Несмотря на свою сумбурность, свои бесплодные увлечения, кажется, ко всему на свете, именно благодаря ему пробудились во мне дремлющие доселе чувства к чудному и прекрасному. Полнейшие безволие его стало для меня назидательным примером: без труда, без усилий, без должного умения, которое можно приобрести благодаря бесконечной практике и времени, и только благодаря им, будь ты хоть семи пядей во лбу, ничего толком не получится. Даже если ты трижды талантлив, почти гениален, без упорства к приобретению цели, а главное, без любви к избранному делу – грош цена тебе.

– Эх, – сокрушался я, как за своё, – взять и загубить такой инструмент...

Одних штихелей, маленьких клюкарз, разных стамесочек не менее тридцати пяти штук.

– Интересно, – волнуясь я ещё более, – сколько такой набор примерно стоит?

Как узнал, но потом, подобный, и тоже заграничного производства, стоил очень даже прилично. О том, чтобы как-то упрямить родителей купить, не могло быть речи. Перочинный ножичек с двумя лезвиями с клеймом «металлист» стоил в культтоварах семьдесят две копейки. Насобирав правдами и неправдами бутылок из-под молока в количестве пяти штук, сдал в молочном отделе гастронома, купил себе орудие производства. Оставшиеся три копейки пропил в автомате. стакан сладкой газированной воды был просто великолепен.

Старший брат Толика Булгакова, работающий сапожником, ради знакомства отточил оба лезвия моего новенького блестящего ножичка до остроты бритвенного лезвия. Засучив рукава рубахи и лизнув свою волосатую руку, тут же продемонстрировал:

– Смотри, Вовка! Ты думаешь, что только парикмахеры, что бреют бороды, умеют точить вот так свои бритвенные лезвия? Смотри!

От лёгкого прикосновения на тыльной стороне его руки за лезвием протянулась лысая тропиночка. Увидя на моём лице сияющие блики неподдельного восторга, ибо такое скрыть невозможно, слегка уже пьяненький, неожиданно расщедрился. Порывшись в выдвижном ящике своего рабочего стола, достал совсем небольшой, но широкий нож с косым лезвием, где ручка обмотана электрической изолянтюю, прозванный сапожным, проведя большим пальцем по жалу, отточенному, как и мой ножичек, до остроты бритвы, с мужскою щедростью протягивает мне:

– Возьми... Дарю навечно и от сердца. Завсегда нужная вещь в хозяйстве, а особо, когда обувке какой ремонт необходимо дать. Без такого ножа, как без рук, настоящему мастеру никак не обойтись. По глазам вижу, что не на глупость, не для баловства ножичек себе приобрёл. Хорошая сталь. Это только дураки перьями¹ в заборы пуляют, в землю с выкрутасами втыкают. Да разве после такого издевательства им можно как-то пользоваться по прямому его назначению? Ты его хоть точи, хоть не точи, всё одно – без пользы. Разве будет он после этого резать... Не то, что другое, а и колбасы ровно не порежешь. Ведь чем, прежде всего, ценен нож, – совсем уже философствует Гена, который старше своего брата Толика чуть ли не на пятнадцать лет, успевший уже и отсидеть, и потерять где-то ногу, – остротою своею, да крепостью лезвия. Ну и, конечно же, чтобы рукоять, как влитая в руке лежала. Вот чем ценен, прежде всего, настоящий нож... Толька уже порассказывал, как ты всякие дудочки и кораблики по-правильному ножичком выстругивать умеешь. Молодец!... На зоне, скажу тебе, с художественными руками никогда не пропадёшь. Братва мастеровых, да ежели ещё и с правильными пацаньячьими понятиями, шибко уважает. А уважение, считай, самое главное, без него никак невозможно быть в лагере, тут же опустят. Батка, что ли, так научил, или как сам?

Не дожидаясь ответа, роется в столе, что-то выискивает.

– А хочешь, – с выражением смотрит на меня почти, как на взрослого, а не тогда, когда сюсюкаются и подыгрывают, – хочешь, я тебе ещё и рашпиль подарю?.. Он, хоть и старенький, но зверь – рашпиль так дерёт, что аж опилки сыплются, как на лесопилке, без рашпиля мастеру никак нельзя быть. Сучок, скажем... Попробуй-ка ножом его выровняй... Да ни в жисть не получится. А рашпилем – пожалуйста, в полное своё удовольствие и ровненько.

Чувствуется, что Генка вот только что усугубился стаканчиком портвейна, и он, этот портвейн, уже начинает благотворно действовать,

¹Перо – на криминальном жаргоне – нож.

закрадываться в душу, возвышенно влиять на органы речи, на мимику лица, на всё его щедрое естество. Его щедрость обусловлена, скорее всего, этим. Одновременно в его манерности начинает проявляться и его уголовное прошлое. Для большего усиления речи и особой уркаганской артистичности в нужных местах он по-смешному начинает выкраивать рожи, пальцы рук растопыривать веером. Работал Генка, как его все звали, исключительно на дому, считался отменным сапожником – мастером своего дела. Ремонтом обуви не занимался, брался за работы важные и штучные, да чтобы с цветным кожаным набором, точёными каблуками, когда и за версту можно признать, а потом ещё и вслед обернуться, отметив про себя: «Однако... Гарные башмаки! Чистая ручная работа. А обладатель... Не иначе, как из блатных фраеров, вон ведь как важно вышагивает, словно вор в законе». Никак не владея игрою на гитаре, имел престранную привычку показать всем своим видом, что и в этом тонком деле является искущённейшим знатоком, обладал исключительным музыкальным слухом. Заслыша вечером, как кто-то из приблатнённых пацанов возле гаража, – неизменного сбора шпаны, яростно принимается крутить на гитаре восьмёрку, гнусавя – Колыма теперь мне дом родной, а Печора – родная мне хата, детка, ты не плачь – я уж не твой, я умру на Колыме проклятой, – не утерпевал, выходил из дому. Вручив свои костыли для сохранности кому-нибудь из блатных, сидел на скамеечку, тут же просил:

– А ну-ка, хлопец, дай-ка я твой струмент пощупаю.

Взяв гитару в руки, повертев и так, и сяк, гулко стучал костяшками пальцев по верхней деке, кривил презрительно губы, произносил своё неизменное:

– Дешёвая музыка.

Мне всегда казалось, что в один прекрасный момент очередной инструмент окажется тот самый, то есть не дешёвый, а не ниже ручной работы музыкального мастера, подобного Амати, Гварнери или самого Страдивариуса, и Генка такое немыслимое на ней выдаст, такую классику, что все пацаны от зависти содохнут. Но ничего такого не происходило. Забегая на много лет вперёд, он и мою акустическую музиму признал дешёвкой, а линготоновскую даже и стучать не стал. Щёлкнул пальцем по струнам, скроил невозможную физиономию, словно выронил:

– Как есть, штамповка...

Выкурив папироску, забирал свои костыли и тут же и удалялся. Зачем это ему было надо, что им двигало в эти минуты, что для меня, что и для всех остальных оставалось загадкой.

Найдя в выдвижном ящичке своего стола рашпиль, скруглённый с обеих сторон, такой, каким пользуются только обувные мастера, пробует

его большим пальцем правой руки – чёрным от работы и мозолистым, слегка задумывается. Чувствуется, как в последний момент его начинает одолевать жаба. Скребнув по краю сплошь изрезанного стола, с недоумением глядит на него, словно видит в первый раз, выкраивает по-смешному рожу, говорит:

– Не-е... Этот тебе не пойдёт. Совсем негожий. Разве что гузку скрести. Тот в сто раз лучше. Дай срок, поищу в сарае, там где-то завалялся, вот тогда и подарю насовсем.

Что значит – скрести гузку – я так и не понял. Поблагодарив Генку за заточку и такой ценный для меня подарок, как нож-косяк, спешу домой, чтобы скорее всё это испытать на деле. Настоящий корабль с тремя стройными мачтами, алыми парусами, пустотелым корпусом, скрытым над верхней палубой, квадратными окошечками для пушек, туго натянутыми снастями и килем вдоль всего корпуса – вот что не даёт покоя ни днём, ни ночью.

– Самое главное, – думаю я, – найти подходящий кусок дерева под самый корпус. Выстругать-то я его выстругаю, а вот как его выдолбить изнутри? Вернее, чем выдолбить, чтобы стал пустым, как взаправдашний, с тонкими бортами, настоящим трюмом, в котором пираты хранили бочки с ромом и сундуки с золотыми монетами.

– Вовка! – советует папа после того, как я попросил достать мне во-о-т такой кусок деревяшки, – прежде того, как взяться за материал, ты бы хотя бы простенький чертёжик нарисовал, где что у тебя будет.

– Зачем мне рисовать какой-то там чертёж, когда у меня в голове всё уже давно придумалось и нарисовалось?

– Давай, давай, – посмеивается папа, – без вычислений, то есть без точных наук, с которыми у тебя беда, не то, что кораблик, к тому же – парусник, а и приличной лодочки из сосновой коры не вырезать. Тебе же, наверное, желается, чтобы он не просто так был, для внешней красоты... Я думаю, что ты решил сделать по-настоящему, как положено, когда можно отпустить в плаванье по морям и океанам... А для этого, брат ты мой, одной таблицей умножения никак не обойтись; корабль – это тебе не туземный базальтовый плот, на котором плавал Тур Хейердал и наш Юрий Сенкевич... Хотя и там, несмотря на кажущуюся простоту – экое дело, брёвнышки друг с другом связать, – заложен опыт тысячелетий. Как ты не поймёшь, – пожимает плечами отец, – чтобы изготовить парусное судно, пусть и его модель, которая во много раз меньше, по сути, его копию, необходимо неукоснительно следовать тем же законам и правилам, что и при строительстве большого корабля. Между водоизместимостью, размерами мачт, количеством парусов и многими другими

вещами существуют строгие математические пропорции. И мастера все эти факты непременно учитывают. Иначе... Пустит пузыри и пойдёт ко дну... Или... От малейшего бокового ветра упадёт на бок, опрокинется вверх килем.

Хоть папины научные доводы и смутили несколько меня, посеяли было зёрна упадничества, в глубине души таинственный голос не без язвительности нашёптывал: «Какие такие записные, они же и прописные, законы? Математика, геометрия, физика... Вовка! Ты что, совсем с ума спятил... И до пифагоровой таблицы умножения, задолго до всяких этих исчислений, древние финикийцы, да и египтяне строили корабли что-о-го-го! Поднапряги малость макушечку, опыт тысячелетий ивсплывёт. Постучи пальчиком по тыковке, тебе и откроется, что приснилось когда-то во сне. Сны – вещь правдивая, сны никогда не обманывают. Дерзай, Вовка!».

3

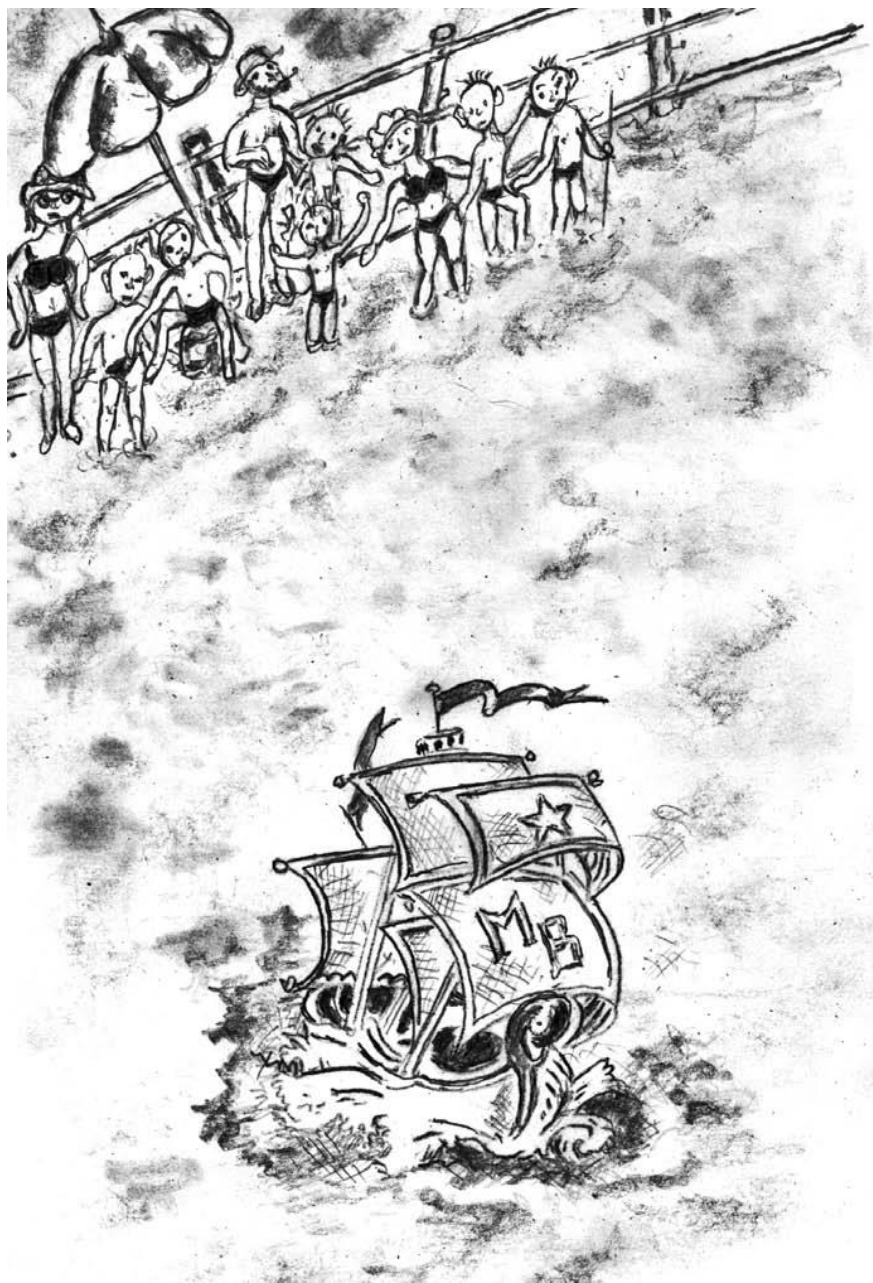
Мой первый по-настоящему сделанный парусник с алыми, как у Александра Грина, парусами, бронзовым якорьком на носу, гулким пустотелым корпусом, собственноручно выдолбленным полукруглой стамесочкой, которую я выклянчил не без обоюдной пользы у Гавроша, а он благополучно спёр у отца аж на целый день на глазах великого множества схватившихся за сердце детишек, затонул в пучинах второго озера – самого любимого озера нальчикской детворы. Несмотря на предварительное его испытание в ванной, наполненной до краёв холодной водою, регулировку балласта – бекасиновой дробы, на воле, в своей родной морской стихии повёл себя непредсказуемо. А как, казалось бы, всё великолепно складывалось. Поставленный на большую воду там, где лодочная станция, от первого же лёгкого дуновения ветерка плавно и совершенно бесшумно тронулся и поплыл. Слегка накренившись на бок, как это случается с настоящими парусниками при смене галсов, понёсся по золотистой от солнца глади воды, казалось бы, к самому центру озера, туда, где красно-белым конусом, подобно маленькой пирамиде, возвышался плавающий буёк.

– Алые паруса! Алые паруса, – понеслись восторженные возгласы мальчиков и девочек, их мам и пап, дедушек и бабушек.

– Смотрите! – с удивлением тыкали они пальчиками, – настоящая бригантина с алыми парусами.

– Где алые паруса? Какие алые паруса?

– Да вот же! – кричит зеленоглазая девчонка – шустрая и загорелая, прыгая от восторга на одном месте, хлопая в ладоши, указывая своей бабушке вытянутой рукою, – вот же он плывёт!



Многие доселе загоравшие повскакивали, пристально из-под ладони стали всматриваться туда, где чертя килем упругость воды, на всех своих парусах, с развевающимися на наверхиях мачт разноцветными вымпелами, плыл, призванный мною из миров грёз и снов, сказочный корабль. Пройдя чуть ли не впритирку с оранжевым бумом, непонятно и почему, круто стал разворачиваться, да так опасно, что край нижнего паруса коснулся уж было воды, но выправился, и вдруг!.. Словно споткнувшись носом о невидимую подводную преграду, совершенно неожиданно от резкого ли дуновения ветра стал крениться на бок, свалился и сразу же перевернулся вверх килем. Всё... Мне тут же зрительно представилось, как мой свинцовый балласт в виде охотничьей дробин из глубины трюма переместился на нижнюю артиллерийскую палубу, вода бурным потоком хлынула сквозь пушечные окна бойниц вовнутрь, мокрые паруса тяжёлым грузом довершили остальное, потянули судно в пучину.

– Конец... Корабль обречён, – кроваво-зелёной молнией пронеслось в голове.

Эх... А ведь ангельский голос шептал на самое ушко: вскрой часть настила внутренней палубы, поставь корабль на воду в ванную, чисто практически, как делали твои предки – древние египтяне, уравнивай его балластом, чтобы корпус сел поглубже, по самую ватерлинию, а дабы дробь в дальнейшем не смещалась, побрызгай сверху обыкновенным канцелярским клеем для слипания. Вот и всё... Куда спешил?.. Не прислушался... Потоп корабль на виду всего честного народа, опечалил души вьедливой мыслишкой: ничто не вечно, фатален и человек.

Несколько пацанов постарше, почти парни, пытались даже нырять в том месте. Да где там... Хоть мои Алые Паруса и поглотила пучина морская, лично для себя приобрёл светлый опыт: любую мечту можно воплотить в жизнь, если есть к тому великая любовь; без практических навыков, за которыми труд, труд и труд, хотя ты тысячу раз будь знающий, переполненный этими самыми знаниями сверх всякой меры и шнурков на собственных башмаках правильно не завяжешь, под плодовыми деревьями с голодухи помрёшь, ибо плод надо ещё уметь сорвать, и примитивного шалаша в лесу не выстроишь.

– Когда руки растут не из того места, Боборика, то и собственным ножиком, как раз плюнуть, можно зарезаться, из рогатки не кому-нибудь, а себе глаз вышибить, – научал ещё Бог вещь когда, может, и в прошлой жизни, Иоаким Мудрый. – Бесполезен человек много знающий, но ничего не умеющий, подобен пустотелому гончарному изделию, – звучному и говорливому от переполняющего его ветра. Что значит вся твоя учёность, – задай себе вопрос, – если ты не умеешь, как должно,

и могилы вырыть? А вдруг да придётся?.. К чему они – эти знания, которых ты без меры и трудов, за просто так, набрался до чрезмерности от накопленного до тебя?.. Лишь для того, чтобы прослыть умным? Научить других чему научился сам? В чём же тогда твоя здесь заслуга? – хочется спросить тебя. А вдруг всё, чего ты набрался, есть не правда, а ложь? Рухнула Вавилонская башня, погребла возвеличившихся разумом строителей, возмечтавших сделаться богами земными. Не одними ли горделивыми знаниями руководствовались, не ими ли были и посрамлены? Не от науки ли, Вовка, нагреваемый на газовой плите, твой булыжник разворотило на части? Хотя... По законам той же самой науки, нет никаких причин ему взрываться. И вообще, запомни... Паниковский не обязан каждому верить...

И ведь действительно... Безумные опыты мои – велосипеды, изобретаемые заново, никак не оказались затеями бесполезными. Именно благодаря им я утвердился в себе: крылья предначертаны каждому, да вот летать дано далеко не всякому. Пугливый и опасливый, не способный взорвать свой разум при помощи карбида и мочи, слететь с крыши дома на листе фанеры, залезть в бочку и пройти по дну озера, как посуху, вглядываясь в самодельное стеклянное оконце в неизведанное, может ли истинно постичь что-то новое? Да ни в жисть... И по сей день, положив в очистительный пламень костра очередной свой камень, не теряю надежды выплавить своё золото, пусть это будет и свинец. И только слышащий и видящий понимает, что сие не от жадности материальной, а от нечто другого. Волшебный же корабль мой, явленный в далёком детстве грёзами снов, и по сей день нет-нет, да напомним о себе: отразится мерцающей звёздочкой на облитой лунным серебром стене, вспыхнет алыми, что утренняя заря, парусами, озарит, кажется, саму душу неземным светом, и вот я уже не тот, кто есть ныне – разочарованный и усталый от недостижимой мудрости мира, а маленький мальчик, не ведающий времени, скачущий верхом на деревянной палочке-коняшке к своей мечте, счастливый уже тем, что забыл себя самого, вечно предсуществующего.

* * *

Только после того, как я познал разрушительную силу взрыва, поистине дьявольские запахи серно-хлористоводородных испарений, адский вкус соляной, серной и азотной кислот, и даже – царской водки, пред чарами которой и золото пасует, изведал ослепительный жар электрических молний, а в связи и в совокупности всего изложенного – страх потерять и зрение, и слух, и осязание вместе с обонянием, и даже саму жизнь, наконец-то приступил к подлинному созиданию: стал притворяться,

и не без успеха, что есть музыкант, старательно выводящий тоскливые звуки из дудочки, собственноручно выделанной из зелёной веточки бузины, философ и поэт, а значит – сумасшедший; художник, но странный, рисующий рогатых лошадок и безрогих коров с крылышками, как у стрекоз, умеющих пастись на тучных небесных пастбищах. Истинно же преуспел в сродним с этим, но несколько отличительном: достиг выдающихся успехов в очистке общественных сортиров, бескорыстном перемещении грузов на собственном мозолистом хребте, отчего считаю всех трудолюбивых осликов своими верными братьями.

Ваш Боборика.

Глава 30. ПОХОД С НОЧЁВКОЙ. КАБАНЫ И СНЕЖНЫЕ БАРСЫ

1

Помню, у него была фамилия Хоренко – забыл, как имя, у неё было имя Марица, – запомнил фамилию. Альпинисты-скалолазы, горные барсы, романтики...

В пятом классе, с целью ознакомления с красотами горных ландшафтов родного края, приучению нас – пионерии к стойкости, мужеству, настоящим физическим трудностям, которые жизненно необходимо научиться преодолевать, они взяли на себя ответственность повести нас в суровый туристический поход, да и ещё!!! Да, да!.. С настоящей ночёвкой! Ночёвка в диких горах, изобилующих свирепыми кабанами и медведями, гордыми турами и изредка встречающимися, а потому ещё более страшными, Снежными человеками – Алмасты, это вам не экскурсия по Долинску в пойме реки Нальчик.

Как мне уже уяснилось к моим двенадцати годам, преодоление всяческих невзгод и трудностей на путях к светлому коммунистическому будущему, все эти самые борения и тяготы уже как-то предопределены свыше, есть чуть ли не основополагающий принцип самой жизни, уготованный советскому человеку, ибо враги не дремлют, от злости скрежещут зубами, только того и желают, как бы кого сбить с этого пути. А потому мы – юная пионерия – должны, пока не поздно, выработать в себе стойкий иммунитет против всякого лиха, уметь спать и на голых камнях, довольствоваться краюхою ржаного хлеба и глотком воды, быть бдительными и даже если грозит смертельная опасность, родину и своих товарищей не предавать. А потому необходимо закаляться, закаляться и закаляться.

Не припомню сейчас, сколько, но, кажется, из всего класса – мальчишек и девчонок, нас набралось не более половины, то есть человек пятнадцать. Была ранняя осень – тихая и светлая, какая случается только

в Нальчике, когда ещё и зелено, и почти по-летнему тепло, хотя в небесах по особенному прозрачно и пустынно, так, как это бывает именно этою порою: нет-нет, да и блеснёт в воздухе тонюсенькой ниточкой паутинка, с лёгким шорохом сорвётся с дерева едва пожелтевший листик клёна с чуть заметной полосочкой багряного заката.

Не скрою, этой порою в моей душе становится особенно торжественно, волнительно и по-слезливому грустно, когда хочется уединений, мечтать и творить, придумывать внутри себя стихи и тут же к ним музыку, перочинным ножиком из причудливого корешочка выделывать замысловатую рожицу домовёнка, меняющуюся своим обликом при каждом прикосновении лезвия. Осень!

Накануне ими же, то есть Марицей и Хоренко, с нами был проведён тщательнейший инструктаж:

– Запомните и зарубите у себя на носу, – строго назидал известный в республике альпинист, – малейшее нарушение дисциплины, непослушание одного из группы, и неотвратимость наказания ляжет на всех.

– Горы не терпят разгильдяев и хулиганов, – тут же в тон ему подхватила Марица, назвав хулиганов – фулиганами, обведя всех своим строгим взглядом, слегка, как мне показалось, споткнувшись на мне, – один за всех и все за одного! – дружно произнесли они в один голос.

– Настоящий туристический поход, да и ещё с ночёвкой, это вам не халам-балам, – пробасил Хоренко и почему-то строго посмотрел на нашу классную руководительницу Назифу Залимовну.

Помню, она вдруг засмушалась, как бы оправдываясь и даже слегка покраснев, робко запротестовала:

– А причём здесь я? Я с вами в дикие горы не пойду... Меня муж не отпустит...

Прямо в школе каждому из участников было выдано по рюкзаку со спальным мешком, относительно же питания:

– Берите, сколько пожелаете, – съязвила Марица, – но тащить будете сами, особенно, если это арбузы.

Хоренко не сдержался и весело засмеялся. Мы, откровенно говоря, не поняли. А зря... Две взрослые шестиместные туристические палатки должны были нести по очереди самые сильные и выносливые из пацанов. При этом ноша их спальных мешков распределялась между всеми остальными членами группы. Дабы не показаться слабаком, я тут же выразил желание нести тяжёлую брезентовую палатку, аргументируя свою исключительную выносливостью, достойной выючного ишака, упорством к преодолению физических трудностей, и тем, что однажды в гору поднял аж десять вёдер воды, когда случилась засуха, а сад требовалось поливать.

– Хорошо, – сказал Хоренко, строго и внимательно посмотрев на меня – самого маленького по росту среди всех пацанов из нашего класса, – я предоставлю тебе такую возможность, но только на обратном пути.

По-честному говоря, волочить на горбу тяжеленную палатку мне не очень и хотелось, но... Надо же всем показать, а главное, руководителю похода, что я, хоть и невысок росточком, зато жилист, как муравей.

Серёжка Лупинос, которого все звали просто Лупою, всем по секрету и на ухо признался, что собирается взять с собою в поход бутылку настоящего вина, портвейна тридцать третьего, которую уже купил и затырил по-незаметному в своём сарае, и что будет ужас, как весело. Идея Лупы так всем понравилась, что после столь ошеломляющей новости все только об этом и шептались, да перемигивались, как заправские революционеры-подпольщики, выкраивая нарочито строгие лица, дабы эту самую тайну, распирающую душу своей таинственностью, как по случайности не рассекретить. Валерка Шуков пошёл ещё дальше. Решил, как и Серёжка, тоже достать, но уже две бутылки портвейна, мотивируя тем, что один пузырёк – так он обозвал бутылку, – на пятнадцать рыл всё одно, что пробку понюхать. После столь ещё более ошеломляющего некоторых даже обуяло подобие всеволнительного страха, это когда в животе начинают бегать мурашки. Шутка ли... Ведь не какой-то там лимонад, а настоящее креплёное вино, которое порою и здоровенных дядек с ног валит.

– Знаете, что мне за это будет, если узнают, – заговорщически шептал на ухо Лупа, а особенно девчонкам, нарочито придавая себе вид хулиганствующего пофигиста, – как пить дать выпрут из школы, да и ещё наверняка на учёт поставят в детской комнате милиции. А может, и вообще в трудовой интернат отправят для перевоспитания.

Чувствовалось, что быть в роли геройствующего мученика Серёжке нравилось, по своей натуре он был слишком уж интеллигентным, почти маменькиным сынком, а как хочется предстать рыцарем или, на худой конец, таким отпетым нигилистом. Хотя, что там говорить, за такие выкрутасы уж точно по головке не погладили бы. Но... Романтика пред- подросткового возраста, желание вопреки всякому разумному вкусить плодов запретного, да и ещё ночью, в кругу единомышленников, явно пересиливали всякие педагогические наставления и доводы.

Время сборов было назначено на два часа дня, возле родной нашей пятой школы, куда и должен был подойти небольшой автобусик типа пазика.

– Смотри, Боборика, – строго наставлял папа, – ты мальчишка, к тому же – брат, а потому в условиях настоящего похода должен быть за главного, на себе нести всю тяжесть ответственности за нашу Таню.

– А ты, Вытыка, слушайся Вову... И чтобы ни на один шаг от него. В диком лесу мало ли что может случиться, сама понимаешь, – многозначительно говорит он ей.

Перочинный ножичек, фонарик-жучок, спички, пропитанные воском, как научил старший брат Валерик, чтобы не боялись сырости и даже самого сильного дождя, моточек крепчайших нейлоновых ниток, совершенно не рвущихся, как мне казалось, которые в то время были большою редкостью, всё это на всякий случай я решил взять с собою в поход.

– Мало ли что, – практично рассуждал я, – такие крепкие нитки прочнее, чем любая сапожная дратва, в горном лесу уж наверняка как-то могут понадобиться. Вдруг да кто свалится в пропасть... Как без таких ниток его вытащишь?..

Совершенно уверенный, что нейлон материал космический, невероятной крепости и что человеку его разорвать не под силу, задиристо спрашиваю отца:

– Пап, а пап... Спорим, что тебе не хватит сил натянуть руками эту суровую дратву так, чтоб она лопнула.

Отец пытается найти в моих словах подвох, берёт в руки тугой клубок, внимательно рассматривает его и даже почему-то нюхает. В свою очередь, хитро улыбаясь, протягивает его мне:

– А ты?.. Ведь по глазам вижу, что опять хитрость какую-то придумал, как в тот раз с сырым куриным яйцом, которым Валерик весь обляпался.

– Ага... Валерику в жизни бы его не раздавить, – горячо оправдываюсь я, – если бы он не сжульничал. Незаметно от всех кокнул, спрятал в коробочку, где все яички хранятся, а потом стал спорить со мною на леденцы, что запросто сожмёт в ладонях с острого и тупого конца и расплющит всмятку.

– Хочешь сказать, – вопросительно смотрит на меня папа, – что и тебе также её не разорвать?

– Конечно же, нет, – по-честному признаюсь я, – по такой ниточке, если крепко исхитриться, ухватиться за неё варежками, чтобы руки не изранились, можно не то что мне, а и взрослому дяде с нашего четвёртого этажа спуститься. В жизни не порвутся... Это самые крепкие нитки в мире, – убедительно начинаю доказывать я, – настоящие шпионские, сделанные из секретного материала, который называется нейлоном.

Папа недоверчиво кривит губы, намотав край на кулак, пробует на прочность, пытаясь доказать обратное, что не такие уж они, эти самые нитки, сильные, и что он всё равно их сильнее, резко дёргает, но увы... Не без удивления приходит в азарт, перекинув через дверную ручку, накрутив на ладонь полотенце, несколько раз наворачивает сверху нитку,

всею массою тела тянет. С сухим треском шпионское изделие, выполненное из секретных материалов, лопается.

– Вот видишь! – радостно смеётся отец, – а говоришь, что шпионская, американская... Где достал?

– У Гриньки Гриневича за старинный пятак выменял, – с разочарованием посрамлённого фокусника отвечаю я, в который уж раз убеждаясь, что наш папа самый сильный человек в мире.

На назначенный день, в час нашего сбора предназначенный нам автобус почему-то не приехал. В течение полутора часов так пришлось изнервироваться – просто ужас, что когда он вдруг остановился возле нашей школы, все заорали, как резаные, стали прыгать, подобно сумасшедшим и хлопать в ладоши. Сотворённый переполох был столь неожиданным, что прохожий старичок с тоненькой палочкой интеллигентнейшего вида, в парусиновом костюме и светлой шляпе, от неожиданности подпрыгнул на месте, шархнулся в пыльные кусты, произрастающие вдоль тротуара. Как сейчас помню, у Хоренко впервые на лице проявились лёгкие ряби сомнений, он даже несколько загрустил и призадумался, как бы решая для себя что-то очень жизненно важное, подобное тому: а не плюнуть бы на всё к чёртовой матери, пока не поздно... Ведь дети явно не того самого... Выразительно посмотрел на Марицу, по-военному скомандовал:

– По ранжиру-у-у построиться-я-я... Цель нашего сегодняшнего маршрута, – сурово заговорил он, – доехать до посёлка Советское, не заезжая в него, у подножья горы сделать привал с ночевой, разбить палатки, переночевать. А далее с самого раннего утра двинуться в горы, перевалив через хребет, выйти в верховьях Хасаньи, что не так уж далеко от Нальчика.

– Задача всем ясна? – дополнила Марица, окинув всех грозным взглядом, – дисциплина, дисциплина и ещё раз дисциплина... Всем понятно? – сказала она, в слове «понятно» сделав ударение на первое – о.

Поспешно побросав свои рюкзаки в автобусик, запрыгнули сами, приготовились, как нам казалось, к одному из самых удивительнейших и увлекательнейших путешествий в своей жизни. Получив последние наставления от классной руководительницы Назифы Залимовны и матери Сергея Лупиноса, состоящей в родительском комитете, вести себя хорошо, не баловаться, слушаться во всём инструкторов – снежных барсов, снизошедших до нас ради уважения к директору школы, которых мы просто не имеем права подвести, помахав на прощание руками, они вышли из автобусика, и мы тронулись. К этому времени, к всеобщей тревоге, погода несколько нахмурилась, по синему небу всё более

и более заслоняя собою ясное солнышко, поползли сизыми караванами грозовые тучки, порывами и слегка по косо́й стали срываться первые капли дождя. Хотя... Чего бояться? Какие могут быть уныния, когда у нас самые настоящие военные палатки, что не промокают и при сильном ливне, замечательные ватные спальники на железных молниях, в которых можно спать даже на снегу сколько угодно, и которые такие крепкие, как горячо убеждал нас с Таней Валерик, считающий себя опытным горным бродягою, что даже дикий кабан не в силах их прокусить. Горячность Валеркиных доводов, конечно же, не внушала доверия; по моим представлениям, от свирепых кабанов и не на каждом дереве спасёшься, им и дерево перегрызть – раз плюнуть. Вовка же Белов, один из нашей группы, родной дядя которого служит милиционером-кинологом, несколько меня успокаивает.

– Ты когда-нибудь видел фуфайки, которые одевают пограничники, когда они репетируют своих боевых овчарок? С длиннющими такими рукавами и ватные... Думаешь, что они – эти фуфайки, прочнее, чем наши спальники? Да никогда... А у немецких овчарок знаешь, какие зубы острые... В сто раз острее и крепче, чем у твоих кабанов, – убедительно доказывает он, как мне кажется, для собственного же успокоения, так как этих самых кабанов боится ещё больше меня. – К тому же, – продолжает он, – с какой стати нам спать в наших спальниках на каких-то там камнях или земле, когда есть палатка? А у палаток знаешь, какой толстый, совсем непрокусаемый брезент? И самому матёрому вепрю не по зубам.

Мне, откровенно говоря, слабо верится, чтобы кабан, способный и брюхо медведю вынести наружу своими клыками, никак не сможет располосовать тонюсенький брезент, но я делаю вид, что соглашаюсь, и даже сам начинаю безбожно врать Бельчику, что от настоящих боевых красноармейских палаток иногда и вражеские боевые пули отскакивают, как от брони, если она, то есть эта пуля, попадает вскользь.

– Отскакивает же с силой брошенный плоский камушек от водной глади, – солидно аргументирую я.

При всей своей кажущейся уверенности, что и спальник, и палатка совершенно не по зубам кабанам, волкам и даже медведям, чувствуется, что мысли о ночёвке в страшном и диком лесу никак не дают бедному Бельчику покоя. Всю дорогу он нет-нет, да опять возвращается к этой теме. Прогоняя страх, вымышляет всё новые и новые небылицы про зверей, которых можно отогнать запросто, если легонько свистнуть по-змеиному, и даже снежных человеков по имени Алмасты, которые пуще всего пугаются, когда им фонариком насветить в лицо.

– Не бойся, Вова, – ещё более заливаает он, – со мной, уж будь уверен, никогда не пропадёшь... Скажу тебе по секрету, к кому-кому, а к нам в палатку никто из них и близко не сунется. А знаешь почему? Да потому, что у меня есть особая секретная мазь. Могу даже показать. Она вот здесь, в рюкзаке тайно спрятана.

Пытается даже расстегнуть ремешок бокового карманчика, но затем передумывает.

– Эти кабаны, волки и алмасты, которые, как и все люди, ходят на двух ногах, и даже змеюки ужас как боятся запаха бабушкиной мази, которая по-настоящему заколдованная. Стоит чуть баночку открыть, как тут же разбегаются во все четыре стороны, такой у неё дух невыносимый.

Не доезжая Кашхатау, автобус остановился, и мы, похватав рюкзаки, быстренько выскочили на дорогу, построились в шеренгу, как солдаты, двинулись по узенькой тропиночке, что тянулась вдоль кукурузного поля к подножию горы. Марица, совсем небольшого росточка, но сбитая и сильная, как муравей, с громадным балакиревским рюкзаком, сучковатую палкою в руке шла первой, замыкал группу Хоренко. Помимо здоровенного рюкзака, он тащил ещё и двухместную палатку и приличного объёма котелок, если не котёл, и Бог знает ещё что, привязанное, пристёгнутое, приткнутое. Из-за довольно высокой травы, доходящей чуть ли не до пояса, густо произрастающей по обе стороны тропочки, казалось, если бы посмотреть на него сзади, что это не человек вот так вышагивает, а рюкзак сам по себе топает вдоль кукурузного поля. Дойдя до небольшой лужайки, находящейся у самого подножия лесистого горного склона, по приказу командиров тут же остановились.

– Так!... – несколько нервно заозирался Хоренко, настроение которого явно начало подпорчиваться уже в дороге, а всё из-за этих похотливых ишаков – ишака и ишачки, вздумавших среди белого дня и прямо на проезжей части дороги верхом прокатиться друг на дружке.

И хоть все мы, – пацаны и девчонки, – самым интеллигентнейшим образом пытались как бы не замечать этого и даже стыдливо отворотили головы в противоположную сторону, всё равно нашёлся один настоящий предатель, циник и ренегат, по-другому и не назовёшь, что самым вызывающим и бесстыдным образом заржал во весь голос. И хоть потом он свой гнусный поступок пытался оправдать перед товарищами внезапным воздействием на него каких-то там нервов, никто, конечно же, ему не поверил.

С древнейших времён замечено, что смех заразителен. Смех, который любыми способами надо сдерживать – заразителен вдвойне. Случалось, что от подобных практик иные и вообще лишались чувственного рас-судка, так принимались закатываться, что хоть водой отливай... А тут ещё

и автобус... Вернее, его разволновавшийся шофёр Хамзат – парень совсем ещё молодой и неопытный. Пытаясь как-то объехать животных, слишком резко крутанул рулём, нажал не на ту педаль и... И заглох. Можно только догадываться, какими педагогическими противоречиями исполнились Марица и Хоренко. И хоть все неприятности казуистического толка уже позади, всё равно чувствовалось, что у наших инструкторов на душе несколько поганенько.

– Так!... – не без нервозности произнёс Хоренко, по одному выхватывая из строя пацанов, – ты, ты, ты и ты... За сухим хворостом! – угрюмо смотрит на затянутое облаками небо, тыкает рукою на одинокий бугорок, куда по его велению необходимо сваливать этот самый хворост. – Девчонками займётся Марица. Остальные мальчики помогают мне устанавливать палатки.

– А можно мне, – спрашивает Валерка Иванов, – не за дровами, а посмотреть, как ставятся палатки и...

Не дав ему договорить, Хоренко энергично тыкает указательным пальцем в сторону леса, Марица, грозно воспаляясь, топает ногою:

– Приказы не обсуждать!.. Сказано тебе за хворостом, значит, и иди, куда послали. Нашлись... Что за своеволие?..

– Запомните! – вслед ей ядовито замечает Хоренко, указывая на нас, оторопевших от приказного тона командирши, – от их усердия, личной ответственности к порученному делу зависит, будете ли вы все греться у ночного костра.

Ещё более выразительно смотрит на небо без единого просвета синевы, с которого, того и гляди, вот-вот закапает.

– А от них, – показывает в сторону отобранных им строителей палаток, – от их усердий зависит, спать ли вам на открытой земле под дождичком или под крышей над головой и в сухости. Уяснили!?

И я, и моя сестрёнка, и Иванчик, и Вовка Белов, и все остальные девчонки попадаем в отряд сборщиков дров. Задача предельно ясна и понятна: петь ли у пионерско-туристического костра пионерские и не только пионерские песни, отгоняя ими изголодавшихся хищных зверей, которые уж точно уже почуяли и сбежались со всей округи или зябко ёжиться от холода, ожидая каждую секунду нападения дикого вепря... Надо признаться, что опасения наши в то время были не такими уж беспочвенными. Если в садах, чуть выше района современной телевизионной башни, которой тогда ещё не было возведено, по лощинам и оврагам толпами шастали кабаны, скакали проворные косули, производили набеги на молодые садовые деревца прожорливые длинноухие зайцы, обгладывая яблоньки, груши и сливы до полной их непригодности, с лесистых оврагов гор спускались настоящие волки, дабы полакомиться

изнеженными городской жизнью шавками, тузиками и барбосами, то что уж говорить о лесах диких и девственных, да и ещё горных... Кому не известно, что снежные люди – алмасты всякие там и йети обитают только в горах, а никак не на равнинах.

2

Опыт встреч с диким зверьём у меня уже был, и не единожды. Ещё на Урале, в Курьях, когда было годков пять, а может, и того менее, летом дело было, увязался за ватагою пацанов и девчонок почти такого же возраста, едва может чуть постарше, в лес за земляникою. Ясное дело, как это всегда случается, разбрелись кто куда. А тут, глядь, обнаружилась неожиданно целая полянка, аж красная от ягод, богатое место. Примолк, чтобы не рассекретиться, и ну давай кидать ягодку за ягодкой в свой берестяной туюсочек. Жадность подвела. Совершенно и не заметил, как оказался в абсолютном одиночестве. Испугался, конечно, давай метаться в разные стороны, орать да аукать на все голоса. Глядь, выбегает из зарослей папоротников здоровенная собака, чуть ли не моего роста в холке, серая такая, с коричневыми подпалинами на груди и боках, с жёлтыми и совсем немигающими глазами. Уставилась так на меня, носом шевелит, пушистым хвостом повиливает и вроде как краешками губ пытается даже улыбнуться. Честное слово. Никогда и не думал, чтобы собаки так умели делать. Я, как сейчас помню, и ни капельки не испугался. Подумалось даже, хорошо, что не один, как-никак, а собака – друг человека. А она, собака значит эта, прыг в мою сторону, да бочком так, как будто поиграться хочет, да как со всего ходу тыкнет своим носом в лоб, я от неожиданности так на попку и хлопнулся вместе со своим туюском, наполненным доверху земляникою. Плавно приземлился, ни одной ягодки не рассыпал. Тут совсем рядышком вроде послышался звонкий лай. Моя серая собака как насторожится вся, шерстью на гриве встопорщится, аж дыбом, лягз клыками и ну в другую сторону. Как и не бывало. Выбегает с лаем из густых дебрей папоротников наша деревенская Альма, как её-то не узнать, когда на одной улице через три дома проживаем, а следом за ней дядя Харитон, хозяин её.

– Вовка! Бисов сын!.. – с изумлением уставился на меня, – ты чё здесь один делаешь? Заблудился... Потерялся, что ли? Скажи спасибо, что волк не слопал, – не в шутку, а на полном серьёзе говорит он. – Аж от самой фермы за ним плутаем. Никогда ещё такого не случалось, чтобы волку, да ещё в летнюю пору, гусями промышляли. Уж точно, как какой-то ненормальный. С гусем решил в плавании соревноваться. А пацанам, что тебя вот так одного бросили, ныне же уши пообрываю, уж будет уроком.

И ещё запомнилось, как однажды, собирая дикую малину под Бабугентом, лоб в лоб, а хотите – нос к носу столкнулся с громадным медведем, промышленяющим, как и я, этой ценнейшей витаминизированной ягодой, и видно, как и я, совершенно замечтавшимся о чем-то, более высоком. Встав во весь свой немалый рост на задние лапы, не без удивления посмотрел на меня – такого маленького и худосочного, со стеклянной баночкой, свисающей на марлевой верёвочке с тонюсенькой шейки, наполовину уже заполненной спелыми ягодами, почему-то громко и довольно продолжительно пукнул, собранной мною малины отнимать не стал, не обращая внимания, продолжил свою трапезу. Сграбастав передними когтистыми лапами верхушки стеблей всё вместе прямо с листьями, стал жадно пожирать. И всё это, замечу, в трёх метрах от меня.

– Гарун бежал быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла, – вспомнилось мне из Лермонтова, когда я во все лопатки улепётывал в сторону не так далеко находящейся туристической базы, совершенно запамятавав, что оставил на съедение мишки почти полное, собранное мною, ведро с отборною малиною – ягодка к ягодке, которое, как впоследствии обнаружилось, этот негодяй, конечно же, слопал. Одно только непонятно... Зачем так хамить? Причём здесь пустое эмалированное ведро зелёного цвета, новенькое, только что купленное мамой в хозяйственных магазинах, которое надо было расплющить в лепёшку?.. И второе... К чему надо было накладывать целую кучу навоза на мою курточку из благородного вельвета с блестящим замочком-молнией и пионерским значком на груди? Что?.. Другого места не нашлось?.. Честное слово, раньше о медведях я был лучшего мнения. Из ряда всего этого запомнился и ещё один случай, это когда старший брат Валерик, будучи фактически ещё сам подростком пятнадцати лет, повёл нас – дворовых пацанов, на три-четыре года младше его, в настоящий туристический поход, да не на какую-то там Кизилровку, что напротив городского третьего озера, а аж на Сарай-гору, где женский монастырь, да и ещё с ночёвкой. Там мне вместе с Сашкой-Бесом, соседом по квартире, в силу нашей романтической неугомонности, а по другому – дури, также случилось встретиться с хищником, но уже из породы свирепых кабанов, их свиноматками и прелестнейшими свиньячьими детками. Слушайте...

3

Путешествие на Сарай-гору, – хочу повториться, это вам не на лесной бугорчик вскарабкаться, не на Пемзарудник пешим ходом проветриться, это – о-го-го!.. И не каждый взрослый решится... Заблудиться, как раз плюнуть... А абреки... Не знаю, как там брат ориентировался,

для меня, страдающего пространственным идиотизмом, – это чудо, но вывел он нас точно, куда надо и, что самое удивительное, без потерь личного состава. Тут же железным голосом пятнадцатилетнего капитана скомандовал располагаться на бивуак, пока не стемнело, собирать хворост для костра, послать разведчиков за водой и вообще – заняться делом. Две трёхместные палатки на одиннадцать пацанов, четверым из которых едва исполнилось десять лет, маловато, конечно, но кто о таких мелочах думал. В конце концов, с помощью кухонных ножей, которые захватил из дому каждый, можно запросто, как нам казалось, вырыть себе нору, обложить травой и жить в ней, сколько душе угодно. Да и шалаш... С шалашом так и ещё проще. Вон сколько всяких лопухов и папоротников... Навтыкал в землю длинных орешников по кругу, связал концы сверху в один пучок и обкладывая себе всякими листьями или травой на здоровье. Вот и всё... Великолепная тёплая погода, а главное, долгожданная свобода, когда можно, не скрываясь, смело ходить со зловонной папиросой в зубах, задыхаясь от смрада, курить оное зелье не в затылку, представляя себя взрослым, уверенность в своих силах, всё это бодрило дух, не давало и самой малюсенькой паршивой мыслишке втемяшиться в голову, робко запротестовать: полно куражиться... Это вам не Нальчикский парк, а настоящий дикий лес, в котором, и в этом уж не сомневайтесь, свирепого зверья – кабанов, волков, да всяких медведёв аж ужас, сколько много.

Несколько покумекав своими хилыми мозгами, мы с Санькой, которого называли ещё Гофой, в силу своих глубинных индивидуальных побуждений решили не ночевать вместе со всеми в битком набитых палатках, а соорудить, подобно гарпиям, гнёзда на высоких ветвях, наслаждаться свежим воздухом и небом, наполненным сияющими звёздами. Облюбовав недалеко от лагеря одинокое раскидистое дерево, по-моему, это была дикая груша, решили на нём загодя, пока ещё было светло, соорудить себе гнёзда. Ночевать в кроне дерева, как вольные птицы, к тому же в полной независимости от всех, орущих и скандалящих по всякому чепуховому поводу членов так называемой научной экспедиции, целью которой, как внушил нам не по годам начитанный и умный Валерка, является исследование руин пещерного монастыря начала девятнадцатого века для обнаружения сокрытых монахами старинных кладов, чего же можно желать лучшего...

Затянув при помощи длиннющего стволика лещины массу сухого и корявого хвороста, нарубив ножом тонких стеблей орешника, на развилках толстых ветвей принялись каждый себе соорудить гнёздо. Обложив изнутри толстым слоем сначала папоротника, а поверх ещё и свеженарезанной травы, так восхитились плодами своего труда, что,

потеряв всякую степенность и серьёзность, стали прыгать от радости и хлопать в ладоши. Вы можете представить себе двух пацанов, – десяти и двенадцати лет, с длиннющими и курящимися папиросами в зубах, прыгающими и хлопающими в ладошки на полянке под одиноким деревом?.. А как тут не возликовать, когда, против ожидаемого, получилось ещё лучше... Одно лишь немного омрачало, заставляло крепко призадуматься: не случилось бы в сонном состоянии не понарошку брякнуться с высоты на землю.

– А что... Уснём, потеряем всякую бдительность, когда нужно переворачиваться с боку на бок, сучья разъедутся в разные стороны, и провалимся вместе с сеном, подобно мешкам с половой, – не без основания делится сомнениями Гофа Пилигрим, а по другому прозвищу Бес, а по-настоящему Саша Погонищев, сосед по квартире.

– Давай, – говорит мне, – привяжемся верёвками к толстой ветке... Но только не сразу, а когда по-настоящему уляжемся спать, когда сильно захочется. И тогда уж точно не провалимся, не шмякнемся на землю.

– А ещё лучше, – уже советую я, – не поленимся, поищем побольше крепких и кривых палок, чтобы гнездо получилось толстым и крепким, не расползлось в разные стороны, когда будем поворачиваться во сне в разные стороны, с боку на бок.

Представив себя беспомощно болтающимися на верёвке над самой землёю, да и ещё привязанными за ногу или поперёк туловища, тут же слезли с дерева, побежали заготавливать хворост и траву. Ночь, как помнится, выдалась на удивление лунная, тихая и тёплая. Несмотря на яркую и полную луну, когда, кажется, можно и читать книгу, лес, окаймляющий нашу полянку, представлялся непроницаемой чёрной и зубчатой стеной в виде слившихся воедино готических башен некоего таинственного замка. Откуда-то оттуда глухо и жутко доносились крики ночного филина. Словно наперебой ему ещё какая-то птица, а может, и вовсе не птица, издавала странные и пугающие звуки, подобные стонам мертвецов, вышедших в полнолуние из своих мрачных склепов, чтобы прогуляться по кладбищу и размять свои косточки.

– Вовка, – тонюсеньким голоском тянет сдрейфивший Санька, – что это? Кто это там, – тыкает дрожащим пальцем в сторону леса, – так загробно ноет?..

В этот самый момент, видно, спугнутая кем-то, она стремительной чёрной тенью метнулась в сторону нашего дерева, на самом подлёте круто шарахнулась в сторону, резко хлопнула крыльями, дробно и дико захохотала. От этого самого неожиданного хохота, сухого треска крыльев, как сейчас помню, в душе всё так захолонуло, что мы, не сговариваясь, одновременно от страха взвизгнули. Хотя я и ожидал, что пацаны из

лагеря, узнав о наших причудах провести всю ночь на дереве, обязательно предпримут какие-то меры, чтобы попугать, но такое... По всей видимости, они и сами сильно сдрейфили, ибо не могли не слышать, как эта гарпия заорала. Из нашего убежища и костёр, и две детские палатки, расположенные друг против друга, и сами пацаны – члены научной экспедиции, снующие туда-сюда с горящими папиросами в зубах, бесконечно харкающие, кашляющие и невпопад сквернословящие, видны, как на театральной сцене. Признаться Саньке Бесу, что мне не просто страшно, а страшно до невозможности, не позволяла гордость. Как-никак, а он меня младше аж на два года, опозорюсь на всю оставшуюся жизнь. Хоть оба мы отчётливо понимали, что ни о каком блаженном сне в райских гнёздах в атмосфере животного страха и речи быть не может, напустив на себя нарочитой храбрости, бодро, но с дрожью в голосе принялись друг другу врать:

– Вова! А ведь правда хорошо, – блеющим голосом тянет Бес, – что мы от них ушли жить на дерево?.. Хоть у них и горит костёр, да разве кабанов этим напугаешь... А нам совсем не боязно...

– А чего пугаться? – как можно развязней вторю ему я, как от озноба поклачивая зубами, – на такую высоту, где наши гнёзда, даже самому большому и свирепому кабану в жисть не вскарабкаться. Такое толстенное дерево... А если даже и вздумают хором подрывать, им сроду не справиться.

Как помню, после моих таких успокоительных доводов Санька, ухватившись обеими руками за толстую ветку, принимается дико озираться по сторонам, странно, по-собачьи, сопеть носом.

– Вова... – слышу его дрожащий голос, – давай, пока пацаны не залегли ещё в палатках спать, и костёр совсем ещё не потух, потихоньку спустимся на землю и как бы просто так, от делать нечего, прибежим к ним весело, чтобы не подумали, что струсил. Скажем, что пришли проведать, в гости, просто так, потому что закончилось курево и уши аж стали пухнуть.

– Ты чего, Санька, – горячо шепчу ему я, – они в жисть не поверят, потому как заранее над нами смеялись, предупреждали, что мы одни без них от страха укакаемся... Помнишь?.. Лучше придумаем, что твоё гнездо провалилось, и тебе жить осталось негде. А вдвоём в одном никак не рассчитано.

– А почему моё? – взволнованно и с обидой в голосе протестует он, – давай скажем, что дерево от сильного ветра зашаталось, и оба гнезда свалились, едва сами спаслись. Откуда нам было знать, что деревья по ночам могут вот так расшатываться...

– Ага-а... Они утром возьмут да проверят, – не без ехидства отвечаю ему я. – Знаешь, как будут смеяться и дразниться по-всякому.

– А мы возьмём, – скумекивает хитрый Санька Бес, – да поскидываем сейчас несколько толстых веток вниз, и сено... А скажем, что это они свалились сами. Вот и всё. Тогда уж точно поверят. Как помню, именно в этот решающий момент, когда мы уж приготовились было курочить с такими трудностями построенные гнёзда, решились дезертировать, где-то совсем рядом, как бы снизу, послышались странные повизгивания.

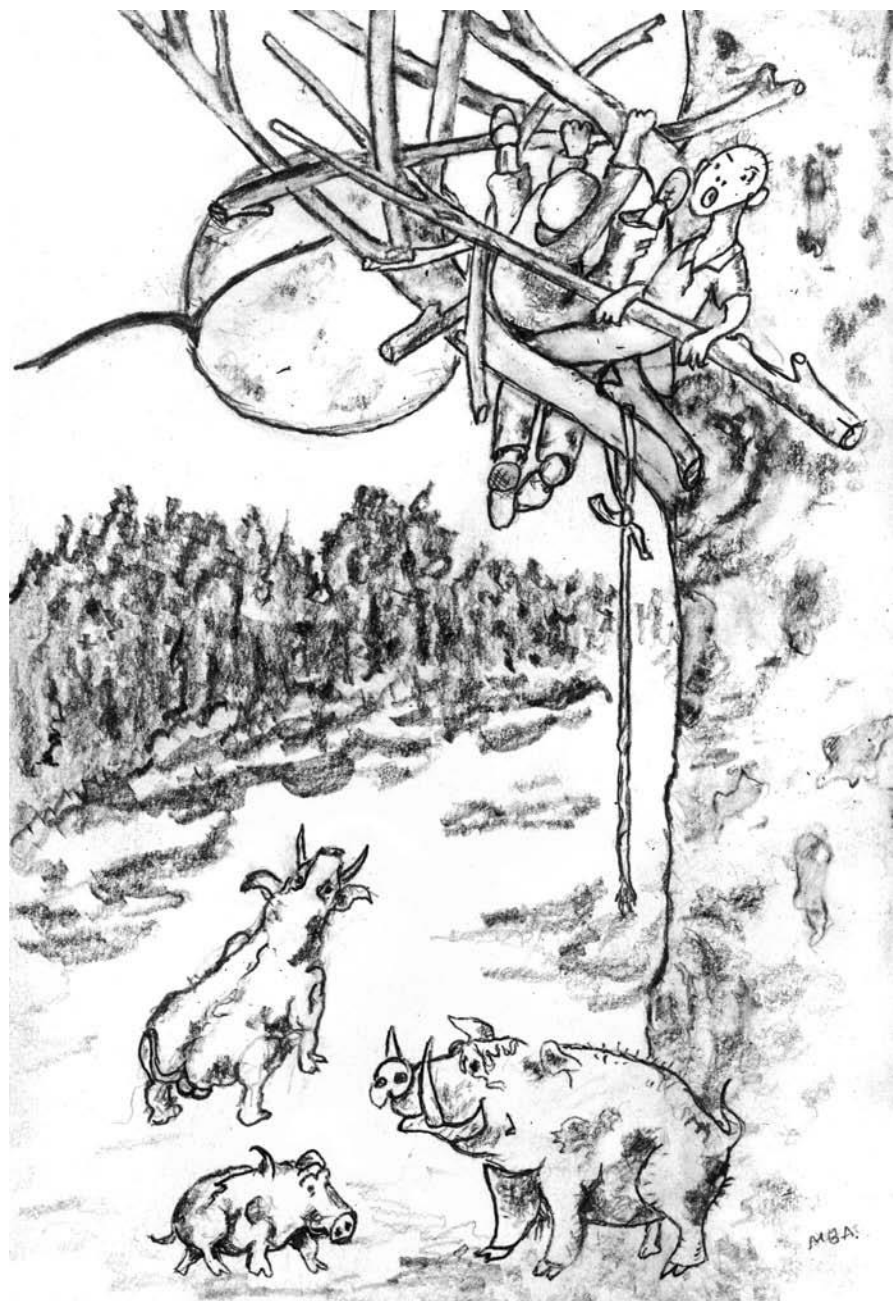
– Что это? – враз похолодели мы оба.

Почти следом же раздалось громкое басовитое хрюканье и чавканье. Кабаны!.. На полянку, такую лунно-пасторальную, пронизанную до единой травинки серебряным светом, из самой чащи лесного мрака вышло несколько громадных кабанов. Следом, обгоняя их, весело повизгивая и виляя коротенькими хвостиками, прямо к нашему дереву помчалась целая свора маленьких поросят – их детёнышей. Полосатенькие, с торчащими вверх ушками, шустрые, они принялись скакать наперегонки, волчком крутиться на месте, подпрыгивать, со всего лёту тыкать друг друга в бока, при этом издавать такие невыносимо визгливые звуки, какие может только производить телега с пересохшими и несмазанными осями, катящаяся по пыльной и раскалённой степной дороге. Самый большой кабан, идущий впереди всех, насторожился, остановился, как вкопанный, громко потянул ноздрями воздух, резко фыркнул, словно чихнул. Копнув передним копытом землю, неуклюже задрав морду вверх, сухо лязгнул громадными серповидными клыками, ещё раз фыркнул, медленно стал приближаться к дереву.

– Учужл... – ещё больше похолодел я.

От обуявшего страха, совершенно животного, леденящего душу, пальцы рук мёртвой хваткой вцепившиеся было в толстую ветку, как бы сами по себе стали разжиматься, а крепкий настил из кривых палок, на котором буквально ещё минуту назад так вольно, удобно, а главное – безопасно сиделось, сам по себе как бы ожил, зашевелился и вроде даже, как стало казаться, стал разъезжаться в разные стороны. Скорее всего, схожие чувства обуяли и Саньку Беса. Он не то что вцепился обеими руками в ветку, как я, но и повис на ней, поджав ноги над гнездом, как есть окаменел. Видно, что и ему также почудилось, что ветки настила вот-вот разъедутся, и он рухнет вниз в образовавшуюся дырку прямо на растерзание вепрям. Ещё несколько кабанов, подошедших вслед своему вожаку, обступив дерево, забеспокоились, принялись громко тянуть носами воздух, отфыркиваться, тревожно и отрывисто хрюкать.

– Точно учужли, – ослепительной молнией озарилось в голове, – а всё эти дурацкие папирасы, которыми накурились до зелени в глазах. Вот



и унюхали. Совещаются между собою, вон, как громко разговаривают... Неужели начнут подкапывать?... Их вон сколько, – подкатывает ледяным камнем под самую ложечку, отчего замерзшее и почти остановившееся было от страха сердце принимается бешено колотиться.

Тем временем вожак, подойдя вплотную к стволу, действительно принимается рыть под ним своим хряком, потом неожиданно вздыбливается передними копытами о дерево, встаёт на задние ноги, как медведь, вперивается в меня своими маленькими и злобными свинячьими глазками.

– Пропали... – опять словно колючей ледяной молнией пронизывает от корней волос до самых пят, – вон сколько уж их... Сейчас будут вскарабкаться. Зря, значит, папа говорил и даже смеялся надо мной, что кабаны не умеют лазать по деревьям. Вон как приноравливается, чтобы подпрыгнуть и ухватиться передними копытами половчее за ветку.

Но, видно, оценив, что мы – недоумки, дурно разящие табаком, совершенно невкусная пища, а может, и по каким иным причинам, но кабан передумал залезать на дерево, принял горизонтальное положение, басовито и совсем по-миролюбивому хрюкнув, затрусил в сторону леса. Все остальные тут же и вслед, громко переговариваясь, заторопились за вожаком своего стада. И даже маленькие полосатые кабанята, так похожие на мышек-полёвок своєю раскраской, враз перестали бесюкаться, тыкаться друг в дружку пяточками и верещать, выстроившись в шеренгу, шустро побежали за взрослыми.

– Неужели спасены?!

Видно, от нервов и психости, но пальцы левой руки так свело, что едва и отлепил от ветки.

– Вова, – еле слышно тянет Санька, – как ты думаешь, они совсем ушли? А вдруг взяли, да понарошку спрятались?..

Не искушая более судьбы, с быстротою белок соскакиваем со своего спального дерева, что есть духу, быстрее ветра, мчимся в сторону нашего туристического лагеря на тревожно-красный свет догорающего костра.

4

Сухого хвороста в лесу было более чем достаточно. А в одном месте, на которое я набрёл, так и вообще целое поваленное дерево лежало, аж ужас какое преогромное. Его зачем-то срубили, и, видно, давно, так как оно совсем почернело и обросло грибами, а затем и вовсе позабыли, оставили лежать где попало в лесу, на полное съедение жукам-короедам да всяким червякам. Поднатужившись и сообщая оттаскиваем от него

отломившуюся при падении толстенную ветку, упираясь, что есть сил, волочём её в сторону нашего лагеря. Затем и другую, почти целое дерево, разлапистую и длиннющую, которой, конечно же, никак не хотелось стать дровами, а потому она упиралась всевозможными способами, цепляясь за каждый бугорочек и былиночку, сучьями выдирала из земли травы с корнем, а в одном месте так придавила Иванчика своею кривою веткою, что решили было от греха подальше и вообще отказаться, если бы не сам Валерка.

– Ах ты гырлыга чёртова, – заорал от психости он, яростно растирая обеими руками ушибленное колено.

Как схватится за самый толстый край, да как пойдёт с этой самой веткою по буеракам, что мы все и дар речи потеряли: ведь надо же... Какою силою можно возгореться от злости... Бульдозер... Ей-ей – бульдозер!..

Не прошло и малого времени, как мы весело и сообщая насобирали столько валежника, сделали такие запасы, что не только на одну ночь, но, пожалуй, и на зимовку хватило бы.

– Молодцы! – похвалила Марица, – настоящие путешественники должны не только о своей шкуре печься, а и о тех, таких же, как и они, что вслед могут прийти. А представьте себе, что это случилось в ночь, да и ещё если дождь или снег?.. Приятно же, когда не только топливо, а и сухари, и консервы, и спички для тебя в особом сухом месте припрятаны по-товарищески, по-братски...

– А где эти нужные места, в которых всё это припрятывается, – напрямик спрашиваю я, озираясь по сторонам. – А почему для нас никто ничего не оставил? Разве мы не настоящие туристы – товарищи и братья?

Уничтожительно окинув меня с ног до головы, Марица неожиданно окрысывается.

– А ты не умничай, не умничай!.. Нашёлся здесь нам умненький... Чтобы по-настоящему тебя признали туристом, надо ещё заслужить, пуд соли съесть, всухомятку мешок сухарей изгрызть.

Последнее – всухомятку мешок сухарей изгрызть, – мне ещё более непонятно. Придав выражению лица наинтеллигентнейший вид, пожимаю плечиками, уточняю:

– А зачем же всухомятку, когда дождь, как из ведра, и снег с небушка сыплется, аж целые сугробы? Вы же сами так сказали...

– Ничего такого я не говорила, – на повышенных визжит Марица, – придумщик мне здесь нашёлся... Ни про какие сугробы и вёдра... Я ещё в автобусе за тобой заметила, какой ты умненький, ведь уже тогда подумала, как умеешь придраться. Марш по местам!..

К тому времени палатки были уже возведены, туго натянуты при помощи верёвочек к кольшкам. Одна палатка для девочек, рядом с нею – двухместная, для наших поводырей, Хоренко и Марицы, и чуть поодаль, на небольшом бугорке для нас, пацанов. После того, как всё более-менее было устроено, Хоренко, собрав нас всех вместе, стал учить практическим приёмам, как по-настоящему укладывать костёр, какие веточки должны быть снизу, а какие сверху, и как с одной-единственной спички его запалить.

– Запомните, – по-умному говорил он, выстрегивая своим охотничьим ножом тонюсенькие щепочки, которые, по его словам, должны пойти на запал, так как они сухие и быстро возгораются, – настоящий охотник, геолог, турист, все, кто любит матушку-природу, суровый образ жизни, которые не изнеженные, как некоторые, – еле заметно косится в сторону Вовки Белова, тоскливо взирающего в небо, сплошь затянутое свинцовою пеленою, с которого вот-вот закапает, – всегда должны уметь в походных условиях правильно разжечь костёр. А вот, – продолжает он, – представьте себе, что у вас только одна-единственная спичка... Одна-единственная тонюсенькая спичка, и всё... Значит!.. Слушайте все меня внимательно, – показывает он нам эту самую единственную спичку, которую извлёк из полного коробка, – вот она, эта самая спичечка, которой надо разжечь спасительный костёр... Иначе... Жизнь или смерть.

С одной спички у него почему-то не получилось. Не вышло и со второй, и, кажется, с третьей. Растерянно улыбаясь, стал винить спички и фабрику, на которой изготавливают такие неправильные спички, которые сами тухнут, потому как бракованные. Не мешкая, я тут же предложил ему свои настоящие, пропитанные к тому же парафином, и полный коробок. Сменив выражение лица с досадного на назидательно-серьёзное, он тут же привёл меня в пример, сказав:

– Вот, видите, ребята... Сразу же чувствуется, что ваш товарищ очень даже серьёзно отнёсся к нашему походу, заранее и по-настоящему подготовился, захватил с собою не просто обыкновенные спички, которые, как видите, могут оказаться никуда не годными, а специальные, пропитанные воском, не боящиеся сырости. Вот... Сейчас мы их и испробуем...

– Тебя как звать? – спрашивает он меня.

– Вова... Вова Мокаев, – на всякий случай прибавляю я и фамилию.

– Хорошо... Сейчас мы и проверим, правильно ли Вова Макоев, – искривлённо произносит он фамилию Мокаев, – подготовил к походу свои спички, и если хорошо, то вы все убедитесь, как с одной-единственной спички можно разжечь огромный костёр.

Мои серники не подвели. Действительно, с первой же попытки тоненькие сухие щепочки и стружки, обложенные мхом и корою, ярко вспыхивают, с лёгким потрескиванием начинают разгораться, занимая весёлыми язычками пламени и более толстые веточки, и вот уже совсем скоро, в центре поляны пылает настоящий пионерский костёр – жаркий и радостный, а из самой души так и рвётся:

*Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы пионеры – дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров – всегда будь готов!..*

Одновременно с этим меня так и переполняет невыразимую гордость. Ведь не благодаря ли моим спичкам так всё умело и скоро получилось... Рассевшись кто на чём вокруг костра, дружно грянули... Нет, нет, не про Орлёнка, которого загубили враги, и не про отважного Щорса, голова у которого повязана и кровь на рукаве, и даже не про юных бойцов-будёновцев, возвращающихся с дозора по широкой украинской степи, а из нечто совершенно чуждого, совершенно не советского, более того – буржуазно-империалистического, про моряка, который долго плавал, и которого блудная девка успела разлюбить, так как ей по нраву стал не кто-нибудь, а сам морской дьявол, восседающий на бочке рома, и который ей стал предпочтительней. Не скрывая своих чувств, она так и заявляет, хватит, дескать, ждать и терпеть, надоело... Его – то есть дьявола, хочу любить. Затем... Затем из репертуара Робертино Лоретти – «Джамайку» и, наконец:

*Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.*

Колбаса и сосиски, нанизанные на прутики, зажаренные на жарких углях, обретали совершенно иной вкус, изумительно пахли дымком осеннего костра, хрустели на зубах обгорелой до черноты корочкой, воскрешали в моей памяти чувства противоречивые и сложные, как бы явленные мозаичными картинками из глубин древнейших моих предсуществований, тех предсуществований, где я был ещё и не Вовкой Мокаевым – сыном Аллахберди, не даже Бобориною, – вернейшим другом Иоакима Премудрого, а некто совершенно другой, позабывший самого себя в чередѣ тысячелетий. И даже обыкновенный хлеб, пропитанный

дымом, представлялся вдруг неожиданным лакомством. Початки перезрелой кукурузы, которые мы потихоря надрали с ничейного поля, как нам казалось, испечённые на рубиновых углях, казались необыкновенно вкусными яствами.

К тому времени тайно и по великому секрету стало известно, что бутылка великолепного бургундского тридцать третьего портвейна тысяча девятьсот шестьдесят второго года розлива уже откупорена и дожидается жаждущих пригубить запретное в густых кустах бузины сразу же за палаткою пацанов. Необычайное трепетное волнение охватило всех, решившихся во что бы то ни стало отведать хмельного нектара, этакой божественной амброзии, от которой отверзаются и глаза, и уши, и все остальные чувства, все, кроме стыда, которого в подобные минуты почему-то никто и не чаёт. Как быстро посчитал Валерка Шмэк, разделив пятьсот граммов на пятнадцать, на каждое рыло – как он выразился, – получается по тридцать три грамма великолепнейшего сногшибательного шмурдяка. Для... Вернее, как лекарство – многовато, для причащения же – в самую пору. Сколько есть – эти самые тридцать три грамма, никто толком и не знал; уединяясь по очереди по два-три человека под честное благородное слово выпивали по одной крышечке от армейской фляжки и, как ни в чём не бывало, тут же бежали обратно к костру, выкраивая при этом самые наисерьёзнейшие лица, дабы ни Хоренко, ни Марица и на самую тютельку не могли подумать, что каждый из окружающих их уже в дымину пьян. Помнится, что портвейн был на удивление душистым и сладким, но никак не горьким, как об этом часто говорят и пишут в книгах: «Выпили они по чарке горького вина и охмелели». Или... «Трофим слыл на деревне горьким пьяницей. А всё от лихой жисти своей и горького винища, без которого не видел смысла своего пропащего существования».

– И чего это, – подумалось мне, да и, наверное, не только мне, – чего это взрослые так кривятся и строят невозможные рожи, когда опрокидывают вовнутрь стаканчик бражки или чарку красного вина?

Исполненные запретной чувственности и особой волнующей тревоги, что случается с людьми глубоко верующими в храмах, при таинстве причастий Хлебом и Вином – Кровию и Плотию Спасителя – самого Господа Иисуса Христа, не обрели, как должно, смирений, а принялись хулиганить. Крутить бутылочку в пятом классе... Не слишком ли рановато?... И как посмели вообще на подобное бесстыдство дерзнуть – до глубин души ошарашились бы наши родители, прознай они об этом. Так ведь не знали же... А потому... Простите вы меня – бывшие одноклассники пятого класса «Б» средней школы номер пять, что вложил вас

всех скопом и с потрохами. За давностью лет разве что перед внуками смущённо озаритесь зарёю.

К тому времени погода окончательно начала портиться. С лесистых гор спустился густой и липкий туман, как из сита заморосил холодный дождь. И хоть возле жаркого костра, весело потрескивающего углями, морозящего дождя почти не замечалось, казалось тепло и уютно, и романтично аж до ужаса, уже буквально в трёх метрах за нашими спинами трава замокрела, как из глубокого оврага потянуло сырую грибную прелью настоящей осени, с близлежащих деревьев невольно редко и крупно закапало. Озабоченно посмотрев на часы, Хоренко приказал бить отбой, всем расположиться по палаткам и спать; и чтобы никаких там хождений и баловства, которого он не потерпит, так как дисциплина в походе есть вещь наиважнейшая. На все наши просьбы и мольбы дать ещё попеть у костра ну хотя бы с часочек или с полчаса, категорично отрезал:

– Та-а-ак!.. Вы меня слышали?.. Быстро встали и все по палаткам... Никакой вольницы, а тем более бунтов я не допущу. Один за всех и все за одного!.. За малейшее нарушение, малейший проступок одного разгильдяя без всяких разбирательств наказание, и в полной мере, понесут все.

Это было сказано с такой спартанской твёрдостью, что не знаю, как другие, но я понял: «О нашем коллективном пьянстве он уж точно, но как-то знает, но только не подаёт виду. И про бутылочку знает, которую тайком крутили по кругу в пацанячей палатке, а потом целовались в щёчку, а Здепский Валерка, так и прямо в губы. Всё знает...» После же того, как Марица пригрозила кому-то из девчонок всё, как есть, доложить директору школы, и что она не дура, и не слепая, и не глухая, в своих подозрениях я утвердился ещё более.

Спать совершенно и никак не хотелось, морозящий дождик стал усиливаться, мерно зашипел в кронах деревьев, по брезенту палаток. В враз отсыревших ватных спальниках было липко и неудобно, с потолка стало подтекать. Откуда так капает, понять никто не мог, попытались определить на ощупь, да, кажется, навредили ещё более. Закапало, и враз, уже в нескольких местах.

– Я же вам говорил, предупреждал, – психует на повышенных Лупа, – что нельзя шоркать по брезенту изнутри, когда снаружи идёт дождь, и вся палатка пропиталась водой, вот теперь она и прохудилась прямо на наши головы. К тому же кто-то испортил воздух, подпустил до невозможности.

От того ли, но всех стал обуивать невообразимый смех, каждый принялся обличать другого, пока не выяснилось, что злой дух исходит

от Лупиносковского рюкзака, куда бабушка его втиснула майонезовую баночку с квашеной капустой для аппетита, которая в тепле и забродила. Банку немедленно же извлекли, вышвырнули из палатки вон, во мрак ночи, куда Бог пошлёт. Господь послал на булыжник. Баночка с хулиганствующим звоном разбилась, разлетелась на мелкие осколки.

– Эх ты, мазила, – шипит Андрюша, – Хоренко, да и Марица сколько раз предупреждали... Вот завтра нам всем будет...

– Откудаво я знал, – оправдывается Серёжка, – что она вдарится о камень. Когда палатки ставили, едва нашли, чтобы колышки в землю забивать. А тут... Возьми да по случайности попадись.

Несколько успокоившись, ради пустой забавы, по очереди принялись рассказывать разные страшные истории, которые, конечно же, чистой правды, про мертвецов и про привидения и кровожадных вампиров, и про Снежных человек, которых в краях гималайских на Тибете ещё называют йети.

– Знаете, какие они умные, аж ужас, – зловещим шёпотом вещает из своего уголка Вовка Белов, – такое умеют выделывать, что просто одурь берёт. Глянут своими гипнотическими глазами на кого, так тот тут же и скочуривается. Делается как зомби, что ночью бродят по кладбищу, где могилы. Шагает туда, куда ему мыслями своими и приказывает этот самый йети. Иногда и вниз головою скувыркивается в пропасть. А один дядька, он альпинистом работал под Эльбрусом, мой папа его даже знал, когда повстречался случайно со снежным человеком, то так враз стал накаляться докрасна, как электрическая лампочка, что лёд под ним расплавился, и он провалился насквозь, как в прорубь. Так и ненашли.

– Как он сам по себе стал нагреваться, – не без тревоги в голосе переспрашивает Валерка Матревелли, – и куда он мог вот так провалиться, когда под этим самым льдом крепкие скалы?

– В том-то и загадка, – ещё загробнее шепчет Бельчик, – выходит, ему и крепкие каменюги, что плюнуть, совсем нипочём. Насквозь зенками своими может пробуравливать. А ещё, и этому есть множество свидетелей, потому как сто раз уже происходило, эти самые снежные человеки могут моментально исчезать, словно испаряться бесследно. Сграбастают в охাপку барана, корову, а случалось, и человека, и ну бежать, что есть духу, да с невиданной скоростью по заснеженному склону. И ведь видно, как он это, бежит. Ан нет... Раз, а его уж и нету.словно он – йети – или растворился в воздухе, как Старик Хоттабыч, или сквозь землю провалился. Учёные даже исследовали по его следам, каждый отпечаток, считай, с метр длиною, да так и не отгадали. Обрываются следы на одном месте, и всё...

– Если бы он провалился сквозь землю, – не унимается встревоженный Валерка Матревелли, – то уж точно, в земле была бы огромная дырка, в какую корова может пролезть.

– В том-то и дело, – совсем по-зловещему шепчет Вовка Белов, – отпечатки громадных босых ступней прослеживаются, а никаких дырок и в помине нет, куда бы он мог спрятаться или провалиться.

– Вот, вот, – уже горячится Витька Москвитин, – я сам сегодня видел, – ведь правда же, Шмэк, – как у того большого дерева с корявым чёрным дуплом, что возле самого кукурузного поля, на суку громадный пук шерсти болтался на ветру. Барану ну просто никак не вскарабкаться на такую ветку. Это точно снежный человек чесал об него свою спину. По высоте как раз метрах в трёх от земли будет. Ведь этот алмасты, раз у него такой размер обуви, ну никак не может быть меньше того. Попробуй-ка корову в охапке, да и ещё бегом тащить...

– Какая обувь? Ты чего... – хихикает тоненько Зубер Зифов, которого все, по приколу, называют Назифой, – он же дикий... Скачет по горам и лесам босиком и без штанов. Придумали мне здесь всякого. Бельчик! Где ты таких врак наслушался? Этим нас не запугаешь. Другим рассказывай всякие сказки про эмегенов да алмасты.

Кто-то, чтобы подпустить ещё большего страху, стал легонько и по-загробному подвывать и даже похрюкивать. А когда палатка и действительно как бы вздрогнула, словно кто её снаружи дёрнул за верёвку, все враз стихли, и многим не понарошку, по-правдышнему сделалось страшновато.

– Э! Пацаны, – слышится встревоженный голос Бельчика, что ещё минуту назад с таким упоением рассказывал всякие страсти, – завывайте палатку трясти.

– Лупа! – обращается он к Сергею Лупиносу, – я же знаю, что это ты её вот так трусишь. Хочешь, чтобы совсем завалилась?..

– Вот же, трусы несчастные, – басит толстым и мужественным голосом Валерка Шмэк, – напугали друг друга всякими сказками, потому и чудится...

– Иванчик! – обращается к Валерке Иванову, – ты же у самого края?.. А ну-ка, выгляни на улицу по-незаметному, зыркни в боковой клапан...

– Да тише вы, пацаны, – шипит Валерка Иванчик, – кажись, Марица к палатке подкрадывается.

– А зачем она подкрадывается? – так же шёпотом переспрашивает Лупа.

– Да тише ты, – почти шепчет Иванчик.

В палатке наступает гробовая тишина.

– Ещё раз, – доносится у самого входа раздражённым и почти мужским голосом Марицы, – завизжите, заржёте, захрюкаете... Пеняйте на себя. Ишь, разошлись... Не угомонятся никак. Всё... Повторять больше не буду.

Видно, запнувшись о кольшек, чертыхается вполголоса, но по-матерному, закуривает от зажигалки сигарету, быстро шагает в сторону своей палатки.

– Видите ли... Почивать им не даём, – язвит вполголоса остроумный Иванчик, – пужать по ночам вздумала. Девчонкам, видать тоже досталось. Вон как с их стороны сразу же тихо сделалось.

И тут именно мне приходит в голову очередная хулиганская глупость:

– Давайте, – предлагаю я, – напугаем как-нибудь наших девчонок... Только чтобы они не думали, что это мы...

– Ага, – язвит Бельчик, – так они и напугаются... Специально запищат, как резаные, а Марица с Хоренко как выскочат... Вот тогда и будет нам всем. Ты же видел, какие они уже изнервированные и злые... Вместо намеченного на завтра настоящего альпинистского перехода через дикие горные хребты посадят утром на автобус, отвезут обратно к школе, да ещё и с позором. А за наше поведение ещё и директору пожалуются. Знаешь, что нам за это будет...

– А что... – уже совершенно распоясываюсь я, нагнав на себя храбрости, – и ведь действительно, зачем нам пугать каких-то там девчонок, когда они и без того трусливые. Вы же все сегодня видели, как Мякотина заорала нечеловеческим голосом, аж в ушах зазвенело, когда мышка из сухого валежника выскочила. И Фаризка завизжала, когда нечаянно чуть не наступила на жабу, а та сиганула в кусты. Давайте, – по-заговорщицки и шёпотом предлагаю я, – испытаем на настоящее мужество и храбрость наших проводников – Марицу и Хоренко.

– Ты что, Вовка, совсем, – тихонько тянет Бельчик, – совсем, что ли опупел?... Да они тебе так нахрюкают, что веки вечные помнить будешь.

– А что, – хорохорится уже Шмэк, – не хило бы было проверить. Только кто на такое отважится?... Я бы, конечно, и мог рискнуть – где нам не пропадать, – да только после последней драки, когда постукался с Лёвкой, точно из школы исключат. Директор так и пообещал родителям. И тебе с Андрюшей также никак нельзя, ваши матушки учительницы. За такое озорство им не то что строгий выговор, а и из школы могут вытурить. Какие, скажут, вы педагоги-учителя, когда ваши дети такие отъявленные хулиганы и бандиты, когда они ночью, подобно абрекам, напугали до полусмерти бедную женщину – заслуженную альпинистку.

Но поздно... Идея, подобной по дерзости которой и не придумать, уже брошена, буравит мозг, переполняет естество адреналином, ищет своего выхода в практическом воплощении задуманного. В свой иезуитский план еле дыша и тишайшим шепотком посвящая первейшего своего друга Андрюшу и Валерку Шукова – Шмэка.

– Уж они-то... Сроду не выдадут, даже если будут пытаться раскалёнными гвоздиками, – думается мне.

Ночь всё же берёт своё, уже слышно, как кто-то из пацанов даёт дрыху или, по-другому, давит суслика. И то, и другое выражение по полному их смыслу мне не совсем понятны, но есть в них что-то солидное и объёмное, как раз соответствующее этому самому явлению, когда существо, непонятно и почему, сладостно начинает терять сознание, окунается в омуты снов и грёз, совершенно запамятовав, что распостёртое тело его уже никак не охраняемо, представляет из себя престранное зрелище и не живого, но и не мёртвого, бытуя как бы само по себе. Но задумался ли кто всерьёз о том, не содрогнувшись: как легка, как прекрасна, как вожделенна смерть под названием сон... Эх меня глубинно занесло, хотя мне нет и двенадцати лет, и ни с каким Кантом, Ницше, Фрейдом, а тем паче с академиком Павловым не знаком... Ну, разве что в прошлых жизнях, бытность которых есть грёзы. Прости уж, дорогой читатель, за внезапные выкрутасы Подсознания, вставшего на тропу войны с их превосходительством Сознанием. А это, и кому уж ныне не известно, особенно из лукаво мудрствующих, хоть крути, хоть верти, хоть этак, хоть так, а попахивает шизофренией, – болезнью из разряда самых распостранённых на всём как белом, так и потустороннем свете, которой, замечу, болеют, как правило, самые умные.

Итак... Ночь, мелкий моросящий дождик, леденящие душу крики дикой совы, доносящиеся из леса, чёрною стеною обступившего полянку, волнующие запахи осенней прели – запахи тревоги. Я – дерзкий мальчуган, как настоящий военный связист, а можно и разведчик, и даже партизан, не опасаясь мокрой травы, чуть ли не по-пластунски, с клубком нервущихся ниток в зубах прокрадываюсь в самый тыл неприятеля, во вражеский стан, так кажется моему воспалённому сознанию, для совершения диверсионного акта. Не издавая ни единого постороннего звука, подобно зыбкой ночной тени крадусь от куста к кусту промокшего насквозь можжевельника, выходящего к самой задней стороне палатки наших уважаемых проводников, а хотите – поводырей, где они, ну, конечно же, уж давно как дрыхнут без задних ног. Замысел мой прост и в то же время по-иезуитски лукав. Протянуть нитку так хитро, чтобы в случае чего им, то есть Марице и Хоренко, и в голову не могло бы

прийти, что дёргали со стороны нашей палатки, и даже наоборот, казалось бы, что с противоположной. Дрожащими от волнения руками протягиваю конец нитки под натянутой верёвкой, туго привязанной к вбитому в землю кольшку, затем блоком через ствол куста, расположенного чуть поодаль в направлении к лесу, медленно и тихо возвращаюсь обратно, протискиваю изрядно похудевший клубок ниток в боковое оконце нашего брезентового ковчега, где его тут же перехватывает Андрюшка. И всё это, заметьте, без единого постороннего звука и шороха. Если клапан окошечка слегка приоткрыть, то, несмотря на продолжающийся дождик и, казалось бы, непроницаемую мглу ночи, чёрные силуэты обоих брезентовых домиков угадывались довольно отчётливо.

– Валерка, – шепчу я на ухо Шмэку, – возьми вот этот камушек, – на ощупь вкладываю в его руку небольшой плоский камень, поднятый мною у самой палатки, – намотай на него клубочек, в случае чего, если усекут, прямо через окошечко вышвыривай. Постарайся подальше, туда, где вон тот куст, чтобы и никакого следа к нам не было. А ещё лучше... Если нитка не обнаружилась, сматывай по-быстрому обратно, ещё интереснее получится. Я её так по-хитрому протянул, без единого узелка, что она, такая скользкая и крепкая, протянется через любые кусты и нигде не зацепится. Её в такой мокрой траве, да и ещё ночью, в жисть никому не угадать. Но всё же...

Вот потеха-то будет! – торжествую я душонкою маленького негодяя, – рядом ни души, и близко никого нет, а палатка, как в лихоманке, сама по себе трусится.

– Ведь правда, Дуся, – жарко шепчу я в самое ухо Андрею, – им и в голову не придёт, что это наших рук дело, подумают, что алмасты, которые превратились в невидимок или инопланетяне своими ультра-волнами раскачивают...

Но, как оказалось вскоре же, ни Хоренко, ни Марица так вовсе и не думали. Мало того, даже и не помышляли, ибо оба были коммунистами, ни в какую чертовщину и паче ей – уфологию и на малюсенькую капельку не веровали, обзывали хренью и поповскими сказками. Не успели мы и одного раза дёрнуть, как они тут же и организованно, словно бы и ждали, выскочили из палатки, молча обошли её вокруг и, не проронив ни единого слова, заползли в своё убежище обратно. При повторной попытке, которая для них, конечно же, не стала неожиданностью, Марица так стремительно выстрелилась из убежища, так целенаправленно метнулась в сторону можжевелевого куста, трясущегося, как в ознобе, ибо, вопреки всему, нитку всё же заклинило, а Шмэк продолжал её судорожно дёргать, что Валерка, вконец растерявшись, не то что не выбросил клубок куда попало, а занырнул вместе с ним в свой спальник

и притворился спящим. Естественно, храбрая советская альпинистка, никак не верующая в нечистую силу, быстро смекнула, скоро побежала в обратную сторону, со всего маху налетела на натянутую над землёю крепчайшую нейлоновую нить вражеского производства, споткнулась, плашмя рухнула в мокрый куст, громко вспомнила чью-то мать. Кажется, в это же самое мгновение, переполненное жутким Марициным возгласом: «Ну, сволочи!», произошло нечто странное и необъяснимое, не то что с точки зрения науки, но и самой уфологии; неведомой силой колья нашей палатки сами по себе дружно выдернулись, и нас всех, так мирно «спящих» безмятежным и праведным сном, с натуженным вздохом накрыли мокрые брезентовые хляби. Один за всех и все за одного! Потеряв свой пирамидальный романтический облик, расплющенная и униженная, более схожая с гигантской навозной лепёшкой, сделанной этим самым алмасты, палатка тут же дала обильную течь. О придании ей прежнего вида, да ещё когда дезориентированная команда в состоянии полного смятения, когда египетский мрак, а хляби небесные – мокрые и тяжёлые – со всею мощью давят к земле, не могло быть и речи. Но и это всего лишь только цветочки. Самое ужасное нас поджидало впереди. Сбившись в бесформенный клубок, коря судьбу, задыхаясь в липком и удушливом сыром мраке своей норы, потеряв всякую ориентацию в пространстве, поднатужившись, попытались всё же приподнять над землёй хотя бы один угол своего раздавленного ковчега. Частично это удалось, но уже через минуту опорный шест подвернулся, и всё наше обвисшее и жалкое сооружение свалилось на бок. Моя голова и даже верхняя часть тела почему-то оказались в открытом окне, на воле, в изобилии свежего воздуха и нудно морозящего по-осеннему холодного дождя.

– По плодам непослушаний и жисть ваша. Полна скорблений, воплей и горечей чаша ваша; вкусите же её до дна, – воскресло в моей охлаждённой голове в тот самый миг, когда в хмурых высях, в разрыве облаков промелькнула одинокая звезда по имени Ахумат, что с забытого мною языка переводится, как неверная или разочарованная. – За всё надо платить...

Под самое утро, когда сумеречные небеса едва-едва подёрнулись белёсою дымкою, а в просвете деревьев обозначилась розоватая полосочка зари, пришли кабаны. Да, да! И я нисколько не шучу, и это вовсе не от страха, у которого, как говорят, глаза велики. Явились настоящие свирепые вепри. Сколько их было, сказать трудно, но судя по различию тембров голосов, никак не менее пяти особей. Чавканье и похрюкивание их доносилось, кажется, со всех сторон, а особенно с того края, где находился я, Шмэк, Андрюша и бедный Бельчик, через которого я умудрился перекатиться, лёжа в своём промокшем спальнике, поближе к центру,

и который, видать, от нервов, так и не проснулся, действительно, что называется, дрыхнул, подобно суслику. Вид странного расплющенного сооружения, к тому же подающего признаки жизни, то там, то здесь шевелящегося своими брезентовыми буграми, по всей вероятности их заинтересовал особо. Побродив кругами некоторое время, наконец, осмелели, стали подкрадываться всё ближе и ближе, и вот некоторые из них, особо наглые, уже теснятся вплотную, хрюкают, с шумом засасывают воздух носами, тыкаются мордами в брезент, словно под ним не мы – обомлевшие от животного страха пацаны, а их любимые корешки, которыми они питаются. И всё же, надо отдать должное хоть и трусливому, но всё же мужеству пацанов нашего замечательного пятого «Б» класса. Ужас так всех парализовал, что ни один не заревел, не заорал не своим голосом – мамочка-а-а! Слегка повизгивая тонюсенькими голосками такого высочайшего тембра, такими фистулами, какие доступны разве что флейте пикколо, и то, если ей вздумалось петь под толстым одеялом, каждый из нас ждал неминуемой смертушки. Казалось, что вот-вот и кабаны ринутся со всех сторон в атаку, растопчут своими копытами, растерзают острейшими, как бритва, клыками, и ведь не пожалеют... Уж такой удачи они вряд ли упустят; ведь мы фактически в полном их распоряжении, в полном плену. И даже удрать куда нету никакой возможности, вот же ещё в чём беда... Как сейчас помню, не сильные, но настойчивые тычки их свинячьих хряков, так ясно ощущаемые через мокрый брезент, терпкий и мускусный дух, исходящий от их грязных тел, клацанье и скрежет самозатачивающихся клыков. Но, вволю поиздевавшись, поугав нас до полусмертного обморока, они неожиданно потеряли к нам всякий интерес, как ни в чём не бывало, убежали восвояси. То ли от нервного перевозбуждения, а может, какой иной причины, неведомой медицинской науке, но мы, как только эти садисты оставили нас в покое, тут же, как один, уснули самым что ни на есть бессознательным сном.

Утро, хотя было уже начало девятого, выдалось на удивление ясным, радостным и по-летнему тёплым. От бывшего дождя, кажется, не осталось и следа. Птички, словно соревнуясь между собою, голосили на все голоса, одинокая кукушка с настойчивостью дятла пыталась их всех перекричать, с вершины самого высокого дерева куковала без всякого передыху, одаривая всех бесконечным обилием лет. Следом какая-то пичуга, зелёнькая и с красным хохолком, размером с воробья, с таким неутомимым отчаяньем принялась верещать, что кукушка тут же, совершенно ошарашенная, сбилась с ритма, смолкла было уже совсем, но несколько подумав, прибавив ещё с десяток годков, снялась с вершины и улетела.

Не выпавшиеся, разбитые и психованные, несмотря даже на великолепие дня, птичий гомон, яркое солнышко и кристально-синее небушко, совсем не радовались, пребывали в состоянии унылости, зевали, зябко ёжились, в общем – были не в духе. Словно и не замечая нашего состояния, Хоренко, как ни в чём не бывало, стал объяснять, как по-правильному свернуть палатку – мокрую и до ужаса тяжёлую, да чтобы не морщиניתась и не бугрилась, в какую сторону затянуть хлястики на чехле, дабы железными бляшками «кожу с хребта не стёрло».

– А чего это вы вздумали спать в ней, как под общим одеялом, – самым серьёзным образом язвит он, – холодно, что ли стало или самим так захотелось? Это ты, наверное, вот так всех надоумил, – смотрит на меня с лукавою ухмылкой. – Нда-а-а... Не ожидал я от вас, – брезгливо раздувает ноздри, говорит уже сердито, указывая краем деревянного кольшка на разбросанные то там, то здесь кабанячьи какашки, – кто же это так делает... Как можно испражняться по нужде рядом с палаткою?

Девчонки принимаются весело ржать. Это же надо вот так над нами издеваться, – почему-то начинаю краснеть я, словно это не глупые кабаны нагадили, а лично я сходил и навалил вот столько кучек. Но чёрт с ними, с этими какашками.

Откуда он узнал, – холодеет в моей груди, – что инициатором ночной шкоды являюсь именно я? Нитки!.. Точно... Вчера, когда вытаскивал из кармана свои охотничьи спички, пропитанные воском, вытянулись и эти самые, будь они неладные, белые нейлоновые нитки. Как сейчас помню, он даже слегка на них покосился. Ещё бы... такие редкостные и шпионские нитки. Их можно и в пустом каблуке по-секретному спрятать, в нужный момент, если вдруг схватят и посадят в неприступную крепость, спуститься по ним по стене и убежать из темницы на волю. Запросто выдержат... Вот почему он посмотрел на меня так. Ко всему этому, как рассказали нам девчонки с выражением неподдельного ужаса на лице, Марица умудрилась отыскать пустую бутылку из-под портвейна, которую Шмэк, по его словам, закинул чёрт знает куда, в густые заросли дерезы, в самую гущу их, откуда её, если даже обнаружится, достать никак невозможно. Для наглядности бутылку эту из-под тридцать третьего шмурдяка, да и ещё заткнутую засургученною пробкою, она стоймя поставила возле вчерашнего нашего пионерского костра, рядом же положила на землю и моточек моих ниток, через которые она так лихо перекувыркнулась в мокрые заросли можжевельника.

– Когда же они успели вот так ловко вытянуть остатки клубка из нашей порушенной палатки? – промелькнуло быстрее молнии в моей голове. Скоро позавтракав килькою в томатном соусе и обыкновенным серым хлебом, запив всё это... Нет, не горячим чаем – крепким и душистым,

а какой-то мутной водицей, как мне причудилось, отдающей кабаньим духом, взвалив рюкзачки с влажными спальниками на плечи, построились в колонну, тронулись в путь.

– Кому это там очень желалось нести палатку? – весело смотрит он на меня, совершенно подавленного, изнурённого страхами бессонной ночи, гнетущими мыслями разоблачённого маленького подлянщика, осознавшего, что расплата неминуема.

Дабы хоть как-то сгладить свою вину, нарочито бодро, почти как оглашенный, воплю:

– Это мне очень хотелось! Это мне очень хотелось! Разрешите, я ещё никогда в жизни не носил на плечах мокрых палаток.

– Ну, что же, валий, – почти радостно говорит Хоренко, доверительно хлопнув по плечу, утверждая за мною почётное и ответственное – быть носильщиком палаток. – Только... Коли взялся за гуж, то не говори, что не дюж...

Спас положение верный друг Андрей. Молча взвалил свёрнутую и мокрую палатку на свою костлявую спину, потому как был и худощав, и по сравнению со мною – коротышкой, очень высок ростом, тут же встал в строй. Хоренко вопросительно посмотрел на него, на что Андрюша, выдержав его взгляд, ответил:

– Один за всех и все за одного! Вы ведь сами нас так учили?.. А Вова, знаете какой он ловкий, выносливый и сильный, но совсем не виноват, что небольшого роста. А палатка... Вон она какая громадная... Как ему такую тащить, когда она ему до самых пяток?

– Молодец! – похвалил его Хоренко, – вот это я понимаю, это уже по-мужски... Один за всех и все за одного.

Не упрекая и не ругая нас не единым словом, так, как будто ничего и не случилось, наши проводники-инструкторы, конечно же, в целях чисто педагогических отомстили нам за их бессонную ночь самым иезуитским образом. От Карасу до верховья Хасаньи они гнали нас без хлеба и питья и почти безостановочно так, как аравийские бедуины гонят своих верблюдов, мулов и стада ишаков в предвостии надвигающегося самума – знойного и губительного ветра пустыни, способного порою погрести и цветущий оазис. Если я – закалённый жизненными невзгодами, всяческими трудностями и совсем не избалованный, от усталости стал засыпать на ходу, то представляю, каково было некоторым... Не каждому – Бог ли? – дал уметь стоять на голове, прыгать с дерева на дерево, подобно макаке, лазать по водосточным трубам, удирать стремглав от медведей и диких вепрей, прыгать с вершины тётенькиного сарая, вцепившись в трость старинного дореволюционного зонта, вылупив глаза, мчаться по бурливой горной реке на камере

от грузового ЗИСа, по случаю обнаруженной на дороге, валяющейся бесхозно, хотя... Уж наверняка подброшенную самим чёртом, ибо какой водитель за просто так оставит на обочине такую драгоценность?.. Но и это ещё не всё... Попробуйте-ка её ещё и надуть... Нет, нет, не насосом!.. Так каждый сможет... Воздухом из собственных лёгких... Да, да! Упругим газом из собственной утробы – это когда не то что глаза и барабанные перепонки ушей начинают выпирать наружу, но и с попкой делается что-то неладное. Хотя... Чего там уж душою кривить, они, то есть все остальные пацаны, кроме меня, Андрюши и Валерки Шукова, хоть худо ли, бедно ли, но выпались, впад от страха в анабиоз, так и не осознав, что палатка расплющилась, а вокруг неё бродят свирепые кабаны. Разве бедный Вовка Бельчик – святой и непорочный мальчик, да и остальные, виноваты, что их без отдыха и питья гонят по долинам и по взгорьям, подобно диким муфлонам, не дают и дух перевести, и слово вымолвить? С измождённым осунувшимся сурлочком суслика, глазами всех оттенков печалей и страхов, рюкзачком, от веса которого его штормило в разные стороны, он держался на последних ниточках силушки воли, на жутком страхе как-то отстать и быть заживо съеденным кабанами, басовитое хрюканье которых, нет-нет, да доносилось из разных сторон леса. Хоренко – и ведь это понарошку – как молодой сайгак с тяжеленным балакиревским рюкзаком, на всех парах, словно и не замечая крутых подъёмов и спусков, нёсся впереди, Марица, ругая отставших хилыками, заморышами, маменькиными детками, а иногда почему-то и вредителями, с таким же громаднейшим рюкзаком, с ореховой палкой в руке, замыкала строй.

– Вот же садистка! Сподручная доктора Менгеля, – психую я, падая на спину, съезжая на рюкзаке по пологому обсыпающемуся спуску, считая задницей каждый бугорок, – по их вине нас кабаны чуть заживо не сожрали, а им и этого ещё мало.

Хотя... Кому-кому, а мне-то уж понятно, за что вот так гонят. Мстят... Хотят злобу свою на нас выместить. Подумаешь... Палатку за ниточку подёргали, пошутили по-доброму. Нет бы вместе от души посмеяться... Давай как угорелая бегать. Вот и шмякнулась со всего маха в кусты. Не по сторонам, а под ноги лучше бы смотрела... Такие крепкие нитки, целый клубочек... Эх-х...

– Это не ты, случайно, обронил? – ядовито спрашивает меня. – Ну, что ж... Если не твои, то будем искать хозяина...

– Ага... Щас... Так я и признался тебе, нашла простачка... А он... Вон, как радостно улыбался, когда укладывал мои драгоценные шпионские нитки в боковой клапан своего рюкзака. Ещё бы... Такое просто так на дороге не валяется.

Не прошло и малого времени, которое нам показалось целою вечностью, как мы, перевалив несколько горных лесистых хребтов, из Карасу попали в Хасанью. Не дожидаясь автобуса, который в то время ходил в это село крайне редко, да и не регулярно, стадом баранов на повышенной скорости проскакали аж до самого Долинска, до Пятачка. Уже дома, но на другой день, разбирая свой отсыревший рюкзак, дабы просушить хорошенько на солнышке, обнаружил в спальнике пустую бутылку из-под тридцать третьего портвейна, пахнущую и сладко и тревожно, моточек моих нейлоновых ниток ценою в старинный пятак, коробочек непромокаемых туристических спичек, приготовленных по рецепту старшего брата. По поводу нашего дурного поведения в школе так никто и не узнал. Молодец Хоренко! Имя которого я запомнил. Молодец Марица! Фамилию которой я не помню. Не выдали... Настоящие горные барсы!..

Глава 31. СТРАННЫЕ ЛЮДИ

1

Гулял я по дремучему лесу, полному всякой живности, а чтобы никто не подумал, что от безделья, от делать нечего, носил за спиною лубяной кузовок на пеньковых помочах. Глядь, а на осиновом пенёчке сидит старичок-лесовичок, – махонький такой, вместо шляпы красный мухомор на голове, в берестяной тужурочке, портках из зелёной крапивы, лапоток липовый переобуваает, музыку губами дрынкает, ну совсем как малая лялечка. Посмотрел на меня снизу вверх, да так, словно сверху вниз, спрашивает по-старинному:

– Куды пути держишь, неутомимый странник?

А я ему заместо ответа, да с поклоном:

– Да разве я похож на странствующего, тогда как моя деревня вон за тем бугром, которой сроду и не покидал?

А он усмехнулся едва заметно, словно рябью личико тронуло, да и говорит:

– Все мы временные странники на этой земле. Ты же... Странник без времени...

– А как это? – не без удивления переспрашиваю его, – по каким таким признакам-приметам видно, что я не как все остальные, а гораздо хуже? Не во времени ли наша память? Неужто похож на полоумного?

– Ум не делится на половинки, – назидательно крутит у своего виска пальчиком лесовичок, – он или есть, или его вовсе нема...

– Не понял, – с изумлением смотрю на него я.

– Ха, он ещё и не понял... Безумные потому и безумные, что враз и навсегда отреклись от человеческой глупости, то есть глупости всех, найдя себя в Единственном. По мозолям твоих рук, морщинкам на лице, пустому кузовку и тому, как бережно переступил мой кривенький батажок, оброненный на звериной тропочке, угадал, что ты из тех, что на всю жизнь остались в ребячестве. Отражённый в тысячах осколках зеркал, ищешь самого себя в целом, а это... А это безумие.

Сказав так, хлопнул в ладошки и словно провалился сквозь землю, и про батажок забыл. Поднял с земли посох, а он словно и по моему росту – тютелька в тютельку. Сел на пенёк и крепко задумался о странностях этого мира, в котором я сам есть наипервейший странник Боборика – существо, научившееся беседовать с самим собой, мало того, ещё и спорить по всякому поводу, доказывая, что не осёл, а мул, между которыми, уж согласитесь, хоть и есть родство, но расхождений ещё более.

2

Странные люди... Кто такие эти странные люди, и зачем их так называли, и кто их так назвал этим странным именем, звучащим на латыни, как идиотус, вызывающим разве что недоумение? Странный человек уж точно никак не есть человек положительный, скорее всего, наделён качествами нарицательными относительно большинства, иначе какой же он странный, коли всем понятен, ясен, как прозрачное стёклышко, через которое всё видно насквозь. Не в количественном ли большинстве, как в единой кубышке под названием «общественное» хранятся зёрна вечного, доброго, мудрого? И как человеки имеют происхождения свои от себе подобных, так и странники произошли от странников, то есть людей, странствующих по белу светушку – вестников неведомых стран, их чудес, ведущих речи на непонятном для большинства языке, одевающихся не как все, а во всякую рвань, употребляющих в пищу нечто, что есть явная и очевидная мерзость для большинства. Да, да. Именно большинства, которое непонятно по какому праву узурпировало это самое право быть всегда правым. И хоть большинству добропорядочных и, конечно, психически вменяемых (по крайней мере, такого представления они о себе сами) из народонаселения кажется, что странных людей – раз, два и обчёлся, они глубочайшим образом заблуждаются. Скорее всего, оных как раз и есть истинное большинство. Есть ли в этом мире что без изъяна? Не в явном ли безумии заумники, задавшиеся целью познать мудрости мира? Вам всё понятно?.. Откровенно говоря, мне – не очень. Допускаю, что мой двойник, обитающий в своём «запределье»

на планете по имени «Гашиш», мог что-то и понаперепутывать. Исходя из логики Его воинствующего «Я», рассуждающего вот так престранно, на всей планете Земля не найти и одного индивидуума без странностей. А если, как глубокомысленно утверждают многоуважаемые господа дарвинисты, туда включить ещё и наших так называемых человекообразных пращуров, к которым, по совести говоря, можно причислить всех приматов скопом и даже белок, так ловко научившихся скакать по деревьям, то судите сами, кто мы есть на самом деле на этой развесёлой планете Земля... Но всё же... Не будьте к сказанному мною выше столь предубеждёнными. Поведаю вам наиправдивейшую историю, вынесенную по лоскуточкам из моего детства, об одном отличном от многих странном человеке, которого мы все по-простому называли дядей Лёней, хотя... Хотя во возрасту, уж конечно же, он был давно как дедушкой, а может, и более того – дедушкой, переросшим в маленького мальчика, в обличии старичка, ставшим, как и мы – ребёнком.

– Как? – не без раздражительности заметите вы, незаметно крутанув пальчиком у своего виска. – То дядя, то дедушка, а то и... Ведь это чёрт знает что... Не перепутал ли чего рассказчик, вспоминая себя же, но далёкого? Не заблудился ли в закуточках и лабиринтах своего прошлого времени под названием память?

– Как же мне заблудиться в детстве, – глубокомысленно ответчу я вам, ковыряя пальчиком в своём носу, – когда так и не стал взрослым?

Слушайте.

3. Дядя Лёня. Инопланетянин

Не заметить, не удивиться им было невозможно. Рыхленький и полненький, небольшого росточка, словно оплавленный сливочный сырочек, со светленькими реденькими волосиками на большой и круглой голове, оттопыренными ушами, схожими с переваренными варениками, сплошь шерстистыми, наподобие внутренней стороны листочка Ивана-да-Марья. На замечательном, в форме вытянутой картофелины, носу носил круглые чеховские очки. В железной оправе с толстыми выпуклыми линзами, кажущимися жёлтыми из-за цвета его фисташковых глаз, они никак не подходили для его простоватого лица, малоинтеллигентного с виду, больше схожего с лицом пасечника или торговца обезжиренным творогом, представлялись неким недоумением с недвусмысленным намёком на образованность. В холщовой толстовке навыпуск, повязанной суровым витым шнурочком с кисточками на концах, в серых, в тонкую светлую полосочку широких брючках, не спадающих благодаря полосатеньким подтяжкам, коричневых и потёртых старинного фасона

штиблетах, какие и во всём свете уже не сыскать, он представлялся человеком совершенно архаичным и дореволюционным, словно явившимся из прошлого времени, но никак не замечающим перемен. И всё же... Самой замечательной деталью в его физиономическом облике лица был нос. Именно он, в зависимости от обстоятельств и того, в каком месте от переносицы находятся на нём очки, и придавал выражению лица то состояние несказанной скорби, то наоборот – невыразимой радости, то вдруг, как это у него получалось – степенную, почти мраморную величавость мудреца. Совершенно узенький в переносице, он свисал приплюснутой лепешечкой чуть ли не ниже верхней губы, имел цвет перезрелой белой сливы, на самом же кончике, чуть ближе к левой ноздре, украшался приличной выпуклой бородавочкой, чухло поросшей белёсенкими курчавыми волосиками. Во всём его облике, как физиономическом, так и телесном, да и в одежде, угадывалось что-то старинное, кажется, давно уж и канувшее в лету, явленное вновь, Бог знает откуда, а самое удивительное – непонятно и зачем. Складывалось впечатление, что вот актёр любительского театра – провинциальнейшего из провинциальнейших, играющий в спектакле Антона Павловича Чехова второстепеннейшую из ролей, на самое малое время вышел на чёрное крыльцо подышать свежим воздухом, сел на скамеечке, да так и остался, словно и запамятовав, что на дворе не вторая половина девятнадцатого столетия, а давно как за середину двадцатого.

Не знаю и почему, но во мне он вызывал живейший интерес, возбуждал в душе необычайное любопытство. Нимало не смущаясь, подсев на краешек скамеечки, где он по обыкновению своему отдыхал в тени каштанового дерева, принимался его откровенно рассматривать, словно запамятовав, что делать так крайне неприлично, так как у него наверняка может сложиться дурное впечатление о моём воспитании, а вернее – невоспитанности.

– В конце-то концов, – как-то возмутился папа, увидев, как я во всю ширь глаз своих выпятился на красивую и модно одетую тётеньку, но весьма даже пьяненькую, вышагивающую не совсем твёрдо по аллейке парка, где мы с ним сидели на зелёненькой скамеечке, – разве можно так... Это элементарная невоспитанность. Ты же не абориген какой, не папуас с островов Полинезии, что впервые в жизни увидел белого человека... Нельзя так откровенно и так бесцеремонно пялиться на кого бы то ни было, а тем более, на молодую женщину, у которой и без того затруднения. Воспитанный человек потому и воспитанный, что если и замечает в другом его бескультуре, то уж точно никак не выказывает. А ты... Вместо того, чтобы глаза отвести, по-показному вылупилась в оба.

Не знаю и почему, но было в этом далеко не молодом дядечке что-то такое, от чего непременно желалось завести с ним разговор, бесцеремонно напроситься в гости, а то и за просто так подарить расплющенный пятак, по которому прокатился паровоз, – медяшку с едва заметными признаками былой печати, бессовестнейшим образом соврав, что он из старинного клада Стеньки Разина, хотя... Возможно, и Емельяна Пугачёва. Пусть дядечка и не совсем поверит, но, уж наверное, про себя подумает: «Скажите вы, пожалуйста... Такой с внешнего вида хулиганистый, а на самом деле образованный».

– Скажите, пожалуйста, – по-воспитанному привстаю я, чтобы подсесть поближе, – вы не подскажите, сколько сейчас времени?

Он, не без удивления, смотрит на меня, словно я вот только что свалился с неба, произносит нечто на непонятном мне языке, потом, как бы спохватившись, виновато улыбнувшись, на чистейшем русском переспрашивает:

– А зачем вам, молодой человек, какое-то время? Ведь признайтесь, что в данный момент оно вас совершенно не интересует. Я правильно угадал?..

Не дав мне и опомниться, почти скороговоркой продолжил:

– На моём брегете давно как без двух четвертей одиннадцать прозвене-ло. Значит, сейчас три с половиной минуты двенадцатого. Интуиция...

Поспешно лезет в поясной карманчик своих брюк, тянет за свисаю-щий край цепочки, достаёт внушительных размеров серебряную луко-вицу, со звоном откидывает узорчатую крышечку, смотрит на римский циферблат.

– Так, так... Взгляните, молодой человек, – подносит брегет к само-му моему носу, – это для вас время нечто неосязаемое, чепуховина... Для меня же...

Несколько подумав, пожимает плечами, поправляет на переносице очки, но так своей мысли и не заканчивает. Неожиданно в часах что-то сухо щёлкает, и они треснутым голосом начинают отсчитывать время. Продребезжав ровно одиннадцать раз, замолкают.

– Вот видите! – торжественно произносит он, – я всегда догадывался, что они на пять минут опаздывают... Да вот... Неловко как-то им об этом сказать... Вдруг да обидятся.

– Кто обидится? – не без изумления таращусь я на странного дядечку.

– Как кто? – с неменьшим любопытством смотрит он на меня. – Неужели непонятно?.. Брегет могут обидеться. Каким часам, скажите вы мне, понравится, когда их вот так... Обличают в неточности.

– А разве брегет – «они», – умничаю я, – когда, раз он в единственном числе, то должен быть – он?

– Скажите вы, пожалуйста... А мы по серости ума своего и не догадывались, – откровенно иронизирует дядечка. Вы, чернокудрый юноша, глубочайшим образом ошибаетесь, к брегету следует обращаться не иначе, как на «вы», и только так. Неужели вам неизвестно, что их родословная древнее родословной всех сиятельнейших особ от начала мира?..

Не зная, как и что ему ответить по этому поводу, пространственно спрашиваю:

– А вы давно переехали жить в наш дом?

Сделав выражение лица крайне удивлённым, разводит руками, по-смешливому отвечает:

– Вот те на... Здравствуйте вам... Как это давно?.. Я никуда и не уезжал... Вернее, мы никуда и не думали уезжать. Как заселились с самого начала, так безвылазно и живём с Адой Марковной.

– А почему же тогда я вас никогда раньше не видел, – не унимаюсь я, – вы что, целых три года из дому не выходили?

– Ну как же не выходили, – улыбается странный дядечка, – почитай каждый вечер променаж... От дома и до Пятачка, а потом обратно; и во дворе вечерком, когда погода не слякотная, люблю на скамеечке посидеть, душу мечтами побаловать.

– Если бы вы каждый день сидели на этой скамеечке вместе с вашей Адой Марковной, то уж точно мы как-то были бы знакомы, – возмущённо соплю я, искренне полагая, что он нарочно меня вот так разыгрывает, считая, что я прост, мал и несмышлён.

– Э-э-эх, – странно улыбается Человек из прошлого, как я уже успел про себя его окрестить, – как же вам, юный отрок, объяснить, что бытие моё и ваше во времени несколько расходятся, ведь всё равно ничегошеньки не поймёте. Да и надо ли?.. Ведь я не пристаю со всякими своим глупостями относительно коммерческой сделки с Гринькой... А как божились, как божились... Фальшивой монета становится только тогда, когда владелец её, узнав, что она поддельная, пытается сбавить за настоящую. Но самое интересное в этой истории даже не это. Ваш глубокоуважаемый коллекционер Гриневиц за ваш оловянный гривенник с профилем царствующего Александра, представленный, как серебряный, всучил вам, юному филателисту, фальшивую серию – блок из четырёх негашёных марок Дании, на которых в четырёх цветах изображён не датский король, как вам представлялось, а немецкий канцлер Вильгельм Фердинанд. Каково, а... А ведь закадычные друзья. Он по сей час гордится своим приобретением, и что вот так ловко облапошил, вы же до сей минуты так же были в полной уверенности и в своём удовольствии, что гениально объегорили дружка, искренне полагая, что если

последний и узнает, то всегда есть месту отпереться: знать не знаю, ве-
дать не ведаю... Сам менялся по-честному с Хызей, отдав за гривенник
фронтovou зажигалку, выполненную из винтовочного боевого патрона.
А то, что монета перелитая и оловянная... Так кто бы и помыслить такое
мог. Этак и патрон, кто его знает, может также не боевой... Может, этот
патрон и пороху-то не нюхал.. Это что же, добропорядочные граждане,
на белом светушке делается?... Куда ни глянь, одно жульё...

– Откудаво он всё знает? – холодеет в моей груди. – А Гринька – гад!
Нумизмат паршивый... Я ему такую монету!.. А он мне свинью... Ведь
ещё тогда подумал: а что это датский король, да без короны? Ведь точно,
как сейчас помню, что подумал так.

Криво усмехнувшись, дядечка из прошлого на глазах начинает туск-
неть, ёжиться и как бы убавляться, превращается в совершеннейшего
старикашку, начинает шамкать и причмокивать. Непонятно и откуда
в правой руке у него появляется деревянный костыльёк с почерневшей
от времени костяною ручкою и в мельчайших паутинках трещинок.
Упёршись на него кулачком, который начинает заметно подрагивать,
дедушка, как бы и не замечая случившейся с ним этакой метаморфозы,
почти детским голоском продолжает:

– А ведь мы, кажется, увлеклись... Пора, пора, пора...

Ещё раз щёлкнув крышечкой своего замечательного брегета, встал со
скамеечки и, не обращая никакого внимания на меня, не попросившись,
шаркающе походкою направляется в сторону второго подъезда. Возле
самых дверей внезапно останавливается, оборачивается, манит меня
указательным пальцем, непонятно почему обращается на «ты», хотя вот
только что и минуты не прошло, подчёркнуто говорил на «вы».

– Я вот что хотел о тебе узнать...

Выдержав довольно большую паузу, как это случается у очень пожи-
лых людей, продолжил:

– Забегай как-нибудь... Только не вечером. Днём забегай, раз такой
любопытный... Покажу, как правильно и по-настоящему дышать уша-
ми...

– Чего?.. – изумлённо таращусь я на него, на всякий случай отступая
на шаг, – какими такими ушами?

– По тону твоего вопроса создаётся впечатление, что у тебя про
запас есть ещё, как минимум, одна пара этих самых ушей, – самым серьёз-
ным образом говорит он, – а потому уточняю: я имею в виду не какие-то
другие, а именно те самые уши, которые не далее, как тремя днями
назад участковый милиционер Дышев, как часовую пружину, накручивал
себе на палец, а всё за твоё хулиганство. Это же надо удумать... Ахнуть

из самодельного поджига с такою мощью, что белившая потолок своей кухни соседка Рита Асланбековна вздрогнула, табуретка покачнулась и она, не удержав равновесия, вместе с ведром извести рухнула на пол. А если бы возьми да что поломай... Да и вообще... Как можно столь пренебрежительно относиться к собственным ушам?.. Как можно докатиться до такого?.. Среди бела дня страж порядка пытается оторвать ему... Нет, нет... Не пуговицу, не воротничок, и даже не краешек шёлкового пионерского галстука, что уже до слёз обидно, а его собственные уши, которыми опять-таки, хочу заметить, можно не только наслаждаться трелями птиц, журчаниями ручейков, шелестом листвы, а и по-секретному дышать полной грудью. Замечательное свинство... Кому не захочется – спрошу я вас, – снова переходит он на «вы», – в жаркий летний день, подобно наутилусу, занырнуть в пучину вод, выпустить из ушей стаю мельчайших пузырьков, дабы насладиться их нежнейшим пением? По праву, что может быть приятней этого?.. Впрочем... Оставим в покое уши. Я вас вот что хотел спросить: как вы относитесь к запаху прошлогодней листвы?

– Чего-о-о? – ещё более изумляюсь я, потихонечку уясняя для себя, что у дедушки того, с головою не всё в порядке.

– Ну, хорошо, – делает он своё лицо серьёзным, – ведь правда же, что мухомор вам люб, гораздо прельстительней, чем бледная поганка? Ведь признайтесь...

– А я и не думаю скрывать, что мухомор самый красивый из всех грибов. Но...

– Что но? – быстро переспрашивает он меня.

– Все говорят, что они очень опасные, их ни в какой мере нельзя употреблять в пищу, запросто можно отравиться и умереть. Хотя, – папа рассказывал, сибирские шаманы их уплетают, аж за уши не оторвать. А особенно перед тем, как приняться колдовать.

– Молодец! – неожиданно хвалит он меня, – есть ли что на свете вкуснее мухоморов!.. Никогда не верь всем и скопом – врут. Заглядывайте как-нибудь, если ещё не передумали, я вас угощу великолепным грибным супом из мухоморов. Свеженькие... В Долинске насобираю.

– Леонид Андреевич! – доносится откуда-то сверху, – сколько можно... И что за манера так громко разговаривать на чёрной лестнице, да и ещё непонятно с кем?

– Иду, иду...

Не успевая и опомниться, как он с необыкновенной резвостью преодолел первый лестничный марш, почти тут же где-то на втором этаже гулко стукнуло дверью.

– Это же надо... Такой с виду старенький, а вбежал на второй этаж пуще, чем я. Совершенно сумасшедший человек... И как раньше не догадался. Ведь по всем статьям видно, что психический. Хорошо ещё не покусал... Науку правильно дышать ушами... Уже только после одного этого можно было догадаться, что дедушка съехал крышей. Такой запросто не то что мухоморами... А и дусту подсыпет, куда не ожидаешь.

4

Через три дня совершенно случайно я встретился с Леонидом Аркадьевичем на берегу второго озера, чуть выше лодочной станции, в том месте, где по узенькому бетонному жёлобу водоём постоянно наполняется проточной водой. Погода была, хоть и тёплой, но довольно пасмурной, а потому озеро было почти пустынным, около вышки – любимого места пацанов, никто не толкался, прокатиться на лодочках желающих не находилось. Судя по густо затянутому небу, и как низко носятся стрижи над самою водой, по особому запаху и наступившей тишине дождика точно не избежать. Не скрою, увидев его первым, стоящего в раздумье у самой воды, хотел сделать вид, что не узнал, пройти мимо, да и он бы, наверное, не заметил, но почему-то стало совестно. Ведь, по правде говоря, ничего дурного он мне и не сделал, и даже наоборот, приглашал к себе в гости, обещал угостить деликатеснейшим супом из настоящих мухоморов, приготовленным по особому секретному способу, который он выведал у главного шамана племени Вуду. Да и вообще... Пусть дядечка даже и из сумасшедших, но разве это даёт право представиться ему маловоспитанным?

– Здравствуйте! – бодро поприветствовал я его, – как ваше самочувствие?

– А-а-а... – заулыбался Леонид Аркадьевич, – это ты, Вовка... А я уж думал, что не услышал... Собрался было совсем уходить. Молодец!.. Чуткий организм. Погода-то!.. Ты только посмотри, какая чудная погода!.. И мы... Тут как тут... Всё совпало...

– О чём это он? – опять захолодело под ложечкой. В прошлый раз разговаривал почему-то на «вы», – сразу же отметил я, – а сегодня, как будто уж сто лет знакомы, Вовкой обозвал.

– Постереги одежду, чтобы кто не попятил, пока не выкупаюсь? – вопросительно смотрит на меня.

– А вам не холодно будет, не простынете? – самым воспитанным образом справляюсь я у него, как это делают взрослые. – Вон как стрижи самой воды касаются, наверняка дождичек пойдёт.

– Дождя не будет, – по-спартански обрубают Леонид Аркадьевич, – я пекусь не столько о своих рубищах, ветхих хламидах, сколько о брежете, который не так давно с этого же самого места был попячен ничемнейшей личностью – мелким воришкой, им же и возвращён. А всё из-за случившегося со мною нечаянного сна... Вот он и подумал, что я всплывший покойничек, – мертвец, значит. Хоть и думającego вещества в его тыковке самая малость, скумекал моментально: с какой это стати добру-то пропадать?.. Шнырь по карманам... А там мой французский брегет, да и ещё два рубля с тридцатью пятью копейками. Сам понимаешь... целый капитал...

– Выходит, – интересуюсь я, – того, кто вас обокрал, своровал часы и денюжки, совесть стала загрызать? Ведь вернул же...

– Какая там совесть!.. Где там эта совесть!?. – расквашивает криво губы Леонид Аркадьевич, – почитай, если рассудить, покойничка обчистил. Сам вычислил. Настроился на волну, вижу: сидит негодник в кафе «Космос», что рядом с кинотеатром «Восток», двойным пломбиром с тройным вишнёвым сиропом обжирается. Я, конечно же, туда. Подсел на свободный стульчик рядышком и смирёхонько, да на ушко шепоточком спрашиваю, дабы не испугать: не ты ли тот добрый мальчик, что нашёл мои старинные часики на цепочке, которые лежали в карманчике брюк на берегу второго озера, принадлежащие утопленнику, что ожил и желает иметь их назад? Он возьми, да и уписься под себя. Видать, до пломбира целую бутылку лимонада выпил.

– А как же вы, Леонид Аркадьевич, догадались, что воришка ваших часов сидит в кафе? – спрашиваю я его. – Или он сам кому сказал, а вы услышали?..

– Ну... Это совсем просто... Ты же вот пришёл, чтобы посторожить, пока я буду медитировать, – совсем по-непонятному отвечает он, кажущийся уже вовсе не дедушкой, а скорее очень взрослым дядечкой. Выпил самую малость, всего капелек пять-шесть, экстракта пятнистого мухомора, закусил сушёным корешком наимелнейшей поганочки с латинским названием *spirahsetus*, вот и все дела. После такой процедуры и за тысячу километров можно взор свой что невод забросить... Да что там тыща... И под землёй увидать, как ясный день.

– А мне?..

– А что тебе? – вопросительно смотрит на меня.

– Если я вот так этих капелек – мухоморов с поганками... Тоже аж сквозь землю могу увидеть, и за тысячу километров?

– Ишь, какой хитренький, – принимается раздеваться он, – для этого нужно иметь и ещё кое-что другое. А ты... А ты даже ушами не научился

дышать... Как так можно, Вовка, – смотрит осуждающе на меня. – Ну я понимаю. когда глазами или той же попкой. Тому, почитай, у великих мастеров надо учиться и учиться. И то, как знать...

– Да, да, – начинаю утверждаться я, – у столь оригинально мыслящего человека не может не быть проблем с окружающим его миром. Как у любого сумасшедшего обязательно должны быть проблемы. Где-то я это уже слышал... Почти слово в слово слышал. Перед глазами, словно наяву, проплыл образ сельского сумасшедшего Сани Ясного, затем, расплывчатый и зыбкий, словно рябь на пруду, лик Иокаима Мудрейшего – стариннейшего знакомого, почти что друга, – домового, бытующего в мирах запредельных, и ещё тень какая-то – скомканная и мутная, вроде как бы о самом себе, а как именно, так в голове и не разъяснилось, – промелькнула перед глазами и растаяла.

– Пока не воскресишь в себе памяти, кто ты есть на самом деле, ступеней своего пути, не отречёшься от многого, довольствуясь, аки птица небесная, малым зёрнышком, быть ослепшим. А коли всё это свершишь в себе, то и без всяких мухоморов насквозь видеть будешь, без крыльев летать, без научений мудрости исполнишься. Всё понял?

Из всего донёсшегося из Запределья усвоилось лишь одно: я слеп, нем, несмышлён. Он – совершеннейший ненормальный человек, хотя бы уже потому, что его опыт, его знания не доступны нормальным. Разве не логично. Стянув с себя сначала рубаху, а затем и штаны, Леонид Аркадьевич неожиданно для меня и, надо признаться, к моему конфузу, оказался в старомоднейших ветхозаветных белых кальсонах с матерчатыми подвязочками на щиколотках, выразительно-желтоватыми костяными пуговицами вдоль ширинки.

– Господи! Ведь это чёрт знает что, – нервно заозирался я, – в таком откровенном виде на городских водоёмах Нальчика давно никто не решается выставиться. Ну, понятно бы, когда в семейных трусах, когда не совсем твёрзого состояния... Получилось так, ибо ни о каком купании и не думал, а думал о пиве с рыбкой, желании простом и бесхитростном, переросшем самопроизвольно в шашлычок с водочкой. Как то не понять... здесь же... Срамота невозможная. Хорошо, что такая погода и никого почти рядом нету, иначе ведь как пить дать, всем подумалось бы, что это мой родной дедушка, которого я привёл купаться вот в таком виде. Вспомнился эпизод из фильма про Чапаева Василия Ивановича, где белогвардеец в кальсонах плачущим голосом оправдывается перед Петькой: «Брат Митька помирает, просит кушать рыбки...». Так то ж в кино...

Нимало не смущаясь, поочерёдно дрыгнув сначала левой, а потом и правую ножкою, Леонид Андреевич зашёл по пояс в воду, которая,

в силу свинцовости своего цвета, казалась мне очень холодной, оттолкнувшись слегка от дна, принял горизонтальное положение, медленно и совсем без брызг поплыл по-собачьи. Поупражнявшись так с пару минуток, непринуждённо перевернулся на спину, вытянулся и совершенно неподвижно застыл на серой ряби водной поверхности. Складывалось впечатление, что это вовсе и не Леонид Аркадьевич, а увесистое брёвнышко, выкрашенное с одного конца и до середины в белый цвет, совершенно пустотелое внутри, лёгонькое, что бумажный кораблик. Кружевные ряби концентрическими кругами едва заметно исходили от этого недвижимого тела, ленивыми валиками откатывались, да тут же бесследно и таяли. Плоть Леонида Аркадьевича, если позволительно так фигурально выразиться, имея отношение к живому человеку, совершенно отказывалась тонуть. Ни голова, ни ноги, ни туловище с руками, крестообразно упокоенными на груди, казалось, не давали и особой осадки, что присуще каждому физическому телу, имеющему не только объём, но и массу; они как бы вопреки закону сил гравитации зиждились на тонюсенькой поверхностной плёночке воды сил молекулярного натяжения, по которой, извините, позволительно скакать, не промакивая в воде своих лапок, разве что жуку-плавунцу, да и то, если оное делает он с разумною осторожностью.

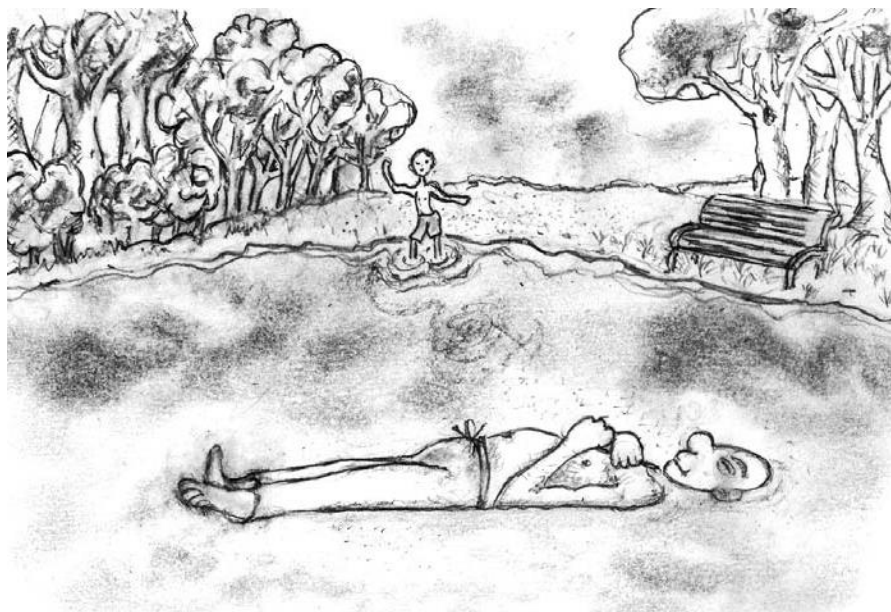
С водою, ты мой брат, шутки не шути, вмиг можно стать утопленником. Трудно и догадаться, что представилось ушлому малолетнему хулигану, узревшему на неподвижной воде благообразный образ упокоенного дедушки в белых кальсонах с матерчатыми тесёмочками, да и ещё со скрещенными на груди руками. Я бы... Ей Богу, точно дал дёру. Этот же умудрился, на свою голову, шмон по карманам произвести. А потом... Да на его бы месте и взрослый дядька обмочился бы в штаны, когда вот так на ухо, да и ещё зловещим шепотком: «Ты ли тот добрый мальчик, что нашёл часики, которые лежали в кармане моих штанов?..».

Тем временем Леонид Аркадьевич без всяких там дураков, а паче того – дурочек и в самом деле крепко заснул. Бабочка лимонница, попорхав некоторое время над ним, без всякого трепета и сомнений, что так присущи этим нежнейшим и пугливым созданиям, уселась на самый кончик его замечательного носа в том самом месте, из которого произрастала бородавочка, как будто это не живое существо, а какая коряга, торчащая из воды. Как помнится, мною овладела настоящая паника. Чего там греха таить, промелькнула зябкая мыслишка:

– А не сделать ли ноги?..

Сложив ладони рупором, блеющим голоском заорал:

– Леонид Аркадьевич! Леонид Аркадьевич! Просыпайтесь... Да проснитесь же вы в конце концов, – уже психую я, – я вовсе не нанимался



стеречь ваши штаны и ваш брегет. Неужели вы не понимаете, что спать на воде опасно, можно потопнуть?.. Просыпайтесь, сейчас же и немедленно! – завопил я ещё громче и даже булькнул возле его головы малюсеньким камушком.

Но Леонид Аркадьевич видно так крепко отошёл ко сну, что и не думал просыпаться. Мало того, он принялся ещё и прихрапывать. Волею порывистого ветерка, налетевшего Бог весть и откуда, подобно айсбергу, пустился в дрейф. Отчаявшись как-то докричаться до него, решаюсь на последнюю попытку. Сбросив с себя штаны и майку, не раздумывая, бросаю своё тело в холодные воды, которые неожиданно оказались совсем даже тёплыми, что есть мочи гребу в сторону вольно дрейфующего по ветру дедушки в белых кальсонах, со скрещенными, как у покойничка, ручками на груди, вздумавшего крепко выспаться. Бабочка, почуяв опасность, мигом вспорхнула, гонимая ветерком, боком полетела в сторону зеленеющего бережка.

– Леонид Аркадьевич! – кричу на самое ухо, – как вам не совестно вот так притворяться утопленником, вставайте немедленно...

От психости так шлёпаю ладошкой по воде, что брызги хрустальным веером разлетаются во все стороны. Заморгав глазками, он, как это случается с крепко спящими людьми, попытался поменять позу, лечь на бочок

и даже поджать к животу ножки. Это ему, к моему великому удивлению, частично удалось, но совсем ненадолго. В силу ли неустойчивости положения массы, или по каким иным неведомым науке причинам, тут же перекувыркнулся, но не обратно на спину, как лежал ранее, а на живот. При этом и нос, и рот, и даже почти вся голова оказались в воде, а руки вытянутыми, как у солдата, по швам. Сразу же раздался богатырский храп. При этом никаких пузырей и бульканий, которые непременно уж как-то должны были производиться, так как органы дыхания находились ниже уровня воды, никак не наблюдалось. Громогласный храп, о Господи, исходил из его собственных ушей. Подобно репродукторам, они вздрагивали и вибрировали над самой поверхностью воды, да так, что по ней ясно прослеживались мурашки, как это случается при воздействии звуковых колебаний, если по полному стакану с чаем резко ударить ложечкой. От того ли?.. Но по поверхности воды пошли зыбкие ряби, а в области торчащих островками пяток стали биться мелкие волны. Издав особо зычную руладу, Леонид Аркадьевич странно пискнул фистулой, произвёл в воде булькающие пузыри, тут же и проснулся. Нарочито не замечая рядом с собою меня, вытянув вперёд шею, загребая ручками под водою, по-собачьи поплыл к берегу.

– Ты зачем без присмотра оставил мои часы? – тут же набрасывается на меня. – Я для чего тебя позвал? А вдруг, пока мы резвились на водах, их взял бы кто-нибудь, да и попятил вместе со всеми нашими вещами. Таких штанов и такой рубахи, чистейший лён, и в целом свете сейчас не сыщешь. А подтяжки, которые я по хорошему случаю купил в Копенгагене... Да им сносу нет, настолько гудаперчивые. Ты об этом подумал?.. К тому же именно сегодня, на девятнадцать тридцать у меня назначена, мною самим назначена, – уточняет он, – встреча в Смольном с Владимиром Ильичом. От социал-демократической фракции либералов – Лейба Давыдович Бронштейн... И Бухарин с товарищами приглашены. Хотя, по-честному говоря, очень не хотелось бы. Начнут опять педалировать...

Дрожа от холода и психости, дробно лязгая зубами, с обидою выговариваю:

– А что... Как вам не совестно вот так притворяться... Разве никак дома нельзя было выспаться? И вообще... Загорать, да и плавать в общественном месте, где столько людей и есть даже тётки, а вы в допотопных белогвардейских кальсонах с завязочками, в наше время считается неприличным. Вы что, хотите, чтобы нас принялись дразнить. Попросите Аду Марковну, обязательно попросите... А хотите, я сам ей скажу, чтобы она вам купила в магазине настоящие купальные трусики, а ещё лучше – плавки. Подумайте, в конце концов, и обо мне. Увидя вас в таком вот

виде, в этих дурацких старозаветных кальсонах, а меня в домашних трусах, – ведь это ради вас я прыгнул в воду, чтобы спасти, – кому не захочется показать нам язык или скроить какую обидную рожу...

И действительно, молодая парочка – парень и красивая девушка, неожиданно показавшиеся из-за лодочной будки, хоть и шли в обнимку, никого не замечая, очень даже обратили внимание на дедушку в мокрых исподних штанах, прыснули от смеха, а девка ещё и взвизгнула.

– Вот видите, – досадливо машу я рукой, – это они над вами вот так...

– Почему же надо мной? – вдруг обижается Леонид Аркадьевич, – мне кажется, что вовсе не надо мною, а наоборот, над тобою... Посмотри на свой жалкий и удручённый вид, лишённый, кажется, и искорки радости. Что с тобой, Вовка? Удержаться ли кому от смеха, глядя, как ты дрожишь каждой клеточкой своего тщедушного организма, да и ещё громко стучишь зубами. Ведь это умора, да и только. А если кому мои кальсоны, пардон, не нравятся, то экая беда... Могу и снять. Тем более... Не в мокром же нам белье идти через весь город? – смотрит с удивлением на меня.

Не раздумывая – провалиться мне под землю, едва повернувшись к кустам, не обращая и малейшего внимания, что неожиданно могут появиться люди, а тем более тёти, принимается стягивать с себя дурацкие подштанники, лягаться ногами, так как, вывернувшись наизнанку, они застряли своими штанинами в щиколотках, напевать и довольно громко:

*Мадам Бобо курила папирасы,
Носила шёлка чистого бельё.
За ней тащились пьяные матросы
И всякое отпелое жульё...*

Потеряв дар речи, словно это не он, а я без штанов, от срама такого приседаю на корточки, хватаю в охапку свои штанишки, майку и сандалии, в мокрых трусиках стремглав улепётываю прочь.

5

– Что-что, но от вас, молодой человек, я никак такого не ожидал... Кто вас вот так напугал? Или что вас вот так напугало? Не сказав и слова, ни здрастье вам, ни до свиданья, по-заячьи скакнул в кусты, помчался, словно на край гола света. Оставить друга в таком затруднительном положении, когда ноги запутались в мокрых кальсонах, никакой возможности нету бежать... Обо мне-то вы хоть подумали? А вдруг то, что вот так вас напугало, взяло бы, да и загрызло меня...

– Кто оно? – от изумления теряю дар речи, до предела выпучиваю глаза, совершенно не понимая – о чём это Леонид Аркадьевич.

Случись мне встретиться с ним во дворе, то уж точно пробежал бы мимо, сделал бы вид, что не заметил. Но в том-то и дело, что бежать было некуда, так как столкнулся с ним нос к носу в нашем подвале, куда меня мама послала за картошкой.

– И ты ещё смеешь спрашивать – кто оно, – совсем по-драматически разводит он свои коротенькие ручки с пухлыми ладошечками, обиженно сопя носом. Если бы ничто не угрожало, с чего это бросился бы драпать во все лопатки, да и ещё в мокрых семейных трусах, переодеться было не вариант? Бросил на съедение и убежал гола света. Разве я не подвергался в той же мере опасности? Сначала было растерялся, а потом, как и ты, схватил все свои вещи в охапку и кинулся следом. Да разве тебя догонишь... Только обуреваемый смертельным страхом способен вот так, как ты, драпать, не разбирая дороги. Ты знаешь, – вздыхает тяжело, – знаешь, как от Ады Марковны мне влетело за посеянные мною кальсоны... Такого замечательного белья уж точно ныне нигде не достанешь. Хоть Адочка и доказывала мне, что они приобретены в магазине господина Зингерса в Женеве, я ей заметил, что это не так, и что самолично их купил в Стокгольме в салоне Клауса Фабера, что расположен на Старой площади у фонтана, где набережная. По этому случаю между нами случилась даже маленькая размолвка. Те кальсоны, о которых она говорит, видно, были куплены кому-то другому, а вовсе не мне. Когда я ей благородно на это заметил, то она воспламенилась, что непонятно и из какого принципа отказалась пить со мною брусничный чай, который мы обязательно употребляем на ночь. А всё из-за вас... А потому, уж будьте любезны, если вы честный и порядочный человек, хотя, уж извините, есть веские основания в том усомниться, поведайте моей дражайшей супружнице и соратнице, как это всё случилось на самом деле, и что я кальсоны свои оставил не где-то там... А под кустиком дикой и колючей алычи, в зарослях которой переодевался, когда вы взяли и убежали, потому что грозила опасность. Потеря исподнего в моём возрасте, – нервно потирает он свои пухлые ручки, – это тебе, брат, не шутки.

– Господи! – думаю я, – как ему объяснить, что можно стремглав бежать не только от страха, от опасности какой, а и от стыда. Обвиняя меня чуть ли не в предательстве, неужто не понимает, что своим экстравагантным поступком сам спровоцировал, чтобы я вот так улетучился, дабы не сгореть совсем от срама?

– Леонид Аркадьевич, – напрямую спрашиваю я, – а можно спросить, сколько вам лет?

– Сколько мне лет?.. – лукаво улыбается он, по-смешному морщина сократовский лоб, сдвигая на самый кончик своего замечательного носа круглые железные очки, так схожие своим видом с пенсне Антона Павловича Чехова, – как же мне того знать?.. Ты что, думаешь один только такой – мальчик без времени? Познай пути моих ступеней, научись, как я, дышать ушами, тогда и спрашивай. Кстати, твою книгу, которую ты сочинишь лет этак через пятьдесят, но никак не раньше, хотя тебе-то какая в том разница, твоего «Боборику» прочитал. Кое-что и из стихов твоих, но нынешних... ей-богу, Вовка, чуть мозгами не повредился. Как так можно:

*Нету большего кошмара,
Боже! Ё-моё...
Собрались у речки Мара
Всякое зверьё:
Бегемоты, крокодилы,
Антилопы Гну,
Зебры, злобные гориллы,
А ещё Му-му...*

А причём здесь, Вовка, Му-му? – рифмоплёт ты этакий... На равнинах Серенгети, замечу, – бескрайних равнинах Серенгети, где протекает эта самая речка Мара, никаких Му-му не водится. Жирафы есть, львы и тигры есть, и гиены обитают, и даже гиеновидные собаки, а деревенских дворняг... Вот же придумщик. Неужели этих самых Гну ну никак нельзя было срифмовать? К примеру:

*Бегемоты, крокодилы,
Антилопы Гну,
Зебры, злобные гориллы,
Синий Гулуну...*

Хоть я и сам не знаю, кто есть этот самый синий Гулуну, но всё равно же гораздо лучше получилось, чем у тебя. Так вот... Как проникся мысленно и душевно в этакое-то, честное слово, с чего бы мне врать, чуть крышу не завело куда не надо. Но сам ведь знаешь... Чуть совсем не считается. Сколько ни тужился, как ни старался, не выходит, как у тебя. И мыло хозяйственное... Целый кусочек проглотил, и с продраным зонтом в глубокий овраг прыгал, вниз головой крошку ел, всё без толку. Самой, казалось бы, малости не хватает, тютельки самой премалюсенькой, чтобы, как ты, стать Честным Сумасшедшим Человеком.

Оробел, видать, собственной же совести своей. Думаю, понимаешь, на что я намекаю, – тонко улыбается Леонид Аркадьевич.

– Да ничего такого я не понимаю, – нервируюсь я, – а убежал вовсе не из-за какого-то придуманного вами страха, а от позорища.

– Какого такого позорища? – с изумлением смотрит он на меня. – Зверь, что ли такой? Не видел я никакого позорища...

– Зачем вы, Леонид Аркадьевич, такой большой и взрослый, почти что дедушка, а так специально притворяетесь? – с дрожью в голосе спрашиваю я его, – кто же среди белого дня, да и ещё там, где гуляют всякие курортники, и даже из Москвы и Ленинграда, а притом ещё и с тётками, свои мокрые кальсоны выжимать стали на виду? Я от стыда чуть не умер... Чуть сквозь землю проваливаться не начал.

– Станный ты человек, Вовка... Не верю своим ушам, и глазам уже не доверяю. Ты ли это говоришь? Душить людей ядовитым химическим дымом, пугать невообразимыми по мощи пушечными громами взрываемых тобою самопальных снарядов, посредством дрожжей и карбида, в самый летний зной взбучивать содержимое частных нужников, связывать верёвкою ручки входных дверей противостоящих квартир на лестничной площадке, а потом трезвонить в обе... Это не стыдно? От этого не хочется сквозь землю провалиться или сгореть? Нашёлся мне тут моралист... От стыда он чуть не помер... Забыл, как с высоченного тутовника, когда вдруг приспичило, притаился и потихоря накакал вниз... А Перепёла – дружок твой, и духом не ведая, хотя мог бы и почуять, поскользнулся и слетел с высоченной ветки на рёбра. Хорошо, что в мягкий палисадник.

Чтобы увести разговор из ненужного мне русла, на его замечания никак не реагирую, словно это и не про меня, выкраиваю обиженную рожу, с дрожью в голосе спрашиваю:

– А что... Вы ко всем вот так обращаетесь, то на вы, а то на ты? Или только ко мне?

– А как, позвольте, мне обращаться, когда и малое, и великое, как возвышенное и низменное пребывают одновременно в одном сосуде? Тебя, Вовка, почаще бы лупить следовало. Хотя... Ваши сумасшедшие рассуждения по некоторым, казалось бы, малозначимым вопросам, ох как заставляют порой крепко призадуматься. Никогда тебе, Боборика, не стать взрослым, не сделаться умнее своего младенческого. Будь каким есть... Начало истинной мудрости в юношеской горячности и влюблённости. Изведи на земле всех чудаков, и прекратит существование сама мудрость. Хотя... Скажу тебе по великому секрету, – боязливо озирается по сторонам, словно кто-то может подслушать, – глупцом быть всегда веселее, когда им понарошку. Всё понял? – насмешливо меряет

меня с ног до головы. – А это, – указывает пальцем на нашу дощатую дверь, – ваша кладовка?

– Наша, – отвечаю я ему, – а что?

– Тебя, наверное, так же, как и меня, послали за картошкой? Ведь правильно я угадал? – загадочно смотрит на мою клеёчатую хозяйственную сумку. – Давай поменяемся... Я наберу в свою сеточку вашей картошечки, а ты вон из той кладовки, – нашей.

– А какая в том разница? – настороженно спрашиваю я, ожидая подвоха.

– Дело в том, ты ведь никому не расскажешь? Скажи честное слово...

– Честное пионерское, что никому не выдам... Зачем же мне вас выдавать?

– Вот именно, зачем?... – серьёзно говорит он мне. – Ты же не хочешь, чтобы надо мною потешались и дразнились?

– Да зачем же мне этого хотеть, – уже с обидою в голосе говорю я ему, – какая мне в том польза? А если уж не доверяете, то тогда и не надо...

– Нет, нет... Я тебе ещё как доверяю, – суетится Леонид Аркадьевич, – да и дело-то... Какое там дело... Яйца выеденного не стоит; честное благородное, и просить-то даже совестно. Дело вовсе не в робости моей, но... То ли нервы ни к чертям, а может, и вправду – в потёмках-то что не померещится, когда лампочку некуда ввинтить, потому как патрон нарушился, а этого самого электрического тока я боюсь ещё больше, – в общем, как приоткрою дверцу своей кладовки, то уж обязательно из темноты харя покажется ослабленная. И голос... такой тихий и загробный, как из-под земли: «Принёс сухариков? Принёс сухариков?». А три дня тому назад, так и вообще страсть...

Леонид Аркадьевич опять суетливо и боязно начинает озираться, – я только картошечку из мешка... А она как затрусится, словно живая, как застучит дробно, будто это и не картошка вовсе, а полный мешок высушенных коленных суставов, которыми в бабки играют. Конечно же, причудилось, – опять озирается по сторонам, – совсем нервы никудышные. А ты... Вон ведь какой смелый, раз решился меня спасать, когда я уснул на водах. А вдруг... Я бы вцепился в тебя мёртвою хваткой, да и ещё за горло – ты знаешь, какие у меня пальцы цепкие... Вот попробуй-ка, разожми, – протягивает мне свой туго сжатый кулак, – вмиг бы оба пошли на дно.

От таких разговоров мне тоже становится страшновато. Из каждого тёмного закуточка замерещились шевелящиеся рожи. Невольно, как и он, я начинаю озираться.

– Леонид Аркадьевич, – взволнованно говорю я ему, – а давайте я вам насыплю нашей картошки, а потом, когда-нибудь, когда ваши нервы успокоятся и перестанут болеть, вы меня угостите своею. Честное слово, наша картошка самая вкусная в мире, папа так сказал. Её нам привезли из Верхней Балкарии. А там, всем известно, самая лучшая в мире картошка, капуста и яблоки.

– А что же я скажу Аде Марковне, – волнуется Леонид Аркадьевич, – ведь она, уж точно, заподозрит, что эта не наша. Видишь, какая у вас картошечка, – берёт из мешка картофелину, – красная и кругленькая, и даже пахнет по-другому, – почти касаясь носом, нюхает... А наша с беленькой кожурою и продолговатенькая. Я в прошлый раз, когда нервы расшалились, вместо того, чтобы своей набрать, купил в магазине. Ада Марковнавмиг прознала. Пришлось долго объясняться. А это... Ужлучше, невзирая на ослабленную харю... В общем, сам понимаешь...

– А и не надо ничего придумывать. Имеем же мы право поменяться?.. Поменялись, и всё... Мне вашей, белорусской, захотелось, а вам – верхнебалкарской. В конце-то концов, – убеждаю я его, – имеем мы право на честный обмен? Что в том дурного?.. Ваша жена, я даже в этом уверен, – солидно убеждаю я Леонида Аркадьевича, – вас ещё и похвалит, когда испробует, какая она вкусная, давайте мне вашу сетку.

– Ну, разве что так, – смущённо потирает он руки, – неловко как-то... Ведь это явный ущерб...

– Да какой там ущерб?.. Я же сказал, что потом, когда нервы ваши успокоятся, и голоса, и всякие буки перестанут мерещиться, мы и расквитаемся.

– Ну, разве что так, – не совсем уверенно говорит он. – А может всё же вместе... Заодно и проверим. Если тебе, Вовка, никакой хари не причудится, а мне наоборот, то хоть буду знать, где образовалась дырка.

– Какая дырка? – переспрашиваю я. – Вы думаете, что хомяки или крысы прогрызли норы и вот так хулиганят? Папа сказал, что у крыс такие зубы крепкие, что они даже способные бронированную оплётку кабеля перегрызть. А алюминиевый проводок так и вообще для них запросто. Потому, наверное, в вашей кладовке свет и потух. И патрон, и лампочка здесь не причём. В следующий раз, – успокаиваю я его, – когда куплю батарейку для своего китайского фонарика, пойдём вместе и отремонтируем электрический ток. Самое главное найти то место, где они этот проводок перекусили, и всё... Что мы, не мужики, – самым серьёзным тоном говорю я ему так, как это говорит иногда папа, если требуется выполнить малознакомую работу, возлагая надежды на природную смекалку.

– Лёня! Леонид Аркадьевич! – доносится густым женским голосом со стороны центрального прохода.

Тут же раздались чьи-то шаркающие шажки, словно наждачной бумагой по бетонному полу, на боковой от окошечка стене ломаными очертаниями обозначилась двойная серая тень. В мрачном прямоугольном проёме коридорчика проявилась женская фигура с зажжённой керосиновой лампой на вытянутой руке, в ситцевом халатике и в резиновых галошах на босу ногу. Это была Ада Марковна. Близоруко сощуриив глаза и всплеснув руками, отчего резко запахло керосином, она с достоинством, но не без раздражительности, почти мужским голосом пробасила:

– Здравствуйте нам... Я уж было подумала, Пуся, что вас крысы умяли. Это же надо... Битых полтора часа как нету. Уж точно, подумалось, что на базар за картошкой... Леонид Аркадьевич! – начинает она наливать пунцами, – что это за такие фантазии? Обо мне-то хоть подумали... В грязном подвале, – окидывает меня с ног до головы, – о чём можно вести разговоры вот столько времени? Как то можно... Ведь, почитай, его два часа как нету... Столько времени в каменных казематах, переполненных блохами и всякими заразными микробами... Меня-то хоть пожалейте... Господи...

– Адочка! Голубушка, – засуетился враз Леонид Аркадьевич, – успокойся, пожалуйста, не нервничай. Ведь ты же знаешь, что тебе никак нельзя нервничать с твоим псориазом...

– Господи!.. – ещё выразительней посмотрела она на него, многозначительно качнув головою в мою сторону, – уж полно. Что для вас мои нервы, когда вы вот так...

– Ради Бога, не нервничай... Ситуация такая, – притоптывает ножками он, словно решаясь: бежать или не бежать куда от суровых глаз супружницы. – Ситуация, понимаете ли... Свет в нашей кладовочке перегорел... Да и напротив, в коридорчике, кажется. Ведь совсем недавно лампочку сам менял; скрутили уже... И что за народ, – разводит руками. – Вот мы с молодым человеком и думаем, рассуждаем, значит, как это всё по-правильному устроить, чтобы током не дёрнуло, как тогда, с этим самым твоим утюгом... Ведь, почитай, что заново родился, так меня этим током дергануло. Видать мыши провода перегрызли... А мы что, не мужчины... Да и образование, – взволнованно жестикулирует своими пухлыми ручками Леонид Аркадьевич. – Вы, наверное, Адочка и запомнили уж, как в тринадцатом году, будучи в Праге, перед самым отъездом в Австрию увлёкся теоретической физикой, посещал лекции небезызвестного профессора Точика Краупфера.

– О Господи! – уже по-правдышнему волнуется Ада Марковна, – этого ещё нам не хватало. Какое электричество!..

– Молодой человек, – обращается она ко мне, – не берите всерьёз то, что он вам там предлагает. Кто же лезет в провода, в которых находится настоящий электрический ток, не смысла в том ни бельмеса?! Я сама вызову жёковского монтера. Нашлись мне мужики...

– Забыл, – оборачивается к нему, – как молотком палец прибил, почти расплющил, когда забивал в стенку гвоздичек?

– А как же картошка? – плаксиво тянет Леонид Аркадьевич, косясь в мою сторону, странно помаргивая одним глазом.

– Ада Марковна, – с горячностью обращаюсь я к ней, – не надо ругать Леонида Аркадьевича за то, что он позабыл на озере свои кальсоны.

– Чего?! – до предела округляет глаза она.

– Вот я и хочу признаться вам, как на самом деле всё было, чтобы вы ничего плохого не подумали и не ругали дядю Лёню, который совершенно и не виноват, что я бросил охранять его часы вместе с сандалиями, штанами и рубахой, и ещё гуттаперчевыми подтяжками и кинулся в воду его спасать, когда он улёгся спать на воде и чуть не потоп. Вернее, это мне так показалось, что он чуть не пошёл ко дну. На самом деле он и не думал тонуть, а просто храпел ушами.

– Какие кальсоны?! Какие уши? – изумлённо вопрошает Ада Марковна. – Кто утонул и кто кого спасал на этих самых водах?

– Адочка, – совсем волнуется Леонид Аркадьевич, – вы так кричите, что право, не даёте молодому человеку сосредоточиться, всячески запутываете его – моего товарища и друга по имени Вова, рассказать по порядку, как всё случилось, когда потерялись кальсоны. А он, между нами, и уж кто-кто, а я-то это точно знаю, потому как подробнее составленный мною гороскоп не врёт, он не просто Вовка, то есть Боборика, но и тайный магистр ордена Иллюминатов-Иллюзионистов, почти что настоящий клоун, но в прошлой жизни, о чём то есть ныне и сам даже не совсем догадывался. Если бы знал досконально, да разве бы сделался пионером – юным борцом с религиозным опиумом? Да ни в жизнь...

– Ада Марковна! – оправдываюсь я, – Леонид Аркадьевич специально вот так на меня придумывает, потому как любит подшутить. Никакой я не баптист, а пионер, потому что ношу красный галстук. Всякие тайны мне, конечно же, нравятся, но, как сказал папа, а мой папа самый умный человек в мире, у любой тайны и всяких разных чудес есть свои научные разгадки. И то, что мешок картошки в вашей кладовке трусится, а кто-то загробным голосом просит сухариков, наверное, тоже как-то научно объяснимо. А иначе и быть не может. Когда трубка от поломанного телефона, которую я подсоединил на крыше к центральной линии радиосети, неожиданно рывкнула мне в ухо, то после этого у меня тоже дня три кто-то в голове шептался на разные голоса, а ещё и пикал.

А врачаха, которая про уши и про горло, и про носы всё знает, сразу же отгадала. Так и сказала после того, как я ей по секрету признался, что без разрешения лазал с Фимкой Гриневичем на крышу четырёхэтажки, чтобы испытать трубку: «Радуйся, Володенька, что барабанная перепонка совсем не лопнула. Как пить дать, оглох бы на одно ухо, а может, и на оба, потому как они связаны нервами. И нюх бы мог потерять, и горлом онеметь...»

– О Господи! – хватается обеими руками за голову Ада Марковна, – кажется, и у меня в голове начинаются какие-то шумы. Я вам обоим, – грозно басит она, – и без всякой науки докажу, что вы оба придумщики и трусы и что никаких харь, как вы изволили выразиться, а тем более голосов с требованиями сухарей в природе не существует. А если где они и водятся, – неожиданно задумывается она, словно её начинают одолевать какие-то сомнения, – то уж точно не в нашей кладовке. Трусы несчастные...

Прибавив в керосиновой лампе огня, забрав у мужа замочный ключик и сетку, презрительно окинув нас взглядом, смело и гордо ступила во мрак глухого закутка, перегороженного к тому же наполовину чьим-то выставленным шкафом, туда, где в самом конце коридорчика располагалась дверь нехорошей кладовки. Переглянувшись, не без робости, мы последовали за ней, совершенно уверенные, что хоть и наукой всё можно объяснить – далеко не всё можно доказать.

– Что такое?.. – недоумённо бормочет Ада Марковна. – Лёня!.. А почему двери нашей кладовки расхристаны настежь? И замок... А замок так и вообще валяется на полу... Как же ты мог вот так закрыть? Ну ничего поручить нельзя... За всем надо проверять... Ха-ха-ха, – принимается смеяться она каким-то неестественным театральным-демоническим голосом, таким, какой иногда можно услышать в радиоспектакле, – да нас, батенька, ограбили... Как есть, петли с корнями выдраны. Всё подчистую... Ни солений, ни твоего любимого варенья смородинового и... И картошки совершенно нема... Оба мешка спёрли. И даже тот маленький, что стоял у самого входа. Вот и все доказательства вашей нечистой силы. Хорошо, Леонид Аркадьевич, что они, эти хари, да вам по вашей харе чем не съездили. А ведь могли бы... Всё же вместе, и это я вам могу сказать совершенно определённо, логично, как следствие вытекает из одной причины: вашего полнейшего жизненного голово-тупства. Кстати... Потерянные кальсоны в этой череде также нельзя признать случайностью. Закономерность и ещё раз закономерность! – гневно трубит почти мужским голосом Ада Марковна, уничтожающе сверля мужа взглядом. – Я вам всегда говорила, всегда предупреждала,

что все эти психотелепатические эксперименты над собою, эти телекинезы, депортации и материализации – пропади они пропадом, всё это ничем хорошим не кончится. Дематериализация наших продуктов питания, чудное умыкновение твоего дамского велосипеда, который в Берлине ты купил мне, а всю жизнь катался сам, не доказательство ли моей правоты. А потому... Забудьте на время о своих любимых картофельных пирогах и ватрушках, и о фри на гарнир к котлетам забудьте. Варенье заменим покупными мятными пряниками.

– Молодой человек, – обращается она ко мне, – вы любите капусту? Не дожидаясь ответа и не без иронии продолжала:

– Ждём вас в гости – иллюминирующий вы наш человек. Приглашаем на наш традиционный и праздничный капустник по случаю дня рождения...

– Леонид Аркадьевич! В конце-то концов, – на полном серьёзе обращается она к нему, – могу я знать правду о вашем настоящем возрасте? Что вы всё как красна девица... То вам всего шестьдесят пять с хвостиком, то почти семьдесят с лишним... А мне так кажется и все восемьдесят пять. Уж слишком вы стали отдаваться ребячеству.

– Адочка. О чём это ты, моя родная?.. Какой возраст?.. Какие наши годы? Тогда как мы, как же ты могла запомнить, почти ровесники, – ядовито парирует он.

6

Как я выше уже упоминал, Леонид Аркадьевич и Ада Марковна проживали в нашем девятистоквартирном доме во втором подъезде и на втором этаже, в квартирке сразу же от лестничного марша налево, если подниматься вверх. Добронравные старички, такими они нам казались, жили вдвоём, детей не имели, чужих не чурались, а потому, если выходили во двор, обязательно оказывались в окружении детворы, шумно галдящей на все голоса, выделяющей перед ними чёрт знает что, настойчиво требующих дядю Лёню показать, как он умеет не только шевелить ушами, но и дышать, а более того... Это невозможно и помыслить, и представить невозможно – выводить из этих самых ушей достаточно громкие звуки. Как это можно? И возможно ли этак вообще? Оказывается... Ну, в общем, я сам тому свидетель... Кому же не желается в это верить, кто ж вас неволит-то? Оставайтесь себе неверующим. В нашем государстве таких – почитай большинство. Великая штука – свобода совести...

Как позже мне уяснится, но это когда буду совсем уж взрослым, а их Господь заберёт и пристроит к своим многочисленным обителям, вся их прежняя жизнь, как есть, когда они были совсем ещё молоды-

ми, каким-то образом была связана с революцией, революционными движениями в России, со всем тем, что происходило в самом начале двадцатого столетия. Самым же замечательным из этого было другое: они не заостряли особого внимания, что были не просто свидетелями столь грандиозно-фантастических событий, а действительными участниками. А это, уж поверьте, конечно же, давало множество привилегий, поднимало жизненный статус на такой уровень, что о-го-го! Ты мне, брат, не шути. Ещё бы!.. Своими ушами услышать, как ахнула «Аврора», видеть, как солдаты и матросы штурмом берут Зимний... В ихнем же случае наоборот... Старались лишний раз особо не афишировать, вели себя тише воды, ниже травы.

В связи ли с этим вспомнился несколько пасквильный анекдотик из советских времён, анекдотик про некоего банщика, который в разные годы, начиная с дореволюционных, отказывал будущему вождю мирового пролетариата в элементарной просьбе выдать, как положено, соответствующий инвентарь для помывки, то есть шаечку. Мало того... Сопровождал просьбу нецензурной бранью, посылал куда подальше. Соль же анекдота заключалась в том, что много-много лет спустя, когда и вождя не стало в живых, а банщик превратился в дремучего старца, его, то есть этого самого банщика, показывали людям, как свидетеля, живого свидетеля, хочется подчеркнуть, человека, с которым не единожды беседовал сам Ленин.

А здесь!.. Шутка ли... Представьте себе настоящие хроникальные фотографии, где вы личной персоной, да и ваша молодая соратница – жена, – с ума сойти! – в окружении таких лиц, как Владимир Ленин, Иосиф Сталин, где мелькают, как в калейдоскопе, и Троцкий, и Каменев вместе с Зиновьевым, и Бухарин с Бонч-Бруевичем, и даже Яков Свердлов под ручку с Коллонтай. Представили!.. Уже одно это, само причастие к таким личностям сделало бы вас человеком легендарным, дало бы массу всяческих привилегий, вознесло бы чёрт знает на какую бы высоту. Здесь же... И не единого намёка, что лично были знакомы с такими товарищами, при употреблении имён которых и оторопь берёт, а в груди аж делается волнение. Кто они такие – Леонид Аркадьевич и Ада Марковна? Как они могли попасть в окружение таких видных господ? Как по-настоящему звучат их фамилии, которые я так и не узнал? Он был Леонидом Аркадьевичем, она – Адой Марковной. Он носил странную рубаху-толстовку, которую в то время можно было увидеть, разве что в каком театральном спектакле, но никак не в повседневной жизни. Сам его образ – некоего толстовца, сторонника идеи непротivления зла – насилию никак не согласовывался с революционерами-

бунтарями – большевиками, меньшевиками, эсерами, троцкистами, в компании которых он зафиксирован беспричастной фотохроникой. Она, женщина со столь редким именем Ада, хоть и одевалась по-простому, без всяких там претензий на моду или роскошь, была на самом деле дамою далеко не их простых, довольно выкамуристой и даже взбалмошной. Так, однажды в автобусе за то, что кондукторша обратилась к ней не должным образом, то есть на «ты», тут же повелела остановить машину, не заплатив пятак за несколько уже проеханных остановок, гордо вышла. И ещё... Как ни престранно, при таком, мягко говоря, солидном возрасте была бабулькою страшно ревнивою, на мою просьбу купить Леониду Аркадьевичу купальные трусики в полосочку, в которых сейчас загорают все, не сдержалась, мрачно съязвила:

– Что толку-то... Он и их, уверена, непременно как-нибудь позабудет у очередной дамы, – яростной поклонницы теософии, метафизики и астрологии. Или свёрнутой головою на Фрейде – фрейдистке, с её неуверяемым, как его там?.. – морщится, словно от лимона, – ах да, вспомнила – либидо.

– Ада Марковна, – краснею я, так как считаю себя уже весьма взрослым и по этим вопросам, – это вы вменяете ему те самые старозаветные кальсоны, которые он впопыхах забыл на озере? Разве не так?

– Но, но, мальчик, – строго смотрит на меня, укоризненно качает своею седою головою, – вы навязываетесь на очень неприличные взрослые разговоры. Кстати, а сколько вам годиков? – иронически щурится, окидывая мою тщедушную фигуру взглядом с ног до головы.

– Мне?.. Мне уже тринадцать... Двадцать седьмого марта исполнилось тринадцать лет.

– Ну, раз уже тринадцать, – лукаво подмигивает мне, – то уж наверняка есть девочка. Ведь правильно я угадала, – смеётся Ада Марковна, видя, как я начинаю краснеть ещё гуще. – Или я ошиблась? – опять прищуривает глазки.

– Ну... Есть там одна... Только она и не догадывается, – робко признаюсь ей. – Девчонкам нравятся длинные и которые хорошо учатся. Я же в классе самый маленький ростом; а по математике совсем неважно... Хилые тройки, а иногда и жирные двойки, – по секрету делюсь я. – А зачем вы так спрашиваете? – интересуюсь у Ады Марковны...

– А потому и любопытствую, – опять окидывает меня взглядом с ног до головы, – Леониду Аркадьевичу, да-да, не удивляйтесь, как минимум под восемьдесят, а может, и того более; всё хитрит... Некоторым же из его пассий, если позволительно их так назвать, сорок и даже того меньше...

Старый козёл... Никак не успокоится со своим либидо. А разве ему дашь его лет? – с раздражительностью продолжает Ада Марковна, – молодёжь так и липнет, особенно, когда на гитаре всякую цыганщину начинает бляеть... Вот же старый козёл!.. Убила бы, – уже совсем сердится она, как бы и не замечая моих смущений. – Однако... – спохватывается вскоре же, – кажется, я уж совсем увлеклась в своих глупых рассуждениях; вы уж меня – этакую неумную, извините, пожалуйста; полагаюсь на ваше благородство, думаю, что этот разговор останется между нами?..

– А что вы такого сказали? – наивно пялюсь я на Марковну, хотя отлично же понимаю, что подобные разговоры уж точно при школьниках взрослым вести не принято.

Но однажды, было это, кажется, ранним утром в воскресенье, когда мама отправила меня в магазин, чтобы не проворонить молоко, за которым почему-то всегда выстраивалась очередь, я и сам убедился, что возможно, опасения Ады Марковны не беспочвенны, и что ревность, имеющая быть в ней, весьма даже обоснована. Спускаясь со своего этажа, проходя мимо грудастой молодой уборщицы, моющей в наклон самые нижние ступени лестничного марша, шаловливый старичок так прилепился ладонью к её заднице, что последняя от неожиданности аж взвизгнула. Выпрямившись, гневно пошла было грудью за поруганную честь, да тут же и отступила:

– А!.. А вы, однако, баловник, Леонид Аркадьевич, – не без кокетства говорит ему, тыльной стороной руки поправляя задрвшую юбку, зардевшись алыми румянцами на всю физиономию, – не случилось бы, как в прошлом разе, – озираясь, почти шёпотом говорит ему, – когда едва вчистую не врюхались. Ни, ни, – жарко отмахивается она от наступающего гусакон Леонид Аркадьевича, неестественно хихикая, – под лесенкой ни в жисть... Уж лучше бы к нам в бараки...

Будучи невольным свидетелем этого, я был настолько ошеломлён и сконфужен, что не представлял, как дальше вести себя не только с ним, но и с Адой Марковной. Ведь, как ни крути, получалось, что я за ним подло и низко подсматривал. Хотя... Вина-то в чём моя, что именно в эту минуту я оказался у наглухо забитой парадной двери подъезда, заваленной всякой рухлядью, где пытался отыскать притыренный с давних времён кусок фанерки для выпиливания по нему лобзиком, и о которой вспомнил именно тогда, когда мама послала в магазин купить два литра молока. Но ничего такого не произошло. Уже вечером этого же дня, встретившись со мною у домовой кухни, где он постоянно отоваривался готовым борщом со сметаной, котлетами и гречневой кашей, сделал лицо удивлённым, принялся изъясняться со мною на разных

языках, переходя с английского на французский, а потом на немецкий и испанский, и ещё Бог знает на какие, буйно жестикулируя голову, так как руки были заняты судочками с этим самым борщом, котлетами, кашами и компотом. Пацаны, стоящие рядом, от изумления вытаращивали глаза, смотрели то на него, тараторящего, как из пулемёта, то на меня, внемлющего с умным видом, пытающегося даже поддакивать некими неопределёнными междометиями, но с иностранным акцентом. Наговорившись вдоволь, достаёт из кармана свой брегет на серебряной цепочке, звонко щёлкает кнопочкой репетира. На чистейшем русском справляется у Фильки:

– Твоя, что ли, гитара?

На его вопрос Толик по прозвищу Филипок отвечает, что он играть ещё не научился, а семиструнка старшего брата, которую вынес показать пацанам и чтобы Вовка, – кивает на меня, сыграл на ней песню про: тыны-тыны, у Мартына кролики боролися, тик-так, тик-так – травкой укололися. Он нам врал, что умеет...

Я начинаю густо краснеть, хотя действительно эту тыну-тыну играть умею, но только на одной струнке, самой нижней и самой тоненькой. Не без иронии глянув на меня, Леонид Аркадьевич берёт в руки гитару, поставив одну ногу на ступеньку, ловко подстраивает струны на слух, по-старинному прижимает инструмент к груди, перебором и не без художественной манерности, проникновенно и тенорочком, подобно Козловскому, принимается петь нечто фивольное:

*Ах, эти девочки-кокетки!
Бурлит шампанское – вино.
Прощайте, денежки-монетки,
Расстаться с вами суждено...*

После слов «мне в морду дал городской» пацаны принимаются дружно ржать. Передав гитару мне, самым серьёзным образом обращается:

– Попросим, господа! Маэстро!.. Что-нибудь из неаполитанского...

Присаживаюсь на горячие бетонные ступеньки домовой кухни, принимаюсь старательно пикать эту самую – тыну-тыну на самой тоненькой струнке, неожиданно сбиваюсь, но, дабы исправиться, показать, что не совсем ничего не соображающий в струнах, а кое-что и умеющий, выстраиваю на грифе маленькую звёздочку – дрынёчку, потом большую и даже лесенку, после чего, как идиот – бес меня в ребро, раскланиваюсь.

– Bravo, маэстро, bravo! Вы сегодня превзошли даже самого себя... Поаплодируем, господа, – обращается он к пацанам, – артист... ей-богу, артист...

В самом весёлом расположении духа незаметно подмигивает мне, достаёт из заднего кармана брюк маленькую и красивую книжицу в кожаном с тиснением переплёте, которая оказывается подарочным блокнотом, следом великолепную автоматическую ручку с золотым пером, протягивает всё это мне и почему-то с чудовищным акцентом начинает говорить:

– Мистер Володия... Ми вас очень желайм получить ваша овтограф, пожалуйста.

Страшно смутившись и покраснев, как рак, – а как тут не смутиться, когда пацаны, как один, вылупили глаза, – по-взрослому, быстро и нервно чиркаю нечто, больше схожее на каракулю, чем на выверенную подпись артиста, какую можно увидеть на фотографиях, что продаются в киосках «Союзпечать».

– Благодарю вас, – вежливо откланивается Леонид Аркадьевич, аккуратно укладывая блокнот вместе с авторучкой в карман, – ви есть хорошая майн фрэнк.

После чего с наисерьёзнейшим выражением лица удаляется в сторону своего подъезда, унося вместе с собою запах свежего борща и жареных котлет с гречневою кашею.

– Вовка! Он что, действительно настоящий заграничный иностранец? – не без робкой зависти спрашивает меня Аська – девчонка из соседнего дома, которая мне, не знаю и почему, но, как и Ритка, а ещё и Ворокова Лелька, тоже нравится.

– Конечно же, иностранец, – не моргнув глазом вру я, – совсем недавно переселился из своей Америки к нам в Советский Союз. Не слышала разве, как он на своём империалистическом языке с нами вот только что разговаривал? – киваю я на пацанов.

– Ты что, Вовка!.. Такой знаменитый что ли, раз он у тебя, как у какого космонавта, расписку взял в свой красивенький блокнот? У меня же не взял и у Гриньки Гриневича не взял, хотя у него дедушка знаешь какой учёный? Откудова он тебя знает?

– Откудова, откудова, – передразниваю я Аську, выкраивая на лице наисерьёзнейшую физиономию. – Может, у него такое задание... Ты что, думаешь, там в ихней Америке все дураки и ничегошеньки не знают?.. Прочитал, наверное, мое стихотворение, которое ещё давно было напечатано в «Пионерской правде»... Про кубинскую революцию и про муху, которую на зиму замуровали между двух оконных рам, где она горько плакала, пока не уснула до весны, и про кораблик, вернее, лодочку, вот и приехал познакомиться лично, – безбожно вру я. – В прошлый раз, когда ещё случайно встретились в подвале, куда его жена за картошкой

послала, уже тогда битый час упрашивал меня поехать погостить к нему в их Соединённые Штаты, да разве я предатель?.. Прямым к нему так и сказал, что нас – советских пионеров за кока-колу и жвачку не купить. Может у него задание такое, заманить и завербовать к себе за то, что я вот так похвалил кубинскую революцию и самого Фиделя Кастро Рус?

Почувствовав, что крайне завираюсь, для убедительности лезу в карман, достаю новенькую десятицентовую американскую монетку Соединённых Штатов, которую действительно мне подарил Леонид Аркадьевич, когда узнал, что я их коллекционирую.

– Дурак ты, Вовка, – по-настоящему психует Аська, – если бы меня вот так пригласили, я бы ни за что не отказалась. Ты знаешь, какие у них длиннющие дома, аж до самого неба? Их ещё называют небоскрёбами... А негры все, как один, гуляют в белых нейлоновых рубашках и самых модных тесах на заклёпках. И ещё у них жвачки за бесплатно продаются на каждом углу; и кеды... – Сама ты дурра! – с вызовом говорю я Аське, совсем позабыв, что она мне нравится, – настоящая предательница.

7

– Не получится ли так, – размышляю сам с собою, – что некоторые из твоих воспоминаний, которые ты с таким прилежным старанием фиксируешь на бумажках посредством чёрных чернил в силу их малой очевидности, не говоря уж о достоверности, могут быть признаны не просто фантазиями, что весьма с точки зрения литературного жанра допустимо, но и... О ужас!.. Сумеречными абберациями сознания... А это... Как не крути пальчиком у собственного виска... Ну, в общем, сам понимаешь.

– Ну, конечно же, получится, непременно получится, именно так и станется, – восторженно отвечаю я, запихивая за щеку очередную карамельку с запахом клубнички. В том-то и вижу достижение своих целей, тем и дерзаю. А именно: посредством пера описать факты очевидные (для меня), но невероятные (а это уж – каждому по его вере), свидетелем которых собственной персоной и стал. Во-вторых... Пробудить у каждого читателя интерес к такому нескончаемому объекту исследования, коим он есть сам. Да, да!.. Именно так!.. Сам!.. Не к Трофиму Ульяновичу Потябатько, что, как всем известно, после седьмого стопарика горилки уснул в корчме, а проснулся на улице и без одного ялового сапога, не к Матрёне Прасковьевне по фамилии Пуговка – женщине пышной и фигуристой, за которой так приятно наблюдать в щелочку забора, а к себе лично, со всеми к тому удовольствиями. Найти ли более

увлекательные путешествия, чем путешествия по тропочкам собственной памяти? Сыскать ли во всём свете чего более правдивей этого? От самого себя-то кто убёг? Интересно устроен человек: признаться во всеуслышание, что летал во сне аки птица небесная, натуральнейшим образом летал – можно, и запросто. А то, что не во сне, а наяву провалился в нужник вместе с прогнившими полами или во все лопатки удирал от взбесившегося козла, а ещё пуще – прокрадывался ночью домой в чём мать родила, прикрываясь лопухами, аки фиговыми листьями, потому как на реке, пока бултыхался, одежду вчистую попятели – ни-ни...

Зачем же, признайтесь сами себе, так усердно скрывать то, о чём и так уже давно всему свету известно. Мыслесфера есть достояние общественное. Не подтверждение ли тому: не бывает ничего тайного, что бы не стало явным... Не совершайте порочащих вас поступков, не мажьте свои лица дёгтем и уверяю, что тут же избежите всяческих порицаний и зловредных разговоров. А коли по незнанию или глупому неведению, по какой иной неосмотрительности и совершилось, то не лучше ли найти в себе духу, смелости найти в себе и признаться в содеянном, посмеяться от всей души над собой же – дураком и простофилей, но только вместе со всеми. Вот весело-то будет!.. А то... Как же это получается, интересно, надо сказать, получается... Как герой-стахановец, ударник коммунистического труда, примерный семьянин – во всё горло и уши. А то, что запойно пьёт, буянит и сквернословит, у соседки украл курицу и круг жмыху из сарая – брехня. Не на трезвую же украл... И с чужой жинкой в кукурузе – сон во сне. Какая к чёрту кукуруза, когда своя родная есть на кровати... Так не бывает. А потому ничему не удивляйтесь, граждане, всякому есть место в этом грешном мире, бесконечно иллюзорен человек, познавайте в первую очередь себя – голубчика, а можно и голубушку, много прелюбопытнейшего откроется. Следовательно... Если сильно постараться, умножаясь верою и практикой, то можно научиться дышать не то что ушами, но и ещё одним местом. Не бойтесь той балаганной весёлости, с которой будут судить вас всякие острословы, смакуя особо пикантные штучки, взятые из вашей жизни. Радоваться надо!.. Радоваться, что вы не предмет печалей и раздражительности, не предмет горестей и болей, а нечто совершенно противоположное оным. За так похваляемую вами серьёзностью (мудрости неведома потеха), признательностью, почётом, орденами и славою кроется порою обыкновенный властолюбец – вор, жулик и пройдоха. И разве мы их не знаем в лицо?

По моему же случаю задам вам вопрос: можно ли быть на белом свете художественной прозе без художественного свиста? Сам же и отвечу: да ни в жисть... Кто же оную преснятину будет употреблять, да

ещё и вовнутрь? Для наружного... Весьма даже может быть; как-никак, а бумага. К внутреннему же употреблению без добавки соли, перцу, хрену и горчицы и не подавайте, ведь и вправду от смеха расплачутся.

Престранный гражданин по имени Леонид Аркадьевич никак не выдуман мною; он реально был, существовал, да и наверняка поныне существует где-то там, где ни печалей, ни слёз, ни воздыханий. И ушами мог дышать, и преспокойненько, как на мягонькой перинке, спать на воде – я свидетель. Но!.. Но что всё это в сравнении с иными его скрытыми способностями духа, такими, как предугадывание событий грядущего времени, чтение мыслей, внушение кому-либо этих мыслей на расстоянии. Как мне однажды признался, но по великому секрету, чуть ли не каждый день общается с графом Сен-Жерменом Калиостро, Вольфом Мессингом и, помнится, ещё с каким-то то ли Вульфом, то ли Фрейдом. Так как имена данных граждан мне тогда ни о чём не говорили, особого значения его признанию я тогда не придал. И ведь вот что самое интересное... В мои тринадцать лет все его чудеса мне не казались такими уж чудными. Экое дело, что в том удивительного?.. И мне это как-то известно; и я это отчасти умею, только не так, как он, а несколько по-другому, по-своему. Не находя тому особых объяснений, которых, по-честному говоря, и не искал, считал, что и все окружающие меня люди, как и я, о том знают, как о совершенно естественном, а потому и не разглаживают. Что же мне-то тогда из себя идиота корчить? А раз общепринято считать, что нечистой силы, как и самого Бога, на белом светушке нет и быть не может, то какие могут быть к тому рассуждения? Игра такая... Когда с точки зрения науки всем понятно и ясно, а на погосте... Чёрт знает что... Страшно до ужаса. И ещё... Страшно до ужаса не столько тем, что под влиянием мистицизма и всякого религиозного опиума малосознательным, которые, пусть и смутно, но оставляют места «быть» этой самой нечистой силе, а наоборот... Да, да! Воинствующим атеистам страшно – зуб на зуб не попадает, хотя их теория – теория научного коммунизма – давно всё уж объяснила: Бога нет! И это есть медицинский факт.

8

– Владимир... С вашей стороны это натуральнейшее свинство!.. Мы его ждём, ждём и ждём... А его нету, нету и нету... Ада Марковна во имя этого события капустный пирог испекла, наварила чудеснейшего вишнёвого компоту, нарядилась в праздничные одежды, вплела в седые кудри свою алую розу. А он... Что помешало тебе признаться маме с папою, что уже благородным образом приглашён в гости на именины

к своему товарищу, с которым в одной из прошлых жизней азартно бился в бабки в самом вольном городе мира – Новгороде? Вот и получилось, что тебя, подобно покорному мулу, погнали в садоогород, заставили мотыгой рыхлить землю, тякою полоть траву и окучивать грядки. Как же это так? – задумчиво тянет Леонид Аркадьевич, потирая указательным пальцем переносицу, лукаво косясь на меня сквозь толстые стёкла своих железных очков, которые сползли на самый кончик его замечательного носа.

– Во-первых, – возмущённо парирую я, – не огород, а настоящий сад, где растут яблони, персики, сливы, абрикосы и одно деревце айвы, а самое главное – клубника и малина. Во-вторых... Никто меня туда не гнал, как мула или ишака. Папа так и сказал, что нету ничего более унижительного, как работать по принуждению. Любая работа, даже если копаешь яму или вычищаешь конюшню, должна доставлять радость. Те, кто не хотят трудиться, есть настоящие бездельники и тунеядцы, которым не место в нашем социалистическом обществе. А ещё их называют трутнями. Это такие полосатые паразиты, которые воруют у трудолюбивых пчёл мед, а сами его не добывают потому, что лодыри. Вот мы с братом Валерой и сестрёнкой Танечкой ни капельки не лодыри, и землю копаем лопатами даже с большим удовольствием, хотя у меня на ладошках вздулись водяные пузырьки. Знаете, как больно, – говорю я ему, так внимательно меня слушающему. А в третьих... На дни рождения и всякие другие праздники приглашают не в десять часов утра, а уж, по крайней мере, после обеда. Как бы я пошёл объедаться пирогами к вам, на ваш день рождения, когда папа и мама, и братик с сестричкой пошли упорно трудиться? Разве это честно?..

– А почему упорно? – смешливо кривится Леонид Аркадьевич.

– Да потому, – гордо отвечаю я, – что без упорства бывает только баловство. Без труда не выловишь и рыбку из пруда, – подкрепляю я то, что сказал, народной пословицей.

– Да, – соглашается со мною он, – это действительно было бы с вашей стороны крайне непорядочно, юный мой садовод. Ни брат Валера, ни сестра, а тем более, папа с мамой тебя уж точно не поняли бы! А потому, дабы не обидеть другую сторону, то есть меня и Аду Марковну, необходимо было сделать самую малость: поднять телефонную трубку, набрать 2-61 и, как должно делать всякому воспитанному человеку, объяснить, что земля-матушка не терпит отлагательств, и что один день кормит порою и год. Вот и все премудрости. Кстати... Чуть не забыл... Давай на сегодняшний день, для интереса, называть друг друга на «ты». Настоящие близкие друзья всегда так обращаются друг к другу. Забыл,

что ли, как в Новгороде?.. Не то, что к какому дружиннику знатному, но и к самому князю великому: бью тебе челом, милостивый княже... Так вот... О чём это я, – чешет макушку Леонид Аркадьевич, рассеянно взирая на мои белёсые и стоптанные башмаки с разноцветными шнурками, один из которых коротенький и чёрный, намертво завязанный на узел, другой – коричневый и длинный, краями сложенный в двойной бантик. – Ага... Вспомнил!.. Специально для тебя – филателиста, нумизмата, собирателя всяческих древних штукювин, любителя голубей, аквариумных рыбок и хомячков добыл две немецкие монеты, – пфеннигами называются, и одну итальянскую лиру с отчеканенным профилем диктатора Муссолини по имени Дуче. А фашистские, с настоящей харей Адольфа Гитлера... Если их у тебя, пионера, кто увидит, то уж точно, наверное, поругает.

– А где они? – тут же вырывается у меня.

– Как где? – с удивлением смотрит он на меня, – ты разве не знаешь... Где же быть таким ценным коллекционным сокровищам, как не в моём собственном карманчике, замечу – секретном карманчике по имени пистон.

– Так покажите же поскорее, – прошу его, от нетерпения переминаясь ножками, как это делают совсем маленькие детки в предчувствии конфетки.

– Ага-а, – поправляет он свое съехавшие на нос пенсне, – так тебе сразу же и показал. Вдруг ты возьмёшь, да и убежишь насовсем... Хитренький...

– Так вы же...

– Не вы, а ты, – тут же поправляет он меня, – мы ведь договорились...

– Вот я и говорю, – совершенно сбиваюсь я, – говорю, потому как сами сказали...

– Кто сказал, – с изумлением взирает он сквозь толстенные линзы своих окуляров, – что сказал?..

– Сказали, что добыли специально для меня, – кое-как доканчиваю я свою фразу.

– Господи! – патетически вскидывает свои руки, – договаривайся, не договаривайся, сколько можно... Как хамил ранее, так и продолжает хамить на «вы». Да! Я их действительно добыл для тебя... А что ты мне за них дашь? Поверь, за просто так... Ну, честное слово, совсем даже не интересно... Может, мне желается свои сокровища поменять на что-нибудь такое, чего у меня нету, зато есть в полном избытке у тебя...

Не умея тактично обратиться к такому странному Леониду Аркадьевичу на «ты», спрашиваю:

– А что товарищу желательно бы заполучить за монетки с харями отъявленных фашистов и душегубов, на которые и смотреть-то тошно?

Округлив от изумления глаза, задыхаясь от моей торгашеской наглости, умения сбить цену товару при помощи вот такой политической демагогии, Леонид Аркадьевич шумно дышит носом, кривится губами, но долго не выдерживает, оглашается громким и заразительным смехом.

– Ну, Вовка!.. Я думал было, что ты бесконечно законченный идеалист, а ты... Ты настоящий валютный спекулянт-прохиндей, – акула империализма. Жаль, что коллекционируешь только монеты. Как бы ты запел, подкати я тебе целую тачку подлинных керенок...

Заметив на моём взволнованном челе нескрываемые черты разочарованный, патины грусти, ободряюще хлопает по плечу, вытаскивает из поясного карманчика своих замечательных штанов большую серебристую монету достоинством в сто лир с выбитым на одной стороне изображением диктатора Дуче Муссолини, следом две маленькие и тоже никелевые, с профилем рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера. Такого Гитлера ранее я никогда не видел, он мне всегда представлялся нарисованным карикатурно, как на плакатах Кукрыниксы, особенно в таком журнале, как «Крокодил», да в кинохронике, где фюрер обязательно истерично орал сумасшедшим голосом, дёргался и махал руками, как настоящий псих. Тут же... С аверса скульптурным рельефом и в профиль в духе древнеримских гемм горделиво возвышалось почти как античное изображение лица великого вождя нации Гитлера. Никакой чёлки, зачёсанной направо, никаких комедийных усиков и острого длинного носа, подобного носу Буратины – строго, возвышенно, патетично. Словно это и не Гитлер, а один из цезарей или императоров Рима.

– Ну надо же, – не верю я своим глазам, – ведь кто-то же отчеканил его так благородно...

– Ну как? – спрашивает Леонид Аркадьевич, тыкая пальцем на моей ладошке, – годятся на безызвестную свалку истории. Запомни, – дёргает глазом, словно подмигивает, – заруби у себя на носу раз и навсегда... Никаких свалок и помоек у Истории не было, нет и никогда не будет. Рано или поздно, но всё возвращается на круги своя. Не с городских ли помоек тысячелетней давности, которые ещё жители Иерусалима называли гаадами и шеолами, нынешние археологи по крупичам добывают себе сокровища? Как же так? Место мерзости, куда свозились нечистоты всех окрестностей, обители непокаянных и неприкаянных разбойников-душегубов, смутьянов, покусившихся на вековые устои власти, само название которого – шеол, что сравнимо с адом, и на тебе... Землю через сита просеивают, дабы не пропустить чего из самого малого

и драгоценного в виде глазурированного осколочка с крохотной буквой – иотой. Львиная доля экспонатов музеев древности, коими восхищаются, охраняют, как зеницу ока от очей алчущих, обретены на территориях бывших городских свалок, а нигде иначе, как кажется многим. И головы, и руки, и ноги, и торсы мраморных скульптур Фидия, а почему бы и не Фидия, найдены там же. От начал сотворений своих есть у человека такая манера, привычка такая к разрушительству. Радостно же осознавать: сегодня царь, властелин великий, философ, поэт, а завтра... А завтра все его труды вместе с мраморной скульптурой, изваянной благодарными современниками, находит пристанище на зловонной помойке, вместе с непогребёнными трупами висельников, сдохшими от непосильных трудов ослами и мулами, разбитыми вдребезги расписными драгоценными амфорами и зарытыми разбойниками кладами золота и серебра. Кому придёт в голову этакая блажь – искать себе сокровищ в таком месте? Разве что сумасшедшему. Кстати, – опять нервно подмигивает мне глазом, – я этого господина, – небрежно щёлкает пальцем по монете с Гитлером, – лично знавал. В Мюнхене сидели в одной каталажке. Этот однопалый Шульц всё понаперепутал...

– Как? – невольно перебиваю его я, – вы... И знали самого Гитлера!?

– А чего же здесь такого удивительного? Я же не с крокодилом и не с анакондой сидел в одной клетке из-за этого проклятого Шульца – баварского колбасника, пивной бочки.

– Но это же сам Гитлер... – ещё сильнее вылупляю я свои глаза, пытаюсь понять: шутит ли он так, намеренно ли издевается или на самом деле?

– Опять ты со мною на «вы», – по-серьёзному возмущается Леонид Аркадьевич, – с ума можно сойти... Невозможный пацан. Чему только тебя учат в школе?.. Выканье ещё не есть глубокое уважение к тому, к кому так обращаются. Сказать: вы огромнейшая сволочь – гораздо оскорбительней, чем сказать то же, но на «ты». Знаешь, что не даёт тебе свободно раскрыть крылья? Вот видишь... Эти стереотипы, замшелые догмы, именно всё это не позволяет сделаться свободной личностью, быть не как все, что проще пареной репы, а настоящим идиотусом – человеком странным и необыкновенным во всём. Простейший тест, предложенный мною, общаться хотя бы в течение одного дня на «ты», провалил с треском. Хотя я тебе вроде уже когда-то и говорил, хочу повториться: не обретший своего светлого и истинного «я» к семи-десяти годам, к старости разве что ещё более о себе позабудет. Хотя, – несколько задумывается, – что я за зловерное существо, пропади оно пропадом, – с возмущением пинает пустую банку из-под кильки с томатным соусом, –

сам назидая и тут же противоречу тому, чему назидая. Не из тех ли сам сладострастных старцев, искушающих Сусанну – супругу маркетанца Иоакима? И ты причастен к тому же, – смотрит грозно на меня.

– Кто причастен?... К чему причастен? – совершенно не понимаю я.

О каких старцах и о какой Сусанне, у которой муж маркетанец по имени Иоаким, ведёт он речь?

– Леонид Аркадьевич, – напрямую говорю ему, – я совершенно не понимаю, о чём это... О чём это ты? Какие такие старцы, и кто эта самая Сусанна, к которой я каким-то боком причастен? Даже мой умный папа со мною так умно не разговаривает. Общаться же со взрослыми на «ты», кроме своих родителей, я не приучен и считаю для себя подобное постыдным. Как вам это может быть непонятным, когда это совершенно понятно и в первой группе детсадовских малышнят. А потому не надо настаивать... От этого мне ещё более неловко.

Посмотрев на меня очень серьёзно и внимательно, порывисто жмёт левую руку, горячо и возбуждённо говорит:

– Вот!.. Вот именно этого я от тебя и ждал. Никому и никогда не позволяй касаться своих убеждений. Не поддавайся даже временному искусу отречься от того, что есть истинный ты. Ни у кого и никогда не проси взаймы ума, как и денег, а тем более любви или ненависти, вообще ничего не проси... Единожды протянувший ладонь для милостыни, прикрыв от стыда лицо другою дланью, уже завтра будет хватать прохожих за одежду, жадно рыскать глазами в поисках достатка. И ещё одно запомни: не обличай в дурном прилюдно, а особенно старших. Ты ли им судья? О человеке говорят дела его.

С головою, наполненной смутю, что опилками, стараюсь как-то отделаться от него и улизнуть в свой подъезд, но он, словно прочитав это, весело начинает смеяться, возвращается к монетам.

– Знаю, знаю, по глазам вижу, что все богатства в твоих закромах уже перечтены. Отдать, вернее, поменяться, шведский ножичек за три монетки – жаба ест. Хотя, – прищуривает веки, – как мне видится, у этого иностранного ножичка одного лезвия не хватает. Кто же, – уже возмущается Леонид Аркадьевич, – такую ценностью, словно бандитскою финкою, швыряется в деревянный гараж? За школьный компас по цене тридцать две копейки, да и то с треснутым стёклышком, какой же дурак согласится отдать три монеты, пусть и с фашистскими харями. Есть, правда, ещё шикарная увеличительная лупа, но она... Она наполовину папина. Полный конверт с этикетками от спичек – несерьёзно, ещё и засмеёт... Настоящая кавалерийская шпора, вернее, её половинка – вряд ли... Гэдээровский пионерский значок, зуб акулы, перо от хвоста

павлина, две иглы от настоящего дикобраза, черноморский рапан... Что там ещё осталось?.. Правильно я рассекретил твои мысли? – весело смеётся Леонид Аркадьевич, словно дразнясь, позвякивая монетками в правом кулачке.

– Как же это он вот так угадал, – холодеет в моей груди.

Ведь и действительно именно эти предметы я перебирал в уме, когда он сказал, что за просто так монетки не подарит, а готов пойти на какой-нибудь обмен, но по-честному. Правда, он почему-то не напомнил о самом главном, о подлинной дореволюционной фотографии Фёдора Шаляпина, восседающего на маленьком ишачке в украинской, расшитой крестиком, рубахе, в широкополой соломенной шляпе и на фоне горы Кизиловки в пойме реки Нальчик. Эту фотографию я случайно нашёл в старом нежилом домике, что приготовили к сносу; без оконных рам и дверей и даже без черепицы, на которую кто-то уже позарился, он находился по Пушкина, чуть ниже пересечения с Инессы Арманд, около грузинского винного погребка. И о бокале из рубинового стекла с отломленной ножкой, но зато с настоящим золотым вензелем в виде царского двуглавого орла – тоже ничего не сказал. А я и о нём думал.

– Фотография певца меня не интересует, – тут же парировал Леонид Аркадьевич. – А почему?.. Да потому, что подобную уже имею. Пройдоха фотограф со стёклышка их столь большое множество размножил, что, почитай, целый капитал себе сколотил. Относительно же битой посуды, да и ещё с атрибутом самодержавной власти, и речи быть не может. А знаешь что, – вкрадчиво говорит он мне и почему-то начинает озираться, – у тебя есть какой-нибудь секрет или тайна? Ведь по глазам вижу, что не может быть, чтобы у такого пройдохи, как ты, не было бы хоть самого маленького завалывшегося секрета или тайны...

– А какая разница между секретом и тайной? – вполне серьёзно спрашиваюсь я у него.

– Ты чего, Вовка! Совсем что ли с ума съехал? Или притворяешься вот так, – нарочито удивлённо округляет он свои глаза, разводит коротенькими пухлыми ручками. – Секрет – это то, что не подлежит разглашению, то есть тайна. А тайна – сведения, содержащиеся в глубоком секрете. Они друг без дружки никак обходиться не могут. Но всё же... Секрет – есть секрет, а тайна всегда остаётся тайной, – глубокомысленно изрекает он, тыкая указательным пальцем в небо, а вернее, прямо в сторону балкона четвёртого этажа, с которого, и это я заметил уже давно, за нами, свесившись через перила, не без любопытства наблюдает наша соседка тётя Зара, которой мой брат Валера дал меткое прозвище Иерихонская Труба за её громогласный голос.

– Только, чур, не жилить... Хоть предложение, сделанное Леонидом Аркадьевичем, и казалось крайне заманчивым, смущала та лёгкость, с которой он решился расстаться с огромным богатством за чистой воды иллюзию под названием секрет.

– Хорошо, – не без дрожи в голосе говорю я ему, – я согласен на ваши условия; какие секреты вас более всего интересуют?

– Ничего себе, – оценивающе щурится он, – у него, оказывается, и выбор... По-честному говоря, люблю иметь дело с людьми солидными, – самым серьёзным образом окидывает меня с ног до головы, словно видит впервые, – знающими толк в своём деле.

– Выбор, конечно же, не очень большой, – подыгрываю в тон ему я, выкраивая солиднейшую рожу, которую случается наблюдать у деляг, торгующих на базаре ворованными голубями и всяких приклатнённых, у которых, как правило, за душою ни гроша, – но кое-что имеется. А потому давайте всё же сначала определимся с вами, Леонид Андреевич, какого рода тайны вас более всего интересуют; за какой бы секрет без сожаления пожелали бы расстаться, как мне видится, с совсем ничёмнейшими для вас монетками, за которые, смотря с какой идеологической стороны посмотреть, могут и привлечь кое-куда.

– Хитёр, братец, хитёр!.. – оценил моё остроумие Леонид Аркадьевич, – хм-м... Но меня на мякине, на полове всякой не проведёшь... Предлагайте своё... К примеру, – совсем распоясываюсь я, – то, что вы без всякого ведома и разрешения со стороны Ады Марковны ходите в гости к тётке Груне, которая у нас техничка, и которая проживает в бараках, где баня, считается моим секретом или тайной? Или это только ваша тайна?

– Что-о-о?.. – сменяется с лица Леонид Аркадьевич. – Ах ты гадкий шантажист, – начинает трястись щеками он, – я ещё тогда знал, что за мною кто-то подсматривает. Но чтобы это мог быть ты... Как же тебе... И вам не совестно вот так, – притоптывает он сандалиями.

– А куда было мне деваться, – уже плаксиво тяну я, – что оставалось делать, когда вы сами застали меня врасплох. За кусок лакированной фанеры, которую, по-честному говоря, я стырил не понарошку. Откудава мне было знать, что её позабыли на улице и она от нового шифоньера? А за это, сами понимаете, уж точно по головке бы не погладили. Из неё лобзиком ажурную полочку выпилил. Целую неделю выпиливал, аж одиннадцать пилочек поломал, почти целую пачечку, в которой двенадцать. Знаете, как они дорого стоят...

– Верю, верю, верю, – переходит на шёпот, успокаивающе размахивая руками, – молчите, молчите, молчите... Ничего больше говорить не надо. За оба этих секрета – мой и ваш, который с ворованною фанерой,



я готов к обещанному прибавить ещё по одной монете. Одну в тридцать монгольских тугриков, другую, квадратную и с дырочкой посередке, в двадцать пять китайских юаней, которая имела хождение исключительно на Макао. Вы согласны?! И ещё... Запомните, молодой человек, что шутить вот так со мною очень даже опасно. Согласитесь, ведь вам, наверняка, совсем бы не хотелось заколдоваться в жабу, а ещё хуже в тушканчика-свистуна? Забирайте свои тугрики, и мы... И мы больше не знакомы. А ещё называется пионер, – презрительно окидывает меня взглядом. – Что-то не захотел поменяться на другой свой секрет...

– Какой такой секрет? – в полном расстройстве спрашиваю я у него, сожалея, что дёрнул меня чёрт, и что всё вот так скверно получилось.

– Да тот самый, – довольным образом ухмыляется Леонид Аркадьевич, тонко подмигивая глазом, хитро поводя своими белёсыми бровями, – картинка... Цветная картинка голой тётеньки, которую ты, замечу, самым негодяйским и варварским образом выдрал из Большой Советской энциклопедии, той энциклопедии, которая является гордостью родителей. И ещё... И ещё... Ага-а-а! Когда Гальку Гнездову – свою одноклассницу, на Восьмое марта намеревался поцеловать прямо в губы, да в последний момент сдрейфил и приложился ко лбу. Каково девочке, которая уж и глазки было зажмурила. Ты хоть знаешь, кого в лоб целуют?.. И ещё, если хорошенько покопаться, подобных секретов можно выудить дюжину. Зачем, скажем, тебе натуральный бандитский нож, да ещё и с усиками, который ты нашёл в парке у стадиона и запрятал на чердаке под стропилом? Почему, как полагается настоящему пионеру, не сдал в милицию? А знаешь ли ты, недоросль, что бывает с теми, кто хранит холодное оружие? Что-то не стал свою финку менять на мои уникальнейшие монеты; аферист...

– За что же вы на меня сердитесь, да и ещё прогоняете от себя, – чуть не плачу я, – неужели вы действительно могли подумать, что я пойду и наябедничаю на вас Аде Марковне? Вам же не придёт в голову рассказывать моим родителям про картинку с голой тётенькой, которую я не выдрал негодяйским образом, как вам кто-то наябедничал, а самым аккуратнейшим образом вырезал под самый корешок бритвочкой, чтобы по-незаметному?.. И про Гальку, которую зовут Кискою, когда нечаянно её чмокнул в тёмном подъезде, когда поспорил сам с собою...

– Как это – сам с собою? – с живостью смотрит он на меня. – И кто, позвольте спросить вас, выиграл?

Поставленный вот так вопрос ставит меня в тупик, я начинаю соображать, всячески импровизировать на ходу, оглашая свои мысли пространными рассуждениями, заимствованными некогда у Иоакима Мудрого, рассуждениями, надо признаться, дуалистическими: о глупости и мудрости, добре и зле, свете и мгле.

– И что? – с ещё большим интересом смотрит на меня Леонид Аркадьевич.

Густо покраснев, признаюсь, что пока внутри самого себя побеждает больше глупость.

– Разве можно назвать разумным то, как я с вами поступил? – чисто-сердечно раскаиваюсь я...

– Нет, Вовка, – грустно говорит он, не дав мне договорить, – это ты прости меня – старого дурака. Помнишь, как я тебя научал: не обличай пороков в ближнем, не ты ему судья... Касательно же себя скажу противоположное: благообразному юноше в дурном поступке не грех обличить и глупого старца, когда он найдёт в себе мудрости переложить груз глупости его на себя. Всё понял?

Двумя руками стискивает мои уши, пристально смотрит в глаза:

– Не зря, знать, в одной из прошлых жизней своих ты был монахом-доминиканцем ордена нищенствующих – псом Господним...

– Откудаво вы так узнали? – спрашиваю у него, – папа сказал, что в прошлой жизни, наверное, я был маленьким трудолюбивым осликом-тугодумом.

– А почему же тугодумом? – с выражением смотрит Леонид Аркадьевич, выкраивая на лице крайнее удивление.

– А потому, – серьёзнейшим образом отвечаю я, – на всех неровностях моего головного мозга папа не смог обнаружить и малейших признаков математической шишки.

– Хм-м... А причём здесь этот самый ишак-тугодумец? – уже смеётся он. – И каким образом твой суровый отец исследовал бугры и ухабы твоих мозгов?... Запомни, Вовка!.. Математика – наука корыстолюбцев. Существо бескорыстное не нуждается в счёте. Ему нечего прибавлять, отнимать, умножать, а тем более, делить. Все четыре арифметических действия его слились воедино, без остатка растворились в философии. Чуешь, о чём это я, – многозначительно стучит себя костяшками пальцев полбу. – Чую, что чуешь... Ишак, по-честному говоря, в сто раз солиднее коня. Тому бы только скакать, да зубы скалить. Так что гордись, что папа сравнил тебя с маленьким трудолюбивым осликом, голова у которого настолько туго набита всевозможными мудрыми мыслями и идеями, что он, в отличие от коня, а тем более кобылы, уж и не нуждается ни в каких понуканиях, а тем более наущениях. Зачем ему всё это, когда он тугодум, – закатывается весёлым смехом Леонид Аркадьевич, полагая, что наскоро придуманный им каламбур и смешон, и остёр.

Дабы отвлечь его от столь накатанной колеи, где ему явно нравится, спрашиваю:

– Леонид Аркадьевич! А что, вы действительно видели живого Гитлера, вот как сейчас меня, или просто пошутили?

Заозиравшись по сторонам, оттопырив мою майку на груди, заглядывает за пазуху, наклонившись, шепчет на самое ушко:

– Не то что Адольфа Гитлера – сына почтмейстера Алозия и домохозяйки Клары, но и с Владимиром Ульяновым знавались не раз и не два. Что вы, что вы!.. Такие товарищи, такие люди... Да и другие... Возьмите вам Троцкого, Бухарина, Якова Свердлова, Коллонтай, к примеру. Это же – какие люди...

– Как так может? – от волнения семеню я ногами, не веря своим ушам. – Вы что же... И разговаривали с дедушкой Лениным?!

– Да не кричи ты так, – опасливо озирается он, – что люди-то могут подумать, особенно вон та мадемуазель, – не поднимая головы, большим выгнутом пальцем правой руки по-незаметному тыкает вверх, – которая вот-вот от любопытства выпадет с балкона четвёртого этажа. Тебе-то что до этого?.. И во-вторых... Почему с дедушкой?.. Какой же он дедушка, когда ему в ту пору и пятидесяти лет-то не было? Дедушками становятся только тогда, когда у тебя есть дети, и у них дети, которых называют внуками – понял? И вообще... Тебе-то что до этого? Мало ли каких воспоминаний покоится в этой голове, – многозначительно подмигивает, указательным пальцем, как дятел, дробно стучит по своей макушке. – Я же не спрашиваю тебя, зачем ты хранишь подлинную фотографию Феди Шаляпина вместе с обнажённой Рембрандта Данаей... Материализованная память, ты мой брат, штука весьма хитрая; что уж тут поделывать, коли человек так устроен... Кому не желается прикоснуться, пусть даже краешком одежды, к миру сильных, прикоснуться к самой госпоже Истории? Назови мне такого... Для иного подлинная фотография, где он самолично запечатлён с видным деятелем государства, да и ещё чуть ли не в обнимку, считай, что красный пропуск в самые высокие двери, за которыми, ты мне, брат, не шути, такие восседают – о-го-го! Генералы! Охранители и одновременно властелины закровов родины. Чуешь... И наоборот... Представь себе снимочек, пожелтевший такой, весь в пятнышках, где ты собственной персоной, со всеми своими характерными физиономическими признаками, что, поверь, для криминалистики очень даже важно, с самим вождём нации – фюрером и его партийными сотоварищами. Представил... Тут уж совсем иная ситуация, пропуск в другие двери, а то и вообще на тот свет. Но я ведь тебе ничего такого не говорил, – еле слышно говорит мне, по-незаметному тыкая большим пальцем правой руки вверх, как это делали в древние времена римские патриции на гладиаторских ристалищах, но в довольно редких случаях, милуя сим жестом побеждённого

от неминуемой смертушки. Ты ведь сам понимаешь, что на самом деле этот разговор тебе только причудился. Вольф Мессинг, ну не чудак ли, вместо того, чтобы о своих гипнотических способностях помалкивать, захотел мировой славы, известности и, соответственно, всех проистекающих от подобных редкостных обстоятельств материальных благ. И что... Бедный еврей... Погубил не только самого себя на всю свою оставшуюся жизнь, но и многих близких себе, не считая тех, кто давно как по другую сторону бытности. Не по его ли душу сказано: «Неси дары вышние с трепетом и смирением. Боже не там, где громы и молнии, сотрясения земные, пламя из жерл вулканов, бушующие волны, а где покой и тишь и ветерок еле касаемый, лист на деревьях не треплющийся». И монетки, которые мирно покоятся в твоём кармане, не я тебе подарил, а Егор Степанович Селиванов.

– А кто это такой Егор Степанович Селиванов? – интересуюсь я.

– В том-то и дело, – хитро подмигивает мне дядя Лёня, – случайный прохожий – свёрнутый башкою нумизмат, чудаковатый дядечка с Богданки; он, что предъявлял тебе паспорт, когда сменял свои монетки на предложенный тобою кусок картофельного пирога, испечённого твоею мамой? То-то...

Глава 32. ОПЕРАЦИЯ «ХРУСТАЛЬ» И ВСЁ, ЧТО В СВЯЗИ С ЭТИМ

1

Раннее утро первого мая выдалось на удивление ясным и тёплым. В преддверии великого торжества солидарности всех трудящихся мира, город, убранный кумачом, с развевающимися на балконах домов флажками, поперёк проспекта Ленина натянутыми между столбами вздутыми транспарантами, хлопающими по ветру подобно парусам, облачённый в буйную зелень газонов и цветущих каштанов, как бы замер от восторга, готовый вот-вот взорваться, подобно красочному фейерверку, медью духового оркестра, тугими вздохами барабанов, многоголосым ором празднично одетой толпы. Последние автобусы и редкие легковые автомобили спешно проносятся по проспекту; на перекрёстках, начиная от улицы Толстого и далее вверх, до окончания домов партактива срочно выставляются постовые милиционеры, а с ними и дружинники с красными повязками на рукавах. Между деревьями и столбами натягиваются оградительные ленты, все суетятся, спешат, чтобы вовремя перекрыть движение ближайших улиц, дать свободу главной, по которой в направлении к Дому Советов, её площади с памятником Владимиру Ильичу Ленину и двинутся колонны трудящихся под громы оркестров,

под дробь национальных барабанов, восторженные ритмы лезгинки, хоровое пение уже подвыпивших тружеников заводов и фабрик, звонкие речёвки пионерии, ритмичный гул шагов комсомолии. И вот от Марии уже грянуло; пронзительно зазвенели трубы и литавры, горохом рассыпались барабанные дробы, да так, словно с самих поднебесий прямо на бульжную мостовую уронили несколько штук кровельного железа. Тут же подхватили с улицы Горького, где медицинское училище, затем с Ногмова и ещё, и ещё. Всё пришло в невообразимое движение, схожее сначала с броуновским, но совсем ненадолго, так как уже вскоре всё упорядочивается, колонны одна за другой выстраиваются в шеренгу, под революционный гимн – «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе...» начинают своё движение. Из всех репродукторов и враз зарокотало восторженно, радостно, оптимистично:

– Да здравствует Первое Мая – день международной солидарности всех трудящихся земли! Мир, труд, май! Ура, товарищи! Слава Коммунистической партии Советского Союза! Ум, честь и совесть эпохи, она неотделима от народа... Слава! Слава! Слава!

Сливаясь и тесня друг друга, колонна за колонной вливаются в широкое жерло проспекта, то там, то здесь с треском лопаются воздушные шарики, трещат по ветру полотнища знамён, прямоугольные картонки с ликами членов политбюро, прикреплённые к деревянным древкам, раскачиваются над толпою из стороны в сторону, вращаются по оси, сталкиваются друг с другом лбами, словно пьяные. Транспаранты с начертанными на них лозунгами, широкими лентами, подобно алым парусам вздуваются над тяжело колышущимися волнами толпы, ликующей, размахивающей и тысячеруко хлопающей в ладоши, орущей во всё горло:

– Ур-р-ра-а!

Противостоящие друг другу оркестры, стараясь перекричать самих себя, рождают такую какофонию звуков, с такою откровенностью дают петуха, что, ей-Богу, воскресни Данте Алигьери и окажись здесь, то, как знать, как знать, не имели бы мы иную версию так красочно нарисованного им ада, ещё более объёмного и колористического. Но и это, оказывается, ещё не всё. Добавьте туда визгливые вопли национальных гармошек, женские стенания зурны, дробные переливы барабанов под залихватское – ас-са-а-а, многоголосый ор репродукторов, подобный ору труб иерихонских, и картина представится ещё более исчерпывающей.

– Вы в чём-то не согласны?

Ах, да, извиняюсь... Оказывается, как только что съязвил по этому поводу или в связи с этим, – разницы в том нету, – Иоаким Премудрый,

всё описываемое мною всего лишь предтеча настоящего безумия, которое начнётся чуть позже, дружно и вопреки всяким указаниям сверху, вопреки директивам самой партии и правительства чудовищным по масштабу народным застольем, таким вселенским сабантуем. По количеству граждан обоих полов, отдавших Богу душу, съехавших от чрезмерной интоксикации организма крышею, майские празднества, включая и День Победы, побивают все остальные в году буквально наповал. По валовому объёму вусмерть пьяных на душу населения всего отечества им нету равных и в целом свете и, наверное, никогда и не будет. По урожайности – сбору стеклотары, исходя из масштаба одной сотки, этот всенародный сабантуй также лупит все мыслимые и немыслимые рекорды относительно остальных празднеств, даже если их и объединить скопом в одно целое.

2

Многочисленное использование стеклянной тары в масштабе страны, оказывается, даёт довольно приличный экономический эффект. Экологическая составляющая этого вопроса не подлежит и обсуждению. Битые стёкла в пойме рек и водоёмов, в лесу, да и вообще везде, отнюдь почему-то не радуют глаз изумрудно-бриллиантовым блеском, не приводят в восторг своей схожестью с россыпями драгоценных камней, таких друз, в коих солнечные лучики света так и переливаются всеми цветами радуги. Скорее наоборот... Ничто так красноречиво не свидетельствует, что битое бутылочное стекло и опасно, и вредоносно, свидетельство тому – босая распоротая пятка и кровоточащая задница. Кажется бы... Государство и общество должны бы быть крайне заинтересованными в искоренении этого явного зла, всячески способствовать, так сказать, стимулировать юное поколение к собирательству не только грибов, ягод и полезных травок, но и всевозможных бутылок, банок, битых оконных стёкол. Аннет... Интересная штукавина получается: я и же мне пионеры Советского Союза могут (читай – обязаны) собирать только бумажную макулатуру и ветошь, неподъёмный металлический лом – повсеместно и бесхозно валяющиеся чушки, болванки, колёса от паровозов, гнутые рельсы, арматурины, трубы, включая кастрюли, железные кровати, утюги, самовары, крышки от канализационных люков. Да мало ли чего можно сыскать в бурьянах пустырей, по подвалам, на заброшенных стройках, задворках заводов и фабрик. Случалось, и не единожды случалось, когда в общей куче железного лома находили настоящие боевые снаряды и даже бомбы. А один пионер, как сейчас помню, фамилия

у него Бузыкин, а звали Серёжкой, так и вообще всех обошёл. Покумекал своими хилыми мозгами и решил:

– С чего это я должен корячиться, лазать по мрачным подвалам, изобилующим блохами и пауками в поисках этих ржавых железок?..

Залез в старинный бабушкин сундук, где она на память сохраняла никому не нужный хлам, которому место давно на свалке – так он не раз слышал от родителей, – извлёк цельный сервиз столового серебра производства немецкого ювелирного дома Зельдельбаха, уложил всё это в её же шерстяной плат, слегка поточенный молью, связал в узел и сволок на место сбора это самого металлического лома. Хорошо, а главное, вовремя, училка оказалась рядом. Пришлось Серёжке таранить железо обратно.

Странная штукавина получается, граждане-товарищи... Железки, тряпки, ветхие книги, пшеничные колоски за дырявым комбайном, початки кукурузы за нерадивыми колхозниками, полезные травки для аптек, слежавшиеся листья и всякий мусор в парке, ну и, конечно же, за здорово живёшь, собирать юным пионерам дозволено. Не в бескорыстном ли труде посевы социализма?.. Собирать же пустые бутылки из-под вина, водки, пива, лимонада и прочих минеральных вод – стыди срам. Вот если бы на халяву, то есть опять-таки за бесплатно, к ещё большему умножению благосостояния государства, а значит – всех его граждан, то – пожалуйста. А так, когда можно заработать на стеклотаре за штуку от двенадцати до восемнадцати копеек, – ни-ни... Нездоровый коммерческий интерес, ростки загнивающего капитализма, наживательство на бесплатно валяющемся и общественном, а по-другому – на поте трудящихся. Нормально... Но.. Скажите вы, как можно пройти мимо юному пионеру, когда под самыми ногами в траве, в кустах, под забором, в подъездах и много ещё где, что и не перечислить, рассыпаны синтики¹, гривенники², полтинники³, которые при определённой сноровке и минимуме производственного инвентаря (сетка-авоська, хозяйственная сумка, картонная коробка) легко даже превращаются в полновесные советские рубли, пред которыми и сам доллар сопляк. Бабульки, корыстолюбивые собирательницы пустых бутылок, тут же столкнулись с жесточайшей конкуренцией юной шпаны, то есть той же стопроцентной пионерией, бескорыстно собирающей что угодно, даже чугунные рельсы, а хотите, и забытые на веки вечные в тупиках и на полустанках ржавые паровозы, а в пересохших доках и корабли, но только не пропади пропадом эти бутылки. Вот ведь что сотворяет алчность.

¹Синтик (устаревшее) – 10 копеек.

²Гривенник (устаревшее) – 20 копеек.

³Полтинник (устаревшее) – 50 копеек.

Как бывшему профессионалу, профессионалу по сбору стеклотары всех советских стандартов, ей-ей, господа, мне есть чем с вами поделиться. Могу не только подсказать, где и когда добывать оную рентабельней всего, но и самое главное, как в целостности и сохранности донести сей хрустальный товар до пункта приёма, избежать прямых враждебных столкновений с подобными же себе, не желающими признавать никаких статусов территорий, шлындающих¹ туда-сюда, куда захотят, руководствуясь одним лишь алчущим взором. Подскажу, как не напороться на милицейский или какой иной общественный кордон во избежание ненужных и даже вредных вопросов по поводу где и в какой школе учишься, кто родители, по какой из причин скатился до этакой чудовищной низости, как собирательство бутылок по помойкам, бутылок, отвратительно пахнущих спиртным, на которые и тошно смотреть, а не то что брать в руки. А самое главное на завершающем этапе, как повыгодней сбавить с такими трудами нечестно добытое, которое есть ничейное, а, следовательно, социалистическое, то есть украденное у государства. Вам всё понятно?.. Приёмщик стеклотары – сквальжина, каких ещё поискать, также не хочет упустить своего от этого ничейного, добытого пионерами, вопреки всяким моральным кодексам пионерии, алчет своей доли, бессовестно занижает стоимость продукции чуть ли не вдвое. А почему? Да потому, что знает: бутылки собирают и сдают только хулиганы, бандиты и отъявленные двоечники. Вот так... Да и всем остальным разве не понятно, что на вот так добытые денежки юная шпана, специально позабывшая свои галстуки дома, дабы не рассекретиться, уж наверняка накупит себе папирос, пива и водки, а то и по цельной плитке настоящего шоколада, чтобы ею в одиночестве обожраться, подобно мальчишам-плохишам.

Помню, дело было в четвёртом классе, прямо посреди урока дверь в классе отворилась, и огромный усатый милиционер в сапожищах, весь испачканный в глине, потому как, видно, где-то поскользнулся и упал, втащил за уши Петрашевского Сергея и Ахашокова Хасана, от страха потерявших дар речи, с сеточками в руках, в которых, как в ознобе, позвякивали пустые бутылки из-под портвейна, а одна даже кефирная. Вместо того, чтобы, как все, пойти в школу на занятия, бастанули, занялись постыдным промыслом. Найденная в их портфелях бутылка ситро, пачка папирос «Казбек» и две плитки шоколада «Алёнушка» красноречиво свидетельствовали об их ужасном поступке, и что они уже успели обогатиться, потому как это точно не первая ходка к приёмщику

¹*Шлындающих* (жаргон) – то же, что и рыскающих.

стеклотары, а возможно, и не вторая. Анна Даниловна, – училка нашего класса, заклеив их страшным позором, припомнив, непонятно и к чему, блокадный Ленинград, пустые бутылки, включая кефирную вместе с ситро и двумя шоколадками, велела передать в школьный буфет, пачку папирос спрятала к себе в сумочку для предъявления родителям как вещественное доказательство их ужасающего поступка.

Темне менее, несмотря на такие репрессивные действия, бутылочный промысел не только не думал захиревать, но и, кажется, наоборот стал в среде пионерии приобретать ещё более массовый характер, грозясь перейти в настоящую эпидемию. А так как советскому обществу с каждым годом становилось жить всё лучше и лучше, то, естественно, это общество стало позволять себе употреблять веселящих напитков всё больше и больше; винные и водочные заводы производили готовой продукции в соответствии с потребностями. При таком раскладе потребность во вторичном обороте стеклотары увеличилась в разы.

По-научному, исходя из финансовой отчётности Винпрома, лёгшей в общие показатели по всем номенклатурам промышленности, для руководства страны стало очевидным: благосостояние граждан, как ни парадоксально, но стимулирует производство водки и табака, деньги же, вырученные от поила и дыма способствуют оживлению социальной сферы трудящихся масс, тех масс, что уже и не представляют праздника без водки, досуга – без табака. Но ведь выгодно же! А коли выгодно государству, социалистическому, замечу, государству, то как не может быть радостно народу, тем более, когда партия и народ едины, а армянский коньяк доступен и простому кладовщику овощной базы с зарплатою в шестьдесят рублей с перспективой вычета из этой суммы по алиментам двадцати двух рублей тридцати семи копеек, но по исполнительному листу.

4

У западной стены стадиона «Спартак», в том месте, где старый парк своими густыми непроходимыми зарослями примыкал к стадиону вплотную, месте диком и совершенно безлюдном, где нам – пацанам – особенно нравилось играть в разбойников и пиратов, в самой глубине чащи в окружении диких груш и яблонь, кроны которых возносились, кажется, в самые небеса, из земли кольцом бруствера возвышалась совершенно круглая и громадная яма.

– Как это так?.. – скажете вы, – яма, она на то и яма, что ей должно не возвышаться, а наоборот, занижаться относительно уровня земли. Иначе какая же это яма, что обликом своим схожа более с кратером?

– Ну, хорошо, – соглашусь я, – пусть будет так.



Замечательный кратер этот в форме абсолютно круглой сферической полости с таким же идеально круглым бруствером земли по её краям образовался от взрыва мощной авиационной бомбы. Сброшенной с немецкого самолёта во время войны, когда бомбили Нальчик; его следы прослеживаются и поныне. Тогда же заметить эту воронку, скрытую густою листвою ползучего винограда и дерезы, человеку, не знающему о том, было почти невозможно. Однажды, случайно угодив в неё, тут же сообразил: лучшего схрона в своих разбойничьих играх и не придумать. Провалиться, в буквальном смысле, под землю на виду изумлённых супостатов, возжелавших уж было тебя пленить – ну просто замечательно. В дальнейшем, во время массовых празднеств, народных гуляний, эта самая воронка была приспособлена нами под временный и секретный склад, куда мы сносили собранные нами пустые бутылки. Мудро и практично. Не волочить же за собою полные сетки пьяного стекла, хрустально голосащего на всю округу: напилася я пьяна, не дойти мне до дому... Компания наша была компактной, мобильной, прекрасно информированной, высокопрофессиональной. В общих оперативных действиях каждый знал своё место. В то время, пока одни занимались сбором стеклянной продукции, безостановочно шныряя с небольшими авоськами между компаниями пьющих и веселящихся на лоне матушки-земли граждан, другие эти самые подобранные бутылки, не мешкая, из рук в руки передавали мулам, – так назывались носильщики, те, в свою очередь, волокли хрусталь в схрон, где их поджидали в зарослях орешника часовые-охранники, которые всё это аккуратнейшим образом и складировали на дне ямы. Конвейер работал с точностью хорошо отлаженного механизма. Никакому вражескому агенту-шпику из числа конкурирующих группировок и в голову не могло прийти, что буквально в паре десятков метров от стены стадиона расположен мощнейший склад стеклотары, расфасованной, согласно номенклатурным стандартам, на белое стекло и цветное, винное, водочное, шампанское и «буратины» (так назывались поллитровые бутылочки с коротеньким горлышком, в которых продавалась сладкая газированная вода под названием «Буратино»). Но и это ещё не всё. Солидное коммерческое предприятие никак не может обходиться без транспорта. Арендовав у отца Толика Булгакова тележку, – лёгкую, вместительную и на настоящих надувных резиновых колёсах, на которой за раз можно перевезти целую уйму бутылок, уже на другой день с раннего утра приступаем к перевозке собранных нами бутылок. Запрягшись, как маленькие ишачки, особым, тщательно продуманным нами маршрутом катим свою повозку по парковым тропиночкам в сторону небольшой аллеи от Дворца спорта, что

пробежав совсем немного вниз, переходит в улицу Пушкина. Уже по ней, свернув на Инессы Арманд, попадаем напрямиком во двор нашего дома, где через маленькую дверцу подвала, специально предназначенную для дров, выгружаем содержимое в одну из пустующих кладовок, которую для надёжности запираем ещё и на замок. Мало ли зарящихся на чужое богатство... И вот, уже совсем вскоре, наша секретная яма пустеет, все бутылки перекочёвывают в надёжное нам место, на душе становится легче. Шутка ли... Такое количество звенящей продукции переместить и не напороться ни на одного из любопытствующих дядечек или тётечек – рьяных общественников, блюдущих всё и вся, по поводу и без повода вопрошающих: «А ну-ка... Подь сюда... Чего это вы катите потихоря, замаскировав травую? Признавайтесь сейчас же, откудаво сперли то, что у вас прикрыто бурьяками...». За каждый час аренды чудо-тележки по заранее договорённому Толькиному отцу предусмотрено выплатить ни больше ни меньше шестидесяти одной копейки, сколько стоит ровно половина бутылки портвейна номер тридцать три. Надо признаться, что первоначально он запросил за часовую аренду рубль двадцать две, цену совершенно грабительскую, но благодаря дипломатическим усердиям моего старшего брата Валеры, который своими железными доводами и аргументациями мог кого угодно свести с ума, безнадёжно махнул рукой, согласился, предупредив, правда, что сдерёт с него шкуру живьём, если он обещания не выполнит, а того хуже, транспортное средство повредит, то есть ненароком проткнёт колесо.

– Так и знай, и я нисколько не шуткую, – грозитя дядя Гриша, дыша сивушным перегаром, – за колесницу лично с тебя спрошу. Я в гневе, особливо, когда тверёзый, могу и изуродовать насовсем.

Приёмщик стеклотары, тончайший психолог, прощельга, каких ещё поискать, зная, что наш промысел с точки зрения социалистической педагогики, её моральных ценностей, мягко говоря, весьма сомнителен и даже порицаем, старался всячески облапошить, дать за двенадцатикопеечную поллитровку даже не десять, а восемь копеек, принимался безбожно выбраковывать бутылку за бутылкою без видимых на то причин, отлично понимая, что все эти посудыны никто не понесёт обратно, а, следовательно, они останутся за ним.

– Посмотри, какая здесь царапина, – водит по краю горлышка указательным пальцем, – неужели не видишь? Не царапина, а настоящая трещина, – делает страдальческое лицо он, откладывая бутылку в сторону и разводя безнадёжно руками, дескать: и рад бы войти в положение, да никак не можно...

А потому загодя, дабы не попасть впросак, для урегулирования спорных вопросов, которые уж точно возникнут при сдаче такого объёма

бутылок, с приёмщиком начинаются переговоры. Как наиболее умный, авторитетный и образованный, в качестве агента на переговоры делегируется старший брат Валера, который, надо признаться, никакого участия в сборе стеклотары и не принимал. От природы наделённый восточной хитростью и лукавством, он умел так ловко убедить малограмотного приёмщика в очевидной к тому его выгоде, и что благодаря суммарному объёму за перевыполненный план его ждёт ещё и солидная премия вместе с почётною грамотой и немалое уважение от начальства, что последний, словно околдованный, принимал стеклотару скопом, как есть, и даже не считая, полностью уверенный, что облапошил и что поймел приличный магарыч. За посреднические услуги с полученной суммы брат брал свои проценты, нечаянно забывал их дома в кармане старых брюк, которые он снял, чтобы надеть праздничные, шёл пировать с нами и за наш счёт в кафе-мороженое «Космос», а затем в кинотеатр «Восток» на замечательный фильм «Крестоносцы», а после него обратно в кафешку, ненароком заскакивал в книжный магазин, где покупал, опять-таки за наш счёт, очень интересную книжку про разведчиков, которая очень редкая, как божился он, и совсем стоит мало. И так до тех пор, пока денежки неожиданно не заканчивались. Потеряв к нам всякий интерес, Валера тут же исчезал вместе со своею книгою, с жестяною баночкой «монпансье», парюю новых шнурков, потому как старые на ботинках, которые совсем были новые и крепкие, лопнули от напряжения, когда он вёл переговоры с Мурзой, так звали приёмщика. Перепёла, Толик Перепелицын, злой и психический, непонятно и почему считающий, что его, собравшего больше всего хрусталя (так принято было тогда называть бутылки белого стекла с удлинённым горлышком, исключительно из-под водки «Столичная», которую принимали охотнее всего), бессовестно облапошили, махал руками, сплевывал по-уркагански прямо на асфальт, клялся и божился, что следующий раз делёж будет по-справедливому и совсем по-другому:

– Где это справедливо, – возбуждённо орал он, заикаясь, – когда я сделал в два раза больше ходок, чем Андрей, Робик и Юрка. А Гаврош так и вообще цельный час наблюдал за дядькой и тёткой, которые напились пьяными, залегли в кусты и начали целоваться. Что ты смеёшься, как придурок? – визжит он на меня. – Я с одной только поляны семнадцать беленьких нашёл... Твой старший брат всех нас объегорил, он настоящий жулик. Знаю я, как он забыл свои денежки в штанах... Брехун... Следующий раз я сам пойду с Мурзой договариваться, а ещё лучше к первой поликлинике, там, где работают Хоттабыч и Ибрагим. У них всегда всё по-правильному. Ещё неизвестно, как там Валерка с ним

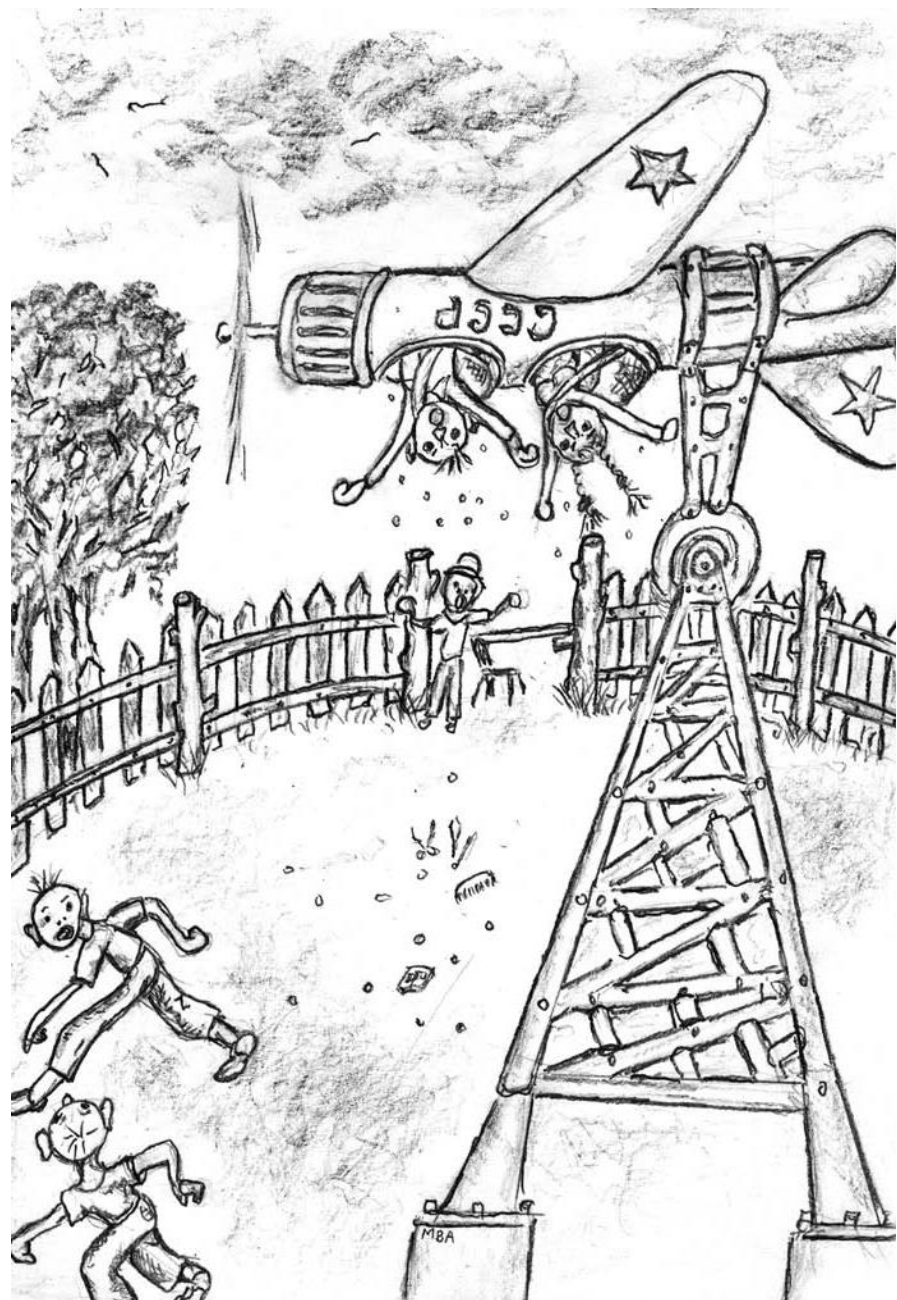
договаривался... Если бы по-настоящему, да разве бы денюжки закончились так быстро? Можно вот так обогащаться, – не унимается Перепёла, весь от психости аж красный, имея в виду моего брата, – пособирал бы сам, как мы, среди пьяниц и настоящих бандитов, тогда бы и брал свои проценты. Знаешь, как один за мною погнался, аж зубами скрипел, чуть не убил, – ещё сильнее машет он руками, – откуда-то мне было знать, что бутылка не совсем пустая... Переговорщик...

Смачно сплёвывает на землю. И всё же другого способа легально добыть денег фактически не было. Фонтан у гостиницы Нальчик, куда пьяные и ненормальные мужчины, чтобы выпендриться перед своими расфуфыренными тётками, бросали жменями мелочь, что уж спорить, был местом весьма доходным, но больно уж опасным. Гостиничный сторож Хасан, одноглазый, прозванный за то Косым, чутко бдил вверенную ему территорию, не терпел и малейшего посягательства на то, что по праву принадлежало ему, за медный пятак так гнал взашей, бранился таким отборнейшим матом, что у очередного претендента-сребролюбца на халяву желание ещё раз испытать счастье пропадало напрочь.

Был ещё один способ добывания хлеба насущного на каждый день, в полном соответствии со святым Евангелием: птица божия не сеет и не пашет, а Господь питает... Насколько же вы выше... Расскажи об этом способе сейчас кому, да разве поверит?.. Виданное ли дело... От смеха начнёт ухакиваться. Не знаю, врать не буду, пользовался ли кто подобным способом добывания денег, кроме меня и Вовки-Гавроша – закадычного дружка, проживающего на втором этаже нашего подъезда, но факт остаётся фактом – в тёплые летние дни, да и осенью и на мороженое, и на газированную воду, не говоря уж о семечках, весьма даже хватало.

Любовь! Любовь! Любовь! А как всем известно с древнейших времён, любви все возрасты покорны, а с милым и в шалаше рай. И не только в шалаше, а даже и там, где вместо крыши над головой бездонное небо, полное удивительных звёзд, и моральный закон, на который уже наплевать. Возле Дома Советов, в скверике, где произрастают душистые розы, шелковистые травы, необычайной густоты кусты кипарисового можжевельника и жасмина, которые разделяли всю эту райскую благодать как бы на треугольники, в ночное время, а порою прямо и днём происходили, мягко говоря, странные и малопонятные вещи. Неведомо отчего, может быть, по причине какой геомагнитной аномалии, как-никак, а геометрический треугольник – фигура сакральная, но всякому мужчине и женщине, независимо от их возрастов, при лицезрении столь идеалистического райского места, на которое они набрали ну,

конечно же, случайно, но никак не преднамеренно, в чём, согласитесь, существенная разница, непременно желалось хоть на часик, хоть на полчаса, а если уж совсем со временем беда, но невтерпёж, то минут на десять-пятнадцать уединиться, предаться блаженным мечтаниям о некогда потерянном рае, наполниться, а порою и переполниться особой энергией, название которой на древнем санскрите и не запомнить, и не выговорить. Вместо того, чтобы смиренно отдаться, – кто тебя силою-то затаскивал в эти кусты, – женщины, воскресив в своей памяти какой-то древний ритуал, совершенно дикий, надо сказать, ритуал, вступали с неотёсанными мужиками в единоборство, – кто кого; сцепившись, принимались кататься по девственно-шелковистым травам, сминая их в прах, визжать, рычать, кусаться, но не больно, пока не обессилев, не получали то, ради чего и затевалась эта борьба, то есть – любовь. В силу быстрого перемещения сплетенных тел в пространстве, а также гравитации, из карманов озверевших от счастья мужчин высыпалась мелочь, ключи, зажигалки, комсомольские и партийные удостоверения, порою и нечто более существенное, в зависимости от трезвости и темперамента их обладателей. Случались и совсем необъяснимые фантастические вещи. Наряду со всем этим изумлённому взору представлялись предметы совершенно интимные, о которых в порядочном обществе не то что говорить, а упоминать-то неприлично. Каким образом, задастся вопросом каждый, очутись он в этаким зелёном треугольнике, одинокий левый башмак сорок третьего размера, вполне даже приличный, мог застрять в кустах можжевельника, а женский бюстгальтер, атласный и с кружевной оборочкой, подобно флюгеру, телепаться на веточке жасмина? И причём здесь... Вернее, какое отношение ко всему этому имеют чёрные семейные трусы огромных размеров, свисающие с развилочки молоденькой белоствольной берёзки подобно флибустьерскому флагу? У любого от страха в груди захолонет при лицемерии этакой страсти. Промысел наш и прост, и ясен. С раннего утра, под предлогом занятий спортом, то есть ради спортивно-корыстного интереса успеть обежать все аномальные зоны, которые были не только в скверике у Дома Советов, но и со покойной стороны этого величественного здания, и за Дворцом спорта, и там, где Вечный Огонь, и в кустах сирени, что кудрятся вдоль центральной аллеи парка, и ещё кое-где, о чём сейчас и вспомнить-то затруднительно, так как ещё древние римляне знали, а уж кому-кому, а в этом им доверять можно, что нигде так страстно не любитесь, как на лоне матушки-Природы. По степени измятости травы быстро определяем места лёжек, собираем урожай, куда входят и пустые бутылки; переполненные спортивного адреналина, довольные возвращаемся домой.



Иногда добыча была весьма даже великой. Так, Вовка Гаврик однажды отыскал в траве настоящие мужские часы «Победа», на ходу, но с одним кожаным ремешком, а я золотое обручальное колечко, женское, пятьсот восемьдесят третьей пробы, которое в этот же день и посеял, а всё из-за дурацкой дырочки в кармане.

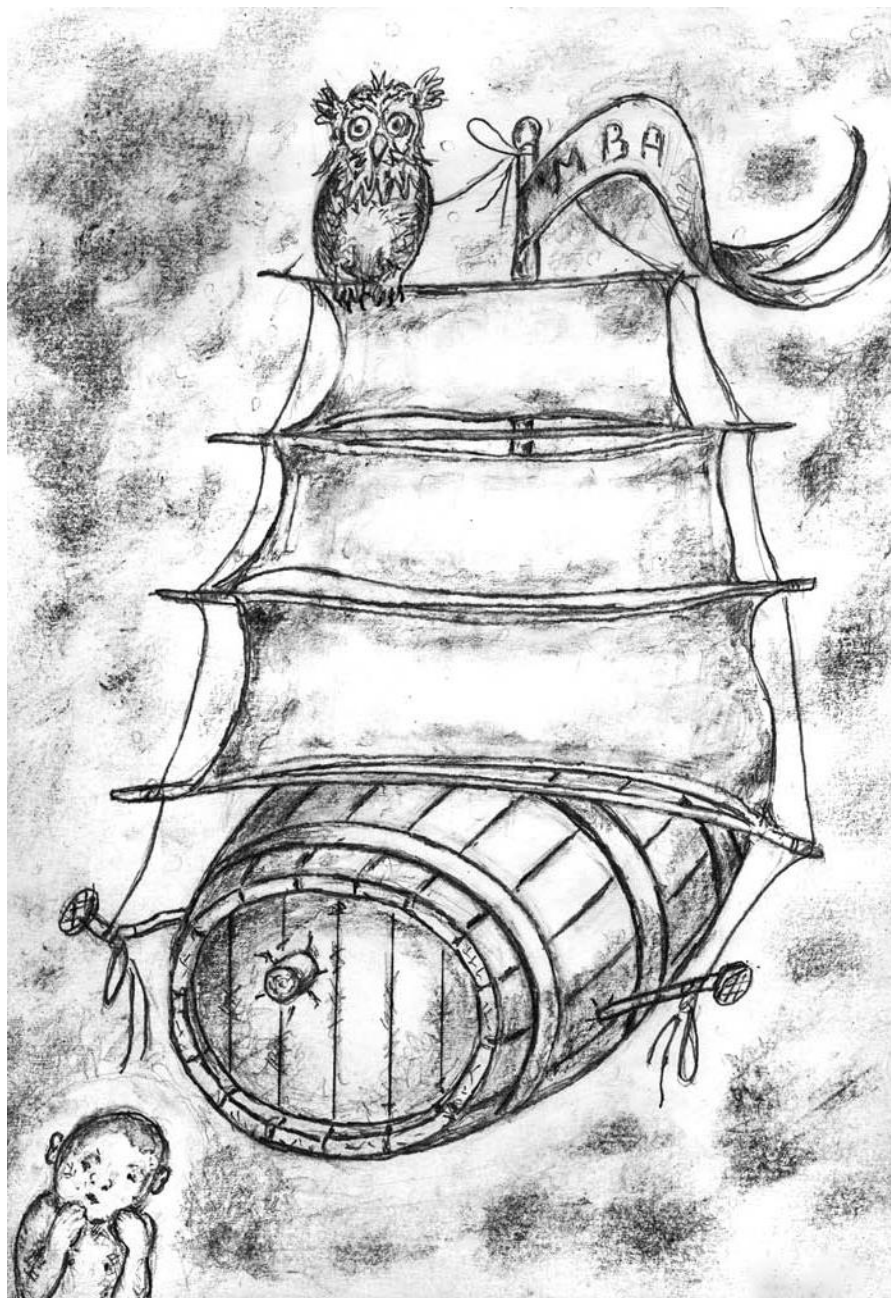
И ещё было одно злачное место, где можно было на дурака, а хотите, на дуру, воспользовавшись моментом: что упало, то пропало – схватить, шустро заграбастать и стремглав дать дёру. Городок аттракционов. Какому смельчаку, а скорее, наоборот, – робкому, не хочется, преодолев свой страх, забраться в кабину почти настоящего самолёта с брезентом обтянутыми крыльями, на которых ещё и боевые красные звёзды, привязаться кожаными ремнями и под натужное жужжание пропеллера выполнить мёртвую петлю Нестерова?.. Да, конечно же, какой настоящий джигит, истинная и бесстрашная горянка откажут себе в таком волнующем удовольствии... Спрятавшись за невысоким круглым забором в виде разноцветно раскрашенного штaketника, окружающего аттракцион «Мёртвая петля», там, где с противоположной стороны от входа произрастали кусты сирени, терпеливо ждём, пока очередной сельский джигит вместе со своею смелую подругою не влезут со специальной деревянной ступеньки в самолёт, не пристегнутся туго ремнями и не отправятся в очень рискованный полёт. Взвыв мощным мотором, истребитель по вертикальной спирали медленно начинает набирать высоту, подобно качели раскачиваться взад-вперёд, пока наконец-то не достигает своей высшей точки – зенита, медленно, но переваливается, делая полный круговой оборот, то есть эту самую петлю, а там уже по инерции принимается вращаться. В этот самый момент, когда наши нервы напряжены, как струны, когда мужественные пилоты в самом зените, а значит – кверху ногами, головами вниз, и происходит то, что и должно происходить. Исходя из закона всемирного тяготения, открытого небезызвестным Ньютоном, – закона неукоснительного для всех тел, имеющих массу, а всё благодаря яблоку, которое упало ему на макушку, все предметы тяжелее воздуха начинают стремиться к центру земли. Никак не закрепленные синтики, гривенники, полтинники, а тем паче, железные рубли начинают высыпаться из карманов, незастёгнутых женских сумочек, с иных заначек, со звоном падают на асфальт, рассыпаются, но не куда попало, а в нашу сторону, то есть опять-таки исходя из непреложных законов физики, по направлению своего движения. Привязанный к своему седлу джигит кверху ногами и вниз головой хоть и туго сообщает, но пытается всё же протестовать, издаёт даже какие-то нецензурные междометия, но, увы, уже поздно. С быстротою и ловкостью обезьян похватав мелочь, а порою, как повезёт, и никелевые рублики

с ликом Ильича, загрызаемые совестью даём моментального дёру. Не отрицаю, что с морально-этической точки зрения (что упало – то пропало) добывание таким образом хлеба насущного более схоже с воровством чужого на виду потерпевшего, что ещё более усугубительно, так как этот самый потерпевший лишён возможности защищать принадлежащее кровно ему, страшно нервничает и даже матерится, хотя никто ранее за ним подобного не замечал. Но и меня с другом Гаврошем также бы надо понять. Разве мы не рискуем?.. И Бог его знает, куда этот самый рублик укатится, попробуй ещё сыщи... Да и вообще... Словно сейчас помню, как одного подвыпившего кавалера вместе с его такою же дамою, решившихся с ветерком промчаться по вертикали на настоящем самолёте после посещения ресторана «Эльбрус», а потом ещё и Трека от кружений совершенно неожиданно для них так замутило, что всё содержимое их желудков тут же начало выплёскиваться наружу; по закону центробежных сил полетело туда, куда надо, на головы ничего подозревающих радостно улыбающихся зевак, на мою голову и голову моего закадычного дружка-компаньона по рискованному бизнесу Вовки Такаева по прозвищу Гаврош тоже. А потому, несколько раз воспользовавшись плодами человеческой глупости, посчитали этот способ зарабатывания крайне негуманным, раз и навсегда от него отказались. И слава Богу. Вскоре этот аттракцион, находящийся в парке возле Третьего озера, был окончательно с эксплуатации снят. Что там у них произошло, всякое болтают. Говорят, какого-то большого начальника сверху перебродившим шампанским вместе с салатом оливье окатило с головы до ног.

Глава 33. ОСЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ В ДУБОВОЙ БОЧКЕ

1

Из множества запахов, известных мне, запах бархатцев и по сей день навеивает невыразимо щемящее чувство тревоги и одновременно, как ни парадоксально, некие чувства сладкого томления, ушедших, кажется, навсегда дней, куда никак уж нельзя вернуться, как и войти в одну и ту же реку. Терпкий, неповторимый, в моём воображении тут же рисует слезливые картинки осени, стылые белёсые лужицы, подёрнутые первым тончайшим ледком утренних заморозков, меня – махонького, шагающего в школу с чёрным дерматиновым портфелем, насквозь пропахшим маминскими бутербродами – ржаным хлебом и домашним сливочным маслом, Красную Горку, на вершине которой возвышается белокаменный храм, порушенный и без крестов, мимо которого никак не пройти, так как за ним школа. На Урале, в Курьях, где мне суждено было родиться, эти растения расцветают к сентябрю, стойко держатся до первых морозов



и ещё дальше, когда уж и поля сплошь покрыты серебристым инеем, а вдоль парящих холодным туманом болот появляются первые наледи. И кажется бы всё, замёрзли... Ан нет... При первых же лучиках солнца оттаивают, покрываются слезливой росой, начинают пахнуть ещё сильнее. В силу ли коротенькой ножки своей, необычайно-оранжевой желтизны соцветия – цвета разлуки, каких-то несерьёзных листиков, словно нарочно помятых, из них не составляют букетов, их не дарят, хотя, по-честному говоря, если бы кто по случаю какого моего творческого события – выставки ли, преподнёс мне три вот таких цветочка, то я, наверное, обрадовался бы особенно. Несмотря, казалось бы, на совершеннейшую индивидуальность своего аромата, который нельзя было сравнить ни с чем, однажды в состоянии смутной дремоты я всё же вспомнил:

– Господи! Да ведь так пахло монастырское вино, а вернее, дубовая бочка из-под этого вина, куда я был заточён, что в молитвенную келью – в склеп на многие годы для познания в самом себе причин добра, которые есть Любовь, и причин зла – за коими Ненависть. Как же я мог об этом запомнить?

Распорядитель души моей, всех дел моих, перед тем, как погрузить меня в омут несказанной глупой радости, как и мудрой печали, света и тьмы – любви и ненависти, не без иронии заметил: «Исполняю волю твою, которая и есть Моя воля».

По-честному говоря, в сказанном вот так Им никаких алогизмов, а тем более, силлогизмов – двух противоположных суждений по сути одного и того же действия, – не нашёл и даже, наоборот, посчитал, что подобная формула справедлива: в кубе заключено шесть четырёхугольников, в шаре – бесчисленное количество окружностей. Поставь четырёхугольник на один из его углов и придай ему быстрое вращательное движение, и он тут же зрительно обернётся в шар.

Иллюзорен мир. А потому, оградив себя от всего, что бы могло отвлечь от главного, подобно змею, просочился в пустую винную бочку, найденную по случаю в глухой теснине у подножия Уллу-Тау, во избежание всяческих искушений, которые всегда провоцируются свободами, плотно забил в кругленькое отверстие дубового неба пробку, перекувыркнулся и поплыл в бурном потоке времени.

2

Каждому известно, что нет радости без печали, мудрости без глупости, любви без ненависти, света без тьмы, добра без зла, мужчины без женщины, частицы с минусовым зарядом без частицы с плюсовым зарядом,

в целом – материи от антиматерии, мира от антимира. И хоть Адам изначально был сотворён в одном-единственном лице, отличительно от всех остальных, имеющих дыхание жизни в ноздрях своих, движение ветра в груди своей, быстро осознал, что одному быть не очень-то хорошо и даже очень нехорошо, несказанно опечалился грустью запредельной, засмутился в душе своей: «Неужели-таки я хуже достоинством своим даже того двугорбого верблюда, которому Господь дал для продолжения и к приумножению рода его верблюдицу кареглазую и тонкошеюю, с длинными ногами и ресницами, подобными венчикам полевого исопа?¹». Помыслив столь, полишился и райского аппетита, да так, что Творцу в экстренном порядке принимать пришлось меры к исправлению Собою же гениально созданного на ещё более гениальное. Вот тут всё и началось. После стремительно произведённой хирургической операции по извлечению ребра – единственной кости, не имеющей в себе мозгового вещества, посмотрел Адам на себя любимого – подобие себя и образ свой за незначительным исключением, на женщину вперил очи свои, которую ему явил Господь и возрадовался: «Хороша чертовка!..». Глянула дева на мужика, ранее приготовленного ей – волосатого, неотёсанного, глупого, а от того доверчивого, аж глаза зажмурила, еле слышно проронила: «Мой...». Непонятно, по каким таким причинам, но пока они ютились в общей коммунальной квартире в самом раю, где и Бог, и Власть, и Силы, и ангелы, и архангелы, и Стратиги, и Архистратиги во главе с самим Сатаной – наисияющим Люцифером, детишек у них, относительно всех остальных из созданных, не заводилось. Может, самим так не хотелось обременяться лишними хлопотами, или стеснялись как – что не говори, а Рай, а возможно, и в силу единокровия, кто кровь-то свою?.. А может, и вообще, как говорят в народе – Бог не давал, в общем, жили бездетными. Не ведая матери, ходили по райским кущам «в чём мать родила», ни чуточки не смущаясь своей наготы, как и все остальные, не стесняясь самого Бога, Его присутствия воочию, ни даже того, что вроде бы должно как-то смущать, хотя бы потому, что различимо, хотя непонятно и почему: не Богом ли так задумано?.. По всей вероятности, в Раю жилось так беспечно и сладко, аж до приторности, что о какой-то иной сладости и вообще не помышлялось. Иначе... Зачем же Творцу надо было мудрить, вылеплять из безмозглого ребра женщину, выдумывать её такую, какою она должна быть, со всякими её прелестями, которые потому и прелести, что предназначены для прельщения и охмурения? Неужели только ради того, чтобы бедолаге самому не

¹*Исоп* – травянистое растение, приспособленное священнослужителями для окропления жертвы святою водою.

пришлось отпочковываться, делиться или, как по другому, к преумножению самого себя во имя будущего?. Есть баба, хай и делится, умножаясь в муках своих... Да конечно же, нет!.. Не сам ли Господь сказал: «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будет одна плоть». А коли влечение Адама к Еве со всеми вытекающими к тому обстоятельствами – детишки пошли, узаконено самим Творцом к обоюдной их радости, то о каком можно говорить разуме? Не потому ли, что только безумным доступны чувства несказанного счастья?.. И не в доме ли мудрости уныние и скорбь?.. Есть о чём покумекать...

3

Никому не известно, сколь долгое время находились они в этом блаженном состоянии чистоты, невинности и беспорочности, известно только одно: ничто не вечно под луной. Адам, наученный своею полногрудую подругою Евой, вкусил всё же от древа познания добра и зла плодов запретных, за что Создатель, конечно же, шибко разгневался, хотя изначально глазам своим не поверил, переспросил даже:

– Дети! Где вы?

Оказывается!.. Первый признак грехопадения – ощущение собственного стыда. Да, да! Именно стыда, что вот столько времён ходили без штанов и даже не чаяли, что это неприлично... А как познали, что это неприлично, то есть стыдно, то тут же и были причислены к грешникам, фиговыми листиками прикрыли срам свой, принялись, да не перед кем-нибудь, а перед самим Богом отпираться – она винить змия-искусителя, он свою жену законную, данную самим Вездесущим. Оказывается, что срамный уд, который Господь зачем-то Адаму пристроил в одном месте, был лишь всего элементом блаженной красоты, символом целомудрия. В практическом же отношении или, как говорят сейчас, в утилитарном, никакого значения не имел. Подобное же надо сказать и о Еве. Не престранно ли?.. Не противоречит ли сие здравой логике? А коли противоречит, то можно смело констатировать: безвременное райское прозябание в блаженстве, которое мы пытаемся как-то понять, не имеет никакого отношения ни к логике, ни к разуму, ни к осознанной чувственности, ни к самопознанию, ни к самой самокритичности. О каких вышеперечисленных вещах может идти речь, когда существо, замечу – высокодуховное существо – не ведаёт ни добра, ни зла, ни стыда, ни совести? Всё бы так... Но вот ведь что не складывается... Оказывается, ещё задолго до своего грехопадения и даже до первой женщины, пардон, девы, чудным образом явленной Богом человеку из его же ребра, Адам уже тогда показал недюжинные, а по современным понятиям – гениальные способности в области

анатомии, биологии, генетики, физиологии и прочее, и прочее, и прочее, без чего уж точно никак не обойтись, коли не владеешь глубочайшими аналитическими способностями, базирующимися на той же матушке-логике и только логике. Усекли?

Господин Дарвин, уж извините, пролетает, как фанера над Долинском. Куда ему с его хилыми мозгами... За много, много до него именно Адаму самим Творцом первому было поручено, а значит, доверено дать подробнейшую классификацию, да ещё и поимённо, всему живому, имеющему дыхание жизни не только в ноздрях, но и в жабрах, и в других немислимых местах, о которых и поныне мало кто догадывается, дать названия всему, что Бог сотворил. Не хило?! Тут, хочется повториться, требуются не только твёрдые знания, логика и научная смекалка истинного гения, но и ещё более кое-что. Как же сей беспорочный и нестареющий юноша после сего свершённого им научного подвига по классификации не только животного мира с раздвоенными или нераздвоенными копытами, чистыми и не чистыми, летающими, скачущими, ползающими на чревах своих гадами, но и вообще всего, в дальнейшем со своею подругою Евою мог пребывать в раю совершенно не сведущим, подобно эдемскому овощу, никак даже не осознавая, что он всё же – мужик, а подруга его, пусть ещё и не женщина, но всё же – баба, не странненько ли?

Небезызвестный Эразм из Роттердама, хоть и слыл богословом-теологом, ревностным сторонником первой книги из пятикнижия Моисея – «Бытие», имеющей начала свои «От Сотворения», не удержался, в задумчивости поскрёб гусиным пёрышком макушку, мудрейшим образом изрёк:

– Сие есть таинство Божие, недоступное разумению человеков.

Так и повелось доньне.

– Нда-а-а-а, – не без скепсиса помыслил я, – что-то здесь не так, странно получается... С одной стороны, от самого Господа: берегите и возделывайте свой сад; плодитесь и умножайтесь... С другой стороны, так и хочется спросить:

– Что ж это вы, господа Перволюди, не умножились в раю? Условия самые наиболее благоприятнейшие... Ни проблем тебе с питанием, ни с отоплением, ни других каких проблем, связанных, скажем, с родами. А может быть...

Имеем мы право предположить, человечество Богом и вообще как-то не планировалось?.. Почему всё это стало происходить только после того, как парочку турнули из Райского Эдема? А коли всё же планировалось, то причём здесь глупый и недоверчивый Адам и его сладострастная Ева, коих непонятно и зачем лишили всяких приятственных удовольствий, нескончаемых блаженств, привилегий, так сказать, изгнали туда,

где в поте лица нужно хлеб добывать свой насущный на каждый день, в страшных корчах рожать детей, а самое непонятное, зачем-то умирать, будто без этого никак нельзя было обойтись, что опять-таки крайне нелогично. Подобие и образ самого Бога – троица по плоти, духу и душе, по сути сам Бог, может ли как-то умереть, то есть совсем не быть, исчезнуть, самоуничтожиться?

4

Вот такие мысли одолевали меня в моём тесном узилище, куда я сам себя добровольно заточил и, признаюсь, не без шкурных интересов, ибо, как подсказывала интуиция, бочка, в коей хранилась священная амброзия, принадлежала некогда самим богам, дух этой самой амбры выветрился ещё не совсем окончательно, а, следовательно, и я хоть как-то мог приобщиться к безумному веселию, почувствовать себя настоящим, пусть не богом, но хотя бы божком.

И игра стоила свеч. Представил, как бессмертные, выпив эту бочку до дна, захмелели до изумления, устроили себе забаву, принялись швыряться ею, кто дальше, словно это и не дубовое вместилище дивной амбры, а какой спортивный снаряд, подобный олимпийскому ядру, пока один, отвечающий за мудрость и благодать, ненароком не угодил Везувию в лоб, что и послужило причиной безобразного и пьяного скандала приключившегося между ними. Его, то есть этого Везувия, так понесло, так обиделся, что и до сей поры никак упокоиться не может. И хоть, хочу повториться, бочку боги вылизали до последней капельки, неистребимый дух блаженства её далеко не до конца выветрился. Уже одного этого мне хватило, чтобы проявить в себе бунтаря, непреложные истины мира этого поставить под сомнение, утвердиться в глупости, как в особом состоянии мудрости и притом без всяких там дураков, а в чрезмерных знаниях увидеть примеры особой глупости, не находя ни в этом, ни в том особых различий по существу. Не от великоречий ли всё сие многоуважаемого гражданина Соломона – царя мирного, сына Давида и матери Вирсавии; правителя Иудеи и Израиля?.. Не знаю... Ведь всем известно, что мысли, подобно птахам, витают там, где им вздумается, как тать прокрадываются и в запертые двери, овладевают и душою, и телом, да так, что от нестерпимого зуда своей деятельности человек принимается вытворять чёрт знает что и уму непостижимое; возводить вавилонские башни, по скоромунедомыслию своему отводить в противоположную сторону русла рек, выращивать капусту и огурцы в пустыне, дудеть в иерихонские трубы в ожидании, что когда-нибудь хляби небесные рухнут, и наступит конец света. И ведь действительно...

Как по справедливости понять, какая втемяшилась мыслишка в голову, зловредная ли или благостная, тогда как существенных отличий между добром и злом, как и между мудростью и глупостью и до сей поры не найдено? Иначе бы... Какого лешего воевать за правду-матку, коли она у каждого своя? А раз моя воля, как мне кажется, и воля Господа, со всеми к тому силлогизмами едина, то об чём речь ведём, господатоварищи, глубокомысленно мудрствуя о приватах света и тьмы, добра и зла, любви и ненависти и прочей дуалистики, если оные без своих противоположностей себя в отдельности и представить не могут. Вот ведь до каких вредоносно-блаженных идей докатился я во время своего путешествия по бурливым потокам времени в бочке, подобной омулёвой, но пропитанной не отвратным духом рыбьего жира, а фимиамами самой амбры – блаженного напитка богов.

Не найдя существенных и зримых граней между числами отрицательными и положительными, той черты, где можно с уверенностью сказать: стоп! Ещё один шаг, и твоя беспредельная любовь может обернуться злом, начнёт любить насильно, навязывать себя там, где ей не рады, где её представляют уже как зло – крепко призадумался. Кому неизвестно, могу напомнить: в задумчивости – плевелы сомнений. И это факт. Сомневающийся перед тем, как верно поступить, останавливается, садится на собственное седалище, начинает рассуждать. Несколько поупражнявшись и так, и эдак, приходит к однозначному выводу, что на поставленный вопрос, замечу – любой вопрос, есть как минимум два ответа.

Вспомнились слова его преосвященства святого патера в свистящей и чёрной шёлковой сутане, алой ермолочке на яично-вытянутом затылке, блаженно назидającego с кафедры, тускло отсвечивающей старинным лаком: «Искоренит Господь всякое зло, творимое нечестивцами на земле, низвергнет враги своя в огненную геену; восторжествует светильник единой веры, воссияет преданным слугам Его через святое Евангелие самого Спасителя Эммануила Господа нашего Иисуса Христа... Аминь...».

Услышал и другой голос – твёрдый в правде своей, что кремень, – голос мусульманского проповедника, услышал: «Един Аллах!.. И нет у него сотоварищей, ни жён, ни сыновей, ни дочерей. Хвала Всевышнему – владыке миров, его пророку Мухаммеду – рабу верному, через него вам Моё послание. И нету веры для вас иной, чем та, которую вам сниспослал Аллах в Священном Коране. Не следующим же этому пути – многобожникам, лицемерам уготовлены обители огня; поистине скверное их жилище. Вкусите же сполна от вашего неверия».

С великим усердием и достопочтением внимал и от третьего голоса, благовествующего из буддистского ашрама, внимал голосу ламы – ясному, кроткому и чистому, исполненному блаженной любви, наполненному

небесным дымом курящегося кипариса и ладана; и четвёртому – доносящемуся тихим шелестом папируса со страниц древней Торы, свитков Пятикнижия Моисея, голосу благовествующему из синагоги, принадлежащему еврейскому раввину, и пятому, и шестому, и даже голосу марксиста, низвергающего всех перечисленных выше скопом, убеждённо утверждающего, что все эти религии есть опиум для народов, а их распространение – эпидемия наркомании, ведущая к регрессу и отуплению масс. Все были настолько убеждены в своей правде и только в своей, что аргументы других, замечу – железные аргументы и даже каменные, в связи с тем же и по поводу того же, то есть Единого Всевышнего Бога, не только никак не воспринимались, но даже наоборот, вызывали крайнюю враждебную раздражительность, настоящую ярость.

– Почему так? – задумался я непростым вопросом, чуя всем своим нутром, пропитанным фимиамом амброзии, что здесь что-то не так.

Обратившись весь в слух в египетском мраке своей дубовой бочки областью правого полушария ягодицы почувствовал, как от одной из дощечек стали происходить некие вибрации, схожие с теми, какие производит червь-древоточец, поедающий изнутри древесину, расширяющий своё жизненное пространство. Странно. Ещё вчера никаких таких звуков не было, толстые дубовые клёпки представлялись несокрушимыми, ковчег – непотопляемым. В связи с этим ли, но в голове фосфорическим сиянием ядовито-зелёного цвета вспыхнуло нечто из избитого и пошлого: ничто не вечно под луной, и что червь, питающийся прахом, как и все остальные, имеющие дыхание жизни в ноздрях своих, в том числе и я, все уйдём, так и не поняв: а кому это надо было, чтобы мы вообще пришли? Единственной же причиной всех наших борений и несогласий, бесконечных войн, ведущихся на земле от начал, неистребимых ненавистей наших, всех побуждений ко всему этому, есть не вера и даже не Бог, а хлеб. Да, да! Именно хлеб, жадность иметь много хлеба, страх потерять последнюю крошку и есть тот божок, ради которого воюем не на жизнь, а на смерть, убивая друг друга, лжём, преступая всякие клятвы, искренне верим, что все эти жертвы наши не божку-кумиру, а истинному Богу. И хоть сказано: не единым хлебом жив человек, а... Яви Господь его всем без остатка и нескончаемо, Его тут же и забудут. Не велика премудрость бесконечно кормить нищих хлебом... Научи трудом его добывать.

5

Пососав дубовую щепочку, пропитанную благовонною амброй, пришёл к ещё более крамольному выводу, опровергающему все уклады и сложившиеся стереотипы относительно как добродетельности, так

и злонамеренности. Не богатые повинны в бедности и нищете большинства, а большинство, что позволило этим самым богатым забрать всё и владеть всем. И не нищенскою ли завистью утверждается роскошь земная? Исчезни ей, и всякие излишки окажутся тяжким крестом, роскошь – очевидно глупостью, слава – пустынным бряцаньем меди, власть – мученичеством. Но... Вернёмся всё же к хлебу... Властвующий, с яростью отстаивающий имя своего Бога, истину своей веры, – властвует во имя хлеба, во имя славы. Бог есть – Любовь. Призывающие к покорности от лица Бога прежде всего пекутся о сохранности своей власти, преумножении этой власти, преумножении своего хлеба. Бог есть – Справедливость. Разжигающие бунт во имя справедливости Божией, во благо нищих и обездоленных, пекутся не о нищих и обездоленных, а обуреваемые жадностью о своей власти, о своём хлебе, которые силою этих нищих можно отнять у тех, кто когда-то поступил оним же образом, то есть у кучки богатых, которые ранее были бедными. Причём же здесь Бог?

И вспомнился мне сон Иосифа еврейта, сына патриарха Иакова и Рахиль, которого родные братья продали в рабство египетским купцам, вспомнился сон о семи коровах тучных и семи тощих, о семи полных зерна колосьях и семи тощих, благодаря чему царь египетский за хлеб скупил не только всё серебро, всю домашнюю скотину, но и землю египтян, так что все они вместе с семьями постепенно стали переходить в собственность фараона. Но не он ли их спас от голодной смерти? И не сам ли Господь Саваоф пребывал с Иосифом Великолепным, иудеянином – царём Египта? Не Его ли наущениями подданные превратились в нищих рабов, фараон вместе со своим царём обрели несметную власть, деньги и славу? А что, за просто так, исходя из божьего человеколюбия, никак нельзя было поделиться излишками этого хлебушка? Выходит, никак нет, коли Бог не давал такого повеления. И не предприимчивая ли инициатива Иосифа Мудрого, послушника Божьего, прорицателя снов послужила примером многим властителям, включая и тех, кто ныне, что кому голод и война, а кому мать родна... Только причём здесь Всевышний, который есть абсолютная и бескорыстная Любовь, причём вера в Него, причём религия, когда «кусать очень хочется»? Круг замкнулся.

6

После того, как мой ковчег всё же дал течь, а всё по причине шашелей – ничтожнейших из ничтожнейших, ходящих на чреве своём, грызущих денно и ночью что ни попадись из деревянного, сделавших из моей бочки дуршлаг, своё путешествие по реке Времени пришлось, простите

за тавтологию, временно прекратить. Крепко ухватившись зубами за самый краешек дубовой пробки, забитой самолично мною изнутри при помощи собственного лба, ибо твёрже ничего не нашлось, попытался было её сначала раскатать, а потом и вытянуть на себя, да не тут-то было. Помогли те же шашели. Осознав в глубине своих ничтожнейших душонок, что как рубить сук под собой, так и дырявить посудину на которой пльвёшь – одно и то же, срочно и дружно принялись конопатить собою же проделанные ходы, дабы и самим не потопнуть в бурливом океане времени по причине своей же глупости. Неожиданно оказавшись по колено в воде, сочащейся из многочисленных дырочек, капающей летами смутных веков, да и ещё в полном мраке, так как третий глаз – единственный светоч, и тот от страха перестал что-то видеть, взял себя в руки, встрепенулся, сказал самому себе:

– Брось валять дурака! Очнись от сонных грёз, будь как все – человеком здраводумающим.

При одной только этой мысли, подобно старому, покрытому копотью паровозу, но с алою звездой на груди, помчался по железной колее навстречу свету под названием будущее, что смутно мерцало где-то впереди махонькой белёсой дырочкой, не шире горлышка винной бутылки от портвейна номер тринадцать. Ранняя приобщённость к божественной амброзии, а это, что ни говори, а всё же – алкоголь, в дальнейшем привела к самым пагубным последствиям. Выбивая клин клином, как мудрость выбивается глупостью, вскоре же превратился в горького пьяницу, стал сочинять запоем стихи, петь их под дешёвую дворовую гитару, у которой от бесконечных настраиваний, верчения колков взад-вперёд зубья у шестерёнок поистёрлись, а иные и вовсе заклинило. Боги обиделись, разгневались даже, как один, рассерчали, кроме Бахуса, почти единогласно вынесли свой вердикт: быть тебе до конца дней своих нищим, слыть не как все думающим, – то есть сумасшедшим, обнимать глазами чужих женщин – радоваться единственной, бесконечно тосковать по осенним бархатцам, так пахнущим священной амброзией – напитком богов.

Глава 34. ДЯДЯ ЛЁНЯ

1

Начало марта, а жарница, аж ужас; солнце так и припекает, словно уже лето, хотя деревья совсем голые. Сегодня совершенно случайно узнал фамилию Леонида Аркадьевича и его жены Ады Марковны. Хоть они считались мужем и женой, но почему-то фамилии имели разные.

– Мальчик, ты на какой этаж? – слышу за своей спиной женским голосом, – не поможешь...

Совсем маленькая тётенька в выцветшей старенькой кофточке розового цвета, грубой шерстяной юбке, коричневой и в подоле куцей с усталым худеньким личиком, в платочке и с большою почтовою сумкою на плече протягивает мне две прямоугольные бумажки сиреневого цвета, похожие на промокашки с приглашениями на выборы.

– Сбегай, милочка, отнеси в семнадцатую, кажется, на втором этаже, совсем ноги уж не ходят; третий год, как обещались лисопед; где он?.. Сволочи.

Фамилия у Ады Марковны оказалась Корх, у Леонида Аркадьевича же – Ванштейн, да и ещё через чёрточку – Дунайский.

– Совсем, как у известного артиста, громкое такое, – усмехнулся я, – Ванштейн-Дунайский.

Хотя... Если бы было – Ванштейн-Задунайский, было бы ещё оригинальнее. Такие обычно бывают ещё у знаменитых путешественников и у тех, кто выступает в цирке с очень опасными номерами:

– Укротители свирепых тигров и львов, народные артисты Советского Союза, несравненные Светозар Азарович Бенгальский и Леонора Павловна Гарбовская-Засулич! Встречаем, товарищи! – как из громкоговорителя слышится в моей голове восторженным голосом маленького и лысенького конферансье в чёрном и засаленном до блеска фраке с длиннющими фалдами, в белой рубашке с оборчатými жабо, делающей его похожим на потрёпанного пингвина.

– Интересно, – думается мне, – это они что, сами вот так себе придумали для оригинальности или на самом деле?.. Семён Тянь-Шанский, Миклухо-Маклай, есть ещё Приамурский, Закарпацкий, а писательница Марко Вовчок, у которой муж Лобач-Жученко, так и вовсе не Марко Вовчок, а Мария Александровна Вилинская-Маркович. Надо бы как-то у папы поспрашивать обо всём этом, интересно же...

– А-а-а, Володенька, – не без удивления тянет Ада Марковна, – проходите, проходите. Лёничка! Ты посмотри, кто пришёл к нам в гости; а мы с Леонидом Аркадьевичем как раз чай собирались кушать; да не стесняйтесь, пожалуйста, – басит Ада Марковна, – Лёня...

Заметив в моей руке бумажки, скашивает голову в сторону, близоруко щурится, спрашивает:

– Что там у вас?

– Адочка, кто там? – слышится из глубины комнаты голосом Леонида Аркадьевича, – из ЖЭКа, что ли?

– Да какой там ЖЭК... Дождётся их... Наш друг Владимир приглашает тебя и меня принять обязательное участие во всесоюзном волеизъявлении народа, в выборах. Как я понимаю, без нас эту власть

уж никак нельзя и выбрать, – не без иронии говорит она, закладывая пригласительные в обвислый карман своего халата, вместилища более схожего с хозяйственной кошёлкою.

– Ага-а! Поймались, молодой человек, – задорно треплет меня по плечу Леонид Аркадьевич, – вот теперь-то вы мне, голубчик, по-настоящему поймались, – хватает мою правую ладонь, – пока не отведаете настоящего колымского чаю с казёнными пирожками, купленными Адой Марковной поутру в домашней кухне, вчерашней свежести и с капустой, никудашеньки мы вас не отпустим.

Что есть чай красnodарский, грузинский чай, я знал, а вот колымский?.. Это, наверное, он так калмыцкий называет, который с молоком и сыром, и который заваривают на зелёном чае, похожем листьями на табак. Однажды я его уже пробовал у одноклассника татарина Исмета Эминова, и он мне по вкусу жутко не понравился, хоть я старался и не подавать виду из уважения к его родителям. Подумают ещё, что совсем невоспитанный. Аж позеленел, помню, но всё равно выдул целую пиалу до дна. Что это за чай, который не то что не сладкий, а ещё и солёный, с плавающим на поверхности жирным маслом... Бр-р-р...

Квартирка, в которой проживали они, хоть и считалась полуторкой, но виделась совсем крохотной. Не будь этой узенькой ниши с большим окном, выходящим на проспект Ленина, то, считай, это уже и никакая не полуторка, а обыкновенная однокомнатная хрущёвка, в которой где спят, вернее, на чём спят, на том и гостей усаживают с великими почестями.

– А кровать у вас, Анна Григорьевна, надо признаться, того, очень даже удобная, мягкая и совсем не скрипучая, – делает приятственный комплимент усатый дядечка своей ещё совсем молоденькой сотруднице, которая пригласила его и его супругу Наташу, а ещё и бухгалтера Ивана Захаровича Пупкова – мужчину, никогда не женатого, к себе домой в гости по случаю дня рождения, – терпеть не могу, когда постели издают звуки, а ещё когда проваливаются и бугрятся.

Такие разговоры в то время были весьма даже и не исключительными, а скорее, явлениями обыденными. А как иначе... В уборной, то бишь в туалете, с огромным фаянсовым унитазом и обрамляющим его фанерным кольцом, дабы предостеречь задницу от простуды, с чугунным бачком под самым потолком, нависающим дамочковым мечом над головою восседающего, пахло натурально тем, чем и должно было пахнуть. А как же иначе?.. Не таскать же за собою парикмахерскую надувную резиновую грушу с цельным флаконом благородного шипра – одеколона с исключительно мужественным запахом. Нависающий над

головою литой чугунный бачок с элегантнейшей цепью, на конце которой приделана увесистая фаянсовая ручка, за которую, перед тем как выйти из туалета, необходимо обязательно дёрнуть вниз, вместе с водой весил никак не менее килограмм тридцати. Отчаянно шипящий, подобно змию, наспех прибитый громадными ржавыми гвоздями к кирпичной стене добросовестными советскими строителями, да и ещё с бодуна, это, скажу вам, дорогие товарищи, а тем более сейчас, по истечении стольких-то лет, далеко не для слабонервных. И ведь случилось... Я сам свидетель... В одном из музеев, не буду уж называть, благородная баба так дёрнула эту самую ручку на цепочке, да не перпендикулярно вниз, а чуток на себя, что бачок вместе с этими гвоздями, прогнившим у основания огрызком стальной трубы сорвался, рухнул, как подкошенный, вдребезги расколошматил унитаз, а всё, что в нём было, выплеснул наружу. Но не на голову же рухнул... Промазал маленько... Повезло... Но полно об этом...

Обставлена комнатка Леонида Аркадьевича и Ады Марковны была совершенно просто, а, скорее, и бедно. Почти половину пространства занимал большой круглый стол, такой же, как и наш, привезённый ещё с Урала, но не на прямоугольных ножках, а на круглых точёных, схожестью с балясинами. Три гнутых венских стула – обшарпанных, с лаковыми сидениями, довольно узенькая железная кровать, впритык к стене, с двумя решётчатыми спинками, выкрашенная в ядовито-купоросовый цвет и обыкновенный фанерный шифоньер – жёлтый, с закруглёнными боками, точно такой же, как и у большинства советских граждан. На подоконнике горшочки с геранью и ещё какие-то голубенькие с мелкими цветочками, рядом трёхлитровая банка с водой, на дне которой два серебряных полтинника. Вся же ниша, за исключением узенького прохода к окну, почти полностью была обставлена книгами. И на подоконнике, и на опасно накренившейся этажерке, на прибитых к стенам самодельных полках, и даже в стопках на полу, перевязанных накрест шпагатом, везде располагались книги. Судя по тиснёным коленкорovým корешкам с печатными буквами, по разноцветным обложкам, многие из них, а, скорее большинство, были иностранными. У окна, прямо на книгах, вытянув своё тело во всю длину, на спине, и разбросав лапы во все стороны, спал преогромный рыжий кот. Видно, почуяв постороннего, на самую малость приоткрыл один глаз, нервно дёрнул самым кончиком хвоста, свалился со спины на бок и, кажется, даже захрапел.

– Вот ведь лодырь, – ласково корит его Ада Марковна, – не стыдно тебе, Гошка?.. В доме гость, а он и в ус не дует, разлётся тут...

– Вот же паршивец, – подхватывает Леонид Аркадьевич, как бы оправдываясь за бескультурное поведение своего кота Гошки, – глыба

бескультурная... Все книги поизодрал когтями, вандал... Ему что Шопенгауэр в придачу с Кантом, что Марк Аврелий, что Иосиф Флавий вместе с Ницше – один чёрт. «Иудейские войны» издательства Латье, лучшего коленкора с золотым тиснением, изгрыз, варвар, а у Карамзина «Историю государства российского» превратил чёрт знает, во что... Обложку так умудрился разлохматить – еретик, что это уже и не обложка вовсе, а драная картона. Вот же паршивец... Ему уже и «Капитал» Карла Маркса не авторитет.

При слове «капитал» кот перестал всхрапывать, нервно подёрнул усом, заелозил своим пушистым хвостом по толстому фолианту истории Василия Кульчевского, словно пытаюсь смести с него пыль сует целых столетий, продолжительно и во всю пасть зевнул, выказав громадного размера желтые клыки, с откровенным удивлением вперил в меня янтарные глаза и даже чихнул.

– Ну вот, – забеспокоилась Ада Марковна, всплёмывая руками, – не хватало нам ещё и простыть, разлётся тут на самом сквозняке, вон из окна-то как тянет...

Но Гошка, не обращая уже никакого внимания, мягко спрыгнул на пол, коротко мурлыкнув и, подняв хвост трубой, неспешно затрусил на кухню.

– Пойдём, Гошенька, пойдём, – засуетилась Ада Марковна, – я тебе приготовила карасика, а хочешь... Сметанки...

– Лёня!.. – слышится её басовитый голос уже из кухни, – ты же опять всё наперепутал, кто тебя просил ряженку, да ещё и вчерашнюю... Ничегошеньки нельзя доверять, всё сама, всё только сама. С ума можно сойти.

– Вот так всегда, – как бы оправдывается Леонид Аркадьевич, застёгивая на груди потёртую полосатую пижаму с какими-то коротенькими и явно не одинаковой длины рукавами, совершенно куцыми, словно их по случаю, без всякой мерки, наспех отчекрыжили, да так и оставили.

К ещё большей курьёзности ли, словно нарочно, пуговицы у этой пижамы были не только разного цвета и фасона, но и значительно различались размерами. Верхняя – маленькая, жёлтенькая и кругленькая, более похожая на шляпку опёнка, при первом же порывистом движении своего хозяина тут же самопроизвольно растёгивалась, выказывая волосатую грудь Леонида Аркадьевича, перекашивая набок измятый и не совсем чистый воротничок, за нею шла чёрная и плоская с четырьмя дырочками и пришитая крестом красными мулине, величиною не менее советского никелевого рубля, ответственная, надо сказать, пуговица, ибо благодаря ей всё это странное одеяние до конца и не расхристывалось, так как уже следом за нею была пришита, да и ещё кривенько относительно петли беленькая пуговичка, явно от женской кофты

и совсем невеликая. От нескрываемого ли моего любопытства Леонид Аркадьевич, оттопырив нижнюю губу и слегка скривив голову набок, принимается не без интереса рассматривать свой халат, одёргивать, отряхивать с рукавов и живота какие-то мелкие бумажки, отскабливать ноготком пятнышки, скорее всего, от канцелярского клея, щелчком пальцев сбивать прочую мелкую дрянь в виде ниточек и хлебных крошечек, налипших то там, то здесь.

И только тут я заметил, что весь стол завален фотографическими карточками разных размеров, пожелтевшими и изогнутыми, подобно бересте, в мельчайших паутинках трещинок на глянце, с обглоданными уголочками, следами измятости, словно некоторые из них плотно складывали напололам, а то и более. Иные из них даже свалились и вольно валялись на полу и под столом, и на стульях. Рядом, на простом кухонном табурете, ядовито-синем, испачканном местами побелкой, покоился толстенный кожаный альбом – потёртой коричневой замши с бронзовыми наугольниками в виде виньеток, со следами былой позолоты и с двумя такого же манера застёжками, наподобие проёмных лир.

– Да вот, – досадливо морщится Леонид Аркадьевич, – оглядывая весь этот беспорядок, отлепляя от спинки венского стула прилипшую бумажку, – развели здесь, понимаешь ли... Решили привести в должный порядок, да умения, видать, маловато, вон, как всё в клею поизвозили, – скрябает ноготком по лаковой поверхности стола, растопырив пальцы, не без удивления рассматривает ладони, покрытые словно белыми бляшками струпьев. – И из чего этот поганый клей делают, вон ведь как въелся, смотреть тошно, – мучительно кривится он.

– Адочка... – делает страдальческое лицо, – а нельзя как-нибудь на кухне? Почему бы и не на кухне? В наше время господ только и встречают, что там... С чёрной лестницы и прямо туда, где на керогазе в кастрюльке борщ варится. В конце-то концов, – выразительно смотрит на меня, – и Владимир уже сказал, ведь правда, что ты так сказал, – отвечает за меня, слегка подмигивая, делая выражение лица серьёзным, – что на кухне гораздо по-домашнему, и что ты терпеть не можешь пить чай в зале, который есть наша с тобой спальня. В конце-то концов... Не можем же мы не учитывать пожелания гостя, – всё громче и энергичнее почти кричит он, сложив ладошки рупором.

– Господи! – слышится из кухни, – ну зачем так шуметь, когда всё можно прибрать, привести в порядок за пять минут. И только...

– Адочка! – неожиданно меняется голосом Леонида Аркадьевич, – что ты наделала?! – почти по-бабьи взвизгивает он, тыкая указательным пальцем в лежащую на полу фотографию. – Ты же и Павлу Ефимовичу, и Александре Михайловне Домонтович ноги по самые колени отрезала.

– Где я отрезала, какой Александре Михайловне отрезала, – не без тревоги в голосе спрашивает Ада Марковна, нервно поправляя свои очки, вглядываясь в сторону указующего перста супруга.

– Домонтович-Коллонтай, Александре Михайловне Коллонтай ноги по самые колени отчекрыжила своими ножницами. И... И Ефимычу... – не своим голосом стенает бедный Леонид Аркадьевич, пытаясь в куче обрезков отыскать эти самые недостающие члены, которые по невнимательности были ампутированы подслеповатой супружницей.

– И правильно сделала, что отрезала, – толстым голосом уже басит Ада Марковна, презрительно сощуривая свои глазки, – где это видано, чтобы в ногах будущего полпреда Советского Союза в Швеции валялся матрос в нательной полосатой майке с этим ужасным наганом в деревянной кобуре, да и ещё в дрезину пьяный.

– Где он пьяный, почему ты так решила, что он непременно пьяный? – роется в смятом бумажном мусоре Леонид Аркадьевич, – ведь я помню, что ничего он не пьяный, а даже наоборот, очень даже трезвый; покажи. Где он там пьяный, когда он специально вот так лёг у ног Александры Михайловны и своего командира-начальника, чтобы поместиться в кадре.

Наконец-то находит обрезанные ноги и этого самого, как впоследствии я узнал, матроса Железняк в чёрном расстёгнутом бушлате и полосатой тельняшке, с громадной кобурой на ремне, лежащей перед ним и на самом виду, и действительно с совершенно закрытыми спящими глазами, головою, покоящейся на лаковом щёгольском сапоге Дыбенко Павла Ефимовича, своего непосредственного начальника.

– Господи, – ещё сильнее нервнруется Леонид Аркадьевич, – а это?.. Чьи это ноги вместе с туловищем и рукою на колене?.. Ты же и меня наполам... Вот, – снова тыкает он пальцем, – видишь этот перстенёк, – возмущённо вопит он, разглядывая ещё один обрезочек фотографической карточки, выуженный из той же кучки, – это мой перстенёк... Подарок Анны Андреевны на день ангела; и рука... И рука тоже моя. Как же её-то не признать? – тянет он тоненьким бабьим голоском, уставившись в кривенький прямоугольничек бумажки с изображением руки от локтевого сустава, мирно покоящейся на коленочке в самой наинепринуждённой позе, со слегка оттопыренным мизинчиком, на котором и виднеется этот самый кругленький перстенёк. – Ведь, словно сейчас помню, что на этом снимке я сидел по левую руку от Надежды Константиновны, а по правую руку, рядом, – и это я уж точно помню, на банкеточке, – бархатная такая и вишнёвого цвета, располагался Лейба Давыдович со свёрнутой газеткой в кармане и с цепочкой по сюртуку. Меня-то ты зачем от них отделила – варварица этакая?.. да и ещё ноги вместе с задницей отрезала...

– Потому и ополовинила, – слегка косится на меня, делая ему по-незаметному знаки, – сам знаешь... Совсем нежелательная фотография. Мало ли что... А там, где вы – ты и Стёпа с этим самым Урицким, и опять-таки с Коллонтай, оставила, как есть. Про неё уже и фильм состряпали, известная дамочка, – кривится, как от зубной боли, Ада Марковна, – шила в мешке-то не утаишь. Почитай лет на двадцать была старше бунтара Дыбенко. Ни стыда, ни совести... Знаю уж я вас – подпольщики...

– Не на двадцать лет, а всего на семнадцать лет, – быстро парирует Леонид Аркадьевич.

– Во-во!.. – ядовито и толстым демоническим голосом гомерически смеётся Ада Марковна, – а тебя так и вообще на все двадцать пять... Самка необузданная, – снова косится она на меня.

– Адочка, – в свою очередь делает большие глаза дядя Лёня, незаметно кивая в мою сторону, словно я полный идиот или совсем мала лялечка и ничего не понимаю, – как можно так... Что ему о нас представится, – сквозь зубы шипит Леонид Аркадьевич, переходя на совершеннейший шёпот, не подозревая, что у меня с моим музыкальным слухом не то, что хорошо, а очень даже хорошо.

Более же всего поразило меня не только это, хотя, признаться, поразиться было чему, не то, что совершенно молодой Леонид Аркадьевич в щёгольском полуфрачке на одном фотографическом снимке с такими значимыми особами, как Надеждой Константиновной Крупской, с Коллонтай Александрой Михайловной, да и с другими, поразило другое, ведь это с ума сойти!.. Среди множеств старинных фотографий, хотя, какие они там старинные, когда с революции семнадцатого года и сорока лет-то не кануло, в глаза бросился один снимок – групповой портрет дядечек и тётчек разных возрастов, восседающих в непринуждённых позах за длинным столом, покрытом белой скатертью, в самом центре которого в задумчивой позе, слегка откинувшись на спинку стула назад и в полуоборот сидел Владимир Ильич Ленин. Но и это не всё. Чуть далее, как бы на втором плане, среди стоящих левее центра бросилось лицо совершенно молодого человека, годов не более двадцати пяти, как показалось, в тонком пенсне на переносице, чёрном полуфраке и белой манишке со стоячим, подвёрнутом по уголкам воротничком и совершенно узеньким галстуком, более похожем на витой шнурок.

– Ну, что, Владимир, не угадали? – с каким-то внутренним напряжением спрашивает меня Ада Марковна, видя, с каким вниманием я рассматриваю эту подлинную историческую фотографию с самим вождём мирового пролетариата товарищем Владимиром Лениным, что казалось мне, тогдашнему пионеру, патриоту своей страны почти нереальным.

Честное слово, но приведишь мне лично увидеть какого марсианина, то и тогда бы я не удивился более, чем этому снимку, столь сильно произвёл на меня он впечатление.

– Адочка... – как бы предостерегающе говорит Леонид Аркадьевич, – молодому человеку, возможно, и вовсе не интересно. Мало ли каких фотографий на свете с Ульяновым, куда в объектив попали и совершенно посторонние лица? Это мы в Женеве после съезда РСДРП, но до раскола, – загадочно говорит он и, кажется, не столько мне, сколько Аде Марковне.

– А у вас, дядя Лёня, сохранился вот этот костюм? – неожиданно и для себя спрашиваю я, указывая пальчиком в то место, где точно изображён он.

– Узнал-таки... В этот фрачок, – смотрит с лукавцей на жену, – я бы вряд ли и наполовину влез. Его у меня вместе с чемоданчиком и прочим барахлом в нём спёр один революционный матрос. Экспроприировал, так сказать, в пользу голодающего пролетариата, в помощь обездоленных сирот.

– Как же он посмел у вас его украсть, – с жарким возмущением говорю я, – когда вы на одной фотографии с самим дедушкой Лениным?

– Откуда же ему было знать об этом, тогда как этот анархист – бисов сын, был пьян и с маузером на заднице, да и ещё с настоящей бомбой у ремня?

– А что, – праведно не унимаюсь я, – разве нельзя было ему сказать, прямо сказать, что вы вот такой знаменитый человек, настоящий герой?

– А в чём же здесь геройство? – делает удивлённые глаза Ада Марковна, приблизив фотоснимок к своим близоруким глазам, затем оторвавшись на своего мужа.

– Как в чём? – воспаляюсь берестою я... Разве с Лениным, в его окружении могут быть какие другие, которые помогали ему делать революцию, свергать царя, изгоняли кровопивцев-помещиков и всяких попов, морочащих трудовому народу головы?

– Эх его заняло, – не удерживается Леонид Аркадьевич и начинает смеяться.

Моя железная убеждённость по столь незыблемому вопросу относительно вождя мирового пролетариата, а в особенности его святого и кристального окружения, кажется, до слёз рассмешила не только самого дядю Лёню, но и его революционную подругу Аду Марковну, которая, как и он, также стала закатываться от смеха, но так хитро, словно это не я её рассмешил, и не надо мною, а над котом Гошкой, вздумавшим из фотографий на полу и под столом сделать себе гнездо.

– Ну, брат, ты даёшь, – еле успокаивается Леонид Аркадьевич, вытирая кулаком выступившие от смеха слёзы. – Значит, как на одной фотографии, да ещё и с заднего плана, скажем, с Троцким или Деникиным, а то и батюкой Махно, да мало ли с кем из известных злодеев, так вражина народная, белогвардейская шкура, контрреволюционный элемент, а с вождём в том же ракурсе, так герой? Бросай к чертям собачьим всех этих великих, а особенно политиков, ничего не сыскать более переменчивого, чем в стаде их. Пошли на кухню пить настоящий колымский чай. А меня, да и Аду Марковну, крепко запомни, ты не видел ни с Лениным, ни со Сталиным, ни с Гитлером, ни с Дуче Муссолини, как и с Марком Аврелием, и даже, если хочешь, Гай Юлием Цезарем или Александром Македонским. Запомнил?..

2

Колымский чай, которым они стали меня угощать, оказался вовсе калмыцкий, который на молоке, – противный и солёный, а обыкновенный краснодарский «Экстра» в жестяной баночке, удивительного аромата и крепости. Такой мощи чая до этого я раньше никогда и не пробовал и даже не знал, что он может быть столь ядрёным. В нашем доме, и так повелось, чай пили жёлтенький и совсем слабенький, да и в школьном буфете и в других местах, скажем, у соседей когда, по случаю, этот напиток предлагался таким же. Натрусят маленькую щепоточку в заварной чайничек и ждут, когда он заварится, следуя логике: чем дольше, тем крепче. А следовательно, на другой день, если его вот так заварить, он настолько настоится, такого наберётся духа, то куда там супротив него узвару – компоту из сухофруктов или, скажем, кофию из жёлудей. И вообще, но это я могу сказать только сейчас, в нашем отечестве как не знали вкуса настоящего чая, так и поныне не знают.

Настоящий чай, господа-товарищи, это вам не липовый цвет и не мята с берёзовыми почками, настоянные вместе с чабрецом; и не плоды шиповника с боярышником, и не прочие-прочие травы, которые завариваются крутым кипятком, а иногда и водочкой, настоящий чай произрастает только в Индии, на Цейлоне и на юге Китая. В общем, там он проживает... В Грузии, Краснодаре, в Азербайджане, а также в экспериментальном совхозе Пымкино, что за Уралом, чай также можно рбстить, да уж больно он потом начинает отдавать самосадным табаком и берёзовыми вениками. А потому, вкусив единожды настоящего, пусть и краснодарского чая, но заваренного – о-го-го! – навеки стал чаеманом, приобрёл, относительно врождённого, иной прищур глаз, заколдовал самого себя в этакую бякушку под названием Философ, но... Но

с небольшою прибавочкой – доморощенный. Чуете разницу?.. Относительно же колымского... Так тут и вообще всё без дураков. Кому в России не известно, что Магадан – столица Колымского края?.. Да, конечно же, каждому известно. Оказывается, чтобы понять и осмыслить саму философию чайного церемониала, благотворного воздействия этого напитка на жизненно важные чакры, включая Кундалини, да и само подсознание, вовсе не надо своих граждан высылать в Китай, Индию, Шри-Ланка или на Цейлон, где непривычно жарко, стопроцентная влажность, да и духотища, достаточно Магадана, Колымы достаточно, товарищи. В цифире, кой и есть колымский чай, есть всё, что даёт человеку в столь суровых краях не просто сдюжить, а остаться человеком – поэтом, мыслителем, философом.

3

– Ада Марковна, – интересуюсь я, – а почему ваш чай называется колымский, тогда как, и это я сам видел, вы его засыпали вот из этой жестяной коробочки, где по-русски написано, что он краснодарский, высший сорт и экстра?

– Заварочки не надо жалеть, – смеётся она, так и не ответив на мой вопрос.

Леонид Аркадьевич снимает со стены семиструнную гитару, которая почему-то нашла себе прописку именно на кухне, выстраивает из пальцев на грифе какую-то трёхэтажную каракулю, громко бряцает по струнам правой рукой нечто бурливое, как бы доказывая окружающим, что он не какой-нибудь там простецкий гитарист, а – ого-го, берите выше, настоящий профессионал – Сеговия...

– Ты, Вова, не смущайся... Адочка, отрежь ему ещё пирога, подлец чайку-то. Вот чудак-человек, – смотрит с нарочитым изумлением на меня, – кто ж этот чай-то холодный пьёт? Кофеи, какавы всякие там – это понятно... А настоящий колымский чай должен обязательно быть обжигающим, чтоб в самую душу...

Низко склонившись над инструментом, по-старинному и перебором переходит на лирическое и доступное, то есть в рамках трёх аккордов начинает легонько подпевать, притоптывая в такт ножкой, обутой в растоптанный войлочный тапочек, явно женский:

*Лишь какой-то товарищ не близкий
Вдруг попросит, прогнав мелюзгу:
– Толик, сделай цифир по-колымски!..
Это я ещё точно смогу.*

*Всё смогу! Постепенно привыкну,
Не умолкнут мои соловьи.
Оглушительным голосом крикну:
– Ни хрена, дорогие мои!..*

– А хочешь, – смотрит пристально на меня, как бы испытывая, не побегу ли всем трещать, как дядя Лёня под гитару блатные песни шпилит, – хочешь спою из настоящих, но запрещённых? Хотя, – улыбается Аде Марковне, – у нас демократия, а, следовательно, уже всё дозволено.

Последнее, сказанное им, мне не совсем понятно, как и то, что матерные песни, которые, конечно же, я уже слышал и не раз, с нынешних времён петь разрешено где угодно, даже на радио, не говоря уж во дворах и на улицах.

– А кто их запретил? – спрашиваю я.

– Что запретил, – переспрашивает он меня и явно не без живого интереса.

– Ну... Эти песни, которые вы хотите, вернее, предлагаете мне спеть. Их же кто-то раньше запретил, раз они называются запрещёнными? Вот я и спрашиваю... Как можно не разрешать петь песни?

– А-а-а... Вот ты о чём, – понимающе кивает он, – как бы тебе попроще, по-правильному и по-понятному...

Облокотившись обеими руками о гитару, смотрит задумчиво в окно, как бы что вспоминая, потом на свою Аду Марковну, которая также задумалась, переводит взгляд на меня.

– Понимаешь, – мнёт ладонью свой лоб, – есть два рода певчих птиц. Иная так божественно выводит, сидя на своей веточке-сучочке, что, честное слово, дух захватывает, плакать аж от восторга хочется. А вот, скажем, посади её – кроху – в клеточку, пусть даже из наичистейшего золота, посади в золотую клетку, зёрнышек да водицы дай вволю – ешь, не хочу, а она, глядь, и разучилась петь, словно никогда и не умела. И ведь никак уж не заставишь. Другого же рода певчая птица, хоть её и в клетку посади, в темницу с единственным зарешеченным оконцем, всё нипочём... Пуще прежнего принимается коленца по-всякому выделывать, словно назло, а может, и от радости, с какой стороны посмотреть. Так и у людей. Иного не то что полиши воли, а припугни легонько, как он уж и в кусты, и роток на замок. Ну, в общем, понимаешь...

Слегка подстраивает свою гитару, двухголосо вступает на нижних, самых тоненьких струнках, ошибается, нервно дёргается и щекою, и губами, виновато косится в мою сторону, но быстро справившись, переходит на аккорды, сильно налегая на басы, верхний из которых железно дребезжит на ладах и сильно выделяется. Болезненно поморщившись, тихо и проникновенно начинает петь:

Сон бо сне - тот же с мыеж та коо суть:
Вьют в исеаево, стучать дардан
Продолжи и презертанной
Дн по бере с метяной акн

Свети ступити с теней
Влажность ваа - дело
Он расу ветих заду
Фр. лаако и парит

Неотечи, но тачна
Место дспра сльн
Безднейно оженя

Саако до луеза рен
Но неспити сажне нозд
Наналежен подаренной
Илау зорен нареленной

Внедесах за лотой харови
Ветуха с вето дрезон
Нет брелен - мет дельк
Без двийсений стреми

Вэтан снэ, да набегно
Втренись от радуде
Но не мной предреч
Умоценный венот

Которик

...Лоты и молчите-т
Устами не роес динны
Тогда, как мысли - и
Ясаи изрег их ва

они в безумнош
Крумеат, ине др
Со свитков на ка
Витан, до "гита

Вострик



*Я помню тот Ванинский порт
И вид пароходов угрюмый.
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.*

*На море спускался туман
Ревела стихия морская,
Лежал впереди Магадан
Столица Колымского края.*

От качки стонали зека,
Обнявшись, как рóдные братья...

В этом месте неожиданно раздаётся гулкий звук, словно кто костяшкой ударил по деке, нижняя третья струнка безвольно свивается в спираль, гитара теряет голос.

– Вот так всегда... – хмурится Леонид Аркадьевич, – лопнула, шельма, в самый неподходящий час.

Нехотя откладывает инструмент в сторону, болезненно потирает подушечки пальцев левой руки.

– Пальцы-то совсем поотвыкли, – внимательно рассматривает обе растопыренные ладони, – потому струна и треснула напополам, дёрнул дюже. Вот так-то, друг мой любезный, – уже совсем миролюбиво говорит мне, – жизнь прожить – не поле перейти... У тебя, как вижу, и меня в том не обманешь, душа песенная... Спасайся от властвующих всех мастей, имя которым Легион; никогда не имей с ними никаких дел своих, не посвящай в тайны свои, не пресмыкайся перед ними ужом, не пой песен своих во славу их – всё одно, раздавят...

Сказав так странно, Леонид Аркадьевич снова озабоченно смотрит на свои руки:

– Уж больно эти медные струны мозолистые, а особенно когда без привычки. И играть-то толком не играл, а уж и дотронуться больно, – болезненно дует на подушечки пальцев левой руки. Инструмент, коли уж увлечён им, никогда нельзя оставлять беспризорным.

– Ага, – ядовито замечает Ада Марковна, – в молодые годы, небось, пальцы не ломило, когда барышням, артисточкам всяким, пропади они пропадом, романсы распевал, – хитро и по-незаметному подмигивает мне.

– Леонид Аркадьевич, – спрашиваю я, – а кто эти самые властвующие, от которых надо куда-то спастись? И как они все могут называться одним именем? А кто он, этот самый Легион?

И было мне после нашей случайной и такой странной встречи что ни на есть настоящее видение. Ночью, вроде как бы ещё и не сплю, потолок над головой словно разверзся; с шумом, подобным треску раздираемого шёлка, побежали по нему рваные трещины цвета небесной лазури. Увидел столп пыльный и ветренный, подобный смерчу пустынному, с ужасающей быстротой несущийся над самой поверхностью трав полевых, высушенных знойным солнцем, всасывающий в свою ненасытную утробу прах земли, издающий немислимую какофонию звуков, в коих и громы барабанов, и визги флейт, и звоны литавр, и плач похоронный зурны, все вместе, но каждый на свой голос. Набежав со всего разгона и со всей мощи своей на гранитную скалу, уносящуюся в самые небеса, взвыл ором расстроенного органа, попытался преодолеть, да не смог – сил не хватило. И вот лежит у самых пят каменного колёсса кучка песчаной пыли, смешанная с прахом травяным, и только.

– Не ищи и самых малых причастий власти в твоих делах, – слышится густым и гулким голосом, словно из-под земли, – не желай себе от богатств их, которых не забрать с собою и на ношу муравья; отклонись их дружбы погибельной – душу спасёшь. Беги в пустошь, когда пригласят тебя правители на пир свой пышный и лживый. Жизнь – краткий миг, не оскверняй хранилищ души своей ядовитыми плевелами, видом колосьев зрелой пшеницы, внутри же наполненных мерзостью.

Услышал и другой голос – звонкий и чистый, схожий с детским, но со властью, исходящий из глубокой расщелины скалы, узкой, что лезвие меча.

– Посмотри на сей пыльный прах... Такой ли ищешь славы? Зачерпни пригоршню песка того, истекающего тоненькими струйками. Куда подевалась крепость уз их власти? Швырни его по ветру... И вот, нет уж следа. Где они теперь, эти самые великие?

И ещё услышал голос, доносящийся как бы с вершины скалы, гулкий и раскатистый, утверждающий обратное и также со властью:

– Не потакай похотям черни – небо перекинется низом, звёзды потухнут. Не служи ленивому – рабом станешь. Не суди деньгами нищего – грязью измарает, не давай в рост богатому – нищим станешь. С равным будь равным, с бедным – справедливым, с высоким – почтенным, с мудрым – молчаливым, пред Богом – униженным.

И четвёртый услышал голос, исходящий как бы изнутри сердца своего. Одновременно увидел пред собою маленького мальчика – словно самого себя увидел, но давно забытого временем: в штанишках поношенных,

словно из прореженного рядна¹, рубашонке сатиновой, измаранной спелыми ягодами тутовника, босоногого, но в красном пионерском галстуке на тонюсенькой шейке.

– Вовка! – говорит он мне с жаркой поспешностью, а на глазах слёзы, – я нечаянно пульнул камушком и убил птичку... Господь так пытал?

– Разве это нечаянно, тогда как ты метил в неё? – сокрушаюсь я, вспоминая, как удачно брошенным камнем сразил наповал птицу, что на высокой веточке дерева радостно чирикала мне песню.

От восторга аж подпрыгнул, что такой вот меткий, но тут же и ужаснулся:

– Откуда же было мне знать, честное пионерское, что камень возьмёт, да и попадёт?.. Прости, птичка...

Вдруг куча песчаного праха у подножия скалы как зашевелится лесным муравейником, как загалдит гомоном тысячеголосой толпы, как заорёт единым духом:

– Убивца! Убивца! Нет тебе оправдания, и нет тебе прощения... А ещё называется пионер... Но тут, откуда ни возмись, прилетел убиенный мною воробушек – душа его прилетела, сел мальчику на правое плечико, тонюсеньким голосочком, но на человеческий манер прочирикал:

– Я свидетельствую, что пионер Вовка убил меня не понарошку. Из любопытства швырнул камушек: попаду или не попаду?

– Экая глупая птица, – закричали на него хором муравьи, – выходит, вы оба Господа своего искушали?.. Хоть нас и легион, но и мы перед ним прах. А воробушек радостно так:

– Посмотрите на его слёзы... Спасён...

5

Примерно через месяц и Леонид Аркадьевич, и Ада Марковна – удивительные люди моего непридуманного странного детства, уехали из Нальчика, и навсегда. Куда уехали, никто толком и не знает. Одни говорили, что вроде как в Ленинград, и даже точное место указывали, – на Васильевском острове домик купили. Другие ввали, – как бы не в Москву... А третьи, так и вообще, к двоюродному племяннику, то ли в Астрахань, то ли в Калугу, вернее, в какую-то деревушку, что рядом с Козельском, с престранным названием – Срамово. Помню, от любопытства – неужто у деревни может быть такое имя, за географический атлас схватился. Оказывается, не то что Срамово, но и Дешёвки отыскались,

¹*Рядно* – толстый холст кустарного производства.

рядом располагаются, бок о бок, чуден мир... В их квартире поселился какой-то угрюмый дядечка, который только и знал, как всем и по всякому случаю делать замечания.

– Вы уж извините, Аза Амирхановна, а подъездные двери надо закрывать за собою плотненько. Этак и никакого тепла не напасёшься; к тому же коты, всякие собаки...

– Ну и чего ты расхлопался дверями, – смотрит уничижающим взглядом на меня, – думаешь, если казённые, так и можно ими сколько угодно хлопать? Ты лучше дома своими дверями постучи, чтобы они с петель... Родителям своим постучи...

– Да... – с грустью вспоминаю я, – этот, уж точно, как есть из самых наиправильнейших, тех, кто во всём порядке ищет, но на своё усмотрение.

– Дяденька, – как-то спрашиваю я его самым наисерьёзнейшим образом, – а вы, случайно, не умеете дышать ушами?

– Чего-о-о... – тарачится он на меня, выискивая в моих словах подвох.

Быстро справившись, принимается скандалить:

– Я тебе, умник, попотешаюсь щас, хулиган чёртовый. Издеваться мне надумал, гадёныш... Так накручу уши, что не то что ими, а и задницей задышишь у меня, скотина.

Проходящая в это время мимо нас Ленка Беляева с бидоном молока и булкой серого хлеба в сетке так и прыснула от смеха. Мало того... Дядька изловчился и так дёрнул меня за левое ухо, что в нём аж зазвенело, попискивать стало, как от сквозняка. Ленка, которая, по-честному говоря, мне немножко нравилась, от восторга – дура, аж взвизгнула, побежала сплетничать, как Харлам, так, кажется, звали этого желчного дядьку, меня за ухо приподнял и обругал по-всякому, в том числе и нигилистом. Как потом я узнал из словаря, нигилист – это вообще даже и не ругательство. Какое же это ругательство, когда так называют человека свободомыслящего, интеллигента-разночинца, отрицательно относящегося к всяким буржуям. Но всё равно... Дабы как-то отомстить угрюмому гражданину, отомстить за личное оскорбление, которое он мне нанес, да и ещё в присутствии девчонки – родной сестры дружка Вовки Беляева, человека независимого, гордого и вспыльчивого, который такого относительно своей персоны уж точно бы не потерпел, привязал к ручке его входной двери огрызок грязного кирпича, длинно позвонил, услышав за дверью шорохи, дал дёру. Он, конечно же, догадался чьих это дело рук, сделал определённые выводы – чёрт знает, что на уме у этого малолетнего хулигана с врождёнными манерами урки, стал со мною подчёркнуто

вежливым, вдруг да у меня возникнет крамольная мысль этим самым грязным кирпичом, да исподтишка по темечку в тёмном подъезде; за одним ещё и ограбит. У слишком правильных людей подобные мысли никогда не покидают их.

6

Примерно через два с половиной года, в самый канун праздника Великой Октябрьской Революции, когда вся страна уже приделалась в алый кумач, гуляя в своём любимом Старом парке, в тех милых моему сердцу местах, где всегда так светло мечтается, неожиданно в уединённой закуточке своего царства наткнулся на странного человека. Худой, небритый и запущенный, в нечистой поношенной одежде, явно старинного образца, но!.. В великолепной дорогой фетровой шляпе редкого светло-бежевого цвета, без единого и малюсенького пятнышка на ней, что так контрастировало с общим видом, и почти такого же цвета моднейших импортных туфлях наборной кожи, высокими точёными каблуками под блестящим лаком. Божешь ты мой... Такие туфли можно увидеть, да и то только на картинке, разве что у Джона Леннона, у Элвиса Пресли... Годов не более сорока – сорока пяти, он невозмутимо сидел на моём любимом поэтическом пенёчке, словно поджидая меня, как бы заранее зная, что именно в это время меня сюда занесёт, курил длинную иностранную сигарету с фильтром, в задумчивости ковырял прутиком землю. Из бокового кармана его прорезиненного синего плаща, вымаранного известью и ещё какой-то гадостью бурого цвета, словно ржавчиною, торчала откупоренная бутылка портвейна номер тринадцать с остатками красного сургуча на горлышке; перед ним, прямо на траве, на четвертинке газетки с большим портретом генерального секретаря Леонида Брежнева лежали кусок булки и приличный ломоть докторской колбасы. Увидя меня, от неожиданности остолбеневшего, театрально выбросил левую руку вперёд, согнул в локте, встряхнул, озабоченно глянул на свои часы в браслете из разноцветного золота, так нелепо блеснувшие в широченном жерле рукава, совершенно обглоданного по краю, с прорехой на локте, неожиданно густейшим басом произнёс:

– Однако...

Не зная, как и поступить, так как это «однако», сказанное с такой интонацией, наверное, касается и меня, и уж точно, скорее всего, именно так, бодро спрашиваю:

– А не подскажете, пожалуйста, который сейчас час?

– Они смеют ещё спрашивать, который сейчас час, – с раздражительностью в голосе рокошет неизвестный мне дядечка, снова вскидывая

левую руку, чтобы ещё раз глянуть в свои драгоценные часы, нахмуривая при этом свои густые чёрные брови, близоруко сощуривая глаза. – Опоздать на целую четверть часа... Ну, знаете ли, – обиженно кривит свою физиономию, словно вот только что откусил прилично от лимона, – это, по меньшей мере, никак и не назовёшь, как свинством. Что за необязательность?.. Чему вас, молодой человек, только воспитывают в ваших школах, – произносит он во множественном числе, словно я учусь не в одной школе, а в нескольких сразу. Небось, – оценивающе окидывает с ног до головы, – и бывший пионер...

– Вы, наверное, меня с кем-то спутали, – не без робости оправдываюсь я, на всякий случай слегка отступая, выдерживая дистанцию между собою и столь экстравагантно разодетым гражданином, явно неадекватным, чем-то раздосадованным мною.

– Я никогда и нигде ничего не путаю, – твёрдым голосом парирует он, презрительно сжимая свои и без того тонкие губы, – это у вас здесь всё с ног на голову. И к тому есть весомые зрительные доказательства. Полюбуйтесь, пожалуйста, на меня, – делает он широкий жест рукою, – посмотрите на этот дореволюционный плащ, принадлежавший некогда заслуженному работнику спецавтохозяйства, перекочевавшему с бочки на полторку, – брезгливо морщится он, – Дацинюку – дяде Васе, которого уж давно, как и на белом свете-то нет. Полюбуйтесь на этого ассенизатора, – во всю ширь, подобно крыльям, распахивает он полы своего оригинального плаща, хлопая, подобно пингвину, рукавами. – Да этой хламиде, позвольте так выразиться, сносу нет и вряд ли когда будет... Взгляните на мои ужасные хлопковые штаны цвета перспелой ржи и рубаху-косоворотку в красный горошек... Нет, нет, вы приглядитесь повнимательней, это я, хотите сказать, вот так всё понаперепутал? А этот замечательный портвейн под номером тринадцать... Ведь по справедливости, и не потому, что так совпало, действительно дьявольское зелье. И вообще... Ктомне объяснит... Какой логикой руководствовались славные виноделы, присуждая вину вместо благородных названий числовые нумерации. И скажите, пожалуйста, – раздражительно смотрит на меня, словно перед ним один из этих самых виноделов, – чем отличителен, скажем, этот тринадцатый портвейн, который я имел удовольствие уже откупорить не без помощи этого великолепного перстня, – протягивает в мою сторону правую руку, на безымянном пальце которой тускло поблёскивает массивная печатка, – и который поцарапал об эту ужасную рифлёную крышечку, залитую сургучом, и из ржавеющей кровельной жести, на месте которой обязана быть благородная затычка из настоящего пробкового дерева. Так вот, – опять повторяется он, – чем отличителен

этот портвейн от подобного же ему, но уже под номером пятнадцать, или тридцать третьего, не говоря уж от семьсот семьдесят седьмого? А куда между этими порядковыми номерами подевались остальные, хотя бы тот, что под номером шестьсот шестьдесят шестой? Три семёрки уже есть, а трёх шестёрок ещё нету... Кто мне это объяснит? – самым уничижительным взором окидывает меня с ног до головы. Ведь появившись в таком замечательном виде, скажем, на улице Кабардинская, где поистине лучший кинотеатр «Победа», милиция, и это совершенно точно, не просто заинтересовалась бы, а вплотную заинтересовалась бы... Нет, нет!.. Вы меня, наверное, не совсем правильно поняли, не плащом и не рубахой, схожею окрасом с мухомором, заинтересовалась бы и даже не этими оригинальными штанами с обвислыми, как рыболовецкая мотня,¹ коленями... А швейцарскими золотыми часами, эксклюзивными туфлями крокодиловой кожи, шляпой, что стоимостью в полторы тысячи зелёных, и, конечно же, этим перстеньком-печаткой со шпионскою анаграммой на непонятном языке. Кстати... Попробуйте-ка на вкус эту колбасу, – кивает головою на газетку, – под названием «Докторская», – какая может быть связь между сим малосъедобным продуктом, забадяженным, уж точно, не одним только ливером и докторами, в честь ли, в добрую память ли которых она так названа? Можно, конечно, допустить, хотя это и выглядит из области чёрного юмора, патологоанатомы как бы из того же сословия докторов, с какой стороны на это посмотреть. Относительно же нижнего белья, пардон, о котором в приличном обществе... Ну, в общем, понимаете... Но в котором иногда не только не стыдно, но и наоборот, приятно представиться, ибо оно настоящего китайского шёлка наилучшего качества, знаменитейшего французского пошива – а ля Париж, также хотелось бы заметить. А почему? Вот спросите меня – почему... Спросите, пожалуйста... А я вам и отвечу, – смотрит на меня выжидающе, поджав скорбно губы, да так, что кажется – вот-вот, и он заплачет.

Не зная, как в подобном случае себя вести, ведь явно психический, опять-таки на всякий случай отступаю ещё на шагочек, делаю лицо крайне задумчивым, чтобы осмыслить им сказанное и задать требуемый от меня вопрос:

– Почему?

– Да потому, – взрывается он, – что вы не видели ещё моих кальсонов с оригинальными завязочками на щиколотках и одною кривою пуговицею с пятак на ширинке. Сам Василий Иванович Чапаев таким бы позавидовал, – патетически закатывает глаза в небо, словно призывая

¹Мотня – мешок в средней части невода, куда попадает рыба.

какого из небожителей в свидетели. – Так вот, молодой человек, – смотрит строго, – ещё раз хочу повториться, что я из тех мест, где никогда ничего не забывают, а тем паче путают. Зовут вас Вовкою, по прозвищу Боборика, учитеесь вы уже в седьмом классе «Б» школы номер пять и... И весьма посредственно... Стыдно так учиться... В прошлой жизни... Прошлого не касаемся, – почему-то грозит мне пальцем. – Что там ещё?... В будущем... – опять задумчиво смотрит, но уже не в небеса, а в сторону сплошных зарослей орешника и дикого винограда, словно это самое будущее спряталось там и ждёт в глубокой норе, чтобы в нужный момент выскочить и ошарашить. – Будущее ещё не наступило, – наконец-то твёрдо констатирует он, смотрит опять на свои часы, слегка подкручивает и даже непонятно зачем переводит стрелки. – Так... – задумчиво проводит ладонью по своим небритым скулам, – уже не пионер, ещё не комсомолец, пока не член единой партии коммунистов – всё впереди, холост – не женат, в детстве переболел свинкою, вследствие чего, хотя психиатры о том и не догадываются, появились навязчивые стремления приобщений к разного рода тайным обществам, к самым что ни на есть секретным обществам тамплиеров, розенкрейцеров, иллюминатов, масонов всех мастей, октябрят, пионеров и так называемых – «себе на уме», которых на самом деле более всего и надо стеречься. Ведь правда я отгадал? – смотрит пронизательно мне в глаза. – Далее... Любимый инструмент... Два! Бузиновая дудочка собственного кустарного производства, неоднократно усовершенствованная благодаря титаническим раздумьям в этой области; методом тыков, а по научному – проби ошибок, обретшая законченный вид духового орудия с семью пробурованными дырочками и одною дополнительной, вне общего ряда, услаждает взор, радуется слух и поныне. Ведь правда, я угадал? – весело смеётся, но почему-то не басом, что, уж конечно, должно быть, исходя из его необыкновенно густого голоса, а тонюсенькой фистулой. – Семиструнная гитара ленинградской фабрики имени Луначарского с подкручивающимся ключиком грифом, эстетически облагороженная переводными бумажками с изображениями вульгарных девиц есть инструмент номер два, хотя... Исходя из духовно-душевных запросов, на данный момент, конечно же, лидирует, относительно дудочки переместилась на первое место, с чем вас и поздравляю, – почему-то уже хмурится он.

– С чем это вы меня поздравляете? – опасливо кошусь я на него. – А переводилки, которые гэ-дэ-эровские, вовсе и не я приклеивал, а Гарик. Попросил на один день потренироваться, как не дашь, а вернул аж через неделю и с картинками. Обрадовал, значит, чтобы я не ругался...

Словно бы пропустив мои объяснения мимо ушей, странный товарищ, который, не скрою, стал нравиться всё больше и больше, порывисто встал

с моего пенька, потянулся было рукою к воротнику своей косоворотки, как делают интеллигентные мужчины, когда хотят поправить и подтянуть узел своего галстука, но тут же спохватился, покривился губами, хмуро уставился в землю, на газетку с фотографией генсека, растерзанную булку, кусок колбасы, жёлтые листья, запутавшиеся в зелени травы, на свои великолепные башмаки с нависающими над ними подобно уродливому ржавым трубам широченными штанинами ассенизатора Дацинюка.

– Нда-а... Не буду скрывать от вас, молодой человек, что я командировочный, и моя командировка заканчивается сегодня, и ровно в полночь; дел же невпроворот. А тут ещё и чиновничек – заведующий костюмерной... Замечу, самой богатой по гардеробу костюмерной; таких и во всем свете не сыскать. Не то что подлинный зипун Иоанна Грозного... Расшитую золотом тунику самого императора Нерона, хламиду коллаборациониста иудейского Иосифа Флавия, а и более... Берите выше, – как артист разводит он руками, – власяница предтечи Иоанна. Ведь это только подумать, с ума сойти... Честное благородное слово, скажу я вам, и та имеется в наличии. Лицедей шекспировского театра «Глобус», хоть и комедиантничали, разодетые во всё подлинное с плеча наисановнейших особ, но и они, уж поверьте мне на слово, не имели таких возможностей. Попробуйте-ка сохранить с исторической достоверностью, нет, нет, не кафтан Петра Алексеевича Романова и не камзол с золочёными гербовыми пуговицами графа Шувалова, и даже не кожаные башмаки Гоголя, а прорезиненную брезентуху заслуженного ассенизатора Василия Дацинюка в первозданном рабочем состоянии, хотя сам хозяин давно как почил в бозе. Или... Этого же товарища холщовые кальсоны, которыми можно, с случае необходимости, если тесёмки на концах завязать узлом, ловить на мелководье, как мордой¹, рыбу. А уж женщины, – опасливо косится по сторонам, переходит почти что на шёпот, – верите ли, ей-Богу, при лицезрении такой страсти суровой и мужественной аж попискивать начинают, некоторые, проверял уж, так и вообще в обморок скувыркиваются. А рубаха-косоворотка... С плеча самого раскольника Гришки Распутина, никак не иначе. Посмотрите на эту монашескую рубаху, такое цветастое рубище, – для наглядности распахивает полы плаща, – до сей поры, нет, не ладаном, не церковным воском, а мадерой так и несёт. Усекли разницу?.. Признáюсь по-честному, – продолжает он, – не люблю раздваиваться, по-научному это называется, – так и не вспоминает, безнадежно отмахивается ладонью, нечаянно наступая на колбасу. – Фу ты... Так вот, не успел получить одного поручения – встретиться с вдовою ныне покойного...

¹*Морда* (простонародн.) – плетёная особым образом из ивового прута снасть в виде корзины для ловли рыбы.

Впрочем, имя его вам ни о чём не говорит, как тут же... Просьбам нет и конца. Да что там просьбам... Требуют уж... Каждой душе упокоенного или упокоенной желается передать весточку. И вот ведь, что невозможное, отказать негу никаких сил. Честное благородное – совестно. Вот и лётаю, как угорелый, с того света, да на этот. Хоть порученьица и чепуховые, чисто житейские, а порою так и вообще глупые, но как не понять... Кому не возжелается известить ближнюю родню о своей бытности, предупредить, значит, пока не поздно, что за хлеб, несправедливо добытый, по другому – на халяву, всё одно придётся заплатить. А ещё говорят, что у нашего брата ни стыда, ни совести, нечистою силою обзывают.

Отхлебнув из горлышка тринадцатого, вытянув губы тугою гузкою, затаивает дыхание, слепо шарит по газете ладонью в поисках докторской, на которую вот только что нечаянного наступил своим фирменным башмаком, с шумом выдыхает винный дух, кривится, выкраивая невозможную физиономию, принимается жадно заедать. При этом, чувствуется, что в животе его происходят страшные борения, вино всеми силами стремится на волю.

– Фу ты, зараза, – скрипит мученически зубами, пытаюсь куском проглоченной колбасы осадить взбунтовавшееся в желудке пойло.

Воспользовавшись паузой после столь продолжительных словоизлияний странного гражданина, который и не подумал даже никак представиться, хотя обо мне, кажется, знал уже всё, напрямую спрашиваю:

– А откуда бы было мне знать, что именно в это время меня кто-то поджидает в столь безлюдном месте, куда я забрёл по чистой случайности? Разве заранее я был оповещён?

– Во-первых, – не без усилий проглотив колбасу, отвечает он, – я не кто-то. Терпеть не могу всяких фамильярностей... Если бы никто не оповестил, то позвольте, как бы вас сюда угораздило вообще?.. Случайностей не бывает. Это у дарвинистов всё вот так, по случаю, склеилось и слепилось. Чтобы кому-то и куда-то мутировать к приобретению чего-либо, нужная веская причина. Ах, да... Пегас взбрыкнул, Муза нашптала. Что там ещё?..

*Золотые листья томной осени,
Паутин серебряная нить,
Стылых луж лазуревые просини...
Светлой грустью хочется любить, –*

читает наизусть начало стихотворения, двадцатью минутами ранее придумавшегося в моей голове, а в связи с неожиданной этой встречей, кажется, уже и улетучившегося навсегда.

– Фиксируйте, молодой человек, пока опять куда не удрало, – не без язвительности говорит мне, иронически кривляя губы и подмигивая, как только обратил внимание чёрным, что уголь, глазом, протягивая голубенький блокнотик с пристёгнутым на корешке остро отточенным карандашиком, непонятно каким образом появившийся в его руке, медленно и с расстановкой принимается надиктовывать:

*Золотые листья ранней осени,
Паутин серебряная нить,
Стылых луж серебряные просини,
Предзакатных туч литая медь.*

*Ты пришла – такая нелюдимая,
Грёзами коснулась сонных век:
Счастье ли, тоска ль неотвратимая?*

*Тусклый ль свет несбыточных надежд?
Вместе всё. И смутное томление
Словно тать, прокралась тайной в грудь:
Неземное ангельское пение,
Траурную лентой вьётся пусть.*

*Уж земного более не ведаю
Чувствую души иную новь:
Торжествует смерть своей победою
Воскрешая вешнюю любовь.*

– Записали? – живо спрашивается у меня, – без ошибок записали? – заглядывает в блокнот. – Божешь ты мой...

Гулко хлопает ладошкой по обвисшему карману своего прорезиненного плаща, словно по фанере, от изумления выпучивает свои угольные глаза, почти что стонет:

– Как можно!.. Чёрт вас побери!.. Сочинять вот такие сложные по содержанию стихи, переполненные аж через краешек всякими этими акмеизмами-символистами, и при этом допускать элементарнейшие... Не соблюдать и элементарнейших правил правописания? О какой такой орфографии может быть речь... Какая здесь, к лешему, орфография!? Вы, молодой человек, ну прямо-таки разочаровываете. Как?.. При таких родителях – мать – русовед, отец – горец, балкарец – наиграмотнейший человек... Вы, дьявол вас побери, не просто безграмотны, вы чудовищно безграмотны.

– Не знаю, достаточно ли повода вот так возгордиться, – в душе оскорбляюсь я, – экое никчемнейшее дело... Попробуй-ка по-грамотному в блокнотике, да и ещё на весу, когда над душою вот такой тип... Допущенные мною незначительные ошибочки, – так думается мне, – видно, его так расстроили, что он, прилично приложившись к портвейну, не стал даже закусывать, размахивая руками, подобно школьному преподавателю русского языка принялся скандалить:

– Нелюбимый, нелюдимый и даже нелюбовь, как и неотвратимая вместе с несбыточностью, запомните, раз и навсегда запомните, пишутся слитно. И предзакатный пишется в одно слово. Что это за такое слово – «пред»? Нету в природе такого слова – пред. Есть приставка, означающая нечто впереди, например, предгорье, предплечье, предвосхищать... Как так, – шумит он, – написать пред, а потом закатный?.. А прямая речь?.. Как выделяется прямая речь? – тыкает пальцем в блокнотик. – Ну, понятно, когда Ванька Жуков...

Не ожидая таких вот разоблачений, как человек крайне совестливый на глазах начинаю густо краснеть, последними словами коря себя за жуткую безграмотность, как бы ненароком незаметно ломаю острозаточенный краешек карандаша – вдруг да опять заставит писать какой диктант, ведь ещё более того опозорюсь. А если по математике... От представления только этого чувствую, как по пылающим совестью щекам повеяло ледящим холодом. Вот же слабонервный, – уже корю себя. Поупражнявшись в красноречии по поводу исключительных особенностей русской грамматики, и что на самом деле, хоть и говорят китайский, но и он пролетает относительно логизмов и алогизмов великого и могучего языка Гоголя, Пушкина, Достоевского и Льва Толстого, не говоря уж о Велимире Хлебникове и Демьяне Бедном.

– Хоть я и знаю, сколько вам годков, но всё же хочу ещё раз удостовериться, так сказать, для личного спортивного интереса: сколько вам лет, молодой человек?

– Мне? – в замешательстве переспрашиваю я.

– Да, да... Именно вам, любезнейший, – утвердительно кивает головою он.

– Зачем же вы спрашиваете, – с вызовом отвечаю я, – тогда, как говорите, что всё обо мне вам и без того известно? Да и по всему вашему внешнему виду, – тонко улыбаюсь я, – нетрудно догадаться, что вы по мою душу из тех же запредельных миров, откуда и мой стариннейший дружок Иоаким Премудрый. Ведь правильно я угадал?

– Хм-м, – фыркает он, – у вас с головою всё в порядке? – выразительно смотрит на меня.

– Ну. Уж коли вам так интересно, – смущённо отворачиваю я глаза, что вот так дал маху с домовым, – мне и моей сестрёнке скоро исполнится четырнадцать, а что?

– Ну, хорошо... А вот как вы думаете, – загадочно улыбается, потирает свой перстень, – вот это стихотворение, которым вы всех нас так обрадовали и одновременно огорошили, по смыслу, по, так сказать, поэтическому тексту соответствует вашему четырнадцатилетнему возрасту?

– А причём здесь я, – с удивлением вырывается у меня, – тогда как вы сами вот только что мне надиктовали, а я только записал, но с ошибками.

– Не с ошибками, – тут же парирует он, – а с чудовищными ошибками. Ваше преднамеренно-уменьшительное – ошибки – ни в коей мере не оправдывает жуткой безграмотности в области правописания; нехорошо от своего-то отказываться, – презрительно кривится он. Стихотворение до единого словечка, до мизерной иоты никак не моё, а ваше.

– Если это моё, – начинаю праведно наступать я, оскорблённый последним сказанным им, с постукиванием пальцем по собственному лбу относительно порядка в моей голове, – если это только что сочинилось, то вам-то откудова знать, что у меня придумалось?

Одёрнув свой нелепый плащ и даже, как мне показалось, сделав лёгкое движение рукой так, как это делают, когда желают стряхнуть с элегантнейшего фрака еле заметную соринку, прилипшую к лацкану или на рукаве, с удивлением смотрит на меня так, словно увидел впервые, словно я упал с неба или неожиданно вырос из-под земли, густым и каким-то гулким басом закатывается смехом.

– Что же это такое делается, товарищи, – тревожно вьётся в моей голове, – то совсем по-бабьи бляял, а сейчас...

– Ну и уморил ты меня, братец, – впервые говорит мне на «ты», вытирая огромным клетчатым платком выступившие на глазах слёзы. – Что творится в чужих головах, выведать не так уж мудрено; экое дело. Прочитать поутру мысли мужика, в задумчивости топчущегося на одном месте, озирающегося на все четыре стороны, и по лицу всё видно: денег в кармане ни копейки, а с бодуна так хочется поправиться... Чужие мысли, брат ты мой, не такая уж тайна, любой дурак рад присвоить, а выдать как за свои; вон их сколько по белу светушку, туда-сюда летающих, успевай только... Ты вот стихотвореньице, пусть и простенькое, но зато своё, из самого сердца явленное, попробуй сочини. Признаюсь, многому научен, всякое умею, до невозможности даже, а вот с этим... Но ценю... Чтобы оценить, также нужно иметь талант. Посидел вот малость на этом сакральном пенёчке осиновом, хочу заметить, пенёчке, –

кивает в сторону моего мистического восседалища, возраст которого тридцать три года, – сам по годовым кольцам вычислил, – многое, что любопытного открылось. И хоть предупреждали, когда посылали сюда, что ты, Боборика, весьма даже человек чудаковатый, это мягко говоря, открылось и более того, – смотрит на меня очень даже серьёзно, но при этом почему-то по-заговорщески подмигивая глазом. – Признаюсь, что чувствую себя несколько неловко, – снова выкраивает физиономию, презрительно рассматривает свою прорезиненную брезентуху и эту рубаху-косоворотку с полами, как у солдатской гимнастёрки, подпоясанную льняным витым шнурочком, и эти ужасающей допотопности штаны. – Но что же тут поделаешь... Чиновнички, они и в иных мирах чиновнички, и даже, – опасно косится на крону дикой груши, – и даже, признаюсь по секрету, на небесах. Это же надо вот так, – обеими руками хлопает по бокам, – этак материализовать... Понаперепутали всё. Посмотрите на этот дурацкий вид... Но полно... Я здесь вовсе не потому. И вообще, – протягивает руку, – давай на ты. Хотя я и не очень люблю всяких фамильярностей, но с тобой, Боборика – Честным Сумасшедшим Человеком, мне почему-то хочется не только напрямую, но и на ты. В приличном обществе принято знакомиться, не так ли, – опять внимательно вглядывается прямо в глаза, – а потому давай без всяких там сантиментов; фамилия моя утеряна, отчество неизвестно, имя, и это на полном серьёзе, – Незнакомец. Чиновник по особым поручениям, психоаналитик первой звезды, маг и чародей, но не тот, что Кот Василий Игнатыч, понимаешь, о ком я веду речь, – тонко улыбается мне, – бери выше, в прошлой жизни алхимик Вульф Швабер Зольтенберг – венский аптекарь и меценат, сожжённый Святой инквизицией в одна тысяча четырёхста двадцать пятом году от Рождества Христова, чему оставлены зримые документальные свидетельства, хранящиеся и по сей день в архивной канцелярии аббатства. Всё, – протягивает опять свою руку.

– Да, – не без тревоги мысленно вспыхивает в моей голове, и без того полной всяческих смут, – дядечка не просто шутник, а, кажись, и действительно того, мягко говоря, съехавший.

Но... Тем не менее, такие мне тоже нравятся, а по-честному говоря, гораздо больше, чем совсем правильные, нудящие прописные истины с умным видом, на самом же деле – серые, что слепые ночные мотыльки.

– А мне тоже можно с вами на «ты»? – протягиваю ему свою руку.

– Валяй, – небрежно бросает он, стискивая мою ладонь своим железным рукопожатием. – Кстати, – ещё более внимательно смотрит мне в глаза, не ослабляя хватки своих железных тисков, в коих мои пальцы совершенно слиплись и, кажется, потеряли уж сознание, – я и не скрываю,

что как и ты, – Честный Сумасшедший Человек. У тебя же относительно моей персоны сомнения. Иначе... Что это за «кажись», «мягко говоря», «того»?.. Сомнения, Вовка, никогда и никого до хорошего не доводили. Несомневающийся человек зрит в корень. И прекрати, пожалуйста, сжимать мою ладонь, – болезненно кривится Незнакомец, – я нисколько не сомневаюсь, что ты человек задушевный, но... Не до такой же степени, – нарочито болезненно дует на свои пальцы, пританцовывая на месте, всем своим видом выражая страшную боль.

– Это я-то сжимал? – задыхаюсь от явной напраслины, которую он наводит на меня, – как же я мог так сдавливать, когда всё наоборот... Моя рука почти расплющилась и потеряла чувствительность в этих, как их там?... Не в испанских сапожках, таких же, но варежках.

– Вот, – то ли страдает, то ли притворяется он, кривляя по-разному физиономию, – сила действия всегда равна силе противодействия... Аты... Не только по математике, но и по физике, оказывается, двоечник... С кем я связался, – уже совершенно мирно хлопает по плечу так, как это случается у людей с неуравновешенной психикой, которые в эмоциях настолько реактивны, что уж и не всегда поймёшь, где они смеются, а где плачут. – Но всё же, – задумчиво скребёт макушку, приподняв другую рукою свою шикарную шляпу, – вернёмся к стишкам, то есть к тому, что характеризует тебя, мой незадачливый друг, особо противоречиво. Как же ты вот так сам себе, да и другим врёшь?... Отрицаешь, что в никакие щёлочки не подглядываешь, чтению чужих мыслей не обучен, тогда как невесть как придуманное тобою стихотворение, – задумчиво морщит лоб, как бы что вспоминая. – Да, да! Именно на той неделе, в среду в шестнадцать двадцать семь минут по московскому времени... Так вот... – замолкает он, видно, позабыв, с чего это он начал. – Ага... Как же ты вот так сам себе противоречишь, когда по смыслу твоего стихотворения, придумавшегося на той неделе вот на этом сакральном осиновом пеньке, всё иначе. Я его успел уже и наизусть вызубрить. Только не надо опять всё сваливать на меня, бессовестным образом отречься от своего жерóдного. Кто виноват, что у тебя с твоею памятью пространственный идиотизм?... Я виноват, что ли? В моей голове из такого и три строчки не придумается. А коли у тебя позабылось – блокнотик надо с собой повсеместно носить. Задумчиво почёсывает лоб, начинает медленно, печатая каждое слово, читать:

*... Хоть и молчите – тайны ль речи
Устами не рождённых слов,
Тогда, как мысли – их предтечи?
Я сам изречь их вам готов.*

*Они в безумном хороводе
Кружат, мне зрим их чудный след,
Со свитков на небесном своде
Читаю – «Да», читаю – «Нет»...*

Да, кстати, всё помышляю спросить, кто та счастливица, а может, и несчастливица, к которой ты всё время обращаешься в своих виршах, называя её то «ангелом нежным и кротким в объятиях лилии белой», то «огненно-яростной девой, хмельной и безумно красивой», то «лучиком света в холодной и мрачной темнице»? Не может быть, чтобы я её как-то не знал? Напомни уж...

– Не знаю, – холодею я пред его острым и пронизательным взглядом, умеющим извлекать из моей черепушки мысли.

При этом, вернее, в связи с этим становится до слёз стыдно, да так, словно вот только что обличили в чём-то грязном и непотребном, словно оголили самое личное, самое таинственное, которое есть моё, только моё и более ничьё. От осознания этого начинаю, в койи уже раз, густо краснеть, озаряться до корней волос, чувствую, как уши и всё лицо и, как кажется, даже затылок, да что там затылок... И обе дольки задницы... Всё начинает наливаться нестерпимо горячею кровью, излучать в пространство мощную тепловую энергию, пульсировать. Сгорание от стыда есть одна из главнейших моих проблем. Ей-ей... Завидую тем, кто, не моргнув глазом, может сто раз соврать и ни разу не покраснеть. Вот бы научиться...

– Научишься, – парирует моментально Незнакомец, – пуще этого научишься; научат... А коли сия наука – наука врать, не пойдёт... Не явишь к ней, как и к математике, своих способностей – пропал. Совсем пропал. Единственный выход, другого не вижу, притвориться идиотом, а ещё лучше – натурально стать этим самым идиотом, но, запомни, с большой буквы стать Честным Сумасшедшим Человеком. Иначе кто же тебя, Вовка, будет уважать? Впрочем, – досадливо ёжится он, – какого я чёрта пристал к тебе, да и ещё со стихами, в которых сам мало что смыслю. А всё этот жёлчный старикашка Ван Придиус; пристал, ревнивец, что корабельный вар, видите ли, покоя нет ему на том свете, спроси, говорит, Боборику, разужнай любым способом, каким образом ему удаётся материализовать на свет божий то, что когда-то придумалось в его светлой голове, так и сказал – светлой голове, но не написалось на бумаге в силу занятости бражничеством и бабами. Неужели эта потаскуха Бабелина ничего другого не придумала, как инвольтировать одно и то же?.. Ведь начало поэмы «Сотворение» буква в букву списано с его элегии «Жизнь». И хоть он, в силу определённых обстоятельств

возраста не опубликовал ещё того, что уже в башку втемяшилось, но, ведь непременно опубликует. Знаю уж я этих плагиатчиков... Так что предупреди...

– Что предупреди? – ничего не понимаю я. – Какая Бабелина?.. Какой такой бражник Ван Придиус?

– Нда-а, – ещё сильнее ёжится Незнакомец, отхлёбывая от бутылки так, что на доньшке остаётся самая малость, – опять, видать, всё понаперепуталось. Молчу, молчу, молчу... Ни о чём больше не спрашиваю. Я, в сущности, совсем не за этим. Небольшое, так сказать, порученьице... Только... Умоляю тебя, – озирается по сторонам, – терпеть не могу всяких там лишних расспросов, закатов глаз, сантиментов... Но, тем не менее, с юридической точки зрения должно быть всё безукоризненно.

Ловким движением руки быстро выхватывает, кажется, из самой пустоты аккуратно сложенную вдвое бумажку из ученической тетрадки, разлинованную вкосу линейку, следом деревянную ручку со стальным пёрышком на конце, мало того, непонятно каким образом уже обмакнутым в чернила, просит расписаться.

– Часы, друг ты мой любезный, вещь деликатнейшая, это тебе, брат, не стакан семечек на углу за десять копеек. – Вот здесь и вот здесь, – тыкает пальчиком в бумажку, – прописью, можно и с маленькой буквы: часы – брегет, белого металла, с цепочкой, сохранность удовлетворительная, на верхней крышке маленькая вмятинка, на стёклышке тонюсенькая трещинка; на ходу. Вот здесь, – опять тыкает пальчиком, – получил... Можно просто – Боборика. Дату не обязательно. Зачем там какая-то дата, – число, месяц, год, когда ты Мальчик без времени?

Пошарив рукою в преогромных накладных карманах плаща, пожимает плечами, лезет в брючный боковой, затем и за пазуху своей рубахи, наконец-то достаёт завёрнутую в тряпицу старинную серебряную луковицу на витой цепочке, торжественно из рук в руки вручает мне.

– Велено передать лично... От самого Леонида Аркадьевича Ванштейна-Дунайского.

– А где он? – невольно вырывается у меня.

Сняв с головы свою элегантную бежевую шляпу с муаровой лентой на боку, под которой неожиданно обнаружилась круглая лысина, да и ещё с двумя фиолетовыми шишками на лбу, так похожими на непрорезавшиеся рожки, такими, какие случается увидеть у совсем махоньких и глупых телков, закатив глаза, как это делают патеры, когда читают молитвы за упокой, набожным и надтреснутым голосом сообщает:

– Леонид Аркадьевич Ванштейн-Дунайский, как и его супружница Ада Марковна Корх нашли свой последний земной приют на одном из

кладбищенских погостов города Москвы, упокоены под соответствующими порядковыми номерами рядышком, как видные партийные деятели Советского государства, внесшие весомый вклад в дело революции.

– Как же так? – с удивлением смотрю я на Незнакомца, – ведь, кажется, были совсем ещё молодыми... А теперь... Взяли да и вместе померли... Кто же часы-то передал, тогда как их уж и нет? – горестно спрашиваю я, и почему-то таким же надтреснутым голосом патера.

– Сам Леонид Аркадьевич и передал.

– Как?

– А вот так и передал, как узнал от этого болтуна, что меня командируют на этот свет.

– От какого такого болтуна, – опять переспрашиваю я, ничего не понимая, таращась на знакомые мне часы с репетиром, секундная стрелочка которых коротенькими шажочками, спотыкаясь, бежала по циферблату, но не слева направо, а наоборот.

– Есть там один, – морщинуется, как от зубной боли, Незнакомец, – в земной жизни Онуфрием величали, беспричастно-правильную жизнь прожил – не в рай, не в ад... Завис где-то между... Лётает сломя крылья – ни света, ни мрака... Кому такой-то нужен? Леонид Аркадьевич ещё при здравии хотел тебе их подарить на память, да не случилось; приезжал в Нальчик, тебя хотел повидать, а вы, так совпало, всю семью на Чёрное море укатали. Вот он и оставил часики-то эти у Гриньки Гриневича, что проживал в шестом подъезде. А тот возьми, – Гринька-то твой, да и позабудь, что хронометр этот вовсе подарен не ему, а всего лишь оставлен для сохранения и передачи в полной комплектности и с цепочкою тебе. Леонид Аркадьевич и без этого отблагодарил его, подарил старинную шведскую монету с выбитым профилем Карла Великого. Гринька же оказался человеком совсем забывчивым, совсем беспамятным. Вот ведь как получается, никакой веры уж нет, без расписочек никак уж не обойтись. Гринька, как увидел меня, когда я ему явился среди ночи в образе осерчавшего духа Леонида Аркадьевича, так не только брегет, но и про шведскую монету сразу вспомнил; как есть, тут же и вернул поутру. Ты уж извини, что без твоего личного позволения пришлось перевоплощаться в Боборику, иначе как бы я с тебя расписочку вытребовал бы? – озабоченно смотрит на свои цветного золота часы. – Однако... Не знаю, как и попросить, ей-ей, кажись, и совестно, неловко даже... Не хотелось бы в твоих глазах представиться таким нахалом, – наконец-то решается, – не могли бы вы... Не мог бы ты, – быстро поправляется, – подарить, но только навсегда, одно из твоих потерянных стихотворений, то, что когда-то сочинялось, а потом позабылось; зачем оно тебе теперь?

Какой такой толк в нём, когда это уже и не стихотворение, а так – пшик, грёза, сплошная фантазия? Ведь и воспоминаний даже нету...

– Как потерял? – с недоверием говорю я ему, – я никогда ничего такого не теряю; и привычки не имею...

– Ну, какая разница, – совершенно убеждённо говорит Незнакомец, делая на лице удивление, – потом потеряешь. Обязательно потеряешь, непременно потеряешь когда-нибудь. Ты даже и представить не можешь, сколько бы можно было напечатать разных книг из того, что как-то придумалось в голове, озарилось, а потом возьми да и улетишься без всякого следа. Хотя, что я тебе о том право пишу... Тебе и без того это известно. Совсем, вот-вот, вчера ли или завтра, какая в том разница, явлена твоя новая книга... Лет этак, – смотрит задумчиво на меня, – через пятьдесят с хвостиком напечатают и здесь. В издательстве «Эльбрус» напечатают, – утвердительно тыкает пальцем в землю. Хотя... Что такое эти года относительно вечности?.. Пшик, сплошная абстракция, дырка от бублика тёти Глаши Устюжаниновой.

– А кто это такая – тётя Глаша Устюжанинова? – ничего не понимая, спрашиваю я, – причём здесь дырка от бублика и эта самая тётя Глаша?

– А чёрт его знает, – удивлённо пожимает плечами он, – честное благородное, и сам не имею представления. Может, дело и вовсе не в ней, а в бубликах, так похожих на букву «О» и одновременно на цифру ноль, в коем заключено всё без остатка, и Устюжанинова Глаша, и ты, и я, и весь остальной мир. Леший его знает... А почему бы и нет, – оживляется вдруг он, снова присаживаясь на мой сакральный осиновый пенёчек, выставляя вперёд свои длинные ноги в брезентовых штанах, с любовью разглядывая лакированные туфли, так нелепо контрастирующие с негнушимися патрубками штанов.

Чувствуя, что его сейчас понесёт по философским буеракам в непроходимые дебри, откудова, если вовремя не остановиться, запросто можно и дороги обратно не сыскать, делаю упреждающий ход.

– А что за стихотворение... Какое из стихотворений, мною позабытых, больше всего вас интересует? Перед тем, как что-то подарить, должен же я сам удостовериться в качестве этого «что-то»?

– Да, пожалуйста... Какой может быть базар, – по-боссяцки гнусавит вдруг он, растопыривая в разные стороны веером истатуированные пальцы, хотя буквально ещё минуту назад никаких этих самых звёзд и перстней на холёных фалангах и не замечалось. – Я тебе не просто так, а с выражением и без единой запиночки наизусть напомним. Хотя при моей-то демонической памяти что там – этот стишок... Данте наизусть «Божественную комедию»... Эразма Роттердамского и даже Карла Маркса «Капитал»... Слушай и запоминай...

Легонько откашлявшись, с выражением и каким-то артистическим куражом принимается читать:

*Сон во сне – тот же смысл, та же суть:
Бьют в железо, стучат в барабан,
Продолжаю предчертанный путь,
Он по вере смятенной мне дан.*

*Свет струится, теней перелив,
Влажный сад – белорозовый дым,
От расцветших задумчивых ив
Фимиамом парит неземным.*

*Неотступна тягучая тень
Моего запредельного «Я»,
За ступенью – другая ступень
Бесконечного сна – бытия.*

*Сладок яд, лучезарен огонь!
Но теснится сомненьями грудь –
Ненадёжен подаренный конь,
Иллюзорен нареченный путь.*

*В небесах золотой херувим
В струях света звездой застыл,
Нет времён – нету вёсен и зим
Без движений стремительных крыл.
В этом сне, да навечно б уснуть,
Отрешиться от радужных грёз,
Но не мной предрешиён этот путь,
Умощённый веночками роз.*

– Не правда ли – здорово?! – с восхищением смотрит на меня.

Как бы к подтверждению того брегет Леонида Аркадьевича щёлкает, надтреснутым голоском принимается отсчитывать время, после четвёртого боя умолкает, но тут же, словно поразмыслив, передумывает, дзынькает повторно, отбивая девять, смолкает окончательно.

– Что-то и не припомню, – по-честному признаюсь Незнакомцу, – чтобы когда этакое в моей голове придумалось, да и ещё успело потеряться? О каком это сне идёт речь?

– Вот даёт! – восхищённо хлопает ладонью по своему колену, отчего в разные стороны разлетаются дымки. – Какие могут быть к тому

сомнения?.. Непременно когда-нибудь придумается и потеряется. Сейчас-то что так волноваться, не корова же...

– Ну хорошо, – принимаю я его игру, – а вам-то на какой ляд оно?

– Во-первых, мы уже договорились... Не вам, а тебе... Уж второй раз, как конвенцию нарушаешь... Во-вторых, кто оно?

– Как кто? – с удивлением переспрашиваю его, – это самое непонятное стихотворение, которое вы... Которое ты только сейчас с выражением прочитал...

– Не прочитал, – перебивает Незнакомец, – а продекламировал, – презрительно окидывает взглядом. – И вообще... Что за торгашество? Не ожидал я от тебя такого, Вовка, – обиженно смотрит на меня, насупливая свои чёрные брови. – Я ради него крыльев, можно сказать, не жалел... Такой брегет... А он... И малюсенького стихотворения подарить не желает, хотя и без сяких намёков мог бы догадаться.

– Да пожалуйста, – делаю руками щедрый жест, – забирай его себе на здоровье, дарю от чистого сердца.

– Вот... Это уже совсем другой разговор, – уже суетится он, – дарёному коню в зубы не смотрят. Но только запомни: подарок есть неприкосновенная собственность того, кому этот подарок подарили. Извини за тавтологию. А значит... Это уже не твой духовный продукт, а мой, со всеми вытекающими к тому обстоятельствами. И вообще, – презрительно морщится, – требовать дарёного назад считается дурным тоном. Надеюсь, лет этак через пятьдесят не будешь на каждом углу трещать крыльями, доказывая каждому встречному-поперечному, что это стихотворение придумалось не в голове, скажем, к примеру, Демьяна Бедного, а может, и Иосифа Бродского или... Или Севы Зареченского, которого сроду никто и не знает, а именно в твоей?.. В конце-то концов, пойми и меня. Ты думаешь, приятно по моей благородной натуре, – поправляет шляпу, нарочито выставя пальчик с перстеньком, задумчиво и рассеянно вглядываясь в свои драгоценные часы, – выключивать себе подарков?.. Иной бы на моём месте присвоил бы, как своё, да и промолчал. И брегетик – память о престранном человеке – также мог бы и не лежать во внутреннем карманчике твоего пиджачка. Такая вещь... А теперь... А теперь это твоя личная собственность... Нет, нет... Не пойми меня превратно, – суетится он, – никаких намёков... И капельки не намекаю... Всё из чистых и благородных побуждений души, – опять лезет рукой под шляпу, яростно скребёт.

Складывалось, что два лиловых бугорка на вершине его лба в виде непрорезавшихся рожек начали зудеть. По всей видимости, этот факт его беспокоил и вызывал особые неудобства; всё чаще и чаще взгляд его

непроницаемо-чёрных глаз как бы помимо воли стал спотыкаться то на произрастающей вблизи старой груше – раскидистой и мощной, с шершавою корою, то на такой же яблоне, стоящей чуть поодаль. Казалось, что вот-вот он скинет свою шляпу, и, подобно молодому бычку, примется бодаться о ствол своим крутым лбом, теми местами, где наметились признаки рогов, которым надо как-то помочь прорезаться.

– Ничего я такого не думаю, – обиженно надуваюсь я, – раз сказал, что дарю, значит, дарю, забирай, как своё собственное.

– Выходит, – потирает он свои ладони, – я теперь автор этого стихотворения?.. Ведь правда же? Кому захочу, тому и могу посвятить?

– Да посвящай кому угодно, – уже психую я, хоть самому чёрту рога-тому, мне-то что...

– Вот, вот, честное благородное, сразу же видно, что ты, Боборика, человек великодушный. Именно этого я от тебя и ждал, именно этого, – ещё энергичнее потирает руки.

Скомкав газетку с остатками колбасы и хлеба, запихал в карман, пустую бутылку из-под тринадцатого портвейна в другой карман, мельком глянув на часы, вдруг засуетился, не сказав и слова, растаял на глазах, как и не бывало. Брежет Леонида Аркадьевича Ванштейна-Дунайского как память юности своей храню и поныне. Часы на полном ходу, тикают, отбивая время, только совсем без стрелок на циферблате. А потому бьют тогда, когда им заблагорассудится. Когда на душе становится особо грустно или наоборот, особо радостно – как их отделить друг от друга, нажимаю малюсенькую пружинку репетира, с замираем сердца жду: который час прозвенят они мне сегодня?..

Глава 35. ГИТАРА

1

Если монотонно загудеть в нос, одновременно подёргивая двумя пальчиками за ноздри, то получите плывущий звук, так схожий с нитьём настоящей гавайской гитары. Одним из заветнейших моих желаний, которое почему-то я сохраняю втайне от всех и даже от единоутробной сестрёнки Тани, это научиться играть на гитаре. Замечательнейший из струнных музыкальных инструментов в пору моей юности представлялся для большинства чуть ли не хрестоматийным символом обывательщины и мешанства, кажется, его нигде всерьёз и не преподавали как подлинно классический. В советских кинофильмах образ гитары, кажется, ещё более усиливался в сторону негативности: что ни буржуй-дворянин, то обязательно с гитарой, что ни белогвардейская сволочь – так же. А о блатных, хулиганах всяких и уголовниках, так и вообще ничего

доказывать не надо. Какая может быть блатхата без воруги с папиросой в зубах, да без семиструнной гитары с красным атласным бантом на шейке грифа, без размалёванной вульгарной девицы, томно баяющей утробным голосом:

– Где была, шалунья-дочь, прогуляла целу ночь?

– Под гитарный перебор целовал меня мой вор...

Гитара, по честному говоря, ну... Это совсем несерьёзно, несолидно как-то. Научись на спичечном коробке восьмёрку крутить, и... Лупи себе на здоровье по струнам... Совсем иное дело, когда скрипка, виолончель, аккордеон, пианино... В этих случаях всё по-правильному и по-настоящему, а главное, без всяких там дураков – приличный инструмент, преподаватель, нотная грамота, сольфеджио, пальцовка... Но... От одной только мысли, что любая педагогика, все её наущения, познаются пусть не в прямом смысле, но через розги, от воздействий которых, по твёрдому убеждению большинства, отрок уж точно никак не делается хуже, а наоборот, всё лучше и лучше, наполнялся тревожными сомнениями. Пиликать нечто, что и музыкой-то назвать трудно, что сердцу совсем не мило, как так можно?..

– Кому, – рассуждаю я, глядя на терзания своей сестрёнки, тыкающей пальчиком в нотную тетрадь с непонятными для меня значками в виде флажочков и ноликов, – нужна музыка, рождённая с такими муками?

Тоненьким и плачущим голоском, шмыгая носиком, она выводит:

– По-ва-дил-ся жура-вее-ль, жура-вель, на ба-би-ну коно-пель, коно-пель...

Своего пианино у нас не было, учиться, по договорённости, она ходила в девятую школу, где индивидуально с нею занималась учительница по музыке. Не знаю, осознавала ли она в полной мере, так сказать, в перспективе, для чего всё это ей надо, трудно сейчас судить, но по тому, с каким страдальческим выражением лица она собиралась на эти самые репетиции, бляяла, согнувшись над нотной тетрадкой, уж точно большого музыканта-пианиста из неё вряд ли получилось бы. Того легендарного итальянского аккордеона, на котором некогда, ещё в Курьях, папа играл, и даже на школьных вечерах вальсы – «Амурские волны», «На сопках Манчжурии», марш «Москва-Пекин», а в домашней обстановке – лезгинку, у нас уже не было. Дабы не отсырел совсем, отдали в комиссионный.

– Эх, – горько сетовал папа, – как бы было замечательно, когда Вытыка, – так он по-ласковому называл Танечку, – на пианино, а Боборика – на аккордеоне... В два голоса...

– Анна, – обращается он к маме, – зря продали, поспешили... Такой аккордеон... И чего не додумались отдать на сохранение к Марату?.. Вовка бы на нём живо научился.

На лёгкий и оптимистический намёк отца:

– А не пора ли и нам, брат, начинать приобщаться к постижению таинств музыки?..

Я скроил такую невозможную физиономию, что всё дальнейшее отпало само собой.

Отец безнадёжно махнул рукой, но, как опытный педагог, всё же предупредил:

– Вот... Так и останешься на всю жизнь безграмотным идиотом.

Всё это, как сейчас понимаю, им было высказано вовсе не от огорчения, а так, на всякий случай. А дело всё в том, что в отличие от брата и сестры, я почти никогда «вслух», то есть громко не пел, страшно стеснялся своего тонюсенького девчачьего голоса – робкого и несильного, чем, скорее всего, и утвердил, что со слухом в области музыкальности весьма посредственно, если и не того хуже. Ох! И ошибались же они... Если бы удалось им как-то услышать, какая поэзия и какая музыка порою звучит в этой глупой голове, как это всё бурлит и переливается через край, уж наверняка решили бы по-иному, обязательно принудили бы к учёбе. И Бог знает... Не стало бы на этой грешной земле одним посредственным музыкантом больше?.. Нет, нет, нет!.. Не обличайте в излишней самокритичности, в коей гордынька; дело совсем в другом, дело в педагогике... А это – хоть вы лопните, хоть вы тресните, всё одно – насилие. А потому конфликту быть неизбежным. Моя внутренняя свобода не приемлет никаких понуждений. А тем более, когда все эти благодные побуждения противоречат уже естественно сложившимся представлениям о красоте, гармонии, справедливости.

– Как!? – округлят от изумления глаза некоторые, – как это может сформироваться само собою, без научений извне, без опыта педагогики, где всё уж давным давно скурпулёзно вымерено под линейку, решено раз и навсегда: это хорошо, а вот это – плохо, это красиво, а это уродливо, это умно, а это – глупо.

– А вот так, – подмигну левым глазом я, плюнув на все их аргументы и никому ничего не доказывая, – ещё как может! Чему быть – того не миновать, и на всё же – Воля Божья.

2

Детский кинофильм «Мексиканец», который я посмотрел в новом и только что построенном первом широкоформатном кинотеатре «Восток», оставил самые неизгладимые впечатления. Мальчик примерно моего возраста, пионер Лёня, которого прозвали – Мексиканец, так здорово играл на гитаре латиноамериканскую мелодию, да ещё и пел, но

не на испанском, а русском языке, что, ей-Богу, от изумления и зависти у меня аж искры из глаз посыпались. Его гитара, кажется, без всяких видимых усилий со стороны, не просто звучала, а и в прямом смысле – разговаривала, выводила каждую нотку, при этом сохраняя бойкий ритм, что и было для меня особенно удивительным. Откуда мне было знать – простодушному и доверчивому мальчику, что это на самом деле не Лёнька вот так шпилит, а звукомонтаж, который ныне называется фанерою. После этого фильма я настолько заболел гитарою, что только в том и упражнялся, как изображал её звучание при помощи носа, в который с великим усердием ныл, подёргивая пальцами ноздри, издавая звуки, подобные гавайской гитаре.

Вам когда-нибудь доводилось слышать сольное носовое пение? Нет, нет... Не путайте с горловым, широко применяемым тибетскими ламами, сынами степей калмыками и тувинскими шаманами в разгар их камланий. В сравнении с горловым пением носовое – классика.

Как-то я так увлёкся своим музицированием, что и совсем не заметил рядом стоящего отца. Не без тревоги и очень внимательно он, посмотрев мне в глаза, спросил:

– Боборика... У тебя всё с головой в порядке? Ты зачем вот так дёргаешь себя за нос, душераздирающе ноешь?

Пришлось, по обыкновению, покраснеть до корней волос, долго и мучительно объясняться, что это вовсе не нытьё, а звучание настоящей гитары, которой у меня нет, но которая, если её дёрнуть за струнку, именно так и поёт.

– А зачем это тебе? – спросил он с простотою римлянина.

– Как зачем? – растерялся было я, – красиво же... К тому же любую музыку можно...

Отец в задумчивости почесал кончик носа, пожал плечами, ничего не ответив, скрылся в своей комнате и уже оттуда несколько нервно принялся научать:

– Не вздумай вот так ныть на улице, а ещё хуже – в школе. Ты только представь, что может о тебе сложиться в головах у людей при виде того, как ты дёргаешь свой собственный нос и разводишься звуком, как ручная пила, когда её сгибают... Уж как пить дать, подумают, каждый подумает, что у тебя того... Вызовут психическую и упрячут в клинику для экспериментов. Прекрати идиотничать, – наконец-то резюмирует он, захлопывая за собою дверь. – Невозможно заниматься...

Дабы больше не раздражать папу, который тоже, как и я – поэт, и которому тоже нужна соответствующая душевная обстановка, в доме, пока родители никуда не ушли, музицировать прекратил. В Старом же парке, на своём осиновом пенёчке, в уединении, оглашался так

вдохновенно, что вскоре, как заметил, стали собираться белки и почему-то ежи. Белки, усевшись на нижних ветвях старой груши, столбиком замирали в медитативном восхищении, ежи же, наоборот, громко фыркали, пытались даже подпевать, да где уж им там до меня...

3

Что есть из себя хорошая и настоящая гитара, я не имел и представления, даже и не задавался этим. Какой быть гитаре? Да какой же ей быть?.. Гитара есть гитара.. Не пианино же. Как помнится, классических шестиструнок музыкальными фабриками и кустарными артелями в нашей стране тогда фактически не выпускалось. А если где и изготовляли, то очень в незначительных количествах. В основном, в музыкальных отделах культтоваров продавались ширпотребовские семиструнки очень низкого качества, кондовые, аляповато выкрашенные под берёзу, дуб и даже под красное дерево, покрытые грубым зернистым лаком, никак не отполированные. Грифы у таких гитар крепились к акустическим коробкам подвижно, посредством специального болта с четырёхгранной головкой под ключ, что, по идее, давало возможность регулировать зазор между ладами и струнами, на самом же деле было сущим бичом. Деревянное отверстие под болт от кручений и прочих нагрузок быстро разбалтывалось, гриф начинало перекашивать, ключ под регулировочный болт, так похожий на часовой, как правило, терялся. А если ко всему этому прибавить ещё и замечательные стальные струны с медною канителью, никак не полированные, от которых у начинающих музыкантов подушечки пальцев левой руки уже через полчаса покрывались кровавыми водянками, то становилось понятным: музыка и мученичество никак не делимы. Не внявшие этим предупреждающим признакам, не прекратившие, подобно оглашенным, своих упражнений, вскоре же начинают горько раскаиваться. Звуки, рождённые с такими муками, уже перестают радовать сердце, волновать душу, кожа на кончиках пальцев, не выдержав натиска суровой меди, лопается, юный музыкант вешает инструмент на гвоздик, специально вбитый для этой цели на видном месте в стенку, и... И, о боги... Как правило, больше к нему не возвращается. Никому и в голову не могло прийти, что в мире есть и другие струны – мягкие и бархатистые на ощупь, звучащие не железно-индустриальными голосами проводов, с характерными подголосками кровельного железа, как это слышится на самопальных записях Владимира Высоцкого, а несколько по-иному... Вернее, совсем по-иному... Так ведь не знали же... Но!.. Вдумайтесь, и возможно вас проймёт даже гордость. Стоимость таких инструментов в полновесной советской валюте колебалась от четырёх с полтиной и аж

до двенадцати рублей. Естественно, та, что за двенадцать, была самой большою, самую кондовою, самую басовитою. К тому же!.. Владелец одного «струмента» в чрезвычайных обстоятельствах мог так отоварить эту гитарою по голове, что мало не покажется. И таких случаев, поверьте, было тогда предостаточно. А чего жалеть-то... К примеру и в соотношении... Бутылка серийной и расхожей водки, выпускаемой многомиллионными тиражами «Столичной», стоила четыре рубля двенадцать копеек в магазине, почти пять – в ресторане... Купить музыкальный инструмент по цене дешёвой водки!.. Ну, знаете ли... Какие могут быть тогда претензии относительно прохудившихся до дырочек пальчиков?.. Ведь подобных цен и в целом мире не сыскать. А комплект струн, так называемые «аккорды»... Это прямо-таки настоящее издевательство, прямой вызов ценовой политике Запада. От девяти копеек – семь струн, до двадцати двух, которые к тому же покрыты ещё и натуральным серебром. Как сейчас помню этот голубенький конвертик с белой оторочкою, на котором в кружочке: серебряные аккорды для семиструнной гитары. Далее, маленькими буквами – Министерство тяжёлой промышленности СССР, завод... Стандарт... Индекс... Город Устюг. Цена 22 коп. А ещё плачем, что плохо жили... Струны, пусть те же – медные, но на самом деле покрытые серебром, красиво, аж ужас, и бутылка кефира, стоимость которой на шесть копеек выше, то есть двадцать восемь копеек. Прочувствовали!? Мог ли я даже и предположить тогда, что пройдёт время, очень много времени, хотя что значит это «очень» по сравнению с Вечностью, когда буду покупать фирменные струны по цене хорошего транзистора, не говоря уж о стоимости кварцевых часов по цене от ста американских долларов и более. Но полно об этих совсем не детских разговорах; что за нездоровая меркантильность...

Страсть занять любыми способами инструмент, научиться играть на нём без всяких там нот, ведь это же гитара, так стала обуревать меня что, кажется, потерял и покой. Хрущёвская оттепель, и это факт, породила в стране массовый интерес к блатному шансону. Гитара, без которой уркаганская песня теряла лихость и слезливость, и возвышенную романтику, и вообще никак уже не представлялась без этой самой дешёвой семиструнной гитары с её тремя-четырьмя аккордами в одной тональности, боем под восьмёрку, перебором одним пальчиком – сверху вниз или снизу вверх, стала обретать необычайную популярность. А иначе никак и не могло быть. Ко всему, есть свои закономерности. Массовые отсидки по тюрьмам, многочисленные лагеря породили сами в себе особую культуру, которая однажды всё же выплеснулась на волю и хрустально-чистыми, как и грязно-илистыми потоками захолынула гигантские просторы страны; захватила, нет-нет, не театры и не эстраду, –

это случится гораздо позднее, а трущобы и бараки, дворы и дворики, подвалы и чердаки; по капелькам просочилась в души робких, но не согласных очкастых интеллигентиков, недовольных всем и вся, непризнанных гениев пера и кисти, горделиво причисляющих себя к андеграунду, ко всему тайному и запретному, которым, в силу их особых харизм, государством даже запрещено выезжать. Можно подумать, что все остальные, то есть законопослушные граждане великой страны Советов только тем и занимались, что разъезжали по границам, стаями бродили по Елисейским полям и по Бродвею, подобно нудистам валялись по пляжам Майами и Майорки, медитативно созерцали Фудзияму, охотились в джунглях Амазонии.

4

Страсть к гитаре, подобно эпидемии, настолько распространилась, что, как помню, в Нальчике не найти было и одного большого двора, где бы не было своей знаменитости – этакого самоучки-гитариста с понтами под блатного, воровским прищуром глаз, с отполированным под золото медным перстеньком на мизинчике, со снисходительной улыбочкой мэтра и особой манерностью во всех своих телесных движениях, и, конечно же, со своею семистрункою, выдавшей виды – обшарпанной и с треснутой декой, с расстроенным и гулким голосом, таким же, как и у хозяина. Подобные типажи меня занимали до чрезвычайности. Еле заслышав лихой бой восьмёрки и это гнусавое, на одесский манер:

*Жил на свете рыжий паренёк,
Ездил он в Херсон за арбузами,
И вдали мелькал его челнок,
С белыми, как чайка парусами...*

Выскакивал, что угорелый, из дому, стремглав бежал к месту сходки блатных, там, где лепились деревянные гаражи, и где уже собрались более взрослые пацаны, бесконечно харкающие с присвыриванием и торпедами на землю от курения ядовитейших сигарет ценою в восемь копеек за пачку с престранным названием – «то-то». Дяденька годков двадцати, так мне, юному, казалось, лупя особым боем по струнам и одновременно по деке, мотая кудрявою башкой и закатывая глаза душевнейшим образом, пел про девочку из Нагасаки, у которой такая маленькая грудь и губы... Губы алые, как маки, которую полюбил суровый капитан, а потом... Потом, кажется, за что-то и зарезал. Романтично до ужаса... Не меня ритма боя, дробно, что по барабану, пройдясь по деке, для эффективности дрыгнув ещё и ногой, тут же переключился на другую, на «фонарики», которую,

уж точно все знали наизусть, потом на ту, где поётся про папиросы и про сироту, который хочет эти папиросы как-то продать, взывая к совести солдат и матросов, которых и не видит, потому как слепой. В особо сильных местах, как ему казалось, в таких, где речь идёт о прокуроре, который, вот же мерзавец, на мирные счастье и покой поднял окровавленную руку, по-особому и с выражением взывал, расквашивал губы переваренными варениками, пальцы правой руки растопыривал веером, что опять-таки, по его артистическому разумению, усиливало трагичность момента, выказывало в нём всю ненависть к ментам, которые всячески мешают романтичным карманникам воровать, ссылая их на Колыму, где Печора, на явную смертушку. Потому, знать, у прокурора и руки в крови.

Блатные песни, по-честному говоря, мне никогда не нравились. Более того, чего уж скрывать, и только набирающий популярность Владимир Семёнович Высоцкий со своим хриплым и надрывным ором, расстроено-дребезжащей гитарой, слабой музыкальностью, во всех своих песнях совсем уж не восторгал. А почему? Да потому, что уже тогда я знал, кто есть гитарист Сеговия и кто есть Иванов-Крамской, Соколовский со своим хором и ещё совсем юный Пако де Люсия. Какое там сравнение... Тем не менее, я жадно вглядывался в построение аккордов на грифе, которых, по сути, и было-то не более трёх-четырёх, не без удивления замечал, что всевозможно варьируя ими, меняя местами, можно аккомпанировать несметное количество разных песен и как бы мелодий, похожих друг на друга, и вроде – не похожих, хотя, чего уж там скрывать, все они суть одного и самого примитивного под названием «блатная».

Забегая вперёд, можно сказать и о другом. Как только так называемый андеграунд, не поголовно, конечно, а в подавляющей массе непризнанных гениев получил долгожданную свободу, вышел из «элитарной тени» – твори сколько душе угодно, самовыражайся, хоть по матушке, – он тут же и сдулся. А король-то гол!.. За философскими понтами, за всякими там концептуализмами и иными «измами» скрывалась бездарность, бездуховность, элементарное неумение, а зачастую обыкновенная пошлость. Но это всё случится потом.

А пока я, как угорелый, бегал по дворам и скверам и приобщался к песенной культуре блатных и приблатнённых, всех остальных, кто восторженно косил под них, помаленьку набирался жизненной мудрости и всего остального, неразрывного с этим, учился быть самим собою, но совсем не тем, каким мне предлагали быть правильные дядечки и тёточки, непогрешимые учителя, кристально честные участковые милиционеры, а скорее, обратное этому. Ничто так кардинально не повлияло на моё творческое становление, на мировоззрение вообще: быть таким, какой я есть, играть, и не только свою музыку, но и самого себя

без всяких прописных правил и нот, как эти ранние мои наблюдения за самую жизнь, центром которой всегда был, есть и будет человек. Все эти вдохновлённые уркаганы, приклатнённые музыканты-гитаристы, колоритнейшие типажи театра абсурдов иной действительности и дали повод крепко задуматься, разувериться в одном, утвердиться в другом, со всею очевидностью понять, что миром правит далеко не только одна правда, а и ложь, смотря с какой стороны на то посмотреть.

Удивительно, именно эти примитивные песни вокруг трёх аккордов, слезливая поэзия их и пробудили во мне то, что есть гораздо выше этого, пробудили любовь к классической музыке, любовь к высокой поэзии. Уже тогда посчастливилось воочию услышать, как звучит настоящая семиструнная гитара, и что на ней можно играть не только «русские народные – блатные хороводные», но и подлинную классику. Все это случится много позднее, когда я во всём нашем квартале, от улицы Советской до Головки, буду слыть одним из самых «авторитетных» гитаристов-семиструнников, как представлялось многим, не умеющим играть, подобно мне «Гимн восходящего солнца» и твисты под музыку Муслима Магомаева.

5

Заметив мою жгучую увлечённость гитарою, однажды вечером – дело было в канун Нового года, отец, придя с работы и явно навеселе, ни слова не говоря, положил передо мною на стол, прямо на книжку, которую я читал, нечто, и прилично большое по объёму, упакованное в плотную иощёную бумагу, перевязанное волосатым шпагатом.

– Что это? – округляю я глаза, от волнения затаив дыхание, так как никаких подарков и не ожидал.

– Разворачивай, – говорит папа, сбрасывая на ходу с плеч тяжёлое драповое пальто, бросая его на диван, от удовольствия потирая красные от мороза руки.

– О Господи, – задохнулся от восторга я, не успев до конца и распаковать, – гитара!

Ох! Если бы мог знать, мог видеть наперёд мой бедный отец, чего это будет ему стоить потом, каких волнений, огорчений и нервов, бессонных ночей и разочарований в сыне блудном своём, бесед с родной сердцу милицией в лице её лучшего представителя, участкового инспектора капитана Дыкова; так не ведал же. Уж наверняка поступил бы совсем по-иному, не только бы не стал приобретать многострунного музыкального орудия в специальном отделе культтоваров, но и всяческим принялся бы

уговаривать своего недоросля выбросить из головы глупую затею вон, стать пианистом, скрипачом или аккордеонистом, а ещё лучше пойти учиться играть на флейте «пикколо», которая такая махонькая, что её вполне можно спрятать и в рукаве пиджачка. Разве бы я не послушался своего наимудрейшего отца, если бы он сказал напрямую:

– Сын мой! Сдался тебе этот пошлый буржуазно-мещанский инструмент... Посмотри на себя в зеркало... Ведь ты, паршивец, интеллигент до последней своей косточки. Как ты не поймёшь, что гитара и Боборика – это несовместимо; сплошная цыганщина.

Вместо всего этого произошло противоположное:

– Если уж пожелал научиться по-настоящему играть, – назидает он мне, – уж будь любезен тренироваться каждый день, как это делает всякий уважающий музыкант, а не так, чтобы – брынь-брынь, а потом с глаз долой под кровать. Гитара, это тебе, брат, не халам-балам – инструмент!.. В странах Латинской Америки, считай, самый наипервейший... Некоторые на этой гитаре, уму непостижимо, но даже фуги Баха умудряются играть. Сам слышал собственными ушами, когда мы с мамой в Москве... На Всемирном фестивале молодёжи, в пятьдесят седьмом году... Один, длинноволосый, так наворачивал, да и ещё под симфонический оркестр, что с ума сойти... И как только можно это всё наизусть запомнить, да и ещё с такою скоростью? Пальцы на грифе, – и не уследишь, скакали туда-сюда, как угорелые.

Быстро расправившись со шпагатом и упаковочной бумагой, увидел перед собою изящную, почти по-детски маленькую гитару, точно по моему невеликому росту, с тонким чёрным грифом, по-женски фигуристо-приталенным корпусом, цветом под красное дерево, вроде как бы и игрушечную, но на самом деле совершенно настоящую.

– Специально выбрал для тебя такую, чтобы легче было учиться, – с ног до головы окидывает меня взглядом, – на маленькой-то гораздо ловчее...

Полной же неожиданностью для меня оказалось даже не сама гитарка, такая ладная и до изумления красивая, каких я и не встречал, а то, что мой папа, которого я знаю аж целые тринадцать лет, умеет на ней играть и даже под неё по всякому петь. Настроив инструмент, как настоящий артист, аккомпанируя на нём перебором, на цыганский манер запел про соколовский хор у Яра:

*Соколовский хор у Яра
Был когда-то знаменит,
Соколовского гитара
До сих пор в ушах звенит.*

*Там была цыганка Зара
У-умела колдовать:
– Пой, гитара, плачь, гитара,
Уж коней не воровать...*

Потом про «ой васильки, васильки, сколько вас выросло в поле...» и про «вянет, пропадает молодость моя...».

Не случись этого такого изумительного примера, да и ещё со стороны столь многоуважаемого человека, как папа, возможно, несколько побренькав, набив на подушечках пальцев мозолей, на том бы и успокоился, как многие до меня, возмечтавшие стать Высоцкими, Клячкиными, Визборами, Окуджавами. Но папин пример настолько меня вдохновил, что, не откладывая ни на минуту, тут же с великим прилежанием и усердием засел за струны, с таким демоническим рвением принялся их терзать, что совсем скоро стал невыносим, надоел и брату Валерию, и сестрёнке Татьяне, и маме, и папе, лица которых сделались неожиданно уж очень задумчивыми и, кажется, кошке Кудине, юркнувшей от железной какофонии прочь на морозный балкон, решившей, что лучше уж так, лучше уж отсидеться на свежем воздухе, чем слушать в таких муках рождающуюся музыку.

– Нет, – наконец-то и первым не выдержал папа, – так дело не пойдёт, ты здесь не один... Наобум, с насоку-напрыгу никто ещё ничему толковому не научился; во всём должен быть свой порядок, своя последовательность. Первое, и это обязательно, чему ты должен научиться, так это как по-правильному настраивается инструмент, чтобы все струны были в согласии. И это, поверь мне, не просто так, как на первый взгляд кажется, целая наука, гармония... Видишь, вот эти медные перекладинки, расположенные в определённой последовательности на грифе, наподобие шпал? Благодаря им, которые то сокращают, то увеличивают длину струны, смотря в каком месте пальчиком придавить, она и поёт то тоненько, как комарик, дзынькает на самой последней шпале, – то вот так, – переводит палец на первый лад, где струна начинает гудеть уже шмелём. Заметил разницу?.. Бери бумагу... Чистую тетрадочку возьми. Я тебе сейчас всё объясню, а ты запишешь, какая струна и на каком ладу строится с другою струною в унисон, то есть в согласии; когда звучат одинаково и в одну нотку. Самое главное, будь внимателен. И тогда научишься налаживать инструмент не хуже моего. Конечно, – смотрит задумчиво на гитару, – по-настоящему, самую нижнюю и самую тоненькую струнку натягивают не произвольно, как это сделали мы, а по камертону, на ноту «ля». Надо бы поспрашивать у учительницы по музыке Зухры Магомедовны, может быть, она где и достанет нам такой камертон...

С этого и началось моё обучение на семиструнной гитаре. Так как папа играл по самому простому, к тому же – по-старинному, используя одну тональность в мажоре или миноре и не более трёх аккордов к ним, то уже совсем скоро всем этим я уже овладел, и как казалось мне, играл очень даже прилично, под «бум-ца-ца, бум-ца-ца» блял тонюсеньким голосочком, но только, когда был наедине с самим собою:

– Ах, эти чудные глаза, ах, эти бархатные розы, а по щеке течёт слеза... Любви благословенны слёзы...

Кровавые мозоли, обглоданные рашпильными струнами ногти правой руки не только не умерили пыла, но, кажется, наоборот, сподвигнули к ещё большему усердию в деле постижения столь непростого, как оказалось, инструмента, коим является обыкновенная семиструнная гитара.

Оказывается, как неожиданно открылось мне, если научиться правильно брать барэ, это когда одним указательным пальцем левой руки в нужном месте на грифе перекрываются враз все струны, то одну и ту же мелодию можно играть в разных тональностях, избегая этой нудливой монотонности, так характерной для всякого любителя-слухача, бацающего, что угодно, вокруг трёх аккордов, страшно фальшивя, игнорируя всякие там диезы и бемоли, довольствующегося чистыми – ре, ля, ми и до.

Не прошло и короткого времени, как я по всем показателям превзошёл отца, научился по-блатному крутить восьмёрку, ещё нечто, похожее на этот ритмический бой, но изобретённый уже самим, что считалось особым шиком и даже в какой-то степени авторским почерком. Среди дворовых лабухов некоторые лирические песни исполнялись перебором, а по другому – на цыганский манер. Это когда большой палец правой руки выводит басы, а остальные, по очереди, щиплют струнки – или снизу вверх, или сверху вниз, а то и одновременно, кому как нравится. Улица со всеми её нигилистическими прелестями, дворовой романтикой, босячеством стала затягивать всё сильнее и сильнее; личные знакомства, не без влияния гитары, с пришлыми «бандюганам», авторитетами, имеющими за плечами уж не один привод в милицию, тешило самолюбие: а ну, попробуй-ка пырхнись¹ на такого, когда за ним сам Хвыря с Богданки, Хампот и Абрек с Вольного Аула, Габидон со всею своею шпаной ногмовских, Хызыр по кличке Уллу Баш с Хасаньи и сам Мага, которого побаивались и старшеклассники. Понятное дело... Где гитара, там, уж конечно, вольница, запретные песни, особый воровской сленг, ножички и кастеты, блатные понты, сигареты, круговая бутылочка портвейна на дюжину рыл, а то и косячок шмали². Анашу я всячески и под

¹*Пырхаться* (жаргон) – ввязаться в драку.

²*Шмаль* (жаргон) – марихуана или анаша.

любым предложением избегал, а если, случалось, мастырка и доходила из рук самого Хампота, уже обкуренного, по малейшему поводу психического, то дабы не уронить авторитет, набирал полный рот дыма, но не взятяжку, тут же передавал следующему, истинно жаждущему на некоторое время съехать крышею, превратиться в настоящего дурака.

Двор, улица, подвалы, чердаки, подворотни, обшарпанные подъезды, калейдоскоп лиц и характеров, тёмные и светлые стороны жизни, всё это заставило взглянуть на окружающий мир несколько иначе, под другим углом, а не так, как об этом писалось в правильных книжках, предлагалось школьной педагогикой. Оказывается, быть отличником, передовиком, незапятнанным в поступках человеком – совсем ещё не значит быть человеком хорошим. Школа учила: двоечник, разгильдяй, прогульщик, да к тому же ещё и хулиган, которых учителя называли бандитами, ну никак не может быть преданным товарищем, порядочным, добрым, отзывчивым. Опыт улицы, вопреки всякой здравости, доказывал обратное. Зачастую проявление чести, мужества, порядочности, взаимовыручки, великодушия можно было ожидать не от тех – прилизанных, нигде не запятнанных, хорошо успевающих по всем предметам, а значит, умных, которых всегда ставили в пример, чтобы им подражали, а наоборот, от полных им противоположностей – вольнодумствующих, коих учителя считали людьми никчемными, не способными ни к чему, бездельниками и двоечниками с уготованной им участью быть дворниками, сапожниками, чистильщиками обуви, каменщиками на стройках. Двоечники за такое вот отношение к ним со стороны мудрых педагогов нещадно мстили; отличников и подобных им зубрил-подхалимов открыто презирали, по случаю лупили нещадно. Те их ненавидели, но боялись; старались всячески перед вольнодумцами лебезить, услужничать, выказывать даже почтение, но никак не дружить. На всякий случай не дружить; мало ли что...

Из моих жизненных наблюдений – наблюдений Мальчика без времени – Боборики, как правило, не все, конечно, а в большинстве своём бывшие отличники и близко приближённые к ним хорошисты, у которых всего-то одна-две четвёрочки, быстро достигнув апогея своего развития, превращались в обыденную серость – посредственных работяг, бездарных чиновников, среднестатистических педагогов. Столкнувшись с суровыми повседневными реалиями, которые, в силу непредсказуемости особых алгоритмов, никак уж наизусть не вызубрить, ибо для этого требуются особые аналитические способности, особая прозорливость и, конечно же, свобода, никак не ограниченная прописными рамками, становились теми, кем и суждено стать. С окончанием учёбы все их университеты тут же и кончались. Смотришь порою на иного, а в голове уж, простите:

– Как тормознулся в конце шестидесятых, наполнившись знаниями аж до самой маковки, с тем поныне и пребывает.

Предоставленные улице пацаны, опять-таки из моих жизненных наблюдений, в сравнении с доморощенными маменькиными сыночками были на голову выше их по приспособляемости к суровым условиям жизни, более ловкими и сильными, более умелыми и сообразительными, и, уж простите меня, отличники в человеческом отношении – более порядочными.

Как сейчас помню, было это в классе восьмом, когда одна дама, занимающая в горкоме партии довольно высокое чиновничье место, мама одной из наших одноклассниц, входящая к тому же в родительский комитет школы, на нашем классном собрании стала распекать второгодника, двоечника и хулигана Зарика Фахушева (фамилия и имя изменены), побагровев, за то, что после очередного её оскорбления он позволил себе ещё и перечить, завизжала:

– Вот такие... Вот такие, как ты – хулиганы и двоечники, во время войны и становились дезертирами и предателями родины...

Не вставая из-за парты, откровенно смерив её взглядом с ног до головы, великовозрастный и многоопытный Зарик, коему должно по летам его уж год как быть в студентах, с подобающим мужским достоинством ответил – какой ужас!..

– А ты, как погляжу я, баба ничего... В сравнении с дочерью во много привлекательней. С удовольствием бы...

Годами пятью позже горкомовскую даму за взятки упрячут в места не столь отдалённые и лет этак на пять, Фахушева Зарика представят к высокой боевой награде родины – Ордена «За Мужество» при исполнении своего интернационального долга в Афганистане – посмертно. Поистине, неисповедимы дела твои, Господи.

Не только одна школа и педагоги, и не только правильные книги, на которых нас, будущих строителей коммунизма, воспитывали, а и улица сформировали меня таким, какой я и поныне есть. Именно улица и только улица отсекла раз и навсегда от чванливого снобизма, подлости, лести, любования собою и только собою родным, таким чистеньким, гладеньким, умненьким и интеллигентненьким, потому как из такой семьи, такого окружения. Порою жёсткая и нелицеприятная, живущая по своим неписанным законам, где всему есть место, именно улица научила меня тому, чего держусь и поныне, практически показала, что за подлость – бьют, за трусость и жадную мелочность – презирают, за враньё – каблуком под задницу, за предательство – перо... Показала и другое, что честь, порядочность, смелость, простосердечность, щедрость и, конечно же, ум – вот основные добродетели, которые не на словах,

а на деле ценятся улицей. И вообще... Что есть развращённость улицы в сравнении с извращённым раздраем в головах иных интеллигентшек, коих в немалом количестве обитает под защитными сводами храмов искусств и литератур... сводами музеев, библиотек, архивов и всевозможных министерств... Уж поверьте... Я-то знаю, о чём говорю...

6

Давно известно: встречают по одежке – провожают по уму. А потому...

– Никогда не судите человека по его одежде, – говорил один из героев Булгакова, – можете по-крупному ошибиться, милейший.

И ещё... Пьяный ум, конечно же, не равен трезвому, но... Дурак, протрезвев, поумнеет ли?... Или наоборот... Напившись наиболагороднейшего бургундского, поглупеет ли от прежней глупости ещё более?

Знавал по жизни одного сумасшедшего человека – окончательно сумасшедшего, а не такого, что временами, когда на то выгодно ему, косит под оного. Так вот, когда ему удавалось выпить что покрепче, да и ещё добре закусить, что случалось не так уж часто по причине бедности, он, нет-нет, не подумайте ничего плохого, не только не принимался безобразничать, хулиганить и дебоширить, что по логике вещей уж непременно как-то должно было случиться, а наоборот, преображался на глазах, светел ликом и умом, впадал в такие философские рассуждения, непостижимые по своей высоте, что у иного самого трезвомыслящего умника, тайно гордившегося этим, тут же зарождались сомнения относительно возможностей собственного мозгового вместилища под названием черепная коробка:

– Эк, как я слаб и худоумен, – чистосердечно признавался он себе, на самом же деле не подавая виду. Ведь и самой малой толики от сей мудрости уразуметь для себя не умею.

Так вот... Дабы в дальнейшем не случилось каких недоразумений, в связи и по поводу моих странных повествований, хочу заметить: исходя из кропотливейших многолетних наблюдений, проведённых с великой добросовестностью и тщательностью, мною было открыто нечто странное: сумасшедший человек, которого большинство таким считают, иначе, согласитесь, какой же он сумасшедший, не есть человек глупый и убогий, недоразвитый умом, а, скорее, наоборот. Наиболее здравые мысли относительно социально-политических переустройств целых государственных формаций, иных не менее сложных материй исходят, увы, не от тугодумающих государевых мужей, восседающих в думах, парламентах, правительствах, а от психов ненормальных – свободных

художников духа, бескорыстных и простосердечных романтиков, кои только и знают, что инвольтировать да инвольтировать свои мысли, заполняя ими бесконечные сферы пространств, сводя с ума галактику за галактикой, которые, исходя из законов бесконечности, где всё приближённо относительно величин к нулю, запросто могут и обретаться в объёме одного атома. Но так как сумасшедшие идеи, брошенные сумасшедшими философами, склонны шастать там, где им вздумается, внедряться в черепные коробки как быстродумающих, так и тугодумающих граждан, как правило, застревают именно там, где в силу законов материи – плотности и вязкости её среды – наиболее всего туго; становятся интеллектуальной собственностью государевых мужей, их личной законотворческой инициативой.

– Это что же такое получается, граждане-товарищи? Сплошное надувательство, – возмущаются те, кто посмекалистей, – это выходит, что чиновники и вообще никак не думают... Сидят сидья на своих седалищах, ловят мух медовыми мозгами, выдают же за своё. Так, что ли?

Иоаким, что внедрил в мою башку столь опасные и зловредные мысли, утверждает, что именно так и обстоит: не умеющие думать сидят в думах, думающие – на печи. Одних называют Емелями-дурачками, других – думными дьяконами, царёвыми мужами, а ещё... А ещё – слугами народа.

Последнее определение, кажущееся несколько уничижительным, на самом же деле особенно им самим нравится. Быть, вернее дослужиться до слуги народа, это, скажу я вам, надо ещё и постараться... И вообще... В жизни, – мыслю я, – всё устроено очень даже престранно. Порою действия пьяной обезьяны, объевшейся перезрелых бананов, отдающих брагою – сумбурные, исполненные необузданной дикости могут сподвигнуть здоровое существо, коим завсегда считался человек, к таким в себе открытиям, что впору и диву даться.

Один мой знакомый приятель, сильно приударяющий спиртным, напивающийся порою до состояния выноса риз, никак не мог взять в толк, с какого это такого бодуна некоторые из окружающих его близких называют его свиньёю, да и ещё бурою, то есть подобной той гоголевской, что спёрла из присутствия поветового суда, прямо с канцелярского стола позов – ябеду Ивана Никифоровича Довгочхуна на своего смертельного врага Ивана Ивановича Перепенка, пока, по случайности, накапывая себе в ложечку, не разлил на пол цельный пузырьёк валерьяновых капель. Любимый кот Мартын, далеко не мальчик, солиднейшего телосложения, наилучших манер и повадок, пока хозяин бегал в поисках, чем промокнуть одуряюще-благоухающую лужицу, потеряв всякую степенность, спешно прыгнул с подоконника, по-воровски, воспользовавшись ситуацией,

выжрал, скотина, всё до единой капельки, вдрызг охмелел. Выказав все свои мужские достоинства, развалился на спине. Раскинув задние лапы так, как не пришло бы на ум и самой похотливой кошке, оскалив клыки, гнусно и с посвистом захрапел. Поза кота с выставленными напоказ шерстистыми ядрами, этот возмутительнейший храп, одуряющий валерьяновый перегар так зримо и психологически ярко действовали на моего приятеля, что, хотите верьте, хотите нет, – как бабка отшептала, – вчистую бросил не только пить, но и курить. На опростоволосившегося кота так осерчал, что дальнейшее проживание с ним на одной жилплощади посчитал для себя невозможным, переселил пьянчугу на чердак, любые попытки возврата пресекал самым решительным образом.

– А я-то всё гадал, – признался как-то мне, – чего это Нюрка, это которая моя первая жинка, взъерепенилась кобылою нежерёбою, ускакала, да и ещё на ночь глядя аж в Георгиевск до родной хаты, где родители. А оно... Вон ведь, оказывается, как...

Много, много позже про этого товарища по случаю узнал и ещё более интересного. Подружка его бывшей жены Нюрки – Валька Тарасиха мужику своему поведала, а он, известное дело, как такое сохранишь в секрете, не только мне, но и многим другим со всеми художествами да приукрасами пересказал. Смеху было... В канун Святой Пасхи, считай, в самый последний день Страстной недели, когда добрый христианский люд с радостью и благоговением куличи печёт, да яйца красит, приходит Нюрка с работы домой, глядь, а мужик её уже готовый. Лежит возле самой кровати на полу, – маленько не дотянул, в кепке, грязной рабочей фуфайке, в башмаках и... И без штанов. Не то что просто без штанов, а и вообще без всякого исподнего, которое, – уж Нюрке-то не знать, – обязательно как-то обязано быть под штанами. Лежит на спине, развалив ноги в разные стороны, храпит, что есть мочи.

– Это же надо так нажраться, – всплеснула от отчаянья руками, – мимо постели промахнуться, скотина...

Спортивные рабочие штаны с широченными красными лампасами, старые, сплошь в разноцветных пятнах:

– Генерал чёртовый, – вместе с трусами отыскались под кроватью.

Подобное незначительное обстоятельство, как ни странно, действовало на Нюрку несколько успокаивающе:

– Хоть не где-то оставил...

Всякие попытки её хоть как-то растолкать поверженного хмелем мужика, уложить на кровать не увенчались успехом: Гошкамычал, лягался ногами, скрипел зубами, да так, что упаси Господи... Страх божий...

– Вот же скотина! – ещё более стала воспламеняться Нюрка, – а ведь обещал... У всех мужья, как мужья, а этот...

От досады аж плюнула куда надо.

– Алкаши проклятые! Чтоб вам поиздыхать!.. В самый канун Светлого Воскресения Господня... Яйца уж было собралась красить; Вальку Тарасиху пригласила... Вдвоём-то сподручнее куличи и всякое остальное. Бирюзовой и красной краски добыла у Степановны, поделилась; в луковых шкорках, в шелухе, хоть и натурально, но не так красочно. А тут... Раз, обмакнул, и все дела...

И такая лютая обида охватила Ньюрку, что не зная, как ему, гаду, отомстить за все его жизненные свинства, за его систематическое пьянство – алкаш несчастный, в сердцах возьми да и мазани мужику пасхальными красками – бирюзовым и красным – там, где надо. Одно огненным цветом измалевала, другое – цветом небесной лазури. Сам же срамный уд в полосочку, наподобие верстового столба. Плюнула ещё раз, смачно плюнула, куда надо и укатила к родным родителям – отцу и матери, и младшей сестрёнке Олечке в Георгиевск. И всё это, ей-ей, чистейшая правда; такое разве придумаешь?.. Вот ведь какие удивительные вещи среди людей на свете случаются. Но и это ещё что...

Глава 36. ОСЛЕПШИЙ МУЗЫКАНТ

1

Моя чрезмерная увлечённость гитарою, а в связи с этим растущий круг знакомых – мальчиков и девочек моего возраста – романтиков, любителей самодельной музыки, всё это никак не сделало меня хуже, не развратило до уровня уличного босяка, чего, и, надо сказать, не без оснований остерегались родители, но, кажется, наоборот научило более тонко разбираться в людях, в сути: что есть сам человек, Личность, научило более критично соизмерять свои поступки с поступками других, без притворств и преукрашательств посмотреть вглубь самого себя. Не главное, как и с кем ты себя сравниваешь к подтверждению своих добродетелей, а какое мнение у окружающих по этому поводу. Застенчивость и робость, увы, не лучшие человеческие качества. На ниве чрезмерной неуверенности, болезненной, надо признаться, неуверенности, засеянной к тому же плеведами в самую душу, и не без усердий ревностных педагогов, искренне считающих, каждый по себе, что любого ученика, не умеющего понимать его предмета, уж точно, можно ли признать умственно полноценным, может ли чего взойти доброго?.. И ведь действительно... Какой к чертям собачьим там нормальный, когда не то что алгебраические или тригонометрические штуковины – синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы, а и Пифагоровой таблицы наизусть запомнить не умеет. Ведь это же явно, думает в сердцах учитель математики, для которого его наука

есть святость, инспирированная аж самой Природой (люди, склонные к точным наукам, туда можно причислить и гуманитариев – сторонников Дарвина, за редким исключением, как правило, ни в какого такого Бога не верят) или издевается вот так, или действительно с головешкой не всё в порядке. Переиначу на свой лад, поставлю всё с ног на голову: у учителя математики, физики, химии, не смыслящего и не чувствующего самого элементарного в искусствах литературы и поэзии, в музыке, ни бельмеса не смыслящего в искусствах – всё ли в порядке с головешкой? Оказывается, вдруг с пронзительной откровенностью открылось мне: никакая педагогика не поможет «стать» и «быть» в высоком смысле, если не заложено в саму душу изначально. Мало того... Можно без всяких научений и даже вопреки воле этих самых научений, благодаря собственным усилиям воли, стремлениям, любви стать поэтом, художником, музыкантом и даже философом, ибо даже химера и иллюзия нуждаются хоть в каком-то осмыслении, не говоря уж о самой жизни. Иначе... Иначе – бессмыслица.

2

За Фестивальным домом, что прямо напротив кинотеатра «Восток», со стороны двора находилась одна из лучших площадок для детей в городе. Благоустроенная лично нами – пацанами, благодаря горячей инициативе более старших парней, почти для нас дядек, имела подобие грунтового футбольного поля с маленькими, врытыми в землю деревянными воротами, специальную площадку для настольного тенниса. Две огромные и тяжёлые до ужаса городские скамейки на чугунных основаниях были лично нами спёрты в пасмурное и ночное время прямо с проспекта Ленина, гурьбою, невероятными усилиями перенесены на руках сначала во двор, установлены затем с внутренней стороны забора – высокого и дощатого, выкрашенного в ядовито-зелёный цвет, которым и была огорожена наша детская площадка. Не очень великий домик при входе, с левой стороны, к тому времени уже расселённый, также изначально предполагался нашим детским клубом, но простояв бесхозно некоторое время, потеряв двери и рамы, обомжел, а потом и вообще чуть не сгорел; через некоторое время обрёл новых хозяев, огородился голубеньким штакетником, стал проживать солидно и семейным образом под личным номером – проспект Ленина 18 «А». Вот на этой самой площадке во времена моей юности и отрочества и устраивались настоящие гитарные турниры. Казалось, что тогда увлечённость этим инструментом, любовь к нему в нашем городе была прямо-таки явлением всеобщим.

Как было выше мною отмечено, никаких школ по классу семиструнной гитары в Нальчике, да и, пожалуй, не только и в помине не было

вообще. Да и могли ли подобные школы как-то возникнуть, когда в сознании тогдашнего руководства страны, по глубокому убеждению так называемых корифеев от музыки, оный инструмент и классическим-то не считался. Отголоски подобных убеждений, а вернее – предубеждений в академической среде бытуют и поныне. Тогда же некоторые чиновники от культуры, отвечающие за идеологию, за так называемое здоровье страны, видели в этом инструменте не инструмент, а некий «инструментарий», посредством которого всякие вражьи элементы – стилиаги, тунеядцы, спекулянты, уголовники и прочие замаскированные контры пытаются внести разлад, противопоставить себя социалистическим принципам песенной культуры народа – возвышенной и патриотичной, воспевающей героический труд, ратный подвиг, дела комсомола, роль во всём этом коммунистической партии. Замечу, не просто роль, а руководящую роль самой Коммунистической Партии.

– Ведь неспроста, – заметили они, – нарастающее протестное движение в искусстве под названием «андеграунд» взяло на вооружение именно этот инструмент.

Странные люди... А какой же им инструмент брать? Ну не скрипку же, не флейту же пикколо, на которой можно научиться даже визжать. А может быть, рояль? Который на чердак не втянуть, в подвал не втиснуть. Ну не на улице же под дождём протестовать бурно клавишами...

Представьте себе... Даже после блистательных гастролей по нашей стране всемирно известного испанского гитариста Анре Сеговия великому русскому музыканту, композитору и педагогу Иванову-Крамскому приходилось доказывать, что создание академической школы русской гитары с точки зрения музыкальной культуры страны крайне необходимо. Когда вопрос этот был вынесен на правление союза композиторов, Тихон Хренников не без язвительного сарказма заметил ему:

– Ну что ж, милостивый государь, сбренчите нам что-нибудь на гитарке, а мы, – сделал жест в сторону своих коллег, – а мы и послушаем...

И это... Иванову-Крамскому, Александру Ивановичу Иванову-Крамскому, чьё имя как музыканта-исполнителя было широко уже известно в той же Испании, лауреата множеств международных конкурсов, композитору, основоположнику школы русской шестиструнной гитары, виртуозу, исполнителю сложнейших произведений мировой классики. И это ему: сбрыцайте, а мы послушаем. Однако... Я, кажется, слишком увлёкся... На чём это я остановился?... Ага.. Кажись, вспомнил

Так вот... При таком массовом увлечении гитарой почти сто процентов дворовых пацанов, душщипательно терзающих струны, были слухачами, ни о какой нотной азбуке не имели и малейшего представления.

Какие там ноты... С какой стороны их приспособливать к семиструнке, казалось нам, не пианино же... Главное, погромче, да позвонче, да восьмёрочкой, чтобы душа так и взыгрывала, так и выпрыгивала наружу. Узкая заблатнённость семиструнки была столь очевидной, что, по-честному говоря, я и сам не мог предположить подлинной широты возможностей этого инструмента, даже как чисто аккомпаниаторского, не говоря уж о другом, когда гитара сама начинает разговаривать по-разному, по научному – солировать.

3

Вечером, собравшись на детской площадке, взлетев фазанами на спинки скамеек, ногами на сидения, принимались под гитару проникновенно и душевно голосить песни с далеко не пионерским и даже не комсомольским содержанием: про лихих воров и контрабандистов, и про лагеря, в которых томятся в неволе фраера и прочий лихой люд, которым на воле не подфартило по причине того, что: «Легавые Коляна раскололи и он, гадюка, – скопом всех вложил, век не видать ему, падлюке, воли... Прощайте, братцы, – я ему простил...». И про девочку из Нагасаки со следами проказы на руках и с губами алыми, как маки, которую любил седой капитан, и который, обшабившись гашишем, взял и зачем-то её зарезал. Уже тогда смысл песен, особенно тюремного содержания, вызывал у меня, по крайней мере, недоумение, а то и полное непонимание.

– Как же так? – рассуждал я, – хлопец не учился, не работал, лазал по чужим карманам, тырил кошельки с теми деньгами, что заработаны потом и кровью, на ворованные водил девочек по ресторанам, покупал им кольца и браслеты, иногда в пылу ревности резал ножичком их любовников, а заодно и их самих, а потом, когда его чекисты всё же повязали, стал возлагать всю вину на бедолагу – прокурора, на судью, на всех легавых вместе взятых, которые на его счастье и покой, покой его блудной девки подняли окровавленные руки. Конец песни наиболее проникновенен и силён:

*Колыма теперь мне дом родной,
А Печора – верная мне хата,
Детка, ты не плачь, я уж не твой,
Я умру на Колыме проклятой...*

Или... Проникнитесь высокохудожественным смыслом блатнообразной баллады:

*Начинаются дни золотые,
Из Ташкента идут поезда,
А на полках на верхних вагонов
Обималённая едет шпана.*

Далее:

*План подкуришь – забудешь заботы,
План подкуришь – пойдёшь воровать,
А наутро в сыром каземате
Будешь ты анашу проклинать...*

Значит, чтобы отстраниться, а можно и выключиться от всяких забот, надо предварительно обкуриться, потом в состоянии «не ведая, что творишь» кого-то обворовать, а то и тюкнуть обушком топорика по темечку или ножичком пырнуть, очнувшись же в сыром тюремном каземате, не каяться угрызениями совести, не корить себя самыми последними поносными словами, а свалив всё на травку, её же и проклинать. И что это за «золотые дни», когда от них вот такой печальный результат, так всё скверно?

Примеров таких содержательных текстов вокруг трёх аккордов из так называемого блатного шансона можно привести сколько угодно. Но, тем не менее, факт налицо. Несмотря на явную несурезицу текстов, примитивность рифм, а порою и неприкрытую нецензурщину, многим... Да что там многим – большинству нравились; именно такие песни слушали с чувственным вниманием, подпевали, переписывали в «секретные» тетрадошки. Особый залихватский цинизм, пошлость, как это ни странно, не только не отвращали, а наоборот, в гражданах даже весьма приличных и культурных, начитанных, вызывали чувства, сходные с восхищением, некою бравадою: знай, мол, наших!.. И мы имеем право вот на такую свободу; и нам морализм всяких этих цензур не указ.

– А, ну-ка, Косой, – приблатняется интеллигентного вида очкарик, в модной клетчатой ковбойке, синих техасах и остроносых туфлях, со значимостью подмигивая своей подружке, – студентке физмата, – сбacciaй про это... Как там?..

Морщится лбом, притоптывает ножкой, делает энергичные движения рукой.

– Ага... – наконец-то вспоминает он, окидывая окружающих победным взглядом, ещё раз подмигивая девушке, козлиным голоском напоминая Генке Косову какую песню он от него желает услышать. Тот понимающе кивает головой, рвёт струны, во всё горло и под Высоцкого хрипит:

*Какой-то стрелочник п...да
Остановил все поезда
Сигналом, (б) сигналом, (б) сигналом.
И я с железным котелком
Пятьсот километров пешком
По шпалам б..., по шпалам б..., по шпалам.
Сижу в тюряге на печи
Ломаю ... кирпичи –
Песочек, песочек, песочек...*

Девушка смущённо улыбается, тупится глазками в землю, понимающе роет землю каблучком, покидать же честную компашку стилияг, от восторга пританцовывающих под этакую уголовную пошлятину, и не думает. Сопричастность к запретному, ненормативному, порочному, как замечалось мною, волновала не менее, чем высокое по духу, классическое и изысканное. Мало того... Зачастую предпочтение отдавалось именно низменному, откровенно пошлому.

«Мурка» – это вам не какой-то там полонез, не слащавый романсик, не русская народная «Ой вы сени, мои сени, сени новые мои...». «Мурка» – это настоящая воровская песня, где всё: и риск, и романтика, и любовь. Ещё более потрясающее...

Я знавал довольно приличных профессиональных музыкантов, играющих филармоническую музыку – скрипачей, виолончелистов, флейтистов, которым тоже блатные песни по душе; в особых случаях, после двух-трёх стопариков портвейна, и сами не прочь похулиганить, выдать высочайшей фистулой на кларнете или скрипке и на одесский манер:

*Вышли мы дело –
Я и Рабинович,
Бедному еврею,
Где же деньги взять?..*

А то и просто матюгнуться, скороговоркой и в одиннадцать нот. Любой музыкант на своём инструменте умеет, как это сделать, даже барабанщик.

Не хотелось бы показаться исключительным, таким эстетически рафинированным чистоплюем (да знаю я всё это!.. И матюганам обучен сызмальства не хуже других), высоконравственным человеком, но признаюсь, что и в отрочестве своём, когда среди пацанвы наших дворов слыл наипервейшим гитаристом, и в молодости, в пору буйных исканий себя как лабуха в качестве кабацкого музыканта, и, уж конечно же,

сейчас, никогда блатные песни не любил, а если и исполнял, то в силу необходимости. Иное дело бардовская песня с её глубоким поэтическим текстом, лирикой и особой напевностью или, скажем, городской шансон, разве они сравнимы? Пьяненький человек, без гроша в карманах, без этих самых денежек, которые как-то стимулируют и мысли, и действия, и поступки, грустный и такой понятный каждому простому советскому человеку, готовый и последний трояк пропить с первым попавшимся незнакомым ранее ночным гражданином, для меня далеко не тот парнишка, что ездил в Херсон то ли за голубями, то ли за арбузами, в разных местах поют по-разному, под видом же всего этого занимался воровством, гораздо ближе и доступнее. Не в воруе, а именно в этом бесприютном человечке находил я самого себя, свою грусть, свою особую ностальгическую романтику:

*Ночь мглой окутала бульвары и парки Москвы,
А из Сокольничков пьяненький тащишься ты,
Денег нет – мыслей нет, машины уносятся вдаль,
И, как всегда с тобой – со мной, пьяненькая печаль.
Вот ты и пьяненький идёшь по бульвару один,
И закурить тебе какой-нибудь даст гражданин
Денег не водится в карманчиках узеньких брюк,
А жить так хочется без всяких забот или мук...*

4

Гитарные турниры на нашей детской площадке, почти стихийные, происходили довольно часто. Со временем и совершенно неожиданно даже для самого себя в лидеры во всём нашем квартале, а быть может, и за его пределами выбился я.

– А судьи кто? – уж непременно задастся вопросом кто-нибудь из вас, тонко и не без иронии улыбнувшись.

– А судьи самые что ни на есть правильные и справедливые, – отвечаю я вам, – те же пацаны, хоть как-то умеющие бацать на гитарах, их друзья и подружки, небезразличные к этому инструменту, те, кто хоть немного, но имел понятие о рокн-ролле, о «буги-вуги», о зарождающемся только твисте.

Как помню, главнейшим в состязательстве было не столько ошеломить кого-то своим вокальным исполнением песни под гитару (экое дело... Горланить каждый умеет), сколько умение владеть этим инструментом; выделять на нём такие коленца с придуманными самим собою аккордами, что хоть ты сдохни, от досады губы поизгрызи, а не повторить ведь. Вот какой из критериев считался наиглавнейшим.

Приходит, значит, некий хмурый хлопец с фанерною гитарою, сплошь обклеенной гэдээровскими переводилками – белокуроыми девками, приторно-сладкими, грудастыми и в купальниках, – считай, что голыми, а с ним группа его поддержки в виде приклатнённых пацанов в рябеньких модных фуражках, с поднятыми стоечками воротниками демисезонных пальтишек, в туристических вибрамах на ногах, что считалось особым шиком, спрашивают:

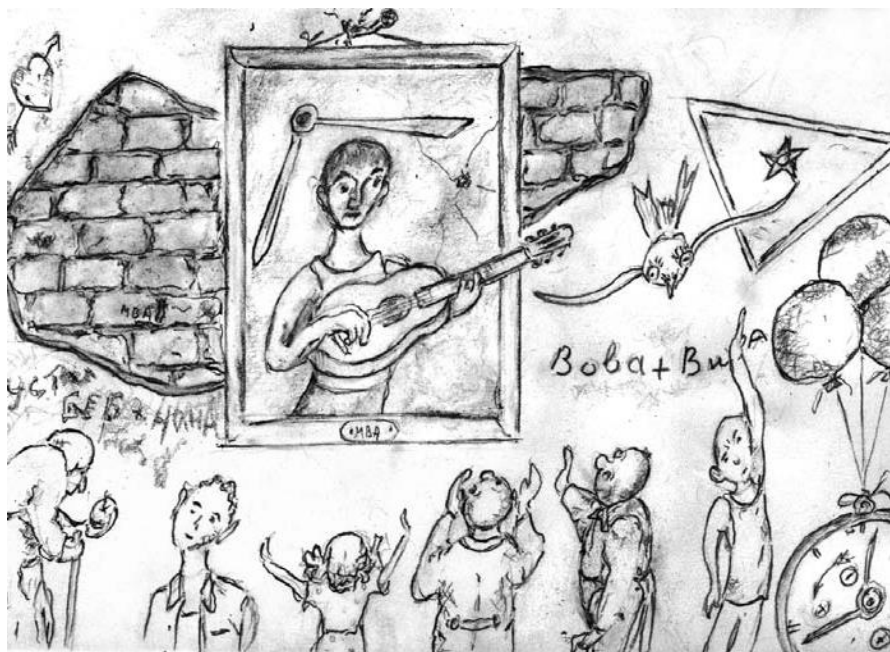
– Не здесь, по случаю, где-то проживает Макой, который на струнах может представить Буги-Вуги и Бэсана Чугу? Передайте, что если ему хочется, если есть такое желание, пусть придёт и докажет своё мастерство на инструменте; с ним хочет померяться Гоша Мировский.

Хмурый хлопец с экзотической и стильной гитарою, к шейке грифа которой вместо ремня привязана бельевая верёвка, скорее всего – этот самый Гоша с района города, где кинотеатр «Мир», презрительно выкраивает рожу, цвыркает сквозь зубы на землю, закуривает папиросу

«Казбек», принимается подстраивать инструмент. Уркагански прищурился, яростно крутит колки, по-показному сердится, словно настраивая себя не на музыку, а на кулачный бой. Без малейших промедлений тут же за мною посылается гонец, а иногда, если дома не оказалось, то и гонцы. Ближайшие окрестные дворы оповещались о битве титанов; пацаны и девчонки, возбуждённые предстоящим зрелищем, жаждущие моей победы, маленькими группами, по двое, по трое стекались во двор Фестивального дома, туда, где детская площадка, где вольница, и где аж ужас, как будет сейчас интересно. Вызов принят... В окружении авторитетных пацанов-интеллигентов, знатоков гитарной музыки, кулачных бойцов, да каких бойцов – каждый в отдельности мог своротить харю любому, – Гуги-Слона, Пикуля-Игоря, Маги, Саньки Этеза и других, с гитарою наперевес, но не той маленькой, самой первой, которую подарил мне когда-то, на свою голову, отец, а наоборот, самой большой

и голосистой, купленной мною наудачу и за три рубля у пьяницы, которую тот, уж наверняка, где-то уворовал, ибо настоящая цена её уж никак не менее десяти, а то и всех двенадцати рублей. Пробитая навывлет по обечайкам настоящею боевою пулею, представлялась для меня предметом особой романтической гордости и боевого духа, инструментом необыкновенного фронтового звучания. Иногда, впрочем, до этих самых Буги-Вуги, так называемого рокн-ролла, сопровождаемых придуманными кем-то русскими стихами, дело не доходило.

Объясню чуть ниже, но сначала об этих самых стихах, в которых повествуется о героизме наших солдат на барже, которую во время шторма оторвало от берега и унесло в открытый океан, где они, несмотря ни на что, не сдались стихии, без продовольствия и воды не пали духом,



а сварив гармошку и даже свои кожаные сапоги, сдюжили, назло супостату, очередной раз доказав всему миру волю советского человека-воина.

*Как на Тихом океане
Тонет шлюпка с чуваками,
Чуваки не унывают,
Под гармошку рок ломают.
Жиганшин – буги, Жиганшин – рок.
Жиганшин съел свой один сапог.*

Жиганшин, как помнится ныне мне, как раз и был один из этих солдат-морячков, но только их командир.

Так вот... После цыганочки, исполненной мною перебором и с особой манерностью, дополненной для верного успеха потрясающей по мелодичности вещью, заимствованной на слух из кинофильма «Серенада Солнечной долины», где я пытаюсь ещё и солировать – выговаривать слова при помощи баса и двух самых тоненьких нижних струнок, в квинту, соперник скисал, краснея и психуя, принимался врать, что запросто может и полонез Огинского, и даже кое-что из Дунаевского, да вот буквально сейчас затерял где-то свой любимый фирменный медиатор – рыскает глазами по земле, хлопает руками по карманам.

– Без него мне одними пальцами и понтов играть нету.

Под предлогом, что дома у него есть ещё один, запасной, перемигиваясь со своими дружками, дружно ретируется, обещаясь:

– Ей-ей... Падлой буду, если через час, а может и того меньше... Вы, главное, не разбегайтесь... Вот увидите...

Девчонки ликовали победу, пацаны ненароком принимались пырхаться на пришлых, провоцируя на драку. Под торжествующие звоны моего «квадрата» – который и есть Буги-Вуги, очередной Гоша Мировский, закинув вульгарную гитару на плечо, от греха подальше линиял, грозясь ещё поквитаться, сбавать фламенко – музыку испанцев, которую лучше его на всём их районе никто не играет, и вообще, кое-кому раскровянить харю. И всё же однажды, в силу случая, мне вживую посчастливилось услышать, что есть гитара и как она звучит в руках настоящего музыканта-гитариста.

5

Однажды случилось то, что случилось. Мою гитару, любимую большую гитару во время драки разбили о чью-то голову. Пацаны солидно успокаивали:

– Не переживай, Вовка, инструмент добудем пуще прежнего, самый что ни на есть заграничный, под блестящим лаком, костями слоновыми отделанный, концертный. Заурка Абрек уже приглядел кое-где, осталось добазариться.

Принесли же пошарпанную и гробовую, с оборванными струнами, свёрнутыми и ржавыми колками, заданным грифом, треснутой декой. Играть на такой всё одно, что на осиновом полене... Как помню, от обиды аж слёзы навернулись. А как ввали... Концертный... Заграничный... Поверил, дурак...

Помню, как раз к этому времени совпало так, к папе пришли гости, его друзья-фронтовики – Кайсын Кулиев и Керим Отаров. Следом, вне зависимости от них, случайно заглянули на вечерок Магомед Мокаев и Ибрагим Бабаев – молодые поэты, которые в то время были неразлучными друзьями. Выпили, конечно же, как положено, закусили знаменитыми мамиными пельменями, ещё раз выпили и ещё раз закусили, пока сердце не взвеселилось. Дружно грянули фронтовые песни. Папа хотел было похвастаться и спеть под гитару, меня даже крикнул:

– Боборика, а ну-ка, где там наши инструменты?...

Да вот... Расстроился, конечно, хоть и виду не подал; затянул старинную балкарскую песню про Султан Хамида, которую все дружно стали подпевать. К тому времени в две гитары и довольно слажено мы с ним играли уже приличное количество вещей, в некоторых из которых

я даже пытался солировать на двух нижних струнках, по-особому вывести басами, что вызывало неприменный восторг у гостей. Как правило, они спрашивали:

– Аллахберди... Гитара – это, конечно, хорошо, но не лучше ли было б, если бы мальчик учился на фортепиано или аккордеоне, на худой конец, на скрипке...

Им и в голову не приходило, что до всей этой музыки я дошёл сам и без всяких там педагогов. Папа отшучивался, подмигивал мне, говорил, что этот инструмент я выбрал себе сам, хотя, по-честному говоря, на пианино можно выучиться играть гораздо быстрее и легче.

– Да что вы говорите? – удивлённо качали головами некоторые, искренне полагая, что гитаре можно обучить и обезьяну, ударяй по струнам, да пой.

С тех пор я стал появляться во дворе всё реже и реже. Линготоновскую гитару, которую мне купили родители в культтоварах аж за двадцать девять рублей, берёг пуше зеницы ока, старался ее не афишировать, играл только дома. Памятуя о убиенной, которую разбили о чью-то дубовую голову, не то что никому не давал на вынос, что раньше практиковалось, а и в руки не разрешал даже брать.

Из заморского плотного мешка, в котором поступал в Союз кубинский сахар, сам собственноручно сшил для своей гитары современный чехол, приладил замшевый ремень, что по замыслу так стильно контрастировало с откровенной волосатой дерюгой, попросил сестру, чтобы она встрочила широкую красную молнию от вышедшей из строя иностранной спортивной сумки, которую, в свою очередь, я выжилил у знакомого мне футболиста на стадионе «Спартак». Чёрные прямоугольные ярлыки с латинским шрифтом, пропечатанные на мешковине, придавали чехлу особый шарм, особый дух заграничности. Самопальный чехол прямо-таки орал: посмотрите на меня! Я самый настоящий, импортный, эксклюзивный, такой же, как и у Элвиса Пресли. Не прошло и малого времени, как с моей подачи, с моей лёгкой руки подобные чехлы появились и у других пацанов нашего города, и даже в сто раз лучше моего. По всей вероятности, ко всему этому приложили уже руки настоящие профессиональные портные.

Идёт, значит, по городу этакий хлопец: чёлка ёжиком, башмаки на микропоре, штанишки коротенькие и в дудочку, над ними ядовито-красные нейлоновые носочки напоказ, в клетчатой рубашке-ковбойке, со шнуровкой на груди, а за спиной... А за спиной в фирменном заграничном чехле сплошь в иностранных буквах, ярких прямоугольных нашивках и с молниями, нет, нет, не музима, не хофнер и уж конечно, не акустический фэндер, а обыкновенная советская семиструнка за семь рублей

двадцать две копейки, какой-нибудь Бобруйской или Борисо-Глебовской артели струнных музыкальных инструментов под секретным артикулом 007/94 индекс А.Т.Р.У.П.Д – 18 и почему-то – г. Бирюково. И несёт он её вот так вовсе не потому, что музыкант или кабацкий лабух, нет, нет и нет... Надоело быть таким, как все – унифицированным и обезличенным. Я личность!.. Я не похож на вас... Хлопцу, возможно, ещё и невдомёк, что далеко не это делает человека личностью, и что, как ни странно, подобное «обезьянничество», подобное бездумное подражательство более всего и обезличивает человека. Но что поделаешь, коли не дано чем другим выделиться... И хоть я и был зачинателем, быть как все не захотел; свой эксклюзивный чехол из кубинского сахарного мешка загнал за трояк Саньке-Бесу. Тот, в свою очередь, будучи человеком более предприимчивым, более коммерческим, быстро сварганил «легенду», перепродал его Додиду-Шену, как предмет сугубо исторический, связанный с трагической личностью некоего барда по имени Маклай, дружба поэта Анатолия Жигулина – автора знаменитой песни «Ванинский порт», которого насмерть замучили в застенках КГБ. Это же надо вот так наврать... Додик, несмотря на солидную репутацию фарцовщика, клюнул, чехолкупил, через некоторое время позвонил мне, заговорщески и с нескрываемой радостью сообщил:

– Старик! Специально для тебя клевою вещь надыбал. Совершенно замечательная вещица, легендарная – хочу сказать, вещица подлинная – чтоб мне сдохнуть; самого Миклухи Маклая, лучшего друга Высоцкого. Лет через десять ей и цены не составить. Приколись... Разве тебе не хочется носить свою лингготоновскую гитару в таком уникальном и эксклюзивном чехле, выполненном в стиле аля-примитивизм французскими дизайнерами, который им заказала Влади. Только ради тебя... Ты ведь меня знаешь... Полтинник, – сам понимаешь, это вовсе и не цена за такую вещь. Но для тебя... И на убытки готов пойти...

– А кто такой этот Миклуха Маклай? – не без сарказма спрашиваю я.

– Да ты чего, – изумлённо трещит телефонная трубка, – я же только что тебе сказал, что лучший кент Володьки Высоцкого, такой человек... С самим Булатом Окуджавой на одних нарах... Про него ещё по «Голосу Америки» разное говорили, это у него кликуха такая, а на самом деле... Вот, ещё вчера помнил, как его... Да какая тебе разница?.. «Голос Америки» не будет абы о ком говорить.

Вот так всё вернулось на круги своя. Собственноручно сварганенный чехол для гитары, проданный за трояк, пытаются всучить мне же, но уже за пятьдесят рублей – цене совершенно смехотворно малой для такой вещи. Да... Жизнь всё же штука весёлая. Много, много позже, когда я уже работал главным хранителем музея, мне таким же образом один субъект

пытался всучить немецкого серебра подстаканник, с которого якобы пил чай сам Владимир Ильич Ленин, а также портсигар, – подлинный портсигар Феликса Эдмундовича Дзержинского, нечаянно оброненный им самолично, когда он выходил из своего студебеккера на Петровке у дома номер тридцать восемь, который и поднял его дед, когда он был матросом-балтийцем в Петрограде.

– Вот видишь, – солидно доказывал мужичок с воровато бегающими глазками, – и не сомневайся... Тута даже эмалька на уголку отбилась, – тыкает пальцем на вмятинку, – это от удара о бульжничек. Дед хотел было возвертать потсигарчик-то, да только... Кто же его на Петровку-то впустит? Так и остался на добрую память. А изнутри, сейчас покажу, – открывает портсигар, – и буковки инициал в аккурат вырезаны. Видишь, – указывает пальцем на три свежие и криво процарапанные буквы, – табакерочка-то, как есть, самого Феликса Эдмундовича Дзержинского, и сомнений быть никаких не может.

– А подстаканник, – спрашиваю у него я, – подстаканник-то вождя как оказался у твоего деда?

– Так подарил... Добрейшей души был человек. Когда чай пили в Смольном, дед тогда стоял в охране, Ленин за доблесть и вручил на память. А мне, когда уж почуял, что скоро помирать, так и сказал: «Бери, Федя, от сердца дарю знатные и именные вещицы. Как надумаешь расстаться, всякое случается в жизни, продай в какой музей, пусть даже и подешевле». Вот я и решил. Пусть лучше люди глядеть...

– Нда... – заметил я ему, – никогда не думал, что Петровка 38 находится в Петрограде...

6

В моде твист. Прохладный ночной ветерок с гор, насыщенный запахом сирени и цветущей алычи, доносит голос оркестра. Он то усиливается, то затихает. Иногда, подобно волне прибоя, так отчётливо и звонко врывается в открытое окно сольным звучанием трубы, возвещающей о высоком и радостном, что кажется, будто это не где-то там далеко, а совсем рядышком, прямо во дворе. На городской танцевальной площадке в парке, расположенной чуть выше госдрамтеатра имени Горького, чуть правее от главной аллеи с её замечательными фонтанами и цветущими клумбами молодёжь, все, как один, наяривает твист.

– Что такое твист? – спросите вы.

Вот спросите у меня, что такое этот самый твист? А я и отвечу. Твист – это когда поёт Муслим Магомаев... Поёт про самый лучший город земли – Москву, это ритмическое и последовательное звучание под

«восьмёрку» четырёх гитарных аккордов в мажоре – до мажор – ля минор, – фа мажор и соль мажор по кругу и до одурения, и пока не лопнет одна из трёх нижних струн, как правило, первая, а третья не оглохнет из-за разлохматившейся медной канители. Твист – это здорово!

На проспекте Ленина, возле «Востока» появился странный хлопец. В модной тогда стёганой поролоновой куртке, которые, кажется, носила уже половина города, с семистрункой наперевес, он только в том и упражнялся, что под эти самые четыре аккорда возвышенно кричал, а скорее – орал под Магомаева, полагая, что звучит ничуть не хуже, чем «подлинник». Наяривая по струнам и зимою, и летом, пел одну и ту же песню про эту самую Москву, которая ему никак не надоедала, да и, наверное, не могла надоесть, так как другого ничего и не умел. Непостижимо, каким образом, но она, эта единственная его песня, как-то зафиксировалась в его башке, по первому требованию выливалась вольно и лихо, хотя, как я потом сам убедился, у парня со слухом, пусть и не слон, но уж точно топтыгин...

– Вот ведь, – думаю я, – какой перекося допустила мать-природа: голос есть, музыкального слуха – нет, издали звучит, как настоящий артист, при этом, что самое потрясающее, именно в этой песне попадает в ноты. Попроси что другое... Господи! Да как же это он поёт и играет, когда все семь нот в голове в одну кучу, а понятие о тональностях так и вообще – условное.

Не показательно ли?.. И ведь таких примеров предостаточно... Слышащий – да слышит, видящий – да видит... Смотришь порою на человека и диву даёшься: экий блеск, экая содержательность, а что за манеры... Умён, чёрт побери, далеко не простак; вот ведь, как гладко может речь вести... Ну просто душенька, ей-богу, душенька! А копни поглубже... И мелко, и серенько, и убого... С десяток умных и заученных фраз – на всякий случай и по разному поводу, философические туманы от Аристотеля, Канта, Ницше, Гегеля, теологические от Блавацкой и Рериха, уфологические от господина Мулдашева Эрнеста, нумерология от... Вздохи и закаты глаз по поводу глубинных психологизмов Достоевского и Льва Толстого, непременно, а как же без этого: Достоевский, хоть и великий писатель, но картёжник; Лев же Николаевич, хоть и моралист, но бабник. К тому же... В области религии умудрился заблудиться в трёх соснах... И это о Толстом – авторе «Исповеди». А то, что эти три так называемые сосенки есть Единосущная Троица – Единый Господь Бог в трёх ипостасях, постижимый верою, непостижимый разумом, и не так значимо, а особенно для человека свободомыслящего, без всяких там религиозных предрассудков, в коих есть очевидный опиум.

– Вовка, – укоризненно качал головой наимудрейший из племени домовых Иоаким Премудрый, внимательно наблюдая, как при помощи кованых дедушкиных щипцов и аршинной отвёртки я раскурочиваю переставший ходить будильник, – хоть и ты проник со своими железами в самое нутро часового механизма, всё одно, судишь о времени поверхностно. Никогда ни о ком и ни о чём не суди с предвзятостью; слепо то суждение. Посмотри, как тихая гладь заводи луговой чарует блеском, синью небес и белокрылыми облаками, перламутровой рябью при дуновении ветра, мерцанием звёзд в ночи, всё в ней кажется прекрасным и свершенным. Глубины нету... Бывает и так, что в сложном – простое, а в простом – сложное, как посмотреть; под заскорузлыми одеждами – чистая душа, за блеском золота – ужас и мрак преисподней. Мотай на ус, Вовка, пока ещё махонький. Потом-то, когда борода порослью вспрынет, ус прорежется, уж точно поздно будет.

Но полно о назидательном. Борода и усы не только выросли, а уж и поседели. Да и с мозгами... Только дурак не признается никогда внутри самого себя, что с головою, от возраста ли, а может, и от нервов явно что-то не так, уж больно она становится задумчивой. Но... Не от задумчивости ли нашей истоки забывчивости и рассеянности? А потому слушайте один рассказик, и уж, конечно же, о себе, любимом, проявленном и здесь, и там, и даже кое-где в другом месте, о котором и сам не догадываюсь.

7

Дело было весною. Переполненный музыкальными звуками, возвращаюсь с очередной репетиции домой; за плечом гитара, внутри черепушки всевозможные вариации разучиваемых «битловых» штучек, грохот барабанов, степенный и густой гул басовки, торопливые и захлёбывающиеся визги соло-гитары, булькающие разливы ионики¹. Если бы в эти восторженные минуты кто обратил на меня внимание со стороны, как я то замедляю свой шаг, то убыстряю до бега, клюю в разные стороны головою, а иногда, какой ужас, даже слегка лягаюсь и подпрыгиваю, то уж наверняка подумал:

– Эге-ге... Опасись... У парня явно не всё с психикой. Гляди, ещё и наскочит... Ведь и покусать может...

Уж было почти до подъезда родного дома доскакал таким аллюром, как глядь, со стороны котельной прямо навстречу мужичок спешит. Годов сорока-сорока пяти, неухоженный, невеличка росточком, с испитым,

¹Ионика – один из первых советских клавишных синтезаторов.

поросшем щетиной лицом, в чёрном засаленном пиджачке и таких же неглаженных, в гармошку, брючках, в нечистой белой рубашке, да и ещё в пёстром галстуке, болтающемся на худенькой шейке наподобие засаленной тряпицы. На босых ногах нелепые остроносые женские галоши чёрной резины, продранные на носках, совершенно нелепейшие, даже при столь замызганном чёрном костюме и этой рубашке, и галстуке, которые, уж наверняка, были когда-то и нарядными, и праздничными, а может быть, и вообще свадебными. Сделав извиняющиеся глаза и то заискивающее выражение физиономии, которые так часто наблюдаются у людей сильно запивающих, чувствующих в связи с этим за собою постоянную вину, стал спутано объяснять, что отлучиться от котельной никак не может, потому как обещал Ахмату Залукарниевичу стеречь вентиля и нарезанные трубы, которые запросто могут спереть, а позавчера так и совсем чуть не спёрли, да спасибо Митричу... А ключика запереть дверь... Вернее, ключик-то есть – лезет дрожащей рукою в боковой карман пиджака, роется, достаёт грязный носовой платок, а потом и ключ, какой бывает у навесных амбарных замков.

– Ключик-то вот он, – протягивает мне, как доказательство, чтобы я удостоверился, – да вот... Замок, будь он неладен, куда-то позадевался. Это точно Митрич... Он сегодня утром за бронзовыми муфтами забегал, ненароком в сумку и закинул. А может, и специально, чтобы я никуда не отлучился. Будь другом, сделай доброе одолжение, – молитвенно складывает руки на груди, – что тебе стоит... Сбегай через дорогу, купи две бутылки тридцать третьего... Если нету, то можно и пятнадцатого портвейна. На остальное, – протягивает мятый трояк, – сигареты «Приму» возьми и баночку килечки в томатном соусе за тридцать две копейки. Там ещё десять копеек сдачи останется... Хлебушка-то – пол-булочки, я уж сам, – кивает на угол, за которым наш хлебный магазинчик. – Не откажи в просьбе, – косится на мою гитару. – А если с инструментом не очень ловко, то не переживай, деликатнейшим образом постерегу... Инструмент, дело понятное... Особо обхождения требует, и сомнений не имей, – вкладывает свой трояк мне в ладонь.

Суетясь, гримасничая и подмигивая, улыбается дрожащими губами, по-показному бережно прижимает гитару к груди, по грязным и шершавым ступеням осторожно начинает спускаться в свою котельную, что под косою железной крышею в самом торце дома.

– И не сомневайся даже, – слышу его глухой голос, – я у себя внизу подожду, а то, сам понимаешь, в таком виде, да и ещё с инструментом... Любой милиционер поинтересуется... Да и хулиганьё всякое...

Во времена моего школьного отрочества отказать в просьбе старшим, пусть даже и последнему алкоголику, было делом совершенно

недопустимым. Не знаю, может где в других местах было иначе, но в Нальчике, а тем более, в каком селе республики, уж точно подобная просьба всегда имела удовлетворение. И хоть мне не очень-то желалось среди бела дня топтать по улице с двумя бутылками портвейна, а и ещё с банкою кильки, сигареты, бог с ними, можно хоть спрятать в карман, делать ничего не оставалось, как подчиниться. Оставив гитару, и, надо признаться, не без душевных смятений, скорым шагом, почти бегом, спешу в сторону центрального гастронома, что наискосок, через дорогу от нашего дома.

– А кому это ты покупаешь вино, да и ещё сигареты? – впивается взглядом немолодая кассирша в белом кружевном чепчике и с густо накрашенными губами, с подозрением рассматривая потрёпанный трояк.

– Сосед дядя Лёва попросил сбегать, – принимаюсь врать я, при этом тут же краснея, – он инвалид... Ходить совсем не может.

– Какой это такой дядя Лёва, – не отстаёт въедливая тётка, – а может, дядя Вася или дядя Гриша, где он там твой сосед? Напридумывал небось... Хулиганы, небось, послали... А чего это ты так покраснел сразу же? – берёт наконец-то зелёную, щёлкает костяшками счёт, выбивает чек.

– Господи!.. Вот это надо ей, – психую я, – лишь бы выпендриться...

Купив порученное, бегом возвращаюсь назад, по крутым ступеням спускаюсь в подвальный полумрак, оступаюсь, едва не роняю одну из бутылок, но вовремя перехватываю другой рукою, банка кильки, вырвавшись на волю, с глухим стуком прыгает вниз по ступенькам, в самом конце своего пути дзынькает об нечто стеклянное и замолкает. Из подземелья несёт сыростью, ржавым железом и машинным маслом, а ещё особым духом кокса, въедливым запахом дешёвого табака и перегорелого вина. Не знаю и почему, но мною замечено: во всяких мастерских, где работают с железом, трудятся мужики в вечно грязных и засаленных одеждах, как правило, пьющие, курящие и сквернословящие, где всегда и во всём жуткий беспорядок, всё захлавлено, а на полу, под ногами, окурки и всякая дрянь, – всегда воняет именно вот так, а никак не иначе. Стёкол в таких помещениях или совсем нету, потому как это подвал, а если как-то и присутствуют, то до невозможности грязные. Тоскливое уныние, чугунный мрак, беспросветное свинцовое рабство – вот как бы в общих чертах охарактеризовал я подобные обиталища для человека.

Спустившись, услышал, как из-под двери не очень громко, но внятно доносится музыка. В классическом исполнении гитариста, скорее всего, Иванова-Крамского, удивительно красиво звучал «Полонез Огинского».

– Нда-а, – подумалось мне, – не хило живут, у них здесь ещё и радио-приёмник имеется; может, ещё и «Спидола»?..

На ощупь отыскиваю убежавшую банку с килькой, ногою задеваю за лист оконного стекла, поставленного кем-то вдоль стены, которое благополучно и разбивается вдребезги о бетонный пол. Музыка прерывается, слышатся шаркающие шаги, покашливание, глухой голос:

– Да чтоб тебя, железяка кособокая... Сейчас.

Наконец-то провисшая железная дверь, скача и гулко рыкая углом по бетону, отворяется. В тусклом проёме показывается дядечка, уже без пиджака, в замызганной белой рубаше с закатанными рукавами и почему-то босой. Замечательный его галстук с сильно расслабленным узлом был закинут через правое плечо прямо на спину, в слегка вытянутой руке он держал мою гитару, да так бережно и ласково, словно это не обыкновенный серийный инструмент, а изделие Гварнери или Страдивариуса. Посередине небольшой проходной комнатки с высоченным грязным потолком, тускло освещённой единственной лампочкой, располагался вызывающе грязный и неотёсанный табурет, весь измаранный известью, со следами синей краски, одновременно красной половой и жёлтой охры.

– Ну, надо же, – промелькнуло в голове, – не табурет, а настоящий петух гамбургский.

На бетонном полу с кое-где оставшимися следами кафельной плитки в полной неразберихе валялись непонятного для меня предназначения бронзовые и чугунные штуковины, из стоящего в углу ящика сквозь редкие доски выбивались густые пряди пакли, вдоль стены уложены разного диаметра стальные трубы, на громадных гвоздях по стенам, в связках, висели муфты, шайбы и всякая всячина. И чего только тут не было. У другой стены, но не вдоль, а почему-то боком громоздился допотопный диван с высоченною спинкою и двумя откидными валиками по бокам. Из-за разъехавшихся в разные стороны пружин в его внутренностях дерматиновое потёртое седалище представлялось разухабистой булыжной мостовой, вместо отсутствующей с левой стороны деревянной ноги торчали поставленные друг на друга два грязных кирпича, к правой же ноге, коротенькой и пузатенькой, непонятно и зачем привязан огрызок толстой волосяной верёвки. Грубо сколоченный стол с фанерной крышкой, также весь избеленный и со следами краски, более похожий на стремянку для штукатуров и маляров, стоял вдоль дивана, имел удивительно унылый и неаппетитный вид, хотя чувствовалось, что его пытались даже отскоблить и отмыть, так как с одного угла он выглядел весьма и весьма прилично.

– Вот молодец... Вот спасибо тебе, – суется дядечка, дрожащими руками принимая от меня вино.

Одну бутылку почему-то тут же запикивает в ящик с паклей, другую выставляет на стол.

– Веришь ли, совсем пропадаю со вчерашнего... Да где он запропасился? – бегают глазами, выкраивает по-разному физиономию, что-то выискивая, – стакан куда-то... Вчера ещё, помню, был...

Наконец-то находит гранёный стакан, который оказался задвинутым под диван, прыгающей рукою ставит рядом с бутылкой.

– Да ты присаживайся, – указывает мне на диван, – и смех, и грех, чуть ведь совсем не помер... Трояк через прохуdivшийся карман провалился за подкладку, а я-то, с дурной головы... Ведь помню, что оставался, будь он трижды неладен, этот трёшник, помню даже, как аккуратненько сложил вдвое и положил во внутренний карман пиджака... Ну, не Ахмат же Залукарниевич... Какие только глупые мысли не ползут в башку, когда душа синим пламенем горит и пропадает, когда пред глазами всякая дрянь рябится; уж худо было подумал на благородного и правильного человека... А он – трояк этот, дрянь этакая... Бумаженция плюгавенькая, а вот ведь... И никак не возможно... Кто же за просто так здоровье-то поправит? Да ни в жисть... Подыхай, как собака...

Дрожа всем телом, прыгающей рукою наливает из бутылки гранёный стакан до самого верхнего ободочка, шумно выдохнув, дёргаясь головой, медленно цедит сквозь зубы, пока не выпивает до самого конца, до последней капельки. На какое-то время словно совсем остолбеневаает; не меня выражения этой самой остолбенелости своего лица, медленно ставит стакан на стол, нащупав корку хлеба, как в замедленном сне подносит её к носу, порывисто вбирает ноздрями воздух, опять замирает, вытянув губы гузкой, длинно выдыхает. На бледном его лице проявляются красные пятна, на глазах слёзы.

– Фу ты, – болезненно морщится, отрешённо взмахивая руками, – еле прокралась проклятушая. Зараза... А ведь совсем было уж погиб, спасибо, сынок, что не дал помереть, уважил.

Чувствуется, что вино уже подействовало, по лицу пробежали еле уловимые взгляду светлые тени жизни; в серых глазах, до этого тревожных и беспокойных, проявилась какая-то особая печальная осмыслённость, что случается у людей некогда благородных и одухотворённых, да вот скатившихся по слабости характеров своих, по доброте своей душевной, злом никак не защищённой от пагубного пристрастия к спиртному, на самое доньшко жизни. Как ни странно, вопреки всему разумному, именно подобного склада люди притягивали меня и интересовали более всего, именно в них, имевших некогда многое, но потерявших всё, в том числе

и защитное лукавство праведных, я находил волнующие для себя ответы на один-единственный, но бесконечный вопрос: что ты есть на самом деле, человек, и есть ли в чём тебе мера? Здравый опыт правильных и преуспевающих, нигде не запачканных, ни в чём не уличённых, таких херувимчиков, не только никак не являлся благостным примером, но, кажется, наоборот, вызывал чувства досады, такого недоумения, схожего – чужая душа – потёмки или: это же надо вот так исхитриться и нигде не испачкаться, ниво что не вляпаться, никак не опростоволоситься... Ложь... Именно от таких непорочных, как это не выглядит алогичным, можно неожиданно получить то, чего никогда и не ожидаешь. (Ох уж этот жизненный опыт... И куда от тебя только деться...) Иногда именно в оных, под спудами чрезмерной совестливости и порядочности напояк таится нечто глубинное и порочное, гораздо более язвенное, чем и в пропащем горемыке-пьянице. Чужая душа потёмки.

– Фу ты, – с облегчением выдыхает мужичок, вытирая тыльной стороной ладони выступивший на лбу пот, – кажись, отпустило маленько.

Закуривает сигарету, озабоченно смотрит на банку с килькой.

– Хотите, я вам её открою, – предлагаю ему, – без закуски-то, наверное, плохо...

Не дослушав, кривится физиономией, отрицательно машет рукой, сумбурно начинает объяснять, что вследствие вчерашнего отравления какой-то гадостью – самопальной наливкой или сливянкой, которую пили у Ивана Даниловича Байсюлюка по случаю...

– А по какому же поводу мы с ним?.. Ещё был и Митрич; а сливянку-то эту недображенную пили, – смотрит на меня, отчаянно мнёт ладонью свой лоб. Так и не вспомнив, досадливо смотрит на стакан, потом на бутылку с портвейном, продолжает. – Через эту бодягу потерял всякий аппетит, аж душу воротит, а потому и пытаться даже не хочу, всё одно не пойдёт, а если и пойдёт, то не меньше, как через часик, а то и два, когда этот аппетит вернётся на место.

Не без сожаления меряет взглядом поганый портвейн, наливает в стакан самую малость, грамм пятьдесят, кивая в сторону стоящей у стенки гитары, спрашивает:

– Просто увлечение имеешь или... Или по-серьёзному? Я ведь почему интересуюсь, – внимательно рассматривает пальцы левой руки, словно находит в них нечто любопытное, доселе ему неизвестное, – ныне, как погляжу, многие из юношества, таких, как вон ты, стали увлекаться этим инструментом, находя его для себя привлекательным и даже модным. Оно, конечно же, с одной стороны и похвально, что молодёжь вот так к музыке тянется, приобщается, значит, да к тому же ещё и стихи; поэзия, значит...

– Ну, – думаю я, – пора сваливать, с вина явно захорошело, сейчас придется воспитывать относительно коммунистической морали и что гитара, если ты не блатной и не стилиага, не без сарказма заметит, было уже такое, что без атласного банта на шейке грифа смотрится совсем плохо и даже скверно – ни одна девка и близко не подойдет. Мало того, попросит ещё и что-нибудь побренчать, сам начнёт подпевать пьяным и дурным голосом.

Видно заметив в моей молчаливой вежливой улыбке тень ухмылки по поводу его интереса, как я отношусь к гитаре – серьёзно или так себе, то есть не серьёзно, не без артистического сарказма в голосе мужичок неожиданно парирует, да как:

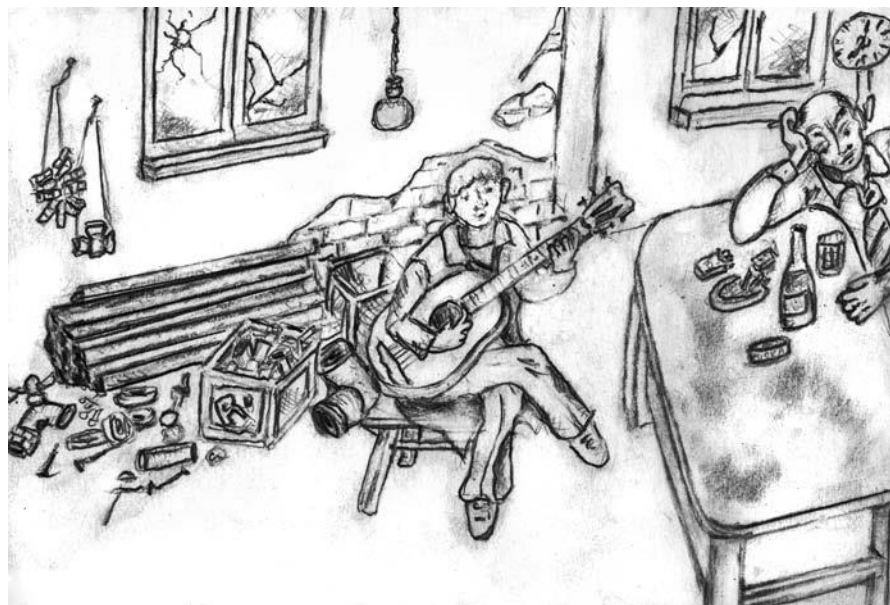
– Не почудилось ли мне, молодой человек, – вытягивает губы в ниточку, – что постная мина на вашем задумчивом и одухотворённом челе есть для меня знак: отстань и не лезь, мужик, со своими глупостями, ибо по данному вопросу относительно гитарной музыки ты есть невежда, дилетант и профан. Разве я не правильно отгадал? – смотрит внимательно на меня. – И второе... Стишками Николая Рубцова, Льва Ошанина да

Сильвии Капутикян и подобных им интересуюсь мало. Другое дело Сологуб, Андрей Белый, Блок, Гумилёв и даже Зинаида Гиппиус-Мережковская – не так ли вы хотели сказать мне? А я по этому поводу тоже имею право спросить вас: кто, скажите вы мне, в сравнении со всеми ими ваш Высоцкий, песни которого под три аккорда горланит вся страна?

Совершенно не ожидая такого от асоциального, как мне показалось, гражданина, что и пятнадцати минут не прошло, как дабы не помереть, дрожа всеми членами, давился дешёвым портвейном, выказывая собой все признаки законченного слабоумного алкоголика, совершенно растерялся, покраснел до корней волос, стал отвираться, что меня не так поняли, и что против Льва Ошанина как поэта ничего плохого не имею,

а Марину Цветаеву, хоть и люблю, но, по-честному, не очень. Зато Анну Ахматову – очень, и Маяковского вместе с Есениным... А под Высоцкого никогда не горланил, и впредь не собираюсь. И меня попёрло... Словно это уже и не я, а кто другой во мне – противенький и гаденький, высокомерно подличая, принялся изливаться враз и всем, чем можно излиться, доказывая – смотрите какой я умный, начитанный и одухотворённый. Что.. Съели... И вот ведь, что самое непостижимое – не раз ловлю себя на этом: откуда это у меня? И кто мне дал право судить о человеке столь поверхностно? Да – пьянький, скверно одет, униженный внешним обликом своим... А ты заглянул ему в его душу?

Но так неожиданно вспыхнувшее его достоинство, достоинство человека развитого, интеллектуального, но никак уж не слабоумного, как воспламенилось, так тут же и погасло. Закурив новую сигарету, вытерев



краем своего замызганного галстука лоб, он снова предстаёт в своём прежнем виде – человека пропавшего, испитого, душевно беспокойного. Жалко улыбнувшись, косясь на гитару, с какой-то робкой участливостью просит меня, чтобы я изобразил нечто душевное, дрожащей рукой тянется к стакану.

– Да... – опять задумываюсь я, – в конце-то концов, не то главное, кем ты был, а кем ты есть сейчас.

Хотя, если разобраться по-серьёзному, то по смыслу звучит весьма пошло. Не по зримым ли плодам судят о человеке, которые он оставил на пути жизни своей... За подурневшим и обликом и рассудком старцем след блистающего умом юноши, благодатные дела зрелости, а самое главное – память. А то, что в конце концов он спился и околел под забором. А ещё того хуже, – в психической, – кому какое дело до этого. Плодовые деревья, взращённые великими трудами и любовью, цветущий сад его продолжает радовать глаз, приносить плоды. Память...

Беру в руки гитару, присаживаюсь на самый краешек ухабистого дивана, большим пальцем медленно провожу по всем струнам.

– Странно, – не без иронии мелькнуло в голове, – как это она сама умудрилась настроиться. В набитом автобусе не раз колками теранулся, да и на репетиции струн не жалел, новенький иностранный медиатор аж поломался.

Краем глаза замечаю, как мужичок, скосив голову, не без любопытства наблюдает за мною, словно и забыв про стакан с вином, которое собрался уж было выпить, и даже поднёс к губам, да в последний момент передумал, отставил в сторону. По опыту своему зная, что подобные этому мужику граждане более всего тяготеют к уличному шансону и тюремной лирике, впечатляются всем этим особенно, стараюсь угодить, сделать дядечке приятное:

– Это же надо, вот так преобразиться, – мельком отмечаю для себя, – и про шумряк свой даже забыл, и руки уже вроде не трясутся, как до этого.

Лихо и с так называемыми инструментальными прибабасами, когда струны в своём звучании как бы плывут, а ритм по-особому разухабист, изображаю «Мурку», не отрываясь, перехожу на караванщика Али, которого погубил план, то бишь – анаша, и сто тридцать три его жены, с нетерпением ожидающие его в своём гареме под присмотром строгих и беспричастных к женской красоте евнухов. С вниманием выслушав, кривится губами, отрешённо махнув рукой с каким-то, как показалось мне, отчаяньем допивает свой стакан, страшно корчится, трясёт башкою. Чувствуется, что процесс заливания хмельного пойла вовнутрь ему жутко противен, почти болезненен, и что его вот-вот стошнит. Последними усилиями наконец-то преодолевает рвотные позывы, глубоко вздыхает:

– Фу ты, зараза, – опять говорит сам себе, – кажись, отпустило; экая гадость... И знаю ведь, а никак невозможно; экая сволочь, – в сердцах стучает себя кулаком по колену.

И действительно, чувствуется, что его отпустило и что ещё чуть-чуть, и отпустит вовсе. Лицо его просветляется, движения рук становятся почти плавными, глаза наполняются жизнью. И если бы не этот неопрятный вид, эта недобритость, не эти босые и нечистые ноги с запущенными ногтями, достаточно было бы выражения одного лица, чтобы по нему представить, и наверняка, что перед вами интеллигентный и наверняка содержательный человек с тонкими духовными зачатками доброты, но почему-то испугавшийся жизни и самого себя в этой жизни, всех этих мерзостей бытийности своей, которые, бог знает и откуда, призвал на свою голову.

– Нда-а, – серьёзно смотрит на меня, – а может, что другое?.. Скажем, из военного?.. Тёмную ночь, скажем?.. Зачем же ты мне, – брезгливо кривится он, – исполняешь то, что самому меньше всего нравится? Хочется вот так понравиться? Передо мною, что ли?..

Подобно дирижёру, взмахивает себе рукой, тихим, но проникновенным голосом, удивительно музыкальным, начинает петь:

*Тёмная ночь, только пули свистят по стени,
Только ветер гудит в проводах...*

Песню эту, как мне кажется, я очень даже хорошо умею исполнять на гитаре и даже сольно, быстро подхватываю, перехожу на перебор, аккомпанирую так, как некогда учил папа, но гораздо лучше.

– Вот в этом месте, – замечает мне странный мужичок, – играется несколько не так, и аккордик для выразительности берётся совершенно другой, а не открытый и чистый, как у тебя.

Тоненько тянет нотку, которая как бы интуитивно давно в этом месте для меня и напрашивалась, да только где этот аккордик сыскать-то, когда привык вот так, а никак по-иному...

– И в «Землянке», – не унимается он, – в припеве так поисковеркал, что уже и не «Землянка», а натуральная «Мурка».

Подобные сравнения мне кажутся обидными, тем более – было бы от кого... Я, хоть внешне не подаю виду, но всё же начинаю психовать. После же замечания, произнесённого ну прямо-таки менторским тоном:

– Молодой человек! Что за пренебрежительные упрощённости... А ещё говорите, что играете в лучшей рок-группе. Запомните и зарубите себе на носу, гитара это тот инструмент, на котором можно выразить не просто какое музыкальное произведение, то есть тему, но и мельчайшие психологические нюансы этого произведения. А вы... И дело здесь вовсе не в музыкальной образованности, хотя, конечно же, музыкант должен владеть нотной грамотой, дело в несколько ином...

Не выдержав и не дав ему вот так доумничать, самым наивежливейшим образом предлагаю свою гитару, дабы он не на словах, где всё так умно и возвышенно, а на деле, то есть на струнах показал, как это делается. Тонко и ядовито улыбаясь, говорю:

– Гдеужнам... Я всего лишь дворовый и доморощенный лабух-слухач, хотя и первый на нашей деревне, вы же, судя по вашим репликам, не иначе, как профи.

– Да, что ты, что ты, – смущённо отстраняется он, переходя на «ты», всем видом выказывая, что если он и имеет какое отношение к гитаре, то самое посредственное, – совсем ведь не в форме. Да и инструмент...

Пожимает плечами и болезненно морщится.

– А чем мой инструмент вам не нравится? – с прямою римлянина рублю я, уверенный, что он бессовестным образом блефует, на самом же деле просто позёр и говорун.

Захорошело от шумрдяка, вот и захотелось выказать из себя маэстро. Но неожиданно он берёт всё же в руки гитару, смущённо улыбается, слегка подкручивает сначала четвёртый колочек, а следом шестой – ну разве что самое простенькое.

– Только сейчас, – шарит глазами по полу, – да куда это они подевались? С босыми-то ногами совсем нехорошо, совсем негоже...

Наконец-то находит сначала один галош, а потом и другой. Они, как и стакан, оказались глубоко запиханными под диван. Втиснув в них свои ноги, начинает шевелить пальцами, хмурится:

– Совсем никчемнейшая обувь... А вот... Вынужден... Залукарнеич обещал сегодня добротные кожаные штиблеты принести, совсем новые, они ему сейчас без надобности, потому, как малы, а мне – в самую пору. Мои-то... Негодяйским образом на речке попяттили. На высоком каблуке, концертные, лаковые. Мне их ещё тогда по индивидуальному заказу Степан Сергеевич Бобыленко... Такой мастер!.. Выделал из самой лучшей кожи... Да вот... Не уследил...

Плеснув из бутылки вовнутрь самую малость, одним духом выпивает, прижав гитару к груди, садится на свой замечательный табурет – весь разноцветный и кособокий, на несколько секунд замирает.

– Ну, разве что эту, самую простенькую, – опять смущённо оправдывается он и даже шмыгает носом, – разве что из элементарного; ведь всё, как есть, перезабывал. Семиструнка, признаюсь, совсем не мой инструмент, хотя... Есть одна вещица из репертуара Александра Яковлевича Соколовского; был когда-то такой гитарист, цыганский хор возглавлял.

Опять ловко и на слух подстраивает струны, тут же молниеносно берёт на грифе умопомрачительной сложности аккорд, растянувшийся, кажется, на все пять ладов, дробно перебегает по всем струнам пальцами, начинает играть нечто скорое, для меня совершенно непостижимое по сложности, по гармоническому звучанию, да так, что по всему телу мурашки побежали. Я даже и предположить не мог, что на моей гитаре когда-нибудь кто-то будет вот так виртуозно играть, и что она вообще может так звучать. Господи! Какой же я осёл... Ведь та классическая музыка, которая, как мне показалось, звучала из радиоприёмника, и, что это играл сам Иванов-Крамской, на самом деле производилась за дверью невзрачной котельной, а играл эту музыку вот этот потерянный мужичок – горький пьяница в женских резиновых галошах, в совершенно замызганном костюме, на первый взгляд уж потерявший, кажется, достойные черты человека, сделавшийся бесконечно несчастным. Так вот почему мой инструмент оказался так тонко настроенным. И это... И это с такого-то бодуна...

А тем временем, прикрыв веки, он играл и играл, переходя от одной мелодии к другой, всячески варьируя, меняя тональности и ритмы, где очередная вещь представлялась ещё более сложной и красивой, ещё замечательнее. Но, когда перестроив гитару на классический шестиструнный лад, для чего верхнюю басовую струну пришлось снять, он сыграл мне «Осенний вальс» Иванова-Крамского, а потом ещё и его испанские вариации фламенко, его импровизации на тему русских народных песен, я настолько был потрясён, а одновременно подавлен, что тут же признался себе:

– Все мои потуги в этой области не что иное, как детский лепет начинающего балалаечника, но никак не гитариста. А я-то возомнил... Представляю, что подумалось ему обо мне, – ёжусь я от стыда, когда полный своего достоинства, под блатную восьмёрку выписывал ему собачий бред, визги пьяной обезьяны, чёрт знает что, горделиво полагая, что это, извините, не каждому дано смочь и что это музыка. – Нет, нет, нет, – с отчаяньем сокрушался я, – мне никогда, никогда не научиться так играть, если даже я потрачу на это всю оставшуюся жизнь. Как можно выучить наизусть такое количество звуков в их последовательности, такое количество немислимых по сложности аккордов, которые нужно не просто выстроить на грифе, а выстроить моментально, да и ещё в полном согласии с правой рукою?.. Ведь с ума сойти... И вообще... Как это возможно, одновременно на одной гитаре и мелодию вести, солировать, значит, и аккомпанировать?

Наконец он закончил, отложил инструмент к спинке дивана, грустно заметил:

– Однако... Скверно... Не стоило было и пробовать, в руки брать, так скверно.

– Что скверно? – не без изумления переспрашиваю его я.

– Да всё, – безнадежно машет он рукою, – сплошная какофония и неразбериха. А с ритмом так и вообще беда. Ты знаешь, – поднимает на меня свои печальные глаза, – слышал о такой болезни, как аритмия сердца? Вот, нечто подобное, но в душе. И дело даже вовсе не в инструменте, хотя и это есть... Ты эти железяки, – нервно дотягивается до струн и резко щёлкает по ним, – эти бездушные проволоки скрути и выкинь к чёртовой матери на помойку. Приблуди себе... Раньше жильные были, а сейчас – синтетические. Вот эти самые, но не стальные, и добудь себе.

– А какие эти самые синтетические? – опять переспрашиваю его.

– Да любые... Чем дороже, тем лучше. Заграничные, конечно же, не в пример нашеньким, да где их достать-то? Разве что в «Берёзке» по благу?...

– Представляю, как вы потешались надо мною, когда я брынкал романсик на слова Есенина... А что, – с обидою в голосе говорю ему, – нельзя было признаться сразу же, что самый настоящий гитарист-виртуоз, знаменитость?

– Какой же я знаменитый? – искренне недоумевает уже поддатенький дядька, быстро моргая покрасневшими глазками, стягивая ногу об ногу ненавистные галоши. – Экая невидаль играть нотка в нотку придуманные кем-то штуки. Этак и попугая можно выдрессировать разговаривать по какому хочешь. А про свой романсик зря... Он хоть и простенький, но сыгран тобою задумчиво. Думаешь, чем сложнее, тем лучше? Как посмотреть... Наипервейшее и самое главное для музыканта, если он хочет остаться личностным и неповторимым, играть не как все – нотка в нотку, интервальчик в интервальчик, в согласии с ритмом, предложенным метрономом, а исполнять по-своему, как это чувствуется, как представляется. А я... Что я? Добиться максимальной схожести с Сеговией Анре, с Крамским, Соколовским... Экое достижение. Так, хотя бы и так... Ведь хуже того в сто раз. А ты... Знаменитость... Как можно играть фламенко, да и не только, когда и на йоту нету дара импровизатора? Как есть, сплошное попугайство. На одной музыкальной памяти, пусть даже гениальной, далеко не вылезешь. А где творец? Где творец, спрошу я тебя?.. Ага... Вот видишь, – с обидой в голосе говорит мне, словно по этому поводу я с ним спорю и выражаю всяческие несогласия. – Я знаю одного гитариста, совсем ещё молодой, – меряет меня взглядом, а вот, поди ж... Музыкант редкостного таланта и природной одарённости, виртуоз, каких и во всём свете редко найти, с большими оркестрами играет, а вот, надо же... До сей поры, кажись, музыкальной грамоты не освоил. А играет... Да как ещё играет... Да что там это, – отчаянно рубит рукой, суетно ищет спички, чтобы прикурить потухшую сигарету, – свою музыку сочиняет, какой никто до него не сочинял. Вот это я понимаю! Про меня же – ничего не спрашивай, всё одно не отвечу. Вот где теперь моя гитара, – указывает пальцем на почти выпитую бутылку. Тебе же мой совет таков, – дёргается губами, со скрипом стискивает зубы, готовый вот-вот пустить пьяную слезу, – коли есть любовь к музыке – иди до конца. А я... А я – слабак, – трёт грязным кулаком уже мокрые глаза, отворачивает лицо в сторону, ещё громче скрипит зубами. – Так... – строго говорит сам себе, – расчувствовался, понимаешь ли...

Допивает своё вино прямо из горлышка, с шумом тянет носом, пристально смотрит на так и не тронутую консервную банку.

– Давайте же я вам её открою, – опять предлагаю я ему, – без закуски-то, наверно, не очень хорошо; у вас есть, чем открыть?

– Не пойдёт, – мотает головою, – смотреть тошно... Точно не пойдёт... А всё эта сливянка вчерашняя, зараза.

Отламывает самую малость от хлеба, вкладывает в рот, принимает-ся медленно и вяло пережёвывать. Еле проглотив, усмехается чему-то своему:

– Дивился я, как ты вон на той лавочке, – неопределённо тыкает пальцем куда-то в сторону, – что у гаража, музыкою своею девок ублажал.

– Когда это я ублажал? – с удивлением смотрю на него.

– Откуда мне помнить... Раз говорю, что видел, значит – видел, – строго смотрит на меня. – Если вот эту дверь настезь открыть, то слышно досконально, а когда по ступенькам поднимаешься, то и видно, как на ладони. Мне всё видно, а меня... Вот, фиг вам... Фу ты... – кривит физиономию, вода ладонью по худущему животу, – зачем заливать вовнутрь всякую самопальную гадость, когда на свете выпускается великолепный портвейн; хоть тебе тридцать третий, хоть тринадцатый, да и пятнадцатый... Пятнадцатый ничем не уступит по качеству, хорошее вино. Все эти массандры, каберне всякие, токаевские, каких только не перепробовал. Чепуха в сравнении с нашим портвейном. Водку не люблю, мозги напрочь отшибает.

Дабы вернуть его на прежнее русло разговора, напоминаю относительно девок, которых я ублажал своею музыкой.

– Ну да... – чешет свой затылок, – так вот... Не скрою, только не обижаться... Инструментом владеешь пока неважнецки – дело наживное, если, конечно, не забросишь по примеру большинства. Зато песни твои, особенно тексты... Есть о чём призадуматься. Давно вот так сочинишь? – пристально смотрит на меня, поправляя узел своего нелепого галстука.

– Наверное, всю жизнь, – пожимаю плечами я, чувствуя, как начинаю краснеть, – только очень стесняюсь. Знаю, что мои, что я их придумал, а представляю, как чьи-то.

– Странное совпадение... Удивительно странное, – мнёт ладонью он свой лоб. – Веришь ли, не знаю и почему, а ведь другого ответа и не ждал.

Опять смотрит прямо в мои глаза, как бы пытаясь для себя найти какой ответ на волнующий его вопрос, вопрос о странностях совпадений и почему они, то есть эти совпадения как-то случаются, хотя могли бы и не случаться, исключая по этому поводу всякие рассуждения. Не уверен, что именно так сформировалось в его не совсем трезвой голове, но то, что именно это промелькнуло в моей – уж точно. Иронически хмыкнув, отводит глаза в сторону, слегка задумавшись, начинает читать:

*Снова по перевалам,
Медленно катят тучи....*

Запинается, смотрит вопросительно на меня... Как там дальше-то? Беру в руки гитару, но почему-то и сам забываю, как там дальше, выхватываю последний куплет:

*А мне никуда не надо,
Нет у меня причала,
Нету и той, что рада
Встрече моей у вокзала.*

– Вот, вот, вот, – необыкновенно волнуется он, с хрустом выкручивая свои пальцы на левой руке, ведь кажется бы... До банальности просто, примитивно даже, а ведь точно, как про меня. Ведь это же надо так совпасть... А эта!.. Там ещё про вино... Да как же оно, господи...

Мучительно морщится, шепчет губами, делает пассы рукою. К моему удивлению, вспоминает, выставив ладони вперёд, раскачиваясь туловищем из стороны в сторону, принимается петь:

*Разве им утолить печаль?..
Будет только туман в голове,
Сквозь него голубая даль
Лишь мелькнёт и умрёт в тебе...*

– Веришь ли, не скрою, – запинается он, – я тут лежал на диване, вот на этом самом, – бьёт рукою по круто выступающему бугру, отчего пружины начинают гулко стонать, – трезвый, что стёклышко, ну разве что самую малость... Так как услышал, ей Богу, такая по себе печаль взяла от песенки твоей, что и слёз сдержать не смог. Лежу вот на этом одре, – опять хлопает ладонью, – и реву, как последняя баба, как дурак последний. Не знаю и почему, но уж точно, тогда ещё знал, что и слова, и музыка твои, и всё остальное... Душу, скажу я тебе, никогда не обманешь. А когда она ещё и раненая... Эх.. – сжимает руками свою голову, – всё, как у меня... Ты только не сердись, послушай чего я тебе скажу, я ведь не просто так и не от делать нечего. Стерегись винища, опасись его прелести; многим веселит оно душу, ибо не ведают лучшего. Тем же, кого Творец наделил иным, сам понимаешь, о чём говорю, – неожиданно гладит меня своею ладонью по голове, – от вина лютая погибель. И ещё... Никогда и никому не давай в руки своего инструмента – гитары своей, – быть измене.

Медленно поднимается с дивана, шаркая босыми ступнями ног, подходит к ящику с паклей, в которой зарыта заветная бутылка, смотрит на него. Не оборачиваясь, глухо говорит:

– Если позабудешь, о чём тебя предупредил – быть беде. Уж я-то знаю... Ступай с Богом... Не бери примером меня – ослепшего.

* * *

Сумерки. Медленно поднимаюсь по крутым каменным ступеням. Сквозь зарешёченную дверь вверху видится краешек розовой луны и несколько совсем ещё бледных звёздочек. Нечаянно торкаюсь корпусом гитары о какой-то выступ на стене, от чего струны начинают заунывно и протяжно гудеть, усиливаясь в звуке своём подвальным эхом. Снизу, словно из подполья, шарахаясь в разные стороны, доносится пьяный и расстроенный голос:

– Скрути эту проволоку, выкинь к чёртовой матери на помойку, вместе с медиатором выбрось. Добудь себе струны бархатные, шестиструнные нейлоновые аккорды добудь себе.

Словно от лёгкого толчка в спину спотыкаюсь, обеими ладонями касаюсь холодного и шершавого камня ступени. Выскользнувшая из рук гитара с демоническим хохотом скачет вниз, ударяется о противоположную стену, там, где железная дверь и затаившийся во мраке лист оконного стекла, через которое никогда не проникает солнечный свет, раздаётся гулкий хлопок. С завыванием двуручной пилы разом вскрикивают все струны, но тут же и смолкают. Тишина.

– Выдрало кобылку, – констатирую я; небось, с мясом выдрало... Прощай семиструнка – гитара моей юности, моя первая настоящая любовь. Да здравствует шестиструнная – утеха всей грядущей жизни!

Глава 37. ПРЕСТРАННЫЙ РАССКАЗИК, НАПЕТЫЙ, КАК ПОДОЗРЕВАЮ, ИОАКИМОМ ПРЕМУДРЫМ

1

*В доме мудрости скорбь и печаль,
В доме веселья – смех и веселье.*

Поговорим о смешливости, весёлости духа, обо всём том, без чего жизнь, как таковая, ну честное слово, не имела бы и смысла. Вспомним Эразма Роттердамского «Похвала глупости», а заодно закадычного приятеля его Томаса Мора, незабвенному перу которого принадлежит знаменитейшая «Золотая книга» – забавная и полезная штука, ибо касается не чего-нибудь там простенького, а самих принципов наилучшего устройства государства, следовательно, – всех нас; устройства государства не где-нибудь на просторах умеренного климата, среди лесов,

лугов и дубрав, полноводных рек и озёр, а посреди безлюдного острова Утопия. Присовокупим к ним одних из самых достопримечательнейших сынов своего отечества, гоголевских Ноздрёва, Собакевича, Плюшкина и Коробочку, да и ещё барона Мюнхгаузена с бравым солдатом Швейком Ярослава Гашека, крепко призадумываемся. Найти ли более увлекательнейшего занятия для всех нас, как слушанье пересказов чьих-то смешных историй и походов, в которых, конечно же, торжествует глупость, она же и весёлость, где, как ни странно, не мы сами, а некто другие, очень похожие на нас, попадают впросак, становятся объектами всеобщих потешаний, а по-другому – дураками и дурами. Не потому ли нам так любы клоуны, арлекины и мимы, всякого рода шуты гороховые, скачущие и кривляющиеся в своих нелепейших балаганных одеяниях, весело плачущие, горько смеющиеся? Не очевидная ли в том глупость?.. Как знать, как знать... С какой стороны посмотреть.

Не благодаря ли силе их нелепейших действий – ужимок и прыжков, мычаний и кукареканий – каждый из нас утверждает себя в здравии ума своего, благонравии и благопристойности поступков своих?.. Я же не такой?.. Хотя... Буйные взрывы смеха, улюлюканье, прибои аплодисментов по поводу очевиднейших глупостей, таких, как штаны на заднице разъехались, тортом в рожу или рожей в торт, что почти одно и то же, бревном по голове, огонь и дым из ноздрей, всё это не говорит ли об обратном, что именно не у тех, кто так талантливо скоморошничает, замечу, не за просто так, а за деньги потешает нас: скачет козлом, блеет бараном, готов и павлином, даже пивнем, а у нас, у большинства, с головой не всё в порядке. Усекли!? Способность глупости вызывать общий и здоровый смех настолько очевидна, что не вызывает и малейших сомнений. Попасть в смешную историю, а значит, в глупую историю для абсолютного большинства народонаселения земли смерти подобно. Что угодно, лишь бы не сделаться объектом потешания многих. Пусть лучше признают лихоимцем, злодеем, вором, жадиной-говядиной, насильником и последним прощельгою, только бы не из тех, кому вместо верблюда всучить плешивого ишака, заместо канарейки – крашеного воробья, кому нечаянно, но волею самой Судьбы выпал жребий сесть задницей на ржавый гвоздь, провалиться сквозь прогнивший пол в общественный нужник, именно в общественный, так как кому не известно, что своё не пахнет, по наивности своей, в коей признаки доброты, но никак не зла, носить такие ветвистые рога, коим позавидовал бы и благородный олень, получить в рожу бог весть откуда прилетевшим кремовым тортом, да мало ли в какое г... случается человекам вляпаться. Странная нелепица получается... Разве вся история человечества с её безостановочными



войнами, не говоря уже о другом, не обличает ли в очевидной глупости и даже в умственном помешательстве тех, кто эти войны прославляет и героизирует, тех, которых и есть абсолютное большинство, поменявших местами глупость и мудрость. Отчего же плачем, а не потешаемся? Слагаем героические баллады и гимны, величественными одами восхваляем то, что по самой сути Божественной природы, пугающей отвратительности смерти омерзительно каждому. И не очевиднейшая ли глупость плевать в собственный колодец, справлять туда же нужду, а то и намеренно отравлять ядом? В колодец, из которого питьё твоё – основа жизни твоей, и равного которому не было и никогда не будет?.. Почему же не веселимся?

Знавал одного очень серьёзного гражданина, прилежнейшего, хочется отметить, семьянина, ответственнейшего работника. Так вот... Подвыпил он как-то, по случаю, на пикничке, надышался вволю свежего воздуха, взбодрился и телом, и духом, помолодел аж Бог знает на сколько, да так, что уж и мочи нет. Вот ведь, что выделяет с человеком Природа, когда он с нею – матушкой – наедине, да и ещё под хмельком. От вожделения непреодолимого, хоть и совестно, конечно, решил уединиться с секретаршей своей Антониной Андреевной – женщиной исключительно положительной, в тучных зарослях цветущей бузины, в самых сумрачных дебрях, там, где, кажется, и нога-то человека не ступала, да вот же... Возьми, да и вляпайся. Кому непонятно, куда можно в кустах вляпаться. Было бы только сам измарался в костюмчике фильдепресовом... Антонину Андреевну... И что вы думаете?.. Чего более всего испугался наисовестливейший начальник главка, примернейший семьянин, в этой случившейся с ним и с его секретаршей истории? Да конечно же, не дай Господь, кто прознает, что он нет, нет, не с чужою жинкою заблудился, а вот так глупо вляпался. Можете представить, сколько в связи с этим случится потом пересудов и всяких неприличных сальностей... Разве подобное утаишь?.. А вот бегай, скажем, он прилюдно за своей секретаршей вокруг полянки и без штанов, всё было бы совсем иначе. Ей-ей, никто особо и не заметил бы. И ведь действительно: чего здесь глупого, а тем паче смешного? Иное дело, когда курьёзы случаются неожиданно, исподтишка, значит, и конечно не с вами, а с кем другим. Ухохочешься...

И таких случаев предостаточно. Ворона, скажем, слёту долбанула клювом по тыковке... Разве не смешно? Мой хороший и близкий приятель, добрейшей души человек, признаюсь вам, однажды так напился по случаю для рождения своей жены, что причудилась ему ночью, во сне, конечно, свинья: ослабила свою харю, выставила клыки, а сама

всё наползает и наползает, укусить, значит, норовит прямо в голову. Он, то есть товарищ мой, хоть и добрейшей души человек – мухи не обидит, возьми, да не растеряйся. Как заедет ей со всей дури кулаком в самый ейный хряк, в харю её поганую, значит. Она, естественно, как завизжит самым свинским образом. От страсти такой мой приятель очнулся, конечно, глядь, а перед ним его собственная жена, кровь из носа так и хлещет, так и хлещет. Ей бы, дуре, смолчать, мало ли... Самооборонялся, в конце концов; заявление на имя квартального накалякала сгоряча. И хоть потом, когда малость поостыла, забрала заявленьице-то это, от сочувствующих житъя не стало. Да и мужики, как что:

– Сань, а Сань... Расскажи, как ты своей жинке во сне нос поломал, приняв её за свинью, что украдкой норовила прокрасться в твою постель.

Или, к примеру, ну как тут не ухочешься, ведь захочешь придумать – не придумаешь, потому как чистейшая правда... Сосед мой, что живёт двумя этажами выше, выходя утром из подъезда на работу, так поскользнулся, так вскинулся ногами вверх, что отшиб себе копчик.

– Ну, мало ли, – скажете вы, – где может человек поскользнуться? Чего же тут смешного, когда вот так?...

Нормальные люди сочувствуют...

– Конечно же, конечно же, согласен...

Но дело тут несколько в другом, не травма, а настоящий казус. Поскользнулся он не на чём-нибудь, а на собственно выброшенном из окна, пардон, презервативе. Баба Вера, очевидица сего неожиданного падения, под чьи окна он систематически по ночам и сбрасывал свои приветы, верите ли, от смеха аж по траве каталась. Люди даже скорую вызвали, не мужику, а ей, думали, что того... И хоть все жильцы подъезда до единого знали, чьих дело рук эти безобразия, а иным посчастливилось без всяких вычислений координат и наблюдать даже эти полёты, все стыдливо помалкивали и уж, конечно, никак тому не смеялись. Баба Вера, это уж когда отпустило, так красочно описала падение старого холостяка, такими редкостными красками разукрасила, что, честное слово, не то что наш подъезд, а весь девятиэтажный дом ухахакивался.

Вот ведь как чудно устроен человек... При одних и тех же действиях – кому смех, а кому слёзы. Одному актёру погорелого театра за его халтуру не фигурально, а натурально тухлым яйцом угодили в глаз, да так, что оный, то бишь – глаз, лопнул вместе с яйцом и вообще перестал что-либо видеть, окривел.

– Ну, не камнем же, в конце концов, не специально же... Кто бы мог подумать, – не скрывая чувств своих заржут представившие это, – дурно пахнущим яичком и глаз вышибить.

Американские мультипликаторы, эти неутомимые подлянщики, все свои мультяшные сюжеты на том только и строят. Кто не закатится от жизнерадостного смеха, видя, как на голову ничего не подозревающего скунса или кого другого (породы зверюшек, а также людей можно перечислять бесконечно) падает здоровенная железная наковальня? Или... Когда паровой каток раскатывает в лепёшку, когда зубами, да по каменным ступеням, копчиком с небоскрёба, динамитом – вдребезги. Вершиной же, так называемым апогеем американского юмора во всех жанрах его проявления всегда выступает кондитерский торт или салат оливье. Один смачно заправлен жирным кремом, другой – обильно приправлен майонезом, которыми или в рожу, или рожей. От такой утончённости при их американской прямолинейности вся нация от смеха не только до икоты ухакивается, но и в истерических судорогах катается по полу, не в силах удерживать в вертикальном положении своих тучных тел.

Да что там это... Случаются, в медицине тому есть даже научное объяснение, акты непроизвольного мочеиспускания и, более того, особенно у тех, у кого стул того... Ну, в общем, сами понимаете. Вот ведь, скажу я вам, какой ядрёной силой обладает смех, от которого даже законопослушные граждане самой демократичной страны мира в присутственных местах могут позволить себе и уписаться, и даже того лучше – укакаться.

2

Антон Павлович Чехов встретил свою смерть с бокалом шампанского, греческий философ Платон – с кубком отравленного ядом вина, Орлеанская Дева – в бушующем пламени костра, Симон Пётр – вниз головою на кресте, декханин Абдуло Рахмантуло с кетменём в мозолистых руках, облитый расплавленными потоками солнечного света, я, но в прошлой жизни, умер от смеха. От того ли, что Смерть улыбнулась только мне, и как тут не улыбнуться, Распределитель кармы – беспричастнейший из всех небесных канцелярских служек – впервые широко развёл руками, проявил на своём непроницаемом челе пусть и едва заметные, но всё же тени сомнений, допустил непростительную для такой ответственной особы оплошность: уронил перо, оставил на моём девственно-белом свитке жизни внушительную чернильную кляксу. Поозиравшись по сторонам, ибо и ангелы не лишены чувства любопытства, попытался по-незаметному, втихую отскоблить пятнышко остриём специального для того ножичка, да переусердствовал. На месте кляксы, будь она неладная, проявилась сплошная дырка в форме как буквы, так и цифры «О», той цифры – ноль, коей принято обозначать пустоту, то есть то, чего никогда

не было и не будет, но в котором при этом заключено абсолютно всё. Плюнул с досады, махнул на всё крылышком, оставил, как есть; под шумок подсунул документик секретарше (Самого), дырочку аккуратненько прикрыл шоколадкой. Пространственный идиотизм, провалы памяти в области точных наук, полнейшее непонимание многого из того, что элементарно понятно каждому, и наоборот – понимание оставшегося, которое совершенно непонятно многим, всё это у меня, по крайней мере, мне так думается, по причине этой самой случившейся кляксы – малюсенькой дырочки, через которую всё видится иначе, к тому же ещё и перевёрнутым вверх ногами. Несколько повзрослев, хотя, по моему твёрдому убеждению, человеку никогда не дано сделаться взрослым, поднапрягшись памятью, вспомнил из некоторого, чем небезуспешно занимался в прошлой жизни, принялся за старое: вернулся на зыбкую стезю сочинительства всякого и разного, лепки из глины горшков, выделывания из дерева корыт.

– Зачем тебе всё это надо, – спрашивает меня как-то предводитель братства домовых Иоаким Мудрейший. – Умереть от смеха, конечно же, забавно, но стоит ли вот такая кончина подобных жертв? Есть ли какой прок, – скажи мне, – от твоей писанины, твоих сомнительных по художеству скульптур из материала вечного по сути, преходящего по смыслу, когда большинство столь тобою уважаемых носителей разума, хоть велеречиво и трещат крыльями, в глубине же душ своих сокрушаются о хлебе насущном на каждый день, а ещё лучше и про запас, почему-то именно их Господь обделил, распределив его между умными и глупыми, явно не в пользу первых. Займись делом, старик: дом построй из собственноручно наделанных кирпичей, дерево посади, роди и воспитай сына. Дались кому твои заумные рассказы, вредные, замечу, рассказы, побуждающие к разного рода размышлениям, от которых в этом мире и есть все беды. Извини, что повторяюсь, но не от глупости, а от чрезмерного ума земля начинает вертеться не в ту сторону, а время бежать задом наперёд. Опыт, говоришь? Какой такой опыт?.. Считаешь, что сумма человеческого хлама, извлечённого из всех областей его познаний за столь короткий отрезок времени, отпущенный ему на грешной земле, чего-то стоит? Глупости всё это... Ведь хоть ты лопни, хоть ты тресни, но все твои индивидуальные умственные накопления, включая и предшествующие, и даже те, которые ты хранишь, как тайну, а тайна, согласишься, для большинства окружающих тебя всё одно, что дырка от бублика, – бред сивой кобылы. Весь твой этот самый опыт, хоть суммируй его, хоть не суммируй, относительно общественного опыта всегда в количественном измерении будет стремиться к нулю. Ведь у тебя же пока нет реальных крыльев за спиной, чтобы плюнуть на всех и улететь,

переселиться, так сказать, на планету твоей мечты? Не сумасшествие ли, – замечает Иоаким Премудрый, – хитро подмигивая глазом, – ведь все остальное, – опять подмигивает, но уже другим глазом, – отечество, власти, закон, авторитеты навязанных тебе догм и идей, в коих – мораль, разумность, долг – от самого ли тебя? Заметь, – садовая твоя голова, долг прежде всего перед государством, которое ты обязан защищать без всяких там колебаний и умствований, отдавая до последней капли кровушки свою единственную жизнь, если на это случится необходимость, без зазрения, нет, нет, не общественной, а собственной совести от имени горячо любимого государства совершать наигнуснейшие преступления, нераздельно связанные прежде всего с насилием и убийством ближнего. Свою ли волею ты движим? И ещё скажи мне, друг любезный, коли такой умный, что это за такой человеческий опыт, который, как те камни, что то собирают воедино, то разбрасывают, в зависимости от времени и собственной дури в голове? Можно ли считать доверительным сей опыт, тогда как конечный его результат, вопреки всяким здравым смыслам и логике, – хаотично разбросанные по земле глыбы некогда отёсанных камней? Не безумие ли сие? Ведь только опасно сумасшедшим может прийти в голову разрушать то, что с великими трудами, трудами многих поколений возведено, поработать ближнего – поработая себя, убивать ближнего – роя могилу себе. Живи, Боборика, просто и честно, хотя... Извини, что противоречу сам себе, ни черта у тебя и из этого не получится. Не можешь же ты сам в себе умереть, и более нигде не воплощаясь, витать в бесконечности своего «Я» одиноким и беспричастным ко всему сгустком мысленной материи, отрекшись от добра, как и от зла, правды и лжи, любви и ненависти... Жить просто и честно, – скребёт свою макушечку домовой, – никак у тебя не получится. Хотя и здесь всё относительно. Всему есть своя цена. Единственный убирающий за многими, замечу, бескорыстно убирающий за многими их свинскую грязь, которую, кстати, они и не замечают в силу как высоких идеалов своих (до земли матушки, до навоза ли...), так и неизменного врождённого хамства, достоин со стороны этих господ хоть малейшего уважения. Вот ты мне ответь, Вовка, можно ли уважать того, кто за тобою, да и ещё без всякой корысти, голыми руками дерьмо убирает? Да, конечно же, нет... И ещё... Высокий художник, этаким идеалист, проповедующий красоту, любовь и гармонию, достоин ли доверия к тому, что провозглашает, тогда как сам и корыстолюбив, и горделив, и неопрятен, а порою и физически грязен в быту, необязателен в слове, врун, каких ещё поискать? Хотя... Ты попробуй ему ещё докажи оное, ведь никак не согласится, глазками моргать примется, обидится даже на этакую напраслину. И вот ведь, что самое удивительное, Вовка, иные настолько уверовались в своей

избранности быть светоносцами – носителями разумного, благого, вечного, что уж и не замечают, что питаются не единым духом, а вкушают хлеба и пьют воду, от которых, при всех их святостях, куда уж от этого деться – реальные отходы, не порхают в облаках, а ходят по ими же унавоженной земле. А загляни иным из этих самых вовнутрь, – машет лапками и пучится глазками Иоаким, по-позёрски пугливо озираясь, приставляя указательный пальчик к губам, – упаси мя Господи, чего там только нет. И ведь ни один не признается, что, чего там говорить: ничто человеческое не чуждо, и к жинкам чужим равнодушие случается, и жить хочется не хуже остальных, по-человечески, и родился вовсе не для того, чтобы в навозе копать, пусть даже собственно произведённом в результате физиологической деятельности божественного организма. Знаю, знаю! – назидательно, подобно ораторствующему трибуну, возносит вверх свой указующий перст, – найдутся многие, что выкажут тебе свои справедливые соображения, полно противоположные высказанным мною: что нам до того, что он был картёжник, бабник и пьяница, мот – расточитель чужого имущества, и вообще... Разве это главное? Плоды, оставленные им, не учат ли высокому, человеческому, нравственному?.. Ну прямо совсем, как про того попа, со скорбию и смирением назидającego своей пастве:

– Не с меня, не с моей жисти прискорбной берите пример... Слаб... Прости мя Господи... Более чем кто среди вас искушаем дьяволом – сатаной. Берите пример тому, чему научаю; чему научение моё из книг священных, данных нам по Слову Самого Господа нашего Спасителя Иисуса Христа Назаретянина...

– Фу ты... Чёрт меня побрал, – спохватывается домовый, суеверно озираясь по сторонам, вращая глазками, производя лапками магические пассы, – эк меня занесло... Как бы словесного дара не полишиться. У них ведь как... Всё, что хорошо для души, – от Бога, а как какая хрень – бесы попутали. Скажем, умыкнул у ближних соседей своих, но иного роду-племени табун коней, отару баранов, а заодно и девку себе, благополучно доволоч всё это до хаты, то есть без серьёзных последствий и что шкуру заживо не содрали – сам Бог сопутствовал... Радостно на душе, а во рту аж как мёд, сладко. А коли соседи, выдержав момент, вероломно напали ночью, возвертали своё же, да и ещё кое-что сверх того прихватили в виде компенсации за моральный ущерб, то что же это, как не от козней самого дьявола:

– Христа нет на них, супостатов, – вопит бывший вор, притеснитель и разбойник, – пошто Милосердный не защитил? Не я ли курил во славу Твою тук благовонный на огненном жертвеннике, в чём осерчал на всех нас, Тебя любящих?

– Вот, что я скажу тебе, Боборика, внемли со вниманием: не найти и одной войны, которую не благословили бы от Лица и Имени самого Бога. Так было, так есть и так будет во веки веков и до скончания мира.

– Что же тогда делать, как жить? – телепатически вопрошаю я к нему.

Словно не замечая моего вопроса, Иоаким сосредоточенно хмурится, достаёт из кармашка своей стёганой тужурки медный пяточок, из другого – свёрнутую, подобно носовому платочку, шерстяную суконочку, принимается за работу. Подобно средневековому алхимику, поплевав на монетку, с усердием трёт её о тряпочку, гудит носом таинственные мантры, пытается не благородный металл – позеленевшую медяшку превратить в благородный, то есть в золото.

– Ничегошеньки у тебя, братец, не получится, – мысленно инволютирую я, и не без сарказма, – нашёлся мне здесь Калиостро, граф Сен Жермен...

Медный сине-зелёными разводами пятак от интенсивного трения на глазах начинает гореть золотом, превращается в шерстистых сморщенных лапках домового в маленькое солнышко, и кажется даже, что это уже и не монетка, а настоящая огненная звёздочка, своими лучиками излучающая и свет, и тепло.

– Умение и труд всё перетрут, – весело смеётся Иоаким Премудрый, щелчком подбрасывая пяточок к самому потолку. – Вот видишь, – указывает пальчиком на пол, в то место, куда упала монетка, – ни орёл, ни решка...

Как есть, на рёбрышке стоит – победоносно смотрит на меня.

– Хочешь сказать, что случайно, из миллиона случаев – один?.. Запомни, раз и навсегда запомни, ничего в мире не случается того, что в общей системе причин и следствий не закономерно, по-другому – никем и никак не предусмотрено. Прямое покушение на Божие, то есть на разумность возникновения Вселенной. Коль уж наречено принять смертушку от коня своего, а не от половецкой сабельки, – быть по этому.

Легонько подкидывает монетку снова, дует ей вслед, восхищённо, как малая деточка, хлопает в ладошки и даже подпрыгивает на одном месте. Пяточок, словно обретя невесомость, подобно крохотному золотому диску, плывёт под самым потолком, легонько и бесшумно, коснувшись противоположной стены, отправляется в обратный путь, ныряет в узенькую щёлочку неплотно закрытой форточки, радостно блеснув, исчезает совершенно.

– Вот видишь, – возбужденно рукоплещет домовый, – если даже ржавую медяшку можно призвать к полёту, то кто есть ты?.. Не жалея трудов своих к делам, что душе твоей любви, и тем трудам, что отличают

в тебе человека. И могилу надо уметь правильно вырыть, чтобы она не оказалась ямой. Чуешь разницу? И наедине радуйся звукам, коие ты извлёк из струн души своей, избегай малейшей фальши. Вот и вся твоя правда. И ещё... Не мни о себе большего... И то малое, что есть, может отняться. Беги прочь от похвалы, так называемых благодарных – ложь. Береги мой пяточок и помни...

– А где он? – смущённо перебиваю я Иоакима Премудрого, – ведь улетел... Насовсем улетел, не сыскать...

– Экий ты, Вовка, малопонятливый, – укоризненно качает головушкой домовой, – я думал, что у тебя только с нумерологией, с арифметическими исчислениями в головушке беда – особая разновидность идиотизма, оказывается, и в другом... Запомни, – строго глядит на меня, – ничто никогда никуда бесследно не исчезает; закон сохранения масс энергии, – важно поднимает кверху указательный пальчик. – Эх... – с показным сожалением скребёт макушечку, озорно блеснув глазом, – жаль, что берёзовые розги вышли из употребления. Вышли-то вышли, а память, знать, крепко врезалась, – хихикает в ладошечку. – Сколько не прокручивал в памяти своей из того, что ты напридумывал из деревьев разных пород своими мозолистыми руками, из художеств твоих, – ни одной безделицы из берёзы. Как на такое не обратить внимание?... Махогоновые, палисандровые, кипарисовые, дубовые да кленовые, кедра ливанского, сикоморы, даже из пробки... Из бузины есть... Духовые орудия, посредством которых, хоть у них и всего три дырочки, ты умудряешься извлечь семь полновесных нот, удивили меня особенно. Это же как надо изловчиться, чтобы вот так... А из берёзы, – задумчиво морщит свой круглый лобик, как бы пытаясь вспомнить, что у меня там есть из этой самой берёзы и что будет выполнено в будущем из этого материала, – ну, разве что в стихках твоих излишне лирических попадаетеся. А так... Вот ведь, какой след оставили в тебе эти самые берёзовые розги, – поднимает вверх пальчик, глубокомысленно закатывает глаза. – Каждому по его вере... Пробуравь две дырочки, пришей напоказ, на видном месте заместо пуговицы и желательнo на штанах, там, где ширинка, пришей этот пяточок, который я тебе подарил, так и носи, пока не удовлетворишь окружающих тебя, что действительно с головой, уж точно, не как у них. Шучу, шучу, – весело смеётся Иоаким, – хотя, согласишься, есть в этом что-то... Или тебе не кажется так? Представь себе: медный пятак, сияющий настоящим золотом, да и ещё на ширинке... А на нём серп и молот, обрамлённые спелыми колосьями пшеницы, а может, и ржи. Веришь ли... Пропасть лет бытую, а так и не научился отличать эти два злака по виду, – недоумённо пожимает плечиками.

Ещё раз усмехнувшись, самым серьёзным образом переспрашивает:
– Ведь правда, я весело придумал с этим самым пяточком, который к тому же умеет ещё и летать, но только во сне, в очередном твоём сне, который ты сейчас видишь?

Я представил, и неожиданно мне стало просто и весело. А почему бы и нет?.. Почему бы и не так?.. Чем, скажите вы мне, если вот такие умные, отличимо ложе сна от ложа смерти? Не каждый ли день, вытянув ноги, умираем; погружаемся сновидениями своими то в олирны рая, то в бездны ада? Утром воскрешаемся и думаем: вот она, настоящая реальность жизни, где всё подлинное и настоящее: и этот свет, и это солнце, и эта боль в пальце, который ещё вчера по оплошности прибил молотком. А это... А это ещё один из снов твоих, которых у Бога один Бог знает сколько, и который также только снится бесконечною вереницею дней и ночей со всеми их суетами и заботами, радостями и огорчениями, страхами перед ужасом смерти, которая в каждом сне своя. И разве я не подобен тому медному пяточку, отштампованному в 1950 году, позабывшему, что он медный, представившему себя золотым рублём, а то и червонцем, полагая: не сам ли я есть кузнец своего счастья?! А почему бы и нет... Коль предрешиено быть счастливым, так и будешь: стремительному – быть стремительным, крылатому – крылатым, унылому – унылым, восторженному – восторженным, любовному – с Богом. Не их ли устами обращается к нам Всевышний?.. Праведными трудами освещён путь человека; ими его оправдание за бескорыстно подаренную жизнь. Одними постами да молитвами спасающий свою душу подобен слепому мулу, что только и ведаёт прелесть торбы с соломой да бесконечный путь по кругу. Слепец...

Пяточок, подаренный Иоакимом Мудрейшим, храню и по сей день. От постоянных натираний о суконную тряпочку он настолько поистерся, что потерял дату своего рождения и свой номинал, утратил серп и молот, стал походить на старинную медную пуговицу от того самого чиновничьего сюртука, в коем я исполнял некогда должность статского секретаря по особым распоряжениям при департаменте образования города «S» «N»-ской губернии и который оставил, за просто так, в прошлой жизни. По причине необнаружения наследственной души канцелярские служки отдела богоугодных заведений сей факт утаили, между собою бросили жребий. Как это мне ныне не неприятно, счастливый билет выпал Пёрышкину Евгению Поликарповичу – человечку ничтожнейшему, с рабской душонкой, бесконечно пресмыкающемуся существу, крайне неопрятному во всём. Такой разве будет беречь мой сюртук, сдувать с него каждую пылинку, очищать от малейшего пятнышка, как это делал я. Да ни в жисть... Уже на другой же день напился пьяным

в кабаке, потерял пуговицу. Знай заведомо, уж лучше бы завещал его Петушкову Ануфрию Ивановичу – также переписчику казённых бумаг, но который, относительно Пёрышкина, – аккуратист во всём, к тому же отличителен удивительной бережливостью к одежде. Но что теперь уже подделаешь. Кончина от смеха – одна из самых неожиданных смертей, почти неизученная, мало того, абсолютно непредсказуема. По особым дням, которые знаю только я, пришиваю пяточок с оборотной стороны рубахи, ношу как талисман. Бережёного Бог бережёт...

Иоаким Премудрый, хоть и из бессмертных, но уж больно часто стал хворать, а может, вовсе и не хворать, а специально так притворяться, чтобы пореже со мною общаться.

– Душою скорбею, Вовка, – бормочет по ночам из самого тёмного угла, – а почему скорбею? Вот спроси меня, спроси: Иоакимушка, пошто скорбеешь душою? А я тебе и отвечу, ибо причиной тому – ты. Зачем, хочу спросить тебя, тайну нашу разгласил на весь белый свет? Что я тебе сделал такого?.. Нашёлся мне, писака... Кто ж это тебе, дуралею, поверит, что я – Иоаким Премудрый, – мудрейший из мудрейших из всех домовых, вообще существую? Ведь никак за сумасшедшего примут, потешаться начнут. Ну, и то бы хорошо... И определить кой-куда могут... У них это запросто... Ты думаешь, почему вчера на твоей гитаре, да и ещё подряд, три струны лопнуло? Моя работа, – дробно хихикает из своего угла, – это я вот так подгрыз эти струнки. А зачем... Ни в жисть не скажу; пусть твоя голова в думках поломается. Терпеть не могу слишком ровненьких, которых называют ещё правильными: вина не пьёшь, табака не куришь, на чужих жинок... Разве что посматриваешь... А что толку от всех смотрений твоих бесплодных? Научил на свою голову... Ведь всё, как есть, наперекор сделал – неслух. Я ему о личности, о свободе его, о крыльях, а он... Раб Божий, моралист хреновый... Вот и сиди сидмя со своею моралью аки монах-схимник... Намедни полубопытствовал, значит, что ты там в своих блокнотиках вымышляешь о разном – писака. Ну, знаете ли... Честное благородное, диву дался; полнейшее враньё! Это же надо, меня вот так положительно представить... Ну прямо-таки ангел небесный... Обижаешь, братец, домового... И хоть твой пернатый хранитель бережёт тебя пуще всего от таких, как я, – ничегошеньки у вас обоих не получится: овен, что баран упёртый... Тигр же не терпит никаких властвований над собой, а потому мы с тобою, Боборика, ещё не раз на брудершафт крепкого бургундского выпьем, воскресим картины молодости твоей о девах луноликих и полногрудых, с юношеским торгом отдадимся жаркому диспуту о приватах свобод, – Боге и дьяволе, жизни и смерти, сочиним дерзкие, но живые стихи, но не о пресном и бесполом рае с его нескончаемыми блаженствами, а нечто о другом,

без чего ни добра, ни любви, ни света никак представить невозможно, ибо совершенен только Бог. А коли ты прописал меня карикатурно, наделил особыми чувствами, не ты ли создатель? Не с того ли, кому многое дано – многое и спросится?.. Дерзай, Боборика...

Глава 38. УМНОЖИТЕЛЬ ПРОСТРАНСТВ

1

Всему ль есть начало и всему ль есть конец? Необъятное не объять, в бездне не найти ни выси, ни дна, в наимельчайшем наимельчайшего. К чему стремимся, когда стремлениям нет конца, а любопытству пределов? Печалиям, радостям, смирениям, горделивостям, да и самой жизни, в коей всё заключено без остатка, есть ли мера? Зло губит, любовь воскрешает... Зачем же идём дорогою зла?

Явилась душа живая и безгрешная, подобно белой горлице, с восходом солнца явилась, приняла мытарства, на закате покинула свою обитель с чёрным мешком обид и сомнений, главное из которых – для чего?

По сыпучим барханам, то там, то здесь исторгаются на свет божий выбеленные солнцем черепа с изумлённо разверзшимися пустыми глазницами; звонкие, отшлифованные ветром и песком, кости восстают из-под земли, каменные руины – вот и все свидетельства нашей славы. О чём спорим? О каком Начале и Конце разногласим, когда всё рано или поздно возвращается на круги своя, и нет ничего нового, чего бы уже не было в веках. Прижмись ухом к молчаливо скорбящему камню, прислушайся к безмолвию, проникнись и слейся с самою вечностью, заключённой в нём, стань камнем. Многое откроется.

2

Конец мая, совершеннейшая жара, вода же в нашей бурливой речке, что лёд. Дрожа всеми членами, дробно постукивая от озноба зубами, лихо выскакиваю на бережок, всем телом впитываюсь в разогретые солнцем камушки; вытянув ноги в струнку, а руки в разные стороны, становлюсь похожим на крест. Быть крестом мне нравится. Бездонное синее небо без единого облачка, по причине пустоты ли своей, кажется скучным и беспричастным к какому-либо движению, журчание же воды в речушке с одноимённым с городом названием «Нальчик», наоборот, доказывает обратное: э, друг... Поспешай, нечего, брат, разлёживаться под майским солнышком, таким ласковым и одновременно тревожным, всё течёт, всё изменяется, а у тебя с алгеброй и слякотно, и туманно, даже зыбко, совсем нехорошо, по годовой пусть и твёрдая двойка с плюсом, но никак не хиленький трояк, что, конечно же, предпочтительней. Ведь, казалось бы, какая разница с точки зрения

этой наиточнейшей науки между двойкой с плюсом и тройкой с минусом? Ан нет... Для исправления катастрофического положения, и здесь всё без дураков, ибо просчитано до десятых долей числа, необходима спасительная, пусть даже и хиленькая, но четвёрка, что почти невероятно, или тройка, но не какой-то там хлипко-болезненный, согбанный в три погибели, а самый что ни на есть ядрёный и радостный, похожий на молоденький свежий огурец не очень великого росточка со слегка загнутым носиком. Математичка – камбала бледноглазая, так и сказала:

– Ну... И что будем делать, Володенька?.. В десятый класс, экзаменационный класс – замечу, с такими знаниями, таким мизерным багажом... И речи быть не может... Я и маму уже предупредила, чтобы для неё не стало неожиданностью, ударом, когда и поделать ничего нельзя. В понедельник последний зачёт, – по-змеиному улыбается она, вытянув свои крашенные губы в тоненькую ниточку, похожую на линию от учительских красных чернил, которой подчёркиваются в тетрадке разные ошибочки, а иногда и выведенную единицу. – Но не в классе зачёт, – со значимостью смотрит на меня, – а после уроков и в отдельной аудитории.

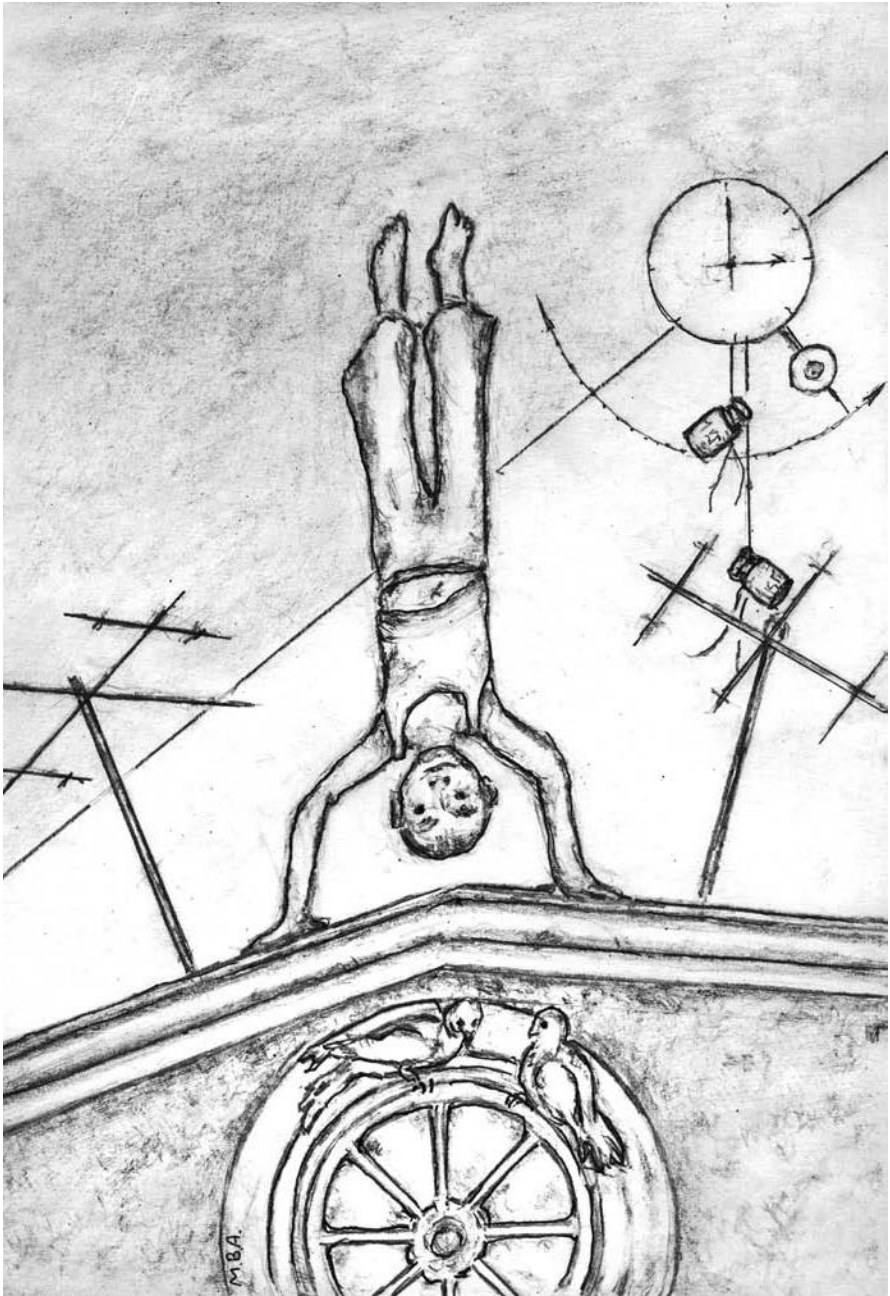
Ещё раз улыбнувшись, медленно поправляет на груди кофточку, захлопнув школьный журнал, молча удаляется из класса вон. Вот и сейчас, вместо того, чтобы пойти да позаниматься хоть как-нибудь, с Андрюшей этими самыми алгебраическими штуковинами, будь они трижды неладными, неожиданно оказался на бережку самой чистой речки в мире, из которой без всяких боязней можно смело лакать воду, как это делают собачки, ишачки, коровы и даже кошки, что мы, пацаны, и делали, ничуть не опасаясь захворать животом. Не замечая бугристости камней, всем естеством своим, естеством страстного огнепоклонника, впитываю их необыкновенно ласковую теплоту, млею от удовольствия, но совсем ненадолго, самую малость, ибо щемящее под ложечкой чувство тревоги за завтрашний день, страшные испытания зачётом напрочь низводят на нет всякие проявления радости жизни, отравляют, кажется, и саму жизнь.

– Господи! – безмерно страдаю я, – экая никчемнейшая дрянь... Что есть из себя эта алгебра, из-за которой я вот так должен мучиться? А название... Ведь даже само название этого предмета звучит по-демонически. Ал-ге-бра-а... А тригонометрия... Ведь это только вслушаться... Настоящий многоярусный мат. На кой чёрт, – ещё больше страдаю я, – сдалась мне эта алгебра, когда, уж точно, с моим гуманитарным раскроем ума мне с ней совсем не по пути? Дрянь этакая!.. И вообще... Как можно заставлять человека познавать то, в чём он не видит для себя никакой надобности, не чувствует к тому светлой радости познающего, что его только разве раздражает и досадует? Виноват ли он в полной

несостоятельности к пониманию этого предмета только оттого, что его мозги, его логика мышления устроены несколько иначе? Замечу, не хуже, не дурнее, не примитивней, а иначе. Математику, к примеру, знают те, кому она любя. Стройные шеренги многоэтажных формул, числовых значений, заключённая в них логика восхищает их не менее, чем хорошая поэзия, музыка, скульптура, сама Природа восхищает поэтов, музыкантов, скульпторов. Но никому ведь не придёт в голову настоятельно и категорически заставлять математически мыслящего человека, но не имеющего и малейших пристрастий к художествам, не отличающего первую ноту – до – от последней в этом ряду – си, не видящего в стихах ничего, кроме как очевиднейшей глупости и человеческой блажи – сочинять музыку, писать стихи, рисовать картины и делать то, что по его внутреннему убеждению, в котором он прилюдно, конечно же, никогда не признается, есть полнейшая чепуха.

Обуреваемый подобными несуразицами, краем глаза наблюдаю за едва выступающим из воды плоским и жёлтым камнем с мягкой впадиной посередине, наподобие полусферы. Неравномерно набегающие струи воды, нет-нет, да и наполняли эту чашу, переливались через верх, но уже буквально через несколько секунд она куда-то просачивалась, оказывалась «выпитой», хотя внешних признаков – трещин или дырочек – нигде не наблюдалось. Сей факт представился мне необыкновенным и замечательным.

– Куда же это она так быстро выливается? – принимается терзать зуд любопытства. – Была полной, сверху даже... Раз... И уже без единой капельки, как сквозь решето. Экая глупость... И придёт же в голову, – замечаю сам же себе, – сдался тебе этот пегий булыжник, годный разве что для хранения в охлаждённом виде арбуза или дыни, чтобы не укатился. Лежишь на солнышке, и лежи. Лучше другим задайся, как завтра изловчиться и по этому индивидуальному билету, пропади он пропадом, сдать чёртов зачёт по алгебре. Сам ведь понимаешь... От Макаронины пощады не дождёшься, всё просчитала, изуверка, не зря, что математичка: этот билетик для троечника, этот для хорошиста, а этот для отличника, чтобы стал ещё отличнее. Вон, как вчера зыркнула, сузила губки до бритвочки: в отдельной аудитории... Дескать, и не надейся хоть как-то списать. Оставь надежды всяк сюда входящий – я прочитал над входом в вышине такие знаки сумрачного цвета, сказал: учитель! Смысл их страшен мне – нечто, схожее с этим, дантовским, промелькнуло в моей раскалённой солнцем голове, но ехидным голосом Макаронины. Фу ты, – уж совершенно порчусь настроением я, – сдался тебе этот зачёт? Нигде, зануда, нет от тебя покоя, уж и солнышко не радует, травка не веселит, водичка не успокаивает.



От нервов ли, но в животе начинаются подобию бурлений, явный признак диарестического приступа.

– Этого ещё не хватало, – упираюсь взором в близлежащие кусты облепихи – густые и непроходимые, а самое главное – колючие-преколючие.

– Да успокойся ты, в конце-то концов! – слышится голосом Иоакима Премудрого, и почему-то, ох уж этот вездесущий свободолюбивый дух, в области прямой кишки, ближе к её окончанию. – Экое важное дело – зачёт... Не укакайся от волнений-то, – дробно хихикает он, – плюнь на всё, на что можно плюнуть; познавай то, к чему есть у тебя интерес...

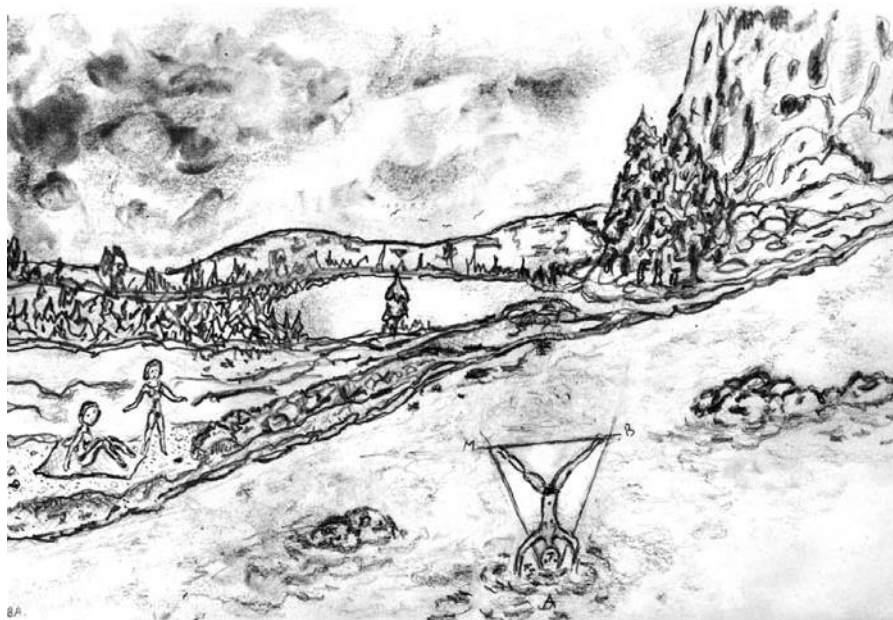
Плоский камень, едва возвышающийся над уровнем воды, с таким чудным и мягким углублением по центру, с виду безединой трещинки, в действительности оказался с приличной дыркой, но сбоку, с невидимой от меня стороны.

– Так вот куда она выливается, – не без разочарования подумал я, надеясь увидеть нечто удивительное, запамätовав примеры своих многочисленных жизненных практик, что просто так ничего не случается, так как причина – есть следствие другой причины, а следствий без причин, хоть ты лопни, хоть ты тресни, не бывает. – А что, – неожиданно приходит в голову, – если взять, да подобно индийскому йогу – этакому, иссушённому до состояния воблы, брамину втиснуть свою тыковку в каменное углубление, перевернув мир вверх тормашками, сделать стойку... Ведь что-то, да должно произойти?

Упражнение это для меня никогда не представлялось сложным, делал я его, когда угодно и где угодно – и на полу, и на столе, и даже на стуле, а однажды, но то на спор, на самом краешке гребня шатровой крыши нашего четырёхэтажного дома. Алька, в которую я был тайно влюблён, вытаращив свои громадные сиреневые глаза, потом жарко убеждала всех своих подружек, а особенно Анжелку, которая почему-то также мне очень нравилась, что этот подвиг я совершил во имя неё, и что якобы даже сам ей сказал об этом.

– Так и сказал, – восторженно трещала Алька, указывая пальчиком в небо, – если даже и брякнусь с такой верхотуры, то всё равно крылья любви унесут...

Куда они унесут и как унесут – того она не уточняла, но враньё её многих из девчонок впечатлило. После произведённого мною подвига, который я совершил и не брякнулся, отец моего дружка Перепёлы, случайно ставший свидетелем подобной страсти, ставив с себя офицерский ремень, погнался за мною через все наши дворы, с прямою советского воина – старшины заорал во всю свою лужёную глотку:



– Я тебе, паршивец хреновый, тригонометрию мать твою, научу, как по крыше на голове ходить! Ты у меня, курвёныш, надолго запомнишь ремня... Герой... Пришибу гада...

Упёршись руками в края плиты, быстрым и лёгким пружинистым движением вскидываю тело в голубые майские выси, плавно устанавливаю макушку своей беспокойной головы в углубление камня. Упёршись голыми пятками в небо, смотрю на перевернутый мир широко раскрытыми глазами первооткрывателя, пытаюсь даже произвести горлом подобие сакрального звука Аум, вибрирую, произвожу нечто, схожее с блянем козла. Периферическим зрением наблюдаю, как какая-то девочка примерно моего возраста в зелёной купальничке не без любопытства наблюдает за моими действиями, за мною, таким перевернутым вверх ногами, стоящим вниз головою на плоском камушке, притопленном в самом центре реки, среди проносящихся струй холодной воды, то и дело захлёстывающих голову.

– Представляю, – не без внутреннего удовлетворения замечаю сам себе, – как это ей видится со стороны. Ведь камушка, на котором покоится моя голова, и вовсе не видно. И как тому не удивиться: стройный и мускулистый юноша, оперевшись ладонями о поверхность воды, примагниченный пятками к небесам, стоит, аки неподвижный столп. Потоки

воды с невероятной скоростью проносятся мимо, бурунами волнуются у самой его головы, пытаются сбить и унести совершающего духовный подвиг брамина, но сила его воли и веры настолько нерушима, что ему хоть бы хны. Даже Христу было легче... Попробуй-ка на голове, не шелохнувшись... Но откуда ей – глупой девчонке, знать, что этот юноша знаменитый йог, и что это он сам себя вот так подвесил на невидимой волосинке, которая крепче и самой прочной стальной проволоки.

Такие вот мысли кристаллизовались в остывающей моей голове, приукрашивая воображение всё новыми и новыми красочными деталями; и что это уже совсем не я, а воплотившийся в мою оболочку Кришна, а может, и Гаутама Будда совершают очередные свои чудеса. И вдруг!!! Божешь ты мой, что это?! Передняя гряда гор, поросшая зарослями кизилковых деревьев и орешника, вековыми чинарами и грушами, так ясно и отчётливо видимая вот только что и вниз головой, как бы слегка дрогнула и сместилась; зарыбилась перламутровыми бликами, вытянулась от горизонта до горизонта и стала, подобно хрусталу, совершенно прозрачной. Сквозь неё, как сквозь волшебное стекло, проявились доселе невидимые скалистые горные хребты, за ними высоченные горы Большого Кавказского хребта с белоснежными пиками вершин, как бы прозрачными графическими кальками наложенные друг на друга до самой последней линии горизонта, за которой не столько виделось, сколько внутренне предугадывалось нечто схожее с бескрайним морем.

– Не может быть, – стремительным зигзагом, подобно ослепительной молнии, пронесится в моей голове, прилично уже замёрзшей от омывающей её горной воды. – Разве непроницаемое может как-то и враз сделаться прозрачным, да и ещё на такую непостижимую глубину? Как такие гранитные каменные исполины, столпившиеся друг за другом гурьбой, могут сделаться на многие километры стеклянными, висеть, подобно миражам, в воздухе? Не заболел ли я? И не грезится ли всё это в силу каких умственных или зрительных нарушений?

От переполоха, внезапно случившегося в моей голове, по причине того, что этого не может быть, потому что не может быть никогда, теряю равновесие, плашмя и спиной падаю в воду, больно ударяюсь о каменюгу коленкой, но тут же вскакиваю на ноги, дабы ещё раз убедиться, что всё это временно и только показалось, ибо мир, обратно переставленный с головы на ноги ничуть не изменился, перестал пугать своею откровенной прозрачностью, выглядел вполне даже прилично. Девчонка с противоположного бережка звонко и весело смеётся, хлопает в ладоши и даже слегка подпрыгивает, словно я какой клоун, а падение моё предусмотрено специально, чтобы по-настоящему развеселить и вызвать аплодисменты. Её, по всей вероятности, мамаша – пышнотелая дама,

белокожая аж до рези в глазах, также весело ржёт, выказывает всем своим видом необычайную радость и даже исподволь тыкает пальчиком, словно я какой диковинный зверь или действительно настоящий индийский йог, умеющий левитировать и бегать босыми ногами по воде, хотя мне совсем не до веселья. Мокрая кожа на сбитой об острый камень коленке на глазах начинает набрякать синью, увеличиваться в размерах. Но и это не самое страшное... Какое позорище!.. Холстяная верёвочка, удерживающая плавки, оказывается, совершенно лопнула, вследствие чего последние, подчиняясь напору воды, под шумок попытались было уж совсем улизнуть, и улизнули бы, случись подобное с кем другим.

– Врёшь, брат, – вовремя спохватываюсь я, – достигая беглеца в самый последний момент, выхватывая из воды, на мгновение представившись во всей девственной красе юного Аполлона.

Так вот, оказывается, что более всего их так развеселило – совершенно бурею лицом я, быстро поворачиваясь к ним задницей, – дуры невоспитанные. Мой камень созерцания, подобный мармоновскому, скорее всего, от стыда, полностью погружается в воду, словно его на этом месте никогда и не было. Натянув плавки, небрежно придерживая их, словно бы и ничего не случилось, выбираюсь на бережок, по-показному зевнув, укладываюсь на раскалённом майским солнцем плоском бульжнике.

– Что же это со мной было? – буравит тревожная мысль, – ведь не приснилось же... Совершенно отчётливо и очевидно увидел то, что ну никак увидеть невозможно, потому как противоречит элементарным законам физики. Хотя, – уже успокаиваюсь я, – что мне ваши законы физики, которые до сих пор не могут объективно объяснить природу электричества, магнетизма, природу гравитации, гравитационных полей, воздействия их на пространство и время, на материю... А домовые?... Прочий потусторонний люд?... Ведь скажи кому... Пальчиком у виска крутить будут, фантазёром обзовут. Видать, верно назидал как-то Иоаким Мудрейший, потешаясь над теми, кто никак его присутствия не замечает, и не где-нибудь, скажем, в мрачном подвале или захламлённом до невозможности пыльном чердаке, что куда бы ни шло, а в наистеснённых обстоятельствах коммунальной кухни, в самой толчее сварливых домохозяйшек, о том только и дерзающих, как бы кому поднасолить сверх того, что уже посолено и поперчено.

– Вовка! Человеческие мозги, глаза, уши и носы, коие служат для унюхивания различных запахов, как приятственных, так и не очень, устроены так, что в пору только дивиться. Всё, что не вмещается сознанием, не допускается под общерасхожим: быть не может... Чур меня... Хоть ты им разверзся с грохотом медным тазом, хари на виду всё выкраивай наипохабнейшие, козни строй... Это когда – молочным кисельком на

ступенечки, канцелярскую кнопчку под голую пяточку или локоток, да малоли... Никак не желают замечать. И вот ведь, что удивительное... Всё, что не умеют объяснить, сваливают на какую-то случайность, на какие-то стечения обстоятельств, умственные помрачения. Случаются, конечно, исключения, особенно среди тех, кто безмерно винищем приударяет. Уж кому-кому, а им-то доказывать ничего не надо: и видят, и слышат, и носами унюхивают, как надо, самым реальнейшим и наитрезвейшим образом. Но... Но помалкивают... А кому хочется – скажу тебе, Вовка, чтобы его на казённое довольствие поставили, в дурку упрятали? Вот ведь как... Я же тебя предупреждал, Вовка... В младенчестве твоём пророчил о тебе устами кота Василия Игнатыча, – презрительно морщится Иоаким, кончиком бамбуковой тросточки вычерчивая на сырой земле магические знаки – треугольнички, квадратики, круги, но какие-то скрученные, подобно лентам мёбиуса, – быть тебе Честным Сумасшедшим Человеком. Забыл, что ли? Экая невидаль, в мире иллюзорных наваждений видеть насквозь... Любому доктору, любому врачу, особенно из тех, что посмекалистей, это ведомо. Иной прищурит слегка глазик, ликом сострадательно одухотворится, глянет мельком, где у тебя что расположено в организме, и без всяких там анализов, как на духу: «Нда-а... Что ж это ты, братец, печёночку-то так подзапустил?.. Небось, остреньким и прочим... Да и мочеточничек... Ишь ведь как воспалился... Совсем скоро перекроется... Ты что же это, дружок, морковочку да редисочку прямо с грядки, да в рот? Как же нет?.. Когда песку да камней, что на морском пляже... Я что, не вижу...». Этак, Вовка, и мы могём, – пресневеет всем своим видом Иоаким, выказывая тем самым полное презрение к разного рода аферистам и шарлатанам, – у нас, у домовых, всё по-правдышнему, по-настоящему. Не ожидал я от тебя, друг любезный, что ты вот так от элементарной чепуховины духом смутишься, – как наяву услышал я голос своего стариннейшего друга, прозвучавший на чистейшем санскрите, но не из области прямой кишки, как ранее, а натурально. А я-то думал... Даже хвастался в кругу своих, что ты давно как всякую заразу насквозь зришь, потому как моя школа... А ты... Нашёл чему удивиться... За одним бугорчком увидел другой, а за ним море. Ты что, Вовка, моря никогда не видел? Это всё, скажу я тебе, от горячительной смуты, не знающей покоя башки. А вот как поостыли маленько думки в ледяной водице, третий глаз и врубился на полную катушку. Скажи спасибо, что только ушибленной коленкой да порванными семейными трусами отделался, – дробно блеет Иоаким, каким-то образом очутившийся уже рядом, сидящим на выпуклом бульжничке в позе лотоса, скрестившим мохнатые ножки и почему-то в женских панталонах, – мог бы и потопнуть.



– Во-первых, – горячусь я, – никакие не семейные трусы, а спортивные плавки.

– Во, во... – не даёт он договорить мне, – я даже знаю, в каком магазине тебе их купила мама. Это же надо такое удумать... Трусы не на резиночке, чтобы не спадали, а на тряпичных кальсонных завязках с левого боку, чтобы в экстренных случаях, не снимая штанов, иметь возможность их незаметно вытянуть через правую штанину, дабы в силу их мокроты не переохладить кое-что, сам знаешь, – многозначительно подмигивает мне. – Замечательная идея. Даже за граница до того не додумалась. А почему?.. Да потому, что народ наш относительно всяких там немчур – народ совестливый. Иной немец или француз, не говоря уж об американцах, на виду всего честного народа, такого же, как он, без стыда и совести стянет после купания свои мокрые трусы, со степенностью натянет сухие и ему хоть бы хны. А если по-серьёзному, Вовка, – преображается вдруг Иоаким Премудрый, опасливо косясь по сторонам, словно кроме меня его может кто увидеть, – то о том, что можешь зрить сквозь землю, лучше уж никому не говори, придержи до поры, до времени язык за зубами. Всё могут тебе простить, даже незнание этой самой алгебры, за подобное же «яснозрение» можно хватить такого лиха, что не дай тебе господи. Если ты сквозь горы вот так, то что для тебя кремлёвские стены... Прикидываешь... Берегись даров данайских, – уже паясничает он, по-показному кланяясь мне в пояс, растопырив в стороны свои коротенькие ручки. Запомни, Боборика, как Отче наш, запомни, кроме самой жизни, за просто так никому ничего не даётся.

Выпятив мне свой толстый и синий язык, сделав рукою неприличный жест, неожиданно и громко пукает, ту же исчезает из виду, словно его сдуло. Вопросительно смотрю на девочку, то и дело поглядывающую на меня, вдруг да ещё и подумает, что это я... Хотя, судя по тому, как они со своею мамашей ухохатывались, вряд ли существа из параллельных миров для них существуют.

Как ни странно, слова мудрейшего из домовых, противоречивые, полные нелепейших иносказаний, более похожие на полнейшую ерунду, да и ещё на древнем санскрите подействовали самым благотворным образом, переключили разбежавшиеся было мысли на проблемы сугубо земные и материальные, но совершенно не касающиеся предстоящего на завтра зачёта по алгебре. Давнишние мечтательства о шестнадцатикратном морском бинокле в лаковом кожаном чехле и с таким же ремешком плавно перетекли к прибору ещё более зоркому, а значит, и проницательному – телескопической трубе, прародителем которой был сам Галилео Галилей.

2. Мой телескоп

Прежде, чем перейти к повествованию о сокровенной мечте моего детства – телескопической трубе, вещице исключительно познавательной и деликатной, дабы не оставлять на вспаханной ниве воспоминаний своих прорех, поросших дикими бурьянами-чертополохами и прочими молочаями да суданками, хочется окончательно покончить с алгеброй, да так, чтобы сроду и не возвращаться – тудить её ясно паль в хвост и гриву, поделиться с тобою, многоуважаемый читатель, как это мне удалось, и чего моим нервам это стоило, ибо пришлось обратиться за помощью даже к тем – прости Господи мя, раба своего грешного, кого не совсем заслуженно с незапамятных времён причислили к нечистой силе.

Не знаю, как так случилось и почему так случилось, но, честное пионерское (в школе меня так в комсомол и не приняли, а потому, следуя логике, а также клятве – торжественной присяге, на конец девятого класса я так и остался юным и преданным пионером), хоть я и не Волька ибн Хоттабыч, но совершенно неожиданно даже для себя, как некогда и он на экзамене по географии заговорил не своим голосом, вернее, своим, но помимо всякой моей воли, чёрт знает что. По-честному говоря, в тот злосчастный понедельник, на который и была назначена моя переэкзаменовка по алгебре – письменный зачёт по индивидуальному билету, специально для меня придуманному, я с самого раннего утра твёрдо решил притворяться тяжелобольным человеком, в школу не пойти вообще, а там... Будь, что будет... Едва разлепив глаза, стал мучительно соображать, как бы всё это поправдивее представить, издал даже вздох, подобный стону, – печальный и протяжный, который почему-то никто не заметил.

Лёжа в постели, как лежат расслабленные болезнью, стал вспоминать, как года четыре назад по причине годовой письменной по математике пошёл на настоящее членовредительство. Насыпал полную ложку сахара, расплавил докрасна на газовой плите, ляпнул таким варевом на тыльную сторону правой руки, между большим и указательным пальцем. От нестерпимо пронизывающей боли так зашипел, что любопытная кошка Кудина, внимательно наблюдавшая за моими уму непостижимыми действиями, от неожиданности подпрыгнула всеми четырьмя своими лапами вертикально, быстрее молнии брызнула под кровать. Взвизгнув тончайшей фистулой, сунул руку под водопроводный кран с холодной водой, вместе с кожей отодрал леденец, с помощью онемевшей от ужаса и горя сестрёнки принялся старательно запеленывать искалеченную руку бинтом.

От подобных воспоминаний на душе стало муторно и горько одновременно, такая нахлынула жалость к себе – горемыке, невинно страдающему

из-за сушей чепухи по причине своей же гипертрофированной совестливости: родители педагога, мать – учительница, отец – директор школы, сын же – двоечник по алгебре, тудить её в печёнку, что от обиды, честное слово, аж в горле сдавило. Набрать бы полный ротик слюнок, да и плюнуть... Нет же... Болеть почему-то сразу же расхотелось.

– Вставай, – торопит меня мама, – в школу пора. Повтори на свежую голову всё, что тебе задала Валентина Александровна – горюшко ты моё, ведь, как пить дать, двойку за год выставит. Господи! – уже причитает она, – вот же наказание на мою голову... Неужели нельзя хоть на слабенькую, на хромую четвёрочку вызубрить...

– Чего?.. – невольно вырывается у меня.

– Какая там хромая четвёрочка, – молча изумляюсь я маминой неосведомлённостью относительно моих успехов в этом предмете, – да дай бы Бог хиленький троячок.

– Танечка! – обращается она к моей сестрёнке, – да позанимайся хоть ты с ним маленько, ведь ничегошеньки не соображает, по глазам даже видно, что ни бельмеса...

Танюшка с нескрываемой грустью смотрит на меня; ей ли не знать, что всё это тщётно и что спасти может только чудо, так как лицом к лицу с этой мымрой, когда списать – ни одного шанса, ноль вариантов, а уповать на снисхождение, на жалость... Женщина – кремь!..

От жутких переживаний и тревог в груди и даже в животе болезненно млеет, в теле, как от простудной лихорадки, лёгкий озноб, в ногах – вата.

– Эх... – надоедливой мухой зудит настойчивая мысль, – знать бы точно тот класс и ту парту... Заранее, по-незаметному, подложил бы несколько решённых и набело переписанных листочков с разными вариантами, которые она специально придумывает для двоечников, уж сколько раз получалось; дело техники. Да разве угадаешь?.. Посадит перед собой нос к носу и глаз спускать не будет. У неё к тому есть свой личный интерес...

И ведь как тут умом не озадачиться: и вроде сосредоточенно что-то решает, глаза от задумчивости закатывает, да и шпаргалок... Исходя из индивидуального билетика, как есть, всё выполнено самым наилучшим и аккуратнейшим образом... Завтра то же самое, вытяти к доске... Ни бельмеса... Это что такое? Можно только догадываться, какими смятениями переполнялась бедная алгебраичка, не умеющая никак вычислить, каким образом вот так: вчера под пристальным прицелом, глаз не сводила, а сегодня... Говорит, что совершенно забыл... С ума сойти... Ведь ни в зуб ногой...

Медленно, как на лютую казнь, иду по школьному коридору в сторону свободного на данный час девятого класса «А», куда, как сообщила Фаризка, Валентина Александровна велела прийти только тем, кто по итогам последней контрольной схлопотал очередной банан; для всех же остальных, что желают исправить на четвёрку или отлично, она велела пересдавать на завтра и в это же время, но в кабинете физички.

– Вовка, – сочувственно смотрит на меня Фаризка, – хочешь, я тебе отдам свою шпору, не насовсем, конечно, фотографическая, совсем маленькая, как гармошка? С неё что хочешь можно списать по-незаметному.

– Не поможет, – вяло машу рукою я, – у неё на меня особый зуб. Да и что толку мне с этой шпаргалки, когда ничегошеньки не понимаю, а она, уж точно, посадит на самую первую парту, глаз спускать не будет...

По коридору из буфета разносится дух жареных капустных пирожков, сквозь открытые настежь окна слышится беззаботный щебет птиц, радостные вопли первоклашек, гоняющих по школьному двору сдутый резиновый мяч. Мокрою от волнения ладонью тяну ручку двери, лоб в лоб сталкиваюсь с идущей навстречу математичкой.

– Неужели куда срочно вызвали? – мелькает спасительная мысль.

– А, Володенька, – вытягивает тонкие губы Валентина Александровна, – подожди меня в вестибюле, я сейчас.

Буквально через пять минут она спускается вниз, кивнув мне головой, быстрыми шагами направляется в сторону библиотеки, по лестничному маршу поднимается на второй этаж, сворачиваем по коридору налево. Задыхаясь от волнения и от скорого шага, спешу следом, пытаюсь даже подмечать по поводу её сумочки, которая очень модная и красивая, и ей идёт, и что мама тоже очень хотела точно такую же, но ей не досталось, потому как многие брали по несколько штук. Макаронина ядовито улыбается, энергично толкается в дверь свободного от уроков класса, тут же садится за учительский стол, роется в своей разбухшей от трагедией сумке, достаёт из бокового карманчика несколько билетиков в виде прямоугольных бумажек, мельком взглянув, протягивает один из них мне.

– Садись вот здесь, – указывает на первую парту, прямо перед собой, – надеюсь, что я не совсем бесполезно трачу своё драгоценное время на тебя?

Болезненно морщится, заглядывает в свои новенькие никелевые часики на руке, которые у неё появились совсем недавно, пристально окидывает взглядом.

– На дворе настоящее лето, а ты в пиджачке, не жарко? – иронически улыбается мне, – положи вон на ту парту, чтобы не мешал. Полагаю,

что времени у тебя, Володенька, было вполне предостаточно, примеры же, специально для тебя, – ехидно кривится губками, – выбрала самые простенькие. А что это мы вдруг вот так загрузили? Андрюшеньки нетрядышком, сестричкиродненькой?.. Кого, Володенька, обхитрить-то хочешь? Себя обхитрить? Ведь это нисколько не мне, а тебе надо знать, голубчик, – с какой-то внутренней радостью уже улыбается она, но не лицом, не глазами, как это случается у людей добрых и бесхитростных, а еле дрыгнувшими ниточками губ. – И не надо на меня смотреть казанской сиротою, – вдруг повышает голос она, – советская школа это тебе не какая-то там богадельня. Стишки кропать, да на гитарке брэнчать, небось, времени всегда хватает, – уже совсем ядовито замечает она, ещё раз скашивая глазки на свои часики, которые, как кажется, ей очень нравятся и к которым она ещё не привыкла.

И вдруг! Не знаю, не умею и объяснить этого, но словно поток живой энергии внезапно, как бы изнутри, начинает переполнять всё моё естество, мчится по жилочкам горячею струёю; необычайный прилив уверенности в себе выпрямляет плечи, гордо поднимает голову, заставляет взглянуть прямо и открыто в её холодные рыбы глаза; чувствую, как губы мои трогает лёгкая ироническая улыбка:

– Валентина Александровна, – слышу я свой голос – спокойный и полный внутреннего достоинства, – покорно прошу простить меня, что вот так непростительно эгоистично занимаю ваше драгоценное время. Поверьте, вас явно кто-то обманул, настроив против меня предвзято; искренне огорчает ваша преждевременная, ничем не обоснованная раздражительность касательно моих знаний так любимого вами предмета. Разве я вам давал к тому ныне таких поводов?

От неожиданности ли, великого ли удивления, но её лицо начинает вытягиваться, узенькие брови крутыми дугами ползут вверх, ротик, окаймлённый тонкой полосочкой напозаженных красных губ, приоткрывается в виде буквы «О», вытянутой по вертикали, на её тоненькой и худой шейке начинает пульсировать синенькая жилочка, в глазах же проявляются искорки тревоги.

– Хорошо! – резким движением ладони рублю я воздух, от чего она вздрагивает, – я настолько проникся уважением к вашему предмету, что готов отвечать на любой из заданных мне вопросов и не только письменно, что, согласитесь, займёт несколько больше времени, но сразу и сейчас, без всякой подготовки. Но, – тонко улыбаюсь я, – прежде, чем дать исчерпывающие ответы на столь мудро составленные лично для меня алгебраические примеры, разрешите мне, Валентина Александровна, сначала коснуться истории возникновения на земле этой прекраснейшей

из наук, её целей и задач, а также, что для меня лично очень важно, конечно же, не без вашего вспомогательного участия, – многозначительно смотрю на неё, – что есть сама по себе логика математическая?

– Что-о-о? – не без изумления, крайнего, замечу, изумления, выставляется на меня Макаронина, привставая со своего стула и даже слегка подаваясь всем своим плоским корпусом вперёд.

Словно и не замечая её изумлений, тонко улыбнувшись, как это умеют делать люди очень образованные и воспитанные, тут же продолжил.

– Кстати... Хочу поделиться, а заодно и порадовать вас, свою учительницу, за то, что благодаря педагогическому упорству вашему, уравнение бесконечно малых чисел Пьера Ферма наконец-то разрешилось. И ещё, – многозначительно поднимаю вверх палец, – теорема Пуанкаре, за решение которой объявлено достаточное вознаграждение, ментально, подчёркиваю, ментально мною уже логически завершена, осталась самая малость: представить всё это наглядно на бумаге в виде цифровых выражений и чисел. Крепко подумав, ну какой же я математик, когда поэт и музыкант, пальму первенства решил оставить математику – бескорыстнейшему человеку, надо признаться, и не без странностей – Григорию Перельману, который всё это блестяще оформит, но не сейчас, когда только тысяча девятьсот шестьдесят шестой год, а в двухтысячном. Вот радости-то будет, – хлопаю в ладоши я, – полные штаны.

– Какие штаны? – уже бледнеет Валентина Александровна, пристально и напряжённо вглядываясь в мои глаза, медленно отодвигая в сторону оказавшуюся на столе поллитровую бутылку с чернилами и картонную коробочку с плакатными перьями.

– А разве я хоть словом обмолвился про штаны? – не без тревоги переспрашиваю математичку, на всякий случай приподнимая крышку парты, держа под пристальным прицелом эту самую бутылку с фиолетовыми чернилами. – Впрочем, – опять не своим голосом продолжаю я, – штаны в этом деле если и играют какую роль, то самую незначительную, посредственную, можно сказать, роль. Не будем отвлекаться на эти самые штаны знаменитого геометра Пифагора, которые, как всем давно известно из школярского стишочка, на все стороны равны. А почему, спросите вы, они вот такие, то есть на все стороны?.. – с нескрываемым интеллектуальным превосходством задаю я вопрос Макаронине, на который, не дав ей опомниться, встав в менторскую позу, сам и отвечаю. – Да всё потому, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, вот почему... Но всё же, – задумчиво скребу свою тыковку, – коснёмся истории, истории личностей, что так положительно внесли свою лепту к пониманию, что есть из себя эта самая математика – точнейшая из

наиточнейших наук, хоть сами и были философами. Чем вам не хорош Платон? А Аристотель? – наиядовитейшим образом улыбаюсь я, – а узбекский математик из Хорезма Аль Хорезми?.. – взяв с парты билетик, с вытянутой перед собой руки начинаю как бы с него считать, – или, к примеру, великий энциклопедист Бируни, не говоря уж о Улуг Беке из Самарканда и Авиценне Ибн Сина... Так как математика только тем и занята, что постоянно что-нибудь да доказывает всем остальным, коснётся её логики, допускает ли эта самая её логика такие понятия, как абстракция? Вопрос, конечно, очень даже интересный. Разве вам это не интересно, Валентина Александровна¹? – стал наступать я на перепуганную до смерти математичку, робко отмахивающуюся от меня своей длинной и тонкой ладошечкой, свернутой в подобие лодочки, – думаю, что очень даже интересно.

И тут того, кто вселился в меня, замечу, вселился без всяких на то согласий с моей стороны, понесло. Он так научно распоясался, что ей-богу, даже мне, отъявленному троечнику, почти двоечнику, стало за него стыдно. Но что я мог поделаться против напасти нечистой силы, взявшей под уздцы не только мою речь, но и все движения природы:

– Не обойтись нам и без алгоритмов Эвклида, ибо уже само понятие это ого-го!.. Сама основа. Без того, – замечу вам, – не решить и простейшего дифференциального уравнения, не говоря уже о задачах, к доказательству которых требуются сотни тысяч элементарных операций.

Заглянув в свой узенький билетик с тремя простенькими задачками, придуманными лично для меня, выкраиваю одухотворённую мину, твёрдо и уверенно произношу:

– Итак... Приступим.

Но приступить не пришлось. Валентина Александровна Моисеенко в полуобморочном состоянии дрожащей дланью тянется к моей бумажке, другой рукой как-то робко и суетно указывает в сторону двери, не своим голосом почти стонет:

– Ступай, Володенька, ступай, ты очень даже хорошо подготовился. Честное слово, и пятёрки не жалко. Отдыхай, Володенька, отдыхай, – машет на меня она своею лапкою, – на гитарке, стишки разные... А об этом и не думай, – ещё отчаянней машет ручками, запихивая поллитровую бутылку с чернилами в свою модную сумочку, нечаянно опрокидывая коробочку с плакатными перьями себе под ноги. – Ступай, Володенька...

¹Фамилия учительницы в силу определенных этических причин изменена (авт.)

Низко откланявшись, шаркаю ножкою, отчаянно, как это делают психи ненормальные, дёргаю головой, с достоинством покидаю класс, плавно и бесшумно затворяю дверь; забыв пиджачок и логарифмическую линейку – чёрт с ними, молодым жеребцом скачу по коридору, по каменным ступеням вниз, вон из школы, туда, где май, где зелёные листья каштанов, розовеющие предзакатные облака, стремительный полёт птиц, Вольная Воля!

– Иоаким! – трубно и во всё горло кричу в небо, сложив ладошки рупором, – твоих дело рук?!

– Невежа... – мурашками доносится внутри самого себя и из области живота, как у чрево вещателя, – во-первых, не рук, а мыслей. Во-вторых... Опять хочешь спереть всё на меня? Это с тобою от страха да от нервов такое сделалось. Поверь, даже я – живой свидетель разговора молчаливых камней, изумился твоим познаниям, твоему красноречию. Выходит, ты специально вот так дурака валяешь, чтобы не подумали, что умный? И в-третьих, запомни и заруби на носу: незнание чего-то не есть предмет огорчений, набери полный ротик слюнок и плюнь, да так, чтобы с брызгами, на тех плюнь, кто полагает, что он истинно учительствующий, истинно назидательный, истинно знающий, на тех умников-заумников, что держатся очевиднейшей глупости, думая, что благодаря чужим научениям можно сделаться действительно мудрым, ясно отличить свет от тьмы, добро от зла.

Гуляй, Вовка, на все четыре стороны. Каникулы!

3

Огранщики драгоценных камней, а также хрусталя и фальшивых, под бриллиант, стёклышек в поисках несбыточных иллюзий пленить и сам свет, заставить его блуждать в лабиринтах граней, отражаясь искорками счастья, так в том преуспели, что неожиданно сотворили кабошон. Гладкий и полированный, подобный прозрачной капельке утренней росы, он и явился тою увеличительною линзой, глядя сквозь которую можно было не без великого изумления заметить, что окружающий нас мир не совсем таков, каким представлялся раньше, позволил ранее невидимое сделать видимым. Но и это ещё не всё.

В жаркий солнечный день посредством подобного волшебного стёклышка без видимых усилий можно было добыть огонь. Ну разве это не волшебство?! Разве это не есть настоящее чудо? А зрение... Был близоруким, стал дальнозорким, подглядывал в секретную щелочку, рискуя получить в глаз, стал безопасно любопытствовать в специальную оптическую трубку, и на очень далеко. Солнечные лучики в кабошонах

не огранялись и не ломались на все стороны, как пьяные, обрета долгожданный покой, способствовали всякому созерцающему сквозь эти стёклышки увидеть то, что ему и хотелось бы увидеть; тем же, чья тонкая психика склонна к расшатыванию, позволили узреть не только ангелов небесных, но и богомерзких бесов. Каждому своё. И, хотя огранщики драгоценных камней, а также обыкновенных бутылочных склянок, выдаваемых порою доверчивым простакам за алмазы и изумруды, не ставили перед собой таких целей, руководствуясь исключительно одним блеском и красотой, не будь ими накопленного опыта, смог бы разве Антони Левенгук сообразить, как сделать себе микроскоп? Спорно... Очень даже спорно. А так... Малюсенькую стеклянную капельку в виде шарика заневолил между двумя медными пластиночками с насквозь пробуравленными дырочками, куда и нужно пристально глядеть, склепал всё это заклёпочками, ручечку приспособил, вот и весь прибор под названием микроскоп. Глянул через стёклышко на свои ухоженные ноготки, да так и обмер.

– Господи! Что же это на белом свете-то делается, – прошептал побледневшими от страха губами, – как может быть такое вообще? Откуда и взялись эти твари с многочисленными щупальцами, что только и знают, как пожирать себе подобных да множиться, ведь это чёрт знает что...

Ни в одной из пятидесяти глав Библии от Сотворения и словечком не обмолвлено, что они, как и всё Духом Животворящим сотворимое, есть Божие.

– Как же это так? – усомнился было Левенгук, – не может быть такого, в глазах мерещится. От огорчения и досады даже сплюнул, – экая зараза!..

Решил перепровериться; мало ли козней от дьявола... Помазал собственной слюной по стёклышку и ну исследовать тщательно и без всяких пристрастий, как и следует настоящему учёному.

– Божешь ты мой! – завопил от изумления ещё более. – Брюхоногих, с множеством глаз на заднице и даже покрытых дремучей шерстью, других, чей образ и описательству-то не поддается, целое стадо, так и прут из всех щелей, так и шевелятся по-разному. Это что же такое, – неожиданно затошнило исследователя, – это, выходит, я этими тварями весь переполнен?.. Выходит, они во мне живут, жрут, что ни попадя, паруются самым скотским образом, множатся, а я и не подозреваю?.. Так вот почему по утрам порою во рту так нехорошо, словно бы скверно, – мелькнуло в его исследовательской голове, – ведь они, эти животные, поди ещё и гадят, где попало?.. Фу ты, – с отвращением отшатнулся от опытного стёклышка Антони, – мерзость-то какая.

Дабы совсем не расслабиться животом и не вылиться от тошноты наружу поспешил в поварскую заедать лимоном.

Было бы начало... Впоследствии, ещё более усовершенствовав свой микроскоп, а вернее, одноглазую лупу, со своим учеником Гамом – таким же любопытствующим, открыл его величество Сперматозоид и её величество Яйцеклетку. Трёхсоткратное увеличение предметов... Это вам, друзья, не шутки. Ревностные в устоях веры католики и не только попытались было воспрепятствовать как-то распространяющемуся учению о микроорганизмах, представить всё происками демонов и их служек, ибо на человеке – подобии и образе самого Творца – никак не дозволено ютиться нечистым животным, да где там...

При наитайнейшем, наисекретнейшем исследовании самого Папы, – таково было его божественное соизволение относительно собственной персоны, в представленном им самолично так называемом мазке обнаружили яички ещё пока не вылупившихся глистов. Не имея научных доказательств относительно этих самых яичек, и что это за такие яички, и не змеиные ли, эксперимент с наместником божьего престола строжайшим образом ещё более засекретили, чтобы никто и никогда не смог его рассекретить. Папу экстренным образом стали излечивать малыми дозами царской водки, перед которой и благородное золото не может сдюжить, начинает растворяться. Вследствие того ли, но подозрительные яички сначала перестали умножаться, а потом и вообще напрочь исчезли. Как ни странно, но излечившись от аспидов, через совсем малое количество времени совершенно здоровеньким наместник престола Петра и Павла отдал Богу душу, почил в бозе.

Так это было на самом деле или иначе, ведь всем известно, как люди врут, но великому нидерландцу перестали чинить козни; одноглазый микроскоп, не без стараний тех же огранщиков, которые стали именовать себя шлифовальщиками и даже полировщиками линз, впоследствии переродился в дальнотрубную трубу – любопытную и подозрительную, посредством которой можно было наблюдать не только разного рода небесные тела, движение по орбитам планет, особенно такой непорочноблистающей, как таинственная луна, лик которой при сильном увеличении почему-то изрывался оспенной болезнью, но и нечто иное, не менее волнительное, наблюдать, как целомудрые девы-монахини в чём мать родила плещутся в своём монастырском пруду, а весёлые и богомольные пьяные монахи радуются жизни.

Разве подобные открытия посредством умножительной трубы не должны быть достоянием прогрессивной части общественности? И разве линза не есть тот же магический кристалл, в который так проникновенно

вглядывался сын Давида от Вирсавии Соломон – царь Израиля, прозревали будущее халдейские маги Вавилонии, персидские волхвы?.. Выпуклые и полувыпуклые, вогнутые и полувогнутые, положительные и отрицательные стёкла сотворили настоящую техническую революцию. Человечество настолько прозрело вглубь и вширь, настолько прониклось полезностью к обладанию подобными штуковинами, такими, как очки, окуляры, пенсне, лорнеты, а позднее и театральные бинокли – разукрашенные перламутром и на золотых шнурочках, что, казалось бы, и не представляло без них жизни. И армии, и флоту, и любителям зрелищ, кому хочется видеть всё своими глазами и очень близко, уж больно эти оптические приборы приглянулись. Театральным биноклям, правда, не стали придавать сильной дальности по причинам чисто эстетическим; кому, скажете вы, захочется увидеть любимейшую актрису – этакого ангела безвоздушного с наштукатуренной до невозможности физиономией, кривенькими кариесными зубками, сморщенной, как у саламандры, кожей на шее, а совсем юного короля Карла Великого припадающим от почтенного возраста то на одну, то на другую ногу и явно того... Не отобьёт ли подобное, увеличенное до размеров большой тыквы, желания вообще посещать оперу, а тем паче балет, где в пылу танца – этаких невероятных кружений и скачков – может промелькнуть и не такое?.. А потому театральные бинокли слабые, совсем лишены дальности, к тому же ещё и мутненько видящие.

4

Как и большинство, я не стал тем исключением из флегматиков, которые питают полное безразличие к микроскопам, подзорным трубам, биноклям, телескопам и прочим штуковинам. Наоборот, желание иметь что-то вроде этого было столь великим, что я самонадеянно решил сам себя попробовать на этой стезе, собственноручно сделать сначала микроскоп Левенгука, а потом и увеличительную трубу Николая Коперника.

– Если учесть, – оптимистично мыслил я, – что Антони жил и творил в конце семнадцатого – начале восемнадцатого века, а я аж во второй половине двадцатого столетия, то и интеллектуальное, и техническое преимущество явно на моей стороне. К тому же... В журнале «Юный техник» словно по моему заказу появились, как казалось мне, подробнейшие чертежи этого самого микроскопа Левенгука, из каких материалов его нужно сделать и каких ошибок в работе следует избегать, чтобы воочию убедиться, что и через такой простенький прибор, если всё правильно сделано, можно увидеть то, чего невооружённым глазом

и даже через школьную четырехкратную лупу ни в жисть не рассмотреть, хоть выпяти глаза раком. Идея настолько увлекла, а было это где-то в классе пятом-шестом, а может быть, и в седьмом – какая в том разница Мальчику без времени, что потерял всякий покой и даже аппетит.

– Мне бы только такую линзу заполучить, – мысленно страдаю я, – остальное уж как-нибудь, но справлюсь.

– Дело в том, Боборика, – философствовал Иоаким Мудрейший, внимательно рассматривая через битую склянку зелёного цвета мой чертёж, – по большому счёту, микроскоп этого самого Левенгука вовсе и не микроскоп, а так, одно недоразумение... Где это видано микроскопу быть с одним стёклышком? Чего врать напраслину, присваивать себе первенство изобретения, которое было придумано пропасть лет тому назад неизвестно и кем. Усовершенствовал обыкновенную лупу, а обозвал микроскопом. Микроскоп, Вовка, – отрывается от своего стёклышка домовой, – даже самый простенький, устроен гораздо сложнее. Мой дедушка был самый лучший в мире делатель микроскопов, а потому, хоть обижайся, хоть не обижайся на меня, а микроскопа тебе самому никогда не сделать. Где, скажи ты мне, друг любезный, а вернее, как, спрошу я у тебя, ты сделаешь отрицательную линзу с обратно выгнутым стёклышком? Ты хоть представляешь, что есть из себя эта самая линза? Аль Даут Буруни из Багдада, к которому я обратился с этой просьбой, а всё потому, что хотел угодить своему дедушке, хоть и слыл отменнейшим шлифовальщиком драгоценных камней и серебряных зеркал, и то напортачил. А почему? Да потому, скажу я тебе, что как и ты, и самого малейшего представления не имел о диффузии света. Не микроскоп получился, а сплошная иллюзия; на что ни глянь – сплошные радуги. И не перебивай меня, пожалуйста, – сердито морщится он, с ещё большим усердием вперившись в страничку моего журнала через осколок битой склянки, – невозможно заниматься...

И хоть его я вовсе и не перебивал, молчал, как рыба, зная сварливый характер домового, предпочёл на его выпад никак не отреагировать.

– Запомни, – уже миролюбиво говорит Иоаким, – законы оптики, одни из самых загадочных законов; свет – это тебе, мил человек, не халам-балам. Уже одно, как избежать диффузий на границе спектров света, может поставить изобретателя, такого, скажем, как ты, – криво ухмыляется, – в полный тупик. Зная, как у тебя туго в области точных наук, научу, как это всё сделать по-простому, без всяких там формул и расчетов. Первое, – загибает он свой пальчик, – чем прозрачнее и чище материал, из которого ты хочешь сделать эту самую лупу Левенгука, тем лучше. Второе, крепко запомни, – звонко шлёпает ладошкой по своему

крутому лбу, – чем больше кривизна этого стёклышка, тем больше его разрешающая способность. Понял?

Не дожидаясь ответа, тут же за меня и отвечает:

– По глазам вижу, что ни черта не понял... Объясню коротко, просто и доступно... Чем меньше по диаметру стеклянный шарик, из которого следует вышлифовать хрусталик, то есть эту самую лупу, тем больше его способность увеличивать. Всё, что просто, то гениально, Вовка, а ты много мудствуешь. Если бы слушал учительствующих, как надо, то не запустил бы эту самую алгебру до непролазных бурьянов-чертополохов, тебе бы, и это уж точно, и в голову не пришло бы взяться за этакое дело... Ни одному отличнику, уж поверь мне, и в ум не влезет своими двумя ручками, да из подсобных материалов, да и ещё на кухне точить себе оптический прибор для близкого рассматривания паразитов. Зачем тебе всё это надо? – не без сарказма спрашивает домовой, скосив свою голову набок, буравя меня своими колкими глазками. – Нашёлся мне Кулибин... Повышибаешь когда-нибудь глаза со своими опытами. Кстати, – совсем по-детски загорается вдруг он, – тебе, я думаю, будет очень даже интересно; микробу, конечно, не увидишь, но увеличивает о-го-го! Можешь поверить, хоть сейчас... Ведь, кажется бы, малюсенькая дырочка, а поди ж... В непроницаемой для света чёрной бумажке проткни тонюсенькой иголкой отверстие, махонькое-махонькое, и гляди на все четыре стороны без всяких увеличительных стёкол. Сдались они тебе...

– Куда гляди? – с изумлением переспрашиваю я.

– Как куда? – непонимающе моргает глазками Иоаким, – в дырочку эту самую, которая пробуравилась, в неё и зырь в оба.

– И что? – не без сомнений гляжу на него, думая, что он, как всегда разыгрывает .

– Как что?.. – самые наимельчайшие буквы, меньше муравьиного глаза, можно без труда различить, вот что... Как это получается, скажу по-честному, я и сам не знаю, – признаётся домовой, когтистыми пальчиками скребя свою макушечку, – но полученный таким образом опыт наводит на философские рассуждения относительно болезненно-любопытствующих граждан, что хлебом не корми, водой не пои, дай только подсмотреть в специально пробуравленную дырочку сарая ли, забора ли для тайного определения: чем там у себя на подворье занимается сосед, не спёр ли у государства того, что самому не удалось спереть, не гонит ли нарком самогон в количестве, превышающем разумные для него потребности, не ворует ли как электрического тока напрямую с рядышком стоящего столба, ловко и по-незаметному накинув на провода уздечку?

Непроницаемая для света чёрная бумажка с банальной дырочкой посередине нисколько не отбила желание сделать своими руками микроскоп Левенгука. К тому же... Через неё, как ни наострой глаз, всё равно сроду не увидишь даже самую откормленную и жирную инфузорию туфельку. Как посоветовал самый преданный и закадычный друг Андрюша, – его мама преподавала в нашей школе химию, – чтобы изготовить нужную мне линзу, необходима тонюсенькая капиллярная трубочка из чистого химического кварцевого стекла, газовая горелочка и бархатный алмазный надфилёк, который можно найти только у ювелирного мастера.

Трубочку толщиной с соломинку, и не одну, на другой же день мне принёс Андрей, выклянчив их у мамы, объяснив ей, что они мне нужны для очень важного научного прибора, с помощью которого можно во всех мельчайших подробностях разглядеть настоящую микробу и даже её маленьких деток. Не знаю, поверила ли Галина Георгиевна в то, но факто остаётся фактом, не пожалела, три трубочки передала через него мне. Надфиль, не навсегда, конечно, выпросил у Вовки Гавроша, он его без разрешения спёр у отца – человека исключительно мастеровитого, имеющего в специально хранящемся ящичке такие удивительные инструменты, что с ума сойти... С газом так и вообще никаких проблем... Дома аж целая четырёхконфорочная плита. Полосочку меди нужной толщины выпросил у электромонтёра дяди Саши. Таких в распределительных электроподстанциях сколько душе угодно, и даже про запас; это когда где-то и что-то там коротко замкнуло, а контакт возьми да и расплавься.

Не скрою, одна из серьёзнейших моих проблем, которую я не изжил и поныне, заключается в том, что художественная сторона, чем бы я не занимался и что бы я не вытворял, настолько начинает доминировать над практической и утилитарной, что, вопреки всякой разумности, вырытая в земле яма, предназначенная, пардон, под обыкновенный деревенский нужник, превращается в идеальный куб с гладко отшлифованными стенками и рёбрами, что натянутые струнки, самодельная дворовая метла из тоненьких прутиков талинника с ошкуренной до зеркального блеска деревянную ручкою – в современное произведение искусства. И так во всём.

Музыкальный инструмент, коряво и небрежно выполненный, никогда не зазвучит красивым голосом, хоть ты и соблюди все наимельчайшие технические нормы. Красота – дело великое! А потому, и не сумасшествие ли, в угоду красоте я готов пойти на любые жертвы: так приукрасить вещь всякими душевностями да художественными тонкостями, что уж точно: из ружья никому и не придёт в голову стрелять, а саблю крошить в капусту.

Изготовление оптики – так называются разнообразные стеклянные штуковины, без которых не бывает ни биноклей, ни телескопов, ни микроскопов, дело настолько тонкое и деликатное, требующее максимального внимания, что я почти и не дышу, склонившись над плитой, кручу тонюсенькую трубочку над самым кончиком языка газового пламени, вижу, как стеклянный кончик начинает оплавляться, округляться в малюсенькую огненную капельку, которая вот-вот отделится и уже отделяется, зависая над огненной гееной на тонюсенькой, подобно паутинке, хрустальной ниточке, и сейчас сгинет, но в последний миг без резких движений плавно отвожу руку в сторону, вывожу сверкающий шарик от действия губительного огня, даю возможность медленно остыть.

На моей ладони, подобно волшебной хрустальной росинке, покоится само совершенство, почти готовая линза для моего микроскопа: с тонюсеньким мышинным хвостиком с одного боку, который осталось аккуратнейшим образом спилить надфилем, а место спила заполировать нулёвочкой, она мне напоминает мистическую бякушку на перстеньке Иоакима Премудрого, выполненную из белого металла, так похожую на лягушачьего головастика, хвостик которого свёрнут в виде латинской буквы «S».

– Что это? – спросил как-то я его напрямик.

Видно, не ожидая от меня подобного вопроса, он с великим вниманием стал рассматривать это самое изображение, вертеть перстёнок и так, и сяк, и даже пытался снять с пальчика, но только для виду, наконец-то, поозиравшись по сторонам, решил:

– Ты ведь никому не расскажешь? – доверительно смотрит мне в глаза, – учёные, по глупости своей обозвали это великое вселенское существо уничижительным – сперматозоид, хотя на самом деле имя ему совсем другое. Но я тебе его не скажу...

На моё обиженное – ну и не надо... Не хочешь рассказывать – не рассказывай – так надулся от распираемой его тайны, что первым, без всяких настаиваний с моей стороны, не выдержал, по секрету и рассекретился. Теперь, и это на полном серьёзе, я один из тех немногих, а значит, особо печальных, кто познал Имя, в котором завершено всё, хотя Сам Он есть Пустота. Но вам не скажу; слово дал... Да и хорошо ли увеличивать на земле этой печаль?..

На всякий случай, про запас, выплавляю ещё несколько штук. Как ни странно, они, пусть и на самую малость, но отличаются друг от друга по размерам, а последний шарик так и вообще, вопреки силам гравитации, получился расплюснутым.

– Ничего, – успокаиваю сам себя, – из такого количества химического стекла трубочек, которые подарил мне Андрей, хватит и на сто микроскопов этого самого Левенгука.



Корпус моего прибора собственноручно и не без художеств выделанный из благородной меди, уже готов. Отполированный до зеркального блеска – характерный почерк всякого ордена Иллюзионистов, блистает самым настоящим золотом. Осталось в нужном месте пробуровать дырочку, чуть меньше размера линзы, чтобы она, стиснутая двумя пластинками, не выпадала; всё это при помощи специальных медных заклёпочек склепать воедино. Справившись и с этими работами, ещё раз пройдясь по всей поверхности изделия суконочкой, чтобы блестело ещё шибче, с восхищением смотрю на готовый микроскоп.

– Божешь ты мой! Красота неопишная! Малюсенькая линзочка на полированной поверхности меди блестит, как настоящий алмаз... Какой там алмаз... Лучше, в сто раз лучше и благороднее, чем любой алмаз, – небесная звезда Сириус! – неожиданно приходит в голову поэтическое сравнение. – Ай да микроскоп... Ведь это же надо, вот так... Ай да, Боборика!

А как же им пользоваться-то? То, что он страшно увеличивает, убедился сразу же. Сахарная крупинка, на которой я попытался как-то сфокусироваться, тут же заполнила собою всё пространство линзы, радужно блеснув, превратилась Бог знает и во что.

– Как же им пользоваться-то? – не без досады уже рассуждаю я, – когда от малейшего колебания руки всё куда-то разлетается к чёртовой матери, микробы, как угорелые, разбегаются в разные стороны, не поддаются никакому моему научному исследованию, ведут себя крайне вызывающе.

От опаленного над газом вихрастого чуба моего несёт палёной курицей, по лицу течёт обильный пот. В журнале же «Юный техник» о том, как им пользоваться по прямому назначению, не сказано и слова.

– А что... По-честному разве нельзя было предупредить, – чуть не плачу я, – что к микроскопу, так по-правильному мною сделанному, нужен ещё и какой-то штатив, и предметный столик в виде стёклышка, и сфокусированный на нём солнечный зайчик от специального зеркальца. Разве нельзя было об этом заранее предупредить?..

Отец, которого, судя по выражению его лица, микроскоп мой не только заинтересовал, а крайне заинтересовал, вертит изделие в руках, рассматривает на просвет, это когда линза вспыхивает от света окна подобно маленькой звёздочке, сравнивает с картинкой из журнала.

– Ведь надо же!... А я было думал, что ты, кроме рогаток, поджигов, да дымовух из этих самых фотографических плёнок ничего мастерить и не умеешь, – специально подзуживает меня, как бы забыв про тот кухонный табурет, совершенно новенький, который он нечаянно распилил напополам ножовкой вместе с куском фанеры, по причине которой

этого табурета было не видно. А кто его отремонтировал, пока не заметила мама? Да конечно же, я. Стал ещё красивее прежнего.

Сверившись с картинкою подлинного микроскопа Антони, не без удовольствия замечает, что мой ничуть не хуже, а по внешнему виду гораздо красивее и элегантнее.

– Вон, как блестит, – удовлетворённо шуруется папа, – ты его, случайно, не из настоящего золота сделал?.. Кому покажи, – уже хвалит папа, – что вот так, без всякой помощи, из подручных материалов, на кухне... Ну... Просто молодец... Изготовление только одной линзы, да вот такой крохотной, поставит в тупик и большинство взрослых. А ты справился. И, как вижу, весьма недурно справился. Сам так догадался, или?..

По-честному признаюсь, что как выплавить такую линзу, прочитал в журнале, а вот с материалом помогла Галина Георгиевна – мама Андрюши.

– Давай, – говорит папа, смотрит на свои часы, – сегодня, правда уже некогда, а завтра... А завтра пойдём в Детгиз, знаешь, где кинотеатр «Победа» на Кабардинской, и посмотрим настоящий ученический микроскоп. А почему бы и нет?.. – как бы сам перед собой оправдывается папа, – раз есть такое увлечение этими самыми микробами. Если не очень дорого... Возьмём да и купим.

Микроскоп мне почему-то уже расхотелось. Рассматривать всякие бякушки: яйца глистов, бледных спирохет, глазки нитевидных червей... При моей впечатлительности и пламенной возбудимости... Ведь, поди, точно замутит. И вообще... Микробиология – это не для меня. Моей целью было сделать своими руками настоящий микроскоп, с которой я и справился; смотрят же в него пусть другие. Пользуясь душевным расположением отца, прошу его вместо этого ученического прибора купить лучше телескоп, а на худой конец сильную подзорную трубу, хотя бы такую, какая была у Николая Коперника. Папа от изумления разводит руками в сторону, молча меряет меня с ног до головы, кажется, даже теряет от такой наглости и дар речи.

– А ты... Ты хоть представляешь... Хотя имеешь малейшее представление, сколько стоит телескоп, пусть даже самый любительский, самый наипростенький, если можно это так назвать, не говоря о настоящем, предназначенном для учёных-астрономов?

Я задумываюсь; сумма в сто рублей мне кажется мерилom всего и вся для подобного рода вещей.

– Ну, не автомобиль же, в конце концов, этот самый телескоп, – рассуждаю я, – чего в нём такого? Труба, да несколько специальных стеклянных линз, выстроенных в рядочек, да крутилка с маленькою лупою для настраивания на резкость, чтобы всё ясно видеть. Вот и всё...

– А сколько же она, по-твоему, может стоить, – переспрашиваю я у отца, – если настоящий морской бинокль в наших «Культтоварах», который увеличивает аж в двенадцать раз, стоит сорок семь рублей тридцать шесть копеек, да и ещё вместе с кожаным футляром? А тот, который полевой, всего тридцать восемь с полтиною – восьмикратный... Специально интересовался...

– А вот скажи мне, – по-хитрому улыбается папа, – за какую бы цену ты согласился продать, а хочешь – уступить свой микроскоп Левенгука? Ведь, согласишься, он чего-то да стоит?

– Ну... – лихорадочно соображаю я, искоса поглядывая на своё драгоценное изделие, почти как золотое, с вкрапленным поблёскивающим бриллиантом, элегантными выпуклыми заклёпочками, фигурной ручечкой, зарифлённой в сеточку гаврошевским алмазным напильничком, – уж наверняка, наверное, не три рубля и даже не пять... Мой микроскоп уникален уже тем, – принимаюсь философствовать я, – что до единой детальки выполнен вручную, совершенно ни капельки не похож на тот, что на картинке в журнале. К тому же, – с полной уверенностью уже вру я, – чистая медь, как и бронза, ничем не уступают настоящему золоту, такая же тяжёленькая и блестящая, если хорошенько сгладить бархатным напильничком и надраить суконочкой. Мне, – ещё больше завираю я, дабы представить цену своего изделия в самом выгодном свете, – медь даже больше нравится, чем золото, а значит, мой микроскоп никак не может стоить меньше восьми или семи рублей. Хотя если бы кто прямо вот сейчас захотел бы купить, то, пожалуй, за пять рублей сорок две копейки уступил бы.

– А почему ещё и сорок две копейки? – с удивлением спрашивает папа, не понимая логики вот такого торга.

– Да потому, – отвечаю я, – что столько стоит настоящий, но маленький одноцилиндровый бензиновый моторчик, который можно приспособить куда угодно; хоть на кордовую модель самолёта или на катер, и даже на гоночную машинку.

Отец молча достаёт из кармана деньги, отсчитывает два зелёных тройка, сворачивает вдвое, запихивает в нагрудный карманчик моей рубашки.

– Не жалко?.. А то смотри...

Микроскопа мне, конечно же, очень жалко, но гигантские деньги и этот восторженный внутренний голос: «Дубина! Соглашайся, пока отец не спохватился и не передумал; такие денжищи... Такие денжищи! С твоими руками, да вот таким горением хоть каждый день по одной штуке...».

– Считай, – серьёзно говорит папа, укладывая мой микроскоп в боковой карман своего пиджака, – что это твой творческий гонорар. Думаю, что эти деньги ты употребишь с пользой и по назначению. Твоё же изделие, как реплику с подлинного прибора великого исследователя Антони Левенгука, мы с тобой передадим в кабинет физики средней школы номер пять города Нальчика.

– Моей школы, что ли? – изумлённо переспрашиваю я.

– Твоей, твоей, – утвердительно кивает головой папа, – оформим самым надлежащим образом и передадим по акту, как в музей, где, то есть в этом самом документе, и будет всё досконально отражено: копия первого в мире микроскопа Антони Левенгука, выполненная в натуральную величину из подлинных материалов знаменитым мастером Боборикой Нальчикским... Ну, что ты так смотришь на меня, – смеётся отец, – раз есть Эразм Роттердамский, Савл из Тарси, Александр Македонский, Дмитрий Донской, кто там ещё... Ага... Семёнов Тянь-Шанский и прочие Гималайские, то почему бы не быть Боборике Нальчикскому? Далее всё по-настоящему: закупочная цена экспоната – пять рублей сорок две копейки, твоя личная роспись, дата, месяц, год. Сдачу в пятьдесят восемь копеек можешь не возвращать, это тебе от меня как премиальные. А хочешь... И за просто так подарим? – серьёзнейшим образом смотрит на меня.

– Как это за просто так? – переспрашиваю я, пытаюсь определить: действительно ли он так говорит или шутит?

– За здорово живёшь! – весело смеётся папа, видя на моём лице тени замешательства, которые уж никак не скрыть, ибо отдавать за что-то, чем за просто так, всегда почему-то веселее. – Тогда, – продолжает папа, – уж извини, денежки... Сам понимаешь...

Дарить за здорово живёшь такую драгоценность мне, по-честному говоря, не очень-то хотелось, с другой же стороны: родная школа, нечестно как-то, где же твои чувства патриотизма... Иду на лукавство, предлагаю свой микроскоп купить ему для своей школы как директору, а дабы кто ничего дурного не увидел в этой сделке, ведь как-никак, а сын, подумают ещё, что спекулянт какой, приобрести от имени Вовки Тактаева – Гавроша, который, кстати, глядя на то, как у меня всё это здорово вышло, сам решил смастерить такой же.

– Хитёр, братец, на мякине не проведёшь, – хлопает по плечу отец, – по поводу закупки, я, конечно же, пошутил; покажу своим преподавателям по трудам как образец, интересно же, когда ребята не просто так, а своими руками... Относительно же телескопа надо подумать. Купить даже и не мечтай; самый простейший, как минимум, на рублей шестьсот-семьсот потянет. А вот, скажем, на время, пока школьные каникулы, могу

поговорить с Андрианом Николаевичем, он в нашей школе ведёт кружок юного астронома. Обязательно поговорю. А про бензиновый моторчик... Штука очень даже опасная... Вроде такой маленький, а силище... Одному пацану пальцы так пропеллером поотшибало, что месяц в гипсе ходил. И это ещё хорошо отделался, говорят, могло и совсем оторвать.

– Как же оторвать?... – бледнею я.

– А вот так... Стал заводить при помощи этого самого дюралевого пропеллера, крутанул, а моторчик как неожиданно рыкнет, как рубанёт по костяшкам, так аж брызги... Я, конечно, – серьёзно говорит папа, – не настаиваю, но смотри...

Приобретать столь опасную для жизни вещь как-то сразу же расхотелось, неожиданно даже для самого себя, за шесть рублей в «Спорттоварах» купил себе пару настоящих боксёрских перчаток тёмно-коричневого цвета. А всё одноклассник Вовка Калмыков, которого мы все в классе звали Мычей, он соблазнил. Идёт, значит, по городу, а на плече связанные шнурочками перчатки, точь-в-точь, какими дерутся боксёры на ринге, и совсем новенькие, аж блестящие.

– Вот, – небрежно кивает головой, – только что приобрёл в «Спорттоварах», боксом решил по-серьёзному заняться, уже и в секцию записался к Метревелли, на «Спартаке» мастер...

– Вовка! – тут же и с жаром спрашиваю его, – а там ещё остались такие же? Сколько?.. Почём брал-то эти перчатки?

– Такие, как мои, – опять мотает головою, – ровно шесть рублей, да разве дело только в деньгах? Боксёрские перчатки всегда редкость. Целый год чуть ли не каждый день наведывался. Сегодня только повезло, югославские...

Вот это «целый год» на меня и подействовало. Как угорелый помчался домой за деньгами, оттудова напрямиком в «Спорттовары», что располагались тогда на улице Кабардинской, недалеко от кинотеатра «Победа» с левой стороны, там, где ныне зоомагазин.

– Господи! – всю дорогу нервировался я, – хоть бы не распродали, такая вещь...

Магазинчик оказался совершенно безлюдным, на стене в художественном беспорядке висело несколько пар боксёрских перчаток, точно таких же, как у Мычи, но почему-то по цене шесть рублей десять копеек.

– Как же так, – всплёскиваю отчаянно руками, – ведь у меня ровно шесть рублей... А без десяти копеек какой продавец тебе их продаст... Но продавщица, глядя на мою расстроенную физиономию, сжалилась, махнула рукой, стащила со стены одну пару перчаток, связанных белыми шнурочками друг с другом, с каким-то артистическим шиком накинула их мне на шею, хлопнула ладошкой по лбу, со смешком, как показалось мне, выронила:

– Знать, чемпионом будешь, если до времени рожу кто не своротит набор.

– А можно я их померяю? – не без робости в голосе спрашиваю у доброй тётеньки.

– Что, думаешь, кулаки не влезут? – делает лицо серьёзным и даже озабоченным, развязывая стянутые узлом перчатки, явно для моих кулачков великие, – давай, коли есть такое желание, не разорви ненароком-то, вон кулачищи-то какие.

Рабочий – лысый и усатый дядечка, худющий, подпоясанный ремнём так, что широкие его брюки в поясе топорщатся гармошкой, с испитым небритым лицом, хлопочущий у большого деревянного ящика с гвоздодёром, непонятно и почему, мельком глянув на меня, начинает весело ухакиваться.

– Фатима! – уже закашливается он, кивая в мою сторону, – если такой врежет разок, второго не понадобится... Джигит...

– И чего он смешного нашёл, – начинаю краснеть я, – неужели я так дурно выгляжу?

– Ну как, нормально, – уже весело говорит тётя, завязывая краешки шнурков бантиком, – нигде не жмёт? Ну, беги тогда, – ласково хлопает по плечу.

Как есть, размахивая руками, мчусь домой, с разбега прыгаю через многочисленные лужи, так как прошёл сильный, но быстрый летний дождь, одновременно, словно я на ринге, работаю руками, наношу хитрые и молниеносные удары мнимому противнику, от которых он, конечно же, падает в нокаут, безвольно раскинув и руки, и ноги, лежит на спине, судья, склонившись над ним, громко отсчитывает время и почему-то на английском. Я – чемпион Советского Союза! Что, конечно же, гораздо почётнее, чем быть просто чемпионом мира; трибуны яростно аплодируют, летят букеты с цветами, подбегает Галька Гнездилова, а следом и весь наш класс, начинают громко скандировать: «Слава чемпиону! Слава чемпиону! Слава Вове Мокаеву!». А Галька, у которой прозвище ещё – Киска, радуется громче всех, потому как я настоящий герой; не смущаясь окружающих, целует меня в щёчку, впервые признаётся, что ужас, как любит.

5. Неожиданное прозрение

Вот так, случайно ли... с приобретением боксёрских рукавиц, которые для того и придуманы ещё чёрт знает когда, чтобы кого мутузить куда попало, в основном, по вместилищу разума – голове, и даже иногда, как бы в пылу борьбы, ненароком ниже пояса, по самому что ни на есть генофонду, вопреки всякой спортивной логике, не сразу, конечно,

но пришёл к однозначному, пацифистскому и бесповоротному: покуда человек позволяет бить другого человека по лицу кулаками, пусть и обутыми в мягкие, но кувалдообразные рукавицы (не надо путать с перчатками, в коих для каждого пальчика предусмотрено отдельное отделение), а обществу в целом, за исключением редких индивидуумов, вид подобного зрелища доставляет невообразимое удовольствие, ибо всё это преподносится под придуманным ещё римлянами девизом: «О спорт! Ты мир» – никакого мира на земле в ближайшее тысячелетие не предвидится.

Второе... Покуда в сознании каждого индивидуума существует такое понятие, как результат: постоянно насаждаемое извне, в первую очередь государством, быть сильнее всех, ловчее всех, метче всех, себялюбивей всех, ни о каком спорте как форме массовой культуры во имя здоровья и говорить нечего. Физическая культура не может зиждиться на насилии, в первую очередь над собой, на эгоизме, сделаться во что бы то ни стало сильнее другого, а ещё лучше, чтобы в случае чего каждого в отдельности свернуть в каральку. Физическая культура – это несколько иное, о чём многие даже и не догадываются.

И третье, – особое и личное, с которым, думаю, большинство добропорядочных граждан, так боготворящих всяких чемпионов, а особенно нашеньких, ну никак не согласится. Так вот... Покуда, опять-таки, в сознании большинства образ чемпиона будет твёрдо и неразделимо ассоциироваться с лучшими человеческими качествами, а более того – добродетелями, с чем, не скрою, лично я согласиться никак не могу в силу внутренних своих убеждений, блуждать нам и блуждать в потёмках к истинному пониманию человеческих ценностей: кого же всё-таки нам считать примером, кому следовать и подражать, дабы стать и чище, и правдивее, и светлее, и бодрее. Хотите сказать, чемпиону!?. Непомерное честолюбие, слава и деньги, иные материальные блага, псевдопатриотизм за эти самые деньги, а иначе такого понятия, как легионер и не существовало бы, вот основные и характерные черты чемпиона – национального героя, кумира миллионов.

И если кому-то кажется, что подобные качества его проявляются в силу специфики спортивных борений, где если не ты, то тебя, а так парень душенька, добрейшая душа, сама щедрость; девка – красавица, все помыслы о семье и детях, само благонравие, целомудрие, благочестие, то глубоко ошибается. За малым исключением хороший лицедей на сцене, как правило, такой же лицедей и в жизни. И совсем не случайно на перепутье безвластия именно бывшие спортсмены, чемпионы сливаются с криминалом, рвутся в бизнес, становятся алчными искателями власти. Адреналин...

Спасибо вам, мои первые боксёрские перчатки, купленные в далёком детстве за кровно заработанные денежки – папины премиальные в размере шести рублей; именно благодаря вам я отрёкся от ложных представлений о чести, достоинстве, героизме и славе. И пусть в своём микроскопе, точно таком, как и у Антони Левенгука, я не увидел микробов, посредством его познал самое главное: большой спорт, увы, не удел сильных; найти силы полюбить не только ближнего, но и врага своего, вот где подлинное мужество.

Боборика

Глава 39. ТЕЛЕСКОП

Заглянул в хрусталик волшебной трубы, умножающей пространство и удивился: всё, что было далёким – стало близким, ранее не видимое – видимым. Одни звёзды остались прежними, такими же недосыгаемо крошечными и колючими в своём холодном блеске. Это более всего и удивило – бесконечность.

*Тамплиер, Розенкрейцер, Великий Магистр Ордена
Иллюминатов-Иллюзионистов Боборика –
Мальчик без Времени*

1. Оптика

– Эх, – кручинюсь я, – мне бы побольше разных увеличительных и уменьшительных стёкол, которые называются ещё линзами, уж я наверняка бы додумался, сообразил бы и без всяких там чертежей, как соорудить себенастоящий телескоп. Методом проби и ошибок, а всё равно, добился бы своего. Они ещё не знают, какой я бываю упорный, когда мозги обуреваемы творческими мечтами, а умелые руки – трудовым зудом, – утверждаю самого себя, не вдаваясь, правда, в подробности, кто есть эти самые «они».

– Вовка! – чтобы сделать вручную даже самую простенькую зрительную трубку – паршивенькую увеличилку в полтора разика, – горячится старший брат, крутя мне пальчиком у своего виска, – необходимо знать хотя бы элементарные законы оптики. А ты... Выстроил в рядок разнокалиберные лупы, призмы и трёхгранные зеркальные стёкла от немецкого поломанного бинокля, который окончательно доломал, выкорчевав эти штуковины папиным стальным пинцетом, хотя... Этот трофейный фашистский бинокль запросто можно было ещё починить. Дальше-то что?..



– А с чего это ты взял, – психую я, – что собрался придумывать себе какой-то там телескоп? Может быть, я практикуюсь, как по-правильному изобрести себе лазер, такой же, как у инженера Гарина, который ещё назывался гиперболоидом, чтобы сгустившимся от электрической лампы лучом света расплавлять самое твердое железо...

– Во даёт!.. – весело ржёт Валерка, стучая себя пальцем то по лбу, то по столу, – нашёлся мне инженер Гарин, за лазер он взялся; не смейся. Это тебе не самокат на смазых подшипниках, выструганный из сосновой доски, которую ты спёр со стройки.

– А что, – не сдаюсь я, – если даже простой увеличитель можно, когда яркое солнце, прожигать на фанерке дырки, то представляешь себе, когда их несколько штук выставить друг за другом... Такую силу могут набрать, что только держись... Самое главное... – убедительно завираю я, – самое главное найти между ними нужное расстояние, которое называется фокусом, и тогда уж точно как-нибудь, да получится.

– Вот именно, что как-нибудь, – безнадежно машет рукою Валерик, доставая с книжной полки свою толстенную и, наверное, очень умную книгу, и совсем без интересных картинок, – я всё папе расскажу, как ты своевольно, совсем без спроса приволок из подвала его старый, но совсем пригодный фотоувеличитель и раскурочил на составные части. Вот папа тебе даст... И про новый, но поломанный фотоаппарат, – начинает пугать меня, чтобы окончательно испортить настроение.

– Какой же он новенький, – задыхаюсь от несправедливости я, – когда весь такой расплющенный!? Не помнишь, что ли... Как его забыли в траве, а дядя Тамбий нечаянно, потому как не заметил, наехал на него колесом своей «Победы». Из всего объектива только одну целую лупу и выковырял; остальные все потрескались.

Ещё раз безнадежно махнув на меня рукой, брат окончательно углубляется в чтение книги со странным названием «И один в поле воин».

– Удивительное дело, – рассуждаю я, включая к тому все свои гуманитарно думающие мозговые шарики, – если две лупы, каждая из которых в отдельности даёт, скажем, четырёхкратное увеличение, сложить вместе, то по логике вещей совместный результат их деятельности должен увеличиться, как минимум, в два раза. На деле же всё предстаёт иначе.

Практический результат не только не улучшался, а даже наоборот – ухудшался. Ранее ясно видимые буквы переворачивались задом наперёд, а порою и вверх ногами, очерчивались, а вернее, расплывались по контуру радугами, иногда и вообще Бог знает куда исчезали. Но кое-каких результатов – удивительных, надо признаться, результатов, достичь всё же удалось. Однажды линзы сложились так чудно, что

окружающий мир нет, нет, не увеличился, что мне очень жалалось, а наоборот – съёжился, уменьшился до полной своей неузнаваемости. Как в стране лилипутов, через них всё представлялось таким малюсеньким, что от неожиданности, дабы поподробнее рассмотреть обстановку так знакомой мне комнаты, я даже прищурился. Кошка Кудина, подобно махонькой букашке, ползла по ковровой дорожке, которая, в свою очередь, представлялась узеньким красеньким прямоугольничком.

– Да! – подумал тогда я, – чудны дела твои, Господи; оптика – дело серьёзное, её так с напрыгу не возьмёшь, надо уметь и знать кое-что и другое.

Наши глаза, как сказал мне однажды папа, те же оптические приборы, но из биологического материала и гораздо сложнее. Их надо очень беречь и хранить, иначе могут испортиться.

– Разве можно, – уже журит меня, – на электрическую дугу смотреть невооружёнными глазами?.. И не отвирайся... Сам лично видел с балкона, как ты со своим дружком Перепёлой пялились, когда рабочий сваривал водопроводную трубу. Ни собаке, ни кошке, и даже глупой корове и в голову не придёт открытыми глазами смотреть на солнце. Ты думаешь, отчего наша кошка Кудина всё время щурится?.. Зрение бережёт... И хоть её глаза устроены несколько по-другому, несколько иначе, а, следовательно, видят они не совсем, как мы, всё равно ослепнуть для неё почти смерти подобно.

– А как это люди узнали, что кошки или собаки видят не так, как мы, а совсем по-другому? – пожимаю плечами я.

– Как откуда?.. – так же пожимает плечами папа, явно не ожидавший от меня вот такого провокационного вопроса, – а для чего наука?..

– А что, – ещё более не унимаюсь я, – каждое животное видит всё по-своему? И пауки, и мухи, и тараканы тоже видят не как мы?

– Ну да, – не совсем уверенно отвечает папа. – По крайней мере, по цвету точно не как мы. У мухи, к примеру, глаза многофасеточные, как бы это по-правильному тебе объяснить, – задумывается он. – Представь себе объектив моего фотоаппарата «Киев», но в который встроено ещё, ну пусть будет сорок штук, скажем, малюсеньких объективов, каждый из которых видит свой отдельный кусочек мира. Представил?.. Я щёлкнул, а на фотографии проявятся сорок маленьких кадров, в каждом из которых будешь ты.

– А зачем это ей так надо? Она что, сумасшедшая? – напрямую я спрашиваю у отца. – Как муха может что-либо понимать, когда вместо одного предмета ей чудится аж сорок, а и ещё другим глазом столько же?

– Вот пойд и спроси у неё, – хмурится уже папа. – Я, что ли, так придумал?.. Учёные исследователи глянули в сильнейший микроскоп

и пришли к такому выводу. Учёные разве будут врать? – солидно и глубокомысленно аргументирует отец, – учёные, они на то и учёные, что про всякие тайны знают... А у тебя по математике тройка, – совсем добивает меня отец.

Как бы не замечая его колкой реплики, с ещё большей горячностью пикирую:

– А как тогда узнать, кто этот мир видит по-самому настоящему и правильному, а кто по-непонятному, как, например, муха или таракан, у которых мозгов-то поди почти нет?

– Вопрос понятен, – солидно парирует папа, – раз в мире животных, да и во всей природе человек самый главный, умный и много знающий, значит, и это уже точно, он и видит мир таким, какой он есть на самом деле. Разве фотоаппарат или кинокамеру обманешь? – победно улыбается он. – Вот видишь!.. К тому же есть элементарные законы физики, математики, другие законы, даже те, которые пока не открыты, но которые в целом доказывают, что наш мир такой, а не какой другой. Разве я не прав, Боборика? – хлопает меня по плечу.

Кажется, впервые, но аргументы отца не кажутся мне столь убедительными.

– Хорошо, – мысленно рассуждаю я, – если человек есть само совершенство, то почему же тогда его нос нюхает в сто раз хуже, чем у той же собаки, глаза не такие дальнзоркие, как у ястреба или орла, уши слышат гораздо слабее, чем у большинства животных, ночь для него – сплошной мрак, летать не умеет, плавает – курам на смех, в движении своём – крайне медлителен. И всё это можно продолжать до бесконечности, где этот самый человек – Венец Природы – проигрывает даже элементарной микробе. А то, что он придумал разные линзы, без которых не снять кино, не сделать фотографии, ещё ничего не доказывает, что мир именно такой, какой он представляется человеку. Все эти стекляшки с их оптическими свойствами он подгонял не под зрение мухи, бабочки, паука, верблюда или крокодила, не под глаза осьминога, каракатицы или акулы, а под свои собственные. И законы открывал именно те, что соотносятся с требованиями и запросами его мозгов и его физического тела, а никак не мозгов коровы, козы или кошки. Если одни и те же стёкла – эти самые лупы, в зависимости от их расположений относительно друг друга могут изменять видимый через них мир до крайней неузнаваемости – увеличивать и уменьшать, переворачивать с ног на голову, искривлять, как вздумается, вообще стирать до белого пятна и чёрной точки, то спрашивается, что на самом деле представляет из себя этот мир? И не видит ли каждый только то, что в силу умственных

и морально-нравственных его запросов дано ему увидеть? Не это ли причины вечных наших разногласий? Нету такой лупы, которая бы научно зафиксировала зримое присутствие знаменитейшего из племени домовых Иоакима мудрейшего, свирепой и вездесущей Буки, пугающей по ночам малых детей, светлого ангела, спасающего смятенную душу, да и саму душу, какая она...

От подобных умопомрачительных дум голова моя, кажется, стала то расширяться, то сжиматься, пока не сказала сама себе:

– Полно тебе, Вовка, врать... Собери все свои увеличительно-уменьшительные стекляшки в кучку, засыпь скопом в зеркально-огранённую трубку детского калейдоскопа, крутани хорошенько против часовой стрелки, приникни со вниманием к смотровому глазочку. Вот каким тебе в эту секунду мир представится, такой он на самом деле и есть. А если туда из резиновой аптечной пипеточки накапать ко всему ещё и разноцветных чернил, так и вообще глаз не оторвёшь от красоты такой.

2. Умножитель звёзд

Однажды, время было уже летнее, я находился дома один, тайком мастерил по частям настоящий самострел, который называют ещё арбалетом, когда из передней послышалось сильное движение, входная дверь хлопнула, и послышался голос папы:

– Ага-а! – возбуждённо и прямо с порога закричал он, – вы только посмотрите, что я вам сейчас покажу... Настоящая телескопическая труба!

Галопом выскакиваю навстречу, вижу отца, тщетно пытающегося по-быстрому стащить с правой ноги новый туфель, который вообще-то принято сначала расшнуровывать.

– У шайтан! – лягается отчаянно он, упираясь другою ногою в задник, – опять шнурки узлом завязались.

Наконец-то, содрав башмак насильно, вручает мне:

– У тебя пальцы гораздо цепче, распутай узел; ведь надо же так стянуться...

Вцепившись зубами, быстро и ловко справляюсь с узлом, аккуратно ставлю туфли – носочек к носочку.

– На, Боборика, – передаёт он мне нечто в круглом кожаном футляре, схожестью с тем, в каком носят чертежи, но покорооче и потолще, с элегантными никелевыми застёжками на цилиндрической крышечке с одной стороны и прилично тяжёленькое.

– Аккуратненько!.. – предостерегает папа, – не ударь!.. Это тебе не что-нибудь, а прибор...

Цепко ухватившись за ручку, волоку в комнату, от нетерпения пытаюсь даже как бы ненароком подковырнуть пальчиком замочек.

– А где все остальные? – спрашивает отец, забирая футляр из моих рук, бережно укладывая его на стол. – Мама с Танечкой пошли, кажется, в магазин, – отвечаю я, не спуская с таинственного предмета глаз, – а Валерик сказал, что в библиотеку...

– Принеси воды, – командует отец, – спусти кран подольше, чтобы холодненькая...

Стремглав несусь на кухню, откручиваю кран на полную железку, выжидаю, пока упругая струя не заледенеет, наливаю в большую кружку, в ту, из которой папа любит пить только айран.

– Порядок, – отфыркивается он после того, как выпивает воду залпом.

Медленно отстёгивает никелевый хомутик, потом другой, откидывает круглую крышку, изнутри обложенную красным сафьяном, аккуратно вытаскивает из футляра телескопическую трубу, мерцающую серой молотковою эмалью, отдельно, из специального отделения, подобие объектива фотоаппарата с резьбой на конце, в рифлёном воронёном корпусе и с выпуклым стёклышком, отсвечивающим синевую бензиновую лужицу, и только после этого чудно сложенный металлический штатив-треногу, также покрытый молотковою эмалью, но только чёрного цвета.

– Телескоп! Господи, ты ж Боже мой! – задыхаюсь от восторга я, – настоящий всаомделишный телескоп; в сто раз лучше, чем у Коперника, Галилео Галилея, и даже, наверное, у Джордано Бруно, хотя... А у Джордано Бруно, которого святая инквизиция оговорила и сожгла на костре, может, и вовсе никакой подзорной трубы не было? Надо бы поспрашивать...

Оборачиваюсь к отцу, но он почему-то озабоченно озирается вокруг, как бы что ищет, заглядывает в пустой футляр и даже переворачивает его кверху дном.

– Ничего не понимаю, – пожимает плечами, – куда же это она позаделалась?.. Неужели в кабинете на столе забыл? Тут ещё должна быть одна штучковина в пластмассовом футлярчике, очень похожая на мой видеоискатель, что к фотоаппарату «Киев». Точно так же, – тыкает пальцем на две параллельные железочки на корпусе телескопа, – прищёлкивается, без неё, проверял уже, в жизни по-правильному не настроить. Как же я её забыл-то? – сокрушается папа, – теперь уж точно до завтрашнего дня; сегодня – смотрит на часы, – городской педагогический совет... А ты пока время зря не теряй, – достаёт из кармана тонюсенькую книжечку величиною с ученическую тетрадку с картой звёздного неба на обложке, – изучи, как по-правильному им пользоваться, чтобы ничего не свернуть.

Вон ведь сколько разных колёсиков, поди узнай, где, какое, к чему... Потому и прилагается инструкция, чтобы ничего по незнанию не испортить. Прибор, не дай те Бог, не ронять, не травмировать, грязными руками не браться. Оптика... Специально для школьной астрономической обсерватории приобрели, больших денег стоит.

– А сколько? – тут же интересуюсь я.

– Да, пожалуй, – задумчиво морщит лоб папа, – платёжная ведомость из бухгалтерии до меня ещё не дошла, но думаю, не менее, чем хороший мотоцикл «ИЖ» с коляской.

– Сколько!? – от удивления переспрашиваю я.

– Не меньше, – утвердительно кивает папа, закуривая папиросу. – Ты что думаешь, телескоп тебе халам-балам, так себе, игрушка? Цейсовская оптика, читай, – тыкает пальцем в книжицу, – немецкая оптика самая лучшая в мире; технологии, – со значимостью добавляет он. – Потому их бинокли и ценятся особенно. Видишь, – кивает на объектив, – стёкла будто фиолетовые... Это от специальной эмульсии, секрет производства который они держат в тайне, но не это даже самое главное; их специалисты с такой изумительной точностью научились шлифовать и полировать линзы, которые ещё называют зеркалами, что их в этом никто пока ещё не превзошёл. После войны, когда в стране было ещё голодно, за настоящий фрицевский бинокль можно было выменять целый большой мешок картошки, ещё и жмыху могли прибавить... Время-то знаешь какое было... Это сейчас столько же – чепуха... За три-четыре рубля можно купить, а на базаре, отборной, не более, чем за пять, а тогда... Загубил с Вытыкой мой аккордеон с бриллиантами, – вдруг вспоминает он, досадливо морщась, – такой аккордеон... Тогда на свердловской барахолке чего только нельзя было найти...

– А настоящий фрицевский наган? Вальтер Скотт или парабеллум – можно было...

– Какой парабеллум? – рассеянно переспрашивает папа, видно, никак не войдя в толк: причём здесь парабеллум, когда мы с Танькой повыковыривали из его итальянского концертного аккордеона более дюжины настоящих бриллиантов, которые тут же и посеяли в дворовом мусоре, и о существовании которых он и сам не догадывался, полагая, что это обыкновенные стекляшки.

– Парабеллум вовсе не наган, а пистолет. Наган, род револьвера с вращающимся барабаном, назван так от имени изобретателя, а может, и фамилии, Бог его знает. На свердловской толкучке, думаю, и это можно было достать, хотя... Лет двадцать запросто можно было схлопотать... С бандитизмом тогда боролись беспощадно; наших чекистов

их парабеллумами да вальтерами не запугаешь, почти все через фронт прошли. А вы, – хмурится папа, – взяли и повывокывывали краем ножниц эти бриллианты, без всякого разрешения и спроса...

– Откуда же нам было знать, – начинаю было оправдываться я, – что они всамоделишные бриллиантовые, а не стекляшки, когда даже вы с мамою об этом и не догадывались?

– А что, – уже по-настоящему возмущается отец, – если даже и стекляшки... Обязательно надо было вещь уродовать? Ты что, – уже в сильных чувствах окидывает меня с ног до головы, сопя давно потухшею папирской, – думаешь, я не догадываюсь, кто был инициатором варварского вредительства? Молчишь...

– Сильвио Брантос... Такой инструмент, – предаётся воспоминаниям папа, – ручной мастерской сборки, эксклюзив... Да тебе, научись играть на нём по-настоящему, весь Нальчик бы завидовал, – уже миролюбиво говорит отец, легонько щёлкая меня пальцем по лбу, – а какой тембр...

И хоть я понимаю, что трофейный аккордеон родители продали вовсе не по той причине, а потому, что не было условий хранения, не было своего жилья; в малосенькой времяночке по улице Осипенко, что рядом с педучилищем, где мы ютились всею семьёй, он начал портиться, а бриллианты, которыми украшалась перламутровая грудь итальянца, никакого отношения к тембру звука не имеют – есть они или их нету, всё одно, сделалось обидно. Ведь действительно, как бы я мог на нём выучиться играть разную музыку...

3

Один из двух балконов нашей квартиры на четвёртом этаже по Ленина четырнадцать выходит на малосенький отрезочек улицы Инессы Арманд, – этакое провинциально-сельского тупичка, не имеющего ни входа, ни выхода; с булыжным покрытием дороги, ленивыми двориками, развалившимися по обе ее стороны, собаками и кошками, и даже иногда ослами, которые частенько, непонятно и зачем, сюда забредали. Перпендикулярно уткнувшись в улицу Пушкина, переулочек, опасливо поозиравшись по сторонам, шустро перепрыгивал через неё, тут же утыкался в другую – улицу Сталина, подпрыгнув прямо через дома, а может где и по-секретному поднырнув, окончательно упирался ранее в речку Нальчик, а может, и в Вольный Аул, ныне же в здание Союза Художников Кабардино-Балкарии, откуда, оказывается, и берёт свои «валдайские» истоки улица Инессы Арманд, названная в честь и добрую память пламенной революционерки, соратницы самого Владимира Ильича Ульянова. Вам всё понятно? Но и это ещё не всё... Удивительная

топографическая неразбериха, настоящий курьёз, ей Богу, достойны разве что пера Сатыкова-Щедрина или Николая Гоголя. Под номером Инессы Арманд один, не знаю, как сейчас, но тогда, проникнитесь!.. Числилось аж сразу три не зависящих друг от друга здания, да какие... Это, собственно говоря, Союз Художников, правее него – детская музыкальная школа, и!.. Монументальное историческое здание, комплекс некогда Учебного городка, построенного ещё при Бетале Эдыковиче Калмыкове, в котором тогда располагался историко-филологический факультет Кабардино-Балкарского государственного университета. Если двинуться по этой чудной улице, столь законспирированной от начала её, но в обратном направлении, то есть в сторону увеличения чётных и нечётных порядковых номеров, то она, естественно, опять, добежав до Сталина, поднырнув под неё, уткнётся в Пушкина, проковыляв самую малость со стороны двора, въедет в наш дом номер четырнадцать, и поныне здравствующий, расположенный по улице Ленина, перемахнув проспект, кусочками (не путайте с огрызками) и зигзагами продолжит свой путь в западном направлении, пока не окажется на Затишьё – районе города, стойко ассоциирующимся у тогдашних горожан с кладбищенским покоем, непреходящим и вечным, с восковыми могильными веночками, сиреневенькими букетиками бессмертников.

По логике вещей, наш дом не просто жилое четырёхэтажное здание, вытянутое в линию вдоль улицы Ленина, некогда Степной, но и ещё хрущёвка, что умудрилась быть причастной к улице Инессы Арманд, восседать, так сказать, верхом на ней, ничегошеньки отом не подозревая и не задумываясь даже о подобных обстоятельствах, что они могут как-то иметь место, ибо в настоящем адресе это ну никак не отражено.

Мой милый, мой старенький дом... Не ему ли я обязан своими бесконечными воспоминаниями о канувших, казалось бы, бесследно летах своих, в коих детство, отрочество, юность, а теперь и всё остальное вместе взятое?..

– И почему всё это свершилось именно вот так, а никак не по-иному? – задаю себе вопрос.

Мне ли тужить о времени, которого вовсе и не замечаю, потому как оно – это самое Время, во всех трёх своих ипостасях, каждая из которых ещё помножена на три, подобно многогранным драгоценным камушкам, хранится в моём выдавшем виды стареньком калейдоскопе, прихваченном, не без лукавства, из прошлой жизни, вращается между тремя зеркальными стёклышками и вперемешку отражается чудными картинками, как получится. Но всё равно... В детстве солнце грело сильнее, светило ярче, дни казались длиннее, а звёзд на небе так и вообще было больше.

– Куда, – спрашиваю я, – подевались звёзды? Неужели многие улетели навсегда? Без них ночное небо над Нальчиком стало каким-то реденьким, тускленьким, как бы обмелевшим и совсем сиротливым. То ли дело раньше... Запрокинешь башку, а там... Господи! Мириады сверкающих бриллиантами пульсирующих точек, туманной дымкой в бездонные глубины космоса уносится Млечный Путь, а луна... Что за чудо эта луна! Подобно жарко наполированному старинному серебряному блюду из волшебной сказки, так и манит, так и манит, глаз не оторвать. Капельку воображения и, ей-ей, уже и невооружённым взглядом видно, что лунатики так и шастают туда-сюда, так и прут муравьиными толпами из своих кратеров.

В душе своей я искренне и свято верил, что на луне уж как-то, но должны быть мыслящие существа, наподобие нас, научившиеся обходиться без воздуха, летать при помощи мысли, куда им вздумается, в том числе и на нашу землю, но по каким-то причинам упорно не желающие с нами дружить.

– Да и как их не понять, – принимался философствовать я, – ведь только и разговоров, что испытывать атомные и водородные бомбы практичнее всего не у себя дома, а как-то на луне, которая мертва и которой от всякой радиации хоть бы хны, а может, даже веселее.

С какими мыслимыми ассоциациями это связано, не ведаю, но внешне лунатики мне представлялись похожими на цилиндрические мыльные пузыри, только очень крепкие, как из бронированного стекла, с большими и круглыми радужными глазами на верхней части тела, выставленными на ниточках, подобно антеннам, как у раков, а росточком не более метра. Внутри их почти прозрачных тел, как мне казалось, всё время происходили какие-то процессы, что-то бурлило и переливалось разными цветами, флуоресцентно вспыхивало и затухало, а из того места, где у людей по обе стороны располагаются уши, но которых у лунатиков не наблюдалось, а были лишь крохотные дырочки, иногда действительно выдувались пузырьки; едва отделившись, обретя самостоятельность, тут же лопались, исчезали бесследно. При этом силою ли чувственного воображения, но до меня доносился звук серебряного колокольчика, точно такой, какой мне посчастливилось однажды услышать в детстве в нашей рубленой баньке, когда домовёнок, мудрствуя над своею музыкальною коробочкой, то отворяя, то закрывая крышечку, потешно скрёб лапкою затылочек, пытаюсь определить: отчего происходит звук и почему это так?

– Как твои лунатики могут жить на безжизненной луне, – горячо отстаивает свои научные познания брат, – когда там нет ни капельки ни воды, ни воздуха, и даже атмосферы? С одной стороны жара, аж свинец

можно расплавить, а с другой – холодрыга... Такой мороз, что можно моментально затвердеть, как камень. К тому же, – ещё более высокоинтеллектуально умничает он, от значимости своей аж надуваясь, – и это учёные давно уже доказали, от того, что на луне нет никакой атмосферы, а силы притяжения гораздо меньше, чем на земле, там такая радиация, что никакой микробе не выжить. А метеориты?.. Ты думаешь, почему она такая вся изрытая кратерами? Как ты будешь по своей луне ходить, когда эти самые метеориты то и дело, только и знают, что падают на голову?

– Ага-а, – не сдаюсь я, – что лунатикам холод, жара и эта самая твоя радиация, когда они в глубину зарылись и там построили свои города. Выдолбили в камнях пещеры, провели туда электрический ток, чтобы было светло, и вот...

От таких твёрдых, в кавычках, моих аргументов старший брат аж задыхается, теряет дар речи, поражаясь моей бестолковости, крутит мне пальчиком у своего виска, ищет участия у родителей:

– Скажи ты ему, мама... Объясни ты этому тупому человеку, совершенно не читающему никаких книг, что на луне никакой формы жизни нет и быть не может.

– А почему ты вот так категорично решил? – неожиданно встаёт на мою защиту папа, – вдруг, да и правда Вовка прав... Вот, к примеру, совсем недавно, даже в газетах писали... Аж за полярным кругом, в вечной мерзлоте сцинка нашли – ящерица такая; в куске сплошного древнего льда вмороженный был этот самый сцинк. Никто только ещё и не знает, сколько он там времени пролежал, может, и тысячи лет, Бог его знает. А вот же... И тому есть серьёзные свидетели, учёные врать не будут, оттаял маленько, зашевелился, а затем и вовсе ожил; дёру дал.

– Как дал дёру? – округляет глаза Валерка.

– А вот так и дал, – самым серьёзным образом констатирует папа, – научный факт... Или... В журнале «Наука и жизнь»... Статья даже была такая по этому поводу... В вулканическом гейзере сероводородном, на дне океана и с температурой абсолютного кипятка, замечу, обнаружены не просто микроорганизмы, бактерии или микробы там всякие, а живые существа... А как они там выживают? – полнейший секрет. Ведь, поди, каждому неучу уж известно, что коли на земле белковая форма жизни, то будьте добры подчиниться... Спрашивается, как они могут существовать, когда этот самый белок уже при сорока пяти-пятидесяти градусах тепла уже начинает коагулировать, то есть необратимо сворачиваться. А им – хочу заметить, – хоть бы хны... Ещё и размножаются. Почему бы и не допустить, что луна заселена, но не какими-то там примитивными, а наоборот, очень высокоразвитыми существами, намного

опередившими нас – землян в своём умственном развитии, а значит и технически, которые, как предложил Боборика, взяли, да и построили свою цивилизацию не на поверхности планеты, а глубоко внутри; живут себе преспокойненько и в ус не дуют, не опасаясь всяких обломков астероидов и метеоритов.

– Вот видишь! – торжествую я, – раз луна существует, то как может быть, чтобы никто на ней не жил? Что только для одной красоты она вот так создалась? – для ещё большей убедительности аргументирую я, по-незаметному от родителей выказывая брату язык, крутя пальчиком у своего виска.

– Вот я тебе сейчас дам в глаз, – не выдерживает от психости Валерка.

– Но, но! – строго говорит папа, – кто у нас сегодня ответственный за уборку по квартире?

– Конечно, Вовка, – не дав опомниться мне, лукавит Валерик, – забыл, что ли, как мы с тобою поменялись? Вот я и говорю...

Выхватив с книжной полки первую попавшуюся книжку, быстро сматывается:

– Мне сегодня в библиотеку, – слышится уже из прихожей его удаляющийся голос. Дверь со стуком захлопывается.

– Когда это я с ним поменялся? – ничего не понимаю я. – Опять объегорил.

На другой день, весь в предчувствии грядущего зрелища, которое уж точно, но мне как-то откроется, дай Бог только солнышку сесть за горизонт, а луне появиться на небе, весь в томительной истоме, не побежал, по обыкновению, утром на речку, а принялся бродить по дому и яростно фантазировать. К тому же, о боги!.. Непонятно и почему, и как такое могло случиться, но я вновь оказался дежурным по дому, со всеми к тому вытекающими обязанностями – посудомойщика, уборщика, посыльного за хлебом и молоком, чернорабочего по выносу помойного ведра в мусорный контейнер, ответственного по доставке из почтового ящика газет, журналов и писем.

– Ты забыл, что ли, – округляет глаза сестрёнка, – что сегодня твоя чередка, потому как вчера была за Валериком, а завтра должна быть за мной... Вернее, завтра тоже твоя, а может, и Валерик... – многозначительно смотрит на меня, – мы же договаривались...

Пришлось согласиться, так как ей, смутно помнится, но действительно как бы что-то и обещал. Хотя... По ходу мытья посуды опять принимаюсь доказывать Валерику, читающему за обеденным столом заумную книжку, как однажды в ясную погоду, но ночью, своими глазами, а ни в какой не телескоп видел, как на луне красненькой искоркой

то ли двигалось, то ли что-то летело, а может, и ползло, поди узнай с такого расстояния-то.

– Мало того, оно, – уже на самом деле принимаюсь завирать я, увлечённый своим же рассказом, – это самое, похожее на красненькую точку, подпрыгнуло и занырнуло в один из кратеров, где совсем и исчезло. А представь себе, – ещё сильнее завожусь я, – как бы это всё пронаблюдать в телескоп... Ведь это бы было прямым доказательством, что лунатики никакие не враки, а чистая правда.

Валерик представлять не захотел, очередной раз признал во мне настоящего вруна и фантазёра, сказал, что в подобной телескопической трубе, которую принёс папа, луна изменится не намного, разве на чуть-чуть, останется почти такой же, и, уж конечно, никаких подземных пещер, а тем более самих лунатиков через такой любительский прибор, хоть ты тресни, не увидишь.

– Ну, что ты за такой человек, – корит его мама, – неужели тебе самому не интересно помечтать, пофантазировать, наконец?.. Что за пессимизм? Как можно быть таким?

Но всё напрасно. Роль пессимиста, неверующего в разную околонатурную чепуху человека, Валерику нравится, противоречить одному и всем – его конёк. Отложив книгу специально, чтобы ещё сильнее всех разнервировать, начинает, как по-настоящему, юродствовать: закатывает глаза, голосом, какой случается слышать разве что из допотопного радиоприёмника, вещающего на шаткой волне, пришедшей из глубин космоса, поёт:

*Жить и верить – это замечательно,
Перед нами неизведаны пути,
Утверждают космонавты и мечтатели,
Что на Марсе будут яблони цвести...*

Надо отдать ему должное, благодаря великолепному слуху, да и голосу, как-никак в детстве был запевалой в пионерском хоре, врождённым комедийным артистическим данным, всё это у него получалось здорово, что меня досадовало ещё более. Закончив одну часть, тут же сделав лицо по-военному суровым, переходит на певческую партию матушки Земли; женским и низким грудным голосом чётко и патетически выводит:

*Я Земля, я Земля...
Я своих провожаю питомцев –
Сыновей, дочерей:
Долетайте до самого солнца
И домой возвращайтесь скорей...*

Но и этого ему мало... Подходит к балконной двери, озабоченно взирает на небо, притворно морщится:

– Кажись, уж и тучи заходят... К вечеру обещается быть дождю... Нда-а... Как есть, непременно случится дождю.

– Где? – волнуясь я, покупаясь на уловку.

Спешно выскакиваю на балкон, пристально вглядываюсь в бездонные голубые небеса без единой тучки.

– Откудаво ты всё это придумал? – не без раздражительности замечаю ему, – ни единой тучки...

– Признаки надо знать, невежа, – глубокомысленно парирует лукавый брат, по-серьёзному и из-под ладони всматриваясь в небеса, а потом и куда-то вниз на растилающиеся по-деревенски крохотные зелёные дворики, что вдоль улицы, посеревшие от времени деревянные заборы и ещё Бог знает куда. – Видишь, – наконец-то указывает пальцем вниз, на прожаренную солнцем дорогу, – видишь, как воробьи в пыли купаются?..

– Ну и что, что купаются, – не без нервозности вглядываюсь в действия глупых птиц, ожидая от Валерика очередного подвоха, – они каждый день вот так, потому что блохастые, где ты там увидел признаки?..

– Э-э-э... Не скажи, – самым наисерьёзнейшим образом издевается брат. – Ещё как быть к вечеру дождю; дня на три зарядит, как минимум...

– А как же тогда луна? – уже по-настоящему расстраиваюсь я, – ведь сегодня ночью мы хотели изучать её в наш новый телескоп... А ты говоришь, что дождь...

– Валерик!.. – уже сердится мама, – прекрати паясничать... Неужели тебе это доставляет удовольствие?

– Не слушай его, Вова, – успокаивающе говорит мне, – ты ведь знаешь, какой он язва... Ведь специально так изводит, чтобы изнервировать. Никакого дождя и в помине не ожидается, а воробьи не только в пыли, но и в мелких лужах имеют привычку купаться.

Но, как ни прискорбно, Валерка накаркал, словно в воду глядел; его прогноз полностью оправдался. Погода к вечеру действительно испортилась, небо затянулось сплошной серой пеленою, по-осеннему занудил мелкий дождь, на улице резко похолодало.

– Ну... И что я вам говорил, – оживлённо жестикулирует руками Валерка, указывая то на одно, то на другое окно балкона с запотевшими стёклами, разлинованными стекающими капельками влаги, – я же предупреждал... Народные приметы никогда не обманывают, – весело смеётся он, как бы не замечая моей унылости.

Но не только на третий, как предсказывал брат, но и на четвёртый, и на пятый день звёздный небесный свод, венчаемый серебряной луною, так и остался вне досягаемости наших любопытствующих взоров.

Самые погодозависимые – это люди земли: пахари-хлеборобы, садоводы-огородники и противоположные им – люди неба: звездочёты-философы. Все признаки их благополучий начертаны на небесах. Но... Если крестьянин с надеждой ждёт от высей то дождя, то ведро, то люди неба – только ясных звёзд. Звездочёты, народ мало улыбочивый, а самое из неприятного – страшно нетерпеливый. И чего так суетиться?.. Неужто-таки звёзды соберутся до кучи и дадут куда дёру?... Хоть и несёмся все скопом на этой весёленькой планете с умопомрачительной скоростью, и чёрт знает куда, в небесах, как и тысячу лет назад, редко что изменяется. Забредёт порою блуждающая комета, летающая хвостом наперёд, траекторию орбиты которой просчитали ещё древние египтяне, или какой метеор, а хуже того, астероид, да не абы из чего сделанный, скажем, из камня-окатыша или глыбы неочищенного льда, а подлинное доказательство железно-никелевой планеты, осколком которой и является, понапугают людей, породят с десятков новых апокалипсических теорий гибели планеты Земля и улетят восвояси. В том их закономерность. Ведь всем, поди, известно, что ничего просто так не случается, каждому явлению предначертаны свои признаки. Посмотрите и задумайтесь... Ищущие кладов себе, жадно спотыкающиеся взорами о землю – угрюмы, молчаливы и раздражительны. Жаждающие жизненных наслаждений – женщин, вина, роскоши – прямодушны, говорливы, непостоянны. Мечтающие звёздами, с лицами, запрокинутыми в небеса – замкнуты, неразговорчивы, сварливы; как правило – бедны. Познающие Бога, с глазами повёрнутыми внутрь себя, не терпящие всяких неправд, взывающие бесконечно к любви и братству к инакомыслящим – беспощадны. Таковы их признаки.

Как ни удивительно, но предвиденья старшего брата относительно малой эффективности глаз, пусть и вооружённых умножительными линзами, оказались пророческими. Ведь и действительно: видим то, что придумалось в голове собственными мозгами. Телескоп, в который спустя некоторое время я всё же украдкой заглянул, нисколько не сподвигнул к большему пониманию того, о чём уже знал и так немало.

– Смотри в оба, но никогда не подсматривай в щёлочку, – научал меня некогда мудрейший из всех домовых Иоаким¹, именем своим прославленный, хоть и из племени бесовского.

Но не каждого ли из нас Господь, придёт время, восстановит и возвысит?.. Спорно...

¹Иоаким (еврейск.) – Бог возставляет.

Звёзды через нашу телескопическую трубу, установленную на балконе, к моему немалому огорчению, увы, нисколько не увеличились в размерах, разве что умножились количественно, обрели особую колючую яркость, внешне же остались такими же, как и прежде – неприступными и недосыгаемыми. Луна же, далеко вылезшая за размеры объектива, хоть и восхитила своими поистине гигантскими размерами, причудливыми кратерами и подобием горных ущелий, всё равно в своём облике не выказала и малейших признаков жизни. От пристальных взглядов, напряжённого ожидания чего-то невероятного и запредельного разуму порою и действительно казалось, что на её поверхности происходят какие-то движения: то там, то здесь, поочерёдно вспыхивают разноцветные огоньки, из непроницаемых чернотой провалов и трещин выползают подобия туманов самых странных и причудливых очертаний, которые даже и не при очень большом воображении можно было сложить во что угодно. Но уже через несколько секунд всё прекращалось, возвращалось на круги своя. Вся эта безжизненная пустота начинала угнетать и наводить уныние. Нет, нет... Не кантовское небо, полное звезд, изумило, не таинственная мёртвая луна – вдохновительница поэтов и самоубийц, и не Марс – одинокий и неприкаянный, вспыхнувший расплывчатой кровавой точкой в окоёме чёрной непроницаемой бездны, изумило совсем иное, находящееся совершенно рядышком, на земле, явленное неожиданно, благодаря тому же увеличительному стеклу, имя которому иллюзия. Наведя ясным утром свою подзорную трубу в сторону Большой Кизиловки, на макушке самого высокого дерева, стоящего от остальных несколько особняком и над обрывом увидел мальчика – черноволосого, кудрявого, в алых трусиках и синей маечке, вымазанной тутовником, с хрупкой моделью планера в правой руке.

– Как же он туда забрался-то, в такую рань, на такую верхотуру-то, да и ещё с самолётиком? – с изумлением думаю я, регулируя объектив на полную резкость, стараясь почти не дышать, дабы от малейшего движения прибора изображение не сместилось, а то и вообще не улетучилось.

Ухватившись за тонюсенькую веточку, едва сдерживая равновесие, рискуя не только сломать шею, а и вообще разбиться насмерть, он выждал момента, когда ветер стихнет, чтобы выпрямиться во весь свой рост, верным и плавным движением руки запустить свою птицу в полёт.

Но! Что это, о Господи!? Вытаращив от изумления глаза, впиваясь в окуляр, неожиданно узнаю в этом вихрастом сорванце не кого-нибудь, а самого себя, но такого, каким был когда-то, несколько лет тому назад, а может, и все тридцать, и даже сто лет тому назад, каким был всегда – беззаботно плескающимся в потоках времён, что в горной струйной речке, никак не замечающим ни своей зрелости, ни своих лет, ни того, что всему есть и будет конец. Слово что почувствовав, оборачивается

лицом в мою сторону, через окуляр, но в обратном направлении пристально смотрит в самые мои глаза, каким-то невероятным образом через такое-то расстояние узнаёт во мне себя, и я уж это как-то знаю, как-то осознаю, улыбается, машет рукой и даже слегка подмигивает. Еле уловимым движением руки запускает свой планер в мою сторону, всем телом вздрагивает, теряет равновесие, подбитою птицею проносится на фоне жёлтого обрыва, молниеносно и беззвучно скрывается в густой кроне раскидистого дерева, произрастающего у самого подножья скалы.

От обуявшего ужаса отстраняюсь в сторону, невооружённым взглядом вижу, как высоко в небе в прозрачной утренней синеве крохотной белой точкой парит его планер. Подчиняясь неведомым законам стихий, нет, не снижается, что непременно должно быть, а по спирали стремится всё выше и выше, к самому солнцу, пока и вовсе не растворяется в синеве, да так, словно его и не было в помине.

По крутым ступеням этажей чуть ли не кубарем выскакиваю на улицу, задыхаясь от скорого бега, несусь в сторону речки, мимо разрушенного войною Дома Пионеров, круто беру направо вверх вдоль поймы реки, густо поросшей зарослями облепихи и боярышника, туда, где гигантским глинистым оползнем вертикально уносится в самые небеса стена обрыва; прыгая по притопленным валунам, перебираюсь на противоположный берег – низкий и плоский, слегка подтопленный водой, с игрушечной лагуной в виде озера, а скорее, болотца, воды которого густо поросли зелёною ряскою, где глазастые стрекозы и жуки-плавунцы, лягушки со своими головастиками, покой и тишина – блаженная идиллия жизни. Под тремя чинаровыми деревьями с пышными кронами, слившимися единым шатром, обнаруживаю мирно дремлющего на зелёной травке старичка. Подложив под голову плоский и беленький камушек, так похожий на кружочек овечьего сыра, свернувшись калачиком, он лежал с плотно закрытыми глазами неподвижно, вроде как бы и спал, но при этом, что и было замечательным, словно молитву, тихо шептал себе губами; иногда хмурился, но тут же и улыбался, и даже, как казалось, изредка подрагивал обутыми в галоши ножками. Чуть далее, в низине, возле разлившегося озера, взглядываясь в воду, задумчиво стояла его корова, молча смотрела на своё зыбкое отражение, кусочек синего неба, рябющую тень жёлтой скалы. От хрустнувшей ли под ногами гальки, но дедушка очнулся, опёршись обеими ладонями в землю, привстал, вопросительно посмотрел на меня, с сильным балкарским акцентом спросил:

– Потерялся, что ли? Или ищешь что и не можешь найти?

Не дожидаясь ответа, загадочно улыбнулся, перекатившись боком, уместился на свой камушек, ореховой палкой стал ковырять землю. Неопределённо махнув рукою, грустно, словно самому себе, проронил:

– Если и есть что самое лёгкое и самое нелепое на этом свете, так это ненароком куда свалиться. Шайтан его знает, – смотрит на меня пристально, – как это делается. Падение мигу подобно, возвышение же, – медленно поднимает голову, смотрит в небо, – возвышение подобно вечности. Не имеющий за своей спиной крыльев может ли кого научить летать? Что ты на это скажешь, жашчик¹?

– Думаю, что нет, не может, – твёрдо отвечаю я дедушке, волосы и борода у которого совсем белые, усы с проседью, а брови и краешки висков почему-то чёрные.

– Хорошо ты мне ответил, по-правильному. А вот скажи ещё: почему боязливого, стерегущегося высоты и малый бугорок страшит?

– Не каждому даются крылья, – неожиданно, и, кажется, даже для дедушки, промычала за меня его корова, задрав высоко свою голову в небо, ударив передним копытом по воде, да так, что по всему озеру концентрическими кольцами побежали волны, а лупоглазые стрекозы изумрудно брызнули в разные стороны, – и слава тебе, Всевышний. Экое дело, – продолжала она, но уже не своим грудным и женским, а моим пискляво-девчачьим голоском, который всегда вот таким делается в моменты сильного волнения, – витать попусту в облаках... На земле своей твёрдо устоять сумей; что толку в любых стремлениях твоих возвышенных, за коими нет зримых трудов, посеянных в пашню зёрен нет? Ни почек, ни зелёных листочков, ни соцветий... Откуда плодам взяться? Хоть за вечностью и не предполагается времён, у каждой вещи на земле есть своё начало и свой конец. Кто-то камни собирает, а кто-то их разбрасывает, кто-то строит, а кто-то ломает, кто-то рождается, а кто-то умирает. Всему своё время.

– Молодец, корова! – похвалил бурёнку старик, – речь твоя исполнена истинной мудрости. Несовершенен душой поспешивший посмотреть на себя со стороны в момент ухода своего, испугавшись смерти. Дождись сегодняшней ночи, – опять пристально смотрит на меня, – она будет как никогда ясной, посмотри на звёздное небо другими глазами, многое, что откроется. А пока...

Светло улыбаясь, развязывает свой холстяной мешочек, достаёт помятую армейскую фляжку, почерневшую от времени деревянную балкарскую чашечку с двумя разными колечками на боку; наполнив её до самого края айраном, бережно протягивает мне, следом подаёт половинку кукурузного чурека:

– Не отрывайся от земли, наслаждайся отпущенным временем под названием жизнь, живи просто, Боборика.

¹Жашчикъ (балкарский) – мальчик.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

1

Задаюсь вопросом... Найти ли хоть одного из когорты сочинителей-придумщиков разного, что дописав свою очередную историю, признался бы:

– Всё... Мне нечего более вам добавить, что я хотел, я уже сказал.

Думаю, что – вряд ли... Ведь, поди, всем известно, всему миру, что молчаливого, коему сказать нечего, уродившегося таковым, хоть ты тресни – не разговоришь, говорливого же.. Кто замолчать заставит?

И хоть молчанье – золото, а в пустословии выказанная неразумность и даже – глупость, есть и третье: в тихом омуте черти водятся. Глядишь порою и дивишься: мил человек и скромн до робости, и учтив донельзя, слова лишнего не проронит, звуком ли, движением резким каким покоя не нарушит, приятственных достоинств не перечесть. А всё равно... Что-то не так... А что не так, и сам себе ответить не можешь, полагаясь на единственное: поостерегись малость; хорошо-то хорошо, да поди разгляди его, что у него там изнутри, сердце ведь не обманешь. Оно, конечно же, может и так, что чужая душа потёмки, можно с тем и согласиться, отдав должное некогда изречённой мудрости по поводу этих самых мрачных потёмок, если бы не другое: и нет ничего тайного, что бы не стало явным.

– Эж куда хватил... – скажут некоторые, – жди, когда оно – это самое тайное станет ни с того ни с сего явным, что прозрачное стёклышко, и жизни целой не хватит.

А я в это время буду и есть, и пить, и воровать, лихоимничать по-секретному, и с чужими жинками блудить потихаря, оставаясь в лице большинства милейшим и благообразнейшим семьянином, отцом-благодетелем, самым душечкой...

– А Бог?..

– А что Бог... Его надо ещё доказать... А если даже и так... Не Он ли есть Всепрощающая Любовь? Простит, никуда не денется.

2

Хочу признаться, что свою книгу, задуманную вот так, я писал прежде всего для себя и только для себя. Не скрою, трудно оставаться в себе честным и беспристрастным в оценке собственных же поступков, порою и нелицеприятных, если заранее знаешь, что всё это, пусть и художественно, и не без помощи вымышленных героев будет вынесено на весьма широкую аудиторию; ведь книга-то автобиографическая.

Думаю, что не каждому захочется, в пример мне, оголиться, выставляя себя по-смешному, не говоря уже о другом – противоположно первому, где надо быть не просто осмотрительным, а и крайне осторожным, пусть даже если у тебя будет семь пядей во лбу, украшенных звёздами, а вся грудь в орденах. Относительно первого скажут:

– Он что, сумасшедший идиот, что не про кого-то там, а про себя разные анекдотические истории стал выдумывать?

Или обратное:

– Эх себя выпятил в благом свете, да напоказ... Не лишним было бы если и поскромнее о себе-то, о любимом-разлюбезнейшем – господин Боборика. Так можно и совсем зазвездиться без меры веса.

– Всё возможно... И так, и этак возможно, – слышу голос своего тайного и верного вожатого – ангела ли хранителя, крылатого ли даймона, запредельного ли «Я», как возвышенного до олирн, так и падшего до магм. – А может, лукавого? Бог его знает.

– Чего душою-то смутиться? – иронически подмигиваю сам себе.

– А я и не думаю смущаться, – говорит во мне тот, кто всё это заварил, дабы доказать не столько окружающим, сколько самому себе, что мир устроен несколько иначе и что в нём всему есть место.

А коли так, то применительно к индивидуальному сознанию можно ли «приклеить» общеобъемлющее и такое расхожее понятие, как «истина»? И что это, скажите, за «истина» или «истины», по поводу которых в течение многих тысячелетий человеческой бытности сломано столько копий и относительно которых в общественном сознании единого мнения так и не найдено? Не зря ведь сказано, что на вкус и цвет товарищей нет... Да и присутствие Господа Бога пока тоже никто научно не доказал, как и противоположное оному, что Его нету вообще, потому, как это медицинский факт.

– Да!!! Ты действительно рассуждаешь мудро, как подлинный Сумасшедший Человек... Замечу, не просто такой вот самый человек, а Честный Сумасшедший Человек. А между ними, поверь мне, преогромная разница, – то ли иронизирует, то ли на полном серьёзе вещает Некто из самых дальних окраин, можно сказать, провинциальных окраин моей Вселенной под названием Сознание. – Вот и хорошо... Значит, созрел...

– Созреть-то созрел, – озабоченно принохиваюсь я, – да как бы не забродить и не прокиснуть до срока...

– Не прокиснешь, – оптимистически обнадёживает голос, – есть ещё порох в пороховницах, дерзай. Но упаси тебя Господь даже труженице пчеле подражать. Ты ведь понимаешь, о чём я говорю... Пусть и с горьких трав мёд, да свой. Кумекаешь?... Этого всегда держись.

Задаюсь и другим вопросом, сам себя спрашиваю:

– Ну, хорошо... Книга, которую ты придумал, да ещё и начертил сам для себя и о самом себе – Мальчике, потерявшем своё время, как-то завершилась? Дальше-то что?

– А что дальше...

– Вот, вот, я тебя и спрашиваю, что дальше-то?

– Э-эх... Вот ты куда, – несколько разочарованно отвечаю самому себе... Что за силлогизмы?.. Из двух логических умозаключений всегда, как минимум, есть один вывод, то есть третьё, – спор о бесконечном в бесконечности. А потому до конца написанных книг, как и прожитых до конца жизней не бывает. Всё течёт – всё изменяется, возвращаясь на круги своя, возносясь по спиралям выше и выше. Выжди время, а как душа соскучится, не мудрствуя лукаво, просто извлеки рукопись из пыльного чуланчика на свет божий, забудь, кто ты есть вообще, и про свою сопричастность к ней забудь, прочти всё от самого начала до конца. И вот... Если тебя неожиданно увлечёт, покажется замечательным и забавным, и грустным, и смешным, очевидным и невероятным, пусть даже глупым, но по-особому и без всяких дураков, то считай – книга удалась. Главное, но только как перед Богом, – по-честному, чтобы она, то есть некогда описанная тобою история тебе самому понравилась; ты есть главный судья самому себе. Хороший мастер-горшечник никогда не выставит на продажу бракованный кувшин. Ведь он-то относительно других – то есть остальных, что никакие не горшечники, наверняка уж точно знает всё о скрытом и непригодном в своём изделии... А коли книга, на твой взгляд, удалась, то знай, она уже не твоя и не о тебе лично, а о многих и многих, бытующих с тобой в едином потоке реки Времени, того времени, название у которого – Жизнь, того пространства, имя которому Вселенная.

Ваш Боборика

ОГЛАВЛЕНИЕ

Е. Новиков. О романе Владимира Мокаева «Мальчик без времени».....	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	19
Глава 1. Винная ягода.....	22
Глава 2. Заведённые часики и белые птички	31
Глава 3. Крылатый ковчег.....	36
Глава 4. Двоекорукая богиня Кали и клад царя Соломона	44
Глава 5. Золотая Кали	67
Глава 6. Торжественное погребение	79
Глава 7. Попрыгунчики	125
Глава 8. Ничейный пёс Рекс, Бронька Глебович. Кровавая история	135
Глава 9. Трактор	145
Глава 10. Война и мир. Деревянная пушка	160
Глава 11. Мои религии и искусства	209
Глава 12. Неудавшееся знакомство. Пророчество Иоакима Мудрейшего.....	228
Глава 13. Слухи. Быть или не быть. Отец. Идиот.....	242
Глава 14. Достоевский	262
Глава 15. Великое переселение. Москва	292
Глава 16. Благородное животное ишак, он же осёл	310
Глава 17. Улица на чугунных колёсах	315
Глава 18. В пути	334
Глава 19. Вкус хлеба земли обетованной.....	340
Глава 20. Суровые будни обретённого рая. Времянка. Заболевший аккордеон. Раненый в попку.....	343
Глава 21. Скульптор. Поэт. Три грошика	350
Глава 22. Квартира на четвёртом этаже. Дубовый стол. Коньки-снегурки . . .	366
Глава 23. Раздвоение личности	385
Глава 24. Полёт шмеля.....	389
Глава 25. Внеземная женщина. Сказка.....	398
Глава 26. Деревянный самокат.....	427
Глава 27. Сказка	437

Глава 28. Пионерия	444
Глава 29. Диверсант – подрывник – созидатель. Алые паруса.....	459
Глава 30. Поход с ночёвкой. Кабаны и снежные барсы	479
Глава 31. Странные люди.....	510
Глава 32. Операция «Хрусталь» и всё, что в связи с этим.....	553
Глава 33. Осень. Путешествие в дубовой бочке	567
Глава 34. Дядя Лёня	577
Глава 35. Гитара	611
Глава 36. Ослепший музыкант	628
Глава 37. Престранный рассказик, напетый, как подозреваю, Иоакимом Премудрым	657
Глава 38. Умножитель пространств.....	670
Глава 39. Телескоп	703
ПОСЛЕСЛОВИЕ	722

Литературно-художественное издание

Владимир Мокаев

МАЛЬЧИК БЕЗ ВРЕМЕНИ

Художник В. А. Мокаев

Технический редактор Т. В. Демьяненко

Дизайнер И. С. Озрокова

Верстка И. В. Пономаренко

Корректоры Н. Г. Солгалова, Ю. Г. Верниковская

Подписано в печать 31.01.2019. Формат 60x84 ¹/₁₆.

Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 42,32.

Тираж 200 экз. Заказ № 206.

ООО «Тетраграф»

360000, КБР, Нальчик, пр. Ленина, 33

